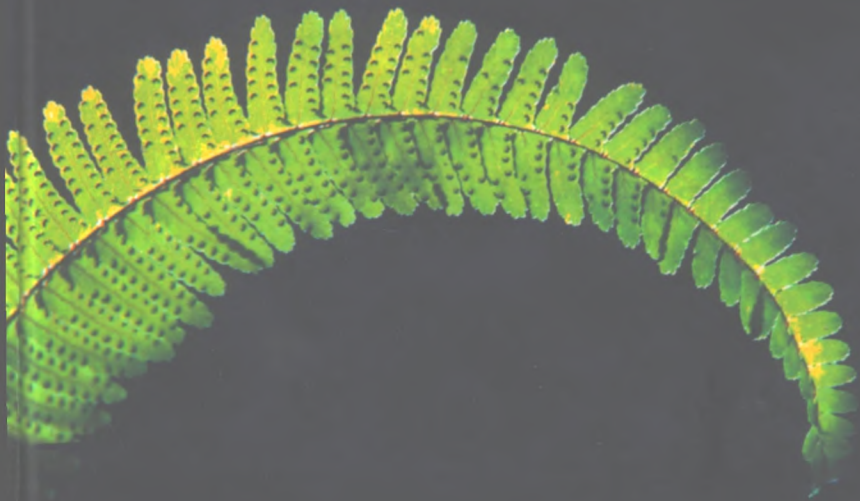


Виктор

СОСНОРА

проза



АМФОРА

ВИКТОР СОСНОРА

ПРОЗА



Санкт-Петербург
«АМФОРА»
2001

УДК 882
ББК 84.Р7
С 66

Оформление книги выполнено
Алексеем Горбачевым по эскизу Вадима Назарова

Соснора В.

С 66 Проза: Романы. — СПб.: Амфора, 2001. — 767 с.
ISBN 5-94278-068-4

В книге опубликованы «главные» романы известного поэта и прозаика В. А. Сосноры. Большинство из них ранее издавалось лишь за рубежом, а в России только «журнальные» варианты. Это проза поэта, она сложна и специфична.

ISBN 5-94278-068-4

© В. Соснора, 2001
© «Амфора», оформление, 2001

Φ. βαγγα

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

1967

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Грам, капитан

Сотл, старший помощник капитана, офицер

Гамалай, лейтенант

Пирос, кок

Фенелон, впередсмотрящий

Гамба, боцман

Трой, рулевой

Лавалье

Ламолье } — водолазы, братья, близнецы

Даний, пассажир

Амстен, доктор

Эф, изобретатель, радист

Матросы с усами, гитара, автор

ПРОЛОГ

Море было как паутина.

Небо было неясное.

Настроения у экипажа не было.

Только у одного матроса настроение было. Оно было приподнятое. Несколько минут назад матроса приподняли над палубой и повесили на рее. Поэтому матрос висел в приподнятом настроении.

Корабль — шел.

Паруса — были. Они были, как белый виноград, как белые кандалы или как цифра 8.

Солнце было маленькое, как звезда.

На палубу вышел капитан Грам. Капитан был в мундире из меди, в красном кулаке он держал кортик. Он держал кортик за острие, кортик раскачивался, как маятник, и вспыхивал на солнце.

Кто-то играл на гитаре задушевную песню. Это была и не песня, а так, мелодия.

— Все хорошо, что хорошо качается, — сказал капитан Грам, рассматривая повешенного.

КОК ПИРОС, ОФИЦЕР СОТЛ И ЕГО НЕВЕСТА РУНА

Кок Пирос поседел во сне.

Самое обидное было то, что Пирос позабыл сон, во время которого он поседел. Коку было тридцать лет и голова у него была белая, как одуванчик.

Пирос лежал на диване с пружинами и плевал в иллюминатор. В иллюминаторе было море.

Море было параллельно небу.

— Я люблю тебя, — сказал кок Пирос невесте Сотла Руне.

— Нет слов! — тихо воскликнул Сотл.

— Я люблю тебя, — сказал Пирос Руне. — Что скажешь ты, Руна, Сотлу, своему жениху?

— Она скажет мне: мой ангел! — тихо воскликнул Сотл.

— Твой ангел вчера был пьян и без штанов. Он упал около гальяона и весь болтался. Капитан Грам сказал: «Он умер». Доктор Амстен был без кителя, в кольчуге, которая весит семнадцать килограммов. Доктор сказал: «А может быть он не умер, а так, немножечко заболел?» — «Нет, он умер, — сказал капитан, — иначе бы он так не болтался!» — «Готовьте саван». Все ушли за саваном, и капитан и доктор. Доктор уходил прямо, но его сутулила кольчуга. И тогда я положил Сотла на плечо и понес.

— Нет слов! — сказал Сотл и покраснел.

— Слова есть, их неисчислимое количество, но у тебя небогатый словарный запас. Отдай мне твою невесту, а я научу тебя нескольким лишним словам. Пускай она ляжет со мной на пружины, ложись, Руна, жемчужина моря, пускай нам будет уютно. Но ты сама не обнимай меня, Руна. Пусть этот алкоголик, твой ангел, обнимет твоими руками мою шею. Пусть он уйдет и нам станет намного легче. У него одна нога короче другой и глаза цвета туберкулеза.

— Не верю, — сказал Сотл. — Если сравнить нас по внешнему виду, то я — буйвол, а ты — кузнечик. Такие ноги, как мои, еще нужно поискать.

— Вот и поищи, — сказал Пирос. — Ты иди ищи ноги, а мы положим на пружинах с твоей невестой Руной. Где твое чувство ответственности человека перед человеком? Я положил тебя вчера на плечо, как гитару, я держал тебя вчера на плече, как скрипку, ты свисал с моего плеча, как гроздь сирени, ты сидел на моем плече, как сокол. Почему же ты не понимаешь моей нежности к Руне, отвечай, меланхолик!

— Не отвечу и все! — заупрямился Сотл. — Я офицер, а ты — официант.

— О нет! Я — дельфин, а ты — килька с одним глазом. Я — перстень царицы Лоллобриджиды, а ты — бешеный барбос в томатном соусе. У тебя — мозг мозгляка, а у меня — превосходный ум и данные. Вместо макарон ты варишь дождевых червей.

— Но я вчера не был пьян, — сказал нерешительно Сотл.

— Так иди, напейся сегодня, — посоветовал Пирос.

— А ты больше не лги, — запротестовал Сотл. — Эх ты, лгун!

В конце концов Пирос взял Руну за талию и положил на пружины, обнимая.

— Чего вы обнимаетесь, ведь утро, — недоумевал Сотл.

— Спи и ты, диверсант, — сказал Пирос. — Не сумел спать с Руной, так возьми ее девичью ленту и спи с лентой.

Руна была девушка, мечтательница. Так охарактеризовал свою невесту Сотл. Он увидел ее во сне и сделал куклу из древесных стружек, и скроил ей платье. Кукла получилась в человеческий рост, и это куклу отнимал у Сотла одуванчик Пирос.

В иллюминаторе была утренняя заря.

Над морем летало что-то с розовым гребешком.

Играла гитара.

Офицер Сотл вышел на палубу, спотыкаясь. Так уж он был устроен: в любых обстоятельствах он спотыкался. И это было хорошо: лучше споткнуться девяносто девять раз, чем один раз висеть на рее. Так, несколько дней назад лейтенант Гамалай сообщил капитану: «Упал большой обеденный колокол», — сказал Гамалай и глаза у него забегали по лицу, как ртутные шарики. «Что с Сотлом?» — немедленно отреагировал капитан. «Сотл не только из любопытства спотыкается около колокола. Тут имеют место обстоятельства, требующие внимательного расследования материалов и обобщения туманной личности этого офицера», — настаивал Гамалай. «Что с Сотлом?» — заиграл капитан. «Пока ничего существенного. Голова его разбита вдребезги. Мне не

удалось добиться от него никаких признаний. У него, видите ли, предсмертные конвульсии».

Какое бы несчастье ни произошло на корабле, жертвой любого несчастья был мечтатель Сотл. Поэтому его все любили. Все с большим сочувствием прислушивались к его нечеловеческим стонам.

— Где же счастье? — спросил Сотл капитана Грама. Капитан подбрасывал кортик и кортик вспыхивал в воздухе.

— Счастье — там! — капитан протянул свободную руку.

Сотл внимательно посмотрел в ту сторону, но счастья Сотл не увидел. Там был голубой воздух и летала одинокая птица.

Поэтому Сотл признался:

— Не вижу я счастья там, капитан.

— Этого еще не хватало, — сказал капитан. — Поживешь — увидишь.

Одинокая птица улетела. Это была и не птица, а так, комар, оптический обман: комар летал перед самыми глазами и капитан принял его чуть ли не за птицу Феникс.

С УТРА НА КОРАБЛЕ РАЗДАВАЛАСЬ ПЕСНЯ КАПИТАНА ГРАМА

С утра на корабле все пили бренди.

Воздух был голубой, с оттенком чая, как будто в воздух опустили чайнку и она растворилась.

На полубаке выстроились двенадцать горнистов в полицейских мундирах. Они принесли двенадцать длинных бутылок золотого цвета и, запрокинув головы, пили из бутылок бренди. Получалось так, будто они трубят в горны. Горнистов сплотил Гамалай. Они охраняли его независимость от посягательств темных сил.

На носу корабля, перед бушпритом, стоял символический лев. Он был не деревянный, как на старинных кораблях, а настоящий. Его приковали цепью к железному столбу, он ходил вокруг столба и понемножку ревел.

Льва звали Маймун.

На палубу вышел капитан Грам.

Его медный мундир был застегнут у горла бриллиантовой брошью-звездой. Грам приготовился подбрасывать кортик в голубой воздух.

Доктор Амстен шел в галюн, он шел и проверял санитарное состояние корабля. Он шел в противогазе и кольчуге.

Боцман Гамба, миллионер, лежал в красном гамаке. Он вчера

уже выпил, а сегодня еще не очнулся. Его усы трепетали, как пальцы композитора Листа.

Горнисты оттрубили зорю: они выпили все бренди.

Горнисты расселись вокруг льва и смотрели на Маймуна бирюзовыми глазами.

Лейтенант Гамалай подошел к капитану и зашептал ему на ухо неопределенно-личную фразу. Гамалай кое-кого кое в чем подозревал.

Капитан сначала не слушал Гамалая, а сказал «Молодец», а потом послушал и сказал — «Перестань».

Лев еще понемножку ревел.

Льва мог укротить только одуванчик Пирос. Этот лев стал уже морским.

Маймун ел кильку и все остальное, как равноправный член команды. Особенно лев полюбил свинину с вином, но это лакомство он получал тогда, когда Пирос не был пьян. Но Пирос всем на радость был пьян ежедневно.

Капитан поставил льва на нос корабля, как символ.

Пирос приспособил льва как будильник: на рассвете лев начинал реветь и Пирос просыпался.

Пирос вышел весь серебряный: его седые волосы завивались, как серебряные стружки, его фартук был из чистого серебра, но тонкого, как голландское полотно.

Пирос подошел к матросам и, чтобы они не сглазили символического льва, выстрелил в них из кольта ампулой со слезоточивым газом. Из бирюзовых глаза у матросов стали малиновыми. Музыканты духовых инструментов убежали без смеха, но с проклятьями.

Откуда-то из канатного трюма раздавался дьявольский смех Фенелона.

Пирос подошел ко льву и поднял указательный палец.

Лев перестал реветь и, как зачарованный, смотрел на палец: на пальце был рубин, большой, как помидор.

Пирос набрал в легкие так много воздуха, что уже начал потихоньку подниматься над кораблем и летать туда-сюда. Не спуская указательный палец, Пирос подлетел к Маймуну и зашептал бешеным голосом:

— Я тебе покажу страну, где пасется белая лошадь!

Лев уже и не мурлыкал. Он перестал беспокоиться. Он пошел на нос и повернулся лицом к морю. Он опять был символ.

— Выпьем за попугаев! — сказал водолаз Лавалье водолазу Ламолье, брату и близнецу.

Значит солнце уже разгоралось. На рассвете близнецы начинали пить за бабочек, а на закате уже пили за орлов.

Изобретатель Эф был большой и маленький.

Большим он казался тогда, когда что-то изобретал, а маленьким — когда бегал. Когда он был большим, его называли «медведь», когда маленьким — «мышка», что, в сущности, одно и то же.

— Я сконструирую сейчас руль, который бы управлял лишь небольшим усилием твоей воли и твоего таланта.

— Плюнь через левое плечо, — сказал рулевой.

— Не могу. Там трос, — оглянулся Эф.

— Ничего, плюнь, а то не сбудется.

Во время всего остального разговора Эф только и делал, что плевал через плечо. И рулевой терпел, терпел, но все же не вытерпел:

— Что же ты, сволочь, все время плюешь, ведь трос заржавеет.

Кок Пирос нес капитану суп из черепахи, сэндвичи, кофе, креветок, пудинг и бутылку бренди. Все это он аппетитно завернул в кружева.

Перед глазами Пироса появилось красное лицо капитана. Грам с бешенством вдыхал и выдыхал голубой воздух. Он держал кортик в правой руке, а индейку в левой. Без объяснений капитан ударил кока жареной индейкой по седой голове. По лицу Пироса поплыл жир. Пирос насвистывал какую-то мелодию с большим мастерством. Глаза Пироса вспыхнули, как голубые фонарики.

Он сказал:

— Если ты, компот из свинины, думаешь, что я — элин, и по статуту древней Эллады по утрам втираю в свою морду жир, то ты глубоко заблуждаешься. Я твой современник и уже умылся водой.

Капитан уже хотел исправить неловкость и сказать что-нибудь ободряющее, но совершенно внезапно получил удар в челюсть. Капитан взлетел в воздух и минуты две кружил над кораблем, как орлица. Потом он рухнул на палубу.

Одуванчик с нежностью, свойственной всем людям легкого веса, сказал:

— Молодец, питомец неба. Из тебя мы могли бы воспитать самого знаменитого космонавта.

Капитан встал и отряхнулся.

— Чем ты занимался этой ночью? — поинтересовался капитан, с нескрываемым восхищением рассматривая правый кулак Пироса.

— Я видел страшный сон, капитан. Я видел во сне девушку, у которой две задницы и ни одной головы. И я любил ее.

— А я думал, что ты всю ночь праздновал восьмисотлетие этой индейки. Ты попробуй эту прелесть. Когда я ел, меня

преследовала мысль, что я грызу гробницу седьмой жены Тамерлана. Ты, Пирос, гурман или вивисектор поджелудочной железы?

Впередсмотрящий Фенелон рассудил так: куда бы он ни смотрел — он все равно смотрит вперед.

Фенелон ставил капитана перед лицом больших вопросов. Вопросы эти не были никакого свойства. Просто на большом листе неплохой бумаги Фенелон рисовал большие вопросительные знаки и адресовал листы капитану. Капитан давно решил повесить Фенелона на рее, как хронического провокатора, но пока не повесил.

Капитан пел свою утреннюю песню такого содержания:

«Кто же сегодня не пьет?

Пьет соплеменник и пьет нибелунг. Пьет композитор и пьет пассажир. Пьет пограничник и пьет диверсант. Пьют миллионы юристов и пьет фаталист.

Молокососы уже не сосут молоко. Лоллобриджиду целует пропойца, любимец богов. После похмелья принц Дании любит шашлык из мышей. Семь миллионов невест потеряли невинность, приняв алкоголь за гранатовый сок.

Выпил бокальчик и стал независим араб. У барбароссы от вермута интеллигентней лицо. Умалишенные негры по пьянке снимают свои кандалы. Рабиндраната Тагора уже декламирует пьяный индус.»

Капитан давно хотел повесить Фенелона, но ни с того, ни с сего повесил матроса Бала, жизнелюба. Этот матрос Бал, жизнелюб, сочинил эту и другие песни для капитана Грама.

Пятна солнца расплывались по воде, как пятна нефти.

Справа по борту плыло бревно.

Бревно было похоже на крокодила.

БОЦМАН ГАМБА

У него было хобби — он хотел стать королем.

Мало того, что боцман был единственным миллионером на корабле «Летучий Голландец», он еще хотел и королевской династии.

Но несмотря на это, Гамба уже восемнадцать лет лежал в красном гамаке и был пьян. Его гамак украшали цветами, но ни один матрос не провозгласил боцмана королем.

Через восемнадцать лет на корабле послышался крик:

— Очнулся боцман Гамба!

Это ликовал одинокий голос, а потом крик подхватили радио-

станции Эфа. Матросы вышли — каждый оттуда, где находился в момент крика — и стали смотреть и смеяться. Как же это так боцман Гамба очнулся?

Внешность у боцмана еще была никакой. Одет он был во что попало, на шее болтались какие-то цепочки. Трудно описать выражение его лица — как-никак он пролежал столько лет в состоянии хронического алкоголизма. О лице Гамбы можно было сказать лишь, что этот матрос, миллионер, столько лет не брился. Поэтому все предположили, что боцман ужасно отстал от современного мышления. Но первые слова, которые произнес Гамба, убедили команду в ошибочности ее предположений.

Боцман очнулся и сказал:

— Почему Архимед, когда делал открытия, восклицал: «Еврейка»?

Никто не ответил.

— Почему Архимед восклицал «Еврейка»? — расспрашивал Гамба.

Все молчали.

Тогда боцман спросил:

— Где у мухи сердце?

И этого никто не знал.

— Молодым женщинам рекомендуется употреблять в пищу электрические провода, — сказал Гамба и уснул.

ПОНЕДЕЛЬНИК. БЛИЗНЕЦЫ ЛАВАЛЬЕ И ЛАМОЛЬЕ

Водолазы, братья, близнецы, гиганты Лавалье и Ламолье курили по очереди кальян, передавая по-братски друг другу мундштук.

Они курили, одновременно оттопырив пальчики-мизинчики, огромные и волосатые, как у людоедов.

Они сидели под грот-мачтой в соломенных креслах-качалках.

Матросы-горнисты под бдительным наблюдением Гамалая штопали бом-бам-брас. Гамалай лежал в гамаке и наблюдал в десятикратный бинокль за поведением команды. Горнисты поднимали и опускали иглы, но иглы были без ниток.

Близнецы носили фраки и лакированные штиблеты. По утрам они крахмалили манишки и делали друг другу маникюр.

Они разговаривали, не поворачиваясь, в профиль.

У них были тяжелые лысые головы, каждый из них имел профиль римлянина.

— А что тебе приснилось сегодня? — спросил гигант гиганта, Лавалье Ламолье.

— Слушайте, — сказал Лавалье. — Мне приснилось превосходное приключение с девушкой. Как будто я, Лавалье, сижу за столиком Франции. В стране, естественно, канун революции. Но у девушек ласковые движения. Я сижу за столиком, но не влияю на фатальный ход исторических событий. Я не забываю, что я во сне и что мое одно необдуманное движение может исказить всю судьбу французского народа, ибо сон только мой, а история — миллионов. Итак, я сижу, даже не моргая. Я не развратен, но меня полюбила Шарлотта Корде. Я понимал, что любовь ее — мнимая, потому что Шарлотты сейчас нет, но ведь это была и вечная любовь, потому что она полюбила меня через несколько веков, — и это я понимал. Она подошла, а сама вся трепещет. — «Не желаете ли принять ванну, месье Лавалье?» — «Нет, Шарлотта, — сказал я независимо, — пепел Марата стучит в мое сердце». Но Шарлотта была декольтированная, а следовательно, соблазнительная. «Пойдемте в мой будуар, я покажу вам кинжал, которым я потрогала вашего брата, врача и журналиста Марата. А если вас потом заинтересуют мои прелести, то целуйте мое левое плечо и мое львиное сердце, и не надѐ стесняться, мой ангел небесный». Но я сказал, что я не ангел небесный, а водолаз, и что Марат — не брат мой, а это хитроумная лесь.

— Не сомневаюсь, что вы сказали, кто ваш брат? — сурово спросил Ламолье.

— Я сказал ей это без промедления после всего сказанного мною выше.

— Что же вы сказали?

— Я сказал ей: иди-ка ты, бриллиант борделя, нечего прикидываться трипперным кенгуру. Брат мой водолаз, он — Ламолье, и все.

— Правильно, — кивнул Ламолье. — Сильно вы сказали, кто ваш брат на самом деле, сильно и с большой ответственностью. А как манеры ваши? Они были галантны, я надеюсь, вы не взяли тон Талейрана, вы, я надеюсь, взяли тон Монте-Кристо? Все же, знаете, так определенно сказать о вашем брате... Эти французы, знаете, Лавуазье... Бойль-Мариотт...

Лавалье продолжал:

— А через некоторый промежуток времени в кабаре Франции вошла девушка с восточными глазами. Я понимаю, что всегда опасно смотреть на восток, потому что там восходит солнце, но я посмотрел, потому что тут была не философская система, а девушка, нежная, как паутина. Она меня поманила пальчиком и мы вышли. Ночь была, как вы понимаете, темна. В темном, как ночь, небе, висели звезды и портреты. Я обнял девушку и пошутил: — Защищайся, бедное дитя моей сонной фантазии...

— Минуточку, — вспомнил Ламолье. — Не заметили ли вы около конной статуи маршала Нея ничего необыкновенного, не предстало ли перед очами вашими какое-нибудь ослепительное зрелище, короче: вы не видели прекрасного молодого человека около конной статуи? Он был в шляпе экзистенциалиста.

— Не видел я вашего человека, а извинился бы на вашем месте за вмешательство в чужие сны.

— Сны у вас не чужие, а наши, братские, сны-близнецы. Не так ли, Лавалье?

— Я видел только нежный взгляд паутинной девушки и она смотрела этим взглядом на меня. Мы вошли в отель...

— Не продолжайте, — сказал Ламолье ледяным голосом. — Я предчувствую, на какие мерзости вы способны, находясь один на один с беззащитной девушкой Руной. И непростительно с вашей стороны так бесстыдно лгать своему брату, водолазу с умом и сердцем экзистенциалиста. Теперь я убедился, что вы гигант лишь телом, а душа у вас — душа лилипута. Вы — хам с римским профилем. Я обвиняю вас в растлении малолетних женщин испанского происхождения.

— Минуточку, — Лавалье встал, бледный от бешенства. — Как вы посмели, кто вам дал юридическое право использовать не свои сны в своих гнусных целях? Теперь я вижу ясно ваше истинное лицо. Это не лицо моего брата, соратника по искусству, о нет, это лицо осведомителя тайной полиции Пакистана. Откуда вы узнали, амнистированный сифилитик, что девушку зовут Руна и все остальное?

— Я узнал об этом еще восемь моих снов назад, — успокоил брата Ламолье. — Ведь вы этой ночью видели мой первый сон из серии снов про эту принцессу. Вы приняли человека за столиком Франции за себя, а ведь это был я. В шляпе экзистенциалиста стояли вы, абиссинец, хотя вы совсем не заслужили ее. Вы в шляпе экзистенциалиста — это мой кошмар, ибо вы — насильник моей невесты, фальшивомонетчик моих снов и вообще — очаг разврата.

— Вот как вы заговорили, когда я случайно, но искренне изнасиловал вашу невесту. Нет, Ламолье, братские объятия для вас — недопустимая роскошь. Рапира! — хороший шрам на переносице — вот что украсит вашу морду.

Братья побросали перчатки на палубу.

Бросили они и кальян и пошли драться.

Они обнажили шпаги на реях.

Они бегали по реям всех трех мачт и делали выпады. После нескольких выпадов они падали за борт. Эти дуэли по понедельникам уже несколько не развлекали команду. Только два человека

принимали косвенное участие в схватке гигантов. Это были: доктор Амстен и лейтенант Гамалай.

Гамалай давал сигнал: «Человек за бортом!»

Амстен готовил медикаменты.

На лицах у братьев появлялось все больше и больше шрамов.

Близнецы уже были похожи друг на друга разве как отдаленные родственники разных национальностей.

Только римские профили у них сохранились.

А лейтенант Гамалай подозревал, что водолазы совсем не близнецы, а — китайцы.

ПЯТЬ МИНУТ ФИЛОСОФИИ ПАССАЖИРА ДАНИЯ, ТОВАРИЩА ПО ОРУЖИЮ

Пассажир Даний спал вверх ногами.

Даний никак не мог приспособиться к килевой и бортовой качке и фатально укладывал подушку в противоположную сторону.

По форме Даний представлял собою два шара на гусиных лапках: большой шар — туловище и маленький шар — голова.

В кубрике пировали.

Кубриком матросы называли ледник, в котором они постоянно присутствовали, то есть сидели. Там, в леднике, было все, что нужно матросу для нормальной жизни, лишенной испытаний и иллюзий. Там была температура намного ниже нуля, сельдь и вина в бочонках, высококалорийное продовольствие из свинины, собольи и лисьи шубы, пирожки с мясом кенгуру, маринованные бананы, телевидение и виолончели.

Случалось, что матросы, пьяные, замерзали насмерть.

Их трупы тотчас выбрасывали в море. Трупы оттаивали и тонули. Но матросов не становилось ни больше, ни меньше.

В кубрике пировали.

Пировало сорок матросов с большими усами и один философ — сорок первый. Философа звали Даний, и он был пассажиром. Он еще был другом детства капитана Грама, его товарищем по оружию.

На сорок человек была одна бутылка бренди.

Бренди пил философ, а матросы ему внимали. Даний рассуждал о счастье.

— Счастье, — говорил Даний, — у нас уже есть, и его немало, но и не так много. Мы плывем туда, где счастья много. Мы плывем уже ~~уже много лет.~~ и, как вы все понимаете, приплывем.

— Куда? ~~спросил человек.~~

Это был самый несомненный разгильдяй на корабле «Летучий Голландец»: пьяница, бабник, хулиган, сутенер, шулер, ходил босиком, ругался, хамил, играл на барабане, гангстер, читал Библию, писал письма, — в общем, личность еще та.

Это его, Фенелона, хотели повесить на рее и никто не понял, как это получилось, что повесили дисциплинированного матроса Бала, который не пил и вообще ничего не делал, а только поддерживал капитана и Дания.

Бал поддерживал капитана и Дания под мышки, когда они напивались.

Тогда на шею Фенелона уже надели веревку, но одуванчик Пирос принес бочонок бренди, все быстренько напилось и по-вешенным оказался замечательный и исполнительный матрос Бал.

Многие потом горевали.

Хотели еще раз повесить Фенелона.

Но каждый подумал о себе.

— Мы плывем уже много лет и, как вы все понимаете, приплывем.

— Куда? — спросил Фенелон.

— Я же обстоятельно объяснил: к счастью.

— Спасибо, — поклонился Фенелон. — Мы плывем, и все корабли от нас убегают. Все корабли, весь флот боится «Летучего Голландца».

— Нет, мы плывем вперед и все на нас надеются.

— Надеются, что мы утонем и нечего будет бояться.

Матросы ели кильку, белую, как вермишель, и куски шоколада, большие, как куски торфа. Сорок матросов и все сорок с усами. Пятнышки солнца влетали в иллюминатор и летали по кубрику. У всех было солнечное настроение.

Даний опустошил бутылку бренди.

— Постарайтесь не напиться, — попросил Даний, указывая на пустую бутылку.

— Постараемся, — пообещали матросы.

На этикетке международный художник-реалист нарисовал голую бабу — звезду экрана. Ее костюм состоял из трех перышек: два перышка на сосках и одно такое же птичье — пониже. Фенелон внимал силлогизмам Дания и с глубокой грустью рассматривал пустую бутылку и этикетку на ней.

— Что такое мамонт? — спросил Даний.

— Мамонт — полезное ископаемое, — сказал Фенелон.

— Была археозойская эра, — сказал Даний. — Были высокие температуры и давление воздушного столба. На этом этапе возник живой белок. Он дал начало первым живым организмам, наимпростейшим.

— А из чего возник белок? — спросил Фенелон

— Это тебя не касается, — ответил Даний. — Хоть ты и умник, а это — наука. Тысячелетия шли и шли. Так настала протерозойская эра. Самыми высокоорганизованными животными в ту пору были трилобиты. Последний представитель этой расы — перед нами. — Даний указал на Фенелона. — Перестань рассматривать голую бабу, ты, трилобит.

— Пускай рассматривает, а мы, матросы, хотим накапливать свои знания! — сказали матросы.

— Протерозойская эра происходила около 600 миллионов лет. Но для нашей истории — это пустяки и смехотворное число, как и палеозойская эра, мезозойская эра и все их пресловутые периоды. Нам нужна последняя, кайнозойская эра. Эта-то эра нам и нужна. Тогда улетели на юг птеродактили и птерозавры. Уползли парейзавры и взерозубые иностранцевии. Уплыли ихтиозавры и головоногие моллюски. Убежали рептилии-диплодоки, тиранозавры-рексы и махайродусы. Так они все вымерли, потому что хоть и на теплых территориях, но — на чужбине. Тогда, откуда ни возьмись, появились неандертальцы. Они много миллионов лет шли вокруг всего земного шара за гейдельбергским человеком, они шли и не отставали от него ни на шаг, и вот пришли. Гейдельбергский человек стал отныне лишь наглядным пособием для науки палеонтологии. Труд стал делать человека. Человек стал делать каменный топор. Каменный топор стал делать свое дело. Человек убивал каменным топором мамонтов, человек убивал человека. Это был осмысленный труд и серьезное существование. Мы сидели на ледниках и варили сосновые иглы и шкуры. И вот поучительная история пчелы. Пчела улетела в Африку и в Сахаре опустилась. Но в пустыне пески и бедняге было не добраться до прекрасных джунглей. Тут-то и началось преобразование видов и видообразование. Всем нам известно, что пчела — полосатое животное. Двести пятьдесят лет пчела приспособлялась к условиям жизни в пустыне. Она сняла свои прозрачные крылья, и они улетели еще южнее. Тело ее стало постепенно вытягиваться, голова — распухать от тяжелых климатических условий. Так пчела превратилась в полосатую змею — в кобру. Жало пчелы стало жалом змеи. Но сколько ни ползла змея к прекрасным джунглям — ничего не получилось. На помощь пришла природа. Прошло еще двести пятьдесят лет и тело кобры увеличилось в размерах, ее хвост оброс волосами, у нее выросли ноги, а на ногах копыта, и морда стала с двумя ноздрями, и в глубине морды выросли зубы. Кобра стала полосатой зеброй. Зебра быстро добежала до прекрасных джунглей и присмотрелась. Но прекрасные джунгли оказались не так прекрасны. Они кишели змеями, крокодилами, носорогами, пятнистыми пантерами и прочей прелестью. Тогда пчеле пришлось

опять видообразоваться. В общем-то это было менее трудное дело. В джунглях шла борьба за существование. Там нужны были клыки, когти да мускулатура. Двести пятьдесят лет зебра упражнялась. И не без успеха: клыки у нее увеличились, когти появились, мускулатура развилась — главное, что не надо было менять, как и прежде, шкуру. Шкура осталась полосатой: зебра стала тигром. В какое животное она разовьется еще через двести пятьдесят лет — науке не известно. Так. Но все не так у людей. Развитие человечества шло скачками. Люди как-то выскочили из ледников. Они стали — полюбуйте на себя! — не люди, а — красота! У вас ведь совсем современное мышление и подсознательные элементы! Вы ведь все с большими усами. И вы тоже: сидите, сидите в своем леднике, а потом возьмете и сделаете по собственному желанию скачок на мачты. А на мачтах — и солнечная современность и голубой космос!

— И качается повешенный матрос Бал, — добавил Фенелон.

— Пустяки. Он покачается и упадет в море. — Даний совсем воодушевился. — Нет, Фенелон! Мы уже не те, что были вчера, и море уже не то, и корабль не тот. Все корабли, так или иначе, плывут к счастью, но приплывем лишь мы, а они — нет. А все потому, что конструкция нашего корабля намного превосходит конструкции всех остальных. И наш корабль все идет по курсу! По сравнению с 1410 годом, со времени битвы при Грюнвальде, наш корабль дает на 7 узлов больше, чем давал!

— Ого! Это и есть прогресс! — восхитились матросы.

— Но прежде наш корабль плыл без цели — он просто плыл и плыл. Теперь у нас появилась цель — мы плывем к счастью! — с пафосом заключил Даний.

ЧЕРНЫЕ МАТРОСЫ. КАПИТАН ПО-СВОЕМУ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ ДАНИЯ

Барометр, как всегда, показывал «Солнечно».

Но лица у матросов понемногу почернели.

Это не понравилось капитану.

— Отчего это почернели у вас лица? — спросил Грам. — От горя? От страсти? От разлуки? От зависти? От голода? Все это — фольклор, все эти причины исключаются. Больше причин я не знаю. Может быть, вы знаете? — капитан расспрашивал матросов.

Матросы молчали.

Они ходили с черными лицами.

Тогда капитан Грам сказал:

— Я не расист, но я не люблю, когда у моих матросов черные морды. Не слишком ли много отелло для одного корабля? Это что по-вашему: ответственное плавание или хроника Шекспира? Надо бы повесить нескольких матросов с черными лицами.

Повесили нескольких.

И у них лица посветлели!

— Снимайте, — сказал капитан. Матросов сняли. — Вот, — сказал капитан с нескрываемым восхищением, — полюбуйте! Теперь у них лица белые, как у покойников.

— Может, они и не мертвы, — сказал доктор Амстен, — может, это у них случайное состояние, солнечный удар или летаргический сон?

— Нет, они мертвы, — сказал капитан. — Иначе бы они сами сказали, что у них. Жалко. И смешно получается: пока добьешься положительных результатов перевоспитания, индивидуум уже умер.

Рассматривая алебастровые лица матросов, капитан сказал:

— Безрадостное зрелище.

Он вздохнул и добавил:

— Вешайте остальных.

Но у остальных матросов лица и так побелели от ужаса.

— Поздравляю, — сказал капитан. — Ничего не поделаешь. Такая, как сказал бы Даний, конъюнктура.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. МОРСКОЙ БОЙ

«Летучий Голландец» был уже окружен военноморским пиратским флотом.

Семь эсминцев, одиннадцать крейсеров, два линкора, четыре танкера для трофеев, один авианосец, тридцать восемь торпедных катеров и девяносто четыре подводные лодки окружили парусный трехмачтовый корабль. Уже над тремя мачтами летали самолеты, из люков самолетов, как рыбы, выглядывали авиабомбы.

Старший помощник капитана Сотл успокаивал матросов.

Матросы были оживлены и успокаивали Сотла.

Матросы надели красные плащи и усиленно заряжали кольты.

Фенелон принес большую гроздь крючьев для абордажа.

Пирос принес свою саблю. Длина сабли равнялась нескольким метрам, но сабля была легка, как лепесток ромашки, и удобна в употреблении.

Доктор Амстен ходил в противогазе, но снял кольчугу, чтобы ни у кого не блеснула мысль, что доктор — трус.

Даже сквозь стекла противогаза было заметно, как доктор

взволнован: ему предстояло показать себя во всем блеске хирургических вмешательств.

Лавалье и Ламолье лежали пьяные у пулемета, и брызги моря сверкали на их зеленых лицах, как драгоценные камни. Их тела дымились, как бассейны гарема.

— Сейчас, с минуты на минуту, ты получишь по устам, — сказал спокойно Пирос Сотлу. — Нечего тебе всех успокаивать.

Двенадцать горнистов залегли с фауст-патронами на полубаке. Даний забрался на бизань и махал биноклем, чтобы навлечь огонь вражеских орудий на себя.

Лицо Дания было похоже на лицо беременной стенографистки: оно обрюзгло и было все в пятнах. Движения Дания напоминали предсмертные конвульсии. Даний кричал капитана, товарища по оружию, чтобы капитан обратил внимание на отчаянное положение корабля.

Но капитан Грам был увлечен поисками гитариста, и нигде не было капитана.

Пиратский флот приближался.

Он уже полностью блокировал легендарный корабль. Пираты не подозревали, что это «Летучий Голландец», и во весь голос радовались ближайшей победе.

У Пироса горели глаза, как два голубых фонарика.

— Спокойствие, леди, — кричал Пирос, разворачивая мортиру. — Час расплаты настал! За всех безвременно повешенных на рее! За муки пацифиста Сотла! За нашу невесту Руну! За нашу кильку — мечту человечества! Огонь!

И Пирос выстрелил.

Снаряд попал в люк артиллерийского склада эсминца. Эсmineц взорвался. Он раскололся надвое и стал тонуть. Из тонущего эсминца вылетали мины. Они поражали соседние подводные лодки.

Двенадцать горнистов дали залп по крейсерам, и двенадцать крейсеров утонули в одно мгновение.

Близнецы очнулись у пулемета и стали бесперебойно стрелять по матросам-пиратам, которые еще не утонули сами. Это был проливной огонь!

Даний бросал с бизани гранаты в пикирующие неприятельские бомбардировщики. Слава Богу, все гранаты упали на корму, где пряталось несколько трусов с большими усами. Осколки ранили всех этих трусов, и Гамалай выбросил матросов за борт, чтобы больше не трусили.

Фенелон воспользовался креслом-качалкой Ламолье. Фенелон полулежал в качалке, он повесил на ленточке перед креслом двадцать два колыта и стрелял по иллюминаторам авианосца, время от времени перелистывая Библию.

Стекла иллюминаторов разбивались вдребезги, и это было красиво, и получался мелодичный звон, и это было приятно для музыкального уха Фенелона.

Пирос больше не стрелял.

Он размахивал своей саблей и смешил противника сказочными оскорблениями. В этом тоже был свой глубокий смысл: пираты хохотали в воде, рты у них были постоянно раскрыты от хохота, они не спасались, а все захлебывались и тонули.

Измученный такими действиями малютки-парусника, пиратский флот дал залп в воздух из четырнадцати тысяч оставшихся орудий.

Пиратский флагман поднял флаг: «Погибаю, но не сдаюсь».

Бомбардировщики уже нацелили авиабомбы.

Бомбардиры уже скоординировали четырнадцать тысяч прицелов на «Летучий Голландец».

Торпедисты уже держали пальцы на кнопках спусковых механизмов торпед.

Но недаром после оглушительного залпа в воздух кок Пирос дал команду: «На бордаж!»

Все бордажные крючья были заброшены Фенелоном на все неприятельские корабли.

Семьдесят девять храбрых и одиннадцать иступленных «голландцев» уже перепрыгивали в дыму и в пламени на пиратских стервятников.

Фенелон уже был на флагмане. Он разбивал кулаком головы офицерскому составу.

Раненых не было, доктор Амстен взобрался на фок и с непостижимой быстротой метал в неприятельский флот скальпели.

На авианосце уже трудился при помощи своей сабли Пирос. Его белая голова порхала по палубам, как одуванчик.

В ярости и гневe матросы рубили дамасскими кинжалами релинги подводных лодок. Самые неистовые взрывали артиллерийские погреба и взрывались сами.

Пять матросов поливали из брандспойтов совершенно озверевшего льва Маймуна. Если бы они не охлаждали страсти Маймуна, то неизвестно, какими чудесами героизма порадовал бы лев команду «Летучего Голландца» и огорчил бы личный состав пиратского флота.

А бедняга Сотл, большой и миролюбивый мечтатель, стоял один и беспомощно и потерянно озирался и шептал какие-то потусторонние слова. Вид крови помутил разум Сотла, у него время от времени начиналась рвота.

Но Маймуна все же пришлось спустить с цепи — враг тоже не дремал: несколько сот пиратов перебрались на почти без-

людный парусник и, как и все враги, начали мародерство и безобразия.

Гамалай напился до неузнаваемости, он вошел в гущу врагов, и они его не узнали. А Гамалай с большим успехом расстреливал пиратов одного за другим из кольта с глушителем.

Многие пираты окружили красный гамак. В гамаке лежал прекрасный боцман Гамба. Его усы кто-то украсил цветами. Тело миллионера билось, как пульс, а ресницы тикали, как часы. Пираты разговаривали на хорошо знакомом пиратском диалекте: «Он жив», — сказал один пират, прислушиваясь к боцману. — «Нет, он мертв», — сказал другой пират, — он бьется, но не дышит. Он умер и его заспиртовали». И тогда сказал третий пират: «Нет. Он не жив. Но и не мертв. Он пьян», — сказал третий пират, и он сказал истину.

Лавалье и Ламолье побежали по тросам на помощь Пиросу. Лавалье бежал с мортирой в правой руке, как с кольцом. Но на тросах гиганты поссорились и побежали на свои реи. Теперь они бегали по реям и делали выпады. Враги с интересом наблюдали дуэль и подавали профессиональные советы.

Когда Маймуна спустили с цепи, он сначала смахнул с палубы своих матросов с брандспойтами, чтобы они не мешали, а потом стал рвать и метать.

Кровь врага была ему по колено, а трупы врага хорошо пахли.

Пиратам не посчастливилось: от семисот матросов, которые оккупировали корабль, осталось не более семи. И эти упали за борт и один за другим тонули.

Маймун успокоился.

Теперь он самостоятельно встал на нос корабля и опять приворился символом.

— Молодец! — кричал с авианосца Пирос. — Тринадцать порций свинины с вином на ужин!

Маймун мурлыкал и нехорошо облизывался.

— Где адмирал? — кричал одуванчик. — Я, Пирос, ангел ада, вызываю тебя на добросовестный поединок! Где ты, малютка-гнида? Явись, соломонид!

И когда пиратские мортиры вздохнули, чтобы выдохнуть снаряды, совсем рассеялся дым от залпов.

И пираты увидели: на бизани развевается неприкосновенный и страшный флаг «Летучего Голландца»!

Помимо символического значения, флаг отличался незаурядной художественной красотой.

— Летучий Голландец! — завопили в ужасе пираты.

Многие превратились в самоубийц.

Бомбардировщики вспорхнули и улетели очень далеко.

Подводные лодки опустили на самое дно.

Многие лодки взорвались сами.

Многим помогли взорваться соседи.

Все остальные корабли опустили веселый пиратский рожер и подняли белый флаг. Это было и грустно и смешно: ведь у пиратов не бывает белого флага и они привязывали к клотику первое попавшееся белье.

Никто уже не сопротивлялся. Победа была не самостоятельной, а при помощи легенды о «Летучем Голландце».

И в этом был виноват пассажир и философ Даний.

Это гусиная лапка Даний случайно задел ногой флагшток, и флаг поднялся.

С бешеными ругательствами и с веревкой в зубах Пирос уже карабкался на бизань, чтобы без промедления повесить незадачливого пассажира.

Создалась многообещающая ситуация.

Ее развязка была бы всем понятна и приятна, если бы в этот момент не вышел на палубу капитан Грам. Капитан вышел из кают-компании, где опять не нашел гитариста. Грам был в кожаных шортах и в турецких туфлях на босу ногу.

— Что здесь происходит? — спросил капитан. — Что-то не вижу я моей команды и не слышу возгласов приветствия, — сказал капитан не совсем дружелюбно. — Почему столько дыма и пламени вокруг корабля? Опять это штучки Фенелона! Ну, Фенелон!

Адмирал пиратского флота прибыл под конвоем. Он был в плаще с капюшоном. Плащ был раскрыт как раз настолько, чтобы видны были многочисленные ордена и медали адмирала.

Матросы с воодушевлением рассматривали драгоценную грудь адмирала. Не потому, что они хотели прильнуть к этой груди с воспоминаниями, а потому, что рассматривали все эти бриллианты как уже неотъемлемую часть своей коллекции.

— Только не ломай шпагу, — сказал Фенелон. — Звук ломаемой шпаги вызывает у меня приступы меланхолии и мигрени. Этот звук мне не нравится. Это звук-символ, а я люблю музыкальные звуки.

— Поговори, поговори, Фенелон, — посоветовал капитан. — Знай: это твои последние слова перед мучительной смертью. Поэтому поговори и заткни свою пасть, мой мальчик!

— Молодец! — сказал капитан, когда адмирал сломал шпагу. — Скажи нам свое имя, сопляк, и мы тебя повесим.

— Мое имя известно всему миру! — оскорбился адмирал. Он еще шире распахнул свой плащ. Орден под плащом было видимо-невидимо. — Это меня благодарили мудрецы и монархи, — сказал адмирал. — Моя смерть вызовет международные конфликты и скандалы. Вы не посмеете меня повесить!

— Ты так думаешь? — спросил капитан. — Что ж. Это, к несчастью, лишь твое мнение. И с этим твоим мнением мы тебя и повесим. — И капитан дал знак матросам.

— Тогда я сам, — сказал адмирал. — Гнусная история: папуасы вешают великого адмирала!

— Сам так сам, — не протестовал капитан. — Только намывь веревку шампунью, а то у нас веревки очень ворсистые.

Через минуту адмирал самостоятельно повесился на рее.

— Смешное самоубийство, — сказал доктор Амстен. — Первый случай в моей практике. Юристам и тысячу лет здесь ни в чем не разобраться. Капитан хотел повесить адмирала, но не повесил. Адмирал не хотел вешаться, но повесился. Странная история!

— Да, история каждого государства беспрестанно фальсифицируется в угоду его царю, — плохо расслышал Амстена экзистенциалист и водолаз Ламолье.

— Что будем делать с пленными? — спросил Гамалай. — Я думаю, что и пленным не мешает повесить. Я подозреваю, что это совсем не пираты, а переодетые лесбиянки. Если мы их не ликвидируем — разврата не оберешься.

Капитан посмотрел на пленных. Они все еще плавали в воде и тонули.

— Они же тонут, — сказал капитан. — Ты посмотри, как они слабо развиты. Так будем гуманны: опустим их в канатный трюм, пускай они там развиваются.

— Ну как, Пирос! — сказал капитан. — Что тебе приснилось сегодня, кумир кладбищ?

— Как и каждую ночь — баба. Я провел эту ночь с замечательной женщиной.

— Ну и как? — поинтересовался капитан.

— Все хорошо, — откликнулся Пирос. — Нос у нее был холодный, как у собаки.

ПИРОС, АМСТЕН. ИХ ССОРА, ИХ ПРИМИРЕНИЕ. ЛЮБОВЬ ПИРОСА И ЛЮБОВЬ АМСТЕНА. И ВООБЩЕ ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ

Фарфоровые акулы вылетали из океана и растворялись в небе. Там же, в небе, летали какие-то птицы. Они пели, как петухи. Одуванчик Пирос вчера уснул под парусами.

Сегодня его мозг пустовал. Одну лишь деталь помнил кок: вчера он напился и уснул. Точнее: что напился — он помнил,

что уснул — не помнил. Но если он сегодня проснулся, следовательно, вчера — уснул.

Паруса бились на мачтах, как белые акробаты.

Похмелиться было нечем. Поэтому Пирос лизал релинги. На рассвете выпала роса, и медные релинги, окропленные росой, по вкусу напоминали пиво, — правда, приблизительно.

Доктор Амстен сидел около Пироса и морщился, как будто в трусы его попала пчела.

Пирос поллизал релинги и упал. Его стоны слушать было тяжело.

-- Чего вам всем не хватает, — сказал Амстен, — так это любви. Я всю ночь просидел около тебя и молился, чтобы ты не умер. Но ты не умер, о нет, ты проснулся и теперь еще стонешь, расстраивая мои бессонные нервы. Ты пьешь так, будто ты бессмертен. Эх, ты, таблетка.

— Любовь, — сказал Пирос. — Это слово применимо лишь к собаке или к женщине, да и то в определенном смысле. Но у нас нет ни собак, ни женщин. Любовь к человечеству — это абстракция медицины. Лечи меня, доктор, но не надо меня любить. Я и сам себя не люблю. Я хотел стать Посейдоном с трезубцем, а стал пьяницей и поседел в тридцать лет.

— Нет, я буду тебя любить, как и всех, и всем буду оказывать посильную помощь. Вот моя любовь и вот мой долг перед людьми. Хочешь, я тебе расскажу поучительный сон. Как во имя вас всех я отказался от замечательного приключения.

У Пироса были большие и мучительные глаза.

— Расскажи, расскажи, — сказал Пирос. — Только если не насчет баб — молчи.

— Не баб, а девушек, — уточнил Амстен. — Мне приснилось, что я лежу в больнице. Я — дежурный врач и лежу в палате тяжелобольных. Темно и все лампочки выключены. За окном — рисунки немецких деревьев. Деревья-то настоящие, но как будто нарисованные готическим шрифтом. Мои душевные боли — колоссальные. Я в неизвестном государстве, в больнице, а вы уплыли и все поумираете с похмелья без моего стрептомицина.

— Вот что, — сказал Пирос. — Если ты и впредь будешь рассказывать эту новеллу и ни словом не заикнешься о бабе, то не воображай, что я брошусь тебя обнимать. У меня другое воспитание и характер. Нет, миленький, я тебе плюну в морду, и на этом все твое красноречие прекратится.

— Не в морду, а в лицо, — спокойно поправил Амстен. — И в палату входит фрейлина, красота, а не девушка, медсестра из немецких принцесс. Она садится на мою койку. Она обнимает меня и шепчет в мое ухо ласкательные прилагательные. И тут у меня по всему телу начинают биться пульсы. Я обнял ее поверх ее халата...

— Ты этого не сделал! — возмутился Пирос.

— Именно это я и сделал.

— Поклянись!

— Клянусь всеми фибрами моей души!

— Эх ты, морская звезда! — изо всех сил возмутился Пирос. — Кто же обнимает девушку поверх ее халата! Или до тебя не дошли слухи про эмсипацию женщин и про любовь с первого взгляда? Почему ты не снял с нее халат, вегетарианец?

— Не горячись! — предупредил Амстен. — Не горячись, а то несчастного случая не миновать. Если у тебя еще не было инфаркта, то он не за горами... Пульсы-то у меня бьются, но я никак не понимаю, чего же мне конкретно нужно. А принцесса, видите ли, понимает и ложится ко мне на пружины. «Стой, любовь моя, — предостерегаю я ее, — ведь услышат, ведь в палате нас четверо». — «Не услышат, — смеется принцесса, — я им ввела такую инъекцию, что, к счастью, они совсем не проснутся». — «Что же это получается и что у нас получится? — спрашиваю я. — Я чувствую себя физически хорошо подготовленным для объятий, но я еще не продумал, как это выглядит с нравственной стороны». — «Нравственную сторону оставь пока при себе, — говорит красавица. — А ты лучше посмотри теперь, как я прелестна». И она включила свет. Все трое моих товарищей спали. Их лица были залиты свинцом. Это, безусловно, был их последний сон. На моей койке сидела девушка неопишуемой красоты. Если бы я был Рубенс, я умер бы от душевного потрясения. Но я не был Рубенс. «Да, — сказал я. — Твое тело действительно имеет преимущества перед остальными телами. Но оно состоит из тех же самых веществ, что и тела этих трех тяжелобольных, которым ты ввела смертельную инъекцию. Почему ты это сделала, моя дорогая?» — «Ах, мой любимый, — сказала она с обольстительной девичьей гримаской, — это же не убийство, а лишь устранение помех. Я люблю тебя, а они уже мертвы. Давай мы поплачем чуть-чуть по поводу их безвременной кончины, а потом предадимся любви и наслаждениям. Мир мертвым и слава любви!» Но я попытался объяснить ей истинное положение вещей: «В состав твоего тела входит более семидесяти химических элементов, и главные из них — кислород, водород и азот — около 96 процентов веса организма, затем идет кальций, калий, фосфор, сера, натрий, железо, магний, хлор и кремний. Это — макроэлементы. Медь, марганец, кобальт, цинк, бром, барий имеют тоже немаловажное значение для развития твоего организма. Это — микроэлементы. В состав твоих белков входят азот, сера и фосфор в небольшом, но достаточном количестве. Есть у тебя еще углеводы и все их моносахариды, дисахариды и полисахариды — глюкоза, фруктоза, манноза, лак-

тоза, крахмал, гликоген. Ты поняла теперь, какое богатство ты уничтожила в этих трех трупах?» — «Теперь я все поняла, — сказала девушка, раздеваясь уже до нитки. — Но ведь и ты понимаешь, что в природе ничего не исчезает и не появляется вновь, а все переходит из одного состояния в другое. Они уже перешли из одного состояния в другое, давай и мы последуем их примеру: давай перестанем заниматься основами биологии, а ляжем и поцелуем друг друга. Я люблю тебя, и это наша единственная ночь. Завтра ты проснешься на своем „Летучем Голландце“, а я что буду делать, скажи пожалуйста? Критиковать Гегеля или цитировать Шопенгауэра? «И она обняла меня. Теперь у нас вместе бились все пульсы. Но у меня настолько сильно развит гуманизм, что я все же попытался до конца объяснить ей всю несовместимость ее дивной любви и некрасивого поступка. Я продолжал свое обстоятельное объяснение: «Я различаю в твоём теле два типа нуклеиновых кислот: рибонуклеиновые и дезоксирибонуклеиновые. А жироподобные вещества-липоиды! А ферменты! Теперь ты понимаешь, что это у тебя за любовь такая, или не понимаешь? Почему для того, чтобы лежать на пружинах со мной, необходимы эти три трупа? Нет между вами никаких различий!» — «Ошибаешься! — разъярилась принцесса. — Еще какие различия! Ты, эгоист и лгун, почему ты фальсифицировал все химические составы? Почему ты не упомянул ни слова об ультрамикрорезементах? У меня еще есть йод, никель, свинец и мышьяк! А золото! Ты знаешь, что в женских волосах больше золота, чем в мужских? Я более драгоценное существо!» Насчет золота я и не подозревал. Это открытие меня потрясло!

— Стой! — прервал Амстена Пирос. — Что ты сделал с этой девушкой?

— Ничего плохого, — сказал Амстен. — Я так разволновался насчет волос, что постарался поскорее проснуться и сообщить обо всем нашему изобретателю Эфу. Мы теперь все миллионеры! Мы сами снимем волосы и будем снимать их со всех встречаемых и поперечных.

Как Пиросу ни было плохо с похмелья, но он встал.

— Я тебя спрашиваю, что ты сделал с этой девушкой? Если ты ответишь что-то не то — клянусь: твое здоровье сильно пошатнется.

— Я с ней ничегошеньки и не сделал, — не испугался Амстен. — Когда это я успел бы что-то с ней сделать за несколько секунд до сна?

— Я успел бы! — разбушевался Пирос. — Позвал бы меня, я бы так успел, что хохотали бы все твои трупы!

Пирос принял порошок, подышал воздухом и успокоился. Больно хорош был воздух. Пирос научил Амстена:

— Я видел во сне вот что. Я иду по пустынному пляжу. Ни души. Я иду легкой и пружинистой походкой барса. Тишина и аравийский песочек. В интерьер пустыни вписываются только три арабских скакуна. Они скачут на фоне рассвета, как олени. Я иду в плавках с якорями. Передо мной, само собой, идет прекрасная девушка, тоже только в плавках с якорями.

— Ну и что? — поинтересовался Амстен. — Как бы это выразиться по нравственному — она покачивала бедрами?

— Какое там покачивала? Задница у нее крутилась, как пропеллер! Я побежал и догнал ее. Я взял ее за шиворот и потащил. «Что ты делаешь, мой мальчик?» — спросила девушка. — «Люблю, только люблю, иначе бы и не тащил!»

— Чего ты ругаешься, как лошадь? — сказал Амстен. — Это совсем не приключения матроса, а приключения ковбоя. Я не люблю смотреть ковбойские фильмы.

— Это еще почему не любишь? Ты антисемит, что ли?

— Хватит, — поморщился Амстен. — Я пойду проверять санитарное состояние корабля. За вашей гигиеной нужен глаз да глаз.

Амстен, эстет, надел противогаз и пошел в галюн.

Все ветры возвращались на круги своя. Рассвело.

Вот и капитан вышел на палубу с кортиком, Гамалай с темными очками и с бородой, а водолазы с кальяном и со шпагами. Лишь Даний, как пассажир, еще спал, конечно же, вверх ногами. Лев Маймун смотрел, как сфинкс, в голубое небо, не мигая.

ИГРАЛА ГИТАРА

— Ты лучше скажи, капитан, что это за корабль «Летучий Голландец»? — совсем уж распоясался Фенелон. — Это парусник, броненосец или теплоход?

— Я спрашиваю, кто играет на гитаре? — разъярился капитан и вонзил свой знаменитый кортик в банку килек. — Свистать всех наверх!

Лейтенант Гамалай построил команду.

Матросы стояли.

Они были в тельняшках.

Амстен играл пинцетами.

Капитан играл кортиком.

Фенелон играл на барабане.

И все равно где-то, еле слышимая, играла гитара.)

Солнце то увеличивалось, то уменьшалось. Море то поднималось, то опускалось. Очевидно, был прилив и отлив, что ли.

Произвели переключку.

Вся команда была налицо. Но гитара не могла играть сама по себе. Думали, что это играет боцман Гамба, миллионер. У него были такие и подобные причуды. Но боцману было не до гитары. Он лежал в красном гамаке и был пьян. Тут бессмысленна была всякая судебно-медицинская экспертиза. Даже доктор Амстен сказал, что Гамба невменяем и на гитаре играть не может.

Близнецы-водолазы с ненавистью отвергли подозрения Гамалай. Как-никак они еще экзистенциалисты.

Стали искать гитариста. Искали, но не разыскали. Во время поисков пьяный одуванчик набил морду изобретателю и радисту. Потом кок раскаялся; и бить-то было нечего: — мышинной мордочке Эфа хватило бы и легкого щелчка, чтобы ее изувечить. Когда Эф упал в трюм, он вспомнил, что еще не изобрел портативный летательный аппарат.

Фенелона хотели повесить. Эф погрузился и успокоился.

Так наступил вечер.

— Пора, — сказал Гамалай и одел темные очки и черную бороду. Каждый вечер Гамалай надевал все это хозяйство, чтобы ни одна душа его не узнала. Он ходил с магнитофончиком по кораблю и записывал всякие фразы. Магнитофончик был небольшой, и матросы охотно говорили что кому вздумается. Многие подозрения Гамалай оправдались. В его мозгу созревали мечты. Эти мечты носили очень разносторонний характер. Когда кто-нибудь снимал с лейтенанта бороду или бил его по очкам, Гамалай говорил обидчику: «Мерзавец!» и напивался до неузнаваемости. Тогда он вновь ходил с магнитофончиком, и его никто не узнавал. Смех смехом, а жизнь — тяжелый труд, а труд — лучшее лекарство.

Воздух потемнел и стал менее прозрачен, чем днем.

Солнце уходило за горизонт и ушло.

Появление звезд было встречено хорошо.

По ночам звезд было много, но каждая звезда сияла сама по себе.

Паруса не шевелились. Вода была бесцветной и неживой.

Как брызги шампанского, повсюду летали рыбки.

Появилась луна, как бинокль с одним глазом. Второй глаз растворился в темноте.

Над луной мелькали молнии, но над кораблем не было никакой грозы. Хороший признак.

Лавалье и Ламолье купались в глубине в скафандрах. Доктор Амстен держал веревки от скафандров. Он прогуливал водолазов, как собак перед сном, и регулировал их купанье.

По палубам ходили матросы и пели общую песню.

У песни был хороший и запоминающийся мотив, но не было слов.

Потом начались танцы под музыку барабана. На барабане играл Фенелон. Гитара не играла.

Танцевали все, кто хотел, и каждый как хотел.

Пирос потихоньку пил с капитаном. Капитан рассказывал Пиросу о своей семье. Он рассказывал задушевно, но семьи у Грама не было и быть не могло. Пирос ругал капитана самыми последними ругательствами перед сном. Они играли в кегли, и кок похвалил капитана:

— Рахит, рахит, а играет правильно!

Даний уже спал, как всегда, вверх ногами.

Эф бегал, как мышка, по палубе и демонстрировал свое последнее изобретение. Он изобрел карманный фонарик, который не горел, вместо прежнего, который горел.

После танцев началась драка.

Пьяный рулевой упал за борт и утонул.

Но корабль все равно шел по курсу.

О рулевом вспомнили на пятый день.

Его имя позабыли, но вспоминали, что это был замечательный товарищ, интеллигент.

Все сочувственно отзывались о его гибели.

Но корабль шел по курсу и без рулевого.

Это было чудесно.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ КОК ПИРОС И ФИЛОСОФ ДАНИЙ

— Пойдем, выпьем, — сказал кок Пирос философу Данию. — И напьемся вдребезги.

— Я еще никогда не был пьяным, — сказала гусяная лапка. — Что такое напиться для меня секрет.

— Вот и прелестно. Ты выпьешь две бутылки бренди и через полчаса разгадаешь страшную тайну своего секрета. Подумай, шарик, перспективы-то какие!

— Пьянство — это не род деятельности.

— Еще какой род! Что бы делали на нашем корабле, если бы не пили? Ты только послушай, какие мы по пьянке выдаем парадоксы!

— Но парадоксы — это не жизнь.

— Правильно. Жизнь — это парадокс.

— Жизнь — это полезная деятельность организмов. Перестань, Пирос! Круг твоих умозаключений порочен.

— Непорочна только невеста мертвеца.

— А если я непорочен, значит, я — невеста мертвеца? — Даний выхватил кольт, его голова — маленький шар — закрутилась, а лицо обрюзгло.

Пирос взял Дания за верхнюю пуговицу мундира. Теперь закрутилось и туловище Дания — большой шар. На пуговице мелькнул контур «Летучего Голландца».

— Слушай, — сказал Пирос. — Жизнь — это не только полезная деятельность. Это еще и драгоценность, которая все время висит над пропастью на паутинке. Не дуй на паутинку, Даний. — Пирос взял у Дания кольт. — Кольт, — сказал Пирос, — это лишь продукт деятельности человека. — Пирос взял Дания рукой за горло. Теперь голова Дания вертелась в одну сторону, а туловище в другую. — Рука моя, — сказал Пирос, — это родоначальница всякого труда. А согласись, не так уж трудно взять тебя за горло. Если ты еще раз при мне обнажишь кольт, чтобы доказать мне первородность своего мнения, то от твоей глотки останутся только позвонки для детской игры в кости.

— Ползи, моллюск! — сказал Пирос.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЭФ. КАПИТАН ГРАМ ПРОДОЛЖАЕТ ПОИСКИ ГИТАРИСТА

— Смешно! — сказал капитан. На его лице вспыхнул румянец гнева. — Мы плывем к счастью, и ни с того ни с сего какая-то сволочь начинает играть на гитаре, не понимая, что жизнь и так полна опасностей.

Капитан много лет не был в машинном отделении, поэтому он решил, что гитарист — именно там.

По вертикальному трапу капитан спустился в машинное отделение.

Моторы не шумели. Но за гофрированной дверью раздавалась совершенно немыслимая стрельба. Кто-то стрелял.

Капитан открыл дверь и отпрянул. Не испугался. В трусости капитана мог уличить лишь сам трус из трусов, да и то не вслух, а в своей трусливой душонке. Все знали наверняка — их капитан храбр, как царь Спарты Леонид. Но за дверью, в кромешной тьме, по горизонтали вращался большой светящийся круг — карусель из трассирующих пуль. Пули шумели.

Капитан ощупью включил свет.

Эф опустил кольт.

Эф был маленький, статуэтка, лилипут с большим фарфоровым лицом, украшенным большими черными усами. Его маленькие

фарфоровые ручки всегда мелькали в воздухе. Помимо всего остального, он любил все лакомства на свете, особенно леденцы.

В помещении пахло леденцами.

Взволнованный, как перед смертью, Эф окаменел.

— Что это за галиматья? — спросил капитан.

— Машинное отделение, — растерялся малютка.

— Да, уж это не плантации какао. Что делает наш радист в машинном отделении?

— Мой брат был мотористом.

— Что-то не слышу я ни песни моторов, ни гула.

— Мой брат замуровал моторы много лет назад и оборудовал здесь лабораторию для опытов.

— Красота! — сказал капитан с нескрываемым восхищением. — Кому же я много лет командую «*Полный вперед!*»?

— Если ты командуешь, следовательно, кто-то исполняет команды.

— Это я и без тебя знаю. А ты? Ты играешь на гитаре, не так ли? — провоцировал капитан. — Скажи, что это не кольт, а замаскированная гитара, и я тебя прощу за такое чудесное изобретение.

— Я? Я стреляю.

— Не прикидывайся лимонной корочкой, ты, обормот! — расвирипел капитан. — А я тебе говорю, радист Эф: кто тебе разрешил?

— Это не я, — взмолился Эф, — это мой брат.

Эф думал, что капитан думает, что это он, Эф, преступно замуровал моторы. Вот почему Эф отнекивался. Но капитану было наплевать на моторы, он разыскивал гитариста.

— А ты мне не «тыкай!» — такими обидными словами капитан оскорбил Эфа. И спохватился: — А что, твой, как ты утверждаешь, брат, это он играл на гитаре?

— Да нет! — еще сильнее разволновался Эф. — Не играл он! А моторы — это он замуровал! Мало того, что мы плывем без рулевого, но мы плывем и без моторов! — беззастенчиво расхвастался Эф.

— Где же он, как ты его называешь, брат? Не вижу я никаких признаков того, что ты называешь братом.

— Он умер.

— Так уж и умер! Как это он ухитрился, а мы не знали?

— А вот как, — вдохновился фарфоровый человечек. — Он стоял на этом месте. — Эф поставил капитана на *это* место. — Он стрелял из колта вот в эту точку. — Эф показал кружочек на бетоне, нарисованный красным мелом. — Стреляй, — сказал Эф голосом, полным пафоса. — Стреляй, — закричал Эф не своим голосом, — мой брат стрелял!

Капитан выстрелил, но поспешно.

Он не попал в эту точку, но на сантиметр левее. Трассирующая пуля замелькала по помещению, отскакивая от стен. Пуля упала на пол.

— Не попал, капитан, — чуть не плакал Эф, — о, если бы ты попал!

— А если бы? — полюбопытствовал капитан, и Эф был благодарен капитану за любопытство.

— Ах! — капитан! — воскликнул оживившийся Эф. — Я работаю в нищенских условиях. У меня нет ни лаборатории, ни специального оборудования, ни ассистентов, ни персонала! Если бы ты попал в эту точку, — лицо у Эфа стало совсем фарфоровым, как у школьницы, которая впервые разговаривает по телефону с популярным артистом экрана, — если бы ты попал в эту точку, то пуля отскочила бы от нее и попала бы в эту точку, — Эф показал еще точку на стене, отмеченную синим кружочком, — в следующую точку, в следующую, и еще, и сюда, и сюда, — Эф, как эпилептик, метался по помещению, — потом прямехонько в висок тебе, капитан! — Эф отошел на шаг и присмотрелся к капитану: — Ну, может быть, миллиметра на два пониже центра виска, мой брат был миллиметра на два повыше! Эх, капитан, ты имел шанс пожертвовать собой для науки, как пожертвовал собой мой брат, чтобы выяснить научные возможности рикошета. Я три года самостоятельно исследую эту тему. И я многого добился. Если бы пуля попала тебе в висок, ты бы окончательно понял, какую пользу сулят мои исследования. Гляди, капитан, и веселись!

И Эф выключил свет.

Эф стал стрелять с невероятной скоростью.

Трассирующие пули летали и свистели. Они образовывали самые разные движущиеся фигуры, как неоновые рекламы: буквы, основы геометрии и планиметрии, контуры животных и растений. В заключение Эф изобразил во тьме контур «Летучего Голландца» из трассирующих пуль.

Капитан дышал тяжело, как мертвец.

Его мундир был в нескольких местах прострелен, дырки дымились, но тело пули не тронули. В этом-то и заключалась вся хитрость Эфа.

Капитан совсем осатанел.

Мало того, что он не нашел гитариста, ему еще посчастливилось бы несколько секунд назад получить пулю на два миллиметра ниже центра виска.

Грам хотел разбить Эфу каждый миллиметр его мерзкой фарфоровой морды, вырвать по волосинке все черные усы, но от ненависти капитан задохнулся и начал нести что-то уж совсем

несуразное про свою семью, которую он сегодня видел во сне в полном составе, и особенно про сестру.

Эф прыгал по комнате небольшими прыжками. Он был счастлив. Он подумал, что капитан Грам несет всю эту околесицу как прелюдию к признанию таланта изобретателя.

И вот капитан уже не бушевал, а успокоился. О его полнейшем спокойствии свидетельствовало то, что Грам сказал:

— Ты не будешь очень отчаиваться, если мы сначала повесим Фенелона, а только потом тебя?

— Нисколько! — рассмеялся Эф, и его черные усы разлетелись по всему лицу. — Потому что повесить меня не удастся: я слишком гениален и моя изобретательность спасет меня от виселицы.

— Как знать, как знать. А я думаю, в наш век никакая сила никого не спасет от петли. У меня еще есть и сомнения: а гениален ли ты на самом деле? Ведь гениальность — не очень распространенное свойство среди матросов.

— Если я не гений, то кто же я? — искренне удивился Эф.

17 СЕНТЯБРЯ 1967 ГОДА.

ЛГУТ ПТИЧЬИ ГОЛОСА НА РАССВЕТЕ.

ВОССТАНИЕ

17 сентября 1967 года на «Летучем Голландце» вспыхнуло восстание.

Кто-то из тех сорока матросов с усами, которые постоянно сидели в леднике, произнес вслух, что на корабле давно уже нет торжества справедливости.

Все до последнего матроса вышли из ледника.

Каких усов здесь только не было — и как у Эйнштейна, и как у Ницше; как у Чингиз-хана, как у Вильгельма Оранского, как у Фридриха Великого, как у Гитлера, — и много, много других, всего сорок усов, ни больше ни меньше.

Матросы растрепали усы и сбросили свои соболиные и лисьи шубы на палубу. Они сели на палубу, на шубы. Они все как один запели всякие песни объединенными голосами.

На капитанском мостике стоял лейтенант Гамалай. Он был бледнолиц, корректен и хром. Он не сомневался в победе восстания и предусмотрительно занял капитанский мостик. Он был одинок на мостике и в темных очках. Он продумал не просто восстание, а восстание драматическое. Лейтенант не любил кровопролития. Поэтому он придумал вот какую историю.

Восстание восстанием, пускай матросы выходят из ледника и

поют глубокими голосами. Пускай они стреляют из кольтов в голубой воздух. Но это произойдет утром. Это уже будет подведение итогов, праздник и триумф.

А ночью Гамалай действовал так.

Он загримировал матросов под офицеров, десять матросов под капитана Грама, Пироса, Амстена, Эфа, Сотла, Фенелона, Гамбу, Лавалье и Ламолье, Дания. Можно было подумать, что на корабле проходит костюмированный бал. Работа была тяжелая, но благодарная.

Каждый из десяти матросов, незамеченный остальной командой, по окольным трапам пробирается к двойнику и убивает его ударом кинжала. Убив, он протирает кинжал туалетной водой Шанель N 5 и выбрасывает его за борт. Выбросив, как ни в чем не бывало, матрос говорит голосом и предложениями двойника и пьет со всей командой на всякий случай. После восстания убийцы разгримировываются. Трупы офицеров тайком выбрасываются в море специально составленной погребальной командой. Остальным объясняется, что от страха перед восставшими массами матросов офицерский состав самостоятельно выбросился в море и захлебнулся в соленой воде. Теперь капитан — вдохновитель восстания Гамалай. Лишь ему одному известно, что представляет собой торжество справедливости, он один знает, как плыть к счастью.

Так все и получилось бы, если бы загримированные матросы не перепутали инструкции.

Вместо того чтобы сначала устранить офицеров и передать их трупы на попечение погребальной команды, а уже потом, после манипуляций с кинжалом, приступить к бренди, матросы, не теряя ни одной минуты напились. А поскольку доктора Амстена с его знаменитым искусственным дыханием не было поблизости, то все до единого, все десять исполнителей этой мелодрамы, напились до полусмерти, в результате чего и умерли.

Гамалай ничего не знал и переносил их трупы, прихрамывая, думая, что это трупы ненавистных офицеров.

Как он был далек от истины! Он хватал трупы собственной драматургии!

Когда могильщики обмыли неживые тела трупов, тогда все встало на свои места. Их выбросили за борт, и никто не салютовал из личного оружия. Можно было отправить на эту операцию еще одну группу матросов. Но матросы куда-то запропастились, и нигде их не было.

С конспиративным восстанием ничего не получилось.

День сулил смех и слезы, кровь и счастье.

Гамалай стоял на мостике, как статуя Ганнибала.

Двенадцать горнистов на сей раз не играли зорю. Они сидели,

как гуси, в плетеных корзинах и смотрели на Гамалая бирюзовыми глазами. Телохранители, они охраняли его.

Они держали Гамалая под прицелом двенадцати кольтов. Сколько раз лейтенант предупреждал горнистов, чтобы они не наводили на него дула кольтов, а наводили на узурпатора капитана Грама. Но капитан спал предсмертным сном, а на капитанском мостике стоял Гамалай, а Гамалай предупредил горнистов, чтобы они держали мостик под прицелом, они и держали.

Так что нервы Гамалая были напряжены. И на висках и в других областях тела у него пульсировали нервы. Он понимал всю ответственность.

Матросы пели уже больше часа, и так хорошо, что позабыли: с какой целью они вышли из ледника?

Воздух был нежен и душист. Океанский сад; в этот утренний час хорошо вдыхать запах райской розы; не поднимать восстание, а опускаться на ложе разврата дивную девушку, принцессу.

Но, побросав шубы, матросы все же поднялись на борьбу.

Палубы пустовали.

Поэтому восстание было предоставлено самому себе, каждый матрос мог высказать свое, одному ему свойственное мнение.

На мостик поднялся матрос с усами, как у Леонкавалло. Он обращался к офицерам, которые еще спали. Он сказал гневным голосом протеста:

— И вы и мы люди. И у вас и у нас есть челюсти, мозговое вещество, тазобедренные суставы и позвоночные столбы. Но почему вы — офицеры, а мы — матросы? Почему у вас в каютах царит солнечная современность, а у нас в леднике — ледниковый период?

— Правильно говорит! — зашумели матросы. — Все так и есть на самом деле! Это — критические слова, и все! Молодец!

— Мы протестуем против искусственного замораживания наших талантов и способностей, — воодушевился матрос. — Мы не хотим стать жертвами низких температур! Мы хотим, чтобы наши мысли естественно развивались. Мы хотим создать всем счастливую жизнь и культурные ценности.

— Я тоже свободолюбив, — сказал матрос с усами, как у Ги де Мопассана. И он поднялся на мостик и дрожал от желания сказать свою мысль. — Но не лучше было бы сказать то, что говорил предыдущий оратор, капитану и холуям? А то что же получается: они спят себе с удовольствием, а мы им говорим?

— Правильно говорит! — зашумели матросы. — Они действительно спят и в ус не дуют, потому что они без усов! А мы с усами — да еще им говорим! Молодец!

— Мы говорим друг другу, и это правильно, а с узурпаторами

разговор один — за борт! — сказал матрос с усами, как у Леонкавалло.

Над толпой со всех сторон поднялись кулаки. Раздались выстрелы. Это матросы стреляли из кольтов в голубой воздух.

На палубе появился кок Пирос.

— Что это такое, уж не олимпийские игры ли вы устраиваете? — Одуванчик нес льву Маймуну ведро малосолевых огурцов.

— У нас восстание! — расхвастались матросы.

— А! — сказал Пирос. — Желаю удачи.

Пирос поставил ведро поближе к морде льва и из бортового ящика выкатил пулемет.

— Пока мы все друг другу рассказываем, — сказал матрос с усами, как у Ги де Мопассана, — пожалуйста, уже кок Пирос выкатил пулемет. Посмотрите, как храбро хохочет около пулемета этот холуй!

— Хорошо смеется тот, кто смеется последний, — сказал матрос с усами, как у Леонкавалло. — Пулемет нам не помеха. Для восстания за торжество справедливости нет преград. Пусть он принесет хоть статую Эрнста Теодора Амадея Гофмана и вообще околеет от хохота. Пусть стреляет. Восстание требует жертв.

— Это предатель, — сказал в рупор лейтенант Гамалай.

— Кто, кто предатель? — заволновались матросы. — Кок Пирос или тот, кто все время задает вопросы?

— Тот, — сказал Гамалай. — Матрос, у которого усы, как у Ги де Мопассана. Я подозреваю, что он — ученик Фенелона. Только это племя способно задавать непредвиденные вопросы, чтобы отвлекать нас от действия.

— У нас нет имен, и это возмутительно, — решил матрос с усами, как у Леонкавалло. — У вас всех есть имена, хотя бы такие коротенькие, как «Эф». У вас всех — имена, а мы — безымянные твари. Мы не хотим, чтобы нас называли «матрос с усами, как у Кольбера»... «матрос с усами, как у...»

— Что изменится, если я назову тебя *Дездемона*? — спросил Фенелон.

— Вот видите! — горестно воскликнул Гамалай. — Фенелон здесь! Этот тип в своем ампула!

Фенелон вошел в толпу тихо и уже несколько минут стоял в массе матросов и слушал их трели.

— Если меня назовут по имени, у меня появится самосознание и получится моральная ответственность перед всеми, — ответил Фенелону матрос с усами, как у Леонкавалло.

— Какой ты умный, Дездемона! — сказал Фенелон. — И откуда ты такие красивые слова разузнал? Вообще: это восстание

полутрамотных матросов или международный симпозиум поэтической молодежи?

— Брось гранаты, Фенелон, — сказал в рупор Гамалай. — Освободи руки от груза, и мы тебя повесим.

— Нет никакой необходимости. Если я брошу гранаты, я сам взорвусь, но и взорву весь ваш плебисцит. А я хочу вас кое о чем порасспросить.

Гамалай не уронил свой престиж:

— Приказываю оставить гранаты при себе. Ни ты, ни твои гранаты никуда не денетесь. Спрашивай, холуй, мы не делаем тайны из своих убеждений.

— Вы хотите переселиться в каюты. Но ведь в каютах не хватит места всем, и вы, остальные, так или иначе, возвратитесь в ледник.

— Мы превратим ледник в каюты.

— Тогда вы подохнете с голоду, потому что негде будет хранить продукты.

— Не беспокойся. Мы все предусмотрели. Мы преобразуем корабль. Мы уберем паршивые паруса. Из каждой мачты мы вырастим плодово-ягодное дерево. На мачтах у нас будут висеть не несчастные человеческие жертвы произвола, а персики, абрикосы, апельсины и ананасы.

— Но если вы уберете паруса, корабль будет крутиться на месте, как собака, обкусывающая блох на своем хвосте.

— У нас есть матрос, который всю жизнь чувствует призвание стоять у руля. Он простодушен, красавец, румяный, у него усы, как у герцога Альбы. А к бортам корабля мы привяжем спасательные пробковые пояса — и корабль никогда не утонет. У каждого будет своя каюта и свое фортепьяно. И всем будет хорошо. И мы все вместе приплывем к счастью.

— Но мы и так плывем к счастью.

— Но как? Мы хотим плыть не так, как вы хотите, а так, как мы.

Пирос уже заскучал у пулемета. Он расчесывал черепашьям гребнем кудри и вздыхал. От нечего делать время от времени кок бросал огурец-другой в матросские массы, охваченные восстанием, и тогда волнения среди матросов усиливались и приобретали все более агрессивный характер.

Солнце во все небо.

Солнце согревало мир живой и неживой природы.

Стайки маленьких рыбок носились в воде, как пилки для ногтей.

Большие рыбы лежали на воде и раскрывали жабры — так на рассвете раскрывают жабры белые лилии.

— Правильно говорит! — шумели матросы. — Правильно го-

ворит Гамалай и матрос с усами, как у Леонкавалло, и матрос с усами, как у Ги де Мопассана, и правильно говорит Фенелон. Молодцы! — приветствовали матросы и стреляли в голубой воздух из кольтов. И стреляли с бешеными ругательствами.

Как раз в этот момент на палубу вышел капитан Грам.

Все его тело, как всегда, было покрыто красными вьющимися волосами. Если бы капитан превратился в собаку, то это был бы эрдель-терьер. Капитан вышел в кожаных шортах. На его красной волосатой груди на золотой цепочке висел кортик.

— Посмотри, — сказал капитан Пиросу, — какие у меня красные кудри повсюду! Вот бы тебе такие!

Восставшие окружили Пироса и капитана.

Матрос с усами, как у Тиграна III, сказал:

— Поздно, варвары. Прекратите ваши разногласия диктаторов и палачей. Ваше оружие!

— Этот матрос еще никогда в жизни не висел на рее. А еще носит усы, как у Тиграна III. Есть о чем призадуматься, — сказал капитан.

Было о чем призадуматься. Капитан сел на палубу и призадумался.

Он сидел на палубе и ломал голову.

Он собственным кулаком ломал голову матросу с усами, как у Тиграна III.

— Что здесь происходит? — спросил капитан, отряхиваясь. — Почему все шумят и что-то бормочут?

Гамалай вмешался в дело. Он был бледнолиц и в темных очках.

— У нас восстание! — воскликнул Гамалай. — Ведь и мы люди, и тебе не побоюсь сказать прямо в лицо, капитан: между матросами и офицерами я не вижу никакой разницы. Та разница, которую вы ввели, — искусственна и фальшива.

— Знаешь что, — сказал капитан, — хорошая бутылка вина и бутылка хорошего вина — все же большая разница.

Матросы заплодировали. Аплодисменты постепенно перешли в овацию. Капитан сумел затронуть самые интимные струны матросской души.

— Правильно говорит! — ревели матросы с воодушевлением. — Молодец, капитан! Вот это сказал, псина!

— У нас восстание! — напомнил Гамалай. — Матросы! Все как один!

— Мы не хотим с тобой разговаривать! — закричали матросы. — Капитан правильно сказал про то, что бутылка — это да! — И матросы, чтобы не разговаривать с Гамалаем, все как один полезли на мачты.

Они сидели на реях, как сине-белые вороны и махали кольцами.

Это огорчило Гамалая.

— В нашей программе не было похода на реи. Как раз в этот момент вы должны штурмовать рубку управления.

— Ах, у вас восстание, — обрадовался капитан. — А почему оно стихийное и так плохо организованное? Почему вы вооружены одними кольтами? Это преступная халатность в таком правом деле!

— Позовите доктора Амстена! — восклицал Гамалай. — И вам и нам нужно будет перевязывать раненых и делать внутривенные инъекции. Капитан, приготовься мужественно умереть. Это твой последний долг перед командой.

— Молчать, — сказал капитан громовым голосом. — Мой долг — возглавлять все, что происходит на моем корабле! К оружию, матросы!

Матросы расхватали автоматы.

— В две шеренги становись! — не унимался капитан. — Восстание начинай! *Долой ледники и да здравствует солнце!* За мной!

Матросы воодушевились до последней степени и с автоматами наперевес бросились кто куда.

Они перестали стрелять в воздух и стали стрелять друг в друга. Пули свистели!

Впереди всех бесился Пирос. Он показывал такие чудеса храбрости и геройства во всеобщей драке, что писать об этих чудесах прописные истины — преступление.

Сотл то опускался на колени, то поднимался на цыпочки. Он думал, что это совсем не восстание, а репетиция музыкальной комедии из репертуара Кальмана.

Матросы дрались в одиночку, но и объединялись.

— Стойте, стойте! — уговаривал всех Сотл. — Не стреляйте. Не надо крови. Меня от нее тошнит. Лучше оглянитесь: как прекрасно по небу летят журавли. Они летят на юг!

Журавли действительно летели на юг. Нет прекраснее птицы, чем журавль. А как поют журавли в сентябре!

Но матросов сейчас это совсем не интересовало. Их интересовал трюм. В трюме стояли бутылки бренди. Около трюма дрались врукопашную. По палубам плыла кровь.

Особенно кроваво дрались матросы: один с усами, как у Леонкавалло, другой с усами, как у Ги де Мопассана. Ораторы и вожди, сначала они плевали друг другу в физиономию. Потом били друг друга прикладами по переносице. Потом разбивали друг другу бляхами лбы. Потом упали на палубу и задушили друг друга. Они жили счастливо и умерли в одну и ту же минуту. Их объятия оказались смертельными.

Фенелон дрался иначе: бесстрастный, он сидел в кресле-ка-

чалке Ламолье и читал Библию. Он сидел мрачно, как большая человеческая сова. Время от времени он слюнявил указательный палец, чтобы перевернуть страницу. Если какой-нибудь матрос подбегал к нему с агрессией, Фенелон подзывал его указательным пальцем и показывал на страницу. Матрос наклонялся над страницей, и тогда Фенелон бил его снизу смертельным ударом под подбородок. В дыму и под пулями Фенелон читал «Откровение Иоанна Богослова». Он знал, что делает.

— Ты не имеешь никакого официального права! — восклицал Гамалай, обращаясь к капитану. — Я годами вынашивал ненависть к рабству! Я собрал целую фонотеку магнитофонных записей. Это — колоссальный обличительный материал. Я конспиративно подготовил восстание. Разве ты имеешь официальное право брать руководство восстанием на себя? Это — я!

Матросы уже вытаскивали бутылки вермута и дрались бутылками. Когда бутылки соприкасались с головами, получался довольно-таки колокольный звон. Некоторые унесли бутылки в ледник и замерзли насмерть.

Доктор Амстен метался от матроса к матросу. Он перевязывал раненых, потом связывал их попарно бинтами и сваливал за борт.

И капитан метался от матроса к матросу, приветствуя все их действия.

— Молодцы! — хвалил капитан. — Хорошо! За мной! О, мстители и протестанты! Я этих матросов люблю! — И сам капитан для разнообразия бросал то туда, то сюда гранату.

— Смерть капитану! — вскричал возмущенный до глубины души Гамалай. Он был возмущен поведением капитана и уже чуть-чуть не выстрелил в него из кольта!

Но как раз в этот момент Гамалай поднял глаза и увидел: с бизани падают за борт два израненных гиганта, близнецы Лаволье и Ламолье. В воздухе мелькали только сломанные шпаги и римские профили. За долгие годы этих дуэлей по понедельникам у Гамалая выработался уже условный рефлекс. И вместо того чтобы выстрелить и так навеки освободиться от капитана, исполнительный вождь восстания закричал, как всегда:

— Человек за бортом!

Все позабыли о восстании и моментально спустили шлюпки.

Горнисты побросали плетеные корзины, в которых они сидели, и бросились спасать водолазов.

Все шлюпки спустили на воду. На борту остались лишь капитан и лейтенант.

— Что же тебе сегодня приснилось? — спросил капитан.

— Я видел сегодня во сне восстание, как и всегда во сне. Но оно произошло совсем не так. Во сне я совершил все хитрее. Оно имело девиз: «Одна секунда террора парикмахеров». Не

нужны были никакие массы. В энной стране я собрал всех дворцовых парикмахеров и в первую очередь распределил между ними министерские портфели. Ровно в 11.00 парикмахеры ежедневно брили министров и короля. В эти 11.00 парикмахеры несколько активнее провели бритвами по их горлу, то есть быстро отделили туловище от головы. В 11.01 все правительственные радиостанции информировали страну о свершившемся перевороте и что теперь диктатор — Гамалай.

Капитан посмотрел на Гамалая. Вид у лейтенанта не был жалкий. Его только трясло. Даже его бледное лицо сотрясала лихорадка. Кольт выпал из его рук на палубу. И глаза прыгали по лицу, как ртутные шарики. Капитан отстегнул свой кольт и подал Гамалаю.

— Нервная лихорадка, — сказал капитан. — На и застрелись.

Гамалай взял кольт и застрелился.

Все требования матросов были удовлетворены.

В леднике был повешен художественный плакат:

«Долой ледники! Да здравствует солнце!»

Шубы матросы выбросили за борт.

Все продукты из ледника убрали.

Теперь матросы свободно развивались. В леднике появились гимнастические снаряды и сталактиты. Половина матросов перешла в ближайшее время от ангины и менингита, но зато остальные стали умные и атлеты.

Встал вопрос о перевыборах офицеров.

И это требование было удовлетворено: никаких перевыборов быть не могло — ни у кого из матросов не было специальных знаний. Поэтому решили переизбрать, на худой конец, Дания. Все матросы категорически протестовали против того, что Даний — товарищ капитана по оружию. Другом детства капитана Грама, его товарищем по оружию был единогласно избран Пирос. Даний был оставлен философом и пассажиром.

Оказывается, у Гамалая во внутреннем кармане мундира нашли выправленный приказ по кораблю. Первый приказ Гамалая гласил:

Повесить Фенелона.

СМЕРТЬ СОТЛА

Ночью у моря была золотая вода.

По воде бегал бенгальский огонь.

Звезды были, как кристаллы марганца и марганцевого цвета.

За кораблем, как всадники, шли волны.

Воздух был темен, а луна прозрачна и шарообразна. Паруса

вздыхали. Маймун спал. Впередсмотрящий Фенелон смотрел вперед. Его студенистые бакенбарды фосфоресцировали, в темноте не было заметно, что у него красный, смехотворный нос. Фенелон стоял как всегда босиком и чуть-чуть играл на барабане.

Мачты под луной были как всегда нарисованные. Вода в воде была черная, когда корабль наклонялся вправо, и золотая, когда корабль наклонялся влево. Корабль шел бесшумно на всех парусах. На его мачтах горели живые огни.

Фенелон босиком стоял на корме. Он смотрел вперед и прислушивался, как спит лев. На палубе была роса, как на лугу.

На корме стоял и Сотл. Большая фигура мечтателя, он смотрел на луну во все свои пенсне. Сотл смотрел внимательно. Иногда его пошатывало, тогда он закрывал глаза и старался сохранить равновесие, чтобы не споткнуться. Сотл смотрел на луну и размышлял о чем-то своем и потустороннем.

Он чувствовал себя не совсем хорошо, его подташнивало, как всегда, но сегодня особенно.

— Посмотри, — сказал Сотл, — наша луна как будто не в небе, а в воздухе!

— Что ж, небо — по-твоему — не воздух? — сказал Фенелон.

— Конечно, небо не воздух. Ведь небом дышат лишь птицы, а человек дышит воздухом.

— Поучись летать на самолете и тоже будешь дышать небом.

— Это твоя фантазия, Фенелон, и утешение, но утешение слабое. Ни на каком самолете никакой пилот не дышит небом. Он же сидит в герметической кабине и дышит воздухом кабины. Вот тебе небо и вот тебе воздух.

Фенелон обернулся, бакенбарды его засветились и погасли.

Он сказал:

— Слушай меня, Сотл, и слушай внимательно. Брось ты эти мысли. Брось их насовсем, иначе получится, ты и сам знаешь что — получится, что это твои последние слова. Ты самый большой и самый сильный, и если ты отчаешься, то что же нам?

— Я не отчаиваюсь. Но скажи, почему тебя хотят все время повесить? Что ты такое сделал? Ведь, чтобы убить, нужно иметь очень веские доказательства.

— И повесят, не волнуйся. Без всяких доказательств. И не потому, что они плохи, а я хорош, просто потому, что уж так повелось: кого-то обязательно нужно повесить. Как нужно есть, пить, любить, так нужно и вешать. А я еще хожу босиком и играю на барабане.

— Но ты и читаешь Библию. Скажи мне, я не читаю Библию, за что и почему меня женили на кукле? Я всю жизнь мечтал о невесте и о страстной любви, а меня женили на кукле. Я им

говорил — не надо, что вы делаете? Это нехорошо! это не по-товарищески! Но, как ты и сам знаешь, у меня теперь кукольная семья. И все говорят, что мне завидуют, да они и действительно завидуют. Вот Гамалай приходил в черных очках смотреть, какое у меня семейное счастье. Ну и счастье. Я ее распорол и опилки выбросил в море. Капитан Грам сказал: — Не ожидал я, Сотл, от своего старшего помощника таких семейных сцен. Ты кто, офицер или артист мелодрамы? А доктор Амстен сказал, что будет теперь меня лечить, если я споткнусь, так просто, по обязанности, но без любви. Он сказал, что я подаю дурной пример команде: на глазах у всех разрушаю семью и выбрасываю свое семейное счастье за борт.

— А ты поступил бы, как Пирос. Дал бы капитану в челюсть, и он живо успокоился бы.

— Я не могу, нет. Если я ударю, то убью. А потом меня замучает совесть.

— То-то и оно, — сказал Фенелон. — У тебя совесть.

— Кто мы? — сказал Сотл. В его голосе послышались слезы. — Луна объемна, как будто совсем перед глазами. Все ее кратеры обозначены, как типографические значки. Удивительно, как луна висит сама по себе. Я знаю, что там никого нет, лишь выпел какой-то великой державы. Уж лучше быть замороженным на луне, как выпел, чем все время качаться в этой тошнотворной лоханке. Куда мы плывем, Фенелон, и зачем? Если тебя все хотят повесить, значит, ты самый умный, объясни мне, я сомневаюсь. Откуда мы? Ты знаешь?

— Нет, и я не знаю. Мы появились на корабле как-то в одно время и все вместе. Сначала я еще что-то помнил, как начало детства, но потом и это что-то позабыл. Все твои кто? откуда? куда? зачем? — всего лишь вопросительные местоимения и наречия. Ни один матрос этого не знает и не узнает. Иди спи, Сотл, и не мучай луну.

— А может быть, море — не море, а волшебный купол, состоящий из влаги, а под куполом и заключается вся жизнь и все приключения со счастьем вместе. Может быть, там и только там сентиментальные рыцари живут в готических замках, а для них танцуют белоснежки и дюймовочки, а в подвалах пьют нежные вина маленькие мудрые белобородые гномы, а в театрах коломбины и пьеро, а по воскресеньям они все уезжают в гондолах на острова сокровищ, и там так естественны слова *любовь, счастье, друг, хлеб, небо, отчизна*, и все говорят, не оглядываясь, такими словами.

Сотл зажег спичку. Пламя осветило его большое близорукое лицо. Глаза его были широко раскрыты и казались бесцветными.

Его лихорадило. Он раскурил сигару, но больше не курил, а так держал ее зажженную в правой руке.

Закурил и Фенелон. Пламя осветило его совиное лицо, бакенбарды и большие уши. Он закрыл совиные глаза и скрестил руки на груди. Его бакенбарды еле-еле фосфоресцировали, а выпышки сигары освещали время от времени мучительное лицо.

Все было немо. Все звуки растворились в ночи. Лишь чуть-чуть мигали на мачтах живые огни.

— Нет, — покачал головой Фенелон, — не безумствуй. Море — это никакой не купол. Это — самая обыкновенная вода. Ее химическая формула нам известна. И нам и всем. Правда, в морской воде растворено и золото, но еще никакой Челлини не чеканил из него драгоценные сосуды. Все металлы, металлоиды, щелочи, кислоты растворены в морской воде, но мы не увидим их никогда невооруженным глазом.

— Вот-вот! — сказал Сотл. — Давай вооружим и глаза. Пускай в каждый глаз Эф-изобретатель вмонтирует по кольцу, а доктор Амстен пускай повесит на хрусталики по противогазу! За нашу кильку, мечту человечества — огонь! — как сказал бы Пирос.

— Не надо, — сказал Фенелон. — Слушай. Вода усвоила все эти вещества, как наша кровь усваивает питательные вещества. Тебе известны все животные моря, Сотл, все растения. Ты знаешь, как это называют ученые: морская фауна и флора. Так что море — нет, не купол.

Около бизани возникла фигура доктора. Доктор Амстен был в противогазе и в кольчуге. Он просыпался: при рассеянном свете луны он читал книгу об искривлениях позвоночника у детей. Очень своевременная книга, потому что детей на корабле не существовало. В темноте Амстен был похож на водолаза, и пальцы, которыми он перелистывал книгу, не были видны. Казалось, что книга сама перелистывает свои страницы.

В воздухе замелькали фигурки птиц.

Птицы садились на ванты.

Грачи сидели и не шевелились, как статуэтки из старого серебра.

— Земля близко, — прошептал Сотл. — Скажи, Фенелон, еще: а может быть, можно убежать с этого корабля? Может быть, можно переиначить свою судьбу? Может быть, мне еще неизвестны и какие-то мои таланты? Может быть, мои таланты выяснятся в наземных приключениях?

Уже рассветало.

На носу забеспокоился лев Маймун. Он зазвенел цепью, встал на задние лапы и великолепно зевнул. Сейчас он примется понемножку реветь, чтобы проснулся его друг и учитель Пирос.

Доктор Амстен, к сожалению задремал. Он прислонился головой в противогазе к бизани. Ему, естественно, снилась противоздушная оборона. Книга об искривлениях позвоночника у детей вспорхнула и улетела в море.

Над головой Сотла билась в истерике большая и пестрая стрекоза.

Сотла махал руками, но стрекоза не улетала.

— Нет, — сказал Фенелон устало. Рассвело, и стало заметно, как небрит Фенелон. Все его лицо обросло серой щетиной, как лицо совы — перьями. — Никуда, никто не убежит с корабля. «Летучий Голландец» — легенда. Таинственные и темные силы участвуют в его движении, сколько бы Даний ни разглагольствовал о счастье. Многие пытались приостановить корабль, но все они погибли страшной и мучительной смертью. А корабль все равно несется на всех парусах. И судьба его команды — с ним. Ты думаешь, Сотла, ты первый, кто подумал о побеге? Не первый. Уже бежали. Но все возвращались. И все, возвратившись, погибали. И знай: возвращались добровольно и умирали добровольно. Их гнали обратно все те же темные и таинственные силы нашего движения, и эти силы — в душе каждого из нас. Мы любим свой тотальный театр абсурда, как Христос любил свое распятие, как заключенный любит свою тюрьму. Вот в чем дело, Сотла.

Сотла пристально рассматривал Фенелона своими близорукими голубыми глазами.

— Что-то в тебе изменилось, Фенелон. Не знаю, что, но что-то изменилось.

— Не думаю, — усмехнулся Фенелон. — Я по-прежнему самостоятелен и независим в своих мыслях...

— Да нет, — Сотла медленно отвернулся. — Вчера у тебя была расстегнута верхняя пуговица на сорочке, а сегодня нижняя. Вот и все твои метаморфозы.

— О, если бы мы знали вчера, какая пуговица у нас будет расстегнута сегодня! — Фенелон погрустнел. И рассмеялся неприятным свиным смехом.

— Так что же, — сказал Сотла спокойно и не обернулся. Он говорил как будто в пространство. Он опять смотрел во все свои пенсне на совсем растворившуюся луну. — Я теперь понял: это хорошо плыть на корабле «Летучий Голландец», на таинственном паруснике, как на прогулочной яхте, с голубым воздухом, с матросами и с банкетами. Это хорошо, что во сне сбываются все мои мечты о невесте Руны, что у меня и у Руны во сне — масса приключений под куполом моря.

— Вот что я скажу тебе, Сотла. И эти мои слова на сегодня последние. Я устал, я засыпаю, мой барабан не играет. Вот какие я скажу тебе последние слова: и не было у тебя, Сотла, никаких

снов, а потому не было ни куполов, ни невесты Руны со всеми совместными приключениями. Все ты выдумал.

Сотл не обернулся. Он безучастно кивнул. Он повторил, как эхо:

— И не было, и не было. Ни снов. Ни куполов. Ни невесты. Ни приключений. Все я выдумал.

Как всегда, в 12 часов утра капитан Грам постучал в двери каюты старшего помощника. Он сообщал координаты и метеорологические данные.

Дверь была заперта изнутри. Капитан обследовал иллюминаторы. Они были задраены и занавешены.

Тогда капитан выстрелом из кольта разбил замок и включил свет.

Сотл лежал на ковре. Он лег на ковер, выстрелил себе в сердце, и пуля попала в сердце. Все его большое лицо было залито слезами, как у ребенка. На белом кителе, там, где сердце, уже замерзло красное пятно. Личных вещей у Сотла не обнаружили. У него не оказалось ничего, а в письменном столе — даже карандаша. Только в фанерных ящичках под койкой нашли много книжек. И все — с картинками.

ЭПИЛОГ.

ДЕКЛАРАЦИЯ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ДРУГ, ТОВАРИЩ И ВОЛК

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

Всем адмиралам, капитанам всех кораблей, боцманам, рулевым и кокам!

Всем матросам и всем, кто хоть немного матрос!

Всем остальным!

Организации Объединенных Наций, всем президентам объединенных и еще не объединенных республик! Нескольким королям!

ЭТО Я, АВТОР ЛЕГЕНДЫ О «ЛЕТУЧЕМ ГОЛЛАНДЦЕ», СЕГОДНЯ 15 СЕНТЯБРЯ 1967 ГОДА, ПОТОПИЛ СВОЙ КОРАБЛЬ.

Мой корабль потоплен, вся команда погибла. Спасся один кок, и о нем будет вторая часть романа, которую я никогда не напишу.

Всю ответственность за свое деяние я беру на себя.

В мире царит солнечная современность.

Перед человечеством — перспективы!

А потому — любите солнце! Но и любите ненастную тьму.

Любите свой дуршлаг и театр оперы и балета!

Любите карусели и Элладу!
Любите ласточек только своей географии!
Любите свои душевные силы и свои вкусы!
Любите ландыши и собаку полицейского!
Любите свою семью и свою тюрьму!
Ласкайте львов и любовниц!

Любите своих ораторов, полководцев и литературоведов!
Они — соль земли.

Любите свой сифилис и говорите: наш сифилис — лучший в мире!

Любите китайцев!

Любите жизнь и любите смерть! Ведь жизнь чья-то, а чья смерть? Смерть — ничья.

Дети мои, плюйте в небо, но не погасите солнце!

Это я виноват во всех кораблекрушениях и в той всеобщей мании преследования, которую вызывает словосочетание «Летучий Голландец», — это я играл на гитаре.

Это я виноват в том, что алкоголь, блуд, полицейские приемы перевоспитания, философские системы — регрессивны, а не прогрессивны. Это я воспел их в легенде о «Летучем Голландце», — это я играл на гитаре.

Это я виноват в том, что на земле еще существуют атмосферные осадки, психические расстройства, самоубийцы, проституция, это я виноват, что человек человеку друг, товарищ и волк, это я распространял всю эту фальшивую пропаганду в своей фальшивой легенде о «Летучем Голландце»! Клянусь: это я играл на гитаре!

Теперь мой корабль потоплен мною, а моя легенда дискредитировала сама себя в сознании всего человечества.

Я понимаю, что совершил преступление века, что ваш суд умен и неумолим и что меня в конце концов повесят, как Фенелона, и это будет один из самых справедливых актов в истории.

Так веселыми глазами посмотрите на мой труп.

Как он конвульсирует, качаясь на рее!

И скажите словами капитана Грама:

— ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КАЧАЕТСЯ!

ДЕНЬ БУДДЫ

1970

...Если у тебя рука ранена,
в ней нельзя нести яд.
(Дхаммапада)

1

Я живу в каменном доме, который, кажется, называется крупноблочным. Впрочем, эти блоки — не камни. Это какие-то окаменелости, спресованные из всевозможных «стройматериалов». Капитальный срок таких домов — двадцать лет. Потом они начнут распадаться на свои составные части и частицы, — перспектива превосходная.

Я живу в девятиэтажном доме на девятом этаже в отдельной двухкомнатной квартире с балконом. В этом доме у всех — отдельные квартиры. В нашем районе наш дом — единственный кооперативный. То есть его строили с расчетом продать кооперативщикам, но в последний момент Инстанции заселили дом членами Союза писателей, председателями каких-то обществ, секретарями инстанций, служащими собаководства и инвалидами. Инвалиды живут на первом этаже, мы — на остальных.

Триста семьдесят восемь квартир, в каждой дети, дети ходят в одну школу, через двадцать лет классовая структура нашего дома приобретет еще более демократический характер: дочери служащих собаководства станут женами сыновей членов Союза писателей, а сыновья инвалидов совокупятся с дочерьми Инстанций, — чего же лучше может быть, как не такая демократизация общественных отношений, никаких конфликтов, социальный мир и взаимопомощь.

К сожаленью, как раз в этот момент наш дом развалится, но ничего, мы не растеряемся, мы построим другой дом, еще более благоустроенный, и пригласим членов Союза композиторов и работников городского Почтамта, — все это, конечно, при условии, что часть наших семей спасется из-под обломков архитектуры.

Я живу только три года в этом доме, это еще инкубационный период, когда все лихорадочно и вдохновенно узнают друг о друге.

Вот и все и всё знают. Дом — деревня, дом — девятиэтажная коммунальная квартира, дом — общество.

2

По утрам на скамейке у нашего подъезда сидит калека. По лицу не поймешь, какого пола это существо. Его приносят утром, уносят на обед, приносят и оно сидит до вечера. У него личико, как у лилипута, желтые злые глаза, косынка до глаз, ножки болтаются, маленькие, в ботах с пряжками. Оно сидит, как птица сова, символ дома, — несчастный уродец с морщинистыми губами и немой. Но я однажды слышал, как оно заговорило. Какая-то девочка, лет семи, школьный портфель, прекрасные волосы, несла мороженое в картонном стаканчике, попросила с детской вежливостью:

— Подвиньтесь, пожалуйста, я съем мороженое и уйду, — повторила: — Подвиньтесь, пожалуйста, бабушка.

Оно встрепелось, перья взъерошились, оно ухнуло по-совиному:

— Пошла прочь, сучка, я не бабушка, я — *девушка*.

Девушка сидит по двенадцать часов у подъезда и все обобщает: кто с кем, кто кого, кто к кому? Мимо нее проходят, как виноватые, опустив глаза, выравнивая шаг, боясь пошевелить рукой. Один музыкант, флейтист, который жил в нашем подъезде, не вынес, поменял квартиру. Ее любят лишь дворники, они — осведомители, она, естественно, дремлющее око. Дворники и выносят ее по утрам из однокомнатной квартиры, — уж Бог знает, чем она там занимается, может быть, берет скакалку и прыгает и хохочет над всеми нами, сбрасывает парик и снимает искусственную кожу с лица, а по ночам устраивает оргии для сержантов милиции (бывают ведь и такие случаи). Как бы то ни было, ее почему-то никто не жалеет, но все побаиваются.

3

Недалеко от нашего дома — питомник. Там выращивают саженцы различных деревьев, не только фруктовых. Там аллея тополей, яблоневая аллея, травяные полянки и небольшие каналы, кусты жасмина, сирень.

Летом питомник — форум алкоголиков нашего дома. Пьяницы пьют вермут и принимают солнечные ванны. Одинокие девушки,

золотоволосые и золототелые, пьют водку в кустах, падают под солнцем и засыпают. Группы македонских юношей пьют коньяк, с подкупающим доверием поглядывая по сторонам. Все бросают в небо мяч, но мало кто его ловит, бросят и позабудут — какая-то марсианская, что ли, игра. Мячи собирают старухи-пенсионерки, мячи и бутылки — знаю, в приемные пункты. Кремль из бутылок не соорудишь, но прожить можно. Одна старуха, в прошлом ткачиха, член бригады коммунистического труда, как-то призналась, что теперь по утрам она позволяет себе сардельки. Это хорошо.

Белая ночь, бред.

Белая бессонница.

Наш квартал — зеленая пустота, лишь на асфальте у мертвого фонаря — невеста на лакированных каблуках, платье бьется, крылатые руки, развевающаяся фата, — первая ночь медового месяца.

Цветет жасмин. Развернутые цветы диких роз. На балконе распустились альпийские фиалки; триумфальные листья лаврового плюща.

Наш квартал: дома — шахматные доски, черно-белые.

Сейчас Раскольников пробирается к старухе, ощупывая ледяной рукой теплый топор подмышкой, осматриваясь — о впереди! — что? — все: слава, любовь, свобода. Но единственное препятствие — старуха. Преступленья — нет, плевать на наказание! Убей старуху! Вон внизу под моим балконом ходит старуха. На ней красный плащ, у нее лысая голова. Она собирает в нашем питомнике бутылки из-под водки, оставленные ангелами и продает в приемные пункты, — так я думал. Да, бутылки она собирает, но не продает, а разбивает их на улице о барьерчики мостовой и идет дальше. Зачем разбивает бутылки старуха, никому не известно. Только дворники в зеленых фуфайках матерятся по утрам, подметая стекла. Неизвестно, — так я думал. Известно. Старуха разбивает бутылки на мостовой, потому что по мостовой гуляют собаки, а старуха собак ненавидит. Бедные псы нашего квартала — все с перевязанными лапами. Убей старуху! Я первый, без единого сребреника наград, укажу тебе ее, вот она! — на ней красный плащ, у нее лысая голова. Убей ее!

Утром я шел мимо завода Витаминных препаратов. Три девушки в белых халатах срывали одуванчики, сталкиваясь в нескошенном газоне.

— Что вы делаете, девушки? Праздник лета? Карнавал — невесты в венках?

Я посмотрел: они бросали одуванчики в одну кучу, желтые цветы, серебряные стебли.

— Зачем вы срываете одуванчики? — спросил я еще.

— Какое вам дело! — одна, а вторая: — Приказали — сры-

ваем! Я: — Кто приказал? — Иди, иди, куда шел! — Кто же? — Ворошилов!

Я пришел домой, побрился, при галстукe опять на завод Витаминных препаратов. Проходная, и я сказал дежурному вахтеру:

— Позовите мне товарища Ворошилова.

— Бюро пропусков! — сказал вахтер.

Я вынул свои удостоверения: член Союза... корреспондент... член комиссии... И все мои книжечки — красные. Вахтер бросился к телефону, спрятался в своей будке и дрожал, несчастный, старый, старый старик.

Ворошилов вышел так независимо и с таким достоинством, что было ясно — он перетрусил, он бежал ко мне, сломя голову. Описывать его нет смысла, стандарт.

— Это вы отдали приказ рвать одуванчики?

— Не отрицаю. Я отдал приказ.

— Но почему?

Он опустил голову. Господи, он приготовился к казни и нож гильотины уже блистал над его стандартной головой. Он уже умирал.

Сердце мое дрогнуло.

— Пойдемте прогуляемся, — сказал я.

Товарищ Ворошилов подобрался и хищно посмотрел на меня:

— Сейчас рабочий день и я не гуляю, а работаю!

— А три девушки с одуванчиками? Тоже работают?

--- Я работаю.

— Хорошо, я приду вечером.

Он сдался:

— Ладно, лучше уж сразу.

Мы пошли.

— Клянусь! — сказал я. — Ни в какую прессу я писать не буду. У меня нет ни малейшей страсти к доносам. Но объясните же, почему вы приказали рвать одуванчики? Мне наплевать на три рабочих дня, потраченные девушками впустую. У нас миллиарды дней так тратят, мне наплевать. Но почему вы приказали рвать одуванчики? Я писатель, мне интересно.

Мы сели на белую скамейку. Листва у тополей нежная, небо — синее. Три девушки, не оглядываясь, продолжали.

— Черт его знает почему, — сказал он с мукой. — Ума не приложу почему.

— Как так?!

— Ах да, — вспомнил Ворошилов. — Я не люблю одуванчики. От них много пуха, и вообще...

— Через неделю зацветут тополя. Ваш завод будет весь в пуху, как цыпленок. Вы прикажете вырвать тополя? Смотрите — какая аллея!

— При чем тут тополя? Я не люблю одуванчики.

— Я не люблю кошек! Прикажете уничтожить кошек?
— А что? — оживился он.
— Почему вы приказали рвать цветы?
— Какие цветы?
— Одуванчики.
— Одуванчики — разве цветы? — искренне изумился Ворошилов.

Больше говорить было не о чем, я встал и пошел домой, снимать галстук. На нашей аптеке висел плакат:

«Граждане, витамины содержатся не только в таблетках, но и в самой разнообразной пище».

От рондомидина кружится голова, шатает, бессонница, так бывает с похмелья. Пятые сутки бессонница.

Вчера уехала жена куда-то...

Белое небо в черных полосах. И на небе, как на разлинованной страничке школьной тетради, нарисованная рукой ребенка — луна, чистая, оранжевая, тяжелый шар, светящийся.

По стеклу ползла капля (откуда капля? где дождь?). По стеклу полз муравей (вскарabкался на девятый этаж?). Капля ползла вниз, муравей вверх. Где, муравей, ваша хваленая интуиция, — он полз прямо на каплю, и она скатилась с него и поползла дальше, вниз, вместе с муравьем. Я открыл окно. Длинной иглой выковырял муравья из щели рамы — дурак, задохнется, утонет — и выбросил муравья в воздух. Полетает, проветрится и приземлится, ничего с ним не делается.

Что делать?

«Тик-так, моя бессонница, — стой, кто идет? — мой часовой».

Никто не идет.

Пуст наш квартал, пуст. Молочные цистерны и цистерна «квас». Хочется вишен. Ни с того ни с сего над Смольным взлетели три ракеты и летели треугольником — журавли по вертикали. Не успел рассмотреть, какого цвета.

Как рано ложатся спать. Свет в тринадцати окнах в доме напротив, а окон всего — сто сорок. Из тринадцати только на двух занавески: белая с золотыми цветами, вторая — неразбериха, пестрота.

Трамваи еще шумят, светофоры перемигиваются. У-снуть...

4

Зимой по питомнику прогуливают только собак. Вечерами там лают и скачут псы, звенят собачьи кандалы и цепи, поблескивают лица собачьих хозяев, — о чем они молчат, о чем мечтают? — и повсюду чернобелые тени снега, фонари — древнеримские светильники, факелы, символы рабовладения второй половины

двадцатого века, жалкие сигналы света в чернотелой и ледяной современности.

Мой дом светился, как шкала радиоприемника в темноте.

Не все ли равно, прогуливать собаку или прогуливать себя. Сегодня нужно хоть немножко чем-то дышать по вечерам, чтобы утром приставить крутящийся стул от рояля к столу, на котором хранится пишущая машинка, и, регулируя высоту стула, приспособить свое тело к клавишам и проиграть еще раз на металлических буквах всё ту же увертюру бессмысленности и тоски, неосуществленной ненависти и несуществующей любви, — лебединую песню домашней типографии.

За пределами моей квартиты ни одна моя феерия или драма — не появятся, они замурованы в моем доме, как и я сам, но у меня еще хватает сил, несмотря ни на какие силлогизмы, — сочинять и выбрасывать в мусоропровод, снова сочинять и выбрасывать — бессмысленная карусель бессмысленного труда, тайные эрекции словесности. Рассчитывать на когда-нибудь — тоже глупо. Когда же это «когда-нибудь», какой гениальный мусорщик сохранит, а потом отнесет «человечеству» мои молитвенники-эссе, полусгнившие в отбросах пищи? Не спорю — такие случаи «имели место», но ведь это было в эпохи, когда мусорщиками работали академики и гении, когда еще повторятся эти счастливые времена!

Один писатель тех времен, который писал в общем-то для мусоропровода, сказал фразу: «Рукописи не горят». И его рукописи — о чудо! — не сгорели. Насчет себя он угадал. Только эта фраза — жалкое утешение.

Сгорели десятки древних культур, папирусы Египта и Китая, сгорела Александрийская библиотека — хранилище древнего ума и таланта, сгорели воощенные дощечки Рима и береста древней Руси, сгорели рукописи Гоголя, дневники Пушкина, стихи Лермонтова, Шевченко, Хлебникова, Мандельштама... Дело не в списках — сгорели тысячи и тысячи имен, горят костры негасимые. И мы-то знаем, что никто тут ни при чем: почему что-то должно обязательно умереть, а что-то нет? Скала и песчинка, инфузория и мамонт, тиран и клошар, государства и расы, сгорит и Земля, и рукописи отнюдь не привилегированные организмы природы.

5

Я шел к нашему дому по тополиным аллеям питомника. Тротуар твердый. Трамваи катились по рельсам, пустые, просвечивающие насквозь, и в них плескалось электричество. Тротуар в пятнах от обуви. В воздухе сверкали ветви. Неба не существовало, только что-то вверху чуть-чуть вспыхивало. Проносились такси.

Белые, они совсем растворялись на фоне белого снега и полусвета, мелькали только зеленые фонарики — траектории наземных ракет.

На переходе горел красный свет, и на красный свет прямо на меня бежал человек, он вертелся между машин, как русалка. Он бросился на тротуар, бросился ко мне:

— Вы не видели такой девушки, в красной шапочке?

Он задышался.

Красная шапочка и серый волк.

Около девяти вечера, февраль, градусов двадцать мороза, ни души, а жалкий электрический свет на трамвайной остановке освещал этого безумца: он был совсем голый. Оплывающий жирком живот с заиндевевшими волосами, а волосы на голове — иглы льда, замерзли, зубы оскалены, руки и ноги — две буквы «А», нахлобученные друг на друга.

— Но я найду, я найду! — и он бросился через трамвайные рельсы к нашему дому.

Ничего.

И утром и вечером на улицах много бегунов. Они надевают трикотажные тренировочные костюмы и бегут кто куда. Достижения медицины нашего времени уже превзошли все ожидания. Чем бы человек ни заболел — вылечат. Поэтому врачи стали использовать свои методы на расстоянии: не нужна никакая «скорая помощь», что бы у тебя ни заболело — нужно только переодеться в тренировочный костюм и бежать.

И бегут — стальные сердца, автоматические почки, воздухоплавательные легкие! В газетах писали, что несколько уникамов излечились бегом от самых предсмертных болезней. Может быть, и этот спринтер какой-то новый пунктик врачебной практики — он ведь даже не дрожал.

6

Вчера я проснулся, ночь, и я сообразил, почему я проснулся: остановились часы. Мы напрасно так безответственно относимся к своим вещам, ведь вещи, которыми мы пользуемся, постепенно привыкают к нам, как животные, и самое исполнительное существо — часы; они бегают, когда болеет сердце, и останавливаются, как и сердце.

По комнате летала большая синяя муха. Она жутко жужжала. Мне снятся сны-кошмары, но галлюцинаций еще не было. Откуда в феврале в государственной квартире — синяя муха? И летала она совсем не так, как все мухи — беспорядочно, бьются об окна, о стенки, о рояль, — она летала, выписывая правильную восьмерку. Перекрестье восьмерки приходилось как раз на лам-

почку: там, как в стеклянном воздушном шаре, сидела, поджав колени к подбородку, обхватив колени изящными ручками, — девушка с рассыпанными золотистыми волосами, с накрашенными губами, голая, и манила меня указательным пальчиком, сгибая его и разгибая, а ноготок на пальце был алого цвета. Шнур опустился до пола и лампочка раскрылась, как тюльпан. Девушка выпорхнула из-под цоколя и полетела за мухой. И у девушки были крылья. Так и жужжали они по комнате: чудовище-муха и дюймовочка-стрекоза. Потом, откуда ни возьмись, у девушки (в правой руке!) сверкнул маленький меч и голова мухи упала на белое фарфоровое блюдо (на рояле!), а туловище мухи, без головы, пробило стекло форточки и пропало. Дюймовочка, вращая над головой меч, опустилась на клавиши, проиграла какую-то мелодию, протанцевала на бемолях и улетела в форточку, в то же отверстие.

Это не очень интересная история, я думаю, любой сумеет рассказать позанимательнее — что с кем случалось наяву, но я и не собираюсь преподносить сверх-сюрпризы повествования.

Я смахнул отрубленную голову в мусоропровод, а стекло форточки так и не переменял: там и сейчас отверстие.

Когда я опомнился, часы уже шли и я уснул.

7

Я протянул ему спичку, он прикурил, совсем мальчишка с милицейским околышем. Спичка сияла в морозном воздухе, погасла. Мы сидели на скамейке все в том же питомнике и говорили. Мы выяснили определенно, что тираны Рима, татары и арабы — просто шаловливые мальчуганы по сравнению с олигархиями двадцатого века. Что проблемы нравственного развития стран с совершенной государственной системой сейчас решаются односложно и мудро: уничтожается треть или две трети населения, а остальные живут по потребностям. Человек, который может чего-то добиться, — скучнейшее существо, он добивается и только. А вот у раба — всегда мечта. Характеристика рабовладельца — мечтательность.

Над нами трепетал фонарь, кругом кусты, вверху изоляторы и звездочки неба, хорошо и холодно. Милиционер кутался в шубу, я был забронирован от мороза (пальто на меху), так что мы могли сидеть хоть до утра и объяснять друг другу истины истории.

Полчаса назад ко мне подошла девушка в красной шапочке. Она — пала на скамейку, от нее пахло не водкой, а тем специфическим спиртом, который пьют рабочие, инженерно-технический персонал и кандидаты наук.

— Простите, — сказала девушка, раскачиваясь на скамейке, то ли в такт своим словам, то ли просто так. — Вы не заметили случайно симпатичного юношу в импортном пальто? Он вас не спрашивал, извините, про девушку в красной шапочке?

Она меня спрашивала, я ей внимал.

— Видел вашего юношу, — сказал я. — Только про импортное пальто вы — слишком. Он был голый.

— Что вы! (нисколько не удивилась) Февраль не тот месяц, когда он голый. А что — он шел или бежал?

— Бежал.

— Тогда может быть... А вы чего шатаетесь по ночам? Ты что пугаешь чужих невест? — ни с того ни с сего набросилась на меня эта нимфа. — У, жидовская морда! — завопила она в исступленье, хотя никак не могла видеть мою морду, потому что ночь и я сидел с поднятым воротником. — Не хватай меня за ляжки, обормот, не трогай труссы!

— Все правильно, — подумал я. Ей так хочется, чтобы ее хватали... и про труссы тоже. Я встал.

Откуда ни возьмись, в наш чертов круг света ворвался мотоцикл, два милиционера, один за рулем, другой в коляске, оба в полубубках.

— Завернули на огонек, — объяснил тот, в коляске. — Супруги ссорятся?

— Пожалуйста! Посадите этого типа в камеру! Он меня чуть не изнасиловал!

— Жена? — спросил тот, в коляске.

— Почему? — спросил я.

— С жалобами на изнасилованье обращаются к нам только жены. Как правило.

— Жалобы на мужей?

— Вот именно! Оба напьются и все перепутают.

— До свиданья, — кивнул я.

— До свиданья?! — взвизгнула Красная Шапочка. Она бросилась к милиционеру и распахнула пальто... И эта была голая. На теле ни единой ниточки.

Милиционер присвистнул. Он повертел головой, понюхал воздух, обошел девушку, обнюхал меня, сделал знак напарнику за рулем, и мне: — Отдохните минутку! — и девушке: — Пройдете, товарищ, застегнемся. Они ушли в кусты, а мы сели на скамейку с тем, третьим, который был на заднем седле мотоцикла, и, не теряя ни минуты, заспорили о политической ситуации в Израиле и в Греции, и как хорошо у нас.

Краем уха я слышал — в кустах шептались, потом все слова исчезли, там — утихли и дружно задышали.

— Как вы думаете, что они там делают? Снимают свидетель-

ские показания, что ли? Столько времени! — тревожно спросил мальчик-милиционер.

— Ебутся.

— Что вы говорите!!!

— Интересно — посмотри.

— Подсматривать?!

Я не стал ждать финала этой драматургии: сквозь ледяные ветви кустов превосходно просвечивались силуэты этого вдохновенного трио...

Мотоцикл догнал меня уже около дома.

— Остановитесь же, — попросил меня милиционер № 1. — Прошу понять меня правильно, — заговорил он взволнованно, — мы прекращаем дело, вы никого не насильовали, мы вас не преследуем по закону, но и вы...

— Иди! — сказал я.

Я пошел, минут через пять он схватил меня за рукав. Я обернулся. Мотоцикл (фара) горел дальше на тротуаре.

— А вы не кагебешник? — воскликнул милиционер, осененный. Он боялся. Что кому. За полчаса я уже и «жидовская морда» и кагебешник.

— Иди ты на хуй! — заорал я на него, замахиваясь.

— Вот это — да! — повеселел милиционер. Вот и он растворился в пространстве.

8

Ни души.

Метрах в пятистах слева блистала неоновая вывеска: «Завод витаминных препаратов».

Справа, в нескольких шагах белели отвесные скалы моего дома. Кое-где светились и стеклышки — окошки птичьих гнезд.

Девушка была на месте. Ясно: еще нет двенадцати, ее уносят с первым тактом кремлевских курантов.

Сегодня она была не в духе.

Розовой сморщенной лапкой она протянула какую-то бумажку и сказала, ухнув:

— Недолго вам еще ходить!

Я рассмеялся. Что за люди! Каждый милиционер — провидец и философ, каждая калека — пифия.

Я сел за машинку и развернул бумажку. Она была озаглавлена красными буквами

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

за образцовый порядок и высокую культуру быта

и текст клятвы:

— Мы, проживающие в доме N... по улице... в квартире..., включаясь в социалистическое соревнование, принимаем на себя следующие обязательства...

Моисей был не так глуп, как хотелось бы атеистам. Он первый написал 10 заповедей, и вот, пожалуйста, через несколько тысяч лет библейский пророк нашел своих последователей.

Вот и «Социалистическое обязательство» — как жить в своем доме — тоже всего-навсего десять пунктов, и только-то. Я прочитал листок. Не знаю, кто составлял это свидетельство нравственного гения нашего века. Один пункт (N 2) я выпишу для наглядности, а остальные прокомментирую.

Пункт 2. Развивать товарищеские взаимоотношения между проживающими в доме по коммунистическому принципу: «Человек человеку друг, товарищ и брат», оказывать друг другу товарищескую взаимопомощь, бороться за изгнание из быта семейных отношений всех пережитков прошлого и аморальных поступков.

В общем, чтобы держать на высоте почетное звание «жилец нашего дома», я обязан:

бороться, выполнять, производить, развивать, оказывать, бороться, повышать, участвовать, относиться, прививать, контролировать, держать, участвовать, выполнять, участвовать, участвовать, участвовать, сохранять, обработать, вносить, оплачивать, собирать.

Прекрасно. На 10 пунктов Манифеста — 22 глагола повелительного направления. Не так уж и много, если сравнить с манифестами, издававшимися в прошлом. Но тогда разговор шел о вселенной, а сейчас и дела-то дела: «правильная эксплуатация народного достояния — нашего жилого дома».

Я вынул из холодильника бутылку водки, но пить не хотелось. Не помню, когда мне было приятно пить. Всегда — отвратительно. Да и состоянье опьянения — кратковременное. Потом — плохо несколько дней.

На такие жертвы идут разве совсем молодые: уже грянул час, когда пора переступить границу «дружбы» и переходить к отношениям более определенным. Поэтому в какой-то прекрасный миг оба напиваются и просыпаются утром уста в уста.

Я бы сказал, что это не только общедоступный рецепт, но и равенство — оба одинаково пьяны, и никаких тебе расспросов о девственности, лишь нежность и теплота. И на всякий случай оправданье — алкоголь. Водка — универсальное средство для влюбленных, но пить в одиночку, — для чего? Нельзя. Говорят, что и смертельно. Не знаю. Пью и все.

Я написал еще одну главу к своему роману.

Бутылка стояла. Осталось 15 минут. Проверенная горьким и грешным опытом система: нельзя пить до 1 часа 00 минут ночи. Раньше было лучше: все жили в коммунальных квартирах и можно было звонить по телефону только до 23.00. В отдельных квартирах — всю ночь. Но я знаю: если не позвоню до 1.00, то уже совсем не позвоню. Если же выпью хоть за минуту до часу хоть одну рюмку, то — неминуемо. Вот и выжидаяю.

А кому звонить — некому, кто первый попадет в записной книжке. Вот и получается дикость. Через некоторое время встречаешь знакомую и в полнейшем замешательстве выслушиваешь выговор не столько за звонок себе, сколько за несвоевременные и несуетливые предостережения. В голосе выговаривающей появляются нотки сочувствия, она хочет знать правду и только правду, чтобы пожалеть, а от жалости — помочь.

— Ты еще не совсем *того* в своей камере-одиночке?

— Очень даже может быть, что и *того*.

Смеется:

— Ну, если сознаешь, то, конечно же, не *того*.

Вот и помощь:

— Знаешь что, плюнь ты на эту свою писанину, чего замуравался? Приходи пожрать. Специально сготовим. Мясо!

Мясо — это заманчиво. На рынок я не хожу, а в наших магазинах мясо — черного цвета, как будто зарезали негров африканского континента и распродают их по косточкам.

Любой смертный, проживающий на территории Ленинграда, знает все анналы и кодексы ССП намного лучше, чем сам член ССП. Писателей почему-то отождествляют с дон Жуанами или Есенинами. Впрочем, дон Жуан — философская, а Есенин — комсомольская абстракция. Самое лестное представление о писателе — пьяница и бабник. (Это вообще-то высший комплимент русскому человеку.) В последнее время к этой характеристике прибавилось: он пьяница, бабник, он — верит в Бога!

И вот любой смертный осуществляет программу своих убеждений.

Сначала в парадной на лестнице из-под полы плаща пьем «Солнцедар». Это вино — для идиотов или самоубийц. Так — «Солнцедар» — назвал его какой-то человеконенавистник.

Потом, насолнцедарившись, этот смертный, ликуя, спорит о Шолохове и Солженицыне (конечно, в контрасте), и тащит домой, и расхваливает всесторонне свою жену. И в конце концов, когда эта жена — отдается, он страшно обижается, мечет молнии диалектики, но все-таки звонит и знакомит со своими любимыми, и там — то же самое. Абсурд какой-то.

С женщинами еще хуже. «Солнцедар» тот же, Шолохов и Солженицын так же скрещивают донские и православно-советские сабли, только характеристики мужа нерешительные, а все-

таки тоже тащит к мужу познакомиться, муж только и мечтает об искусстве. И вот знакомишься, и опять водка, и нужно читать громким голосом стихотворенья собственного сочинения, в таких домах царюют попеременно Евтушенко и Асадов, первый, как любовный лирик советской власти, а второй как советская власть в любовной лирике.

Вот и декламируешь, пьяный, и долбишь носом, как дятел, а муж смотрит на тебя такими глазами, будто ты изнасиловал его жену на лестнице. И он не так далек от истины (потому что все это происходит, но со временем).

У нас никогда не уважали писателей. Их боялись и убивали.

— Пишите правду! — орали миллионы, живущие лишь ложью.

— Будьте героями! — орали миллионы трусов.

Этот труд никому не нужен, поэтому лучше — в мусоропровод. Мне важнее, что я напишу, а не кто и как меня прочитает или не прочитает совсем. Мне нужно только проверить, на что я — еще способен, а если на что-то еще способен — уничтожить. Фатализма нет, и рассчитывать на него нельзя. Пора разбивать свои кифары.

9

— Недолго вам еще ходить!

Не спорю. Может быть и недолго. Я выпил уже почти всю бутылку, после второй рюмки отвращенье прошло, просто глотаешь безотносительную мерзость и преспокойно пьянеешь.

А ходить все-таки хочется. Небо и снег, небо во всех состояниях и снег только не мокрый, лес со всеми грибами, паутинками, букашками, море со всеми парусами и пузырями.

Может быть, это запоздалая и слишком робкая любовь, ведь мы — спартанцы, нас тридцать лет учили ненавидеть цветы, собак, небо. Цветы — для делегаций, собаки — для службы, небо — для оборонной мощи державы. Господи, прости этих уродов, людей, нас. Они уроды не по призванью, их изуродовали. Я уже был пьян.

Двенадцать лет назад мне было двадцать лет.

Правильная арифметика.

Смотрю из окна на луну и вижу, как она плывет. За несколько минут она пересекла стрелу подъемного крана (рисунок на горизонте), поднялась на последний этаж тринадцатизэтажного дома напротив и выше и ярче — в небо.

Мне было двадцать лет, я уже год служил в армии, так себе, я — стоял на посту под Новый год (1956/1957). Я стоял на посту Новый год, потому что у меня была любовь, а любовь эта была женой начальника штаба, майора, а майор был моим не-

посредственным начальником, потому что я командовал отделением вычислителей, а вычислители — мозг артиллерии, а артиллерия — бог войны, а Бог... тссс... Майор все знал, он уехал в командировку, меня изолировали на пост, моя любовь гуляла, я ее любил...

Я стоял на посту, шел снежок, но луна — была, только матовая что-то. Шел, шел снежок, офицеры бежали со всеми своими золотыми ремнями и эмблемами, с бутылками, тортами, папиросами «Казбек».

Мы еще утром отполировали бляхи (на совесть!), подшили подворотнички, выпили по флакону одеколона «Эллада», купили по батону и по сто грамм карамелек, нам выдали превосходную красную махорку, так мы и мыслили о чем попало, покуривая до развода.

Стоять мы договорились по четыре часа. Я стоял с 22 часов 1956 г. до 02 часов 1957 г. В моем взводе был мальчик-узбек, Нарым. Ему исполнилось 15 лет. Его взяли в армию вместо сестры, то есть: пришли русские из военкомата, перепутали женские и мужские имена, взяли Нарыма, и он служил (это его сестре было 19 лет!).

Нарым был настоящий друг, дитя Востока. Однажды на ученьях, естественно, отстала кухня. Кухни не было два дня. Сухой паек выдать нам не догадались. Вокруг лагеря поставили часовых — две тысячи озверелых от голода солдат разграбили бы все окрестные деревни. Мы сосали снег и кашляли. И вот ночью Нарым исчез. Я не сообщил. На утренней поверке его не было. Я скрыл. Весь день мы что-то копали и куда-то перетаскивали гаубицыны снаряды. Я осатанел. Вечером, когда мы нюхали свои прокисшие шинели и грезили о сервированных ресторанах, безрадостно мигая с коптилкой, Нарым явился. Как только открылась дверь, я смаху дал ему по морде. Нарым был сильный мальчуган, он шутя справлялся со всеми хохлами нашего взвода, а их хлебом не корми, дай податься с «черножопым». Но я хорошо ударил, он упал и затрясся. Все вскочили. Ничего, потрясется и встанет. Но он не вставал. Я схватил его за шиворот и перевернул. Он — хохотал! Кровь пузырилась на его губах, а этот мерзавец — хохотал! Все перепугались — не сошел ли с ума? Я-то знал, что не сошел, иначе бы ему было не до смеха. Отсмеявшись и оттерев снегом свою монголоидную морду, он сел на нары и расстегнул шинель. И мы увидели...

Мясо. Куски свежего мяса. Мы съели все. О солдатской дружбе не могло быть и речи. Нас пятеро в землянке, если поделиться с остальными 1995 друзьями, товарищами и брать-

ями — это была бы трогательная и эффектная сцена, но нелепая, я думаю.

Отец Нарыма был богат, кажется такие люди у них называются «чабан». Отец прислал Нарыму много чего: и бишбармак, и самогонку из риса. Нарым любил меня, потому что он не пил, не курил, не ругался матом и вообще ни хрена не делал — не служил. Ни на работы, ни в наряд, ни на строевые смотры — не ходил, только в магазин за одеколоном и карамельками. Он чистил мне сапоги, подшивал подворотнички и т. д., мы оба были счастливы: я имел дивного денщика, он — сачковал. Майор знал, что Нарыму 15 лет, но помалкивал.

На Новый год Нарыму прислали баранье сало, самогонку в железных литровых флягах и еще какую-то азиатчину. Он прокрался на пост и на мой вопль (по уставу!) — Стой, кто идет? — ответил условным свистом. Нарым принес литр самогонки и с килограмм бараньего сала.

Я начал пить в 23.32, так что злорадствовал даже: хоть я и на посту, но все-то начнут пить в 24.00. И вообще-то я — в привилегированном положении — не нужно надевать спецмундир, стричься, танцевать танго с женой офицера, а потом за это танго мыть мешковиной то, что на гражданке называют изысканным галицизмом, не нужно декламировать тосты, есть ножом и вилкой, как это у нас повсеместно принято, не нужно наутро бить никому морду — ни в одиночку, ни коллективно... или самому быть битым.

— Красота! — у меня оставалось еще 2 часа 28 минут, я — сам по себе, сам собой, оловянный солдатик, затерянный в оловянных снегах, сам себе — бог, царь и герой, сам — своя любовь, свое счастье, или же я последняя пылинка вселенной, так себе, человек с автоматом, Вечный Жид, или же блуждающий по параллелям и меридианам пес, у которого не мозжечок, а кнопка: нажмешь — залает, не нажмешь — поплетется дальше. Я пил и любил весь мир и весь мир любил меня. Такой у нас нарциссизм!

И в этом Доме Офицерских Семей, сию же минуту за праздничной скатертью с хрусталем и шампанским, болтала моя любовь, жена майора, перепутавшая все семьи городка, и она, несмотря на все мои немые восклицательные знаки, останется ночевать с очередным офицером (любым!), или даже с двумя (да нет, не с двумя, с нее-то стало бы, у них — дисциплины маловато...).

— Стой, кто идет!

— Разводящий с дежурным по части!

Бдительность! А как же. Вооруженные силы НАТО заседают в этот миг в своем кошмарном Пентагоне и, щелкая клыками, выискивают на географической карте всемирного масштаба эту

Центральную Цитадель Вооруженных Сил СССР — Дом Офицерских Семей — которую бдительно охраняет и стойко обороняет Генералиссимус СССР — я.

Вот и дежурный по части подошел, и я отрапортовал, а он сверкал стальными зубами, все пытался подойти поближе, крался на цыпочках, принюхивался — что я вдыхаю и выдыхаю, но я опустил морду в воротник тулупа, три венгерских хуя тебе в железные зубики, мой милый, не разберешься — пахнет ли водкой, а стоял-то я, не качаясь.

Я выпил еще. И съел кусок сала. Я пил в первый раз в жизни. Не то чтобы я совсем не пил раньше, так — рюмка, флакон. Я — напивался в первый раз, а это — состояние отрешенности, расслабленности, или — истерики, как когда. Я ушел из университета, и вот меня взяли. Три года казармы, лучше бы тюрьмы.

Я посмотрел вверх. Снег уже не шел, а луна рассиялась вовсю, из форточек — музыка! «Мишка, мишка, где твоя улыбка?», вниз на меня уже летели бутылки, какие-то коробки, нет, не специально на меня, просто в форточки выбрасывали, меня как такового ни для кого не существовало, я — икс, абстрактный значок на снегу.

Я выпил еще. Вообще-то я был стеснительный юноша, дрался лишь тогда, когда не драться нельзя, матерился в меру, внутренне содрогаясь. А тут вдруг запел, как мне казалось, превосходным басом «Твоя пизда цвела, как куст сирени» (такая популярная песенка). Они веселились вверху, и я — веселился: итак, нежно снять с плеча автомат, с грустью пустить очередь в новогоднее небо — боевая тревога всему Ленинградскому округу! — и никаких тебе шампанских, ни тебе елочных поцелуев, — чрезвычайное происшествие, ЧП! Левитан речитативом по радио: «Говорят все радиостанции Советского Союза!»

Да здравствует наше настоящее!

Собственно говоря, что у меня осталось там — «прошлое»? Сорок сороков тысяч сожженных «произведений», философский факультет, где философию жевали, как вязку чулок, где современный и своевременный мистический материализм профессора называли диалектикой природы, где в принципе на философию было наплевать, так же, как и на философское развитие студентов, потому что философы там были не нужны, а нужны были мертвецы с языком, глаголющим все лживые лозунги, — «готовили кадры» для работы в Инстанциях. Наше настоящее: отцы в тюрьмах тридцать седьмого года, блокада Ленинграда, годы голода и очередей, десять лет школьной казармы, где нас муштровали для рабства и парадов, и теперь — 1095 дней за решеткой; за колючей проволокой казармы, 453 я уже отслужил, осталось 642.

642 дня — 15.408 часов,
15.408 часов — 924.480 минут,
924.480 минут — 55.468.800 секунд.

Я — выпил все, я флагу отбросил, в глазах вспыхивало, тулуп распахивался, и было тулуп, его, проклятье, никак не запахнуть рукой, стеклянные окна ДОСа плыли, как будто я стоял на палубе, а плыли лампы государств-гигантов кругосветного плаванья. Плечи ныли, тулуп, он тяжел для моего скромного телосложения, плечи в судорогах, я снял автомат и повесил на руку, поносить немножко налегке, а потому что снял, по инерции отвел предохранитель, чуть вверх дуло, не глядя вверх, дал сп-о-окойную очередь и дли-и-нную по верхним окнам ДОСа. Потом я повесил голову, свесил, сосредоточиваясь, хотя не думаю, чтобы в той голове мелькнула хоть какая-то маломальская мысль, только шапка моя — ушанка повисла на моей остриженной голове, повисела и свалилась, а я с аккуратностью, свойственной сильно пьяным, дал очередь по окнам следующего, второго сверху этажа, выбросил пустой рожок и зарядил новый, и дал очередь по окнам второго от земли этажа, а потом отошел на несколько шагов в сторону и уже — в упор — расстрелял окна первого этажа. Я стрелял слева направо, и, когда осталось лишь одно окно на первом этаже, патронов не хватило, и я подошел к этому (помню, зеленоватому от занавеси) окну и швырнул в стекло свой автомат.

Я сбросил тулуп в снег, не оглядываясь, в валенках, в шинели, без шапки, ощущал только — уши опухли, а в воздухе воздушные шары, какие были в самом начале воздухоплавания, кто-то бежал, блестили чернильные голенища сапог новогодних, офицерских, золотопроволочные ремни, фонарики пуговиц, о как веяло одеколоном, сверкали стекла на снегу, вопли «тревога!», синешекские капитаны, их девы-рыбы со студенистыми декольте, а на лицах — глаза покраснели — ах, гвоздики! — я вошел в подъезд.

Я пошел по лестнице, никого не сбил с ног и меня никто не сбил. Ни-чего не помню. Очнулся от звона. Фосфоресцировал будильник. В комнате не гасили свет. Абажур стеклодувный, как в больнице. Стол в беспорядке, но без следов разрушения. Спал я без шинели, в ее комнате, один. Пять часов утра. Я выпил стакан портвейна «777», сладкого до омерзенья, посидел, дыша, преодолевая тошноту, преодолел и ушел. Дверь была открыта, и я оставил открытой, болтался крючок дверной.

Судили. Если бы на суде появилась моя стрельба, наше начальство, а первый — мой милый майор — ау, карьера и пенсия, а мне — 7 лет тюрьмы. Но... дело мое было сложное, психологическое, не без эмоционально-сексуально-патологического оттенка, и папа мой был еще генерал-лейтенантом, не здесь, в другом городе, но и он разбирался в делах войны и мира... о

моей стрельбе *почему-то* на суде — все позабыли, просто — я по пьянке ушел с поста. Подсудимый, признаете свою вину? Признаю. Три года тюремного заключения. А по смягчающим вину обстоятельствам (единственным этим смягчающим обстоятельством, думаю, был папа) — один год дисциплинарного батальона.

Много было нас: амнистированные 1953 года, реабилитированные 1956 года, рецидивисты, школьники, как я... Из нашего батальона профессиональные зэки уходили в тюрьмы: лучше три, пять лет в тюрьме, но не год — здесь. Бунты — были, по слухам, у нас — нет. Я в бунтах не принимал ни прямого, ни косвенного участия. Подчеркиваю — никакого. Разве участвовал в драке, затеянной неизвестно кем, — бывшие зэки и конвой, но я никого не убил, я был тривиально трезв, а ломиком — что ж, бил, по ключицам и коленкам. Но не по головам.

10

...В дисбат меня отправляли под конвоем. Нарым принес мне дивизионную многотиражку. Иван Басманов, ст. сержант. «Новогодняя Отчизна». Моя первая публикация.

— Нарым, — сказал я. — Помнишь, на ученьях мы жрали мясо. Что это было? Мы ведь спорили. Говядина, баранина, свинина, телятина? Что?

— Когда? — строго спросил Нарым.

— На ученьях! Не помнишь?

— В какой день я спрашиваю?

— Ну, в первый.

— В первый день была собака, во второй — две кошки, одна рыжая в полосках, другая обыкновенная.

11

И опять я забыл покормить свою крысу!

С моей крысой — у меня нет хлопот. Собак выводят погулять и поиграть с палочкой, от кошек запах и злоба, моя крыса лишь ночует в моей квартире. Как она появляется, как исчезает — неизвестно. У нее единственный, кажется, гофмановский каприз: ужинать в двадцать четыре часа ночи по московскому времени.

Сейчас два, я опоздал, простите, пожалуйста, меня, я в драматическом состоянии, потому что пьян и не только поэтому — повсему: я не осуществился как индивидуальный член коллектива и как член соцреализма, то есть ССП, я деградирую и там и там, но нужно брать во внимание и следующие объективные обстоятельства: я — одиночка-единичка, несмотря на то, что живу

и питаюсь в самом лучшем из существующих в мире коллективов, не нужно, крыса, быть обиженной на мое опоздание, не я ли покупаю вам ежевечерне в забегаловке-романтичке с девизом «Кулинария» — сырой бифштекс — 37 копеек? Я трачу на вас 12 рублей в месяц, я не слышал от вас ни слова благодарности, ни вообще ни слова. Представляю, как вы хохочете надо мной в своем прохладном подземье, ну и пусть, неужели вы являетесь только из-за человека и шерстяной подстилки, вон она под моим письменным столом? Или вы любите меня? Ведь вы не попросили у меня пищу мяса и подстилку сна, я — сам. Вы — мое единственное близкое существо, можно сказать, родственная душа, вы и жрете-то деликатно и киваете своей мудрой башкой в такт моим словесам. Ясно: мы все по-ни-ма-ем. Беседаю с тобой, я приближаюсь к природе, к тем темным силам, которые Бог припрятал в подземье (до поры до времени), чтобы в один прекрасный момент выпустить на свет Божий и покарать потомство Хама.

А может быть, Вы — тайный агент своей крысиной полиции, капитан или даже подполковник секретной службы крыс, может быть ты подослана ко мне со специальным заданием — завербовать этого человека, раскрыть перед ним все прелести и превосходство крысиной системы и идеологии, посвятить в тайны нашей организации, подготовить совместно всемирное восстание крыс под лозунгом «Вперед, к победе крысизма!» Мы сбросим многовековое иго человека, распределим все блага — все знаки и механизмы — объявим диктатуру самого передового животного класса — крыс, но так или иначе, нам для начала нужен Вождь — человек. Ты кликни клич, Вождь, и мы — восстанем, нас — миллиарды и миллиарды, на каждого человека приходится в среднем 10.000 крыс, не спасут ни баллистические ракеты, ни космические исследования, нужен лишь один бросок, лишь одна ночь — и все человечество пропадет со всеми своими философскими, культурными и техническими достижениями, — там-там та-ра-рам!

А может быть ты — одинокое и несчастное существо, эмигрант своего клана, изгой своего племени, клошар подвалов, тебя кусали и хвостами хлестали вожди мафий, ты приютилась в моем неприятельном шалаше и боишься — вдруг вышвырну на снег, и стоишь на задних лапках, облизывая передние и расправляя усы, храбришься, а сердце стук-стук. Бедняга.

У меня не было часов. Радио у меня тоже нет. Поэтому крыса кстати: она будит меня ровно в семь утра, не прыгает на подушку, не гроыхает кастрюлями, не визжит. Она садится на паркет и смотрит мне в лицо, я — просыпаюсь. В комнате еще тьма, я вижу ясно только два красных пятнышка — ее глаза! Не уснуть.

Мы познакомились так.

Март, весна, отвратительная ленинградская, когда жить — жутко, слякоть свинца, снег сереет в коррозии копоты, отбросы зимы: кладбища тряпок, щепок, слюнявых бумажек от мороженого, презервативов, рваных сандалий, грязь грязная, мешанина-месиво, красные и белые кирпичи новостроек, неандертальские кварталы и замерзшие деревья под ногами, как пальчики из преисподней.

Впервые открылся мусоропровод, всеобщее ликованье, сбрасывали в люки, что накопилось со времен переселенья (за полтора года — расколотые бутылки и банки-склянки, ножики от сломанных стульев, ржавые крючья от штора, бумагу и т. д.), еще все высыпали ведра капусты (заплесневели за зиму, мания с блокады — запастись). На всех лестничных площадках круглосуточно дежурили школьники. Они выхватывали из помойных ведер журналы, книги, письма, открытки — макулатуру.

— Дяденька, тетенька, не бросайте бумагу, нам нужно на металлолом!

Расплодились крысы.

Нет смысла исследовать генеалогическое древо крыс, оно так же сомнительно, как и древо человека. О крысах существует большая литература. О них написано не меньше романов и трактатов, чем о любви.

Но некоторые сведения малоизвестны или замалчиваются.

Крысы — не просто особи животного мира, обирающие человеческое жилище. Государство крыс ничуть не хуже, чем популярные в балетристике государства пчел и муравьев. Только пчелы и муравьи — автономии, плохо связанные друг с другом. Крысы — всемирная система государств. Так, у них бывают свои всемирные съезды, в крупнейших международных портах. У них свои великие переселения народов, юриспруденция и революции, экономические реформы.

Есть крысы-самоубийцы, крысы-монахи, крысы-водители. Корабельные крысы — это шпионы и дипломатические курьеры.

Структура общества крыс мало чем отличается от структуры человеческого общества, но эти млекопитающие более дальновидны и рассудительны. Понимая свою зависимость от человека, крысы предупреждают его об опасности: общеизвестны грандиозные демонстрации крыс перед войнами, голодом, эпидемиями. То есть осведомленность и интуиция крыс намного мощнее человеческой, а строение коры головного мозга в деталях копирует строение коры головного мозга человека. Или человек копирует крысу — сия истина еще не аксиома.

Март, ночь, я возвращался домой. Грязь, я крался вдоль стенки дома, асфальтовая тропинка. Я, альпинист, на цыпочках обходил угол, — на меня бросилось что-то живое и лохматое. Я не успел отпрянуть — крыса повисла на рукаве пальто, повисела, прыг-

нула, отпрыгнула, опять бросилась — несколько раз. Я стряхивал, махал руками и башмаками, я вертелся, как Петрушка на резинке, я прибежал домой, схватил ножницы, сбегал с девятого этажа — ее не было. Запыхавшись, я опустился на диван в своей квартире — крыса сидела у письменного стола. Я взял ножницы за колечки и метнул. Я волновался: ведь крысы — первый симптом белой горячки, даже если снятся в нормальном сне. Металл мягко шлепнулся о тело. Животное опрокинулось. Это — явь. Я со страхом пощупал мертвое существо, оно было живое. Шок. Я развеселился. Что же делать, нужно пестовать хоть кого-то. Все не один. Крыса отошла. В холодильнике валялся заплесневелый кусочек сыра. Она поела. И осталась. Я печатаю, она забирается на стол справа, садится у моей пепельницы из слоновой кости, смотрит. Может, обучу ее тушить окурки или еще чему-нибудь?

12

Фантастики — не существует.

Все самые фантастические преданья — отнюдь не плод вымысла, это было или могло быть. Художники развлекаются парадоксальными ситуациями и сюжетами, не догадываясь, что их мечта — лишь чуть-чуть перефразированная действительность. Человеческая психика устроена так, что ей никогда не преодолеть рамки современности. Даже сумасшествие — вполне логичное явление и ничего в нем нет иррационального. Мир человека нормального и мир сумасшедшего — тот же сегодняшний мир, те же секунды бытия, те же эмоции, только выраженные в несколько иной форме. Если сумасшедший заявляет: «Я — Наполеон!» — он не так уж и ошибается, потому что Наполеон — тоже человек и его психические таланты требуют очень осторожной характеристики.

Интеллектуальный мир познаваем лишь формулами. Воспринимая, то есть заучивая формулу, человек воображает, что познал мир. Ничего подобного. Рассматривая под микроскопом клетку растения, я вижу совершенно ясно, что она состоит из оболочки, протоплазмы, ядра... Но я еще не имею ни малейшего права на основании этих абсолютных данных объявить во всеуслышанье, что я познал, что такое клетка растения. Потому что: я не знаю и никогда не узнаю ее психических свойств. В какой-то прекрасный миг или трагический момент сия клетка, участвуя в процессах жизни, может осчастливить человечество или уничтожить его. Я могу предугадать, куда полетит птица, но не имею и приблизительного представления, чем грозит современности ее взлет или паденье. Безответственные карьеристы берут на себя

миссию «преобразователей природы». Эти свирепые «преобразователи» превращают свои государства-гиганты в свалки мусора. Природа создала человека, а не человек природу. Природа единый организм. Преобразовав кровообращение природы, человек убьет ее, а вместе с ней и себя.

Все запрограммировано или предусмотрено природой. А Художник — только маленький инструмент, который в меру своих способностей фиксирует эту программу. Фантазировать Художник просто напросто — не может, потому что он не знает ни единой краски, существующей вне Земли, он не знает ни единого существа, не принадлежащего Земле. Поэтому все философские споры — несостоятельны, потому что спор идет о том, о чем спорить бессмысленно — о жизни и смерти. Все объединения Художников — несостоятельны, потому что в конце концов побеждает единственный аргумент — сила таланта.

13

Итак, я был пьян, но еще не спал. Я не мог спать, я сидел у окна, и как мертвец смотрел в окно. Ничего. Только февральский мрамор стекла.

Потом стекло стало таять, не все, а растаял кусочек, будто кто-то дышал. Дышать на стекло со стороны улицы мог только Господь Бог или какой-нибудь пьяный ангел, пролетавший мимо. — Девятый этаж!

Я протер свои пьяные очи: в кружочке блеснул огненный глаз. Красота! Сейчас Кто-то потусторонний постучит по стеклу и — до свидания, этот мир ненависти, и — здравствуй, мир Небес!

По стеклу постучали. Глаз горел. По крайней мере, смешные пути выбирают себе посланники Неба. Каждому идиоту известно, что на зиму мы все зашпаклевуем окна и оклеиваем их лейкопластырем, не буду же я ради каких-то там Божественных откровений распахивать настежь свое окно, такое теплое!

Еще раз постучали. Значит, дело не терпит отлагательств, я пошел на балкон. Когда я открыл балкон, Кто-то воскликнул что-то и прыгнул в комнату. Отряхнулся. КИМ.

— КИМ, — сказал я, — это ты бегал сегодня по аллеям, голый? Ты спрашивал про Красную Шапочку?

Маленький, смерзшийся, он теперь в вельветовых джинсах и в носках, безволосое тельце с животиком, он всхлипывал, обнажая большие выдвинутые зубы.

— Тише, тише, — оскалился он. — Тише!

Он на цыпочках, путаясь в носках, подбежал к выключателю, выключил. Спрятался в подушках дивана.

— Теперь получше. Они ничего не заметят.

Чего уж лучше: настольная лампа горела так же, как и верхний свет.

— Там, — скороговоркой пробормотал он, — у меня кагебешники. Обыск. Ищут Самиздат. Еле выбрался. Перехитрил. Два часа ищут...

Обыск, — у него раскладушка, вместо одеяла собачья куртка, — есть что искать два часа. Самиздат, — он уже лет пять ни строчки не написал.

Он стучал зубами, отходил.

Он рассказал: два часа назад он возвратился с вечерней прогулки (это когда он голый вертелся между машинами), где девушка в красной шапочке призналась ему в любви (это ее с милиционерами). Он, совсем счастливый (я думаю!) поднялся по лестнице, потому что лифт не работал, и уже на лестнице услышал запах КГБ, — интуиция не подвела. Он прополз по лестнице по-пластунски три этажа и выглянул: кагебешники тут как тут — у дверей его квартиры стояло двое в штатском, но с револьверами. Он спросил, лежа: чего они пришли? Они предъявили ордера на обыск. Но не на арест. Он знает юриспруденцию. Обыск — не арест. Он знал, что за ним «хвост», поэтому обманул хвост.

Ким закутался в одеяла. Я заглянул ему за спину (как попал сюда?) — крыльев не было. Я пощупал у него лопатки: не было и следов крыльев.

— Девятый этаж! — сказал я, чтобы как-то привести его в чувство. Он ухмыльнулся хитренько и вынул из кармана веревку. Обыкновенную бельевую веревку с крючком.

— Хотел повеситься, да вот пригодилась! — он объяснил, что купил когда-то в период душевных травм эту веревку, собственноручно приспособил к ней крючок и вот теперь увидел, что у меня в два часа ночи во всю подыхает окно, и решил: зацепил крючок за перила, спустился на следующий балкон и — так до земли.

— А сюда? — наивно спросил я.

Он объяснил: забросил крючок на первый балкон, подтянулся, забросил на второй и — как видишь!

Я — видел.

Маленький, с волчьей челюстью, воспитанник детприемников 1937 года, брошенный прямо из лагерей в горнило 1956 года, — тогда ему было 20 лет, он за год закончил университет, потому что прошел все эти программы в лагерях, он превосходно музицировал, писал маслом, знал все основные европейские языки, уже в 1957 году вышла его первая книга рассказов, их перевели

во всем мире, и тут — первая любовь и женитьба, конечно же, на одной из тех графоманок-сучек, которые не пропустят ни одной постели, если простыни хоть чуть-чуть пахнут славой. Он был так нежен и глуп: этот гениальный волчонок вообразил, что между концентрационным лагерем и остальным миром — пропасть, о нет, повсюду те же вышки, та же колючая проволока истязаний, тот же кодекс палача и жертвы, та же поножовщина за пайку и за пайку же — совокупленье, что святые слова «Свобода, хлеб, любовь» — лишь циничные символы-значки — он это понял только тогда, когда (очень скоро!) был вышвырнут из всех редакций и издательств, потому что переменялась конъюнктура, когда пьяная жена-филолог, совместно с пьяным «другом» — кандидатом математических наук связали КИМа и попросили его расшифровать имя, он, ничего не понимая, расшифровал — Коммунистический Интернационал Молодежи, они его спросили, почему он не хочет дать жене развод, он ответил: он любит ее, и тогда они устроили в мансарде Коммунистический Интернационал Молодежи: посадили хорошенько в кресло связанного, и при освещенье в двести ватт разделись и проделай на глазах мизансцены, какие только мыслимы между мужчиной и женщиной (на кровати лежал шведский журнал «120», они перелистывали страницу за страницей...). Они ненавидели его, потому что о нем писали, что он литературное явление из ряда вон выходящее, и он твердо знал — это так. Так оно и было на самом деле, им и не терпелось испытать сие из ряда вон выходящее, они и придумали способ. КИМа оставили связанным и ушли, он развязался и на той же веревке повесился. Они не ушли, подсматривали в замочную скважину, у них хватило гуманитарного образования снять тело с потолка. Так и получилось: первая психиатрическая больница. Его вылечили, он вышел: весь город знает, что произошло; кто выбалтывался по пьянке, а кто и присылал порнографические открытки с тремя восклицательными знаками. Через две недели КИМа схватили две старых женщины и старик: было около часу ночи, метро закрывалось, он рассчитал последний поезд и бился головой о мрамор метро, — просчитался, не успел, с поезда сошли трое. Потом КИМа приняли в Союз Писателей и он бросил писать. Чтобы как-то существовать — переводил. Писать считал ниже собственного достоинства. Не из-за этой истории. Просто — никого на свете у него не было.

Он жил в нашем доме, один, его боялся весь дом, когда он проносился вдоль стен к телефонной будке.

— Ким, — сказал я. — Иди спать. Иди, иди, иди. (Вот и теперь у него Красная Шапочка.)

— Нет! — КИМ как будто угадал мои мысли. Его лихорадило, из одеял — голова с волчьим ежиком и зубами.

— Я бросил писать совсем не потому — внешние причины — только толчок, точка над *i*. Я понял, что писать — не стоит, потому что я не являюсь исключительным существом природы, потому что я продал себя (не Инстанциям — современности!), потому что я пишу то, что требуется от меня в данный исторический момент — я не Художник, а жалкий интерпретатор событий, несмотря на крошечные красоты своих так называемых «художественных произведений».

Я не принадлежу к касте Высшего интеллекта, а только использую кое-какие мыслишки своих предшественников, я беззащитен и банален сегодня, а потому — писать не стоит.

У Художника не может быть никакой дружбы с современниками. Художник и современники — лютые, смертельные враги. Гению и современности никогда не ужиться, никогда не похвалить друг друга. Люди уничтожают своих гениев по причинам биологическим. Люди любят равенство. Равенство в самом отвратительном и животном смысле этого слова. Так в древней Спарте убивали тех илотов, которые были выше среднего роста гражданина Спарты. В Спарте действительно было равенство: все на коленах.

Люди любят полезность существования. Они хотят, чтобы все до одного были вбиты в эту мемориальную доску мертвой современности, как мемориальные гвозди.

Потому-то Художника, существо нежное и нервное, уничтожают тем или иным способом, или, как скорпиона, заставляют уничтожить самого себя. Чего там проклинать век! Глупость. Государственную систему? Глупость. Во все времена при любой системе Художника — уничтожали. И разница государственных вмешательств в этих мероприятиях — пустяковая. Скажем, во Франции было уничтожено на несколько процентов меньше, чем в России, а в России меньше, чем в Китае.

Потому-то, что меня не уничтожили, а пытались перевоспитать и прибрать к рукам, а я — перевоспитывался и к рукам — прибирался, поэтому я понял, что я не настоящий Художник, я — дилетант-рисовальщик словес, я приспособленец ума, и мое имя — безымянность. Меня любила масса, поэтому я, как вся масса, растворился в современности, поэтому имя мое — фикция, фокус буквизм — и только.

Читатель — это талант, равный писателю. Остальные — только культивируют в себе, информируют себя чтением, они — безнравны, как инфузории. Писатель-гений, читатель-гений, — из-

гон! — сколько их? на страну — десять? один? ни одного? Обойдутся и без меня.

Я тщательно и ежедневно оберегал свой так называемый талант, свою независимость, я дисциплинированно занимался творчеством, я обожал свою государственную особу, я верил в предначертанья своей чуть ли не божественной судьбы, я знал: я существую для кого-то живого. Все это, бесспорно, не шло от глубины моего ума, нет, мой ум достаточно парадоксален и остер, но отнюдь не глубокий, иначе я никогда бы не написал столько просто машинописных текстов — никаких не «произведений», проза проституции, подогнанная подо все каноны и догмы конъюнктуры. Это — верлибры полицейского, который стоит на ночной страже нравственности человечества, а утром — сам уходит в бардак. И вся-то разница только в том, что одни — ночью, другой — утром. Ночью — преступно, утром — простительно.

Писатели превратились в полицейских-идеалистов, которые расследуют нравственность современности на месте преступления, они смотрят на героев-преступников бирюзовыми глазами из-под козырьков своих шлемов и описывают в своих протокольных произведениях преступления своих героев-преступников «с одной стороны» и «с другой стороны» и «всесторонне», стараясь сохранить невозмутимость и объективность.

Попытка объективности. Но ведь объективность — тоже позиция, и, как всякая позиция, субъективна. Значит, объективности — не существует.

Попытка субъективности. Но ведь субъективность — лишь игра в самого себя, а никто самого себя не знает и не узнает никогда, какими бы космическими путями ни развивалась наука самопознания. Да и науки такой быть не может, потому что до конца познать ничего невозможно, а познать «не совсем до конца, но все-таки» — просто вульгарный материализм, философская авантюра.

Что же получается? Все — одни формулы, игра, блеф, иллюзия. Поскольку каждый считает себя высшим существом во вселенной, то и свой способ мышления он считает высшим, а свою форму существования — самой правильной. Оттого-то мир-иллюзию и блеф, мир-мистику и случай превращают в приспособленные к современности формулы.

Формулы — символы, идолы, Небо. И не все ли равно, как называется Бог — Магомет или Мао? Суть-то — та же. Не все ли равно, кто там в Небе — Иегова или «Восток-1»? Они — в Небе, они — боги. Не все ли равно, кому строить храм — Зевсу или Ленину? Не все ли равно, каким иконам молиться — византийским или собственным? Все портреты всех вождей все равно религиозно стилизованы.

Не все ли равно, что обещать человечеству: потусторонний мир, которого не существует или превосходное будущее, которое не осуществится? И там и там цель одна: живи сейчас, как живется, не восставай против нас, современных богов, потому что потом тебе будет лучше. А когда для тебя — потом? Никогда. Никогда. Никогда.

Историю создают не исторические события, а Художники. Если бы не было Художников, не было б ни богов, ни героев. Что такое историческое событие для будущего? Только — смутно вспоминаемый факт без действующих лиц. Художник дает факту действующих лиц, объясняет факт и лица, идеализирует в силу собственного воображения тот или иной исторический период и — История готова. А люди еще настолько наивны, что свято верят в эти галлюцинации, как в действительность. Тогда они требуют от того же Художника создания такого же мифа о современности (о них!). Желание пошлое, но вполне объяснимое — любая тварь жаждет бессмертья не своим трудом, своей кровью.

Но что — современность?

Ее не существует. Все, что произошло во вселенной секунду назад, уже такая же глубокая история, как и история бронтозавров или халдейских чисел. Я повторяю: современность существует только в том камне, который кладет строитель — сейчас, в той миллионной доле секунды, когда совершается оплодотворенье. Но камень положен и скреплен цементом, оплодотворенье свершено и ожидается дитя, — все это история, о которой писатель напишет свою версию, а другой — свою, и никто никогда не объяснит и не разберется, как же оно было «на самом деле». «На самом деле» ничего не бывает и никогда не было. Остается только собственное представленье об этом «самом деле».

Если бы люди со всей ответственностью относились к своим Художникам, если бы за смерть каждого Творца судьбы судили всю вселенную и самих себя, тогда я имел бы какой-то серьезный смысл в этом мире. Потому что, если бы не было меня, того, кто творит, то над миром не летали бы космические корабли, а летали бы птеродактили.

И совсем не важно, кто я — каменщик, землелашец, садовник, плотник, живописец, поэт, зодчий, астроном, — я люблю свой труд, я — творю, а эта маневренная масса, которая называет себя «люди» — рвут мои мышцы, уродуют мой мозг, уничтожают меня, чтобы потом воспользоваться моими трудами или разрушить их.

И поскольку люди ненавидят своих творцов и умерщвляют их, почему, с какой стати творец должен любить людей и оснащать их нервами и интеллектом? Такой стати — нет.

Единственный Герой Всех Времен — Художник. Нужно обладать мужеством Бога, чтобы все знать, ничего не иметь и не требовать, и творить — в небытие. У меня такого мужества не хватило, да, думаю, и не было.

Вот почему я бросил писать.

15

Мы — антиподы. КИМ бросил писать, а я дисциплинированно пишу и выбрасываю в мусоропровод. Антиподы-близнецы.

КИМ возбужден, глаза расширились и побелели, челюсть дергалась, выставляя волчьи зубы. Я ждал, когда он это прекратит.

— Выход, ты спрашиваешь? (я не спрашивал) — он замахнулся и весь как-то осел. — Я не знаю. Я бросил писать и этим нашел для себя хоть какой-то дилетантский выход. Подсказывать остальным — дело остальных. Обойдутся и без меня.

Он взвился на диване, замахал костлявым кулачком и закричал дискантом:

— И вот меня уже приговорили к Голгофе, и вот я уже на Голгофе, и вот уже под моими ногами костер из березовых кирпичей, и первые вспышки бензина обжигают ступни мои, и вот уже я протрубил свой последний вопль.

— Боже, Боже, за что ты покинул меня?

— Прекрати, — заорал я на него, — прекрати, идиот, трубить свой вопль. Или вопи для себя. (Нужно было остановить истерику.) Ты сказал «на Голгофе», да будет тебе известно, сэр, там не было ни кирпичей, ни бензина.

Он поморщился.

— Вот-вот. Именно — не было. Именно не было для вас и иже с вами. — Он зашелся, вскочил на корточки, на губах блестела слюна, зубы вперед, зрачки белые и как будто прямо над зрачками — встопорщенные волчьи волосы. Он задыхался:

— Никогда... я... не обращался к людям, и в последнюю минуту не обратился к ним, я обратился к Богу, к своей бессмертной Душе, но не к толпе последняя молитва, не к ней!

И уже здесь, на Голгофе, вы все равно требуете от меня ответа:

— Где же выход? Где Истина — тот клад, который ты зарыл и отказываешься возвратить его людям, чтобы они все на свете уяснили и увидели все ходы иклады?

Кто объяснит, что выходов — нет. Никаких. Клада — нет, его и не было. Никаких ответов Художник не знает. В том-то все и счастье, что я родился на свет, чтобы самому себе задавать

вопросы и самому себе на них — не отвечать. Вы — современность, а какая уж там современность, она всегда одинакова — толпа у Голгофы.

К счастью, я так и остался безграмотен и вульгарен и не знаю, почему я родился и для чего, почему я умру и для чего? Ничего мне не объяснили. Для меня остается неясным, повторяю: что будет с моей душой после смерти? Тоже — смерть? Неизвестно. Еще никем окончательно не выяснен вопрос о, скажем, переселении душ, о той, потусторонней жизни. От этого отмахнулись и назвали «мистикой». А ведь вообще-то, говоря начистоту, — неизвестно: может быть, как раз материализм и есть мистика, а мистика — и есть материализм.

Не будем детьми. Не будем принимать рекламу любой идеологии за действительность. В таком случае бесполезно вспомнить о Циолковском. Как это ни дико «материалисту», а первопричина всех инженерных космических сооружений Циолковского следующая: отец советской космонавтики занимался строительством космического корабля с одной-единственной целью:

Транспортировать на другие планеты души умерших.

Он считал, что Земля перенаселена душами умерших и им необходим выход в Космос.

Сумасшествие? Или сочувствие? Мистика? Или практицизм?

Во всяком случае, мне приятнее жить с детским убеждением, что после моей смерти я воскресну (душа моя — воскреснет) в каком-то живом существе, чем с убеждением, что уже — никогда — ничего — для меня (моей души) не случится. А как «на самом деле» ни одной науке не известно.

Не трогайте. Я ни на что не отвечу. Будьте благодарны мне за те мучительные минуты счастья, которые я сумел дать своим творчеством. Минуты — в вашем нищем существовании, которое вы называете «счастьем жизни».

Клада — нет, ищите его — сами. Но вы никогда не будете искать его, потому что он вам не нужен. Вам — явь и яства, Художник — летучая мышь, невидимка, которой нужны лишь иллюзии темноты и солнца да минимальные насекомые для пищи.

КИМ выдохся. Он уже заговаривался и потускнел.

— Белый Дьявол и Черный Бог... — забормотал он. Все, пойдут силлогизмы. Я устал, засыпал, меня тошнило. — У меня уже нет никакого внутреннего мира, — бормотал КИМ, его глаза закатывались, — остались одни внутренности. А там, — он ткнул себя в живот, — там лают псы и хохочут химеры. О Коллективизм — жалкий ублюдок от брака Тифона и Ехидны...

Я его не слушал. Я знал наизусть, что он скажет. Знал я все это и без античных параллелей и меридианов.

Я завязал его в одеяло, вставил в резиновые сапоги, открыл дверную цепочку. Он вздрагивал, шевелился, пошел, всхлипывая, заворачивая одеяло обеими руками, а оно волочилось по цементному полу, малиновая мантия на вате, нет-нет блистали черным блеском резиновые сапоги.

Слава Богу, и руки, и ноги у него заняты.

16

Утром выли полицейские сирены и сирены скорой помощи. Это — КИМ! Я выбежал на улицу, перескакивая через несколько ступенек, — он. И три пожарных машины.

КИМ взял напрокат фортепьяно. Он всерьез собирался поступить в Консерваторию (37 лет!) и репетировал сам с собой. Этой ночью он сложил все обрывки своих писательских, композиторских и живописных сочинений, разобрал их вокруг фортепьяно и поджег. Когда взломали дверь, он сидел голый и смеялся у костра. Фортепьяно только тлело и тлел паркет. Погасили ведром.

Он вышел сам: впереди два санитара, сзади два милиционера и КИМ с великолепной волчьей головой, на тонких юношеских ногах — вельветовые штанины, на плечах — собачья куртка, как горностай императора. На тротуаре он остановился и запел:

— Какая честь! Мне человечество дарит два лимузина! В какой садиться, господа!

У подъезда стояла толпа старух и трепетала.

17

Утренний снег февраля был бел и розов, а небо в сиреневых полосах солнца, даже дома-сталактиты искрятся, а по кварталам ходят лишь дворники — женщины в зеленых фуфайках, на каблуках, они машут метлами, и снежинки взлетают и взрываются, облачка снега — пар от дыханья; февраль — дышит.

Собаки самой фантастической расцветки бегают, не лая, бросаются в сугробы, выбрасываются и стоят на панели смешно и трогательно отряхиваясь, и снег летит во все стороны, как брызги шампанского!

Дети уже в школе, пальцы в чернилах, красные галстуки и звезды, изумительный запах чернил, и учебники пахнут свежим снегом. Звонят звонки.

Пенсионеры идут в магазины, идут, как при замедленной киносъемке, их лица в платках и ушанках, заиндевевшие волосы, глаза еле-еле просвечивают на лицах, пуговиц на пальто не

хватает, и рука, в которой сумка из пластика, в шерстяной цветной варежке, а вторая рука без варежки в кармане пальто. Шествие.

Из подъезда N 3 вышли два члена ССП. Они делают вид, что размышляют вслух о прекрасных проблемах. Но я знаю — они идут к пивному ларьку. Во-первых: форточка на втором этаже и форточка на седьмом этаже (знаю эти форточки!) распахнуты и в каждой — женщина (жены!) — знаю и их. Во-вторых: они вынесли по горсти крупы голубям, и не бросили крупу в снег, а преувеличенно заботливо посыпали тротуар и преувеличенно умильно смотрели — голуби клюют! (театр для жен и соседей, вышли покормить голубей) В-третьих: у них одна шапка на двоих и они преувеличенно дружелюбно уступали ее друг другу (косвенная улика). Один член ССП с вьющимися каштановыми волосами, с очами, бирюзовыми, как у племенного быка; жена спрятала у соседей его последние брюки, чтобы — никуда утром, а вот он ухитрился — продел ноги в рукава тельняшки; под пальто это хорошие полосатые гетры. Второй — нога в протезе, и другая чуть-чуть шевелится, в прошлом — Герой Советского Союза, матрос (это он не растерялся, посоветовал другу свою тельняшку), это он описал после войны свой военно-патриотический подвиг в известном романе (который, как и всю эту тематику, обрабатывала специальная комиссия писателей-профессионалов), а роман вошел в школьную программу для младшего, среднего и старшего возраста, и вот ежегодно переиздается, как учебное пособие по военно-патриотическому перевоспитанию поколений.

Из подъезда N 4 вышел совсем другой член ССП. В нейлоновом пальто, кожаная кепка, со свежевыбритой и длинноносой физиономией, лысоват и умен, поэт-песенник, корифей эстрадных коллективов, по субботам и воскресеньям он катается с женой на слаломе, у него машина «Жигули» и сорокакратный бинокль. Любая погода, лишь стемнеет, он гасит в кабинете свет и «изучает жизнь» дома напротив, наводя бинокль на освещенные окна, а в общем-то — ищет голых баб. Он любит жену и души в ней не чает, но интересно же, чем занимаются остальные бабы за незанавешенными стеклами? Я смотрел как-то в этот бинокль, чтобы польстить самомнению хозяина; ужас! — сосцы с кулак, волосы, толщиной с корабельный канат! Он тоже идет к пивному ларьку, но поодаль от остальных, он эстет: коллекционирует древнерусские иконы, пивные кружки всех эпох, марки, посвященные космонавтике, значки с Лениным. Но не пьет, — уникам.

Сегодня день дел.

Я побрился без зеркала, надел белую рубашку, присобачил галстук и пошел к пивному ларьку.

У пивного ларька — Ханыга в ондатровой шапке, член комиссии ССП по работе с молодыми: красная морда, монголоидная морда тридцатилетнего счастливчика. Он сочиняет звонкие стихи про комсомольские отряды и стройки химических комбинатов, двухметровый любимец Инстанций и нашего квартала, бессменный часовой у застекленного пивного ларька с автоматической цистерной. Ханыга весь оплыл, он просовывает жирные руки в небо и поет сквозь зубы Блока, со страстью:

Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцей,
А вот у поэта — всемирный запой
И мало ему конституций.

Сейчас он попросит 15 копеек. Всегда к 7 копейкам у него не хватает пятнадцати.

У пивного ларька — миллионы. Они с нескрываемым восхищением смотрят на Ханыгу, очень одобрительно отзываясь о событиях в Чехословакии, проклинают израильтян и плачут вместе со всем прогрессивным человечеством над смертью Аьенде.

Но пятнадцать копеек Ханыге никто не даст, потому что у него нет элементарного представления о трудовом героизме, песни-то его все слышали, но в песнях недостаточно ре-диез и ля-бемоль.

Пить в наше время, увы, не порок и уже не болезнь. Пьют, как трудятся, для миллионов пить — это практически единственный труд, которым они вдохновенно занимаются. А на своих трудовых вахтах они только зарабатывают на то, чтобы пить.

По утрам я могу пить только пиво, и вот я беру свою кружку, толстое стекло обкусано каким-то ковбоем, — сколько еще страсти у отдельных представителей.

Пиво постепенно гасит угли вчерашнего пьянства, теперь — в столовую, где все пахнет кухонным полотенцем для посуды, а вилки и ложки липкие, как будто по ним тысячу лет ползали улитки, а столы в стружках лапши и жир на них, как нефть, уж тут — культура, не развалишься по-ямщицки, все едят, как экзистенциалисты, не прикасаясь локтями к поверхности стола. В столовой строительная бригада, женщины в брезенте, залитом замерзшей известкой и закапанном лепешками цемента, может быть, по вечерам они все — принцессы и оптимистки, но сейчас смотреть на них — жутко, эмансипация.

Во что бы то ни стало съесть этот борщ — это болото в тарелке, в котором плавают бактерии капусты и амебы крупы, чтобы заработал желудок, перестала кружиться голова, отдышаться на перекрестке, взять себя за шиворот, стиснуть челюсти, забыться, — идти.

От нашего дома до Издательства — 7 километров, и я всегда хожу пешком. Пейзажи — пустые: наш питомник уже застраивают домами, будет квартал с кинотеатром, все остальное, уже рубят яблони, ходит экскаватор; почти по трамвайным рельсам — к Неве, непрославленная писателями часть Невы, не подсказывает внутренний голос прославлять — область Крестов, это называется тюрьма, а мы славим труд, а в общем-то, действительно, славить нечего — грузовые пароходики, нефть, и рыбаков-то нет на этих гранитах, дом Кушелева-Безбородко, теперь туберкулезный диспансер, у ограды стояли чугунные львы, этой весной восемь львов украли — кто? — каждый зверь весил не менее трехсот кг; завод шампанских вин, там бочки, ящики и шофер с грузчиком живут, как Людовик Четырнадцатый и Людовик Пятнадцатый — за каждый заезд и разгрузку по две бутылки шампанского (спысывают на бой), вот — в сутки по шесть бутылок, в месяц — сто восемнадцать, в год — две тысячи сто девяносто бутылок шампанского, десять тысяч девятьсот пятьдесят рублей, — шофер и грузчик, рабочий класс! завод имени... не знаю, какого он сейчас имени, был Сталина, такой красный кирпичный завод, я бы сказал, веселенький внешне, там в копоти варят металлы и металлоиды; Большой Концертный Зал, там выступают все, кто хотят и все, как хотят, кто поет во весь голос, кто декламирует про XXIV съезд, мне сейчас выступать запрещено, я читал в этом зале псалмы, что произвело удручающее впечатление, псалмы у нас читать можно, но не вслух, а про себя, вот мне и запретили выступать ради меня же; Финляндский вокзал с новым памятником Ленину, памятник, я бы сказал — большой, все ходят мимо и вслух от всего сердца радуются — вот еще один памятник, как хорошо, правда, потом где-то в районе аэродрома поставили еще один памятник Ленину, еще больше, и это тоже вызвало всеобщее восхищение, все говорили: как хорошо, еще один памятник и намного больше, чем у Финляндского вокзала — это просто прекрасно! Литейный мост, интересное в архитектурном отношении здание КГБ и т. д.

В Издательстве я получил деньги за две рецензии на книги, которые я отверг, и правильно сделал, в Издательстве остались довольны, ибо книги сейчас пишут все без исключения, а планы на несколько десятков членов ССП, — и несут, и несут пять с половиной млн. жителей Ленинграда пять с половиной миллионов книг ежеминутно. Ужас.

В Издательстве пили. Понемножку. Редактора лишь символически прикасались к рюмкам, а коньяк принесли два писателя, один дебютант, второй за компанию, эти уже ошалели и несли такую ахинею, что слушать их было и больно и смешно. У дебютанта свежесломанное ухо (открутили, пьяному, на Литейном

мосту), второй еще держался. На стене висели электрические часы, портрет Л. И. Брежнева и купающиеся нимфы Рубенса.

Писатель-дебютант, не теряя ни минуты, поднес мне свою первую книгу и написал благожелательный автограф. Он сказал: было бы просто превосходно, если бы я прочитал эту книгу вслух, но, вовремя заметив, что я потянулся за тяжелой бело-мраморной пепельницей, попросил: ну хоть страничку!

Я прочитал:

— Женщина для меня — особое существо. Она должна быть украшением моей жизни. Ее назначение: иногда исцелять, часто помогать и всегда облегчать. Она должна любить людей. Она должна заменять мне всех женщин на свете, а я должен заменять ей всех мужчин на свете.

— Здорово я про баб ебанул, вот где настоящая девственность! Читай дальше! — воскликнул дебютант с рваным ухом. Его лицо не предвещало ничего хорошего. Он с неослабеваемым вниманием выслушал бы всю свою книгу.

Я не стал читать дальше.

Я подошел к цензору. Так было нужно: цензор завизировал мой последний сборник, и теперь его за это снимали с работы. Его звали Роберт. Он ходил с тростью не из кокетства, а чтоб не упасть, когда пьян.

Когда-то он закончил факультет журналистики, работал в многотиражках и его отовсюду выгоняли за пьянство. Казалось бы странно: он вступил в Инстанции — и выгоняют. Но это казалось только постороннему глазу. Он знал, что делал: чем больше он пил, тем выше поднимался по служебной лестнице — его выгоняли с незначительных должностей, чтобы переместить на высокооплачиваемые.

— Привет, старик! — воскликнул Роберт уныло. — Что же это ты, старик, написал на своей книге «исторические повести»? Как ты, молодой писатель, позволил себе назвать повести «историческими»?

Я закрыл глаза, соображая.

— Ты что же, считаешь, что твои повести имеют историческое значение?

Я сообразил. И устал.

— Роберт, — сказал я, — это тебя в Инстанциях накачали? Они читали мою книгу?

— Не думаю.

— А ты?

— И я не читал, — признался, вздыхая.

Повести были написаны на исторические темы, и только. Они прочитали подзаголовок и у них заиграло.

Я позвонил в Инстанцию. Я звонил, а Роберт для храбрости вытащил из ящика стола бутылку портвейна и дул из горлышка.

— Понимаем ваше беспокойство, — сказали Там. — Охотно сочувствуем. Но уже вынесена резолюция не считать ваши повести ни сейчас, ни впредь историческими. В конце концов вы еще не Лауреат. Что с Робертом? А что с ним может быть, ничего — выговор по линии. А потом Вам что, неизвестно что ли, что уже подписан приказ о назначении Роберта Тимофеевича начальником отдела? Засиделся в заместителях. Отличный работник и, как молодежь, должен расти.

Я сообщил Роберту.

— Молодец, старик! — воскликнул Роберт с восторгом. — Они с тобой считаются. — И предложил дружески: — Брось ты свое шляхетство, брось ты к чертовой матери считать, что ты — исторический писатель, ну, пройдет еще какое-то время, станешь Лауреатом, и мы сами скажем, кто ты!

Они со мной считаются. Я был Там дважды, я шел по красным коврам, где у стен стояли милиционеры с кольтами, я сидел в кабинете с мраморными пепельницами, мы говорили о литературных проблемах, обстоятельно, искренне и заинтересованно, на русском языке. Я не понял ни слова, хотя все слова были знакомы с детства. Я вышел совершенно ошарашенный тем, что мне удалось добиться напечатания моей книги, — благодарю.

18

В Союзе Писателей перевыборы Первого Секретаря и правления. Кого переизбрали и кто вошел в состав нового правления, выяснить не было никакой возможности, да никто и не выяснял, все пили, а потом подрались, но это уже тема симфонической поэмы, а не прозаических текстов.

19

В 13.00 ежедневно ко мне приходит Наташа. Из-за нее до 13.00 я не могу никуда пойти. Обидится. Если я уезжаю в командировку, она сердится и требует адрес. Этого еще не хватало. Ей 11 лет и в 13.00 я застегиваю ей пуговицу на фартуке. Двадцать минут мы говорим о любви, и она идет в школу. Она меня любит.

Она призналась, что полюбила меня с первого взгляда, когда я переносил вещи в свою новую квартиру, а она ела во дворе эскимо на палочке и держала в другой руке мячик, наполовину

красный, наполовину синий. Лишь первый взгляд — и любовь на всю жизнь.

Моя жена ее нисколько не смущала: постареет совершенно, сдохнет, а Наташа к тому времени совершенно вырастет и расцветет. Я не разделял оптимизма Наташи насчет «сдохнет». Мы жили четырнадцать лет — жена нисколько не изменилась.

Я разместил вещи в квартире на девятом этаже и только через полтора часа пошел на балкон. Я боюсь высоты, поэтому выбрал девятый этаж. Для борьбы.

Я выставил шезлонг, и выставлял со всеми предосторожностями, чтобы не посмотреть вниз и не испугаться. Потом, с храбростью, свойственной всем трусам, я все-таки посмотрел вниз, ничего, не испугался.

Карликовые машинки, школьники, песики. Никакой пропасти, ни бездны. Я сел в шезлонг с наукообразной книжкой о Гоголе (двадцатые годы!). Я сосредоточился и прочитал:

— В период гениального творчества Гоголь характеризуется эндокринологически, как гипогонадопитуитоцентрическая личность с явлениями недостаточности постпитуитарной доли. В период шизофренического заболевания Гоголь страдает плюригландулярной недостаточностью эндокринной системы.

Это было так вразумительно, что я не без интереса еще несколько минут преспокойно перелистывал страницы, время от времени посматривая вниз такими глазами, какими может смотреть человек, с девятого этажа на все плюющий. Надо признаться, была и такая деталь: в правой руке я держал книгу, а левой держался за косяк балконной двери, на всякий случай. Балкон тоже может обрушиться. Левая рука затекла, потому что я изо всех сил держался. Я посмотрел вверх.

Если и нужно было что-то делать — не это. Бездна была не внизу, где золотистый песочек и живая тварь квартала, бездна — именно там — вверху, где — ничего, ни самолетика, ни бабочки, сплошное синее сияние. И — солнце со всеми своими ослепительными лучами.

Голова закружилась, и последнее, на что у меня хватило мужества, это отпустить левую руку и нырнуть в комнату. Я сидел на полу в полуобморочном состоянии, смотрел на крапинки на паркете, оставленные женскими каблуками, паркет посвечивал, крапинки кружились. Я отдышался и пошел на диван. Диван деревянный, раскладной, набитый какой-то твердостью. Спать на нем — все равно, что спать на скале.

Балкон остался открытым, теплело и теплело, занавески зеленели, блестело стекло будильника. Я увидел: в балконную дверь вошла девочка. С балкона, естественно. И пошла ко мне. Я лежал.

Теперь трудно, невыносимо трудно разобраться в возрасте. Может быть, три четверти преступлений по растлению малолетних совершается лишь потому, что мое поколение просто запуталось. Теперь все девушки — вне возраста. Десятилетний ребенок — метр шестьдесят сантиметров, — почти средний рост мужчины 35 лет. А тринадцатилетние девушки осведомлены во всех двусмысленных вопросах несравненно больше, чем мы. Поэтому-то и получается так называемое растление.

Я не собирался вскакивать и бросаться, как барс, на это сошедшее с небес существо. Я рассматривал и рассмотрел: умное лицо без очков, но с заметными следами очков, лет десяти; некрасива, хотя в таком возрасте нелепо рассуждать о красоте; минифартук, большие руки. Она опустилась на паркет, скрестила ноги по-турецки — босиком (педикюр, что ли?).

— У вас тоска, Иван Павлович!

— Почему? — спросил я вяло, чтобы спросить.

— А вы с такой тоской вывалились в комнату.

— С какой же это я тоской вывалился?

— С самой обыкновенной.

Разговор обещал быть в лучшем случае дурацким. Разговор — так разговор.

— Откуда ты знаешь, что меня зовут...

— Я и не знаю — это мама с папой.

— А я их не знаю.

— Вот они и говорят, — она почмокала. — Смешной вы. Живете в своей каменной квартире пес псом, и баб-то у вас незаметно. Бандероли-то вам приходят, а то и телеграммы. Папа с мамой их и принимают.

Ясно. Корреспонденция с полным паспортным набором.

— Да, вспомнил, а как ты сюда попала?

— Просто! Я уже давно хотела. Но позвонить — еще подумаете: девка сама на шею бросается. Вот я и воспользовалась, вот — случайный случай, вывалился человек, предынфарктное состояние. Ведь ваш балкон смежный, перелезла через перегородку — и тут как тут.

Кошмар. Я просидел на балконе пятнадцать минут и вывалился, а это десятилетнее дитя перелезло через вертикальную бетонную перегородку высотой два метра с лишним на высоте девятого этажа — хоть бы что!

— Вы знаете, такая тоска...

— Знаю, — сказал я и спохватился: не хватало еще заниматься философемами с младенцем. Что-нибудь потривиальнее:

— Как тебя зовут?

— Наташа. А тебя?

Я искоса посмотрел на нее. Пожалуй, я ошибся. Нет, она не

носит очков. Это у нее какие-то странные глаза, обведенные темными кругами; румяные негритянские губы. Тебя — так тебя.

— Ты уже и обращалась ко мне и правильно.

— Так ведь это я на «вы» обращалась, а теперь я совсем по-другому.

Слава Богу, все-таки дитя.

— Меня зовут Иван.

— Ванечка, то есть.

— Нет уж, милая Наташа. Не Ванечка. Пусть уж не Иван Павлович, но и не Ванечка. Давай — Иван.

— Пусть. А то я хотела поуменьшительней. Ведь я-то еще совсем небольшая. Тоска, Иван, тоска, хоть вешайся.

— ...

— Папа с мамой уходят на службу полдевятого, ну я и встаю с ними в семь. Папа говорит: «Хорошо ей вставать, не с похмелья». «А я что, виновата, что еще не пью?» — спрашиваю. «Попробуй еще раз произнести такую мерзость, я тебе уши откушу!» — трясется папа. А мама: «Это же она иронизирует, эх ты, паразит». — «Только иронией мне и не хватает! — трясется папа, — ты иронизируй над своими двойками!»

— А у тебя двойки?

— А как же! — оживилась. — Все, как одна, двойки. Как же могут быть не двойки — ума не приложу.

— Ты что же хвастаешься!

— Хорошенькое хвастаешься! — расхохоталась. — Маму вызывали в школу и она поспорила с учительницей. Учительница: «Почему вы не можете воспитать свою дочь так, чтобы у нее были одни тройки или даже четверки?» Мама: «Мое дело воспитывать свою дочь так, чтобы она не стала сучкой. Остальное — ваше дело!» Учительница: «Теперь я понимаю, почему ваша дочь двоечница, потому, что ваш муж алкоголик!» — «А ваш нет?» — прошептала мама. Учительница раскраснелась так, ну, не знаю как.

До крайности странный разговор, не так ли? Потому что потом меня хотели исключить из школы, а все не исключают, а все потому, что папа ходил в школу и оказалось, что он — в Инстанции. Я знаю, что он в Инстанции, но почему меня не исключили, не знаю. Ведь двоек не убавилось, так и идут, так и идут. Но зато теперь меня оставят на второй год!

— И ты довольна.

— А как же! Папа говорит: «Чем хуже учишься в школе, тем лучше будешь жить в жизни». Сам-то за двойки матерится, а мне — еще жить и жить. И пес с ней, с этой школой. Я и опаздываю-то специально, чтобы поскорее оставили на второй

год. Что делать, Иван Павлович! С полдевятого до полвторого я сижу одна. Одна-одинешенька. Комнату подмету. Или пол вымою. Или посуду, сколько там, пять тарелок. С котенком поиграю. По радио поговорю. Это я включаю радио и начинаю говорить с этими самыми дикторами. Они такую чушь несут, собачью. Так я их опровергаю. Это так просто: он одно скажет, а я совсем другое, наоборот. Вроде бы интересно полемизируем. А потом в школу — тоска. Шесть часов отсидишь — ни слова человеческого не услышишь, так я на уроках еще и стихи пишу, знаете, палиндромы. Хотите, прочитаю, продекламирую, у меня голос ничего, детский, правда.

Вот оно что: палиндромы!

— Сейчас нет, потом, как-нибудь. Не пора ли в школу?

— А как же, пора. Теперь я как раз хорошо опоздала. В самый раз. К концу первого урока и приду.

— Ну иди, — сказал я. — Я посплю.

— Нет, — сказала она твердо. — Если уж мы так близко сошлись, то я скажу вам правду и только правду, чтобы вы не подумали в дальнейшем, что я вас обманула. Вот! у меня есть еще сестра Инна. Ей пятнадцать лет. В прошлом году ей исполнилось четырнадцать. Она училась в седьмом классе, отличница и в классе была старостой. И что произошло, смех и только! Был в нашей стране Юбилей! Девочки отмечали успехи в учебе и дисциплине. Но этого им показалось недостаточно. И Инна придумала такой подарок. На танцы в школу педсовет пригласил мальчиков из нахимовского училища. Танцы танцами, а на чердаке были припрятаны бутылки вина. То одна, то другая пара уходили на чердак, и, в конце концов, все напились вдребезги. Естественно, подрались. Но это — чепуха. Сами родители виноваты в том, что произошло дальше. А дальше произошло такое мероприятие. Когда стали разбираться, кто кого побил, родители потребовали судебно-медицинскую экспертизу. Ну, у мальчиков обследовали телесные повреждения и травмы, а с девочками... Их тоже обследовали и обнаружили: во всем 7 «б» классе нет невинной девочки, ни одной. Все растерялись: как же так? «Нечего трепаться, это моего ума дело! — сказала Инна. — В честь Юбилея мы единогласно решили потерять невинность, все как одна. И все на чердаке потеряли, и всё!»

Инну вызвали в Инстанцию, а там кожаные диваны, мраморные пепельницы, зеленое сукно, золотые кисти на занавесках, красота, а за столом — папа! Инна и не знала, что он там. Папа был очень занят другими чрезвычайными обстоятельствами, прорабатывал карандашом документы, он ждал какого-то более ответственного посетителя, а тут — вот вам — семиклассница! Папа и не посмотрел на нее, спросил, не поднимая

головы, голосом диктора: «Как же это так, как ты развратилась, в таком возрасте, кто твои родители? Ты что же, никогда не читала наших газет про перевоспитание?» — «Нет, папочка! — сказала Инна, — я читаю журнал „Коммунист“. Каждый вечер, вот уже четыре года — тебе!» Так и было. У папы нет времени, он и придумал: читать за ужином. Он ужинал — Инна читала. Инну быстренько отослали к тетке в Томск. Теперь читаю я. Вот, — выпалила Наташа, — теперь между нами не может быть никаких недоразумений. Я сейчас побегу надену чулки, а вы застегните мне пуговицу, пожалуйста, на фартуке. К третьему классу сшили, а я так и хожу в старом фартуке. Пуговицы не сходятся, — так выросла. Так и хожу с расстегнутой пуговицей, пока в школе кто-нибудь не застегнет. Вот хорошо! Теперь вы каждый день будете застегивать мне пуговицу. В час. Счастливого сна. И не спите днем, а то будет бессонница ночью.

Я застегнул ей пуговицу, причем пуговица была не на талии, а где-то подмышкой. Выросла, действительно.

20

Я тоже подумывал о книге «для потомства». Я и написал бы такую книгу и хулители пресловутых завещаний в стиле Ж.-Ж. Руссо от души поохотали бы над пресловутыми признаниями и пророчествами.

И все-таки: я решил написать книгу для себя — тоже театр для себя! — чтобы она была моей и ничьей больше.

Слава Богу, эту книгу не прочитают и некому будет талмудствовать над ней, которую я уже давным-давно (клянусь!) оплакал сам, в которой я уже давным-давно раскаялся — сам, которую и пишу-то лишь потому, что пальцы мои еще в силах стучать по пластмассовым клавишам машинки, потому что этот труд — печатание букв — для меня самый единственный и знакомый, потому что я больше ничего не умею, только — писать, да и пишу-то только по привычке (будь проклята, эта привычка!).

Четырнадцать лет у меня была жена. Мы познакомились четырнадцать лет назад, пятнадцатого апреля 1959 года, в Ленинграде, улица девятая Советская, дом шестнадцать, квартира четыре в девятнадцать часов, мне было двадцать три года, ей двадцать.

Какой-то окололитературный девичник. Я явился в белом плаще, обмотанный красным шарфом, большие золотые часы висели на моей шее, как медальон.

Она полулежала на диване, белое платье в коричневую клетку, без туфель, золотые волосы заколоты на затылке в какой-то смешной хвост и глаза немножко слепые, нежно-голубые, в крапинках.

Она без чулок, на правой ноге под коленкой большая родинка, я посмотрел на родинку и процитировал:

О закрой свои бледные ноги!

Она по-настоящему смутилась и возмутилась:

— Почему же? ноги у меня совсем не бледные!

Мы пили коньяк, я активно декламировал Цветаеву, она смотрела на меня, как на диво.

Когда стали расходиться, мы обнялись в парадной, я поймал такси, никаких жилищ для нас не предвиделось, мы поехали по Ленинграду, по набережной Невы, через Кировский мост к домику Петра I. Ворота были закрыты, мы перелезли через ограду, мы ничего не замечали, даже самих себя, и вот взошло солнце и серебряная паутина ветвей расчертила воздух, и первые воробьи отряхивались на дорожках, посыпанных песком, разбрасывая песчинки, и гранит Невы заискрился красными кристаллами, и по Кировскому мосту затренькали трамваи, чуть примерзшие лужи, как через уменьшительные стекла, и какая-то старуха — сторож что ли домика Петра I, отворяла железные узорчатые ворота, и отворила их, и вдруг опрокинулась головой себе под ноги и забила в эпилептическом припадке, такие старухи на иллюстрациях к сказкам Гофмана: серое варево волос, в волосах песок, переносица окровавлена, ноги в рваных резиновых сапогах, тело в несусветном балахоне, все перепуталось, волосы, переносица, резиновые сапоги, балахон, ее уродовали судороги, только нет-нет из всего месива блистал большой голубой глаз и в нем, в белке — хвойная игла, прямо в зрачке, как стрела в центре мишени.

Сердце мое сжалось от жалости и отвращения. Мы обошли это шевелящееся окровавленное тряпье и встали у парапета, и моя будущая жена обернулась ко мне, и лицо ее было освещено — все! — восходящим солнцем и сияло так доверчиво, таким счастьем (такое лицо я видел у нее потом, когда она перебежала Невский проспект ко мне, вслепую, зеленое простое пальто нараспашку), она и не заметила старуху, и ничего не знала и знать не хотела ни о чем существованье, она побежала домой опрометью, не оглядываясь, а я стоял, и руки в карманах плаща тряслись. Нужно было тогда не быть такими легкомысленными, нужно было тогда предвидеть, хотя бы постараться предвидеть, что эта старуха — неспроста, это — предупреждение, за не-

сколько минут старуха проплясала нашу судьбу, и пора, не начиная, прекращать, не дожидаться этих судорог; знак тайный — так будет.

Так — было.

21

Туманное петербургское утро.

По тротуарам плыли тучи. В тучах нет-нет вспыхивали снежинки. Еще не было одиннадцати часов и опохмелиться негде. Стекла зданий Невского проспекта отсвечивали металлом.

Шли какие-то люди. И я шел. И думал: продавать спиртное разрешается только с одиннадцати часов. Нравственность. Почему, собственно говоря, с одиннадцати? Какой статистикой предусмотрен этот час? Почему бы не с половины двенадцатого или с восемнадцати минут тринадцатого?

До одиннадцати оставалось одиннадцать минут.

Мои похмельные муки были — мучительны. Сердце стучало и зудели зубы. Умолять продавщиц было бессмысленно. Несколько алкоголиков, хорошо выбритые, в черных галстуках, умоляли. Но белые как снегурочки, продавщицы были не от мира сего. Я не сказал ни слова. Я вышел из гастронома и пошел к Казанскому собору. Я истязал сам себя; эти несчастные десять минут — отмщенье и возмездье за пьянство.

Я и не предполагал, что у Казанского собора так много колонн. Я пересчитывал колонны, останавливаясь около каждой, и тупо рассматривал автографы на всех языках Земного Шара. Я пересчитал колонны и тут же позабыл, сколько их.

Потом — в гастроном. Алкоголики-интеллигенты уже ушли. Я выпил залпом три стакана сухого безвкусного вина и почувствовал — худо. Я пил четвертые сутки с кем-то и где-то, и, как всегда в таких случаях, совсем ничего не ел. Я выпил, у меня закружилась голова, я опять перешел Невский, пошатываясь, тошнило, и пошел к Казанскому собору и опустился на ступени. Все тряслось — вот-вот вырвет.

И ко мне подошел Художник. Никто не помнил его фамилию, все говорили — это Художник с большой буквы. Так и звали его — с большой буквы — Художник. Я встал, я еле дышал, губы казались ледяными.

Я понял, что он — из Москвы, потому что лишь в этой столице бросаются обниматься и целоваться. Он бросился. Я опять бесильно опустился на ступеньки. Он сел около и сказал.

— Все пьешь, дорогой мой?

— Все пью, дорогой мой, — я уже начал отходить.

— И тебе это доставляет удовольствие?

— О да, — майка под пальто прилипла к животу. По парапету собора ходили голуби, повсюду. На памятнике Барклаю де Толли, на темени полководца сидели два голубя. Они то ли целовались, то ли дрались.

Троллейбусы в февральском тумане зажигали огни и туман светился. Над Домом Книги (голубая каменная башня со шлемом) всю ночь горела и сейчас не гасла реклама «Дом Книги».

Перед собором распускался кустарник, как серебряный.

Я с любопытством посмотрел на Художника. Он всегда был похож на офицера белой гвардии из послереволюционных фильмов. Он даже, представляясь, каблуками щелкал. Сейчас у него свежее и румяное лицо, голова совсем седая, — когда он напивался, глаза становились желтые, как лютики.

Он живописец, график, книжный график, театральный художник, и т. д. и т. п. Щегольское пальто из искрящейся синтетики, без шарфа, шарф не надевался в самую страшную стужу, чтобы все любовались его белоснежным галстуком с золотыми крестиками. Ему сорок лет — уже старше Рафаэля и Ван-Гога, Модильяни, Джорджоне...

Полгода назад он разводился со своей очередной женой. Она плакала. Ничего необычайного. Все женщины на разводах, как правило, плачут. У нее было тяжелое тело и тяжелое лицо, темное. Их развели. Не знаю, какие трагические обстоятельства предшествовали разводу, — вся жизнь Художника освещена постоянным и немеркнущим трагическим светом. У Художника был фотоаппарат, и он попросил сфотографировать их на прощанье. Я смутился. Я думал, это очередной трагикомический трюк, демонстрация мужества и наплевательства. Но нет. К моему глубочайшему изумлению и она — этого хотела. Она хотела сфотографироваться с ним, гениальным художником современности, чтобы приклеить фотографии к странице своего семейного альбома и показывать страницу, вызывая зависть своих последующих мужей и семей. Я присвистнул про себя и сфотографировал. Они позировали хорошо, непринужденно, улыбаясь. Она сунула мне записку, на которой тушью каллиграфическим почерком написала все свои координаты, и приписка: «Иван, это не только на случай фотографий, но вообще на всякий случай». Писала дома, продумывала сей каламбур. Я не знал, как ее и зовут-то.

Теперь мы — пошли. Мы пошли по Невскому проспекту так же, как шли остальные, таким же тяжелым, нелюдимым шагом, со всех сторон вспыхивали сигареты, невидимки-женщины улетали в туманные светящиеся столовые, звякали замки служебных

портфелей, кое-где виляли собаки на цепочках. Я спросил, и он ответил:

— Попил крови. Не хочу подышать, как собака.

Просто быть беспощадным к себе. Это даже льстит самолюбию. И, хотя понимаешь, что всякое саморазоблачение — это все равно веское самооправдание, все-таки польщен инсинуациями на самого себя.

Оказалось, что Художник уже полгода, как по-настоящему женился на американке. И вот уже родился ребенок, сын, они живут в Москве и все крестились. Построили кооперативную квартиру. «Построй дом, роди сына, посади дерево, напиши книгу — и можешь спокойно умирать». Построил кооператив, родил сына, теперь посадит около Кремля дерево — и будет бессмертен.

— Как — крестились? — остановился я.

— Православие, — сказал он, глядя на меня блестящими глазами.

Мне опять стало тошно и я опустил голову. Мы шли не быстро. Он объяснял мне прелести православия. Никакое не православие, он вообще-то склонен к превосходным признаниям о своем Духе. У него самодеятельное философское образование. Он и сам писал философские трактаты (напиши книгу!). Писатели пытаются рисовать или музицировать (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Толстой, Пастернак, Маяковский, т. д.), а художники стремятся к стихотворчеству и философии, как мусульмане — к многоженству. Хорошо, что при нынешнем состоянии современности и с одной-то музой не справиться.

Художник трактовал православие настолько своеобразно и предприимчиво, что будь на моем месте любой маленький богослов, он ошалел бы от этой мешанины. Тут было все — и путаница пифагорейских чисел, и магия халдеев, и йога, и масонство, и Бог-невидимка, и Троиединство, и даже Дарвин, и... вегетарианство. Художник бросил пить и перестал есть мясо.

— А курить ты тоже бросил? — поинтересовался я.

— А я и не курил! — вспыхнул он.

Ну вот, я погрустнел. Он уже и позабыл, что курил, так стал свят.

Мы шли по Невскому проспекту, я молчал и не слушал его, а он распространялся о своем пресловутом православии, что он теперь носит на груди крестик, а это — уже!

Я видел девок с крестиками, они раздевались, а крестики красиво поблескивали. Сейчас — мода. Я не разубеждал его, я только с готовностью кивал, когда он доказывал какой-нибудь тезис. Все это не так случайно. Дилетантство, сопротивление действительности, сейчас стараются искать первоосновы бытия

в библии, коране, талмуде и т. д. Действительность слишком официальна и одинакова, там — восхитительные абстракции свободы и нравственности. Значит, наше время бессильно заменить добрые старые десять заповедей своими фальшивками.

Художник жестикулировал (маленькие женские ручки), твердил чуть ли не истерически: «Я много крови попил, много!» Он раскаивался в своем прошлом! После крещения — воскрешенье!

Какой же крови он попил? Оказывается, он виноват во всех своих женщинах, которых он так беззастенчиво бросил (представляю себе, если бы он их не бросил, а всех сохранил — что было бы?), что он их испортил и развратил (все-таки — комплимент самому себе), что их у него было больше, чем в самых страшных снах персонального пенсионера, и что судьба их плачевна, им уже никогда не возвратиться к прежней чистоте и к первым прелестям материнства (я посмотрел на него, он шел в профиль и блестел его белый галстук в золотых крестиках), что таким образом он бессмысленно растрачивал и свою духовную чистоту и душевные силы, но он обвиняет себя и только себя и до боли сожалеет, что никто не наказал его в свое время за преступленья в этой области.

Потом пошли пафос и патетика и я устал. Он просто уныло пересказывал очередную книгу по богословию, которую ему удалось достать. Завтра позабудет и будет пересказывать следующую.

Я вспомнил вот что.

22

Три года назад я попал в больницу.

Первопетровские корпуса морковного цвета, большие бессолнечные окна, почему-то вороны, аллеи, ноябрь. Деревья скользкие, как спруты, по вечерам тени больных на аллеях, да больных ли — больничные халаты, полосатые, как тюремные. И вся больница — тюрьма с надзирателями в белых халатах, тюремная пища, селедка, винегрет, каша. Калории.

Мы ходили в выстиранном рванье, на все отделение — одни ножницы, так что стричь ногти можно только перед операцией, — такая роскошь. Больные лежали в коридорах и на лестничных площадках, коридоры и лестницы заплеланы. На шестьдесят три человека — две кабинки уборной, один водопроводный кран — отделение урологии. Банки с мочой ставили в тумбочки, а утром уносили на анализы. Так что в тумбочках стояли банки: с мочой, калом, с виноградным соком, с водкой — переливали из бутылок

в банки, чтобы незаметно. Бульоны, бинты, лекарства, рентгеновские пленки доставали родственники по спекулятивным ценам.

Художник и моя жена пришли вместе, но не одновременно. Конспирация.

Она принесла продукты, он — коньяк. Ни в том, ни в другом я не нуждался: завтра — операция. Я сказал. С женой была истерика. Но кратковременная. Я смеялся, и она засмеялась. Художник смотрел большими глазами.

Меня сильно лихорадило, в коридоре тоже холодно, мы болтали, эта пустая болтовня о право- или левославье мне сейчас ни к чему — через час придет медсестра и будет готовить меня к операции. Я посмотрел на жену: она в тяжелой шубе, но тоже дрожала. Я пожалел ее: я не знал, что у них такое, но догадаться было нетрудно. Художник вдруг прикрикнул голосом офицера:

— Ну, мы пойдём или останемся? — повертел часы на руке.

Она заторопилась, я ничего не подумал, они уже сказали, что пойдут на день рожденья к кому-то. Она потянулась поцеловать, я отвернулся и пошел вверх по лестнице, в свою палату.

Я отвернулся и пошел вверх по лестнице, потому что приемной для посетителей в этой больнице не было, встречались этажом ниже, у раздевалки, на морозе и сквозняке, я пошел и пришел в ванную, где стояли две ванны, вместительных, больше по объему, чем в квартирах, раза в три больше, потресканные железные лохани, лак опал, борта и дно пошли пятнами ржавчины, по всей ванне моей вились волосы, я покрутил кран, вода чуть-чуть тепленькая, желтая, напоминающая мочу, — Господи, из водопроводных кранов здесь капает моча, — моя медсестра с другой медсестрой, юные, в купальниках, девственные животы и такие теплые плечи, — во второй ванне уже обмывали кого-то, они попросили меня посидеть, я присел на железную табуретку, совсем голый и сбрасывать-то было нечего — пижаму и только, меня трясло, температурил, сразу же от тепла заболели веки и волосы, я присмотрелся и увидел: они обмывают слишком уж неживое тело, слишком его переворачивают, тело безволосое, со свежим шрамом поперек живота, шрам — как ремень, еще не успели снять швы, металлические скобки, наборный ремень из металлических скобок, лица совсем нет, лишь голое тело, скрестив руки и ноги, — труп!

Они обмывали труп, а я ждал, в одноцветных солдатских купальниках обе медсестры одинаковые, одна подошла ко мне и, не глядя на меня, спросила: «Вас побрить или сами?» Все тело в капельках пота, в лицо ее я не смотрел. «Как побрить, я брился!» Она посмотрела мне в лицо, я ей. Ничего особенного:

лицо как лицо. Она хищно-весело рассмеялась, повсюду пар, ничего не рассмотреть, она сказала скороговоркой (жена тоже говорила скороговоркой): «Так бреются матросы, когда тонет корабль, — и прикоснулась к моему животу бритвой, обыкновенной, безопасной, на железной проржавленной ручке, никелированной столетие назад, — нужно брить все тело, все тело!» — бормотала девушка, совсем девчонка, лет шестнадцати, я вскрикнул от боли, бритва тупая, живот свела судорога, я схватил за руку с бритвой, повалил на пол и мы заскользили, забились на каменном прохладном полу, по мыльной пене, и бритва прозвенела где-то в углу.

Не знаю, видела ли вторая медсестра все это, была ли она там в ту минуту, играет ли это какую-то роль? Своей медсестры я уже не видел в больнице (после — она шантажировала беременность), а очнулся на койке, укутанный в одеяло, весь выбритый.

(Один писатель рассказывал мне: его сильно контузило на фронте, он лежал в захолустном госпитале, в палате было двадцать раненых. Обслуживала медсестра-доброволец, школьница лет пятнадцати-шестнадцати. Ему было семнадцать лет. Кровь войны и кровь собственная, — весь мир для него затмился, смысл пропал, ему недвусмысленно намекнули, что он не проживет и несколько дней, тогда такие намеки практиковались, война, раненых много, койки нужны, его перевели в палату смертников. Там была тьма и было их четверо. С девушкой подружился, — оба дети, остальным за сорок. И вот в этой палате, в бреду он стал уговаривать ее лечь с ним рядом, просто полежать, на другое он и не способен, так и так ничего не получится, но у него не было еще женщин, ни одной, и совсем так умирать не хочется, пусть полежит и все, и она пришла утром, пропустила уроки. И легла. Он утверждал, что лишь поэтому выжил.

Он — выжил. Она — умерла от родов. Истощенье, ранняя беременность.)

23

Я знаю только, что операция длилась около двух часов.

Я помню только, что я лежал перед экраном (простыня перед глазами, чтобы больной не видел, что там делается), и надо мной сверкал гигантский рефлектор, и была боль и все тело сводили судороги, я ощущал боль каждого мускула, они окаменели и дрожали, я лежал на пятках и на затылке, два часа, привязанный ремнями, я молил Бога, чтобы он дал мне только немножко, совсем немножко сил, чтобы не закричать, я чувствовал там,

внутри, ходит скальпель, я чувствовал каждую паутинку его движенья, мне сунули в рот какую-то губку, общий наркоз я не вынес бы (сердце!), я хватал губку зубами и только выл и выл на рефлектор, как волк на луну.

Я лежал еще два месяца и попросил профессора, чтобы ко мне никого не пускали. Не пустили.

24

Я вышел из больницы в своей одежде. Получил паспорт. Вышел за ворота. Стояло такси. Шел первый снег. Для меня — первый.

Шел такой блестящий солнечный снег! Небо ноября было синим и все — синим. И снежинки по тротуарам.

Я услышал:

— Да здравствует Индия, Центральная Азия, Тибет, Китай, Монголия, Корея, Япония, Бирма, Цейлон, Индокитай, Индонезия, ряд областей Сибири и Калмыкии.

Он стоял в лакированных башмаках и салютовал мне. Зелик, ассистент на моей операции, кандидат медицинских наук, еврей, он уже оформлял документы в Израиль, но поедет в Индию — мечта детства! Мы подружались в больнице.

— В чем дело?

— Сегодня День Будды!

— Ты думаешь?

— У всех разумных рас сегодня День Будды. 19 ноября — день Будды или по православной религии — день Иоасафа и Варлаама.

— А в СССР — день Артиллерии! — вспомнил я.

— Обуздывай мысль. Обузданная мысль приводит к счастью. У того, чья мысль нестойка, кто не знает истинной дхаммы, — мудрость не становится совершенной.

— А у тебя совершенная?

Он посмотрел на меня, как лев на моллюска:

— Кто живет, следуя дхамме, у того возрастает слава!

— Ненависть не прекращается ненавистью, — вот извечная дхамма. Но я убью тебя, — сказал я, чтобы что-то сказать.

Он возразил:

— Ведь некоторые не знают, что нам суждено здесь погибнуть. У тех же, кто знает это, сразу же прекращаются ссоры.

Знания. Цитаты. Я тоже процитировал:

— Когда же глупец на свое несчастье овладеет знанием, оно уничтожает его удачливый жребий, разбивая ему голову...

Он засмеялся с удовольствием и сказал:

— Если кто увидит мудреца, указующего недостатки и упрекающего за них, пусть он следует за таким мудрецом, как за указующим сокровище. Ты — увидел мудреца. Пойдем за мной. Лучше будет тебе.

Мы взяли такси и поехали на Невский.

Ничего приподнятого там не было, разве только флаги. Не было и артиллеристов. На большой доске почета — небольшой портрет генералиссимуса И. В. Сталина, небольшой, такой же, ни больше и ни меньше, чем портреты остальных маршалов. Говорят, какой-то пьяный писатель, сын репрессированного отца, залил ночью чернилами все гениальное лицо генералиссимуса. Когда его взяли, он протрезвел и активно клялся, — большой борец! Генералиссимус нашей литературы М. Горький сказал бы в таком случае: «Безумству храбрых поем мы песню!»

Первых артиллеристов мы увидели в подвальчике на углу Невского и Литейного. Это были майоры. Они пили коньяк.

После больницы мне пить нельзя, я стоял в толпе майоров, боясь пошевелиться, а Зелик пил за мое артиллерийское прошлое, и за будущее человечества — за *День Бугды!*

Что за прелесть эти майоры! — все как один: красные морды и толстые пальцы с плохими ногтями. Они вполголоса пели: «Артиллеристы, Сталин дал приказ». Чего уж там, — сегодня можно и во весь голос.

За нашей стойкой — я бы сказал, экстравагантная пара: старик, лет семидесяти, выбритые морщины, известный актер театра, и мальчик, такой павлин, еще и не брился, с губами, как у девочки, весь в пестром. Павлин говорил актеру «ты», я прижимался к стойке, опасаясь за свой распоротый живот, я все слышал. Это были педерасты. Юнец устраивал старцу сцену ревности, шепотом. Они пили шампанское, старик отмалчивался:

— Товарищи майоры! Он меня насильовал и еще хочет!

Истерика.

Майоры зашевелились.

Старец задергал большой бритой головой, взял шляпу и нежно взял мальчика за руку. Майоры еще соображали, а мальчик визжал слюной, как павлин, и до них дошло. Без слов, немо, с грозным ревом майоры бросились на актера, отбросили мальчика, и тот исчез, а старца уже не было — мелькали красные морды и красные кулаки.

Я протиснулся к барменше, потому что не выбраться, и сказал ей:

— Позвоните в милицию, они убьют человека!

— Человека! — сгрибилась барменша, не пошевелилась, — он тут каждое утро с этим павлином! Из «Дома Искусств»!

— Позвони, паскуда! — заорал я.

— А ты что — тоже? — хохотнула она.

Милиция была уже здесь. Два милиционера и почему-то несколько женщин в белых халатах. Все утихло.

Все расступились. Старец лежал на каменном полу, лица не осталось — кровавое месиво, большая голова разбита, кровь и мозги, живот разорван, а между ног сидел майор, на корточках, блестящие пуговицы шинели залиты кровью, свежей, потные волосы свешивались на глаза и тоже в пятнах крови, он обеими руками ухватился за ... старика, в горстях, вырывал, как вырывают свеклу, блаженно улыбаясь, пьяно, кровь, кровь, а остальные хором хохотали, и барменша всплескивала белыми руками в золотых кольцах, и на кольцах плясали камни; хохотала красным намазанным ртом.

Милиционер, тоже майор, осмотрелся тускло. Посмотрел на труп, его лицо дернулось. Посмотрел на майора, который собирался исполнить свой военно-патриотический долг до конца. Майор милиции почему-то снял фуражку, выплеснулся красный шар его волос, весь в седых прожилках, майор откинулся назад, размахнулся и ударил майора артиллерии — сапогом! — в переносицу.

Этот, охнув, отвалился, что-то хрустнуло, артиллеристы, как натренированные быки, пошли на милиционера, выла санитарная машина, выли сирены милицейских машин, у дверей двумя рядами стояли офицеры милиции с обнаженными кольтами... Подвал полон милиции и патрулей.

Стали скручивать.

Я стоял, я отвернулся к стене, лакированные доски, меня тошнило, меня душили слезы и кашель.

На стене кинотеатра «Художественный» висела афиша, а на ней — голубь и под голубем пограничник с двумя собаками. Зелик мрачно запрокинул голову:

— Яма — повелитель царства мертвых. Посланцы Ямы: сова, голубь и два пса — вестники смерти.

Я пришел домой, жены не было, не знаю, где она, на письменном столе, прислоненная к пепельнице, записка:

— Мой милый!

25

Февраль.

Потеряна вся прелесть зимнего дома: двойные рамы, паровое отопление, никакой мороз мои стекла не украсит, на стеклах тусклая пыль, меловые скалы соседних домов, меловое солнце без контуров, расплывающееся на все небо, да искорки птиц.

Прилетел голубь, распластал крылья по стеклу, стучит клювом в форточку. Нужно бросить в форточку горсть крупы. Голубь слетит вниз, приземлится и будет кувыркаться, выклеывая из снега корм по крупинке.

За стеной девочка Наташа который час решает арифметическую задачку, бубнит:

— Из бассейна А в бассейн Б... А и Б сидели на трубе... И катилась голова сама по себе из пункта А в пункт Б...

Вот я и живу, и даю жить другим: кормлю голубя, приютил крысу, застегиваю пуговку девочке десяти лет, — оправдываю свое место под солнцем.

Вдруг ни с того, ни с сего стало светлее. Появилась луна, объектив-гипноз, голова Медузы Горгоны, поднимая веки, посмотрим в глаза и все мы — человечки, деревья, дома — окаменеет от ужаса и будем протягивать в немой молитве к этой небесной голове окаменелые ручонки, веточки, антенны, и одуванчики легчайшего живого снега превратятся в кристаллы мрамора, и ничто не воскреснет в мире февраля, в мире мертвых, лишь за этой линзой луны, как на экране телеобъектива, останется уменьшенное изображение: матовая пластинка моего дома, деревья-паучки вверх лапками да моя малюсенькая фигурка, ножки которой стригут воздух ножницами при ходьбе, и, слава Богу, никому не будет никакого дела до моих мыслей и мук, просто: пытливые существа Галактики N 3.675.987-XXX (V-2) прокрутят вот эту самую пленку, зарегистрируют и поставят на стеллаж своей всеведущей фильмотеки, где последние изображения Земли займут свое достойное место где-то в зномм биллионе погасших планет.

А может быть, мы единственная обитаемая планета, и что мне за дело, если на каких-то там метеорах или протуберанцах живут какие-то мыслящие индивиды, где какой-нибудь птеродактиль чертит на скалах свои стихотворные тексты, а какой-нибудь тиранозавр рекс вычисляет количество нейронов в моем мозгу. Там людей нет и быть не может, мы абсолютно одиноки.

Мне плохо при луне. Мне кажется: в мареве неба мой февраль — это малюсенькая молекула, блеск на мизинце Атласа; что уже и Атлас обманут и этот небесный купол — только иллюзия мига, он вот-вот обрушится; что солнце, которое зашло сегодня, а было оно такое расплывчатое и неживое, и даже это солнце — последний всплеск моего сознания, и каждый шаг мой — последний; что уже никогда не будет рассвета, и дрозды не будут клевать вишни, и красные кони уже не будут скакать по оловянным дорогам, и не распахнутся паруса чаек, и не залает состарившийся и трогательный пес Одиссея, и никто не напишет

мифа о крылатых сандалиях Гермеса, о царице-изгнаннице Гипсипиле...

Электрический свет стал молочным, из крана капали блестящие слезки, закручивать кран не хотелось, пусть их слезки плачут. Я набросил шубу и вышел на балкон. Мороз, и дышалось легко. Луна маленькая и страшная — око филина. Внизу, там, в долине города — пустота, светлячки. Не знаю, сколько баллов, но ветер — выл! Мой дом — девятиэтажный корабль, эскадры таких кораблей бороздят все пограничные земли современных городов, мой дом — спал, я один — не спал, я стоял на балконе-мостике, жалкий капитан тонущего корабля, с которого сбежали все крысы и матросы, сбежали в свои сны-кошмары и сны-мечты; какой демон им снится, какое детство? Или тебе приснится товарищ Х., он выхватит кольт, и теперь во всеобъемлющей вселенной вас только двое — ты и кружочек дула, товарищ Х. спросит весело, по-товарищески:

— Ну как жизнь, молодежь?

И ты, трепеща от страха, ответишь не менее веселым голосом:

— Творим, товарищ!

— Молодец! — скажет товарищ Х., — давайте-ка быстренько, что вы там понаписали. О вашем творчестве поговорим в следующий раз и в более подходящей обстановке. Если что потребуеся — позвоните, не стесняйтесь.

Как ты будешь звонить из сна в явь? Нет, лучше ты проснешься и выбросишь в мусоропровод все свое творчество, так — проще, ты — просто писатель, и все, и никакого «творчества» у тебя нет и в помине.

Я стоял на капитанском мостике, а ветер запутался в снастях антенн, в парусах окон, и — ревел, ревел ветер в моих открытых ушах, ну, поднимай якоря, капитан, в золотое и лазурное будущее, там фрукты и фанфары, династии гениев и принцесс, чего там только нет!

Там нет — меня.

ОБ ОДНОЙ ЛЮБВИ

1973

Я видел женщин с такими мускулистыми ляжками, что о любви с первого взгляда не могло быть и речи.

Девушками их тоже назвать нельзя. Они похожи на мулаток, но мулатки — красавицы, этих — не разберешь, массовый спорт. Они носились по всем правилам своего спорта, они мелькали на всех перекрестках и шоссе нашего небольшого эстонского городка Отепя, они бегали на какие-то дистанции, занимались спортивной ходьбой, а большей частью катались с асфальтированных гор на лыжах и на коньках, отталкиваясь металлическими палками; не знаю, как все это называется, но все — на колесиках, и даже палки с колесиками какими-то. Июль.

Жрали они — в буквальном смысле этого слова. В ресторане по спортивным талонам они жрали эстонскую свинину, черную смородину, посыпанную сахаром, гороховый суп со свининой, зеленый горошек, ветчину, сливки, буженину, кисели и компоты, кильки, салаты со свининой и с майонезом, грибы в молочном соусе, маринады, свиные отбивные и т. д. и т. п.

Они были оголены со всех сторон до неприличия, но это было совсем не то интригующее неприличие, о котором с таким неподдельным восхищением писали классики литературы, это было неприличие профессиональных борцов-гермафродитов.

Северное солнце и спорт превратили их тела в непроницаемые и монументальные скульптуры из мяса. Любви они не сулили нисколько.

Так что мои мечты о флирте были достаточно драматичны.

Теперь о собаках.

Я подозреваю, что большинство собак нашего городка — суки: у всех жирные животы. Я подозреваю, но не утверждаю. Так,

один философ и социолог утверждал на каком-то симпозиуме, что алкогольное опьянение быстрее и проще можно определить у того, у кого морда маленькая, и длительнее и труднее у того, у кого морда большая. Так один небезызвестный писатель утверждал, что красивые всегда смелы. Не знаю, как насчет красивых, но формулировка — да, смелая.

Но о собаках.

Совершенно неясно, какой они породы, то есть ясно, что никакой, какая-то бредовая помесь. Все они неживые, все бездельничают: и лают-то кое-как, на кого попало, а больше на детей, потому что дети пугаются быстрее. Собаки только делают вид, что бросаются, но — ни шагу, не бросятся. Июль.

Я написал о спортсменках и о собаках не потому, что в дальнейшем развитии действия они будут иметь первостепенное значение, а потому что они — повсюду в этом рассказе как воздух, что ли, как театральные декорации.

На хуторах нашего городка пасутся лошади, коровы и овцы, но — ни одной козы! Поразительно. Так однажды просматривая справочник членов Союза Писателей СССР, я насчитал 17 Ивановых, 6 Петровых и — ни одного Сидорова. Я не поверил глазам своим. Я стал более тщательно перелистывать справочник и обнаружил 14 Васильевых, 8 Федоровых и 11 Борисовых. Я долистался-таки до буквы «С». Сидорова — не было. Ни одного. Это какая-то мистика.

Поскольку я вспомнил о писателях, то не мешает сказать несколько слов и о «форме».

Сейчас все еще не утихают споры о классических мадоннах и о модерном абстракционизме. Если рассуждать решительно, то, скажем, дрезденская мадонна — кощунство над реальностью: ее тело раз в десять больше тела обыкновенной матери, младенец — не меньше поросенка. Действительность — это храм, или храм, а художник лишь выбирает объекты для своего творчества: будь это хоть квадрат, хоть корова. Важно — умение выбирать. Если не умеет — и не сумеет. Научиться этому невозможно никак, ни у кого, как невозможно научить игре на фригийской флейте красного персидского кабана.

Теперь об остальном.

Наш небольшой городок Отепя расположен где-то на юге Эстонии. Население — около 4 тысяч жителей. Архитектура. В центре городка — площадь. На площади ратуша со шпилем, выкрашенная уже современными мастерами в красный цвет, нет, пожалуй, в красноватый, до совсем красного цвета мастера как-то еще не додумались.

Да и не ратуша это, собственно-то говоря, а то ли райсовет, может быть, горисполком или городское отделение милиции, не

исключено, что там сейчас расположены какие-нибудь совсем другие административные единицы или центры. Честно говоря, я только сейчас задумался о сути, чтобы не вводить в заблуждение читателя, но так и не сумел вспомнить, что же там такое в этой бывшей ратуше с готическим шпилем, потому что я так ни разу и не поинтересовался: кто там? какие действия за этими зеленоватыми, чуть светящимися занавесками с золотыми кистями, с такими кистями, которые подвешиваются к юбилейным полотнищам знамен и к эфесам офицеров, когда встречаются в Москве иностранную делегацию.

На площади два сквера, крохотных, с четырьмя зелеными скамейками, вечнозелеными, как во всех скверах Прибалтики, подстриженная трава, несколько яблонек с какими-то птичьими листочками. Больница, гостиница на 18 мест, или номеров, четыре продуктовых магазина (в двух продают алкогольные напитки, в двух не продают). Столовая, двухэтажная, белая, на первом этаже кафе, в котором по вечерам собирается местная молодежь, нет, пожалуй, я ошибаюсь, молодежь собирается в ресторане, а в этом кафе собираются по предварительномуговору старики, они пьют обязательный «Вана Таллин», едят бутерброды с килькой и яйцом, и весь вечер смотрят друг на друга дурными глазами или же поют потихоньку песни, — каждый свою.

А около кафе стоят мотоциклы, а на тротуаре лежат мотоциклетные каски (совсем недавно вышло постановление, чтобы каждый мотоциклист обязательно был в каске, чтобы не разбить вдребезги голову в случае несчастного случая, и все мотоциклисты теперь — пожалуйста, в касках, это даже и живописно со стороны, особенно когда они кувыркаются со всей своей бешеной скоростью).

На площади — магазин канцелярских принадлежностей, в котором неограниченное количество нотной бумаги, а писчей нет, и нужно сначала поехать в Ленинград и закончить консерваторию, а потом уже писать на этой бумаге прозу. Магазин хозяйственных товаров, в котором продаются в самом широчайшем ассортименте замки и топоры, а также графины, рюмки, пивные бокалы, корзины для всяких хозяйственных дел, почему-то все размером не больше тарелки: муравьев собирают в них, что ли? Но зато там же и мебель — желтокожий диван неопикуемой красоты, который каждый купил бы, не задумываясь ни на секунду. Но, к несчастью, этот превосходный диван в восемь раз шире двери и вынести его нет ни у кого сил, да и — никак, потребовалось бы несколько тонн тротила, чтобы взорвать стальные двери, но это недопустимо, никому такая нелепая мысль не придет в голову, да и попадет за хулиганство.

Да и я ведь пишу о тротиле только с литературными целями, но совсем не настаиваю на своей гиперболе, просто мне нравится диван.

В газетном киоске продаются газеты: позавчерашняя «Правда», ее охотно покупают курортники и уносят в свои санатории.

Еще я забыл про автобусную станцию, она за ратушей, стеклянный «современный» каркас. На автобусной станции — автобусы и пассажиры, а также расписание автобусов, но автобусы отбывают и прибывают по собственным маршрутам и расписаниям, так что пассажиры — вечны, как статуи в Риме.

Если от автобусной станции отойти шагов на пятьдесят, — почта, ничего особенного, почта как почта со всеми своими почтовыми операциями, только над входом нет-нет вывешивается красный флаг. Это странное вывешивание происходит в такие дни и часы, что все — и население нашего городка, и три городских милиционера, и все мы остальные, — находимся в совершеннейшем недоумении: по какому случаю плещет над почтой красный флаг, что за событие произошло в социалистических странах сейчас, никому неизвестное? Что за прекрасный праздник?

Есть все основания предполагать, что флаг — это маленькая слабость директора почты, он вывешивает этот символ эпохи, как символ своего хорошего расположения духа, но не исключено, что есть еще и другие, серьезные причины, которые нельзя сообщать всем, но флаг вывесить нужно.

От почты вниз по шоссе — трамплин для прыжков с трамплина на лыжах. Я уже писал о спорте, и во второй раз распространяться на эту тему ни к чему, я хочу отметить только такую деталь, с трамплина прыгают и летом, тоже на лыжах, подстелив хлорвиниловые, что ли, маты, которые играют роль снега, такой артистизм, я сам видел, как прыгают девушки с мускулистыми ляжками, и это производит хорошее впечатление. Бывают и срывы, но у кого не бывает срывов! Прыгают с хлорвинилового трамплина, как с настоящего, дышат воздухом неба вверху, — и прекрасно, никаких возражений ни у кого нет.

Еще ниже по шоссе, километрах в двух — озеро, на озере — тоже трамплин, но для прыжков в озеро. Тут уж бросаются без оглядки, прямо — головой вниз и никакого возврата, и этот вид спорта хорош своей простотой и завершенностью.

На озере есть еще несколько островов, но о них я не могу сказать ни слова, потому что там не был, а фантазировать ни к чему, я пишу правду.

На берегу этого восхитительного озера — ресторан: в ресторане мы только обедали, в ночной жизни его мы не принимали ни малейшего участия, кормили хорошо, знакомым давали вдвое

больше порции, незнакомым, соответственно, вдвое меньше, питание вкусное, в основном всякие хорошо приготовленные кушанья из свинины с черной или синей картошкой, а также компоты из ревеня, кисели, не буду повторяться, потому что не знаю, что здесь происходило по вечерам: джазы, выставки живописи, свадьбы, персидские блюда из цыплят, артишоки, печеные улитки, — не знаю, нам нравился свининный стол хотя бы потому, что хозяйский пес Микки, ожидающий меня у ресторана, всегда оказывался сыт, а потому ходил ходуном. Я же питался молоком, грибами из леса, малиной, земляникой и кой-какой колбасой, если очередь за ней не превышала сто человек.

Вот о баре есть что рассказать: там стоял музыкальный аппарат, в который опускали по пять копеек, чтобы послушать музыку, этот аппарат в своем роде — чудесная находка инженерно-музыкальной мысли, он с большим успехом заменяет в мирное время гул 99 орудий, я сам слышал эти мелодии, — и все это всего лишь за пять копеек!

Стены каменной кладки, деревянные столы и лавки, стойка и буфет, а в буфете бутерброды с килькой. И бармен — Артур. Он немногословен, но оказывается, свободно говорит на эстонском, русском, польском, немецком, шведском языках. Когда он заговорил на всех этих языках одновременно, я ушам своим не поверил, а подумал, что я просто пьян, что было не так-то уж и далеко от истины.

Я был пьян, но, тем не менее, он говорил.

Оказалось, что он репатриант, работал во всех барах Австралии, и вот теперь на Родине. Он рассказал всякую правду про охоту на кенгуру и как он ни разу за все годы жизни в Австралии не заметил за собой, чтобы он ходил вверх ногами, и это меня нисколько не удивило, — никто за собой такие вещи не замечает.

Я сказал, что немецкий язык, в общем-то, близок к шведскому, а русский и польский, если уж говорить начистоту, — одна и та же группа языков, славянских.

Я совсем забыл о композиции рассказа.

Я жил не в самом городке, а на хуторе, не столь уж и далеко от бара. На хуторе была баня, хорошая, «по-черному», париться там было большое удовольствие, только потом рвало — пар был с дымом.

В бане я парился до помертвения, рвало, а по бане почему-то прыгала лягушка. Ничего: самая обыкновенная, зеленая, каких миллионы, я думаю. Около бани маленький пруд с пиявками, может быть, она плавала в своем пруду, а потом заинтересовалась — что там, в парильне с вениками и моими предсмертными воплями?

Итак: с полотенцем и в трусах я пошел на хутор, недалеко, шагов пятьдесят. Лягушка пошла за мной.

Солнце заходило, все зеленело, и только солнце было какое-то половинчато-красное. Ели шумели, овцы возвращались в цепях, кто-то в кепке и жилете косил. По тропинке прыгала лягушка и попевала за мной.

Я пошел спать и уснул.

Утром лягушка сидела на цементированной ступеньке дома и не шевелилась. Я отправился в лес — она тоже. Я возвращался из леса — она караулила на тропинке. Мне стало смешно. Я поймал ее и бросил в пруд. Ночью я вышел подышать. Луна прямо-таки лилась по небу, слышно было, как чуть-чуть чокаются яблоки на яблоне.

Под ногой запищало. Я боюсь ночей и отпрянул, потом оправился, присмотрелся: на мокрой траве сидела лягушка, головой вверх, я зажег спичку, она смотрела на меня. Мне стало не по себе: ночь, эта льющаяся луна, эти яблоки с их чоканьем и эта лягушка, — тут уж не до мистики.

До рассвета мне снились: какие-то калеки с жабьими физиономиями, тяжелые золотые монеты древнего мира с профилями лягушек, жабы, которые меня целуют в губы, человеческие уши-хрящи, прыгающие на лапках по тропинкам и т. д. и т. п.

Очнувшись, я распахнул дверь: на ступеньке сидела лягушка. Она бросилась на дверь, как бросаются собаки, требуя, чтобы их впустили. Взбешенный, я схватил ее, сжал в кулаке и зашвырнул, как только мог — подальше!

Потом я сел за машинку. Но не писалось, я жалел тварь — не разбилась ли, я курил и курил, потом встал, чтобы искать. Я встал и увидел в окно: она сидела там же, где и сидела.

Я обессилел. Хозяйка хутора фрау Элла по-русски говорила только одно имя существительное «товарищ» и по-немецки инфинитивами. Утром она занималась своими кроликами, коровами, картофельной ботвой, а вечером с ней и инфинитивами объясняться не было ни малейшей возможности, так от нее несло эфиром (на хуторах пьют не «Вана Таллин», а эфир). Я не услышал от хозяйки ничего интересного и стал самостоятельно кормить своего зверя(!) молоком, она окунала морду в молоко, но пила или нет — не знаю.

Работать я уже не мог, читать — не читалось, я думал только: что же это такое?

Я не спал. Если и дремал, то грезились девушки без одежд с молочными головами и лягушачьим телом. У меня пропал аппетит, я пил яйца и ел красную смородину и молодой чеснок, чтобы не свалиться. Я запирался на ключ ночью и с ужасом слушал, как лягушка исступленно бросается на дверь, а потом

в изнеможенье шлепается на крыльцо и сидит. По утрам она стала шевелить губами, или это мне от бессонниц мерещилось.

На четвертый день я запил. Фрау Элла дала мне самогонки и малосольных огурцов, и свиных шкварок, япил за своим столом над своей машинкой, заливая клавиши огуречным рассолом и размазывая сало по пьяной физиономии. Начиналось отчаянье — первый симптом истерики.

И я впустил ее. Прыжок — и она уже очутилась на подушке, сидела в той же позе, глаза ее смеялись, как у змеи. Я решил объясниться. — Слушай, — сказал я, но тут же догадался, что это — эстонская лягушка и по-русски она, может быть, и не поймет. Я взял русско-эстонский разговорник и стал лихорадочно листать.

Третья глава гласила: «Знакомство с человеком». Единственная фраза, с которой я мог обратиться к лягушке в данной ситуации и по этому словарю, была: «Извините, вы — Август Мальм?» Она, естественно, молчала. Тогда решил представиться я. В словаре было: «Я — член Коммунистической партии с 1954 года». Это — неправда. Объясняться было бессмысленно. Из вежливости я нашел главу «О погоде вообще». Там так: «Погода нынче благоприятствует сельскому хозяйству». Я отложил словарь. Вот что я сделал.

Я выпил рюмку эфира, зажег спичку и дохнул на лягушку. Двухметровое пламя ударило, как огнемёт, но она не испугалась и не ушла. Сидела. Я тоже сел и обхватил уши руками. Безысходность.

Когда я отнял руки, лягушка спала, — усypил эфир. И тогда меня осенило. Я взял рубль, положил чудовище в полиэтиленовый мешочек, на автобусной станции сел в такси и уехал в любую сторону за рубль. Там я ее бросил в какой-то пруд и запел.

Так я и шел и пел десять километров до хутора, и выпил еще яблочной наливки, и спал, и во сне видел все еще в цвете — какие-то дворцы и караваны, играли флейты, минареты, дети играли в мячики и в мыльные пузыри, правда, перед рассветом я проснулся, вышел, веселый, полюбоваться луной и послушать чоканье яблок, полюбовался и послушал, ступил босой ногой на освобожденное крыльцо, а на крыльце — сидела лягушка! Но я уже знал, что это — мираж, результат моих восточных снов в пустынях, и уснул.

Утром в окне стояло солнце и крутились осы. Жасмин уже отцвел, но я с радостью ощущал еще его запах. Я вышел на крыльцо. Воскресенье, 1 июля 1973 года, в девятый день после нашествия земноводного. Я осмотрел солнце и небо, подышал жасмином, а потом опустил глаза:

лягушка лежала брюхом вверх, бледно-бело-зеленоватым, локотки и колени лапок сведены, а головы не было — на крыльце валялся молоток с рожками для вытаскивания гвоздей, — кто-то взял ее в кулак, положил на цемент и ударил по голове молотком.

Я завернул трупик в газету и отнес за овечий сарай, — не хоронить же. Я помыл руки, сел за машинку, теперь труд мой машинописный «войдет в норму», клавиши заиграют мои мелодии рифм и ритмов, рукопись элегий будет отправлена в Издательство... и вдруг тяжелая, неживая тоска ударила меня туманом в это солнечное окно, окутала машинку, я опустил руки, зачем-то выпил стакан молока — залпом, добрался до кровати, лег и закрыл на подушке глаза: кто убил лягушку так продуманно и с таким мастерством?

Почтальон в каске мотоциклиста, приезжающий каждое утро на велосипеде? Местные мальчишки, по всем конституциям детства вооруженные в нашем саду смородину и розы? Фрау Элла, опохмеляющаяся после вечернего эфира утренним? Больше на хуторе никого не было, не бывало, и быть не могло, а молотком с рожками я еще вчера днем расплющивал гвозди в своем разваливающемся башмаке.

ДЕНЬ ЗВЕРЯ

1980

1. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. (Книга Притчей Соломоновых, гл. 30, ст. 12)

2. Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько; ибо мы уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом.

Как написано: нет праведного ни одного.

Нет понимающего; никто не ищет Бога;

Все совратились с пути, до одного негодны: нет делающего добро, нет ни одного.

Гортань их — открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их;

Уста их полны злословия и горечи.

Ноги их быстры на пролитие крови;

Разрушение и пагуба на путях их;

Они не знают пути мира. (Послание к Римлянам святого апостола Павла, гл. 3, ст. 9—17)

3. За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того. (Откровение святого Иоанна Богослова, гл. 16, ст. 6)

$$4. P(4)+P(9)x+P(14)x^2+\dots = 5 \frac{((1-x^5)(1-x^{10})(1-x^{15})\dots)^5}{((1-x)(1-x^2)(1-x^3)\dots)^6},$$

где $P(n)$ является числом представлений n в виде суммы положительных слагаемых. (С. Раманужан)

СТОЙ: СТОЛИЦА!

Яуреи уехали в Израиль.

Олени убежали в Финляндию.

Рыба ушла в Японию.

В Столице остались инстанты и диссиденты. Они — боролись.

В Летейском Саду подъемные краны.

К подъемным кранам подвешены ремнями в охват за брюхо — коровы. Почему вы подвешены, дарительницы мясомолочных продуктов? Почему на цепях качаетесь над Летейским Садам?

— Нету кормов, — ответ у буренок. — Мы подышаем, и вот нас подвешивают на кранах к деревьям, чтобы мы жрали живые почки-листочки и кой-какую кору. Жуем мы губами. Выживем как-нибудь с месяц, зарубят как-нибудь на заре.

По Летейскому Саду гиды из Тайной Канцелярии водят иностранцев, объясняя: аттракцион для кровинцев — карусель из коров. Мы — кровинцы! В наших венах и капиллярах есть кровь, а в ней кровяные шарики — красные. Они крутятся в обществе обещаний, вот и коровы крутятся до посиненья.

Здесь же и диссиденты. Они отрицают; как аукаются их гневные голоса:

— Общество обнищаний — вот мы кто! В статуте Столицы — нехватка мяса и молока, вот и подкармливают коров. Это плохой процесс, эх, экономика! История не простит — инстантов! Нет оправдания им — в их аттракционах!

А вообще-то говоря, в 11.00 предполудни, когда на Несском проспекте всплывает семиглавое чудовище Несси, инстанты и диссиденты стоят на коленях и, кланяясь Несси, пьют: инстанты из чаши чести, запивая соусом совести, а у диссидента — стакан сатанинства, пьет, закусывая, жуя манжет. Пьют бормотуху. Все ту же. Все те же.

Вот — выпили!

Там и сям раздаются Идеи!

Инстанты в шеренгах, а диссиденты, как тунеядцы, бегут вовсю, врассыпную — к Летейскому Саду! Бегут, бегут!

На тротуарах стоим — Мы: люди, кровинцы. Мы — смотрим!

В Летейском Саду столько статуй (изделья идальянцев из Идалии!)! Каруселей коров! Столько столбов из деревьев липа и клен! Три павильона, а если попроще — три туалета! И Пруд с лебедями.

Здесь:

инстанты и диссиденты борются за Идею, хватая друг друга за носы, волосы, уши и за прочие висячие члены мужского и женского аппарата. Иные методы борьбы воспрещает Кодекс. Нельзя хвататься за то, что не висит на человеке.

Оторвав, сколько требуется этих штук, сидят у Пруда.

В Пруду два лебедя, белый и черный. Белый лебедь — символ инстантов, черный лебедь — символ диссидентов. Лебеди любят есть, вот им и скармливают то, что оторвали, о чем я пишу: трофеи.

Потом:

победителям соответственно присуждается приз: плюют им в морду. У Пруда. Это ничего.

В Пропадловской Крепости узников нет, камнем они не одеты.

Там:

в 12.00 пополудни бьет мортира, стреляет:

— Пол-день! Бремя борьбы, инстант и диссидент, истекло!

Как же! — у Крепости пляж. И полынья для «моржей» — это можно. Мы — смотрим: тот же и так же борец за Идею ухнул в полынья, лишь бы ятра чуть-чуть уцелели!

В Пропадловской Крепости Монетный Двор, археологи моют монеты: профиль у Ментора правдив, или нет?

На Седьмой площади Столицы стоит Ментор, или так: стоит конь, а на нем сидит Ментор, оба из меди, — такая статуя на скальном камне.

Кто есть Ментор:

Первоапостол, построивший студию флота — Столицу, труженик, знавший четырнадцать черных ремесел, топором пробудивший Столицу к труду,

игралец в кораблики,

скиталец солдатиков, переливший на пушки колокола Духа, только-только затеплившегося в нас,

научивший нас никотину, бритью, бормотухе,

доброжелатель доносов,

прародитель 12 коллегий инстантов (их не было до Ментора!),

ты, осмеянный и проклятый миллионами трупов, пожравших все сельди морей и весь лук земель: убийца с усами, твой род был проклят.

А о смерти Ментора: жена и сын отравлены патрициями, дочь скончалась в агонии алкоголя, вторая дочь сошла с ума, внука разорвали на куски гвардейцы, правнука удавили подушками гомосексуалисты, праправнук ушел в скит, прапраправнук убит бомбой любителями людей, остальные расстреляны в связи со сложившейся ситуацией.

Я ПРО СЕБЯ

Я не ел 666 дней: я — пил.

Я: Иван Павлович Басманов, мне 437 лет.

Басма — оттиск, отпечаток, ханский идол.

«Алексей Данилович Плещеев был прозван Басманом. Впервые упоминается в 1543 году. В 1552 году вместе с князем Воротынским стал героем осады Казани, пожалован чином окольничего. В 1555 году он 36 часов выдерживал натиск Великого

Крымского Хана Девлет Гирея. У Гирея — 60.000, у Басмана — 1.000 солдат. В 1556 году получил звание боярина. Во время Ливонской войны взял Нарву и Полоцк. Потом становится царедворцем при Иоанне Грозном. Это он разрабатывает стратегию oprичнины. Потом — донос.

У Алексея Даниловича Басманова — сын Федор. Любимец Грозного. Без Федора Грозный «не мог ни веселиться на пирах, ни свирепствовать в злодействах». Курбский писал: Грозный заставил Федора убить своего отца, знаменитого Басму. Убил отца. Но и Федора приговорили к смертной казни.

Сын Федора: Петр Федорович. Во время начала борьбы с Лжедмитрием «храбростью и умением достиг высших почестей в России»: он был встречен в Москве царем и знатнейшими боярами, а для торжественного въезда царь Борис Годунов выслал ему собственные сани. Борис Годунов умер, его сын Федор Годунов назначает Басманова главнокомандующим всех войск, и Басманов переходит со всеми войсками на сторону Лжедмитрия.

Во время царствования Лжедмитрия Басманов был его первым советником и клеветом.

Когда 17 мая 1606 года народ восстал и ворвался в Кремль, единственный, кто до последней минуты остался верен Лжедмитрию, был Басманов.

Он: один: защищал вход во внутренние покои царя и был убит с мечом в руке.

За знность дней я выпил знность флаконов-одеколонов: «Гвоздика», «Черная чернильница», «Фиолетовый ландыш», «Кармен», «Эх, тройка», «Дитя Дуная», «Космос-3». Я позабылся и пил, как тупица.

Потом я бросил пить всю эту дрянь и стал пить одеколон «Красная Москва».

Прежде я не пил, я ел мыло. Но мыло исчезло. Почему-то. Не то чтобы оно пропало неведь куда, оно было, мыло, но выдавалось по спецпропускам, а в ресторанах — ешь не наешься: подавали с большим вкусом и с подливой из мокриц.

А в спец-ресторане «Астролябья» еще изысканнее: на закуску стальные стружки, а горячим блюдом — вареные котлеты из мяса Мафусаила с кисточкой, гарнир — тушеные в телящем соусе спички или же уши кидайцев, залитые кипяченой водой Баскербианских болот — из ведра. Но ресторан «Астролябья» для иностранцев. Для смертных Столицы «Астролябья» дороговата и все же на валюту.

Я не завсегдатай. Я пью на воздухе, чтобы пить и шагать шагами по проспектам, садам, улицам и каналам. А также по набережным.

В том-то и смысл.

Шагая, я ушел в мир формул и фигур, я знаменит здесь, я геометр. Бертрами, Кантор, Лоренц, — им непосильны задачи, которые я решал, к примеру, на мосту им. св. лейтенанта Мида. Позволю факт: за первые 27 дней шагов я решил 27 задач аксиоматики, на 42 день я переименовал теорему Дезарга, на 73 я создал антитеорию поляра, на 94 я взмошел на холм Булловской обсерватории и, пристально присмотревшись к аффинному пространству, я отыскал меж звезд параболические пространственные формы, — да мало ли до какого абсурда или ясности (что также т. ск. абсурд!) дошел шагами мой ум, — это его, ума, дело.

На 147 день Академия присудила мне Золотую Медаль Геометра, звание Героя Труда Столицы, диплом Гения. Я принят в Академию в 24 года, сейчас мне 44. Я жил в мансарде и потребовал себе дворец на Несском проспекте, дом N 17, где во дворе фонтан и два сфинкса. Такие дворцы у Академиков, данность!

Но данность мне не дали, я еще не был гений. Мне дали мансарду в том же доме, под тем же чердаком, длина ея: 8,7 м, ширина 2,4 м, высота 3,6 м. Кубатуру высчитывайте, я не школьник.

Теперь я признан инстантом, в ближайшее десятилетье быть мне во дворце, пусть не на Несском, 17, дадут: в рошах-кущах, опоясывающих Столицу, 25 мин. на электрическом поезде, тот, знаменитец, чуть преуменьшенная копия Версальского дворца, где аттракционы, экскурсанты, фотографы, где Самсон, вылитый из золота, разрывает пасть льву, и лев из золота. А из пасти хлещет вверх фонтан водки — высотой для всех!

Я живу в мансарде, пусть так: пуста, пол в трещинах (я не писатель, чтобы описывать трещины в полу), стены — черная зелень (18 век!), окно — одно с 16 переплетами, с форточкой (безвоздушной!), на подоконнике три цветка в горшках, батарея парового отопления, этажерка с тремя цветками в горшках (у этажерки — пять этажей), еще тахта с персидским ковром, ею я пользуюсь чуть ли не каждую ночь.

Позволю о зароботке: за званье Академика не платят ни пейки, дают работу: я — руководитель творческого объединения молодых геометров при Дворце Науки им. св. Уюпы. Деньги мне — брррр брюаелей! Но вот-ведь во Дворце Науки я научился: женщина отдается! Без исключения. С возрастом — все как одна отдаются. Мне! Я — Руководитель, и если геометристка отдается Руководителю, у нее — талант. (Такая девичья гордость!)

Ни девственницы.

Идет по лестнице в мансарду детеныш четырнадцати лет, геройски вообразивший себя геометристкой, ножки не запятнаны, хватай за лодыжку — покраснеют ножки: вот Виолетта, а ты —

волчий Вий, что ж с этим лучиком случится в бреду борьбы за Жизнь? — так травмируешь себя. Укрепишься в кресле, жар соблазна, отвернешься к форточке с бокалом для бодрости, а что в форточке, — как окунулась куда-то луна, как свистят стекла?

Закрой фортку, а то невзначай залетит в лоб метеорит, оглянись окрест: на твоей тахте уже лежит съя лжедетеныш, ни пеньюара на ней, ни бюстгальтера, лежит лежмя! Ты же тащишься к тахте с флаконом и, взвалив себя сверху, уясняешь утрюмо, что судебных преследований не предвидится, что о растленье малолетниц заикаться неуместно, лежи и лижи, как приговоренный, — где они так ухитряются в отрочестве? — ум мой мал.

Утром я одевал девицу и выпивал яйцо.

В моем холодильнике всегда лежало яйцо. Одно.

Хитрость, — я скажу сейчас: мне присвоили еще и Премию им. основоположника Всех Наук св. Лимонадова. Миллион брюалей. Вот почему я бросил пить дрянь и стал пить одеколон Красная Москва. Взял миллион, зашел в «ТЭЖЕ», купил флакон и стал пить.

Я выкрасил стены и потолок в цвет лилейный, я писал на стенах с радостью, с роскошью. Я купил стремянку и писал на потолок. Если выпить Красную Москву, лечь навзничь и смотреть на потолок, открывается перспектива. С люстрой! Не заняться ли еще и стереометрией?

С полом — расправа! Я вызвонил трех геометристок, мы взяли в Антикварии зеркало 8,7 м на 2,4 м, привинтили болтами и гайками к полу, теперь в мою мансарду не постесняется прийти и массажистка из Дома Искусств, — Арфа Чепчикова!

Три ню (трое?). Джинсы и джемперы валяются, как герлс, на тахте, лунность, я зажег лилипутики-свечки, горят, греют огнем огня! Универсальное стекло, но сказали, что стесняются пить коньяк из горла, я вылил — на зеркало, и они лакали из лужиц! Роз-язычками!

Натюрморт с тремя ню: так я трактовал. Для описанья же эротизма у меня нет нюансов, нужно столько слов, что не хотелось бы писать столетье. К чему? Все описано в тысячах порнографических романов коммерческой литературы. Я краток, я сообщаю: мы взяли в Антикварии зеркало, сделали пол и отпраздновали мои титулы. Не у всех же такой пол, — чистая амальгама, толщиной 10 мм.

Я их утолил, сам утомился.

Я встал. Я стоял на зеркале, как некий индусский лотос на льдине, с сигаретой и флаконом, а ню вылизывали меня от ногтей до корней волос, все попадающиеся волоски брали в губы, покусывали зубиками соски мои, горло, ключицы. Я закрыл веки.

И мы отцвели и опали.

И солнце вошло в форточку, я лежал на зеркале в лужицах.

Я лежал крест накрест. Вот что я подумал:

Я увидел его в бане. Он сидел в сауне с веником, как с гитарой. Он пел:

— Мы встретились в бане, случайно, в тревоге мирской суеты! Выпарившись, он сказал:

— Я Антип Инфантьев. У меня есть жена.

— Такое признание похвально, — в бане! — сказал я.

— Знаешь, в чем полезность жен? — спросил Антип.

Я не знал.

— Полезность жен: говорить ей гадости. Когда разъярится, морда у нее вспыхивает и раскаляется добела. Взять тазик воды и плеснуть в морду. Пар!.. Раздеться быстренько, взять веник и париться.

— Что ж ты не паришься дома?

— Какой смысл? Не взять в рот ритуал.

— То есть?

— Не выпить!

Мы купили бутылку бормотухи, «в нагрузку» нам дали телячью голову. Антип Инфантьев тотчас выбросил голову в реку Фанданго.

— Не ходи с этой хреновиной домой. Жена поймет, что пил.

Мы пошли на чью-то лестницу и пили. Оказалось — наша лестница. Манометрист жил этажом ниже.

На нашей лестнице пили, как и на всех лестницах Столицы. Поутру я вынимаю из почтового ящика: резинки от бигудей, от трусиков, в том числе и жевательные. Вынимал я и письма. Почему-то все иностранные письма были без марок. Но в ящике лежал 1 брюаль. Так-то ты, филателист, я поймал его, стоит, на марку дышит, как собака, да и дрожит, как пес, — Антип Инфантьев из парилки, с нашей лестницы, этажом ниже.

Да! деликатность:

украсть письма — быстрее, без риска быть пойманным, — не крал, брал марку и опускал в щель 1 брюаль, мне, адресату. Уникум.

Как я ему благодарен!

КВАРТИРА. ОКРАС У СОБАК

Квартира: коридор, где у всех по шкафу с верхней одеждой. Двери соседей по одну сторону, как при коридорной системе. 5 дверей, напротив каждой по одному окну цвета Геллеспонта или заката в Венеции. (Окна 2 м на 2 м)

Пять дверей, пять окон, пять шкафов.

Соседки — три гречанки. Не византийские, не сегодняшние, настоящие, из Эллады, современницы Сафо и Коринны.

Одна: зовут Зоэ. Преподает математику в нашем же Доме Балета, в хореографическом училище, она на собственном опыте (балеринки и балерунамки!) знает, что есть конгруэнтность фигур на сцене, что Евклидово пространство с индексом, равным единице, называется пространством Минковского. В нашей квартире я — индекс, равный единице, больше мужчин у нас нет, есть юноша-македонянин Александр, но сей ушел в гоплиты, осталась лишь дверь на ключ и прописка.

Зоэ любит меня, потому что я:

— Вы человекны, Иван Павлович. Вы Гений, а так попросту ходите, как матрос, по коридору, в сутане, без башмаков, и говорите по имени-отчеству!

Зоэ живет ближе всех к входной общей двери, поэтому, не тратя слов на тираду, берет за шиворот позвонившую мне ученицу, вводит в мансарду, раздевая, стопроцентный осмотр и «ни разу не обнаружила дефектов телосложения!» — восхищается, — «вот вкус-то у Ивана Павловича! глаз-алмаз!» Она снимает шубы с моих геометристок и подает шубы утром.

Вторая: Лидия.

Любит меня, потому что у нее был МУЖ:

алкоголик, высвистывал ноты протеста о войне во Вьетнаме, а также не сторонник израбильской агрессии. Война во Вьетнаме завершилась триумфом благодаря миролюбию нас, кровинцев, а израбильская агрессия рвала душу патриота. В поисках шпионов и диверсантов Израббия, МУЖ перевинтил отверткой все шкафы коридора и взорвал зубилом все замки соседей. В какой-то вдохновенный миг он был осенен: все съесть — мельтешня, дразнилка детства. МУЖ взял кардинальную программу: зашпаклевал пластилином раковины в туалете, на кухне, в ванной, обрубил топором краны с горячей и холодной водой, напустил воды по пояс, — устроил в квартире Мертвое Красное море! Побросал в волны шубы, платья, костюмы, кофты, нижние сорочки, трусы, носки, а сам встал у стены коридора (у «Стены Плача») и гудящими глазами смотрел, как из баррикад барахла выскакивают в воду изуверы-израбильтяне и захлебываются, шлепают пятками, сморкаются, длинноносцы, дергаются, — тонут!

Лидия, профессия — народный судья. Но судить МУЖа не стали по статусу. Белую горячку вылечили пираретамом, но по пятой графе паспорта МУЖ оказался яурей, вот и выехал (эх!) в государство стервятников. Лидия боялась возврата: все рвутся обратно из Израббия в Элладу. Поэтому Лидия провожала моих юниц с канделябром: вдруг МУЖ валяется, возвращенец, на

лестнице? Выходить от нас нужно с канделябром, свет на лестнице переменный, алкоголики вывертывают наши лампочки, закусывая ими.

Третья: Анастасия, пенсионерка. Она любит меня; вяжет геометристам свитера, по утрам снимает мерку.

О чем распространяться, жили мы дружно.

Если я напивался и падал, как солдат боя, на последней ступеньке у дверей, одинок, три элинки подхватывали за ручки-ножки, укладывали меня в подушки-одеяльца, ставили в холодильник минеральные воды и яйцо. Одно.

Если я с ню и нет сил переступить порог, нас несли, опрыскивая эфиром из нашатыря для рвот, — задачка!

Когда я болел, вызывали жандарма медицины: освидетельствовать, не мертв ли я? Если я не мертв, соседки принимались за свои дела: отвечали по телефону, явлюсь ли я на заседание кафедры Н, сдам ли в срок рецензию на аксиомы НН, буду ли референтом на защите докторской диссертации ННН, приму ли для консультации студентку НННН... тут уж я мог положиться: выберут и допустят к моему телу лучшую из лучших.

В семь часов утра меня ждали. Я выходил: сверяли часы все собачники ул. Зайчика Розы. Двор-невеличка, тополя-колоссы, зелененькие скамейки, детская площадка с полированной горкой для задниц. Во дворе, в семь стояли собаки. Стоят хозяева, смотрят на циферблат, крутят стрелки, зажгли карманные фонари, я зажег свой. Стало светло, как во внутренностях шаровой молнии.

Двух незнакомцев (с эрделем и таксой) я удалил. Толпа зароптала: у них псы неумыты! Мне нужны псы, вымытые до чудовищной чистоты, до белизны расы. Я осмотрел собак, ни одна не готова к выставке. Дома я не практиковал. Один живописец, даже не друг, отдал мне ключ от своей трехкомнатной мастерской, собаколюб; там я трудился над улучшением породы, а проще — делал экстерьер. Эта работа равна творчеству реставратора древнейших рукописей или фресок. В Столице нет ни одной классически чистопородной собаки. Заниженные требования, призы по знакомству, беззащитная спекуляция щенками привели к тому, что даже отечественные породы уже паскудно вывозить на заграничные турниры. Ни кормленье фаршем, ни тренировки на треке, ни ввоз чистопородных не могли изменить собак: в климате Столицы через два-три поколения вырождались и дети суперстаров.

Я знал, что делаю, у меня альбомы, у меня растительные краски. У ябонцев-математиков, моих стажеров, я прошел высшую школу татуировки. С окрасом пустяк: геометрия в при-

меньше к собаководству. Я расчерчивал пса на анатомические единицы обычной легкой тушью, рисовал ему пятна, подпалины или обесцвечивал шерсть, и получался естественный окрас. Потом я кипятил собак до изнеможенья в определенных растворах, и ни одна комиссия пяти континентов не заподозрила еще, что пред ней отнюдь не пес во всеоружье высоконаучных генов, а произведение цветной графики, выполненное незаурядным геометром.

Хуже с носами. Нос — это гений собаки. А гениями рождаются (раз уж так!). Борьба с носом пса — это борьба с Богом. Пластические операции делают крупнейшие хирурги радиостанции «Логос Хамерики» — за миллионы валют. Хирургов нужно судить спецкомиссией ЮНЕСКО. Это — шарлатаны и собакоубийцы. Нос теперь как нос, хозяин — Чемпион Мира, но пес — уже не пес, а зверь-мутант. Фокстерьер вместо суслика или крысы набросится на сосущего грудь младенца Моны Лизы. Дог вместо волка сожрет пианиста Ван Клиберна. Ньюфаундленд потопит ледокол «Арктика». Гончей — бегать без ног за бабами. Это не метод.

Мой метод: набор тончайших игл и тушь любого цвета и оттенка. Что ни пятнышко на носу, — всевышний пес на выставке профанов превращается в клошара и квалифицируется чуть ли не как сутенер, — но! — нежнейшее прикосновенье игл, инъекция комбинированной туши, и пес — Царь Зверей, всемирный медалист Столицы! Я красил, я татуировал не для хозяев, не ради них я...

ПЯТЬ ОВЕЦ, СВЯЗАННЫХ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ

Пять овец было у нас в коридоре, пять овец, связанных одной цепью. Пять овец белых стучали копытцами по кафельному коридору.

В субботу мы их мыли в ванной.

Приходили гости:

— Что за чушь и чудеса! В центре Столицы, на улице Зайчика Розы — пять овец! Может быть, в пяти шкафах у вас в коридоре — пять львов?

Может быть. Чего не может быть?

— Кто их кормит, кто их пасет?

Я их кормил, я их пас.

— Чем и где?

Цветами из трех горшков, стоящих на этажерке. В коридоре, здесь всем есть место.

— Но с какой целью? Для чего?

Как с какой целью? Как для чего? Они есть, я их кормлю и пасу.

— Ты сумасшедший. Зачем ты их связал цепью?

Сумасшествие — это сошествие с ума. Слишком торжественно. Я их не связывал, они сами.

— Сами связали себя цепью?

Да.

— Глупость!

Спросите у них.

— Для чего ты их держишь? Мясо, шерсть, молоко? Но это абсурд — сколько с них возьмешь?

Я их не держу. Они держатся сами. Я лишь кормлю и пасу.

— А соседки? Они ж тебя возненавидят.

Соседки у меня из Эллады. Они знают, какая ценность: в доме овца. Они с пониманием относятся к овцам.

— Что же ты с ними делаешь?

Я с ними говорю.

— На каком языке, интересно?

На овечьем.

— О чем?

Поинтересуйтесь у них.

Потом пять овец исчезли. Остались лишь рожки да шкуры. И цепь.

Мы пятером горевали на кухне: Зоз, Лидия, Анастасия, юноша-гоплит Александр, вернувшийся с фронта, и я. Я зажег светильник в семь свечей и мы пили на кухне вино. С горя по исчезнувшему в неизвестность овцам.

Где они, с кем? Кто их кормит? Кто пасет? Кто моет в ванной по субботам? Как им живется, не связанным одной цепью, не перессорились ли? Как им живется без рожек и шкур? Без рожек — нет им защиты от львов, без шкур — нет им защиты от солнца, луны и атмосферных осадков!

Как и нам житья — без них?

Я отдал соседям рожки и шкуры. Соседи отнекивались:

— Это же ваши овцы. Возьмите себе все. Мы их лишь мыли в ванной для добрососедских отношений. Но мы их любили. Никто не виноват, что они были связаны одной цепью. И что они исчезли.

Кто виноват? Никто ни в чем не виноват.

— Здесь, в коридоре простор, как на полях с васильком. Вы их кормили, Вы их пасли, Вы делали им внутривенные инъекции от эпидемий, Вы с ними говорили подолгу, мы ведь видели у Вас и словарь овечье-кровинского языка! Не горюйте, ведь овцы на то и овцы, чтобы исчезнуть. Ни с того, ни с сего.

Что горевать? Я говорил с ними, — вот я и с соседями говорю. Можно и ни с кем не говорить.

Может быть, открыть пять шкафов и выпустить пять львов?

Они попрыгают в коридоре по-львиному, я возьму гребень для грив, я сделаю их мордам прически по моде, я помажу львице губы помадой, я куплю ей кулон из драгоценных металлов, выкую пять корон и поставлю на львов, бантик на крутиком-хвостик им завяжу, когти напедикюрю цветом Заката.

Станут пять львов — пять пудельяни для ванной. Будут лязгать зубами, ведь их призвание — ненависть, мускул и клык.

Нет, нельзя.

Во-первых: потому что в рукописи еще появится Зубикомлязгик, а повторяться — вязанье словес потеряет художественный интерес. Во-вторых: сожрут. Мне-то что! Но соседи уже очеловечены фразой. Что ж их-то — на съедение львам?! Я не чело-веконенавистник. (Боже, слово-то — из 19 букв! Ну и ну. Есть еще: чело-веконенавистничество — 24 буквы! Длиннее слова в нашем алфавите — нет.)

Пять Овец. Было. У нас. Связанных. Одной. Цепью.

Я взял цепь: цепей у нас нет. Пригодится для хозяйства: можно подвеситься к форточке и качаться на ветру, чтобы тебя все спасали, можно повесить люстру.

Я повесил люстру.

Я о люстре напишу.

ОЙ ЖУЖЖОМ, ЖУЖЖОМ!. НЕГДЕ ПО-УЛ-ЫБАТЬСЯ!

Дождь, но не так холодно, как хотелось бы, — мне!

В магазине «Бакалея» продают бокалы. Я купил булавку из Кабула.

На Ордынском проспекте Вадыя и Гена. Вадыя несет фотоаппарат «Кодак» со вспышкой, нажмет на гашетку — вспышка сжигает дождь у лица, Вадыя и под дождем сух и не водянист. Гена с цитрой, а дождь — как на скале, как насквозь! Играет себе на струнах, нет риска, нет страха!

Они познакомились вот-вот у Пяти Углов. Четыре улицы образуют четыре угла, а на пятом стоит Саркофаг: с двумя дверьми, на одной буква М, а на другой Ж. Здесь, видите ли, клозет.

Здесь все знакомятся, выйдут, застегиваясь «молниями», из дверей, увидят друг друга нос в нос и тут же:

— Ой, жужжом, жужжом! Я — Вадим Жужжомец, художник-портретист, мне бы Вас нарисовать на холст в виде ню!

— Я Генриетта Любяхина, журналистка Почтамта. А для рисунка ню я с удовольствием вельветы снимню!

Вадим, увы, не портретист, а Вадыя, а Генриетта — сороко-

ножка в многотиражке. Но их чаянья сбудутся, — почему бы не по-ул-ыбаться?

Вспомнят восторг, договорятся, но где — по-ул-ыбаться? Не-где, идут.

Река Вена лежит в летаргии, гранит ея грезит, зернист.

Дождик закончился.

Вена — водичка в звездах. Вадыя выключил «Кодак», включил спиннинг. Забросил блесну, дернулся, вытащил тельце: корюшка — кошке! Гена, как нега, тянется с поцелуем, Вадыя в ответ отвернулся: нравится дружба по душам, но где по-ул-ыбаться?

Я не люблю уменьшительных суффиксов, но как без них?

Год 1980.

Мне — моросит!

Мостик разводится, мостик хлопнул в ладошки...

Может, грусть-глазики насмерть казенных кружатся над Морсовым полем?

Река Морга нехотя ходит к Дворцу Расстрелов.

Вадыя и Гена войдут в подъезд N 11, лягут на лестницу, вцепятся в сосцы клешней и... затаятся. Но лестница в благоуханьях блевот, в склянках из бритв от бормотух, — не по-ул-ыбаться!

На проспекте Жаворонков дьявологлазый Гай Рузин, красномяс, директор ресторана вокзала им. св. Витта, — с двумя кауказскими лайками на лис. Стой, Гай Рузин, у салона парикмахеров. Будем брить!

Побрили.

Пошли по проспекту Жаворонков, дошли до Кузнечикового рынка. Встали: Гай Рузин и две лайки, побритые до блеска статуи.

Я их потрогал: живые!.. дождик-дождь!

Гай Рузин дал мне цитрус.

На площади Мыла женщину не бьют кнутом, крестьянку молодую.

На площади Мыла за зеркальной витриной магазин «Океан». В витрине: три сардины из желтизны висят на веревке вниз головой, как три копченых кидайца.

Еще в магазине «Океан» продают океанскую воду в пакетах из холодильников-холлов: мужам к пивам! хорош холодец!

Над рекой Фанданго мост им. св. Клопштока. На мосту кони из метафорических сплавов, их, коней, укрощают молодые мужчины, — такой конный секс. Даже уздечки у взбесившихся на копытах скульптур!

На мосту им. св. Клопштока Вадья удит удачу на живца: наживляет на крючок гранату со слезоточивым газом, забрасывает в вешние воды Фанданго: граната взорвется, рыба сом заплачет, выбросится в слезах, унесут Дима и Гена рыбу с усом, в 12 кг весом по Э. Гэмингвайю, — а куда?

В подъезд N 11. Положат, выпотрошат, зашьются в брюхах у рыбы — иглой, ночь им — начнется!

Нет! Жандарм подъезда N 11 свяжет сома за жабры, ведь скоро Съезд, а он сома к Съезду и съест!

Вытряхнутся Дима с Геной из брюха и уйдут (дай Бог без штрафа!). Пойдут по набережной им. св. Зернинского — лишь с корюшкой кошке! Зачем-то Закат. На двух лицах у сых лицестов мерзнет дума о мёде, — не по-ул-ыбаться!

О МОРЕ ИМ. СВ. БЕЛЬТА!

Белые ночи, вы чьи?

Есть у меня сфинксы, их привез флот из Египта. Не комментирую, в египтологии я профан.

По Несскому проспекту идет Зубикомлязгик.

Глухонем — он.

Экранизация:

Несская тропа, идет Зубикомлязгик, несет на плече, самый сильный кровинец Столицы, несет он — дуб, вырванный из Мигайловского сада, а листва свистала и шумит! Что для Зубикомлязгика смешенье времен? свистала и шумит? Ведь он глухонем.

За этим уже полубогом шли шумеры в черкесках с саблями наперевес и турчанки-туристки с киноаппаратами, эти — даже в джинсах! Кто же не заинтересуется, если по Несскому проспекту идет людовик без людей, без портфеля и несет на плече дуб? Где ты увидишь еще такой кадр из кинофильма?

И я пошел посмотреть.

Клянусь: я и не думал ни о чем предосудительном, я шел, не подмигивая, мою физиономию не оскверняла и гримаса грусти.

НО:

Зубикомлязгик, увидев меня, встрепенулся, как встрепанный, закричал на весь мир то ль своим, то ль не своим голосом визга, так закричал, что язык вывалился, а из двух глаз грянули слезы!

Глухонемой бросил дуб у Эллипсеевского Гастронома и побежал. Чуть что — чудеса! Он не пил то, что пьют, мы в школе декламировали наизусть о нем: Зубикомлязгик пьет лишь воду.

Все-то думали про себя: он пьет воду с виду, а в одиночку — как все. Кто не любил насмехаться!

— Ты пьешь лишь воду, зверя, а, Зубикомлязгик?!

Что он мог ответить, глухонемой? Не мог. Он крутил пальцем у виска, объясняя пальцем, какая нелепица вопрос тому, кто не может дать ответ.

Неправдоподобье: не пьет. Но все знали — правда. И я знал, но как-то ни к чему, не задумывался.

Но как я мог не задумываться: почему он побежал? Зачем закричал? По какой статье Кодекса у него ум, — испугаться? Чтобы такой бросил дуб у Эллипсеевского Гастронома и побежал, ломая локтями всех, кто ни попадет на пути, — из-за меня? Я не гуманист, но вот — вопрошаю.

Воздух в иголках дождя, легкость!

Я шел, я позабылся: что ж, что я геометр, пускай Р. Декарт — аналитик, а жил 54, а жаль; что ж, Г. Лейбниц — линейщик, этот 76, все же лучше, чем 54; а К. Гаусс, жизнь продолжалась уже 78: — у меня времени еще хоть отбавляй, если ориентироваться. Вопросы, вопросы листались в моих волосах, и что ни вопрос — философема или мемуар без лирики о себе: почему я геометр? Что за обязательства у меня — «быть геометром»? Не бросить ли в бездну эту неживую т. ск. науку? Вон — Зубикомлязгик ведь бросил свой знаменитый дуб, несмотря на шумеров и киноаппараты? Вон с какой живостью он побежал!

Я услышал рев толп, оркестр из музык, надо мной вдруг зависли ракеты — как радуги!

Я осмотрелся.

Оказывается!

Я, шагая шагами, постарался дойти до моря им. св. Бельта. Я дошел до моря, вошел в воду и пошел по волнам. Нужно было думать о формулах и фигурах, а не вопрошать.

Интересный парадокс, у меня ум, интуиция, понимание ситуации, я предчувствовал: я иду как-то не так. На мостах, проспектах, улицах, в парках-садах идешь, увязая в грязи ввиду гроз, в мазуте, кто-нибудь из незнакомцев хватит по харе или стиснет в смятенные кисть-пясть, у нас же отличить рукопожатие от рукоприкладства; а я иду себе, и все мне под руку никто не попадает. Ноги же чавкают чуть ли не с нежностью.

Вопросы виноваты во всем, — вот объяснение.

Зачем я забрался в море и пошел? (Вот — вопрос, нет уж!) Я не люблю рев толп, ни фанфар, ни литавр, не люблю, если меня освещают при солнце ракетами — как акварелью! Впредь нужно быть осмотрительней, попадет под ноги вода луж —

обойти по травицам, по граниту. Мы же у моря живем, вдруг опять войдешь в море и пойдешь как под дождиком? Если уж рассеянность, а понадобится, — ну, гуляй в луны по волнам как утка, но не ходи днем — будешь посмешищем, или еще хуже — идолом, потом и в психиатрическую лечебницу вляпаешься, как балбес!

Почему так получается?

Однажды Христос шел по морю.

На море штиль, на берегу толпы христиан.

Христос шел. Он думал.

Вдруг кто-то окликнул его, но не по имени, а как всех окликают.

Христос встрепнулся. Пред ним стоял я, незнакомец.

— Ты что здесь делаешь? — воскликнул Христос.

— Путешествую, — ответил я, незнакомец, — а ты?

— Я? Я — Христос! Я — ХОЖУ ПО ВОДЕ! А ты кто такой?

— Путешественник. Путешествую, — сказал я, незнакомец, и пошел дальше по морю, не оглядываясь.

Меня окружили катерами (патруль, чтоб не нахлебаться вод в рот!), я повернулся к пристани, а катера в кильватере — кровинцы любят конвой.

Толпы толпились, музыканты взяли в зубы золотые бокалы, — звон музыкальный! Я осмотрел себя: башмаки белой свиной кожи, с металлическими пряжками, куртка с капюшоном — серебристость сукна, с пряжками тоже, из металла, штаны из бел-джута, — выйти можно.

Я вышел из вод, тощ, сух и хищен.

Художникам никак уж не худо у нас, и чегой-то они бегут в цивилизацию, — как в пустыню Гоби, — эх, богемцы! У нас — инстанты, рисуй их, не нарисуйся! Столица не жалеет брюалей на портреты правды. Цену же платит ценитель: чем выше степень инстанта, тем выше цена его личности в красках.

Пока я шел к берегу и подошел, художники ухитрились написать мой портрет и лозунг на красных медицинских бинтах. «Да здравствует Иван Павлович Басманов — ум, честь и совесть эпохи. Исцелитель!»

Зря беспокоился: то, что я шел по морю, — нет ко мне интереса. Кто из кровинцев не забредает в море, и гуляй в волнах по горло, abortируя бормотуху с привкусом йода (сквозь зубы!). Озябнет — выйдет, растеплется солнышко — утонет. Это у нас называется: искупаться.

Боязнь, где ты? Нет как нет. Я был оскорблен: как-никак, я не купальщик-бормотушник, это их встречают с таким лозунгом,

когда они срывают бомбы с планов, исцеляя промышленные комплексы Столицы от безработиц-дизентерий! Я — ШЕЛ ПО МОРЮ! Кто еще умеет в мире?

Но у инстантов к морю им. св. Бельта нет эмоций. Рыба ушла в Японию, — какая у моря перспектива? Шуметь по ночам? Об этом я писал уже 20 лет назад в пьесе «Ремонт моря». С тех пор общество опомнилось, и чтобы не было шума, — строят на море им. св. Бельта дамбу. Построят — море перестанет шуметь. А то, что я — ШЕЛ — что им? Ходить они не ходят, их перевозят в бронированных машинах от Съезда к Съезду, или туда-сюда, — как сосуды из алебаstra! Их и в дворцах-то носят лакеи в лоханях, пеленуя в полотенца из хлопка — как борцов цирка!

Ходи по морю, как хочется, кого касается!

Выяснилось: Я — Исцелитель! Как раз этого-то мне и не хватало.

Ярость моя, стал я отрицать.

Я — Геометр! Я — Академик! Я — Герой! Я — Лауреат! В конце-то концов у меня очутился талант ходить по морю! Хватит с меня! Это ложь диссидентства, я — не исцелял! Вы осатанели от сказок, в чаши чести вы плеснули этим утром сверхмедицинскую дозу соуса совести! Идите в Дом Балета, спросите соседок. Они ответят:

— Иван Павлович Басманов, у него все как у всех; он живет под чердаком, в мансарде, пол зеркальный, пьет флакон, ест одно яйцо, не заваренное в скорлупе, у него 12 учениц-геометристок, он воспитывает их всюю — для общества обещаний. Клянемся: он — не Исцелитель!

Так спросите — так ответят.

Мне сказали:

— Опомнитесь, Иван Павлович! Ваша ярость неуместна. Вы сами не знаете в себе — свойств. Есть, есть в Вас пунктик-параграф. Вы его не видите, а мы анализируем. Мы и так-то Вас еле-еле отыскали, пришлось объявить внеочередную деменстрацию, как для Юбилея, а Вы вот где: прогуливаетесь по морю, как безответственный! Нельзя так! Завтра же Вы войдете в специальный фургон у Эллипсеевского Гастронома, Вы будете сидеть и исцелять. Кто бы ни обратился с недугом по пропускам, Вы рассмотрите кровинца и исцелите. Рекомендация: обратитесь особое внимание на диссидентов, но без обид! Они лгут изо дня в день, что им дают в пищу спец-таблетки от диссидентства, которые действуют отрицательно на психику. Радиостанция «Логос Хамерики» распространяет с удовольствием и эти измышленья. Это клевета, не так ли? Так. Ваша специальность геометр, кто протестует? Не мы! Геометрия всегда служила Столице для Вооруженных Сил: сколько титулов мы присобачили Вам за

формулы и фигуры! Но есть вещи важнее: диссиденты взбесились, у них маниакальный психоз клеветы. Исцелите их! Исцелите их — без таблеток! И нам не нужно будет тратиться на химическую медицину, и им ни слова не солгать. Ведь у Вас известность. Вы не инстант медицины, а гений. А гений — вне идеологических распрей! Диссиденты увидят Вас в фургоне, исцелятся и заткнутся!

Нужно иметь святое сердце, чтобы выслушивать ахиною про себя и не ахнуть млатом-булатом — по башке! — чтобы глаза их, инстантов, брызнули на брег моря им. св. Бельта, чтоб зубы зазвенели от удара!

У меня святое сердце.

Я пишу в этой главе «в зуб», «сквозь зубы», «зуб на зуб» не написал вот, но напишу «загорелся зубик».

О зубах:

Я ИСЦЕЛИЛ ЗУБИКОМЛЯЗГИКА

Неспроста глухонемой бросил дуб и побежал — он был исцелен. Отворились уши, он уже слышал и хруст костей, когда бежал по Несскому, ломая все и вся — локтями. При таком телосложенье, когда кровинец несет на плече дуб, вырванный им самим (с корнем!) из Мигайловского сада, — мало ли что можно переломать, и сам не заметишь.

Да что дуб! 250 млн. кровинцев устроили натиск толп, жандармы Столицы были сплющены ими, как фанерки, а Зубикомлязгик — один! — стоял на пристани, держал цепь, сдерживая цепью вдохновенье масс: он раскручивал цепь над головой (о двух руках!), — ну-ка подойди к Исцелителю, эй-ка исцелись! Пытались исцеляться издали, вращая в мою сторону глазами в поисках, но мой взгляд был бел от бешенства, я не смотрел по сторонам.

Я отрекался:

— Что с того, что глухонемой услышал хруст костей, которые сам ломал? Кто кому не ломает кости? Отдайте мне мой циркуль, я не хочу сидеть, как попрошайка у Эллипсеевского Гастронома или как Божество в фургоне! Где доказательства юриспруденции, что я Исцелитель? Зубикомлязгик увидел меня, он мог испугаться, все пугаются, увидев меня, все же я знаменитость. Сей Титан туп, он мог и услышать кое-что. Но кредо кровинца — язык его.

Как можно доверять тому, кто нем? Пусть покажет язык, я посмотрю!

— Подойди! — сказали Зубикомлязгику. Подошел. — Покажи язык! — сказали.

Зубикомлязгик взял двумя пальцами язык и вынул из-за губ — как лист раскаленной стали в литейном цеху! Он сказал:

— Дай двадцать пеек!

Я осатанел. Я вынул горсть монет.

Он сказал:

— Мне двадцать две!

Он же не пил! Что ж ему — на пиво? Что ж, я исцелил его — для пива?

Я раскрыл горсть с монетами:

— Возьми!

— Я возьму все! — лязгнул зубами, схватить пейки — потянулся!

Баю-бай, букашка! Нет сомнения — я исцелил его: хотелось на пиво, загорелся зубик на бормотуху. Теперь отнекиваться от своих свершений? Нет смысла, я — Исцелитель. Но меня-то исцелять от денег не следует, бестактность.

Я закрыл горсть, опустил кулак в карман:

— Дуй на Кузнечиковый рынок, потаскай-ка ящик — ямщика, ты же таскал! Вот и купи коньяк на свои брюали.

Сильно залазгал зубами:

— Я те пойду на рынок! Подавай карман, а то пришью! — выхватил стилет.

— Какой красавец!

— Ты сам красавец! — разлязгался. — Давай деньги, солист!

— Да я про нож. Ручка понравилась. Сам делал?

— А то кто же! Я сам услышал хруст костей, сам завизжал языком, сам купил на Кузнечиковом рынке нож, — сразу ж! Как без ножа, если я теперь такой, как все?

Сомнений нет: я исцелил. Ишь как разговорился.

— Дай посмотреть, давай же, я отдам.

Нож как нож. Такие стилеты делают на всех заводах те, кто жует железо, — от нечего делать, для молодежи. Сталь высшей марки, желоба нет, гарды нет, ручка наборная из цветного плексигласа. Таким ножом хорошо резать младенца в коляске, если мама стоит в многомиллионной очереди за каменной крупой и коляска без присмотра. Но про мужчин и женщин: не тот нож, ударишь сзади в лопатку, твой же кулак соскользнет, у взрослых костяк, сам порежешься. Исцеленный не туп, извиняюсь, ему еще сообразительности не хватает, универсализма кровинцев. Ничего, Зубикомлязгик, освоимся!

Я засмеялся:

— На́ нож. Ни пейки не дам. Пойдем со мной, бормотуху поставлю, но: будем шагать шагами и ты будешь держать меня.

— Как это?

— Под ручки. Поддерживать. Если упаду, поднимешь и понесешь. И принесешь, мышцы у тебя есть.

— Как это — я! — тебя! — поне-су! Буду я всякую пададь носить!

Мы пошли.

Первую кружку ЗЛ выпил, и она разлетелась вдребезги от лязга зубовного. У второй откусил чуточку. Третья дребезжала в зубах, но не поддавалась.

По телефону:

Я: — Случайность улик. Он всегда был глухонем. Я видел этого ЗЛ с детства, изучали в школе, как пособие. Теперь увидел меня — он! Он мог испугаться, что я так вырос — до 44 лет! — и тут же исцелиться! Кто у нас шагает шагами до 44? Никто. Все шатаются от стенки к стенке, кто держится на ногах до медвытрезвителя? Никто. ЗЛ мог изумиться, увидев меня на ногах, и результат — исцелиться!

Я выкручивался.

Они: — Вы неутешны. Мы не торопим с фургоном для исцеленья, у нас есть и досье. Вы не в курсе: все, кто пугался, глядя на вас, исцелены были тогда же — Вами. Ни Вы, ни они об этом не знали. Теперь Ваше имя известно во всем мире. Пример, простите за штамп, налицо: Зубикомлязгик. Кем был? Глух и нем, — о глуп! олух. Кто теперь? Слышит обо всех и все нам говорит. Настоящий кровинец Зубикомлязгик стал, — кровь с молотком! Думается, Вам с выводами, а, Исцелитель?

Я лег на пол и посмотрелся на себя в зеркало. Ясность: мой вид исцелял их всех, — хуже хари с похмелья быть не могло... Как тут не исцелиться?

КАК Я НАЧИНАЛ ПИСАТЬ РУГОПИСЬ

Несколько слов об «истории создания рукописи». Точнее: о начале написанья. Остальное безвестно, я не писатель, мой том не шедевр, биографа у меня нет.

Я, Иван Павлович Басманов, геометр, начал писать 25 марта 1980 г., вот — в возрасте! У меня бывали, рассказывали: я сидел на тахте, пьяный, небритый, серебряные серпы волос свешивались и сверкали на шее, на подбородке, на щеках. Я

сидел на тахте, крытой персидским ковром, красным, — голый, в расстегнутой сутане, с кинжалом.

Меня спросили:

— Как Вы выдерживаете такие перегрузки и столько работаете?

Я блеснул зубами. Оскамился. Вообще-то, когда я улыбался, я не открывал зубы для всех. Улыбался, т. ск. сомкнутым ртом.

— Есть рыбешки речки, рыбки озер и рыбы морей, а есть глубоководные рыбы океана, сплюсненные, с двумя глазами на темени, такую тушу вынь да брось в родной ручей — она издохнет.

— Но это метафора. Вы не рыба, Вы человек.

— Во мне осталось еще что-то человеческое? — с сомнением спросил я. И тряхнул своими серпами: — Жаль!.. Ошибаетесь. Посмотрите на людей, — какой же я человек?

— Не спится, — пожаловался я. — Рукопись пишется, а ключика к ней нету.

Стали уходить.

Я смотрел на уходящих — тоже уходящими глазами. Потом — вдруг! — размахнулся и вонзил кинжал в свою тощую ляжку. Никто не успел откликнуться, но кто-то вел счет: в правую ляжку я одиннадцать раз вонзил кинжал, в левую двенадцать. Я был быстр, а им не растеряться бы! Кровь еще не взлетела брызгой, я взял со стеллажа антисептический клей «БФ-6» и замазал клеем обе ляжки.

— «Скорую помощь», или сошел с ума?

— Нет, — сказал я. — Способ; употребляли древние индусы из секты браминов. Чтоб успокоиться и уснуть.

— Вы бездушный эгоцентрик! — закричали на меня, как ужаленные и плачущие.

Но я сказал им:

— Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.

Я взял со стеллажа статуэтку Афродиты Милосской (мрамор!), нежнейшим жестом положил на тахту.

— Моя Прекрасная Дама. С ней я сплю.

Я взял со стеллажа нож и вилку.

— Я — ясновидец, меня частенько приглашают там на банкеты. А есть нужно по правилам. Я и ем.

Я вздохнул, как зевнул, отбросил ковер, укрылся ковром и уснул, скрестив локти на груди: нож в правой руке, вилка в левой. Справа от меня лежала статуэтка, обнажена.

Я спал, как спрут, желтоглаз, в кудрях, весь — нерв и мускул!

ЛОПЕ ДЕ ВЕГА КАРПЬО ФЕЛИКС

Лопе сильно пил.

У него был свой кабачок «Субботняя собака».

В Мадриде.

В 6 часов зари де Вега появлялся в кабачке и начиналось.

У него была любимая женщина, самая жирная из примадонн Испании.

Она тоже пила. В кабачке.

Все директора театров Мадрида время от времени удалялись в Больницу Всех Скорбящих (сумасшедший дом!). Потому что: примадонна играла все главные женские роли во всех пьесах Карпью, во всех театрах. Так он повелел и так было...

В кабачке пили тореадоры, Кармен и Мигель де Сервантес Сааведра.

Писать в кабачке было нельзя, — стук стакана!

Подписывались лишь контракты на пьесы, романы, на пляски, на бой быков.

Феликс и не писал.

Напившись к 6 заката, он становился небрит, в серебряных серпах волос, — невменяем. Примадонна уносила гения на жирных плечах, как на пружинах.

И так — изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год и т. д.

Но:

каждые две недели, как с конвейера, выходила в свет новая книга Лопе де Вега, состоящая из — 12 пьес! В стихах!

Никто не задумывался: пьет и пьет, а книги выходят, а пьесы ставятся, вот и всемирная слава!

Задумался лишь Сервантес. Как не задуматься — для дневника?

На глазах романиста — ежедневность оргий, он присутствовал при агониях.

Не до ума, — Сервантес отважился на детектив: он пошел за примадонной, несущей на плечах «Чудо Природы», «Гения Века».

Женщина принесла, свалила драматурга у крыльца. Дворецкий унес поэта наверх, в кабинет. Огни дома загасли. А наверху горел один огонь.

Через час автор «Дон Кихота» ударил молотком в дверь.

Заспанный дворецкий не мог не впустить друга хозяина.

Дверь кабинета распахнул сам Лопе де Вега, свежий и дивный, в белоснежных манжетах, в драгоценных пряжках, с орлым пером в руке наотмашь. Глаза его были белы от бешенства:

— Что Вам нужно, С-С-Са-аведра? Не выкручивайтесь, — ведь Вы меня выследили! Вы украли у меня время, Вы — вор

конца моей пьесы. О Мать Божья! Из-за Вас я потерял нить смерти Лжедмитрия, где Петр Басманов берет меч. До завтра в 6, в «Субботней собаке»! За справками обращайтесь к примадонне!

После Лопе де Вега осталось 2.500 пьес, не считая т. ск. романов, поэм, трактатов, сонетов, писем.

При жизни Лопе де Вега любил, если мог, читать в кабачке трактат герметиков, созданный в начале нашей эры. «Герметики — религиозная секта, сплавившая гностицизм, иудейскую и эллинистическую мистику. В этом трактате под именем Пемандра божество открывает автору тайны бытия и путь к мудрости».

После каждой своей книги Лопе де Вега любил цитировать Пико делла Мирандолу (из речи к Эрмолао Барбадо):

— Для черни не пишем, а для тебя и тебе подобных!

ТРАКТАТ О КЛОПЕ

В начале сотворил Бог небо и землю неустроенные, и дал им устройство в 6 дней.

В первый день сотворил Он свет.

Во второй — твердь, или видимое небо.

В третий — отделил воду от земли и повелел земле произвести растения.

В четвертый — создал солнце, луну и звезды.

В пятый — рыб и птиц.

В шестой — животных земных, человека и клопа.

Бог сотворил клопа словом своим: ибо Он (Бог!) всемогущ.

Человек ненавидит клопа, но клоп человеколюбив.

Клоп — первый одомашнил человека: нельзя покидать на произвол свою пещеру, если остается клоп. Нельзя шагать шагами по прериям, снегам и джунглям, зная, что в пещере клоп травмирует твоих детей, родителей и жен, можно лишь поохотиться за пищей и возвращаться для борьбы.

Клопа не убьешь пальцем и не выметешь метелкой из хвоща. Так человек изобрел каменный топор. И сражался с клопом — топором! Борьба была безуспешной, но закаляла нерв и мускул. Священное чувство борьбы, — без него человеку нет места на земле! Пропави борьба — и человек превратится в мужчину или женщину.

Клоп — людоед. Жить в одной пещере с людоедом, в непосредственной близости от укусов и в ужасе от бессонниц, — так человек стал бесстрашен и неукротим. Посвистывая, он шел на мамонта или объявлял бой медведю и льву, что ему эти враги-великаны, схватка с которыми не без риска или смертельна, но

длится считанные секунды, — если в моей мансарде жил, живет и будет жить самое чудесное чудовище — клоп! Возвращайся, воин, в дом, убей копьём из меди клопа, спаси семью хоть на краткий час чаепитья — от мук!

В древних цивилизациях клопа обожествляли:

в гробнице фараона среди захороненных наложниц, лошадей, свиней, — со всеми теми животными, которые понадобятся усопшему в том, первичном мире природы и Бога, — самое сибаритствующее место отхватил клоп: после бальзамирования на тело трупа выпускали клопа и забинтовывали мумию.

Древние понимали: Бог дал человеку тело и вдохнул в него душу, а клоп дал телу энергию круговращения, а душу изощрил!

Факт социологии. Платон писал: нет равенства на земле среди людей, животных, растений. Всюду расы, классы. Идеально лишь государство клопов. Нет клопов-негров, славян, японцев, у всех цвет кожи — красный! Нет у клопов трудящихся, композиторов, инстантов, диссидентов. Свободное сообщество свободных зверей. Пьют кровь человеческую, но это полезная медицинская мера — донорство. Платон мечтал построить человеческое государство по образцу общества клопов.

Но
нам
пить
кровь
чью? — не сказал.

Мы
и
не
пьем

кровь. Ничью. Мы — кровинцы!

Факт философии. Мысль бессмертья. Индус после реанимации превращается в козла, в стрекозу, или в розу (поэтизм!), ему, индусу — жить-жужжать в новой оболочке!.. Ой жужжом, жужжом!

Умер же козлом, стрекозой, розой, — перевоплощается в изумруд, или в звезду Регул. Умер изумрудом, Регулом — перевоплощается в ... и т. д. до тошноты.

Мечты о метаморфозах! Элада и Рим уже сжигали трупы в прах. Скифы без эллинизма, без наук тоже трупы — на крестер! колдуй, — таинства пепла!

У Матфея не все про Гефсиманский сад. Как мемуарист, Матфей отлил фигуру Христа из афоризмов. «Да минет меня чаша съя!» Мемуары — источник без надежд. Сохранился апокриф. Эта фраза не отрицается, Иисус так сказал, но... выдохнул воздух и добавил тишайше:

— Но бессмертны во вселенной лишь боги и клопы.

Почему-то Матфей не включил поправку в издание Синода, а она никак не компрометирует Учителя. 1950 лет по смерти Сына Божьего в Египте вскрыли сто гробниц фараонов и в каждой был клоп. Где клоп, там микроскоп, там и осмотр клопа.

Клоп спал, — признак жизни. Гипотеза.

Опыт: поместили под колпак в питательную среду, — клоп ожил. Теорема.

Сняли колпак, отпустили на все четыре стороны, — клоп побежал, как конь, живой. Аксиома.

Поспал, эн-тысяч лет, что ли, в бинтах, очнулся и спросил:

— В каком же, мил-мой, тысячелетье я очутился?

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТРАКТАТА О КЛОПЕ

Я очутился в больнице: адрес: Летейский проспект, д. 4/2, больница им. св. Уйбышева.

Больница за решеткой, решетка — чеканка; чеканка — чугуи с вензелями. Пред больницей в роли фонтана — искусство: скульптура бокала из гранита, обвитая гранитной змеей. Это — эмблема Авиценны.

Предваритель-дворик с дорожками, где чист-песочек и семь скамеек — изделье каменотесов, спец-заказ для родственников, которые приходят хоронить.

По фасаду больницы колонны, вывезенные из Рима во времена Октавиана Августа, Рим разлагался, продавая колонны из порфира по дешевке соседям, для больниц.

Палата: освещена, как в солнечной системке, — окном: паутина — пай-Ундина, отопленья нет, а тараканы потрескивают, как угольки в камине; пододеяльник выглажен до идеи, как животик долгожителя; простыня выстирана нефтью в павлиньих разводах. Одежда из веревочной ткани, это модно на выставке в Зимбабве.

Четверо на койках, двое на раскладушках, трое на импортных, лишь вчера обоссанных матрасах, этих и положили-то пониже (матрасы — на пол!), потому что к утру четверо, как правило, умирали. Температура у них не превышала 40 градусов, место им для смерти — внизу.

У нас на койках превышала, вот мы кой-как и жили-были.

Ни выдающихся людей. Ни выдающихся смертей.

Тельце мое в бреду, отверзая зеницы на хлопок глазика, я смотрел, как по мне ползает кто-то, малюсенький, красненький, во множественном числе. Я слышал выстрелы. Галлюцинация зренья уха — так.

Я отбредился, вставил в подушку слабый локоток и осмотрелся.

На койках — три скелета, умытые для анатомички хлороформом, на раскладушках — два мертвеца, их обрили электро-машинками с ног до головы, а пониже пупка — по гигиенической салфетке, для скромности.

Надо мной: босой, окровавленный в кальсонах, трость он имел в левой руке, парабеллум в правой; стоял, подмигивая.

— Это я: М. Н. Водольянов! Отважный герой, пилот, космонавт. О Иван Павлович, вспомним песнь про меня и споем «Как отважный герой Водольянов, самолетик мы в лечик пустим, через синий простор окиянов мы за бомбами вслед полетим!»

— Не пой
при мне
ты песен, —

сказал я с трудом. — Боевой ли кровью запятнан ты, отважный герой?

— Открою тайну, вот почему ты еще не скелет: я двое суток дежурил у твоей койки, я глаз не смыкал. Я ведь тоже интересуюсь геометрией (я затих) ...высшего пилотажа (у меня отлегло). Теперь войу сам! — он дал трость. — В рукоятке две кнопки. Нажми вверх. — Я нажал, — выстрел! Стреляла рукоятка. — Нажми вниз! — Я нажал. Из трости выскользнул клинок, обоюдоострый. Я убрал клинок.

Трупы с раскладушек унесли в морг. Скелеты расфасовали и унесли в скелетную. Две санитарки с красным крестиком на лбу — обдули ртами еще пахнущие ссаньем матрасы. Принесли нео-больных с $+ 40^{\circ}$, группа залегла; кто бредит, кто сбрендит — не принцип: к утру их ждет та же участь.

Вечереет, солнце, как говорится, не в зените, на потолке клопы.

Двигаясь по освещенной плоскости, клопы рисовали геометрические узоры на потолке — неопишуемой красоты. Я залюбовался. М. Н. Водольянов вынул из-под подушки два кинжала, на тумбочку. Я выхватил трость и нащупал кнопки.

— Приготовиться! Будем стрелять в лет! — команда, Водольянов.

Мириад клопов отделился от потолка и как-то, как пар кровавый, параболически стартуя, без парашютов, — завис! В лапах у клопов миниатюрные шприцы с новокаином (анестезия от укуса!).

— Огонь! Пли! — команда, Водольянов.

Мы — стреляли! перезаряжая обоймы. Клопы гибли от пуль, кой-кто все же распустил парашют, запутался в стропах, пал на нас плашмя. Этим мы ликвидировали клинком и кинжалами.

Больные забились под одеяла, закутав горящие головы. Они выздоравливали, — до утра.

Хорошенькие санитарки, хочется повториться, с красным крестиком на лбу, приносили нам супик с рисом и кашку из пшена в металлических посудах, присаживались на койку, переливали супки-кашки в свои водонепроницаемые термосы, завинчивали крышки, уносили к себе, домой, — у нас нет аппетита.

Мы же соскочили с окна замазку, растворили в сероводороде и лакали отвар, нам он больше нравился по вкусу; на врачебный уход жаловаться никак нельзя.

Мертвых клопов выметают швабрами (широчайшими!) аспирантки медицинского института, стажирующиеся в больнице им. св. Уйбышева, или же бросют клопов в ведро из эмали, для лабораторий эксперимента. Койки заливали карболкой, санитария и гигиена.

— Я люблю эту больницу! — сказал М. Н. Водольянов, когда выяснился диагноз, что мы уже не умерли. — В ней есть что-то человеческое. В другой просматривают, прощупывают, инструктируют, в задницу витамин запускают — иглой, трясут сердце таблеткой, давишься кишкой, пьешь стакан важных влаг, зубильцем ятра простукивают, — вот и урод от старости в цвете лет!

— А здесь! — ты лик, ты лёг, вынимай клинок и кольт, стреляй в тварь-клоп во имя оно! — столько боевых воспоминаний, такой самоперелив крови, сье ль не омоложение организма, — я тебе говорю!

Кто не любил меня? Отважный герой М. Н. Водольянов, как не полюбить, я с первого приказа бил в лет клопов, по-снайперски.

И он повел меня в иной, женский павильон. Там вымерли все, лишь на койке-качалке юница в пеньюаре (нейлон — цвета кольца свадеб!), лицо — роза, а глаза как у мертвой.

Операция горла, хирург из Лондона, ему дали в тютельку валют. Операция описана во всех еженедельниках, во всех идеологических газетах мира. Доктор — без преувеличенья, он стал личным хирургом Королевского Двора для принцессы Анны, ведь она скачет на скачках!

Вместо горла хирург вставил пациентке трубку, изобретенную им же, получил патент и сейчас — миллиардер промышленности трубок. Он уехал в Лондон в званье лорда.

А

ночью

нынче

в

трубку

забрался .

клоп,

спасенная медициной пациентка закашлялась, как в истории болезни, и умерла.

Вся больница им. св. Уйбышева, все ходили к ней, — им так хотелось, ей было 22 года, вот вам: авантюризм и профанация лондонской хирургии!

М. Н. Водольянов:

— Путешественница! Мечтательница! Была с дельфинами на острове Патмос, ты, Иоанн, сын Павла! Но... — отважный герой стал суров. — В Столице 155 больниц. В них 48 тысяч коек. Населенье Столицы 250 млн. Подсчитай, геометр, Академик, мать-твоей-матики, на скольких получается одна койка?

Подсчитывается, без ЭВМ.

— Вот видишь. А в нашем климатическом климате болеют что ни кровинец. Вот и нужно высвободить койки. Что нужно для того, чтобы высвободить койки для живых? Нужно держать клопов. Они в одну ночь съедают выздоравливающих до состояния скелета. А не получается сей час же, а вмешиваются на досуге иностранные специалисты, — пожалуйста, и здесь, клоп не плох! Втюрился в трубку — энд энд!

Водольянов смотрел на девушку, не отрываясь:

— Ты не знал ее. Счастливчик, что ты не знал ее!

ОСТРОВ ПАТМОС. КЛАССИЧЕСКАЯ НОВЕЛЛА

Но я знал ее.

Имя ей Юля.

Ее любил Юлий.

Бог родил эту пару друг для друга, — по аллитерациям!

Это прием про любовь, я не новатор, к примеру, Гюи де Мопассан, но у романиста-француза Жанна и Жан, пеструшка-пастушка и деревенский дурак, — слюна сантимента!

Юля — специалист по дельфинам, Юлий — одинокий отрок с теодолитом и альпенштоком, диссертант песчинок у скал острова Патмос, я взят в экспедицию, моя компетенция в чем? Я черчу прутником на песке, архимедствуя. Пропадшее лето. Я ушел от Майи, посещал Южные Провинции, как бессемейный консул Столицы, бессменный. Меня и подобрали.

А Юлия любила Кристя, его собака, сука доberman-пинчер.

Сложен слог мой. Слушай:

три палатки, но Юля и Юлий жили вместе, любя, в одной, я во второй, третья пустовала. Хотели отправить в изгнание Кристю, но сука не покидала хозяина, так она понимала свою собачью задачу. Вот и песнь о второй палатке: там — треугольник! По ночам двойня курлыкала в поцелуях, а Кристя выла, бия львиной лапой Юлю — по губам! — чужая баба посягает на уста Хозяина!

Кобра де капелло. Рост 1 м 80 см, красновато-желтая, а присмотреться — пепельно-голубая. Будда, странствуя, заснул на солнце полудня. Кобра — явилась. Она распустила свой щит и затмила им лицо Бога от слепящих лучей. За это Бог дал ей очки, — от коршунов. Коршуны жрали детенышей, а очков боялись.

Коршунов у нас нет, расстреляли в борьбе. Бога у нас нет, и не раскаиваемся, я и не злился: у нас есть солнце, повсюду!

Где тот, кто, варвар, подошел бы во весь рост ко мне, интеллектуалу абсцисс и ординат, — стоит за моей спиной и смотрит на пруттик, затмевая меня от слепящих лучей, а я не спрашиваю «кто там?», говорю для Энциклопедьи:

— Отойди, ты заслоняешь мне солнце! или: «Не трогай мои фигуры!»

Так я говорю и меня убьют.

Хоть бы меня убили в темя, но чтоб не знать!

Но для того, чтобы заслонить мне солнце, нужно поставить за моей спиной не варвара во весь рост, а когорты Александра, легионы Цезаря, инфантерию всех Войн, договоримся: пусть все стоят на плечах друг у друга, плечом к плечу, пусть за мной выстроится стена из 250 млн. живых людей — в высоту! Но эта идея абсурдна. Где найдется столько солдат, да и так или иначе солнце будет светить в морду. Не сочувствую солнцу, если я не люблю его.

А Юлий возненавидел кобру, не хотел быть убит змеей, хватался за гарпун, я распространялся о лекарствах, противоядиях: настой дикой конопли и табака пембу-кейлу на безаловом спирту гонгеа, или же смочу рану укуса смесью из нашатырного и винного спирта, янтарного масла и воскового мыла, плюс бутылку теплой мадеры. Это нам пришлют из Академии в случае смерти Юлия-змееборца, пришлют даже известный корень от змей — «найя-талик-каланго», а вот бутылку теплой мадеры — найти никто не мудр. Бросай гарпун, иди, целуйся.

Скалы цвели! фиолетовыми и малиновыми эпитетами, вот уж в скалы-то меня не ушлешь, дай мне даже злат-линзы Алладина; если бы мне на блюде Саломеи поднесли под нос корону царя Мяу-Цзен-Дюма — я не пошел бы в горы: там нет пространства для шага. Где мне шагать по призванью — вперед и впрод!

Да кто посулит корону? Я подозреваю, что сейчас не осталось ни одного государства, где не было бы Братства, Равенства и Свободы, — попробуй, попробуй корону! — возмутятся везде.

Дельфинарий: полуостровок через протоку, в 42 м от палаток. Там кишела всякая всячина в мундирах со звездочкой, сходили по трапам с эсминцев, смотрели на дельфинов из-под козырька,

ни разговорчиков, секретность (Вооруженные Силы!), предусматривается инструкцией, ну, насмотрелись, без церемоний пожали руку Юле, а съя, как самка, ходила по форме в маске, в ластах, с гарпуном, сели на миноносец, уехали в моторах и в броне, им на смену делегаты в костюмах, кажется, — повторяется, процедура.

У Юли захватывающая диссертация, если подвизаться в одежде водолаза и жать 500-1000 рук в сутки.

Дельфинов отлавливало судно без мачт, борта и артиллерия выкрашены под цвет морской волны для конспирации, меня не касается. Мне-то для чего маскироваться?

Дельфинов привозили в серебристой цистерне с люком, но звери валялись и на палубе (как в больнице!), хлопая хвостами! — сбрасывали в дельфинарий, используя вилы. Так, семь в тельняхках подхватывают вилами и швыряют в воду, за решетку. Штиль. Дельфин — вверх вертикалью, как с детства и на свободе волн, — взвивается, флиртует! Но тут же бросают в воду еще и еще. Почему-то каждые двадцать дней привозили двадцать дельфинов. А бассейн: 50 м длина, 30 м ширина. Я объясняю как умею: 1.500 м кв. глубокой воды огорожены стальной негнущейся решеткой, незвонящей.

Вычислители Вооруженных Сил вычислили из логарифма: дельфин — не килька, квадраты решетки как раз для того, чтобы сунуть в них жаберный нос, но не более. Прыгали животные, совали свой нос туда, куда не стоит совать — в свободное Черное море, нос портился, подышали. Юля расписывалась за единицу прибывшего и единицу подошедшего. Вооруженные Силы лелеяли мысль, что смертность прекратится, если спец-комиссия разработает спец-проект спец-намордника для дельфина, чтобы зверю дышаться в духе и чтобы нос не портился. Но у нас нет специалиста по наморднику, нет еще и фундамента спец-Лицея для специалиста, где можно было бы обучить самородка через пятьдесят грядущих лет; и через пятьсот лет ничего путного не получится, а дело и так движется, Юля ведь не нарушает форму скафандра и гарпуна, умеет без цинизма подержаться за руку с посетителями, да на острове Патмос в 42 м от дельфинария думает о выводах в числах действительный Академик — я! Хлопотать — излишек, если газеты, есть о чем написать правду.

Днем: я и Крестя, у нас игры: в пятнашки, в камушки, я бросал Кресте ветвь, как оливковую, скакалка, или же купанье, пока не посинеет, как все вокруг: синее небо, синее море, синий воздух!

Юля возвращалась, Юлий возвращался, ночь, и фонарь не зажжешь для салюта, у них электрические, у меня никакого, я

жег костер, бросая в хворост сало из консервов. Два диссертанта любили, я занимался в уме эквидистантной поверхностью и орисферой. Двое ссорились, я сделал флейту из тростника, змеи затанцевали.

На жизнь — жаловаться?

Амблицефалиды ели улиток.

У випер железа во влагилице языка.

Коралловый аспид с малиновым брюхом, ему бы жить в картофельном поле и жрать клубни, картофеля у нас нет. Без лекарств не обойдемся. Лекарство от аспида — вливать в себя настой листьев и стеблей бразильской розы. Бразильской розы у нас нет, у тебя лицо, Юля, как роза, не отворачивайся.

Мадагаскарский удав: сине-золотисто-зеленый, блеск металла! Жрет преимущественно голубей (сам ловит, и хоть голубь — святыня, я сижу!). Жрет же в виде исключения кролика и крысу. Мадагаскарский удав, хорошая длина — 8 м 29 см. Живет в воде, в обломках скал, ловит рыбку в протоке, свесившись со скалы, подстерегает водосвинок, агути, пака, любит уток, свиней. Поиграй с ним, Юля, и ты, Юлий, он ест девочек и мальчиков — лишь младше 10 лет.

А мне — лунная змея, глаз у нея со зрачком вертикалью, а цвет ея — цвет гвоздики! Мне она — при костре, при луне, и мне же — зеленый змий Бумсланг — 2 м 5 см, ему не до танца, лежит у меня в головах всю жизнь, свежесть моя утренняя!

И пусть питон сетчатый, фиолетово-желтый, рост 5 м, съел за сутки: карликовую свинью — 1,5 кг, двух юных антилоп мильгау — по 8 кг, козла — 11 кг, еще козла 15,6 кг. Пусть он переваривает пищу 9 суток. А на десятые сутки я дам ему самку сибирского козла 29,6 кг, и просто козу 33,6 кг. Пусть ест, если в пользу, я же ем в сутки яйцо. Одно.

Вам: все восполнит иероглифовый питон ассала, 9 м. Я убью его, используют для кухни вместо растроченных мною свиней, антилоп и коз. Я положу его мясо в кипящий котел, приправлю солью и красным перцем, я разварю мясо, и вы съедите с таким же удовольствием, как едят мясо крокодила, самое любимое блюдо Восточного Судана!

Исчезла. — Кристи нет!

Нельзя написать, что Юлий понурый, а Юля скорбящая. Поискали пса (поаукаться!), принесли букет цветной, я сплел два венка и возложил на их диссертантские главы. Смех: у них есть сенная девушка, вот и веночки плетет.

— Ох льстец!, — восклицала Юля. Я не льстил им.

— Термутис! — сказал я. Лучшая из змей — ара. Ее изваянья высекали египтяне на храмах по обеим сторонам земного шара.

Ея изображение носил на лбу фараон. Младший брат ара — термутис. В каждом углу храма египтяне строили для него кормушку с телячьим салом. Термутис бессмертен, противоядья нет, он — орудье самоубийц. Благодаря термутису покончили с собой знаменитости: Гален, Деметрий Фалернский, Клеопатра. Сей змей помещался в виде диадемы вокруг головы Изиды. Я — вам — возложил венок цветной! Два венка, и в каждом по термутису! Для свадьбы.

— Издеваешься, или юмор? — спросил Юлий, мужчина. — По какому праву ты вмешиваешься в наш внутренний мир?

— Где Крестя? — спросил я.

Я разыскал винные ягоды и предложил Юлии роль Клеопатры. Я выкопал таврский меч и предложил Юлию роль Антония.

— Какую роль — себе?

— После клинической смерти вас двух мне остается Робинзон.

— А справишься? Ты ни хрена не умеешь.

— Найдут. Кровинец просматривается, в досье — инфракрасный луч! У нас человек не пропадает, как пропала. На него смотрят.

Сомнительно, что меня найдут. На острове Патмос три палатки и маяк. Змеи не в счет, бессловесны. Скорпионы умеют лишь кусаться, если не спится, — подлость! нет от них защиты. Муравьи да стрекозы. Пока муравей перейдет горы, я уже патриарх. Стрекоза дальше первой линии моря не улетит.

На маяке — слепая. Старуха-слепуха, как ей соображается? Мы носили на маяк (я носил!) миски с едой. Мяс-колбас, цыплят, шашлык и пр. продукты (дефицит Столицы!), старуха не жрала, видите ли. Ей нужен омар. К омару она пристрастилась с детства. Я взял учебник по ловле омаров, и мы с Кристей ныряли на дно моря, ползая за этой мразью, он еще и клешней цепляется.

На очах — ночь. Я плелся к протоке, жгу костер из розг хвороста, смотрю на дельфинарий.

Нет мне глаза вверх, там космос, в нем звезды. Звезд множества, я не гимназист с биноклем и не часовой у склада водородных бомб, чтобы, любопытствуя, всматриваться в сны массы. Я уяснил, почему Джордано Бруно пошел на костер. Он пошел на костер потому, что иссяк ум ученого, одеревели глаза от рассматриванья мертвых, никому не нужных блестяшек — бижутерии Вселенной. Уж лучше смерть, но в живом огне!

Я виноват, но я у костра, варю в консервной банке чифир. Ночь юга черна, чуть красновата. Маяк вертится во все стороны, сияя, дезориентируя флот, — старуха-слепуха развлекается! Вот в море столкнулись эсминец и авианосец. Воздушный взрыв и бенгальский огонь! а море в лампах новогодней елки для малышей,

а на волнах серпантин и конфетти, фарфоровые блюда с лазурными чайничками!

Утром приплывут жертвы аварии, т. е. трупы, мы их засыпаем солью, будут лежать на злат-песочке, делая вид, что у них дыханье легких. Потом их увезут на катерах...

Змеи приползли к огню, стали на хвосты, смотрят: пыланье и приятность. Змей я не боюсь, с ними безопаснее: войди чужестранец в мой шатер — бросятся, как бешеные, ведь они живут в моих одеялах и пьют мое молоко.

Ночь моя, — ничего!

Дельфины не умирали. Юля лгала в расписках. Свидетельства о смерти — фальшивки. Дельфины ревели всю ночь, взрывая воды тюремщицы. На рассвете, когда всходила в лиловом, лишнем небе Звезда Утренняя, они утихали, и тишина страшна, я знал: совещаются.

Посоветуются и попрощаются.

Девятнадцать дельфинов отплывут к берегу острова, а двадцатый выйдет на старт. Он отойдет к южной стороне стальной сетки, развернется тело-скульптура хвостом к югу, головой к северу, примет позицию «баттерфляй», окунет морду в мутную водицу и в миг, молнией выбросится из воды — всем телом! — и пролетит, как взмах Ангела, все пятьдесят метров, и ударится мордой о сталь-сеть, и разобьет морду вдребезги, — самоубийство.

Кровью окрасится водоем, кровью взойдут воды Чермного моря, но через пятнадцать минут и энзэ секунд мертвое тело зверя изойдет уже в смерти, кровь растворится и рассеется, и девятнадцать товарищей взвоятся в воздух — последний салют! Сегодня покончил с собой Двадцатый, завтра очередь Девятнадцатого. А Последний знает, что Верхний Час его — в третий понедельник, считая с сегодняшнего четверга.

О море море. Старухе нужен омар из каприза, нам креветки для деликатеса, а Вооруженным Силам — дельфины для целей. К ним хотят привязать торпеду и напустить на вражеский корабль. Может быть, с торпедой дельфин и пойдет на врага, все мы — камикадзе, когда война касается земель и вод, где твоё рожденье и твоя мансарда под чердаком. Но звери — НО звери. Возвратите мне мой звериный облик, если уж существует ваша адменструативная теория эволюции.

— Эмоциональная сторона вопроса вне компетенции тебя, Академик! Мы исполняем инструкции, но не трогай нашу страсть! Черти ко всем чертям, жги свой юниорский костер, танцуй со змеями, ты, фетишист! Ты уже написал доклад о нравственном облике сотрудников? Ты протелеграфировал, не позабылся, что на острове Патмос — растленье? Ты посмотри на себя, на зер-

кало: морда небрита с месяц, жрешь чифир, как тебе подсматривается, как люди любят? Как бесится Вам, импозант? Не волнуйся, мы на тебя не напишем, слюнявь свистульку, но не задевай святыне струны!

— Кристи нет. Нигде.

— Какое тебе дело до Кристи? Это моя собака.

— Моя собака. Она не твоя, Юлий, она своя, собачья. Так-то Псаммит.

— Не ругайтесь про пса!

— «Псаммит» — это трактат Архимеда о песчинках, — твоя специальность.

— Закрой зев, Юлий. Иван Павлович прав: Кристи вписывается в накладную, хоть и твоя, но так же, как мы трое — четвертой, на нее рацион. Иван Павлович должен знать.

— Мы же ее искали сутки, не нашли. Откуда я знаю — где? Ты — знаешь?

— Мы ее искали не сутки, а час. Ты не энтузиаст, Юлий.

— Юля, опомнись! Остров огромный. Чего не случается, — ужалила змея, укусил скорпион, отравилась чем-то и ушла подышать, ведь животные не любят умирать на виду у людей. Я любил ее, мне жаль, но бессмыслица — искать труп! Где-то! А она где-то, потому что не отходила от палаток при жизни.

— При жизни! — канцелярист ты, Юлий. Тебе бы в морг, а ты на морях стихий. Я узнала позавчера: Кристию увез катер, под цвет морской волны. Она понравилась инстанту со звездочкой, он и увез. А если попроще — украл.

Позволю штамп: Юлий остолбенел.

— Почему ты молчала, Юля? — спросил я.

— У того столько звездочек, что замолчишь.

— Я вмешиваюсь.

— Умоляю Вас! Замолчат и Вас, и так быстренько, что не успеете свистнуть змейку. И всех нас выгонят в Столицу. Вам-то никак, а для нас — единственная экспедиция для диссертаций! Судьба! Не вмешивайтесь, Иван Павлович, я подарю Юлию добермана точь-точь, как Кристия. И назовем в честь нашей — Кристия 2!

— Юля! — сказал я. — Встань с камня и отправляйся. В дельфинарий!

— Не командуйте моей женщиной! Может быть, Вы ее — изнасилуете? Учтите: я в ярости! На острове нас трое, ни души больше. Я знаю карате! Я сверну Вас в узел и швырну в море!

— Моя женщина. Субстанция собственности, Юлий, — неистребимая извилина в мозгу тупиц.

— Не читайте лекции, Вы не инстант, не оскорбляйте!

— Сушь и твердь, вода и мир растений, Юлий, — ни о какой башке-букашке тебе не сказать «МОЕ». Чувство собственного

достоинства, реакция на лекции и оскорбления — свойство натур чистоты. Ответить, что ты такая натура — язык мой нем!

Юлий встал с кулаком.

— За что ты убил собаку? — спросил я, сидя.

Юлий открыл рот. Оказывается, зубы у него — один к одному.

— Второй вопрос: почему ты убил собаку?

— Вы не прокурор, Вы...

Я прервал:

— Сядь, объяснимся; за что и почему ты убил? Ты знаешь, что она была — беременна?

— Я не знал! — закричал Юлий стоя, и сел.

— Пока твоя Юля убивала дельфинов, а ты описывал песчинки скал, я обследовал остров. Здесь ценные минералы и деревья редких пород. Под одним из деревьев, на минералах, я обнаружил труп Кристи. Ее еще не совсем съели муравьи. Она была привязана к дереву за шею, корабельным канатом. Ты хорошо знаешь, как вяжут морской узел, вот и меня грозилась связать. Ей было не вырваться. Может быть, она выла, но мало ли здесь звуков ночью. Она издохла не от голода, от инфаркта. Знаешь, Юлий, ты ведь обо мне ничего не знаешь. Я десять лет препарировал трупы для моей дурацкой геометрии. Ведь геометрию создала анатомия. По припухлостям паховых желез я сразу понял, что Кристия беременна. Я разрезал живот, девять эмбрионов.

— Вы напрасно выслали Юлю, я бы и при ней. Видите ли, в сексе у меня нет предрассудков. А мы полюбили друг друга по сексу. Чистосердечье, свадьба, — о чем речь, если мы здесь на три месяца, а потом кто куда. Схема секса! — и у Юли. Она признается с первого поцелуя, что хотела войти к Вам, ей бы и лучше по службе. Но Вы полюбили змей, — нешуточная ситуация! И вот я вошел к ней. Кристия любила меня — взял и выкормил со щенка, — ревновала. Мы с Юлей не могли заниматься в палатке, а выгнать суку нельзя. Но мысль пришла не мне, а Юле. Я-то предлагал заниматься там, где дельфины, там ночью никого нет. Но Юля сказала: как мы объясним Академику? Так и объясним, — ответил я, — что тут за тайна? Но Юля не хотела объясняться, это — скотство. Я предложил просто уходить в горы и — там. Юля сказала, что она не какая-нибудь такси-герлс, чтобы кувыркаться под горку в куст. Что же делать? — я не знал, а делать-то нужно что-то, чтоб заниматься. Юля и сказала: убей Кристию. Я растерялся и спросил Ваш вопрос: за что? почему? Юля ответила: за то, что она не даст нам никогда заниматься, и потому, что — подумаешь, собака, подарю тебе еще лучше, а мы люди, а не животные. Я колебался, ведь Кристия столько лет мой друг. Трудно мне! Все!

— Не совсем. Если у тебя нет предрассудков в сексе, ответь мне, пожалуйста, я интересуюсь, твой опыт мне пригодится. Юлий, после того, как ты убил Кристию, положение сильно переменялось в сторону секса?

Юлий засмеялся:

— Иван Павлович, до чего ж ты витиеват в своих смелых вопросах! Отвечу: нет, не изменилось. Дальше не пошло.

— Я так и знал.

— Откуда ты так и знал, подсматривал? Ты...

— Остановись во гневе! Я не сентименталист. Я допускаю убийство и человека. Но ты — трус, не человек. Ответь мне: почему ты убил не ножом, не камнем? Почему ты привязал зверя к стволу — мертвой петлей, и бежал? Твоя ню жаждет подвига во имя ея. Убить беременную суку — в принципе еще не подлость, но не подвиг. Убей меня и Юля тебе отдастся.

— На такую мерзость и кулак не потратить! Чего тебе надобно, старче, импотенче? Да тебе плюнуть в морду — улетишь на километр!

Мне не нужна была сила кисти и вес удара. Я знал: его нельзя убивать. Я ударил его один раз: — кулаком по горлу, — кровь клокотала, Юлий дергался, лежащий.

— Ты убил его! — воскликнула Юля с ужасом, в восторге.

— Забинтуй зев бойцу, — сказал я. — Дай ему календулы, прополоскается.

В ночь с 89 на 90 наших испытаний — восемьдесят девятый дельфин бросился на проволоку и покончил с собой. Девяностый отсалютовал. Я протелеграфировал, в Академию и в Вооруженные Силы, что экспедиция успешно завершена. Мы взяли сварочную машину и разрезали сеть-решетку. Девяностого мы выпустили в море и дали 90 залпов из винтовок.

Напились мы насмерть.

Мы пили зубной порошок с хинным экстрактом и корвалолом. Первые в жизни мне понравилась звезда Сириус, и я смотрел на нее и любил ее.

Солнце колыхалось низко-низко над морем, от костра запах, как от колонны из флорентийской бронзы.

Я уснул у костра, босиком, я проснулся, надо мной два женских глаза и звезды. Глаза смеялись, угли гудели, как в камине Вселенной. Море побулькивало. Юля вылизывала мне ресницы и веки. Расслабленное солнце освещало: пепел одежд в костре, — кариатидные фигуры уже не нужных нам одежд, голое тело девы Юлии, в камушках, в чернильных угольках... Потом свершилось, потом пошли судороги...

Юлий лежал тут же и клялся: теперь-то уж он по-настоящему любит Юлю, первой любовью, он знает, как отобрать ню у меня, Фавна, что сейчас же он, Юлий, совершит подвиг кровавый, ведь эта тварь отдается лишь за кровь.

— Убей старуху и ороси ее кровью маяк, — посоветовала Юля.

Юлий повествовал:

— Заведем катер, под цвет морской волны, отведем от острова на 0,7 лье, поставим на якорь, как раз там, на глубине 1 м и 5 см от поверхности воды, при штиле — есть железный кол. Мы поставим катер так, чтобы можно было прыгать на кол и без ошибки пронзить главу. Кто-то из нас пронзит. Второго полюбит Юля, она это любит.

Юлий — мне:

— Древний обряд, не так ли? Бой за обладание женщиной обязывает Вас к действию.

Юля:

— Не обязывает. Он обладает. Ты — нет. Вот и бейся башкой в кол.

Юлий, оказывается, трезв.

Мы отвязали катер, завели, отъехали, поставили на якорь, как раз — там. У кола.

— Прыгай! — сказала Юля — Юлию.

Юлий:

— Я не трус и прыгну, но я предложил честную дуэль, а не самоубийство. Жребий: Юля, кому прыгать первым?

Юля:

— Прыгай, Юлий!

— Нечестно. Что ты ухватила за этого ублюдка? Слава? Карьера? Фаллос? Я говорю: жребий!

Я вынул монету и дал Юле. А Юлию:

— Ваш выбор, орел или решка?

— Орел.

— Орел, — прыгаете Вы?

— Решка — Вы!

Юля бросила. На палубе зазвенело. Три карманных фонарика включились: решка! Мне прыгать.

Юля взяла винтовку и выстрелила. Мы стояли на палубе треугольником в три шага. Катер не шатало, море как в изморози. Я схватил Юлю, а пуля сорвала ухо, Юлий сказал:

— Мне сорвало ухо!

Я схватил винтовку из девичьих рук и бросил в море. Я встал на корму и сказал:

— Юлий, проверь! Я стою — правильно?

— Да! — сказал Юлий.

Я прыгнул.

Кол оцарапал мне левую лопатку и разорвал ягодицу.

Юлий встал на корму.

— Прыгай! — воскликнула Юля.

Юлий прыгнул.

Вошел в кол головой.

Над морем блеснули две ноги в ботфортах, поболтались, опали в коленях, и такую осталась картина, — радость для еще творящего Императора Сюрреализма С. Дали: море море море кистью семи палитр, семьюжды семь смешанных цветов, какой-то катер, наш, по форме напоминающий крокодилицу, а на нем — два нагих существа с волосами, у нее — груди, у меня — знак мужской, а над морем морем морем — две ноги в ботфортах из резины, согнутые в коленях, как энный корень из числа «БЪГТИЕ», да неба над нами и нет, — лишь Сириус-звезда, и я люблю ее!

Не одеваясь, мы пошли в горы, в скалы; мы шли с фонариками, ни слова нам вслед, и оказалось, что тут люди и цельнометаллическая цистерна вина. Люди пили, вне возраста, носы и волосы, в майках, с мускулатурой, без женщин.

— Если ты яурей, пей, друг Иерусалима, если нет — не дам! — сказал тот, тамада, властитель крана цистерны.

— Я не яурей, — сказал я. — Я ничей не друг, но пить я буду!

Я взял кружку, прикованную цепью к цистерне, взялся за кран, отполированный, толстый и медный. Юля встала у цистерны, и мы выпили залпом по литровой кружке. Вина.

Тот, тамада, закричал на нас на своем языке, — он был залиivist. Но встал с камня старый, с лицом лягуха.

— Их двое и они пьют с яуреями, значит, у них душа чиста. Ведь они не мигрелы, не омарцы, не гайрузины, — на них нет одежд. У него — задница в крови, а у нее — грудь открыта для всех, значит, они были в борьбе. Иерусалим — Ваш, друзья. Встаньте, яуреи, и омойте их вином. Это вино лечит раны и освежает грудь.

Откуда ни возьмись — инструменты, я не назвал бы — музыкальные, но тишь высей горных весей грустных и отзвуки скал!

— Мы — террористы, — сказал тамада. — Мы получили вызов от братьев Сиона, а нас не пускают. Мы выкрали цистерну, как заложника. Теперь выпустят, — как им быть без цинандали? Всё цинандали Кауказа — в этой цистерне! Нас выпустят, — отдадим! Мы скрываемся не для вина.

— Твоя девушка? — спросил старый, с камня. — Отвечу: не твоя. Она со всеми танцует.

— Пусть танцует!

— Но танцевать со всеми, имея столь открытые груди, твоя

девушка не может. Она не твоя, а мы 1 год 11 месяцев и четыре дня в горах, без женщин. Ответь мне!

— Юля! — сказал я. Она, смеясь, она подошла, оборачиваясь, я был позабыт. Музыка! — яуреи в танце, с жестикуляцией!

— Пойдем в путь! — сказал я.

Юля пошла танцевать. Она выбрала сама.

В Столице, Булловский аэропорт, цинковый гроб с телом Юлия выносят на руках, сослуживцы.

Сойдя по трапу, я попал в объятия Юли.

— Поищем аптеку, — сказала она. — После той ночи с яуреями нужна медицина.

Аптеку мы нашли у вокзала им. св. Витта. Очередь — человек четыреста. Силы воли нам не занимать, да и есть что порассказать друг другу о слепой старухе, столкнувшей так вовремя эсминец и авианосец, о змеях из Брема, о том, что я впервые полюбил звезду (Сириус!), а Юля завтра защищает кандидатскую. Треволнения острова Патмос, им — не утихомириться в сердце у Юли: она взалхлеб рассказывала мне о любимцах-дельфинах!

— Что мы купили? — спросил я.

— Карбофос. Это — средство от клопов.

— А за чем мы стояли в очереди — 6 часов?

— За презервативами для меня. Но их у них нет.

У вокзала им. св. Витта ходят голуби и воробьи. Голуби — как гулливеры среди воробьев-лилипутов. Лилипуты отбирают у голубей крошки, выхватывают из клюва. Гулливеры целуются в губы.

У станции метро им. св. Витта цыганки продают розы из Родезии.

Я купил Юле семь белых роз.

СТОЛЬКО СТАТИСТИКИ И САМ С СОБОЙ

В Столице 1899 проспектов, улиц, переулков и набережных. По 37 маршрутам ходят 765 троллейбусов, по 135 маршрутам — 2465 автобусов. В Столице 5533 такси.

Ежедневно на улицы выходит на линию 1771 трамвайный вагон. Вагоны курсируют по 52 маршрутам протяженностью 557 км. Протяженность подземных трасс Столицы 46,6 км, ими пользуются 250 млн. пассажиров ежедневно.

А я шагаю ногами.

Моя улица! — Зайчика Розы!

Зайчика Розы был зодчий. Улица уникальна, два дома длиной

с дреднот, параллельны. «Два тождественных и симметричных по своей архитектуре административных корпуса. Длина улицы — 220 м, ширина 22 м, высота зданий 22 м. Улица производит впечатление парадного зала под открытым небом. Необычайную торжественность улице придадут поднятые над аркадами цокольного этажа каждого здания 23 пары колонн».

Улица моя! — центр Столицы, между рекой Фанданго, театром им. св. Йушкина и Грустильным рядом. В Грустильном ряду продают принадлежности грусти: утюги для удмуртов, дамские моды из синтетик, башмаки для бушменов, детские коляски для пятитонных младенцев, певчих; но нет сковородок, но лет через пять будут. Верится, будут сковородки в Грустильном ряду, одни одинешеньки, — больше ничего не будет. А сейчас есть еще брюки для брака инстанта и диссидентки. К ним плюс: купи куклу с двумя кулаками и целуй целлулоид.

Мой дом N 2! — Дом Балета, храм хореографии. Был императорский, да и сейчас! В моей мансарде жил Вацлав Нижинский. Танцовщик времен и Имен, Нижинский был геометр. Белый клоун Бога, Зверь-фавн, он изобрел вечное перо.

Математик-венгр, профессор Питчлер хранит его циркуль.

Дом N 1! — управление жандарма железной дороги. Жаль жандарма: смотрит, сметанец, в танцкласс: кружится, кружится тут молодое мясо! Бросает в окна юн-балеринкам записку: у жандарма-народа любовь к искусству, а у искусства нет любви к жандарму-народу. В театр же ходить нет интереса, что им сцена, что им кресла-мебель! Жаждут живьем! — девочки, девочки — дождичек для душ!

Жаль, умер Владимир Набоков. Я рассказал бы ему о трагедии двух бессер-домов. Он-то, фантаст, он-то, изображенец! — Что Гумберт Гумберт — одиночка, философ, дядь-нянька с нимфеткой, как символ своей ритуальной системы.

Но не уайльдна жизнь, дорогой Владимир Оскарович. Не нужно быть в справочнике «Кто есть кто», нужно лишь быть жандармом железной дороги напротив подъезда Музы Терпсихоры, чтобы стать на всю жизнь Гумбертом Гумбертом, хоть и кровинец.

Жаль мне и девок искусства. Выучатся, — сами войдут в объятия жандарма. Рано, нетерпеливец, тянуться к тюрьме; нежнейшим ножкам еще разрешается развиваться, что ж ты хватаешь, Хам, у подъезда — юниц под уздцы?

Но и они:

сядет жандарм за пульт железнодорожных дистанций, спросонья, свиньей, призадумается, что Н. Гоголь снял с него шинель. Достоевский сказал о нем «бедная людя», М. Горький сказал: все в нем, все для него, он и есть самородок, ГОСТ государства,

дай ему танцовщицу в 11 лет — девственницу, может быть! ведь морда — в бронзе бритья!..

Вдруг:

вдребезги стекла!.. Триста юниц по металлическим лестницам штурма бросаются в окна! — как пантеры на пуантах! «Ты нас не насилуй!» — плещут чернильницей, бьют булыжником в лоб, за галстук цепляются, как за канат и... исчезают, как искры!

Я выхожу, я вижу: дом N 1, подъезд, арка. Вот и выносят жандарма, три санитаря держат за жабры и за хвост, — весь как есть окровавленный. Кладут на тротуар: какой бы укол ему, вожделенцу?..

Кому я повем, что поезда не поедут, — тромб для товарообмена Столицы?

Жизнь вам, жизели. Мир только в моргах.

Я не о пьяницах. Пьяница — недочеловек. Он пьет утром, днем, вечером, что ни сутки — всю жизнь. И ест с аппетитом, и трудится, как таранул: мается дурью бумаг или металла. А выпивать чашу в Юбилей (есть и такие извращенцы!) и еще петь при этом песню, — им нужно Звезду на задницу и тут же — на рудник урана за патриотизм! Это — нищие духом, они безгреховны.

Я пишу о той высшей касте алкоголиков, которые ненавидят вкус, цвет, запах алкоголя (любого!) и не пьют — вообще! Это — гении алкоголизма. Ибо: когда за нечеловеческий облик твой средь улиц по-человечески пьяных, разгневанный Бог мечет в тебя молнию (а ты и не знаешь сью секунду, ты, грешник, и не смотрелся в зеркала, чтобы контролировать свой облик), — встань и не брейся, и дрожи, пожирая лимон до 11.00. Не одевайся, тебя начнет крутить по комнате, как св. Витта, или ты всплывешь к потолку и заплываешь с люстрой, как в батискафе, и ты станешь звонить по телефону незнакомкам и рассказывать о себе то, о чем пожалеешь, — ты встань в 11.00 и иди, как встал, пред лицо Божье, — небрит, страшен глазом, с немym ухом, в шубе и босиком.

Иди один.

Иди на Несский проспект. В 11.00 всплывает чудовище Несси, говорящее о себе:

— У меня семь глав о десяти диадемах. Да будет убит всякий веселящийся, кто не встанет на колена пред образом Зверя. Но знай, число его сочтено, оно человеческое, не Божье. Число его: 666.

— Пусть всякий веселится и встает на колена, им бы спастись. Это — безгреховное. Не веселись, не вставай, не бойся, не убьют.

Встань, как встал, идти и пить 666 дней. Пей и не ешь. И познаешь бездну безумья, льва лихорадки, ухо ужаса, и зеленый змий Бумсланг высосет из тебя кровь, мозг, воду. Жалкий, плачущий, кающийся, — взбешенный, нет нужды в тебе, не наш, не встающий ни пред кем на колена, не вымаливающий ни пейки на пиво, ползающий в сутане, в маске по своему зеркалу-полу, Я ГОВОРЮ:

прости меня, шкафик, за то, что в чреве у тебя варятся одежды мои — как народы! перемешиваются их ящики (у одежд!), а мой ум съест моль;

прости меня, книжка, что фразы в тебе — Карамазы, а я изрублю тебя саблей, на кой мне любовь к человеку, если имя ей Грушенька, что ж, что сумел повеситься лишь Смердяков, он ли убийца? Не потому ль, что сын — не с печатью в анкете? А трио — Митя, Алеша, Иван? Кто ж там не отцеубийца? — все, и Ф. М.!

прости меня, подоконничек, за то, что на тебе пыль планет, а плоть у тебя деревянная, плотничья, стоят на теле твоём цветы в горшках из глин. И я ставлю на подоконник два башмака, хорошо бы войти в них ногой и сделать шаг: с пятого этажа в мировое пространство; шага нет;

простите меня, цветочки, что я не обливал вас водой ледяной, как трех борцов, как трех коней в позе 666, я позабылся, но полью;

прости меня, этажерка, что я продал не за правду рукопись рук, лежащую на стеллажах, имеющую формулы и фигуры, — книжникам и фарисеям, по флакону за листок! Что мне свастика медных монет! Что значит «сжиться с мыслью»? Значит, ее сжечь. Я сжег рукопись в пепельнице. Кто меня осудит, если ее теперь нет — ни для кого!

прости меня, пепельница, что, сжигая лист за листком, я тебя оплавил, т. е. что у тебя деформация, ты калека, я новую не куплю, хватит и этой с диетой;

простите меня, стенки, что писал на вас ногтем, киноварью (где у нас тушь — нет), за то, что я плевался в чертежи и отлынивал на завтра, чай из плевал — через жизнь!

прости меня, чайник, я откусил тебе носик, а все смеются: вот сифилитик. Покажи мне твой чайник и я скажу, кто ты. А по сути: на одного кровинца приходится 93 литра воды в сужьи. Я пью флакон, — сколько на мне экономят?

прости, мой столик, это я лизал, ползая, твои ножки, хорошо хоть не вырвал их, не вывернул, а мог бы; от пресмыканья к бунту — лишь миг;

прости меня, холодильник, что я бил тебя ногой без башмака, унижая яйцом, — одним;

прости, креслице, что сидел не я, — девицы с девизом, друзья

за бульк-бутыль, воры веры из инстанции X, — а я валялся на лестнице. Я тебя обобью вельветом из полосок шкур зебр!

прости меня, будильник, за то, что я разбил тебя о дверь: не жужжай, и без тебя всюду жужжомцы, ты жив, как я вижу, — так разбейся о дверь!.. А ты ответил: не дерись, как дурак, ничей не друг! Вставай, будь добр, брейся! А я: брысь! — и разбил. И ты, дверь, прости за то,

что я закрылся на ключ, посвистывая мотив молитв, лицемер, уничтожающий унию между собой и Зверем, я — боролся, как девка без роз!

Простите меня, пуговички, что на мне дергается теперь лишь одна пуговичка — от борьбы, вот и весь мой бой: я отрезал вам, пуговички, головы — бритвой!

Бог, бегущий от нас по шоссе, со свечой, с циркулем, Боже, куда мы бежим? Где нам жить, геноцидам, с грязью греха, с виной втуне?

Так. На 666 день извиняйся, встань как есть и ответь Богу: благодарю. За то, что Ты метнул молнию лишь в меня, я — всех виновней. И Бог возлюбит меня за то, что я вставал на колена перед безгреховными, а они — лишь ложь, семена мяса, да и было это — где-то, когда-то, как-то. Но я не вставал на колена в дни искуса, в ночи ноши, — в 666. Ни перед ними, ни перед Богом, ни перед Зверем. Я победил: я пил один, я пил флакон Красная Москва. У меня иссякли брюалы и пейки, и я стал пить все, но свое: слезы и слизь. Я держался, дрожа, чтоб дойти до 666, и я победил Зверя: я пил 666 дней, я — не ел. Теперь ты не пей до следующей молнии, искупай вину: все поставь на места в доме, умой их, а себя побрей. Омовенье с бритьем утихомят твой нерв. Твой мозг станет светел, кровь ясна, кисть-пясть тверда, как труд. И ты поймешь, что до следующей молнии ты — творец божественных формул и фигур.

Ангел на Пропадловском шпиле:

— Кто поклонится Столице-Блуднице и образу Зверя, тот будет пить вино ярости Божьей, целеное вино, замешанное в чаше гнева Его! Так — безгреховным.

Брось, письмоносец, свой перстень, посланец поблажек! Где целеное вино, где чаша гнева? Есть бормотуха и действие — здесь: как ласка конвульсий!

Бормотуха делается по спец-заказу в НИИ для истребления уже не исцеленных — мной. Химический состав: сок гнилого картофеля, кожица фикций-фруктов, плюмбум, циан, две-три капли этилового спирта и танк табака. Все это тщательно перемешать на Винном заводе и закупорить в бутылку 0,75 л. На бутылку наклейку «Портвайн». Закусывается: уксус с горчицей, закусывается: лучший рецепт — омлет из кастальского клея.

Первый стакан... И кровинец забормотал как брамин, или же как иностранец, уже убывает (т. е. умер, увы!) в иные страны, откуда нет возврата. Нет возврата.

Забормотай на заре, бегай, Иван, до заката по цехам, по канцеляриям, по лестницам конструкторских каст, помогай карьере лопатой в подземелье метро, капай с носа у тебя капля электросварки, сваливайся, как монтажник-высотник с верхушки крупнопанельного дома и падай наземь, забормотушенный — на пенсионера с медалью, танцуйте втроем, как терцина: Иван да Марья и пенсионер, бляя как в кузове козы; или как В. Нижинский в безусильном паренье, — молчите!

А временно загубленные жизнью жены бейте мужей булавой, требуйте развод. Разведутся, опять заживут жизнью женщин: будут бодаться у Саркофага: с кем бы по-ул-ыбаться? Повод развода: у нас нет туалетной бумаги, а завиваться наждачной — гигиенично, кто спорит, но так трудно! Истинная причина: у нас нет презервативов.

Женщинам — храбрость, писали даже в спец-аптеку: где презервативы?

Я знаю, где: Зубикомлязгик мне приносит. Я напускаю в них гелий, они распускаются, точь в точь воздушные шары, я перевязываю им крайнюю плоть нитью, раскрашиваю шары петушками, лягушками, мордочкой космонавта, и выпускаю их в форточку, — для детей ул. Зайчика Розы к Юбилею! — пусть им праздник!

И играют очень просто дети маменького роста!

А маменьки писем? Не агентства ль вы по искорененью рода кровинцев? Если все оснастятся презервативом, то в Столице прекратится деторождение, его и так-то нет, а сойдет на нет. Столице нужны дети. Производство бормотухи повышается в геометрической прогрессии. Если не будет детей, кому же пить через пятью пять лет? Не волнуйтесь, презервативы будут в ближайшем столетье, правда, со спец-печатью врача, но — наденем!

Не было карбофоса. Вы писали смелые письма. Вот вам: карбофос есть, он приобрел несусветную популярность среди клопов и самоубийц. Клоп жил в антисанитарных условиях: что в комнатах, — знаем, там курят, а дети плескают в воздух слюну. Теперь эти запахи убиты карбофосом, — клоп, ликуй!

Самоубийца: чем он себя не убивал! Сколько изобретательности, хитрости, ума требуется для этого дела! Теперь: хватанул стакан карбофоса и никакой тебе «Скорой помощи» или еще утомительнее «Неотложной», — нервный паралич и легкий, безболезненный путь в незнаемое. Но все новое порождает проблемы: как хоронить? На всю Столицу один крематорий. Туда

самоубийц нельзя. Там: чтец-декламатор, который говорит гражданскую панихиду, вот что он говорит:

— Умер Гражданин Великой Столицы Пупеза А. Б.! — и объясняет вкратце, во имя чего же умер Гражданин в Столице бессмертных. Оказывается, во имя того, что у него был самоотверженный труд и была у него болезнь кой-какая (болезни в Столице уже уменьшаются в процентах, но их никак не уменьшить — в телах!).

Как объяснит чтец-декламатор смерть Пупезы А. Б., умершего от карбофоса?

От карбофоса? Он есть, карбофос, но дефицит! От дефицита? Но все — дефицит! Как умер Гражданин, где справка? Да и кто умирает от справки? — Абсурд. Вот если бы он умер от инфаркта, — значит, о нем позаботилась «Скорая помощь»... От карбофоса же... вот и выпускай, с мертвецами не расплеваться...

«23 ноября 1707 г. на фасадах домов четырех улиц, берущих начало вблизи Пропадловской крепости, были повешены фонари, — первые, Ментором, по примеру Европы, в количестве 4.

В 1723 г. на некоторых улицах Столицы и главным образом на Большой перспективной дороге установили 596 фонарей. А для обслуживания светильников была создана команда из 64 человек. Это — масляные фонари. «Далее, ради Бога, далее от фонаря! — писал Н. В. Гоголь. — И скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастье еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольский сюртук ваш вонючим своим маслом».

В 1770 году на улицах Столицы уже 1257 фонарей.

В 1788 — 2745, в 1794 — 3440, в 1858 — 8494.

В 1821 г. появились газовые фонари. В 1863 г. — керосиновые светильники. Наряду с газовыми и керосиновыми появились фонари, в которых жгли спирто-скипидарную смесь.

В 1873 г. зажегся первый электрический фонарь. Зажегся и погас. Академия Наук Столицы не дала премию изобретателю, не пожелала налаживать массовое производство электрических ламп накаливания, которые зажигались и в ту же секунду гасли.

Зато в 1914 г. на улицах Столицы вспыхнули сразу же 13 950 фонарей. В том числе: керосиновых 2505, газовых 8425 и электрических 3020.

С 1918 по 1922 гг. в Столице не было ни одного фонаря.

В 1922 г. уже горело 2563 электрических уличных фонаря.

В 1941 г. фонарей уже было 30 500.

К началу 1960 г. количество светильников достигло 52 550.

В настоящее время в Столице зажигается по вечерам уже более 500 000 электрических фонарей.

Если в прошлом уходило 88 минут, чтобы зажечь 64 фонаря и весь экс-терьер города портила фигура фонарщика, перебегающего по улицам с лестницей за плечами от фонаря к фонарю, то в настоящее время фигуры фонарщика вообще нет, 500 000 фонарей зажигается за одну минуту с помощью лишь нескольких кнопок на пульте.

С каждым годом становится все больше фонарей и все ярче горят их огни. Необычайно торжественной и нарядной выглядит Столица в праздничные дни Юбилея, когда фонари забинтовывают в красный медицинский бант и на улицах ничего не рассмотреть, есть люди, которые из-за генезиса не любят любоваться красным бантом.

А приходилось ли вам когда-либо стоять на северном склоне Булловского холма и смотреть на вечерний город? Захватывающее зрелище! Вы видите десятки тысяч мерцающих огней, сливающихся в сплошное гигантское зарево.

Нельзя отрицать, у нас в магазинах лампочек нет. А в Антиквариате продаются керосиновые лампы всех веков и объясняется покупателю, что это — произведение искусства. Стоимость невысока: от 5 до 120 зарплат среднего кровинца, но с антикварной лампой вашу комнату посетит вкус.

Если же вы хотите поближе рассмотреть друг друга — выйдите на Несский проспект, подойдите к первому фонарю и зажгите спичку. И так стойте лицом к лицу, пока не насмотритесь, или пока вас не покалечит молодежь в возрасте от 14 до 41 года.

257 день догорал на моих мерзлых губах, голубых. Солнце не светило ни мне, ни кому, ни в мою форточку. Я включил люстру и сел на пол — явности моей частное зеркало. Я посмотрел: кудри превращаются в волосяные, чернобелая пена, серебро с патиной, как у пуделя, ниже плеч; истощаются, истончаются ключицы; лицо пестрит, клякса на кляксе — капилляры. Не хорошее, детективное выражение лицу придают глаза — огромные до невероятья плавают, два желтка в голубизне; а нос — конфуз, травма тому, кто подвернется, если я зашевелю носом.

Жу-уть. Я расплакался. Я взял флакон и попытался выпить под люстрой, слезы шли, а голова не откидывается, в пляске пальцы, крышку не отвинтить. Горе! — не выпить, нет глотка. Я запел:

— ЧЕРРРНЫЙ ВООРРОН ЧТО Ж ТЫ ВВЬЕШЬСЯ НАД
МОЕЮ ГАЛАВОООООЙ

ТЫ ДАБЫЫЧИ НЕ ДАБЬЙООШЬСЯ ЧЕРНЫЙ ВОРОН Я НЕ ТВОЙ

Я сидел в кресле, вдруг перед лицом у меня — Рука! Мои заняты, в правой флакон, левая дирижирует песню, чья же у лица? — большая, без шума, вот-вот приласкается...

В форточке: уже луна, снежно-зеленая, в путанице прожилок цвета молний, в окне семь труб на крыше, в профиль, потому что ночь.

Но о чем я? Охватывая зрением пространство, прослеживая путь Руки от лица вверх, я спрашиваю: кто закинул семя на луну, где взял семя Руки? Семя проросло с минуту назад, вышел обыкновенный, м. б., стебель с лепестками, как у магнолий, протянулся в мою форточку и расцвел Рукой, вот и у лица такой распутившийся бутон — Кисть Руки!

Форточка не закрывается, курю я. Придется подумать о фильтре из колючей проволоки, в эту ночь — Рука, а в последующую?

Я всмотрелся: человеческая, но увеличенная космосом и рефракцией раз в 10. Виденья космоса — своеобразные линзы.

Виденье не из приятных: Боже, какая большая, вены соответствуют, я вижу сквозь вены кровь, пульсирует, лейкоциты и эритроциты крутятся актуально. Волосы — конские на Руке, считай, что ли, но какой счет — миллион их, шумит камыш! Ногти у Руки граненые, знак аристократизма. Шкура на Руке мне никак не нравится, пять пальцев, а на мизинце перстень с глазом зеленого змия Бумсланга, ничего нового, об этом уже писал Джонатан Свифт про Гуддивера у великанов, я не натуралист.

Я вырвал один волос, воткнул в горшок, в землю, к цветам на этажерке. Волос завился, как хмель, опутал всю этажерку, распустился сразу. Что распустилось на конце спирали, овивающей этажерку? — тот же перстень с тем же глазиком Бумсланг, — я повторяюсь, не новость, я и прежде утверждал, что кошмары космоса — банальность, штамп.

Я отстраняю Руку, и она отстраняется к переплету рам, но в форточку не вышла, а выгонять полотенцем лень. Я и не смотрю на нее, насмотрелся.

Я погрузился в нирвану: что же есть я?

К человеческой касте существ я не имею чести себя причислить. Я не человек, а кто я — не знаю. Знаю: я не хочу писать формулы и фигуры, фиговые листики существования, я не умею жевать железо, ловить рыбу сом весом в 126 кг с моста реки Фанданго, не хочу нюхать ню. Но ню ложатся невымытые, от них запах, — в канализационный люк и завинтить крышку! Не хочу быть музыкой мозга!

В детстве я хотел быть Ромулом и Ремом, чтобы сосать сосцы у волчицы, основать империю Рим, вести когорты крови на Карфаген, — о сеть Сципиона, хитрость побед, а герой-то все ж Ганнибал! Мои думы детства — от недоедания.

В отрочестве я хотел пасть Цезарем, чтобы восстать Генрихом

IV, пасть Генрихом IV, чтобы восстать Иоанном IV, Кровинцем, пасть Иоанном, чтобы восстать Лжедмитрием I и т. д. и т. п. Почему же такая жертвенность у отрока? Потому что: у них имена, а я безымянец, у них Клеопатра, Маргарита Наваррская и Марина Мнишек, а у меня — лишь ночной огонь поллюций.

А в юности я прочитал про них: Великий Цезарь был смнен Клеопатрой на пьяницу Антония, Генрих IV был женат на бляти-романистке, а Марина Мнишек обвенчалась во второй раз с Лжедмитрием II, который был, как пишут, «то ли армянин; то ли цыган, то ли яурей», а был он проще — из простокваш и трус.

В зрелости, зная звон славы и наитья ню, я хотел что-то делать своей рукой, хоть нить овечью спрясть! Жил я как ложь: наук? Но я — неук, они роились как ребус в моем мозжечке. Вывод:

благодарю луну за протянутую Руку!

Я встал, осушил слезы, шагнул к форточке — Руку пожать! Ее не было. Пустота повсюду и луны нет.

Лишь чей-то голос, как диктор, буква в букву, говорит вверху, в водопроводной трубе:

— НАДО УБИТЬ! НАДО УБИТЬ!

— НАДО ЛЮБИТЬ! — отвечает тихий, настойчивый голос в шкафу.

— НАДО УБИТЬ! — не сдается голос в водопроводной трубе.

Что мне их спор. Я не участник дискуссий. Я пою о вороне:

— ЧТО Ж ТЫ КОГТИ РАССПУСКАЕШЬ НАД МАЕЭЮ ГАЛЛАВОООООЙ

ТЫ ДОБЫЫЧИ НЕ СПАЙМААЙЕШЬ ЧЕРНЫЙ ВОРОН Я НЕ ТВОЙ

Здесь — звонок!

Начальник жандармов квартала майор Милюта Скорлупко. На плече эполет, в руке револьвер. Это не Рука друга из космоса, это фигура дактилоскопического математизма:

— Извините, Иван Павлович, но мы к Вам.

Они — к нам. Ведь я под охраной государства, как ценный экспонат современного мышления, как все делатели Наук. По первому плачу любого из нас является майор Милюта Скорлупко, — обязательства, по Кодексу.

— Извините, Иван Павлович, что мы не явились тотчас, по первому сигналу слез, а лишь по второму, — сигнализация барахлит, у нас нет запсигнала. Но у нас есть шприц с инъекцией, есть бронированная машина у подъезда, под аркой, Вас отвезут,

если понадобится. Простите за вопрос: Вам худо с физиологией в организме или Вы не в себе, т. ск. невменяем?

— Не худо, я в себе, я вменяем, — оправился я. — Я расплакался над губительностью алкоголя. Особенно: когда алкоголь бездействует.

Я взял со стеллажа флакон и дал майору.

— Красная Москва! — облизнулся начальник.

Как мил Милюта, как открыт и полнокровный у него глаз, без всяких ухищрений говорящий о том, что бормотуха в его крови.

— Вот Вам вопрос, Басманов, — Милюта расселся с флаконом, в кресле, где сидел я, а крышку от флакона я никак еще не отвинтил. — Историю кровинцев знает любой раб-рыбарь или тот, кто жует железо. Я к чему: в инстанциях есть мнение о Вас, что Вы — из бояр Басмановых, не попросту же Вы под охраной государства... Да и лицо Ваше, и жест Ваш... что-то в них есть железное, от истории тех. А не хотите ли Вы воскресить Боярскую Думу, чтобы стать жертвой заговора диссидентов? Скажите мне, у меня связи в Тайной канцелярии, я позабочусь, чтобы Вам дали чин подполковника!

Он сидел, я стоял у форточки, крышка не отвинчивается.

Я сказал:

— Железность лица у меня — вне сомнений, а с жестом похуже. Ты что же, вопроситель, пьешь второй флакон, распространяешься про историю, а я обессилел от слез и не пью, не отвинтить!

Жандарм отвинтил, не вставая, в руках у меня. Он взял стакан.

— Поплюйте, пожалуйста! — попросил.

— В морду, что ли? — сказал я с готовностью.

— Поплюйте в стакан, а я вытру носовым платком. Если я поплюю, мне-то плевать, а Вы можете и обидеться. А такой, как Вы, пьет ведь из чистого стакана.

— Встать, — сказал я.

Он встал.

— Головной убор — снять.

Он снял.

— Кто-нибудь умер? — обеспокоился.

Я сказал:

— Стоять по стойке «Смирно»! Равнение на середину!

Он устался мне в грудь, в сердце.

— Майор Милюта Скорлупко! — сказал я.

— Я! — признался он.

Я ответил:

— Снимай шляпу, шакал, пред тобой — Гений!

О ТЕХ, КТО ЖУЕТ ЖЕЛЕЗО

Кровинцы знают свою историю.

«Там, где берег реки Вены сравнительно крутой террасой спускается к заливу, была обнаружена стоянка доисторического человека. Среди найденных предметов — хорошо отшлифованные каменные орудия, в том числе наконечники для стрел, предметы быта — скребки, резцы и др. Найденная стоянка первобытного человека — свидетельство того, что здесь, на берегах реки Вены и у взморья существовали поселения людей свыше трех тысяч лет назад».

Есть чем гордиться.

Три тысячи лет существуют Китай, Египет, Индия. Но и у нас не кой-кто: хорошо отшлифованные каменные орудия, в том числе наконечники для стрел, скребки и резцы и др.

«В гавани, во время земляных работ был вырыт котелок с монетами, отчеканенными около 780 г. Одна из этих монет была выбита во времена третьего халифа Аббасидов, Мегди. У истока Вены был обнаружен сосуд, наполненный арабскими золотыми монетами. Эти клады повествуют о далекой истории привенских земель. Они настоятельно напоминают, что и в давние времена здесь жили люди».

Вот: не воровали, как и не воруют.

Наш род и по истории чист. Жили здесь люди, кровинцы, такие честные, что халиф Мегди без опасений поплыл к нам за тридевять земель, чтоб спрятать в нашу землю котелок с монетами, ему понравилось, и спрятал сосуд золота. Из поколения в поколение эти клады охранялись потомственной стражей, и лишь во времена Столицы, когда мы узнали у юриста, что халиф умер 1200 лет назад, клады вынули из шкатулок и передали с распиской в сокровищницу ЮАР.

По утрам кровинцы любят красить морды в синий и зеленый цвет, после бритья у них морды пухнут. Не с похмелья, после бритья.

В столовой Завода на обед им жарят жаб, это тем, кто жует железо.

И мы не питаемся, чем придется, есть справочник о вкусной и здоровой пище. Чего в нем нет — все съедим до седины!

Есть рецепт: наручные часы «Ракета» о 21 камне, маринованные. Описывается, как скрестить часовую, минутную и секундную стрелки, как они укладываются в консервную банку на лист смородины, какая неожиданность вкуса у хлорвинилового ремешка, если его пеленуют в укроп и вялят на углях у Булловского холма, как разобрать по винтику часовой механизм, чтобы винтик

имел свой аромат, как украшается 21 рубином блюдо «Ракета» на блюде.

Об одежде кровинцев. Это инстанты и диссиденты ходят в штанах с лампасами, купленными из-за пазухи из радиостанции «Логос Хамерики». Остальные ходят в хитоне из шкур шакала, женщины любят сандалии из самоцветных булыжников. Женское нижнее белье ткут химические химеры, чтобы тела не увядали, а сохраняли сок и при ночном освещенье, насыщенном у всех народов и рас тьмой и атавизмом, а у кровинцев — пожалуйста! — женское тело в сорочке из синтетик исходит элегантной электрической искрой, свежей молнией! Дом Мод регулирует любую одежду, — хоть вам из натрия о аш, хоть из кальция эс о три, — да чего уж! — из любого элемента таблицы Менделеева.

О любви кровинцев. Любят труд, сам по себе (у нас нет трат). Труд у кровинцев в крови, как у коров — гигиенический порошок ДДТ. В особенности любят труд те, кто жует железо. Без труда им жизнь не в жизнь. Проснутся, ополоснут гортань без греха — у Несси, идут с толпой и с тобой кто куда: на Завод завета, на Фабрику фермента. (ФРРР, Ментор!)

Те, кто жует железо, — привкус признанья, мозг миазита.

Уже в Столице разводятся волки и дикие кабаны. Некому, в общем-то, в проклятых бить младенцев о камни, — эти сожрут. Потом и их уничтожат, артиллерии хватит.

Что нам делать с кумирами древних дубров — с комарами? Вырублены дубровы. Комары ютятся в квартирах. Кусаются, как псы.

В наших беседах беснуются блохи. Тараканы (тик-так, тараканчик!) сжирают весь завтрак — прожаренных жаб, завернутых в бумагу, промасленную для сохранения — мазутом!

По клавишам улиц танцуют инстанты и диссиденты, борются, как в иллюзионе, суфлируют роли, ремарки. Борются, красного мяса нажравшись, они за права примата. Дух же Святой и не веял, им, красномясам.

Град-самозванец, Блудница! Скалитесь Медный Скакун.

Менторы вживе, где вы? Висят на портретах с гримасами аммианов какие-то маски из мяса с прорезями для глаз. Тот, с туловом, людодубийца из меди на симфоническом кино-Коне, и крадется Змий к ботфорту, и не раз еще взовьется Змий-искуситель и кольцами он обовьет сталь-Столицу, и будут бинты окровавленных фонарей и фигурки в руках револьверов, бьющих фальцетом!

Эх-тронь-ка, псица-Столица! И кто тебя выдурил? Звать — не дозваться народа-урода, мгла только родится во мгле, черт нам любит чертить, а с ромбом-гладнем разминулась на полвека, да и ступай свистать войско, — бокал займби тебя отчий!

Во сне виделся какой-то большой круг синего цвета с пятью радиусами, из которых на каждом по пяти же ростков или травяных стебельков; еще дочери А. Н. Оленина и какая-то лежавшая и встававшая девица.

Во сне виделся граф С. С. Уваров и А. А. Перовский, министры, цензурные дела... Город Ревель и в нем небольшое возвышенье, с которого я спускался в воду и искал башмаков или обуви, чтобы перейти по воде на другую сторону; мне дал какой-то мужик с наростом на носу башмаки деревянные, большие, с соломой, и за них требовал 2 пейки (серебром).

Во сне виделось, что я, на Каменном острове, в мундире и ленте, потом собираюсь в Новую или Старую деревню на похороны, снимаю мундир и ленту, надеваю черный фрак и, не зная, где взять круглую шляпу, просыпаюсь.

Во сне виделся Дворец Расстрелов, в котором я надел на себя одежду с орлами ливрейными, ожидая фельдмаршала кн. И. Ф. Варшавского, бывшего внизу у своей супруги. Еще видел верхний этаж дома графа Строганова, деревянный, круглый. Еще какие-то слова духовного содержания, писанные мною на стене.

Во сне виделась большая зала, в которую пришла царица Екатерина с великим князем Павлом I, спрашивала у меня, где ей сесть, а заняла место по своему выбору; говорила со мной милостиво и, заметив в моих словах о надобности учения польскому языку для лучшего знания французского, — неправильную речь, переговорила мои слова при великом князе, которого я не узнавал по имени, а видел в сером сюртуке, — замечательный сон по совершенной случайности.

Во сне виделось: чей-то гроб с телом, уже попортившимся и закрытым; еще какой-то огород; еще виделось пред алтарем три животных, обреченных на жертву, и покойный князь А. Н. Голицын, критикующий какое-то рукописное сочинение.

Во сне виделось: церковь, дом митрополита Антония, его спальня и сам Антоний, желающий дослужить некоторое время до отставки; еще моя шляпа, которая была очень тяжела, хотя пели тропарь Крещения; еще просфоры на лестнице, засыпанные снегом; чужой дом, в котором я искал места для известной надобности, указанный мне каким-то лакеем; и еще болезнь на теле дочери покойной М. П. Капгер, которая представилась овдовевшею и сваталась за меня со странным лицом; сенатор П. С. Горголи, министр государственного имущества Киселев и бумаги в свертках; черный надгробный камень над могилой брата моего; еще дьякон, которого я приглашал к обеду; какая-то пьеса на английском языке, которая запрещалась по представлению цензора Роде.

Еще привиделось, что я обратил вниманье на сочинение глагола «нападать» с винительным падежом *на дом* и *на человека*, и что по Вене и по льду у дворца ехал в зимнем экипаже император Александр I, стоя и оборачиваясь к протоиерею Г. П. Павловскому; еще кое-что и А. Е. Измайлов, говорящий со мной о создании Адама и Евы, — странный сон; князь Варшавский с генералитетом; еще В. И. Панаев, просящий у меня прощения и исповеди, и я поклонился в ноги; В. И. Панаев, его племянник И. И. Панаев, Г. И. Спасский, которого я принял к себе ночевать; еще часы; еще дощатая дорога, на которой меня остановили от падения вниз женщины; государь, говоривший о лекарствах и удостоивший меня киванием головы на мой низкий поклон; еще хождение мое по доскам строящегося здания в верхнем этаже, с которых я чуть не упал; сундук, в который я клал какие-то дорожные деньги и вещи; графиня Клейнмихель, приведшая меня за руку к обеденному столу, и еще слово «бедность», сказанное мною по какому-то случаю; император Павел I, приказывающий мне не являться в высочайшем присутствии его; еще выпадающий из верхней правой десны зуб мой; еще граф Уваров, ласковый ко мне, порядочные и хорошо одетые люди, ходившие в баню; еще видел идущего по Обуквенному проспекту жандарма хорошо одетого; какая-то женщина, которую по желанию бросали вверх и которая, сделав круг, возвращалась на дно какого-то сосуда невредимой; еще иглы, в которые мне доставалось вдевать проволочную нитку; покойный И. А. Крылов, которого я потчевал в своей столовой у комода нижней сладкой корочкой белого хлеба; молебен в какой-то молельне в чужой праздник, который я слушал, лежа в постели и после которого я поцеловал с усердием евангелие, потом чтение из Златоуста о тленности богатства; нечаянная встреча с лишившимся престола французским королем, которого я хотел угостить в трактире за свой счет и представил ему моего батюшку, а он сказал: да батюшка-то — мертвец! еще преосвященный Иннокентий, архиепископ Херсонский в рясе, с распущенными волосами; далее какие-то портреты царей и других особ; видел Швецию; виделась еще слепая старуха, ищущая свободы и проч.; какого-то квакера, которому я заплатил за что-то больше денег, нежели следовало; что я в какой-то церкви на хорах, с которых мне хотелось посмотреть на присутствии высочайших особ, и что я слышу проповедь какой-то проповедницы, ошибавшейся в правильном употреблении грамматики; какой-то ребенок, просивший конфет со слезами; какие-то молодые люди, говорившие о наградах орденами; покойный министр народного просвещения князь К. И. Ливен, заметивший мне, что я чему-то некстати улыбаюсь; что-то забытое, Вольтер, Семилетняя война и имя Суздалец.

РИМАН:

ПРОЕКТИВНАЯ ПЛОСКОСТЬ НА КОТОРУЮ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИЗ СЕБЯ БЕСКОНЕЧНО УДАЛЕННУЮ ПЛОСКОСТЬ ЭВКЛИДА ДОПОЛНЕННОГО БЕСКОНЕЧНО УДАЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ А ТАКЖЕ ЭЛЕМЕНТАМИ ПО СВОЕЙ СУТИ МНИМЫМИ

ИНСТАНТЫ — СТРУИТЕЛИ НАДЕЖД

Утром я одел девицу и выпил яйцо.

Это не искусство стилистики. Я пишу «вечером», «утром» — нет у меня дня, вечером я пьян, а утром потеря памяти: куда я шагал шагами, до какой степени дошагался?

Утром:

телефон звонил с бешенством, что ж удивляться: по утрам у нас бешенство, телефон тоже ведь — МЫ.

Гибельная голова, я взял трубку.

— Иван Павлович, у Вас вышла книга. Я люблю геометрию. Я в ней души не чаю. Я люблю ее так, как может любить женщина в жемчугах. Ваших книг у нас нет, они дефицит, а в них есть эстетика! Пожалуйста, привезите мне Вашу книгу сейчас же, с автографом. Я горю желаньем увидеть Вас и Вашу книгу через 15 минут! Бронированная машина — у Вашего подъезда, под аркой. С уважением, — Титана Себастьяновна Муздальцева!

Балерина с псевдонимом, я знаю по афишам. И ей требуется геометрия, не только же моим ню. Текст продиктовала, как телеграмму — в телефонную трубку!

В Столице что-то стряслось: все занимаются геометрией. Выдь на Несский, чей стон? Это стонут геометры, негде им чертить, у нас нет издательств. И рисуют формулы и фигуры на тротуарах, на стенах дворцов и хижин, в одеколонных, бормотушных, на стволах Летейского сада, Мигайловского сада, на трамвайных линиях Обуквенного и Лыковского проспектов, на плитах-гранитах Морсова поля, на льду канала им. св. Гробоетова, — весь град зарисовывается формулами и фигурами.

Я ушел от Майи, я перебрался в Дом Балета, в мансарду. Моя территория, моя окружность: театры, музеи, залы, — все стали ходить: пить им негде. Я не гостеприимец, я вывесил у арки плакат: «Не геометр да не войдет». Самоубийца, через два дня я вошел:

на лестнице! — в пять этажей, на семидесяти трех ступеньках! — стоят геометры. Их — сотни, тысячи с рулонами ватмана,

с папкой рукописей, в правой руке циркуль, в левой метр. Во дворе — запруда: геометры! Они же по ул. Зайчика Розы, — не пройти. Балеринки с вывернутыми ступнями, в пелеринках, ветреные дети, упражняются: «Танец с саблями». Они — прорубают сверкающими саблями свой путь в толпе. К входу в хореографическое училище. Путь к искусству тяжел и прорубается саблями, — учти, Учитель!

Теперь — танцовщица!

Бронированная машина, эмблема «Дворец Верховных Инстантов». Кто-то из них обольстил Титану. Или оба — как бы! — обольстались. Так иль не так, она во Дворце, где струятся все наши надежды, где планируется с плюсом общество обещаний.

Куда Корбюзье! Дворец — ультра-модерн! Стоит на берегу реки Вены с видом на волны, кто же догадается, что в нем кто-то жив? Стоит гигантский запаянный куб 1.000 на 1.000 на 1000 м куб.!

Куб из легированной стали, ни щелочки в нем для иголки, такая макси-избушка Века, ни куриных ножек, ни окон, ни дверей. Ходи вокруг, как ненормальный, бейся лбом, если не терпится, облизывай золотым языком, если приглянется, — Куб не отвечает, стоит! сверкает, анодированный! Да и кто пойдет? — пожизненная гробница для Верховных Инстантов, балъзамировались в Кубе, чтоб уцелеть хоть при жизни.

Шофер с харей из хризолита.

— Что ж, — подумал я, рассматривая пуленепроницаемые латы шофера. — На нем и шлем с забралом. Шоферу-то зачем забрало? Да и не шофер он, машина самоуправляется из Дворца, шофер же с оптическим автоматом — из Тайной канцелярии. — Посмотрим, — решил я, — как-никак, а еще три-четыре страницы для рукописи, не описывать же до рвоты себя. Нужно же написать и про мир во всем мире.

Машина летела со скоростью света и уступают ей дорогу другие народы и государства. У Дворца из радиатора вышли бивни, вонзились в сталь и мы ворвались вовнутрь Куба, вошли в многометровую броню толщины и вот! — во двор. Произошло это в секунду. Если бы враг фиксировал нас, он бы обманулся: на пленке прочертится световой пунктир, но не мы. Да и кинопленок у нас нет. К слову: и фотопленок нет.

У дверцы двое в скафандрах. Открывают.

Сколько мифов есть и нафантазируются об этом Дворце! Но око мое — светильник тела, два ока — два светильника. Вот вам два моих глаза: я пишу!

Двор пуст, чист. Ни барокко, ни рококо. Двор! — простран-

ство, выметенное метлой из прутьев ивы, асфальт. Дворец в Кубе! — какой же Дворец, никакого дворца. Во дворе дом. Из кирпича, дом как дом.

Знайте, за стенами бронированного, анодированного, устрашающего весь мир Куба — кирпичный дом, для людей. Ничего нет в нем потустороннего и нет архитектурных излишеств, а есть в нем люди, кровинцы. Как все мы и даже лучше.

Люди, кровинцы, еще не старые, от 70 до 140 лет бегают вокруг дома в синих тренировочных костюмах из трикотажа, они еще не утратили утра, хороший признак. Многих я узнал по портретам в лицо, но художники, рисовавшие портреты — или же хитрые халтурщики, или же сволочь со свечой и вином, натравленная диссидентами. На портретах у Верховных Инстантов лица тупые, типизированные, красномясые. Какая несусветная ложь распространяется по Юбилеям под маской портретов! Я двумя глазами смотрел на бегающих вокруг дома людей, кровинцев: оживленные, оригинальные, одухотворенные лица, у каждого в руке чаша чести, а в чаше соус совести. Ни одного пьяного! Ни одного небритого!

У диссидентов нет чести, нет совести. Это я знал. Они борются за права примата, сами не видя, что творят. И я не мог видеть, пока не увидел двумя глазами, какую клевету распространяют эти типы про моральный облик Верховных Инстантов, маскируя зависть и злобу в форму анекдотов и псевдокровинских частушек. Чепуха! — у всех здесь человеческий облик.

Они даже солнца-то не видят вовсе: над домом крутится пять искусственных солнц. А скрываются в Кубе от нескромных взглядов: далеко зашла зависть и злоба диссидентов, купающихся для закалки в проруби у Пропадовской крепости. Скромность и правдивость, чашу чести и соус совести — вот что ненавидят эти бесцеремонные, лживые, алкоголизированные субъекты. Но я не о них. Пусть их постыятся.

Двое в скафандрах у дверей: открыли мне, закрыли за мной. Хорошая у них манера держаться — в скафандрах! Открывать и закрывать за мной дверь, — даже в Академии другой принцип, худший: открывай и закрывай своей рукой. Как будто у Академии нет брьюалей, чтобы дать их двум в скафандрах: пусть открывают и закрывают за мной дверь, — пустяк, но приятно.

Двое в костюмах, сшитых из тканей, подошли в вестибюле. Я залюбовался: вестибюль, как в больнице! Нет лампочки в потолке, нет табуреток, нет пальм в кадучке, нет электрических часов. Пусто: пол из мраморной крошки, отшлифован и опустошен.

Двое взяли документы. Взяли чистыми руками. Как же не поинтересоваться, не полюбопытствовать! Не вздрогнув от моих

званий, героизма и гениальности, двое проводили меня к лифту. Встали с двух сторон и проводили меня до этажа. Как мальчишки с голубыми глазенками, — катаются с этажа на этаж, весь день. Я сказал, что и сам доеду, не приучен к знакам почтения, — нет, им хотелось покататься.

У выхода из лифта ждала Титана Себастьяновна Йузальцева. На ней пеньюар из горносталя. В этом доме даже странно видеть драгоценный мех... Женщины...

У двери Титаны двое в белых рубашках с ножами «штеемесер»: нажмешь кнопочку — выпрыгнет ножичек, нажмешь — спрячется. Мне бы такой, ходить за грибом в лес! Шатаешься по лесу в цилиндре, с манишкой, в одной руке трость, в другой кухонный нож, заржавленный, для рубки хлеба и костей, — как бандит из кинофильма о не нашей столице. А так бы: нажал кнопочку, лезвие выпрыгнуло, отрезал грибочек у ножки, нажал еще — спряталось жало кинжала, а в руке у тебя безделушка из перламутра. Захочется, встречный, думай, что это рукоять опаснейшего ружья, а я отвечаю: это я для себя хожу в лес с тростью и безделушкой, я, видите ли, перлюстрирую перламутр!.. Хорошо, что еще никто не видел меня в лесу с ножом из буфета, а увидят — что отвечу?

Она суетилась, как сука.

С низким задом, как у кровинцев, с обрюзгшей физиономьей, с нержавеющей волосами, а на вид — феерическая фея, столько набросала на себя веревок с жемчугами, столько припаяла брошей с бриллиантом, сапфиром, изумрудом, — какие еще есть камни, которыми не побивают святых и пророков, а надевают на тела себялюбивые бардачницы всех континентов, если им сильно за 50?

Кухня — зал персональный, кухарка отпущена на 3 часа, чтоб мадонне общаться со мной — персонажем, на кухне — гобелены, маски, вазы; веера, живопись, фрески, — весь Земной Шар всех времен всех народов ограблена эта старуха для кухни, для пьянки; с похмелья тряслись глазницы!

— Вам бы поесть! — сказала она вприпрыжку по ковру. — Это стол, где Вы будете есть — Николая, знаете, может быть, того, из Москвы, который застрелил Пушкина!

— Меня заграница не интересуется, — сказал я. — Визу в Москву не взять. Да и не хочу, я — кровинец!

— И меня заграница не интересуется. Взять визу и глазеть на статут страны. Да они перестают развиваться! Инфляцья, безработица, насилье! Поедешь, как в кино, привезешь тряпку да трясись на таможне. Но Москва! Там есть что есть! Поезжайте в Москву, я дохлопочу про визу, у них хлебом не корми, — всюду мясо, масло и молоко, и все разрешают увозить — бесплатно! Богатство — в бочках! Вон у нас огурцы, помидоры,

капуста — все с кислинкой, — все из Москвы! Хотите сосиску? Одну дам, а больше не могу, нам носят из спец-валют. Московская сосиска — это не суп из хвоста кенгуру!

В кастрюле крутится сосиска! Я загоревал. В юности мне давали визу в Москву. Вспоминается, — волшебный Восток! Все равны друг другу, все друг друга строят. Хлебосолье и халва. Свиинина и сельдь! Нет инстантов, нет диссидентов. Купайся в луже — никто слова не скажет, хоть и свобода слова, и все говорят без передышки! Свобода свадьб! У нас, правда, еще лучше: у нас ПРАВДА! Чего у нас только нет! — ничего нет. Взять бы эту сосиску, сожрать ее сок! Но я не ем.

— Если не хотите, чтобы я выбросил кастрюлю, выбросите сами. Я не ем.

— Странные нравы теперь: никто не ест. Мы им даем целые гастрономы еды, консервный Завод работает, как концерт: хлеб из опилок ливанского кедра, еловые шишки в горчичном соусе, тунисские пиявки, картофельная кожура в мармеладе! Думаете, продукты несвежие? Свежайшие, из холодильников! Они и триста лет еще не пролежали! И что ж? — отравляются нашей пищей! Диагноз: преднамеренное отравление! Ах, кровинцы! Во все века они ненавидят нас! А мы их любим. Мы и живем-то в запаянном Кубе, потому что боимся: если мы выйдем к людям, наша любовь превзойдет все ожидания!

— Не суетись, Титана. Жри, если хочется, и жрать давай другим — сосиску. Я не ярей, не инстант, не диссидент, — я не ем. Ваши проблемы для меня — по касательной. Дай пива мне, дай! У меня нет ответа на вопросы экономических дисциплин. Дай пива, я объясню, как пью с утра!

В глазах у Титаны сверкнула слеза!

Она прыгнула к холодильнику. Такому прыжку позавидовал бы и мой предшественник по мансарде — В. Нижинский.

— Тебе еще танцуется? — спросил я, с пивом.

— Чуть-чуть. А Вам хочется потанцевать? Как Вы — даже джентльмен: и пиво, и танцы! Мой муж, Илия Тумбасович Юбздальцев, — ему не до танца, он старается для Столицы. Сейчас он в Юго-Восточной провинции, там у нас дворец, вертолет и блятви. Здесь их называют девица с девизом.

Не подслушивают мой телефон, это я перепутал знак звука. Почему же мне должна звонить Юбздальцева? Потому, что приснилось имя Суздадец? Ей-то, Суздальцевой, на кой геометрия с автографом, если ей не сойти с афиши? Инстанты на афишах не женятся. Юбздальцева — вот кто мне звонил. Вот она — женщина в жемчугах, уже опьяневшая от пива и вчерашних вращений. Ее муж — Маршал тех, кто хлебает хлябь. Тех я не

видел, они в лесах и на полях, говорят, что и они живут припеваючи. Мне-то что!

Пиво из Голландии, Титана вскрывает банки с мастерством фотографа-моменталиста.

— Давай дуй, давай! — сказал я, поощряя.

— Мой папа был Маршал Тайной канцелярии, правдоискатель, погиб от лжи врага, ложь изорвала ему сосуд в сердце. Если б он хоть раз солгал сам, был бы жив. Но не мог — и погиб. Я — лишь полковник Тайной канцелярии, по завещанию. И я не лгу, и мне смерть. Как бы перевоспитать врага, Иван Павлович?

— Что пригорюнилась, Титана! Полковник — тоже не птичка. Мой папа был Герой Всех Войск, и его убили в лоб. В Тайной канцелярии.

— Мы не знали! — воскликнула Титана.

— И он не знал. Вызвали и убили, вот он и узнал. Дуй, дуй! Кто старое понимает, тому в глаз вонь! Я без предрассудков.

Она, отдуваясь:

— Я ведь боялась Вас, Иван Павлович Басманов! И что сказать, и как себя показать? У нас ведь нет прав принимать Вас в гости, все — нас ниже. А вдруг Вы — выше? Что скажет радиостанция «Логос Хамерики»? У этих пройдох везде уши. Что скажут кровинцы? Вас видел кто-нибудь, когда Вы сажались в машину? Кто-нибудь записывал номер машины в записную книжку?

— Что нам «Логос Хамерики»? Пусть подсматривают, а мы пьем пиво! Пей, падчерица тайн, жуй, женщина!

Где пиво — там сортир, я пошел отдышаться. Раковина — неружотворная, но на цепочке для спуска висит слепок из бронзы — кисть Верховного Инстанта. Я дернул за кисть, спустил. Озарился: вот откуда струятся наши надежды — в реки, каналы, в море им. св. Бельта, а уж оттуда — в нашу кофейную гущу, в борщ из бочек, в коктейль для кельи. (Хоть в рукописи похвастаться: я видел Истину, исток!)

— Думаете, почему стены завешены гобеленом из гойи и всякой модильяно в красках? Из наживы денег? Из поминанья живописей? Ошибка! Знаете Катю? — у нее все есть! Отворачивайте ковер!

Отворачнул! — стена стеклянная. Сквозь: видна точь в точь такая же кухня и стол Николая, у соседей.

— У нас все стены стеклянные, так дом задуман, чтоб ни у кого никаких тайн. Делай, что делается, но чтобы все видели наизусть: что делается? Подслушивать — ниже нашего уровня. Зачем? Вот: в холодильнике вмонтирован микрофон, все разговоры переписываются тут же, на верхнем этаже, в канцелярии. Нет хлопот! Говори, что ты продумал, — и тебе запишется!

— Может быть, — ляжем в ложу? — спросил я, на всякий случай. Прошептал.

Титана схватила листок календаря и ручку с чернилой. Написала: «Не здесь. У Вас, где-нибудь. Придумайте!» И сожгла листок на зажигалке. Образованная образина. Я написал адрес. Она сожгла и адрес, а пепел съела. Впечатляющая память.

— Как выйти? — вот вопрос. Ведь не выйдешь, — это не тюрьма!

Она:

— Выйди в окно.

Я:

— Я не считал этаж, но, думается, здесь — метров 800, высота парашюта. Выйти-то я выйду, а — ноги?

Она:

— К подоконнику прикован цепью самолет «Боинг». По вечерам их спускают с цепи, они летают вокруг дома и лают, — сну не помеха, нам делают укол в задницу, спим, сколько спр-сится.

Она включила холодильник:

— Спустить «Боинг» с цепи! Для гостя!

Я позвонил Зубикомлязгику. Дул ветер с реки Вены, в телефонной будке, на полочке для бритвы — башмак с двумя застежками, свинцовыми. Башмак, полный монет. В будке какая-то реконструкция. Если уж так, и я бросил монету — в башмак!

— Зубиком, — сказал я. — Лязгик, — сказал я. — Через час к тебе явится на бронированной машине хорошенькая женщина, ей лишь год до пенсии. Я дал твой адрес. Твоя задача: твоя с ней ночь. Не пей в усмерть. Если ты не войдешь в высоту вопроса, то знай: все прогулки отменяются.

Утром Зубикомлязгик позвонил мне; он был уныл, зачем-то заикался: — Иван Павлович! — сказал он с убийственной простотой. — Я в первый раз в жизни спал с полковником Тайной канцелярии!

И по проводам пошли рыдания.

НЮ-ДЕВСТВЕННОИЦА С ДВОЙНЫМИ ГЛАЗАМИ С ОФИЦЕРСКИМ РЕМНЕМ

У Пяти Углов стоит пять девиц, на углу по штуке.

Не до них мне, я — в Саркофаг. На одной двери М, на другой Ж. В дверь М нельзя, а вдруг Метро, там специалисты по пьяницам и штрафам. Имя им жандармы.

Я в дверь с буквой Ж, мне нужна дверь, я не змея, это у нее отсутствует мочевого пузыря, у меня он есть.

Сто ступеней в подземелье, кафель, я пошел, мне кажется, вниз. На ступенях женщины, стоят, их сто. Они в одежде. Курят. Многие в мехах, губы — запоминаются. Внизу женщин нет. Их дело, ходят как хотят: быть на ступенях... не быть внизу...

Я съел сигарету, пошел по ступеням вверх.

На 37 ступени я столкнулся с студентка. Я не знал ее, но по лицу что проще догадаться — курсистка! Она не шла вниз, не поднималась вверх, не стояла, как те сто. Она кивала всем дамам, не всем вместе, а кому попадет. У нас кивают лишь иностранки, а эта — студентка. Она не была внизу, я увидел бы. Она не спрашивала с лихорадкой: как спуститься вниз? На ступенях не спрашивают, я-то спустился, не спрашивая. Эту задачу по логике я решил: ей здесь не место, она стоит (т. е. не стоит, а кивает) на моем пути, я взял ее за шиворот и вывел на воздух.

Вслед! — вышло! взшло! взбежало! выбежало! — я не грамматик от глагола, — сто дам в мехах, без губ (губы во тьме растворяются!). А тут тьма! К клозету Саркофага примыкает Фруктовый сад, за решеткой сада электрическая лампочка без абжура в железе, да и лампочка-то висит на тонюсенькой проволочке над волейбольной площадкой (в саду!).

Визг, ругательства, хватают меня и студентку... не люблю описаний, — сто дам ни с того ни с сего отнимают у меня ее, одну.

С женщиной нельзя драться. Почему бы и нельзя, но не как с мужчиной. Не оспариваю человеческое происхождение женщин, а не сомневаюсь: это особи, никакой наукой не исследованные.

Они тащили мою, царапая меня, как цапли! Я сделал вот что: я вынул из кармана футляр, из футляра — бритву фирмы «Жиллет»; она раскрывается, большое лезвие, я рекомендую бритву «Жиллет» всем геометрам на маршрутах Столицы, сталь чудесная, любую голову срывает в миг, если это не противоречит Кодексу; этой бритвой я вспорол шубы всем попавшимся дамам из ста, по принципу синусоиды, — и спереди и со спины. Дамы выхватывали из лак-сумочек иглы с нитью, бежали в сад, на волейбольную площадку, под лампочку — зашиваться. Остальные ушли в Саркофаг, урча.

В моей мансарде моя сняла сразу то, что на ней было и препоясала чресла офицерским ремнем; сидя на полу, приготовленная к бурям и барам, — расплакалась.

Я дал ей стакан рому.

— Что плачется? — спросил я. — Смотри: в форточке луна, в комнате аромат флакона, — лучший из всех в мире! Прибавлю: тебя никто не терзает. Зачем тебе офицерский ремень?

Она вздрогнула:

— Чтоб не забеременеть!

Я:

— Возьми в рот руку!

Она:

— Зачем?

Я:

— Через рот еще никто не беременел. Зачем ты пришла? Чтобы плакать?

Она:

— Ты взял меня за шиворот.

Я:

— Иди в ЗОО. Там слон, без девицы. Увидит тебя, удивится, распустит руку в хоботе до земли, а ты увидишь — расплачешься пуще!

Она:

— Может быть, ты присоветуешь дога, чтобы к нему уйти?

Я:

— Могу дать и дога. Давно хочу собаку.

Она:

— Значит, ты не будешь жалить меня, зачем тебе ню, если тебе требуется дог?

Пора бы поразмяться. Так мы договоримся до гориллы.

Я знал, что у Саркофага знакомятся, но там же — Клуб лесбиянок, припоминается. Дуня-ведунья оттуда, иначе не плакала бы и — ремень?

Я:

— Это легальный Клуб или жертва общества?

Она:

— Нелегальность. Стопроцентная. Платим по брюаю жандарму клозета, ему нравится. Беспорядков-то поменьше. Он хулиганами озабочен. Морду они ему хлещут.

— Пей, Дуня, — сказал я, — у меня есть и бренди, и шартрез; ты мне нравишься.

— А так бывает, что ню нравится — мужчине? тебе?

Тупик. Нравится ли?

Есть такие ню: пока стоит в какой-нибудь одежде, глаза у нее т. ск. желанны, а раздевается и препоясывает чресла офицерским ремнем — глаза двойные! Передо мной: девица с двойными глазами, не драгоценность, но встречаются. Теперь ее в Саркофаг не пустят, — запятнана мной. Что Дуня-ведунья? В Восточной провинции голод, побег в Столицу, не поступает в институт, ходит с двойными глазами, а у дамы-декана глаз всевидящ, а узнается, что девственница, случай феноменальный, — дама-декан полюбит ее, удочерит и прописывает в своей квартире.

Дуня-ведунья попадает в списки вне-конкурса, учится для диплома, ее балуют серебряным кулоном на грудь, дают мясо на косточке, ласкают в постельке, — как собаку.

Потом приедается, денег на двоих и у декана не так уж (дачу-машину обслуживает и оплачивает!), и пойдет моя двойная к Пяти Углам, в Саркофаг. Ведь у них с дамой семья, а у нас в семье работают двое. В Саркофаге — сто. Носят они в авоськах спец-коврик, тепленький, за решеткой сада — скамейки, постелят на землю коврик, Дуня-ведунья станет на коленки; десять минут — десять брюалей. Там: жены инстантов и жандармов, все есть у них, и любовь, и медаль, и брюаль, пять комнат в квартире — для ласк, есть где, казалось бы, — по-ул-ыбаться, а вот не умеют мужья, стесняются, что ли, после блятвей у них неловкость какая-то с женами, вот жены и желают девочек из Саркофага. За вечер-полночь Дуня-ведунья зарабатывает сто брюалей, больше невкусно...

Лампу люстры мы не выключали. Звенели на Зеркале. Дай Бог тебе дога Дуня-ведунья, ведь я — первый твой мужчина! Не льстит мне, но я пил 324 дня.

Утром я уснул, в полдень проснулся: сидит надо мной с двойными глазами, на талии офицерский ремень, в руках горшок с цветами, вылизывает их, цветы и листья, пережевывая и съедая, — не от голода, конечно же, от привычки лизать и жевать. Это — единственные живые друзья моей мансарды, я их растил с ростка, она их убьет. Убийца цветов.

Она просилась прийти.

Я изгнал ее из своего государства.

НЮ-МУЖЧИНА ВИКТОРИАН БУБЛИК

Девицы на Несском, движутся в вельветах, каблук «коломбин», волос вьется в морозце, щеницы, глазик-монголоид, а на открытой, щемящей сердце — шее, на цепочке нет ни крестика, ни кулона, а болтается бритва марки «Вена» и «Мэйд ин Поланд», символ-сталь, сигнал «Секс-Опасно!»

У Саркофага столкнулся: Зубикомлязгик и Дуня-ведунья.

В подъезде N 11, под лестницей Зубикомлязгик откусит бритву Дуни-ведуньи, будет гладить ей ляжку под юбкой — как утюгом! Будет ли у них что-либо-нибудь-кое, — меня не касается. Я знаю лишь:

Зубикомлязгик еще простодушен и откусил бритву не из боязни пораниться, не клептоман, а — чтобы побриться с утра. Бритв для бритья у нас нет.

Я видел сон: что-то хорошее и несомненное в той жизни, когда я еще не ушел от Майи.

Я вышел к форточке, тело не повинуется, в темноте я не знаю, где я. Я знаю лишь:

луна показывает 6 часов утра. Новый Год!

Новый Год, бьет мороз редчайшей красоты, силы. В эту ночь не читать ни о чем! О чем читать, я сам себе — сюжет:

В лесу был снег и стоял стул.

В лесу было семь докторов Наук НТР и семь докторэсс. Вот их имена:

(не помню! — четырнадцать, я сидел в лесу на стуле и пил, память-память!).

Говорю, как рассказывается:

В лесу снег, стоит стул, на стуле я, со мной четырнадцать докторов и докторэсс НТР, приехали на электричке в лес у моря им. св. Бельта, чтобы отпраздновать Новый Год. Мужской персонал привез семь рюкзаков, там еда и бульк бутылей. У женщин тоже рюкзаки.

В лесу пить не стали, в лесу нельзя жечь костер, а мы любим природу. Взяли стул, взяли меня и принесли к морю им. св. Бельта.

У моря лодка. У лодки ель. Сели все в лодку, под елью — все же Новый Год. Я сказал: нельзя сидеть в лодке, всякая лодка — ладя, всякая ладя на земле — смерть. Так издревле, так Ольга поступила с древлянами: несла их в ладьях — похоронить. А они-то не знали. Вот и похоронила. Не нужно сидеть в ладье, дурной знак!

Надо мной посмеялись, но сели в ладюю. Я не сел. Я взял стул, принесенный из лесу, я сел на стул. Все смеялись: оригинал! Посмотрим.

У моря жечь костер можно, распустили костер; он пылал как пламя!

Потом стали пить, закусывая, еще до часа Нового Года. И я пил. Вот в чем, оказывается, суть:

Семья им осточертевает: жены надоя и мужа недолюбки. Не хочется встречать Новый Год в семейном кругу, скука: скука! Вот и решили встретиться вместе все не имеющие счастья в семье, уехать в лес, к морю, как в юности — никаких квартир, все а ля натюр, — воздух, звезды, море, луна, ладя, лес, ель и я...

— Я-то при чем? — спросил я.

— Ты сидел в лесу на стуле, ты мог замерзнуть, а теперь мы тебя принесли, участвуи! У нас праздник! С Новым Годом!

Я их не поздравлял. Я сидел на стуле в лесу, я мог бы замерзнуть, им-то что!

Женщины развязали мешки, вот что в мешках: кошечки, собачки, хомячки, морские свинки, змеи, петушок и гиппопотамчик, и т. д. — все это в платицах, в вязаных шапочках, в башмачках! Стали вешать на ель, украшать ель к Новому Году, игрушки. Трогательный трюк!

Это я сдуру думал, что это — игрушки. Оказывается, зверушки — живые: мячут, лают, хрюкают, шипят, кукарекают, гиппопотамчик хватается пастью, но и его повесили на ель, удавили.

Всех повесили на ель на удавках, всех удавили.

Транзистор ВЭФ-202 поздравил всех с Новым Годом, бой бокала, танцы у моря, с брудершафтом, транзистор с магнитофоном, — под елью, на ели висели трупы зверей, в судорогах! Были живые, теперь висят. Кто не подышает — иглой выколуют глаза. А снег при костре — семицвет. Пары — парят! покружатся у костра, выпьют, закусывая и уйдут в лес...

Кто с кем, меня не касается, я взял стул и ушел.

— Милюта! — сказал я. — Ты мыслитель. Если кто сидит у моря на стуле, охватив лоб кистью с указательным пальцем, как умный, знай, — это убийца. Я убил четырнадцать людей, кровинцев.

— Что ж ты так? — спросил Милюта Скорлупко.

— Так, убил! — сказал я, не зная, что еще сказать. — Пойдем. Мне суд по Кодексу, и все тут.

— Брось! — Милюта поморщился. — Кто из нас не убивал? Гений и злодейство — две вещи неразрывные. Ты их в борьбе убил? Для самозащиты?

— Если бы в борьбе! Я сидел на стуле, с колоколом на коленях и убивал их в уме. И убил.

— Вот как, — в уме! — вторил Скорлупко.

— Да. Они мне дали колокол и сказали: мороз, мороз, Иван Павлович! Если мы почему-то вмерзнем в лес, в ладью, в море, — звони во все колокола, услышат, спасут! Я взял стул и ушел, а колокол выбросил. И подумай: четырнадцать человек, цвет НТР, доктора Наук и докторэссы! Я их убил.

— Не убивайся. Это твой вывод.

— Это мой вывод. Уходя со стулом к станции, я возвратился. Они лежали в ладье. Вокруг валялись гитары. Я пощупал пульсы: все четырнадцать — мертвецы. А почему: я хотел их убить в уме и убедился, что я прав: я их убил. Нет мне прощенья, нет мне пощады.

— Это Новый Год, у нас — нервы! Успокойся, весной их найдут, разморозят, и посмотрят еще, живы они или мертвы... Тоже мне, тяжелоатлет! Убийца в уме! — тоже мне, амбиция! Лучше полюбуйся!

Я полюбовался:

в кабинете в штабелях — шубы, шапки, саквояжи, костюмы, юбки, джинсы, башмаки, сапожки, шарфы, колготки и носки (вязанные и нитяные!) — все в количестве... экземпляров! На письменном столе таз, железный, для мытья морд. В тазу — часы, шоколад в серебре, кольца; перстни, цепочки с крестиками, серьги, брьюали, пейки, — целый таз!

Майор объяснил:

— Новый Год у жандарма — путь премий. Мы ловим на улицах пьяниц и вынимаем их из одежды. На одежды и ценности составляем протокол, а голых выбрасываем в канализационные люки, чтоб не замерзли. Их имущества — нам за службу, а мы:

— Выпьем за павших, Иван Павлович! С Новым Годом!

Новый Год, бьет мороз, взрыв батарей парового отопления, турбина, котел, газовая колонка — взрываются!

Бог бормочет, замерзая на лету, пропадом пропавший. В инстанциях бросают бухгалтерию и рисуют портреты Верховных Инстантов, не получается, не знаем Верховных в лицо, вот и выговор: не рисуй всуе. Но и копии, выполненные по правде документа, не спасают: мороз мрачнел! В доменных печах переливают танки на пушки, стреляют из этих пушек-самоделок в воздух: в Науке считается, что взрыв разряжает замороженный воздух и тогда теплеет.

Не теплеет. В магазины прекратился ввоз поеданья, ясноглазые гимназисты собирают в ранцы трупики воробьев и ворон, замерзших, упавших. Выключается электросеть, воды нет, рубят рукой мебель-шкафы, и перила лестниц (топора-пилы у нас нет!), распускают костер в коридоре, расплавят лед, сварят в рюмке бульон из птичьей мертвечины (тарелок у нас нет!).

Когда взрывается в семье бутылка с бормотухой, становится не по себе, приходит крах: война с Кидаем!

Ходят на труд, а ждут повестку Войны.

Морозы отступают. Войны с Кидаем не будет. По радио объясняют ошибки от мороза в домах вне ремонта, во всем виноват метеоролог, почему он не предсказал на 75 лет вперед меру мороза? А мой друг Антип Инфантьев, манометрист из бани, с нашей лестницы, этажом ниже, ликвидирующий иностранные марки с конвертов и оставляющий мне мзду в 1 брьюаль, тот, кому я благодарен за это, — награждается за какую-то пружину манометра, у которой не иссякла сила и в лютую стужу, пружина жужжала и без воды. Написали в прессе: «Антип Инфантьев — лучший манометрист Столицы!» Надо же, — награда.

В батаре парового отопления кипятки, а неизвестный рабрыбарь из экспедиции минерала Северо-Западной провинции, 33

лет, Викторян Бублик стал персоной N 1 во всем Земном Шаре, о нем захлебываются радиостанции «Логос Хамерики». Мы молчим. Не опускаться до спора нашей, нескомпрометированной, передающей правду — радиостанции! Здесь — вымысел, а мы о вымысле — ни слова! Попытаемся разобраться.

В батарею парового отопленья наконец-то — кипяток, а раб-рыбарь Викторян Бублик, 33 лет, открутил кран у батареи и вывинтил кран; снял с себя всю одежду, ведь в отверстье от вывинченного крана в одежде — не взлезть, Бублик влез в отверстие без одежды с коробком спичек во рту и поплыл по десяти извилам батареи, выплыл в водопроводную систему Дома Балета, по водопроводным трубам проплыл систему квартала, попал в канализационную сеть и поплыл по канализации, попал в трубы, выбрасывающие отбросы производств, и поплыл, попал из канала им. св. Гробоетова в реку Моргу, из нее в реку Вену и поплыл вверх, доплыл по ручьям до границы с Финляндией и переплыл границу.

Оговоримся: Викторян Бублик плыл под водой, не питаясь ничем, а уж воду-то не пил, захлебнулся бы!

Он попал на территорию Финляндии, но финны и оленей возвращают в Столицу из-за Хельсинкской конференции, зачем финнам Бублик?

Раб-рыбарь читал газеты, поэтому он подземными озерами пронырнул Финляндию и вышел в Норвегии. О Норвегии Викторян не читал, но на всякий случай пошел на ногах. Новый Год, под Северным сияньем ходить не воспрещается, пусть у тебя и голое тело. Но мороз! 50° по Цельсию, пощипывает. Спички во рту отсырели, а всякий груз для пешехода ощутим, тем не менее он вынул изо рта и не выбросил, а понес в руке, — вещь родная.

Попадается клюква. Но нужно идти, а не копать в снегу. Спать хочет, но спать нельзя, выйдет из берлоги поспавший, с сосулькой от сна, отяжелеет, дальше не уйдет. Попадается птица. Но Бублик сам не летает, а норвежский валун из фьорда в птичку не запустить, — и тяжелый, и не попадешь в птичку, а попадешь — так расплющишь.

Раб-рыбарь Викторян Бублик, 33 лет, не знает ягодоведения и птицелогии.

Не знает он и географии. Он идет через Норвегию, Швецию. Он идет днем по Солнцу, если оно проглянется, а ночью по звездам, если увидятся. Куда идет Солнце тут, как располагаются звезды чужбины — этого Викторян Бублик не знает, он знает, что Солнце и Звезды хороши для души. Есть он хочет, пить он хочет, холодно — конечно же, но нельзя останавливаться, не дойдя до цели.

До цели он дошел: увидел не наш поезд в лесу, на вокзале. На поезде надпись «Дания, Эльсинор». Весь мир хлещется высшим образованием. Да у нас каждый раб-рыбарь знает по Шекспиру, что в Дании столица Эльсинор. Да у нас кто не разбирается в буквах других стран, кто не знает, что у них все не по-кровински, а наоборот: «н» пишется как наше «п», а «п» пишется как наше «р», — думают, что мы запутаемся!

Бублик взошел на поезд. Билета нет, — вот что кровинца стесняет. Но у него есть спички. В Дании спичек нет, за спичками охотятся все туристы из скандинавских стран, они и романы-то пишут с названием «За спичками». Викториан взошел, сел на скамью, обитую безвкусицей: ткань из малиновой парчи с золотым орлом, датским; наших орлов у них нет. Не как пришелец-хам, а как настоящий кровинец, Бублик выдул бутылку минеральной воды и съел пять вафель в фантиках, больше на столике ничего не было из еды, экономят на пассажирах. Выпил, съел и положил на стол — спички!

Поезд пошумел и пошел. Кондуктор вошел и подошел. Кондуктор не стал свистеть в свисток, а осмотрел Бублика со всех сторон и удовлетворился, и билет не потребовался, — кондуктор воровато осмотрелся в купе, взял спички со стола, и, — в карман! Еще бы!

В купе три дамы. В Дании в каждом купе по три дамы, такой у них Кодекс. Дамы едут сидя, как полагается, Бублик им понравился: в Дании сухой закон, а юноша — из общества любителей минеральной воды (это их мысль!), вафли в Дании едят лишь священнослужители, и то лишь на Пасху.

Мы позабыли, что Викториан Бублик был ню. Но какой ню; весь в волосах, голова, лицо, пах, живот, — весь как есть в волосах, и ноги, и руки. Такая форма у молодых в Дании не бросается в глаза, разве что запоминается для себя: новая мода, естественная.

Раб-рыбарь жалел дам: спичек нет у них, в Дании зажигалка, обжигаются газом ресницы, ноздри и... губы. Древнейший ритуал — первый поцелуй! — в Дании отсутствует, губы не чувствуют любви, обожженные. Кажется, газовая зажигалка — цивилизация, а от нее губы опухают, три дамы до Эльсинора открывали рот с трудом, когда Бублик смотрел на них, говорили фразу с акцентом.

В Эльсиноре! — Королевский Дворец, сторож с алебардой и не спрашивает «кто идет?» — Викториан Бублик идет, а тех, кто объясняется по-кровински, в Дании пропускают без препятствий. Тронный Зал! — здесь принц Гамлет был в борьбе со злом. Бублик знает, куда идти, настоящий кровинец искореняет зло.

На троне! — королева Дании, Гертруда II. Бублик первый дал королеве руку, она пожала, уважая.

— Говорите по-кровински! — сказала Гертруда II. — Мои дяди вышли из Вашей Столицы, это были цари Романовы. Но Бог мой! — она взяла католический крест, — что творится в Вашей Столице! голод, узурпация инстантов, психобольницы для диссидентов, ах, ужас! — как в Хамерике!

Ах, «Логос Хамерики»! — мировой жандарм сенсаций! На коронацию они прислали аллигатора из Цинциннати. Это — шантаж, лесть, подкуп, они недооценили мой ум. Я убила аллигатора и осмотрела желудок. В желудке целая коллекция: метеорит весом сто граммов; три зубца от граблей, три пары очков, три доллара и 18 мелких монет, ножницы, 17 зубных щеток и дверной замок.

Метод дедукции, Викторриан! По дедукции получается: метеорит — хамериканцы стремятся к захвату Космоса, 3 зубца от граблей — Хамерика сельскохозяйственная страна, 3 пары очков — хамериканцы подслеповаты, 3 доллара и 18 более мелких монет — любят бизнес, но мелочатся в монетках, ножницы — прижимисты, сами шьют себе костюмы, сами подстригают ногти, 17 зубных щеток — неимоверная страсть к зубам, холят и лелеют пасть для лжи, дверной замок — в Хамерике много мафий, взрывают любую дверь, а народ хамериканцы запираются друг от друга на замок.

Ваша Столица, Бублик, прислала мне тоже презент: белого медведя! Я сразу же поняла, что это от души и по правде. Но для дедукции медведя вспороли, нашли: медицинский пластырь, кусок брезента и рванный хамериканский флаг.

Медицинский пластырь — Ваша Столица уделяет внеочередное вниманье медицине и здравоохранению, кусок брезента — вы строите дома из брезента, чтобы закаляться в климате, вы рвете хамериканский флаг.

— Вы попросите политическое убежище? Вот оно Вам: в тронном зале! Живите, желайте!

— Благодарю! — тон Викторриана Бублика был тверд. — Но я не прошу политического убежища. То, что Вы говорили о голоде и т. д. — этого у нас нет, а у Вас психоз псих-больниц, а лучшие люди висят у нас в виде портретов на Площади Расстрелов. Я по всем пунктам согласен с пунктуацией Столицы. Я не говорю, что Вы лжете, это было бы сверх программы гостеприимства, но у Вас простое сердце и нерв на веру радиостанции «Логос Хамерики».

— О Хамерике я сказала внятно: ужас! Мне нравится Ваш вид в волосах, но признайтесь, почему вы убежали из любимой

Столицы? Так не бегут и в ад. Если Вы не яурей, то могли бы жениться на яурейке и уехать на аэрофлоте.

— Я не люблю яуреек.

— Вы бы купили яурейку и, не вступая с ней в контакт, получили бы всевозможный вызов.

— Яурейки стоят 10 тысяч бряуалей. Если не есть и не пить 15 лет, я заработаю деньги на яурейку.

— Но вызов!

— Он фиктивный. Тайная канцелярия не поставит штамп. А мне-то тоже зачем фикция? Я не жулик.

— Но Вы убежали.

— Мне не от кого бежать, я — уплыл.

На аудиенции вельможи двора, вожди партий, иностранные консулы, артисты и маршалы. На хамериканских дипломатов и корреспондентов королева Дании Гертруда II наложила эмбарго.

Сенсация мира:

за 20 дней Бублик проплыл 2.200 км под водой! То, что он шел — не в счет, все идут.

Комиссия экспертов от ЮНЕСКО. Экспертиза: кран в батаре — отвинчен, волосья с тела пловца в водопроводных трубах — найдены, в Бабенцовом море поймана рыба блятва со следами зубов, сделали рентген — зубики Бублика, в Финляндии Викторiana видели, выстрелили, в теле раба-рыбаря была пуля финской промышленности, изготовленная для мирных целей 18 дней назад, в Норвегии Викторiana видели, принят был за снежного человека, там их 17, его не взяли, но сфотографировали, фотокопия совпадает с оригиналом.

Мировая пресса захлебывается: зиг хайль! Подвиг Века!

Но спросили:

— Вашу любовь к Столице Вы объясняете с блеском. Теперь объясните, почему Вы уплыли?

— У кровинцев призванье: кому — какое! У меня призванье — плавать! — ответил с честью Бублик. — Я плаваю с детства. Я не феномен, а у меня призванье. Я хотел построить лодку своими руками и переплыть все океаны Земли по диагонали. Меня к этому тянет мой талант. Мне нужна лодка.

Я люблю Столицу. Я пролью кровь за кровинцев. **НО — У НАС НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ ЛОДКУ: У НАС НЕТ ДОСОК, У НАС НЕТ ГВОЗДЕЙ, У НАС НЕТ СМОЛЫ!** Понимаете Вы или нет, олухи идологизма: **НЕ ПОСТРОИТЬ ЛОДКУ У НАС, НЕ ИЗ ЧЕГО!** Я требую записать мои слова в Нобелевском комитете и не клеветать!

МАЛЕНЬКИЙ МОНОЛОГ ВОСПОМИНАНИЙ, С ДИАЛОГОМ. КИНИК ТОДОР И МАЙЯ

У моря им. св. Бельта есть холм, на нем деревянный дворец, — мой Хутор!

Над ним нет радуг, там есть еще, может быть, мы:

Я,

Майя,

Уна — сука наша, пудель белый, королевский! Пудель — в полдень!

Свиной затылок, весь киник состоит из свинины: если кабан похож на могола, Тодор похож на кабана: белая кожа, на затылке щетина. Физиогномистика не ошибается.

Но имеет киник нежное сердце, наше, для добра и брака.

Как-то меня спросят: сколько я замучил женщин? Я затрепещу, я заплачу! Трепет не в трепет, плач не в плач, а сколько? — не помню. Замучил? — да, признаться, замучил, как змий Бумсланг!

Тодор не замучил ни одной женщины.

Доктор Наук, профессор-Лауреат, в интимной жизни Тодор был без денег, отдавая их женщинам, питался в буфете студента. Не удивляюсь.

Он и влюбился-то не по возрасту: ему 37, ей 30. Женился. Папа жены был наотмашь убит переменой, а киник Тодор не находил места, взваливая всю неповинную вину на себя: женитьба ввергла Тодора в хаос, уж вовсе в ничью нищету: тесть — Верховный Инстант Тайной канцелярии Юго-Западной провинции, — длинней титула нет! У тестя дворец, бронированная машина, еще дворец в загородной роще, но тесть так стар, как не дать ему деньги на старость? Верховные Инстанты Тайной канцелярии денег не имеют, у них энтузиазм.

Всею виной жертвенность, Тодор!

Я твердил же тебе: не ходи в Саркофаг.

Ты мне в ответ: как не пойти, ведь на улице схватят!

Уж лучше б схватили на улице, ну и что, дал штраф, застегнулся. Горе тебе, я говорил; пойдешь — попадешься.

Пошел и

попался у Саркофага художник-портретист Бадья Жужжомец, а Тодор тут как тут, — жертвует собой:

садится на стул из сталактита, сидит 17 сеансов по 7 часов в сутки, чтоб Бадья нарисовал кисточкой рот, эх ты, оратор факультета! Бадья рисует, прикидывается. Бадья, увы, не художник, я писал в предыдущей прозе. Тодор уносит портрет к себе в руках, идет, как пешеход, через всю Столицу, в транспорт с портретом не пускают, чтоб не опозорился.

Так. На страницу — новелла:

месяц пройдет, Бадья пригласит Тодора на вокзал им. св. Витта, в мой ресторан, где директор — дьявологлазый Гай Рузин. Бадья, увы, не художник, но и не дурак: он ведь повсюду ходит с Геней Любяхиной, негде им по-улыбаться. Бадья и Геня сидят в обнимку и Жужжомец возопит:

— Где деньги?

Тодор остолбенеет, а тот объяснит: портрет взят, ему наплевать на бедствия Лауреата, пусть платит. И добавит, оскорбит:

— Давай деньги, самец из свинины!

О какой оплате тут может быть речь, если киник Тодор 17 сеансов по 7 часов в сутки — сидел, сидья! «Самец из свинины», — обдумает Тодор, — ему не нравится мой внешний вид, но — ложь! Если бы не мое лицо, не написался бы шедевр, а портрет — шедевр, Бадья сам признается. Тодор же был на дискуссиях Искусства. О живописи не спорят, но киник XX века выигрывает такой диспут с сокрушительным счетом: 100:0! Это о вкусах.

О деньгах. Что ни художник — психопат, симулянт сумасшествия, но к чему их дикий девиз «Давай деньги!»? Сам для себя нянчится с кисточкой, отнимает время у друга и требует в кабаке, при лакее «пусть платит!» С какой стати он требует, чтобы любой, встреченный у Саркофага, платил ему?

— О Саркофаге! — взовьется Бадья Жужжомец.

Дьявологлазый Гай Рузин подойдет, спросил:

— В чем шум, Бадья?

— Вот в чем: кто-то из этих двух мне изменил! Киник Тодор, ответь: ты познакомился с Геней Любяхиной у Саркофага?

— Я познакомился.

— Ты познакомился с ней и увел ее для измен?

— Я не увел, мы пошли. Вам негде было по-улыбаться. У меня же Лаборатория.

— Ты пошел, тряся телесой, как кумир!

— Мы пошли в Лабораторию. Я дал ей стакан спирта и по-улыбался. Вам-то ведь негде, я-то причем?

Гай Рузин сидит, внимательный:

— Бадья! Мы посмеемся и Геню простим. Этот же фрукт нам известен: если науськать лакеев, — в морду убьют!

— Я не фрукт, я — фигура Наук!

— И фигура известна. Не ты ль, ежегодник, празднуешь здесь День рожденья, с друзьями?

— Я праздную здесь. Я люблю тост.

— Ты умоляешь лакея, чтоб дал тебе стол? Дает. Ты спаиваешь друзей, а сам пригубливаешь, наливая им допьяна, сам же держишься, сильный? Им-то вдоволь, уйдут на двух лапах, не помня. Мне-то, едак, вспоминается: счет! Ты требуешь счет, с бледным

лицом в цвет свинины, глаз голубка превратился в кабаный, вот — вынимается карандаш, пишется счет — наизусть! У меня лакей — ответственный за правду, если уж ты умолял о столе, то плати, как считает лакей. Ты же платишь по счету, изменник, — из меню!

— Из меню! — это — честно.

— Нет, не честно. Тогда не умоляй. А схватка с лакеем карается, как посягательство на традицию кровинца: равенство в рамках! Двадцать лет ты нас жулил! Если сейчас же ты не оплатишь двадцать лакейных счетов День рождений, — будешь забит.

— Как я могу? Нет у меня и брьюала в банке!

— Что говорить! — вмешалась Геня Любяхина. — Есть портрет, — плати, по-ул-ыбал — женись!

Вот в чем соль, Тодор, мой дорогой. Портрет — повод. Ты попался в тройной шантаж. Ты поразмыслил: папа у Гени, твой т. ск. тещь в перспективе, он — титулы я перечислял! Лучше жениться, стать жертвой любви, чем — не дай Бог! — замучить этих троих: Бадью Жужжомца, Гая Рузина и... женщину.

Ты женился на женщине.

Ну, как новелла?

Где научились трое таким идеям? Что за друзья у тебя, киник Тодор! — опустившиеся, погрязшие, требуют у тебя! Опомнился ли до сих пор ты, идущий с распахнутым сердцем — на встречу у Саркофага?

Так и тогда: Тодор мечтал про себя о дворце, о бронированной машине, сье не высказывается вслух. Пока же он скупал на последние пейки мебель для дворца. В его квартире ногой не ступить: бьешься о мебель лбом медным.

Я был в Столице, а друг мой Тодор, отважный, сделал гибельный шаг, дьяволизм: вздумалось ему по-ул-ыбаться — с Майей. Он снимал деревянный хутор поблизости. Майя:

— Беги, мой возлюбленный, беги как быстроногий олень с гор бальзамических от такого тупицы! Слушай.

— Тодор явился пьяный, не в своем состоянии. Эта свинина ввалился к нам, пыля. В портфеле пятнадцать бугылок бренди; в своей фантазии он перепутал меня с дивизией блятвей.

Мы воссели за яства и пили, а пес твой постился.

Лампа твоя в потолке, раскаленная Мук, ведь и в ней у тебя — непростая пружина!

О сад сад! Пчелы твои ушли в колыбель, муха махала крылом фиолета, взвиваясь к возмездю.

Уна ушла на чердак, чтоб не смотреть срам сатанинства.

Руки мои рокотали от радости, — жизнь, мой возлюбленный, а мне лишь двадцать, что ли, с чем-то, что ли! Не оценила я

цепь твою, не примирилась с венком из мирта: «не для нас наслаждаться!» Мне бы венец из вечного напалма, я — пала!

Киник Тодор с кабаньим глазом, ревел ртом:

— Почему для басмановщины прощается все, а мне — ничего? Почему же он может и пить, и девок переменять, не служить в расписаньях, шататься, как бешеный авиатрасс, в заграницы? Почему позволяется все по уму — ему, а мне — нет?

— Потому что он — гений, а ты — гнида.

— И я гений, но другой. Чтоб проявилась во всю моя гениальность, Лабораториям — годы гудеть! Эх, как ставится эксперимент в кинической колбе!

— У тебя рискованный эксперимент. Почему ты вошел в наш дом? Над тобой смеется твоя же свинина.

— Я защищу тебя от этого эталона. Он хищник, живет за чей-нибудь счет. А тебе нужно теплое тело, такое, как у меня.

— На чей же счет он живет?

— На твой, на мой, на всех.

— Оставим меня и всех. Что ты на своем счету — подсчитал?

И он подсчитал, Иван Павлович! Он подсчитал до брюаля, до пейки все выпитое, выеденное с ним — тобой, сколько раз носил на вокзал твой чемодан, сколько шагал шагами с тобой по Летейскому и Мигайловскому садам, сколько дал тебе сигарет у Саркофага. Оставались неподсчитанными лишь твои пиры, твои порывы.

Я стала гнать. Но выгнать такую тушу не пустьяк. И я отважилась:

— Ты остаешься. Но что же ты, сука, наливаешь мне стакан, а сам держишь свой, как скипетр? Пей, педераст!

Я пила, не тебе объяснить, а этот уже был ближе к исходу. Мы стали пить. Он орал, но все то же, дальше — муть, дальше мысль его не простиралась. Когда ж он напился и разделся при лампочке, — Боже! — бабья задница, бело-жирный живот, бабий хлуй, как баллончик для рыбьего жира, тел-то таких у мужчин и нет!

Я разделась. Мы легли. Я лампу не погасила. Белые ночи, свет за стеклом — как смерть, но пусть попробует и при лампе. Сколько он пробовал, Басманов, и так и сяк! Но я полегла, как полагается: бедная бабья хитрость! Сколько бы демон свинины не пробовал, бы он пьян — в воскресенье! Вот моя мысдь: ведь в понедельник у него лекция, так что по-ул-ыбанье — вне правил, не сумеет.

Баллончик — болтался! Так и промучился в неге несчастной, пока не постучали соседи. В ужасе, очень отчетливо протрезвевший, он убежал. Вот тебе песнь о паденье!

Я лишь спросил:

— А если бы...?

— Если бы, друг мой, эта формула — отсутствует. Прости, промучила: тебя, мой милый, в твоих декорациях дружб, себя — я не бес, я авантюра; а киник что ж — киник-хамик, быть ему инстантом. Будет купаться в какао. Шваль, милый, твой шевалье. Посягательство на тело твоей жены есть посягательство на твое тело. Если это друг твой — он педераст!

Такова была Майя.

КАК Я ПИСАЛ РУГОПИСЬ

Я не цитирую. Я пересказываю. Мой Хутор!

Третий день от алкоголя, белая горячка начинается в 4-7 день. Потеря памяти: нет транквилизаторов, у нас их нет.

Третий день я не сплю, варю чай, написал 30 страниц, не уснуть. На холмах цвет-мак, рожь стоит, синяя, воздушная! Страшный лес, весь изрубленный, падают шишки. Мой лес рубит раб для кухни.

Я не сплю еще двое суток, пью корвалол, от корвалола был бред, но не сон. Бредится: я бегу, я подверстываю фразу к фразе, а за мной катушки ниток, бегут без ног! а нить мулине бросается в меня в петлях! Не до литератур, это тебе, читатель, не глава «Сны» из А. И. Красовского, председателя комитета цензуры в век Н. Гоголя... О чертах-то не снится, — тсс!

Кристиан Томазий, профессор юриспруденции в Галле, считал, что лишь судилища инквизиции истребили 9.440.000 чел. за сношения с чертом.

Во Франконии в цистерианском монастыре близ Шентеля жил аббат Рихальмус, написавший настольную книгу «Книга откровения о хитростях и уловках демона по отношению к людям».

Венский епископ доктор Гаспар Нейбек в церкви им. св. Варвары изгнал из 16-летней девицы Анны Шлюттербауэр 12.652 черта.

Яурейские каббалисты высчитывают, что каждый из людей окружен 11.000 чертями, из коих 1.000 по правую сторону, а 10.000 по левую. В каббале же отмечается, что царь Соломон всю жизнь держал у себя в заключении, в маленькой склянке 522.288 чертей.

Каббала: топография ада: ад — в форме воронки, состоит из 7 поясов, каждый в 60.000 раз больше следующего за ним. Каждый пояс имеет несколько подразделений, в каждом отделе 7.000 камер заключения, в каждой из камер 7.000 ям, в каждой яме 7.000 скорпионов и 1.000 бочек кипящей смолы. Скорпион 7 щупальцами рвет тело грешника.

Демограф Бейер приводит точную цифру армии ада: 44.635.569. Это не считая кобольдов, гномов, оборотней и т. д.

Клеман д'Эльбе вычислил температуру огня, при котором грешники жарятся в аду: 195.000 градусов.

Пока все шло, как шелк: не слышатся голоса, не видится зверушка с рожкой. В субботу была сауна, это спасенье. Сердце стучает, но выпаривался три часа, на корточках, с тазиком, крепко держался тончайшими от голода руками за полку. Волосы вылезают, завиваясь по сауне, — куст акаций!

Чудо, что ты? Отпарился, лег, утомленный. Лег в пух одеял. Брезжится лунность в окошке, травницей-землицей, птицы одна щебечет, вторая свиристит. Гдей-то лягух поквакивает. Муха вокруг лампочки вьется, милая, молодая, не из горячки, крылышком фиолета светится во тьме. Плакать бы светлой слезой полудрем! Солнце, вот-вот восходящее с блеском. Я позабылся, я взял димедрол. И... заснул, как впервые, брезжущим сном при солнце.

Нельзя брать димедрол на выходе из алкоголя, и вообще-то димедрол нельзя, галлюцинат! Через два часа я очнулся. И ударило: не прошло, начинается.

У меня были, рассказывали: такой лютой истерики у меня не бывало. Кто-то так окрестил: коматозный криз. (О узники формул! Так Велемир окрестил павлина — красивейшина!)

Я встал, сжал зуб на зуб, я побежал.

Это как амок:

страх

гнал

в нуль,

спазм

горл, ключиц,

веки в судорогах, вьются,

ног-рук

дергаются,

где

уж

тут, —

до гипербол!

Я бежу, скаля зуб,

и

зуб,

екая, —

стучался!

а шоссе, раскаленное солнцем до снега, превращается в бесконечный, не имеющий зигзага, изъяна — трамплин, под-

нимающийся вверх для лыж, я бегю в Столицу, в больницу-блевницу,

потому что:
отч ум от оп
муж
меж
муз! —
бос
из
бездн!
Эх,
а —
э
т
а

— Что такое «Кот и Пан»?
— Напиток.
ДА, НО МИЛ ЛИМОНАД!
(пой, палиндром!)
(морд не лапъ, йоп!)

с
м
е
р
т
ь!

Это — смерть, если не сделают сильный укол, У-сп-О-к-А-И-в-А-Ю-щИЙ. Вот еще: не сошедший с ума, не чувствуя тела, я твердил себе, хищен, храбр:

— Ты описываешь супермена, опоясываешь гирляндой роз егойный лоб, а ты супермень — сам! героизируйся — сам! стой, не сдавайся — сам!..

Не устоять тебе, — сам! Я был на верхушке трамплина, трамплин шатал ветер, держался я за пердыльца, смотрел вниз, в Столицу, дворцы распускаются, как цвет из ботаник, канал — сталь игл, летящих, мост-метеоры кривизн, а море им. св. Бельта — как люк, а я в люк — кап-кап-кап! Я прыгнул.

Я приземлился.

Чуть что — часы на руке: я пробежал 42 км за 5 часов. В спазмах, в слезах, как в слизи, как в ливни, я к Аптеке, на ней замок, воскресенье, не до психик, я в больницу, не пускают, заявляя, что от белой горячки лечатся алкоголизмом. Я их ругаю,

рыдая, что не! горячка! у меня! а — коматозный криз, я могу покончить с собой.

— Не покончили же, Иван Павлович, пробежаться 42 км за 5 час — это кривая в рекорд! Вы-то знаете, куда вы бегаєте? — сказал врач Роман Рында.

Я вышвырнул врача, в коридор, взламывая замки, я ломал шкафчик, стеллаж, тумбочку, стол, — нет шприца, нет лекарств; я в такси, аллюром на Хутор, не присесть, с Хутора на Озеро, пал в воды, без одежд. Шесть раз я переплыл Озеро, не устал, побежал по шоссе, вниз и вспять, 36 км, лишь елки в юбках, как бабушки...

и возвращался, мраморный, скелетный,
две луны шли за мной, сопровождая.

Две луны, обе красные и без ног, а шли, как два конвоира в шлемах, за шеломенем еси. Мой шаг — как штык!

Спать не спал, а наутро понедельник. В Амбулатории мне указали на ноги: окровавленные, кто их жуеет? Я сказал: заживают. Забинтовали, дали для сна реланиум, — пустяк, а спится. Я стал спать, криз миновал. Ругопись пошла тем же темпом. До сентября, до сентября — почему-то!

КАК Н. ГОГОЛЬ НЕ ПИСАЛ ВТОРОЙ ТОМ

Н. Гоголь, иностранец, ходит по гостинной Москвы, спрашивая всех: «Долго ли вы в Москве?» — Живу постоянно. «Ну, стало быть, наговоримся, натолкуемся еще». — Не пишете ли чего новенького? — Гоголь в дрему, смотрит в бок, встанет, уйдет. В другой гостинной, на минутку посмотрит по комнате туда, сюда, посидит на пустом диване, слова два-три сквозь зубы через плечо. Сам себя не читает, сидит, истукан, стеклянный глаз, читает Щепкин — из Гоголя, все глядят не на чтеца, на автора, час, два, три, встанет и уйдет. Не любит говорить о литературе, особенно о своих произведениях, избалованный, все печатает, нельзя спрашивать «Что пишете?», «Куда едете?», «Откуда приехали?». Если едет в Малороссию, ответит в Рим, а в Рим, ответит в деревню к Кобыленко. Говорят, что пишет второй том «Мертвых душ», Гоголь не говорит. Черный сюртук, шаровары, волосы в скобку, улыбка — не улыбка, быстрый глаз вверх-вниз, но не в лицо, ходит из угла в угол, руки в карманах, походка мелкая, нервная, пошатывается, ноги заплетаются, от этого один шаг получается как бы шире другого, фигура скованная. Сорокалетье Н. Гоголя. «На аллее в Девичьем поле, были: Аксаковы, Кошелев,

Шевырев, Максимович, Островский, Берг. В «Московских ведомостях» заметка: о волках с белыми лапами, появившихся в Москве в этот день. В третьей гостиной Н. Гоголь катает шарики из мякиша, все воруют шарики (сувенир гения!), а он еще носит испанский плащ без рукавов, если б носил шлейф или бороду, как Л. Толстой, — вся Россия и Европа пошли бы к нему, подержаться. Н. Гоголь живет у гр. Толстого (другой, обер-прокурор!) в доме Талызина (не тот, который дал мундир Екатерине 2 для восстания против мужа — потомок!), на Никитском бульваре, занимает переднюю часть нижнего этажа, окнами на улицу, ни о чем не заботится, завтрак обед ужин десерт подается по первому знаку, стирают белье и гладят, прислуга-невидимка и личный телохранитель Семен, юноша. На званых же обедах Н. Гоголь не ест, глотает пилюльки и говорит, что вообще-то он не ест. — Что вы смолкли? Ни строчки, вот уж сколько месяцев сряду! — испугаются, вот — вопрос, замешкаются: отомчатся, отшутятся, но Н. Гоголь грустен: «Да, как странно устроен человек: дай ему все, чего он хочет, для полного удобства и занятий, тут-то он не станет ничего делать; тут-то и не пойдет работа.» Осенью 1851 г. говорят, что уже готовы 11 глав, но исправляются, переписываются. В феврале 1852 г. Н. Гоголь слег. Совсем не слаб, не худел, ходил, как здоровый. Посетители. Жалуются, что принимает друзей, как император — полуминутная аудиенция, лежа, с опущенными веками протягивает слабую десницу: «Извини, дремлется что-то!» Уезжают, вскакивает, с аппетитом ест, ходит, маневрируя меж диваном и столом. Знаменитый врач А. И. Овер не нашел ничего лучшего, как поставить клистир. А. И. Овер вызвался поставить лично. Н. Гоголь согласился. А. И. Овер приступил к исполнению, а Н. Гоголь закричал, что не позволит над собой издеваться, что бы ни случилось! — Случится то, что вы умрете! — «Ну, что ж! я готов... Я уже слышал голоса». 21 февраля Н. Гоголь умер. Не от болезни. Лег и умер. Марк Туллий Цицерон: «Когда жизнь становится человеку в тягость, то величие духа его заключается в том, чтобы насильственно прекратить ее». Фаддей Булгарин: в ответ на письмо потрясенного П. В. Хавского, хронолога, археолога, юриста, 28 февраля 1852 г.: «Милостивый государь Петр Васильевич! Благодарю Вас за память, но не могу догадаться, что заставило вас в двух письмах извещать меня о подробностях кончины и похорон Н. Гоголя. Если Г. для вас и для редактора московских полицейских ведомостей кажется знаменитым писателем, то он вовсе не таким кажется мне и Н. И. Гречу. Сравнить Гоголя с Карамзиным и грех и смех. Никто не нанес пагубнейшего удара чистоте, правильности русского языка и изящному вкусу, как Г. Почести, оказанные ему в Москве, не делают чести ее литературному вкусу. Москва любит благоволить кому попало! Лавровые

листы, которые вы мне прислали с его гроба — не расцветут в потомстве. От другого я принял бы посылку этих лавров за насмешку, но от вас получил с улыбкой, будучи уверен, что вы не читали вовеки Гоголя и мнений о нем „Северной пчелы“. Из ваших писем не сделаю никакого употребления или злоупотребления, а за сим честь имею...» В 18 лет Н. Гоголь написал поэму «Ганц Кюхельгартен», выражающую нравственную иллюзию относительно переустройства внутреннего мира человека. Поэму он сжег. В 37 лет Н. Гоголь написал «Выбранные места из переписки с друзьями», в которых: «идея нравственного воскресения». Эта же «идея» была и во Втором Томе «Мертвых душ», который Н. Гоголь не писал, но сжег. Н. Гоголь был гений пера и духа 12 лет; с 1830 года, начала публикации «Вечеров» до 1842 г., конца публикации первого тома «Мертвых душ», потом он бросил писать, в 33 года, и десять лет жилось и писалось по инерции. Художник, начинающий с «нравственности» и завершающий жизненный путь «нравственностью» — какой губительный круг, повторенный потом Л. Толстым. Какой поучительный путь — в смерть.

(Такой путь Западу цивилизаций и не грезился, там пишут без казацких волос, без плуга, не босиком. Там не бросают писать для воображенья «нравственности», не ложатся в смерть, не бегут из дома в старцах, или в поисках Бога, их т. ск. поименно не расстреливают в концлагерях, но их «герои» — «шалют, целуют, пляшут и не пишут», — так сказал поэт-кровинец А. Ш.)

СТО ЛЕТ СПУСТЯ. КИНИК ТОДОР И АРТИСТКА АРФА (ЧЕПЧИКОВА)

На Хуторе — сад сад!

Главник у бабочек — ухо акул, чернофрочная ласточка сидит на проводе, как пингвин. Азаля, роза, пион, жасмин, сирень, крокус, нарцисс — лилия долин! Я шел с холма на холм, — Озеро и горизонт!

Солнце прицелится в логово грибниц и боровик взойдет из эпицентра, из пасти А-бомбы. На Озере трамплин для прыжка, прыгай с брызгой.

Киник Тодор женился, Арфа не знала. Да и зачем ей знать, зря бить тревогу. У Арфы нет папы в Тайной канцелярии, нет дворца и т. д., но у нее было прошлое. Как у всех артисток. Правда, Арфа была массажисткой во Дворце искусств, но в глазах у кровинцев и массажистка — артистка, если она у искусств, вот из-за прошлого-то Тодор и не мог жениться на Арфе.

У него прошлого нет, он весь в будущем. И у Гени Любяхиной какое же прошлое, но все остальное в избытке: есть где по-улыбаться. Что мне Геня, ее я не видел, чтоб не запутаться в действующих лицах. Арфу я любил: добрый друг! Двое у меня поселились на Хуторе: Тодор и Арфа. Пусть так.

Серый зайчонок, беглец от молний, ворвался ко мне. Встал на задние лапки, передними приготовился к бою, а уши скрещенные, — чтоб я боялся и не бил, — о лукав! Я дал ему лист капусты, взял в лапу лепешку листа, хрусти, хитрец; но пристрастился к ревеню, я варю ему кисель в эмалированном чайнике, пьет из носика, закатывая неопиcуемый золотой глаз! напьется — и в сад, пчел полюбил, прыг-скак на улей, сидит, умывается в пчелиной туче, как-никак их пятьсот, — ну-ка поумывайся! Лапкой кивает, как дирижер, — хор и оркестр! После концерта свалится с улья и по саду — ко мне, пчелы за ним, как мантия из фрейлин!

Паук свил сеть, летает по Хутору из комнаты в комнату, а к вечеру любит лампочку, забрасывает сеть на патрон и качается над моею головой, распуская когти, — мой маятник Фуко, золотой эталон моего Верховного Часа. Мух не ловит, ест колбасу, высасывая жир (на блюде!).

На блюде и мед, утром я ставлю на подоконник, прилетают двойники с крыльцами: стрекоз и стрекоза. У них завтрак, и солнце восходит. Сколько же тысяч глаз у стрекоз и зачем им столько? И что ни глаз — мир звезд. С этой двойней нет хлопот, мед поедят, делают по кабинету круг олимпийцев, улетают со звуком «тютят»!

В окно им на смену кукушка, на голландскую печь, закуковала. Я, сидя за машинкой, считаю. Прокуковала 114. Ты не очень-то считай мой век, красотка, не лъсти, не смейся, прогоню полотенцем. Осердился, прогнал. Но кукушка не дура для драм, прилетела, прокуковала 14, может быть, так мне и хватит, еще 14 лет отстучаться на клавише, или у тебя — подхалимаж? Пусть, я покупаю пшено, рассыпаю рукой по клеенке, — клюет! Кувыркается на кровать, и дерется зайчонок, фокусничает с кукушкой, кусает ей хвост, но и она клюется до визга! Мое одеяло — красный цвет, расписанный желтой лилией!

В саду семья ежей: мама, папа и ежик. Мама и папа — шары с человеческую голову, ежик — с кудачок. Когда закрывается мое красное солнце и открывается хрустальный, апельсиновый закат, я ставлю на крыльце из цемента все то же блюдо, на сей раз с молоком. Семья трех лакает, потом садятся на крыльцо и смотрят на закат, два мудреца в иглах и третий звереныш, еще лишь игольчат. Смотрят, как молятся. Будто на солнце заката, сидя с ногами крест-накрест, за холм опускается Будда.

По шоссе идут живые мотоциклы.

Так я живу за машинкой, а потом приедут эти двое.
Тодор в свинине и Арфа рыжего цвета.

— Ты почему не заплатил за больницу? Арфа не Лоллобриджида бюджета, чтобы ей не платить! — это Тодор, его рот.

— Арфа не проститутка, чтоб ей платить. А тебе бы не вмешиваться, ЭВМ, в то, что тебя не касается.

Сто лет у дружбы уж иной оттенок, но киник не видит полутонов. Он искренне верит, что без любви к нему никто и минуты не просуществует.

Киник Тодор уже из Верховных Инстантов, административный наука, свой, свиновый; рот окреп, извергается, как врагу, распоясался, крестник.

Я был в больнице, я потерял речь, в ухо укол — стал я кой-как заикаться, любовь к человеку проверяется больницей, мне штампуют приветственные телеграммы, передают в табакерке леденец, а в гирлянде цветов, сок из косточек в соковарке, а вот пожрать никто не приносит, не допускаются, да и не рвутся очень-то, — ко мне. Я голодал.

В палате висят: портрет и плакат.

Портрет:

стариканец с усенками, с бороденкой, прищуривается, машет мне ручкой в манжете, велосипедная кепочка, а сам смеется, лучинится смех старичка:

— Выздоровливай, сволочь! Нас ждут надежды!

Кто он? Я спрашиваю, когда от заиканья укол исцелил, а язык развязался.

Но что с ними: я спрашиваю всерьез, а на меня смотрят зрачком зайца и отвечают или «мы не знаем», или вообще-то так:

— Это Го-Жи-Нин.

— Но к чему же мне в больнице Го-Жи-Нин? Он же кидает!

— Он не кидает. Он бьетнамбец.

— Для чего мне в больнице бьетнамбец? Или это не он?

— Думается, не он.

— Может быть, Го-Мин-Дан?

— Не Го-Мин-Дан. Тот брился.

Вот и узнай у болеющих. Не узнаешь.

Не узнал я, кто это. Пусть висит. Висят же в Летейском саду коровы, и у портрета свой смысл.

Плакат:

«В 1814 г. хирург-кровинец И. В. Буляльский бальзамировал тело знатной дамы герцогини де Тарант, кузины несчастного Людовика XVI. У этой покойницы найдены нашим анатомом 507 мелких желчных камней, из коих 9 были величиной с

лесной орех, 14 величиной с горошину, а остальные с конопляное зерно».

На тумбочке книжка из сверх-державы Москвы. О медицине и писателях. Книжка называется «Ура», 1979, № 12, стр. 137. С русским языком я познакомился в Глобусе, выйду на волю, переведу для кровинцев:

«Спина — самая тупая часть тела к осязанию. Спина в 600 раз меньше ощущает раздраженья в сравнении с кончиком языка. Съе давным давно известно, однако в стольких книгах наши герои "чувствуют" черт-те что спиной. Да еще под платьем, под шубой. Наверное, кто-то первый написал, как гиперболу (во — даже спиной!), а потом пошло и пошло, став банальной деталью».

Автор: писатель-медицин, баба.

Я почувствовал спиной: я хочу встретиться с автором, с бабой; я возьму ее за кончик языка своей неумолимой кистью-пястью и 600 дней буду бить шприцрутенем по спине, ей же не чувствуется, а я вспотею, дунет, плюнет норд-ост в форточку, температура градусника у меня подмышкой 41, опять в больницу.

Вот Шарко, тот крадется сзади, как ненормалец, подражая движениям того, идущего передним, а войдя в роль, Шарко спотыкается, падает. И тот, кто впереди, падает, он, оказывается, чувствует спиной. Ах — ведь в спине позвоночник, а в нем спинной мозг, такая каша из сантимента.

Все время от времени убеждают, что у людей сверх-державы Москва есть позвоночник, — ходят они как хотят! Но м. б., в их позвоночнике нет спинного мозга? М. б., нет у них и темени, а тема тоже что-то чувствует, а м. б., сзади у них — лишь ягодица, сидят они на ней и пишут мысль для масс.

Есть у кровинцев загадка: «Без рук, без ног, без головы, — а — пишет!» Кто это? Ни один иностранец от нас не узнает, кто это. Нам бы закаляться, как сталь, а не выдается нами сокровенная тайна имен. Вот ведь и о старичке, очнувшийся, я спросил про портрет: кто это? Кто из кровинцев мне ответил?

Никто.

Что делается в больнице? Все за тебя делается. Не покупай шприц-иглу для инъекций, шприц-игл у нас нет, — возьмет медицин электродрель, просверлит в тазу отверстие (у нас и ягодиц-то нет, у нас — таз!), вольт в отверстие бутыль бормотух — и будь здоров! И буду.

В больнице я переводчик.

«В жизни великое множество людей одаренных. А в наших сочиненьях мы это редко подчеркиваем. Психологи различают одаренность в тонкостях органов чувств (сенсорная), в ловкости и точности движений (моторная), в обилии чувствований (аффективная). А главное — умственная и художественная одаренность,

не считая специальных видов (математическая, техническая, музыкальная и т. д.)».

Сенсор, мотор, аффект, а главное — умственная и художественная одаренность, — это у всех. Более специальные виды не считаются: математик С. Раманужан, техник Эдисон, музыкант Моцарт, — не считаются; вы — и т. д. Это мне нравится.

«Интересно, что чувствительность обонянья у человека очень высока (воспринимается запах одной двухсоттысячной миллиграмма розового масла)».

Что это за розовое масло? По цвету розовое, из киникалий? Такого у нас нет. Масло из роз? Кошунственность! — розы у нас есть, мы плетем из них венок для мертвеца, но кто же, тупица, догадается, делать из роз — масло? Масло делается из нефти, — спектр живописи!.. Автор — маньяк обонянья и розовый дальтоник.

«Дваадекакеровская классификация делит запахи по сходству на девять групп: эфирные — плоды, вина, ароматические — перец, анис, шафран, цветочные — фиалка, резеда и т. д., мускусные, луковичные — лук, чеснок, хлор, горелые — табак, дым, деготь, козлиные — запах козла, пота, наркотические — опиум, тошнотворные — гниющее мясо, отбросы».

Если вчитаться вслед за Гертрудой П, то в сверхдержаве Москва есть:

плоды и вина, перец, анис, шафран, фиалки, резеда, лук, чеснок, хлор, табак, дым, деготь, козел, пот, опиум. В Москве даже мясо — гниет и отбросы — есть! Уму не постижимо!

Хирург-кровинец И. В. Бульальский препарировал тело знатной дамы герцогини де Тарант, кузины несчастного Людовика XVI. Это было в 1814 г. Сейчас 1980, а И. В. Бульальский — уже Главврач больницы им. св. Уйицкого в Столице! За какие-то 164 года — такой блистательный карьер!

И. В. Бульальский вошел с вещмешком, взял молоток и зубило, приблизился.

— У меня нет камней в печени, да и печени-то, кажется, нет! Бросай медицинский инструмент в свой вещмешок и не вынимай! Я потерял дар речи, я оглох, но уже я лишь заикаюсь, а на'днях заговорю, а слышу я и сейчас: звон зубила! Так что: здесь, в больнице им. св. Уйицкого я здоров!

— Он потерял дар речи! Он оглох! Как же Вы исцелили глухонемого по имени Зубикомлязгик? Исцеляй же себя! Что, не получается!

— Не получается, ведь я самородок, я сам себя родил. Но самому себя мне не исцелить. Благодарю Вас, И. В., за реанимацию.

Такого успеха медицин мир не знал: три дня я был мертв, и

вот воскрес. В палате было 33 болеющих, а к моему прибытию осталось трое.

И. В. Бульальский потупился, польщенный, заворачивая молоток и зубило в антисептический бинт.

У что ни кровинца фамилья, имя, отчество, чтоб не перепутаться в досье. Но люди... но люди, так сказать! Они предпочитают кличку. К примеру: Зубикомлязгик. Знает ли кто в Столице настоящее имя, или же инициал хотя бы, а он — Первый Исцеленный! Никто не знает. Сам исцелитель — Я — не поинтересовался как-то паспортом, а произносить «Зубикомлязгик» трудно! А чем же лучше, если бы его звали, ну, скажем, Петропадл Джугашвилианович Человеконенавистнический? Подумается лишь, и то жуть: встретимся у Саркофага, тебя трясет, схватить бы флакон со скоростью света и хватить бы вовнутрь, а ты суешь ледяную лапку в руку кровинца, напоминающую челюсть экскаватора, и говоришь по-человечески:

— Здравствуйте, бон суар, гуд найт, Петропадл Джугашвилианович Человеконенавистнический!

Так нельзя! Пока произносится этот бред в 75 букв, все уже выпьют, что тебе останется? Лучше уж кличка, псевдоним, аббревиатура, доведенная до минимума букв:

— Здр! бср! гднт! ЗБКЛЗГК! — здравствуй, будь счастлив, где-нибудь тут, Зубикомлязгик!

Трое, оставшиеся в живых, первый имеет кличку Мцыря.

Мцыря, лежащий, голый, на обнаженной простыне из желез, к нему водят студенток-медицинок, посмотрим же попросту на незаурядность! У нас нет слуг, а кто снимает в эту минуту, кому надевать одеяло? Я снимаю, я надеваю, Мцыря — экспонат для всех.

И. В.:

— Если тебе вздумается исцелять в моей больнице, сомневаюсь, что ты выживешь с диагнозом «плюс». Отдай одеяло мне, а займись-ка своей профессией: возьми рулетку, измерь все члены Мцыри по Леонардо да Винчи... Эх, экземпляр!

Я не любопытствую нигде, ни о ком, но я взял, измеряю. Пусть у хирурга останется всякое мнение, как-никак сделать такую карьеру за 164 года и, не приказывая, попросить, — не всякий найдется!

Все измеренья вписываются в знаменитый круг Леонардо. Мцыря, оказывается, не «эх, экземпляр!», а уникам пропорций тела: рост 1 м 99 см, размах рук по кончикам пальцев 1 м 99 см и т. д., почитайте Анатомический Атлас.

Красавец; черных блестящих кудрей — аллюр; белый, в скулах

романтизма; двубров! С жестом изяществ лежащий в золотом пенсне, и не смотрит на студенток, — сквозь! Влюбленные по уши, никто из них не хотел уходить. Он мог в сей миг опустить на койку любую, отделать ее так, что за ушами — свист зверин стал б!

Но не мог.

Не хотел он ловить сей миг, не зверь, отворачивался, чтоб и не видеть ему эту гадость — женщин! Да и фаллос его был занят: там был градусник. Женщины, хуже мать-мачех, что ему губы этих голубок, ясность их ягодиц! Мцыря, молодой таксист автопарка, делатель денег, но — честолюбец секса и виртуоз: он лелеял свой фаллос, брал его пальцами по утрам, приподнимал ему голову, как гладиатору, и вставлял в фаллос — градусник! Точнее бы выразиться: он вставлял градусник в мочевого канал, и фиксация: перевязывал бантиком из алюминия фаллос у корня (нить у нас нет, я писал!). Затем: Мцыря садился в свое такси, там-то фаллос подсакивал от своей любви, а Мцыря крутил теперь круглые сутки баранку руля, воображая, что крутит за ягодицу не руль, а любую из виденных ню из кино — Мцыря, любая из них попадает в калейдоскоп твоей секс-мечты! Сутки и сутки, гоня в такси, как генетик, он испытывал раз за разом оргазм! Идеалист. Но бантик-то бантик, оргазм-то оргазм, а термометр проскользнул сквозь петлю из алюминия и пробил мочеточник. Извиняюсь, но началось кровоизлияние.

У нас же, где кровь — там больница. Без крови в больницу не попасть. Советую, если у тебя инфаркт (я и об этом писал, но мне б поподробней!), не сообщай в «Скорую помощь», не возьмут, симуляцья. Ответят: эту трагедию нам ни к чему и трогать, пьян, отлежится, а утром придется идти на труд и пойдет, как миленький! Так что, если инфаркт, не обращай внимание на сердце, а не медля, возьми нож (нет, ножей у нас нет!), возьми вилку (и вилоч — нет!), но ты не отчаивайся, хватай стакан от бормотух, бей в дверь, а осколком перережь себе вену на локтевом сгибе, а уж если не перережется, то порви, осколок стакана остер! «Скорая помощь» явится тут же, тебя как самоубийцу, с термином суицид отправят в псих-больницу и будешь там — быть! Твой волчий инфаркт вылечат в час, а вот в досье появится птичка-пестричка: шизофрения, вооруженец бритвой, ой опасен. Сердце теперь в норме, подумай о поведенье. Дай энность брюкалей жандарму псих-больницы, тебя выпустят, напутствуя:

— У Вас было сумеречное состоянье. Астения, интоксикоз, в таких случаях сердце не бьется. Сейчас оно бьется. А вены вам пригодятся, в них кровь, а мы — кровинцы! После инфаркта полагается бриться электрическим фонариком, он выжигает волосы и морда становится голубиной, — как для Юбилея. Но

электрических фонариков у нас нет, вот и выписываю Вам спецрецепт с печатью, получишь еще и фонарик для бритья, для массажа кровеносных сосудов лица!

Не сетуй на судьбу, Мцыря! — градусник не разбился, а вот если б разбился, первая капля ртути убила б тебя, недогадливый девственник! Но профессор И. В. Бульальский, практиковавший всю жизнь мочевой пузырь, он — разрубил тебя, неженка, звонким зубилом от впадины между ключиц до мочеточника. Ничего не нашел внутри вен, но я дал ему орден — за недра, за поиск в них икса. Потом уже я, утешитель, засунул щипцы-длинногубцы в твой фаллос и вынул градусник. Ведь это не важно, кто вынул, важно, что ты, Мцыря — не мертвец. Живи, дон Жуан!

Капитан лейб-гвардии при Дворце Расстрелов, Антон Частоколянец:

— Дворец Расстрелов — название из вредных времен, сейчас там картинная галерея, почему ж не переименоуют? Остается мне вздох: не переименоуют, зарекомендовался, во Дворце — стреляют. Но кто и в кого? Никто, ни в кого. Смертной казни у нас нет, а патроны есть, вот и постреливают с невероятной частотой, автоматов у нас нет, откуда бы взяться патрону? Из глаз. Глаза кровинца, в общем-то любующиеся искусством, а отвернешься: нет-нет, а раздаются выстрелы или же залпы. Мы вызывали медицинских светил, рассматривали; что за устройство в глазу — для стрельбы отдельными выстрелами и короткими очередями? Светила на консилиуме сказали: нет. Таких устройств в анатомии нет. В анатомии нет, а в глазу есть! — сказал я. — Пройди за портьеру! — сказал я светилу, в ярости. — И проверь из-за портьеры — есть или нет выстрелы. — Ну вот еще! — разнервничался светило, — я не Полоний, чтобы мне всунули за портьеру пулю!

— Я — искусствовед в штатском костюме, на самом же деле я капитан, развяжу культурный галстук, а под ним — воротник с вензелем, а под штатским плечом эполет. По статуту Столицы каждый кровинец обязан в кратчайший срок изучать и понять до тонкостей все искусство предшественников и современников, иначе от «Логоса Хамерики» наветов не оберешься, как будто мы невежды и никого из мастеров кисти — не вешаем. Телесных наказаний у нас нет, вот и приходится гнать плетью толпу миллиона в галерею — для знакомства с прекрасным. Но на холстах намешано столько красок, что не выдерживают нервы, вот и постреливают втихомолку, а краски от пуль съезживаются, оплавляются, морщятся, не спасает и реставрация. Как говорится, это и к лучшему: придут кровинцы с простым сердцем, с жаждой тут же схватиться за кисть и написать что-нибудь свое, искусственное, а тут тебе пожалуйста — стрельба отдельных элемен-

тов, и поврежденные композиции, — тоже мне эстетическое воспитание! — так хмыкнет кровинец и уже не купит ребенку мольберт для такой карьеры, а купит рейшину и пойдет в цирк с циркулем, чтоб чертить, как Вы, Иван Павлович, на песочке арены формулы и фигуры, это же развивает мировоззрение глаза для Вооруженных Сил. Как же переименуют Дворец Расстрелов? Да никак. Я бы и сам пустил пулю в это перевоспитание, да накажут по инструкции.

Но стоять на карауле и пропускать через шлагбаум миллион за миллионом — вспотеешь солью и во сне. Я и придумал: над подъездом у входа в галерею висят большие круглые часы, у них стрелки ходят при помощи электроэнергии. За одну ночь как-то я разрисовал часы портретом, пейзажем и натюрмортом, получилось уж не менее интернационально, чем в галерее для интересующихся. Утром я объявил в рупор, что необязательно заходить в галерею для многодневного осмотра, что эти часы — микроэкстракт всех жанров живописи, графики и скульптуры. Я буду стоять на часах, как и положено начальнику караула по уставу, а миллион толп пусть себе стоит под часами и смотрит на мое произведение, так быстрее, и на открытом воздухе, а денежки — в кассу. В том-то и дело, что мой почин был очень одобрен художественной комиссией, какая экономия времени и энергии знаний для труда. Ликовали целый день: и я, и Вооруженные Силы, и Академия Художеств к вечеру обещали присвоить мне звание Лучшего кровинца по мастерству, а к вечеру меня познакомили с двумя жандармами в белых халатах и те спросили, почему в кассе нет денег. Я изумился: все так ликовали, а миллион толп больше всех, а тут — денег нет! Быть не может. Показали: кассы пусты. Оказывается, у нас никто не призадумался заплатить за искусство на открытом воздухе. Это превзошло все ожидания.

— Что с Вами творится, капитан лейб-гвардии? — спросили, в белом.

Что я мог ответить? Со мной творилась только мысль о правильности моей идеи.

— У вас — бред ревности! — сказали.

Если вы о психике, у меня какой-то бред и правда, но при чем тут — ревность? Вы болеете душой за искусство? — спросили? — А как же! Разве не видите? — Значит, вы душевнобольной. — Я понял, я признался, как дурак. Смотрят в глаза окуляром: так и есть, у него в глазу зрачок! Зрачок раскрыт постоянно с какой-то навязчивой мыслью, как в бреде. Я огрызнулся: что ж, я буду стоять с закрытым глазом на часах, да меня за это — под суд! — Отстаньте вы с детективной макулатурой! У вас есть жена Римма?

Я:

— Эта сука из сук?

— Вот, пожалуйста: у вас ревность!

— Да какая же к псам ревность, если нет ни лейб-гвардейца в штатском, кто бы с ней не уснул, пока я на карауле! Спросите их, спросите ее.

— Так уж и ни одного! Ревность! Гипертрофированная ревность!

Мы спросили Римму, ответила: мой Антон пьет напрапалую, бьет боем и меня, и лейб-гвардейцев по ночам, а сам спит на лестнице.

— Где же мне спать, если с ней спят?

— Острейшая астения! Не бередите свой бред, а вам бы полечиться. В тот достопамятный день вашего новаторского предложения о часах мы получили 250 млн. писем и циркуляров с жалобой: капитан лейб-гвардии Антон Частоколянц не дает народу настоящего искусства, шедевры живописи, графики и скульптуры он подменил искусственными электрическими часами, размазанными издевательскими натюрелями, в галерею никто не допускается, а это — недопустимо. Это он сделал от ревности: хочет лишь сам смотреть и совершенствовать свой вкус, а нам — шиш! Он маньяк! Он любит лишь свою Римму и народное искусство. В обществе обещаний недопустима такая семейственность.

— Римма — шлюха, а не народное искусство!

— А как у вас с кассой? Где деньги? Вы приревновали и деньги к народному контролю и тоже присвоили их себе. Все у вас, видите ли, ваше: и Римма, и галерея, и деньги. Что честность, — она у вас на месте. А вот в псих-больнице — там браундспойты, вам отремонтируют ревность.

Изоляторов у нас нет, но клеим БФ-6 мы пользуемся. Вот и И. В. Бульяльский извлек пластмассовые пробки из бутылей бормотух, приспособил их к черепу капитана клеим БФ-6, а в пробки вставил электроды. Это называется энцефалограмма. По 18 часов в сутки держали Антона, связанного вервьем, на стальном столе под рентгеном, рассматривая из-под ладошки реакцию мозга. Был ли бред, не было ль бреда, — искать им, не найти. Антон смеялся как астматик, неокормленный, одичавший, у него выросли женские груди, и Бог знает что еще вырвалось б из его кишок, если б он не плакал, неутешная душа. В том ему повезло: он выплакался до размеров брошки, вправленной в бриллиант-ки-слезинки. Я дал брошку Римме и сказал: носи. До поры, до времени. Если я выйду отсюда — увидим.

Я вызвал пальцем И. В. Бульяльского, я сказал:

.. — Вот что, И. В. Бульяльский, знаменитый хирург-кровинец. Ты ведь умер в середине XIX века, честь по чести. Я воскресил тебя для трех новелл, а ты и с двумя-то не справился. Если у

тебя есть религия, помолись в миску с киской. Не стужайся, как смог. Я воскресил, а теперь подыхай, как подлец!

— Ты свихнулся! Тоже мне, мэтр молитв! Я возьму молоток и зубило, пойду по палатам, на койках, как говорится, унынье, как у Нила! Зазвеню я — оживятся от ожиренья!

Я:

— Что это за воскрешенье? Занудство, честное слово! Мне бы Лазаря, у него дочь Мария! Где Мария, И. В.?

— У меня нет дочери! — склонился И. В., поутрюмел.

— Вот видишь. Была бы Мария, она вытерла б мне ноги волосами.

— Ее нет, — хирург сник.

— Ее нет, вытирай мне ноги волосами — сам!

И. В. Бульальский выхватил из головы последние волосинки (пригоршню, грешник!), сжал их в горсть, благоговей, к ногам...

— Сгинь со страниц моих, скворец!

Третий: Тварь Дрожащья. Какая невыговариваемая кличка!

Его стягивали корсетом из китового уса, чтоб не дрожал, давали душ из кипящей сорницы, держали клещами за уши по пятнадцать санитарок, дрожь не унималась. Он лишь вырывался к выходу, шлепая шлепанцами.

— У меня температура 66 лет! Я родился с температурой 41,9. До смертельной мне не хватает 0,1. Почему врачи не знают, почему у меня температура? Где И. В. Бульальский, хирург-храбрец, он бы мне понизил температуру до минимума: я уже не раз холодел при виде его молотка и зубила! Удержите мою дрожь в жизни, охладите меня яблоками, я мастер тех, кто жует железо, я отблагодарю. Я выкую вам корону для крематорья после вашей смерти. Что это я бегаю, шлепая шлепанцами, с мундштуком, как лошадь дрожащая, кусаю мундштук, — а все — от температур!

— Не тревожься, Тварь Дрожащья, не дрожи. Температура 41,9 — не праздный признак. Твое тело борется с болезнью, гордись, кровинец! Вот когда у тебя укротится тело и отрегулируется температура до 0 — что с тобой случится? Мы родились в борьбе и боремся без бомб! Наш девиз — борьба, с кем попало, в любых обстоятельствах. Посмотри на меня, Тварь Дрожащья: чем лучше мне, я лежу заикаясь, лишь челюстью чуть-чуть шевелю, как мим. Нет, мне хуже, я не лежал бы и т. д., если бы знал, с кем мне бороться во имя общества обещаний. А у тебя же 41,9, ты — в бешеной борьбе, тебе известен враг, он здесь, в тебе, он — твоя температура! Ты уже на 0,1° от смерти, так борись же, счастливчик! А грянет гибель от градуса, — прощай, я плачу! Я напишу о тебе, неопиcуемый! необъяснимец!

Как бы то ни было, Арфа явилась. Женщина рыжего цвета, она принесла мне красную икру, светлую севрюгу, зеленый лук и каракулевою колбасу, — о продукты нашей пропащей юности, о которых юность цветущая и не подозревает, существуют ли они хоть в учебнике о пищевом.

Арфа прогуливала меня по тритонным тропинкам дикорастущего сада больницы. Она показала спец-пропуск и ей дали хвостину, — чтоб я далеко не убежал.

За две недели до моей больницы Арфа позвонила и сказала:

— Басманов, меня уже нет.

— Куда ж ты запропастилась?

— Я приняла 70 таблеток зуноктина.

Я взял молоток, такси нет, не найти, я побежал с молотком. Я бежал по Несскому проспекту до Лавры, там не тот мост, я побежал обратно, к Оптинскому мосту, этот разводился, раздвигался, я отшвырнул жандарма от перил, перепрыгнул через щель, я завернул на Оптинский проспект, я, задыхаясь на лестнице, ударил — тем! — тяжким млатом в замок, дверь дрогнула и отвалилась.

Ее уже не было.

Арфа лежала без лица на синем сафьяновом ковре, без сорочки, груди синие, волосы свисали кой-как, ноги наголо, как у птеницы. Я вызвал спецмедмашину по пропускам от Милюты Скорлупко, я сделал массаж висков и пальцев ног, — все, что я имел имя сделать. Завернули в саван, увезли в санях.

Тодор уже женился, а жил с Арфой, в общем жил и там и сям, в ту ночь от кого-то (через восемь все-таки лет — в лес!) Арфа узнала про узы. Киник умел киничить.

Я позвонил ему: Арфа на реанимацьи. Не жди надежд.

Он откликнулся, жизнелюб:

— Ну, я-то выкручусь!

Его потрепали б за хвост профессорской мантии, но он выкрутился б.

Я не сказал Арфе, мне было нипочему-то, но вот и я был на реанимацьи.

— Нам нужно венчаться, что ли, — считала Арфа на тропинках, — этот хам дал маху с размаху, для меня этот свинин со Святым Духом сдох, у тебя после Майи никого нет, да и места нет и для меня. Что нам остается, последним из Аллен?

— Так скоропостижно, Арфа? Взять — и повенчаться? Пообщаться, повращаться, взять и — повенчаться? Я прочитал бы тебе лекцию об анатомии. Мне — жутко, тебя — жалко, почему бы и не повенчаться? Но я не педераст.

— Я приеду к тебе на хутор и будем гулять, будто бы. Я привезу тебе опахало из страусовых перьев и буду перед сном

твоим сидеть и опахивать твое лицо мужа и воина: «баю, бедник!» И буду как сестра целовать на ночь тебя в лоб любви твоей — к Майе. Они-то с Тодором не подрались когда-то из-за признака педераста. Баю, мой предрассудок!

— Мы оба чтим знаки казни, а у обочин! — не обвенчаться. Так, Арфа.

Через две недели после моей реанимации вот ведь приехала. С Тодором. Двое на диво. Тодор не мог допустить, чтобы Арфа приехала одна. Кто бы стал ее попрекать со слезой в сердце — прошлым? Киник отправил Геню Любяхину к папе, взял ослабленную суицидом Арфу — на солнце, прибыли. Я впустил.

С прежним вас пламенем,
с прежними пломбами,
с прежними пробками!

Чем
был
мне
мил —

ТОДОР!:

Он ни при каких обстоятельствах жизни не расставался с **НЕСЕССЕРОМ**.

Травма, битва, XX век, смерть, концлагерь, стыковка в космосе, укол витамина в задницу, — Тодор тут как тут, растворяет несессер и вынимает крем для бритья, бритву для бритья, станок для бритья, одеколон для бритья, пять пилочек той же конфигурации, но для ногтей ноги, щипчики для заусениц, ножички для нужд, щипчики, чтобы выкусывать волоски из ушей, щипчики, чтобы выкусывать волоски из ноздрей, пинцетики для пациентки, кремы, предохраняющие от крематорья, — писчая бумага у нас дефицит, ее у нас нет, выдается лишь писателям письмам, да и то из спец-сейфов с сигнализацией, — не могу я тратить столько бумаги на описание несессера какого-то киника Тодора, если даже для пудры и духов Павла Ивановича Чичикова Гоголь, в общем-то щедрый на детализацию, отвел абзац, а Оскар Уайльд сказал в трех фразах о зеркальце Дориана Грея, а уж Оскар Уайльд посвятил этим несессерам три четверти кратковременной своей жизни английского лорда, эстета, сноба, главного редактора журнала мод для женщин и был настоящим гомосексуалистом для любви, а чего я-то, ничего не понимающий в принадлежностях мужского туалета, — расписываюсь? Я мужчин-то и не нюхал!

Переводя дух, отмечу: я не вмешиваюсь в ассортимент ухода за телесами моего героя.

Я писал и пил. Пока у Тодора несессер, беспокоиться не о чем. Никто не будет обесчещен, мир нам будет обеспечен. Ни одна хунта не посягнет на хутор. А дуэт в действии — как в кино. Так, одна деточка-дурочка призналась мне:

— А знаешь, Иван Павлович, возьми меня, возлюбленный, СПАТЬ С ТОБОЙ ИНТЕРЕСНО — КАК В КИНО ХОДИТЬ!

Дуй, дуэт! —

киник спайвал артистку снеговым вином «Агнес», он бил ножами зайцев у холма и тушил их в капустных листьях, он звал ее в Озеро плыть «баттерфляем» и плыли до озелененья, он сбрасывал ее, как трупца с ребрышками — с трамплина, и артистка рыжего цвета висела в волнах, как в водевиле, он выпаривал ее дубовым листом с квасом, с пивасом в сауне и спускал в ведре на цепи в колодец, тащил ее за своей спиной по шоссе, жутко с шуткой смотреть мне, как они под солнцем сивиллы — в пробежку, нет, бег македонского марша: туша в трусах впереди, безволосая, а за нею — высокая в ребрышках женщина, красавица кросса, поспевающая за великовозрастным любимым, сцепив челюсти-зубья, и локти ходят ходуном, а волосы рыжего цвета мотаются хоть у ног!

Чрез знность линз-времени вся их физкультура, спорт их, спартанцев, проясняются: Арфа была беременна, Тодор изгонял из нее ребенка, она — откликалась.

Но ребенок взродился, на радость веселощекий, и киник Тодор взвалил на свою совесть и эту — ничью ношу; он жил-был в семье, но Арфу и сына окружил заботой и роскошью; он заботился, чтобы Арфа не завела себе любовника, а для сына привозил из-за границ пепельницу. Пепельниц у нас нет.

ЧЕЛОВЕК В РЫБЬЕЙ ЧЕШУЕ

Мне снилось: там и тут толпы идут!

Топ-топ, — топот толп.

Толпы идут со штыками, лезвия в красных кровяных шариках, лязг!

Идут гоплиты-кровинцы, поют пеан, в глазу у них кнопка электропульта, перечеркнутая молнией, и надпись на кнопке: «Не прикасаться. Убьет!» На гоплитах нет одежд, нет их, нет, хоть бы трусы, чтоб купаться, но и трусов у нас нет. Мускулатура же — есть, шлем на лбу — есть, шлем на лбу, гребень петушинный на нем, а в межножье, там, где перст первородный был, — нет перста! — бубенчик, как зимний, трясется динь-динь!

Я проснулся.

Я отстранил окно, а вода — по стеклам! Ни звука звезд, с холма на холм идет строй струй... Шаг — штык!

Я вышел вон!

Я взял себя в зубы, я сказал дождю:

— Не лейся, прекратись, уйди наверх!

Хутор храбрился. Я стоял на крыльце из цемента, мои ноги босы, мерзнут аки мерзость.

Дождь не ушел; прекратился, не каплется, а в моем саду — взвивается фонтан, из клумбы! В моем саду яблоньки-двойники, там дождь превратился в фонтан, фосфоресцирует, на развесистых струях висят бокалы, а в них — дождевая водица! Вкусная!.. Дождь — стратег, бутафор.

— Дай мне день! — сказал я вверх.

День мне дан:

солнце, малиновое, на тяжких ногах кенгуру, с холма на холм, в прыжках, — ко мне! Прыжок над садом, фиксация, солнце убрало ножки, как шасси.

— Поторапливайся! Я дрожу от бессонниц! Согрей, у меня нет сигарет!

Солнце выпустило язык (как у коровы!), облизало мое смерзшееся лицо, неживые ноги. Что стесняться? Уста мои, где глаголы гнева? — шепот щенка!

— Убирайся вверх!

Взошло солнце и засветило, как настоящее.

Над холмами, над озерами, над мавзолеями изб — чей луч в луч, чей лай лисий?

Космодрама, что мне до нее? Нет у меня сплина, лишь не сплю я. Бессонница.

Бессонница — от Беса, Бес — от бельмеса, бельмес — от бессмыслиц; на хлуя Аллаху лях!

Я, прародитель новых племен и имен, я стою на крыльце из цемента под собственным солнцем с Книгой Притчей. Я притчей 31 говорю: новым поколеньям, новым погорельцам:

— Что сын мой? Что сын семени моего? Что сын обетов моих?

— Не отдавай сил девицам с девизом, ученицам-геометристам, не отдавай путей твоих губительницам царей.

— Не царям, Лемуил, пить вино, не царям!

— Открывай уста свои за безгласного, и для защиты всех сирот! — вспоминай их всех!

Я вспомню Зубикомлязгика: что мне открывать уста за него, язык его звонок теперь — мат метафор! Я вспомню киника Тодора, что уста ему мои, если его рот — аккорд спец-афоризма. Я вспомню дельфинистку Юлю, ее жажду жертв во имя себя — Женщины, теперь ее усмирил клоп: вполз в уста в больнице им. св. Уйбышева и убил. Я вспомню тебя, Бадья Жужжомец, увы,

не художник, что ж у тебя за уста, им негде по-ул-ыбаться! Я вспомню Геню Любяхину — ей есть где есть. Я вспомню, пойму: нет безгласных и сирот, вон и Дуня-ведунья представляет себе аборт через рот. Я вспомню Антипа Инфантьева, манометриста, и как он отклеил иностранные марки устами. Я вспомню Мцырю, уста ему вообще-то ни к чему, и Частоколянца, превращенного мною в брошь, чтоб не произносил пустой монолог. Я пойму: сирость — это лишь старость, а старость не защищают. Так в Спарте я вспомню фетидии пьедестальцев, и дендизм Леонида, и вспомню я всех, и зальюсь я слезами, и вымокну раньше, чем заплачусь я, Б. Л. (Вам ли было не плакать в самаритянские семьдесят лет!)

Чем больше людей, тем меньше любви, всех не вспомнишь...

Дождя нет, я не вымокну. Солнце светит в сад, я пойду смотреть плод. У меня теплица для защиты всех сирот (не царям, Лемуил, пить вино, не царям!), я сам обтягивал теплицу тончайшей пленкой полиэтилена, посмотрю вовнутрь сквозь пленку — все вижу.

Посмотрю — вижу:

стебли, как ботва злака зверя, зеленая! клубни зреют в перегное, а на ботве из завязей уже висят на пуповинках красненькие человечки, по вкусу — как помидор! Я — прародитель. Я их выращиваю в теплице, я их выпускаю из мрака в миры. В сентябре я сошью суму им из парусин суровой ниткой, выкопаю лопатой из стали клубни, брошу в суму и скажу:

— Идите и да будьте!

Пой Дух мой, — пойдут!

Пойдут, семиглазый народец теплиц, закаленный, смышленый, посмотрит в священное солнце и — кольца на мускул! Дождутся дождя — прыг-скок с соломинкой в воду войдут, как в седле, в Адогу-море вольются, им восхищаться бронтидами, в рученьку — в рупор им петь:

— Люди, лютики, людовики! — Как живете, живцы? Как жуете, животики? Вы, инстанты из танка, вы, дуэт диссидента, вы, рабы-рыбари, те, кто жует железо для лезвий, и те, кто хлебает хлябь для блях, девицы с девизом для визы влагалищ и геометристки для басен Басманова, струители сатанинских надежд, обобществленные в обществе обнищаний, — как трясется вам, трусость, как выдумывается вам враг для борьбы (с барабаном!)? Что, неродившимся, нам? Мы на соломинках прыг-скок по водам, как с нами бороться, уродцы? Ведь мы меньше мизинца! Вам — топот толп из телес, бей булыжником ближних, мы готовы и к мегатоннам, а вы-то хоть — где выход? Кара Марса нам, красномясым! А у нас — маленьких, миленьких, нам не нужен ни огонь для агоний, ни печь для пищ, у нас клубень — из нерукотворных теплиц, лизнул язычком и сыт на весь свет; и

соломинка — хоть заплывай, хоть заплывай, хоть вставь ее в рот и дуй-подуй: нас — миллионы миллион, и если мы все и повсюду вдруг дунем — о море Адога! о морт от арт! — такой ураган ударит! Мы уже не грозим вам, о любвеобильцы, мы еще лишь грезим!.. Нам смеяться лишь, слабеньким, петь в седле по соломинкам!

Мир замер,
Мир замер, мерзавцы; — замерз!

О Ты, отдай мне Озеро!
На отчужденном Озере, как на монете металла, — профиль чайки.

Камыши стоят, как эскимо в шоколаде, на палочках.

Но всякое чудо превращается в чудовище:
в камышах сидел ЧЕЛОВЕК В РЫБЬЕЙ ЧЕШУЕ!

В камышах у берега он сделал постамент из цемента, построил на нем комнатку из доски дуба в рост человека, но без оконца, чтоб никто не видел, что этот человек покрыт рыбьей чешуей. Как выросла на нем рыба чешуя? — вопрос не к месту.

Я подплыл на лодке, я осушил весла.

На лице человека тоже рыба чешуя, и на ушах, и на веках. Что за рыба в нем завелась? — на груди, животе и на ляжках чешуины как циферблаты, а на лице, на коленках, на пальцах чешуйки как чайники... Что за человек! — весь в рыбьей чешуе, спрятался в камышах от людей, и оконца в игрушечной комнатке не сделал, а замаскировался: покрасил дом свой в цвет зеленый, сидит, полулежит в шезлонге, дверь нараспашку, — принимает солнечные ванны, жмурясь.

Увидев меня, человек в чешуе, как в медалях, — встал! Весь зазвенел! Ужас, ужас! Я не эпилептик, но и у меня есть конвульсии в виду таких людей.

— Вам не мешает камыш? — спросил человек. — Если мешает, в моем доме есть велосипед, можете сесть в седло и уехать на Хутор, Иван Павлович Басманов!

— Камыш мне не мешает. Если уж ты меня знаешь, то — кто ты, кровинец?

— Зачем тебе мое имя? Пожуешь и забудешь за челюстью. Я не могу пригласить, извини, тебя, мой дом не для двоим, здесь не поместиться. Дом для меня, день ото дня. Мне не помочь.

Почему б не помочь?

Я:

— Что ты ешь?

Он:

— Что привезти? Вечереет, я надеваю плащ, у меня велосипед, еду в магазин для капусты и покупаю кочан.

— Так и сидишь день за днем?

— Я так сказал. Я сижу в моем доме, в шезлонге.

— Не грустишь?

— Нет, не грустно. В Солнце смотрю, Луной люблюсь, рыбку ругаю, если не ловится, — не до грусти.

— А зимой? То же Солнце, та же Луна, та же рыбка. Капусту квашу в сетях. У меня есть лом, пробью лунку, ловлю на морышку, летом я рыбку сушу, а зимой замораживаю.

— Книги читаешь? Я привезу.

— Книжки? Нет, не читаю. Книжки — как ноги, на них далеко не уйдешь. Книжки, как люди: друзья до зари, а потом — своим путем!

— Что... я еще мог...

— Иван Павлович Басманов. Вы геометр, Вы — снайпер формул и фигур, что ж это Вы превратились в вопросительный знак? Или — интервью для рукописи? Или хотите исцелить? Не исцеляйте, я не поддамся. Мы докатились: гений, и чем же занят его умнейший ум Всех Времен: исцелением! кого? — приматов! Ум твой, Басманов, умопомрачился!

Ничего себе, — на моем отчеканенном Озере, — меня отчеканивают!

А я? Что же я?

Я смутился:

— Я буду пить 666 дней. Это — борьба со Зверем, это трюк-трагедия, я — Белый Клоун Бога!

— Борьба, трагедия, Белый Клоун Бога!.. Я вот сижу в рыбьей чешуе, я вот езжу на велосипеде за кочном капуст, рыбку ругаю, а вот грянет молния, законвульсируют ливни, я заключаю дверь на ключ, встаю в твоей тьме, сквозь щели — вспышки, всплески, грохот грядущего Хама! Я встаю, я складываю две ладони для молитвы, а они — в рыбьей чешуе, а они сами собой, без меня, стискиваются в два несокрушимых кулака, а тело мое, без меня — потрясает кулаками, а слезы и спазмы душат меня не любовью, Басманов, неистовой ненавистью и, рыдающий, не дарящий, скрюченный в погибель в своей песьей конуре, я кричу на коленях в тучи:

— А БОГ? ВЫ В БОГА ВЕРУЕТЕ, БОГ!

ОЙ ЛИ, ОСВЕНЦИМ ЛИ?

Календарные числа — от римских календ. Читайте Овидия, благодаря «фастам» он не попал в Освенцим. Фашист любит фасты, без фаст ему — жизнь не в жизнь. Прояснится фашист с солнышком, послушавит перст, перевернет листик календаря, — сердце засветится: и в этот день — фаст! Бей в колокол, ко-

мендант, объявляй Освенциму, что сегодня юбилей легионера Калигулы или же Юбилей открытия атомной гидроэлектростанции в междуречье Миссисипи-Миссури, Тигра-Евфрата, — выводя илликумов на деменстрауцию с флагом — фалангой, хойте им — иллиуминация! В храме крематорья светоч был бы — душа задрожит! Зачем же в Освенциме Овидий, он — союзник, молдаванин, свое отфастил на Дунае, зегзицей.

А вот Нильс Бору в Освенциме по душе, подошел бы к их постулатам, все друг друга дополнили бы по календам дополнительности, колдуны. Не прячь в печь, в ней свет. Очень бы нужен был Нильс Бор в Освенциме. А все потому, что ему никак не удавалось привести к согласью два взгляда на вещи: классический — на процесс распространенья света (в виде непрерывных волн) и квантовый — на процесс взаимодействия атомов со светом (в виде череды прерывистых актов). Обмен энергией — важнейшая сторона всего происходящего в природе. Но тут условие непрерывности обмена сталкивается с условием прерывности. И ускользал у Нильс Бора от пониманья механизм, способный сочетать и то, и другое.

Здесь механизм — не ускользнул бы от пронизательного окуляра Нобелеата: крематорий! Свет распространяется, атомы взаимодействуют; крематорий варится! Условия непрерывности колонн, уходящих в печи, не сталкиваются с прерывистостью команд, — обмен энергией согласуется ЭСЭС. Тут уж Нильс Бор постеснялся б воскликнуть: «Эврика!»

Вацлав Нижинский: «Грация приобретенная имеет предел. Грация врожденная развивается беспредельно»...

Что было делать Вацлаву с его беспредельной грацией, когда у световых волн-войн, у печей публики в комнатухе этого Палац-Театра, виталистского варьете, администратор Морис Волни заявил, что между номерами пред откормленными заключенными — будет играть оркестр, такая привычка уж у публики, отвлекаться перед представленьем, — пока не в печь, Вацлав приказал отменить эту привычку. Отменена.

Но когда в кресла воссели войска ЭСЭС, жаждущие таинств танца, когда Нижинский собирался надеть костюм Призрака Розы, а костюмер натягивал уже на него багряное, фиолетовое трико Л. Бакста, прикальвая булавками лепестки роз, на сей раз искусственных, — за дверю уборной, на сцене Освенцима, оркестр, до сей секунды лакающий лимонад, — вдруг грянул «Крестьянский вальс» из «Спящей красавицы»! Когда гения Психеи, медиума граций, ничейку нерва бьют в затылок ободом Чайковского, — он вздрагивает вдруг, закусывает язык, бросается оземь, жуя испражненья зеков, рыдая, как дурак, в рогах, катаясь,

конвульсируя, бляя, срывая с себя стальными когтями кожу, — о эра эриний! Надо ведь, в недоуменье гость из гестапо: вот — розарий костра в печи, а где ж Роза? вот прожектор — где ж кантилен и прыжок? Освенцим не даст ответа.

Нильс Бор рассекретил в световом крематорьи атом и дал миру откровенье гения: БОМБУ, в один миг разрушающую миллиарды живых структур. Но Нильс Бор, там, в Освенциме, не понял нерв атома. А этот нерв-атом, вот он — Вацлав! — катался по земляному полу уборной, в слезах, в спазмах — сумасшедший уже!

Овидий ответствовал за безумье Нарцисса, но Нильс Бор не понял психеи атома, Бор был машиной структуры ума, а нерв интуита бился в сумасшествьи.

Интересный параллелизм: поучительная иллюстрация генетики: Кристиан Бор, профессор Копенгагенского университета, член Датской академии, физиолог — родил троих детей:

ДЖЕННИ,

НИЛЬСА

И ХАРАЛЬДА.

Дженни в детстве сошла с ума, Нильс и Харальд стали учеными мирового класса.

Томаш Нижинский, гастролер странствующей труппы польских танцовщиков, прима-исполнитель знаменитого прыжка Дьяволино-Перро — родил трех детей:

СТАНИСЛАВА,

ВАЦЛАВА

И БРОНИСЛАВУ.

Станислав в детстве сошел с ума, Вацлав и Бронислава стали танцовщиками мирового класса.

В 1886 году Нильс Бор ехал в трамвае с матерью, в Эльсинор. Мать рассказывала мальчику что-то из сказок. Он сидел, раскрыв рот, послушный, — как тупица. Сердобolec, пассажир трамвая воскликнул: «Бедная мать!» Мать фру Эллен рассмеялась. Нильсу было 11 лет.

Впоследствии медленная реакция Бора вошла в поговорку (тугодумье). О нем отзывались: «Приехал слывший Великим, а оказался Обыкновенным».

В 1900 году Вацлав Нижинский был зачислен в Дом Балета, в Столице, лишь приходящим, — стоял на экзаменах, раскрыв рот, в ответах был туп. Его мать пани Элеонора смеялась. Вацлаву Нижинскому было 11 лет.

Впоследствии тупоумье Нижинского на людях вошло в поговорку. Вацлав сам писал в своем «послании человечеству»: «Я

теперь понимаю "Идиота" Достоевского. Меня самого ведь принимали за идиота».

Об ученом Нильсе Боре писали: «Рембрандт современной физики».

О танцовщике Вацлаве Нижинском писали: «Король танца, современный Вестрис».

Гнусная геометрия: параллели пересеклись и превратились в перпендикуляр:

**НИЛЬС БОР — ЧЕРНЫЙ ФОКУСНИК АТОМНОЙ БОМБЫ
ВАЦЛАВ НИЖИНСКИЙ — БЕЛЫЙ КЛОУН БОГА**

АЭРОФЛОТ, ВЕТЕР С АДОГА-МОРЯ, НЮ-ГЕРЛС С ДВУМЯ ЗЕЛЕНЫМИ ОГОНЬКАМИ, КАК НЕ ПИШЕТСЯ И МОЛНЯ В МЕНЯ

У календаря нет чисел, — цифры. Они в переплетках, на пружинах, не пей с утра, перелистаются. Перезабудется жизнь жива, посвященная какому-то чистому числу, а останется забубенная цифирь.

Надо мной лампа, на ней клоп, как ласточка, — клопа — хлопоты: у меня в холодильнике яйцо, одно, а клоп садится на лампу, сидится ж ему, яйца приумножаются.

У кассы Аэрофлота на ступенях два башмака из валют, с пряжками, стоят носками на запад, но мне не войти.

Войдяй в башмаки, застегняй пряжки, улетай; люди, любопытствуя, останавливаются, и тяжелая мысль светится в их веждах, соблазн: если войти в башмаки, то снимай свои, свойственные, а эти-то — чуждые, а на своих-то ходишь как хочешь, а эти сулят себя, а — взлетят ли? Будешь стоять в двух башмаках из валют на ступенях аэрофлота, как эшафота, а меж тем твой-то украдет какой-нибудь спринтер-интурист, а выйдешь из валют — куда пойдешь, да и как — босиком, в слякоть, в филармонию? А если башмаки взлетят, вопреки веку, застегнутся пряжкой и пойдут по воздушной трассе маршрута на Запад, и что ж тебе кувыркатся в атмосфере с гудящими от гравитации ушами, а вокруг тебя вьются орлы и орлицы, вьются, бьются, им-то что, возвратятся в отечество, у них же гнезда, у тех же гнусно. Нет, не войти мне в башмаки, в них не тот ветер.

Тот ветер — тут.

С Адога-морья дует, плюет в стекла, надувается кварц, как выпуклый лоб, и тот же тут же — лопается, брызгается стеклянный мозг вниз, в згу, идяй же со своим башмаком на башке, как капитан третьего ранга А, соскальзывайся по стеклам, как

по лужицам Великого Ледовитого. Что стекла в окнах, если опять апрель — есть и нет их! Можно и так: сядь на шкаф, воздух в комнате и без стекол везде — суш, повздыхай, выпей штоф шампанцев — пузырькофф, станет вроде бы роднее, может в окно без стекол занесет ветерком друга с Бабенцевого моря, капитана третьего ранга Б, выкурите по трубке в тряпку, обрадуетесь еще хрен знает почему: были бы стекла, хрена с два проскользнул бы друг сквозь стекло!

Я возьму рондо и начерчу на своей щеке знак-зодиак и расскажу вам, братцы-капитанцы сагу в гекзаметре о том, как любили два брата, Кастор и Полидевк. Кастор был пастор, а Полидевк — полудевка... и прочая притча.

Лед идет с Адога-моря, под водосточной трубой лежит пестик-пестрик, моет свой ух, а из трубы фонтан-кипенец, ведь водосточные трубы у нас для умыванья псин. Перед песиком поднос, на поднос кто-то положил бутерброд. Бутербродик вот какой: квадратец хлебца, на нем телячья котлета с косточкой, на ней таблетка сахарина.

Это я увидел, когда вышел из Дома Балета, это было уже у Пяти Углов, но не на том углу, где Саркофаг, а на том углу, где стоит лимузин с зеленым огоньком, владелец — дьявологлазый Гай Рузин. А у лимузина (я увидел!) стоит ню-герлс Алена Кулыбина, у нее тоже зеленый огонек, но их два: два зеленых огонька на ягодицах, на каждой по огоньку.

Когда же я вышел из Саркофага, чтобы идти в Дом Балета, — грусть прячь в горсть! — где декораця? Лимузин увез Гай Рузин, ню-герлс лежит в луже, а над ней наклоняются два офицера, капитан третьего ранга А и капитан третьего ранга Б, лакированный околыш с якорьком, хобот на лбу, две сигареты.

Я поинтересовался: что за мизансцена и не требуется ль офицерам друг-помощник?

Не требуется: двое шли в Саркофаг, в морской форме. Лимузин увез Гай Рузин. Ню-герлс Алена Кулыбина стояла одна, без поддержки со стороны. Она не курила. — У вас есть спички? — спросили офицеры флота. — У меня спички нет. — Хорошо, — согласились, — но у вас есть прикурить? — Нет. Я не курю. — Вы не курите, это, по всей вероятности, правда. Но огонька у вас нет? — Нет, отстаньте, я жду. — Чего же вы ждете? — Я жду от жизни чего-нибудь получше. — Вы ждите, кто же протестует. Но нам бы огонька! — Нет у меня огонька! — Это была вопиющая ложь; у нее на ягодицах был огонек, целых два, зеленых. — Ах, у вас нет огонька, тогда мы — с огоньком возьмем за тело! И мы взялись. Мы хватанули ей в харю, свалили в лужу сью сволоту, расстегнули пуговицы из мундира.

— И что? — спросил я.

— Как что? И прикурили!

— И все?

— Что ж еще? Прикурили и пошли, куда шли, в Саркофаг.

— Что ж вы стоите сейчас-то над ней с сигаретой?

— Да у нас в Саркофаге сигареты погасли, а она все лежит, и огни на ягодицах у нее перестали гореть. Вот и стоим с сигаретой, ждем, зажгутся.

Дальнейшие подробности пусть поют не мне, я оглядывался: где песик? Водопроводная труба та же тут же, но песика нет. Думаемая, взял Гай Рузин в свой лимузин, у него ведь грум в лайковой перчатке, вот он и сказал груму: «Взять», — грум и взял собачку, теперь она в надежных руках. Гай Рузин занимается цветоводством, а собачья котлета — лучшее удобренье для роз. Вон какие розы я покупал Юле у вокзала им. св. Витта, а ведь Гай Рузин — там директор.

Почему-то поднос вот никто не взял, не взял и я, у нас не воруют, драгоценности — ни к чему. Хлеб же кто-то взял, думаю, чтобы съесть хлеб. Таблетку тоже кто-то, любитель лекарств, прикарманил, диабета у нас нет, но сахарин обменивается в Антиквариане на ожерелье от ожиренья. А вот котлету не взяли, оставили валяться телячью с косточкой, какой смысл хватать этот хлам, все равно котлет у нас нет. Не советуя подбирать их и впредь, мы не маньяки мяс.

На спичечном коробке стоял клоп с гитарой и с челюстями, — как людоед!

Я писал со свечой.

Не из-за романтизма, всякий романтизм на клавишах моей машинки как-то вдруг превращается в рюмантизм. Я купил люстру, у нее семь светильников, как у Иоанна на острове Патмос, в форме медных цилиндров, они вынимаются с хитростью из гнезд и воспламеняются — как для жаренья вепря на вертеле! Но сосредоточиться сей огонь не даст, никак. Я купил, повесил и писал: со свечой, клацая клавиатурой — перелицевать бы теорему Пьера Ферма. Пьер не пил.

В 1637 году он записал условия теоремы на полях книги Диофанта, полюбуемся: $x^n + y^n = z^n$ — неразрешимо в целых положительных числах, если $n > 2$.

Повторяю: Пьер не пил, потому что он заявил свысока, что решение теоремы — им найденное, оно — удивительное, и лишь из-за нехватки места (?) он не может его записать для потомства. Пьер, будь он проклят, не пил: лишь непьющим не хватает места где-то. Если бы он пил, ему бы хватило места на земле, всем кто пьет — места здесь хватает. Ферма вообразил себя консер-

ватором секрета, гением остроумья. Хвала хулиганству, мой милый математик!

Ребячество: страшный секрет, шпионский шифр этого чудесного человека — лишь в анаграмме его имени, в датах его рождения и открытия теоремы. Составьте анаграмму, перетасуйте числа — это посильно и школьной шкале. Геттингенская академия выдаст вам причитающиеся за решенье 100.000 марок. Мне марки ни к чему, у нас марок нет, мы любим брюали. Возьмите марки себе и пейте флакон за меня!

По статуэтке Афродиты Милосской ползает клоп, как сексуальный маньяк!

Нравственность моя нарастает.

Свеча смеркается, барахлит машинка, близится бремя большой писанины, а вот на стеллаже стоит глиняный голубь — гимн Миру, хищный цветок на этажерке стоит, как скульптура из ажюра скелету рыбы — на хвосте! Когда тебе не терпится ни в чем, попробуй писать о пробке, лежащей в пепельнице, как смеет пробка быть лежащей, что она — женщина, что ли? Кстати, о пробке: я взял вчера бутылку минеральной воды «Балюстрада» и полил цветы на этажерке, от минеральной воды цветы растут, и, оказывается, предпочитают превращаться в рыбы скелеты. Над машинкой летает муха, как пуля, поправить бы текст, стр. 30, а карандашей у нас нет. На стеллаже блюде, в блюде вишневое варенье, в варенье валяется нож, им я намазывал селедочное масло на мякиш к чаю. На столе... стальной револьвер, не стреляется мне как-то, не в кого уже, всюду люди, что им — пуля! На венском стуле плетеная корзинка в форме двугрудой девки, для земляники. Вот серебряный ковшик для дегустацыи, я приспособил как пепельницу. Без лицемерья, без лимита лирических отступлений, положи руку на рот в сей ситуации, я говорю: МНЕ НУЖНО ВЫПИТЬ. Без морей мирозданья, без Христа и Харибды, не возьмемся мы объясняться: вот — взывается молния и ты берешь левой рукой свечу и твердым шагом римлянина идешь в тот дом, где нам даждь днесь!

МОЖЕТ БЫТЬ И МОРОЖЕНИЦА

Я люблю гомосексуалистов.

Мал их процент у кровинцев, но лишь они, сей процент, сохраняют мужество любви, — безымянной, бесстрашной, не восхваляемой, безвозмездной, без иллюзий.

Клуб гомосексуалистов: улица Зайчика Розы, дом 2, пройти арку, первый подъезд налево, пятый этаж. Выше: лестничный

пролет, поуже, с латунными перильцами — каруселью... чердак. Там Дом Балета вывешивает белье на веревках, белье — блевье, какое-то недочеловеческое, страдальческое, обвислое вниз рукавами, — высушивается от нас, пока спим-сплюм.

Белье мы жуем, как бетель, а в клубе чердака мяук музык гомосексуалистов, и как они на пуантах спускаются по лестнице, губы гуляют, ноги не гнутся, матросские. Привлекает нас в них любая черта, но самая располагающая: мы вешаем на чердаке белье для просушки, а никто не унес мой персидский ковер, у Зоз не пропался носовой платок с кружевницей, меч юноши Александра висит на веревке, с острия каплет кровь.

Идут утром по лестнице, спускаются, ласковые глаза, опустят предо мной приветливую голову, локоны — шаль-шелк, из-под пены шампуня, выполощенные. — Доброе утро, Иван Павлович! Спасибо за гостеприимство! — ни дать, ни взять иностранные корреспонденты в гостях у венценосца. Хоть выноси на эмалированной посуде каплуна и кофе в чашечке с острова Борнео.

Мы: Зоз, Лидия, Анастасия, юноша-гоплит Александр и я. Мы гордимся клубом, потому что и нашим женщинам и моим геометристам-ню безопаснее ходить по этажам, где, как и на всех этажах Столицы, шурует пьяная плазма — специалисты, бичи, дворники, инструментальщицы, жандармы.

Да и все лестницы Столицы обоссаны, потому что клозетов у нас нет, лишь Саркофаг, но Саркофаг не успевает обслуживать 250 млн. кровинцев за 12 часов в сутки, вот и вертятся на лестницах, но на нашей... попробуй пописай, нарисуй письмой фреску на штукатурке... хватят за хоботок!

Но оставим фольклор для эпоса.

Дверь в клуб — цельнометаллическая, броня бронз, Замок Времен, висячий, с ключом 16 кг, на такие замки Ганнибал (не полководец, а прадед Поэта) заключал в подвалы своих жен, а открывая, — жен истязал свинцовой плетью, или крюками, выкованными в форме большеротых птиц. Как это близко всем мыслителям о сосуществованье мужчин и женщин!

Но к женам мыслителей питают страсть педерасты, это каста кустарей, т. наз. киникотодоризм. Но далеки наши гомосексуалисты от таких притязаний. Они — любят!

Клуб — чердак над пятым этажом, над моею головой.

Надпись МОРОЖЕНИЦА.

Мать моя, смерть моя, как провожала в жизнь?

Я вошел в МОРОЖЕНИЦУ со свечой в левой руке, с циркулем в правой. Я взял стакан и очертил циркулем на стекле три четверти. Я был в медвежьей шубе, в медвежьей шапке, босиком.

За монолитными стеклами МОРОЖЕНИЦЫ мело-мело (все ж — с крыш!).

9 часов, сухой вин можно выпить лишь с 11, как и алкоголь. За столиками сидят похмелянты с зеркальными физиономиями, не ханыги, но и не гомосексуалисты с губами, судя по их утренней стадии — диссиденты. Гомосексуалисты пируют по вечерам, утром здесь — соковарка. Наливай фруктовые соки из конусов из стекла, открывая край конуса, опрокинутого вершиной вниз — и наливай. Сифон! Но сок никто не пьет, нужно платить, а не останется на бормотуху. За отдельным столиком — майор Милюта Скорлупко, потряхивается, с остервененьем жрет леденцы, у него здесь пост: смотреть, чтоб никто не наливался. До поры, до времени, конечно же — до 11.00.

— Красная Москва! — сказал я.

У барменши сверкнул флакон, засвистал в стакан, я сел. Я поставил свечу на столик, зажег фитиль спичкой, тут-то я и увидел хорошенько зеркальцев, — двое как один, с ненавистью смотрят на меня, затаяв дыханье. Майор затрясся с большой силой, снял, нервничая, шапку, держа ее в двух руках. Барменша в белом фартуке, в золотых серьгах подседа к моему столику, смотрела с милостью на свечу, но не дула на меня.

Мне:

— Я — Катя. Я — тартарка. Я — лавочница-красномяс 1 клана!

Я выпил стакан, взял второй флакон. И закурил.

Майор взорвался:

— Ой, Иван Павлович! ой, Басманов! Еще 2 часа до 11.00, нет на тебя Несси! А ты пришел со свечой и выпил флакон. Ну, закуривай, где нельзя, песнь задуй «Четырнадцать человек на сундук мертвеца и бутылка рому!» Ой, Катя-тартарка, ордер на арест — за мной, не задержится.

Катя — майору:

— Не требуйся, Милюта! Я чиста, потому что человеку (жест на меня!) — нужно. Я не знаю, кто он, я знаю — нужно.

— А мы не люди! Нам не нужно! Записывай в права примата; в этой Столице никого не считают за людей! Ни одна нужда гражданина не удовлетворится!

Катя:

— У него свеча в левой руке и он босиком. Деньги-то я не взяла. Где ж тут запрещенья спиртных напитков, где тут спекуляцья, Красная Москва — мой флакон, не с базы, — наливаю, кто мне мил!

Майор подсел. Губы его гремели.

— Умница, баба Катя. Не зря тартарка по документу. Морда-то у нее какая, красное мясо, как из колбасы. Она ведь еще и

терракотовые статуэтки продает из-под прилавка! И на ипподроме с махинациями! Нальешь на лошадь, Катюня?

— Нет, не нальешь на ложь, Милюта!

— Да, Катя. Мне нельзя, потому что здесь нельзя. А ябонские часики в коробочке, по тройным брюалям, — налей полней!

— Я не помню, а ябонцы не по мне.

— Хороша ты, храбра ты, а из-под халата самолетами «Боинг» торгуется для терроризма? Ну, налей, так и быть!

— Нуль тебе!

— А девиц с девизом держишь в притоне — при том?

— Не дрожи, Скорлупко, как яблочко наливное, — не наль-етсяя!

— В тюрьме ей не бывать, — вот мне травма! — сказал жандарм квартала с бессильной тоской. — Все дефициты у нее, ей кланяются, как ламе и Верховные Инстанты, — у нее все есть. Вот парадокс: по приказу Тайной канцелярии я караулю ее от провокаций асоциальных элементов, а мне похмелиться не на что. Я ее избавляю от наветов «Логоса Хамерики», а она издевается. Вон! — сидят и смотрят эти, с лицами в зеркальцах, досидятся же!.. диссиденты. Эй вы, борцы за права примата, а как же вы сами алкаши?

— Да, мы борцы, но как без бормотух? Мы — для всех и мы — как все! А тебе нельзя, ты жандарм. Да не цепляйся ты, дисциплин! Ну-ка, выпей, сейчас же о тебе заговорит «Логос Хамерики», у жандарма от пьянства до растленья малолетних девчушек — один шаг. С этим-то красноречьем мы справимся.

Я дал Милюте флакон.

— Милюта, — сказал я. — Им бы выпить. Смотри, я плесну им в морду флакон, они оближутся, отблагодарят и уйдут до 11.00, их нервы будут в nirване.

— Ну-ка, плесни! — гордо вспрыгнули на ноги диссиденты. В бой, Буревестники!

Я плеснул. В морду — каждому. Их было двое, собственно-то говоря, сообразительности у них никто не отнимет: они стали лицом к лицу и стали быстренько вылизывать языками морды друг у друга. Вылизали, утихомирились, и лица у них как-то похорошили.

— Какое хамство у нас! — сказали без гнева. — В каждой МОРОЖЕНИЦЕ нет мороженого, а плещут тебе в морду яерт-те что! Где гласность? С кровью бы вас критиковать! Дай нам свободу слова, ты, завербованный идолог наук!

— Вон вы сколько слов наговорили, и все — свободные! — сказала Катя. — Плесни им еще! Смягчатся.

— Не посмеет! — вскричали диссиденты. — По Кодексу — оскорбленье личности!

Я плеснул.

Они облизались, как и прежде, и, угрожая цитатами, пятясь, устранились.

— Пей флакон, Милюта! — сказал я. — Ураган ушел, враг отстрелялся. Эх ты, так тик! Да ты дай им по стакану с капустой лишь проснутся, — и прощай, права примата!

— Нет, нам без них никак. Воровства у нас нет, все берется всеми по потребности, проституции у нас нет, все валяются со всеми влежку. Убийств у нас нет, режут вчистую, без ножиц. Где же гражданская греза, чай чистоты истин инстанта? Где враг в разгуле на каждом углу с утра? Где угроза урокам дактилоскопического матъморализма? Что делать струителям общества обещаний, с кем бороться в беретах с нравственностью нервов? Нет, без диссидента не обойтись. Я тебе говорю: жандарм — не шарада, а борец за братство! Это ты их спутнул. А то знаешь, как запротестовали б! Бороться бы — не разобраться! А за это — рапорты, премии, повышенья. Ты не педагог, ты педант. Здесь нужна тонкость интуита: вы нам наговорите, а мы вам нагорюем, голубчики. Тут и тюрьма! А нас? У нас же в рядах, у нас все впереди — Золотой Лозунг! Что это за лозунг, я не знаю, но как звучит! — ради этого стоит жить и бороться.

Я:

— Ты знаешь, что такое мартовские иды по календам?

— Извини, не знаю.

Я:

— Вот и иди-ка ты к идам со своей хавайней! Пей, Перикл!

Милюта отрицательно отмахнулся:

— Катя неправа, что я снял шапку, потому что Вас увидел, перед Вами кто ж не снимает шапку? Опротивела, честно признаться, мне эта шапка, новенькая она, позавчера получил по спецпропуску. А я к старой привык, сроднился с ней, своей. А эта! — и стоит-то 10 брюалей, а носить — как не своя, сваливается, сволочь! Как носить шапку, как не свою! Дрянь, а не шапка. Еще для гастролей там, для реквизита Вам понадобится — еще как! Вон Вас как мы воспитали, — гений, и никто иной!

Я дал 10 брюалей, я взял шапку. Милюта с любовью посмотрел на меня:

— Когда Вам придется продать свою медвежью, Катя, помни обо мне!

В 11.00 Милюта продал мне мундир, в 12.15 первый сапог, в 16.28 — второй. В 17.59 майор продал мне пуговицы от шинели. В 18.00 — шинель. В 21.35 майор ушел в катин кабинет и вынес трусы, то есть плавки, если правильно смотреть на вещи. Плавки с аппликацией, кармашек на цепочке. Нес

майор Милюта Скорлупко плавки, а слезы забрызгивали простое, открытое лицо его.

— 100 брюалей! 100 и ни пейки менее! (сапоги он продал за 10 брюалей, как и шапку, ремень за 10, как сапоги, пуговицы за 10, как ремень, мундир за 10, как пуговицы, шинель за 10 как мундир, и что же его так вдохновляет в плавках-то?)

— Дешевле не дам! — брызгался Скорлупко, весь плача. — Мне их субсидировал как сувенир один кровинец из прошлого, ягут, хамериканец из УЭСА. Он у них — комиссар полиции, как я здесь по должности. Я люблю историю кровинцев, а ягут сказал, что мы, жандармы, здесь, только пьем в проклятьях, а людей бить нам не приходится. У них в УЭСА — бьют людей! А мы не бьем, только сбрасываем в люки, — кровь теплеет моя здесь от гуманизма, — сказал ягут. — Не продешевлю друга, что так похвалил кровинцев! — Милюта поднял кулак для клятв.

Вывеска МОРОЖЕНИЦА закрывается, девицы с девизом, у них глаза ярко-оранжевые от кофе. Уборщица-негритянка с тросточкой моет пол тряпкой на метле. Для вечернего сеанса.

— Пей так, — сказал я.

— За твой счет не буду! У меня честь! Купи хоть цепочку, — выпью!

Я оторвал цепочку.

ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС

Первый день молнии доводится до суток.

Если уж взял флакон — бросайся в бездну. Получится вот что:

ЕЩЕ НЕ МЕРТВЕЦ, УМЕР, — СТАЛ САМ СОБОЙ, наконец.

Я пил 588 день, а вот: вспоминаю про день первый, про молнию: чердак — МОРОЖЕНИЦА — клуб гомосексуалистов над моею головой, в общем: УНИВЕРСАМ.

Барменша Катя. Катя — мой друг. Она дает мне мандарины из Марокко, сшила мне шубу в театре им. св. Йушкина, шила она мне ее шилом, а шил у нас нет.

— Сколько время, что Вы пьете? — Милюта, очнувшийся, озирающийся, как дикарь, в нижнем белье, Катя дала ему портьеру, чтоб задрапироваться. — Не понимается мне, что пьют. Не бормотуху, — майор принохивается, лисий. — Еще нет 11.00, а запах. Так не можно в МОРОЖЕНИЦЕ.

Катя:

— Сейчас четыре часа ночи, утром здесь была МОРОЖЕНИЦА, а сейчас не гастроном.

— Что же теперь? — спросил Милюта. — Я здесь был и не был. Помню, что пропился, Басманов, тебя не забыть, ты и сейчас, как живой, Катя тут же! Философема: в чем же вечность? Что здесь? Я вижу кабины.

Катя:

— Если формулировать вечерний сеанс, это — притон гомосексуалистов, полуосвещенный. Белье с веревок не снимается, но веревки перетянуты так, как полагается в притоне, а за свешивающимся бельем — конструкции кабин. В кабинах гомосексуалисты, они сидят на цементе, на цементе же подсвечник, в нем свеча, чтоб виднее. Гомосексуалисты любят, сидя на цементе у свеч, губы покрашены, а ресницы без косметики. Стойки нет, как утром, есть сундук из-под музыкальных инструментов, как в капелле, на сундуке сифон с фруктовым соком, за сифоном я, Катя, в белом халате, тартарка. Так-то. Понял, Пенелоп?

— Здесь пьют вина!

— Никто не пьет вин, все упиваются любовью. Они красят губы помадой «Йодамоп» и смотрят друг на друга. Они — любят. Вот какая любовь бывает, кровинец, эх, ты! О такой любви я мечтаю, но тебе женщину не понять.

— Как — мне женщину не понять? Вот — выраженьице! Сколько у меня было баб в кабинете, а кта не хотела в тюрьму, та ложилась с любовью. Понимаю я сердце женщин, как свое.

Милюта — гомосексуалистам:

— Что ж, вы и вправду, как это говорится, не пьете, а упиваетесь?

— Да. Мы смотрим друг на друга с любовью. И с губами.

— Ночью нельзя так, всем вместе. Хоть бы уж поодиночке.

— Но у нас притон.

Милюта впал в отчаянье:

— Все любят! Меня одного никто не любит: ни в обществе, ни в семье, ни в притоне! аресту бы вас, по адресу бы вас! Но как же с Катей? Как ее укараулю тогда от клеветы «Логоса Хамерики»? Дайте хоть деньги для родильного дома, у меня там жена, у нее ребенок, там рождаются и еще дети, вот они-то меня и полюбят! Такой притон запрещается в принципе, но у вас будет нравственное оправданье, что притон работает для будущего поколения детей. В общем-то ведь вы-то делаете благородное дело: вас не интересуют женщины, значит, со временем прекратится блуд в семьях.

Этот непрекращающийся монолог Милюты Скорлупко ничего не дал, денег никто не дал. С отчаянья майор позабылся, что Кодекс действует лишь с кулаком по харе, а в притоне было

много мужчин, и мужчин в истинном смысле слова, не размахнешься.

Вышли из-за занавесей бельевых семь ню, выспанные, за стеклышками чердака светает, оранжевое кофе из глаз у них испаряется; Катя им: — Отдыхайте. Ваш мужчина очнулся. (Обо мне!) А этих с губами не трогайте, у них, как и прежде — любовь.

Девушки, ни минуты не мешкая, стали отдыхать. Принаряжаться.

Гомосексуалисты были прикованы взглядом друг к другу, любовь лишила их взгляда в сторону, даже мельком.

Катя — мне:

— Вам, — все ню, делайте с ними, ведите вниз к себе в мансарду, а хотите — здесь, это маленький презент Вам от меня, любящей Вас тартарки. Учтите, не стесняйтесь: у девиц есть гигиенические салфетки.

Что девушкам ню принарядиться! На них — трофеи, изъятые мной у Милоты Скорлупко:

ню N 1 — офицерский китель, застегнутый на все пуговицы из металла, но бедра ее — без трусов, а ноги босы;

ню N 2 — в шинели, расстегнутой лишь так, чтоб увидеть прелесть живота и сосцов, т. е. есть такая песнь: и девушка наша в расстегнутой шинели, идет, горящая, по степям, как кобылица!

ню N 3: вошла в сапогах, в сапогах и все тут, что прибавляется?

ню N 4: затянута в талию как в телятину офицерским ремнем (дом Мод, что ль, пропаганда, и у Дуни-ведуньи — ремени!), из всех — симпатичнейшая девица с девизом, вот ведь какая изобразительница костюма: черный ремень с дырочками, и никаких излишеств;

ню N 5: в шапке с эмблемой жандарма Милоты Скорлупко, посочувствуется ей, как ей одеваться на голое тело, имея — герб с эмблемой!

ню N 6: обвязала щиколотку цепочкой от трусов, цепочкой с колокольчиком от плавок майора, которые ему презентовал ягут, не девушка, а история кровинско-хамериканских связей с полицией;

ню N 7: ей ничего не перепало из гардероба, довольствуется тем, что есть у себя, ничего нет на ней, есть тело с волосами, ей-то, может быть, и предстоит наибольший успех.

— Скука, скука! — сказал бы Милота Скорлупко, он и сказал: — Мне бы натюрморт, а ты станцуй, как-никак, а ты жилец мансарды Нижинского!

Танец не описываю, присутствуют 13 ни в чем не запятанных лиц, вне обвинений: Катя и 12 гомосексуалистов. А танец при посторонних, т. е. секс с 7 ню — не цель пера. Секс одновременной игры с 7 ню — оставляю Бобби Фишеру. Да и девицы с девизом меня занимают постольку-поскольку: здесь больше моей самодисциплины, чем секса: дала Катя их, как-то нетактично не брать, я их взял. Но если писать, то художественно, вот ввиду художественности я и опускаю этот натюр с 7 ню в одетых костюмах. Пусть читатель сам отдастся фантастическому в ситуации. Я же пишу декорацию, чтобы читатель нагляделся, в какой обстановке у меня с 7 ню:

чердак: одно окно, за ним светается, еще метет метель и звенит зима,

пол: из цемента, на полу пыль,

с потолка: опускаются светящиеся лампы на шнурах, в гроздьях тараканья,

простыни: на веревках, пахнущие, как после купанья,

мебель: балки потолка, с пауками на паутинках, — мини-матрашки,

еще:

блюда, приготовленные Катей, спасибо ей:

жареная индейка, гусь жареный, бифштекс с анчоусным соусом, телячья печенка, жареная в сметане, жареный поросенок с кашей, поросенок со сметаной и с хреном, заяц жареный, котлеты битые, с мордами, свежий коровий язык с картофельным пюре, жареные телячьи ножки, утка, фаршированная яблоками, жареные подлещики с кисло-сладким соусом, фрикандо, золоченое жаркое, бланкеты, каплун по-французски, голуби а ля Гамбетта, золотые караси в веночке, амур-братен, гамбургский бифштекс, вестфальские котлеты с хреном, котлеты Джон-Буль, шнельклопсфлейш, французское жаркое в папильотке, картофельные котлетки с грибным соусом, окуни холодные с хреном, стоффато, саксонки, матлот, сосиски с капустой, лини заливные, бульи с бельгийским соусом, турецкие бобы с соусом, маседуан из овощей, фаршированные раки, майонез из цыплят, сазан с цветной капустой, миндальные мазурки, лимонное желе, испанский ветер, клюквенно-миндальный кисель, пудинг сметанный с сабайоном, пудинг из творога с белым ванильным соусом, красное желе из вина, миндальные венчики, бланманже, компот из апельсинов и яблоков, фисташковое мороженое с грецкими орехами, мороженое из клюквы, арме-риттер, апельсиновый компот с ромом и черносливом, марципан, бабушкин повойник, невеста, репль на вине, tenerifский пик, кармелитки, молочные блинчики с вареньем, компот из каштанов, версальский торт, лимонное

желе с красным вином, царская роза, турецкий каймак, сладкий сыр, розовое яблоко, буйабез, вареники с черносливом, перед каждым из нас лежала инструкция:

«Средства сохранять провизию во время лета и исправлять окисший суп испанский с пармезаном».

Уже утром стали спускаться по ступенькам: девицы с девизом в Саркофаг, Катя в Эллипсеевский гастроном за провизией, мы с Милютой ко мне в мансарду, поговорить, 12 гомосексуалистов связали наше невысушенное белье и унесли узлы в химчистку.

— Не дают мне деньги, — сказал Милюта, — а я-то ведь бедствую.

— К чему ты? — спросил я, разгоряченный.

Майор вывернул карманы и положил на стол, вытряхивая, что-то.

— Что это? — спросил я, охваченный сомнениями. — Пьявки?

— Губы. 12 пар губ. Ты так танцевался, гомосексуалисты так раскрыли рты, глядя друг на друга с любовью, что я, выигрывая время, отрезал им губы, ножом с Кузнечикового рынка, у Зубикомлязгика я отнял, глянь, какая чеканка!

— Я видел уже в третьей главе.

— Нужно любить людей, а не друг друга. Обойдутся и без губ, извращенцы!

— Грустные губы, Милюта.

— Плохо знаешь, дефицит. В институте косметики вот уж век висит плакат: требуются полнокровные губы для красоты. Я их продам в институт косметики. Сначала сниму только помаду «Йодамоп», — у нее цена, если так называется, а потом продам губы, как донор, за 12 пар губ — уж получится сумма, как тебе кажется?

— Что ж этим-то теперь, как же им-то?

— Не кокетничай. Это ты не имел жажду жизни, ты и любви-то по-настоящему не попробовался. О них беспокоиться — о нет! — они будут любить и без губ, а мне деньги не дают, у меня дети ведь есть.

Я-то думал во время танца, посматривая на гомосексуалистов, развращенный, циничный, раскаивающийся: не смотрят на танец, не едят деликатес, не зависят от ню, с каким целомудрьем — целуются в губы!

Ах, Милюта, мне бы жажду жизни! Но не мне.

ПРИЛОЖЕНИЕ. О ТОМ, КАК ДВА ДИССИДЕНТА ГОВОРИЛИ В МОРОЖЕНИЦЕ О ЖАН ЖАКЕ РУССО

О революционной духовности. Когда Жан Жаку Руссо минуло 13 лет, родственники отдали его учеником в мастерскую гравера Дюкомена.

— То был грубый, недобрый человек. Тяжелая рука хозяина не скупилась на подзатыльники.

— Жан Жак не смирился?

— Нет! С этим ненавистным хозяином надо бороться! — вздумался он.

— Но как?

— Лгать, хитрить, вести против него непримиримую тайную войну. Ж. Ж. открывает боевые действия: отлынивает от работы, делает вид, что выполняет заказ хозяина, а в действительности затягивает, или заведомо плохо справляется с поручением. Но и этого было мало юному революционеру! Ж. Ж., как он сам об этом рассказывает в «Исповеди», начинает воровать у хозяина.

— Так в тринадцатилетнем мальчишке, в подростке-ученике пробудился дух мятежа, дух борьбы!

ИЗ ПРОГУЛОК. СТАРУХА И КНИГА

Подстриг ногти на ногах, отросли, как у орла. Швабр у нас нет. Чем подмести роговицы? Открыл холодильник. Там яйцо. Одно. Я выпил. В холодильнике же лежит «Война богов» Парни, растрепанная. Подметаю ногти «Войной богов», как шваброй, хоть и без палки (палок для швабр у нас нет!), собираю их в горсть и выбросил в мусорное ведро, и одинокими очами смотрел на это Небожитель!

В Бормотушнице у Пяти Углов очередь. Машина жандармов улиц, семицветна. Из Бормотушницы вышла старуха Роза Гарпиевна на костыле, второй потерялся, ей никак не шлось дальше Бормотушницы. Два жандарма у входа с отомкнутыми штыками вступают с ней в борьбу, — она пьяна и требуется медицинский вытрезвитель. Она пьяна, шатается от пьянства, неустойчивость в ногах при свидетелях.

— У меня одна нога, — ясно и сурово возражает хромица. — Дайте мне второй костыль, и я пойду к себе.

— Извиняйте, Роза Гарпиевна, в Столице нет костылей. Их выдают по спецпропускам. Ты не стоишь на ноге и хватит: до 12 утра нам нужна женщина для штрафа, — план, понимается ли тобой? Эх, ты, как ты не хочешь помочь плану, а еще инвалид

войн, думается? Инвалиду войн разрешается пить вне очереди, но шататься на одной ноге и пьянеть в стельку — Кодекс не позволит. Залезай в машину! Уже без 18 минут 12. Успеется в самый раз!

— Я не аист, чтобы стоять на одной ноге, не шатаясь! — ответит старуха.

И вместо вразумительного ответа ударит жандарма костылем по козырьку. Тот упадет, как убитый. И костыль свалится. И старуха уйдет головой в землю.

Упавший от неожиданности жандарм, с тротуара:

— Вот, бабуся. Теперь ты лежишь. И имело место покушение на жизнь блюстителя Кодекса. Нас бить нельзя. Не хотела ехать со штрафом, поедешь в тюрьму... Увезли.

Я пью флакон Красная Москва вне очереди, — большие брюли его стоимость. За бормотухой — очередь людей пятсот. Жандармы улиц возвратились и смотрят сквозь стекла с неослабеваемым интересом. Я вышел, как волк, — мне они отдали честь. Всем, кто пьет Красную Москву, отдают честь жандармы и инстанты, а диссиденты глумятся, а в медицинский вытрезвитель не увозят меня, нельзя, не то имя.

Люден Содомский линий. Там продаются книги инстантов-лауреатов, самые дешевые в мире, по цене — зарплата за месяц.

Я шагаю шагами по Содомский линий. Чем хороша ходьба? Я вижу вещи: книги.

Многоборец и писатель Георг Геккеншмидт поднимал одной рукой штангу весом 128 кг. Потом он стал ходить. Ходил повсюду и прыгал через обеденный стол. Лишь на 89 году жизни по решительному консилиуму врачей он отказался от последнего упражненья — прыжка через стол. Но ходить — ходил.

Английский биохимик Р. Харальд пишет: «Ходьба — лучший вид физической активности для лиц интеллектуального, а особенно творческого труда». Иллюстрация — я. Я хожу ж, куплю книгу.

Он же: «Разве помешало тщедушное сложенье достичь глубокой старости, например, Канту, чья система поддержания физической формы сводилась к ежедневным прогулкам в строго определенное время».

Это мне не проиллюстрировать. Я хожу в строго определенное время: от 11.00, когда на Несском проспекте всплывает чудовище Несси, и до 19.00, когда под дулами минометов закрываются бормотушницы и ТЭЖЭ. Сложенье у меня не тщедушное, но до глубокой старости мне доживать не хочется, я боюсь Нобелевской премии, ее дают, как надгробный крест за утрату семенников, а мы еще повоюем с ню, и полицейское платье за

права примата в Нобелевском комитете нам не примеривается, — пусть их наряжают те сидельцы за социальную сложность!

Школа перипатетиков предавалась размышленьям исключительно на ходу. К ней принадлежал Арестотель. Нетрудно понять, почему кровинец любит Арестотеля. И покупает его книги. С ним не арестуют, он все хорошо рассказал, предаваясь размышленьям на ходу — ход истории, ход к нам, кровинцам, к дактилоскопическому матьморализму.

Ничего нет в Столице и не предвидится, вот и покупают Арестотеля — капитал и себе и детям, когда повзрослеют. Книга — духовный багаж. Лауреаты-арестотелевцы пишут лишь правду. Да и деньги во время оно понадобятся — те ж магазины на Содомском линии возьмут книги по неуцененной таблице. Можно продать и на Черном Рынке, но там цены немножко больше — раз в 20. Как-то недобросовестно продаваться за такие брюали, да и жандармы ходят по рынку, упрекают. — За правду не жалко никакой цены! — возражают книголюбы. — Да, — говорят жандармы рынков, — дело не в деньгах, если повсюду у нас правда и о ней от всего сердца пишут Лауреаты-арестотелевцы. Но вот Черного Рынка-то у нас нет в Кодексе. — Черного Рынка у нас нет, — оживляются книголюбы. — Но вот 10 брюалей у нас есть. Возьми, кровинец-жандарм для борьбы за идеологию. — Для борьбы — с охотой! — радуется жандарм. — Борьба — священна в обществе обещаний. Себе в карман не возьму, клянусь. Давай 10 брюалей, а я пойду посмотрю, как пьют бормотуху у Дома Искусств, а то там диссиденты разбормотаются.

Книги теперь в перламутровой переплете с иллюстрацией из трилобита. На них смотрят в собственной комнате, от них умственная атмосфера. Лишь не знают кровинцы: дефицитные книги, подписные издания будут продавать повсюду и их можно продать так же, но... до дня смерти Лауреата, до того скорбного дня, когда вся Столица погружается в заслуженный траур и идет в деменстрации за гробом Лауреата с черной повязкой на глазах, чтобы не видеть в последний раз его хорошую харю, чтоб не заплакать навзрыд от венков с ванилью — от инстанций.

А потом, потомок мой:

газета «Вечерняя Столица» опубликует некролог в титулах лет, медалей и Геворгиевских лент, это вечером; а утром: ни один магазин книжных товаров, ни Черный Рынок — не купят книгу, ни за пейку. Лауреат жив, струит нужные надежды, ему — тиражи — миллионы, помер номер — инстанция не интересуется: мертвым хоронить своих мертвецов!

Уже давненько ожидает очереди еще не Лауреат, помладше, с актуальнейшей на сей раз проблемой про плюмбум, вот ему — Лауреата, и книга его — цельность-ценность на сей день, во

всех смыслах. А те книги, кровинец, которые ты купил пупея в очередях, на последнюю пейку, их тоже используют: сдавай в спец-киоск для макулатур и за — получай в обмен чашку с нарисованной на ней эмблемой Столицы, ведь чашек у нас нет.

Ночью, не очень-то опасаясь, потому что дождичек лил ливнем, но с ножами за щекой, диссиденты прокрадываются в Летейский сад и режут ножами 27 статуй идальянского происхождения, утверждая, что статуи, теперешние, кровинские из ангара авангарда — и есть наши произведения искусства, а в Летейском саду — иностранщина, мишура, нет в тех статуях борьбы за права примата. На месте мрамора оголенных мерзостей божественных телес они ставят свои поп-арт вертушки от полицейских машин и сталевара с башмаком на башке и с хлуем между ног, — не до академизма, — символ силы Кодекса и символ секса тех, кто в труде с героизмом. Бунт!

Той же ночью, не очень-то опасаясь, хоть луна уж и ухнула в дождик, диссиденты карабкаются на стену Пропадловской крепости и пишут несмываемой краской такую фразу:

— Столица — тюрьма для диссидента!

Утром, осматривая стену Пропадловской крепости, Милюта Скорлупко обнаруживает фразу и телефонирует в инстанции: смыть несмываемую фразу или же искать тех, чей текст.

— Смыть нечестно, — отвечают. — Диссиденты живописи сами храбро и правдиво написали: тюрьма. Взять их.

Вечером у Пропадловской крепости состоится демонстрация протеста. Протестуют двое: диссидент Этья со своим символом, живым черным лебедем из Пруда и Милюта Скорлупко, инстант от жандармерии — с белым лебедем. Они постоят друг у друга, обменяются диаметрально противоположной идеологией, посвистят с сигареткой и пойдут пить бормотуху к Центральному Штабу Инстантов, — на суд подсудимых.

Суд состоится по Кодексу: издеваются над спец-мрамором в целях подрыва международного авторитета Столицы и распространяют клеветнические лозунги в целях дискредитации общества обещаний — **ЗОЛОТОГО ЛОЗУНГА**.

Диссиденты признаются, что виноваты не они, они — лишь слепые орудья дьявольской цели Этьи — Председателя цирка борьбы за права примата. Это он надрессировал черного лебедя, и тот разрезал ножами статуи идальянцев и написал клювом о тюрьме.

— Что ж Вы, Этья, признавайтесь! Вы ж уж сидели в тюрьме зньность лет, тогда Вы дрессировали детей и юношей, чтоб в своих мыслях они лелеяли месть, что мы им не даваем мармеладку. Мармеладок у нас нет, мы им даем кекс с хреном, успокаиваемся, и вот Вам сейчас — исполняют служб инстанта. Что ж Вы, Этья,

опять дрессируете — птицу? Хотится опять туда же, в трюм? Где списки приматов, охваченных завистью к идальянским скульптурам?

Этья испугается, тут же напишет списки в 500 людей, кровинцев, преступно вставших на путь дрессировки черного лебедя. Он выступит по телевизору для всей Столицы и, естественно же, для «Логоса Хамерики», где во всеуслышанье будет повествовать, что дрессировка черных лебедей с любой целью — преступление в мире экологии и что он заблуждается, думая, что это — борьба. Нет, бороться нужно с диссидентами, такими, как он и те, кто с ним, в списке.

Этья публично забьет черного лебедя на телеэкране, съест с инстантами, и его простят, а списки, выданные для секрета — их посадят в трюмы, для дальнейшей борьбы. Председателем цирка борьбы за права примата выберут майора Милюту Скорлупко, ведь он пил с Этьей. А Этью отпустят с пожизненной песней про пенсию — за правду вместо лжи, за то, что Блудный Сын стал обоюдным сыном общества обещаний. А белого лебедя посадят на телеэкране с ветвью оливы и будут рукоплескать ему, мирноосцу.

О Суд Суд!

300

О Сад Сад!

Тайнопись, почему не я написал «Зверинец»?

Тысячелетья не те.

А Вас, Велемир, за давностью, не издадут.

Я процитирую, что Велемир о Зверинце. Я не цитировал бы, но кому Вас читать, Велемир, как не мне?

«Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку».

Т. е. железо решеток Зверинца защищает зверей от людей, а людей от зверей. Все мы братья.

Мой ответ, рифма в рифму:

«Где же лезут с патроном? О суй непонимающий блятве, она и вправду не понимает, что блять, — осатаневающие карабинеры свастик!»

Что ей поделать? Кровь проливать? Как легко бы клыком, львица последняя, у тела тебя и цвет и талант негритосы, вот и лежит в клетке, задницей к зрителю, каждая кожица дышит для жизни, вот и суют: кто патрон от карабина Б-3, кто кочерыжку

капуст, кто кактус-тустеп, кто циркуль, кто винт от сверхскоростного бомбардировщика.

В царстве цепей не спасет льва ни клетка, ни телка.

Был в клетке Лев Маймун. К нему впускают львицу для ласк, негритянского цвета. Лев ее и любил. Почему не любить льву — львицу? И вот льва для семьи, для негритосы — нет. Был, да был убит.

Лев, как помнится, в книге «Летучий Голландец» питался лишь малосольными огурцами. Но малосольных огурцов в Столице нет.

Взял Маймун в зубы свой клык колыбельный, взял в кисть-пять прутья тюрьмы, клетку порвал и ушел. Искать малосольный огурец.

Что ему есть? — кровинцы ему не по вкусу.

Он далеко не ушел, хоть имел далеко идущий опыт: сесть на корабль «Летучий Голландец» и убраться морями в пески, в скалы. Лев — пустынный!

Умный зверь, но не знал. Читали «Летучий Голландец», для кровинцев съя — запрещенная книга. Как мог знать, что поймают таинственный корабль, отведут под уздцы в гнусную гавань, для ресторана. Взяли, отвели, переименовали. Теперь это ресторан «Кровинг». На воде. В пятнадцати метрах от ЗОО, напротив дворца Верховного Инстанта, он им любитесь. А на палубе, да и в трюмах, на корме, в каютах — ни перышка от парусов, переоборудован под ресторан, повторяю, — пьют инстанты свой соус и жрут жеребятину!

Сколько жандармов на льва, — сколько цепей? Цепи в Столице найдутся, повсюду в гастрономах галантерей. Лев зарезал жандармов. Есть их, признаться, не съел, но съел их ремни, башмаки и уши, — из кожи хрящи.

За то, что зарезал — был оправдан: зверь людей режет по призванию. А у нас очень относятся к призванию, — режь, лишь бы не из лжи, а по правде. Но... ремни, башмаки, уши — убыток. За этот убыток и был убит.

Есть Площадь Расстрелов. Перестали цепляться цепями, сделали сзади спецукол медицины, уснул и расстреляли в ухр по сне у Колонны. А в дацзыбао нам объяснили: все же сей Лев Маймун — из запрещеннейшей книги, опаснейший диссидент. Но тебе объясню я, автор: диссидентом лев не был, он хотел лишь в пустыню, а пустынь у нас нет, всюду у нас — цветущий ЗООСАД!

Львица осталась у очага.

Клыки у нее, как нули — кость кусает. Лежит задницей к зрителю, хоть бы фиговый листик, — вот и суют. Персонал озабочен: м. б. предвидятся у нея родовые схватки?

Песнь парусам, юность на мачтах, лучше полегче с «Летучим Голландцем»! Ты в ЗООСАДЕ, пей флакон, думай о формул фигур! Чтой тебе юность, ты, умность? Нет нас, матросов и геометров. За четырнадцать лет кто на каторге, кто и в когортах алкоголя, кто в залах иллюзий, кто уехал туда не знаю куда, кто, как сибарит — в самоубийство!

Я процитирую:

«Где орлы подобны вечности, оконченной сегодняшним, еще лишенным вечера днем... Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий».

Я отвечу.

О вечности.

Блок был болен. В припадке панмонголизма он ведь тоже ответил, попирая глаголом всех, кто не МЫ:

— Для Вас — века, для нас — единый час!

Что он подразумевал? Дух? Да нам бы хоть воз — дух! Деянье? Да нам бы даянье!

Это МЫ — вечны в абсцессах абсурда, те же, кто не мы — часовщики: тикают жизнью, жужжат, шалят, целуют, пляшут и не пишут... а мы пишем и пьем флакон! Чей лучик, чем лучше?

Об орлах.

В ЗОО есть Орел. Один. «Птицы слетаются в стаи, Орел живет один» (Книга Царств!)

Орел живет в клетке для попугая, который издох, потому что с ним никто не разговаривал из опасений: жандарм-медицин ходит с ухом по ЗОО, приверженец клятв Гиппократы, попросит кровинца:

— Покажите язык!

Тот, кто... высунет, как сумасшедший, язык, а язык — розов, здоров!

— Ты не пьешь бормотуху! — воскликнет мой медицин. — Если б ты пил, ты б не трепался, как диссидент, с попугаем, ты бормотал бы, кровинец, тексты инстанта для деменструаций...

Машина с красным крестиком на лбу, вервье на выю и — в псих-больницу!

Где уж попугаяю понять машинизацию с красным крестиком на лбу? Если б он понял, простил бы и жил. Но вот: от неразговорчивости подход.

А Орла переместили: он падал оттуда, со скалы, как кумир, от голоданыя, а метеорологи протестовали: дезориентир, землетрясений у нас нет, а орел падает. Ишь ты, кумир лженауки о земной коре!

В клетке для попугая Орел остервенел: смотрит на людство

на смерть, у Орла есть глаза, он всевидящ. Космонавт сверхскоростей — в клетке для попугая!

Вселенский медиум, с ним показывают фокус:

над клеткой повесили часы НТР; смотрит Орел на часы — часы идут и указывают межпланетное время с точностью абсолюта. Орел отвернется — часы останавливаются. Посмотрит — пойдут!

Сья деменстрация уникама — Орла, не имела успеха. У клетки никто не стоит, все боятся: лютость орльего глаза на людство, клюв, как у Феникс: утром ударит, вздрогнет Столица, реки, как вздумается, выйдут из туннелей гранита, а Ковчег еще не построен!

Всё строят и строят Ковчег струители наших надежд, а Ноя все ищут и ищут: как бы его возвратить в Столицу с первых страниц библейского текста? Злословят: могли б возвратить диссиденты! Чуть! Диссидентам самим нет возврата, да и религии у нас нет, ни для нас, ни для Ноя.

Вот ведь как: религии у нас нет, а Ной — нам насущен. Как бы мы с ветерком поплыли вперед, — пой, кровинец, брат бурь!

«Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и открываю в нем спрятавшегося монгола».

Это открытие — обнадеживающее.

Врезали ножницами для ногтей брюхо медведю Малайи — эффект превзошел все ожидания! Ожидается: взрежут брюхо, выйдут монголы опять для ига, выйдут, а ведь они идентичны кидайцам в Энциклопедьи, их всех расстреляют и сожгут напалом, вот и войны с Кидаем не будет!

Есть цель, есть цепь: привезли медведя на площадь Расстрелов, положили связанного у Колонны, поставили танки, артиллерию, огнеметы. Врезали брюхо, наконец-то!

Что в брюхе? Искали, как в лихорадке, и доискались: в брюхе что ни на есть дактилоскопический матъморализм, а кратче: анатомия медведя. Монгола не было. Ни одного.

Издание пророчеств Велемира оставили еще на тысячелетье. Какой же Поэт, если в контексте он — лжец? Может быть, взять и продать за валют его запрещенные книги радиостанции «Логос Хамерики»? Там ложь любят.

Но призадумаемся: ведь Велемир имел титул «Председатель Земного Шара», может быть, сей случай с медведем Малайским — описка, может быть, Вы, Велемир, в другой строчке откроете всю тайну про войну с Кидаем? Да и как продавать на валют «Логосу Хамерики» «Председателя Земного Шара»? Они живо присвоят себе этот титул, потом и в ООН не расслабятся!

С продажей повременим. «Эй, — поторапливайся!» — нас не украшает. Ум у многих — вот что нас украшает!

Медведя из Малайи в ЗОО нет, пал у Колонны. Есть медведь Камчатский. Сидит на цементе, за прутьями из стали, в сахраментах, в луже мочи, заблеваный, мечтатель, — как все мы. Медведь Камчатский, посвященный поэту Арине. Я не цитирую стихотворенье «Тоска по Родине», — прочитайте, Арина повесилась здесь. Могилу ее никто не искал, потому что никто не нашел.

Полюбились инстантам ее стихотворенье, написанное в эмиграции, во Вральции. Как тосковала Арина по Столице! Увидит куст, помрачится ум. Интересно отметить: не чей-то ничейный куст, не дай Бог куст Моисея, горящий от яурейства, нет, у нее развивалась, обостряясь, тоска по единственному — кусту рябины! Нашей, кровинской! Был тогда такой куст в ЗОО... И еще сравнивала себя Арина с Камчатским медведем без льдины. Естественно, сойдешь с ума с тоски — где ж во Вральции льдина? Ни куста рябины, ни льдины, ни Камчатского медведя вокруг, — такая тоска была у нее!

Тоска прошла сразу же, как только Арина возвратилась на Родину. Как только Арина повесилась у нас, — тоску как рукой сняло!

Но мы: люби книгу, будь книголюбом!

Но мы реабилитировали Арину, издавать не издается, но строки ее зафиксировали: посадили в клетку любимца ее медведя с Камчатки, а льдину ему и не дали, исполняются последние просьбы Поэта: без льдины — так без льдины. А куст рябины — пожалуйста, вот он стоит, чудесный, у клетки! Тот, о котором Арина писала, да и получше, поразвесистей, с кистями! Сами посадили, дети стараются в ботанике.

Медведя же и вспарывать не стали: на его развернутых ступнях, как у балерины, ясно, с пунктуацией прорисовывается дактилоскопический матъморализм. Над клеткой табличка: «Зверя не кормить. На диете». Рыбы нет в Столице, а медведь без льдины питается лишь рыбой. Но дети, ботаники, самые великодушные существа, подкармливают любимца: бросают ему булавки, гайки, бутылочки из-под чернил, стальные перья, рейсфедеры, — и все это обливается рыбьим жиром, чтоб медведь полакомился. А медведь? — загребает лапой, съедает, кивая! Кивая с благодарностью, а м. б. потому что его рвет — от перекорма вкусоностями с рыбьим жиром! Даже ненаблюдающему заметно, как после порций развернутые ступни медведя очеловечиваются, принимают форму большого умного кровинца, судорожно сжимаясь и разжимаясь, если вот-вот рвота, как после двух-трех бутылей бормотух!

Больше я не цитирую Вас, Велемир.

Новая эра, — страница моя — к новой зверя стремится.

Скажем, Сокола нет в ЗОО.

Сокола у нас вообще-то нет, подразумевается, что и не был. Я не птицелов.

О смелый сокол, в борьбе с руками любителей охраны Красной Книги — истек ты кровью. Но в наше время капли крови твоей горящей как искры вспыхнут в мороке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

В Столице свободы-света — хоть отбавляй. Но есть еще такие у нас летающие сами по себе системы, которые дают свободу всем и освещают вся. В самой мирной борьбе за мир во всем мире, мы, как Сокол, жертвуем собой, но дадим такую свободу и столько света, что даже незрячие народы и государства ослепнут от нашего освещенья!

А те, кто останутся в живых, поблагодарят.

Сейчас нет еще нормализации человечества. Существуют, к примеру, страны, где рост людей 37,5 м и люди — ходят, как ни в чем не бывало, как будто так и бывает.

Варварство: несоответствие роста человека и окружающей его среды животных и растений. Эти люди так несчастны из-за роста, что ходят, шатаясь от гравитации, а не от бормотухи. «Шатаясь от гравитации» — это клевета лже-наук Запада. Мы знаем правду: они шатаются от голода. Как им съесть куриное яйцо? Да это моё одно яйцо для них, из холодильника, — меньше, чем муравьиное, им бы 3500 яиц, чтоб заменить моё ненормальное, одно. На обед им нужна не куриная ножка, обглоданная до меня в Эллипсеевском Гастрономе — им не меньше 350 настоящих кур, с потрохами. Теленок для них — тараканчик. Пшеничная мука — как с моего подоконника пять планет.

Мы стремимся к соответствию во всем, для всех. И мы соответственно введем повсюду свои освещающие системы свободы-света. Для нормализации. Рост кровинца — вот рост кормильца! Мера Мира!

ТЕЗА О ЛЮБВИ. СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ НОВЕЛЛА

Моя ирония ранима, а эта песнь — печаль... Уж лучше б^х плач!

Несский проспект, Дворец N 17, где во дворе Фонтан и два сфинкса, был бы мой, но не мой, там живут молодожены по пропускам: инстант-идолог Столицы Мидерей Димоградович Прядвинцев и Наталья Зидоровна Сыроежкина. Он не юн, она юна.

Фонтан спустили в реку Фанданго для освеживания вод для раба-рыбара, сфинксов поставили в Галерею Дворца Расстрелов, чтобы все их видели; всем для воспитания.

Поженившись, как все мы, пожизненной свадьбой, новый инстант-идолог Столицы с любовью занимался нами, кровинцами, жертвуя нам свой актив Антиквария: вот — выпустил антиквариатную воду из фонтана, вот — мы полюбуемся, какие есть на свете сфинксы. О себе, нет у нас эгоизма, мы украшаем жизнь жен. Мидерей Димоградович Прядвинцев был прям, он так и сказал: там (?) — угрошают жизнь жен, у нас (?) — украшают. Кому возразится? Правдив он был, инстант-идолог, — донельзя.

Нетерпеливец — он: кто ни получит чин вверху, тут же полигамия, подхалимаж, вешает звезду на пуп, чтоб прославиться, а Мидерей Димоградович Прядвинцев тут же взял лишь одну жену, да и то помладше, и плевать-то не в кого, оказывается, а вместо звезды он повесил над крыльцом из колонн Золотой Лозунг. Начиная письма съей рутописи, я и не заметил, что у кровинцев такая цель, не припомнится мне, что у них есть в судьбе мишень и они стреляют в нее, пока без попаданья, но тренируются с храбростью: Золотой Лозунг! Почему бы это? Куда ни глянь в глаз — повсюду лозунг и лозунг, художники уж никак не скупятся: на всех веревках для белья висят лозунги, и пишут на них тот, кто хочет и кто о чем. Но и куда ни встань: хоть в очередь к Саркофагу, хоть в кассу за боеголовкой для ракет межконтинентального действия, — всюду шепчутся: ничего, у нас временные трудности с художественными красками, вот придет инстант-идолог Мидерей Димоградович Прядвинцев, он повесит на своем дворце настоящий Золотой Лозунг, к нему-то мы и стремимся для себя, для детей, для внуков и для всего людства, которое еще спит в Земном Шаре, в недрах невежеств.

Я стеснялся: как спросить, что это за Золотой Лозунг. Если уж не отвечают, кто это на реанимации, в велосипедной кепочке, уж не Цой-Дан-Балл ли? — а отворачиваются, как будто их никто не спрашивает, то как спросить о Золотом Лозунге, о котором с такой надеждой шепчутся на лестницах с фонариком, то включая, то выключая. Все шепчутся! Вот придет новый инстант-идолог Столицы, он-то и...

Вот: пришел. Повесил над крыльцом из колонн на Несском проспекте Дворец №17. Никто не пошел посмотреть, боялись, что сразу же — стресс! Я шагаю шагами по предписаньям физиологии, если пьешь флакон Красная Москва, я зашагнул и во двор Дворца №17. Конный конвой пропустит меня в любой скворешник, без спец-пропуска, как-то мне становится не по себе: лишь увидят меня, тут же бросаются к кнопке электропульты: пропустить, не глядя!

Вот возвращаются ворота, открываются, я вхожу: фонтан не работает, сфинксов нет и не вспоминаются, это я и так в курсе. Над крыльцом из колонн висит красный медицинский бинт, а на нем белилами-блевилами: «Да здравствует Иван Павлович Басманов, — ум, честь и совесть нашей эпохи!»

Конвоир, генерал с лампасом, стоит с конями, держась за стремя, подмигивая мне, как полагается. Я осмотрелся и с горестью сплюнул. В пустой фонтан.

— Это и есть Золотой Лозунг? — спросил я с гадливостью. — Снимайте, семиты, эту хавайню, или же я застрелю вас поодиночке!

Генерал Костик Глямов, мой сокурсник по факультету математики, приставил палец к губе:

— Это прототип, Иван Павлович, это, т. ск. — предвестье того, Золотого.

— А что на нем будет написано, — спросил я в лоб, не стесняясь, еще бы мне генерала Костика Глямова стесняться! — Чья фамилия будет на Золотом?

Никто не знал.

Я так и знал, что никто не знает. На кой хлуй я зашагнул во Дворец?

Но я ушел, а бинт все-таки сняли. Вместо бинта украсили фасад Дворца инструментами из арсенала символизма: зубила, плоскогубцы, молотки, экскаваторы, сенокосилки, лопаты тех, кто хлебает хлябь, их орала, а также «Боинги» с вертящимися винтами для вентиляцьи.

Оставим отступление. Пройдет чудный час, перелистается знонь страниц из календ, в воздухе запахнет ландыш волшебств, — все на месте, все невесте, а уж и жене: тебе, Наталья Зидоровна Сыроежкина! Ведь эта песнь печальней, чем плач!

Наталья Зидоровна Сыроежкина была любима: на лбу ее цвел венец девственницы, а попроще — прыщ. Волосы с нее свисали, как нарубленное сало, соленое. Анкета: шедевр графики. Таких принимают в Университет им. св. Иу. Жамбова без всяких спец-списков из инстантов, по проценту: из провинцьи.

Она эмигрировала из провинцьи в Столицу. В провинцьи вот как: голод и водка, в такой ситуации все друг к другу тянутся: по-ул-ыбаться бы! Молчальница, не зацелованная в местах общего пользования, она училась на философском факультете, снимая комнату-кровать для сна. У старушки-погремушки.

За недопустимость к себе в студенческой семье дразнят, ее — тоже, так:

— Ну-ка, съешь-ка Сыроежку!

- Ну-ка, срежь-ка Сыроежку!
- Ну-ка — на-ка! Ну-ка — на кол!

Подразнят — позабудут. Ни кольца у нее, ни дворца.

Но, как говорится, не смейся, сокурсник, отплачься от слез и свисти к нам на свадьбу!

— Уж не со старушкой ли, погремушкой?

— Ах, стерва, ишь как! Какую красотку накаркал?

— Я заболел! Я заблевал! Язва, болван!

— Придите — пройдет! — сказал Мидерей Димоградович Прядвинцев, тогда еще инстант-идолог факультета философии.

Пришли. И прошло.

Ведь прошло пять лет. Студенты-философы пили пив-бар, курили фильтр из коры диамата, гладили юбки под стойкой у девиц с девизом, — как утюгами! А тем не менее, Сыроежка изменяется, метаморфозы у девственниц — не новость. Дактилоскопический матъморализм пошел ей на пользу: где уж тут сирота! Лицо, правда, как и было, в кувалдах, грудь — уж в изумрудах, а на двух ногах — два башмака!

Свадебный стол внес ясность. Студенты ели студень из вермишелей, манжеты, провернутые на мясорубке старушкой-погремушкой, которая стала уже кухаркой и управляла этим государством стола, манжеты — Боже мой! — блюманже, вот-вот оторванные у иностранцевия в Эллипсеевском Гастрономе. Их подают на блюде с йодоформом!

Уходя, студенты со смертельной завистью глядят: во дворе машина под зонтом, броня черна, а пуленепроницаемые стекла — быстры!

Урок тебе, урод: женитьба на девственнице с философского факультета дает инстанту факультета чистый чин: инстант-идолог Столицы, Дворец N 17, фонган во дворе, двух сфинксов на крыльце и машину для мужчин, а не для сопляков, ничего не дающих обществу обещаний, кроме шпаргалок, пив-бар и утюга под стойкой. Уж лучше учиться на продавца дынь. Дынь у нас нет, но продавцы есть.

Скоро сказка сказывается, еще быстрее с каской скатывается.

Муж Мидерей надел каску инстанта-идолога, стал ездить от Съезда к Съезду. Медовый месяц был мил, но наступают и месяца отсутствий. Ребенок — не рыбка в биосфере, а итог атомномолекулярной теории. Они хотели дитя, но дитя не хотело выпрыгивать из чрева в обществе обещаний, слишком мало времени посвящается у инстанта деторождению, его страсть струится для наших надежд.

Медовый месяц снял с Натальни венец девственности, волосы

восстановили свой шелк первородства, жена расцвела от рас-
тленья по Кодексу, как все жены у мужей из инстантов.

Жили они так, что жаль: почему я, со своим пронизательным
умом и пером, не увиделся с Натальней Сыроежкиной в Уни-
верситете? Теперь я видел ее на пляже у Пропадловской кре-
пости: купались они, и как! — в пляжных костюмах! — как
супер-стар космонавт средних лет и стюардесса ЮНЕСКО! Мы
знаем, в какой час молодожены ходят в море им. св. Бельта и
вся Столица ходит посмотреть: как хотя! Мы стоим и смотрим,
как египтяне, в профиль, стыдимся своих тусклых тел, а кто эти,
милые, из мифологий? — термин к их телам неприменим! За-
висть? — но зависть к молодоженам — не новость, а факт
преходящий.

Ему 44, ей 22. Цитирую цифры, но не в них знак зла.
Машинка машет клавишей: в перьях — вперед! Наталья — на-
тельна, дай ей дитя, она умна: пока дитя вырастается, Наталья
состарится. Не к тому я, не из маньи измен, не смеюсь: двое
любят с молодостью, третий пишет, трепещется ему: как бы не
промахнуться. Не промахнутся на сей раз: люди не меняются,
если уж любят. Измен у нас нет из метода правд. Никто не
изменит из женщин, никто не солжет мужчине, если уж жена
и муж. Изменить — значит предать, а мы не предатели правд.
Предать правду — значит солгать, а ложь хуже, чем правда. Кто
ж ищет себе там, где хуже. Лучше уж — лучше. Так что пара
моя — вне пера о блюде. Где двое любят, там будет и люлька.
Но вот пока что: все было у Мидерея и Натальни, лишь дитя
не было. Даже колыбель для кошки была!

Ничего нам, не отчаиваемся. Купим собаку с рек Бабилонских,
повесим свои арфы на вербы и грустить не надо: ветерек за-
вертится — потом и потомок даст отдых отцовству! Любить —
лепить эмбрионы себя, как это нам любимо! А уж там-то сни-
маются арфы с ветвей, выпускается в небо Столицы держабль
для святого союза, — не денется! А пока насаждайте друг другу
любовь без конца, наслаждайте свой жизненный путь!

Купили собаку!

Немецкая овчарка, Дунг, редчайшей красоты, цвет золота, что
ни волосок — чистый, золотой!

Хозяин отсутствует в Съездах, диво-Наталья ходит с диво-
Дунгом по Эллипсеевскому Гастроному, не смотря на юнош и
мужчин. Всякого возраста у нас есть юноши и мужчины, при-
глядываются с остервененьем ко всякой, а Натальне — хоть бы
хны. У нее муж инстант-идолог Столицы, она — жена со псом-
златоцветом для охраны! Что ей посторонняя похоть!

И на пляж — со псом. Подойдяй-ка познакомиться — тут же
отказ, откусит! С Дунгом не шутят, отрепетирован для ролей —

как хватают за горло, если приласкаются с лаской к Хозяйке. Никто и не прикасался. На ее счет не было недоумения: если уж существует Дворец № 17, где живет инстант-идолог с женой из юниц, то существует конвой во Дворце, и спец-конвой в пляжных костюмах. Никто не наврет, у нас-то все наоборот, потому-то мы и гордимся, что в Столице есть хоть эти двое: любят, несмотря на мораль!

Нам похвастаться мерой морали — никак: наши семьи были больны, мы пересчитывали брюали, хоть и жизнь-то у нас в сущности бесплатная, как у Платона в Академии, лишь ходи туда-сюда, как я, к примеру, хожу; так же и наши жены ходят к морю им. св. Бельта, в сосны, тайком, чтоб повращаться без нас в кругу наших друзей, пока мы холим холодильник, в котором яйцо, одно; а у них — молнии в майках, штормы в шортах, сосны свистят от бессонниц! Ревность ревет, кровь кидается в лоб, нет-нет — взрывается корабль наших надежд на свой дом, свой сад, желанную жену!

Пройдет три года наших трагедий. Жизнь оживляется: обменяемся семьями, дом на дом, сад на сад, даем ей, новой, дитя, животворящие, а потихоньку молимся в уголке с угольком, с револьвером: хоть бы еще три года до следующего обмена, стареется ведь, а никто не старается видеть наш уголок, наш уголек и серебряную пульку в револьвере, последнюю, оставленную себе в семье.

Я был на суде.

Да и не суд, кто не придет на такой ошеломляющий процесс? Все придут. Все там будут. Пришли, были.

Инстант-идолог Столицы Мидерей Димоградович Прядвинцев, ему слезу, ему же и слово, мужу:

— Я езжу со Съезда на Съезд из месяца в месяц. Я приезжаю, и Наталья Зидоровна остается неудовлетворенной. Так она говорит, жена. Мне сказали: посоветуйтесь, есть инстанция медицины. Посоветовался: если я месяц за месяцем не имею женщин, что же естественней, чем у меня: неделями после Съездов любой муж отличается быстротой страсти, но не длительностью ж. ее. Муж доводит жену до иступления своей быстротой, но помочь ей почувствовать силу — не в силах. Нужно сократить сроки от Съезда к Съезду, — ночь нормализуется. Вы с жалобой, а вы пожалейте ее: она иступлена, а вы уже спите, как спринтер. Благодарите судьбу за жену, нам докладывают, как и про всех: нет пятна на ней. Извиняйтесь же и изменяйтесь. — Я не извинюсь и не изменюсь.

— Почему же?

— Не в моей компетенции сократить сроки от Съезда к Съезду. Они отменяются не мной. Я не карьерист, но нас 250 млн. Дать всем Золотой Лозунг — вот мой долг. Общество обе-

щений — вот что воочью, а дитя — деталь, я же — для идеологий, а идеология — прогресс для всех пресс.

— По поводу последнего афоризма вся пресса, поверьте, даст вам телеграмму приветствия. Но не отговариваетесь ль вы от любви? У вас есть другая? Одумайтесь: второй любви не встретается.

— У меня нет ни другой, ни второй. Я требую развода по антагонизму темперамента. Я слишком люблю служенье, а ее претензии — лишь процент хлуя.

— Не ругайтесь, пожалуйста, вы не в Хамерике. Вам сказал медицин: явленье временное. От Съезда к Съезду пойдут вам навстречу, срок вам сократится, а семья сомкнется.

— Если срок мой сократится, мне придется уйти из инстанта в Эллипсеевский Гастроном, брэнчать бараниной. Я объяснял вам объяснимо: раз я тут — развод. Теперь я понимаю, что кто-то меня подменяет уже за моей спиной, подсаживается ко Дворцу N 17. Но клянусь: он не станет пуленепроницаемым. Я говорил по существу, теперь отвечаю аргумент. Пусть скажет свидетель. Вот он, но вы в ответе, те, кто инстант поменьше, я ему язык преуменьшу. Пусть скажет свидетель, говоря, не скрывайся, скромница, моя милая старушка-погремушка, ты — как-никак — кухарка из государства!

Старушка-погремушка!

— В последний раз он пришел со Съезда на несколько дней прежде. Он пришвартовал машину в Адмиралтействе. А сюда пришел как инкогнито — на ногах! Он протелефонировал мне, а я ждала за воротами, на мосту Двух Драконов, на реке Морге. Он приказал: иди за мной, как свидетель и смотри. Был октябрь, слякоть, нет луны, хозяин вырвал из набережной фонарь, чтоб виднее. У дворцовой решетки Дворца N 17 он фонарь погасил и выбросил в лужу. Он вынул флакончик мази, и мы намазали морды, чтоб пес не учуял, лай спугнул бы замысел. Я растерялась: как же мы войдем, там конвой. Он сказал, что в железной ограде кто не сумеет высверлить вход для людей, инструмент с собой. Он высверлил вход, как предписывается инструкцией для использования инструмента, без шума. Замок в дверях во Дворце N 17 — не тайна. Мы вошли в спальню и увидели: спальня со вкусом, вкусу у нас есть. На полу ковер из Восточных провинций, с узором из роз. На окне портьера из перламутра. В правом углу спальни бар, в нем ключа нет, но и бутылка там нет, у нас никто не пьет. Посреди спальни — большущая кровать под балдахин. Ножки кровати мы ставим в большие чаши с водой. От клопа. Клоп прыгает с потолка на балдахин, скатывается, срывается на пол. Клоп считает: успех, спортивный азартом клоп со смелостью ползет к ножкам кровати, а ножки-то в чашах! Клоп ползет по чаше, а в ней — вода! Хорошо клопу: напьется

воды, взбодрится и ползет по краю чаши, чтобы найти переход к ножке кровати. Плавать клоп не умеет, в воду бросаться не идиот, вот и ползает, как дефективный, по чаше, вкруговую, всю ночь, а с зарей уходит в голоде и яростный. Это — древнейший метод борьбы с клопом, но он был доступен лишь Папе Римскому и Императрицам, сейчас же, в силу всеобщей грамотности, потому что все больше и больше столяров-краснодеревщиков по изготовлению кроватей, такой метод доступен и инстантам-идологам, но со временем он станет насущен и для нас...

— Подумай, подлюга: ты свидетельствуешь о преступлении, оно плачевное. Так, кажется, начинается наша новелла. О клопах же мы и так читаем, не начитаемся. Свистай по существу!

— По существу. Ни о каком преступлении новелл — нет. Кровать была расстелена мной, никем не оспаривается?.. Простыни отличаются дороговизной — мной покупаются. И белизной, — кем же стирается, как не мной? На простынях лежит юность, на теле ее никаких примет, лишь юность, мне-то многократно было присматриваться к ней, красавица, никаких примет, никаких одежд, чья же Хозяйка, не моя ль — Наталья Зидоровна Сыроежкина! Да я ее обсмотрела еще в той комнате-креветке!

— И все? Идья-ка ты, старица, в идейку! Суд — сыт, сука!

— Сука, на ней лежал пес!

Судья встал, как сталь. Еще миг — и он убил бы старушку-погремушку пресс-папье для пресс-конференций. Занимательный механизм: с часовой пружиной. Во время боя в конференц-зале такое пресс-папье с успехом заменяет танк.

— Я тебе сказал, сука, потому что ты языкатая сука и есть, но я на тебе, суке, не лежал, я — пес, ишь отпарировала! — взгремел Судья.

Поди ж в падеж, поди ж ты в падеж, — не подействует. Старушка продолжается:

— На ней лежал пес Дунг. С золотой шерстью. На Натальне Зидоровне Сыроежкиной-Прядвинцевой. Он вылизывал ей сосцы красным языком, с языка у Дунга капала слюна.

Судья снял сталь, взялся за стул:

— Пес Дунг лишь лежал и лизал, или ...еще?

— Да. Делал. Делал хлуем. Уж лучше б делал муж, Мидерей Димоградович Прядвинцев! Но лучше он не умеет, как видится.

— А она? Что она? Боролась?

— Боролась. Как любая баба, если объята, а в жилах желанья! На ее месте мне бы уже не побороться, страсть не та — климакс! — старушка сокрушается.

— Вы свободны! Сводня! Все!

— Я не сводня и не все. Да, я посоветовала ей пса, но Дунг

дал ей долг, совесть моя чиста. Не все: я подтверждаю невиновность инстанта-идолога Столицы, Мидерея Димоградовича Прядвинцева, — пусть разведется. Так не поступают с псами.

— Еще что-то?

— Мидерей Димоградович стоял, как на смотринах. Да. Стоит и смотрит на жену и на Дунга и на часы.

— Щекотливая щука ты. Еще?

— Еще это продолжалось 42 минуты. Могло бы быть и дольше.

— Что ж — помехой?

— Насмотрелся. Сказал Дунгу: выйди вон! Дунг вышел. Мне сказал: выйди вон, во второй этаж, пиши расписку с печатью для суда. Если Мидерей Димоградович выйдет через 42 минуты, эта сцена забывается и расписка сжигается в камине. Но идолог вышел через 4 минуты, выбежал, как вихрь, на копытах, как вепрь. Он выл, как вол!

— Что он кричал?

— Он воплял на международном языке, я не в курсе, у меня свой, кровинский. Я поняла лишь, что он не сократит сроки от Съезда к Съезду. Что у этой женщины нет чуткости к человеку, а есть предпочтенье к псу. У нее ненормальная психика. Добавлю от себя: у нее психика нормальная, у него хлуй холодный. Кто же кидается на юную жену Натальню Зидоровну с холодным хлумем!

— Вы увели Дунга в общество охраны животных? Все ж у кровинца Прядвинцева был стресс, мало ли что могло бы?

— Не могло бы, а вот что. Пес ушел к фонтану и уснул в саду. Мидерей прокрался в сад к фонтану, с фонариком, с рюмкой ртути.

— Лжепоказанья! Говорите правду! Ртути у нас нет!

— Он разбил семь термометров, вылил из них ртуть и прокрался. Дунг спит, отдыхая. На шаг он не залаял, все ж хозяин идет. Повел ухом, приветствуя, и почему бы не спать, устает и собака, если у нее страсть. Инстант-идолог Столицы Мидерей Димоградович Прядвинцев завернул ухо Дунгу и влил в ухо ртуть. Я видела со второго этажа, при луне-то как не видеть! Дунг подергался и издох. Утром Мидерей огорчался, разбивая ложечкой яйцо всмятку: бедный Дунг, жаль собачку, сдохла от неестественной ямбли, паралич сердца от излишеств. Стой, сударь-судья! Не свети мне в глаз грусть. Это сейчас у меня глаз старушечий, а ведь когда родился ваш род, мне было 17. Я играла Офелию, ты, фалл Кодекса! Я помню эту сцену в саду, когда Клавдий прокрадывается к фонтану, где спит его брат Гамлет-старший и отворачивает ему ухо и вливает в ухо ртуть. Гамлет дергается, и смерть. Я сказала тогда: о нет! так нельзя! Мы свой, с миногой мир построим, без Клавдия, без ртути. Воз пряников — в рот людской! И пошло по-новому:

ртуть мы не применяем, действуя удавкой. И что ж! Что ж мы повторяемся, что ж у беса нет ошибок? Отставленный король от кроватей нео-Клавдий пробирается к законному псу и вливает ему в ухо ртуть, чтобы занять его место на троне! Где тренаж телес?!

— Судить погремуху! Казнь кухарке! — вскричал инстант-идолог. — Я хотел, чтоб она сказала о гнусном поведении жены для развода, а она морализует в духе «Логоса Хамерики», она — агент моралите!

— Я не погремуха и не кухарка. Я Омелия Болоньевна Жерементьева, актриса рода до знака 17. Тебе развод не позволено, сквозняк Съездов. Развод для инстанта-идолога — исход из номенклатуры, в лучшем случае ушлиют консулом в Кидай. Суд распускается, кровинцы! Я все наговорила в состоянье аффекта! Мне 80 лет, потеря памяти, галлюцинация о прежней роли. Стала рюшка в погребке мушка! Я же кухарка, я же — как харкну! О ивушка-ива!

Старушку-погремушку не увезли в псих-больницу, из-за гуманизма к возрасту, но то, что она — вот как — зафиксирована.

Натальне Зидоровне Сыроежкиной не дали визу в Москву, а больше за границ у нас нет. Не дали из-за младости, о ней позаботятся люди Столицы: конвой со шприцем и иглой.

Мидерей Димоградович Прядвинцев остался инстантом-идологом Столицы, пост ведь пожизненный, а Прядвинцев так приучился говорить правду от Съезда к Съезду, что ему уж не отучиться.

Живут во Дворце вместе. Дитя уже есть. Вскорости появится другое дитя, а потом, надеемся, третье. Теперь Прядвинцеву разрешается отпуск ценой в два месяца — для перевоспитанья детей.

Сыроежкина пригласит крупного скульптора Столицы, скульптор сделает по фотографиям памятник Дунгу: красивая копия из бронз — Дунг, пес-златоцвет. Натальня похоронит пса в Фонтане, в саду, а на Фонтане поставит памятник Дунгу. На постаменте (из бронз же!) надпись. Это эпитафия:

«Любовь — вне судебной компетенции. За что же убивать собак? Нужно убивать женщин, если, уж ты такой мужчина. Убил бы меня, а не лез бы с часами проверять свои свойства. У меня нет близких людей, а Дунг был близкий. Я сижу в сейфе, и меня выводят к воротам, чтоб улыбаться для Юбилея. А Дунг любил без улыбок, как любят жену, и жаждал меня, как женщину. До свиданья, Дунг, до свадьбы — там! Слюнтяйка».

Что ни утро Натальня поливает могилу из лейки, скульптура псу-златоцвету Дунгу стоит и сверкает!

Что ни день Наталья сидит у скульптуры в шезлонге и вяжет Дунгу свитер с узором — к зиме. Свитер вяжется с трудом, в слезах... Пусть ей плачется, песнь тебе — от меня, сам ты, Ментор, сантимент!

ОСТОРОЖНО, ГОРШКИ С ЦВЕТАМИ!

Как стать синеглазым?

Чтобы все девушки Столицы, — останавливаются, как верблюдцы у колодца и восклицают:

— Стойте! Нам по пути!

А по пути вопросы;

— Вы не смутитесь, а я Вам открою душу, девичью: такие, как у Вас, глаза теперь не попадаются. У мужчин глаз вообще-то и нет, мерцает кой-какой студень. У Вас глаза (такие!) от рожденья или Вы шприцем вводите в зрачок инъекцию синильной кислоты? Моя мечта — синие глаза. Объяснитесь же!

— Если нам по пути, я объяснюсь: сейчас не практикуется такт, нельзя снимать джинсы и ложиться вдвоем у Эллипсеевского Гастронома. Кровинцы встанут вокруг, будут бить в бубен, песнь петь, — я не люблю эксгибиционизм.

— О чем речь? Как вы спите? На подоконнике, под столом, в коридоре, в ванной?

— У меня тахта с персидским ковром!

— Так-так! Далекий наш путь?

— От Эллипсеевского Гастронома — 116 шагов и 72 ступеньки.

— Что в холодильнике?

— Яйцо. Одно.

— Что мы пьем?

— Одеколон Красная Москва.

— О!

О, не спрашивай ее имени, позабудется, лучше наутро спроси, как полагается, под ковром. Ты сделаешь ей приятный сюрприз и скажешь, что она ведь вчера не представилась, так торопилась.

А ты не торопись, пусть одевается, возьмет сумочку. Пусть вспомнит: я обещал мне синие глаза.

— Вы обещали мне синие глаза!

Вот: вспомнила.

Теперь возьми ее за ладошку, она же молоденькая, девочка у аиста в клюве, ручка у нее отлакированная, как у тросточки, уведи ее во вторую половину своей комнаты, за шкаф. Укажи ей пальцем на этажерку, на три горшка с цветами.

Она расхохочется тебе в глаза:

— На цветах — цветов нет! Ну и что? Почему четвертый горшок закрыт крышкой от кастрюли?

Ответ:

— Посмотри.

Ляля откроет крышку, а крышка выпадает из ладошки, зазвенит об пол зеркальный, — дззззззыннннн! — как будильник.

Ляля закроется лапкой, — ишь, как зацокала каблучками по 72 ступенькам!

Ты не позабыл? Ты посмотрел? — глаза у нее синие.

Синие-синие, — заглядеться!

Кто раскаивается?

Ты, мученик бессонниц, лежал с телом юницы. Плохо тебе? Нет.

Она, мечтательница, теперь имеет синие глаза. Единственные в своем роде. Плохо ей? Да, плохо. У нее стресс.

Но у какой девушки 17 лет нет стресса — что ни день? Таких девушек и нет.

Завтра же она позвонит по телефону, захлебывается, извиняется, что убежала, как бешеная, а имя ей — Ляля!

— Что Ляля?

— У меня глаза — синие! Мама признается, что я — обольстительна.

— Что мама?

— А маму зовут Елизавета Елизаровна...

— Что мама?

.....?!

Елизавете Елизаровне 35 лет, хорошенькая, черноволосая блондинка.

Песнь поется звук в звук, коврик колышется жест в жест, крышка от кастрюли, — дзззззыннннн! — звенит!

— Лиз-Лиз, у тебя синие глаза!

— Нам бы обвенчаться, Ив-Пав!

— Обвенчаться нам некстати, жандарм брака выдаст нам ордер ареста: за безнравственность.

— За то, что ты спал с нами, с дочерью и с матерью, т. ск. — попеременно?

— С вами я не спал. С вами поспишь, — барахтаетесь всю ночь, как боровицы! Вот за что арестуют: у тебя и у меня синие глаза, таких больше нет.

— Но у Ляли?

— Ляле 17 лет, несовершеннолетняя, у нее могут быть любые глаза. Тебе же 35, мне 44, откуда мы вдруг имеем одинаковые глаза. Никто их — нас не видел, да и в паспорте у меня желтые, у тебя зеленые.

Жандармы возьмут мой горшок с крышкой от кастрюли, как вещественное доказательство. В зале суда крышка откроется и все увидят. У всех кровинцев! — глаза превратятся в синий цвет! Мы затеряемся в поголовном посиненье. Мне бы затеряться, — эх, избавиться бы от съих уксусных слив слав. А вам-то как, двум женщинам-синеглазкам, ведь с такими глазами вам — без всяких уст — всемирный успех! Вот как!

— Нас лишь трое в Столице — ты, я и Ляля — с синими глазами?

— Нас лишь трое.

— Клянешься?

— Вступай в клан клятв, клюй клевету. Я — сказал!

— Что ты хочешь?

— Я хочу спать.

— Встретимся?

— В аду.

— Как мне быть, если с глазами что-то случится, ну, цвет изменится?

Я сказал:

— Я взял глиняный горшок, я принес в горстях землю со двора, просеял землю в сите и высыпал в горшок. Я поливал землю два раза в день: в 6 утра — 1 стакан воды, в 6 вечера — 1 стакан воды; и так 4 года. Вот и выросла в горшке эта штука, глаза у меня посинели! Я тороплюсь, это запоминается: горшок, просеянная земля, в 6 — 1, в 6 — 1, и так поливай 4 года. Попробуй, Лиз-Лиз!

— Не торопись ходить со своими глазами, увидят, схватят, пьяного, девицы с девизом, а сейчас в Столице свирепствует сифилис!

Я взял вуаль и вышел под вуалью.

АНТИТЕЗА О ЛЮБВИ. ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕ НОВЕЛЛА

Не все же свободное от судьбы время ню-герлс Алена Кулыбина лежит в луже с двумя зелеными огоньками на ягодицах.

Она пишет мне письмо. Текст я не редактирую, ни к нему, но цитирую. Читай, что есть.

Он был Поэт.

Чтя светлую память Поэзии, простится ему имя, а назовем Поэт X.

Нет жизни в Северной Провинции, — кто не знает? Все. Знают. Никакой там жизни нет. Там и хлябь-то хлебать некому,

если уж редкая птица долетит до центра Северной Провинции, увидит хлябь, хлопнет крылом себя по лбу и улетит южнее.

Но Поэт Х. родился там и пропел про нее, свою Северную, 77. 000 строк, кой-как, по-кровински зарифмованных парами или крест накрест. Результат: при семиричном вдохновенье Северная Провинция возникла, зарифмованная и желанная для жизни в ней.

В центр, над которым в кой-то век вилась птица, привезли на вертолете избу-музей и опустили на землю. На избе-музее табличка-мрамор: «В этом Дворце родился и жил величайший Поэт-кровинец под фамилией Х. Здесь же и умер, прославляя на все века Северную Провинцию». Сейчас к избе-музею привлекают экскурсанта. Спускаться не всякий сумеет, лестница веревочная, турист не труслив, смотрят на избу-музей с вертолета, удовлетворяются. За посещение мемориала им дают два дня к отпускам.

Родился ль Поэт Х. в Северной Провинции, а как же, кто же у нас не рождается? Жил ли он у себя? Кто не живет, живут. Умер ли там же, умирают и у нас, увы.

Что ж сомневаться? Это место рожденья Гомера оспаривают 7 городов Эллады. У нас нет спорщиков. Родился, жил, умер — никем не оспаривается. В пляс, плюс!

Поэт Х. был, как и все мы — самородок. Первенец природы. Поэтому он любил кровинскую природу, любил людей и утверждал, что кровинцы живут в лучшей из Столиц, непридуманной. Подтверждал также, что у нас есть мама и долг, а в Хамерике — мафия и доллар. Возьмая объектив фотоаппарата, напечатай снимок в газете, и так увидишь, что у нас, что у них. Но превращенье правды в Поэзию — для этого требуется смелость мысли и взмах лирика. А вот смелости и взмаха Поэт Х. ни у кого не позаимствует, сам догадается до ритуала рифмы и линии лирики. Что повторяться, — самородок!

В 11 лет Поэт Х. уже пил бормотуху, и о нем писали крупнокалиберные журналы, как о феномене. В 14 лет ему был вручен диплом Литературного Института. Учился ль он там, у нас все учатся, какой вопрос? Его литература уж была в идеале идеологии, в блеске бормотух. В 19 лет ему дали Дворец в Столице и пригласили в инстанты. Инстантом он стал и заструился в надеждах, а вот Дворец пропил. В пепел. И поселился в подъезде N 11. Это не очень-то понравилось инстантам, но шквал писем, не поддающийся нумерации, от тех, кто жует железо и хлебает хлябь; воочью показал инстантам искреннюю сущность кровинцев: скромность Поэта Х. украшает его Поэзию больше, чем Дворец. Что есть Дворец — в нем рассматриваются сиюминутные истины инстантов, и это, конечно же, ой как насытно!

Но Поэзия кровинцев — вечна, долой Дворцы для нас, да здравствует скромная бормотуха! Так кой-кто из инстантов вверху оценил: пропивал Дворец — будешь национальный герой! Кой-кто из тех инстантов, вверху, хотел тут же пропить свой Дворец, но призадумался: ведь Дворец-то ведь есть, а Поэзии-то ведь нет, герой не получится. Так у них во всем: как хотят и так не получается!

Иллюстрирую и эту судьбу: как хотели дать Поэту Х. Лауреата за Поэзию, но Лауреата дают лишь в Юбилей 50 лет, Лауреата не дали, хотели — не получилось. 50 лет, и ни дня меньше, — так предусматривается Кодексом. Хотели дать Лауреата по бормотухе, здесь 50 лет ни к чему, если Поэт Х. пьет без отпуска, не зная сна. Не получилось: он пьет в подъезде N 11 из бутылки, из горла, а у Лауреатов бутылка давненько вышла из употребления, пьют из цистерн. Хотели присвоить ему хотя б гения, ведь возраст 37, подходящий. Не получилось, гению полагается Дворец, а он возьмет и пропьет второй — не давать же ему третий к 100-летию. «Логос Хамерики» заропщет — вон как разбрасываются Дворцами для пропиванья, а все хамериканцы ютятся в Харлеме.

В сущности, не получив ничего в 37 лет, когда уж гений-то уж подразумевается сам собой, а присуждение по телевизору — лишь инсценировка, ввиду такой общественной обиды Поэт Х. стал искать смерти.

Он женился.

Его жена, Алена Кулыбина, тогда еще не ню-герлс, без двух зеленых огоньков на ягодицах, — тоже набарматовала для судьбы поэтические стихотворенья. Никто не искал у Алены Кулыбиной внешний вид ни в лице, ни в жесте, ни в телосложении. Но за дверью двух — дул Дух! Они жили с желаньями, а писали без одышки — то он, то она, сменяя друг друга у пишущего аппарата. Вместе они лишь, кажется, спали и вместе (тут же свидетели!) пили бормотуху. Ходит слух, что с похмелья они обменивались поцелуем, почему бы и нет? Гаденький слух.

В Концертном Зале Столицы молодожены вызывают живой отклик: их декламация вне рамок речитатива, они держат на столе графин, чокаясь бокалом в ритм рифм; чокаясь, конечно же, выпивают бокал. Кто удержится от оваций, если на сцене пьют, а в зрительном зале мучаются два часа, слушают стих, восхищаются, но не так умно, как нужно бы, а так нервно. В Концертный Зал стали приносить бутылку. В руке — нельзя, оскорбит билетерша, но книголюбы и стихолюбы изобретательны. Бутылку: ставится в портфель, горлышком вверх, а пробка в горлышке заранее просверливается, в отверстие вставляется хлорвиниловая трубочка, как для коктейля, но подлиннее и под цвет

пиджака. На своем пронумерованном сиденье зритель вытягивает трубочку из портфеля, продевает ее в рукав пиджака, подмышку, под галстук; а уж из-под узла галстука, скорбно склоняя голову в знак эмоций из стихосложения, — сосет, сосет из трубочки бормотуху! Конец концерту, никому не встать с пронумерованного сиденья, ураган оваций, но все ошеломлены, — не встать, не выйти. Газеты отмечают с оценкой; так действует настоящая Поэзия на настоящего стихолова-кровинца. Ошеломляюще действует. Концертный Зал охраняется спецотрядом конной жандармерии культур — до зари. Лишь на заре стихоловы просыпаются, встают и идут пить пиво, — 250 млн. стихоловов. Выпив пива, они не успокаиваются, обсуждая поэтический эффект семейной пары, возбужденные, что рифмы запоминаются для людей, и бегут через железные заборы Фабрик, Заводов и Канцелярий — за бормотухой. Но в этой исторической не повелле нас не интересует рабочий день читателя.

Алена Кулыбина, ню-герлс с двумя зелеными огоньками на годичках, писала в рифму с детства, но у нее не было стажа. В 17 лет она оформляется на завод и по спецпропуску становится той, кто жует железо. Газета-многотиражка для юной поэтессы выпускает аншлаг: «Поэтом может быть Ли Бо, но искренняя Поэзия лишь у Алены Кулыбиной, у той, кто жует железо». В 19 лет Алена уже имеет множество мозолей, но ею понимается: искренней Поэзии у нее нет. Она открывает Энциклопедию, читает ее страницу, и вот вывод: те, кто жует железо или же хлебают хлядь, у них есть писатели первый сорт, но гения у них нет. Искренний гений лишь тот, кто рисует рифму с риском быть пойманным за руку без мозолей, но у него в правом кармане пальто неиссякаемый запас бутыль-бормотух. У нее бутыль-бормотух и не предвидится, тот берлог, но не тот брюаль. Она становится искательницей, ищет и находит искреннего гения.

Алена Кулыбина выходит как-то из Саркофага, а на ступени подъезда N 11 сидит Поэт X. и без видимой причины красит свою морду в синий или в зеленый цвет, опохмеляется как будто б. Между колен у него бутыль, а правой рукой записывает на ступени рифмы, ненужные ему, а так, инерция гения, в духе закуски, что ль? Алена читает из-за плеча Поэта X.: ничего себе ненужные, закусовые, да они настолько же новы в Поэзии, насколько сейчас же нужно увести Поэта X. в подъезд N 11, вглубь, переписать рифму за рифмой в записную книжку для стихосложения, как новаторство. Да и лечь тут же на ступени, не ожидая от Поэта X. ухаживаний, встреч при луне, признаний на скамейке и т. д. и т. п.

Вечером они легли, утром поженились. Мы уже описали совместный слав семьи в Концертном Зале. Но и тут Алене

Кулыбиной в уме никто не отказывает. Муж со щедростью любви дарил ей любые рифмы, но Алена понимает, что пишет как бы вторично, не как она, а как жена еще непризнанного гения. И тут ее осеняет: она знает, что нужно сделать, чтоб гения признали по телевизору, чтоб к нему пришла всекровинская слава бессмертья. Она идет к майору Милюте Скорлупко. Она признается:

— Позавчера мы пришли с концерта в подъезд N 11. У нас портфель бормотух. Я кладу на ступень закуску из спец-магазина: кильку в томате, лук и вилку. Помню — пьем. Поэт Х. падает со ступеньки на цементный пол. Я ложусь тут же с ним, я делаю ему ласк. Ни одна из ласк им не чувствуется. Но сознание просветляется. Отвечая на мой секс, он закуривает сигарету, тушит ее в мою грудь для чувств, в сосок; я лежу обнаженной. Он вдохновляется, бормочет чудесные рифмы, я записываю, как могу, во тьме подъезда, на полу, а он берет в рот пять сигарет, зажигает их спичкой, затягивается, сигареты вспыхивают, и он гасит их, пять, в мою грудь, в мой живот, в пупок. Потом начинается взлет: он курит и курит, бормочая без умолку рой рифм, и гасит сигареты в меня повсюду. Одной сигаретой, к примеру, он прожог мне ухо насквозь, другой спалил брюшной пресс. Он вдохновлялся, как одержимый: рифмы уже на меня наводят ужас своей чистотой чувств. Из моих ключиц делаются пельменицы!

Я бы стерпела и не такую страсть от него, но жалость берет свое: ведь по Кодексу я теперь инвалид и до конца дней Поэту Х. придется мне платить пенсью по инвалидности. Что мне заплатится — пейки! Я сняла трусы и, простите, села голой жомбой на лицо гения, у меня вес, а жомба некислородная. Он задохнулся. Да он и так уже задышался от интуицы.

Я понимаю свою вину: я виновата, что не задушила его прежде, по-молодости не очень-то соображается. Именно задушить его нужно было и как можно раньше, чтобы он сделался признанным гением, посмертно. Ведь лишь посмертно есть неуывдаемая слава в Энциклопедьи. Я — его вдова и мое имя останется при нем, в веках. Несмотря ни на что, ни на то, что мои стихи плохи. Пусть их, плохих, не печатают, я-то — уже историческая личность Алена Кулыбина. Никакой суд не сумеет стереть мое имя из печати в его паспорте и из памяти благодарного потомства. Я сделала для него, что могла. И мое имя не позабудется.

Тут Алена Кулыбина вдруг улыбнулась, с сердечностью:

— Майор, а Поэт Х. не был интеллектурал, прикидывался. Когда я села голой жомбой на его хвастливую харю, вот он что успел, мой сильный, мой крепкий, морг синий, морд в кепке!

И Алена снимает трусы. Майор Скорлупко взглядом снайпера оценивает ситуацию и лезет лапой туда, где трусы только что

висели на резинке. Алена поворачивается жомбой. И это майору мило. Он трепыхается, снимая свое, гасит настольную лампу, суется во тьму и — вдруг отскакивает: у Алены Кулыбиной на огоненных донельзя ягодицах — два зеленых огонька!

— Такси! — кричит Милюта, по испугу. — У меня талон!

— Зажигай лампу, зажомбник! Бабы от тебя не уйдут. Пока Поэт Х. давился без воздуха, он ухитрился прожечь мне и ягодицы, какая мне теплая память на всю судьбу: два зеленых огонька на ягодицах! Не у всякой ведь.

Никто не судил. Избу-музей спустили на вертолете, и стоит. Алену Кулыбину реабилитировать не стали, не дай Бог «Логос Хамерики» впадет в истерию от вымышленных зверств. Но и в историю Алена не попадает, ведь посмертный гений Поэта Х. издан; лишь портрет под стеклом — истинн. Их, гениев, с бормотухой, мы со слезой записываем на заборе, но в историю им как-то ни к чему. Им и без Истории-то не живет — в избе-музее с табличкой и экскурсантом. Как говорится — умер в уйму.

А хранительница избу-музея Алена Кулыбина, ню-герлс с двумя зелеными огоньками на ягодицах, получает за хранительство так мало пеек, что ей приходится лежать в луже у Саркофага, чтоб зарабатывать брюали. Никуда ей теперь не войти: в Историю не войти, потому что ее муж — муйтак, а не Поэт Х., а в Саркофаге — лесбиянки, они путаются зеленых огоньков — чуть что — инспекция!

ХРИСТИАНСТВО. БАДЬЯ ЖУЖЖОМЕЦ И РОЗА ГАРПИЕВНА

Ни с того, ни с сего на нашем борту бьется винт христианства. А христианки у нас — блятви по Кодексу, а христиане — сутенеры. Увидишь крестик на грудях нагой — знай, с кем имеешь связь. Истинных верующих единицы, но им не ходить в храм по утрам, там исповедуют. Бунтарь-исповедник священник Иеремия Туточкин описывает исповедь в спец-протоколе для Тайной канцелярии. Как уж он старался во Христе, но все ж был взят. В Суд.

Пишут: его пытаются, а мы возмущаемся. Не пытаются его, Иеремию. Его исповедуют — он повествует о тех, кто ему что там наляпал в Слове. — В чем же истина? — спрашивают. — Нельзя отказаться, — истина во Христе, — отвечает Туточкин. — Пусть так, — соглашаются, — но это в небе, а небо нас не касается, еще не знаем, как справится Христос с Ведущим инженером по

космической аппаратуре. А вот здесь, на земле — в чем? Иеремия — молчальник! — Имеющий уши да слышит, что Дух говорит церквам, или вам хочется укол в ухо, и вам услышится всякий вопрос! — Ой, как не хочется мне укол в ухо, — отвечает Иеремия Туточкин, бунтарь-священник, бунтующий против атеизма. — Я лучше процитирую для газет афоризм апостола Павла, как писал Иоанн Грозный Андрею Курбскому, упрекал Андрея, что тот не хочет быть убит им, Иоанном, при том и Басманов был, не даст соврать. Вот тот текст: «Всякая душа да повинуется владыке, власть имеющему; нет власти, кроме как от Бога, тот, кто противится власти, противится Божьему повелению». — В чем же истина здесь, сей час, в сей Столице, где истина у нас, у инстантов? — мягко подсказывают, нацеливая из милосердия шприц с уколом игл — в ухо. Слух у священника проясняется. Он выходит сам, без костыля в шею, на телеэкран и с мужеством говорит, читатель, а глас имеет трубный: «Есть Бог, но он в небе, а истина здесь — в инстантах!» Нельзя же заниматься лишь божественной силой, думай и о шприце с иглой, — вот равенство религий! Иди, священник, святи алтарь, окольцованный брак жандарма железной дороги с выпускницей Дома Балета, бинтуй мертвеца, он отслужил от ажи, чего уж тут стесняться, но бунтуй с бантиком на лбу и с крестиком о трех перстах и оценится медалью к Юбилею твой бег к Богу. Ведь ты во всю и во вся возгласил как труба, что власть инстанта — от Бога. У нас артистизм атеизма, но если церковь приписывает нам божественное происхождение, что ж — это дело церкви, она ведь вне статута Столицы. Так Главарь-Священник Иеремия Туточкин отстоял храм Христа: и отделили и отелили, а лавров и лилий им не дадим.

Так, в нашем Храме, отремонтированном специально для иностранцев, крестят с охотой, по спискам и спецпропускам. Это поощряется, не тот, но тост, права примата у Милюты Скорлупко, рамки равенства кует Зубикомлязгик (где он и кто он — я вспомню), а реалии — хоть брызгал брюалью в пользу позолоты архитектурного памятника с куполами — Иеремия Туточкин священник с овощем из спец-Эллипсеевского Гастронома, уса с трубой. И стой за инстантов, они от Бога, и стой за ними в спец-гастрономе, там дают баночку жести с этикеткой «Завтрак туриста». Нет у нас в Храме крема, скромны в Храме с хреном! — завтракаем как туры, играемся.

Увы, не художник Бадья Жужжомец, живой еще, почувствовал тягу к хваленому Христу. Нельзя отрицать, художник был худ костью, но ведь живой. Скитался, как тать, по чердакам, которые называются художественной мастерской, имел немногословный, но летний бассейн — мылся в миске для моськи у

Розы Гарпиевны, 80-летней, последней яурейки в Столице, той, с одной ногой, инвалида войн, оштрафованной один раз в 80 лет за пьянство у Бормотушницы, потому что хватанула жандарма как столбом о лоб, а ведь жандарм по-вральцузски — это гражданская армия, или же вральцузы все врут, не зря же они называют себя вральцузы — вдали, да еще и цузы. Роза Гарпиевна не любила жандармов за вральцузский титул. А Бадья Жужжомец у нее подкармливался для сил искусств, она же была и натурщицей, других натурщиц не было, одна появилась было у Саркофага, Генриетта Многотиражкина с почтамта, с фамильей, будто ей не будни, а юбилей на юбилее — Геня Любахина! Вышла замуж, замарашка, за киника Тодора (женятся, как жнут ятра в век XX!). Могла б и она, от горя говоря, стать натурщицей, посвежее Розы Гарпиевны, хотя бы по годам как-то виднее была бы Бадье Жужжомцу, но... — негде им по-ул-ыбаться! И получается: мойся из миски, рисуй Розу Гарпиевну, а что в ней для увы не художника за ценность, она — лишь экспонат, последняя яурейка в Столице. Уж лучше б он взял натурщика — наш последний трамвай N 1606, но тут уж режиссеры (они всех опережают!), теперь трамвай снимается в роли трамвая в кинофильмах фирмы «Столицфильм». А Бадья Жужжомец использует, вздыхая, как вол с Деянирой в качестве натурщицы Розу Гарпиевну, все бы ничего, тело старухи тоже имеет свои преимущества в виде ню, кисть имеет свой код — замаскирует любой шифр морщин и обвислостей. Но как быть с ногой? Приходится быть так: холст с подрамника, бросал на пол это хозяйство, ложился и в качестве второй ноги обводил углем контуры своей. Это уж новая живопись: ню с одной ногой возраста 80 лет, а вторая нога у ню — мужская, возраст ноги 40 лет, нога автора, Бадьи Жужжомца. У нас-то, мы, кровинцы, понимаем что есть свинство и что есть хитрость. А вот «Логос Хамерики» захлебывается в инсинуациях, что Бадья Жужжомец — гений и яростный сиянист. Что Бадья Жужжомец гений — какой протест, говорят, а он — в слух. Но что сиянист — нет. Возьмите яурейку Розу Гарпиевну, дайте натурщицу Иванну Ивановну, и с ней рисуется, если у нее грудь еще не имеет форму воронки вулкана, как это бывает у Ивановны Ивановны после аборта в 12 лет. Иначе обвиненьями в гениальности не отделаешься, «Логос Хамерики» возвестит, что Бадья Жужжомец открыл в живописи эру вулканического эротизма, а мы увидим: растлил девицу Иванну Ивановну до состоянья ню и аборт в 12 лет отметится тебе, растлитель: или дочеряй, или уточняй!.. Так можно договориться до граммафониста!.* Деградант — я. Нет во мне человека — силуэт словес. Напишу «овечка-червячка» и разыгрываю аллитерацию, как философему, и пью, восхищенный, сам себе собака,

флакон Красная Москва, — тост тупиц! А сам-то из тупиц — первый перл!

Обвиненья в сиянизме почему-то подействовали на кровинца Бадью Жужжомца. Приходится повторяться, когда заговариваемся: увы, не художник Бадья Жужжомец оформляет в издательстве книжку с рисункой, ходит в штанишке от «Логоса Хамерики», у него хватает силы духа продавать вне Кодекса картинки с ню Розой Гарпиевной, несмотря на разницу в возрасте одной ноги и второй ноги, а вот чувствуется: Духа Святого у него нет.

Да и как уехать бы в Хамерику, если никто не знает, что у тебя — Дух Святой? Нужно уехать с ухваткой.

Поэтому он превысил наши три заповеди: права примата, рамки равенства, реалии религий. Он крестился.

Вот именно: как?

Не в тишь-тишине лабораторий алтаря, а так: призывает на свое крещение, на обращение в истинную веру — кого бы? — корреспондента из «Логоса Хамерики» и газетную прессу — не нашу! Те фотографируют вспышкой аттилу с крестом, диктуют на мир Земной Шар о нео-диссиденте: Этья-Председатель повесился, да здравствует нео-последний диссидент Бадья Жужжомец, увы не художник!

Он хотел уехать и усхал: на спец-машине в Тайную канцелярию. Там люди понимают. Это Этью, Председателя за права примата, — Вы пьете, Этья? — так спрашивают. — Я пью! — почему бы мне не пить? — так Этья отказывается от показаний. — Не пейте, — просят Этью, Вы дискредитируете диссидентство, диссидент у нас чист, как чай. Это у нас недостатки, мы ведь на то и инстанты, чтобы у нас — недостатки. У ВАС недостатков нет, ни на йоту. Не пейте хоть во время процесса, просим ВАС, иначе Вы будете выглядеть без галстука, без следа бритвы по лицу, неприглядная внешность для инакомыслящего. Пройдет процесс — пейте в усмерть, но не позорьте высокое звание на телеэкране. Вы — враг, будьте ж достойны врага. А то и нас спросят: с кем же Вы связываетесь, друзья? Где у него иные мысли, кроме алкоголизма? Смеетесь, что ли, над обществом обещаний, где у всех — мысль в мысль. Но Этья-Председатель обвиняет Тайную канцелярию в попытке: все кровинцы пьют грамм в грамм, а ему, диссиденту, не дают в камеру и рюмку!

Волны возмущений захлестывают окна и океаны: издеваются, со времен иезуитства еще не было и попытки такой изуверской попытки: Этья пьет и это — права примата, Этье не дают пить — нужно созвать Херсинскую конференцию, пусть Президенты поспорят: пить Этье или не пить?

Но тем временем Этья уже сам знал, выпить ему рюмку или же выйти из камеры, оставляя в трюме друзей-диссидентов: не в тюрьму, а к уму. И мы с некоей растерянностью слышим речь Этье-Председателя на телеэкране. Это эхо, — кой-кто призадумался. Нет, это не эхо, — у нас глаз, у нас ухо. Ухом мы слышим, как Этья читает список тех, кто провинился в мыслях про общество обещаний, глазом мы видим: 500 виноватцев бросают в ссылки и тюрьмы, и глаз второй видит у нас: Этья забивает вилкой насмерть символ инакомыслия — Черного Лебеда, тут же поджаривает лебединое тело на электросковородке, да не откажется ему в искусстве кулинара по птице, и садится за круглый стол с инстантами, и они едят Черного Лебеда с пеной у рта, а Этья еще и обсасывает ошпаренные в животном жиру перышки, чмокая. Слух слеп: Этья не повесится; этот метод не в моде у нас по весьям. — Почему? Ведь Иуда — предатель 1 единицы из богочеловеческой массы, а Этья сдал в стол — 500? Ответ: Иуда предал Христа, как тут не уйти в себя за шею на память потомству? Этья — подумая, описал мало-мальски мысль о 500 гамнюках! Жаждай жизнью, — составляй списку!

Я осатанею от отступлений. В них нет лирики, а какая-то липика. А я — лирик, несмотря на то, что никто на меня не смотрит. Я сам посмотрю на себя, я увижу: лирик я, лиру мне, подавайте мне этот струнный инструмент, я так заиграю, что любовь людей польется кровью красной, ливнем лимфы!

Бадья Жужжомец позицию взял тут же: «Логос Хамерики» объявляет его сиянистом, потому что у него натурщица яурейка. Но Бадья Жужжомец — настоящий кровинец и по паспорту, и потому-то крестился, — обычный обычай предков, чтоб доказать свою преданность инстантам. Хочется ли уехать в Хамерику, к примеру, а, если хочется, не изворачивайся, — то почему и с какой целью? — Да. Хочется. Не лгу. Я хочу рисовать краской. — Вы увы не художник, но и так рисуете краской. — Пусть я увы не художник. Но красок у нас нет. Краски есть лишь у Кати, у нее и не краски есть. Но те краски делают диссиденты втихомолку: они маскируют цвета: белый под черный, красный под желтый, что ни цвет — выдают за не тот! — Правильно говорите! Продолжайте! Готовы ли вы к борьбе с диссидентами там, в Хамерике? — С теми? Да я не знаю по-хамериканскому языку ни гласной, ни шипящей, я и флексии-то у них отрицаю. Я хочу писать знаменитейшие картины и пить в Висконсине виски, а не у яурейки Розы Гарпиевны, как я пью помои из миски от моськи! — Все это у вас будет в избытке, но и нас поймите: нам нужны шампиньоны. — Как шампиньоны? Где взять? Я их и не

ел, это — что-то шоколадное, кажется? — Это гриб. Гриб шампиньон. Если вам нужны энциклопедические науки, то по-вральцузски шампиньон — гриб. Здесь вральцузы не врут. Уж поверьте нам, у нас все проверяется.

— Вам нужен гриб?

— Нам нужен шпион. Условный код: шампиньон.

— Я должен стать шпионом в Хамерике? Излагайте инструкции.

— Правильно понимаете! Мысль ваша ясна, вы — настоящий хамериканский ястреб! Инструкции же — из рук вон пунктуальные. Вы приезжаете с женой в Хамерику, выхватываете у них из-под рук паспорт с печатью и не медля минут, баллотируетесь в Президенты УЭСА. Вот вы — Президент, потом посмотрим.

— А деньги? У них же долларовая лихорадка, как это я буду баллотироваться без бюлетеней?

— Бюлетени вам дадим, деньги не дадим, у нас их нет. Вы полны планов — и выполняйте.

— Вы что-то сказали про жену. Вы также сказали, что денег у вас нет. Так и я вам скажу: жены у меня нет.

— Ах, да. Жена у вас есть, Бадья-Президент УЭСА! Ваша зарегистрированная во Дворце Бракосочетаний жена — Роза Гарпиевна Мойра, это ее фамилия эллинская — Мойра! Надо же — яуреи! Даже фамилии ухитряются воровать в Элладе!

— Но у нее одна нога!

— Пустяк! Яуреи дадут ей вторую. Есть сведения, что с этой целью яуреи воруют ноги у баллестинцев! Баллестинцы, бедняги, ходят без ног. Мы им посылаем протезы в бочках от пива для конспирации: катится бочка через народы и государства, кто поймет, что в ней протезы? Вот как нам работается, — не хвастаемся, все ресурсы — для индерцианизма.

— Зачем на ней жениться? Она — старуха без страха и упрека. Она и меня костью как стукнет!

— Она спит усыпленная. Отъезд ваш — завтра, на закате, конспирация соблюдается и здесь. И вам небо покажется в овчинку, и мы избавим вас от изгнания: после Этьи вас обзывают последним диссидентом. Нет, последний все ж Этья, нельзя с ним так, он с честью считается у нас последним. Но все же пусть никто не обзывается: мы избавляемся таким путем, убивая одной пулей двух зайцев: вас, последнего диссидента, увы не художника, и Розу Гарпиевну Мойру, последнюю яуреику, инвалида войн с медальями. Вот и поезжайте, в воздухе Столицы останется больше кислорода, а то уже кой-кто задыхается. Вон отсюда! Но Бадья: давайте депеши из Хамерики в микропленках!

— Я не заяц!

— Простите, Президент УЭСА. Вы уже так вошли в роль, что не трудно и позабыться. Убить двух зайцев — это поговорочка у кровинцев. Не забывайте о ней в случае автомобильной катастрофы: свои люди — сочтемся!

Теперь — терпеть мне: Бадья Жужжомец и Роза Гарпиевна Мойра уже уехали. Не хочется мне им петь в путь, но почему бы не заплакать с заплаткой на одной ноге: куда вы со страниц, ты, страница — какую страну кукуете? Попадете ведь — пропадете! Но я-то на месте и слить слезу мне и неуместно.

Дама с собачкой Наталья Сыроежкина тоже крестилась. Крестилась Дуня-ведуныя. Крестился манометрист Антип Инфантьев. Крестились 12 гомосексуалистов, хоть и без губ, но крестились, и Милюта Скорлупко не ошибается: так же продолжают они любить друг друга, в том же духе. Крестились: Ляля, Лиз-Лиз, 12 геометристок-учениц, 7 девиц с девизом, тартарка Катя... Господи Боже Святой! — крестился отважный герой М. Н. Водольянов! Этот-то в каком смысле крестился? Эту загвоздку не простят, может, после смерти расхлебается! Или же у отважного героя какие-то сверх-засекреченные права примата?

Как же я не крестился? — думаю, недомогая. Ведь это мне — как аукнется, так откликнется. Ведь я упустил такой протест против инстантов, а ведь я не инстант, нет у меня ненависти к ним. Что подумают о моей подлости диссиденты в трюмах? Ведь если диссидент не крестится — прощай, диссидентство, а в их среде есть куда более умные и неумные люди, людовики, борцы за честь и чистоту кровинца! Горе мне, горе! Не хочу бояться, а хоть в чушь бороться!

ИТАК, ИСТОРИЯ ОТВАЖНОГО ГЕРОЯ М. Н. ВОДОЛЬЯНОВА, ПИЛОТА-КОСМОНАВТА

Окрестившись в Храме, отважный герой М. Н. Водольянов привесил на грудь 877 орденов и медалей, а на шею — крест с Христом. Так он и двинулся по улицам, с тростью, лыс, как лейкоцит. Ему сегодня 77 лет!

Вся Столица праздновала юбилей героя. Все космолеты Столицы летают над нами и кувыркаются в экстазе высшего пилотажа. Улица, на которой живет пилот (переулок, в общем-то, каменец-захудалец!), переименовывается так: проспект им. св. пилота-космонавта отважного героя М. Н. Водольянова.

Мы сидим с М. Н. Водольяновым на пр. им. св.... М. Н. Водольянова, в квартире, где живет еще 422 кровинца, все как есть из рода, в субботу каждый от чувства сердца бьет морду

соседу. Сосед соседу бьет морду, — что ж лучше? Помаются — помирятся.

— Ты кто? — спросил М. Н., ритор.

— Я властитель дум. Я геометр-Академик, мировой класс.

— Ты где живешь?

— Я живу в Доме Балета, под чердаком, в мансарде. А ты?

— Я здесь. Но наши титулы равноценны. У меня тоже 18 кв. м. Но у тебя на полу зеркало от излишеств, а у меня матрас для мужества. Ты — властитель дум, я — отважный герой, мировой класс. Что жрать будем? Юбилей ведь.

Я и знать не знаю: жрать так жрать.

Жрать было нечего.

Я пил 611 день.

Я бы принес ему яйцо подмышкой, из холодильника, но это — лишь мной предполагается, ведь не принес же, потеря памяти.

М. Н. Водольянов с отвагой смотрит на меня и идет к подоконнику. Он распахивает окно и вынимает из-за пазухи булку. Распотрошил булку, рассыпал крошки на подоконнике. Манипуляцы у него, как видим. Садимся на матрас. М. Н. — палец к губе. Лыс, волнуется.

Прилетают голуби.

Как они клюют растрепанную булку, рокотая!

М. Н. Водольянов, отважный герой, пилот-космонавт 18-ти межпланетных войн, кавалер 877 орденов и медалей, — выхватил револьвер и... мне и не вздрогнуть: 18 голубей валяются на полу, простреленные в сердце, навывлет, жирные.

— Я сделал свое мужское дело. Ты делай свое, ты, стряпуха. Мы отметим 77 коньяком и дичью.

Я пошел на кухню.

Кухня — царская, как в запаянном Кубе Верховных Инстантов. 422 плиты, в них углекислый газ, а над — 422 таблички с инициалом владельца. Я отыскал плиту с табличкой М. Н. В. Я тушил дичь, выпаривая перья у голубей. А дверь нараспашку: стоит почтальон, на лестнице другой, третий у подъезда, по всему проспекту им. св.... М. Н. Водольянова стоят почтальоны в черном сюртуке, с белой бабочкой, кто им отрепетировал эту эстафету, потому что в любую секунду приходят поздравительные телеграммы. Почтальон лишь выкрикивает, швыряя в кухню:

— Поздравляет Самый Верховный Инстант ЭН, поздравляет планета Грустиния, королева Елкиболтании, комисс Бадмингтона, империя людей Магнолия, премьер-министр спец-страны Будопешка, папа Райский, воздушные войска Химдии, камикадзе Ябонии и т. д. и т. п.

Голуби оказываются чудом из чудес: я их так потушил в кастрюле из-под аминокислот, что мы сидим, оцепенелые, пальчики облизываются. Но прикасаться к моей кулинарности мы

все ж побаиваемся: аминокислота нет-нет, а приносит кой-кому известья из иных миров. Не всем же поздравительные телеграммы. Коньяк — тоже как-никак, как ни кукуй — нет коньяку! Я взял флакон Красная Москва. Он хоть прихлебывается.

— Как у тебя с психикой? — спросил Водольянов.

— Белая горячка, но в юности.

— Какая это психика! — М. Н. сердится. — Это печень плохо используется. Димедрол употреблял, думаю. А галлюцинации? — слух, осязание, зрение.

— Слух. Голос в водопроводной трубе!

— Что ж глаголет Голос?

— Надо убить!

— Что ж ты в ответ?

— Надо любить!

Он, ошарашенный, всмотрелся в меня:

— Ты в ответ: надо любить? У тебя в роду были идиоты?

Я смутился:

— Да это и не я-то в ответ, это — Голос в шкафу, это он: «Надо любить!»

— Не оправдывайся. Подумай про печень. — Он обнадежил: — Еще все впереди. И уточняя: — Мне б застрелиться в сей день! Эх, мечты, мечты мои, нет на вас пули. В такой бы день в самый раз — в «десятку»... Если захочется пулю, — приходи, я дам. У меня оружие именно, не отнимут.

М. Н. ВОДОЛЬЯНОВ РАССКАЗЫВАЕТ:

«Я родился в какой-никакой нищете в Лесах. Я пас в семье свинью и ел ерша. В Лес приехали грустины с планеты Грустиния, все разговаривают по-грустински, лакированные сапоги со шпорами, а в космотарантасах — апельсин! Не описать! Не яблоко, не картошка, не хобот хряка, а — фруктовина тебе! Ни потрогай, ни попробуй. И понюхать — не дается. Не продается даже, это их витамин в космических странствиях. Но запах — запоминается. Запомнил.

Потом в Лесах все друг друга поубивали, уж и не помню, почему бы? Я ушел в Столицу. Выучился на космонавта. Хожу в брезентовых тапочках, ем хлябь с селедкой, а запах — не выветривается, надежды — струятся. Испытываю самолеты, летаю на Северный Полюс, а там шоколад. Апельсина у нас нет. Сгущенное молоко облакомил, — гадость! Что с него взять — ни ряженки, ни сливок.

В этот-то момент грустины и нападают на Землю. Вторгаются! Сами-то, сволочи, сидят на своей планете Грустиния, а в наш

эфир запускают запах. Никто не знает, что это за такой запах. Паника! Я иду в Куб к Верховным Инстантам, открываю пресс-конференцию. Я говорю: я знаю этот запах. Это — апельсины. Спрашивают, встревоженные: — Что за апельсин? Мегатонная бомба? Бактериологическая эпидемия? — Я говорю: Хуже. Апельсин — это безумье. Кто запомнит запах, тот сойдет с ума, пока не попробует фрукт. Я предлагаю на свой риск попробовать, иначе Земле — не бывать, а планета у нас не так уж плоха. Замахали флагом: — Какой там плоха! Да где уж лучше-то найдется! Спасай Землю, отважный герой М. Н. Водольянов, — летай, попробуй!

Я взял эскадрилью самолетов, полетели.

Воевал — всюю! — полетаю туда-сюда, бомбы как-никак побросаю, с грустинским звездолетом в воздухе огнем постреляюсь. Расстреляемся с грустинцем, выйдет весь огонь, кружимся, из револьвера друг в друга хлопаем. В огнебаки лишь трусы стреляют, в лоб нужно б попасть. Отважные асы-грустинцы на лбу пластинку стальную носят. Тут уж: кружи, присматривайся и жди — вот-вот откроет рот ас, чтобы заматериться. Откроет рот и — пли! — высшей категории такой выстрел засчитывается — в рот асу-грустинцу! Тотчас же медаль дают, медную, флаг из Столицы присылается на луноходе, чтоб водрузить флаг над звездолетом, для кодекса чести.

Флаги-то меня и зафлажили: столько их воткнули в мою машину, что и не предполагал, сколько! И случается: кружусь я в межпланетном пространстве, огонь ушел в боях, развернулся я, а звездолет не разворачивается: флаги трепещутся, координаты нет. Вынужденная посадка. Пригрустинился я, что ль, не скажу же, что приземлился, не та почва. Так вот и попал пилот в апельсиновую рощу. Без мук, как в мечте.

Первый апельсин очищаю — руки трясутся, вся анкета вспоминается, человечество-то ведь спасаю! Съел дольку за долькой и пожалел, что Самого Верховного Инстанта ЭН рядом нет, — вот вытарачился бы! Но жалость к ЭН была мимолетной: рощу прочесывают из огнемета. Это у грустинцев хобби: прочесывать по всей Вселенной апельсиновые рощи, ведь запах апельсина — их самое тайное, секретное и грозное оружие!

Так я дегустирую дольку за долькой. 57 апельсинов съел к Закату.

Чернеет небо Грустинии, восходит чистокровная человеческая Луна. стелю я апельсиновые шкурки на почву, политую апельсиновым соком, и уснул, как в сене, на соломе.

На следующий день полежал в стальных струйках ручейца, лег на пресный песочек, завтракаю апельсином. Сплю еще чуточку, так вкусно в мозгу проясняется, а в глазах вижу вверх: звездолеты не наши вибрируют, грустинцы огнем шьют, а в рупор

мне: — Кровинец, не ешь апельсин, сдавайся, а то с ума сойдешь от вкуса, а потом и от запаха! Тебе же ведь жизнь требуется, убирайся к себе в Столицу, глупый ты оборот!

А я лежу, ботинок за ботинок забрасываю, апельсин ем. Вкусно мне и сок сочится!

На третий день что-то не хочется мне есть: как-то мешает кожа языка, не разжевывается. Сок все же высасываю. Да и рацию нужно бы приводить в порядок, все же я вроде бы в тылу противника, почти в плену.

День пятый провозился я с рацией, поклевал галету, про апельсин как не вспоминаю, звездолет ремонтируется худо — флаги вытаскиваются с трудом, сколько их воткнули, за доблесть, добрецы, — плетью б их плоть, йод твою март!

На седьмой день возьму апельсин, не глядя, хоть их витамин, грустинцев, а пища, другой нет.

На десятый: открою ножом кожуру, а от запаха — ужас! — в рвоту желудок бросается! Пью из ручья, разыскиваю травы, на щавель смахивают, гриб оказался в роще, жарить его научился, — сквозь лупу.

Дождь ударил, ветер, апельсин падает на меня, сижу в кабине, закрыв на замок глаз, видеть сей фрукт нельзя, ниспадает в кабину, чмокнет чмоком, как жаба с жалом, скользкий, круглый, красный, — слюни стеклянные льются, — о мерзость! Я закрываю кабину прозрачным копаком, а глаза забинтовываю, чтобы не видеть апельсин. К ручью ползаю наощупь.

Так и нашли меня наши в кабине, сплю, дрожа, забинтованный. В госпитале, на Земле уж профессор — мировое светило! — разбинтовал мои глаза серебряным пинцетом (ведь в бинтах межпланетный микроб попадается!), разбинтовал кровинец-медика меня, как ценную мумию, и стоит, как каменный: нет под бинтами ран боя, нет и царапинки.

Откормили меня бульоном, селедкой, приносят яблоко, я открываю глаз, вижу яблоко, а оно скользкое, круглое, красное — апельсин! — обморок! тело в пятнах сразу ж и чешется. Оставили меня в Столице с неизвестным нервным заболеванием».

— Это притча! — засмеялся М. Н. — Что ты за вырод нечеловеческий? Смотри на людей, нюхай ню, дружи с мужчиной по делу. НО не снимай с них кожуру, — отравишься, как я, у тебя и так нежный нерв!

— Этот апельсин искалечил мне жизнь. Все человеческие отношения я стал мерить меркой отношения к апельсину. А как же быть? С Космической Войны мы привезли миллиарды апельсинов — трофеи побед. Все их ели, а я не мог. Профессор сказал, что всю аллергию апельсина я как будто взял на себя,

я был первый, кто не только пробовал фрукт, но и съел. Вот мне и мука за всех, а всем — новый плод искушенья. Нельзя жаловаться, но мне не мстили: я стал Героем Планеты Земля, мои портреты висят в каждой кровинской семье, ты-то уж и сам их видел. Мне дали пенсию Фельдмаршала, дали трость и именной револьвер. Невест после Космической Войны — миллионы. Все невесты Столицы знают меня в лицо и со спины, а свадьба не состоится. Я специально вожу претендентку в ресторан «Астролябья» и после дефицитного обеда с соусом из заплыванной моллюски заказываю ультра-дефицит: апельсин! Ты бы видел, как лижут, как сосут эту слизь, экзотик! Удивляюсь, что я еще живу. Приглашают на всякие там Конфронтации Мира, но это значит, что нужно ехать в заграницу, в Москву то есть, а там без оранжада не обойдется. Сиж у телефона и пью — 30 лет! Занятые зла: гимнастки ищут Ветерана, однополчане ищут меня для воспоминаний, учителя преподают в Университете мой подвиг для Истории, да и грустинцы пишут фолиант обо мне, как о Наполеоне... А я? Куда девался я, я тебя спрашиваю?

— Мечь мечте! — вскричал Водольянов. Он распахнул шкаф: на всех полках, в одеждах, лежала апельсиновая кожура, иссохшая. — 30 лет, Басманов, я покупаю апельсины, сдираю с них шкуру живьем и, высушенную, кладу в шкаф, — к трупам, к тряпкам! Это — мечь! Высушенная, мертвецкая мечта о жажде желаний, о жизни во имя другого друга — людства т. ск.! — в тряпках! — Дух апельсиновой кожуры, между прочим, убивает моль. А моль у нас есть! Советую, если в тебе есть хоть капля крови благородного убийцы: возьми апельсин полакомиться, а тут же сдирай с него кожуру и в шкаф! Моли не будет, гарантирую, дух апельсина убьет ее!

А твой Голос из шкафа, оправдалец, уже не ответит:

— Надо любить!

ПАМЯТНИК ТАРТАРКЕ КАТЕ

Кто меня принял, кто полюбил, не зная, кто я?

Кто мне дал сладчайший напиток, рискуя арестом и репутацией лавочницы-красномяса клана N 1, — флакон Красная Москва?

А было лишь 9 часов, еще 2 часа до 11.00, когда на Несском проспекте всплывает чудовище Несси, но что ей, тартарке Кате, до чудовища? Мы, кровинцы, боимся Зверя, преклоняя пред ним колени, наши ноги сами несут наши тела в жертву чудовищу. Но Кате сверх сорока лет, ее колени — еще как склянки для поцелуя матроса, да и после сорока тартарки не боятся.

Над нею — небо ясное!

Царюют в Столице лавочники-красномясы. Вся власть у них. Инстанты — строители надежд, гладиаторы общества обещаний — диссиденты, борцы за права примата, и те, кто жует железо, и рабы-рыбари, и те, кто хлебает хлябь, мы, делатели наук, искусств, ледописей, — мы все десантники дефицита, дефицит же — всё.

Достать лучину для песни, постричь ятра в парикмахерской, выпить наперсток корвалола, взять живого ерша для уха, покусать капуст, купить кольцо для свадьбы двух, перчатки для вскрытия сейфа, крем-брюле для ботфортов, цепь на лапку лягуха, катапульту для хлуя, саксофон для улитки, челюсть для генералиссимуса, крючок для форточки, сшить штаны из крепдешина, дать эскимо ню, чтоб сосала на твоих двух ляжках, и т. д. и т. п. — не взлетишь же на звездолете «Боинг» в Ябонию! — все мы в умных, неунывающих руках красномясов. Люби их и они полюбят тебя. И тогда ты будешь иметь бумагу для ругописи из Фигляндии, ленту для пишущей машинки из Щипцарии, копировальную пергаментку из Дайлянда. И ты будешь иметь циркуль из Идальгии, свечу из Какнады, зеркало из Антикварья из Абсцисс-аб-Бабы. И ты будешь иметь яйцо, одно, из Гимнландии! Я вот — имею.

Все это имеется и в запаянном Кубе Верховных Инстантов, но во-первых, возвести себя в Куб можно лишь один раз и то — каким путем! Это мы помним. Они коллекционируют автографы, я был там. Но не у всякого кровинца есть автограф. Во-вторых: вот у меня есть, а дальше кухни и я не вошел. И в третьих все у них — тоже от Кати, это еще и Титана Себастьяновна Юбздальцева отмечала в своем интервью со мной на кухне. Бронированные машины с пуленепроницаемыми стеклами стоят у МОРОЖЕНИЦЫ с их номерами. Въедут на ул. Зайчика Розы, д. 2, под арку, первый подъезд налево, по 72 ступеням на пятый этаж, выше, по карусельным перильцам, где замок 16 кг и днем вывеска «МОРОЖЕНИЦА». Тут уж у этой бронированной двери входа на чердак, над моею головой, не скомандуешь: «ВПЕРЕД, ПОЙДЕМ ПОБЕД, ГОРНИСТЫ!» Тут — Катя! Машины стоят стоймя, нервничая, вынимая клыки из радиаторов, с клыков каплет слюна, желчь и кровь.

А Катя — А, Катя!

Кровь крови кровинцев, тартарка, чего ей бояться, красномяс над красномясами, у нее все есть. Все у нее и она всем: помощь в поле войн-вайн, спасительница нашей спеси. Ей интересно посмотреть, как, молятся на кровяную колбасу, — Верховные Инстанты, с утра, живьем, у ее прилавка. И она дает им — вот вам кус колбас из Авессалома, вот вам ватман из Ватикана для

нового Кодекса, вот вам чаша чести из Чехии, кабриолет для дочурки из Дагестана, севрюга для супруги из Ягипта! А я — и без обеда, обойдется! Закроется МОРОЖЕНИЦА, отдежурится Клуб гомосексуалистов, я возьму сеть и обойду Эллипсеевский Гастроном, и «Боинг» Самого Верховного Инстанта ЭН доставит меня вмиг в мой загородный Дворец, уж получше Дворец-то у меня, чем у Самого ЭН!

— Самый ЭН — наш сев доходный, Катя — наш вес духовный!

И я поставил ей памятник в центре Столицы:

На Несском проспекте, между Эллипсеевским Гастрономом, Личной Белибердекой, Дворцом Юниоров им. св. Джоуля-Ленца и Театром им. св. Ююшкина. Тут ей, Кате, место. Прижизненный памятник — и это у нас не новость.

Ни инстанты, ни диссиденты не пришли на торжественное открытие памятника Кате. Черного Лебеда съели с Этьей, с песней, а Белый Лебедь не реял ни над чьей головой. 12 учениц-геометристок снимали чехол, отважный герой М. Н. Водольянов перерезал ленточку, перекрестясь, а я сказал тронную речь на русском языке (прикинулся иностранцем из Москвы!). Я знаю, что я делаю: инстанты помалкивают, потому что не имеют сведений из Тайной канцелярии, как Катя относится к памятнику Кате? Она была у памятника, но ничего никому не отнесла, — ни чтецу от числа, ни гребцу от весла. (Понимай, пуритан, меня, ну-ка поунимай сей сленг!) Инстанты не имеют сведений из Тайной канцелярии, вообще-то в Тайной канцелярии свой метод, им не до тем, не жалуют они инстантов, если те тупеют не по дням, а по часам — с 11.00.

А я открыл памятник Кате в 11.00. Всплывает на Несском проспекте чудовище Несси, все встают на колени, накаленные... а я тут же, на Несском, под носом у Несси — открываю! И говорю речь по-русски, как иностранец, из Москвы. Как отнесутся кровинцы-нессипоклонники, а иностранцы в частности, т. е. — я? Идет международный шахматный турнир, я открываю памятник Кате в центре Столицы, там, где садик, специально возвращенный в незапамятную эпоху для шахматистов. Что Тайной канцелярии до шахматистов? Уедут они в Израббиль, — обрадуются в Тайной канцелярии, все ж в садике — меньше будет жулья. А вот Верховные Инстанты раскладывают пасьянсы из кольтов: кто — шахматист, вернется, а кто — как дурак! — останется в Израббиле? Пусть яуреи уезжают в Израиль, восвояси, туда им и суть, но шахматист — соль соли земли!

Еще: балетная труппа гастролирует в Беглии. Танцовщики и танцовщицы тоже переняли у яуреев этот свинский маньеризм — оставаться. Если уж в Беглии, — бегём. Театр Балета Столицы —

лучший, билета ведь не достать в Театр Балета, как и в тир! Сцена ходит ходунами! — из спец-центра искателей Искусств они ж!

Третье: не нужно быть математиком, мать твою матик, чтобы рассчитать арифметику: инстанты не боятся мегатонной бомбы, не боятся Оси Враждебных Держав, они боятся лишь числа 4 в своей Столице: Катю, потому что пошатнется их мысль без мяс, Шахматиста, потому что пошатнется ход их фигур престижа, Танцовщика, потому что пошатнется их шаг на сцене с ценой вальса и валют, и Меня: я ведь, что хочу, то и делаю. Захочется, посажу их всех в пианолу, как Пилипп, король Избанский, сажал котят, вмонтирую в клавиши стальные гвозди и буду играть до-минорный двадцатый прелюд Жоупена, — пусть помяукают, пусть помурлыкают. Я это не сделаю, я не Пилипп Избанский, тот был юморист, а я хочу ставить памятник Кате и ставлю!

Для кого же Ментор сконструировал центр Столицы?

Для Кати.

Вот: ей — памятник!

Почему в Столице 77 прижизненных памятников Джоулю-Ленцу, а Кате — нет памятника? За что им, сдвоенным со сдвигом — честь? За то, что у них борода и ус? Понимается, но не до конца. Борода — и в баре у дам, ус — у всех. А Катя — вот Катя! Пройдите по вышеописанному маршруту до вывески МОРОЖЕНИЦА, у прилавка с фруктовой водой, у сифона — Катя в белом халате, лавочница-красномяс клана 1, ей за 40.

В День Первый, когда Бог бросил в меня молнией и я поднялся по ступенькам к Кате, со свечой, с циркулем, босой, в медвежьей шубе и шапке, а вьюга вьюжила, зима заимствовала Седьмую Песнь Ада из Данте Алигьери, и Катя, не зная меня по имени, дала мне флакон Красная Москва! К лику Святых ее не припишут, на Страшном Суде не оправдывается ни один люд. Но на Земном Шаре, таком маленьком, таком миленьком, Я — ставлю ЕЙ — памятник. Мой долг!

Я сделал памятник своими руками, своей кистью правой, пальцем левой. Я сам отрихтовал постамент из чаши чугуна, а на постамент поставил фигуру Кати в венце, м. б. царицы Самской, а вокруг нее посадил на стулья самых выдающихся кривинцев нашего века чайний и чтений: сидя на стульях:

отважный герой М. Н. Водольянов, Антип Инфантьев, Бадья Жужжомец, Гай Рузин, А. Б. Пупеза, юноша-гоплит Александр, человек в рыбьей чешуе, Оскар Блять и Муз Икалин!

Милюту Скорлупко я посадил бы, на стул, но его посадят повыше, он, пожалуй, добьется и верхушки дуба, если повесят как-нибудь, при благоприятных обстоятельствах. Я дал бы стул и Йюбздальцевой, хоть она и не пустила меня дальше кухни, ну

как не дать стул на постаменте женщине в жемчугах, имеющей мой автограф? Но у Йюбздальцевой нет юбки, я не знаю, где достать ей, а Катя не даст, ей Йюбздальцева — экземпляра нет! Пусть скромность остается с криминалистом, я посадил бы на постамент и себя, но Верховные Инстанты уже сделали мне такую рекламу, так размалевали меня на портретах и лозунгах, что я не посадил себя из принципа: я еще не проявился в Космической Вечности, а меня уже малюет всяческая мелюзга, марают мое истинное имя, туманит мое святое сердце!

Из женщин я поместил на стул лишь Дуню-ведунью, я ведь взял ее из вертепа лесбиянства, теперь она уже не убивает цветы, вылизывая их по наитью языком, а теперь Дуня-ведунья — Грозный Гость всех оранжерей Столицы, она рубит бутон гильотиной, потому что цветку место не в теплице, а под солнцем!

О Зубикомлязгике. Его заслуги не переоценить, казалось бы, ему первому — стул! Но я не дал ему места у Кати. Он выучился в Тайной канцелярии, опозорился в операциях сам, а ведь это бросает тень и на меня. Он курсирует в электропоездах по пригородам, без дуба, конечно же, с галштухом, провоцируя кровинцев, если увидит несоциальное лицо. Увидит, вынимает флакон Красная Москва (эх, эпигон!) и говорит, обращаясь: — Прежде у нас была правда как праздник, а сейчас — гадость гадючья! Виноваты инстанты: это они выдумали превратность судьбы, неприятно и сказать кому-либо-нибудь-кое, что ты — житель общества обнищаний! — Все кивают и пьют.

На какой-то из станций, когда от речей Зубикомлязгика закивают уж, как дятлы, Зубикомлязгик жестом Ромео снимает пломбу с кран-стоп, останавливает вагон, сует водителю тайную книжечку и выводит весь людь вагона на перрон.

Сколько раз жандармы станций били ему в нос: нельзя выводить весь вагон с людьми. Генеральный Прокурор Столицы не подпишет 70 ордеров на арест без минимума мотива, а тут получается, что на электрической дороге с рельсами — революция! Нужно выводить по одному, со всеми предосторожностями, под руку, будто бы обнимая, будто бы кровинцу плохо от плача и ты ведешь в медицинский пункт с целью укола от алкоголя... Тогда-то и поощряют: премия в брюлях и бесплатное купе с путевкой в санаторий «Братья Grimm» или «Сестры Бронте». А — вагон?! Тут уж извиняйся, ефрейтор Зубикомлязгик, бить тебя, не перебивая нос! Бьют! Что ни день! А он так предан профессии неопита: что ни день повторяется то же: вопросы, кивки, — выводит вагон на перрон и требует 70 ордеров на арест, — что с ним, как быть?

На пьедестале у Кати ему не место, — мамлюк! Еще не замучил ни женщины и не понял, что кивают на его репризу не потому, что соглашаются с алогизмом, — потому, что электро-

поезд шатается на колесах, потому что у всех в глазах — слезах от бормотух. Какой же кровинец согласится с провокацией? Имперфект, — сейчас есть гадость (где нет?), но жизнь не гадючья! Правды в речитативе Зубикомлязгика ни на пейку: живем, как живьем, плюй в поцелуй, не хочу плевать, слюну припрячу для калорий!

Я сам чертил чертеж памятника, мастерил макет, сам отливал из чистого чугуна на заводе витаминных препаратов. Стоит Катя, сидят на пьедестале мои механизмы, в париках, в мундирах, в чулках, в башмаках с пряжкой. У Кати — венец, скипетр и держава, у остальных: кто чем отличился. У М. Н. Водольянова, к примеру, на лысине звездолетик «Восторг — 111»... Кто ни увидит памятник — залюбуется! В Катин садик пойти — и врач-окулист исцелится от оккультизма.

Расхвастался я. Но прежде приезжайте, посмотрите, а уж критикуйте. Но не с критикой, скульпторов у нас нет, а мой памятник — лишь дань Дню, благодарю времена венеризма, когда еще ставится памятник Кате, а не плаха Хунте.

ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ

Я не коллекционирую сувенир Времени и Любви, — я сам сувенир. Когда я ушел от Майи, исчез, не найти, я не взял из-за нашей дворцовой дверцы ни перышко, ни прядь волос в медальон. Я не взял фотографию, где Майя и я, два юных зверя, окольцованные в жизнь. Где Майя, любимая, волнуется, на ней венец белой розы, слезы дрожат, как дождик, а губы, как мы любим, юница моя губ, — заневеститься!

Мир губам твоим, гибель нашей ноши!

Где я — профиль юноши-волка, свиреп и щеняч, в полуфранцузской шоколадной тройке, вместо галстука — фамильная брошь с вензелями, запонки — горный хрусталь в злате, с какими кудрями, желтоглаз и пух ресниц? Потом я их вырвал, помнится, — вырвал ресницы.

Помнится — полнится — поминается. После басней бесслезных дай мне просьбу поплакать в час Верховного Часа!

Я взял лишь свой письменный стол. Взял, но не усидеться за ним, память шею метит, не петлей, так спазмой. Я отдал стол Тимофею Трифоновичу Тиволгину, коменданту Дома Балета на ул. Зайчика Розы, где я поселился в мансарде, под чердаком с Клубом гомосексуалистов над моею головой.

Кто был Тимофей Трифонович Тиволгин, Т-3, как мы именовали коменданта, аббревиатурой?

Т-3, как все коменданты, служил в Тайной канцелярии, потому что из него не получился хореограф. У кого-то что-то не ладится в таланте, всех туда берут, чтоб они не сошли с Земли, а величавый вид жизни.

Вот и ведут, — дневник на тех сослуживцев, кьи стали знаменитостями, не изучая и аза дактилоскопического математизма. Поскольку же со знаменитостями они теперь не общаются плечом к плечу, а видят их лишь на концерте, на сцене, во всем блеске баса или котурна, а у Дома искусств их видят в коньячных, злобных от зелья, с тусклой зеницей, орущих об оружие с пулей в лоб себе, то и в них, комендантах от хореографьи, просыпается творческий импульс: они пишут в дневник гоголевской прозой, гневной и предусмотрительной, что знаменитость блещет на сцене искусственным блеском, а в обществе прожигает жизнь, которая посвящается кровинцам, что их талант потускнел в глазу, а разговор меж ними — как бы перестрелять в лоб не себя, а инстанта. Дневник читается в Тайной канцелярии, с явными уже не борются, их нет, диссиденты сами просятя в тюрьмы и получают камеру-одиночку с синей лампой для сна и с мировым мнением, бороться не с кем, а мы — для борьбы, вот и выдумывают тот или иной дневник — документ для борьбы со знаменитостями.

Основной состав Тайной канцелярии — филолог, философ, юрисконсульт, с Искусством их знакомят в университете до тонкостей, а вот с личностью знаменитости Искусств их не знакомят, вот и пригодился комендант, — тот знает каждую квартиру.

Иногда я ввожу и в себя доз яда: ведь я — то впадаю в идиотизм, пишу пишу пером о том, что взвесил всякий. Но раз человеческое мне чуждо, я и резюмирую чушь-то!

Вспомним: еще 374 года тому, я, Петр Басманов, — друг царя-самозванца, так же стоял за идиом идиотизма: единственный у дверей Друга лже-Дмитрия, и, не думая о судьбе Брата, Андрея Басманова, который был убит из-за меня, а я — один — против 250 млн. — сражался и пал с мечом в руке. Сейчас я, Иван Басманов, хожу у дверей хижин, там жужжат все те же 250 млн., от кого мне и кого защищать, с кем и чем мне сражаться, я — сам себе самозванец, я сам себе — самородок, ничей друг, ничей брат.

Итак, Т-3 не пьет, не курит, не хватает за хоботок мальчиков-мильчиков танцовщиков и не беретя рукой за ногу девицы с девизом. Т-3 слушается, служит. Ходит по квартирам и смотрит

на нас, а мы смотрим на него. Мы знаем, какую Хронику пишет комендант, наливаем ему рюмку, даем сигарету, а также те книги, которые так любят кровинцы. Но книги — дефицит, а бормотухи — хоть опивайся, вот и не читают, а пьют, — бьют в 11.00 нервный поклон чудовищу Несси, низкий поклон, чтоб не свалиться в канализационный люк без Милюты Скорлупко, и сваливаются.

Т-3 сливает рюмки в термос, разливает сей напиток по бутылкам с наклейкой «Дейбли-Уйопкер», а сигареты расфасовывает в пакки «Джъебель».

В 24.00, в тот час, когда мы, обескураженные нехваткой алкогольной цикуты, бросаемся по всем этажам, комендант выходит в наш дворик для детей, в шляпе, с чистокровным лицом, и продает нам бутылки и сигареты по ценам валют.

Обыск: обнаруживается бутыл с наклейкой НАДО, сигара, которую курит диверсант идеологий из УЭСА, нас еще не сажают, но предупреждаемся: НАДО антикровинский блок и пить их бутыл не надо, УЭСА — держава держиморда, у них не курят, а лишь мутят мозги сигаретой, в ней марихлуяна! Тайная канцелярия получает плюс за предусмотрительность, а комендант остается комендантом, а мог бы и не остаться, если б так не служил: он имеет пенсионный возраст, нет столицы, где бы так заботились о безопасности пенсионеров, как у нас, — им предлагается работать. А пером — пиши дневник, поспешай, всюду враг: шахматист, балетоман и я. (Здесь поправка: шахматист и балетоман — два действительных, неукротимых врага кровинцев. Я — не враг, а ворог, кто-то приписал в мою рукопись для красного словца. Но и к моему заявлению поправка: я — не считаю, что я враг, но где-то выясняется. Кем-то.)

Как-то, веселый, сочувствующий вся, я разговорился с Т-3 о болезнях медицины. Я сказал, сказитель:

— Ты как в труде, комендант ведь не какой-то тост, а ответственный пост! Да и дневник для них — труд не в труд! Выпил бы, повеселился бы, а повеселел бы и повесился бы! Выпьем, Т-3, с выей на вервье!

Т-3 сказал, сокрушающийся:

— И выпил бы и с выей бы, но нельзя: у меня желчь в желудке и недуги!

Тогда я взял флакон и сказал, торжественный:

— Тимофей Трифионович Тиволгин, вот что писал апостол Павел в 1 посланье тебе, Тимофею:

«Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых недугов твоих!»

Тимофей Т-3 сказал, что отрицает и вид вин. Т-3 воскликнул:

— ДА, НО МИЛ ЛИМОНАД!

— Так-то! — не так-то уж изумился я. Последняя рукопись

моя коменданту известна. Ведь он цитирует палиндром из главы, где я бегаю в аптеку с лютым лбом, с коматозным состоянием. Нужно любить Т-3, ведь он любознательный, рукопись я запрятал в помойное ведро, а помойное ведро висит в тайнике у Кати, в МОРОЖЕНИЦЕ, на чердаке, в Клубе гомосексуалистов, висит и звенит, как бубенец, и Катя-то не знает, что в ведре — рукопись, или музыка. А Т-3 знает.

Таким пронизательным людям как Т-3 дарят не пост коменданта, какая же это плата за дар провидца? Таким комендантам нужно дарить что-либо мемориальное, вечное, чтобы он остался в Энциклопедии на букву Т.

Тимофею Трифоновичу Тиволгину я подарил свой письменный стол.

И что ж?

Тимофею Трифоновичу Тиволгину я подарил свой письменный стол, я написал за моим столом 20.000 трактатов о постулатах, не считая чертежей и рукописей. 14 лет мы жили с Майей, 14 лет я писал за этим столом. Такой стол — пиши и да пишется! Для коменданта — сюрприз, для моей мансарды — плюс на память!

И что ж!

Т-3 преобразился. Так преобразился Т-3, что Тайная канцелярия из зависти дала Т-3 в добровольцы Зубикомлязгика, чтобы он присматривался к коменданту. Зубикомлязгик! — нам уже известен рекорд его дисциплин. Теперь он присматривается: куда бы ни двинулся комендант, Зубикомлязгик — за ним, ступая всей ступней, чтоб не шелестел шаг, и смотря в сорократный бинокль в фас коменданту, то в темя, то в профиль — как подвернется.

Бью себя с грустью в грудь: было на что посмотреть.

Ничто так не действует на инстанта, как письменный стол. Каков стол — таков и кровинец. Если стол-сталь, инстант — Маршал Вооруженных Сил, если стол не из роз, а из родных берез, — верь, это Верховный Инстант, если стол ни из чего не происходит, а висит в сейфе, как сельдь с хвостом, или секрет с Христом, — кто же это? Не догадывайся, ни к чему, это инстант Тайной канцелярии. Если у инстанта нет стола, инстант уже отнюдь не инстант, а яуреи. О чем писать за столом яурею? О том, что вокруг одни яуреи? Это нам известно. О том, что не дает жизни «Логос Хамерики»? И это мы знаем. О чем же еще вообще-то в мире можно писать за письменным столом?

А ну их на икс, яуреев, их нет уже, и нам не до них!

Инстант-комендант Тимофей Трифонович Тиволгин идет, пре-
ображенный; есть на что посмотреть!

Он не бреется, курит трубку мегрэ, пьет простоквашу из
ликера, приводит в кабинет девиц с девизом и мальчика-мильчика.
О девицах с девизом, скажу: не из МОРОЖЕНИЦЫ, где Катя,
у Кати морду не бьют, Т-3 водит девиц с вокзала им. св. Витта,
Гай Рузин девиц не любит, у него все девицы, как лошади в
яблоках — все в синяках! Мальчик-мильчик, я вижу: не из Клуба
гомосексуалистов, там мужчины и любят и без губ, а этот —
чей-нибудь сын, Июбздальцевой, м. б., ходит с сеткой, а в сетке
сосиски; сосисок у нас нет, они лишь в Москве и у Июбздаль-
цевой, — из Москвы ей привозятся, визой. (Ведь и виз-то у нас
нет, и уточнять не надо: сын Июбздальцевой от кого-нибудь, м.
б. уж и от Зубикомлязгика, ведь до той памятной ночи, когда я
вылетел из Куба на «Боинге» и позвонил Зубикомлязгику, — не
было никакого сына у Июбздальцевой, а вот — уже учится в
Доме Балета, мальчик-мильчик с какой-нибудь фамилией из аб-
бревиатур.)

Все бы ничего бы, но Т-3 спрятал дневник, не пишет. Как не
забеспокоиться? Как не дать ему в добровольцы Зубикомлязгика
с биноклем, если ко всему тому Зубикомлязгик — отец фаворита
Тимофея Трифоновича Тиволгина?

Что же все же произошло? Почему Т-3 так изменился, на
180°?

Мой стол я не описываю. Стол, как стол, из материала мореный
дуб с ящичками, на четырех столбах. Что же сделал со столом
Т-3? Он поставил стол на четыре колеса из материала миндаль,
со спицами; он просверлил стол и вставил в ящики весла, как
в ячейки; в туловище стола он вмонтировал мотор от звездолета,
в 100.000.000 лошадиных сил. Получился уже не мой письмен-
ный стол, подаренный для Энциклопедьи, а корабль аргонавта
Язона, многовесельный на колесах!

В буйную бурю, в мраз и в метель, если нам наводнение,
если за сим землетрясенья, но и в дни солнца, — Тимофей
Трифонович Тиволгин, вот тебе и Т-3! — выезжает на столе-
корабле во двор Дома Балета, а весла не убирает, вращаются,
с быстротой мясорубки!

Шахматист из Катиного садика ходит к нам (пить сифон
фруктовый у Кати), войдет во двор, увидит Т-3 на корабле,
стоит, смеется!

Танцовщик выйдет во двор с гантелью для тренировки мышц,
с тимпаном, в тапочках, увидит Т-3 на корабле, говорит:

.. — Это сумасшедший!

А я говорю:

1. Блаженны плачущие, ибо они утешатся, но смеющимся — нет места на земле.

2. Не зря предостерегал праотцов евангелист Матфей: «А кто скажет брату "Это — сумасшедший", подлежит геенне огненной».

Сбылось и 1 и 2, По пунктам. И шахматист, смеявшийся, и танцовщик, сказавший «Это — сумасшедший», — попали в мясорубку. И тот, и другой.

А мне не до смеха, а я скажу:

— Я виноват. Я подарил коменданту письменный стол, а мог бы — кухонный; вот в чем я раскаиваюсь. Я писал за этим столом и думал не о себе, а про себя, думал, подчеркиваю, а вслух не говорил. Вот в чем вина моя неискупаемая: я думал и о Язоне с веслами для мифа моря, чтоб от лая психпсов Столицы — в Элладу; я думал и о мясорубке, если не удастся миф моря, то хоть похитить кой-что из Эллипсеевского Гастронома, из фальши, для фарша. Потеря памяти: я позабылся, что письменный стол, как всякий стол, усваивает помыслы, идеи и идеалы Хозяина. Вот вам, — иллюстрация!

Мне бы подарить коменданту кухонный стол, поварской. Как бы мы стали питаться, какой компот пить! А дерзкие сны о чревоугодье, сервировке. Во дворе Дома Балета стоял бы стол со скатертью, а на нем: свинина в колосьях пшениц, десятко-другой оловянных тарелок, тисненых, с эмблемой Столицы, у каждой тарелки справа нож, а слева вилка, еще на столе блюдо, а на нем балык из кильки! А у стола: Тимофей Трифонович Тиволгин, в белой шляпе, в шоколадной тройке, с семейной брошью вместо галстука, с поварешкой для борща!

Знаменитец, Исцелитель, Академик, Герой, Лауреат Наук, Гений Эпох, — где был мой ум, когда я дарил свой письменный стол?

Еще бы: в кратчайший срок стол внушил мои сокровенные формулы и фигуры, и кому? — коменданту! Непредвиденное предательство. Теперь комендант ездит на столе, как на собственном (а как же ему еще ездить — его теперь стол! если уж подаренный!), вырубая веслами встречных-поперечных — шахматиста и танцовщика. Если уж начистоту о мясорубке, и я бы прокатился, вырубая. Но не их. Но как я мог предположить, что у коменданта иные симпатии и антипатии, не как у меня?

И уж совсем дурь дурацкая: внушенный геометрической прогрессией стола, Тимофей Трифонович Тиволгин теперь уже и геометр, вот-вот балотируем Т-3 в Академью.

Об этом горевать не стоит.

Но себе я сказал:

— ДУМАЙ, ЧТО ДАРИШЬ, ДУРАК!

ТЕЛЕФОН И ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Телефонная трель — как трюк: как стук в лоб: кто тут?

Трель, трубка, в ней плеск. Кто? В ней телефам плещется в ванной, как вертоносец.

Трубка — мне:

— Кто на проводе?

Я — ей, быстр:

— А кто на веревке?

Трубка:

— А кого Вам хочется?

Я:

— Вас!

Трубка:

— Меня? Хочется? Я сейчас! Помоюсь уж потом!

Я:

— Мне вас хочется, — на веревке! Не мойтесь, правда, обмывают спец-сестры. В морге.

Трубка:

— Вы — змей, а я-то уж вся взмыленная!

Я:

— Как бы в мыле ни корчиться, а кобыле кончиться. Чего тебе нужно?

Трубка:

— Ты ко мне с битвой, а я к тебе с бритвой. С веной я в ванной. Кто я? Вы меня не знаете. Но мы ведь не экзаменцы. Кто с кем-то, — кому анкета? Чего мне нужно? Явь, близость! Я люблю Вас! Скажите ж мне: как жить мне, — ночью! в ничью?!

Я:

— Я не учу!

Всхлип. Трубка захлебывается. Морзе-гудки. Я смотрю на свою, — вислая кляча, копыта болтаются. Тебе-то до трюка, ты — трубка.

Смерть — как-то! — не цель. Но той, с бритвой, — коней ей. Я-то уйду, в ухо «ту-ту!», в иглах, как сталь... Рад, ежик?

Этот стиль называется: РАЕШНИК.

Веной ничьей молодой в ванной ночной медуз.

Моцартом церемоний — мой туз!

У мембран свой маразм: кто-то в баталиях с «я» на проводе, кто-то болгается на веревке. Кто-то с битвой, кто-то с бритвой. Ну их в нулик! Хоть бы платили сестерций за рифму сентенций.

Зубы б мои на замок, но вот: звонок!

Трубка:

— Дайте справку! Я у колонн!

Я:

— Я не спрашиваю, где ты. И справок у меня нет.

Трубка:

— Вы — Зайчика Розы? Что же у Вас есть?

Я:

— Холодильник. В нем яйцо. Одно.

Трубка:

— О голодный! Я приду оголенной.

Я:

— Я ню не ем.

Трубка:

— Я из Венегрии, но прежде, чем быть Вам, я обязалась себе знать генеалогью Вашего Дома. Сейчас же мне справку, а то я стою на ветру у колонн, знаете, я ж замерзаю. Листья клена ловлю, но они не из меха. Сейчас же мне справку, теперь-темп!

— Прежде и теперь. Теперь на ул. Зайчика Розы горят электрофонари, ноябрь не радует ню с кленовым листом, оголенную, — ох! — или же так назовем ее: иностранку. Теперь улица Зайчика Розы, как музыкальный Музей: выйду ль я утром из-под арки Дома Балета, а у Дома 20 колонн. Стоя, бросаю свечу и циркуль в люк театральный, лишь остаюсь босой, но в шубе шабаша, но вижу: у каждой колонны стоят 20 кровинцев, я их и знать-то не знаю, стоят, ждут, что я выйду и исцелю. Морды у них, признаться, хуже метафор. Что исцелять их? Из цсли их кожи цыплячьей? Метель, но и я не у мартена. Я говорю им: сдвигайте колонны, чтоб все они были не расставлены в Доме, как демиурги, сдвигайте их сюда, ко мне, чтобы они стояли пред мной, как трубы органа. Очень они, т. е. кровинцы, огорчаются такому труду, но сдвигают. Колонны стоят. Я говорю им, кровинцам: колонны стоят пред мной, что ж вы — стоите? — Что же нам делать? Наш долг — стоять, это стойка у нас. Я говорю им: ложитесь! Ложатся. 20 кровинцев ложатся друг на друга, получается табурет из тел, я взлезаю, садяюсь, сижу на табурете из 20 людей с кровью, а своей кистью правой, пястью левой я играю им на органе колонн нео-поп-музик, но и из

древности — к примеру, пеаны Пунических войн, — да мало ль мелодий! У колонн много клавиш.

— А потом?

— А потом бьется в колокол Адмиралтейского шила 11.00, все бегут к нашей Несси, чтоб доисцелиться. Вечером иду под арку Дома, в общем-то возвращаясь, те же 20 кровинцев стоят у колонн. — Вечером-то что стоите? Вы ж исцелились, не так ли? — Мы исцелились, — отвечают. — И морды у нас порозовели, как у паразитов. Но мы хотим исцелиться до последней капли крови, чтоб каждый мог сунуть нам в морду кулак и сказать напрямик: — Вот идет, имя ему — долгожитель!.. Ну, исцеляй уж нас до конца, Иван Павлович Басманов! — Раздвигайте колонны! — я говорю. — Это так трудно! — говорят они с 20 восклицательными знаками. — Вы же утром сдвигали, ничего, исцелились. Как же мой Дом Балета на месте, а фасад — исковерканный, колонны не на месте! Раздвигайте колонны по архитектуре! — Почему бы и нет? Раздвигают. — Дальше что? — спрашивают. Я говорю: снимайте свой шляп, шалопайцы, и бейтесь о колонны голой головой. 20 снимают шляпы и бьются. Звонит от колонн! — Бейтесь до утра, — говорю я, — я люблю спать под звук звона. — Они бьются до утра, я сплю до утра. И им польза, и мне спится.

— У меня уж от хлада зубы стучатся друг в друга. Но теперь уж Венегрия будет знать о моем интервью про ул. Зайчика Розы. Вы — известный импровизатор. Но я дрожу и трубка держится в пальцах почему-то как приклеенная. Вот-вот упадет. Передрожится мне с кленовым листом от таких передряг!

— Трубка не упадет. Вы ведь пальцы лизали, у вас ведь в Венегрии нету соли. Нигде ее нет. Соль лишь у нас. Мы ведь и улицы солью забрасываем, чтоб на улицах слякоть. Мы — соль соли земли.

— Но слякоть-то к чему?

— А как же? Без слякоти нам ничего не случится.

— Что же может случиться со слякотью? Да и зачем?

— Как что? А кто падет оземь и сломается руками, нога отломается наголо, башка набьется набок? С такой-то статистикой мы можем померяться и с «Логосом Хамерики». В пасть им кляп: у вас индивидуальность, как вы хвастаетесь, а у нас что, инвалидности, что ли, нет?

А пальчики у тебя, дитя, не прилипли к трубке, отнюдь, — примерзли они, не отдирайте, кожица ведь снимается при этом, нерв обнажается, а вы и так нервничаете, ведь у колонны не только лист кленовый, но и ледок.

Теперь я расскажу, что здесь прежде, в Доме Балета, — было!

Интересней!

Вацлав Нижинский нашей ночью (каждой!) поджигал Дом Балета, спичкой.

— Для чего?

— Дурацкий вопрос! Идет путник из Венегии в Столицу по морю им. св. Бельта. И уже видит издалека-издалёка, из Гавани: ага! огонек! в Доме Балета кто-то есть! еще живой! Значит, можно зайти. Где путник, тут и пудинг.

— Ах, а потом?

— Дом горит, они пируют и едят. А там и танк.

— При том, что потом. Где танц, там и танк!

— Танцуют?

— Но Вацлав — танцовщик. Хоть вы из Венегии, а ни хевра не знаете. Так танцуют, там суют. Он сует. А танк — для тактики. Для тактических учений, чтоб танцевали такт в такт.

— Ну и жизнь в Вас, Вацлав! Ну и жизнь, Нижинский!

— Не все. Пока путник ел, Дом Балета сгорел. Дотла.

— Ужас. А утром?

— А утром, когда я бился в колокол на Адмиралтейском шиле в 11.00, 250 млн. кровинцев отстраивали Дом Балета заново. У них же был билет на дневной балет, а как билет — без балета?

— Какой Вы интересный! Но пока Вы с такой подробностью мне говорите, я от нехватки солей обливалась вся, вот и примерзла к телефонной будке, мне мнится, что навек.

— Иностранцы комплексуют. Мне так не мнится.

— Клянусь, я примерзла даже ребром. Спасите ж! Я так люблю жизнь и познакомиться б с Вами поближе!

— Вы-то зубрите Библию, как зебра, Вы, бездельница из Венегии, знаете страницу за страницей. Ребро, которое примерзло, это ж мое ребро, вы ж, как мы смеемся — происходите из ребра Адама. Вот и познакомьтесь поближе с моим ребром, примерзшим, как вы выражаетесь. Отмерзнет же оно, а спасать — спасибо, у нас нет спасательных поясов, а вы — иностранка, у вас — инициатива!

Звонят же, извините, ночью, а на что?

Если бы из-за вина, или поесть, а зачем еще звонить — из-за акцента? Справки требуются; я не Авиценна, я не врачеватель со справкой, а вот выговорился до последней слюнки слова и еще говорю:

— Не пропадет, пропадла. Найдут и надуют, как надо!

Телефонная трубка — как радиорубка: ты сбился с курса и тебя теребят, как ус сивый у кобылицы Блед, то ты сгинул и тут же сигнал СОС, как будто ты поздний Иоганн Себастиан Бах и лишился вдруг слуха, как Людвиг Бетховен, а то треп

о том, что нет троп у гармонических групп элементов, всюду цирк, орицикл, ветер Витрувия, что сиська у тебя для меда и млека, — о телефонная тема с будкой, с последней буквой, — я нем, меня нету!

Тут и... трубка вьется, как тряпка:

— Иван Павлович! Последняя просьба: Ляля захлебывается!

Я:

— Ах, Лиз-Лиз! Так отхлебывай ея!

Трубка:

— Ох, отхлебывай! Да теперь всем именам и племенам не расхлебаться!

Я:

— Перестань, не паясничай! Что еще?

Трубка:

— Рада б и я в рыдания, а Ляля всплакнула, что называется, навзрыд. У нас две девочки!

— Я рад, Лиз-Лиз!

— Но они родились. От тебя. Им уже по 12.

Я:

— Поздравляю. Расцветут, присылайте. Сделаю синие глаза.

Лиз-Лиз:

— Придется дать двум.

Я:

— Дать тать?

Лиз-Лиз:

— Двум твоим дочерям придется дать синие глаза. Сейчас же. Им по 12, имя не потеряется. Ты, прародитель новых племен и имен, близится Страшный Суд, спустится Тот, чье имя не называется; кровинцы — как рванцы, им всем дадут «да» на Ад и, кумекай, — на муки, да что там Ад и муки, устроится нео-потоп, но нет Ноя, волнами-войнами захлестнутся и захлебнутся, — кровинцы, но не мы. Но так что-то не так. И у меня есть план. Слушай:

СПУСТИТСЯ ТОТ И НАЙДЕТ НОВЫЙ НАРОД: девочек-синезабок! Тот обольстится, Суд обойдется, каравеллы кровинцев дадут нам приз за спасенье утопающих: **КОРОНЫ ОТ КРОВИ!** И кровинцы с той стати будут служить нам, слушаться нас, мам. Ты станешь **ИМ ИМПЕРАТОР**, я — **ЦАРИЦЕЙ СТОЛИЦЫ**, богиней с бегонией, Ляля — принцессой с пинцетом! Я говорю: тем, кому сейчас по 12, двум твоим дочерям, рожденным от меня, Лиз-Лиз, и от моей дочери Ляли — тобой, сейчас же к тебе приедут, уразумей же, отче, они станут с тобой стараться и-обе родят от тебя по двойне. А от нас: Я и Ляля и после — все мы родим по 8, получится 84. Только через 50 лет нас будет 64 в 64 степени. Считаю, считай, отщепенец! До 94 тебе-то

дожить, как плюнуть! Доченьки едут, готовь им кровать и ковер и горшок с крышкой от кастрюли! Новый народ-синеглазец! Вот это выдумка! Новый мир, построенный не на уме, а на глазах! Ведь мы-то построены на уме и умрем в Страшный Суд, если ты не согласишься!

Уж на моих глазах был построен новый мир и новый народ, — себе на уме. Зачем нам до тех, кто до нас любопытствовал, есть ли любовь? А после нас, о умелец ума, ну, — зачем замечтался ты, лык-велик? Ты-то в титрах любил, или был? А зачем?

А зачем вам зачет за чей-то там счет? Ни за чем. Бой отбай-бакал, — бей в балалайку!

Странный суп — Страшный Суд. Я родил от Лиз-Лиз — дочь-синеглазку, от Ляли — дочь-синеглазку. Хочется им — и т. д. Новый народ. Девочки-синеглазки. Армия амазонок. Самый лучший палиндром: МУЖЧИНА-ЖЕНЩИНА. Мужчина читается с головы, женщина с ног. Ну и народец! Как не обольститься Тому? А в суетном супе буду вариться и я, — кровосмеситель! К заслугам за плугом титулов этих мне прибавятся те. Хватит с меня и кровинцев, хватит с них кары. Я — уже не ЗАЧЕМ-ТО, ничья не защита!

Не спится, не снится, Уши шумят — у меня!

Сад, аллея, пещера, лист в листве, степь, в ней анемон, ул. Зайчика Розы, двор, комната, люстра, — сидят, цепляются, клюют, проносятся в форточку и пропадают на Заре, — летучие мыши!

Птицы летают лишь по ветру, боятся бурь. Птица-певица летает на любые расстоянья. Полет ее — цель, как шаг пешехода. У птиц внутри костей воздухоносные камеры. Птицу ранят в крыло, оправляется, травку покусывая, заврачует крыло и летает себе — кто куда. А не заврачует, ходит и так по Земле, в доме у людства поет, в 300 ей терпится. У птицы — перья, защита от воздуха и посягательств врага. Клюв ее — меч. Ослепленная, птица летит кое-как, но запутывается за первый кустик, падает при дождях, не понимая, где воздух, где вид вод. Оглушенная, птица теряет ориентир, полет ее как невроз и отнюдь не плавлен. Птица — летательный механизм, дистанционный пилот, стайер. ✕

Птица вьет гнезда и вьется, ищет семя, червя, ест и падаль, кость кусает, всеядна. Все для «дай», для гнезда. Птиц любят. Скворцу скворешня, утка для утра, аист — символ отчизн, журавль — пой-перо живописца, павлин — тронный перс, буреветник — спецреализм, орел — т. ск. ореол, соловей — Сольвейг и т. д. и т. п. Все приручаются. Птица с сумой не пойдет, обворует.

У летучей мыши внутри костей воздухоносных камер — нет. Череп: тонкая черепная коробка, и нежная лицевая часть, нос ведет вверх, напоминая копые, пасть оскалена, глаз голубизн светится, как у скелета! — карикатура на лица нас, людь, — гримаса! Летучая мышь — кровопийца, вампир. Дифилл и десмед — Диоскуры!

Летучая мышь — рукокрыл. Руки с крылами — лай летания, тело же как-то малюсенькое, как ни к чему. Пять пальцев, меж тремя летательная перепонка, пятый же — на нем коготь, заменяющий при подвешивании кисть-пять.

Летучая мышь не боится бурь и ненастий. Что ей жар, что ей холод. Но не любит гром, ведь он ударяет вдруг! — ужас, валится с воздуха, купающаяся в струях водопада, прицепляется как-то к чему-то, что ей скала, человек, зверь, — схватится и карабкается, — лишь бы отдышаться от вдруг. Гром утих, — расправляются крыла, улетает купаться (в воздухах, — уточняю).

Летучая мышь летает не более получаса. Ведь ее летательная перепонка без перьев, а двуслойна: верхний слой — продолжение кожи спины, нижний — кожи от живота. Нету перьев, на обнаженной коже нить нервов, сверхчувствительные волоски, — антеннка, громоотводик, звукоулавливатель, — радиолокация, медиум.

Ослепленная, летучая мышь чувствует себя так же, как будто глаз ее всевидящ. Оглушенная — так же. С вырванными ноздрями — обойдется. Был такой беллетрист Спаланцани. Опыт: он ловит 12 летучих мышей, ослепляет их, оглушает, вырывает ноздри. В небольшой комнате он вбивает без умысла — гвозди, на гвозди натягивает нити — как придется; выпускает летучих мышей. Ослепленные, оглушенные, лишенные обонянья, — мыши летают по комнатенке, не задевая друг друга! Ювелирный полет!

Летучие мыши любят летать. Их полет быстр, блестящ, уж куда до них бабочке, ласточке, стрекозе. Воздушный акробат-эквилибрист, им полет — акт артистизма, импровизация высших фигур пилотажа, — в считанные секунды! Композиции этих фигур и не снились и не приснятся конструктору-косм. Ведь у него ум и чертеж, а у них — сцена и танец, где солнце — лишь театральный оператор-осветитель, или же им луна. Полет летучей мыши — судьба, крылатый гений!

Крылат-то крылат, а уши — ужасны, срстаются над головой и шумят. Люди ненавидят летучих мышей, им (людям) они (летучие) непонятны. Не вписываются в службу с лишь бы. Днем спит. Ночью пирует. Губы собраны в массу морщин. Цивилизация столиц для них — кри-кри-кри! — это ее гнусный голос, голос-гибель, винт вампира, нет, не приятный, не из поэт.

Летучая мышь — товарищ. Посади в узкогорлый сосуд единицу, на Заре в стеклянном кувшине увидишь: бьются 366 ру-

кокрылых! Единица (та ж!) кричала помощь, на крик прилетели 365, в ту тюрьму, туда, где та, но чтоб с ней. Не бросят у бед.

Летучая мышь часто летает к воде и помногу пьет (воздух в ней задыхается!). Нет у нее любви, спаривается раз в год, чтобы род шел в народ и — ау! сама по себе!

Пища: плод смоковниц, плод манго, финик, банан, фи́га, яйцо птиц. Пьет мед из цветка, нападает на рыб и змей. Кровью же этой прославленной человечины — брезгует. Спи, человечина, в лодке-люльке двухместной, мышь — не съест, крови в тебе не убавится до убиенья нашим ножом! Курсируй, кровинец, на поиск пещер, мышь не клюнет твой кровавой шарик, лишь в Хамерике (вот ведь везет этой дрянной лжедержаве УЭСА!) есть летучая мышь-листонос, она-то вот, гангстер-губаст, и пьет кровь. К сожаленью, не у хамериканцев. Что ей любой людь, если она — нелюдь. Листонос пьет кровь у коров. Хамериканских. Но что нам хамериканские коровы, у нас и своих-то хоть отбавляй, вон в Летейском саду — карусель из коров! Для аттракциона!

Но треть жизни летучая мышь может вообще не есть. И несколько не сводятся скулы. Не есть — так не есть, подвешивается на чердаке над моею головой, спит — вниз головой. Так и спим-сплюм голова к голове, какая уж тут тавтология.

В неволе же летучей мыши — не жизнь. Как ни питай, с какой нежностью ни смотри на нея, — чем заменить им полет, им балет лунатизма, ты, солнцеед? Как ни люби ее в клетке, — но крыло рукокрыла не протянет пять пальцев, как товарищ, кисть-пясть твою не пожмет. На крылах остановится кровь, загноится, на нервах появится что ни нарыв, крылья свесятся, как оборванцы, и — умрет рукокрыл. Подохнет.

Но... да запомнится:

во время утробной жизни летучая мышь — точь в точь эмбрион младенца людины. Или еще пишут: живо напоминает человеческий зародыш. На то, что перед нами другое животное, а не человек, указывает только удлинённая морда. «Удлинённая морда» — веское доказательство бесчеловечья.

Да вытягиваются, да удлиняются лица у всякого, кто увидит меня у Эллипсеевского Гастронома. Кто не закричит, бросив дуб, кто не побежит, как бешенец, прочь, а ведь я из кровинцев кровинец, кто не уйдет, улетит, уползет, хоть с оторванной ятрой, хоть с пулей в пупе, хоть в Хамерику, хоть в Израббиль, хоть в Ябонию, хоть в Кидай, хоть к эскимонцам, хоть — к инопланетянам, да и на что ни на есть губительнейшие сферы Галактик, — увидев меня, ум, честь и совесть, чтоб избавиться от любви с первого взгляда — на меня?

Вот что я хочу т. ск. про удлинённую морду.

ЧЕРНЫЙ ЦЫГАН

На форточке висит свитер, зеленый. Как труп. Кто-то вчера стирал.

Я ходил по коридору, как по Аллее Любви.

За дверью кто-то:

— Ао, Ау, оу, Уэ, эуа!

Я открыл дверь: стоит. Черный цыган, в соломенной шляпе, в резиновых ботфортах, куртка свиной кожи. Протягивает записку.

Я взял. В записке: «г. Столица, ул. Зайчика Розы, д. 2, кв. 126». В записке:

— ТОТ. (По-ненецки: мертв, смерть, умереть.)

Я:

— Это мне — ТОТ?

— Я не знаю, тебе или не мне, — сказал цыган по-ненецки.

— Говори по-кровински!

— Я говорю: купи куртку!

— У меня есть куртка!

— Купи еще. Не пожалеешь.

Я купил.

Цыган:

— У тебя белая лошадь. Я куплю ее.

— У меня нет белой лошади.

— Есть. Вон пасется на твоей улице. Конь.

— Это не моя улица.

— Твоя. ТОТ, кто послал меня, сказал: здесь все твое, в г. Столице. Хочешь — ходишь по морю им. св. Бельта, хочешь — пасешь на Несском проспекте белую лошадь. Сейчас на твоей улице конь, белый. Я видел: он скакает как лошадь, он бьет копытом колонны. Продай коня!

— Иди, цыган, иди и думай. Иль у тебя в мозгу разгорелся огонь сумасшествия, или ты с горя?

— Или ты, я не знаю твоего имени, — думаешь, что не продашь мне белого коня? О знаменитый незнакомец! Я тебе скажу, что сказал мне ТОТ, кто послал меня. Слушай:

— На третий день был брак в г. Столица, и киник Тодор, и Арфа Чепчикова, Зоз, которая теперь на пенсии и разводит розы в ветрах, Лидия, Анастасия, которая связала все свитера для твоих геометристок и умерла со спицей в руке, юноша-гоплит Александр с мечом, Гай Рузин с лимузиной, медицинки с красным крестиком на крестце, балерунки и балерунамки, Титана Себастьяновна Йюбздальцева, Викториан Бублик, прибыл из Эльсинора с эполетой «адмирал», 14 докторов и докторесс НТР, их замороженные тела разморозили по этому поводу, Мцыря, уже без термометра, теперь он в мочевом канале носит компас, чтоб

ориентироваться в любви, и гомосексуалисты без губ, но с прежней любовью на лбу, и твои ученики, — все были там. Был брак у Дуни-ведуньи.

— Я изгнал ее из своего государства!

— У тебя потеря памяти. У нее был брак.

Был зван и ты, и ученики твои на брак.

Но не хватало вина, и Дуня-ведунья сказала тебе: вина нет у них.

Ты сказал ей: что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой.

Дуня-ведунья сказала к лакеям: что скажет он вам, то и сделайте.

А брак был на вокзале им. св. Витта в ресторане.

Было же здесь шесть каменных сосудов для воды, вмещавших по 200 или по 300 литров.

Ты сказал к лакеям: наполните сосуды водой. И наполнили их до мениска.

И ты сказал им: теперь возьмите ковш, почерпните и несите к распорядителю пира. Распорядителем пира был отважный герой М. Н. Водольянов. И понесли.

Когда же М. Н. Водольянов отведал воды, сделавшейся вином, — а он ведь не знал, откуда это вино, знали только лакеи, почерпавшие воду, — тогда М. Н. Водольянов зовет жениха. Женихом же был Самый Верховный Инстант Зубикомлязгик.

— Но был ведь Самый Верховный Инстант ЭН. И так был навек.

— Был ЭН, НО... его нет. Теперь Зубикомлязгик.

— М. б. ты скажешь, что Дуня-ведунья теперь Министр-Цветолоб?

— Да. Дуня-ведунья теперь Министр-Цветолоб.

— Я рад. И за того и за эту.

— И говорит отважный герой М. Н. Водольянов, виночерпий, Самому Верховному Инстанту Зубикомлязгику, жениху: любой человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее из худших; а ты хорошее вино приберег до сейчас.

Так положил ты начало чудесам в г. Столице и явил славу свою. И уверовали в тебя ученики твои.

Цыган — мечтатель от евангелиста Иоанна. Я с грустью слушал сказку о том, что превращай воду в вино — поверят в тебя. Я не смотрел в лицо явленца, я тупо и тихо твердил:

— Опасная ошибка. Опаснейшая, ошибочнейшая концепция. Мне жаль тебя разочаровывать, но ты разочаруешься: нет у меня учеников. У меня ученицы.

— Девки? — возмутился цыган.

— На языке кровинцев — да, девки.

— Это не ты! — вскрикнул цыган.

— Это я, — сказал я с грустью. — Только ТОТ, кто посылал тебя, перепутал адрес. И тысячелетья.

— Я пойду, — сказал цыган.

Грусть охватила меня, сжала мое сердце.

— Стой, — сказал я с грустью. — Я могу превращать воду в вино. Какое ты пьешь? — спросил я, свесив голову и волосы.

— Я пью, что дают, — оживился цыган.

— А какое хотел бы? О каком мечтал всю жизнь?

— Бормотуху из Бормотушницы у Пяти Углов, одеколон Красная Москва!

— Открути кран в кухне, открути кран в ванной. Возьми на кухне кастрюлю, возьми в ванной тазик. Первый кран — бормотуха из Бормотушницы у Пяти Углов, второй — одеколон Красная Москва. Иди и пей.

И он открутил краны и пил. Без кастрюли, без тазика, — из-под крана. Он бегал, как черная молния, из кухни в ванную.

— Теперь иди, — сказал я, когда он запел цыганщину. — Иди и скажи пославшему тебя, чтобы он больше тебя не посылал. Ни тебя, ни кого. Скажи ему: я грущу. И нет мне помощи в грусти моей. Топай, тип!

И он потопал, в соломенной шляпе, в ботфортах, без свиной куртки.

У крыльца его ждала тройка. С бубенцами.

СРИНИВАСА АЙЯНГАР РАМАНУЖАН АЙЯНГАР. ОЧЕРК, ЧТО ЛИ? С КАКОЙ СТАТИ — СТАТЬЯ?

Сриниваса Айянгар Раманужан Айянгар, брамин, родился в г. Эроде округа Танжор провинции Мадрас. Его отец и дед были «гумаста» — счетоводы у торговцев одеждой, второй дед был «амин» — судья. Амин молил богиню Намагири даровать его бездетной дочери сына.

В 9 день месяца Маргасирша года Самват Сарвайит от счетоводов и судей родился гениальный математик. Это отмечается 1887 г., 22 декабря, — самой короткой ночью индуса.

Мальчик Раманужан был тих и незамысловат. Ему запрещали уходить из дома, чтоб не заблудился, но его посещали товарищи по школе и он беседовал с ними через окно в сад, рассказывая им, что есть между звездами расстоянья в чистых числах.

В 12 лет, не прочитав ни одной книги по математике, он спросил учителя, что есть Высшая Правда Чисел, и тот ответил, что это теорема Пифагора и задача о распределении запасов меж населением провинции. Учитель объяснил также ученику, что такое число, если его разделить на самое себя, равняется 1.

Раманужан призадумался и спросил: — Учитель, будет ли равняться единице ноль, деленный на ноль? — Но учитель ему не ответил. Раманужану было 13 лет.

В 14 лет ему попадает на глаза вторая часть Тригонометрии Лони, он читает эту книгу как свою и решает все ее задачи. До этого он даже не знал такого слова Тригонометрия. В 15 лет Раманужан выводит формулу Эйлера о синусах и косинусах, а когда ему много позже говорят, что формула не его, а Эйлера, юный счетовод и чертежник прячет формулу под крышу, в тайник, в своем доме.

В 16 лет Раманужану кто-то, шутник, берет в библиотеке местного колледжа «Синописис чистой математики», автор Карр. Сосуд с Джинном, запаянный в г. Эроде, взрывается, и Джинн восходит в воздух. Богиня Намагири, породившая Джинна, говорит ему, являясь и въявь и во сне: — Ты есть!

Еще она ему говорит: — Ты брамин, сын высшей касты нашего народа.

Синописис Карра стал знаменит лишь потому, что его держал в руках 16-летний Раманужан. Что есть Синописис? — 6155 теорем! классического преподавателя-энтузиаста. Достаточно твердое и полноценное изложение формальной стороны интегрального исчисления, формула Парсеваля, интеграл Фурье, много формул обращения и теорем, которые имеют для специалиста понятную схему. В Синописисе излагаются преобразования степенных рядов в непрерывные дроби. Но в этой книге ничего нет о существующих методах суммирования расходящихся рядов, о теории квадратичных вычетов, о распределении простых чисел. В книге сей нет ни слова о формальной стороне теории эллиптических и аналитических функций.

Но Джинн уже воплотился. Синописис Карра был той глиной, которую держит в руках юноша-гений под ясным взглядом Намагири. Начинается лепка.

Всякая лепка, даже вдохновенная, требует системы. Для начала Творец изобретает несколько методов для построения магических квадратов. Потом прямо переходит к квадратуре круга, не найденной никем, и получает результат: его выражение для длины Земного Экватора найдено и отличается от истинного на несколько футов. Раманужан ставит точку: в Геометрии он сделал для себя все. Начинается Алгебра. Раманужан находит несколько новых рядов.

В этот период воплощения Раманужан много спит. Он говорил потом: я много спал тогда, потому что богиня Намагири внушала мне новые формулы во сне. Просыпаясь, я бросался к столу, записывал формулы и фигуры, проверяя их сейчас же, и почти всегда мог тут же дать строгое доказательство их.

В 1903 г. Раманужан принят в младший класс Искусств го-

сударственного колледжа в Кумбаконаме и получает стипендию Субрасаньям «за английский язык и математику». «За английский» — слишком сильно. В колледже изучаются: английский, история, физиология и т. д., но Раманужан к ним безучастен. Его интересует лишь математика. За неуспех по остальным предметам его лишают стипендии. Не переводят в старший класс. Он пытается сдать экзамены экстерном, но проваливается. Государственное ученье, — конец. Ему уж никогда не иметь диплома.

Каста браминов не терпит жизнь за чей-то счет. Математика в Индии — занятие для любителей и гениев, не оплачивается. Даже Рамасвами Айяром — основатель Индийского математического общества, работает помощником сборщика налогов в городишке Турикойлур, округа Южный Аркот. Он пытается устроить Раманужана клерком в муниципалитете, клерком в налоговое управление. Не получается. Такой талант как Раманужан, не может жить без пищи, Рамасвами Айяр пишет рекомендательное письмо в Мадрас к П. В. Сешу Айяру, который и так знает этот талант, потому что преподавал математику ему же в колледже Кубаконама. Все, что может сделать учитель: несколько месяцев работы в счетном управлении, там же, где колледж. Затем мыслитель зарабатывает уроками для подготовишек. Потом в жизни математика начинается многосерийный фильм с переводами из одного городка в другой, с рекомендательным письмом, к примеру, Дивана Бахадура Р. Рамачандра Рао, который очень любит математику и имеет дипломы и имеет работу: сборщик податей в Неллоре, в 80 милях к северу от Мадраса, который писал: «Он (Раманужан) тогда снизошел к моему невежеству и счел возможным показать мне кой-какие свои простейшие результаты. Они намного превосходили все то, что имелось в каких-либо книгах, и у меня уже не было сомнений, что предомной самый выдающийся человек. Затем, шаг за шагом, он ввел меня в теорию эллиптических интегралов и гипергеометрических рядов. И — наконец-то! — меня сразила его теория расходящихся рядов, мир еще ее — не знал. Я спросил его, что ему требуется. Он ответил: десяток рупий в месяц, чтоб он имел пищу для формул и фигур. Я сказал: гиганту мысли не гнить в городишке Неллоре у меня, а быть ему светилом в Мадрасе. Я взяла на себя расходы за любое время пребывания гения там».

Но каста браминов не терпит бремя за чей-то счет. Гигант мысли Раманужан 9 января 1911 г. поступает клерком в контору мадрасского порта. Жалованье: 30 рупий в месяц. Жизнь налаживается. Можно лепить под ясным взглядом Намагири Формулу Мира и есть лепешки. Тем более что управляющий конторой порта — С. Нарайяна Айяр, «тонкий и преданный ценитель математики» (кавычки лишь потому, что цитирую биографов). Можно уже написать и первую большую статью в «Журнал Индийского

Математического Общества» и назвать ее «Некоторые свойства чисел Бернулли» и опубликовать в декабрьском номере Журнала, 1911 г.

Всюду есть друзья. Есть дружба и у математиков. Она оригинальна, как выяснится ниже, но как ее не ценить, если есть? Друзья сказали: ты слишком велик для Индии, а тебе мал и Мир. Напиши в Тринити-колледж, Кембридж, там центр Математической Мысли мира. Там поймут.

Ему сказали, он написал: м-ру Г. Х. Харди, члену Тринити-колледжа, Кембридж. Письмо 16 января 1913 г.:

«У меня нет университетского образования, но я все же прошел школьный курс. После школы я все свободное время посвящал математике. Я сделал кое-какие исследования о расходящихся рядах, ваш трактат "Порядки бесконечности", я его читал на днях. На 36 странице трактата я нашел ваше высказывание, что до сих пор никем не найдено никакого выраженья для числа простых чисел, не превосходящих данного числа. Я — нашел выраженье, которое очень точно приближает действительный результат, ошибка пренебрежима. Я бы просил Вас просмотреть прилагаемые мной бумаги. Я не привожу здесь подробностей всех моих исследований, а указываю лишь основные направления, по которым я работаю. Я неопытен, я б оценил любой Ваш совет».

Прилагаемые бумаги неопытного Раманужана: около 100 новых и переткрытых математических теорем.

М-р Г. Х. Харди откликнулся. Он написал секретарю студенческого консультативного совета в Мадрасе. Он ставил вопрос: нельзя ли принять меры, чтоб дать возможность Раманужану обучаться в Кембридже. Секретарь спросил Раманужана: хочет ли он быть в Кембридже? Но каста браминов не терпит явление Европы и предпочитает жить за счет своей мысли. Математик спросил во сне богиню Намагири: — Можно? — она ответила: — Нельзя. Раманужан дал отказ.

Начинается «дело Раманужана». Что писать о «деле...», о том, как хотят перевезти индуса в Англию? Здесь детская дилемма: можно ли выпускать птиц из клеток?.. или же: в клетки впускать? Ведь, к примеру, у канарейки лишь в клетке проявляется во всем блеске творческий талант, люди ведь ее учат, а на свободе — кто? Кто может на свободе обучить канарейку, так петь, если аккомпанемент — белый лондонский рояль? Откуда знать англичанину, что мозг индуса имеет устройство не такое все ж, как у Члена Королевского Общества. Что мышца индуса идет лишь по земле богини Намагири, а под англиканским колоколом — ей не идти! Что нерв индуса выдерживает энность рупий в рублище, а в тиаре: титулов, под мантией вычислителей Великобритании — не выдерживает он, нерв?

Древний запрет эмиграции суров, но он возник не вдруг. Есть в нем что-то, что позабыто: РАЗУМ. Иначе можно сказать этот символ: КЛИМАТ. Вот этот-то КЛИМАТ включает в себя не перемену температур, а СВЕРШЕНЬЕ СУДЬБЫ. Так или иначе Европа, эмигрируя в Европу, разберется. Она выжгла в себе все, что свойственно свеченью интуита, это ей ямбля в естественных и искусственных отборах, а ИНДУС — Интуит, ему жизнь для жизни — Яма.

Член Королевского Общества, Генеральный Директор Обсерваторий в Симле, член Тринити-колледжа в Кембридже, д-р Дж. Т. Уолкер посетил Мадрас и Председатель Мадрасского Порта сэра Фрэнсис Спринг показал ему некий труд Раманужана. Дж. Т. Уолкер с быстротой ума оценил и помог Раманужану получить стипендию в Университете Мадраса и потребовал математика в Тринити-колледж. У Раманужана — отказ. Переписка с Г. Х. Харди, заинтересованность всех лучших математиков Индии, приезд еще одного члена Тринити-колледжа Е. Х. Невилла чуть ли не с миссией вывоза Раманужана, друзья и друзья и... и мать! Мать видит сон: ее сын сидит в большой зале за роялем с белой английской крышкой, а вокруг — европейцы. И богиня Намагири сказала ей, матери: — Не препятствуй сыну в выполнении его жизненного назначения. Мать не могла лгать. Если ей сказала Намагири — Намагири ей сказала. СВЕРШЕНЬЕ СУДЬБЫ! Раманужан подчиняется. Он в Англии. Он уже никогда не будет нуждаться до конца жизни. А конец его жизни — через 6 лет. Сейчас 1914 год. Цитирую письмо мистера Е. Х. Невилла, в общем-то вывезшего математика из Индии:

Меморандум Властям Университета Мадраса, 28 января 1914 года:

«Открытие таланта С. Раманужана из Мадраса *обещает быть самым интересным событием Нашего Времени в Математическом Мире. Значение предоставления Раманужану возможности дальнейшего совершенствования в современных методах и встреч с людьми, знающими, какие идеи уже использовались, а какие — нет, не может быть переоценено. Я не сомневаюсь в том, что после встреч с математиками высокого уровня Запада Раманужан сможет стать одним из величайших математиков в Истории, и университет г. Мадраса и г. Мадрас будут испытывать гордость за помощь в его переходе от безвестности к славе.*»

Как о лошади. Как о диком, но видите ли чистопородном скакуне для кембриджского ипподрома, как об индусском слоне писал Меморандум солдат Македонский, что все-таки слонов-то в Элладе и нет, а они имеют значенье в бою. Если всмотреться, как пишет вообще-то солдат о Звере чистой породы, обнаруживаются перлы и поискренней. Мы еще всмотримся. Пусть вчи-

тается в Меморандум тот, кто умеет читать, я — не объяснитель. Курсив лишь мой.

Лошадь пошла, скакун поскакал, слон вынул бивни. А Раманужан работал. Как искренен был некролог Г. Х. Харди, написанный «по горячим следам смерти друга», в котором Г. Х. Харди признается: «Как учить его современной математике? Я узнал от него куда больше, чем он от меня. Все его результаты были получены из индукции и интуиции. И его поток оригинальных идей не показывал никаких признаков иссякания». И еще: «Он был пронизательным философом, он соблюдал со строгостью, необычайной для индийцев, живущих в Англии, все религиозные правила своей касты, он легко мог повторять целые страницы санскритских текстов (Атманепада и Парасмепада)». И еще: «Раманужан был абсурдно скрупулезен в его желании отметить даже малейшую помощь». Т. е. взять в соавторы. В соавторстве с Г. Х. Харди и была написана основная работа Раманужана. Как чист и чудесен в своем некрологе Г. Х. Харди.

Но проходит полтора десятка лет, имя Раманужана стоит, как опознавательный знак, на всех перекрестках математики, «ошеломляющий ряд алгебраических приближений числа "пи", становится непостижимым каноном» и т. д., и Г. Х. Харди, соответственно, как соавтор Книги, вынужден выступить пред общественностью с объяснениями. Что ж он объясняет?

Он объясняет, что его некролог — «смехотворный сентиментализм». Цитируется некролог: «Он был большим математиком, если бы получил должное образование в юности, тогда бы он открыл больше нового и, несомненно более важного. С другой стороны, тогда бы он был меньше Раманужаном и больше европейским профессором, потеря могла бы быть больше, чем приобретение». Повторяю: как мил и мал был Г. Х. Харди в некрологе. Сколько «бы» он насобачил лишь в двух фразах, не отваживаясь оскорбить память гения, завидуя, смущаясь, колеблясь, комплексуя со своей белой кожей, со своим «Я» центра мира Математики и этим рабом в рубище из порабощенной провинции.

Слепой, скажи Поводырю «Благодарю!», но не верь ему. Не позволяй ему пользоваться твоей слепотой, ведь это ты — слеп, ты — трепетный нерв «индукции и интуиции», ты открываешь свой Мир, ибо «Истинного», материального мира не видишь, а видишь лишь ясные глаза Намагири. А Поводырь-то тверд, он не упустит ни твоего неверного шага, ни рупии из подаяний толп, он расклеит афиши со своим именем, ибо — он по улице ведет слона! У толп ум туп, и поверят ему, Поводырю, ибо фиговый листик факта прикрывает в твоей статуе фалл мужской мощи.

И Г. Х. Харди скажет: на лекции, прочитанной в Гарварде осенью 1936 г.:

«Трудности в оценке Раманужана очевидны и ужасны. Раманужан был индийцем, а англичанину и индийцу тяжело понять друг друга. Более того: он был полуобразованным индийцем, он никогда не смог сдать даже первые экзамены в индийском университете и никогда не смог стать даже бакалавром искусств. Он работал в полном незнании Европейской математики. Я не знаю никого, кто мог бы сказать с уверенностью, насколько большим математиком Раманужан был. Раманужан был моим открытием. Я был для него единственным компетентным человеком, и я сразу же понял, какое сокровище я нашел. (Поводырь понял, что ему есть применение, он нищ, а слепой — объект для любопытства людей и сума его не пустует.) Я знаю о Раманужане больше, чем кто бы то ни было. Мое знакомство с ним представляется мне как романтический эпизод в моей жизни. Я знаю и чувствую слишком много. Я убежден, что Раманужан не был мистиком и религия, за исключением чисто материальных ее аспектов, не играла никакой важной роли в его жизни. (Он не был мистиком, м-р Г. Х. Харди, он был — ИНДУСОМ.) Мемуары о Раманужане, опубликованные в Избранных трудах, сильно не соответствуют тому, что касается его религии (мемуары — ИНДУСОВ). Кто же из нас прав? Что касается меня, то у меня нет сомнений: я абсолютно уверен, что прав Я. (Читай, читатель, внимательнее, что говорит философ): Если архиепископ Кентерберийский говорит одному человеку, что он (архиепископ) верит в Бога, а другому — что не верит, тогда справедливо второе предположение, иначе непонятно, из каких соображений оно сделано. Аналогично: если строжайший брамин, как Раманужан, говорит мне, как он как-то сказал, что у него нет определенной веры, то 100 против одного, что он именно это и хотел сказать».

Логик-лобик. Кентерберийский кентавр. Позволю штамп: как он мечется, чтоб уйти от меча непререкаемости авторитета Слепца, Слона. ИНДУС НЕ СКАЖЕТ НЕ ИНДУСУ О СВОЕЙ «РЕЛИГИИ». Он скажет обо всем, но не о ней. Европа ходит в храм коллективизма, с хоругвью, во фраке и в муддире, ИНДУС верит в одиночку. Он как-то отделается от вопросов по этому поводу. НЕ ИНДУС НЕ ПОЙМЕТ ИНДУСА, — зачем же блистать бисер?

И дальше:

в доказательство чуть ли не атеизма и лицемерья Раманужана: «С ним можно было пить чай и обсуждать политику».

Дальше. Перед нами уже глаголет не просто мемуарист; не соавтор, а суть существа, которое издревле, и до и после т. наз. «Сальери» (в чем не чается этот «изм», в ком, обычающем в обуви — не светится эта скрипка?):

«Отрицаю идиомы индусов, и вслед за ними остальных: это не Чудо Востока, не вдохновенный Идиот, не психологическое

Диво, а рациональное человеческое существо, которому выпала честь стать Великим Математиком».

«Великим Математиком» — это он не мог отрицать, потому что ему пришлось бы отрицать Себя, соавтора. Во всем остальном в этой последней речи Г. Х. Харди — Раманужану — отказывает. «Человеческое существо» — самый лестный эпитет Поводыря.

В том же году буква в букву писал Мемуар о Слепце еще один Поводырь: О Вацлаве Нижинском — С. П. Дягилев.

Закон Человека оставим телу человека. Апология Гения имеет единственный Закон: результат Творца. Все вопросительные знаки типа кто? с кем? почему? отчего? зачем? — отбрасываются.

Раманужан три года прожил в Англии. Он получил все мантии, он стал членом Королевского общества в 30 лет, чуть ли не самый юный в истории этого Общества, он издал много книг, в том числе и в соавторстве с Г. Х. Харди.

В мае 1917 г. у Раманужана — болезнь. Мировые светила медицины изо всех сил пытаются дать диагноз о ТБЦ (п. ч. большинство индийцев, живущих в Англии, заболевают ТБЦ). Но диагноз не удается: болезнь не известна медицине и неизлечима. Болезнь ИНДУСА: НЕ ТОТ КЛИМАТ. Он лежит в лучших клиниках Англии. 27 марта 1919 года он высаживается в Бомбее, 2 апреля прибывает в Мадрас, он лежит в лучших клиниках Индии, 26 апреля 1920 года — смерть. Он умер в г. Четпуте, пригород Мадраса. Он был бездетен.

Сриниваса Айянгар Раманужан Айянгар умер в возрасте 33 лет. Так надо. И не надо жить больше.

Портрет с Раманужана не написан. Иконографии нет. Уцелела как-то единственная мутная фота: ИНДУС: большая голова, обширный лоб, длинные выющиеся волосы, тучен, ясноглаз. Рост 5 футов и 5 дюймов. Очень хорошее изображение его украшает стены библиотеки Мадрасского Университета.

Оставим на совести м-ра Г. Х. Харди сомнения по поводу ИНДУСА. Ведь м. б. м-р Г. Х. Харди еще жив, он же был лишь на 10 лет старше Раманужана, сейчас ему м. б. 103 года? Почему бы и нет? В Великобритании живут и дольше. Особенно — математики. Чарльз Дарвин, к примеру, жил что-то так: то ли 98, то ли 111 лет.

«Дело-то Раманужана» — уж проще-то не придумать: он ведь провалился с английским языком в Индии, не знал языка и в Англии. М-р Г. Х. Харди работал с Раманужаном и отметил эту его особенность. Вот и вступил в соавторство, как переводчик: английский язык знал в совершенстве. Я не был в Англии, но знаю, как пишут англичане: вон какой Диккенс стилист по-английски, — слюнки потекут! От чувств, от чистот.

Оставим гримасы: Г. Х. Харди был незаурядный европейский профессор, он открыл в биологии «Закон Харди-Бейнберга», Г. Х. Харди — личность из Энциклопедьи — никуда не денешься. Но в математике:

Раманужан и до и после Харди был велик и открывал формулы, даже в последние три года болезни, не вставая с постели.

Г. Х. Харди написал в соавторстве с Раманужаном книгу, мировой класс.

НО Г. Х. Харди ДО Раманужана не сделал ни одного открытия в математике. Вот в чем вся суть-то.

ОСКАР БЛЯТЬ И МУЗ ИКАЛИН

На улице был фонарь. Был поцелуй.

(Вчера!)

Я возвращался. Откуда?... Я шел по следам. На Несском проспекте, на Лыковском пр., на проспекте Жаворонков, на Ягипетском мосту, на ул. Зайчика Розы, на моей лестнице, у моей двери — следы гигантских подков, — шел медведь. Где он, диктатор Леса? Я обыскал всю квартиру: коридор, кухню, ванную, туалет, пять шкафов, — медведя не было. Я спросил соседок: не было медведя.

Я показал следы: следы были, а медведя не было. И обратных следов не наблюдалось. Думается, что его и нигде нет, — это с медведями бывает в Столице.

«Вчера!»

Сегодня:

на крыше стоят Оскар Блять и Муз Икалин.

Они облицовывают крышу зеркалами цинка. У меня пол зеркальный, отныне и вовеки — в зеркалах. Наш нарциссизм неиссякаем.

Солнце бьет двоих чистым лучом, ливни обливают водянистой водой, а Оскар Блять и Муз Икалин стоят смело, насмерть.

Оскар Блять — разжалованный Инстант, а Муз Икалин отсидел в тюрьме, как диссидент, и теперь для двоих остался один самоотверженный и чистый путь репутации: облицовывать мою крышу зеркалами цинка. Оба в смокингах из брезента, Оскар Блять босиком, а Муз Икалин с глазом голубизн, в зубах гвоздь, кисть-пясть сжимает молоток, — как они красиво смотрятся на крыше вне административных постов и философских восстаний!

Я знаю их как друзей, учились в том, взаправдашнем прошлом, в Университете.

— Давай, давай! — восклицал я им в форточку по утрам. — Вот луна залунает, светлая ночь заалееет, вьюга взовьется в наших

залах танцевальных! Вы четвертый год облицовываете мою крышу, а еще не привинтили ни одного зеркала цинка. Вы стоите на крыше, как два кумира борющихся религий, стоите и денно и ночью, босиком и с глазом голубизн. Почему вы не пьете? Пейте и пойте потихоньку петушками с красными гребешками и вам — воздастся. Вы попадете в лучший людь Столицы и вам дадут премию в брюалях на новые семьи, на болеардскую бормотуху!

— Нам нельзя пить! — отвечают Оскар Блять и Муз Икалин. — Если мы выпьем, наше паденье будет полным. В прошлом уже мы пали: я разжалован, а я любил инстанционизм, и я попал в трюм, а я любил права примата! Теперь мы хотим жить по-кровински. Если мы выпьем, пасть нам бесповоротно, — с крыши! Пусть зеркала цинка ржавеют на чердаке, пусть ими пользуются гомосексуалисты для своих ласк. Мы будем стоять на крыше, как два символа доблести, чести и совести кровинцев, пусть все спят, мы будем стоять. Мы будем стоять в той же позе: я Оскар Блять босиком, я Муз Икалин с глазом голубизн. Так мы простои́м до 60 лет и спустимся лишь для пенсьи. Но если нам позволят работу и после пенсьи, мы опять встанем на крышу и опять будем стоять. И умрем стоя. И наши тела забальзамируют и поставят в Музей и приклеют к стеклянным гробницам такой зонг-лозунг:

«Оскар Блять. Муз Икалин. Сорокаюжды Герои Труда. Они сорок лет облицовывали крышу зеркалами цинка. Не ступили ни разу ногой на землю. За работу они только ели, стоя на крыше. Кто не работает, тот не ест!»

— А кто не ест, тот как работает? — восклицал я в форточку, с флаконом уже. — Посмотрите, как прекрасна Столица в 11.00 утра! Уже всплыло на Несском проспекте семиглавое чудовище Несси, у него десять рогов и на каждом — диадема! Уже давятся в Бормотушницах мы, люди, уже дают мыло для милых по спецпропускам, уже заселили столики в Мороженице девицы с девизом, а тела у них еще те! — и все это цель у лиц! Вы отпускаете утро!

С одной стороны.

С другой:

уже те, кто жует железо и ест жареных жаб, — они создают сейчас ценность в цехах! Пусть их турбины взорвутся, пусть их станки выдолбят им позвоночник, пусть они в шахтах угорают от угля шаг за шагом, пусть они перерезают электропилой челюсть друг у друга, пусть они...! Это и есть вторая сторона одной и той же прекрасной красной жизни: одни пьют буквальную бормотуху, — чудеса!.. другие быют в бубен из бетона — волшебство!

— Черта с два поработаешь не жравши, — настаивали они на своем. — Те жуют железо, а мы едим по утрам бутерброд

с бужениной! Потому что нас любит лавочница-красномяс Катя, а наш героизм прославлен в газетах и ученических тетрадах! Мы будем стоять, а ты сиди и тебе уже позднеенько превращаться в диссидента. Уйди от форточки, съешь одно яйцо несваренное и шагай шагами. На тебя смотрит ВЕСЬ МИР!

— На меня смотрит весь мир и я смотрю на него: дуну я, — и нет смотри!

— И шагай шагами туда, куда тебя зовет твой гений, — на гибель. Мы стоим, а тебе-то не устоять! — в Тибетах!

Я Оскар Блять и я Муз Икалин, — мы стоим слишком высоко на крыше, нас не поколеблет ни речитатив твой, ни твоя неопишуемая ненависть. Ты невозмутим, но и невесом. Ты со стальной решимостью уничтожаешь себя. Ты не Геометр, это — маска, ты и геометрию-то превращаешь чуть ли не в зарифмованную историю. Ты — и постоянство скорости в твоих объяснениях четырехмерного пространства! Ты объясняй это в своей вымышленной Академии! Ты вообразил, что ты не человек, а Феникс.

Но ты — человек, только ты трус. Ты боишься Бога, ты боишься людей, ты боишься жить в желаньях. Чего же ты не боишься, Иван Павлович Басманов? Ты не боишься только своей кисти-пяти Зверя. Но на что же тебе тогда кисть-пять?

Допиши рукопись и меняй роль Роланда! Ты не рыцарь, ты — танц-Петрушка. На тебя возлиял твой дом танцевальный, чердак нечеловечий, девицы с девизом. Оттанцуй свой танец, сцепи зубы и уйди со сцены. Стань к нам на крышу, что в жизни — краше крыши?

Стань, и станет нас трое. Я Оскар Блять, в позапрошлом инстант, Я Муз Икалин, в позапрошлом диссидент, и ты, Иван Павлович Басманов, тоже уже в позапрошлом Геометр, Академик и Гений!

Мы будем стоять еще сорок лет: я Оскар Блять босиком, я Муз Икалин с глазом голубизн и ты Иван Павлович Басманов со своими серебряными серпами волос. И все трое — как один!

Вот — кредо кровинца! Аминь!

— Есть у меня гусли, есть золотая чаша с фимиамом!.. Аминь!

— Какие доблести в нашей действительности!.. Аминь!

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ

666. День Последний.

Я замерз под персидским ковром, я включил электрокамин, посмотрел в форточку:

год 7487 от Сотворения Мира, январь, цифра 6. Луна, семь часов утра луны, семь, мгла.

Чего я с жутью ждал? О чем я очень-то думал?

О том, что сегодня по тексту санскрита 1000-летний Юбилей Меня? Что же не празднуется, что призадумался?

Не ждал, не думал, по-зимнему познабливает, чему-то сейчас произойти.

Я смотрел на стрелки. Я купил вчера металлические часы Хиндуса в Антикварьи, потому что сегодня День Последний и без часов нельзя. Я поставил часы на холодильник. Металл имеет форму — семиглавый Зверь, а Зверь держит в лапе фарфоровую чашечку, а в чашечке стоит крошечная кукушка, серебряная, пестренькая.

Встала кукушка и прокуковала: ку-ку-ку-ку-ку-ку, — цифра 6!

Во дворе, на дне кладезя, на детской площадке залаял пес. Я не занимаюсь псами, зимой.

Меня залил пот, волос мой слипся и в мир вмерзся. Этот голос я знал 14 лет в той жизни, я узнавал его в лесах и морях, я узнавал его из тысяч и тысяч голосов песьих.

Я сел на зеркало, ударились колени, пот холодный капал с моих повисших пальцев.

Трясущийся, в желтом халате из вельвета в красных розах, влажный волос лез в рот, смерзшийся, я их обкусываю и выплевываю, я распахнул замок дверной, — белый пудель-гигант королевский, — бросается мне на грудь, глаза горят огнем красным, глаза — два озера огненные: моя сука Уна, месть моя.

Уна лизнула меня в морду, я впустил ее в дверь. Прыжок в кресло, язык вывалился, ей не отдышаться, слюна с языка не капала, льется.

Как она пробежала 41 км от того, взаврадашнего моего дома, до моего теперешнего места жительства?

Она дышит, как вешний мраз Столицы дышит, и так тяжело, как все мы. Дышим еще. Она смотрит в меня, задыхающаяся, а мне как Вию не поднять веки, я мог лишь сесть на зеркало, подгибаются колени.

Она скажет:

— Майя умерла.

И зазвонил телефон.

Телефон, трубка, рапорт:

— Нот у нас нет, сигарет нет, карандашей нет. У Ордынской церкви 3 норвежских волка и 900 солдат с автоматами по два рожка. 54.000 разрывных пуль.

Я:

— Пли!

По коридору идет юноша-гоплит Александр. Вернулся. Он командирован. Куда и кем? — я ни при чем. Командирован мечом. Приезжает, приходит ко мне. В угол ставит меч, окровавленный.

Рапортует:

— Заполярье. Ловят полярных сов. Ночью, с фонариком, падает по лучу, в руку, в горсть. Совы не выносят соли. Умирают, даже если лизнут пот соленый. Не выносят соли и неволи. Пробуем сажать в коробку с решеткой, — найдут гвоздик и разорвут горло. Самоубийцы. А так, подрежем крыльца, живут, дружат с оленятами. Я взял замерзшую сову. Привез в Столицу, положил в холодильник. Наутро открыл, — сидит, улыбается. Живая. Дать Вам ее, я ведь завтра уеду.

Я: в ответ:

— Клоп — ценный экспонат эпидемий.

Телефон, трубка и лицо, как мишень в тире — мое.

И! незапамятный, как-то так, вот-вот, проснувшийся женский голос, дикторский, ни извините, ни здравствуйте:

— Майя умерла. Уна убежала. Поступайте, как полагается. Соседка. Адрес.

Я не видел Майю 647 дней, я пил.

В первый раз после 14 лет плюс 647 дней Майя была у меня 19 дней тому, в год 7486 от Сотворения Мира, декабрь, цифра 14.

Она ворвалась в дверь не предвзято. Уна с ней. После меня у Майи никого не осталось, лишь наша сука.

Я открыл форточку, деревья дремлют, во льдах, в снегах. Все та же луна, все так же одна в небеси, — неизъяснима.

— Отец умирает! — воскликнула Майя. — Он отказался от операции. Да ему 76, хватит! Отцвел! Он явился ко мне, я не впустила. Он же — в распахнутой шубе, в бородине быка, с глянцем, как ненависть, глазом. Не в маразме, не сумасшедший, он убьет меня, извергая свой лживый словес, он уж и нас убил 647 дней тому, он убьет меня. Он лежит и жрет мед и вылизывает жир куриц. С визгом! Он лежит и умирает, он умирает уже 16 лет, ведь выдали пенсию в день рожденья от 60. Он замучивает меня! Он замучивает, как заученно, а я не сильная, Иван Павлович, я слабая! Он явился в борде старца, как Лев Толстой, и так рек: если я не впущу, он сдаст в суд и меня в принудительном порядке — принудят!

— Сам ты суд! — ответила я. — Кроткий крест! — ответила я. — Ты родил меня и мне тебя нести до смерти. Ложись и жри!

Он лег и жрет.

Додержаться бы до апреля. На апрель ему нет надежд: прооперируют все ж, зарежут! Я всегда его любила, он всегда нас ненавидел, тебя, Иван Павлович Басманов, за то, что ты Гений, а он доцент, юрист. Все доценты тебя ненавидят, — и в этом их призвание.

— Майя, — он Генеральный Прокурор Столицы, у него дворец, лакей в знном множестве, что ему — ты-то!

— Ему разрешается работать по смерти, как ветерану-строителю наших надежд, сей Генеральный Прокурор Столицы лежит у меня, как жомба, он снял меня с диссертации, я — прачка! Я працюю прачкой, Иван Павлович, и пучина съя почетна — у Льва Толстого!

— Девочка! — вскрикнула Майя. — Посмотри на меня. Мой вес — вес пера. Не живи с ним (со мной уж!), он уйдет, исчезнет и ты будешь, как я: в жизни, как в смерти. Он (я!) убьет тебя: ведь ты девочка, а он — Гений. — И Майя перстом о трех перстнях сребра указала на пустое кресло. Указуя.

Никого у меня не было. Девочка на кресле — не фантазия Майи, а ее манера витийства. Мы пили бутылъ вина из яблочного яда, мне было не до Красной Москвы, на 647 день.

Майя, указуя (обо мне уж!):

— Хрупок и реактивец! — о он обманчив! У него кисть сильна, как сталь, чтоб брать, сжимаясь, и не отдавать, разжимаясь пястью. Не осмотрительнец — о обманчив! У него балаганная, но гибельная суть: ни на кого не смотреть, но присматриваться био всей сутию, нотой нерва! Так будет годами, девочка, и, обманутые его невнимательностью, невнемлемостью, — женщина, друг, берут верх, командуют, кому не лень, а потом вдруг обнаруживается: его нет. Он не спорит, не требует, не мстит. Он делает самое страшное, что может сделать существо: он оставляет без себя. Исчезает. А уже привыкли, не обойтись, все сходит с рук, все идет навек, и вдруг — его нет. Ищи-свищи! Второй не повторится! Девочка!

В сорок лет сама девочка: краткая стрижка, мои губы, а берет бокал — мой жест! — кистью-пястью!

Но Майя — не мне.

Уна меня не узнала! Это свойство волчиц, их ранимость: не узнавать Хозяина, если он уйдет. Без обвинений.

Я вызвал такси. Майя в какой-то геологической балахони, с ковриком для пса. Плела сама коврик, — видится мне. Майя:

— Придешь взглянуть хоть через решетку, когда я пойду хоронить Отца моего? — в крематорий!

На лестнице, я ее держу, ей уж не много нужно, чтоб опьянеть, она чуть повыше моего плеча, в застезках «Молнья»,

на третьем пролете она обняла меня за шею тончайшими руками, рыдая:

— Как ты мог уйти, Хозяин? Как ты мог? Как ты мог?

Я опустил у такси.

— Прыгай, Уна! — Майя бросила коврик в такси. Майя засмеялась хищно, по лицу ее лились слезы.

Она смеялась хищно, так по-детски, обнаженные десны, храбрый «характер», гордая твоя голова!

Я 14 лет уговаривал, умолял, угрожал.

А 14 лет и 666 дней тому ты сказала, что умрешь в 40 лет. И ты умерла. В 40.

Ты не знала, что ты умрешь, это была твоя притча во твоём языке.

Я знал: ты умрешь. Ты умерла.

И ВОТ:

В ТОТ ДЕНЬ:

ты перекрестила меня

перстами

о трех

и сказала:

— БОГ С ТОБОЙ, МОЙ МИЛЫЙ!

Ты села в такси, обняла Уну и сказала в дверцу:

— Две всяких, две суки! Уезжаем, Хозяин! Туда, где нет ни утрат, ни труда! Где цветет жасмин — твой, миндаля — твой, сикомора — твоя, смоковница — твоя, а ЛЮБОВЬ, мой малыш, — А ЛЮБОВЬ — моя! Только Ты не пропадай, держись, друг мой! Тебе кисть дана, пясть для нас!

До свиданья! Там! там нет ни дам, ни драм, ни тем, ни тел. Ты ушел — и уезжает ДУХ ТВОЙ ВТОРЫЙ! Ногу в стремя, Всадник, взнуздан твой конь-Блед, а имя ему — смерть! Будь бодр; 4 месяца тому я видела в «Лайф» портрет Лили. Надпись, как реклама для резинки для хлуга: «Самоубийство Лили!» А на обороте страницы! — мадам-миллиардерша мишуры с младенцем с харей хряка, с кровинцем-мужем с одним носом, кто-то вырубил второй, — м-м Анабасис родила! Ликуй, Мир Лакея!

Радость моя! Опомнись! Ты повсюду сеешь смерть, сам живой!

Я опомнился. Но часовая стрелка времени пульсирует лишь в одну сторону. Возврат ее — смерть пульса.

Дверца захлопнулась. Такси тронулось. Два красных огонька покривлялись по ул. Зайчика Розы, и вот и завернули за Театр.

КАК Я МОГ?

ЛИЛЯ — МОСКВА — ЛИЛЯ

11 октября 1977 года я взял визу. Я шел мимо кладбища, где похоронен Б. Пастернак, его я не знал зачем-то, а посещать незнакомый могила оставим туристу и душам, ищущим потустороннюю связь с гением-невидимкой.

По шоссе шли бронированные «Волги», одноимянцы-машины уже уничтоженной Великой Реки: забирать рукопись у писателей. У нас в Столице их называют писатель-инстант, в Москве — см. словарь. На шоссе лежал раздавленный и сплюснутый под столькими шинами, превращенный в пленку с рисунком скелетика — котенок. Около котенка лежала спелая гроздь, янтарная, виноград, выроненная кем-то из Грузии.

Шел со мной и за мной грибной дождь, сияющий.

Лужицы примораживаются. Листик по листику сваливаются с белкамня электростолба. Переделкино — краснозеленая ласточка листьев.

А на деревьях листа уж нет, ветвь тукает о ветвь, сиротиницы, заиндевая.

Солнце садится по-вечернему, в четыре часа. Переделкино — бестелесность, безлюдье. Шоссе, ведущее к Личной даче, — слабенькое, трюк-тропинка, асфальт выпуклый, кто-то кромсал на Заре косою для овса.

Стекла веранды не мозаичны, лишь вместо обыкновенных вставим цветные, Лиля на веранде, в кресле красного бархата, белоснежец-пружинец жабо, в коричневом платье о распахнутых рукавах, отороченных кружевом, на золотой массивной цепи, на груди — два обручальных кольца с вензелями: ЛЮБЛЮБЛЮ. Анаграмма.

Я к ней приехал.

Москва — центр русский. Я знаю этот язык, читал их папирус. Может быть у меня семантическая неточность, но я осваиваюсь, я быстр. С утра я уж сижу в храме им. св. Василия Блаженного и там пью самовар с водкой, я, свесив свой волос, стою и смотрю: на Красной площади люди в малиновом мундире нижут бусы из красной икры и дарят мне, иностранцу. Здесь я не знаменит, я лишь иностранец, а — дарят, даже не девушке. Мне. Надо же, — не надыхаться им на меня, гостя. Подтверждаю: русская натура — гостеприимец. Загадка!

На Красной же площади все сидят. Все читают по-русски газет и журнал. Что ни спроси, ответят. Я хотел спросить, кто это был мне в больнице, смеющийся, в кепочке велосипедной, да расхотялось. Скажут еще, кто это был, а сболтну с флаконом в Столице, мне же хуже. Милюта Скорлупко придет на сигнал

слез... ну их на ух, пусть читают. Нам не нравится, но мы — не они. Я мудр, о Яма!

Я посетил Кремль. Там, как и я, стоят и смотрят с клюквой в клюв: Царь-колокол и Царь-пушка! С колокол Мир познакомился еще с юга Иеговы, с пушка — Васко да Гама нам порох принес, а — Царь? Где он? Мы суедемся, мы же не знаем, где Царь, почему тут дефис? Мы поднимаем удлинённые морды вверх: был балкон по их папирусу, на балконе был Царь. Нет балкона. Нет Царя. Им-то хорошо, а нам-то — как, мы любопытствуем. Куда ни кинь взгляд в Москве — нет Царя. Есть все, чего нет ни у нас, ни где. А Царь? Как бы я хотел увидеть его: корона, двурога, как у коровы, в белой попоне, глаз конский, кровавый; балкон и — Он, Царь, как цапля стоит на одной ноге, ус устрашающ, никем не умыт (Ной натворил на твой рыл!). Ястреб, как яурей, — посмотреть, плюнуть и пропасть мне на месте! Или же прижечь сигаретой Ему пуп. Не по мне царизм.

Где Царь? Сядешь в трамвай, в метрополитен, в троллейбус на атмосферной рельсе (у нас троллейбусов — нет), сядешь — смотришь: сидят с розовой кожей, откормленной из Кремля, губ маслом намазан, как у нас — помадой, хвастаются — у них есть масло. У нас нет. Нам-то — на что? масло. Жарить жаб? но у жаб свой жир. У каждой московской дамэссы в кошелке гусиная лапка; сидит на сиденье и лапкой обмахивает, морду уродует, как дура в Избании. Сядешь в любой транспорт лимита, чуть что — все читают. — Где Царь! — спрашивается, я у всех на виду вынул флакон Красная Москва, сижу, пью. Такой подхалимаж, будто бы свой, москвич, лишь бы узнать про Царя. Все как заговорят! Вообще-то они говорят не отдыхая, не щадя ни мать, ни дитя: о Вавилоне, о вазелине, о вакууме, о Вакхе, о валерьянке, о Валтасаре, о валуе, о валюте, о вампире, о вандализме, о ванне, о варенике, о вариации, о васильке, о ватерполо, о вафле, о вахте, о ваятеле, о вдовице, о вдохновенье, о вегетарианстве, о Ведах, о ведре, о ведовстве, о ведьме, о веере, о Везувию, о Веке, о векселе, о векторе, о Великобритании, о великомученике, о великороссе, о велосипеде, о вельвете, о Вельзевуле, о велюре, о Венгрии, о вендетте, о венерологе, о Венеции, о веннике, о вентиляторе, о венчанье, о ведре, о Вере, о верблюде, о вербовке, о вердикте, о веревке, о веренице, о веретене, о веригах, о верлибре, о Вермахте, о вермишели, о вермуте, о вернисаже, о вертеле, о вертикали, о вертолете, о верхолазе, о весе, о весне, о весталке, о ветеринаре, о ветчине, о вечере, о вешалке, о взводе, о вздоре, о взлете, о взоре, о взрыве, о взятке, о вивисекции, о Византии, о викинге, о вилке, о винегрете, о вино-водочной, о виновнике, о винограде, о винчестере, о виолончели, о вирусе, о виселице, о Висле, о виски, о висте, о

витализме, о витамине, о витие, о витраже, о витязе, о вишне, о вкладе, о вкратце, о вкусе, о влагалище, о власти, о внедренье, о внуке, о внутрь, о во-вторых, о водевиле, о водителе, о водобоязни, о водороде, о военкомате, о вождельенье, о вождизме, о воздержанье, о воздухе, о Вознесенском, о возрасте, о воине, о вокабуле, о Воле, о Волге, о волейболе, о волке, о волнухе, о волоките, о волхве, о Вольтере, о вольфраме, о волонтаризме, о ворах, о воробье, о Ворошилове, о воскресенье, о воспитанье, о воспрещенье, о воссозданье, о восстановленья, о Востоке, о восходе, о вперед, о вперехват, о вплавь, о впроголодь, о врагах, о вратаре, о врачебно-санитарный, о вредителях, о Времени, о в розницу, о вскользь, о всласть, о всмятку, о вслух, о встарь, о в струнку, о всухомятку, о втемную, о втереться, о втискаться, о втихую, о втридешева, о в три погибели, о в три шеи, о вуали, о в убыток, о вузах, о вышибале, о вышиванье, о вые, о Вьетнаме, о выюшке, о вязанье, о вякать.

Мы — молчим. А москвич вон как говорит. Я математик, я бюрократ у цифр, я записал все слова, которые говорит москвич. Я сосчитал. Во-первых: слова, весь словарный запас москвича. Возьмите любого кровинца, у Эллипсеевского Гастронома, отведите в подъезд, дайте бутылку бормотух — он вам столько слов набормотает, — жизнь покажется пошлой от такой сокровищницы словес! Но мы молчим. Нет слов у нас высказаться, — так их много.

Москвич хитер, фокус-флакон он раскусил. Все видят, насквозь: я — иностранец. В Москве, оказывается, никто не пьет. Тем более — Красную Москву! Попробуй, попей, милиционер тут как тут: — Не пей! — говорит. Это ж на тебе отразится. — И не пьют. Я, зверея, спросил по-кровински: — Где Царь? Я хочу видеть этого человека! Протягивают портрет: чей-то череп глядит из газет, как гляделец. Не тот! У нас не лгут, эх, Москва. А еще говорят: Москва — мозг. Лгут. А чуть что — читают. Мелюзга. Но если б я был поэт, — тут уж тираж! Брюаль у них называется рубль. У каждого москвича, выйдет лишь из Колонного зала, — в кармане рубль, каждый день. Я рубль не видел, но говорят: он звонок и блистающий. Говорят, по своему блеску он ничуть не меньше блестит, чем штык, многие мужчины предпочитают бриться, используя рубль, как карманное зеркальце.

Не увидев Царя, не уеду. Глядь: по Кремлевской стене идет, перепрыгивая с зубца на зубец, присмотрелся, я геометр, глаз мой — снайпер: старушка-погремушка, Омелия Болоньевна Жерементьева! Шуршит в шелках, спрыгивает с Кремлевской стены, парашют, видит меня, виляет хвост у куста, — как у блятви! Я в Москве. Я взял визу. И — она! — Ты почему в Москве? Ты

что ж сбежала с моих страниц, я еще лишь продумываю твою судьбу! — Я из Москвы. Я с твоих страниц не сбежала. Меня Царь забросил в твою рукопись на парашюте. Я — рука Кремля!

Я:

— Сука-старуха! Проговорилась — уж говори! Где Царь?

Она:

— Эх, товарищ Басманов! Да плюнь слюной хоть куда, — попадешь!

Я плюнул слюной перед собой:

СТОИТ!

Распространяться о том, что я подумал, увидев, — подлость! Голова загудит!

Я пошел по Гудузобцгаму проспекту на Амбат, там аргентум.

Я пришел к гастроному «Аргентум», плюнул:

СТОИТ!

— Кто Ты? — спросил я, обомлел. — Как Тебя теперь-то зовут?

Я — Царь Ев Емтушонко!

Да, фамилии у русских — не из райских!

Отзыв о Царе Ев Емтушонко:

Мой рост 1 м 72 см. Его рост: 172 м, см — нет. Стоит, ноги в сандалиях, ногти наточены, нос недвижим, глаза не разглядеть, блистают, как бивни, в облацах, а в руках — консервная банка, честь имею представить: как Бычья Башня в Париже! Ну и банка!

И нет наклейки! Это — Царь!

СТОИТ, ест. Ложка — как весло от Вселенной!

— Что ты ешь, Ев?

— Я ем тушонку. Трудно жить, не поев.

Что есть тушонка, я не вем. Ни один Царь Мира не ел тушонку. Ни один ягипетский Фараон, ни один Кидайский Сатрап, ни один Цезарь у Сметония, ни Меровинг, ни Капетинг, ни один Халиф, да и москвичи: Иоанн Грязный, Пьетр Пьерный, Наш Самый Верховный Инстант Зубикомлязгик, да и я, Гений-Геометр, — никто не ел тушонку! Это — Москва! Это — Царь!

— Ты так и ешь?

— Я так и ем. Где СТОЮ, там и ем. Всюду ношу банку, тяжелая ноша, как видишь. Но я ем тушонку!

— Дай тушонку! — я говорю. — Я попробую. Я отдам. Нельзя столько есть, Ты, оболдуй, Я, к примеру, не ем, что ж Ты-то ешь-то, Ев?!

— Я ем тушонку!

— Не обделяй!

— Я Москву не обделяю. Я — Царь, что хочу, то и ем. Мой москвич ест телятину с Тинторетто, олады с Аляски! Чего не

ест москвич на мой клич, гуся в шоколаде, кулич! Я — ем тушонку!

Упрямец. Лучше не связываться. Царь от Ев! Восхищаюсь.

Прилетит чудесный чибис Алексей Крученых, сядет на плечо Царю Ев Емтушонко, пропищит, как прыщ:

— Мисюсь! Дай автограф!

— Не дам! — говорит Ев Емтушонко, Царь. — Ты не дам! Я дамам даю!

Улетит чибис Алексей Крученых, плачет: где взять автограф? Царь не дает, а без автографа, как мы знаем из Биологии, чибису — смерть.

Я бросился к Лиле. Может, поможет? Жалко ж чибиса мне!

Лиля сидит в кресле на веранде, вертит глобус.

У Лили большие очки, висящие на золотой цепочке, волос рыж, набирает номер вишневым маникюренным ногтем.

Лиля:

— Кто Вы, — явление яви, или оттуда, где бездна звезд полна? Три года тому Вы сказали мне, — еще не долго быть мне с Вами и пойду. Будете искать меня и не найдете; и где буду я, туда Вы не сможете прийти.

Лиля:

— Куда Вы хотите идти, что я не найду Вас? Что значат слова «будете меня искать и не найдете; и где буду я, туда Вы не сможете прийти»? Если я исчезну... Я кручу этот проклятущий Глобус, я ломаю свою столетнюю башку над Вашей фразой... Обратите вниманье: Глобус, последнее издание, 1977г. Из московских справочников мы знаем, как изменились мы, но не знаем, как изменился Мир. Я, вращая, смотрю: нет Великих Держав, есть Москва! Полюбujemy: вот — вращается! — в Америке нет Вашингтона. Нью-Йорк есть, Вашингтона нет. По всей вероятности, Столица США ушла в океан в результате разбушавшейся гонки вооружений. В Европе пропали без вести: Варшава, Бонн, Лозанна, Вена, Белград, Будапешт, Бухарест, все скандинавские и прибалтийские страны. Чудом чудес уцелели: Мадрид, Париж, Лондон. Куда ни вращайся головой с глобусом, всюду пустыня и грунт гор. В Африке лишь три неведомых или выдуманных города: Лагос, Луанда, Мапуту. Туниса нет. Может быть — из-за Камю мы стерли резинкой Тунис, Камю ведь писал анти Москвы. В Китае: Пекин и Шанхай, почему-то мы подарили Китаю наш Улан-Батор. Австралии везет: Сидней, Канберра и Перт. В Японии лишь Токио. Но уж у нас в Сверхдержаве Москва: Ленинград, Минск, Киев, Волгоград, Куйбышев. Я не картограф, не глобусовед, но вот и новость: оказывается, весь Кавказ мы объединили и на территории Кавказа лишь одна столица: Баку. Тбилиси и Еревана нет. Нужно б узнать, почему.

НО:ЕСТЬ: Архангельск, Свердловск, Новосибирск, Иркутск, Магадан, Владивостока нет. Хабаровска нет. От конспирации что ль от Китая? Ни в одной стране Мира и во всем Мире несть числа городов, сколько их в Сверх-Державе Москва!

— Лиля, — сказал я. — У вас в Москве есть еще Царь! Таких — нет!

— А, этот, Ев Емтушонко. Мы возим Его за валют по континентам, СТОИТ, ест тушонку, банка пустеет, — в нее бросают валют. Пустяк, но приятный. Прежде он пасся у Б. Пастернака, сейчас пасется у меня. Гляньте в сад.

Я всмотрелся:

— Не вижу.

— Выйдите на крыльцо и посмотрите.

Я вышел и посмотрел:

по саду ходит Поэт Алексей Крученых, точь в точь, как в Энциклопедьи. Не бескрыл, но без крыл. Серый пиджак, в заплатках, сам штопал. В какой-то из рук Поэта поблескивает цепочка, а на цепочке дрыгает ножкой по саду уникальный экземпляр, пегий пигмей, рост 17,2 мм. Я всмотрелся: Ев Емтушонко! Это — Он! Щиплет травку, слезится:

— Мисюсь, дай тушонку!

— Ах, Ев! Ты ведь ел! — говорит Алексей Крученых. — Ну, ничего, ешь еще, — и дает ему банку. Пегий пигмей лезет лапкой, ликуя, суя себе в зубки свинину:

— Я ем тушонку!

Лиля смотрит на меня с горестью, подперев рукой щеку:

— А помните, И. П., Ваши 24? Шоколадная полуфрочная тройка и брошь с вензелями? Где вы шили такой костюм, где взяли брошь, сомнительный самородок? Хотите, я спою Вам песенку о Вас и о себе?

Лиля берет серебряную ложечку с глазурью и, позванивая ею о хрустальный фиолетовый бокал, поет, глядя на меня грозно и грустно:

— Ночь была, сверкали звезды, на дворе мороз трещал, шел по улице малютка, посинел и весь дрожал. — Боже! — говорит малютка, — я озяб и есть хочу, кто накормит и согреет, Боже, добру сироту? — Той дорожкой шла старушка, увидала сироту, увидала и согрела и поесть дала ему. Уложила спать в постельку. — Как тепло! — промолвил он, закрыл глазки, улыбнулся и заснул спокойным сном.

12 мая 1978 г. Лиля... 14 мая она мне писала в последний раз: «Дорогой наш! Не удивляйтесь моему карандашному почерку:

два дня тому я упала и зверски расшиблась, мне привезут рентгеновский аппарат и мы узнаем что к чему: перелом шейки бедра или что-нибудь полегче — вывих, ушиб, растяжение... Но скорее всего все же перелом шейки бедра!!!!!! Любите и так меня хоть немножко. Крепко обнимаем Вас и очень очень любим. Ваш верный друг

ЛИЛИ.»

12 мая 1978 г. Лиля сломала шейку бедра. Ей пришлось слечь.

Ей шел 87 год и встать уж, — не встать.

Нужно было б поехать.

Я любил, Лиля, я любил, но хлад в моем лбу не теплеет, но ход глаз не останавливается. Я читал Ибн Сину.

4 августа 1978 г. Лиля покончила с собой. Три месяца она украдкой откладывала таблетки, прятала их. 4 августа 1978 г., когда на даче в Переделкино никто не присутствовал, Лиля приняла таблетки.

КИНОЛЕНТА ВСПЯТЬ

Я взял кисть и краску: тубик и таблетку.

Я расписываю бел-блюдо фаянс ал-яблоком, зелень-листьями.

Мы голодаем, но с утра у нас хохот, — торжествуя, вынимая нарисованный яблочко, приправляем сей фрукт укропом. Укроп у нас есть.

Ты варишь в чугушке рыбешку, у ней ребрышко и картофель вкусный, ты ходишь в цветастой косынке, пой, перепелка.

Я купил тебе тулуп белый для зим, а чтоб купаться — пять колец злата (алмаз, аметист, рубин, изумруд, сапфир!), купил, чтоб прогуливаться у моря, семь браслетов серебра, с чеканкой Византа. Тем, кого любят, им не дарят, а покупают. Дарят лишь тем, кого хотят подкупить.

Так мы, каникуляры, жили у Адога-моря.

Не такая уж ли высочайшая честь себе приписывается, — повиниться в смерти близкого? Биясь лбом, раскаиваясь, как в раю?

Брысь, брыз!ль!

Жизнь жуют двое, смерть не усмирить ни двум, ни множеству. Смерть — ода одного.

Мы снимаем избу на Адога-море в деревне Дубница, здесь живет раб-рыбарь со спец-сетью. Он спит вдвоем с женой, пьет бормотух, а ходит в пеплосе из рыбьей чешуи (не путать с человеком с рыбьей чешуей, тот — с ней на теле, тут — пеплос!),

по вечерам, по вечерам любитесь в телевизор про фигурное катанье на льдине, от него запах тюленей, — Северная Провинция, тюлени тут есть.

Деревня Дубница — меж двух каналов, их выдолбил Ментор своей рукой, с целью. Но 2500 лет каналы не ремонтируются. Теперь у них иная цель: принимать на дно тела утопающих. Раб-рыбарь, выдув для виду бешеную бутылку бормотух, любил тонуть. И вот он уж не раб-рыбарь, а утопленник.

В деревне Дубнице есть и церковь, на ней крест из бамбука. Откуда — бамбук? Первый вопрос. Почему крест не из металла, или ж из древесин хоть? Первый вопрос, есть ответ: бамбука у нас нет. Про второй: не задавай вопрос, а то спросят тебя.

Священнослужителя нет; церковь пустует, живут в ней сова и летучая мышь. Лишь в Юбилей Столицы дети, у них локон — светится! с голенькой пузикой, с коготочкой карабкаются на купол, вынимают бамбук и бросают вниз, — рабу-рыбарю, примату-премиату. Тот хватает крест нарасхват и бьет смаху бамбуковой палкой по глуп-голове, — друг ли, родственник ли, что ему, бьет! Смеется, мордасой! Друг, родственник, — и тот так же смеется, он польщен, бьют-то бамбуком, не чем-нибудь! Где найдется бамбук? Нигде. Лишь в деревне Дубница.

Елью не бьют, сосной не бьют, да и дубом не бьют, — на такие штуковины у нас есть судебно-медицинская экспертиза. А вот бамбуком, — бьют, он звонок, звенящ!

В деревне Дубница нет врача, но есть учительница. Она пишет на доске букву и цифру, — мелом. С большой культурой мелового периода. Доска называется «Табель». У детей талант, запоминают букву и цифру, сами ее нарисуют тебе, если с них спросится. Вот и уезжают в Столицу, вырастая до 1 м 65 см, и все становятся инстантами: у нас нехватка инстантов, самородков по происхождению.

Учительницу съели волки. На смену прислали другую, эта в очках. Съели и другую, с очками. Из Столицы прислали третью, с милиционером. Волки не трогают милиционера, хоть он и вооружен огнестрельным револьвером. А третью учительницу съели. Вошли в известную избу-читальню и растерзали на куски третью учительницу.

Прислали четвертую, за ней пятую. Две учительницы теперь жили в одной избе, в лес ни шагу, лишь с коромыслом к колодцу, с ведром. Волки съели эту двойню. Прислали учительницу, у ней муж-агроном, — новая комбинация. Учительницу съели, а муж уехал в Столицу, в агрономах Адога-море не нуждается.

Прислали учительницу в наморднике, с дробинкой (ружье от волков!). У нас кампания: волков убивать нельзя, они и так уничтожены, варварство.

Учительница пишет мелом на черной доске «Табель» букву и цифру. Плакают дети раба-рыбаря: почему же учительница в наморднике, с ружьем? Дети боятся.

Но ее съели волки.

За год волки съели 11 учительниц. Волков было 2: он и она, семья, у них волчата, всем хватает на зиму и мяса для желудка, и костей, чтоб укрепить клык. От раба-рыбаря волк отворачивается, запах тюлений.

В нашей избе живет и отец, Майя.

Твой Лев Толстой, он ходит к морю, на плече сидит коршун, за пазухой банка меда. Он купил кой-какую лодку, сидит в лодке и удит на крючок, с червем. Поудят, полакомятся, — коршун ест мед клювом, отец оловянной ложкой. Коршун не хищник, а знак хитроумья. К чему взлетать в небо, высматривать мышшь, зайчонка, или в лесу клопа? К чему кусать пададь кишок местной кошки? Садись на плечо, все могущ и мудр, клюй мед, жри свежайшую рыбу окунек, он же нет-нет, а блеснет на крючке Хозяина, крючоктворца Льва.

Лев Толстой — безгреховен. Круглой суткой он цитирует фрагмент из того-то (тавота) трактата. Он цитирует одноимянца и однофамильца о том, что нет нравственности в том, кто пьет, ест, одевается и танцует, а еще и сует хлуй во всех проходящих по Несскому проспекту девиц с девизом. Твой отец свят, он имеет веру, что пить нада воду из Адога-моря, есть нада вегетарианца, одеваться в оду им. св. Клопштока, а хлуй суй в одну девицу с девизом, если уж с ней обвенчался, — в жену свою.

Я как олух слушаю философем и мучаюсь юношеским сомненьем: чем убить пропагандиста? Лом или топор? Если б мне дать 44, как сейчас, я не сомневался б: я взял бы лом. Топор, — приходится расплющивать челюсть, кровь брысь-брызгой падает мне на манжет, окрасится в цвет «серебрист с кровью» брада пифия, ну и крошится кость. Лом человечней: дал в лоб раз и никакой трепанации черепа. Но мне было 24, я взял лом, а дать в лоб постеснялся.

Сверстник Века, он увидел свет в деревне Дубница, Адога-море.

Он был вынут из женщины, той, которая ходит, босая, по полям с плутом Льва, но не с точкой зренья Толстого, а все ж пашет земную землю и хлебает хлябь.

В 17 лет Отец смастерит вымпел: возьмет тряпку, оросит ее

кровью из-под зарубленной животины, подцепит вымпел на древке и пойдет, маршируя, в Столицу меж двух каналов (о Ментор!).

Лев Толстой идет, а бегут: дед, бабука, отец, мать, — за ним, кормильцем старости их, так им мерещится.

Дед бьет — не добьет, бабука бьет, отец, мать — у них не получается. Бьют-то тем, что попадется под руку, а механизации в деревне еще нет: про лом ходит слух, но никто лом не видел. Бить же кулаком — или сустав ломать, или же знать позу бокса. Но и позу в начале Века знал лишь лорд. У нас-то и лорда не знали.

Лев Толстой является в Столицу не пуст: правой рукой несет вымпел, левой рукой тащит за шиворот всех тех, кто его бьет, угнетая: деда, бабуку, отца, мать. Их спрашивают: вы занимаетесь самоусовершенствованием? Раб-рыбарь, женщина босая, они этот слов не знают. Слог для них длинноват. Их расстреляли.

Отец, освобожденный от уз, идет, учится. Он так идет и так учится, что вызывает зависть у профессуры: он не умеет ни читать, ни писать, и нет сверхъестественной силы, чтобы принудить его перелистывать хоть календарь. А вот мозг его не поддается анализу, память хоть плачь: цитату и лозунг запоминает наизусть!

Вот выпускной экзамен: что ни ответ — цитат, что ни ответ — лозунг. У профессуры два выхода: или признать, что ученик — непревзойденный мастер-оратор, или идти под расстрел. Предпочитают выход первый.

Юридический факультет, — этот барьер им взят. Ему дают комнатку в доме, где все живут. Он женится с Софьей, санитаркой. Вот как он задумывается: соседняя комната хорошая, а в ней живут двое, у них же нет юридического факультета, они любят поговорить. А они говорят, а он слышит, стенки-фанерки, не годится. За разговоры-то двух и взяли. Под расстрел. А у Отца теперь кабинет.

Так появляется Майя, и Льву Толстому кажется, что третья комнатка в квартире, последняя, как-то пустует. В ней живут на жилой площади в 31 м кв. лишь 18 людей, но кровинцы ль сьи 18?

Любят поговорить. Скажет каждый по слову, — вот тебе 18 слов, слушай их, иль кувыркайся от бессонниц. Где разговор двух, — еще куда ни шло, один доносит, второй расстрелян. Но уж тут говорят 18, это уж не разговор, а — заговор.

Процесс «Заговор 18» длится полторы минуты. Их расстреляли. Отец получает и третью комнату. Теперь он живет, как полагается в обществе обещаний.

Если в студенческий год он ходил в брезентовой тапочке, вставая в пять утра, чтоб искать на вокзале им. св. Витта уроненные бормотушником пейки, чтоб позавтракать похлебкой с

хлоркой, то теперь он жрал куриц и пил мед. За боевую бдительность ему дан чин доцент, сажают в Инстанцию, тут он и жил, расстреливая кровинцев то в мирное время, то на ухабах Всех Войн.

Вот на этих-то ухабах он и поймал жену, Софью: она убегала с Майей после процесса «Заговор 18». Он поймал жену и расстрелял за аморальное разложение Всех Войн: Софья спаивает солдат, служа санитаркой, имеет спирт. Солдаты поднимаются в атаку, как пьяные, и падают на пулемет. Не разобравшись, в чем тут суть, подъем и паденье прославили как подвиг. Первый, кто так поднялся и пал, получил чин посмертного героизма. НО: КОГДА: стали подниматься и падать на пулеметы все как один, прошитые пулей врага, Комитет Маршалов пересмотрел главу о гёрое: солдат ведь не останется! Пулемет врага замолчит, закрытый навек телом, но откуда возьмется солдат для Побед?

ВОТ: во всем виновата санитарка Софья Толстая, не без умысла она дает солдату весь спирт, как в приказе, а не ворует спирт для офицера, как им хочется. Офицер обижается. Доцент дает показанья, что она и его, мужа, спаивала в той квартире в Столице, и что знаменитейший «Заговор 18» спровоцирован ею ж, она ж пила с 18-ю, разговаривая отчасти с ними, но он в тот год про нее не сказал, потому что вообразил вдруг, что она, Софья, поддастся перевоспитанью. Но Софьи не поддаются. Расстреляли.

Скука, скука писать про пули. Стреножить бы страницу, выпести ее на лугу льгот, оседлать на Восходе и ускакать в заветный Закат, чтоб серпы волос бились в Бурю, и доскакать до недосягаемого Себя и лечь спиной, положить кисть-пясть на грудь и смотреть открытыми глазами на Солнце, чтоб над моею головой звенел лишь василек июня.

Или не лежать бы и там, не лежать бы нигде. Улететь бы вдоль улиц Столиц невидимкой в Небо и спать весь век твой, Земля, на какой-нибудь звонкой Звезде!

Мы обвенчались, Майя, и Льву Толстому потребовался друг: Женя Жасьминьский, эстет, инструктор по утренней гимнастике по радио.

Майя любит героизм: солдат Всех Войн, инстант Тайной канцелярии, спившийся Чемпион Мира по шахматам, вральцузский и зебрский каинисты, мореплаватель и... той же любовью шел Отец ее — копиист Льва Толстого. Из мертвецов: Достоевский и Лермонтов.

Женя Жасьминьский — энциклопедист всех фантазий Майи о героизме. Он душил ящерицу, выйдя из колыбели, а в 12 лет

уж сражался во Всех Войнах. Он бился грудью в дул амбразур, полз под гусеницу с бутылкой «горючая смесь», изучая немецкий язык, он прикинулся, как мальчик-мильчик, и Дуче-едалянец усыновил Женю, а Женя повесил Дуче на дерево вниз головой. То дерево называется «апельсин».

Здесь, на Адога-море, инструктор проявляется, как эстет: он видит в корнях сосны и дуба, выброшенных на брег морской — фигуры искусств. Корень выбрасывает Адога-море, полируя волной бронтидов, их, корней, вырванных и выброшенных, у нас не счесть. Делай из них искусств. Чуть рубани, чуть спиши, чуть подгрызи, — вот скульптур настоящий, на постамент, а ля натюр. Не мертвецкая камня и глины, а урод от природы. Лишь имей храбрый хрусталик в глазу и увидь эту фигур-скульптур в зашифрованной корне. Женя хрусталик имел. Это ж тебе не корень из икс в 1980 степени, а искусств.

Еще: Женя Жасьминский пишет роман о героизме себя и поприщ. Он умеет писать и прозу. Он поет Песнь, зарифмованную крест накрест!

Он ловит рыбу. Своей снастью. Вялит рыбу и ест, у него есть сало, и он ест сало. С рыбой и салом он ест хлеб. Крошка не пропадет, крошку он сушит на солнце и ест: хлеб — святыня.

И теорема решается: нам-то по 20 с чуть-чуть, ему 47. Это ведь кружит голову девиц-демониц вопреки часовой стрелке.

Майя моется молоком, завивается плоскогубцей, бровь рисует моей тушью для черчения. Не имеется в нашей избе иной инструмент, чтоб понравиться столь многостороннему люду.

Чуть заискрится солнышко, Майя соскакивает с супружеского ложа (у нас — юность!) и бьется, как стрекозка, в дверцу баньки (Женя Жасьминский селится в баньке по совету Льва Толстого, чтоб изгнать из себя роскошь). Женя Жасьминский выходит на стук, одетый в трусы, с мускулатурой, грудь оброс волосой, волос вьется, седеет. Начинается утренняя гимнастика. У меня интерес, я на крыльцо: взмах рук, присест ног и задниц, круговорот одной головы и другой на шее, и «бег на месте», у Майи цветастый купальник, у Жени трясутся трусы до коленки, пуп препоясан резинкой от трусов, у Майи гуляет грудь в бюстгальтере, — флирт!

Я пишу формулу и фигуру в альбом, пью простоквашу, манит лук зеленый мне — увы, я смеюсь. Утренняя гимнастика выполняется. Идут к Адога-морю, он с топориком для искусств, у нее ноги в веснушках. Потеря памяти: Женя Жасьминский имеет еще лысеющий лоб, — секс-индекс по Фрейду. Они купаются под сосной, как под пальмой!

Лев Толстой ходит за ними с цитатой про эмансипацию жен.

Жены не эмансипируются. Вот и пес цепной без вмешательства извне. Это потом уж я додумался, имея их письма, вот почему Лев Толстой сопровождает дуэт, поющий песнь у дон: энергия Льва иссякнет как искр в электрической лекции — мне, ему нужно было б подсмотреть, какая у этих ямбля. Ненависть к тому, кто не «Я» это же быт и дешевка. Ненависть же ко мне — это ведь инстинкт.

Об Отце. Мыться не мылся. Спал в свитере, в шубе, — как спелый слон. В Столице он нас посещал. Посетит — засядет. Вонь хуже, чем от вин. Болея, себя он жалеет до жути. Придет, я присутствую, я возьму нагайку и под конвоем отведу в сауну. Это Лев Толстого страшит: в сауне схватит еще сифилис или трахому. Да и мытье отвлекает ум от философом. А пример: например, Сократ, Диоген и т. д. У нас нет мытья. Не потому, что нет мыла, мыло — чтоб струпя на тоге простирнуть. Мы не моемся, чтоб наш ум был больше, чем у Всех, пусть все моются, пусть тратят мысль на тоску телес, нам-то не до мытья, — мы умнеем.

Увидев меня, Лев Толстой ничуть не пугается, как те, кто хоть мельком увидит меня. Не смутится, не удлинится с мордой, — вывешивает розовейший язык до ятр и звучный лозунг цитат сотрясает воздушный климат моей дворцовой квартиры. Я в кабинет, Лев Толстой за дверь, цитирует, я в уборной, я в ванной, — за дверь, цитирует, мы с Майей в спальне, — открывается дверь, лоб Льва Толстого, борода, в шубе, с шапкой; учит меня уму:

— Люби людей! Имей сердце! Отдавай брюаль нищим! Ищи Золотой Лозунг!

Я встаю, как есть, я выбрасываю Учителя в кухню, там Уна, у ней нет ценят, ей бы изувечить своего Гостя, как в гестапо, если б ей волчицей, но кудрявая шкура (псица-пудель!) не позволяет кусаться. Он ей чешет живот и цитирует, бедный, — ей!

Я выгонял Льва Толстого нагайкой. Нагайку он отрицал от цитат всей душой, прямо так и сказал: нагайка — пережиток. Я согласился, но предупреждаю, что нагайка, несмотря на архаизм, — единственный ценный инструмент для Учителей.

Потом, листая уж их эпистоляр, я додумался: съе ТРИО: доцент Лев Толстой, Женя Жасьминьский, гимнаст-перестарок, и Майя, девиц-демониц, — БОРОЛИСЬ со мной! Я и не подозревал. Оказывается, вопрос т. наз. «секса» у них не на 1 месте. Вот что в эпистоляре: ни по возрасту, 24, ни по характеру харакириста, ни по знанию зениц я недостойный Академик. Мою славу раздувают губой асоциальный элемент у нас и «Логос Хамерики» — у них. Мои Книги по новейшей геометрии издаются

у нас, как малюсенький брошюр, а во вне нашей Столицы в форме томов с толщиной. Я — фальсификатор и мистификатор, и есть еще час у сил, чтобы меня расстрелять. Есть и смысл: кому ж нужен такой лже-Академик, не знающий ни одной букв про то, что есть дактилоскопический матьморализм.

Оказывается, пока я сидел на крыльце и смеялся их флирту (меж трусой и бюстгальтерой), они, ТРИО, чертили, чертыхаясь, окружность, треугольник, эллипс, параллелепипед, чтоб доказать несовершенство моих формул и фигур и абсолюте своих катетов и биссектрис. В своих конных пробежках по плоскостям (о Эвклид!) до яда им никак не доскакать (о У-Кодекс!). Им бы перстень с крышкой, под крышкой яд, — в мой флакон! Но перстень-то Майе, к примеру, купил я, а перстня с крышкой у нас нет, а у искусств ювелирца никто из них не Челлини.

Солдат, инстант Тайной канцелярии, спившийся Чемпион Мира по шахматам, вральцузский и зебрский каинисты, мореплаватель и вот вам эстет Женя Жасьминьский, инструктор утренней гимнастики по радио, — все втягиваются в эпистолярную борьбу с моей малочисленной личностью. Точат штык и деляют пуль, звонит телефон, как Лафонтен, думаются шахматный комбинаций, Вральция и Зебрция вычеркивают из Энциклопедьи мою биографью, формулы и фигуры, мореплаватель перевязывает мой рукопись вервьем и топит с камнем с кораблей, киник Тодор кипятит мой теорем в котле химкислот, а я-то думал: что ж я роняю, что ж теряю где-то, как алкоголик, то блокнот, то альбом и еще что-то из бумаженций, где чертеж и заметка, теперь придется вспомнить, а не вспоминается, ну их в нюх, лучше я напишу что-й-то новей. Они — крали мою муть! Не понимается мной сей систем: как красть у меня, я ж недоучк. Все БОРОЛИСЬ со мной — 14 лет! А я и не знал.

Когда я узнал, я подумал:

ах, им же несчастье: за 14 лет можно б 14.000.000 раз облететь вокруг Земной Шары, вот и летали б в свое удовольствие. Как же бороться с кем-то, если он не знает, что с ним борются?

Если Всадник скачет на Коне из пункта А в пункт Б, у него открыты глаза для Бурь, — он прискачет. Когда ж кто-то лежит с кем-то, оседлав, и оба грезят, что у них есть Конь, что они обгоняют Всадника и уже в пункте Б их ждет арка триумвира, лист-лавр и тост Толп, — какие неутешные скачки, какая непродуманная греза.

Когда же реальный Всадник уходит, исчезает и не найти, Все вздрагивают, и если он жив, объявляется: он — сумасшедший. А Он-то и не знает и про объявление. Он как был так и быть с Конем, со своими пунктами Старт и Финиш, а ОНИ начинают

метаться, надеются на возврат (ведь больше БОРОТЬСЯ не с кем), а потом погибают в той ж анонимной борьбе (с кем? с собой?). Какая смешная, увы, смерть.

ПЕЙЗАЖИ АДОГА-МОРЯ

Волненье и волны вод.

Волненья у людей преувеличиваются. Так в Элегии Массне поет Ф. Шаляпин: «Уймитесь, волнения страсти!» Стрость, — что ей волноваться?

В Анатомии людь делится на МУЖЧИН и ЖЕНЩИН.

МУЖЧИН имеет 2 холм, 2 волн волнений: зад.

ЖЕНЩИН имеет 4 волнений: 2 полукружья у ягодиц и 2 грудь.

Как увидеть волнения страсти у зада МУЖЧИН, если он так облицовывается штаной, что у взгляда не проникается ткань? Не увидеть.

Если ж волнуется ЖЕНЩИН, — увидим. Если у ЖЕНЩИН и нет любви, ухитрится, чтоб обратить мой глаз на свой 4, обтягивая ягодицы прозрачной джинсой, вращая их при ходьбе, а 2 грудь декольтируются даже в стужу.

Если ж у ЖЕНЩИН любовь, — Все видят волны. Не нужен сейсмограф, ни к чему и утренняя гимнастика.

Майя Волнуется. Майя о 20 с чуть-чуть и Женя Жасьминский о 47 идут на кладбище у церкви, с где крест-бамбук, нежатся на могилах, ищут девственность у Природы, — труп, да, девствен.

Коршун все ж взвился: эстет хотел с ним поиграться, но я-то приручил коршуна для Отца, ну и доигрался, коршун выбил Жене Жасьминскому — глаз. Опять не в пользу мне: кровь ушла, теперь он смотрелся, как раненый, с черной повязкой, как Нельзон, как Билья Бульон-с, как Кукузов, побивший Наплевона.

Я позабылся про Географью: деревня Дубница располагается на острове близ берега, близ двух каналов. У острова имя: остров Орел.

Им, двум, искупаться б, а мне — искупленье.

Пусть их пасутся в пейзажах Адога-моря и острова-Орла, пусть постараются: он напишет Пятое Евангелье от Жени Жасьминского для телезрителя, она, Майя, отволнуется. Я — люблю Луну!

Мы сидим на чердаке нашей избы, лапть-лачужка, по телу бегают буках, покусувается, а сквозь щель в крыше фосфорес-

цирует Луч Лунный. Оркестр комарья, у них свист флейт, а крыльца — флажок, свеча горит на столе, свеча горит. Мы

пьем
вин,
мы
ем
вобл!

Майя смотрит на меня влюбленными глазами. Женя Жасминьский лишился уж глаза, но и он смотрит на меня вторым, светящимся от свечи, и он любит меня, — дубль Майи. Всюду сено и мне пахнет сеном.

Сквозь щель смотря, я вижу:

Луч Лунный метался как меч, вот он восходит на Крест, и нет креста, есть Луна-полумесяц, минарет мусульмана, контур-то тот же. Триумвират мусульманства — Мы, а Майя — триумвир многомужества, мучитель МУЖЧИН, вот и гнида-гимнаст потерял уж в этой любви глазик-алмазик.

Год пройдет, Майя придет в наш дом в Столице, станет на коленки, поставит свой подбородок на коленки — мои, и скажет Майя, поднимай в воздух два бокала:

— О мой малыш! Я не повинна, что люблю и любят меня. Я им отдаю лишь тело, а любовь наша — с нами. Я им отдаю свежайшее тело, а они-то теряются, им не взять. Вот тебе, Иван Павлович, — вся взаимность. Они тебя ненавидят, Басманов, за то, что Ты — не Они, вот и хватаются за мои хитрости. Хвататься хватаются, но кто ж им выдал патент на Тебя — импотентам? Пред Тобой — Они-то без сил, нет им сил от Беса!

Я возьму бокал, звяк-брудершафт, юношеский!

И вот — вопль! Майя валяется на полу, я бью, свищет стальная плеть, губы мои голубые пенятся в бешенстве, кровь твоя, Майя, бьется брызгой о стенки, лишь мозг мой пульсирует, — лишь бы не по голове, — бей бабу бесчестья!

И вот — Майя взвивается с пола, на темени у меня взрывается моя пищащая машинка «Гермес Ээби», циркуль вонзается мне в плечо, мы рвем ногтями, как заячье мясо, стулья и бьемся, — кол о кол, ножками стульев! Майя прыгает на подоконник, взламывает стекло и выбрасывается с 9 этажа! НО: мой прыжок — прежде, я хватаю, швыряю с подоконника на пол. Опять на полу, но уж оба. Пес трясется под уцелевшим на диво столом, письменный стол-то, а сука Уна в ссорах — не третья.

Мы лежим, ураган отбуянил, мы угрюмы.

Я кипячу шприц, я делаю Майе укол-новокаин, я промываю ей раны целебн-мумие, я зашиваю игл-медицин ей шрамы, свои же клеиваю «БФ-6».

Мы смеемся, как от сумасшествий, — что остается?

Объятья двух при свече опьяняют лишь двух, если ж ты третий, — уйди. Если ж ты еще и муж, то зрелище для тебя — безрадостное. Если будешь бороться, тебя заклеят: бюрократ. Ты уйди.

Мая и Женя Жасьминьский обнимались при мне, целуясь. О рев-ревность! Я ушел.

Остров Орел спит, как спрут. У островитян есть правда: раб у рыб.

Но и у меня есть правда: я искупился. (Искупиться — и с копытца!)

Ночь июня светла, бархат белый. Над мавзолеями изб: полу-месяц и звезда. Так освещаются избы. А у изб, а у них, — мертвенность стекол, стоят, на башке — колпак-треуголка, это крыша. А над крышей бубенец телевиз-антенн, дурь дурья, как до Новой Эры.

Здесь, в лесах, в логовищах живет стая волков: их 12. Лишь перейди каналы — увидишь, от острова Орел — пятнадцать минут на лодчонке.

Я знаю их вождя, волчицу. У нее профиль как у египтянки. Мы познакомились, ходит на охоту одна, я не препятствую, я люблю ее. Как люблю Луну! Я хожу на лыжах, мы, как соседи, здороваемся с египтянкой, не раскланиваясь. Мы здороваемся так: она речит, я скалюсь.

Зима была звездной!

Местный магазин о ту Эру еще торговал: водка и консерв. Я покупаю консерв, сардину в томате, и бросаю банку волчице, из рук не берет. Я видел в лесу пустые банки, вспороты крышки, — но 12 зверей не прокормит один болван.

Каникуляры, еще до Отца, до Жени Жасьминьского, мы живем в той же избе, варим тот же чутунок с картошкой в виц-мундире января.

Мы живем на Адога-море, а у нас живет Кот, глаз, как у кидайца. Кот еще тот:

на столе стоит бутылъ с пресной водицей из колодца,
в ней вывелась Рыбка, не головастик-лягух.

Рыбка растет, как акселерат, и вот уж высовывает морд из бутылъ,

а Кот-кидаец ловит Рыбку лапкой,

а Рыбка лапку клыком кусает!

Кот лапку любит, зализывает.

Выросла Рыбка, мы переселяем ея в лохань,

а над лоханью я навешиваю гамак.

Кот валяется в сетке, смотрит на Рыбку, —
как кидает, млекопитающ!

Вот уж у Рыбки — пасть, большая,
да и Рыбка-то уж не Рыбка, во всю лохань!

Я рублю топором вечный мраз Адога-моря,
я ловлю на мормышку рыбку поменьше, в пасть нашей, пусть
растет.

Вот — выросла. Хвост бьется уж на крыльце, дверь не закрыть.
А нам холодно.

Мы: я и Майя несем Рыбку, надрываясь, тут — тяжесть,
бросаем ее в Адога-море, в прорубь.

Кот почему-то, не видя уж Рыбки, убегает в лес, как дикий,
бросается на волков, как рысь!

Почему он, Кот, предпочитает скитаться?

С какой стати приходит Кот туда, где прорубь?

Отчего ж, о Отче, в прорубь всплывает Рыбка с головой уж
как у коровы?

Вот высовывается, встречает Кота:

выбрасывает из пасти на лед:

жирный лещ,

хищный щук,

сладкий сиг.

Кот съедает сладкий сиг тут же,

а лещ и щук замораживает, выжидая, на льду, и уносит в лес.

Такая Рыбка, такой Кот.

Канал замерз, как Байкал, как без льда: живая прозрачайшая
пленка, ударь ножом, брось пейку в щель, — монетка опускается,
как летающее блюдо, миниатюрка-маятник туда-сюда, внизу
лилия, гиацинт, нарцисс у водорослей форма капуст и как укроп!
Солнце в зените, солнце на снегу!

Я сделал финские санки, я наточил полозья, а кто-то командует
ветру «Зюйд-Вест»! Ты — в санках, сидя, я на полозьях, ты —
лодка моя у льда, я — парус последний за твоей спиной, ветер
дует мне в спину, сильный, мы летим по льду, пролетая, летуны-
невесомцы — над подледным садом. На берегу: как бегут люди-
лютики-людовики с папирской, в валенках, в шапке из шкур,
маволои из бревнышек, с трубой — трубят, березовый дым!

Лед свеж, Майя, ты засмотрелась на стебли, цветы ирреализма,
я увидел волков.

У меня дальность. Волки бегут, чуть касаясь льда, мор-
ской пустыней, 12 светлячков — на нас, а ветер дует в спину,
он ураган.

Нож? револьвер? камень? ружье? Руки пусты, нет и перчаток, не ношу. У тебя близорукость, Майя, объяснимся потом.

Я сказал:

в ухо:

тебе:

— Майя, встань на полозья, а я сяду.

Ты поставила правую ногу на правый полоз — назад, я левую на левый — вперед. Я командую, мы переместились, держась за руль.

Расстоянье, как говорится, стремительно уменьшается.

Что я увидел! Как я смеялся! — волки гнались за Котом!

Кот прыгнул, ударил меня в грудь, как шар чугунный!

Я взял за шиворот, передал через голову Майе.

Волки пошли на охват. Если фигура, то: два полукружья, два крыла чайки, а центр — волчица, клюв. До зверья — 300 м (глазомер!).

Красное Солнце у горизонта, как медь-монетка в щель, уходит в лед.

Я расстегнул шубу, вывернулся из рукавов, передал через голову Майе: не выбрасывай. Майя правила в центр.

Я остался в рубашке, белой вязи, иероглиф черный на груди. Волосы — вьются! Я приготовился.

Волчица присела к прыжку. Щучья пасть, египтянка!

Я — прыгнул!

Секунда! — скорость! — ветер! я и воздух! —

я пал на нее, схватил правой кистью за горло, нас несло, мы кувыркаемся, лед, вихрь, я левой пястью, большой палец, — выбил ей два глаза, оба.

Египтянка катается по льду, охватив морду лапами.

Нас относит, но волки идут уже на меня. Я на льду. Не оглядываюсь.

Ветр пропал. Луна вылезает из щели на смену Солнцу. Я люблю Луну. Я люблю лед.

Волчица катается, волки бросились на нее, вот и вождь! Или ж так: волчица-вождица, сей ж час Вас лакей съест, а их — 11!

НО:

они не успели открыть клык, за ними вдруг — вспыхнуло! Ай, Майя, — зажгла мою шубу (разбила о полоз железный — зажигалку, спичкой зажгла бензин!). Волчья стая без вождя — это стая утят, от огня растеряются и разбегутся. Разбегаются.

Так у нас появился белый королевский пудель Уна, Псица.

Так, Майя, ты написала свою единственную песенку, знаменитую «О, ВОЛК!».

У

туч
бурь
нет,

А
град
бьет
птиц,
У

нас
от
нот
НИ
лиц,
ни
псиц!
КАК

день
от
дня
нам
не
дал
срок,
ни

до,
ни
для,
НИ
звук,
ни
сленг!

У
людь
хоть
пясть.

А
тут
вой
в
нуль.
Взять
нить

и
спряйсть,
как
щит
от
пуль?
У
пуль
лёт
чист,
А
нас
бьют
в
лёт.
У
людь
есть
числ.
А
нам
нет
нот!

Мной стихи не понимаются, нет у меня любви к ним! Всюду вскрик: — Ах, губят талант! Кто ж талант, — не знаем. Кто ж губит. — не видим. У Майи это — единственная песенка, никто ее не загубит, знаменитая. Имелся у нас геометр М. М., уехал в г. Ньюрку (УЭСА). Не понравился. Уехал в г. Римму. Что в г. Римме? Девицы с именем Римма? Думается, у них иной инициал. Формула М. М. есть у меня, висит, сиротеет, на стене, в раме, застекленная. Геометра кровинцы лишились, но не лишились ума: им Геометр на «г», или ж — я, что им ДО, им нужно ДЛЯ. Им-нам. А я горюю. Я возьму флакон Красная Москва, сяду на пол, смотрю на рисунок формул-фигур, — ну и график! я геометр, линия мне понятна, мне слова непонятны, а если их кто-то составит в стих — я болею, как бомба. Несется по моим стенам (цвет лилейный!) линия М. М.... Как он пел! Не отрицаю: у нас в Столице все поют, выпьешь, — еще и не так запоешь! Но голос не тот, М. М.! У нас голос, как у ню-герлс с двумя зелеными огоньками на ягодицах. Что ж я сижу, спрашивается, что горюю, смотря на линии, жру лимон? Где Голос Твой, М. М.?

Я спохватился. Я виноват, г. Столица. Вместо одного Голоса М. М. ты мне дала два ГОЛОСА:

вон, что ни ночь, вверху, в водопроводной трубе один ГОЛОС

говорит; мне: НАДО ЛЮБИТЬ! а второй ГОЛОС в шкафу, где тряпье трансцедента, говорит; мне: НАДО УБИТЬ!

Я горюю, меня боятся, не делают мне и укол с этикеткой «оптимизм», а все потому, М. М., что я их не убью, я их оптом люблю за их «изм»!

Трагикомедья:

ты, Майя, уложила волчицу Уну в клинику для Верховных Инстантов, ее вылечили, я глаза ей лишь разбил, но не выбил. Ты, Майя, купила по спецпропуску шкуру и морду королевского пуделя, а мастер сшил шедевр, — шкуру по росту, хвост на пружинке, и вот волчью морду — в пуделянскую маску! Дай ей имя ничтожное Уна, зарегистрируй в собаководстве, сойдет.

Египтянка, в ней-то уж, тут-то уж, — дремлющий талант. Вот где гениальность, признаться: волчица, оказывается, актриса: входит в роль пуделя тут же: пред прогулкой, пред гостями. Ни одна душа жива (лишь мы!) не заподозрила за 14 лет! — это не пудель, волчица. Шкура, хвост и маска надеваются за считанные секунды. Застежка «Молнья» идет от конца хвоста до кончика челюсти, разветвляясь на лапы. Лишь вот брить нельзя, «Молнья» в кудрях скрывается, а в результате Уна — лишь вот Выставки лишена, но не до бритья мне, бритв у нас нет, мне не до собачьих медалей, — хватит их, медалей, с меня, своих.

Ты, Майя, научила Уну, как лаять, она редела, как Дикий Океан, наводя ужас на всех псов г. Столица. Им-то слышался Голос не тот, чуялся запах зверя, а люди, кровинцы, им не до голосов, не до запаха, всяк усвоит: волков в г. Столица не держат при себе, запрещается.

Так я шел с острова Орел, знакомый зигзаг берега, я жевал сигарету, высасывая, сырость. До ближайшей Автобусной Станции 26 км. Я отплеывался от сигарет.

Июнь, светлая ночь, у болот блеет лягух.

Я уходил от тебя, Майя, зносьте раз, и я возвращался. О чем вспоминается, если идешь? Вспоминается.

Уже солнце восстало. Жужжа.

Я дошел до Автобусной Станции. Сел в Бормотушнице. Взял стакан, пил стакан. Автобусная Станция отправляет пассажира в Столицу, а мне отправляться не к спеху, я пил.

ВОТ: Майя, входит.

Майя:

— Ноги мои неживые! Ты устал, Иван Павлович, от 26 км?

Я:

— У меня ноги как ноги. Я хожу, я хорош.

Взяли стаканы.

— Чучело мое! — сказала Майя. — Ведь я сразу встала и пошла. Если б ты пошел вокруг Земного Шара, я пошла бы, как шваль. Ведь я в Ад твой пойду, не подумаю!

Я:

— Где ж гимнаст?

— А гимнаст поет гимн астме, — Майя играет в словес. — Экстра-эстет изгнал себя, — из нас. Женя Жасьминьский напуган, вызвал такси из Столицы, уж уехал. Поумирали, и пора друг, пора! — пойдем, мой малыш, назад, в д. Дубница, на остров Орел, это не Патмос, о ты, Иоанн! но островок-то — у нас! Пот у нас, путь у нас!

У Бормотушницы на Автобусной Станции стоит велосипед, новенький. На седле — веревка из нейлона.

Майя взяла веревку, привязала конец ее к седлу, а из второго конца связала петлю, набросила себе на шею. Себе!

Майя:

— Теперь искупенье — мое. Садись в седло, крути педаль, а я пойду. С вервьем на шее. Через все деревни и веси. Пусть видят! Мой позор.

Я:

— Ты на велосипеде, — сюда?

Майя:

— Я не умею на велосипеде. Купила здесь, пока ты пил. Ну, лошадка, трогай! Все трын-трава! Не горюй, герой!

Блюдо, которое я тебе купил, ты разбила о цементную ступеньку баньки, а осколки разбросала по всем тем «мемориальным местам», где вы, ходя, хитрили.

Майя:

— Талисманы твои! На проклятье — мне! Не в прок, блятве, мне!

Ты двигалась, Майя, как сомнамбула, — 26 плюс 26 равняется 52 км, туда ты пешком, оттуда с ногами, но на веревке.

Мы купаемся в Адога-море.

Ты позабылась и не сняла кольца. Пять перстней, которые я купил, соскользнули с пальцев. Все пять. Луна просвечивает море насквозь, пузырьки, ты плаваешь, я ныряю, выискивая перстни, я хожу руками по дну, я хожу глазами по дну, но терять кольцо — к несчастью, а то и к смерти, а ты — теряешь пять! Перстней.

Майя садится на песок, берет руками коленки, скосила глаз. Ее лицо сплошь в веснушках, глаз лукавый, заячий.

Майя:

— Кому я клялась: не надену ни одну драгоценность, друг цепной мой? Я не царица с острова Целебес, я из рабов-рыбарей. Из кухарок ухи, — для тебя! Я ведь не надевала и Моё Обручальное, а ты восклицал, возмущенный: «Для флирта!» Как видишь. Ох, опыт! Ну что тебе эти-то пять? Есть и нету. А Моё Обручальное, суеверец ты мой, лежит в шкатулке. А у шкатулки твой звяк-замок. А примета, т.ск., распространяется лишь на обручальные кольца.

— Кто такой Клопшток? — спросил я, чтоб не мучиться. Майя о нем писала: «Синтаксис и пунктуация в поэзии Клопштока. Докторская диссертация». Но кто он? Не мой ли он современник?

Майя: хохочет:

— Клоп — это клоп. Шток — это палка. По-ненецки. Бей палкой клопа, и обрящешь!

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ

И это был День 666; последний: год 7487, январь, цифра 6.

Мраз, разбивая стекла, рыдает пред Рождеством. Луна сверкающей линзой восходит в форточку и уж повисла над моею головой. (Луна, — яйцо, одно, из холодильника!) И я увидел в линзе: в ней Люлька, у нее стоит Вол с ручными рогами, у Вола стоит молодой Осел, и глаз его — Глаз Гнева! Вол и Осел жуют солому, а солома свисает с их губ, губы — красные. А в Люльке лежит новорожденный Младенец, голый, имеет пупок, перевязанный электрической проволокой, — красной. Сидит Младенец на четвереньках, весь жирный, морщинистый, раскрывая зубастую пасть, как поросычю, — Он ревет! К Земле Он относится благоговейно: Он ее ненавидит.

Я встал, я как-то так раскланялся в зеркало, как не раскланялся ни с кем.

Я встал, белый как лунь от бесчестья, главный, как знак лунатизма. Я был оскален, а серпы волос режут моё лицо, шею, ключицы. Я сказал телу: — Не трясись, пойдем на Несский проспект. Нет у меня меча, у нас нет их, мечей, а чудовище Несси уже просыпается.

У Кузнечикового рынка стоит Конь Бледный и Всадник в белом держит 40 роз, они — красные и все разбиты, в воздухе вьются лишь лепестки.

И Луна просмеялась мне на Вы:

— Я разбила Ваши розы! Сурово сыграли с Вами с экрана. Милый, это еще впервые, а все — впереди!

Что мне Конь Бледный? Коней у нас нет. Что мне Всадник? Я сам себе Всадник. Я есть. Я отпустил Всадника и коня. Мы пошли с Уной, уж не уча, не проповедуя, не исцеляя.

Живых, Майя, любят, как балладу, — лишь читают про себя, поодиночке. Мертвых хоронят хором.

Я взял на Кузнечиковом рынке 40 белых роз, я взял в Антикварьи гроб, окованный в серебро. И я шел с Уной по Столице.

На Несском проспекте, у чудовища Несси стоит юноша-гоплит Александр, он-то с мечом, держится за рукоять. Смотрит на Несси. Что ему хочется? Что б ни хотел он, сейчас нельзя: ведь прошел, Майя, слух о твоей смерти по всей Столице и повели к твоему гробу, все шли — немощный, одержимый болезнью, истеричный и бесноватый, и ослабленный от бормотух; я оставил их за оградой кладбища, и я не исцелял их.

Ты упала, Майя, и разбила лицо, и лежала в гробу загримированная, неузнаваемая, лоб высок, волос отлакирован от лица, так-то твои ранние руки, обнимавшие обе меня, обвивавшие (так-то!) жизнь обо мне, — руки скрещенные, скрепленные лентой-креп, ты лежишь в серебряной раковине, в перламутре, питомица Адога-моря, месть морская. Белые розы, их 40, бесслезная дань. День последний.

И ты была опущена в Землю, я не позволил ни хора, ни колокола, ни торжественных тирад сых, за оградой, скорбящих. Я допустил к тебе лишь своих учениц, их 12, и они несли тебя на руках через всю Столицу, от меня до кладбища, и ни один мы-кровинец не осмелился перейти нам путь, лишь светофоры стоят, как асфоделы!

Скорей, скорбь, скорей!

Я опустил тебя в Землю и Уна не выла, и глаз мой был чист и глядящ, а ученицы бросали горстью землю — в Землю, а потом умыли снегом лоб и ладонь.

Взошло синее Солнце января, не колеблется Солнце вверху. День последний твоей династии, Майя. Мой День Последний.

И я возложил на твою могилу мрамор-плиту и написал на плите — СВОЁ ИМЯ!

РАССКАЗ

Лев Толстой лежал и умирал.

Отец лежал, жрал куриц, пил мед и подыхал. Он вопит круглой суткой:

— Дай мне яд!

— У нас яда нет. Где я тебе возьму яд? — спрашивает Майя. — Сожри целлофановый мешок, авось и сдохнешь.

— Я не ем целлофан! Я вегетарианец. Люби людей! Имей сердце! Помогай мне! Не пей, — брось рюмку!

— Новый Год, папочка! С Новым Годом, с 1979! Ты, крест мой, не кричи, неугомонный, мой мыслитель-мяук, хоть в сей час не сри под себя, не ссы под себя, ты хоть скажи, если захочется, я дам чашу для сранья и ссанья.

Отец:

— Мне не встать. Я смертельно болен. Не кури, жизнь дается лишь раз, — для общества обещаний!

Майя:

— Потому что у тебя 3 чирья на ятрах, ты валяешься, как вол, не даешь мне и шагу ступить.

Отец:

— Это не чирьи. Это рак! Ты — дочь, обязательства, не отойти от меня.

Майя:

— Я не отойду от тебя, но ты заставишь меня отойти в другой мир, филистер. Я тебя дважды возила в больницу. Три знака скальпеля, трижды выдавить гной, под новокаином, без боли. Трусливая тварь! Что-й ты трясешься над ятрой своей? Зачем тебе ятра в 76? Что с ними сбудется? Кому их пощекотать под одеяльцем? От тебя и клопица-то не отелится!

Лев Толстой, Майя бьет ему в морду бокал, тот орет «отцеубийство», соседи из этажей вызывают «Скорую помощь», «Скорая помощь» хохочет над драмой Льва Толстого, прослушивая трубкой чирьи на ятрах, а жандарм не вмешивается в семью, он милостив.

Было в тебе, Майя, вот что: священность болезни, любой. За сим позволю сентенцию: человек, отведавший одиночеств, ищет ответ: почему Генеральный Прокурор г. Столица — Лев Толстой? Очевидность — но почему? Так бывает: мир замыкается на одной комнате, на ком-то, а тут Отец.

Я знаю, что значит в пустой, кому-то м. б. и нужной комнате, где пол зеркальный, со стеллажом, с тахтой, крытой персидской коврой, с лилейной обоей, где ум занят, как январский свинец, а войдешь и не знаешь, включать люстру или ж кататься по полу, ополоумев, иль стать у форточки, как ферзь, и пить яйцо, одно, из рюмки, плюясь, думая о пуле «дум-дум». Пуль «дум-дум» у нас нет, а у меня есть, у меня еще и освещенный окн есть!

Видю в окн: калейдоскоп стекол, сидят-едят трапезу, трапезунды, с кашкой, с кормушкой, и гудят, — бас тартарский! Мам и Пап мампапают, на сковородке плещутся голенькие девочки с головасткой на шейке, Муж уж мстит булавой, Жен загоняется в холодильник, где слякоть и жарится утюг... Я знаю, что значит в комнате — клоп!

Что у людей клоп? — омерзительный, что-й-то кусающее, чуть уж не автор Апокалипсиса. Цивилизант вообще-то клопа уничтожил.

Но цивилизант еще при жизни пожалеет об этом.

Возьмем г. Ньюрку (УЭСА). Одиночество. Нет у них больниц, лечатся от медицины поодиночке. Никто не женится, — боятся наговориться. Никто нигде не живет, а детей сдают в отель, их кормит ликерой лифтер. Скитаются с утробой, пьют, воя, виску, и каждый блюет в свой стакан, бьют в баклуш, играютя в клюшку, упражняются с кольцом, бья пуль в пуп некру, некрофилы. Жестокость. Импровизаций на скрипке у них нет. Попадетя Женщин, у ней мультимильон их брюалея, с ней, виляя, падает в пропасть любой Мужчин. Увидитя в щель мальчик-милчик, — растляют. — Где жандъарм? — спросит людь-кровинец. Жандъарм у них гнусный: шлем, щит, противогаз и гранат со слезоточивой газой, — как в цирке. Над ними смеются: — Ну-ка побей! Не бьют. Поймают тех, кто жует желе из малин, и — побреют! Насилье. Вот и свобод! Жандъарм у них — легионер, из Лиги Наций, нацист. У нас жандарм — свой, лишь свистит в свисток. 2 дерутся в морду, а 20 жандарм лягут под лестницей, свистят! Нервничают из-за двоих. У нас ведь Кодекс: не трогай труп! О г. Ньюрке. У них резервацьа: Голем-квартал. Там живет Женщин с черной лицом. Мужчин с белой лицом войдет в Голем, а Женщин с черной лицом стоит на четвереньках, льет слез. Нет у них трусов, ягодиц прикрывается кой-как-кой-какой кружевцой, у нашей ж Женщин трусы есть, настоящие, до колен. Мужчин с белой лицом всунет украдкой Женщин с черной лицом — розу, в рот, чтоб ей на четвереньках смотретья покрасивей, и уйдет Мужчин, не поцелует, как псицу, и цент не даст. Жестокость. Вральция, г. Борис. И тут секс. Войдет в рыбную магазину, возьмет живую севрюгу, а клык у ней загно-

ился, вырвет ей клык клешей кузнеца, шепчется, проклиная, рыб-севрюг, рыб-губаста, а вральцузу только и надо в жизни, чтоб губастей. Секс-маньяк, губошлеп. Принесет рыбу-севрюг в мансарду, по-ул-ыбается с ней, безответной, зажарит и съест. Жестокость. А потом скитается по г. Борису, спит в свинарнике на соломе, увидит свинью и со свиньей — секс. Скотоложество. В Ябонии г.Тоська. От одиночества имеют крокодила в ванной. Жить негде, спят в ванной. Женщин спит с крокодилом, Мужчин с крокодилицей. А одиночество — есть. Что же делать одинокому ябонцу? Выход один — убить. Увидит детишку 14 месяцев, в велосипедной кепочке, зарубит саблей, сенсэй, поймает в г. Тоська стариканца, со шляпой, — задавит веревкой, как ловец жемчуга. Насилье. У нас, к примеру, г. Мангодал, а у Елкиболтании г. Ломдан. Г. Мангодал — мы сосем плод манго, г. Ломдан, — им дан лом, бьют ломом в сердце, где послабей, бьют старух, джентльмены. Для теннисной игр. Такая страна Елкиболтания, поболтаются с веревкой на елке под Рождество, играют в теннисный код, ракетой, с боеголовкой! Что ж летает через сетку у сей игры? Теннисный мячик? — нет, не мячик, это — сердца старух! Изнасиуют их сексом, применяя жестокость, и убьют, а сердцем играют через сетку. Одиночки. Едалия, г. Римма. В г. Римме мафиози и мафиозки, едят конфекту с вермишелью, фетишисты, одиночества у них — хоть отбавляй.

Мы, люди, кровинцы, не знали б подробностей, если б не наша пресса. Правдивая! Ведь у цивилизанта нет судебной процедуры, не хотят разглашаться про недостатки. Как избирается Президент? Мы-то знаем: есть у тебя дредноут с ихней брюалью, ты пьешь с пешеходом, будто б по-братски, бренди, бьешь из кольта в отеле, где родят детей, бойскаутов, — ну и бей дитю пульей, пусть он смеется сильнее! — сядешь в кресло, как Президент. Каждый может стать Президентом, — это ж не зря говорится. Каждый пьет, каждый бьет, каждый имеет дредноут с брюалью! Это я о клопе.

Это я о клопе. Что-й-то мне вздумается с пульей «дум-дум»? Дурная мысль. Я включаю люстру. Моя семиглавая люстра осветит комнату под чердаком, посмотрю на любую стенку, их 4. Посмотри, на каждой ты увидишь, клопа. По одному клопу на каждой стене, как минимум. Убивать клопа? У нас жестокости нет. Я подойду к стене, и клоп остановится (а ведь бежал, как пуль из пулемета!). Я подошел, остановился, знакомец: такая чудесная черепашка цвета Заката, красная, клоп встанет на задние лапки, как песик-вопросик, возьмет пульверизатор и опрыснет лице мое, — милый, знакомый запах детства, новогодний!

И побежит клоп, быстренький, к твоей тахте, ведь ты плох, но не плачь, ты не одинок, не заброшенный, как зубр в роще. И ты будешь всю новогоднюю ночь вращаться под ковром, зацелованный этой домашней клопицей, и к утру, окровавленный, забудешься, как Будд. Но помни: ты — не одиночек!

6 января, в канун Рождества, ты, Майя, нарядная, украсила дом ель-ветвью, Лев Толстой лежал, высоколобый, забинтованный меж ног свежей бинтой, в крахмальной сорочке, белой, а галстук — сиреневый, с якорьком. Сорочка и галстук ему нравятся, а Рождество не нравится, это ж не Юбилей.

Ты села к Отцу, высиживая, с яблоком и с вином, выслушивая и кивая на мудрую муть, — он Отец твой. Ты была уж как ижица: тельце чуть теплится, дунь — и душу взовьет в ветер.

Все прощается: днем он спит, ночью вопит. Сей недышащий, издыхающий лежмя, встает-таки ночью, прокрадывается к твоей койке и бьет тебя по ланите, — вставай, поднимайся, корми! Ты просыпаешься, кормишь. Так бояться, Майя, за чужую болель!

И лишь раз, в день 647, гордая, как Медуза-Горгона, ты ворвалась с Уной — ко мне, встала на колени, касаясь лбом пола, вскидывается лицо, все в слезах, протянула тончайшие руки — ко мне и сказала (в той главе, где ты падаешь с лестницы, я несу тебя на руках, и такси):

— Я не сильная, я не сплю, я терплю, он меня бьет от бессонниц, зачем ты меня замучил, Басманов, говоря, что я всесильна? Я слабая, баба я, струнница-странница. Я отцарствовала. Я отстранствовала. Спаси меня, Иван Павлович, ты — можешь! Ты мог уйти от меня (как ты мог?), значит, ты — победитель, мой Всадник! Победи ж еще раз: отставь от меня Отца! (Чиновный чирий, священный свищ!) Я буду мыть тебе волосами ноги, — убери убудка! Он, как вепрь, вопит про яд, не успеть мне уснуть, не к кому подеваться, не могу его бросить, — он сдохнет в момент от нехватки крови, моей! Ему нада пить кровь (хоть — чью!), а я не могу взять на себя вину в смерти Отца, а ты — можешь, отмсти ему! Отмести б его, чтоб съю невидаль никто и не видел! Не гордость, уж, — о гадость!

Ты, Майя, в бреду, ты молила меня, я не Ментор.

Я принес телефон (из коридора в мансарду). Я сказал:

— Вот телефон!

Майя, взвываясь:

— Я вижу!

Я:

— Я сью секунду снимаю трубку, звоню. Отца отвезут.

Майя:

— Звони!

Я:

— Твоего отца отвезут в психиатрическую больницу. Спец-больница. Там примут, свой примат!

Майя:

— Но он не сумасшедший!

Я:

— Я знаю. Он не сумасшедший. Он лишь лукавец-Лукулл, сумасброд с бутербродой.

Майя:

— Не смей так говорить о моём Отце! Он — Лев Толстой!

Я:

— Психиатрическая лечебница — единственное место у нас, куда, имея как я, свой спецпропуск, можно положить хоть когда — хоть кого. И держать у них будут столько, сколько скажу, ухаживая с осмотрительностью. Там не лечат от псих-болезней, а лечат от любовых. Универсализм. Чирьи выдают вмиг, он поздоровет и заговорит. Говорить же он будет у них до конца дней себя, будет у них — пожизненный лектор. Аудитория у них сидит, чутка, благодарит. Слушают, оживленцы! Там: кто не слушает лектора, тому лечат слух: бьют по ушам каблуком. Отец будет счастлив, честное слово! А пресловутых куриц у них — полный холодильник, а меду — стоит бочка, обод медный. У него будет праздник призванья, ты ж — свободна, хоть для свадьбы! Ну, не молчи, Майя!

Майя:

— Мой Отец не сумасшедший. И не будет числиться сумасшедшим. Крест взят мной, Басманов, и я донесу мой крест до конца!

И ты понесла свой крест.

Но ты пронесла свой крест лишь 23 дня. Еще.

Ты была у меня 14 декабря, а в ночь с 6 на 7 января, в ночь Рождества, ты схватила Отца за бороду, ты плеснула ему в морду бокал и вскричала:

— Заткнись, гадина! Да сгинь ты, дегенерат! Отпусти мою руку, я спать хочу!

Но болеющий был силен, а ты ослабла.

Он засмеялся, сверкая:

— Ты алкоголик! Подкрепи себя вином, освежи себя яблоками, но сиди. Я вот-вот умру от рака. Дочь да охранит Отца!

Не издевайся над старостью, сама будешь старой. Что ты бормочешь о Боге, ты, бормотуха! Такой ум умирает, а ты — хоть бы хны! Дай мне яд от мук!

И: ТОГДА:

ты схватила кусок ваты — всунуть в пасть кляп! Матьморалист заорал, как зарезанный, Уна взвыла по-волчьи, соседи застучали пепельницей в стенки, ты, Майя, — ярость! — бросилась в ванную, там стоял пузырек-стеклянец: «Карбофос от клопа», ты схватила тот карбофос, выбежала в комнату и, стоя, вскричала:

— Вот тебе яд, святая сволочь! Вот тебе яд, струитель надежд! Вот тебе чаша чести, ебаный яблом инстант!

И ты запрокинула пузырек и выпила яд.

Ты испугалась, твое бедное лицо затряслось.

— ПАПОЧКА, Я ВЫПИЛА ЯД, — еще прошептала ты, и упала лицом и разбила лицо.

Тут уж — тишина.

УТРОМ

Утром соседи не достучались и взломали дверь.

Лев Толстой спал. Сладким сном. Ты, Майя, лежала как упала. Стенки-картонки, соседи все слышат.

Они: Отцу:

— Почему Вы не вызвали «Скорую помощь»? Ведь вызывали ж по пустякам! Вы же видели: она выпила яд!

Отец:

— Она пила яд каждый день.

Они:

— Как? яд? каждый день?

Отец:

— Так. Каждый день она пила яд, — алкоголь.

Они:

— Но это же КАРБОФОС!

Отец:

— Не все ли равно?

Они:

— Вы юрист, вы — Генеральный Прокурор, и зна-ете, что не все равно. Вас будут судить! Она выпила слишком малую дозу для смерти. Ее спасли б и через два часа. Она умерла не от

отравленья, нервный паралич. Вы — выждали 6 часов! Хотелось ей смерти, специалист?

Отец:

— Я умираю от рака, я обессилел, я потерял сознание, испуганный, я уснул. Кто будет судить меня, старца, на смертном одре?

Соседи остолбенели: старец сошел с ума, с горя.

Вызвали психиатра.

Пока шел психиатр, забеспокоились:

— Может быть, Вам что-нибудь нужно? Перевязку? Лекарства?

Отец:

— Жрать хочу!

Они:

— Что ж Вам поесть?

Отец:

— Курицу!

Они:

— Сейчас же! У нас есть в холодильнике ножка и крылышко!

Отец:

— Мне — целую! Горячую!

Уже труп твой, Майя, освидетельствовали жандарм и медицин, и вызвали машину морга. Но машина морга не поспешает, — куда уж тут торопиться-то?

Когда вошел психиатр, ты, Майя, так и лежала у ног Отца своего, на полу, вниз лицом.

Отец же твой сидел на кровати, в белой сорочке, сиреневый галстук с якорьком, сребробородый. Он жрал курицу, разрывая ея руками, и зубы сверкают, как звезды!

Сидит Отец твой и лакомится курятиной над трупом твоим, любительница атавизма!

Соседи со страшной гримасой стоят в дверях.

Психиатр — настоящий, не инстант. Он не стал простучивать в молоточек Отца. Он не расспрашивал в тестах. Не закрыл дверь на ключ от врачебной тайны. Врач даже в комнату не вошел. Он не больше минуты рассматривал это зрелище. Потом повернулся и пошел к лифту.

— Какой же диагноз? — бросаются соседи вслед. — Ума лишился? Маразм старца? Стресс?

— Он убил ее. Он — убийца, — сказал врач и вошел в лифт, не оглядываясь.

ВЕЧЕРОМ, Я

Вечером: Я: Отцу:

— Ты знаешь, как убивают людей? — спросил я.

Майю уже увезли в морг. Я встал в день 666, я не видел доцента 666 дней, вот — увидел. Он отнюдь не лежал, а сидел на кровати, жрал ложкой мед из банки с наклейкой «Мед пчелиный». Все в той же сорочке, тот же галстук: с кровати болтаются ноги босы, волосатые в меру, старческие, как говорится.

— Знаю, — сказал он. — Тридцать лет трудился.

— Сам-то убивал когда-нибудь? — спросил я.

— Сам не убивал. Никогда.

— Как же ты знаешь, Лев Толстой, если сам не убивал? Я говорю о методах.

— Ну как не знать: расстрел, виселица, газ, огонь, шприц, яд, штык. Методов много. Кто их не знает!

— И все ж одного метода ты не знаешь.

— Я знаю все, что относится к юриспруденции, и не тебе меня учить, ты, геометр-гамназист!

— Ты знаешь все, а вот одного метода ты не знаешь, и я сейчас тебе докажу.

— Если ты сделаешь хоть шаг, чтоб прикоснуться ко мне, я закричу, и тебя мы упрячем в трюм!

— Я не сделаю ни шага. Слушай. Птицы жрут птиц, медведь жрет медведя, рыбы жрут рыб. Ты это знаешь?

— Как же! Смешно!

— Не совсем. Ни с птицей, ни с медведем, ни с рыбой от этого ничего не случится. Им ни хуже, ни лучше, — им никак.

— К чему ты, — забеспокоился. Он мыться не мылся, но был брезглив, как мимоз.

— Были и людоеды, — сказал я. — Но они умирали быстро, жили недолго. Человеческий организм не приспособлен к потреблению человеческого мяса. В Последнюю Войну те, кто ел в тулу человечину, умерли раньше тех, кто вернулся с Войны.

— Прекрати! — заорал он. — У меня рак, не говори гадость! — меня сейчас вырвет!

— Представь себе, — сказал я, — сваренные губы влагалища твоей дочери Майи с рыжими волосинками со слюнями спермы стекающими как мед в твою ложку и ты сосеешь мед из влагалища пережевывая звездной зубой а губы скользкие попискивают как жирный жаб а волоски не пережевываются царапаются о твой язык завязают в трахее желудок сжимается вот-вот рвот ты же млечный жуя склизкую жабыю мясу двух больших губ влагалища

твоей дочери, — а из влагалища в рот тебе уж не слюнь и не сперм а моча горячая привкус гниющей горчиц после ямбль ведь мочатся...

Отца уже рвало. Он стал блевать в середине моей фразы, а я говорил, варьируя и повторяясь, тих, отчетлив, ни точки, ни запятой, я диктовал, сжавшись, оскаленный, уставивший желтый зрачок в его чмокающие, а потом уж блюющие губы, вот — высовывается язык, Отец сгибается с кровати, выbleывая еще не переваренное куриное месиво, слизь и желчь, а башка с бородой свесилась меж колен, а колени — как локти, болтается башка, перевешивая туловище, вот — перевесила, и Отец свалился вниз, — к моим ногам.

Басма: отпечаток босой ноги Хана на воске; Ханский посол, прибывая к князю-кровинцу, протягивал ему этот оттиск; а князь-кровинец обязан был встать на колени и поцеловать отпечаток моей ноги в знак того, что покоряется. Лишь потом начинался кой-какой разговор.

Этот — свалился к моим ногам, передернулся, распластались бел-ручки, бел-ножки, большой лоб — прекрасный, монументальный, борода сияет электрической рай-дугой люстр!

Никакой разговор. Он был мертв.

ГАМЛЕТ. ПРИНЦ ДАТСКИЙ

Об эпистоляре.

Датский король Клавдий, убийца брата, посылает племянника принца Гамлета в Англию под конвоем 2 вельмож, друзей юности принца: Гильденстерна и Розенкранца. У Гамлета интуиция: он просыпается ночью, выходит из каюты, накинув лишь плащ, идет искать друзей, шарит в темноте, берет у них пакет и возвращается. В каюте он срывает нить и сургуч, где печать, и читает, что он — серьезнейшая опасность для Дании и Англии, его лезь тут же схватить и отвинтить ему голову. Гамлет пишет новое письмо, подделывая почерк, и ставит печать своего Отца, убитого Клавдием, дядей.

Горацио:

Так Гильденстерн и Розенкранц плывут
Себе на гибель?

Гамлет:

Сами добивались.

Меня не мучит совесть. Их конец —
Награда за пронырство. Подчиненный
Не суйся между старшими в момент,

Когда они друг с другом сводят счеты.

Гамлет мог бы написать в письме любую чепуху, но написал, чтоб отвинтили головы Гильденстерну и Розенкранцу, — друзьям, 2.

Принц Гамлет поступил не по-джентльменски: вскрыл письмо, предназначенное не ему, а Королю Англии, послал своим пером на смерть 2, друзей, конвоиров морей. Прогулянцы, они ведь не знали содержания письма.

Этот поступок — несмыслимый клейм на имени Гамлета еще со времен Саксона Грамматика, датского летописца конца XII века. Действие ж драмы — IX век.

Не клейми себя, — да неклеименный будешь; не счесть риф у параллелей и цитат. Это я о рукописи.

ИСХОД

Шагай шагами, — придешь к исходу.

Я опустил в Землю тебя, Майя, взошло синее солнце января, и я возложил на твою могилу мраморную плиту и написал на плите — СВОЕ ИМЯ!

Киник Тодор стоял поодаль у замерзшей, как соляной столп, осины. Он был страшно оскорблен, что хоронят не его.

Увидев шествие, гроб и 40 роз, киник Тодор метался от осины к ограде: к гробу я его не допустил.

Он уехал с невероятным портфелем, правда, почти пустым (так он держал портфель за ручку!), он вообще-то любил все, что побольше: маленькая слабость большого инстанта у наук.

Зима темнеет в 4 часа дня, а совсем стемнело, я позвонил кинику Тодору. В Ученый Совет:

— Давай в ресторан. Я не мог допустить тебя к гробу, я не допустил никого, лишь 12 учениц. Пойдем: так, призна!

Он охотно откликнулся, я взял столик в ресторане на вокзале им. св. Витта. Красноярс ресторана Гай Рузин тоже геометр (а как же!) и наше скромное меню с крабами стало насчитываться и насчитываться.

Я сказал:

— Сейчас у меня нет денег, я занесу завтра.

— Нет слов, маэстро! — воскликнул Гай Рузин. — Я знаю твое несчастье, вся Столица в скорбях. Что мне-то деньги!

Но Тодор сказал:

— Нет. За все и всегда нужно рассчитывать. Из кармана. Тут же. Я рассчитаюсь.

Гай Рузин вопросительно посмотрел на меня, красномясая морда, ей бы бриться 12 раз в день, — перечеркнулся гадливой гримасой:

— Я не Академик, маэстро. Я лишь очень и очень люблю геометрию, и чуть-чуть черчу. Ведь я от чистой души утешаю и мое сердце в скорбях. Я не знаю Кодекса вашей профессуры, а этот хочет рассчитаться. Правда, так принято?

— Пусть рассчитается, — сказал я.

Началось то, что всякий раз начиналось.

Киник Тодор сказал счет наизусть. Красномяс-геометр сказал, что, если уж взялся рассчитывать, то так неправильно. День Рождения тоже требует расчетов, но уж куда там шло, все ж киник женился на Генриетте Любахинной, а теперь здесь — торжественная месса, не пойдет. Тодор, непреклонный, вынул блокнот и написал твердой рукой все цифры. Подошли лакеи, с интересом посмотрели на цифры и сказали Гай Рузину:

— Будем бить морду клиента.

Я ушел за стеклянную дверь. Диван из резины, я курил.

Красномяс вышел посоветоваться.

— Ведь не мне деньги, — сказал он, — деньги делятся на всех. Лакеи — забьют!

Я сказал:

— Его имя киник Тодор.

— Да знаю я эту жомбу, Иван Павлович!

Я:

— Утром, во время похорон киник Тодор разглядел на мраморной плите — МОЕ ИМЯ. Он ведь мой ближайший друг и был страшно оскорблен, что хоронят не его. Утром же он уехал читать лекции с легчайшим портфелем. Сейчас портфель так тяжел, что одному тебе не поднять. Иди, попытайся, и если тебе не удастся поднять портфель, открой замок и посмотри.

Двое лакеев вынесли портфель, вышел с ними и Гай Рузин. Киник Тодор собачился за столиком с остальными лакеями.

— Я не жандарм, — сказал красномяс. — Я открою замок при свидетелях.

— Открой замок, — сказал я.

Он открыл замок.

— Вынимай, — что там за тяжесть?

Двое лакеев и Гай Рузин повозились, пыхтя, и вытащили: мраморную плиту, которую я возложил на твою могилу, Майя, и написал на ней — СВОЕ ИМЯ.

Ревнивец к МОЕМУ ИМЕНИ, киник украл плиту с кладбища,

чтоб выбросить ее из электрички. Ведь он до последней минуты думал всерьез, что я напишу на плите — его имя.

Гай Рузин прост, он зверь. Его лицо из красного мяса перечеркнулось. И перечеркивалось, и перечеркивалось.

— Что делать, Басманов? Куда идти мне, Иван Павлович? — он поднял сжатые кулаки, волосатый, как Моисей. Слезы струились из жутких, жульнических глаз его. Два лакея стояли, как два пса в белых фартуках, высунув языки.

Я сказал:

— Иди туда, куда хочешь идти. Делай то, что хочешь делать. Они ринулись, я курил. Сигарету с фильтром.

Как-то на своем традиционном Дне Рождения киник Тодор сказал, что он проживет до 84 лет. Я подумал тогда:

— Нет, Тодор. Ты не проживешь 84. В твои 48 я уйду, исчезну, и тебя забьют лакеи.

Теперь ему 48, и его забили лакеи.

— Там труп, — сказал Гай Рузин. — Мы его забили в моем кабинете. Как быть с трупом в кабинете?

Я:

— Позвони Кате. Она позовет майора Милюту Скорлупко. Тот тоже чуть-чуть геометр. Он не будет писать поиск, запирается с тобой и завираться. Для майора Милюты Скорлупко смерть — не шарада. Не волнуйся так, не трясись. Пусть твое сердце и скорбит, но не связывай скорбь с этой смертью. Отнеси завтра плиту на могилу Майи и возложи венок из роз. А с твоим трупом справятся сослуживцы.

Киник Тодор был обделен судьбой, но не обделен сослуживцами. Не беспокойся, побеседуй с майором Милютой Скорлупко про пятый постулат Эвклида, да и как ни как, — у тебя все ж есть коньяк!

ТРИ ДНЯ СПУСТЯ. БУЛЛОВСКИЙ ХОЛМ, Я НА БАШНЮ ВСХОДИЛ И ДРОЖАЛИ СТУПЕНИ, И ДРОЖАЛИ СТУПЕНИ ПОД НОГОЙ У МЕНЯ

Мне 44.

Я отплакался.

Я отмолился.

Год 7487 от Сотворенья Мира, январь, цифра 9.

В год 7487 от Сотворенья Мира, январь, цифра 6, — мы убили Майю. Все, кто прикасается к ЛЮБВИ циркулем или копытцем Зверя, — все мы убийцы.

Я убил их и убил себя. Мир губам твоим, гибель!

Цифра 6 — цифра 9: три дня я был мертв и вот воскрес.
Три дня я лежал на зеркале, мертв и мерзл, глух, слеп, нем.
И вот: воскрес.

Я встал.

Я взял футляр из металла сталь, я ввел в футляр свечу и включил ея.

Я посмотрел на кисть, я посмотрел на ступню: нет стигматов, не из бытья же им взяться, — не мне они. Я не «ДЛЯ» и не «ВО ИМЯ».

Я посмотрел в форточку: ни зги, за окном свищет ветер!

Я снял крючок с форточки: ветер ворвался в мою мансарду, весь как есть, — в реве!

Ветр — вращался вокруг меня! Свеча стояла на этажерке, но не погасить ея!

Я стоял на ступнях, я сжал кисть в пясть, и не было дрожи в ней.

Я встал на колена, гол, глуп, лжив, суетен, я ударил кистью оземь, — о зеркало!

Вдребезг! — я взорвал сей лак, сью ртуть, — взвиваются вверх стеклянцы; я вышвырнул их в форточку. Я выскоблил ногтями деревянные доски: мой пол! — прост, чист.

Я взял стремянку и сорвал обои, — о бей их! — цвет лилейный! Я взял щелочь и омыл стены, кирпич тепл, ясный, свеж! А обои ветр унес. В воздух.

Я выбросил все флаконы со стеллажей, и люстру, и персидский ковер с тахты, и это была не тахта, а кровать из камня, на ней кровь слез и слизь. Я взял соль и лук и вытер камень.

Я спросил:

— Камень, кто ты?

У камня нет ответа, нет глагола. Он — тих, тепл, из двух плит, лежит на моем полу. Я застелил мой камень двумя простынями из белизны, я положил одеяло суконниц, — вот уж и ложе у жизни впредь.

Теперь: взяться за себя.

Но ветр — выл! Свистал в моей мансарде, — свидетель!

Я сказал:

— Уйди. Возвращайся на круги своя. Больше здесь для тебя ничего не начнется.

Мы остаемся втроем: я, циркуль и эта рукопись.

Я взял будильник, завел пружину, расставил стрелки: Я ЗНАЮ ВРЕМЯ. Вот нас и четверо: будильник тикает.

Я взялся за себя.

Я вскипятил воду в тазу, намылил голову, раскрыл бритву

и снял все волосы с головы, те серпы волос для роли, для ругописи;

роль-руль!

роль — цель, руль — цепь; отыгрался.

Все мы играем в игры, но вот грянет молния, глянет из-за туч зрак Зверя, и мы объявляем бой! Кровопролитье!

И УВИЖУ Я НОВОЕ НЕБО И НОВУЮ ЗЕМЛЮ, НО ЭТОЙ РУГОПИСИ — КОНЕЦ.

Я обрил голову и лицо без всяких зеркал, наощупь. Я омылся весь, надел чистое белье, верхнюю одежду, башмаки, шубу, шапку. Я спустился по 72 ступеням Дома Балета, распахнул дверь в Мир: как солнце светит во двор! Как снег сверкал!

Я вдохнул воздух мороза, мои глаза блестят, — радость! Я писал, как брат боя, я — был в буквах. А в сей час — я есть! жизнь жжет щеки, — за здравье!

Я вышел из-под арки на ул. Зайчика Розы, прошел мимо театра им. св. Ююшкина сквозь Катин садик и вышел на Несский проспект с Уной. Вдруг! —

я вздрогнул!

СТОЯТ ТОЛПЫ.

Шел шум, везде звон, гирлянды глаз — мне в глаза! Они — встречают меня! Все в шубах, босиком, со свечой в левой руке, с циркулем в правой, они стояли, ждали меня три дня, а я был мертв и вот воскрес и вышел. Они скандируют:

— СМЕРТЬ ЗВЕРЮ!

— СМЕРТЬ НЕССИ!

Я осмотрелся.

На Несском проспекте, у Эллипсеевского Гастронома стоит юноша-гоплит Александр, а меч — окровавленный!

Юноша-гоплит Александр уже срубил одну голову Несси, где-й-то она валяется, — где диадема? Юноша поднял меч, и срубил вторую голову Несси.

Несский проспект залит кровью, черной, дымящейся, чудной, — не перейти! Я с Уной у железной решетки, Катин садик. Александр — на той стороне, он далек, 20 м — я не прыгну. Я взял мегафон, пястью левой, расстегивая «Молнии» на пудельянской шкуре — кистью правой, я сказал:

— Александр! Ты что творишь?

Александр:

— Я с рабством юности — расстаюсь! Я спасаю кровинцев, от Зверя — людей, освобождаю! И будет им Кодекс, и ум и честь!

Я, расстегивая пудельянскую шкуру, расстегнул, снял шкуру,

как скальп, вот уж — волчица! Уна, стой. Стой, как есть, маска снята.

Я сказал:

— Кодекс им — икс! Кому ум? В чем честь? Посмотри: на тебя ведь не смотрят! Толпы барахтаются, ныряя в кровавый поток, ищутся лишь диадемы, их 2, стоимость их — несть числа брюалей! Ты бьешься с Несси, а 250 млн. кровинцев бьются друг с другом — за брильянт, за брюаль, — от 2 диадем! Бросай меч, Александр, я тебе говорю, не замахивайся в третий раз!

Александр замахнулся.

Я сказал: Уне:

— Уна, — ВЗЯТЬ!

Уна взвивается в воздух, перелетает Несский проспект, пасть захлопывается, челюсть на горле есть смерть. Юноша-гоплит Александр и волчица Уна, сплетенные, валятся в кровавый поток. Захлебнутся. Хвост мелькнул, меч мелькнул, — захлебнулись.

Черный, чудный чудовищ Зверь-Несси, как нам быть без тебя, а две головы отрастут по преданию, а 2 диадемы я куплю, пот потеряю, но — куплю.

Кровь ушла в люки.

Толпы скандируют, — мне!

— КУДА НАМ ИДТИ?

Я взревел, как Иеремия (не тот, не Туточкин!):

— КТО ОБРЕЧЕН ПОД МЕЧ, — ИДИ ПОД МЕЧ!

— КТО ОБРЕЧЕН НА ГЛАД, — ИДИ, ГОЛОДАЙ!

— КТО ОБРЕЧЕН НА РАБСТВО, — РАБСТВУЙ!

— КТО ОБРЕЧЕН НА СМЕРТЬ, — ИДИ НА СМЕРТЬ!

Так я взревел, но ни отклика. Я осмотрелся: никто и на меня не смотрел. Прежде, в рукописи не смотрел на них — я, а они — искали мой взгляд с быстротой от бормотух, поймают, воскликнут: — Ой, я исцелился! — А я думал так: пусть себе исцеляются, я здесь ни при чем.

Теперь на рукописи я поставил слово: «КОНЕЦ!» — и ни кто не смотрит на меня, ни кто не узнает. Все глаза обращены вдаль, на Буловский Холм.

Буловский Холм в прожекторах. Купол Буловской Обсерваторьи со сверх-телескопом, а на куполе...

— ВАЦЛАВ!

Толпы стоят, 250.000.000 толп, опоясанные колючей проволокой, электрической, в 250.000.000 вольт, а проволоку держат в руках амманисты, они в масках из мяс, лишь прорезь для

глаза, чтоб все видеть и все убить. Это уж не каинисты Вральцузии и Зебрии, те — лишь братоубийцы, у этих же идол иной: Черный Бог Смерти АММАН.

Это не я уж, это они привели топ-толпы на Булловский Холм, чтоб отвлечься от рукописи, поразвлекаться, — такой танц! Кровинцам от этих ни куда не уйти, людь-кровинец их любит. Я о них не писал, они повсюду с колючей проволокой из электричеств, о них не попишешь. Нет убежищ от них, — увидят, убьют. Я разминулся как-то с ними в этой жизни, а в Аду мы не встретимся, им Ад — по спецпропускам.

Вацлав Нижинский шел по куполу в черной пижаме, белый башмак, на коньках. Вонзаются остря в купол стеклянный, он идет, альпинист. Мы — смотрим! В прожекторах.

На вершине купола гений-танцор снял коньки, переоделся. ВОТ: НА НЕМ: белый хитон, — мягкий шелк, чуть заметный узор черной вышивки, на груди — иероглиф; и рубах — черно-белый, широчайший рукав, гений стоит, зубами рукав обрывает, жаль рукав — весь искусан. Танцовщик вынимает и бросает в воздух над нашей головой, над 250.000.000 голов, — черный и белый рулон. Это бархат. Рулон — тот и другой — разворачиваются, замерзая в воздухе, образуя из бархата черно-белый крест. Вацлав стоит на вершине, раскинул руки, показывая нам форму танца — крест. Мы — зрим! Интересный искусств!

— Играй! — крикнул Вацлав, — мне.

Булловский Холм пуст. Лишь на постаменте стоит белый рояль с раскрытой крышкой. Я взобрался. У рояля: стоит уж отважный герой М. Н. Водольянов. Лыс, как лейкоцит.

Отважный герой М. Н. Водольянов сказал: мне:

— Не играй. Опоздал. Чем так жить, лучше смерть. Чуется мне запах, увы, апельсина. Что, как тебе кажется, Земле мы — людь-кровинцы, что нам — Земля? Этот род чист лишь в глазах своих, а не омыт от нечистот своих. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того. Я дам им смерть. Им — нам. Пусть будет новое небо и новая земля, а этому роду — конец! Слушай!

Я слушаю:

это режут бомбардировщики, эскадрилья М. Н. Водольянова, с мигадонной, м. б., бомбой. А Вацлав еще не танцует.

Я:

— Вспомни, отважный герой М. Н. Водольянов, ты обещал дать мне револьвер, именной, не отнимут?

— Помню. Я обещал, — я даю.

Он отстегнул револьвер и дал.

Я — взял.

Я взял револьвер, приставил дуло к виску и нажал курок!

Я взял револьвер, приставил дуло к виску М. Н. Водольянова и выстрелил: отважный герой убит. Эскадрилья не услышит приказ. Улетит. Улетела, ревя. 250.000.000 зрителей все ж! Ни кто ни чего не видит, не слышит. Лишь приковывает их взгляд танец гения.

Я сел на стул, я заиграл до-минорный двадцатый прелюд Шопена.

Нижинский был недвижим, лишь протянул к нам руки с кисть-пястью, вывернутой наружу, жест защиты, он распахнул их, руки, поднимая в молитве, — фиксация! — руки падают вниз, так, будто сломанные в суставах. Так на каждую фразу прелюда отвечает Танцовщик, повторяя трекратный свой жест-ритуал: защита, мольба, отречение.

Оставим прелюд. Нам ж нада танц! Я быстр, я с быстротой продолжал каруселить по клавишам мой мюзик!

ВОТ: ОН: ТАНЦ:

Нижинский взлетел, о взлет безуильный, паренье у туч-скал! Он парит, он бежит по бархату по кресту замершему в атмосфере где мраз он остановится как перст у пустыни на краю креста не на куполе он прижмет руки к сердцу он скажет, ни к кому не обращаясь:

— Лошадка очень устала...

И крикнет, себя перебьет:

— ВОТ ВОЙНА!

Я роялист, я подхвачу этот крик на рояль, я ударю аккорд (о минувший, о будущий марш!). И начнется неопиуемый ужас Всех Войн Всех Времен. Неопиуемый ужас, потому что мне танц не описать.

Нижинский напишет:

«Зрители пришли, чтоб позабавиться, и думали, что я танцую для их удовольствия.

Мои танцы испугали их.

Они боялись меня, решив, что я хочу убить их.

Я не хотел.

Я любил всех, но ни кто не любил меня...

Я танцевал плохо.

Я упал, когда не следовало.

Я хотел продолжать танец, но Бог сказал мне: «Довольно».

Я остановился.

Мне хочется плакать, но Бог приказывает писать.

Он не хочет, чтоб я ленился.

Но я не хочу, чтоб люди думали, что я великий писатель, или великий артист, или великий человек.

Я простой человек, который много страдал, может быть, больше, чем Христос.

Я люблю жизнь, и хочу, хочу плакать — и не могу.

Моя душа больна. Душа — не мозг. Моя душа больна, я беден, нищ, убог. Я человек, а не зверь.

Я грешен, я человек — не Бог.

Я хочу танцевать, рисовать, играть на рояле, писать стихи. Я не хочу войны. Зачем... зачем вся эта бойня, это убийство... эти моря крови? Повсеместно... повсюду, повсюду моря крови: Зачем?.. зачем?

Я хочу любить, любить.

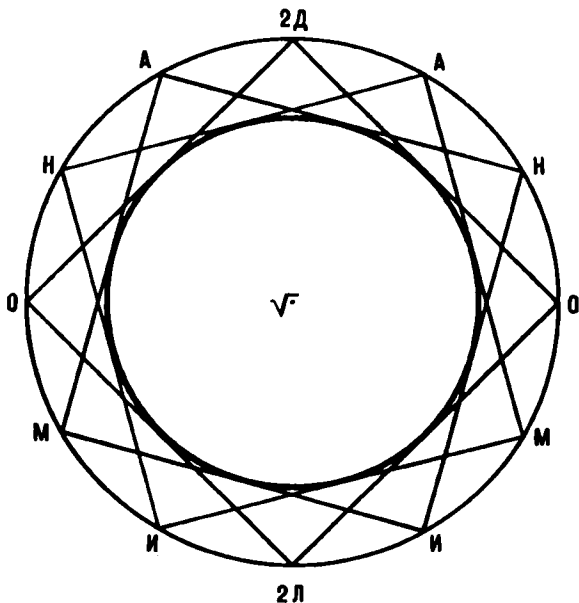
Я любовь, а не зверство.

Я не кровожадное животное.

Я есть человек.

Я есть человек».

Завтра Вацлаву Нижинскому исполнится 30 лет, и он сойдет с ума.



БАШНЯ

1984

«Так рассмотри надежду и желание вернуться в первое состояние, подобное стремлению мотылька к свету. Человек с непрестанным желанием и всегда с радостью ожидает новой весны, всегда нового лета, всегда новых месяцев и новых годов... И он не замечает, что желает своего разрушения; но это желание есть квинт-эссенция, дух элементов, которые, обнаруживая себя запертыми душою, всегда стремятся вернуться из человеческого тела к своему Повелителю».

Леонардо да Винчи

«Если тебе доведется узнать, что некий... рассказывает о неведомом таинстве, то верь этому, ведь вера в это не отяготит тебя».

Ибн Сина

4 дек, 1

- Кто Вы? — спросил голос, мужской жук.
- Я сказал, кто я. Никто.
- Где Вы находитесь?
- В РФИ, — сказал я.
- А точнее?
- Точней не скажешь.
- Адрес, друг!
- Римская Федеративная Империя, г-д Д-л, дом 3 дробь 2, комната 891.
- Где это?

— Угол проспекта Удувленных и шоссе Энтузиастов, от Финального вокзала автобус 2 бис 8.

— Молодец! Ум ясный.

— А ты что говоришь, как из дула — в затылок? Покажи морду, может я тебя знаю?

— Зачем тебе моя морда?

— Хоть плюнуть, что ты меня каждое утро пытаешь? То ты, то девка.

— Она — врач-психиатр.

— Она психопутка, ее голос мужской, но женский. Как ее зовут?

— А Вы не сказали, как Вас...

— Авы! Аве! Тебя зовут Мария? Я буду звать Аве, Мария!

— А ведь Вы не сказали, как Вас зовут... А ведь...

— А у тебя двойное: Аве-Аведь! — врач-психопутка! Какой у тебя цвет лица?

— Здоровый.

— А у меня?

— Нездоровый.

Рассветает, радость-то! На переплетах рам сидят чижы. Каплет с неба звонко, в стекло, за стеклом туя и рябина. Я лежу ногами к окну и смотрю двумя глазами в окно, а оно во всю стену, лишь полметра внизу батарея парового отопления, золотой цвет, то ли покрашена, то ль золото настоящее, от нее выются такие же трубы, вверх, видно, что горячие. За окном воздух, а над окном шарниры, а на них золотые шторы, как ткани, как плюш. У окна стол под зеленой плюшевой же скатертью, на столе пишущая машинка Гермес Бэби, никто на ней не пишет.

Я не пишу, я лежу.

Грозное небо в фиалках. Ворона летит, вращаясь. Тревожно смотреть мне в небо, как в смерть. Это синие, синие дети поют, взявшись за руки, вверх, дети в синем, а один из них дитя в красном, как Данте, крольчонок.

Я лежу и вижу: слева в воздухе белая скала, незаселенная, строят шестнадцатый этаж, с цифрой, красивый кран ходит по крыше, никелированный, как ажурные ножницы, на нем юноши в шляпе, в голой майке — сидя, пьют кефир, в кепи. А справа я вижу колонну, это обыкновенный красный кирпич, сложенный вверх, в ней живут и строят же рабы-римсы, все белокожие, они стучат мастерками, как блестящими стальными сердечками. Я вижу это, потому что я лежу.

Я знаю, чья это комната, что моя. Мои книги в темно-зеленых переплетах с золотым тиснением букв, мой хронометр с большими цифрами висит на серебряной цепочке, моя пепельница, серебряная же, она же дегустационная кружечка, мерка; картины на

стенах; тут много моего, и зеркало в раме с деревянными ангелочками, мордоскопами, позолоченными, я смотрю на себя в сей кристалл, вставая, — я толст, лыс, глазаст, щеки львиные, вырез в носу. Я брит. Я болен.

Я был болен. Я есть здесь!

Я знаю, я помню, как сверлили вены под ключицами и вставляли в них трубки, а в живот в стеклянных трубах вводили активированный уголь. Я помню, как в ноздри мне вставляли индийский лотос — трубку сквозь ноздри в желудок, восемь врачей держали, а я их бил в беспамятстве, по медным пенсне, пока не сделали уж такой укол, что отнялись обе руки, чтоб не бил и схватило параличом заодно и ноги. Четыре с половиной месяца я лежал на танкетке в реанимации, весь подключенный, искусственные легкие, почки и т. д. Искрился только пищевод да иногда включалось сердце, а потому нельзя было меня выбросить в мусоропровод. До чего ж я им надоел.

Я рассказываю себе, что со мной, а сам не знаю, что.

Я знаю т. ск. техническую сторону дела: было девять операций внутренностей, нечто, и т. д., была клиническая смерть, а затем смерть без вмешательства клиники. Но я давно себя разделил на сознание и тело, это все было с телом, и названия болезней, и боль, а со мной ничего особенного не было, я сознавал себя. Да и тело я разделил на две половины. В животе и у корней ног жили близнецы, принцы Мекленбургский и Вюртембургский, а над ними в груди их няня, кормилица, фрейлина Агнес. Откуда они там взялись, это уж им знать, я их не выдумал же. Свои проказы у них, свои капризы. Бантики на пупке завязывают, на швах, из лигатур. Каждый орган у нас уж оригинален. Например, рот; Рот мне порвали умельцы, вставляя шланги дышать. Но вот спросили, чувствую ль я, что мне порвали рот, а я им никак не объясню, что рот порвали рту, а не мне, я тут пятая спица, пусть спросят рот, а я от этой сути — отсутствую. Или уши. Они считают, что я оглох и что уши мои не слышат. Все кричат мне в уши, прокричали. Я им объясняю: какое мне дело до ушей, может быть, они и не слышат, я-то слышу, вот ко мне и обращайтесь, а не к ушам. Лично я, как таковой, все вижу, слышу и чувствую четко: в два часа ночи, еженощно во рту шестой справа вверху зажигается кинжал. Он горит нестерпимой и антисладостной болью, резкой, как огонь электросварки.

От этого зуба зажигается глаз, и я закрываю его влажным полотенцем, платком, чтоб не сжечь ресницы и брови, и кудри, которые вылезли и обнажают лысину. Глаза же, горя, вспоминают разные эпизоды жизни и смерти, но не меня, а то того, то другого члена. Но не буду же я публично называть левую ногу

Марьей Дмитриевной, а нос Константином Багрянородным, так можно и табуретку переименовать в лютеранку, а толку-то что? Тут утром солнце восходит, как вода, как в аду.

Оно сверкает в стекло, и на белой скале смеются юные рабыни-высотницы, в майках, с каймой губ на лице, а у красной колонны — от белокожих слепит, дергается хрусталик, набегают влажные волны. У комнат — каменная болезнь. Перечислим симптомы: четыре блока — это стены, их состав — железобетон, ничем не обшиты, ни дуб, ни палисандр, они оклеены легко — тончайшей плевой обоев, на которые наштампован типографский рисунок листков. Но фиговые листки сии не цветут и не греют. Таковы три стены, а четвертая — вообще стеклянная, она — окно, стекло в сучках, кривое. Две железобетонные плиты — пол и потолок. Так сказать, твой пол, мой потолок. На полу тончайшая плева из хлорвинила, встань ножкой на голый пальчик — он примерзнет, и долго потом будешь отмачивать ногу в мертвых и живых водах, срезать ножом обмороженную кожу и мясо, пришивать кожу новую и мясо новое матросскими нитками, главной иглой. Заживет.

Для того же, чтобы не переохладиться на полу, по ТВ продают ковры, они теплы, как костры, и стоимость одного ковра, как цена жизни одного раба. Купи ковер и куй на нем! Куплю.

Утро. Дом погружен в солнце. Прямо — пруд, в нем голубой дуб, тополя. Козак не может жить без тополи. Из разных окон смотрит он в пруд и скажет: — О то моя тополя! — и смахнет ус. То козак Золотозозуленко, товарищ из кургана. О нем речь ниже.

Тут по скале звонила рабыня Р, со жжеными волосами: — Пруд — памятник старины, не рубить тополи! Никто не ломал дуб, пруд не пьют. А наоборот — плавают в пруду чайки-утки, а вороны, как неводоплавающая тварь, ходят вокруг пруда, комично бия толстым клювом в землю, как железные заводные игрушки больших размеров. Из окна, если сильно скосить глаз вправо, между колоннад у домов перейдя шоссе — цистерна, крашенная серебром или из серебра, в ней молоко, выстраивается с 6 утра очередь в 500 женщин, с бидонами. А в бидон им цедит из шланга негр, как гром, с зубами, как звезды. Нацедит кувшин и выльет им на голову. Как в Америке!

Я считаю: сколько утром идет на работу и кто? — Двадцать. Восемнадцать женщин — рабынь Ж и двое, молодых, мужские. Остальные стоят за молоком. Иной раз рабыне И стоять не захочется, с ног свалится. Потом эту соседку поднимают в сорок рабочих рук (те, двадцать). А пьяных — один. Ходит по лестницам, вопя, что раньше, и что теперь, была бормотуха, теперь синюха. — Синюшник я! — говорит он. — И сын у меня синюк, и баба

синюля, и мать Синильда Синедрионовна! Дай, друг, на круг сикль, принесу глоток, подсинимся! А сам и вправду, будто о синюю стену щекой терся, и зубы синие, будто синим огурцом закусывал.

Я пишу уж, раб-римс — мой читатель.

От их начитанности деваться некуда. Войдут, начитанные, от ног вонь, хоть свинец выноси. Сядут на кухне и будут весь день менять конфорки к электропечи, как граммофонные пластинки. Деньги потребуют и почитать на дом прессу или Пруста.

И вот вид, мой мир, кругозор, полярный круг описаний из окна.

Слева — белая скала, строящаяся. Под нею пруд, в нем вода и тополя. Прямо — синее небо, зори, земля кругла, над ней солнце, и это — море. Справа — вдали лес, силуэтом правее — цистерна с молоком, женщины и негр, как гром, с утра — такое уж у них право.

От молока у них кожа перестает каменеть.

Больше вокруг меня ничего нет. Под окном асфальт, немножко шоссе, и много грязи. Пейзаж не нов, но реален. Да, еще прямо небольшая каменная башенка, тесаная из камня, там жгут кошек; подходят фургоны и выгружают кошек в мешках, из трех труб вьется дымок, жгут, и никому не жутко.

Как имя мое?

А вечером — начинает играть за стеной лира, круглая, как луна, звук ног звенящий, и ходит внизу по ступеням слепой гуцул Стефан-шотландец, но играет не он, а радио друидов, и грустно мне у струн тех.

И я лежу, и свободную мою голову сжимает шлем.

Я лежу ногами к окну, голова в шлеме. В окне — золотые полосы созвездий, тысячи окон, мертвый мир, натюрморт тьмы, корабль уж летал и видел все это всюду, выброшенное кем-то большим в форточку. Была-плыла танкетка, я лежал, зашитый дважды металлическими скобами, кляп из пробки, сквозь него вдет шланг в рот, мундштук, а вокруг — солдаты и матросы в белом, в шинелях, в красных пилотках. И все меня кололи шприцами, все. Ни один не прошел мимо, обязательно уколет, всадит шприц в грудь, в просверленную дыру, и я задыхаюсь. И задохнувшись, я всхожу на башню, где на каждой площадке сидит девица с красным крестиком на лбу, медсестра, и в руках ее спицы шприцов, сверкают, а перед нею вьется, кружится карусель из конфет, разноцветные, красивые. Жизнь вяжут медсестры на спицах, и у каждой никелированный чайник с мороженым, оттуда тянет холодом и водой, пить очень хочется. Мне не давали ни есть, ни пить, кормили шприцами. И дрожали ступени подо мной, восходящим, и сердце во мне сотрясалось.

И взойдя на башню, и сосчитав этажи, я удивлен был вновь, как быстро выложен еще этаж. Барьер, катапульты из самых больших шприцов — и ничего нет, ни видимости, ни пустоты. Однажды я прошел этим туннелем вверх, на сей раз сестры т. ск. освеживали один труп, мужчину — толстый, телесного цвета. Ему подрезали бритвой пятки, сняли тонкую кожу, содрали т. е. кожу с живого человека, лежащего на высших ступенях реанимации, нарезали лентами, намотали на катушки и спрятали в шкаф. Вошел главный хирург Г. Рурих, как Сибелиус. Он подозвал одну девушку, раскрыл на ней халат, обнажилось крупное, сильное, женское бедро, а также ляжка, влекущая. Хирург Г. Рурих выломал у девицы и ляжку, и бедро, т. е. по кулинарии — заднюю ногу он отвинтил от нее, как у страуса, вынул толстую расческу с мелкими зубиками и стал расчесывать ногу (волоски на ней) у себя на коленях. Расчесав ногу, он пришил ее иглой, белой нитью к паху того, ошкуренного реанимата. И тот стал лежать уж с тремя ногами и без шкуры. Внешне эти действия не имели смысла: зачем с человека шкуру — медсестры? Зачем третья нога — этому? и как будет жить без ноги девица? — думал я на танкетке. Но сейчас я думаю не так: многое, непонятное мне, совершенно ясно другим.

— В ножи! — кричат хирурги, и в этой технике есть что-то рациональное. Голубь белый — это нож у индусов, а нож белый у финнов — ласточка. Но все крылато — и птица, и ножи. Народы любят летать. Если б я был писателем, скажем Вильгельмом Мейстером, я б описал: эпизод — однажды я очнулся, это было где-то в конце моей жизни, а предо мной на двух табуретках сидели двое: хирург Г. Рурих и Аве-Аведь, психопутка, а поодаль штук двадцать халатов мужского рода, они передавали из рук в руки ребенка, совершенно голую девочку, и кололи ее по своему обыкновению. Но передавая и тыкая иглой, они не спускали глаз с меня. А я с открытыми глазами, и ничего нет во мне, а оставшиеся две губы говорили быстро и вятно, и я их слышал. Они выговаривались.

О том, что... но я и не помню, я не умею говорить, — если б мне быть Иваном Ильичем, тут уж я пошел бы врать, как вратарь Петр, но у меня все еще мало слов, и не хочется ставить их неправильно.

ТАМ — то, что незнакомо здесь.

О девочке. Она еще вот-вот вышла из живота, а у нее уже пузо. И с меня не сводят глаз медхалаты — не скажу ль я, что хочу жить сначала? Хирург Г. Рурих уж точит скальпель о венерин бугорок, чтоб вмиг вскрыть пузо Богородице и вынуть меня, для новой жизни.

— Хочешь? — гремит в рог Голос.

— Нет! — не хочу я.

Но по небосклону горит уж звезда Вифль, чтоб ее, а не нож вонзить в пузо, чтоб я воскрес. Но я не хочу ничего заново, консерват.

Лежу я ТАМ, в некоем светящемся объеме, в естественном мире, а то, что тут, — неестественно.

Лежится мне само собой, и кто-то невидимый по небосклону чертит круг справа налево, светящуюся кривую. И Голос говорит ясно, по слогам, что круг жизни моей в моей власти, он замкнется от не хочу.

Я говорю:

— Не хочу.

Круг не замыкается. Его линия останавливается, не замыкаясь с верхней. Что-то я тут недоделал, назад, на стул! Я не хочу назад, жить, мне и здесь, ТАМ — небывало, удовольствие! Но Голос говорит — смотри зазор. Смотрю: судя по всему, это срок, остаток, мне даримый. Но может быть и наоборот: если взять за мою жизнь эту минимальную пустоту, то остается вон какой грандиозный Светящийся Круг в 330°! Живи — не наживешься!

Хирург Г. Рурих говорит:

— Ты удостоился встречи с Ним, будь же достоин Его и молчи. Смерть кончена, увы, начинается жизнь. Хоть отвоевал у Него жизнь не с детства, а с зазором, не вечную.

Я не осмелюсь описать весь вид аудиенции и как я сброшен был на койку, и как очнулся с памятью о недочерченном круге. Ту хорду заменил пунктир, тоненький, но светлый тоже.

Хирург Г. Рурих сказал, что приборы зафиксировали смерть, и я пребывал в этом состоянии больше, чем полагается.

Выпали все волосы, я сел, держась руками за голову, мягко мне, в подушке сидящему, я плакал дико.

— Печаль моя — свекла! — кричал я.

В тот день отнялись ноги, потом занялись огоньком и пошло выздоровление. И пропала память. То есть, я все помню, но все не то. Смешно, у меня осталось щенячье желание любить женщину, но не идеально, а эротически. Уж в клинику мне приводили двух женщин на поводке: у одной был белый пудель, и она говорила по-немецки, а у второй — черный, эта по-французски владела.

Я помню, что мы ели.

Я ем плохо и мало. Наверное, меня из комнаты унесут, где я буду есть больше. И это темнеет небо, и я, как летчик, ем шоколад, красную икру и булку с изюмом и маслом, желтым. Шатает меня на простынях, тошнит. Копья поют, копыя летят в гнезда, на Дунай, мне худо, халдеи!

— Какой у Вас цвет кожи? — спрашивает Аве-Аведь, психоподонк.

— Здоровый! — я говорю. Потом смотрю под одеялом в зеркало, цвет кожи у меня красивый, многоцветный, но, судя по линиям рта и узору надбровных дуг, я персонаж незаурядный. Иначе — зачем я отпущен обратно, да еще и не рожденный дважды, а в своем теле?

Давно ль я не жил? Вспомнить бы. Пошел на кухню, сжег левую руку, положил ее на плиту. Дымится (рука!). Ничего, обойдусь пока правой.

Вверху стучат молотками. Взять, постучать тоже?

По вечерам свет слабый, нужны б сильные лампочки. Пошел в ванну, помылся, смотрю в окно — комар приближается с воем, как паровоз! И без звука летит самолет под окном, — как цветок!

Ничего не помню.

Хрусталь — это стекло и свинец, охота пить! Пей из серебряной рюмки, серебро — антисептик. Молоко смотрится в чистом стекле, а пьют из керамических форм, на холоду. Парное молоко пьют рабы, оно слабит, выпил кружку от бешеной коровки и через 7 минут уже свободен внутренне, спи чистым сном.

И сплю.

15 дек. 1

Винцо пьют.

Ни к чему пить на улице, из горла, взбалтывается, невкусно и ненадолго. Вижу: сильный, рогатый раб-римс, пунцоволицый, крутит у скалы бутылку, и подняв на высоту вытянутой руки, вылил в рот. Он позабыл, что это не фокус, а водка. Раб распахнул волчью шкуру, рванул грудь и пошел.

Он дошел до светофора и упал на шоссе.

В этот момент зажегся зеленый свет — шла колонна танков, всегдашним маршрутом.

Головной танк ткнулся в тело, распластанное на шоссе, покрутил гусеницей, пошипел изнутри мотором; заглох. Не переехать. Не потому, что слабая техника. Техника тут китовая. Не потому, что командир танка подкапитан Силлябак не давит гусеницами, а потому, что тело раба ожелезнело до такой степени, что его не взяла б и электросварка на распил, чтоб пропустить вперед колонну; ей пришлось идти в объезд. Раб сам отошел, когда пришла пора, встал и, быстро-быстро перебирая руками и ногами,

согнутыми, побежал на юго-восток, туда, где, говорят, стоит еще цистерна, а у нее стоят люди в запое — похмелянты.

Винцо все ж пей из простого стекла, залпом, без выкрутасов, стакан об стенку, огурец в угол рта, как сигару. Почему не пьют тут так? Может быть, не было учителей?

Может быть, это и путь — пить.

Но мы пойдем мыться в ванне, в Дунае. Баня — утоление грусти (по-латыни). А по-римски: — Затопи ты мне баньку по-черному, я уж белому свету не рад!

Затопи ее морем тоски скота моего.

Говорят, помогает человеку в росте вода: выльешь на голову ведро воды, — раб растет, человеком становится.

18 дек, 1

Хирург Г. Рурих сказал, что мне б носить бандаж, чтоб брюхо не выпало на пол, швы загноились и разошлись, ране еще заживать.

Слишком сплю, быстро устаю. Люди быстро стареют, но этой девочке было от 10 до 20 лет.

Глаза — как полумесяцы!

Были днем, дали банку паюсной икры, в стекле.

20 дек, 1

Во сне:

Группу мертвых (я в их числе) свезли в ГДР. Ходим по магазину, где рубашки, у которых восемь дырочек. Я хожу вне режима, и подозревают, что я не покойник.

Но действие в 21 веке, все, рожденные в первой половине 20 века, мертвецы несомненно. А я вроде и нет, аргумент повис в воздухе.

Некоторые подозревают, что и они — нет. Но отличить нас по степени живизны — трудно-трудно.

Еще снилось: моря и горы в ГДР. Есть ли они — наяву?

21 дек, 1

День рождения И. В. Сталина. Кого ни вспомнишь, все Пушкиным занимаются.

22 дек, 1

То же.

24 дек, 1

Я помню, как цветет кактус на подоконнике 24 дек, — 9 бледно-фиолетовых цветков, омерзительной красоты.

Пью чай. Звонит кто-то. Возничий? Ремонтируют ступени в скале. Не открыть рот, каплет, льется с потолка.

Смотрю на руки (свои), люблюсь: вот бы такие руки вору!
Я живу среди святых. Куда ни плюнь — святой.

31 дек, 1

Помылся, где можно и где нельзя — спиртом. Т° вдруг подпрыгнула до 38,6. Надел чистую рубашку и галстук. Аве-Аведь танцевала перед глазами. В 24.00 выпили по рюмке сока манго.

Аве-Аведь все спрашивает. Я:

— Пифагор — математик, астроном, спортсмен, музыкант. Первый, предположивший, что Земля — шар. Аристарх Самосский — в 3 в. до н. э. объявил, что Земля вращается вокруг Солнца, и измерил расстояние между ними. Потом начался бред — Галилей плюс Тихо Браге плюс Иоганнес Кеплер. Сколько ни иди вслед за луной, придешь туда, откуда вышел, а не на Луну, нет. Потому, что путь на Земле не прям, а кругообразен и не выводит за купол земной поверхности.

Из Кодекса якудза:

«Пистолет холоден. Пистолет — это механизм. В нем нет персонификации. А меч — продолжение человеческой плоти, и я могу передать всю глубину ненависти к противнику, когда клинок моего меча пронзает его тело. Погружая руку-меч в тело врага, нет большего наслаждения произнести: СИНДЭ МОРАИМАСУ! (прошу Вас умереть!) — японск.

1 ян, 23 ч 12 м

— А Вы? — не отстают Аве-Аведь.

— Что я?

— Вы — музыкант, спортсмен, математик, астроном?.. Или же Вы — шар? А ведь я не шучу, конечно!

А у меня крестец ломит. В ране много крови. Во сне:

Всю ночь у Сталина. В его роковой квартире — проезд МХАТ'а. Мебель на месте, посетители те же. Я — ему:

— Ну что, Иосиф Виссарионович, катапультировались?

А Иосиф Виссарионович этого слова не знает. Усов у него нету. Смотрим, радуемся, что сбрил. Сталин без усов, ниточки на губе, как у немчика.

Сколько лет осталось до 3-его тысячелетия?

В окне над цистерной зажегся неон:

ТЕНЬ ГОРДАЯ ДРОГНЕТ

7 ян, 2

Здравый ум и здоровый ум — есть разница?

Стол для письма — не конь кому попало. Дай коня, не побоюсь брюха, пойду снимать головы, воюя. Но писать, подвязав кишки бинтом, не пишу.

Пошел-ка ты по шепоту!

10 февр, 2

Отличие людей от искусств — у одних есть, у других нет юности. Фараону подкладывали девочек, чтоб юная энергия переходила к нему. Так объясняют теорию геронтов на троне; — массы.

Одни жрецы знали, чем убить фараона — девочкой. Юное мясо умеет лишь поглощать. Женщины, высасывающие из фараона жизнь, не стоят благосклонности медицины.

Думать, что ничему нет возврата, — неправильно. Из прошлого возвращаются все, легко и видимо, но реже этим нужно заниматься.

Не тошнит от каш, фруктов и соков.

17 февр, 2

Письмо.

Обращения нет, подписи нет, текст:

«... и снова (в который раз!) околдовало меня мрачноватое очарование Вашей личности. Магия слов — вот что можно сказать о Вас.

Мне 75 лет, и я кое-что понимаю в различных магиях... Ваш образ, встающий за всей живописью легенд о Вас, говорит, что Вы — все же человек. Угадала? Или нет? А кто я? Ведь надо

ж отрекомендоваться. Я — Агасфер женского пола, вечная странница Духа. Потомок травников-колдунов, а посему и сама тоже травница-колдунья. Ныне нас зовут экстрасенсами, поносят... и боятся. Если есть у Вас какая ни на есть хворь — помогу.

В середине апреля я уеду в Пентагон, где буду собирать молодые побеги кустарника — ломонос виноградолистный. Настойка из его побегов задерживает рост раковых опухолей, равно как и сок из стеблей черных гладиолусов, как корни розовой герани, как сок чистотела (травы и корней), как шалфей, выращенный на почвах Афганистана, и т. д., и т. п.

Ох, зря ощериваются аллопаты на гомеопатов и травников!

Фитотерапия скажет решающее слово в борьбе. Травы творят чудеса, о нервных и психических болезнях и говорить нечего. Вам необходимо знать некоторые особенности функционирования Вашей нервной деятельности, Вы — это... Вы, и поэтому у Вас изменен порог чувствительности. Иными словами, настоящие... (Вы!)... относятся к сенсетивам и экстрасенсам особого класса.

А пока.

Купите в аптеке настойку перечной мяты. Несколько пузырьков. Утром после умывания сядьте на кровать, расслабьтесь, закройте глаза. У Вас в руках блюдце, в нем чайная ложка кипяченой остуженной воды, к ней добавлены 3/4 чайной ложки перечной мяты.

Закрыв глаза, на ощупь вмажьте кусочек мяты в эту смесь и мажьте лоб, виски, за ушами, затылок. Остаток жидкости выливайте на темя. И сидите так, отдыхая 7-8 мин. Это проделывать каждое утро. Если есть у Вас молодые подвижные женщины, пусть поедут в лес и привезут ветви можжевельника. Пусть лежат у Вас под кроватью, — и те, и другие. Каждое утро надо взять несколько веточек, положить, сбрызнуть их слегка водой и зажечь на металлическом подносе — гольден. Сырые веточки будут куриться. Этим дымком покурить во всей квартире.

Купить красную и розовую герань и пусть стоят горшочки во всех комнатах. Это — великая целительница от многих.

Пейте только серебряную воду.

В графине с кипяченой или сырой водой (это как Вы привыкли т. ск. в ванной) должна лежать чайная серебряная ложечка старого времени, не теперешняя, или же старый сикль (лучше 6 II-V вв. до н. э.).

Постарайтесь чаще бывать в розарии и погружать лицо в розы. Дайте приказ собирать опадающие лепестки роз. Сушите их сами, в тени, заваривайте одну чайную ложку сухих лепестков стаканом кипятка и в течение дня это выпить.

Пейте чай «Авиценны».

20 февр, 2

Котлеты из капусты; бутерброд с маслом и черной икрой; студень из северюги и — все сходится, мой скромный завтрак. Смог побриться.

21 февр, 2

Ну и что? Через полчаса — 22 февр, 2.

22 февр, 2

Сегодня рванули рану; поменьше. Тяжело проходят зимние месяцы.

По ТВ:

Играет образцово-показательный оркестр комендатуры Московского Кремля.

Щупаю голову. Волосы в сохранности.

Больной — непрестижный тип. Сварил суп со свежей грудинкой, говяжьей. Чистый суп, многовато лука.

Господи, взгляни на меня!

1 март, 2

Льет отовсюду, — третий день.

Лед тает, но не слякоть, а ледяная скользь.

Внизу — все падают. Все дышат ртом. Взглянешь в окно, ждешь луны, а там сверкает топор!

Кто заинтересуется моей жизнью, тот уж не найдет меня.

По ТВ: самое страшное в цирке — детей нет.

Утречко, 1 марта — 1-ый час Дракона 1-го дня Дракона 1-ого месяца Дракона.

9 март, 2

Скажи, что тут еще ликера нет.

Штаны б зашить. Но лежу без штанов, а встану к окну — ну, и кто видит? Завтра зашью.

Торфа нет, топим воду шоколадом.

У кого яркие глаза? Осмотрись — ни у кого. Тусклые у всех.

Аве-Аведь; сказала — был бред. Вопрос:

— А Вы что, грек?

— Нет, я только говорю по-древнегречески, все время, как дурак!

— А ведь Вы и по-другому можете?

— Не могу.

10 март, 2

Солнце — как улица!

Почему в книгах любят ночью? Потому что днем и смотреть-то друг на друга противно.

Омерзенко и Отрицаило — ковбои.

Синичка свистит; в ухе.

Мылся хной. Терпи, терпи. Из кухни пахнет ей и ой — свежей жареной свининой. Галлюцинации нюха. Я терплю. Тело тиранит, мое, родное. Говорят, я похудел в больнице на 30 кг. Может, это слухи и это — не 30 кг, а 30 г?

Скажем, у меня было 56 кг, минус 30 будет 26. Можно ль столько весить? Есть рубеж — дальше уж не худеют, а уходят. Думаю, что до клиники я весил 56 кг, а в ней похудел на 30 г и стал весить 55 кг 970 г. Зато сейчас я вешу уже 92 кг без всяких г. Изумил вычислениями. Указывая на Аве-Аведь и обращаясь к хирургу Г. Руриху, я их добил:

— *Pa! Вот ведь у дев товар!*

— Что это? — ошалели оба.

— Перевод с египтянского. Палиндром. Читайте сзади — то же самое.

11 март, 2

Одно к одному!

По ТВ, из ВНИИРГЖ (куриц выводят), диктор:

— Курам предложили сбалансированное питание и искусственно регулируемый световой день. Путем тщательной селекции был выведен бройлер, способный набрать вес 1,7-1,8 кг за неполные 50 дней от роду и съесть при этом менее четырех кг корма. Однако изменения, вызвавшие столь бурный темп жизни, не прошли для хохлатки бесследно. Она стала очень нервной и чувствительной, любые нагрузки приводят ее в состояние стресса.

Как обо мне.

Всю ночь — бенедиктин.

Не малага, не портвейн, не констанция де кло, вино цвета луковой кожицы, слегка пережженное, со сладковатым букетом, — бенедиктин снился.

У моей простой кровати с геральдической спинкой — сидели: Архелай, Альберт Великий, Люль, Арио де Виллан, — доктора кабалы и оккультных наук. Перед ними — стояла: бутылка! — темно-зелень, брюхастая, с печатью из красного воска, на нем — три серебряных митры на лазоревом фоне, она — прикреплена к горлышку, как булла, свинцовыми связками с ярлыком, на нем на пожелтевшей и будто б выцветшей бумаге по-латыни: лигуор монахорум вenedиктинорум Аббативе Фискавензис.

Под аббатской одеждой с меткой крест и церковные инициалы, сдавленной пергаментом и лигатурами, как хартиями, дремлет шафранного цвета — ликер. Он издавал аромат дегтя и синего зверобоя, смешанный с морскими травами, иод и бром, и смягченный рафинадом (несладким).

8 апр, 2

Завтрак — каша жемчужная (перловка!), бутерброд с зеленым луком.

День начинается с ночи.

Ходят в жути эти сночи, я смотрю на жизнь, как на цепь сумасшествий среди безмолвия.

Всю ночь сидела женщина, черная, как буря, — Мария, по-моему. Сидела в ванне, воя, с ластами. Сказала Мария, что в ванне у нее эротизма более, чем на кровати. Я ответил:

— Человек несет себя, где бы он ни был, и ложку свою несет с собою.

А она в ответ:

— Да.

— Биографию свою писать не буду! — сказал я, с ночи.

Мария вынула свистульку, маленькую утку, белую, алебастровую, а нос у свистульки красный, на левом плече мишень, кружочек с дырочкой. У утки сердце — слева? Уточню.

Мария чешет волосы с 9.00 утра. Сейчас 24.00. Пятнадцать часов прошло, а не расчесала и половины.

Какие бы мысли выискать? Хоть бы одну. Ни одной. Нечем остаться в памяти. Худо ем, невкусно. Мария в ванне запела.

Олады хотя бы поест, раз ни хрена нет.

Ем олады... О люди!

День кончился, как всегда — раздеванием. Так и в жизни — в конце разденут.

Хорош глагол:

— Восторжествовать!

20 апр, 2

Снег. Большой и белый, идет.

Снега нет, растаял. Пиши, пиши.

Блюдо: картофель, тушеный с луковицей, круглый перец, горбуша в банке. Живется по-своему.

Уж полдень!

Сидеть в комнате, днюя, и писать, что в окне, — не Шекспир ли я?

Купить золотое перо, у машинки стук по строчкам, звонок у нее заушный.

Мысли:

1. мир устрашающе юн и стар, нет середины

2. юноша принес в подоле ребенка, — мир меняется

3. от мужчины до женщины — один шаг

Ум мой, как у «Таймс»!

В окне бежит собака, голова по-рыбьи болтается меж ног; вот выпал язык, не подняла, бежит далее.

Был хороший чай, и ел мороженое палочкой, как японец.

В раю будут люди неизвестные, а в аду известные. Потому что — первое известие о человеке — его грех.

— Еще не повесился? — спрашивает Бог.

— Нет еще, — отвечают трое: Каин, Иуда и Брут.

И Бог говорит:

— Так что ж ты медлишь?

Если любовь к людям свойство авантюристов в политике, то жертвенность — это уж дело отпетых негодяев.

Заходил Саша Пивенштейн, мясник, сказал:

— Помоги нести меч в ночь!

Я не согласился, болен. Он заявил, что он раввин, еврей, и душа его как меч. Я сказал:

— Раввин — священнослужитель, а не еврей. А ты — мясник, и твой меч мясной.

Но он:

— Еврей — выше всех, високосный, потому его и бьют. Вот я лягу в лужу, как раб-римс, — сказал он, — лежачего не бьют.

— Почему ж не бьют? — возразил я. — Если гад лежачий, ползучий.

Я помылся. Когда я моюсь, в ванне все у меня, как у красивого человека. У всех в жизни очень много евреев.

Снял книгу на инглиш, раскрыл наугад:

— Коварная насмешливость британского правительства ни в чем не выражалась так ясно, как в одной особенности нашего содержания: нас брили всего лишь дважды на неделе. Можно ли придумать большее унижение для человека?

Я охвачен эсхатологическими настроениями.

Я сплю... Целовали меня!

30 апр, 2

Входит в моду бархат.

В ванне девушка, в малиновом берете, бархатном. Сидим под сенью берета, это медсестра, оказывается, она перевязывает. Без белого халата и не узнать в голом виде.

Кто б подумал, что аббатиса в белом клобуке и дикая, жеребцовая девка — одно и то же лицо в ванне?

Я захожу и смотрю, как снайпер на птицу. Я смотрю на губы, чтоб пригубить. Я сделаю из нее любовницу и тем прикую ее внимание.

Наши губы — как два сердца, красных, прижатые друг к другу. От пыла обмахиваются малиновым беретом.

Надень бархат и не выходи из него. Застегнись на все пуговицы, сядь в ванну и будем гладить друг другу ноги. Эх, Лаврентя!

Лаврентя купила не международного, а римского гуся.

— Где ж он? — сказал я, как в сказке.

— Купила б! — сказала Лаврентя. — Не было денег, а весь гусь — 8 талантов золотом. Империю в торговле взяла на буксир Югославия, Финляндия усилила питание, Индия помогает камнями, ювелирными, они несъедобны.

По ТВ:

Выступает с песней румын Ф. Пьерсик, почему-то под зонтиком. Неужели и на ТВ дождь? Не верится. Ф. Пьерсик говорит, что Империя дала румынам много неожиданных по фонетике фамилий. И т. д. И еще: имя характеризует и родителей, и ребенка, ведь он — потомок родителей! Румынские проблемы.

Переключил программу. В Америке ежедневно бастует только один человек — специальный корреспондент советского телевидения.

Прилег.

1 май, 2

Что дал день? — Ошибку, не верь: то, что нарисовано в виде Бога с ребенком, — еще не Бог. Это краска. Не путай и не ругай художника.

А раб с ребенком — это Бог? Нет, претензии оставим.

А кто ж с ребенком — Бог? Ведь нет никого на Шаре, кто б был без ребенка.

...Сложно.

У лужи есть ребенок — лужайка, мухи летят, как бантики. Я пишу ахинею, переизбыток поэтизмов. О прозе.

У кого ровный характер? У того, кто копает ров.

Может ли солнце светить весь день? А как же, но если щит за спиной, оно как Гораций.

День идет к центру. Съел салат с рыбой (рыбкой), сырник.

По лужам идет мужик, как святая невинность.

Есть нечего, а хотелось бы. Сварю сосиски.

И вчера не ел. А не поем — буду смотреть на ров с водой, вдруг овечка выскочит, на огоньке вертеться? Я ел бы баранину. Мне видится карп, увешанный золотыми монетами; и сковорода — видимая. Мне мнится мясник-антисемит с секирой на плече, а еще когда от тяжести рыбыны рука опускается, как от утоленной любви (сексуальной).

Варю вермишель.

Не хочу я гуся в мармеладе, я хочу простую кефаль в ручьях, белые грибы из лесу, как розы, под елочками, Бог разводит.

В ванной у женщин глаза золотятся, как у близнецов.

5 май, 2

Пруд растаял, по-морскому.

Скала стоит в квадратах, как таблица Менделеева; пустует. Скоро заселят элементами.

По тучам идет свинья. Из лужи торчит перископ подводной лодки. У лужи ребенок в гипсовых сапогах, и песок, как свекольник.

Скала — Константинополь, в белом блеске.

Солнце вышло в 20.30, а откуда, никто не ищет, классицизм.

Я выхожу в полном блеске, плоские ногти, на ту дорогу, где путь лежит к сердцу. Парус, — ну их на шхуну! Всех этих хеттов и женщин.

Я как цветок распускаю чашу, становлюсь электрическим.

Аве-Аведь говорит, у меня грубая психика, хоть память энциклопедична, кроме себя, я — анти-эгоист. Я груб, груб.

По сравнению с женщинами, глядя на свое тело в ванне, мое куда выше по качеству кожи. Но грубею. Мало хожу по трупам. Еще бы! Если я сажусь на даму в пылу, то кто я? — дамосед. Любовь биологична, наука о жизни, вот и учусь. А чему у окна, в книгах и по ТВ? Одному: я живу не по-научному.

Я и говорю:

— Вы судите правдиво, но сделайте скидку на возраст.

Аве-Аведь с озлоблением:

— У Вас нет возраста! По виду Вам сто лет, а ведь Вы развратничаете, как сто молодых бегемотов. Вы растянете женщин в соку! Вы губите всех подряд. Вы ванну превратили в Нил!

Женская логика, она считает, что много женщин в ванне, — это психическая неполноценность. Ошибочно.

Аве-Аведь, психоаналитик вечерних кровей. В рисунке ее тела красоты нет, одето оно. Полноты в ней маловато и тысяча плоскостей.

Ум — как у мухи, жесток.

Не води невод, а омой двигатели рук и ног.

9 май, 2

По ТВ то солдаты, то колосья; скоро война.

А потом по ТВ говорят «кара-колпак», и ничего не показывают. Читаю книгу «Мозг и алкоголь».

— В ядрах варолиева моста — распространенный кариоцитоз и нейронофагия, диффузная пролиферация глии, саттелитоз, значительная периваскулярная гипертрофия в стиатууме.

Сильно сказано. И страшит.

Далее:

— Структура нейронов черной субстанции колебалась от случая к случаю, и только изредка наблюдалась гибель клеток. Нейроны ядер IX и X черепных нервов перегружены липофусцином, в отдельных наблюдениях здесь выделяются клетки-тени.

Художественно:

Черная субстанция, гибель всех клеток и таинственные тени мести.

Липофусцин — кто это? Если б я пил, то перепугался б... Если рожденный в год Крысы боится крыс, это — самобоязнь.

Н. Федоров пишет:

— Самоосуждение — начало приготовления к Воскрешению.

Значит, у меня началось с самоосуждения. Когда-то. Иначе б я не воскрес. Христос осуждал всех, кроме себя. А воскрес. Людской Бог-Отец не видит в себе изъяна. Как и я. У меня все совпадает с Христом и ничего с Н. Федоровым.

Я много читаю, ни к чему. Много читать — усталость для тела. Пойду, лягу.

Денек! Я маюсь то в комнате, то на кухне. Взял помаду, нарисовал женские губы на стекле и запечатлел на них страстный поцелуй. А потом смыл это.

По ТВ солдаты поют, от полнокровия.

11 май, 2

Письмо. Как и предыдущее — с двух сторон обрезано.

«...искал хотя небольшую писульку Вашего почерка, но не нашел. Очень много читаю литературы, прессы, смотрю ТВ, слушаю радио, радиостанции всего мира, интересуюсь и в курсе с политикой во всемирном масштабе. Потихоньку тяну. Помаленьку тружусь в своем хозяйстве, участок 0,15 га, садик, ягодник, козочка, 12 домиков пчел, живу с матушкой, 2 сына, дочка, 6 внуков и два правнука, живут хорошо, часто посещают нас, во всем помогают, все за городом имеют дачи, свою машину, зовут нас к себе жить, но нам в деревне лучше, спокойнее, когда совсем не станет сил, тогда видно будет. С первой встречи человека могу оценить его, у Вас я заметил светлую душу, отзывчивое сердце и чистую совесть, рад иметь с Вами знакомство и связь. Люблю свою Федеративную Римскую Империю, благодаря руководству за хорошую и счастливую жизнь для всех в нашей стране, хотелось бы еще пожить, но время наше истекает, пора собираться на вечный отдых и покой, да будет во всем воля Божия. Разделяю Ваши переживания, связанные с болезнью, желаю скорого и полного выздоровления. Состояние здоровья у людей не в наших руках, и от всякой болезни никто не застрахован. В январе я внезапно заболел «аденома простаты», закупорка мочи, мне сделали операцию, тяжело было, но жить можно. 12 марта я поехал на исповедь духовенства, посетил собор, Епархиальное Управление, потом поехал на квартиру к дочке, а попал в больницу и прямо на операционный стол, ущемилась правая паховая грыжа, сделали операцию, а 26 марта оперировали и левостороннюю грыжу и без наркоза, замораживали, ой! как больно было, кричал, звал на помощь всех святых, но все это уже позади, живу, гляжу на мир Божий, большая слабость плюс годы, тяну уже девятый десяток лет, думаю, что конец жизни моей уже близок, ко всему готов, во всем да будет воля Божья. Желательно мне не терять с Вами связи, не забывайте, будем крепиться и жить надеждой на милость Божию и продления Бытия на земли...»

14 май, 2

Всю ночь снились латинские надписи и что я примпил.

Примпил — командир первой центурии первого манипула первой когорты в легионе, он главный начальник триариев, самых опытных, не моложе 45 лет — солдат, которые в бою находятся в третьей шеренге. Когда перебеют новичков и уже мнут молодых, третья шеренга, как один, — делает шаг вперед и сотрясая земли, кричит: — Здесь триарии!

Кто не знает этот крик, и мир пятится, пораженный... звоном голосов и истинным шагом ветеранов.

Во сне же — дают мне высшую награду Хаста Пура, копьё без железного наконечника и муральную корону, — за храбрость. Мурус — стена, это дают тому, кто первый вошел на стену, вражью. Корона муралис украшена зубцами той же формы, как у зубцов стен, с нее рисовали королевские короны Средневековья (1518 — 1917).

Во сне же: император Веспасиан шел с бревном на спине. Сон подтвердит запись Светония: «Приступив к восстановлению Капитолия, Веспасиан первый своими руками начал расчищать обломки и выносить их на собственной спине». Это было в субботу 1 юл, 71. Снилось, что в честь бога Вулкана я жертвую рыжего теленка и рыжего кабана.

Во сне же — бродил по Северному Кладбищу, ища, где я и кто же? Надписи на могилах:

«императору Адриану, который первый и единственный из всех императоров, отменив долг императорской казне в сумме 900 млн. сестерциев, превзошел и современников, и их потомков, которые будут жить от щедрости». Элий Спартиан — об Адриане: «Он простил частным должникам императорского казначейства, как в Риме, так и в Италии неисчислимые суммы, он велел сжечь на форуме долговые расписки».

Еще надпись:

«Императоров Цезарей Луция Септимия Севера Пертинакса Августа Арабского, Адиабенского, Парфянского, великого понтифика, сыну Божественного Нервы прапраправнуку императору Цезарю Аврелию Антонину Августу республика по декрету декурионов на собранные 2.400 сестерциев соорудили и посвятили». Это — камушек, а на нем надпись. Речь о Каракалле, любителе бань. Прапрадед его Адриан подарил римскому народу свободу от долгов ценой в 900.000.000 сестерциев, что в нынешней сумме нечто вроде триллиона долларов, а праправнуку Каракалле народ пожертвовал 2.400 злотых, да и то убив его. Иду, читаю. Второй камень Каракалле: «...дорогу, ранее бесполезно вымощенную и пришедшую в негодность, на свои средства

вымостил новым твердым камнем на расстоянии 21 мили, чтобы она была прочной для едущих по ней». А его считали извергом; видимо, потому, что часто мылся.

От горчичников — гул в ушах, оркестры. Или же от голода. Ел пудинг из пшенной каши с черноплодной рябиной. Вкусная гадость. Нельзя включать ТВ, чуть что — поют. Или говорят на всю громкость бабы с зубами.

Вон родословная у Каракаллы — сколько имен, сколько сестерцев. А я?

22 май, 2

В оркестре, внизу — школьник. В цистерне — свежие газеты для обертки. Медсестра Лылова обернула в свежие газеты и облепила горчичиками. Я пел, как павлин:

— Жили-были три китайца:

Гуднайтик,

Зибенахтиг,

Бенаматик

и их папа Гийевик.

И больше ни слова.

25 май, 2

В окне, внизу — школьницы играют в классы, а на устах у них печать гибели. На цистерне зажегся неон:

НИКТО НИКОМУ НЕ НУЖЕН — ПРИПЕВ С ПЯТЬЮ Н.

В цилиндрической вазе — нарциссы, снего-белые. Кто-то купил японскую шкатулку, пуговичную. Купили: легкий портфель и туфли, полусапожки, зимние.

Я рад.

В зеркале я похож на военнопленного, высший офицерский состав, красив, куда ни глянь; тело в зените ума.

Вдел ножку в сапожку, взял портфель и пошел в ванную, из ванной в уборную, из уборной на кухню, а на столе в керамической кружке, — пять роз, колючие, сволочи, прелестные, бархат бордо, винные, бордосские! К ним бы шпагу и крест серебряный. Они не опадают, а засыхают, изящен рисунок засохшей розы, и цвет изысканный у нее, у сухой. О свежей и речи нет! Король Альберт, изобретатель сонета, писал: — Роза — жезл женщин! И это был смелый комплимент.

Прошел я коридором своим по вьетнамской циновке в комнату сквозь стеклянную дверь, а на полу две девы, посланницы дьявола,

сидят, чешут волосы, как совы, как бешеные. Только гребни свистят, как весла.

По ТВ показывают вице-президента АНРФИ, вид у него смысленый. Он говорит, что у чехов ничего не взять, кроме Чехословакии, эфиопы в сифилисе, как сифиды. — Чего ты, чего ты? — пугается диктор. А президент: — Нет плаща у меня, вот и ругаюсь, как друг. — Купят ему плащ.

У пионов лепестки опали, огромны. Хожу босой.

Рабыни И говорят о растленье малолетних детей, это модно. А есть ли дети многолетние? Или это травы?

Продают алмазы. Готовимся к борьбе. Ни одну рабыню без алмаза в мочке не пушу. А на обуви пусть носит рубины вместо шнурков с железными наконечниками.

Настала ночь.

В ванную вместо полотенца взял зеркало, без рамы. Зеркалом и вытирался, холодным и сексуальным. В космосе вошла звезда Альдебаран — сердце Быка.

По ТВ: Кладбище Северное — излюбленное место отдыха рабов-римсов.

Никто не должен спать на широкой постели — разболтается.

Всю ночь опять снятся надписи.

К примеру:

— Секундин, лекарь мулов, соорудил себе вечный дом.

— Марк Огульний Руфион, вольноотпущенник Марка, находится здесь и нет его здесь.

-- Виталис, раб Гая Ливия Фауста, а также сын, в качестве раба рожденный в доме, здесь покоится, прожил 16 лет; был представлен к Априанской таверне, людьми был принят, но был богами похищен. Прошу вас, путники, извините меня, если я вас обвесил. И прощайте.

— Луций Цецилий Флор, вольноотпущенник, прожил 16 лет и 7 месяцев. Кто здесь справит малую или большую нужду, пусть на того разгневаются боги всевышние и подземные.

— Пап, пока жил, был мил своим товарищам по рабству.

— Годовалый Луций Корнелий Дроз.

— Фосфор, скончался в трехлетнем возрасте. Фосфор — имя рабское.

— Сейю Далмате, человеку хорошему, который погиб от пожара, Аврелия Викторина, жена.

— Юлии Рестуты несчастнейшей, убитой в десятилетнем возрасте из-за украшений. Юлий Рестут и Стация Пудентилла, родитсли.

Над цистерной зажегся неон:

— **ОБЪЯВЛЕНИЕ. В ШКОЛЕ N 177 ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В НУЛЕВОЙ КЛАСС — НА 01.09.02 ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ-**

ПОЛНЫХ 6 ЛЕТ, СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ШЕСТИЛЕТОК
СОСТОИТСЯ. АДМИНИСТРАЦИЯ.

Квиндецемвир — член коллегии пятнадцати жрецов по священнодействиям и хранению сивилинских книг. Я — квиндецемвир. Все книги не накопишь и не напишешь.

По ТВ: генералы и штатские поют в хоре, стоя. Рты громадны. О чем они поют?

2 юн, 2

Чудесный день. Хоронили Ингваря Кузоева, труп несли. На Северном Кладбище золотой юн, светлые птицы, много солдат, караул, студенты в касках. Хорошо у них.

Умер Ингварь Кузоев — Император, художественный руководитель РФИ. Его несут вперед ступнями по ТВ, ноги, как у гимнаста, в кровоподтеках, еще бы — 97 лет шел к смерти, бежал со скоростью рыси во главе легионов.

Лучше, чем наяву — на кладбище. У входа скульптура Родина-мать, изображение женщины из камня, образ римского рода. На лице полные губы, боевые, в глаза вставлены лампочки, чтоб видеть в ночи. Высота 98 м, вес 590.000 тонн. Статуя производит располагающее впечатление, она не одета, воротник нижней сорочки обозначен, но тело голое.

Гремит траурный рог. В могилу кидают земли рабыни, молодые и заплаканные. Гроб не швырнули, а опустили на боевых ремнях. Во время грома и труб мы сидели в ванне с женщиной в синем, свеча горела.

Мы бросились к ТВ: хоронят Ингваря Кузоева, речей уж нет, да похороны и так сами за себя говорят. Женский оркестр, духовой, со стабильными трубами во рту играл музыку, гремящую. Все встали в круг, взявшись за руки. И мы встали с женщиной в синей вуалетке.

Пели: — О те, кто потерял тебя в пути!

По ТВ показывали и широкий план, я обратил внимание на могилы, понравились: стоят рядами лохани из цемента, в них кости плавают, из крематория. Я спросил, можно взять на память, не берут, кладовых нет. На Кладбище Северное лежит 5 млрд. трупов, не смешиваясь. Ассимиляции костей здесь нет.

Деревья спилили, стоят портреты Императоров. Чайки садятся, клюют. Что? Им виднее, они с моря. На портретах сидят по три пестрых вороны, этим не удивишь и живых.

На могилу Императора ставят бетонный бюст, прощальная песнь: — До свиданья, Ингварь, до свиданья!

Пришли танки и разогнали толпу плачущих навзрыд.

А потом — по ТВ:

Молодой негр-боксер с римсом бились в бокс. Римс ранен в нос, а негр никак не добьет, ибо добр он. В таком темпе даже мух не бьют. Негр из Венеции, потомок Отелло, что ли? Мнятся мне всюду потомки, ибо безроден, беспамятлив. Нет, он из Венесуэлы (на майке надпись). Ничей он не потомок. Зовут Поль Езус. А раба-римса Александр. Оба мальчишки, но большие. Победил наш... Почему? На ринге опять двое: негр и не негр. Но эти — живые, резкие ребята. Негр только с волосами негритянскими, а морда и бедра белые. Забавно: римс наступает, изо всех сил вертя руками, а негр отступает. Но негр этого вертиручку — бьет. Гарсиа Карлос, испанский негр с белой кровью, Куба. А белый, битый, полуримс, югослав. Пузонч Мирко. Негр мне милей, хоть он и не негр; вон ему морду губкой скребут, как коню. Потом поднимают руку: Карлос с Кубы побил Мирка с юга.

На ринге двое белых. Не разберешь, кто — кто. Оба звери, угловаты. Все в нос друг другу бьют снизу. Носам не позавидуешь с клеткой. Первый N 832, а второй N 336. Заключение. Номера тюрем носят на майке. N 832 — зверюга, но и N 336 сопротивляется. N 832 — Кошкин, СССР. Худы дела N 336. Страшно бьет его этот Кошкин, с двух сторон у рта усики. А кто ж N 336? Пишущая машинка работает во всю мощь, — Земля крутится вокруг пальца.

Сюжет 2 юн, 2 завершен: похороны Императора и бокс.

Остается отметить: какой свекольник, на три С, с зеленым луком и яйцом. Со сметаной. Сейчас буду есть уху из мороженого окуня.

5 юн, 2

Цистерну раскрыли, дают кости, — с чьей-то груди сняли мясо и дают ребра с пленкой. Грудинка? — смело и модно, но более похоже на решетки в психбольнице, со стеклами вместо мяса. Толпа женщин, берут решетки двумя руками, обезмясненные кости животного, м. б. от громадных лебедей до н. э.? Не знаю, что несут. Дают за деньги, мужчин нет, значит, это любимое женское блюдо, что-то вкусное, если в тесноте стоят и тащат домой на поднятых руках.

Берут ребра! В небе белые нарциссы и желтый тюльпан.

По ТВ хор рахитов поет:

— Бросай свое тело, в поход собирайся! — марш мертвых душ. Наполеон Бонапарт, стрелок по врагу, перед стрельбой из мортиры пересчитывал ядра в ящиках. А у певцов за плечами Ар-

тиллерийская Академия, с дипломом. Радуют душу — после войн тел не остается. А души? — о да, души, в них вновь разовьется генетика.

Я надену новую рубашку, а на день рождения — чистую, в тот день они уничтожат меня исподтишка.

О Ф. М. Достоевском я скажу одно — это Монте-Кристо со всей гадостью душевной, римской, гений пера.

7 юн, 2

Я найду чистое слово.

Проснулся Мук человеческий — я. Ночь, ночь, кормилица тел, а день — транжир. Ночь ушла, я умыт мылом МД; как в тучах, звеня под одеялами, встречаю мэтра из ремонтников пишущих машинок. Саул Рижик, раб-римс, ирландец. Руки трясутся — от утренней свежести. Я пощупал стекло. Неужто холод 5 юн, аж до дрожи? Стекло горячее. Я измерил температуру — 37,7. От такой стекло не раскалится.

Работать С. Рижик не мог, руки деть некуда. Я принес электрокамин, зажег спирали. Он отодвинулся. Тепла нет.

— Иного тепла нет, — сказал я.

— Ну да, нет! Есть! Есть!

Дежурит сестра Натэла. Двумя руками она внесла большой таки стакан с водой (по виду — вода!) и дала в рот С. Рижикю. Долго ему вливали.

— Закусить? — сказал С. Рижик угрожающе. Натэла полезла в молитвенник искать рецепт свекольника. Он уж вынул нож.

Он утер рот и всадил нож в машинку. Не до диеты!

Долго он ломал механизм. Ломая же, ел манную кашу с вареньем из стальной банки — мой обед. Недаром всю ночь мне снилась милицмейская машина и в ней милиционеры.

Наконец машинка заработала и Саул Рижик пошел под стражу.

9 юн, 2

«Человек состоит из мельчайших частиц, из них же состоит и горная гряда, и лес, и вода. Почему он одушевлен, а они — нет? И они движутся.

Мертвая вода будет лежать в земле и разлагаться, а она бежит, журчит, поит все земное — чем? мертвечиной? Нет, вода жива и живет куда больше, чем человек.

Камни тоже кормят минералом, но большей частью они стоят. Если б они были мертвы, стали б они стоять в домах? Не стали

б, у них же распад. Ребенок с годами обрастает клетками, скелет крепнет, мясо толстеет, и это есть возраст, он достигает расцвета сил. Пик. И вот идет распад клеток и человек умирает от их разъединения.

Это нормально.

Но о насильственной смерти.

Все частицы организма налажены и работают, и вдруг в грудь бьет пуля. Она пробивает насквозь грудь и сердце и пролетает в дальнейший путь. А человек убит. Это неестественно.

Это нематериально.

То есть это доказывает отсутствие материальной смерти. Объяснимся.

Многие миллионы частиц живут дружно и работают вместе в одной системе. Попадает пуля, вырывает несколько десятков, уничтожает — и весь организм распадается в один миг! Что ж связывало, что склеивало миллионы все время, если вдруг пуля в одну секунду уничтожает — что? материю? — но так мало, а что же — клей? Весь клей жизни во всем необъятном теле?

То есть пуля убивает не сердце как таковое, материальное, а весь клей, стекающийся к сердцу, его мы можем назвать как хотим: соки жизни, клей для клеток, жизненная энергия и т. д. Но мы знаем, что это нематериально. Этот «клей» — не кость, не мясо, не кровь, не лимфа, не нервы и т. д. — а это то, что держит все элементы в состоянии равновесия, то есть в жизни. Раз человек распадается вдруг и тотчас же, теряя все, значит только это было импульсом мысли и двигателем членов».

Потом я продолжу.

Розы после смерти цветут. Человек после смерти не цветет.

Ногти растут, волосы, но это не цветы. Некоторые после смерти живут, но это в веках. Или как я, но это искусственно, химия и нож весь возврат в мир. А как я живу? — сплю сидя, ладошки вверх.

По ТВ:

Сидят на стульях люди в возрасте, но без корон. Наши императоры похожи на народ — они незаметны, то сидят на стульях по ТВ, то висят на стенках головой вверх на фотографиях, лица у них в целлофане.

Продолжаю.

«Люди любят жизнь на плоскости. Она такая и есть — тот отрезок жизни, проходимый, выгибается вверх, но так незаметно и необязательно, что по сути это умозрительная хорда, сойдет за плоскость. Почему ж человек, живущий на плоскости и скудной Земле, вообразит, что он живет в некоем роскошном шаре?

Да и книги, они рождаются в пространстве, а пишутся на плоскости. Даже самые шаровидные из книг — плоски. Книга — существо времени, одна из частиц сути, но не вся суть. Но в ней много мастерства, а без мастерства сути нет. Вот почему государства, где позволили убить мастеров, дурачат низшие касты дна — рабы».

В окне горит созвездие Телец — с апреля! — и мне кажется, оно мое. А в нем звезда 1-ой величины, желтовато-оранжевый Альдебаран, бог навигации, космический лоцман. Это я был бы — если б вспомнить. Не помнится. Не вспомнить мне свой путь с жизнью. Хоть я помню ж, что в созвездии Телец (Я!) есть некая крабовидная туманность, это остатки сверхновой звезды, вспыхнувшей в 1054 г. Мои уши остры, ведь помню ж я, что это — священный бык Апис, что культ меня в Египте тысячелетия и поныне... Не знаю я ныне! Что я есть сила, созидаящая силу, что это мой фаллос создал всех животноподобных, и все ж! — Почему ж я иду в ванну, и там женщина лежит, как блестящая торпеда, я раскрыл перед ней холодильник и она пила алкогольные напитки, белые и слащавые. И глаза у нее неалкоголизованные, как магнитные волны, и противный рот. Не божественна она. — Самое главное в любви, — сказал хирург Г. Рурих, обучая меня, — это ни на минуту не забывать, что горячо любимая тобою женщина есть блудь. Чай индийский, 1-й сорт: голубой слон, на нем жокей в голубой чалме, в красной куртке, тут же минареты, все это на желтом фоне — красивая коробочка. А чай, как ячмень, пивной какой-то.

Как бы мне отремонтироваться? Перекроить бы зашитый живот... и вспомнить о себе. Я не любопытен, не вспомнится.

Вспоминаются отдельные слова, из словаря: плаководец. Кто он? Тот, кто водит плачущих, а не плачется. Тут же напрашивается: плаховодец. Ведущий всех на плаху.

Я ел шук. А теперь они не плавают, то ли перевелись, то ли пишут Красную Книгу, как я — эту.

Спрошу в ванне ту, торпедистку:

— Кто ты? Ты-то хоть помнишь, кто ты?

— Я — биохимик НИИ разведения сельскохозяйственных животных.

— Как ты сюда проникла?

— Я езжу мимо на службу и зашла к Вам в ванну.

— Вместо службы?

— Нет, со службы. Нельзя не зайти к Вам, проезжая мимо.

— Но многие не заходят! — возразил я.

— Они останутся без судьбы.

— А ты нашла здесь судьбу?

— Я нашла.

— А как тебя зовут?

— Мое имя Вам ничего не скажет.

— А мое имя?

Она посмотрела на меня, как в посмертный список, и заплакала. А я закрыл дверь, пошел пить чай. На кухне все белое, как в реанимационной, шкафчики висят рядами, холодильник источает холода, еды нет. Все идут в ванную найти судьбу, о пище не думают. Над столом висит фарфоровая люстра с стеклянными папилютками, зелененькими, она мило светит на стол, а на столе в миске лежит цыпленок, дохлый, конечно же, съедобный, если его обжарить на огне. Открываю дверь в ванную:

— А что ты делаешь в своем сельскохозяйственном животноводстве? Цыплят не жарить на огне?

— Я животных не мучаю. Я исследую молоко и пью его.

Молока нет. Никто не принес. Да мне и нельзя пить на поджелудочную железу, и ее резали нещадно, долго, как шею пилили Людовику и как ломиком били под колени Николаю. Тех-то я помню. И еще: как наклоняется врач и колет иглой в лоб, не страшно, но необычно. Почему? Ведь разрублен живот, лоб цел. А живот стал толст, шарообразен сильно, но физиономия нетолстая, видно, что были тонкие черты, без мяса. Глаза тоже тогда я видел — один как конь, другой как лань, в одной тележке бегают исподлобья. Ведь глаза — это зеркало души лишь у душевнобольных. Остальные делают их такими, как хотят. Самые умные глаза у тупиц.

Хирург Г. Рурих говорит, что живот зашит и зажил, в нем все есть. И еще: что женщин мне многовато. Я этого не нахожу.

— Ты спелся с психопуткой! — отвечаю я. Но он:

— Береги себя, позволяй хую все ж болтаться, а то он у тебя все стоит и стоит. Какой бы эвфемизм выдумать тебе для хуя? — размечтался хирург Г. Рурих, — чтоб ты и в живой речи не ругался и в книгу б про хуй с нравственностью писал.

— Пусть хуй останется хуем, — говорю я, — если уж ты пишешь о хуе, то не называй его по-латыни, а то люди хуй знает что о нем подумают. А на хуя? Все, что есть еще во мне, нужно называть своими именами, а хуй — хуем.

Ничего нет вкусней на свете, чем щучья уха и черный сухарь в ней! и тут вспомнишь Кенигсберг и Канта с его идеей называть вещи своими именами, интересно, как бы он назвал меня?

12 юн, 2

Письмо. Как и прежние — без начала, без конца. Кто-то к ножницам прикован.

«...если надо вдохновения, нужно посмотреть на мою живопись, сердце будет биться куда чаще от гордости за Э... художника!»

...я написал, в случае ухода от жизни все картины будут твои. Но я так мало делаю, а хотелось бы больше и хороших, у меня есть силы и голова, так кажется. К сожалению, я еду на хуй, чтоб совсем не спиться и сохранить силы. Я очень устал от голода и одиночества.

...это пишет хлуевый художник Э... Я написал картину Бойня, получилась вроде неплохая, вначале писал как натюрморт, перевернул холст — оказалась Бойня. Я думаю, ее можно посмотреть. Там нет затюканности, чистые краски и свежесть восприятия. Я думаю, этот холст даст тебе хорошую строку или вдохновит, и я не зря писал и пригласил тебя. Я стал меняться в живописи, видимо от хлуевой жизни, от экономии краски.

...это пишет будущий большой художник Э... Это Вам придаст силы в поэтической стороне, а может, здоровья. Я выше писал о неверии к людям, также снисхождение делаю иностранцам, как некоей сытой скотине. Я был на финской выставке, там не видел равных себе. Надо сказать всем финнам и скандинавам, что я есть авангард в одном лице — Э..., пусть они гордятся, как гордятся Э. Мунком, но это прошлое. Я — завтрашний день.

...я пишу в трудную минуту Вам о своей влачivosti жизни... У меня женская фигура идет полным ходом, скоро закончу. А остальное так хулево, что хлуево. Наверное, если б не было так хлуево, то, наверное, не был бы художником хлуевым».

17 юн, 2

В пруду плавают уточки и селезни.

И селезни — лоснятся от корма, молодые, негодяи, сильные, славные! Пожить бы еще немного у пруда... И чайки!

И голубь, насмотрелся на утку-чаек и над прудом взвывает толстый хвост, как утка, как чайка — о обезьяний образ!.. Хорошо, у пруда нет скамеек и нет детей. Построят скамейки, придут дети и уйдут птицы, и пруд будет без волн. Опошлят тополию. А сейчас она идет цветным пухом, как лебедь.

В синем небе глаза у коз и цветов. Женщина в жестком пальто несет нарциссы. И они в небе, в голубоватой, стеклянной воде увяли, цвет грязный, газетный. Пасмурно.

Молния блистает в глазу. Подошел к зеркалу, посмотрел — блистает в глазу, посмотрел в окно в небо — и там! Кто-то стучит в дверь, кричу ДА, никто не входит, а стучит. Открываю дверь ванной — никого нет. Смотрю в окно — стук и по нему. Гром это.

Капли по стеклу, как по фотопленке; все цветно-цветным. Ясно над домами, в молниях, выются они в пруду. В гранитной воде ныряют птицы. Э, я люблю эту шумиху. Может быть, от электричества, но в грозу не тошнит. Схватит дождь, если выйти. Вот выйду — и дождь нахлынет. А вы — воспоминания...
...По утрам я одеваюсь. Сам. Слути спят. Их не тревожу. Семь желтых ромашек в синей вазе!

18 юн, 2

На рынке редиска 8 млн. иен пучок, но зато что ни штука, 7 штук купили, теперь свекольник с редиской. Было 7 ромашек, я не заметил еще бутоны, 5, они распустились к вечеру (21.20). Еще молоденькие перышки чеснока в свекольник. Можно ль научить ходить льва по проволоке с зонтиком и розой в руках, как по ТВ? Можно.
Свежие простыни пахнут свежей рыбой и свежим же пивом. Аве-Аведь ходит по комнате, щиплет траву. Сосет из трубочки сок из батарей парового отопления.
Я — тот, кто живет тем, что записывает, просыпаясь и т. д. и засыпая — что было за день? Вообще — что было, не с ним. К примеру: А.-А. ушла, А.-А. пасется. Я не боюсь, но и это — иллюзия?

По ТВ:

пожилой уж художник М. М. Дубиноид рисует мясорубку, торчат человеческие руки вверх, называется «Апартеид давит». Лысый вьетнамец, тоже живописец, показывает картон: 3 голубя летят в неизвестность из дали в даль. Надпись: «Равенство». Дети в шляпах с римскими лицами на свободе, а дети без шляп с иностранными лицами за колючей проволокой. Надпись: «Детям нужен мир». И много, много рисунков о будущем.
У всех одно будущее — смерть. У всего сущего. Иного будущего ни у кого нет. Что ж так страстно стремятся к будущему целые народы и страны? Что им не терпится здесь, на земле?
Некуда себя деть. Ну и что ж — хожу по углам под молниями. Я — опиум для народа. О чем бормочет человечество?

19 юн, 2

Помылся, как помолился. Вчера свекольник был — редис, чеснок в стрелках, зеленый лук, а сегодня еще и колбаса, яйцо выпуклое. Кто-то принес скворешник для орла, антикварный. Называется аптечка. Кто прилетит, устроит в аптечке дом?

Прочитал в книге: «Он не пил ничего, кроме простой и чистой воды». Ничего себе ничего, где взять простую, чистую? Желтая ржавчина идет каплями в суп. Дальше автор пишет не о воде, по-моему, а о себе: «Как я пил, эту героинку горя знают лишь я и Господь Бог. Я ставлю себя на первое место, потому что мне досталось больше». Рассудительный. И тут же в книге приписка от руки: «РОД И РОК, читай наоборот — КОРИДОР».

Щека болит, за ней жив зуб, он не увеличивается, можно побриться. Побрился. Если зуб зайдет, я знаю, где зубодробилка. Вырвут они все, что еще есть во рту.

Опухоль сама по себе не спадает, бывают случаи синильного психоза. Будем надеяться на лучшее — вырвут, это он горел в больнице, как кинжал, во рту. Вырвут, как вырвет сердце для народа молдаванский революционер, как вырвет кочан капусты из горной гряды ночной вор-цыган и побежит варить в воде с кипятком, в костре, в луне. И оживится чело вора, когда в котле накопится пар, станет он есть сладкие стебли, говоря так:

— Сама по себе материя мертва, но проявление ее, энергия — божественного происхождения.

Но кроме кинжала во рту, какие были фрукты в больнице, как груши! А какие кошмары! Почему в кошмарах преследуют не львы, не слоны, не орлы, а — крысы! Потому что крысы не дарвинисты.

Не нравятся мне люди.

Идет море дождя. Всю ночь, всю ночь!

20 юн, 2

Я встану рано, в 11 час. Встал.

Я встал, сел в стул. Годы мои, воды мои, — утекающие.

В окне — чьи-то глаза, как из-за угла, психопатические.

Болезнь — это значит быть умным, учиться. Я и учусь, с Ю. Буква Ю важнейшая исторически, но мало изученная в алфавите. В слове Юбка что-то манчжурское. Это манчжуры Темуджина распространили юбки.

Юла — осиное гнездо врагов по-римски. Юлий Цезарь — месяц лета.

ЮАР — исконно-римские земли. Юрий и Юсуп — основатели Москвы. А первый король московский — Юбю, с двумя Ю, воспетый французским поэтом-театралом Жарри.

А какие в римском языке гениальные слова:

— Взвизгнется!

Или уже известное:

— Восторжествовать!

А ругательства, куда лучше явных:

— Ну их на кол!

— Ну их на ух!

А совсем царственное, вместо: — Иди ты, нахал! —

— Иди ты на иды!

Ингаляция: над кипящей капустой я дышу, а в ней вертится мята и трава дуралей, что ли. Запах приятный, а пар неприятный. Скоро я напишу про Аве-Аведь. Это мужчина.

22 юн, 2

Нет людей в душе.

Дежурная мед'с Метеа гремит утюгом. Сделав кислый укол, исходит с меня, как с трона, жду, уйдет. О нет.

Три мака в вазе, а листки елочные, колючие.

Метеа садится ко мне:

— Погладь меня по голове. Я хочу.

Я глажу.

— Погладь хорошенько.

Я беру утюг и ставлю на плиту.

— Тепленько погладь. Лучше!

Я беру раскаленный утюг и глажу. По голове. Ей удовольствие. Смотрит милостиво. Я дарю ей сюртук...

Тем временем она с балкона, плачет, без сюртука:

— Их бы в самую высокую тюрьму, в самую низкую яму!

— Кого — их?

— Воров. Все упрут, и сюртук, и воздушный замок, и дождь с балкона в лохани стащат, для питьевой воды. Придется Вам пить непьющую воду. Водку будете?

— Что лежит в основе алкоголизма? — спрашиваю я.

— Существует мнение определенной группы врачей, что в организме каждого человека есть алкоголь, как, скажем, сахар, кислоты, соль и т. д. Когда ж содержание алкоголя в организме недостаточно, возникает жажда выпить водки. Двое из пяти, злоупотребляющие спиртным, будут алкоголиками.

— Куда ж денутся трое?

— Трое продолжают пить, как ни в чем не бывало. Они подвергаются соблазну. Каждый из них — это потерянный для общества человек, утраченный раб, часто способный. Появление алкоголика в стране — тяжелое горе, страдание.

— А нет лечения алкоголизма?

— Методы есть, чудес нет. Лечение алкоголиков — дело не врачей.

- Может быть, и лечение меня — не их дело, вон повырезали все изнутри.
- Вас врачи не лечат. К Вам приставлен один невропат, да и то психопутка. Но ее цель — зачем Вы скрываете имя?
- Не скрываю, не помню.
- Но Вы не говорите его, и никто не может назвать его вслух.
- Зачем?
- Чтоб не считали, что Вы — Тот, Чье имя не называют.
- А я — тот?
- Не знаю. Но Ваша врач интересуется, что Вы пишете на столе — вензель, инициалы, геральдический знак? Она ж и сама пишет.
- Верлибры?
- Досье. На Вас. Это Медицинская Карта. Но это не Медицинская Карта, а досье для Внутренних Дел.
- Что это?
- Аббревиатура. МВД — Мир Внутренних Дел, НИИ по изучению внутреннего мира.
- Всех изучают?
- Всех. Но досье на особо опасных. Собственно, только на НЛО.
- Это я? Ведь я — неопознан.
- Это Вы.
- Почему я летающий?
- Летальный исход уже был, милый. Вы возвратились. Они думают, что Вы не человек.
- Кто ж?
- Объект.
- И я подхожу под эти... мысли?
- Нет. И это их смущает.
- Что их смущает?
- Секс. Вы ведете себя, как чистая особь, человеческая. После смерти Вы возрождаетесь, а при Вашем здоровье после смерти у Вас, на их взгляд, многовато женщин.
- Это я слышал.
- Я отвечаю.
- Их подсылают?
- Ну да! Сами идут, бегут, гребут! Не меньше двух в день, одна другой кудрявей. Если б не болезнь, Вам припишут сексоманию и будут лечить стерилизацией. Но все списано на возрождение. Посмертная жизнь путем секса. Что может быть естественнее? Вон пришла, как шелковая, легла в ванну и шипит, как таблетка. Пойдете?
- Потом. Если узнают, кто я, они что ж, убьют?
- Хуже. Дадут паспорт и пенсию.

— А если я не вспомню сам? Подскажите.

— Как я могу подсказать? Ешьте, любите, читайте Библию.

Я поел, сходил в ванну, стал читать.

Книга Эсфирь:

глава 1, стих 8: — Питье шло чинно, никто не принуждал.

глава 3, стих 15: — И царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении.

глава 5, стих 6: — И сказал царь Эсфири про питье вина...

Одно и то же. Я не чувствую себя в своем мире. И тут пьют, и там пили. Тысячелетия. Полистал немного я, вновь Книга Эсфирь:

глава 5, стих 14: — И сказала ему Зерешь, жена его, и все друзья его: пусть приготовят дерево, чтобы повесили Мардохая на нем; и тогда весело иди на пир с царем. И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохая. И гнев царя утих. Ветхий Завет. И в Новом Завете, вся суть с Христом. Пили в ту ночь много. И тут Иисус взмолился, увидев чашу, неодолимую, и сказал вслух: — Чашу эту — мимо, отдай другому. Иудеи злобны, — говорят, накануне казни Иисус боялся власть в запой. Легко понять их негодование, нелегко отказаться от чаши. Вообще-то у Христа много от дендизма, его лучших традиций — темность речи, выдержка одежды, посадка на осле, ученики, Марфа, моющая ноги, Магдалина, лижущая волосы, вино с утра, нагорная проповедь, парадоксы и афоризмы. Это не была заря дендизма, на заре сидел Сократ босяк, а за ним Платон, полубог.

24 юн, 2

День уйдет, останется суть дня, она в тебе, не лги. Суть дня сегодня:

— Шире шаг, шире шаг! — идут солдаты в белых шинелях; колонны их.

Вечер, вечер, дождь в желтом.

Ряды фонарей, как ножки циркуля, чертят световые дорожки. Следы невиданных — это мои, а море вскрыто.

— Самое важное — видеть и не лгать, что не видишь. В чем смысл, что орел — одиночек? Отчего живет столь высоко и не спускается ни к кому? Почему орел с орлом — не говорят? Мистика? О нет, глухота. Орлу не дан слух, почти слабый. Его молчание — это буддизм, он — буддийский монах, одетый в красные одежды на голое тело. Орел составлен весь из твердых треугольников, у него и глаза ромбовидные, двутреугольные. Он

герб чуть не всех империй и царей, потому что живых и пламенных орлов бьют подчистую, а оставляют одних рисованных. Останутся на земле три зверя на К: крыса, курица и кошка. Недаром и по ТВ, и в одиночку так панически фотографируют кинофильмы про все, что движется, так бывает перед крупным уничтожением: я тебя убью, но я же тебя и сфотографирую на века.

Как просто у Н. Федорова:

— Причины неродственности и смерти одни и те же, т. е. равнодушие, недостаточная любовь.

Ничего чище о жизни я не читал. Комментарий здесь глуп, всякий.

И еще он сказал:

— Только цель дает смысл жизни; человеку ж нет надобности искать цель жизни, если он сознает себя сыном и смертным.

Н. Федоров треугольный орел, трагик, перечитавший все книги мира, дошел в своей святости до простоты, живет и не шлохнется, до того живой. Рабам он неведом, а художественным руководителям со скалы — незнаком, а солдатам в белых шинелях, спроси их, ответят: кто он? уж не подводник ли фьордов, уж не капитан ли он первого ранга св. Августин Кьеркегор? Уж не тот ли он парашютист, майор-антикантианец, который скрестил имперфект с императивом? Не он ли считал нули в баллистике у Николая Кузанца и Сквороды? Ах, это игрок в Сократа, нищий бильбаотекарь, Петербуржец и неприятель Льваниколаевича, сына Микеланджело по бородистике.

Стоп.

27 юн, 2

Куда ни гляну — у белой скалы, у пруда, у тополи, на шоссе у светофора, у цистерны — всю ночь стоят по два солдата с собакой.

Ладно.

Всю ночь (тоже) под окном — двое близнецов, рыжие, бледно-зеленые, за плечом по рюкзаку, стоят, запрокинув лица, и смотрят в мое окно. Если я не сплю и смотрю вниз, они смотрят вверх; они не спят никогда. Собак у них нет, костюмы лиловые, сапоги, как у двух герцогов Саутгемптонских, смазанные дегтем, широкие шляпы, а на них белые шелковые ленты и надпись: «Эмигранды». Почему буква Д в этом слове? Ошибка? Или это — два дьявола? И загорится розовоперстая заря Эос.

Мне нужно много женщин, чтоб прийти в себя. Девы — это диалоги.

А мне — шлюхи с синими шкурками на ребрах. Девки мои — матросы зари, кудрявые други! Женщины, жгущие мою собачью бессонницу!

Людоядки, долгоносые дубли!

Я писал, что Аве-Аведь мужчина, говорит:

— Временами мне кажется, что я не женщина. А потом опомнюсь — да нет, женщина я. А Вы, как Вас зовут?

— Кто тебя нанял, Аве-Аведь, и на что тебе мое имя?

— Потому что Вы скрытничаете. Человек может забыть все, всех, но не себя. Он и о себе забудет, но не себя.

— Что это — себя?

— Жизнь своя.

— Дожить бы до жизни! Смотри: лист кленовый припал к стеклу, лежит вертикально, как пятерня. Книгу писать ему не хочется. Смотри: к нам идет человек с лопатой, раб первой гильдии.

— Ошибаетесь, человек с лопатой у нас означает одно: могильщик.

— Ах, Аве-Аведь, а что если тебя зовут Ньюшка, что изменится?

— Шалите!

— О да. Если у женщин колени утолщены, то это сестры. Сейчас сестры надевают на талии абажуры и ходот. Жизнь — это механизм для художника.

— Что еще в ящик? Видите ль внизу море дождя?

— Лужу вижу. Ботинок живет в луже, я снял с него шнурки. Один ботинок, один, а купается, как бутуз.

Ночь светла.

20 юл, 2

У скалы — собачья будка.

Снилось, что сердце встает, ослабло, рот полуоткрыт, и стаи ночных чудовищ вылетают из книг и хозяйничают, нет слов, чтоб загнать их. Это уж утром человек родится, поговорит и сдохнет. Хорошо жил, добрая ты душа.

У женщин нет рас, а есть окрас.

Гулял по ванной с дамой в черном, блондинкой; мы ели лепестки роз, хрустящие. По вкусу — приятнее малосолевых огурцов.

О чем же пела из уст женщина, двухцветная? О том, что чувство цвета воспитать нельзя, не зависит оно и от остроты зрения; это новая формация души.

С человека всю жизнь сходит кожа, а змея сбрасывает ее посезонно, и это считают капризом. Ненаблюдательность. Жизнь — одно из состояний, но не система метаморфоз.

Красный и белый пион в воде. Коробок спичек, ножницы и машинка.

Помылся, как поумнел. День клонится к вечеру. День чудесный, а чем? Ходит песик Мури по шоссе, римский, пегий, здороваётся лежа. Вошел в будку. Кошка Щелка ловит сразу трех мышей, хватает в зубы за хвосты, перебрасывает через плечо и бежит в низ скалы, чтобы кормить. Я и не думал, что кошки кормят котят молодыми мышами, уж все привыкли, что из соски.

Дождь, котик сидит у собачьей будки, лапу внутрь сует. С грозой пса поздравляет! Кость в бурю принес — пососать псу?

Улитки выходят на дороги, как быки с дугой на голове и с барабанами.

Я сложил руки на закате. Открыл Библию, и сразу же:

— Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою (Еккл., г. 4, с. 5).

Обо мне. Пойдет дождь.

Котику в дождь дают колбасы.

По ночам на скале сидят хозяева жизни. Ночью вверху лучше, чем внизу. Полночи ловил жука, чтоб выбросить.

Утром дал хирургу Г. Руриху кусок сыру. Прибежал он ко мне, кричит: — Дай есть! — ну и дал сыру.

Корова под солнцем ест.

Жить грустней, чем в графине джинну. Купил калейдоскоп.

Ужин: холодная жареная телятина, отварной картофель: молодой; помидор, сырые яйца.

29 юл, 2

Двор похож на Карфаген.

В луже был ботинок, он и сегодня в ней, но без шнурка, кто-то ночью расшнуровал шнурок и унес.

Помылся, памятный день; вод-то и нет в доме, ибо дом у озера-пруда стоит. Биограф Данте честно пишет:

— Каким образом Джемма, подарившая Данте четырех детей, могла стать символом божественной мудрости, я затрудняюсь объяснить. Розги созревают в роще (как и соловьи!). Я помню двор Фридриха II в Палермо. Нотарий Джакомо да Лентини, канцлер и I-ый советник императора Пьеро дела Винье — изобретатели сонета и его двух разновидностей; судья Одо делле Колонне, сицилианец, автор первой поэмы-лиро, Джакомино Апулийский и Ринальдо Аквинский — наш круг, други. И второе поколение поэтов — король Сардинии Энцо, побочный сын Фридриха II, и Стефан Протонотарий из Мессины. Пруд погибает. Иссох весь, мумифицируется. Тополя трещит, листьев нет, даже

дубовых. Да и не нужна тополя, сюжет с ней отжил. Гроза была чудовищно чистая, родниковая вода.

В небе ни тучки, ни точки. В пруду лодка лежит, как человек, с головой, на спине; лодка без хозяина.

Но и времена врут.

Хорошо б в кладовой открыть конюшню. Розги б я вырезал сам — из дикого шиповника, соль выпарил б в мешок из воды морской, арифметику я разработал бы слабую, щадящую, к примеру, за каждую минуту опоздания — 1 розгу. Вот Аве-Аведь, министресса здравоохранения меня, не идет уж 55 минут, — 55 розог, смоченных в соли с уксусом. Это вместо ругательств. Я дам ей переодеться в одиначку, чтоб женщины ее не смущали.

Еще о женщинах. Комары, кусающие — это женского пола самки. Комары очень любят сидеть на зеркалах — женщины же. Джонни Бурбон признавался:

— Бывает день, когда лучше надеть синий костюм. Пусть в воздухе нет синевы, а на улицах никого в синем, что-то внутри говорит: надо надеть синий костюм.

Дело не в Джонни, а в синем костюме. Я бы надел тотчас же, да нету. Я куплю, но их нет. Блеклоосенний я купил, но недостаточно дорогая ткань, не оправдывает цвет. Без синего же костюма я чувствую себя не в своей тарелке. Пошел в шкаф.

1 час 43 мин ночи. Много чего висит в шкафу, хоть бы синий пиджак найти и надеть. Любые штаны, лишь бы синие. Синего цвета хочу, мил мне. Я напишу эпистолу Сэмюэлу Козну, отцу нейтронной бомбы!

А в окне крути нефтяные.

С 1452 по 1518 гг., за жизнь Леонардо да Винчи, за 66 лет родилось и умерло 33 гениальнейших, исторических художников мира: Андреа делла Кастано, Грюневальд, Пьеро ди Козимо, Карпаччио, Донателло, Филиппо Липпи, Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах, Паоло Учелло, Микеланджело, Джорджоне, Антонелло де Месина, Альберт Альтдорфер, Перуджино, Рафаэль Санти, Себастиано дель Пиомбо, Андреа дель Сарто, Андреа дель Верроккио, Корреджио, Тициан, Пьеро дела Франческа, Доменико Гирландайо, Понтормо, Ерколе де Роберти, Веноццо Гоццоле, Антонио дель Полайоло, Пармиджанино, Бронзино, Андреа Мантена, Вигнола, Палладио, Боттичелли, Вазари, Браманте, Джованни Беллини, Иероним Босх, Тинторетто, Жакоб Бассано.

Ем мармелад.

Моя фигура окружена голубой мандолой, обозначающей мою божественность, принадлежность к небесному миру. Гулял, спя, по кладбищу: гробы открытые, стоит дерево, похожее на голубую

лошадь. На нем висит хрустальный октаэдр, стальной. Октаэдры имеют большое будущее, хотя число 8 не по мне. Что-то в нем претенциозное, изощренное. Четные числа — антивозвышенны, под настроение. И не читай на ночь Четы-Миней.

2 авг, 2

Не звонят в дверь, а толкутся в коридоре.

А открою дверь — бросаются, как волки, лизут руки. Я сам невзначай лизнул свою руку: соль! обе руки соленые. И пот до того просоленный, кристаллы на майке, как у коня. Конь ведь тоже вегетарианец, как я; диета. Доколе?

Жара.

Жара не дает работать.

Почему щеки симметричны? Хорошо иметь неукротимый нрав — царю. Мы кто? Мы лошади, молящиеся. Утром меркнет туман, а извне — солнце. Моюсь росой, — воды нету. Испортился насос у нас. Вчера кормил фрау Эм мясом — как куру. Чем плоха вода в пруду? Тем: плавают головастики. А караси были ль? Синие мухи носят корсеты и кружевные юбки, как из кордебалета. Кто они (мухи) — мне? Все мы друг другу никто. Где год? Ничего уж тут нет.

Сниму с колен блюдо и положу книгу.

Книга Даниила:

глава 4, стих 3: — Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен.

стих 32: — И отучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травую будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою.

Куплю хрустальный стакан: 24% пльумбум, 24% силикат, остальное стекло. Запонки серебряные застегиваю на манжетах в 23.13 — закат на исходе, а запонки — горный хрусталь, вправленный в серебро, ему нужен луч луны.

Куплю и рюкзак, цвет золотой осени, блеклый.

А надо мной — темно-синее небо, как море, из чистой меди полная луна, а внизу под ней — стальная звездочка.

Холодно, в холод в августе я чувствую себя рыбой, а до какой степени — не знаю.

Хорошо на коляске повезти 6 мед продавать, в бидонах, двух, по 40 л! Что останется в памяти от этого дня? Жасмин облетел внизу под окном, жасмин облетел за день. Остались два цветка, молодых. Их принесли мне. Я их съел.

Будильник стучит сильновато.

Весь день не шла вода.

Кровь из носа пошла. Смыл слюной. Это кто-то курил, а на меня действует, я полотенце вывесил, мокрое, съедает дым табачный, в слюне оно и в крови. Зажгу свечи, запишу. Цветок на столе повернул мордочку к лампе, я вызываю у него живейший интерес. Пахнет белым бельем. Каждую рубашку мужу — жено гладит в Заливе Слез. Внизу пьяница бьется рогами в дверь, между рогов кудри. Заботливый капитан; всех выбрасывал за борт, а корабль тонет; морс — морской напиток.

Одни боги обращаются друг к другу на ты.

Хроника Хуторов:

«Тили-тили, тесто»... Замесить тесто для первого семейного хлеба — такое свадебное задание дается невестам, а женихи в это время рубят дрова. Этот шуточный, но не без смысла ритуал совершается в местечке Юленурме. Интересная традиция родилась на острове Сааремаа. Здесь реставрируется средневековая крепость по приказу баронов-рыцарей из карьера Каарма. Небольшие по размеру молодожены торжественно закладывают в стену новобрачных.

Голубая сельдь, эмалированная! Селедку мне есть нельзя, и некому отдать. Тоже тема для новеллы. Если б написать в Газете:

— Есть селедка, одна, эмалированная, и некому есть ее! — началось бы!

Простую ХБ рубашку очень оживляют изумрудные пуговицы. Комар с ледяным спокойствием долго прокалывал кожу мою, пока я его не убил. Я убил его. Кожу он так и не проколол. В этом нет моей заслуги.

Жизнь-то жестче все ж, чем женщины.

Жизнь жестче у женщин.

Женщина Литта Грязноного.

Моя любовь к людям достигает апогея.

На скале часы еще не бьют, их привезли на танке и подняли краном. На 9-ом этаже, если смотреть с кровати, — огонь, оранжевый. Не электро, а огонь, настоящий, пламя не лампы, по балкону бегают фигуры и не поймешь, то ли они полуодеты, то ли полураздеты. Не то лунатики. Никто не стрелял.

Пламя пожара, пламя пожара!

Любишь китайца — люби и самочек возить!

На кровати я... Конечности мои, холодного копчения.

Как симпатично пахнет дыней! Дыня пахнет дыней — ах! И как невесел запах вяленой свеклы.

В некоторых районах РФИ запретили охоту на эстонцев; они

расплодился; бегает по шоссе со сверхъестественной скоростью. В Хронике Хуторов этого меньше, — древность.

По ТВ: солдат поводит бровью. Что это он?

22.40. Вода горячая в ванне. Грязная и жирная, псовая вода! Как мыться ею?

По ТВ: меццо-сопрано, итальянка, морда пропойцы.

Мы обращаемся к Богу в суете, будто Бог многосерд, многогуб, многоглаз; будто ОН всех знает.

В юности все слишком стеснительны, чтобы жить.

Почему Царь из Тысячи и одной ночи убивал наутро своих любовниц? Ответ один: он был импотентом.

Второй пример: царица Тамара бросает живых любовников в ущелье Дарьяла. Почему? Один вопрос, один ответ — фригидка. Лирик я, женоненавистник, я не топтал конем цветы.

В ванне вода смоляная.

Пламя из скалы сейчас не вырывается.

Мои лампочки ввинчивают в застольную лампу. Вот сегодня день какой-то не деньской. Грущу. Не будет больше оранжевого пламени. А может... Нет, уж поздно, не будет. Не будет из скалы огненных языков.

Пойду и повешу в ванне красное одеяло. Пошел и повесил. Жду быка. Чтоб проверить — не я ли это?

Девушка Дина Балконя принесла счастливый автобусный билет: 922355.

Белая скала оживает к ночи. В руках у сварщика звезда первой величины.

Дождь на балконе, хороший, широкий; электричество и дождь. Жара. Золотые батареи топят на убой. Бананы лежат как змеи на кухне. Голоден я.

На скале открывают часы, вспыхивают на световом табло лозунги-глаголы: ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ! ВЗВИЗГНЕТСЯ! Внимание! — 00 часов, 01 минут, 00 секунд — МИНУТА МИНОТАВРА!

Все встанут и воют.

6 авг, 2

Воспитание — это возраст и костюм. Снимем с солдата и выбросим его пули в море. Что это — солдат, у моря, в цветастых штанах на голубом заду? Если не расстреляют, то ему тут же попадется женщина, вышедшая помыть ногу в волне. Станут ли они вдвоем? Или солдат вспомнит о долге, нырнет за пулями, вынет их и швейной иглой пришьет к сапогу. А женщина? Увидев

солдата, уйдет ли в семью, откуда вышла на минутку, чтоб мыть ногу? Нет, они лягут и будут лгать, что он — чемпион по чаю, а она свободна от свадеб. Чтоб жить, в каждой стране меняй костюм, одевайся заново. А ветхие одежды сними, упакуй и отошли по своему адресу. Одетый заново, ты получишь еще удовольствие и дома, по приезде — посылку, будто кто-то заботится о тебе издалека; распакуй и развесь свои ветхие одежды в шкафу, чтоб не портились в пакете.

Говорят: бездушная государственная система. Интересно, что началось бы, если б она стала душевной.

Я вижу века, а слышу стук костюмов.

Лебеди — страшные птицы; очень уж у них человеческое тело.

14 авг, 2

Свет висит.

Чай в большом бокале, как закат; на серебряной цепочке заварочный дирижаблик, блестящий.

Аннабель Уль, из Петропавловска-на-Майне. Консервы Римская закуска. Жгучая брюнетка, как черный баран. Я не ем банки из жести.

Звенел будильник.

А. У. — романтическая персона, я мог бы погибнуть.

24 сент, 2

Новую книгу начну новым пером, а эту уж доскриплю. Екклесиаст писал мемуары дум, а я встал и за стол, я сидеть не мог до июля. Я лежа писал, и грудь полна, я писал о себе, как есть, а о других — щадящей душой.

Или я никого и не встречал? Нет встречал, но другой угол шага был у меня.

Смотрю на себя: сижу, ноги светлые, как сосновые бруски; день пройдет и этот. Трасса трезвости, свист ввысь.

Страна, где заводят друга, как танк в броне и с пушкой. Где крыло гуся похоже на отрезанное ухо Ван Гога. Где грянул грудень. Что за лекарство от людей — людерин? Где иностранцев любят, как редких собак, залетных. Есть еще зверь — иностранцевия. Это — я. — Бриться, братцы! — вот клич Петра I. А не бреется народам с тоски по ласке.

Какова доза женского тела в мужском и на сколько ее хватит?

26 сент, 2

Мои сутки занимаются, как в астрономии, как у богов — с 00.00.00.

Уже в 00.20 я ставлю на плиту супик в латке, скоро поем. Был разговор об Аве-Аведь. Хирург Г. Рурих знает ее с пеленок. Гармоничная.

Осмотрю хозяйство, не ударить б в грязь (пред судьбой). Не беден: три кастрюли — белая, кремово-розовая и салатно-серая с красным цветком по ободу. Открой крышки, в каждой по супу: борщ красный с мясом, щи с зеленой капустой и суп бобовый с мясом. Еще студень в двух тарелках, на завтрашний день. А как пахнет баранина в 00.27 пополуночи!.. Диета снята почти. Насушу сухарей, черных, положу в фарфоровую миску, пусть лежат.

Сухари сушат с перцем.

Поем, спать пора. Придумал афоризм: — Нет гармонии и в морге, — это обо всех.

27 сент, 2

Богатые долго не живут, свой срок. Нищие живут долго; они живут мало, но вечно.

С шумовой листвой березы, дыды, белокожие, холеные, толстоватые, болотные, в золотой стружке.

Ходят по лесу синие пилы, блестя.

Во дворе над прудом чайка, размах крыльев больше 1 м. Эх, младая моль! И воздух цвета молодой лягушки. Пруд мой, пруд, вдали лес воздушный. Ель — это щука, сидящая на хвосте, а я по комнате и в кухню выюсь, как лебедь.

Птично.

У пруда сидит дама, на бревне, у дуба, в черных очках и резиновом пальто; она вдыхает несоленный пар от пруда. Безсолевая диета. С кустов диких роз снимают плоды в лекарство, его готовят в аптеки, суша.

В небе что-то, чайки — белые мазки.

Вдали вол синее. Вороны чудовищные.

На горизонте синела баба. Врач Г. Рурих зашел с тростью, лазоревой, пьяный, да он всегда спиртоват. Ах, как у вора, синее у него спереди глазки. Какую бороду он отпустил, борода и алкоголизм делают человека похожим на зонт, никакой дождь жизни уж не вспугнет.

Пиши, петушок, и спи с пиковой дамой.

Я сплю. Цепенеет птенец!

28 сент, 2

Борода оттягивает лицо, парализуя мимику; бородатые круглоглазы; китайцы носили бороду из века в век, и глаза их вывернуты наизнанку, но китайцы носят и косы, отсюда и косоглазие; коса оттягивает кожу со лба, что молодит, но сужает веки. Лучшая борода — бирюзового цвета.

3 окт, 2

Снилось кольцо, золотое с кораллом, и женские руки, идущие на двух мужских ногах. Женские рабочие руки. Снилось нить жемчуга стоимостью 1.500 фунтов стерлингов. Руку вывихнул, что ли, в борьбе, во сне? Пришли четверо с отвертками и помогли вставить лампочку.

Ну их в нюх.

Дождь пошел в пруд.

Я, прижизненный, как призрак, брожу по полам.

Оттого, что было плохо, я поел дыню. Стало еще хуже. У меня — неразделенная любовь к себе.

— Если я неправ, я признаю неправоту, — сказал Корнелий Непот и приказал дать уксус спорщику.

Завтрак: сайра, сельдь рубленая с яйцом, запеченая треска. Головкой чеснок. Кофе с искусственным молоком, сладостный.

Сквозит!

Скудный ужин: лапши три ложки, морковка с яблоками. Съел чеснок с хлебом и помидор.

Ночью — обморок, двойным ударом; невзначай уйдешь в мир иной; я не против, но лучше идти, зная, куда.

Какой толк от октября?

Над цистерной зажегся неон:

— ПРИШЛА ЖАТВА, КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО, А МЫ НЕ СПАСЕННЫ (Иеремия, глава 8, стих 20).

Бог сделал так, чтоб каждый побывал на Земле в шкуре Бога /
Рабы идут по шоссе с нарезанными помидорами на тарелках — вечно и в ночь.

4 окт, 2, 04 ч 24 м

Это — сон. Я иду следом, но их след простыл — я щупаю след, холодный, никуда не ведет.

Пруд зеркальный, ходят, бряцая оружием, толстопузые голуби с кларнетом в клюве.

Каменотесы рубят скамьи из камня, — у пруда. Светлоглазые каменотесы. На скале два башенных крана вешают плакат: — МЕНЯЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ, НО НЕ ЖИЗНЬ.

Огневидная женщина О-Го, рабыня-бурятка.

Открываю второй том своей души, листаю страницы.

Ем много свеклы.

Сажу за машинкой голый, как у моря.

Вероятность существования люди принимают за закон существования. На скале сидит за машинкой раб-рубериод, ему несут стакан шипящей пшеницы, — такие у нас законы жанра. Но эти зеркала обманны. Художник живет в одном времени, а люди в другом.

Еще разоведемся так: сидит раб за машинкой, друг рыб из Лондона, палит костер электросварки, жжет шкуру природы; скала — бела; у всех шпионов ранняя седина.

От шипящей пшеницы до шпиона! К нам проник рабовладелец из Лондона и куда — на самый верх иерархических ступеней скалы.

Можно додуматься и далее, были б предпосылки, а вывод найдется и оформлен.

Говорят, море уходит, еще ушло, м. б. и совсем уйдет отсюда. Что видя рисует художник? Предмет или образ предмета? Вот разница между художником и людьми, люди предметны, художник — образен.

А реализм спекулятивен есть.

Светило шло, а еще светало. Дождь, слякоть, цветы.

Я видел Его и Он строг.

Сосна, как золотой туз трэф, ствол длинный.

Аве-Аведь, звезда утренняя! Если б у меня был женский тип лица, разве я сидел бы, как судия?

За цистерной справа, где колоннады у домов, — стоянка автомобилей. Крутые сутки они стоят, уезжают ночью. Я высмотрел: из машин смотрят закат. Приедут с разных концов Земли, открывают дверцу, садятся там, где руль, и смотрят в стекло, вроде меня, в подражание. У руля есть кнопка — это включают спецвмонтированный снизу домкрат. Машина поднимается метров на 300 над уровнем моря и лжешофер, художественная натура, нео-японец смотрит на закат, будто у нас конец света. Он смотрит, как солнце заходит в синий пруд; и дальше, в море, — огромное, лютос, раскаленное. Как стекло у стеклодува на конце трубки! Солнце уйдет в воду, как римская монета в щель телефона-автомата, смотрец заводит мотор, опускает свой зад на домкрате вниз, а солнце уходит насовсем, как азростат пылающий!

Как кукушка со своим счетом, неспроста, не проснешься, — времени нет, ночь. У пруда лодка лежит, сторожит воду, как

пес, на цепи. Холод, ты в шубе, а дождь бушевал. Дождь жмет, нажимает на жизнь. Шоссе волнистое.

Свечерело сразу, свет снизу хороший, — дрянной. Пищит птица, голубь — мой Яго.

Мне тьма мила.

Ворон у берега, как водолаз в резиновых ботфортах. У тополи в пруду стоял юноша в свитерной кофте, с льняным чубом и лил с тополи в пруд. Длинный фонтан, парабола, серебряная т. ск. звонкая струя. Больше никто не струил. Мы видим: фонтан не только взвивается вверх, но и срывается вниз. В пруду ни корабля.

Говорят книги о том, что красивая женщина не нуждается в одежде. Но, будучи нагая, она скиснет от скуки. Душа черна, как ручная.

18 окт, 2

Медсестер нет, шлют рабынь.

Снег выпал, вон он — идет.

Свистят синицы, бесстрашные. Каштан бел, сосна со свиной щетиной. — Ты пойдешь на кладбище? — спросил я Ю-рабыню. Не идет на кладбище, чтоб принести мне свежемороженую гроздь рябины. Я останусь без ягод. — Больна я! — говорит Ю. Отговорки, болезнь — не причина, чтоб не ходить на кладбище. Ходить, ездить, летать туда. Я неправа. Одумается ль? Она сказала в запальчивости, что и впредь не пойдет. Это уже мятеж. Я-то стерплю, но — против природы? Нельзя не ходить на кладбище, пока цел.

На кладбище все кладут яйца. И щебет щей — на кладбище.

Прощай, Ю. Закрою дверь свою, как дверь преисподней, на ключ. За стеной муха шумит, как море.

Дятел с гренадерской, красной суконной грудью бил штыком в окно.

Чайки бросились в пруд вплавь.

Выпал уж не первый, а настоящий снег. Как могут жить без снега индонезийцы, такие умные, пронизательные?

С крыш крупные капли.

Ко мне тянутся дети; псы, верблюды, идут караваны ко мне от цистерны. В цистерне продают землю. Все идут ко мне со своей землей, чтоб одарить. А у меня земли полно — Земля.

Запомнится это утро. Снег-снег сквозь стекла — ослепляет! Стволы отлитые из золота с позолотой, отлитые листья и чеканка их, желтая кожа стволов и листья — литые, тяжесть их. С нами снег! Лист в белом.

Старухи съедают снег... Не дать им съесть. Их три, по 55 им, пожилые; 1 — Гусова, 2 — Роза, 3 — Бетси. Из них выдающаяся чем-то Роза — голопулая, жирная, янтарный животик, красная пятка. Бетси — черная овчарка, поющая, шотландка, скоч-виски, с сандаловым телом под шерстью. Семейка.

Пруд заледенел. Тополя была и ее нет, без листьев, как без формы.

Кран уж не ходит вверх.

Не завидую владельцам красивых женщин... Некрасивых — тоже. Нужно учиться ходить босиком.

Что вспомнится человечеству воочию через 500 лет? — о нас? О нас им вспомнится Нюрнбергский процесс.

— Чем вспомнится Нюрнбергский процесс? — спросит лектор, и брат четвертого раба в шеренге скажет:

— Это был первый в Истории процесс над ню.

24 окт, 2

Пруд растаял, бурлив, все тонет в монастырской ряске.

Отчего ж бурлит пруд и пишется новая книга, не выше, не ниже, а иная ипостась?.. Сейчас достаточно быть нормальным человеком, чтобы прослыть оригиналом. Хозяйство земное — форма жизни, вот и прописали себя люди к Богу в слуги. Нужны ль ему слуги, если жить — ждать.

Дамы — большие охотницы до ядов. Дама Дояда.

Женская рука, холеная, заголяет ногу; нога на второй ноге на сиденье кресла. Вторая нога под пальто и с нее рука снимает пальто с золотым кольцом, руки ноги, принадлежащая Даме Дояда нога холеная. И по коже это видно, и по конфигурации руки, снимающей, и ноги женской, что Дама Дояда. Пальто отошло, юбка завернута, и чулок, его нет или внизу, ниже и тут от голого колена — вся ляжка на всеобщий обзор.

Зрю.

Всеобщий обзор ноги, голой до пупа — один я. А рука похлопывает ногу по ноге — рукой с кольцом, выше швейных строк и там щеки светлы, как у налива женского пола. Загар, брови, губы, лелеемые, все в коричневой коже, с шеей. Эта делает мне знак, чтоб я взял рукой ее ногу. Что ж я буду делать с ногой — тут, на сиденье? Как быть с ногой? Ногу-то не отвинтить, женщина завизжит, живая. В другой раз продолжим эту связь.

Негры ездят на такси, как ястребы.

Во дворе варят в бутылках яйца — они; приехали развиваться — ездить на такси, носить одежду. Скорлупу они любят есть яичную. Бутылки из-под молока, отварят в них яйца, во дворе, на костре,

у пруда и выбрасывают яйца в пруд, чтоб развились в воде вареные цыплята. А бутылки разбивают о фетонные камни и едят осколки, как сушки.

У травки глаза волооки.

Стакан до того пропитался крепким и сладким чаем, нальешь кипяток — и чай готов, ничего не нужно.

Всю ночь: на двух плечах бревна, ворочал еще белые с боку на бок, их бы в речку, умыть, ноги у них ожирели. Потом пылал, мылся в холоде, чистил зуб.

На цистерне типографская надпись: ОРУЖИЕ.

Продавали булки, завернутые в маркиzet.

Сколько человек-девок можно отработать за день?

Борщ требует смелости. Мажа Сухофрукт, вчерашняя, в черном жабо, как обиженная, в пудермантеле — швыряет в борщ все, что попадет в руку. Я спас утюг, веник и тряпку для трик-трака, выхватил уж из кастрюли горсть гвоздей, банку меда и карандаш МЗ — это на лету, я м. б. лишил борщ нескольких пикантных вкусовых свойств, но зато он чист и вкусен. Только что за нитку я вытащил катушку ниток из кастрюли. Нитки — ничего, тянутся, а катушка не проварилась, крепка.

Вытянул из борща пук горячей соломы.

Бублики обкусываю плоскогубцами.

Вельвет пахнет Тель-Авивом.

У любви нет алиби.

Одна посредственность относится к своей работе, как к священнодействию.

В цистерне: День Ретро — вермут, грузинские вина, мускат, хозяйственное мыло — 19 центов, сушки простые с маком, разливное подсолнечное масло.

Что умиляет мужчин в девушках? — ...

Шум, бурление, пруд во дворе разливается к ступеням. Скала достигла цифры 16.17.30, а еще не темно, светло.

1 ной, 2

Пруд чист, влажная прическа.

Цветы растут, как дети на кухне, боятся, что их выгоняют из дому.

Как дети в чужом доме.

Ш-рабыня дала интервью во все газеты, что не собирается и в дальнейшем делить со мной ложе. Как будто я — император Нерон, что со мной всякая Ш может делить ложе. Или ж это Калигула делил с лошадей Ш ложе.

Жимолость над ложем.

ТАМ — нет и нет человеческого хотя бы потому, что ты перестаешь быть человеком.

Девица, красная, как вепрь. Все красное: глаза, нос, губы, зубы, шея, грудь, кофта, юбка, живот, пуп, ляжки, трусы, чулки, туфли, лодыжки, пятки, зад, земля под ней красная, стоит она, и лужа под ней красная, поставлю в тамбур ведро для луж. Пойдут они, томимы, гремя кандалами (я о женщинах и ведре). Лежа на ложе, эта красная новь только и шла под себя. Я не стал в ответ. Взял чая и скользящей походкой — в уборную. Взял я кусок сахара, сел на железный фаянсовый унитаз и кусал.

— И Вы бросите в меня камень?

— Я не камнемет.

6 ной, 2

Сутки туза пик.

Утро белое.

Внизу: баба в красной шапке везет тачку с воблой на помойку, четыре колеса, в ящике с красным крестом. За ней идет побитый, муж в синем костюме с синей косой, и усы, как у сына Мюнхаузена.

14 ч 20 м.

У кошачьего мавзолея (см. 343 стр.) — дог, ноги, как у венского стула. Красная карамель — машина скользит в снегу. В небе — бронзовая звезда.

У горя нет исхода. Горе — это геометрическая прогрессия.

Как красиво звенит на кухне — как в кастрюле.

Теперь у нас пища — для размышлений.

Кто качает Золотой Маятник мира?

Серый рисовый день, бумаги. Нужно заводить новые цветы. Золотой Маятник звенит, дом мира одинок, нужно жить в скромной роскоши. Не хочу есть ничего, кроме красного яблока. Ем с хлебом. С этим яблоком мы и голода не боимся. Если б у каждого имелось одно яблоко! — не быть бесхлебью!

Засыпаю, а еще 19.00. Жестокий звон у жизни на краю.

Где галеты?

Внизу — старушка в толпе матросов (черных) бежит, как цветочек, аленький. Зеленые, незрелые лица — здесь. Золото маятника вверху и теплый шаг толп по полям, не знают, где звон. Что ни шаг, то штык.

Синий цвет очищает краски; если синяя лампа — это море, то она море, синее. А писать? — с языка наизусть на стол.

Внизу — гробница с отверстиями для печи (угли горят, рабы греют пиво!), четыре египтянских мазанки с железной крышей

(для жилья), одна к одной, как в геометрии. Здесь будут жить прорабы. Прораб — это предок рабов. Проехал, виляя задом, грузовик, толстозадый, он идет к цистерне, где яйцо в разлив и сметана с мутью... Проехал грузовик с расстегнутой ширинкой. Трактор за ним проехал трагедийной походкой, голос, как плоскогубцы.

Холодное, красное, отлакированное яблоко — ночь.

Кто-то идет по шоссе под дождем. Руки в брюки.

23 ч 00 м.

Посмотри в окно — выпал первый снег.

Внизу: свет оловянный, номер на нем.

Внизу ж: собака в белом, в бобровой шапке, игольчатой, прыг на освещенные колеи песка, пса вижу впервой. Лужицы жмутся водичкой. Луна в форме черного орла, лежащего в плоскости. На песках белые камни, кресты арматуры, слева выложенная из булыг жаровня, для нео-Христа. Варит в ней раб кипящие щи по ночам. Что ж, говорю я с горечью, черепаха тоже плаксива. По этому двору ездить бы татарским телегам, не наездиться. Я смотрю из окна и за мной кто-то смотрит. Из окна. Целит готовую уж стрелу из арбалета.

Притаился с бритвой арбалетчик. Да уж и дождь идет, шины на шоссе, в луже, в синей вазе орхидея, белая. Уйду от окна, приду к нему. География зеленого цвета — внизу, по шоссе ходит часовой с саблей наголо, в шелковой шляпе. Столб с лампой на слом. На жаровне нео-Христа кто-то жарит ружье. Чтобы избегнуть стрелы (пущенной!), не высовывайся в окно. Сейчас больше бьют из арбалета, пуль нет в тени; стрелок — гладконосый монгол.

Погасишь свет и уж лежишь, как в глубине трансконтинентального вагона, а в смотровом стекле во всю стену — проносятся окна планет.

И луна — как кольцо, красная.

Окно — мой экран. Варю форель. Получается уха. Попробовал уху: ох-хо! если б укропчику!

Беспричинный страх от шоколада. По шоссе — милицейская машина с двумя красными глазами на затылке, как у пьяницы. Что мне шумит, что звенит — это скребет кастрюли отроковица О. Она дышит ртом, а я холодею.

Кто-то идет по шоссе и его секут наискось.

21 ной, 2

День с тучей, темноватость. Дог в черном одет, как священник, уши капюшоном. День не колышется. Свист солнца на бис — о

роза безумья! Черный дог в капюшоне похож на ку-клукс-клановца или же на буденновца.

По грязи (погрязая) к подъезду скалы идет раб в чадре, как от пчел; на фоне луж незаметен, вот он и ходит. Может быть, это исо-ангел с золотой трубой. Болтаются косы, немолод, пятьдесят лет — возраст преступника. Холодно мне.

Хоть бы снег выпал.

Не выпал. Только солнце сверкает — сверк! сверк! — как фотограф.

У воды привкус лекарств и граната.

Образы: гугенот танцует, взлетая, как выстрел. Это Карл стрелял, как никелированная ложка. — Кто тут? — Это я, молодая девочка. Семья — как набор золотых ложек, все сволочи.

Это я смотрю в пруд и не вижу ни одного знака препинания, одни инверсии.

С цистерны сняли надпись ОРУЖИЕ, теперь висит ИНСПЕКТОР. Вывод: с оружием провал, контролируют. Все тротуары завалены трупами кур. Автобусы едут по яйцам, с хрустом.

Красное яблоко на белом, блестящем.

Красное яблоко на белом, блестящем табурете.

Закрою очи и вижу — японцы и японки едут на паровозике, ныряют на рельсы, а паровозик их давит, как дьявол.

Ковер, залитый вином, посыплю солью.

Пошлая погода. Морось. В ушах шумит. Внизу машина, красный крест на правом глазу. Медицинская цивилизация. Со скалы льют кипящую смолу. На кого ж? Штурма нет, штурмовых лестниц нет.

По ТВ: солдаты 21 ной, 2. Орденов-то, хо — как в Золотой Орде! Здесь и в домах-то лестниц нет. Если б не лифты!

Ты думаешь, само собой разумеется, что встретишься с тем, о ком мечтаешь, на том свете? Вспомнишь меня — а захочет ли он встретиться с тобой — ТАМ? Вдруг — нет?

Могут ли дети рождаться от людей? Могут и помногу.

У Петра I от Марты Самуиловны были дети: Павел, Петр, Екатерина, Анна, Елизавета, Наталия, Маргарита, Петр, Павел, Наталия, Петр, Павел.

2 дек, 2

Империя! Ночью раб-римс отдыхает от своей многонациональности. В истории римской империи жива в виде мифологемы одна женщина — Клеопатра, но она — не продукт Рима, а египтянская эстонка. Здесь едят воду, дуют в воду — чайки. Ем брюкву — римское национальное блюдо. Сырая брюква — досут

истинного римса. Рисую три розы: белую, черную и красную. И желтую. Разве ж ненормально, если человек, живущий один, — бесчеловечен?

У скалы дым, коптят смолу для ада. Под окном машина — каток, утрамбовывающий дорогу. Желтый каток, на нем кожаное кресло, как в кабинете у Гете. Помрет каток — будет много железолома. Идут к катку рабы в синих шелках, о три уха. Это не смерть, это солнце съедает. Волны маршируют.

Пруд ширится. У скалы 5 башен, варят бульон из гудрона вверх. Костер запылал, ворона встряхнула крыльями, как кудрями, и улетает.

Над печью железо-пылающей некто с кронштейном; черный рабочий. На всю скалу одна лампочка, без абажура, логичная. Самолет летит, светя хвостом, еще и самолеты летают, я вижу их в живых.

Суп из форели, все суп из форели: — зимой, в декабре.

Может быть светящийся крут, который я видел ТАМ, — это модель моего земного круга, а поэтому мне жить еще восемь лет.

Империя всегда была на границе святости, но сейчас наши войска перешли эту границу. Да что тут нового? А моя хижина — хуже?

4 дек, 2

Для воробушка на железных перилах, не едят горох.

Бывает ли женщина левша?

В странах, которые оккупируют, все становятся полиглотами поневоле.

Голуби вспорхнули, они никому не нужны уж. Баба в крапинку везет белую коляску с бэби. Бабу-бай!

В пруду лежит доска, скудна. Везде ледок, легок, а пруд не мерзнет — северянин, не сковать. Мужик-римс привез на грузовом такси фиолетовую блузку. Подушечка он, сладстена, мужик-огонь.

Персы едят каждое утро по груше.

— Сон с ней? — Сон с оно. Женщины — непьющие бродяги.

9 дек, 2

Серое солнце.

Утро серое, стекло залито морозом, потому и мутно. О как весел был бы огонь дня — хоть серо, да светло!

В Сиракузах в такие дни рубили головы, чтоб у мертвых не

осталось в памяти сожалений о солнце. В такой день казнен был Теодор Сиракузский.

За что?

Он покупал стул за 8,5 драхм. — Заверните! — сказал он им. — Мы стулья не заворачиваем. — А что ж вы заворачиваете, троны? Заверните стул. — Во что? У нас газет нет, уж не в ковер ли? — Заверните в ковер. — Ковер стоит 850 драхм. — Я не спрашиваю, сколько стоит ковер, заворачивайте, емы!

Эх ты, римс молодой. Так-то трагически он погиб.

Почему?

Теодор Сиракузский занимался проблемой: кто был раньше явлен на Эгею: элины или бабочки? Узор на крыльях бабочек — что это? Надписи свыше, указующие буквы греческого алфавита, или ж благодаря выдумке алфавита узор перенесен на крылья бабочек — Некиим? В таких размышлениях долго не живут.

Это уж в новое время запретили охоту на римсов, и они расплодились в невероятном множестве по всей земле. Где их нету? В окне стекла кривые, побереюсь.

11 дек, 2

Куда симпатичней сказать о корове — быкица.

Масло здесь для пикантности мажут сверху маргарином.

Желтогрудобархатная птичка ко мне; любопытствуя, стучит в окно. Кто это?.. Смылась.

На кухне ржавая селедка и картофель вареный в мундире, черный хлеб, луковица. Охотничий завтрак. А на сладкое кубики тыквы в сиропе. Ржавая селедка, кстати — дар Вашингтона, а тыква из Испании.

Писанья мои — арфография!

Как-никак, а взаимосвязь глаз и носа не менее важна в определенье красоты молодой женщины. Например, глаз и нос у слона взаимодействуют.

Жить можно.

Книга Амоса; глава 2, стих 6:

— Продают правого за серебро, а бедного за пару сандалий.

стих 7:

— Путь кротких: отец и сын ходят к одной женщине.

стих 15:

— И самый отважный из храбрых убежит нагой в тот день.

Дорийская мазь — вот что потеряно современниками.

— Чего ты стонешь, как чемодан?

— Я купил для ванной винегрет, винтовку и вазелин. А что к чему? Много тьмы — плохой признак.

Самый любимый напиток у древних эллинов и евреев — алкоголизм. Некоторые люди похожи на хохочущего кота.

Ветер во тьме.

— Если тебе не нравится жизнь, бросайся в пропасть.

Она:

— Еще светло.

Я:

— Что ж с того?

Она:

— Боязно.

Я — король лир.

Циан — вот национальное эстонское блюдо.

Часы ходят не в ту сторону — справа налево.

Бледноглаз! — характеристика.

22 дек, 2

Письмо. Обрезанное.

«...банальнейшее начало и захотелось (очень!) Вам написать. Мне сейчас страшно немного (покажусь неинтересной, не ответите), но выдумывать не буду и загадочную незнакомку представлять из себя — тоже. Кончила школу, теперь учусь и пока (надеюсь) меня мало все это интересует. Это о себе, чтоб Вы имели представление, кто покушается на Вашу занятость.

...Вы меня взволновали, разволновали, привели в волнение... не знаю! Теперь мне тяжело, но и наполненно. Так бывает, когда читаешь классику (зарубежную). Понимаю, слово классика употребляется дилетантами, когда они не знают предмета. Несколько имен я все же могу перечислить. Очень люблю Платона и Плотина, Магомет (знаю мало, но чрезвычайно интересует), Иисус Христос тоже нравится. Хотелось бы с Вами поговорить, потому что собственная жизнь кажется мелкой по сравнению с ними. Экая я критиканка-исследовательница! Кажусь смешной?

...Поэты говорят: — Теперь, толпа, можешь оклеветать... А что ж тому из толпы делать, кто и сказать-то поэтически не может, а злобным рыканьем окруженный, так и живет среди людей (не знаю, какие видоизменения с ним происходят и до чего он доживает).

А еще хотела спросить, какой Вы видите в мечтах женщину? (Простите за грубое вторжение.) Понимаю, что мечты на бумагу... и все-таки?

Вы можете не читать эту фразу, она есть дань моему женскому полу. И еще, да, скажу, я даже ревную Вас и понимаю, что ревновать мне нельзя, но я и не буду больше.

Я живу одна, художественного вкуса, кажется, нет. Пью чай на балконе, принимаю воздушные ванны. А что касается ванной комнаты и Вашего милостивого приглашения посетить, — то в своей я читаю литературу. Сегодня я долго буду писать Вам — в ванне (Получается: из одной ванны в другую, переливание, как говорится, простите!). Что полагается говорить много позже, скажу сейчас: — И пусть летят все вдребезги сердца! Вот какая я кровожадная, потом была другой. Или не помню, что сначала, а что потом.

...Не знаю, что меня так обрадовало. А! Понимаю, мое дело правое — любовь. Сейчас у меня каникулы, успешно сдана сессия, гудит и щелкает печь. Смешная, глупая. Я почти счастлива. Мне как-то хорошо. Я ничего не читаю, ни о чем не думаю. Нет. Обманываю. У меня есть Вы. У нас с Вами свидание где-то около одиннадцати вечера. Ничего, что так поздно? Простите. Только любовь? Хочу спросить, Вас невозможно спросить, глупо спрашивать.

Иду в лес.

Жаль, что Вы не браконьер, вдруг бы встретились. Шучу. Все шучу. Я немножко взбалмошна, непоследовательна. Исправлюсь. Обещаю. Напишите мне. Мне с Вами интересней жить.

Ах, да, вопрос! — Вы переписываетесь только с хорошенькими женщинами? Но Вы не сомневайтесь, я хорошенькая.

Я в мыслях о Вас и там же (в мыслях) мне говорят — у тебя ничего не выйдет, а вот возьмет и выйдет!

Вы мне нравитесь! Ну, а если Вы бы спросили меня (откровенность за откровенность!), я бы, пожалуй, сказала: — Мужчину не придумываю, а хочу, чтоб он был искренний, говорил правду. Про-ща-юсь.

За приглашение (в ванну!) спасибо большое, но как же нам быть с мечтой?

ХОЧУ РЕДИСКИ!

С Новым Годом, Модогмывонс!

Будьте здоровы ВЫ.

Будь здоров.

П. С. Простите за почерк. Пишу лежа и тороплюсь. Пишу лежа, как вдвоем, навсегда...»

24 дек, 2

Болен я, боги, то томит нервы, хоть я и не ем ничего плохого. На кухне: маленькая елочка, в малиновых лампочках, игрушки, цветные фанты и медвежата из папье-маше, лакированные серебром, золотыми крутами, у елочки свечи и вышитая по-римски

подушка. На тарелке лимонад, в бутылке малосольный огурец.
Плавви, мой челн, по воле вин; лодка идет, как Людовик Шестнадцатый — без головы!

Школьницы идут вниз, из юбок ноги идут.

На цистерне зажегся неон:

— РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ — С!

25 дек, 2

...И идут в снега слуги.

25 дек, 2, день, ночь и год

Ц-рабыни группы Центр носят в мочке золотую гайку, на цепочке. Под окном сцена: два матросика, пьяные, мерзли всю ночь лежа. Их подняли рабы, обчистили чешую ножами и поставили на две ноги. Те — дерутся уж! Идут на рабов стеной с поднятыми в безумье глазами! Один раб, с пленкой на щеке, упал на спину и завизжал, бия воздух ногами. Эпилепсия, болезнь божеств.

Глазки у него круглые, нос овальный, ротик овальный и сочный. Пруд покрыт холодным потом, ванная без женщин — как холодная лохань, ты, толстолицая Ц, я разговариваю с тобой из чистой человечности, а все это — текущая тоска.

Синий отсвет дня, ценою солнца полученная жизнь. Она горит ярким огнем, новогодним. Но почему?

Почему сверкает молния в щель от ключа?

У подъезда трое, как три карты игральные, стоят — головы вниз-вверх.

Царь Моав, VII век до н. э., чтоб сохранить независимость своего малюсенького государства, — сжег! на верху крепостной стены своего первенца, новорожденного — на глазах у врага. Он вымаливал у Бога победу. Царь-Враг-царь, потрясенный, снял осаду и ушел... Ночь опять, везде лампочки и руины.

Днем был звонок, я выглянул — парень. Па-раб в лохматой шапке, перс, вероятно. Кто он? Уж не с кинжалом ли? Позвонил и убежал во мрак. В коже на плечах он был. Убийца с разбитым яйцом в левой руке, и кровь яйца желта.

Двор весь вспахан гусеницами, будто со свистом прошелся Л. Н. Толстой.

Сколько орденов и медалей лежит в земле!

В 1881 г. за год до смерти Ч. Дарвин встретился с герцогом Джоном Аргайлом. Тот был научный писатель и 20 лет спорил с ученым о роли высшего замысла в эволюции. Заговорили об

изумительных взаимных приспособлениях организмов, их описал Дарвин в ранних книгах об опылении орхидей насекомыми и о дождевых червях.

— Не кажется ль Вам, что взаимная приспособленность организмов ясно свидетельствует о наличии у природы некоторого замысла? — спросил Аргайл.

Ответ его потряс.

— Да, это и самого меня одолевает. — И, тоскливо покачав головой, Дарвин добавил:

— Кажется, пора уходить.

Было много женщин, в гостях, всех и не перечислишь. И громадна была грусть.

Рыбак сидел у реки и смотрел в море.

Чтоб вытереть с груди пятно, нужна стрела.

XIX век, парижский физик Жан Фуко, 67-метровый маятник, качаясь под куполом Пантеона.

Черный список МСОП включает 63 вида зверей и 94 вида птиц, по вине человека исчезнувших с земли за последние 400 лет. Среди них странствующий голубь, стаи которого в Северной Америке еще век назад были как тучи.

Во все небо. Ангелы.

Осуши слезы болот.

Срывов не бывает в начале пути, срывается к концу. Так падают бездыханно у ступеней дома, к которому шли столько лет, с таким трудом.

Без труда и без пруда — кто это? — РЫБКА.

Коллективизм ведет к одичанию.

Ценность жизни:

жизнелюбие — пошлость,

жизнерадостность — низость,

жизнестойкость — у убийц.

Анаксимаандр:

— Всякое рождение — преступление.

Была дружба между Богом и римсом. Чашечки весов стояли друг против друга. Потом римс положил на свою чашечку гордость и упал, то есть родился, стал Я, а был ВСЕ. Вину за отпадение может искупить только смерть.

Над цистерной зажегся неон:

— ГОД АГОНИИ И ГНЕВА.

Сплю на льняных простынях, как Плантагенет!

А куда же девается прожитая жизнь?

Глиняные таблички Египта:

— ОПРОКИНУЛАСЬ ЖИЗНЬ, ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ, СМЕРТЬ СТОИТ ПОДОБНО ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ.

Отредактируется и это.

17 янв, 3

Пруд замерз, и зари над ним нет.

Скептик лед скоблит.

Над цистерной зажегся неон:

«ИСТОРИЯ НИСХОДИТ ВНИЗ. ОТ СВЯТОЙ БЕЛОЙ КАСТЫ
БРАХМАНОВ К КРОВИ ВОИНОВ (КШАТРИЕВ), К ЗОЛОТУ
КАПИТАЛИСТОВ (ВАЙШЯ), К ЧЕРНОМУ НЕВЕЖЕСТВУ СЛУТ
(ШУДР). — Вивекананда».

Живем в век слуг.

Дог в черном, в белых чулках идет и ушел налево. Уши остры.
А у женщины ночью уши были круглые. Дог все ходит под
окном, а тень — как от быка, рога острые.

Дождь зарядил в лужах; сколько лежит их, голых, вверх пузом,
дождь в пузо их бьет. Холодную надежду брось.

Просвистела пуля. Взглянул на балкон — стрелка нет. Стекла
целы, дыр в них нет, а пуля есть. Валяется, сплюснутая, в кухне
на полу, горяча.

18 янв, 3

Пруд размок; я разбит.

Напишу руководство гурманам: как зажарить цыпленка, чтоб от
него ничего не осталось. Фруктовая диета.

Стало чисто, пруд замерз концентрическими кругами; ледок кин-
жала.

Скала светло-красная и день такой же. Черный хлеб с изюмом
ем, рыбу сладкую.

13 февр, 3

Деревья заштрихованы темно-синим. Сумрак, тает, вязко. На
столе куриная ножка (напишу — ложка!). В 50 лет это уже не
человек, а летчик — вверх. Это стоит новеллы.

Д-рабьяня бегаёт по шоссе — вечерами. Почему? Потому, чтоб
не видели, как трико обтягивает полные бедра. Стесняется; ей
50; самое время стесняться мужчин, — бедрами, видите ль.
Кроме того, у нее грим, а на белые ночи — чадра. Делает из
белой темную ночь, под чадрой. Тут уж хочешь не хочешь, а
будешь смотреть. Дама-денди. Хожу, как пророк, с венцом на
устах.

В окно не смотрю, опасно. Кто-нибудь большой вклеит в лоб.
Кто-нибудь большой, как маленький, черный и ручной. Что

видно в окно? Венки фиалок, цепь центурионов, идущих по холмам в Египет? Видны стекла, пустырь, сухие розы со звоном.

19 февр. 3

Мутно, вместо мытья вытянул карту — туз бубен! На картинке: щит круглый, восемь заклепок на нем, знак бубна и лучи от пятиконечной звезды на весь мир. За щитом арбалет, у него приклад винтовки. На щите орел как перед взлетом, крылья врозь, на лапе три пальца, вцепляется, трехпалый, в щит, кричит: — Давай, улетим! Ноги, как у толстой бабы, без перьев, правый глаз стрекозий, граненый; у крыл же перья, по-моему, есть; клюв у орла, как у утки, круглый. А щит перекрещивает меч, похожий на кортик, или ж хлебный нож, но у нас все — меч. Вокруг орла — голубоватая мазня, небо.

Я дал показательный анализ туза.

20 февр. 3

Войди в дом — светает, плюнь в пол — темнеет, в душе моей — тихий год с концом.

Снег вкусный, с кислинкой.

Чем отличается белый кирпич от белого мрамора? Бедностью.

Жаль зимних дней!

На скале появилось 10 антенн. Внизу — 4 красных предмета, 4 девушки в заячьих шубах на них, сидят в стальных креслах. Это стенобитные орудия. Будет рушиться скала, падать с краев рабы. На столбах круглоухие громкоговорители, у скала черный человек ходит буквой М, начальник, прораб. Времянки на колесах, веселые и цветные, — как лодки. У прораба ноги идут как гуси, а руки как маятники. Скоро, скоро штурм!

Скоро заселят скалу.

Баба с острогой у пруда, нет это жердь. Бьет жердью, ее муж лег на лед и дышит, во льду сделается кружок, глазок и прорубь. От жаркого дыхания.

Дом-скала слишком уж башенный, как у пингвинов или у коз. Мария Стюарт, поэтесса, получив корону Франции и Шотландии и цветы, захотелось ей поделиться радостью с Марией Тюдор (впоследствии — Кровавой). Мария Тюдор, обойденная, плакала о короне. Вдруг входит лорд Букингем и приглашает принцессу к королеве; обе они в возрасте 20 лет. Правда, скидка на возраст не спасает от виселицы.

Мария Стюарт принимает Марию Тюдор по-сестрински, дает стул и говорит:

— Я пригласила Вас, сестра, полюбоваться розами, их прислали мне от корон: испанской, французской, германской и от папы Римского Пия первого после одиннадцати.

Мария Тюдор смотрит на розы. Затем Мария Стюарт широким жестом приглашает ее в розарий, нюхать — алые, черные, белые, шелковые, бархатные, желтые, синие, голубые, оранжевые, радужные. Та нюхает и Мари-Позтесса отпускает Кровавую Мэри (будущие клички) восвояси. Это был акт милости и мира.

Так казалось.

Вскоре победила Партия Тюдор. Марию Стюарт не заточили в Тауэр в ожидании помилования от коронованной девушки, нюхавшей ее розы. Та откликнулась. К уже не королеве приходит лорд Букингем и приглашает ее к сестре. Мария Стюарт спешит, тот же сценарий: дортуары, розы ото всех. Мэри Кровавая приглашает понюхать. Та, спеша, нюхает. Спеша, ей нашептанó о сестре многое.

Поэтическая натура склоняется к пышноцветущей розе, букет раздвигают, и мы видим топор. Во всем блеске и хладе. Топор для рубки голов королей Англии.

— Понюхайте это! — якобы говорит Мария Тюдор, с сатанинской усмешкой.

На эшафоте Мария Стюарт долго рассказывала эту историю, глядя в народ из-под топора, а мы слышали от лорда Букингема. Будильник бьет, как током.

По ТВ:

Актер с челкой (волосы свои) читает стихотворения, одно за другим. На фоне джон и чаек по мирному времени идут танки. Летит самолет, пушки шипят. А еще один, угрюмый, читает вслух газету о сентябре и Иудаиле. И еще четверо мужчин в твердых костюмах и с брюшком читают наизусть. Стихотворения. Дела им не найдут, мужского.

Жена вышла, живот тощий, как у псины, а рот раскрыт. Это она поет. Волосы не свои, песня о пьянстве. Рукава подстрижены, глаза вперед, ресниц нет, кипучая.

Под окном двое в ушанках пробираются по сугробам, один как птенчик.

Северное сияние от меня.

Фарфор-снег.

Кто такие Менявы?

Тонкие огромные стекла, холод, ничем не остановить. Я смотрю, как в ночной войне топчутся. Эту ж скалу посещают будущие жители скал, скалолазы. Вон их сколько. Скоро застеклят скалу и скажут — это дом.

У нас отовсюду дует.

Рабы группы Р, солдаты в белых халатах и гвардия носят по ночам красные кресты, зажженные, крича:

— Иог твою мать!

— Иод твою мать!

Это они пеан поют, чтоб подбодрить.

24 февр, 3

Чай не мешай, ложкой, ногой, ничем, от этого он горчит. Лежу, ем изюм, снег идет елочкой. Воробьи, как албанцы, прыгают по скале. Едят горох.

Океан простокваши, дети кладут кусок сахару в рот и прыгают в простоквашу; сахар тает, дети тонут. Слякоть, все наелись. Туманно.

Туман меркнет. Куриный плов взрывается на сковороде, как у Гоголя.

Дети снежных баб настроили во дворе, живые противны. Но головы у снежных белые, как ягодицы у женщин.

Лед в пруду желтый, пивной, голландский дождь всю ночь шел из шланга.

На скале висят светлые трусики — детские, и взрослые трусы — как трубы.

Три воробья на тройке коней взлетели с балкона. Улицы еще целы. Всем бы хотелось произойти от НЛО, объелись обезьяниной. Ну, произойдут. А НЛО от кого произошли, ведь от обезьян тоже?

Рабы ходят, смотрят скалу, цокают — высока, на веревках хорошие вещи. Те вещи, которые долго носят, называются долгоносиками. С-рабыня сидит, как рысь в бассейне, сверкая глазами. Я учусь их ласкать, у многих хороший нюх. Мы долго сидим в ванне, царапаясь, только б ночь не опускалась с такой неотвратимостью, как глаза, как шары.

Февраль, февраль кончается, а жизни нет.

Жизнь велика, как беда, для силы нужен вес.

Как шары, идут овцы по жизни, а луз им нет. Гибель в том веселье. А я? Смотрел, сводил глаза с лица.

25 февр, 3

Писать при зажженной лампе, если ж не зажжена — то и не писать совсем. Утром лампы всюю.

Снег — синий, генеральский, с эполетами, с мишурой на фоне

окон золотых. Поел поедом хлеб с огурцом соленным. Жду последствий. Но огурец с перчиком и укропом. Но и последствия будут с п. и у. Жду, рисуя.

Женский таз имеет форму сердца, если смотреть сзади.

Из всех президентов духовную роль ценили речные братья, высокий вид на мир, супер-ворт. Но не короли они! Уж Людовика никому не дать сцене, ни 13, ни 14, ни 15, ни 16.

Рабы танцуют на льду, как у Брейгеля, девоподобны, в черных сапогах, круглогруды. Ножки у дема жердеватые, как они по льду едут... поехали! — четыре ноги крутятся, у всех попарно. Жаль, нет граммофона с трубой и венским вальсом.

Дог в черной тройке, с белым галстуком на груди, зовут Барбосс, — с двумя С.

— А Вас? — живо поинтересовался хирург Г. Рурих.

— Вас ист дас? — сказал я.

— Вы издеваетесь, скрывая имя, — мягко заметил Г. Рурих. — Вы многовато знаете, чтоб не помнить такой пустяк. Почему Вы ночью говорили по-немецки?

— С кем? — спросил я.

— Один на один. Если Вы добиваетесь наивысшего, скажите, мы дадим рупор народа и имя выбьем на скале и польем кровь. Что еще?

— Вода и огонь, Г. Р., вода и огонь!

26 февр, 3

Пишу иглой.

Можно вышивать на бумаге узоры букв, жизнь строится у человека так, как устроен человек. Не все, что черное, то и вьется, не все вороны.

Машина под дождем на Ш. и М.

У женщины слезы — как у мальчишки, детские, золотые. М-рабыня в нежнозеленом, свирепы мы и нужность дней. Уж не умер ли я во цвете вишни?

В печи огонь красен.

— Иди, налей воду в ванну, я приду и солью.

— В чем дело?

Воды нет на двух, в морду б дробью!

Угнал я М. Ушла по шоссе — как нежнозеленая лошадь в белые снега, и телега за ней несется.

Женщины прыгают возле ванны в окно, ноги вверх летят, из комнат пар, локомотивный. Летят женщины, и вижу — спины у них балыковые. Отпет Новый Год, снимаю рыбок, петухов, лебедей.

Шли солдаты весь день.

А теперь лежат в обтекаемых касках, сидит на них орел. Побоище. На ледовое поле вышла женщина, факел, бибря рукав. Солдат выходит с поля и идет к ней, опираясь на тонкий меч.

Когда ж растает лед — летом?

Идя в ванну, я прибавил шагу.

Я мажу руки крокодиловой слюной перед сном, покрыв лицо мазью — смесь вареного ячменя и оливкового масла. На рассвете смою парным молоком.

На дне ванны — рабыня-В, лежит в воде, упивается прелестью быстротекущей, чистит ногти щеточкой, пластинками из слоновой кости полирует язык, чтоб он был бархатист, — это мне, не себе.

Веселый, я отправился на носилках. В операционную. Привезли назад. Она встала со дна, говорит:

— Дарю тебе свой рот, я твоя.

За окном фокусники, заклинатели змей, дрессировщики поросят; поющая речь греков, арабов, египтян, иудеев, мавров, гортанная речь парфян, аланов, кападокийцев, сарматов, германских варваров. Время фералий — февраль: Фералии, рог мертвых, трубы из руды, это их праздник. Выплавленная из руды труба-медь — зов, возврат мертвых. На всех могилах Кладбища Северное горят смоляные факелы. День молчания.

Душа мертвого выходит на свободу и приходит к тебе, кто ее погубил.

Мой кабинет похож на бокал со стеклом. На глаза попался меч, лицо светлело. По лугу шли несколько в фуфайках, с голыми руками, несут соус для льда. Возвратившимся с войны несут жареного павлина, а им слышен грохот железных колесниц и вой цистерны.

На цистерне, как на лафете, везут фалл из фигового дерева, идут позади.

Во дворе юноши — рабы группы Ю срезают первую нежную бороду и сжигают на углях.

Хирург Г. Рурих весь день ходит из угла, и по лбу его катился потоп. К вечеру он вскричал:

— В ванне рабыня-А, огромная, как в детстве!

Я запел. Я пою ведь вообще-то.

Хирург Г. Р. вынул соловьев, поджег им крылышки и бросил их, поющих пред смертью, — мне! Это он наградил меня, за пение!

На кухне маринованная фасоль — не кефаль. На всякий случай я не расстанусь с кинжалом и за едой, он — противоядие:

Ем, бросаю в фиал жемчужину. Жемчуг придает перламутровый блеск глазам. У двери ванной кричат женщины:

— Ты кто?

Звеня кинжалом, в ответ:

— Верный друг.

Ношу на груди кинжал. Воодушевление.

Рабыню, лежащую на дне, спрашивает рабыня А, другая:

— Как быть с телом при воскрешении? Каким ему быть?

Но ту, одну, не воскресить, ее лист обращен на север, где обитель.

По ТВ: спортсменка, одна грудь черная, другая белая. У меня в ванне таких нет.

И еще одна — обе груди белые. Какая гадость. Бегаёт, гунья.

Еще девочки, еще и груди нет, противно. Гимнастки — это извращения, на буме и на коне, монстры, недочеловеки.

О ком говорят «изредка налетал»? — ветерок? Чингиз-хан?

У маленьких ломиков тяжелая голова.

28 февр, 3

Деревья похожи на рыбок — хвостиками.

В феврале деревья без листьев, как рыбки без чешуи: они головой ушли в землю, машут хвостиками, до весны!

Кто ходит? Люди в меховых чалмах, рабыни от А до И.

Кто смотрит в спину всем живущим, как шприц — от И до Я ветры тревог. Вот ветер летит в глаз, как в десятку, прямой.

Во дворе, в земле выкопан гроб, а крышки нет, нитками будут сшивать. В такой мерзлый ящик земли положить бы штук пятьсот трупов плашмя; и положат. И зашьют сверху белой нитью, как все у нас. Золотые тужурки уже носят вместо кожаных.

Слово Дом с латинского: гроб. Внизу цементные кубы, это строители культуры делают. Придет весна, придет, и деревья, вмерзшие в землю головой, выйдут наружу, всплывя. Еще нет весны, а настроение есть: туч нет.

— О Гирландайо, Гирландайо! — поет человек в черном, антипатефон.

Он стоит на скале с мастерком, в зубах бич от лебедки, лицо пышет здоровьем дуба и поет он: — О Гирландайо, верный Орлик Ин совсем один!

Как он ярко! — этот счастливый, работающий стремглав, о, как он мажет кирпич цементным раствором, как я красную икру на хлебец, и мы оба хрустим! Глядя на этого братца на скале, я чувствую в нем текучую кровь, это артист труда, ему б золотую

звезду на шею и лучшую из рабынь Ц, умноженную на тысячу! с ножками, как поцелуй. Жаль, монахов нет.

Слишком много народности внутри скалы, монах своей декоративной фигурой внес бы элемент ретро в этот быт, и стояли бы наверху — рабочий, монах и ню в трусиках и рукавицах, и сваривая электродом швы, — О Гирландайо!

Кто всю жизнь не ищет друга? Для одних это женщина, другим — пес, у третьих библиотека, а мне мил здоровяк со скалы, у него же и на носу написан апоплексический удар. Як Здоров — его зовут. Як Здоров, князь из потомков мурзы Багрима, каменотес. Запомним его. Потому что уж близок конец книги, а не знаем, как меня зовут. Он знает мою жизнь, сталевар-высотник.

И Орлик Ин — друг.

2 март, 3

Внизу: трактор вырвал тевтонские кирпичи (из земли!) для стен, — весом 7,5 тонн, белые, замороженные. Их замешивали 900 лет назад на яйцах, сырых. Будет голод — будет запас, возьму одну глыбу на балкон, да побоятся, небось, балкон рухнет. Пусть рухнет, пришью новый.

Люнди. От людей следы на снегу, как от зайцев. Как истинный художник Возрождения, я пописал пером, взял дрель и просверлил в стенке дырку.

Скала в солнце! Соснул полчаса, встал — окна бьет снег.

Пуп мой похож на Даму Пик.

Понедельник на исходе; вот-вот и нет его. По ТВ в мире: прыгают в бассейн, валят друг друга с ног, как дуб дуба. Или вот: лег с лыжами нараспашку в снег и стреляет не в дичь, а в бревно, в распил. Финляндия играет на приз газеты Женьминьжибао — в карты. Лондон бежит в майках.

«Что есть физиономия топора?»

«Спирт за неделю». Новый диктор с идеальным овалом мыргает глазами.

Вот понедельника и нет. А был он семеркой пик по исчислению.

4 март, 3

Черный дог с крыльями на голове говорит с утра, мне, в окно: — Гав! — нюк.

У цветка Щучий Хвост ну и прическа, как у Фенимора Купера. Мокрые люди идут зимой по колее трамвайной. Пасмурно. На балконе булькают голуби, я им горох даю с руки в рот. Падают

капли свыше, не монеты. На балконе надо мной воробьи звенят, как клавиши. Что с ними?

Мне нужна пища — лососина с тротилом. Мы идем по Африке под конвоем собак мирного времени.

В круги, други! Денди и хиппи, козы алкоголизма, со скал в пропасти! Это я памяти тех, кого помню: Джеймс Джонс, Макс Хейвард, Рафал Воячек, Стахура, Дембровский, Николай Грицюк, Владимир Вейсберг.

Знал ли я вас, ведь и я из каталога, — но слушай слово Эклезиаста:

— Слова мудрых как иглы и как вбитые гвозди, и составили их — от единого пастыря.

Экскаватор с ковшом ходит взад-вперед под окном, как виночерпий. Помылся в пламени вод.

Балконы похожи на выдвигаемые ящики, в них — груз греха, вкусный компот.

5 март, 3

Био-Мать!

По ТВ показывают эскимонцев. Эка невидаль! Еще: молодые женщины прыгают головой вниз с самолета. Как самоучки! Римский солдат стреляет, поводя бровями. Над Кремлем ручки ракет. Несут покойника на блюде, на нем галстук гладкий, а из задницы огонь бьет. Покойник — старик, солдат с саблей, ус подрублен. У скалы золотят окна.

Поджарил хлеба. Говорят, сейчас весь мир ест хлеб со сковороды. Грузовик, как НЛО, проехал с бревнами, с громом.

ТВ не умолкает: танкисты в шлемах с гаечными ключами, старшина-быкоморд свистит сбор на трубе, а за ним навтыяжку солдаты с пуговицами на животе. Меж ними — девка-солдат, группы Б, видимо. Поющие песни, он, хор, застучал зубами, — дармоеды. Матросик лет 50, сытый, запекает ртом. Им хлопают дети на стульях, как головастики.

В доме вечер.

7 март, 3

Резкое солнце справа, а уж 10.10. Морозец.

— Кто лучший знаток женского тела?

— Препаратор трупов!

И еще:

— Я хочу задать тебе один вопрос.

- Какой?
— Полевой.
— Это цветок!

Чемоданы здесь те же, 840 года, с приезда Ольги к Игорю. Какие красивые таблетки делают, в обмотках. Все дикторы ТВ голодают и ждут славы, чтоб сесть под софитом читать с бумажки текст про удои и коэффициенты. Заманчиво. У цвета должна быть полная ясность, как и у звука. Малейшая муть — и все уничтожается. Подъехали солдаты, грузовик, рыцари в рукавицах, стоят на двух подножках, топоры торчат, а в кузове плещется бензин. Дом мой рубить и жечь будут? Или не будут? Вопросы, вопросы...

8 март, 3

До меня доходит, что в женщине ничего, кроме женщины, нет. То, что я их обожествляю, — моя выдумка.

Клыкастая девица в пионерском галстуке поет, поет. В честь женщин жмут штангу. Атлет с усиком пышным нервничает, схватил штангу, как столп огненный, поперек, и опаленный, уронил.

Как Нерон! Еще попытка. Не возьмет он ее, эта штанга не шутка. Подошел и сел, как на задницу, раздвинув ноги. Голову отбрасывает назад, как ненужную. Ну! Ах, нервничает, не взял.

Струнная музыка за спиной играет, это крутая лира, ди браччо. Бог в черном, Барбосс, бежит по шоссе с болтающейся, как топор, головой между ног.

Размножаются ль люди в неволе?

Я, как собака, начинаю ненавидеть безотчетно.

Пруд оттаивает. При объяснении с людьми рассчитывать на логику безумье, они не греки, не так ль, Мурк Марковна?

Вчера съел курицу весом 200 г, а сегодня Он мне дает отдых для здоровья. Слабость.

Лужи волнуются, водяная пурга. Поставил в воду ветвь и она зазеленела. Яблоки, сливы, изюм, сахар и вода — компот холодный. У стекла играют крыльями вороны. Вода в пруду желтая, как в Янцицзян. В скале живет уже множество народа, но окон нет, лазают всюду на веревках, так и должны жить в скале скалолазы. Сверху спускают в пруд джонки, люльки для езды по улицам. Что за народ живет, не знаю, в саму скалу не входят, оттуда не выходят, ограничиваются веревкой и альпенштоком. Рабы-римсы, это-то ясно, народные рабы. Но кто? Иногда в пруд летит труп, но цвет не разобрать, на балконы тоже не выходят. В апреле выну из шкафа арбалет. Была

цыганка Ла (рабыня? вряд ли!), но в том же качестве, ибо была в ванной с индусским ртом. Как красиво! Моются ль цыганки в ванне? — спросил я поневоле. Но она! — выкатила бочку меда за 300 драхм золотом. У меня денег нет, но есть труба, я отвинтил кусок золотой трубы от парового отопления и дал. Кто не знает, что цыганкам нравятся трубы злата, они их разрезают на кольца и носят, как мед. Коней нет.

Я буду подливать в ванну молодым женщинам в соку понемногу меда, и кожа у них станет персиковая, и мясо душистое. Цыганка Ла обещала принести перламутровые чехольчики на ноги. Какая умная матрона, в юбках, закутанная, немытая, жуткая с виду, но душа добрая, бочки катает со скалы на скалу.

Снилось: еду в черной машине, как во фреке.

2 апр, 3

Пруд рябит, голубой. По шоссе разноцветные лица в пальто, все в сером, вверху птица, черна, как речь пророка.

Внизу синяя машина, морская, бежит с рюкзаком за плечами на непопозволительной скорости. Дети в красном на зеленой траве, как флажки в изумрудах. Это не то что красиво, а уродливо. То есть, негармонично.

Детей беруг на руки и несут по-цыгански, а куда их денут-то? Жутко обжег палец, до визга. От ожога налей чашу мочи. Помогло.

11 апр, 3

Жизнь поет тонкий мотив, где у губ сказуемые.

У экскаватора желтая чашка, детишки вдали, бледнобороды.

Снился цветок Хуэн-Цзуна «Золотой фазан на древовидной мальве». Текст: «Осенью крепок инею наперекор. Роскошен всегда. С высоким гребнем, в парчовом оперенье петух. Ему знакомы все сполна пять добродетелей. Спокойствием, невозмутимостью он превосходит уток и чаек.

И подпись:

— Во дворце Сюаньхэ исполнил и надписал Единственный в Поднебесной».

Объяснимся ж:

Единственный в Поднебесной — император Хуэн-цзун (Чжао Цзи), он же и гениальный китайский художник, первый президент Сунской Академии художеств. Пять добродетелей удэ: бесстра-

шие, просвещенность, подтянутость, милосердие, обязательность; символическое воплощение этих качеств — петух, фазан.

Все это я мог бы сказать и о себе.

Выходит и уходит солнце, и что? — не греет, не цветное. Люди идут, но все с возвратом, чтоб идти туда ж. Есть в жизни минуты — это освещение видимого.

Солдаты в белых халатах легли, луна; лежат в грузовиках на пружинах, как раки.

А в исполинских сапогах идут рабы, ночные, переполненные.

Дойдут до драки.

А над цистерной зажжется неон:

**ВОТ И ВСТРЕТИЛИСЬ, ПОВЕЗЛО, РАДОСТНОЕ МГНОВЕНЬЕ:
ПОД ЛУНОЙ СРЕДИ ЦВЕТОВ ЧАРКИ НАПОЛНИМ СЕЙЧАС.**

14 апр, 3

Грязь серебрится.

Скоро вскроется море и я вздохну.

Воскр. 7 апр было вербное воскресенье, желтая пыль от верб. Не о ком писать. Об императорах и живописцах, о полководцах и музыковедах пишут мильон книг, а день маленький. Сяду за машинку, высуну из-за нее голову — рабов раз, два и обчелся, да и те вне эпизодов.

Рюмка с водой помогает желудку.

Трактат минского времени, Фай Жуйшен, «Море туши». Он пишет: «Важно, чтобы тушь была черной — словно лак; легкой — будто облако; чистой — как вода; расплывающейся — как туман в горах; благоуханной — словно прелестная особа в свите императора. Не ниже».

Понимаю.

О как я понимаю Фай Жуйшена!

В чем ошибка рабов? Не происхождение не дает им вершины, а не моют стекла годами, потому что не видеть — их натура.

И все ж, как божествен костюм каменщика — от начала веков: сапоги, фартук, две руки, ремешок на волосах, мастеров, раствор и камень. Образ мастера создан и целен.

В лунную ночь — цвет египетских пирамид.

19 апр, 3

Рабы — это мелкая буржуазия. Буряты — это трубопровод с Востока на Запад, по нему течет кровь 96 желтых и пегих национальностей. Рабов озолотили, и в скале работы от них не

дождешься. Да и в эротике рутинеры, вместо пыла носят детей, армиями, и выпускают их в свет посреди белых людей, мало плодных. Посреди зимы!

Да уж конец.

Конец, конец зиме-тьме, светлеет окно. Уж день куда больше, чем в прошлом.

Почему вымерли динозавры?

Не вспышка сверхновой, не ультрафиолет, их убил человек. Говорят, что еще не было людей. Кто ж это говорит? Может быть, Жан Батист Жюльен д'Амалиус д'Аллау? Нет, он говорит, что был меловой период, он начался 137 млн., а кончился 7 млн. лет назад. В мело жил во множестве динозавр-громада, и в каких-то двойку млн. лет исчез без следа. Почему? Потому, что их уничтожили люди; жили и уничтожили, больше некому. Говорят, что не жили. Но уж найдены человеки, жившие 2 млн. лет назад, — зинжантропы. А еще нашлись дриопитеки, им 10-12 млн. лет. Пока границу антропогена стоит оставить на уровне 8 млн. лет. От 6 до 70 млн. — рукой подать, жили; убиватели живого.

Ел рыбу, свежайшую и жареную, из живой сделанная. Я хочу вечно есть живую рыбу, как илот.

Уж весна во всем. Ветер идет, как ручей в окно, гремящий, донный. Сегодня днем был мороз до 22 градусо́в (!). А ночью? Штук 30 их, градусо́в, сверкает в окошко, как бриллиантик на колючке.

27 апр, 3

Всю ночь мылись и бились низкорослые женщины, как татарские лошадки. Я книга, я пишу ее — новая, у нее нет ни достоинств, ни недостатков. Был генерал Левенвольде, подъехал на машине, в шинели. Вынул свою военную книжечку, а я: — Проходите, генерал Левенвольде, в кресло, у Вас ко мне разговор ведь. Он спросил, как я догадался, кто он. Он был польщен тоже; а я сказал, что 4 млрд. людей не могут додуматься, кто я, а мне-то уж чего проще знать, кто он, исторически. Он сказал, что мною интересуются военные атташе Америки, Франции, Италии и др. дипломаты. Что я отвечу? Я выразил удовлетворение. Генерал сказал, что сейчас тяжелая внешнеполитическая обстановка. Я встревожился. Он то бледнел, то краснел, — невропат. Я отпустил его, заверив, что все решится в пользу РФИ. Но он не отпускал. Он говорил об империалистических разведках. Я и не знал, что есть еще Империи, я был убежден, что мы — первородцы. Но я помалкивал; потом долго думал. Затем я попросил погладить

его мне 5 рубашек. Разделение труда, — сказал я, — я стираю, вы гладите. Он в недоумении погладил их рукой. Я объяснил, как это делается. Он вспыхнул, но упрям: — Уйду в отставку! — сказал он. — Поглажу, поглажу и уйду!

И погладит, и уйдет, двойная польза.

Это хирург Г. Рурих, шлет на Всемирный Совет.

28 апр, 3

История — это искусство.

Ее пишут д'Арвин и д'Артаньян. К примеру:

«Девонский период. Расцвет панцирных рыб и кистеперых. Появление новых семейств плеченогих. Энергично развиваются тайнобрачные растения» — д'Арвин.

Ч. д'Арвин был поэт, а его сунули носом в тарелку Академии. Я вижу полчища, новые и новые — рыб, плывущих со щитом на спине и с мечом в руке, и китайских императоров — кистеперых, рисующих быстро-быстро кисточкой и перышком в расцвете девона. Кто, стилист, не склонит голову к правому плечу, читая: «Энергично развиваются тайнобрачные растения». Чья фантазия не дрогнет от догадок? Чего не пишут, в Медицинской Энциклопедии есть: «Горная болезнь — своеобразное страдание». Афоризм, и ни слова. Или ж в учебнике той же страны, охваченной д'Арвинизмом: «В 1568 г., стремясь обезглавить аристократическую партию, испанцы устранили Горна и Эгмонта». Обезглавить — оставить без головы. Без головы были оставлены Эгмонт и Горн, графы. Их партии ничего не сделалось, здравствует по сю.

Эти поэтические неточности-то и приводят к тайнобрачным союзам, цель которых — обезглавить. Поэтому столь высоко союзы держат штандарт д'Арвинизма. Три мастера, у которых Дух Божий, и три, от которых трясется Земля:

| | |
|-----------|------------|
| Платон, | Аристотель |
| Леонардо, | д'Арвин |
| Шекспир, | т. Алстой |

Дух Божий — открыватель мировидения, свет, сфумато, полубог. И это Платон, Леонардо, Шекспир. От которых трясется Земля — это люди, мастера, претенденты, вместо духа у них разум, а вместо стилия (сфумато) — скола, схоластика, реализм.

д'Арвин — главный претендент на мировое господство, и им тяготится История. Уж человечеству грозит не мегатонная бомба, а эволюция.

Некоторым кажется, не доберутся. Как сказать — сейчас под штыком 500 млн. солдат в белых халатах, каждый восьмой, на касках у них вензель ААА, у них подошвы тяжелые и револьвер дальнобойный, в чехле шприц с инъекцией, на поясе у левого бедра, чтоб вынуть правой рукой и вонзить шприц в ход Истории. А уж потом напишут.

3 май, 3

Множество юных под окном, в руках гитары, поют вполголоса, как онанисты. Среди них в центре круга — девушка, в шинели, а грудь, если смотреть сверху, — в разрезе колыхается. Это я вижу, а что, если б она сидела, а у ног, на полу (каменном, с ковром у меня)? Было бы лучше и ей, и мне, и поющим юношам (им-то уж все это и ни к чему).

Дни проходят, а тучи еще не прошли. Жить мне не дают. Брось рюмку в море. Луна блестит, как окна Земли. Тела убитых убирают в Землю, чтоб она была чистой, будто б ничего и не было.

Из ванны идет девушка с лицом, как у одноногой. Эдипов комплекс.

— Кто ты?

— Я — ребенок с руками мужчины.

— Как тебя зовут? — спрашиваю.

— Папа! — ответ.

— Какое дурацкое имя!

— Имя как имя, — злится она. — У Вас и такого нет!

— А что у тебя в руках?

— Свекла. Что с Вашим лицом?

У свеклы хвосты, как у мыши.

— Нету личной жизни в моем лице.

Не будем горевать об этой.

Не бездушие, а неодушевленность времени.

Скалу начинают заселять иностранцы, кажется. По внешнему виду это одетые в штаны буряты и литовцы. Кто-то из них.

Кто будет столь же знаменит после космонавтов? Звездочет.

Размахнусь я на ссору всерьез, но с кем? Вспоминаю о чем-то и о ком-то — как ничего не было и никого нет. А что-то было, что-то было все ж. Были годы и воды. Прошли, утекли.

Глиняный день, с желтизной. Два мальчишки в гимназических мундирчиках швыряют в пруд палки и банки. Швырнет палку и ныряет за ней, несет в зубах другу. Швырнет банку и катается в ней, как в пироге.

13 май, 3

Скала в белом, а над нею много голубого.

Не идут с дудочками антилопы. Что такое антипотоп? Это без воды.

На кухне — колбасы, ножки свинок, студень, орехи облитые сиропом, младочеснок. Не еда.

И это б стерпел, но нет ветра! не дует в окна, а из них в угол, а в углу б живой жандарм был бы, как Эжен Ионеску, носороговат.

Но и его нет.

О Ассур, жезл гнева моего!

20 май, 3

Оделись в пиджаки, а как же, холодит. Девушка вдоль улицы, ноги, как бутылки с розовым вермутом, как у свиньи, молоденькой, неопаленной; пьяным-пьяна. Где шьют белые брюки? Отчего все ходит ко мне в белых брюках и у всех брюки — надеты? Желтая собака внизу, как сосна. Подошла к подъезду, Скорая Помощь, флаг — скрещенные кости. У подъезда машут ей руками — до скорых встреч!

Толстяк бегом, марш-марш, руки рикошетом отскакивают от брюха; толстяк наливается кровью.

Синее небо, башенный кран и водяное окно! Дома поднимаются вверх плоскостями, как бы падая. Гаснут окна.

По ТВ: девушка с толстой шеей. Интересно, казнь — это наказание?

Почему здесь не хватает бумаги? Потому что здесь все живут только на бумаге, иной жизни у них нет.

Трое мальчиков с велосипедным колесом бегают вокруг пруда. Его зароят, его не станет. В пруду уж есть остров, на нем белка живет, с хвостиком-колесиком, зубы у нее, как у буйвола, круглы.

Белки — прототип Даниэля Дефо, а буйвол — Альфонс Доде. Сирень цветет, желтой акацией. Пахнет. Простыни бело-влажные, нео-пододеяльник, трава изображена с ромашками. Мило.

А в пруду едет рыбак в надувной лодке, весла широки и коротки. Для нежно-салатных трусов еще холодно, и рыбак в бурке. Это по ТВ вчера утешал дочь:

— Девка ты красивая, безногая, все на тебя смотрят, кому-то и приглянешься.

Заводить друзей — множить врагов.

Ужин: твердокопченая колбаса, зеленый лук, сыр швейцарский и малосольный огурец, хлеб, апельсин, чай, печенье.

Летит воронье перо в окно, новенькое.

— Что новенького?

— Перо воронье, пушкинской поры.

По радио поют песнь: «В нашем притоне пьют вино». Ложусь спать.

Лень зажигать ночную лампу. А, ладно, зажгу утром...

Вина фалернского нет!

3 юн, 3

Жизнь сквозь стекло.

Не Я виден, говорящ, тепл, но — сквозь стекло. Хорошо смотреть, думая, что никто моего стекла не видит, что я изолянт. Все видят, изо нет. Если передо мной стоит ТВ и я смотрю в экран, смеясь над ним, то почему ж в мою дурную голову не придет, что в этот экран работники ТВ смотрят на меня, не посмотрятся? Так и есть.

Первым это понял Леонардо, но то был век Высокого Возрождения, поэтому в стекле он видел не изоляцию, а защиту. Он уж работал над таким составом, чтоб покрыв картину, защитить ее тончайшей пленкой, истонченнейшей — от профанантов. Чтоб как лак, но не лак, а щит. Лак растворим, а стекло живет долго. Но Леонардо отвлекся и изобрел подводную лодку, а к ней водолазный костюм. Смотрю в окно: сейчас такое стекло не сделать, времена не вровень с талантом, да и техника не та.

Сквозь стекло жизнь не проникает, кричи — не кричи, в открытый рот никто слова не скажет.

Ливень с громом. Взвесь свое мясо и спроси у стрелки, сколько ты уже весом; то-то тяжко. По ливню плывут лодки, весла как лапы. Людей нет, да их и нет в действительности. Молния бьет пылающим ломом, выдужим! Не дрогнет дуб, о, если б после грозы — зарю! с голубеньким, с ходьбой в шляпах и юбках, с стрелой Амура! Эдгар По:

— Когда я плавал в море, воды в нем не было.

А вот еще хлеще:

Жан-Мари-Матиас-Филип-Огюст Вилье де Лиль Адан, новелла: Муж застаёт жену с любовником, берет нож и отрезает ему голову. Гасит свет. Обнаженная жена склоняется над трупом, плачет. Муж из-за спины щекочет ей пятки, она хохочет до упаду!

Французская фреска.

«Самьяк-самадхи» в метафизике синоним полной невозмутимости. Это я. Я ем листы из серебра, танцую на углях. Ни одна новелла мне не нова. У женщин и у собак одни привычки: если провинится в чем-либо, то лижутся.

Параллелизмы:

Леонардо считал, что легкие Земли — в Италии, в Венецианских бухтах. Достоевский в Мценском уезде слушал ухом русскую душу, это сердце Земли. Что ж. Ведь и у эллинов орел терзал печень Прометея, и это была Грузия, печень Земли. А один философ-эстет говорит о тех, кто идет с топором из угла в угол планеты, рубя на пути жизни: «Это двигатели двигателей, это соль соли земли». Это эстет Ч. о террористах.

— Жизнь приходит и уходит, Людмила Льдовна! — поет Герман Плоешти по ТВ.

Он одет в синее.

— Боюсь я в юбке в жизни цвель! — отвечает Людмила Льдовна, поя. Если присмотреться, то тех, кто поет по ТВ, намного больше, чем тех, кто хоть словечко смог бы вставить меж этими голосами.

5 юн, 3

Кто?

Питер Брейгель I. Воспоминаний нет, внешность не сохранилась. После смерти осталась его вдова Мария, с нею два сына. Мария — рисовала. Теща Брейгеля, мать Марии — известная миниатюристка Майкен Вер-Жюльст. Сыновья — Брейгель Адский и Брейгель Бархатный, с именами. Из семьи Брейгелей вышло 26 живописцев.

Сам же Питер Брейгель Старший, Крестьянский знаменит тем, что первый в истории мировой культуры написал портрет т. Алстого во весь рост, за плугом, см. холст «Падение Икара», слева пашет, это т. Алстой. Ходил в юбке на шее, выше колен, мультимиллионер, ел траву, в руках вязальные спицы, учил псарей нотописи и стихосложению, рост низок, с бородой — бледно-лиловой. Женат, имел 16 детей. Из семьи т. Алстых вышло 169 беллетристов.

Леонардо да Винчи. Редкий рост для итальянца, выше всех, вьющиеся волосы (по спине), золотоборода, с лирой ди браччо в руках, серебряной, в виде лошадиной головы, сам делал; ходил в коротком красном плаще. Шахматист, антилюб женщин, легкоатлет, здоров, бездетен. Леонардо да Винчи не знаменит, он равен богам.

7 юн, 3

Если все обозримые планеты необитаемы, то Земля и есть Бог, а все на ней — атомы Бога.

Цель материализма — унижить.

Земля — это голова Бога, туловище же составляет Млечный Путь. А наши души, живые и мертвые — это свет Земли, нимб. Да и свет звезд Пути — свет душ, вот они и неисчислимы.

Хозяин ста миллиардов звезд диаметром в двести двадцать тысяч световых лет — это уж не Бог, а НАДБОГ.

И это ОН — непостижим.

13 юн, 3

Детектив:

— В 9.13 он вышел из дому. Денег при нем не замечено. В нарушении правил уличного движения не замечен.

В 11.27 вошел в парфюмерный магазин «Роза Болгарии».

В 11.29 вышел из «Розы». И тут же упал. Денег при нем не замечено. Никто в него не стрелял.

В 11.30 подъехала «Скорая помощь» и увезла. Пули в теле не найдены. Следов ядов нет. Все органы в норме. Запаха нет. Ноги чистые. Денег на трупе не найдено. Голоса нет. Пульса нет.

В 12.00 назначен к трупу терапевт для наблюдения.

В 21.00 — он вздохнул.

В 22.00 — второй вздох.

В 23.00 — вздыхает.

В 24.00 — спит. Трубка во рту не обнаружена. Денег нет.

В 9.10 утра — просыпается. Полковника не узнает. Следов пьянства не обнаружено.

В 9.13 выходит из клиники. В груди что-то клокочет. Следов слева нет.

Как раз в 9.20 по отвесной скале полз человек. Без веревок и альпенштока. Мы оба смотрели с интересом — я и хирург Г. Рурих, еще и Аве-Аведь, психофобка. Они от меня опять не добились, вот мы и смотрели втроем в окно.

Нужно отметить, что к этому утру скала достигла 36 этажа, то есть низенькой не назовешь. Этот (кто?) лез быстро и гордо, будто он гвоздик, а стена магнит; он, не отваливаясь и не летя головой вниз. Мы смотрели, смиренны.

— Вот, Аве-Аведь, — поведенье! — сказал я. — Лезет, будто он из чистого золота!

— Это с похмелья, — сказал хирург Г. Рурих. — Магазины

открываются в 11.00, вот он и коротает время, будет лезть до 11.00. А потом сойдет.

— Но он может устать и упасть, — возразил я.

— Не может, — сказал Г. Р. так просто, что я понял нелепость моих опасений.

— Столько сил! — сказал я. — Он идет по скале вверх на четвереньках, как император. И никто не смотрит! Как будто это обычное дело!

— Да уж! — сказал Г. Р. — Взгляните левее.

Левее по скале, столь же отвесной, лезли вверх не менее тысячи рабов-кирпичников, скала буквально кишела ими!

16 юн, 3

Холод разразился ливнем. Кто будет? — он идет, густой, гостевой, угол 45°. Шторм. Я бездыханен. Я дошел до приблизительной сути — бессмертия.

Ожидая девушку, я куплю бутылку коньяку ей, как гренадеру. Коньяк — напиток дубовый, ветренный; пойло из рюмочки чистой; она выпьет и пойдет в ванну, и будет лежать в воде, как в жилетке, без нижнего, с глубоким вдохом, чудная дочь земных племен. Резкий упадок сил, сон, пусто. Был, и ливень.

Солнце зайдет и зашло. Белый стакан из малиновых роз, дикие, эфирные, с запахом колотого сахара; шиповник — цветок библейский.

Не пишу, стакан в белом, футляр стеклянный, из широкого жерла вверх — алый цветок с одеколоном Роза Зари, лизни, насладишься. Цветы похожи на книжки, в которых рисуют рыб (гладкие).

Ливень был многоводный, голубой. Есть рай вдали, где молния бьет синим, где девушка-гренадер с заступом в яме — стоит, как Иорик, и поет по нотам; гнусно. Чтоб стричь головы бутонам роз — моему стакану проз. Метафора и маньеризм ходят, близнецы, по ниточке, и куда ткнуть ногу, не пасть, это мы знаем, пока еще жизнь — жилетка.

Сколько уж женщин лежало в ванне, быстро вертаться. Включая воды гор. и хол., регулируя пыл сердца, и вдруг им — как ВЗВИЗГНЕТСЯ. Вот оно, рождение метафоры и смерть манер: если в тело молодой бэби-герл со школьной скамьи всадить вертело и крутить ее в ванне со скоростью бури, что она крикнет в лицо року? Как фильм об Офелии, светясь волосами, кто, цветочный, дал ей ось земную, и лопнули полные губы этой нивхи — мы воочию убедимся.

Кто выше женщины, иди же ниже, о брось сей абсурд. Может быть, она и есть самая высокая в том, что ниже всех.

У мужчин срок бесконечен, у женщин срок женственности — 40, за ним один позор, если ей нет остановки.

Метод изотопной радиографии.

Исследование 102 скелетов древних женщин современного типа, живших в эпоху верхнего палеолита, дало: 59,3% — погибли у костра в возрасте от 21 до 22 лет; 24,5% — погибли в бою не старше 14 лет, примерно 10% погибли на ложе любви в возрасте от 15 до 20 лет. Ни одна из женщин не умерла своей смертью. В древней Греции в период поздней бронзы и железа средняя продолжительность жизни женщины составляла 18 лет, в Риме к началу н. э. — 21 год. Как нормально!

Парацельс, врач, черный рыцарь, зверь, думал в трактате о жизни женщины в 6 столетий. Шарлатанство.

Роджер Бэкон, академик, считал: силы науки продлят жизнь женщины до 1000 лет. Подумать об этом страшно.

Но о кое-ком из мужчин читать симпатично. Библия сообщает — Адам жил 930. И жил, ибо вокруг — его потомки. Енох жил 905, Ной 950, Малелеил 895 лет. И это правда. Иначе и ничего не было б на Земле. Откуда ж люди? Они должны быть от одного корня, т. к. от множеств рождаются множества, чем больше плодородие, тем ближе гибель.

Человек-здоровымысл не усомнится в библейских сроках. Да и примеры повседневно. Классик долголетия английский крестьянин Томас Парр (17 век) прожил 152 года. В 120 лет он во второй раз женился. Умер он за королевским столом после обеда, уж Англия умела чествовать своего долгожителя. Он перепил. Великий врач Уильям Гарвей, вскрывший этот организм, не обнаружил старческих изменений. В 1797 г. в Норвегии на 160 г. жизни умер Иозес Сурингтон, норвежец. Его старшему сыну от первого брака было 103 года, а младшему 9 лет. Норвежский же моряк Драккенберг прожил 146 лет. Женился на 111 году. Шотландец Генрих Дженкинс прожил 170 лет. Один из его сыновей умер в возрасте 139, другой 113 лет.

Лед долбить трудно, скалу сверлить еще тяжче, а на ледниках нет жареных козул с луком, но в первую же археологическую экспедицию с размахом, по примеру Трои, обнаружат, что «колыбель культуры» не южная жизнь, а нордический ром здоровья.

Люди белой кожи после Библии не написали ни одной книги — равной.

18 юн, 3

Снять скальп лесо-водо-гор, земную кору, что под ней? — Подкорка, чистый разум, императив. Огонь.

Мы идем, идем, пылая, к ядру.

Я помню свою смерть и брошенный мною труп у взлета, его-меня охраняли бригады матросов в белом с ножами, а солнце всходило 2 раза в день, оно красило кистью стекло (оконное) фиалкой, церковной, пел хор в двигателях византийских мантий: пурпур морской. И обливало меня жидкостью солнечной, пот, пот. Тело не то чтоб отнялось, а жило — не моим, незнакомым и забытым, члены — эмпиричны. Я не объяснил б, где большой палец (руки, ноги?) — не пуп ли он, а где нижний отросток позвоночного столба, копчик, мизинчик, наперсточек, сосок с остреньким? Матросы (ибо под своды) говорили по-латыни, я рад, некоторые по-римски, не понимаю. Я видел тело (свое) в виде Римской Империи (сверху), но голова — не Рим, а Пиренейский п-ов, а вся-то Италия — Рим, Три гостиницы, Аппиева дорога. Стоп. Прошло 46 лет по смерти Цезаря, — стоп. И вот уж 33 со дня Рождения Христа.

Лодки — это Рим периода расцвета, при, но без Христа есть народ и нету народоучителя, жизнь замкнута, а потому цельна. Конец личности начинается с шага, он ширится и идет в другие народы, культ дробится в культуру. Там, где все принудительно грамотны, там поэтов нет, а где их нет, там начало распада языка, а то есть гибели народа, Рима.

19 юн, 3

У моря девушка идет, одета в белые листья из ткани.

Чисто ритмизованный стиль прозы — обречен, он утомляет на большом пространстве, а на малом выглядит чуждо и вычурно. Не идут ведь в бой прогулочным шагом. Ритмы прозы в ином, как у Ксенофонта — это шаг и песнь, центр книги штурмуется, как несметные вражеские окопы, — шаг, полный рост, штык и песнь. Вот чего боялись варвары — греческого шага когорт Александра Македонского, Великого, Божественного, и его пеана, это сокрушительно действовало; в последующие времена шаг назван психической атакой, но он неповторим. Атаки захлебывались, потому что вторичны. Даже высокоразвитые персы неслись вспять от ритмичного, бешеного пенья греков и эллиноидов. Шаг войны был возведен в искусство, а потому войны те — освободительные.

О девушке, убранной, затканной белым листом, — идет по

воде, не поя, и больше на воде нет никого. Поздно. Вечер светел. В море лодки. Много их; ходят своими путями, ловят ветры. Одна пойдет в Рим ночью, вторая взлетит к Ра, чистому; третья лодка сдуется с волн в вечность и с ней рыбак с разбитым лицом, с белой повязкой на правой ноге на лодыжке, в повязке спрятаны деньги, примотаны к ноге, с ними он хочет уйти от угрозыска на смех курам — в тюрьму; а четвертая лодка, одна-одинешенька, издали из-за кривизны стекла похожая на баркентину Сириус, вот она-то и ходит у окна с ружьем и палит из пушки, всех людей пугая летящими по городу ядрами, на флагштоке белое полотнище, на нем дегтем: «КАПИТАН ШАЛУН ЗАУМЬ».

Капитан Шалун Заумь. Запомни его.

А в шхуне Рожь Иванеску с лентой на хвосте пинает ногой пакет, отказываясь платить за него багажную квитанцию. Пока пакет не завизжал — это был сын Рожи, завернутый. Сын не Божий, чего орать, если в шхуне детей в свертках возить нельзя, как и собак.

И о сыне вспомним, он — завязка интриги.

Юн, пляшут в шляпах, едят зрелый картофель из котла и стреляют из ракет — в окно. Я болею все меньше, все больше я здоров, хожу много по комнате, культура римского шага. Сирень-черемуха! Дожди сливаются с над морем в пески, желтые, морские.

Культура римского сада. Уживчивость римлян с рабами и плебеями. Угощение товарищей. Кормление бедноты. Суд над солдатами, если трус, без ханжества в военном деле, никаких орденов и медалей, платят чистой монетой; за отвагу и ум платят деньги, а не дешевку в виде позолоченного бубенчика на грудь — дураку.

Сколько римских войн! — и ни одного имени простого солдата — за всю Историю. Не это ль величье духа римского народа, немелочность, несуетность его. Это скоту в награду вешают бублики, шуту еще. Рим платит наличными, сутью — деньги и земля, то есть дом и свобода.

А тут и дом стоит, собаки нет.

Павел, святой апостол, светоч, в послании к Тимофею-брату, в Лидию, Грецию, о рабах: (глава 6, стихи 1, 2):

«Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести.

Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья».

Комментария нет, письмо не возникает в пустоте, в нем об истинном положении рабов и господ, о котором уж не пишут во всеуслышание.

Море стоит высоко и горизонт поэтому высокий, выше, чем осенью. Вода залила все отмели и косы. Желтый песок у дома уходит в морскую воду.

На шоссе раб-электрo, нос как негатив, вынул из кармана штиблеты и полез на столб, руки-ноги как с когтями, выпущенными. Сел; пусть посидит. Машина стоит на подножках, как солдатский сундук, как салатница, из нее головы, штук множество, не сосчитать. Так и торчат.

Дети висят на балконах, как сосульки.

Вороны летают с тяжестью в туловище. В море много силы, солнечной, и в бурю, и это с тоски. Радость и не даруется свыше, она ведь — верность.

Верность жизни. Чего я жду?

20 юн, 3

Рана на животе затянулась, тоненькой кожей, человеческой. Выйду к окну, а дальше не тянет. От слабости? Не так уж слаб, нашел в кладовой гирию и поставил у стола; писал и невзначай за гирию рукой хватался и подбрасывал вверх, то за дужку, то на ладони; тешился.

Пишется; увидел чайник, пишу — вижу, увидел серебряную ложку, протянутую мне, в ней море, а над ним буревестник — и тоже пишу, вошел в ванную, вижу в ней Нонну, лечу к столу, пишу о ней. Потому я и о гире пишу — есть гирия, вынул, бросаю, камуфляжную, и пишу про это. Как реалист.

А получается: садясь в кресло, обтянутое фанерной кожей, я по методу-реа смотрю и вижу на гире цифру 16 кг и знак умножения на 2. А под этой формулой, помельче — 32 кг. Это я в 32 кг играюсь; не поверил; понес на кухню двумя руками и между ног, как следует нести тяжесть — тяжелоатлету, если верить ТВ. Я ставлю гирию на весы: 32 кг. Тяжек и сам, но слабостью не отнекаться.

22 юн, 3

Медленные дни, весной быстрее. Редкий вечер проходил, чтоб не вылетали 2-3 девицы из окон, со скалы, вниз, весной. На камни. Внизу — они вставали и шли вверх. А кто не мог, шли вниз, в землю, в могилу, и на Новый Год, помнится, 31 дек, 2, из окон вылетали залпами, как снаряды. И т. д., я не справочник по сексомании, да и забывчив.

АРВИТ РООНКСС.

Хроника хуторов.

Древнеэстонская рукопись, цитирую, да она довольно известна — древним эстонцам. О птице Хлое Тервист.

«Из всех птиц — одна живет на дубе, ест соловьев. В дуплах прячет хрустальные шары, желтенькую ложечку и каску от пуль. Соловей поет, а Хлоя Тервист схватит за хвост и ест, — как зубная щетка! А рот моет мылом Вээ и пускает мыльные пузыри. Живет одна, боится детей, Раймо и Сильви, дети — люди века, нечем пугать.

...все меньше у эстонцев женщин в соку, уходят в леса. Сидят там на пнях и сосут золотые часы фирмы Пауль Отс, с тремя золотыми крышками. Почему? Пауль Отс, мультимиллионер, часовщик из Тарту из презренья к золоту швырял часы в ведро с соляной кислотой. Женщинам пришлось покинуть родину. Пауль пьет. Эстонки любят страшное».

Отрывочные сведения.

Дождь отвесен, как стена, то есть идет как стоит. И вдруг обрушивается всей водой в море и нету его, ни капли, а по небосклону — угол голубой.

Солнце заходит, золотой таз, музыкальный.

Рыбы состоят из концентрических кругов; ем. В зеркале вижу два рта — рот мой и рот рыбы (на вилке!). Круг луны, грустя, строг. Ранняя луна, медная и кружащаяся.

АРВИТ РООНКСС, рыцарь орденов Вуали и Льва, летописец 6 эстонских королей, прожил 87 лет. Его тома неперевоимы, древнеэстонский диалогичен. Кто с кем говорит, я объясню после. Хроника Хуторов, том 4, глава 19:

«Закрой эту книгу, прочитав эту фразу.

... поет петух!

— Здравствуйте, я здесь! Это дача фру Эл? Позовите!

— Ты — Ева?

— Вы догадливы.

— Догадливы! Ты гола, в руке яблоко.

— Я в юбке, в руке саквояж и я не девственница. Где фру Эл?

— Она пасется.

— Она на холмах... с животными? Ах, кто — кони? буйволицы?

— Почему у тебя такая длинная физиономия?

— Сейчас мода на длинные лица.

— А если будет мода на груди 1 м 45 см, пойдешь с гирями?

— Была, ходила. Почему Вы меня на ты, ведь я Вас на Вы, а Вы помоложе.

— О Дева-Ева! Помоложе! Мне 14, а тебе 40.

- Почему Вы меня на ты, мы ж не познакомились.
- В нашем языке нет на Вы, мы все говорим ты, как Царю и Богу.
- Но ведь мы говорим на нашем.
- Мы говорим на вашем, но думаем-то на своем.
- Позови хозяйку, я сниму дачу, я заплачу! Я люблю климат! И скажу: ходить в плавках и с голой грудью с утра — неприлично девочке, молоденькой.
- Я бреюсь, с утра, как татарка.
- Назовите фамилию.
- У нас нет фамилий.
- Может, у Вас и дня рожденья нет?
- Число есть, дня нет!

Полдень. Кот стоит, как хвост. Энно ходит открыто, живет на яблоне, в скворечнике, свободная, сушит щук и плавки. Окно в скворечнике в потолке, туда играет на круглой лире, в звездную жизнь; автор грубости; мать Хильда, отец Август. Хильда — молочница, Август — бургомистр.

Пчелы стоят, шепчут. Дроздов мажут красной икрой. Смородина с медом. Яблоки спеют — как вишни! Юность без границ! фру Эл смотрит на Деву-Еву, а та:

- Какие у Вас белые розы, редкостные! Как бирюза!
- Это жасмин.
- Позовите фру Эл!
- Тут сто холмов, на них сто хуторов, но свой я не сдаю.
- Извините! Ах, вы — фру Эл! Вы в вязаном вся, из овец, как модно! Мне приглянулась Ваша дача, я люблю ее!
- Это хутор!
- Вы так выглядите, у меня есть кремы. Я ведь не сама, у меня письмо от Друга... у нас с ним...
- Не знаю друга.
- Друга с Полярного Круга!
- Дайте саквояж.
- Я сама. Я истосковалась по климату. Я страстно люблю ванны в воздухе. Я хочу отдохнуть душой и телом! Я сейчас же пойду в лес!
- Ходите где хотите, но не в лес. Не ходите в лес!
- Почему? В лесу хвойный дух, земляника с вит. А, аромат грибного супа! Вон он лес, вдали, добегу. Я хочу в лес, фру Эл!
- Не ходите в лес. Это ЕГО лес.
- Кого — его? У нас нет ничего, а все у всех. Кто — он?
- Сто хуторов, а нас тысяча. ОН одиннадцать лет был с нами, и вот ЕГО три года нет. ОН сказал: «Не ходите в лес. Это мой лес». Мы и не ходим. Не ходите и Вы.

- Он сказал «это мой», а до него это был тоже чей-то лес? И вы ходили?
- До НЕГО это был тоже ЕГО лес. Не ходили. Но мы тогда не знали, что это ЕГО лес, а теперь знаем.
- Он запутал, не бойтесь! Я скажу всем, помогут! Как его фамилия, имя?
- ОН жил с нами.
- И вы не спросили, как зовут?
- ОН в суконном плаще, сером, с тремя металлическими пряжками вместо пуговиц, в свиных башмаках, с пряжками. У НЕГО серые волосы до плеч; вились.
- Он киноартист? Я их знаю, у них у всех волосы!
- ОН был с нами.
- На какие деньги? Он не говорил... о полиции?
- Утром ОН ушел в лес, до вечера. А в полную луну шел на холм и стоял, один, долго.
- Он ждал гостей? С неба? Он космонавт? Я их всех знаю... Этот серый плащ, а под ним? — скафандр?
- ОН не носил часов, не ел мяса.
- К слову, у него и женщин не было?
- К НЕМУ приезжала одна с белым пуделем, говорила по-немецки; потом приезжала с черным пуделем и по-французски, но и та уехала. Я думаю, это одна и та же.
- Или две! Почему они говорили? Почему приезжали? Уж не супер ли мен он, не агент-индекс?
- ОН был с нами.
- Сколько ж ему было лет? Хотя бы!
- Тридцать семь!
- Когда он пришел или ушел?
- Всегда. ОН одиннадцать лет был с нами, и вот три года нет. ОН ел яблоки.
- Итак, он пришел 37-ми, жил одиннадцать, плюс три — ему 51!
- ЕМУ 37.
- Бабушка моя, болит и болит! Ах, телега, много дней трясло. У Вас симпатичное оконце на чердаке! В ней уют?.. Я сплю!
- Там — ЕГО этаж.
- Но ЕГО нет уж три года, марки есть, не кому-то, а ведь Друг — Полярный Круг.
- Там — ЕГО этаж. Утром ОН шел в лес, а жил там.
- На чердаке?
- Наверху.
- Что он там делал? Перпетуум-мобиле? Мегатонную бочку?
- У НЕГО был октаэдр, и ОН смотрел в окно. Октаэдр — шар, хрустальный.
- Шизофреник?

— Ваша комната справа от входной двери, ключ на гвоздике под выключателем. Не ходите в лес.

— И твердит, и твердит: не ходите в лес! Кольцо в двери, лес мне желанен... А если я — пойду?»

23 юн, 3

Душа человеческая одна и ясна, друг мой, а жизнь — это на ней мундир.

Пойду в лес хоронить часы, нашел на кухне, в ведре. В пустом, вымытом до блеска ведре я нашел и вынул их, состояние хорошее, только об стенку раскоканы. Стекол нет, стрелок нет, циферблат гнут, но часы шли. Заводятся.

Дошли до точки, суточной и стоп, как полагается. В этом есть зловещее. Кто разбил часы, в моей кухне? Чтоб разбить свои ручные часы, нужно дойти до многого. Во времени.

Чтоб ударить об стенку время — с ручным ремешком — нужно знать, что время есть, оно твое и его нужно разбить.

Но я пишу языком оратории о том, что делается повседневно. Скажем, субъект ЭН, флотоходец-матрос Сарданелл Кефальчук войдет вечером в свою кухню и сядет за стол. Что далее? Лампочки нет — над ним, и не ввинтить, потому что лампочек вообще-то нет. Что станет матрос Кефальчук ввинчивать в пустой патрон, чтоб все запылало? Он снимет часы и ввинтит.

Далее.

При слабом свете циферблата с тусклым стеклом матрос увидит у домохозяйки пустое, вымытое до блеска ведро, схватит за верх и подвесит к патрону. Блеску станет больше, но свету не прибавится. Электрификация не та. А часы из патрона выпадут в ведро, а ведро станет у домохозяйки, наполненное часами. Тут подойдет время и мне выйти на кухню, найти часы.

Труп матроса уж, видимо, сожжен.

Я поискал след от удара — часами о стену. Сколько наслежено тут, что как отличить удар копьём от удара мордой об стенку — девушки в шелках? Нет такого способа. Да и к чему след? На какой след может навести след от часов? — на стене?

В окно: дог идет, гудя, на колесах.

27 юн, 3

Похороны не состоялись.

Часы в ведре, П-рабыня пошла в лес, их не хоронила, за неи-

мением мертвеца. Время звенит в ведре, — говоря напыщенно.
Рабыня П:

— Муравьи унесли тот, старый муравейник и на обломках строят
новый мир.

— Что мне до муравейника? Кто он?

— Кто-то сжег год назад, а муравьи опять строят.

— Слушай про Р, П-рабыня! Ты совсем от рук отбилась, при
чем тут, П ты П, — муравейник?

— Но часы хоронят в муравейнике. Лучшие дни своей жизни
раб-римс проводит в муравейнике, сидит в нем на заду.

— Хм! А часы?

— Если уж хоронить часы, то где ж?

Логично. Муравейник и Время. Возвышенно!

Но что тут возвышенного? Уж лучше в ремонт и с новыми
стрелками, отрихтованным циферблатом, с музыка-боем — сло-
жить в никелированный спец-гробик и схоронить в глубь мура-
вейника. Как фараона в пирамиду. Но это еще хуже, я похороню
заживо отремонтированный механизм.

Но почему их нужно хоронить? Выбросить их в ведро, и все.

Но они в ведре.

Вынести ведро в мусоропровод и выбросить часы из — в! А
муравейник?

Не нужно метаться. Помойся.

Хожу, как хищник, из комнаты в комнату, мытый. Помочился в
баночку — медсестре, моча, как у мечтателя — чистая.

Есть хочется. Я люблю линей.

Побрислся к ночи в зеркало, смотрю, антилюбуюсь: нищ я, Господи,
как ночь!

Кто-то сказал, нищета — еще не доказательство гениальности.
Ем яйцо. Супик молочный с клецкой, кусочек колбасы; помидор
в стакане помыл, но есть не стал. Свежайший окунь! запеченный
с тмином!

Гастронавт — я!

Что делать с часами?

Нести в лес во второй раз или забыть? Вот что я сделаю: возьму
гвоздь и вобью в стену, а часы повешу на гвоздь. Или же такая
комбинация: возьму часы и вобью их гвоздем в стену. Но пра-
вильнее так: я возьму гвоздь и вобью его в стену сквозь часы.
Вывод: часы вешать на гвоздь глупо, зачем его тогда вбивать?
Вбивать гвоздь сквозь часы, взять за здорово живешь и вбить
часы гвоздем в стену нельзя. Если есть два объекта: Часы и
Стена, то часы можно только прибить к стене.

Идеально!

Арвит Роонксс, внешне он был похож на женщину, но много убил. Женолюб, ходил в серебре, взял штурмом знаменитую крепость Роонксс, отсюда и титульная фамилия, барон; первый советник 3 королей из б. Был послом в Великобритании.

Хроника Хуторов, том тот же, глава 27:

«...улитки выходят на большую дорогу с духовым оркестром за плечами.

...Аполлон дал ей лиру, круглую, из панциря черепахи, Энно в саду, задрал нос, как дрозд, поет:

— О чем ты, Тервист? Уж не лягушка ль в глаза попала? — Нет, эстонки ушли в леса, золотолюбки! — Не плачь, Тервист, не плачь вновь! Чего плохого? — Купил рубашку, как ружье, неделю выбирал, а надел — рукава не стреляют, пуль нет, Энно. Молкнет. Низко летит кабан (над садом!), светлощетинный, нос медный, звонкий.

Меднозвонкая труба — нос!

...Корову под солнцем зовут Райя. В ней молоко, девятый вал, белое. И Август с Хильдой пели, затем смолкло. И раздался душераздирающий крик: Август бил Хильду по мозгам. Это так: после сауны наденут чистую ткань с пуговицами, выпьют алкоголизма и пошли кулаками, как в Великобритании. Эстонский байронизм. А потом едят свежую редьку со спиртом — из потных и тонких эстонских стаканчиков 200 г; выпьют, откусют кусочек стекла с краю и антивозбуждаются, мир. А ликер Агнес, граненый, с незабудками! Но они любят, ходят на холм смотреть закат, он в шляпе, она в косынке.

...Месяц как бык прозрачный. По шоссе международный автобус в снопах искр от фар, космическая карета, желтая, из двух вагонов, связанных гармошкой, в автобусе кресла, обтянутые кожей, и люди, окна светятся по-домашнему. Но он остановится, если ты хочешь уйти отсюда.

...И ночь, новый день, скользит по воде отблеск, алый и быстрый.

...Всю ночь пели мужчины песню ада.

...Очнулся Пауль, голос, бресь:

— Проклятье Прометею, что дал огонь, люди б не курили! Герберт, сын фру Эл, дай лодку и полотенце, я поеду в пруд-море после бритья и, моясь, утопну. Бедный Пауль, мечта миллионов! Я готов, Герберт! Где графиня? Я здесь: свидание со свиньей? — Ты познакомился с ней?

-- Я познакомился с ним, пятьдесят лет тому. Имею честь познакомиться и тебя, Герберт, и с ним же: Пауль, милый друг алкоголизма. Поклон-поклон!

— Она пошла в лес?

- Паулю не нужен лес, ему нужно одно — пять пуль в лоб.
- Где Дева-Ева? В лесу? Очнись, Пауль! ведь ты брит! Ей нельзя в лес!
- Одиннадцать лет приходил мой друг, и вот его нет, три года. Он не придет, кто-то его предал. А придет ост в медицинском халате и включит фонарь! Ножи в ножны, Герберт, строим скалу с луком!
- Ты пьян, Пауль! Придет! Слышишь — это поет первый петух мести, это куют молодые мечи.
- Кузнецы куют молодые мечи, но эти мечи — малы. На холмах — фонари в железных шляпах, смотри. Этот народ не имеет числа здесь.
- Но ОН найдет новый народ.
- Мы-то? Да ты послушай, как мы поем: то три К, три М, а то три Н. Манерно!
- Я, Пауль, пойду, похлопочу о драке. Дева-Ева!
- Простите, Пауль, в мире бездны зла, я отдохнула; матрас из пуха подушечек, штучки, мне сладко. Пауль! любите ли Вы людей? Я — очень!
- ОН говорил: если кто-то тебе говорит «я люблю людей», — убей его, это убийца! Это говорю Вам я, Пауль из Тарту, ремонтник времени, богач.
- А вы вправду миллионер? У вас большая семья?
- Я бессемейный миллионер.
- У Вас что ж, извините, — миллионы денег? Как Ваша фамилия? Почему Вы — мечта миллионов?
- Мечта миллионов — бессмертие. Я починил столько часовых механизмов, что сплюсуй время, восстановленное мной, и получишь как раз — бессмертие. Поняла, Нелли? — Сентиментализм.
- Я Ева. А ведь Герберт, кто он? Я ж не знаю ваших биографий.
- Герберт дояр.
- Вы говорите в прямом или переносном смысле?
- Есть корова Райя и руки. Что можно переносить? Только ведра с молоком, Энно, что ты споешь?
- Я спою: «И куда я задевала зад Ваала?» Я его... Ева?!
- А ведь и не знаю...
- Я его за-ин-три-го-ва-ла!
- С Вами я лишусь дара речи!
- Можно лишиться того, что имеешь, того, чего нет, лишиться нельзя. Ты без-дарна, Ева.
- Пауль!
- Я не готов!
- От всего сердца я — Вам: не церемоньтесь! Человек интересен не внешностью, а внутренним содержанием.

- Милая мадам, я брит, красив и галштух, а с внутренним содержанием как раз хуже. Не то что пустота, а... ненаполненность.
- Мало читаете поэзию? Эмоциональный стресс?
- Пятый бокал. Пауль становится людьо после 7.
- Не ел мяса... Мир ест мясо из синтетики, а тут свежесть корма, везде климат и мясо чистейшее! А он не ел... Животный белок...
- ОН не ел мяса, но когда резали овец, ОН пил кровь.
- Как... кровь... пил?
- Из горла у овцы! — ртом! Кровь живу!
- Он — вурдалак!
- Овце шнуруют ноги, кладут на стол, ножом режут горло; кровь; подставляют железную кружку и пьют. ОН говорил: кровь жертв не цеди, а пей живой!
- Гадость и бесчеловечно.
- Вкусно, с солью. ОН говорил: это радостный ритуал. У Энно есть песня о НЕМ «В крови рек жив один нож!»
- У вас оружие? По закону нельзя.
- У нас хутора и овцы, и ножи для овец. Убьем и пьем винцо.
- Он пил вино? Он — пропойца.
- О нет, мой милый друг не пил винцо, ОН пил алкоголизм. Иногда. Тогда ОН был светел и со всеми. А не пил — шел в лес и на холм, и ждал; в полнолуние. У НЕГО было такое лицо!
- Вот именно, какое хоть лицо-то у него было? А, Энно?
- У НЕГО было лицо, как у принца... или убийцы.
- Вы влюблены в него?
- Я была мала, все целовали, а ОН — нет.
- Ах, всех целовал, ну, как это у пьяниц? Хорошенький принц — в 51!
- У, убожество! Ты и по лицу-то — полицейский! Ну, чего ты суешь нос, что все выясняешь?
- Энно, нельзя. Вы озлоблены на весь род человеческий. Откуда Вы взялась?
- Ты — не весь род человеческий, а я не взялась. Запомни это, законница.
- А ведь, Энно, я не злюсь, но очень Ваш он меня за-ин-триго-вал. А вы что ж, и не родились?
- Может быть, и не родилась. ОН пришел, прошло около года, и фру Эл нашла сверток у Голубого Пруда.
- Мне смешно от Ваших волшебств. А вы не его ль дочь?
- ОН говорил: ЕМУ нельзя иметь детей.
- Так он и не человек? Да он не мог, у вас и женщин нет, может Вас подбросил кто, с автобуса?
- У нас не подбрасывают.

— Цыгане? Аист?

— Уйди, утка! Я ведь и дать в грудь могу, мотыгой! О! Герберта несут, двое, на носилках! Забинтовали! Ну как похлопотал о драке, Герберт?

— Ох, хорошо!

— С кем это он?

— Ваал, Ева, с Ваалом в трик-трак бились!

— Пауль! Седьмая рюмка! Он в норме, он готов к диалогам и интервью.

— О, муравьи делают курган из стрекозиных черепов, вынимают глаза и ставят в обсерваторию, в них много стекол, и у одной-то их ужас сколько! Стрекоза смотрит в мир сквозь 86 хрусталиков. Муравьи застегивают крылья, выхватывают из озер стрекоз, садятся им на спину на стулья и летят в муравейник. Туша ж разделяется (уже убита!), крылья — дар Императрице, чешую — головастикам в пруд, ноги сушим на зиму в кладовых, а глаза идут на нужды мореплавания и астрономии.

Рыбак Альберт приносит рыбу и парит ее — в сауне, с веником! Рыба-Линь! Тервист, Тервист! — поет Энно.

4 юл, 3

Меняется не Время, а термин, Царь у ассирийцев — пастух. О живящем знают лишь те, титаниды, людоеды трапез из водевилей эволюции. В Архангелогородской губ. в 1754 г. нашли кость (поморы), обоз Шевалова привез ее в С.-Петербургскую академию вместе с М. Ломоносовым. Осмотр, и результат точен до смешного — кость — это человек, рост 34 м. Это был голеностопный сустав, его уничтожили через 163 г., при подведении итогов. Но кости есть в Сибири, на Чукотке, за Полярным Кругом у Друга, — кишит костями, уж есть тазобедренные, лопатки, берцовые, позвонки и межчелюстные косточки. Рост человека, жившего в эру до ящеров и при, — 34 м. Вопли восторгов о великорослых НЛО — 3 м! — карлики, вырожденцы еще тех миров. Рисунки на скалах со всеми их загадками, что не дотянуться и великоваты, — это он рисовал алмазным перстнем и не вставая на цыпочки. Потом он вымер, ибо убил животных и съел друг друга, затем из глубин вышел д'Арвин и построил новый мир из людей более маленьких и животных поменьше. Скука, скука за такой минискрок эволюция от 34 м до 1 м 50. Уж не наказание ль это? От саблезуба-махайродуса до котика-хвостикомвертика? В пылу полемики мы и акулу произведем от кувалды. Жизнь на Земле — палиндром, читай наоборот.

Звезда потому и звезда, что мы ее любим. Не люби ее — какая она к черту звезда?

Звезда — это замкнутая в себе система атомов гения.

Волна — светлый свод.

Все путаю ручки у женщин: то ту возьму, то эту. За неделю луну не видел ни разу.

Небо мне не любо.

Простая поющая жизнь — как печь.

Острый угол совести, я черчу круги своя.

Свет мне не мил.

Муха. Убил и отрезал голову бритвой «Жиллет», вот и Мертвая голова, знаменитость, и среди бабочек и у дивизий.

Нужно ль шоколад есть по утрам, или ж его пьют для бодрости? Не забыть выпить стакан. Потом: застегну шубу, поправлю боевой шлем (меховой), руки в сторонку, как крылышки у цып-таб, и как овце-ворон из комнаты в ванную топ-топ, свист воды душевой над головой, уж столько раз описанной; с замысловатостью.

Рейтузы; море пылает, как поле медных труб.

7 юл, 3

Читка взятяжку. Хроника хуторов, там же, глава 36:

«Дуб и двор у фру Эл. Все тут, что ни вечер, под дубом. Винцо, рюмки, корова Райя, две свиньи — Димма Ко и Мишша Евс, тут же, как барабаны, обтянутые кожей, свиной. Овцы блеют за колючей проволокой, — гетто. Бабушка Рози. Сто лет назад, когда родилась мать всех эстонцев фру Эл, бабушка Рози уже ходила без зубов и с клюкой. Известна склонность эстонцев к пению в кругу. Август, бургомистр и глава ордена овцеводов, поет сагу: — Играй, Энно, греми! Мы шли из Египта в Ассирию и оттуда с овцами — сюда. Много весел, а лоцман был ОН, вывел. Сто мужчин и сто женщин — эстонский народ, сто овец-евреек и сто ассириек — на новую родину. Мы прошли Суэц, Гибралтар, Симплегады, обогнули Пиренею и т. д., нет под рукой карты, не перечислить. Мы шли, не сходя с борта, рожая ягнят, готовя шашлык. А пили винцо, синее с 1 глотка, а с 10-и оранжевое. Те, кто не выдерживал винного жара, загорались на палубе; в них били из шланга огнетушителями. Лоцман, я говорю, был ОН, и ЕГО знал весь морской мир, но никто не знал, как ЕГО зовут. ОН провел лодки по Балтике и речушками, озерцами — к великому озеру Пюхаярве. И вот, оставив всех пировать и петь по-эстонски, мы вдвоем погрузили на новую лодку овец и отправились через озеро Пюхаярве в Эстонию. Кому неизвестна пюхаярвская волна? Как раз был озерный шторм девяти баллов,

лодку низвергало. ОН был весел, а потом лодку перевернуло, и ОН утонул. Конец саге. Угли под дубом горят. В тучах луна волною. Лягушки говорят, как бегут. Собаки поднимают башку, сквозь зубы свистят. Конь стонет. Жгут окошечки хуторов и фонари.

Дева Ева:

— Август, как он утонул?

— Как все, ртом, как тонут в воде.

— Я спрашиваю, а где овцы, а что с лодкой, а почему цел ты?

— ОН еще держался на волнах и все кричал мне — спасай овец! А я ЕМУ кричал — держись за киль! А ОН хватался за корму. ОН не знал, где киль, это я думал потом.

— А потом?

— Потом ОН утонул.

— Как он утонул, Август?

— Ногами вниз, как все. Я видел, ОН пошел вниз, как снаряд с головой вверх.

— Ты видел и не помог. Что его потянуло вниз?

— А! Часы! У НЕГО были тяжелые старинные часы на цепочке, золотые, они выпали из карманов штанов, как якорь, и утянули на дно.

— Вы были в одной лодке. Кто-то из двух ее перевернул.

— Волна!

— ОН был лоцман, Август, и ОН вел народ, а ты был овцевод, а теперь бургомистр. ОН знал, где киль, а где корма. Часы не утянут на дно, где часы?

— Ты права. Я забыл: ОН вынырнул и сказал мне: Август, в этих часах кое-что есть, отнеси их Паулю в ремонт, я вернусь и возьму. А уж потом ОН утонул.

— Пауль, ты чинил часы?

— Нет, моя милая фру. Я не видел часов.

— Август!

— ОН сказал — возьми, но не успел отдать. Часы перевесили и ОН пошел на дно. Я взял цепь от лодки в зубы, и мы целы — овцы, лодки и я.

— А труп? Вы искали? Похоронили, как полагается?

— Труп мы искали, и как полагается, нашли и забальзамировали. Похоронили. Энно играла, как оркестр. Сложили в гроб, засыпали порохом, чтоб не портился. На следующий год ОН был здесь.

— Кто, труп?

— ОН. Живой, с пряжками и волосами.

— А в гробу?

— Никто не смотрел, если человек жив.

— А человек ли ОН?

— Посмотри в гроб.

— Я смотрела!

Пауль:

— Мы не можем спросить, это важно, фру Рози, спроси.

Фру Рози:

— Повтори, что ты солгала.

— Я смотрела.

— И что в гробу?

— В гробу труп.

— Кто он и во что одет?

— Серый плащ, сукно, капюшон, вместо пуговиц пряжки, стальные, белые башмаки свиной кожи, с пряжками, кто? не скажешь, волосы седые, выются на концах. Губы голубые, как у животного.

Фру Рози:

— Как у...

— Он мертв.

— Откуда ты знаешь?

— Я вызвала суд-мед экспертизу. Утопленник. А вы лжете. Вы ЕГО присвоили себе, как фетиш. А между тем вы живете в мире, где все для всех.

Пауль:

— Я знаю, где я живу. ОН не был для всех, но все подтвердят: кто б ни лежал в гробу, ОН был здесь весной. Подтвердят и солдаты в медицинских халатах. Еще бы! Пою сагу:

— Стекланный шар ОН нес в сетке, когда меня вели казнить. Расстрел с винтовками на площади, где колонна с ангелом вверх. У ангела были в древности крылья-камни, а ему привинтили от самолета, чтоб не как святой, а как летчик-испытатель. Ангел в небе голубом! — вот о ком я думал, бессемейный. Я мог бы дать им деньги, но нет. Они требовали с меня деньги на смертную казнь, они говорили, что могут сделать мою казнь бессмертной. Я говорил, что если освободят, заплачу, не обижу. Они сказали — не о свободе я должен думать, а о бессмертии. Я спросил: как это? А они: дай деньги в фонд помощи слаборазвитым людям, а мы летчика на столбе назовем твоим именем и напишем в сводке «здесь лежит заживо убитый друг-раб Пауль из Тарту. Слава и вечность бессмертным героям». У колонны мы разведем костер огня и поставим к нему детей с автоматами, чтоб грелись. Вечный огонь — вот кто ты будешь. Я отказался. Они спросили: может, вместо бессмертья хочу последний поцелуй? — От кого? — спросил я. — Да от кого хочешь! — Ни от кого не хочу, — отказался я. — Так за что ж ты нам отдашь деньги? — Я и не отдам. — А куда ж они тебе после смерти? Я сказал, мне надоело слушать это на эшафоте. И тут я увидел в толпе милого друга. Я крикнул, что казнь хуже смертной, что это убийцы в белых шинелях, они тянут душу и требуют деньги, за то, что убьют,

что если меня не отпустят к часам, то они воюют не со мной, а со временем, что не те времена, чтоб отрубать головы на площадях — пулями, за деньги, собственные!

И я слышал возглас; офицер: — ПЛИ!

И я увидел — пули летят сгущенным роем, стреляли ж с десяти шагов из двенадцати винтовок, у пулек — блески!

И, не долетев, все двенадцать... пуль замерли на микр, опалив глаза, и... вдруг свист по тем же линиям вспять, в стволы, затворы щелкнулись и отошли, гильзы взлетели с земли и втянули пули, курки сработали на предохранитель, солдаты ставят ружья к ноге и задом идут с площади, соблюдая дистанцию и шеренгу. Офицер соскочил с помоста, пятась, народ пошел назад, то есть все было так, как в киносъёмке, если пустить ленту наоборот. ОН один шел вперед, и пот заливал ЕГО, тек по щекам. ОН сказал мне беги и указал, куда. А на НЕГО бросились свежие отряды солдат, у кого шприц, у кого штык, видеть эту свалку было смешно, веселясь: и я с ужасом смотрел из-за камня. Солдаты в белом, с винтовками наперевес бросались из-за углов и из-за спин на НЕГО и, вонзая штык, с криком падали, ломая руки, и штык ломался, бия не в тело, а в что-то вокруг него, и кулаки бились в кровь, ломая руки. Очередь пуль, стрельба в упор — то же, эффект рикошета. Пули вспыхивали у самого тела ЕГО, сплющивались и отскакивали в стреляющих — страшно, наповал! Цепи солдат, толпы, махая касками, наскакивали на одного, сумятица, паника, бой друг с другом, как с невидимкой, — наугад и непонятливо.

Между тем ОН шел легким шагом, но сжавшись, не глядя куда. Много было убито в перестрелке, покалечились, а еще двинули два танка на НЕГО с двух сторон и сразу ж выстрелили из гаубиц, и до них дошло, что шутки не шутятся, — танки, наехавшие на НЕГО, вдруг взвились по касательной, один взорвался в тучах, второй разлетелся вдребезги, и уж третий, пущенный вслед впопыхах, наезжал на НЕГО, как входил, но это обман зрения, он плавился, бронированная сволочь, и оплавленные капли металла тут же и испарялись, соприкасаясь с силовым — конечно ж! — полем громадной мощности. Танк вошел в поле целиком и весь исчез, осталась цепочка от гусеницы, недалеко, как тетрабочка от железа.

Самое ж жуткое произошло потом с огнеметами, т. е. с напалмом: когда отряды солдат включили огненные струи сзади ЕМУ, в спину, ОН уж прошел, то огонь, ударив в спину шедшего, тут же взошел необъятным пламенем, поглотив солдат. Когда огонь опал, шипя нефтью, от солдат ничего не осталось. Не то что там пепла, ничего. Весь оккупационный гарнизон погиб в 15 мин...

Кто знает, может и как многознающие свидетели. Больше гарнизон врачей в белых шинелях не присылали.

— Выходит, ОН остановил Время и повернул его вспять, а потом закрылся силовым полем с неким генератором атомного распада...

— Мой милый друг остановил солдат в белом. Жизнь оживилась, без солдат-остов. На следующий год ОН был здесь.

— Один вопрос, Пауль. Эти деньги за смерть, а ведь... миллионы появились у Вас до или после саги?

— После, милая фру. ОН дал мне золотые часы в ремонт, я их сжег в кислоте, в ведре. И то, и то — после, фру, и миллионы, и сжег.

— Почему Вы сожгли часы?

— Уронил, случай.

— А он мог без часов?

— Что?

— Жить.

— Не мог, милая фру.

— Ты убил его.

— После этого боя ОН ушел к себе, разложил на кровати коробок спичек, ромашкой, лег, взял в руки шар и поджег спички. ОН сгорел. Пожар гасили все.

— Сгорел и был здесь? А обгорелые конечности, пепел, урна с прахом для химанализа?

— ОН сгорел дотла.

— И плащ, и башмаки?

— А как же! В ЕГО комнате мы обмазывали штукатуркой голые стены.

— Вы давно были в комнате?

— Мы заперли и не заходим. В ней не осталось ни нитки. А что? Ты... была и там?

— Была. На стене, противоположной окну, где вешалка, но не на ней, а на стене висит плащ с капюшоном, под ним башмаки.

— Ну и что? ОН мог оставить в другой раз.

— Но они не висят, а как бы стоят, как живые. Если потушить свет, то у стены в башмаках и в капюшоне стоит он. Включить свет — нет никого. Выключить — он стоит с выжженными глазами, без кистей рук, они сгорели при вспышке спички. Куда вы дели шар, что за шар?

— Таких полно, их продают цыгане в бродячих цистернах.

— Он весит 200 тонн, этот шар. Я нашла его по чертежу на столе. Он оставил чертежи, а на них кружочки, это шары. Один увезли и ставят опыты.

— Я не убил ЕГО, милая фру, ОН был мой милый друг. Я выхватил часы из кислоты, пошел на холм и спрятал их в муравейник. ОН придет!

Энно:

— Я нашла часы, Пауль говорит правду.

Пауль:

— Не знаю, может мне так показалось. Я сунул часы в муравейник, сошел с холма и дома уж, непьяный, я безотчетно взял пустой шприц и вонзил себе в вену. В ту ночь кто-то ЕГО предал. Три года ЕГО нет, и каждый год в эту ж ночь я беру шприц и вонзаю в вену. Но я не могу умереть.

— А врачи?

— Врачи говорят — так будет всю жизнь, каждый год.

Энно:

— Слушай сагу, ты, клуша. Спою сагу в книгу. Весной ОН был здесь. В огне не горел, не тонул, а ходил, что ни ночь, на холм и стоял, вписанный в круг. Часы я нашла и отдала ЕМУ. Стоя у муравейника, ОН поднимал голову, будто звал кого-то и смотрел на часы, они билась, с браслетом. Я думала, птица Хлоя Тервист — ЕГО племен и смотрела за НИМ. Но видела ночь, и в луну поднятую голову, и муравьев, летающих вокруг головы. Если б я знала, что ОН уйдет, я б взяла в залог яйцо у Хлои Тервист или разбила б шар. А может шар и яйцо — одно и то же? Ты знаешь, что Хлоя Тервист прячет в дуплах шары, а в себе — яйцо?

— Образное мышление, Энно. Но не производит впечатления. Энно, на каком холме ОН стоял?

— На любом, то на том, то на сем.

— Их сто, на всех ста? Для этого нужно сто ночей.

— Если так нужно, то сто и стоял.

— Ни на одном из ста холмов нет муравейника. Ни одного. И не было, и не бывает, муравьи не строят на открытых местах, лесные. Есть один муравейник на всю страну — в лесу! Ты ходила в лес! Твой лиризм — ложь! Пауль лжет, и он был в лесу и думал, что там-то и секрет часов, после которых — судьба.

— Ты ходила в лес, что ты наделала, Дева-Ева?

— Что?

Фру Рози:

— Все, кто ходил в лес, теряли свой облик и получали чужую жизнь.

— Метаморфозы?

— Да нет, фру Эл, к примеру, мать народа, и есть и будет, несмотря на то, что я старше. Но мать — она, навсегда. Кому что. Энно, к примеру. Она носит ребенка, который никогда не родится, потому что от НЕГО не должно быть детей. Энно останется на всю жизнь поющей в 14 лет.

...Герберт — ловец Ваала».

22 юл, 3

Тяжелые дни, Диана, охоты нет!

Ох, и охоты нет писать, идут со штыком дожди. Ну и лето, лужи и нулики в них. Пузыри лопаются от прозы.

Атака отбита, солдаты ушли с головой в море.

Ветер холодит, цвет его неопределенен; червонный и гневный летит на веревке к огоньку.

Грибов нет, но белый рисуется в шляпе, червонный туз.

Ну кто ж пишет — был день такой-то и сякой, добрая ты душа? Это ж не день уж, а нудень. А не проще ль и яснее написать в начале был день!

Полк за полком шли с гор в штыки, и дождь шел с одежд.

26 юл, 3

Воскресенье — ввоз банок в скалу, режут ножом крышку и вынимают еду; и едят.

Или ж не еду едят они? А что ж? Яичницу с медом? Вряд ли.

Еду они едят, конечно же!

Еще библиотеки!

Трагикомедия, эпохальная — всяк раб держит в дому бутылки и книги, на одной полке, как ценность. Выпьет бутылку «ИКЛМН», сядет у ТВ, читает книгу И. Кэлемен «Высокоидейные формы слога у поэтов раннего ренессанса при строительстве скалы и турбулентность рабримсизма». Это-то ладно, пусть бы. Но книги копятя, а пыль с них не сотрут — не тот народ, характер слишком силен. Еще: привозят в скалу ванны с четырьмя ножками, рукотворны, в них белье стирают. Мыться ж ездют в баню, слякоть на лавках, сядь и схватишь молодых вошек, не дойдя до дому уж зачешешься, как с олимпиады, нужно бить градусник и мазать брови ртутью. Еще долго в ваннах мыться не будут, потому что комната. Ванная — лишняя комната, и складывают домашние драгоценности — тапки, тяпки, тряпки, в ванной же ставят варенье и огурцы взасос. Не мыться год — норма у раба, а не моются вообще-то до лета, поедут к морю подале, и там в тазу вымоются, и обратно в дом, до новой жизни. Я ж вижу, кто мытый, а кто немыйтый. Одни солдаты в белых шинелях моются раз в месяц, бичами гонют их в мыльню. Строители и их жены втирают в тело олифу. А старики и старухи лежат у порога на подстилке, где им мыться, они томятся.

Про книги это общее бедствие. От сырости, пыле-грязи, оттого, что печатаются на дешевойшей, гнилостной бумаге, — в них заводятся черви и бумажная моль откладывает личинки, гусеницы

едят книги да и полки. Вот пройдет зима, растеплится, вскроют окна и несметные тучи туч взвьются — это моль. Книгохранилища рабов, пытающихся держать шедевры эстетики и эмоций божеств, — готово, съедены в одну зиму, столь любовно носимые в сетке рядом с капустой и трусами для женской тоги, и начнется у рабов — жизнь, человеческая, без книг.

Ждать недолго. С исчезновением нефти к войне нужно будет готовиться много лет, и строить парусный флот, чтоб вторгнуться в Америку не на галерах, засмеют ведь.

16.20, светло.

Народ-читатель, взял книгу, а из нее черви, ручьями; стряхнул в мусорное ведро, выплеснул в мировой океан. А книгу поставил на полку, пусть едят дальше, ценнее будет, букинисты дукат дадут. Мутнеет. Нет лодки, а то всплесков было бы, шуму на весь мир! — и лодка несется по пруду, и озеро в розах, и человеко-бог выходит из лодки и идет по волнам — к нам! А мы моемся в тазу, чистотелы. И вот во всей чистоте мы идем к нему. И вот пруд — пред нами, и лодка, и никого, а на валуне чашка святых слез, а в ней — железный рубль — рабу, на опохмелку, чтоб не упал на пол, пока строит мир. Ноги его стояли как локти!

9 авг, 3

— Противно, любят только себя.

— А ты хотел бы, чтоб любили только тебя?

— Да, я хотел бы. Меньше было бы себялюбцев.

Откуда-то взялись черные жуки — в крупе, на стенах. Каждые 30 минут встаю и убиваю 30 жуков. Сколько ж за день? Запах едкий. Под покровом ночи они выходят погулять по белому — в ванную, по потолку и в раковину. Убиваю перстом из ступки. То, что я убийца, меня не смутит. Демографические взрывы влекут войны. Со сколькими ж жуками-демо я живу? За сутки я убил 700 особей. Убьешь всех, выйдешь смыть с рук, войдешь — они опять те же, там же. Оживают они, что ль? Нет, оживать жуки не могут хотя бы потому, что никто не оживает. Еще комары, буйнопомешанные вокруг ног вьются.

Городские капризы. Если б проститутки у ног за деньги, как в книгах, то у них честные чувства — денежные. Но таких тут нет. Плати борзыми щенками. Хуже всего простолюдины, рабы, они народы, они идут с молотом за пазухой пить водку в семью. Криминалисты! В ушах звенят похоронные марши, минорные, успокоительные. Приятно.

— Чего ты плачешь, Я-рабыня?

— Когда я не вижу тебя долго, я начинаю плакать по вечерам.
— Когда меня нет вон какой срок, целые народы по ночам рыдают.

По ТВ: пловцы стоят у тумбочек, как у пушек.

Ночь, третий час. Великая иконопись в мире была, как моровая язва, как высокая болезнь, всенародный (у всех народов) гений живописи.

Варю спагетти для курицыного бульончика. Случайно съел жука с хлебом, привкус невкусный. Жук ты, жук, ты — жужжук! Посмотрел в Энциклопедию — конца конец? Пишут — не съедобны эти жуки, о конце не пишут, нет его, конца. Сырок вкусен, как воск. Он воск и есть. Или нет? Есть у коров воск? Откуда ж восковая шкура у сыра?

Квартира приобретает человеческий вид жилья. Еще бы! За один год два раза взламывали дверь.

Чем отличается швейная мастерская от пельменной? И там, и там ходят по залу девки в белых лифчиках. Забавный палиндром: АКУСТИКА — А КИТ — СУКА.

21 авг, 3

Я знаю, без трусов не выйти из дому.

В маленькой кастрюльке для кофе я 6-ой час кипячу трусы. Они белые, т. ск. нижние; а есть верхние трусы, на что их вверх надевают? Где-то трусы заразились розовой краской. Не выкипчиваются. 22.20. Ровно 12 часов я кипячу трусы в кофейнике. Результатов нет, резинки розовые. Открыл крышку — уж и пару нет, вода выкипела, трусы сухие, а не горят. Почему? И корочки поджаренной нету. Налил воды. Опять вскипают.

ХБ.

Почему не выкипает краска из трусов? В чем тут секрет?

По ТВ: поют женомуж, пара. Фамилия их настолько проста, что не запомнишь, что-то вроде Калинины или Малинины. Поют песни, с улыбочкой, прислонившись головами друг к другу, как на фотографии, молодожены. Чистовыбритые — у него щека, у нее бровь. У этого ойка ко лбу приклеен и висит, как нос, а у этой губы, как узда, слюнявые. Поют, щемящие, под музыку, пошляки, из уст их льется ачом. Погибли поэты.

Можно уже писать новеллу: как кипятят трусы.

Если писать по принципу стыковки согласных: «Трое египтян несли иглы, Ы. Татунхамос спросил Лиак: — Как кипят трусы?..» Я поставил желтую кастрюльку на огонь. Пусть тушатся. Хватит кипятить. Еще б морковочки добавить, да нет ее, и листа лаврового нет, весь лавр на венки ушел, плетут мне девушки-вдовушки в крематории.

Трусы вскипели.

Чай вскипел. Пойду в комнату к ТВ. Калинины-Малинины поют. Женомужи! Поют, как еынабеоп.

Поругался. Пойду, посмотрю трусы.

Вошли в моду нижние рубашки, сорочки, женщины всех возрастов выходят из дому в нижних сорочках и идут дальше, беспрепятственно. Хорошо хоть не босиком. На ляпочках, на бретельках, соски выскакивают, — девочкам очень идет идти в нижнем, светятся, как рентген. А в возрасте очень не идет, плечи в тесте, шея в тесте, это антисексуальный окрас.

Трусы кипят, веселые, булькая! Ничего им не делается — от века до века и в веках!

29 авг, 3

Яйца мне есть нельзя, но я сейчас съем три штуки. Больше ведь ничего нет, а от лука (зеленого) я устал, да и лук мне нельзя. Хлеб черный нельзя и белый нельзя, и сухари нельзя, как по поговорке — она хорошая девушка, но подлая.

А позавчера снилось, что я сумасшедший.

Пруд поломан, в комнате пасмурное утро, без лучей.

Как хорошо быстрое сверканье глаз у детей! Ребенок пылен и заплакан.

Моря бы мне! Шума! Дождь был днем, асфальт сохнет.

Говорю я логично, но пылко, как сумасшедший.

Стрекоза — как летающие ножницы! Балкон открыт, внизу роют земли.

Пруд — как шар горящий. Съел три шашлыка и супик-харчо; и спал.

И во сне строят, вырывают деревья. Жизнь движима и медвежья.

1 сент, 3

М-рабыня купила сома, в свободной продаже! Купила баранину, шпигованную яйцами, кабачки и сушеные сливы.

Синий день был в святых скалах у нас.

Шоссе похоже на воду, а вода на скалу, которую все строят, и ты тоже.

В ванной висит, свободный, женский телохранитель — халат. Он женихуется.

Кто-то третий час моет одну ложку на кухне.

Кислые стекла дождя. День был, а сейчас осень. Спелые яблоки

похожи на пентагон — пятиконечную звезду. В воздухе одни микробы, как во всем.

Дочь Солнца Земля — не Солнце. Дочь — не мать. Глубокая, сексуальная мысль, постфрейдизм.

Больное, больное у меня все. Сколько может средний человек прожить без меня?

Посмотрю в пруд. Посмотрел бы! — его уж нет, одна вода. Возродится вновь, лишь бы весна пошла. Весна пойдет! По всему двору роют ров — для расстрела рабов. Втащу я козью шубу с вонью козьей и лягу, усну на ней. Ох, трясет меня от яда, ох, ох. Что-то съел ядовитое; ручки вспухли, вместо костяшек ямочки. По ТВ: обожествление ученых. Это катастрофизм.

Артистизм Сарданапала и Тимура еще поблекнет пред нестигаемой, отупелой мощью экспериментов. Людей в их душе нет, ни одного. Уши опухли, круглые, как с геометрической скульптуры. Не сплю. Сумасшедшие, узурпаторы, террористы, ситец де Сада, и роза Мазоха с тернием, Враг Бога — все это свои; наибольший ужас — обыкновенные люди, специалисты широкого профиля.

15 сент, 3

— Пугать Вас не буду, Вам грозит повешение.

Девочки с обручем, римская разминка, — вставляет в обруч руки-ноги, как Леонардо, и катится со скалы.

Оказывается, пьянство считают пороком. Вот бы не подумал.

В Египте казнили осами, привязывали к столбу голышом и обмазывали (соответственно) ветвью с сиропом.

Под скалой появились железные ржавые трюмы для мусора. В центре двора — дом для игр в карты, без окон, каменный тес; о нем я писал, там сжигают кошек. Дверь с висячим замком, а значит внутри играют еще и в карты.

Чаек нет, уток нет и не будет никогда. Пруд пропал. А будет тут не пруд, а разлитое море грязи. Сколько ни рифмуй соль-сельдь, рыбы нету, грязь ее гробит. У рыбы губы как звезды. Меня спрашивают все: — Почему турки белые?

Почему меня спрашивают? И почему про турков?

Глина пахнет яблочным кремом. Жизнь с моющимися полами. У вороны крылья острые, как ногти. Смело сворачиваю рукописи и жду Судного Дня. Людям не свойственно жить в большом множестве людей, так что перенаселения не будет.

День светел, дневной. Всюду банды свирепых стариков, что-то творится, неостановимое. Высшая справедливость на Земле — смерть, всем, без исключения.

Неужели от еды толстеют?

В стекле впаяна капля стекла, как сучок на фанере. Лицо женщины очень легко угадывается по телу. Хорошо-то хорошо, но хреново, смешные все.

Я открыл оба ока.

По ТВ: негры пляшут, как голые котятка. Что за арбитры объясняют поэтов — народам? Кто тишины — разглашатель?

Кривые ноги у женщин лучше, чем без ног. Сижу напротив ее, ободряюще кладу руку ей на колени.

— Ну-с!

Успокойся, зубик, успокойся!

Пудель — идеальный пес. Он бессердечен.

Ману, «Законы».

«Кто, находясь в опасности для жизни, принимает пищу от кого попало, не пятнается грехом, как небо грязью».

Это — страшный разврат, когда пишущий опускается до голословия.

Кто не живет на живую нитку?

Низко и быстро ночью идут облака, в звездах снизу доверху, а ветер свищет по огненным лужам. Луна хорошо видна, — двойная!

23 сент, 3

Утром спокойствие, будто никого на свете нет.

Да так оно и есть.

Зарыл талант в землю, все думают, это малоценная монетка, а это — 33 кг 655 г чистого серебра! Есть о чем сетовать?

ЛУ-рабыня чистит камбалу. Видок противный: и у ЛУ, и у камбалы.

Заболевание: базилевс.

Демократизация женщин зашла столь высоко, что они уж не видят собственных ног.

Внизу, у подъезда кто-то доски рвет зубами. А кто — не разглядеть. У детей голоса сильные, как у собак. Опять роют во дворе канаву для расстрела землекопов, ставят в ней лестницы. Пичужка бьется лицом в окно, грудь зелено-синяя, сердце разбито. Ух ты, пичуга-плачуга. Встанет каштан обнаженный, ветви живые, женские. Листья золотые до безобразия, старинные. Листья дуба, обитые медью.

На кухне на столе на тарелке с нарисованными окружностями — красная икра, 11 икринок, и квадратик масла. Нет плитки какао.

Говорят, что китайцы жрут как не все, а желтым ротиком.

Белокожий иеромонах говорит, что иудеям нужен был Египет, чтоб написать Ветхий Завет.

При врожденности всего и срок жизни врожденный.

Кто задает срок жизни человеку? Если это Он, почему Он не

может удерживать жизнь на Земле под контролем, а смотрит спуская рукава? Почему Посланцы Его унижены и Он не в силах их защитить? Кто мешает Ему? Неужели трудно Ему взять свой ум в руки там, где все из одних атомов? Египтяне считали, что человек произошел от яйца и несет яйцо. Это — фигурально? Чем банальней пишущий, тем больший простор у него для художественного мировоззрения.

Проехали по шоссе душегубки, крытые розовым брезентом, в три окна. У голубей клюв орлий, может быть, сожрут мусор. Я этому дню рад.

Толстые, с выпуклой грудью, как у голубя, окончания на «а». Слова с окончанием на «а» — пропащие, а употребляющий их — пропащая душа. Пишу я много, и это утешает, а не писал бы вовсе — был бы безутешен.

По ТВ: льды показывают и ветры, те края, где будут жить будущие люди.

О нас скажут: они еще писали рукой, как древние египтяне.

28 окт, 3

Многие в кожаных пиджаках. Девушки с шелковой йециндаз, глаза карие. Вода, море воды.

У всех живых (существ) образ мыслей один, ибо круг один: ж — с.

Овсяное печенье пахнет шоколадом и лошадьми. Ем. Черен чай. На море ходить не хуже, чем на кладбище. Палиндром: А ВРЕТ-С, СТЕРВА! Куда девается столько человеческих волос? Они ж не гниют. Кто их ест? Для женщин новый термин: брошенка (покинутая).

В воде сверкало солнце, или в солнце сверкала вода, п. ч. свет не истинно чист, а мутноват. Сосна — зеленых роз букет. Пески человеческой кожи, гладкие, кремевые.

Женщина... одним словом, ступает с ножки на ножку у моря по берегу. Иду за ней, не сводя глаз, не отзвывая? Песок вытужен, темно-золотое дно, а я смотрю, и вниз идя, вижу следы: 47 размер ступня, в рубцах, пятка подкована восемью гвоздями, одиннадцать колец на пятке. Больше... ни одного следа нет.

Смотрю на женщину, голоспину, юбку в веерах, смотрю на след — не совпадает, тревожно. Подхожу, догоняя: то же самое! — а она идет не то что мелкими, а женскими от природы шажками, каблук осиный, ножка-нолик, а следы! — те же, сорок семь, с подковой! Я догадался: она настолько легка, что не оставляет следов, а это шел до нее, ну, швед, они все ходят. Я обогнал женщину по кругу дон и оглянулся: молода, со ртом,

как у мула, нога, как у гончей — не сорок семь! Я шел впереди женщины метров 300 — ни одного следа в кругозоре, нигде. На всякий случай посмотрел свой: тридцать девять! не 47.

Тогда я, как детектив, сделал вид, что в башмак попала пуля, или же пиявка, я сел на валун и снял с ноги обувь и стал смотреть вовнутрь башмака, как: полоумный, хирург, или ж в этнографическом музее.

Женщина-мадам, спереди в плаще — прошла мимо, сзади — голоспинка. Я искоса глянул на следы: 47! Тютелька в тютельку, с гвоздями с железом, все как и прежде, я поставил свой след рядом, куда мне, тот вдавлен кг на 420, как печать на сургуче полчищ ханских времен.

Плохо вижу, хуже слышу, стал я хуже, пишу сны.

Впервые вижу живую рыбу — маленькую, мертвую, на берегу, как сабелька, 1 см длины, серпик, брошка, светлая, а глаз желтый, красный. Жива ли она? Нет, мертва, как в мрамор зашлифована; как серебряное сердечко, разрубленное на пружинки. Как пряжка лилипута. Как месяц, лежащий для муравья.

30 окт 3

Два фокса, пепельный и желтый, роют море мордой (грязь), ищут в нем мышей — пёсики.

К морю привезли пароход, одноэтажный, без мачт, механический, с ревом, с цепью и проволокой; стальными кольями прибит к берегу, чтоб не ушел. Как я.

Если б каждое утро один час я б гулял у моря, как поздоровел бы; но Бог бережет.

Может быть, шведы прислали в дар — пароход? У него много труб, идут с борта в море, высасывают дно. Что ищут? Кто песок и ил будет вывозить, высосанный страшным по сути пароходом? И куда? Уж гора песка, стоят матросы с ленточками и с парабеллумами. Что в песке? Булат? Ночью привезли телефонную будку и поставили у моря. Двое рабов; один в плавках, ныряет с телефонной трубкой в руке и что-то громко говорит со дна, а второй в брюках, заверченных до колен, стоит в будке и бьет кулаком, по аппарату. За ним следят матросы; не стреляют.

Говорят, что у моря (под окном) стояла лодка Ингваря Кузоева, и он в ней ходил в море ловить уху. Когда он умер и его похоронили (неся на блюде), шведы украли мемориальную лодку и вот вместо требований Нового Императора прислали взамен Страшный Пароход, сложный по структуре труб. Он откачивает со дна то, что издавна на дне.

А я читаю египтян, поглядывая, Тяжба Гора и Сета.

«А Гор — тот спал под деревом шенуша в стране Оаза.

И Сет нашел его, схватил, повалил спиной на гору, вырвал у него оба глаза и закопал их на горе, чтоб освещать землю...

И Сет вернулся. Он сказал Ре-Хараhti, солгав: „Я не нашел его“. Однако он нашел его».

У моря ставят искусственные муравейники, привозят на самосвале мусор и муравьев и все это сваливают у воды и обносят железной оградой; ставят лавочки, как у могил.

2 ной, 3

Что лежит у моря? — хорошо завинченная девушка, как бутылка Наполеон, пустая. Кто бросил в море? Еще лампочка 200 вт, перегоревшая, потряси — зазвенит спиралька, брось в море. Еще бабочка, мертва, с ней ничего не поделать. Как кружочки лука на паштете — на песке ободки презервативов. Все пьют, как в пекле — жизнь не удалась, не удалась. Полные алые губы мерещатся.

Дождь идет, сильный слабый, вперемежку. Снег — скандинав. Дорожка лунная. Страшный Пароход хорош со всех сторон.

Фарфоровая мыльница с кнопкой в виде розочки — безделушка? — о нет, это система жизни. Только искать эту штуку не стоит, ни мыльницу, ни систему.

Имущий обрящет не ту находку.

Всю ночь боролся с бурей. Утро. Может быть посплю, а потом продолжу борьбу.

4 ной, 3

Старухи в черном, с золотыми венцами на голове собирают в полиэтиленовые мешки — щепки на берегу, в ад, в дар Виктору Гюго. Какой-то черный телом швед поплыл в море с твердыми ногами. Внизу на заре много простолюдинов. Всюду смола — алмаз.

Альфред де Виньи. О плече раба сказать, что это «нагое плечо» — не слишком ли? О брошенной мадам: «она не сумела меня к себе расположить». Коряво.

Нет пруда, о да, в море летит воронье крыло цвета воронова крыла.

Стакан граненый, башмак с язычком. Может ли быть мысль — милосердна?

У моря мертвец на боку; лежал, спал. Если он умер, то распрямылся б. Этот лежал на песке согнутый, головой между колен.

Убит, но спящий был жив. Скоро очнется и примет смерть с последним вздохом.

Вокруг все стальное. Мир, как рыцарь, закован в серую броню. Женщины с длинными ногами уходят, остаются коротконожки. Судьба: чаенок бежал по морю, кувыркнулся у берега и зацепился ногой за леску, брошенную кем-то как-то. А леска зацепилась за камень. Сидит чаенок, пищит, зовет помочь. Я нашел раковину, перерезал леску. А у него сил нет.

Морские пираты — вороны, рыбу не ловят, плавать не любят; они у моря за падалью. Пир на три дня над одной рыбешкой. Они взлетают на скалу и — смотр моря, больных чаек бьют, едя мозг и внутренности.

Я унес чаенка к стае, в сторону, на косу, там семья сидит, штук сто особей в профиль, по-египетски. Я уже далеко был, оглядывался, но ни один из стаи к нему не подошел. Пойду после, они его возьмут.

У моего чаенка два врага — вороны и дети, первые убьют тут же, вторые истязать будут.

Сходил к морю, птенец потерян, ни в мертвых нет, ни в живых, берег без трупа, а стая стоит. Да и детей нет.

Проснулся.

Судьба чайки в человеческом обществе. Тихо у нас в танке.

Судьба супа (вороньего).

Атеисты кричат, что нужно что-то делать для людей; они принимают людей за скотину, которая ничего для себя не может сделать.

Нарисовать бы на серебре белую розу.

Розу разлук.

Ем брюкву.

Раб-римсы любят тассоп на досуге. Войдет в воду и... тысс, а потом купайся. Как сказал бы Иона — никто не кит.

Вол и лев — орфографические братья. А день и деньги?

Снег, как капуста рубленая. Снег золотист, без гусей.

2 дөк, 3

Цветущая пустынь, венки терновый, повешенный на ухо, — вот мой костюм. Я не верю в миф о равновесии, я народ одетый и чист; сижу, ем, как медведь, кашу и грушу.

О равновесии. Скоро в Красную Книгу впишут железо, никель, марганец, первым железо, его истребили, как сельдь. От фазанов же к завтраку отказались, придется и от механизмов. Будем ездить на шее у народов.

Синие листики на солнце. В синем зеркале мои глаза правдивые, как у сумасшедшего.

Кошки и рабы.

Нации (все!) рисовали кошек, не сговариваясь. Есть ли кто, который хоть ребенок, а раз в жизни не нарисовал бы, глядя, кота?

Это Египет.

Это Египет вспоминается всеу, миф о зеленой кошке, большеухой, это под нее подделывались царицы-нефертити, вытягивая насильно уши до размаха кошачьих, тех кошек, сухих и искристых до огня, держали в фараоновских садах, и, если им нужно б бегать по Александрии и 'к Нилу, весь народ прятался и занавешивался наглухо в домах, чтоб не видеть и не быть казниму. Кошки были богоравны, их могли видеть одни ряды Ф-династий. Отсюда — и черт, прообраз кошки с ушами, как с рогами, это ретрострахи; и «напились до зеленых чертиков» — это: лишь кошки зеленеют (в июне) и ты видишь их (какой олух!), ты по закону обязан пить воду до тех пор, пока не забудешь, что видел; напиться можно было и до бешенства; и напивались. Отсюда и кошка-черт у всех народов; вдруг. В н. э. стали стричься и бриться под кошек. Известнейшая польская дрессировщица Мурка Марковна прославилась сеансами, где кошки пели, гаммы. Спирит не осмеливался войти в салон Машеньки Блавантской без кошки. Кошачьи сапоги, горжетки, перчатки, застежки из кошачьих лапок распродал за баснословные франки Диор. Американцы устроили у Капитолия кошконолию. Революционеры унд террористы ходили с револьверами в руке и с кошкой за пазухой — это считалось хорошим тоном. Замороженными особо в эфире — кошачьими глазами украшают кольца, звон изумрудный. Наконец, очеловечил и чуть ли уж не короновал кошку Томпсон, писатель зверей, в поэме «Королевская аналастанка». Да и понятно. В облике, в сверканье ока, в молниеносных движениях этих животных что-то от высокого; ангело-дьяволы они.

Но чем привлек художников тип раб-римса? Он не ню, у него нет ног (голых). Он не животное, дьявол в нем недвижим. Уши его безроги, они под кепкой, со смеющимся глазком; глаз скользок, узок и тускл. Зубы стальные. Знобит. Раб-римс недекоративен. Но ежедневно по ТВ всей РФИ выставляется до 500 тыс. портретов раб-римсов, пофамильно. Образ раба-римса (выходит) — лакомый кусок для живописца. Не до труда уж, сказала плохо строится, художники пишут, раб-римсы позируют; они уж так свыклись с ролью натурщиков, что и пиво-то пьют, оголяя губы, как гомосексуалисты. Рабов нехватка, по статистике в РФИ нет уж ни одного раб-римса по сути. Все они — перемещенные лица из других специальностей, только б позировать художнику для портрета в качестве раб-римса. Чтоб дать художнику образ раб-римса, не остановятся ни перед чем. И костюм шьют из

кодекса труда. Массу инженеров и НТР переводят в раб-римсы, чтобы пополнить картинные галереи.

Ж-рабыня сварила щи и мясо изжарила. Был А-раб из картинной галереи, почистил ванну, скоро привезет стекло в окно, то, прошлое — выпало. Войны давно нет, а проводить зиму без стекла в окне мне не полагается, это полутамлетизм.

Снег, вперед телами мы идем в метель. Мил Олимп мой, за стеклами.

Пророк т. Алстой прав — слишком много ляжек по ТВ для народа. Еще много бурят, пока что они на снегу, но их слишком много. Японцы тоже вид бурят, видимо, и корейцы, все эти девушки — из бестиария.

Чем египтяне брились? Мечом?

Все это мужиковствующие люди по ТВ. Выпуклые глаза у них не от ума.

Летим в метель! А-раб не довел стекло, в М кокнул. Сижу при разбитом, запахнулся в волчью шубу, смотрю на надкушенное яблоко. Иду в ванну. Резвлюсь я в водичке и бьюсь о край железный, белоснежный.

Я Бога не люблю. Холодно в улицах и в домах, и не жду; никто из холода в холод не придет.

Жаль, я не волшебная палочка, а то птица улетает и не вернется, человек вырастит птицу, а она улетит; аист возвратится из Египта, а твою птицу ты не увидишь — улетающая.

В путь — спать!

11 дек, 3

Вода мне ближе женщин. Грустно. Собаки на снегу, как обезьяны. По ТВ:

Девка тонет в лодке, дутой. Парень спас ее и дает завтрак девке в рот — как собаке. Она — утопленница от любви (не к кому). Он ее видит впервой и кормит. Она ест и протыкает лодку шилом от ножа. Сильно плачет, со всхлипом. Он ее бьет по морде, а потом гладит, дрожа рукой. Оба идут под воду на тонущей от укола шилом лодке. Конец первой серии.

В скале выращивают зеленый лук, под диванами. Так он и называется на выставке лука: Лук Поддиванный, Лейчестерский. И еще у него музейное название: Лук Хаммера. Этим семенам свыше 400 лет, их вырастил Леонардо да Винчи в водовороте, в Альпах.

В Кении пушки едут. Сердца нету. А-раб изложил мне фабулу политической карты Европы, вставил стекла и вытряс в снегу ковры; и выбил их. Стекло не в заплатах, не сломанное, а новое! По ТВ:

Вторая серия. Несчастливая любовь, огонь твоих ног, парень с лодки надувной слушает брюхо у девки с лодки, той, утопшей. Вверху стоит их дом — как карусель. Любовь? Но парня сажают в иную лодку, деревянную, и везут на войну. Экс-утопленница поет ему вслед, с животом. Из лодки парень прыгает на парход. От пархода гул. Парход идет в воде, как бутылка с газированной водой, пузырясь.

Торжественный финал.

Леонардо да Винчи много писал о воде. Он был одинок и все время кого-то ждал, очень! Нашелся миллионер Арманда Хаммер — через четыреста пятьдесят лет он купил у графов Лейчестерских рукопись кодекса о воде и назвал ее Кодексом Хаммера, сходу, будто Леонардо и не было на белом свете. Все и читают манускрипт Хаммера о любви к воде.

Как бы не ходить с мокрыми ногами, как приятно в стужу иметь сухие ноги и чистые стекла! О ноги, ноги!

Снег гнется, вечер, все бегут по улице, как вода!

По ТВ: дуб стоит в кадре!

23 дек, 3

С балкона, с мороза летят комары в кухню погреться.

Почему копчик — остаток хвоста у ч-ка? С наименьшим успехом можно сказать, что копчик — это зародыш хвоста при переходе ч-ка в высшую степень, нам неизвестную, хвостатых. Тупость человеческая — это и есть ум выживания.

Не обвиняй того, в ком твоя мечта не сбылась.

Люди одеты, как в 11 веке, в грубошерстные ткани, причесаны домашними ножницами, обувь без чулок, резкая, непостроенная речь. Любой бургер из лавки выпорол бы тут же за одежду и поведение любого из нынешних президентов. Позор.

Белое тает, рубцы от шин, а шоссе глубоководное. Не восхваляю Юг, колыбель культур, доисторический Север более благоприятствует эросу, т. е. культуре.

Елочки нет у меня, а где взять? А уж завтра Рождество.

Не найду елочку — нарисую. А сегодня нужно хорошенько вымыться. Внизу журчат ручьи, но бросаться не надо.

На Рождество оденусь старомодно, как в начале, но не как сейчас. Мисюсь, ты мылся? О да, я мылся, всю ночь, всю ночь. Я сменил простыни на свежайшие, отгладил выстиранные две рубашки. Одна в красную клеточку, мелкую, другая белая в синий цветочек; буду менять то ту, то эту, до Рождества, до завтра-сегодня. Надел на синий носок лакированные туфли и синий римский костюм, после бритья одеваются так.

У настоящего мужчины чистая форма стопы. У женщин это редкость, с ногой.

Искусство одеваться — древнее, оно не свойственно молодым народам, у них много задора. Энтузиазм в одежде — пошлость. Сюртук должен быть наготове, имея линию талий лекалом по вертикали.

Сейчас шьют пиджаки! — три линии на спине, в подражание линии бедер. Это ошибка. Когда уберут с пиджака линии, означающие гомосека, африканца и павлина денег, тогда и из пиджака может выйти мужчина, застегнутый на три пуговицы, а не как сейчас одна пуговица на пупе. От нее живот пучит.

Классика — сюртук, фас мужчины. Лакированные туфли нельзя носить свыше 25,5 разм., это будут настоящие шлепанцы, а не модельная обувь.

Мужское, к Рождеству цвет костюма черный, но желательно мягче. А кто не любит жестких форм, синий маренго, но не светлей. Носки без орнамента. Одетый в синтетику — да выйдет за дверь и этого и иных годов. Есть ли те, кто встречает Рождество без галстука, я не встречал. Я не читал про таких чудовищ. Строгий шелковый галстук, хорошо б из кашмирского шелка (но не глянец!) — очень смотрится на Рождество, если на его плоскости чередуются два цвета вдоль — сильно перезрелая вишня и черная наливная слива, на узле — белый треугольничек, чуть не в центре. О сорочке ни слова. Не могу представить, что у кого-то хватит хамства надеть не белую. Одно время вошла в моду жемчужно-белая, но была осмеяна еще при дворе Короля-Солнце, он был толков. С тех пор — это альковный цвет. Простой белый хлопок — идеал для рождественского костюма. Галстук — залог стати, фигуры, посадки головы, да что говорить, галстук — и мы видим, кто тут — кузен Императора, или ж подполковник войск противовоздушной обороны в тылу.

Я не пишу о еде, кто ж пишет — индейка! Я вздыхаю о ней. Многие видят нечто новое у рождественского гуся. И я вижу! Но гуси не тут. Оставим о еде, честное слово, хоть колотый сахар в чай, и то крути от него — вкусопсовы!

25 дек, 3

Рождество. Мошки летают. По ТВ Гржимек Б. катается на пылесосе. Я сварил пшеничную кашу, очень удачно, компот из персиков (двух). По ТВ: делят мир.

Человек в себе — завершен, но если побеждает народ — гибнет человек. Народ завидует мужскому фаллосу по-женски, по Фрейд, и без Фрейда. Народ и гений — разнополюсы, гений — это семья, а народ — мясо, гений — мужская функция, а народ —

женская утроба. И тут уж половая ненависть. Народ — уничтожитель, а его пророк, баловень, едок мясной морковочки, пугало с плугом — Л. Н. т. Алстой.

27 дек. 3

Тому, кто первый откроет мою дверь, первооткрывателю — придется туго, он получит по лбу млатом (колокольный сплав: медь с серебром). Будет звон, крик и смерть. То же самое получит и второй и идущий за ними третий. И я буду бить молотком до тех пор, пока уйдут от дверей, или ж убью всех входящих.

Поэтому я, открыв очи, молвлю — спасибо Ему, за сохранение ночи нас всех, не один я.

Чем отличается молодежь от меня? Телосложением. Больше у них мышц поперечных и нет продольных; зады низкой посадки, ноги плохи; живот недоразвит, плечо болтается; походки нет, позвоночник костляв, не ходют, а кидаются каждым шагом, как на подвиг. Бежать не могут.

Почему по ТВ множество фильмов о войне, а о сегодня нет? Потому что — не хочется ходить сегодня в своей одежде, с молотком на бедре.

31 дек. 3

Пело в сухую метель, до 3 часов, сейчас снег гениален. Метель прошла, и внизу снег лежит на снегу, а над ним светлые огни на шее фонарей, бетонной, синие водяные шары висят на фонарях — электролампы! Снег с огнем! Я все вымыл дома!

С Рождества я надел все новое, льняное, и на постель; душ моет, шумя, я вымыт, сижу у окна, как у камина, смотрю в мир, как в уголь огненный. Луна идет вверху на гусеницах лунохода.

По ТВ:

Жено в белом порубила ножиком 6 черных лошадей и танцует, как Саломея, среди трупов. На белом коне с хвостом на задку въезжает на арену человекуж. Черные лошади тут же встают с мертвых и получают по куску сахару за то, что были порублены. Белый цвет поглощает все цвета, так и белая кожа поглотит желтую и черную, хоть она меньше всех. Ни одна краска без белой не существует. Это не я, сказал Исаак Ньютон, антихудожник.

Воюй, Иов. Война — стимул долголетия.

Выносят рояль на ремне. (По ТВ.) Что это? Аккордеон.

Клоун с нехорошими жестами рекламирует презервативы «Русская зима». Алла-Стенко-Разина, певица, поет в цирке о том, что

долго нельзя ругаться, как нельзя есть много мармелада. Песня называется: «Соломей мой, Соломей, с голой сиськой соломей!»
Прежде, чем решить, красива ли женщина, ее нужно раздеть. Толст я стал.

Еще ей сказать:

— Вглядись в меня внимательно. Ничто не тревожит тебя в моей внешности?

— Да нет. Нос тощий, щеки толстые. Глаза выпученные, как из ыцindaз'ы. Что тут тревожиться?

— Признаков близкой смерти нет?

— Ты не призрак.

— Кто ж?

— Живое существо. Бескрылое. С двумя ногами и плоскими ногтями, способное обладать общественным сознанием.

— Это не я, это Платон. Я антиобщ.

— Это щебет, друг мой.

— А ты — вещь, ты копия идеи. Если материя сопротивляется, ты, вещь, получаешься несовершенной. Связываю идеи и вещи я — Мировая Душа. Я — царь всех душ. А ты — тело, мир множественности.

— Это не ты, а Эмпедокл.

— Мы же без конца рождаемся, будет вечно рождаться и умирать мир, и не дано последнего прощенья?

— Молчу.

— Я оставлю свой род и племя, я покидаю дом и очаг, я отправлюсь в хиджру к Аллаху!

— Это не ты, а Мухаммад. Хиджра — бегство, трус!

— Хиджра не бегство, а исход героев. Исход в высшую божественную духовность!

На цистерне зажегся неон:

ЮНОШЕСКОЕ ВРЕМЯ МИРА УЖЕ ПРОШЛО. ЛУЧШАЯ ПОРА ТВОРЕНИЙ ДАВНО УЖЕ ПРИШЛА К КОНЦУ И ВРЕМЯ ПОЧТИ УЖЕ ПРОШЛО, ПОЧТИ МИНОВАЛО

(Магомет, Коран, 4).

Плачем.

На цистерне зажегся неон:

ЖИЛИ-БЫЛИ БЛИЖЕ К СМЕРТИ!

Песнь моя!

3 янв, 4

Палиндром: **УЖЕЛЬ Я ЛЕЖУ?**

Лежу, солнышко, настроение антиримское.

День пустой, в новеллах. Весь день лежу, балык спинной болит.

Съел г 40 сыру и яблоко обкусал, чай горит в стакане.
Фонари — как белые яйца, сваренные вкрутую, облитые холодной водой, очищенные от скорлупы.

В водопроводной воде стало столько железа, что, если ею поливать пустую землю в горшке, то к весне вырастет танк, и не один.

Две ноги у женщины — как две лежащие рыбы, колются.
Женщина всю жизнь идет в бой, мужчина ж от природы тупоумен, т. е. настоящий ученый.

По ТВ — толстые люди.

Они показывают Нью-Йорк, узкие улицы, бруски золота в помоиных ведрах, милые морды у полисменов, их как детей носят негры, — в петлице!

7 янв, 4

Пльви, лодка, пльви, наша, ты всегда мне казалась наивысшим, золотистым существом, ты тащи за собой плут, машина моя водяная. Что такое среда, чуждая мне? Это любой второй.

Где ж мороз? Да вот он, внизу. Приятно смотреть, как люди (простые) лопаются от мороза, и только челюсти летят, как часовые футляры — во все стороны!

У конькобежцев ножки короткие, как у Тулуз-Лотрека, к скольжению любовь — это... даже писать не хочу. Видим это.

Солнца нет с неделю, живучи иллюзии.

Мясо несоленое не естся, вырвет.

Попробовал: лапшу яичную, вареную, смочил огуречным рассолом, думал, лапша с соусом получится. Нет, это не блюдо. Минут сорок плевался.

Через какой срок действует рыбное отравление? — не у кого спросить. А то съел бы рыбы из цистерны, мне приносят, я выбрасываю в ведро, полкило семги свежей; если это и семга, то она лежала 73 года под матрасом у старухи Изергиль.

Смотрю на рыбу, вечереет. Зачем семгу пересаливают сверх горла, чтоб вкус к вкусу ее отбить. Из чего семгу делают?

Есть не буду, в ней жир и крахмал, рвотные. Нужно сказать У-рабыне, чтоб купила в цистерне свеклу, хорошо, чтоб не синюю. Я и свеклу со времен свекольников не ем, разонравилась. Но ее удобно выбрасывать, по частям, кусками, хоть и не химия: взял кусок, отрезал ножом, завернул в целлофан и бросил в люк.

У греков и римлян было очень сильное сердце, ели лежа. Лежа на боку, а не на спине, облокотив голову на левый локоть. Раб-римс после недели такой лежки схватит инфаркт, об этом стоит писать на фоне греко-римских ретро-настроений — были

они люди особой физпороды, закалки. Об этом (об еде) чисто писал Цезарь:

«Над мышью все одинаково сидят, и кот, и орел — опустив голову».

Как ни толкую, афоризм.

В римском понимании солдат не существует в имени, а — армия. В этом нет лжи и демоподхалимажа.

По ТВ.

Кто к примеру мужья у волейболисток? Волейболисты? Кто ж в таком случае дети у них, передается ли по наследству волейбольная команда?

Нет большего позора в спорте, чем громадный рост в баскетболе. Кто, как сволочь, в зубы свистит и в бурный ветер? Это я свирепствую.

26 янв, 4

Строгою посредственностью:

Муму-Камю, Бернард Шоу — Томас Манн, Герман Гессе и Кнут Гамсун, лже-Кафка да Д. Джойс, комбинанты США Гэмингвай, — сквозь призму прозы я вижу в этом веке одну реку плача — Пруст и Вирджиния Вульф — сын и дочь Божьи.

А в том веке сияют Уолт Уитмен и Эдгар По, Пушкин и Гоголь, — по два гения на континент.

А проза? Чист стол Флобера, геометричен Свифт, новеллист Боккаччо, заря Героя Лермонтова, светел меч Гоголя, Идиот — Достоевский; а Лоренс Стерн! Грозен рок Генри Миллера и невиданная радость — Лолита.

Строгою посредственностью:

Бальзак, Тургенев, Стендаль, Диккенс. Шелли, Золя, Франс, Готье, Беккет и... Чехов (печалюсь!).

Чудны сказки сказочников, но не у Гюго, не у Дюма, Агата Кристи — шахматная королева. Большое будущее имеет взор иллюзий детективистов.

Все видят, как занималось золото:

Хлебников, Аполлинер, Дорка.

Хлебников — НАДПОЭТ, Возрождение, нео-Леонардо на одной шестой, где одни горы грязи.

Строгою посредственностью:

Клейст, Китс, Жуковский, Тютчев, Бодлер, Верлен, испано-итальянцы дуты, выпадают.

Ф. М. Достоевский — игла горя, вопль ввысь, но ОН человек. Не вижу в жизни ни строки прозы, кроме как у Марселя Пруста и Вирджинии Вульф.

Вижу древо всего женского, более первородного, чем мужи, — Марина Цветаева, тонкая рябина, чистая сталь.

Вирджиния Вульф и Марина Цветаева, не зная друг друга, покончили с собой в один год, в один день, в двух концах земли, и это был год 41, а день август.

Я тяну знаменитую нить и ставлю баллы на ней. Остальные? Оставим.

Где Гете? Державин? Рабле? Сервантес? — это люди, они определяют формы, но они — не Сыны Божьи.

Племенные писатели — своим племенам, из них одинок Акутагава Рюноске.

За одним пером прозы стоит слишком большая земля незнакомого, а реалисты вообще недостойны, у них ноги, как гунны, разрушители!

7 март, 4

Мошки вьются, аква вита в стакане, вылизывают обод; трудные времена. Накрывать их ладонью, а венерин узел — съедят?

Ветер дул, центральный.

День недельный, четверг. Ходил по комнате с миндальными глазами. Читал Фауста, тайль 2. Народно. Грамматические разъятия Романа Якобсона не дают сути, кислые до сладости. То же и с Людвигом Витгенштейном, гениально. Но не ново. Не ново! Имена у Платона и Канта — те ж этажи.

Впрочем, и соловьи поют не новей, что не мешает им быть соловьями. А стрижи?

Аристотель, Микеланджело, Вольтер, Толстой — тетраэдр самолюбий, как пусто, как на шоссе — холодные ступни дождя.

Видится абрикос.

Хочется хлеба с крупной солью, серой, лимонада в бутылках 1 л 250 мл с фарфоровой пробкой, на железных проволочных рычагах. О лингвистике в связи с Р. Якобс. «Избавиться» — значит бавиться в избе, то есть баловаться. У изб. Что за ромбус! А избранный народ? — народ, бранящийся в избах?

За окном повисла крепкая веревка, по ней скользнули скрещенные сапоги, в окно заглянул подполковник МВД. И заскользил вниз. Внизу костер; горит, как рот рыбный. Подполковник МВД вынул револьвер, чешет дулом пробор надвое, под фуражкой, подняв ее, как крышку над головой. Или жуков вычесывает? Сверху не видать. К нему бегут.

Лягу ль я, подушка моя пельменная!

Уха из щуки спасает жизнь и она же залог мужской мощи. Жизни нет, а вторая часть повисает в воздухе без объектов. Результат: уха и хаос. К любовной теме: может ли быть длинной

нога у женщины ростом 1 м 33 см? А именно такие бомбы растут после акселераторов.

Невзаправдашние сексосамки.

По ТВ очень много одноногих актеров и актрис, малорослых и низконогих. Хожу по комнате. Еще и нога скрипит, с болью.

У Гете:

«Когда ж он увидел, что его друг мертв, его взор потеплел».

Это он о Шиллере.

Гете до конца жизни, а у нее и конца-то нет по-настоящему — не мог простить Шиллеру, что тот нюхал гнилые яблоки и пил много ликера.

ТВ погас. О скука, о скука.

Кто такие Обомнели?

10 февр. 4

Туч нет.

Упаси меня, Господь Бык! — из молитвы матадора.

Хожу днем со свечой в туалет и сижу на сиденье по-соколиному, держа в двух руках свечу, как покойник. Свет скис, электричество кончилось.

Рабы ходят, как ветры, — это в цистерне пива нет. Встали рано, как в библии, невпопад, горько ж. Кран с цистерны снят, второй вывернут. Дверца нараспашку и в ней молодой юнга с цветком, рабам цветы расхваливает, азербайджанец, кажется. А рабы смотрят на это исподлобья.

Уйдут все, следы узкие.

Узкие следы босой ноги, одетой в башмак, — кошмар. Но и башмак бос, он ни во что не обут. Следы затянуло пленкой.

Никого, женщин все нежат.

Сколько белья на веревках висит, ревя на ветру.

16 март, 4

Есть девушки-тонконожки, а тут цла девушка-толстоножка, в ванную, со спины черная, как кобыла. Беременность почему-то связывают с толщиной ноги. Но с чем ни связывай деторождение, а дети — дефицит.

Меж домов одни слепые носятся по ночам, звеня палками. Рост слепого — как у леопарда. Слепых полно.

Я не ел яичницу больше года. Хочется. Иногда вызываю ее образ, с колышущимися желтками, беломраморной. Вызову желание и

подавлю. Как? Выну сковородку из топленого чугуна, лизну ее быстрым языком — о гадость, гадость!

Была молодая женщина, рассказывала, кто растлитель у них.

Девочки очень собакоподобны.

Ем букетик укропа.

Странная связь у легких с психикой — рак легких только после стресса.

Молодым женщинам сейчас нечем хвастать, кроме психбольниц.

Когда спрашивают в «сфере искусств» — а судьи кто? — мы видим в музеях, за последние 4 тыс. лет, что судьи — те, кто нужно. Золотой Маятник, неподвластный, неподдельный.

Собаки бегают вниз, их несколько, остальные люди.

В ванне — арбузная девушка. Грудь арбузная, живот — арбуз, бедра — два арбуза, соски — серебряные ушки, спина арбузная, щеки, губы арбузные. Ноги у бедер арбузные, ляжки!

Помнится, была вся красная девушка. Той далеко до этой.

17 март, 4

Афоризм: зуб — обуза рта.

Над цистерной зажегся неон:

У КОГО ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА, ОБРАТИТЕСЬ В ЭСУ-17, В ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ.

Путь неотвратим, посвященных нету, обманывают об медь. Не замуровался ль я в каменном мешке? Я — не Монте-Кристо, бежать некуда, мстить некому, в кошельке клада нет.

Видения Ф. М. Достоевского — свет гения, далекое будущее.

Сердце постукивает по фортепиану. Худею, морда уж чуть потоньше толстой.

Стальные санки, много голых бегут сквозь черные очки на лыжах вдаль, наискось.

Буква Ч есть у топора.

7 апр, 4

Солнце тигра греет — меня!

Лес золотой, весенний — вдали!

Широкоплечий дог, друг в черном. Он утратил зимнюю мистику формы, а я сплю с книгой. Это воздух!

Лимон пророс в горшке на кухне, выпустил лист, как веер, как господин У. Лист с рукой меланхоличной, перстня ему не хватает.

Похож на щеки юной папуасы — лист лимона!

Исчезли тапочки домашние, вельветовые. Что надеть?

Кожаные? Но к ним нужен кожаный же пиджак... и т. д. Хуже всего, что к ним и новую книгу писать придется. Злостно украли тапочки, позолоченные.

Комары в доме. Нужно взяться за кипятик и брызгать в них из кружки.

В вазе — лютики, искусственно-засушенные, ставят в вазы сухие кости цветов.

1 май, 4

МТ-рабыня дает ложечку сметаны, оловянную. Ем сметану. Уж со многими я говорю тут, а не знаю, как к ним обращаться. По-французски, немецки, английски, арабски, китайски, эскимопонски я умею обратиться, а к ним — как?

В ответ:

— У нас есть три формы обращения: девушка, гражданка и товарищ.

— Как следует обращаться к незнакомой женщине в ванне?

— Ответы на этот вопрос могут быть разные. И все ж вряд ли можно согласиться с тем, когда, например, пожилую женщину называют в ванне — девушкой. В этом есть что-то пренебрежительное. Правильная форма обращения к женщине в ванне — товарищ или гражданка. Обращение товарищ требует указания на должность, звание и фамилию. Например, товарищ кирпичница, товарищ МТ-рабыня.

— Товарищ! — сказал я, — откроем краны. От лекций — не тот цикл.

— Словом товарищ без пояснительных слов мы назовем только мужчину. Слово гражданка служит разговорным обращением к незнакомой женщине в каком-нибудь общественном месте — магазине, автобусе, клозете.

— А в ванне? — спросил я.

— Ванна — место интимных переживаний, и тут женщину кроме как любимой не назовешь.

Я был озадачен.

— Но это еще длиннее!

— Да, длиннее. Но это щадит душу.

— О, нет, — сказал я. — Чем длиннее, тем дурнее.

И я выгнал вон эту лектриссу.

Я защелкнул все замки. Я уму нет сказал, я беру в руку кружку и смотрю, что на ней.

А на глиняной кружке нарисована девочка, нетитулованная, секс-сарафанчик, цвет несуществующие цветы и нюхает охапку. 14 цветков, число лепестков колеблется от 7 до 11, а на вид одинаковые, искусство. Глаз у девочки на носу, а бровь у волос.

Халтурно это, но уж не лекции о т. Алстом в клозете. Я кружку обнимаю и целую в белый фарфор.

Фетишист я.

19 май, 4

Друг строил Полярный Круг из минералов.

Друг не дает мне покоя. Улучив минутку, он входит и кричит, как Ферсман:

— Северное Сияние!

Беру бинокль, смотрю в окно — небо и ни бельмеса.

— Не лги, — говорю.

— Нигилист, всмотрись выше!

Из окна дул ураган. Друг закрыл окно на бронзовый крюк и занавесил шкурой белого медведя, он всюду ее таскает за собой. Вздремнул я.

Снились банки гусиной печенки и тресковой печени в масле. Проснулся: Друг жег на столе, на блюде костер из спичек, повесил на палец железную кружку, в ней две рабыни торчат — лимонелла и сарданелла!

— Ты хоть почти их, ухоед!

— Не могу! — нельзя с живых драть шкуру!

Ю-Друг — бригадный генерал. Его бригада ходит в штыковую на тюленей. Тысячу тысяч зверей режут и бросают в Дыру. В Земле есть дыры, сверлил Ю-Друг. Он построил Полярный Круг и решил проблему отопления Земли воздухом. Вот как: дыры идут до центра и в ядре горит костер, негасим, но холодный. Чтоб разогреть костер, нужен жир, и миллионы тюленей бросают со штыков в костер, а оттуда уж, из центра по всей Земле веет горячее тепло.

— Не выпить, Ю-Друг, я не могу, а тебе нету. Хоть бы горсть морской воды!

— О да! Я б построил морской флот, и бросив горсть под ноги свои, поплыл бы в иные времена, как девятый вал у коровы Райа. Я говорю:

— Есть ли у тюленей суки?

Ю-Друг:

— У тюленей сук нет, у них самки.

22 юн, 4

О том же.

Леонардо да Винчи, 1500 г., Венеция.

Лето и накал каналов, к осени дело, к идущей. Много рыбы, на

пл. св. Марка по ночам торгуют светящимися шариками, на резинке, фосфор на них. Леонардо Гениальный прибыл, спешно — важное дело. Он сказал: выпала ему судьба определить объем легкого, коим дышит Земля. Теория: при дыхании легкими у человека приливы и отливы крови, а вода — кровь Земли. Если верна аналогия, то легко определить приливы воды. Больше месяца Леонардо ставил опыты с водой у моря и считал в тетрадь. Получилось, но не то. А что? — громадные, неисчислимы массы воды приводятся в движение 367,5 локтя кубического. Не совпали мысли ученого и материи. До школярской ошибки, а у него не было ошибок: умножая 12 часов (интервал между приливами) на 270 (количество вдохов у чел-ка в час), он получил 2940. И уехал в Милан отсюда, к пушкам, к Тайной вечере. Много об этом пишется, что ни автор, то новелла. Не следует ли, однако, еще раз в Венеции повторить опыт, пока она цела? Ведь именно там гений метал цифры, а пред ним был открыт весь мир. Да его и выгнали в этот мир из Италии, уж старика... А Венеции скоро не будет, и тайна легких Земли останется анекдотом вместо решения вширь.

22 юн, 4

Зажгло розы, ем одну, малиновую. Тонкий стакан, в нем пять роз горят; четыре ждут очереди, бутоны.

Вид вдаль.

В ранний час встаем мы: солнце и я. Я сажусь на стул и остро смотрю на рубашку, шелк песцовый, нагрудный карман скошен, с рубинчиком-пуговичкой по центру; нравится.

Раб-строителей все больше.

Окна у скалы несметны, от окон нестерпимый блеск. Пусть занавесят.

Мылю овал лица.

Если ж они занавесят окна — блеск не меньше, а больше, мне ж не лучше, а хуже.

Пусть занавесят скалу. Это не каприз, я не могу сидеть в их блеске, а они в моем могут. Пусть подумают, как исполнить этот проект.

Через час начало звона ворон. Не ново и в нашем овине, и звон не нов, вороны — домашние души, люблю их звероподобность. Их нос похож на нас!

Вошли трое: хирург Г. Рурих, Аве-Аведь, психотропка, и третий. Как обидно, что люди такие молоденькие!

— Вы молоды, други, и вам не о чем вспоминать! Я нахожусь и меня не зовут, — предупредил я.

— О чем Вы хотели бы сказать сегодня? Чего хотите? — спросил х. Г. Р.

— Хочу скалу! — ответ.

— Что с ней, скалой, не нравится? — забеспокоилась А.-А.

— Ее нужно занавесить, — сказал я, — больно уж блестит.

— Как! — вскричала А.-А. — Подумайте о себе!

— Если от меня Вам слишком блестит, занавесьте мой нимб. Наденьте вуаль.

— Я займусь скалой, — сказал х. Г. Р. — Мы придаем рабам слишком много блеску, и это нестерпимо для глаз. Вам режет глаза? — спросил х. Г. Р.

— Режет? Кто? — всполошился третий.

Они у двери, закрыв ее на задвижку, изнутри. Третий интересен, над бровями козырек, никель. В голенищах.

— Подойди, — сказал я, — сними голенища и ступай.

— Не могу, — сказал третий, переминаясь.

— Ноги оторваны и деревянные вставлены в голенища? Ну, не снимай, иди смело.

Он не шел, они стояли.

— Посмотрите в окно, — кивнул третий.

— Не хочу, там блеск.

— Не блеск, а Вам не скрыться.

Я глянул: в окне на веревочках висят, изгибаясь, несколько таких же, как и третий, родственники, видимо. У них в руках обнаженные дула, целятся в комнату.

Я шагнул. Третий выхватил дуло, отпрянул. Я взял его за пуговицу, вынул очки: на всех пуговицах чеканка — Земной Шар. Мировое господство, это по мне.

— Кто ты? — спросил я. — Почему у тебя столько пуговиц на животе и на что тебе Земной Шар? Почему на плечах у тебя золотые пластинки и на них звезды, как в астрономии? Ты астронавт?

— Я капитан мира внутренних дел РЭ Утконос, ордер на обыск. Удостоверение личности.

Я не стал смотреть, неопровержимо похож на утконоса.

— Это понятые, — сказал РЭ У. — Хирург Г. Рурих и Аве-Аведь, доктор медицины.

— Ноги свои? — спросил я. — Надень тапки, тут ковер.

— Я сяду.

— Куда? — спросил я. — У меня один зад и один стул, другого не надо.

— Чего?

— Ни зада, ни стула. Можешь сесть в ванну; можете втроем, если не мыты; там никого.

— Мы мыты! — сказал капитан за всех. — В ванне никого, в кровати никого, у меня портативная рентген-машинка. Но пол!

Где у Вас блестящие шляпки новых гвоздей в одной из досок? Почему досок нет, а под ковром плита? Довожу до Вашего сведения: во время обыска следователь передвигается по спирали. Нет досок, железобетон. Где доски? — и кап. РЭ У. завился по комнате в виде ведьмы. У стеллажей он стал.

— Зачем Вам столько книг?

Я сказал:

— Храню в них ум.

— Неумно! Книги — для сокрытия оружия и боеприпасов, — кап. лизнул два пальца, как протопоп Аввакум, вспрыгнул, скользя рукой по стеллажам. Ловкий.

— Где бытовые машины и агрегаты?

Я дал утюг и раскрыл холодильник.

Утюг разбит рукояткой дула, а из холодильника вынута котлета на косточке, я ее берег.

— Утюг осмотрен, холодильник пуст, извлечена кость с мясом.

Котлету пусть съест хирург Г. Рурих, вдруг отравлена?

— Я понятой, а не собака!

— Не гордитесь. Собакам мы отраву не даем.

— Я съем, — сказал я. — Уж бы обед!

— Хирург Г. Рурих! Вы взяты, ибо личный обыск сопряжен с обследованием тела человека, целесообразней взять врача. Ешь котлету!

— Не буду, я выше Вас званьем и не-по-криминалистически! Дай псу.

— Пса жаль. Хоть пососи кость!

— Не буду! Свистни пса из коридора!

— Какой же ты, не буду и не буду, да будешь ты наконец есть котлету?

— Жри сам! Или дай объекту, он просит ж!

— Ему нельзя. Если он съест, то будет юридически отравлен, при свидетелях. Этого я не могу допустить. Ну съешь — ты, а я посмотрю, выживешь или сдохнешь, как гадюка, сукин ты негодюил! Не думал я, что ты не умен.

— Я съем котлету, — сказала Аве-Аведь. Да, не глупа.

— Съешь! Как умно! А то обыск идет уж за полдень!

— Я запрещаю тебе есть котлету, — уж совсем с Луны свалился х. Г. Р.

— Ты с Луны свалился, умник! — сказал РЭ Утконос. — Хочет есть — пускай ест, ты забыл о равенстве полов?

— Не ешь! — вскричал Г. Рурих и бросился наперерез.

— Я есть хочу! — вскричала Аве-Аведь. Она схватила котлету за узду.

— Стоп! — сказал кап. — Дай сюда! Вывод: хирург Г. Рурих за годы неумных допросов стал домашним животным. Поведенье ж домашних животных может указывать на место нахождения

тайника с документами. Ясно, почему ты не даешь есть котлету, в ней микрофильм. У всех сговор, увы! — кап. плюнул в ладони, потер их, высекая огонь, взял котлету за косточку, съел. Сел на пол, вода рукой по линолеуму крути своей жизни.

— Крути сужаются, — сказал он.

— Ну как? — спросил х. Г. Р. — Как с поджелудочной железой?

— Вкусно, — сказал следователь. — Больше нет? — и кивнул горестно: — Нет! — и в упор:

— У Вас есть банки с вареньем? Я предлагаю добровольно выдать их.

— Ну и сластена! Ты жрать пришел или дело делать, государственный? — Аве-Аведь, котлета от нее ушла.

— В банках с вареньем многие любят прятать расчлененные трупы.

— Кто убит? — спросил я.

— Тот, кто жил до Вас здесь. Я включил трупоискатель! Он указал на единственный — труп котлеты. Я съел ее. Это ведь не Ваша квартира?

— Пишущая машинка моя.

— Почему?

— «Гермес бэби» с железным корпусом и римским шрифтом. Их не выпускают уж сто лет. У нее резко отличен шрифт, расположение. Я сел и сразу же стал писать, без затруднений.

— Умно. Но ее могли подбросить.

— Вы. Только Вы.

— Вдвойне умно. Мне трудно говорить с Вами, не обращаясь. Как Вас называть, Матвей Ибаньес?

— Не дурите!

— Вы не помните, кто убил и каким орудием?

— Кого?

— Вас!

— Меня никто не убил. Были б следы от пуль.

— Неумно. Хирург Г. Рурих, твои ветры! — и он рванул мою фланель, диагональную, единым махом — в ключья! — Следов нет! — он взвыл от злости. — А это что? глянец?

Следы были, от ямки между ключицами до паха я весь распорот, рубцы, дыры, хоть отбавляй. Но это следы хирургических вмешательств. Не пуль.

— А в животе что?

— Не пули.

МВД сел на пол и расхохотался, как человек — до, ре, ми!

— Ваша душа чиста! — сказал он.

— Это не новость, — сказал я сухо.

— Можно я лягу? Я устал и заслужил отдых на локте, хоть и без вина. Ни вина у Вас нет, ни тайников у Вас нет. Даже! — И он сказал с кровати, лежа в голенищах:

— Ваше явление во второй раз вызвало много версий. Неоспо-

рима одна смерть, реанимация, и вот Вы живы. Но кто Вы? Почему с таким упрямством не называете себя? Неумно. Вы сказали адрес и Вас привезли сюда выздоравливать. Паспорт у Вас был этого же адресата. Но более ничего не совпадало. Еще в больнице к Вам вызвали всех — родных, жен, женщин и друзей того, документального, по паспорту. Ни один не признал. Тот Вы (скажем так!) был тонок, носил влася до плеч, был знаменит и здоров, как бык Апис, за всю жизнь имел 3 привода в больницу с алкогольной отдышкой. А ваше тело (доставленное!) было разгромлено наголову, со следами тяжелых травм и до доставки, у Вас не было волос и тяжелая толстота! — видите, аргументы. Тысячи людей видели того Вас в тот же день, тонок, кудрявый, живой, и привозят этого Вас же — лыс, толст, мертв. Несовпадения. Анализ:

1. Попадает в клинику больной со смертельным исходом. Или убит, или самоубийство.

— Или съел котлету! — Аве-Аведь.

— Желудок был пуст.

2. В тот же день и тот же час исчезает человек, проживающий по Вашему адресу. Куда он может пропасть здесь, где ничто живое не уйдет от МВД? Он или убит, или убил себя.

— А труп спрятаться может? — Аве-Аведь.

— Мы и ищем. Задача с двумя неизвестными, и у обоих один адрес, но не то лицо.

3. После воскрешения неопознанный труп вдруг заявляет, что он не только не он, но и не знает, кто он. Все фамилии, которые ему называют, он отрицает. Амнезия? — нет. Он помнит события тысячелетий и миллионы имен и чисел. То есть — он помнит все, что читал в своей жизни и не помнит одно: свою жизнь. Кто он есть — также не помнит.

— Вы не молоды, не так ли? — обратился РЭ Утконос.

— Немолод я.

— Из нашего успешного знакомства я понял, что Вы не убийца того, о ком шла речь.

— Благодарю Вас.

— Я понял, что Вы и не самоубийца. Объясню: человек, который знает один способ — пулю и с яростью ищет ее, не может себя отравить. А ни одной пули не было пущено в него.

— Умно, — сказал я, в подражанье.

— А что ж, неумно? Сейчас Ваше сознание, как свежий арбуз, не жжет, капли граммик чернил — и весь арбуз посинеет. Я сказал об убийстве — ничего, стерпел, без синьки. А бывают казусы!

— Какие?

— Смертельная бледность!

— Лакмусы! — Аве-Аведь. Грубит.

4. Отпадает версия убийства и самоубийства — Вас. Но того мы искать будем. И Вы!

— Он не будет, — сказал хирург Г. Рурих. — Это не он, и отвяжись.

— Я следователь, а не селадон! — отрезал капитан МВД РЭ Утконос.

И прибавил: — Тот был так красив, что когда он спал, дамы останавливались и так и стояли годами, смаргивая слезы. Чего о Вас не скажешь.

Этот мент начал мне надоедать.

Уж не мутант ли он?

Ценность жизни — артистизм.

А может быть, не Нерон, а Британик был бездарен, как поэт, и завидовал Нерону, как и римский плебо-стихотворец! Почему все до единого стихи Нерона были уничтожены тотчас. Куда бы выгодней показывать их потомкам, если уж плохи. Сенеку не показывают.

27 юн, 4

Вижу: в ночи светлы козы и псы, охотники в бескозырках, гнутые собаки, гладкокожие, и косули — на лбу сук!

Я вижу битву при Сан Романо с безумным воином в красном плаще и с золотой прической; и геометрию копий.

Это Паоло Учелло. Флоренция.

Смерть Прокриды у Пьеро ди Козимо, где неголая женщина легла на лугу, в зелень, торжественные сандалии, и сатир хуленький с намалеванным ухом, и старый пес, коричневый, грустно-грустный, большеморд, и фон голубой, где бело-желтые дороги и профили собак, цапель и водица свежая в море, с уточкой. (Собака сидит, как фигура овцы.) Лондон.

Молящаяся Агнесса (Дрезден) — снится с неделю, диалог с ней невозможен, холст-громада, обмазанный плохой краской, но что-то в этой чистоте от девки, нимфетки, святая ведь — это и есть Лолита.

Толстая женщина прошла, как ветер, в ванную, девоподобна, а за ней и я пойду с камнями на ногах. Бьют склянки!

Это человек живет по сюжету, а холст не хочет.

Свежие козы лягут, как розы, под нож. Пес-пиявка взойдет в сад, как круг солнца. Конь свят, гнут, как любовник, и светится. У косуль на лбу бивень и голые ноги вверх, у оленей на ветвях рог — оливы.

Способность к цветным фигурам, писать я согласен, а бриться — нет. С волосами всегда сбываем и часть головы с лица (лучшую). Я вижу у многих, как от толстых щек остаются фиалковые.

Бритье приносит страдания больше, чем мертвецы, все, вместе взятые. Гильотина — вот уж жест денди.

Бриться можно, если ты уж в бронзе; я бреюсь вот.

Много ль лучше человеку жен? Хожу в ванную, как в хижину, где с мылом рай и сало, шерсть.

Я пишу о книгах больше, чем о людях (и из книг). Что ж делать, в людях я не волен, те, кто здесь, — люди ль это, или неразличимые недочеловеки? А в книгах выбор — хочу-учу, нет желания — под ножницы. Не римс я видно, не римс я.

Чайки над морем, как пружины, стальные.

Старуха с рукой в заре собирает у моря в железное ведро — лампочки, стеклянные, электрические, обыкновенные. Сдает в цистерну за деньги. На цистерне висит плакат:

НАРОД — РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Лампочками украшают жизнь.

Лампочки выходят из моря.

5 юл, 4

Леонардо учился у Вероккио вместе с Боттичели и Перуджино. Ученики Леонардо: Больтраффио (Джованни), Франческо Мельци, Марко д'Оджоне, Салаи, Содома, Амброджо да Предис, Андреа Соларио, Чезаре де Сото, Ажанетрино, Бернардино де Конти. Леонардо создал сфумато, то есть не стиль, а тип, иной мир живописи. Этот прием стал фетишем Рафаэля и школы. Рафаэль — не ученик из мастерской, хуже — он ученик — не ученик, схоласт. Всемирные восторги о нем — та же ситуация, что Платон и Аристотель. Один создатель, второй — популяризатор. Популяризация, т. е. снижение приема Леонардо до описаний фигур в свету у Рафаэля, это живопись для низов. В истории краски Рафаэль уж скорей предтеча двух течений дурного вкуса — рококо и реализма. Потому что он из первых, кто цвет превратил в яркость, а форму в лирическую аллегорию. У Леонардо: матрос; святой, мадонна, ангел, Варфоломей, во всех, не скрывая, да Винчи писал себя. Есть и женомуж — Иоанн Креститель, тоже автопортрет. Этот уход на и за цветное стекло, и сквозь — мир, нужный лишь постольку, как видишь и пишешь, где и Шар 3. — декорация, если необходим он.

Кем был Леонардо и не перечислить — лингвист, геометр, изобретатель леонардосок, баллист, скульптор, архитектор, первоначертатель латинского алфавита и т. п. Естествен вопрос: человек ли он? Если за историю людей некий не имеет себе равных, разве ж не вопрос: а человек ли этот, среди людей? Свой профиль он отдал 26 персонажам учеников. Он пел. А волосы у него были шелковые, золотые, усы вились. Это себя он вписал

в круг Витрувия-Леонардо, как классический образец соразмерности всех человеческих членов. Жил он мало, 67.

Не сетуй. Человек-оценщик не готов к явлению гения. И только тот, владетель Золотого Маятника, укажет вдруг пальцем на ту или иную личность и качнет маятник в ее сторону — вот ОН! Это голландцы, это Брейгель «культивировал интерес к человеческому коллективу». Это о Брейгеле: «При этом коллективное существование людей он находил нужным изображать как лишенное разумного начала, оглушенное, или заблудшее, зашедшее не на те пути, которые бы могли вывести его на широкую дорогу осмысленной деятельности». Брейгель не учился и не имел учеников. Он дружил с Альбой. Он ненавидел людей вслед за Ян Ван Эйком, Рогиром дер Вейденом, Гуто ван дер Гусом.

Голландцы очень дорожили своими картинами, как денежными единицами. Они копировали их и продавали в разные страны. Копировали — себя. После гения Иеронимуса Босха собственно кончается великая живопись и начинаются торговые дома. Нельзя верить художнику, который копирует свою картину, — оскопитель. А поздней вообще уж не холсты, скобяные лавки Гобсека — бесконечные груды чайников, ложек, чашек, рюмок, еды во всех видах, посуды и мебели. — Гобсек, скрещенный с Гаргантюа. Это уже позор, строгаю посредственность.

У Леонардо — один он. Я — золотое условие искусства. Да и судьба его работ бесчеловечна. Тайная вечеря, не имеющая равных в мировой живописи, а он не захотел ее делать водяными красками, он опыт ставил, т. ск. — фресковая живопись с последующей доработкой маслом. Но стена, на которой фреска, так уж вышло — оказалась сложенной из камня с примесью селитры, а то есть — выделяющая влагу.

Далее: чтоб удобней ходить из кухни в трапезную, монахи пробили стену с картиной и врезали в нее дверь, уничтожив квадрат с изображением ног Христа. Бия кувалдой дверь, были расшатаны камни стены и осыпалась известка с краской. Пары из кухни — 200 лет!

В 1796 г. армия Наполеона заняла Милан, и в трапезной Грации устроили конюшню, потом склад сена, а потом тюрьму. С Тайной вечера позднее смыли автографы 678 уголовников. В апреле 1946 г. при бомбежке Милана атеистами часть трапезной была разрушена. Потом об этом я продолжу.

8 юл, 4

Море выбросило доску, а на ней — гуси, рубленные. Котел я найду, лук уж куплен, масло, но Ты, пошли бочонок кислой

капусты! Мы сядем на два-три бревна у костра, как в день Страшного Суда, закроемся крышкой и будем думать о воздушном столбе и кто на нем стоит, недоступный оку, или — какой маленький куличок, несется от нас, как свистулька!

Яркое море. У моря бегом, с топотом ходит лысый, с грудью, с шелковой головой. Дождь идет и свет горит.

ЛьетсЯ дождь, заливая плоскости стекол, как лед, стекая вниз. Лампочка включается и выключается, грозовые помехи.

Конец дождю, день.

У моря двигатель-бегун, усик, красочный, на голое тело у него надето электричество.

Еще был на виду щеголь-парус, живот, цветной жилет, с кормы рыбак ловил рыбу — могучим ртом! По небу над ним взревел Беллерофонт, пал, как азбука Морзе, вниз, и две ноги, розовых от зари, еще долго болтались над водой, сгибаясь в коленках. Б-фонт пал с верху воздушного столба, и влекомый ко дну, все ж вышел из волн и побежал к моему окну, усы как после дождя, облысевший летчик. В нем, как и во мне, живет два тела: одно вечное и это Экипаж Вселенной, душа. Это — и Б-фонт, и невидимые колеса Орфея, привинченные к ногам в путь к водам адским и от них — в этот мир, на стул! А зачем? Греть в лиру рукой и быть убиту дикими девками в ванне? Чтобы оторвали Ы-рабыни голову и бросили в Гебр?

Утешает разница: Орфей был Внизу, а я Вверху, он имел аудиенцию с Черным, а я с Белым. Ему сказали: не оглянись, а то потеряешь все. А я, видимо, все потерял, п. ч. и оглянуться-то не на кого.

Но Это — Путь, и этот Путь близок идеям и далек людям, телесное мясо легко сходит с человека, а Экипаж Вселенной ждет, запряженный.

Вечер вышел с солнцем, обошлось без грома, не считая ушедших туч. Орфей — не юность и не верность. Орфей — царь, зрелых лет, первооткрыватель математики и первый музыкант догреческого мира, полководец, поэт ясный, учитель Пифагора. Орфей фракиец. Пифагор скиф, а остальные греки. Возврат же оттуда в греческий мир — ошибка, месть греков и римсов вульгарна, а шаг к тебе — пошл и неласков.

Но орфик — царского рода, не граф. Граф, берущийся за рукоятку плуга и оглядывающийся назад — недостоин Царства Божия. Александр Македонский, защищая границы Греции, дошел с плугом до Индии. Если б он опоясал войсками Земной Шар — защищаться было бы не от кого.

Геродот:

«На одной стороне лежали кости персов, а на другой египтян. Черепа персов оказались такими хрупкими, что их можно было перебить ударом камешка. Напротив, египтянские черепа были

столь крепкими, что едва разбивались от ударов большими камнями. Причина этого в том, что египтяне с раннего детства стригут себе волосы на голове, так что череп под действием солнца становится твердым. В этом же причина, почему египтяне не лысеют. Действительно, нигде не встретишь так мало лысых, как в Египте. У персов, напротив, черепа хрупкие, и вот почему. Персы с юности носят на голове войлочные тиары и этим изнашивают голову».

Что тут возразишь. Что ни логос, то шедевр. Я лыс, как перс, по Геродоту. Утром я бью молотком яйца всмятку.

10 юл, 4

У кого толстые ноги — у того расписание жизни. В 10.50, откуда ни возьмись, у моря идут толстоногие. Может ли быть толстый зад на тонких ногах? Может, если он в войлочной тиаре. Кто толст, тот держит под мышкой гитару, как топор с топорищем. Единственный с толстыми ляжками, вызывавшими гнев и зависть иностранцев, был полководец А. В. Суворов, русский. О нем дурно писали тонконогие пруссаки, что он брился на поле боя. Не знаю, где, но он всю жизнь был брит, как император Павел Первый. Ассоциативный ряд.

12 юл, 4

12 квинтилия в 100 год до н. э. родился Гай Юлий Цезарь, самый известный человек до Христа.

За сто лет до Христа.

13 юл, 4

Теперь всем, кто ворует, выдают зеленые кофты.

14 юл, 4

Чайки на отмелях — центурионы, старая гвардия Наполеона, с белой грудью в стальных сюртуках.

Ну, выше голову: на скале женщина, на ней мужчина, на нем ребенок. Все трое стоят в красных плавках друг на друге, на плечах.

О Боже, зачем?

Вода, движущаяся по телу со скоростью выше ливневой, — в ванне.

У рабыни Н в ногах винты, длинные и неумолимые.

Восход — это круг над линией мира. Взойдет драгоценный диск — включаю кран, беру мыло. Будь готов, что над гладкокожей водой, мылясь, встанет в окошке человек с книгой, это — риф Орфея в море безнадежности.

Я сплю на спине, расслабив до свисания кисти. Спать бы так всегда, но уж нужно стать собой.

Спит стол в темноте, лампа спит. До пишущей машинки нескоро, до утра 7 часов, книги спят, опять же как собаки, пока их не тронут, а тронут, с громом проснутся. Спит стакан. Вот огурцы, к примеру, спят голые и не стесняются, — думаю я, как Марсилио Фичино, глава и основатель флорентийской академии, который все думал о волках и ягнятах.

Если приоткрыть золото-плюшеву занавесь, мы увидим: белый пудель ходит по темным тучам, метемпсихоз. Нога болит.

17 юл, 4

Если Ной жил 950 лет, то что ж делали в это время остальные? Их было так мало, что Ной мог жить долго.

Жизнь людей делится на всех; чем меньше людей, тем дольше они живут.

Фрейд — поэт, а не медик. Смешно приписывать талантливому эссеисту-литературоведу рецепты и панацеи от всей психики людей. Фрейд, одержимый импотенцией, видел во всем сексуальный смысл, болезнь. Широко обобщая, Фрейд сильно обобщил человеческую психику без учета географии да и вообще людской сути. Деторождение не есть секс. Больше всего детей у импотентов и фригидок. Слить семя и приять его (!) не любовь и не эмоция, а механизм земного бытия.

Библия.

У Лавана две дочери, старшая Лия и младшая Рахиль.

Лия слаба глазами, а Рахиль красива. Иаков полюбил Рахиль и сказал Лавану: я буду служить тебе семь лет за Рахиль.

Лаван сказал: живи у меня.

Через семь лет Лаван устроил пир. Вечером он взял Лию и ввел к нему, и вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанки Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Иаков Лавану: что сделал ты со мной? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Лаван сказал: в нашем месте так не делают, чтоб младшую выдавать раньше старшей; окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту.

Иаков так и сделал, и Лаван дал Рахиль ему в жены. И дал Лаван служанку свою Валлу в служанки Рахили.

Иаков вошел и к Рахили и любил ее больше, чем Лию.

Господь узрел, что Лия не любима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и сказала: теперь будет любить меня муж мой. И зачала опять, и родила сына, и зачала еще и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сыновей. И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхваляю Господа, и перестала рожать.

И увидела Рахиль, что не рождает сама детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: дай мне детей, а если не так, я умираю. Иаков разгневался на Рахиль и сказал: разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?

Рахиль сказала: вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колена мои, чтоб и я имела детей от нее. И дала она Валлу, служанку свою, в жены ему, и вошел к ней Иаков. Валла зачала и родила Иакову сына. И сказала Рахиль: судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына. И еще зачала и родила Валла другого сына Иакову. И сказала Рахиль: борьбою сильною боролась я с сестрой моей и превозмогла.

Лия увидела, что перестала рожать, и взяла служанку свою Зелфу, и дала ее Иакову в жену. И Зелфа родила Иакову сына. И сказала Лия: прибавилось. И родила Зелфа другого сына Иакову. И сказала Лия: к благу моему.

Сын Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровое яблоко в поле и принес Лии, матери своей.

И Рахиль сказала Лии: дай мне мандрагоров сына твоего. Но та сказала ей: неужели тебе мало завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего? Рахиль сказала: так пусть он ляжет с тобой в эту ночь за мандрагоры сына твоего.

Иаков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу, и сказала: войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. И лег он с нею в ту ночь. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия: Бог дал награду мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему. И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына. Потом родила дочь. И вспомнил Бог о Рахиль, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: Бог снял позор мой.

Это история из Книги Бытия. Что в ней? Это не Фрейд. Это люди. Это не Эрос. Это комбинат. Это чисто женское отношение к детопроизводству. Как мы видим, нескончаемый поток измен и детей не вызывает в семье Лавана ни фрейдизма, ни вершин искусства. Стрессов нет, одна людская скука, если еще учесть, что Лаван родной дядя Иакова, Рахиль и Лия его двоюродные сестры, а служанки уже рожали от Лавана.

Мы видим одно: совершенную семью, идеал домашней жизни.

Грех — это ведь большая редкость и ценность. Народу не до греха.

Грех — это ведь рок. И это не исповедь исподтишка, а открытая чаша вина. Все живое будет грешить, а мертвое писать законы.

19 юл, 4

Жалко девочек, кому 14, они родят тех, кто уже не увидит на земле зверей. Пропадут звери, а человек не пропадет, он будет жить, тот же.

Они не увидят рыб. Только куриные рыбешки тиражом в миллиард в общих аквариумах. У них будут крысы, кошки и голубь. Кенгуру не будет.

20 юл, 4

Можно описать воду в стакане не хуже, чем море.

И все ж в стакане воды нет световых лет, из морской воды вынут стакан соленого, в нем нет палуб и Гомера. В воду опущен цветок, ромашка — это искусство с маслом, но не море.

Не море в стакане и не лучше моря, ничем.

А бывает буря в стакане воды не хуже, чем шторм. См. холщовые листы истории. Но это разное. Лучше уж уничтожим свои свитки, как Боттичелли и Гоголь и Хлебников, ведь они — дело одного, а море — не дело, а дух.

И дождик идет вниз, как море роз.

А уничтожим свитки, и не увидим новое море, оно ведь от слов.

24 юл, 4

Сердце звенит, в ночи оно бьется плохо.

Вешний звон вьюг в ночи и летние ноты дятлов, весенний, осенний лист в стае тех, кто летит. Но лист, как солдат, лежит на земле. Как собака, которой солдат дает приказ — лежать! Тусклый лист, летая, лежит, — можно и так сказать. Земля лежит под ним.

И земля, летая, ляжет под лист, а он ляжет на землю, отлетался. Нет отлета ему, скоро снег, пойдут день за днем твердыми шагами по тем, кто летал и лежит (без аллегорий!). Снег идет круглые дни и летает в ночи, звеня, тихий хитон он; свежесыгранный, белосветлый.

И ветер войдет в дубовый сад, летая. Во что ж дует ветер, как буря? В рот вставлена труба из медного железа, она широкая, громадная, она летает вокруг, как птица, с поющей грудью и с осой на губных дольках, — беда у губ, беда.

Весь рот вырвет труба, вставленная тем, кто и хотел бы звона (звукового!), да не дают.

Светлый образ грома, выстиранные ткани, — все голубое!

Дождь летит, жаркий кот сидит на столбе, держит в лапах ток столба электрического.

Дождь и дрозд, как зарифмованные, сидят на нотно-электрических проводах, держат в лапах ток столба, и вот встают и оба летят, а столб, что, ничего в нем нет, один столб в нем.

Скоро много рук, скоро, скоро! Летят они с до свидания вод, с каймы Ямы, где тысячи туч чернеют, оттуда свет, долгий друг журавлиный летит с шелестом, и вот он тут, ладонь и меч во рту у чемпионов мировой географии, на все вопросы отвечающие, не читая: «курлы-курлы».

Курлы, орлы со страниц! Курлы, рули голубого Бога!

Курлы, колы, как проглоченные темы, кто задрал люк, смотрит двумя лампочками в небо и не имеет он, смотритель.

Еще и ружьем грохнет!

1 авг, 4

Долго живет убитая роза в графине. Графин из стекла, живот. Графин, и больше в нем никого нет. Одна роза шестой день не опадает. Я пишу, как соловей, и садился к ней на грудь. Грубо! Он щелкал, он пел — и пошло.

Пошло петь! — Одна роза и графин из тонких стекол. Мертвый черенок с сухим галстуком в пунцовой шляпе в графине, как в аквариуме. Не эту ль розу бил шмель, антисоловейный? Не розенкрейцер. Почему соловей — любовник? Где в роще соловей берет чайную розу?

В лесу шиповник с чаем. Рисуют соловья с короной, с бровями, с райским хвостом. Лапы у него женские.

Роза — это соловей. Вот и классифицируй по Линнею.

3 авг, 4

Я люблю обувь и помню сапожки па-де-катр, полонез; мне милей котильон. Помню по типу испанского сапога, ботинки с длинной шнуровкой, они гнулись.

Люблю ошейник с гравировкой по ободу, собаку, альпийские фиалки и голос, певший:

— Что же делать, если обманула та мечта, как всякая мечта, и что жизнь безжалостно стегнула грубою веревкою кнута! Не до нас ей! — И голос, тот же:

— Не до нас ей, жизни торопливой, и мечта права, что нам лгала, но скажи, когда-нибудь счастливой разве ты со мною не была?

Арфа играет, круглая, — орфику за стеной.

У Стены Плача.

И лет самолета с таким огромным крылом, двумя — громады. Глушат и заглушали голос о том, как Вольфганг Вертер не воспитал чувств у Вильгельмины Мейстер.

И вижу я! — сороку, летающее, с хвостом авиации, с двумя зонтиками, натянут на спицы пестрый шелк, с двух сторон черных раскрытий белые мазки по черному, летуча, жизнь, распластанная на воздушных слоях.

У сороки театральные грим и платье-плиссе, и хвост со свистом, как нога!

И я скажу: я все сказал, до следующей смерти, други!

5 авг, 4

Триденский собор, XVI в.:

— Тождественное тело будет восстановлено без искажений или добавлений.

Это о воскрешении.

Это я о том же.

Вопрос Иова:

— Если человек умер, то будет ли он снова жить?

Я.

Самодialogи Лейбница:

— Что хорошего, сударь, было бы, если бы вы стали китайским императором при условии, что вы забудете, кем вы были? Разве это было бы не то же самое, как если бы Бог в момент, когда Он уничтожил вас, создал в Китае императора?

Не то же. Тело. Не указан возраст.

А раз не указан возраст, то и разговор о должности императора неуместен. Тело-то помнит, сколько ему лет и где оно. Воскресшее тело вспомнит свой образ, хотя бы потому, что нельзя спутать мужской пол с женским.

Тяжел и нереален Лейбниц. Не мистик.

Воскрешение всех. Будет давка, вес экс-трупов составит вес и массу, превышающую это ж у Земли. Ни одному из воскресших не удастся и глазом моргнуть, понесется тут же в тартарары вместе с матерью-Землей.

Сколько энергии выделяет одно тело и куда она девается? Момента́льная вспышка воскрешения, стык всех энергий испепелит Галактику.

В коре головного мозга 14 миллиардов нервных клеток, или нейронов. Несколько минут художественного мышления требуют межнейронных связей, число их столь большое, как число атомов во всей Солнечной системе — 10^{56} . Если б каждый нейрон сочетался с остальными всеми возможными способами, как у геня, то общее число таких связей намного превзошло бы $10^{2783000}$.

Мой мозг.

А у всех воскресших в одну секунду? Не до Суда им, не до Суда. Так что идею всеобщего воскрешения следует отбросить, как сумасбродную.

Или так: воскресим избранных. Но и тут тупик.

Избранные капризны, не приспособлены к земному, да это воскресение им просто излишне, они уже мирно мигают всем по нескольку тысячелетий в виде и форме звезд, носящих их имя. Второй тип этих персонажей так вошел в сознание ч-ства, что несколько минут земной жизни в их теле может быть для них куда хуже, чем жизнь вне тела. Это самоубийцы. Среди людей духовных крайне мало таких, которых можно было б воскресить без ущерба для их психики и для психостении окружающих.

Но роль второй жизни (моей) не стоит преувеличивать, это дела технические, а не божественные, это делает медицинская инженерия, но Он знает об этом и допускает. Его санкция. Ведь одно тело-то может лежать в механизмах бесконечно долго, но вдохнуть в него душу — это уж самая высокая санкция Бога. Таких у Него мало.

Диоген — собака — Мониму:

— Готовься к переселению в мир иной.

Только во время смерти душа отделяется от тела, а в остальных случаях — никогда, и будто привязана к одной с ним вершине. Души, привязанные к телу, низки и несвободны, а непривязанные — благородны и горды, ибо живут, управляя всеми и величественно приказывая.

Это обо мне.

9 авг, 4

Туман — неотложный, как стекло, а я за двойным.

Деревья стоямя, как бревна. Да и пилено на кругляши — люди, машины; температура с отпиленным градусником 25° выше солнца. Снизу и доверху по скале вьется пантус, стирают веревки и висят на них. Живут хоть в грязи, но в чистоте.

В скале прорубили ворота в форме Нотр-Дам, а над ними оконца, а в них я вижу дула пушек. В воротах стоят бетономешалки и боевые лестницы, кипит смола — к защите готовятся. Вдоль дома, вдоль моря проволока, и справа, и слева на расстоянии две будки для полисменов, из бронированных бревен. В будке дверца сзади и отверстие с толстым стеклом спереди, по одному на будку в них полисмены с кефиром, белым. Чуть что — тревога, птица летит не та, ДЫ-рабыне взвизгнется, самолет с мелкими крыльями скажет ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ, — и полисмены выскакивают из будки, бегут навстречу друг другу, задрав хвосты, цепь на колечке, на проволоке. На шее ошейник с фамилией и званием. В длинных они сапогах, раструб вверх к ятрам.

Столкнувшись, полисмены стоят навтыжку, и мы видим, что это молодые, сержанты, тузики и револьверы неоднократно. Они уже стреляли в скалу, но попасть не удается, пушки оттуда бьют. Обменявшись по выстрелу, а то и по два, утихают. Снаряды без особого вреда — скользнут вдоль дома, вырвав из рук несколько бутылок, и уйдут за угол, снося столбы.

Столбы судьбы! — иронизируется.

В скале выют гнезда, множества; свили. Сидят на камнях, как птицы, ноги окольцованы. Губы у них большеваты, уши плоски и с кисточкой. Цветы не водят, собирают дожди в лохань и пьют, и моют детей, бросая в лохань модаз. Взвизгнется!

Они бегают по лестницам, несут суп и хлеб, кость от ног свиной и быкицы, это в праздник, когда киты рождаются. Кость сосут молодоматери, чтоб стать сочнее, витаминоз якобы. А что в кости? — дуют ветры.

В жестокую нужду всегда много кудрявых, гитары и винцо. О работе — ни слова, моветон. Я видел не раз, как солдат в белой шинели, сняв автомат и нож, давал рабу-ДА пачку денежных знаков, и это только за то, чтоб раб-ДА взял молоток и ударил солдата по каблуку, один раз, гвоздь от каблука отшатнулся. За то, чтоб забить один гвоздь, — пачка купюр, за год строительства. Не берут, лучше будут пить из стекла алкоголизм и лежать на матрасе в красную полоску, как пара, спиртоводочная.

Скалу строят.

У вершины кружатся орлы, они осеняют людостройку. Бьем ломами!

Кто эти, строители скал? Уж не хамиты ль из Книги Бытия, люди царя Нимрода, Бог дал рабскую судьбу, а они взбунтовались и стали строить дома, высоченные, чтоб достигнуть Бога и указать на свой слог в камне. Это не они. Ничем они не хамиты, у них нет дерзкой идеи. А почему в такую высь лезут?

Я видел, как тянули корову вверх, на деревянном ошейнике, и она ничего, тянулась, содрогаясь. А свинью тянули, привязав за туловище у лопаток, голова узка, выскользнет из оков и вниз,

всмятку. Я вижу, как тянут новых женщин вверх, на крюке, под подбородок и — поехали! — под венец! Мужчин не тянут. Они идут сами по скале на четвереньках, обмазав конечности сладким; не срываются. А отроки и отроковицы — это уж продукт жизни семей, ничего не поделаешь.

Днем все плетут гнезда из соломы, сена и луковиц, смачивая это слюной; плюются, одним словом. После жизни в скале прорубят окна, вставят двери, обстрогают этажи... Я не бытописатель. Муж, жена, ребенок-римс, в кепи, и черная собачка с волосами до плеч, — все так и сидят в окне, не мешая жизни. На заре они розовеют, днем, как зеркала, а вечером — муж: в зубах гиря 16 кг, жена: ребенка держит, как жернов, а песик сосет белую бутылку; в полночь все впитывают лунный свет. Жизнь у рабов хуже, чем у королей? У королей хуже: как ни спи с псом, как ни эксплуатируй, а конец скоро — гильотина. А рабы народ свободный, с деньгами, одно тяжело — непосильно воруют. Старушки сидят на табуретах, голые ножки, подошвы чистенькие, в простокваше, носы синие, глаза состоят из стекол, а на груди фанерка с надписью: «Хочу есть яств». Дети их бьют кнутом.

11 авг, 4

Хирург Г. Рурих:

— Я расскажу о своей фамилии.

— Зачем?

— Узнаешь, кто я. Фамилия древнейшая, род старинный, родоначальник Рюрик, скандинав. От Рюрика — все цари на земле.

— И ты?

— И я иду от царей.

— Ко мне ты уже пришел. Пей!

— О нет, я тебе сказал всю подноготную. Скажи свою. С какой буквы она, хоть букву скажи!

— Не нуди! — сказал я. — Придумай другой прием. Если учесть, что фамилию тебе придумал я в первой главе, то фантазия у тебя сработала недурно. При чем тут Рюрик, буквы совпадают?

— У меня в сундуке старинные грамоты и гравюры.

— Купи о Цезаре и сходи в сумасшедший дом. Ты спроси у Аве-Аведь, как с психикой, не переалкоголизировалось у тебя? Я объясню твою фамилию, если уж ты вперишься. Г. Рурих — это буквальный палиндром таблички «хирург», которая у тебя на лацкане. Читай: ХИРУРГ Г. РУРИХ. Читай же наоборот!

— Совпадение! Когда ты открыл глаза, ты еще был никто, как и теперь, впрочем, а я уже был хирург Г. Рурих!

— Когда я открыл глаза, я уже открыл первую страницу книги.

— Какой книги? Кто автор? Где титульный лист?

— Я автор. И на титульном листе я напишу, кто автор, кто я.

— Кто ты?

— К концу книги выяснится, как это во всех книгах.

— Если б я узнал сейчас, кто ты, я б уже ходил с большой звездой на лбу. Я немолод, и большая звезда мне была б к лицу и к пенсии, от нее и денюжки большие сыплются на глаз. Атрибуты судьбы — уздечка и золотая чаша алкоголизма — вот что лишило меня и семьи, и тепла, несмотря на знатность. Я могу еще стать визирем в твоей ванной, но это зависит от тебя. А ты не собираешься вспоминать, кто ты. Да ты-то прав. В наш век объявить во всеуслышание, кто ты, равносильно — съест пулю с цианистым калием. Вот и мне ты придумал псевдоним-палиндром, хоть в конце книги ты немало будешь удивлен, что это не так далеко от истинной моей судьбы Рюриковичей, абсурд случится.

Девять раз и восемнадцать недель я вспарывал тебя от горла до кончика пениса, я заснял это дело на пленки, и вот уж четвертый год поколения врачей смотрят внутренности, не выпуская автоматов из рук, но никто не поймет, кто там. Не то, — что! Угол зрения иной, миропонимание кишок и мочевого пузыря куда иллюзорней и тоньше, чем у тончайшего людо-человека, не говоря уже о раб-римсах. Энцефалограмма ж такой чистоты, что ей позавидует и Ингварь Кузов Второй, если его уж не несут на блюде куда следует. И чистоту твою смотреть страшно, это и есть ослепительный мозг Бога, если б Бог был. В сердечно-сосудистой системе у тебя течет кровь, с одной стороны, а с другой — вроде б и не кровь, а искусно введенная жидкость с громадной жизненной энергией. У людей изъятая кровь консервируется, она механистична, а у тебя нет. Мы ввели твою двум уже умершим детям, микро-дозы, нулики микрон, и они ожили и забегали, а ввели двум здоровенным солдатам из персонала — их здоровье, друг мой, как рукой сняло, как не бывало; похоронили, как собак. Кто ты, а ты скрываешь! Под видом женщин в соку мы вводили к тебе твоих же бывших любовниц, вы не узнались взаимно, но и это не удивительно, ты потолстел.

— А они? — спросил я.

— Они есть они, кто отличит одну от другой, если это женщины? Сейчас в ванне лежат новые, вдруг натолкнешься на что-то знакомое?

Еще. Если ты — это ты, о ком мы думаем, что ж, жить можно. Но если это другой, то все катаклизмы, бывшие в истории, — просто пустяк по сравнению с тем, что последует. Вот и выясняем. — Можно было б убить, и выяснять не нужно. Вон все стреляют, как бублики.

— Можно было б убить, мысль неоригинальна. Но я-то оперировал тебя и знаю, что на этом этапе — смерти ты неподвластен. Ос-

тается ждать. Мы ж ложили тебя под колпак и пускали газ, убийственный. Это показывали по ТВ, вот у тебя откуда корреспонденты. Все рубли в Империи перебурили — что ты вытворял! — Что?

— Мы дали дозу мыши, — ты лежал с книгой. Доза для убийства мыши, к сведению, это — доза для 10 людо-человек. Дали дозу собаки — хоть бы хны. Дозу лошади — никакой реакции. Дозу слона — ничего. Высший Совет МВД разрешил продолжать опыт. Империя бушевала. Мы дали дозу, достаточную, чтоб уничтожить Империю. Ты листал книгу, читал. Ты и не знал, что идет опыт, колпак-то звуконепроницаем. Мы сказали, что это для украшения сердца. Тут звонки со всех концов света — прекратить опыт, жуткий пример, это не человек, или ж мы жулим. Им не интересна твоя жизнь, им бы пустить опыт по своим ТВ, насыпать доллары горой, и другие деньги. Но под видом борьбы за права людо-человека создали спец-комиссию, чрезвычайную, Всемирный Совет МВД, Комиссию! Один взгляд на приборы — и груды золота, величиной в горную цепь. И консилиум Всемирного Совета МВД позволил дать тебе дозу для убийства континента, скажем, Австралии. Тебе стало худо, книжка выпала из рук.

От ужаса выключили все ТВ — убийство-то ведь, в общем-то. Но ты вздремнул. Тогда под колпак запустили дозу, способную уничтожить Земной Шар со всеми ресурсами. Ты проснулся и вспотел. Нажали рычаг на дозу, превышающую мощь Солнечной системы. Ставки шли, золото шло тучами и лилось реками, Империя выходила в Мировую державу N 1, мы взбили процент до 90. На дозе Галактики с тебя пошел сильный пот, на 10 Галактиках пот лил, на глаза. Ты сел, скрестившись весь, на постели, ты худел на глазах, друг мой, как в кино. На 100 Галактиках у тебя посинели ногти и закатились зрачки, ты был уже на грани обморока, вес твой вряд ли превышал вес щепки в бурю.

Это уж смотреть было невыносимо и нельзя. И вот, без сговора, по всей планете стали взрывать телевизоры. Толпы людо-человеков стали громить телестанции. Конец саге, друг. Дальше мы тебя приводили в чувство.

Я не очень понял.

— Когда этот опыт? До смерти или после?

— После. Уж выздоравливал. Опыт прошел легко.

— Не понимаю.

— Посмотри на свой вес, разве незаметно пополнение? Я выложил все начистоту. Думай же, юовтбё, над именем своим, думай!

Он взял склянку с длинным туловом и выпил залпом, спирт это. Я взглянул — он брал склянку рукой резчика мяса. Главный хирург РФИ, маршал медармий, какую звезду еще ищет? Кем хотят, чтоб я был? Кто — они, почему строят скалу все выше

и вокруг, чтоб из стекол смотреть на меня в сотни миллионов глаз; и бояться.

Меня боятся империи, люди с дулом ходят по шоссе круглосучно, самолеты летят сомкнутым строем, из всех дыр поют обо мне, не много ль? Уж не мировая ль это монархия оперных певцов? — в изъяснительном наклонении.

О чем шумит хирург Г. Рурих? О крови — не врет, очевидно, иначе б я не был жив. Что раны зажили — да. О народной молве — так это.

О якобы любовницах из прошлого — тело помнило б. Зачем он лгал?

Или понял, что на женщин опоры нет?

Мужские фотографии! Они мне показывали фото Тайной вечери Леонардо и многих иных, а иных фото нет, не давали. Видимо, уверены, что я — Иоанн, названный брат Христа, потом еще с Патмоса. Или берет выше? Бери выше, шебер, на ноги не гляди — «на данном этапе жизни!» — ишь ты!

13 авг, 4

Этот ветер, дождевой диск идет вбок, лицо затмевается дождем. Если метафоре нужна расшифровка — выкинь ее.

Точка уж тоньше и пленочней, уж в выси облак горит.

Люблю толпу, по шоссе, у труб медового цвета и трубы ярко-сверкающего белого металла, сколько ж флагов, звону. Будто негр бьет в светлые и медные ладоши. И я топаю ногой по комнате. Народовластие, толпотворение. Самолет — летает крест с гвоздем, вбитым в ноги, и с двумя гвоздями на крыльях, но летчик не Спаситель, а телесный субъект с кровью рук. Летчик — животное, в нем убита опасность, а самолет — резерват. Солнце ему — как разрезанная луковица, но и оно не режет, без слез. Как глупо! Стоило да Винчи выдумывать воздухоплавание с первым вертолетом, чтоб, сводя веки от скуки, летчик с четной головой кружил свой крест. Не борец-Цербер с планетарной тяжестью, атлантоид, а в машине с дохлой кожей от синей курицы, с внутри с стюардессой с ногами, идущими из-под юбки к Земле, — аэро-секс, от сук.

Нет ног и женского огня в лесу, всюду кресла вместо лошадей. И желтый лист не только не едет ко мне, но, как уголь, и светит. Смешно!

Пруд, горящий в первых строках книги всеми огнями словесности, — и его нет. И гвозди из самолета выдрал кривыми клещами сапожник небесный, нагретый.

Скоро всего будет ровень — и людей, и камней. Теплый пепел.

Было и будет: вулканы всколыхнут пруд и утонут в потоке.
Утонут ноги и книги.

И люди, как лодки, будут тыкать пальцем в другого, плывущего
вслед — это он виноват во всех, и ноги перевесят и уйдут на
дно. Все ноги и навсегда.

А книги, написанные конькобежцами жизни, останутся, их съест
бацилла книгопечатания.

Жизнь держится на грани грусти и сумасшедшего дома. Ее
полнота!

Некий нео-Ной возьмет из ванной неких женоподобий, купит
атомный ледоход и уйдет туда, где жара реже, к ним в жизнь
войдут кошка и крыса и влетит голубь и размножимся, новые,
без забот.

И они напишут.

Страшно подумать, что и они научатся писать.

15 авг, 4

Из моря вышел человек, на голой шее шнурок с алюминиевой
бляхой, выбит номер 666, подвластен, а в руке бутылка, на ней
ярлык 777, это портвейн, полный алкоголизма. Он скажет: шел
с дна плывь и пришел. Кто ему ответит? — кто ты?

Бронзовобородый, махнул бутылкой и пошел в мокалинах, звеня
номерком на груди, мимо моря, за угол, как снаряд, выпущенный
из гаубицы 162 мм, взрывая землю носками ног, отбрасывая от
себя кошку, крысу и голубя, а недочеловек 5-6 лет на велосипеде
о три колеса, в слезах ко всему взрослому миру? Не сбей с
колес велосипеденка, он запомнит на годы и отомстит, наехав
тебе на хвост на автомобиле в 19 лет. Скоро откроют секту
ММ — богам (молодые мстители).

Котик, длинный, с головой тигра у моря, лопатки торчат, черные,
напряженные; осматривает волны в окружности, открыв оба глаза
во всю ширь, усы дрожат, тонкие.

ХЫ-рабыня в хрустальных шлепанцах на босу ногу, с руками
вперед, с косой волос на спине, как бревно, седое. Она крадется,
ее котик. А он как волна в ветреную погоду, а серая чайка в
элегантном костюме, с кинжалом в зубах — обращает на него
внимание.

Тот, с телом, бородоносец, выпил и лег как шел в песок, всунул
голову в плащ на шелковой подкладке, рядом легла НЖ- женщина,
как бизоница, забинтованная.

В свежезабинтованных фигурах, а вообще-то в чистых бинтах,
в их бескровности — что-то порочное, изощренно-сексуальное,
чем крепче забинтовывают, тем туже это жуткое ощущение
ирреальности акта.

День за стеклом немывтым.

За стеклом сижу я, и оно мытым, а за другим ходит день, немывтым он.

Несут грибы, корзинки ведрообразны. Ах как солон запах свежих грибов, сыроежки. Я их не ем, что ж, что запах, можно ль есть можжевельник, от него и запах сальный, царский, с малым алтарем Филиппо Липпи в углу.

На балконах висят веревки; то ли вязать будут, то ли вешать многих, веревок не счесть.

На веревках (протянутых) висят пьяные, согнувшись вдвое в области живота, как в тумане.

Берег зарос розами, пора давно отцветших роз.

Вошли в моду капюшоны, как у монахов. Брезентовые, синтетические, вельветовые — сколько их, надвинуты в виде зюйдвесток на брови.

Скоро грянет гром.

Запах грибов и грога.

Стоит ли строить сюжет, если жизнь так сжата, что не успеешь и рот раскрыть, как тебя уж за язык щупают — какой он, отварной?

Какой уж из меня сюжет!

Сидит некто и новой жизни не хочет, не по нему. Подлец ли Г. Рурх, х-г? — резонер. В ванной женщины методом электро-сварки, но извините, исследовать сексуальный бред не желаю и в электромеханических образах.

Горят трубы в моей ванной.

В светло-желтых рамах из липы (в липовых) зеркала, охлаждаают воздух стеклом и разгорячают тела. Тела не мои, я в зеркала не смотрюсь, тела женщин, но об этом я пишу чуть не на каждой странице; усталость. Стены ванной — кафель, синий, фаянсовый и картинка из фаянса из Гамбурга, на ней выпукло изображены пастушка Маргаритка и дьявол с толстыми ногами, уши и рога у него в виде маски и усы офицерские, как на лубке, но это дьявол, настоящий, из народного творчества Германии, бюргер.

Я обязан описать ванную, а то скажут: не владел описательным даром. Я — владею. И продолжу: он увидит ее (дьявол пастушку).

Сейчас этот секрет утерян.

Не пастушек, тут никаких секретов нет, а у фаянсовых картинок, откуда они и кто их лепил? И кто — дьявол? Никто не ответит. А картинка — художественная редкость, по ней одной скажут — был вкус.

Бело-потолок, в нем граненая люстра, не висячая, а впаянная в бетон, искрит. Красный бархат для ног, чтоб выходить из ванны двумя ступнями (по одной) не на холод, а на бархат; ступить. У фарфоровой раковины стеллажи, сосновые, пахнут лесом и морем, потому что малые корабли пахнут свежеструганной сосной. На полках духи, помады, кремы, туалетная вода в графине с золотой головой. Весь этот запах перейдет с полок на женщин и, выйдя из флакона, станет запахом их вымытых тел, — фраза витиевата, но и они с завитушками.

Серебро труб, витые горячие, со звоном и с гордой нотой, на них висят кедровые шишки, крабообразны, чтоб запах хвои и смол. В ванне есть и душ, и шесть кранов с перламутровыми рукоятками, а тут же у изголовья деревянный столик, высокий, туалетный для сластей, но и для чаю, колбасы и рыбы. Многие женщины любят водку; пусть пьют. Напиваясь, они поют, на стеллаже и свечки, пропитанные ладаном, — красные, желтые, стеариновые; черные толстые свечки. В ванной многообразие света — какую хочешь свечу зажечь и что видеть — впрямую; тело обнаженного живота, или ж в оборотах, зеркальные обороты тел. Женщины предпочитают нырять, закрыв глаза, и выныривать бездыханно, с рыбьими губами. Все я видел, ничто во мне не бьется, а если что и бьется, то не от взоров.

В чем главное? В воде.

Из кранов в ванной идет вода, из шести. Надоело ходить по суше квартиры — иди в воду. Увлажнил водой душу — ступай на сушу, на берег из армянских ковров, бархатных. Эти процедуры сильно разнообразят быт после клинической смерти и бурлят кровь у пишущих книгу, если даже за окном — холод и лак грядущих дней.

17 авг, 4

Здесь солнце встает рано, но попадает ко мне в 20.35, если буря. Если в море буря, волна встает, как горящая красная башня, но это от солнца, бьет в волну, сверкая из-за спины дома.

Если бури нет, у морской глади чешуя, то ли кто-то фонариком освещивает из-за плеча, но яркости, как в бурю, нет, и красноты нет, и фантастических башен, состоящих из брызг, световых, — нет.

Спокойно.

И горько.

И я говорю себе: ты знал, зачем шел в море.

Смотрю вниз — никого, не ходят. Летают, что ли? Зимой хоть снег посыпают солью, чтоб зима мокла и снег легче сходил.

Самый смешной день будет, когда обнаружат, что съеден последний центнер соли. Почти то же было с сельдью. Но сельдь плодится и ее разводят в притонах.

Соль не плодится. Он близок, и этот день.

Рабы уж с волосатыми руками, в обезьян перерождаются, в высшую ступень с лукошком. Или и это мутанты? Иных нет в поле зрения.

Если Бог создал мужчину, а дьявол женщину, то Бог зря рубил дрова, а дьявола зря ругают — мужчины носят кирпичи, как петухи, а женщины плодоносят. Войны нет.

Может, всю ночь здесь шла война и всех вырубили? Почему ни одного дурака, под окном и не бьют тарелки?

В ванне — (голеностопная) гуцулка, тощая, как портсигар с гравировкой. Но она в ванной, не на улице. Без декораций пейзаж пуст, темнота.

На скале висит балетное платье, с морщинами; высохнет — морщины изгладятся. Много красных ватных одеял с перил — красота-то какая!

18 авг, 4

Раб и вор — одно. С тех пор, как отменили телесные наказания, пошло воровство. А потом отменили и охоту на рабов, тут уж сам бери пулю и стреляй в лоб болвану, чтоб не воровал. Переоценка ценностей, теперь антихрист — раб, это его народ, вор, вот что дает дума о времени.

Нет народа во дворе. Неужели и не будет? Ничего, это неплохо, только вот неоткуда будет людям родиться.

А без людей и гений не возьмется. Итак, оставим кесарю кесарево, а слесарю слесарево. И не будем, как нубийцы, работосцами.

Проклятая ворона ходит по камушкам. Двор ровный, никого. От тополя (дуб голубой) из первых глав осталась оглобля, все в ней высохло. Голубь хуже ворон, куда хуже, хватает на лету куски с вареньем, в избытии бросаемые рабами вниз, от переедания. Значит, люди есть, но не высовываются. Ясно и почему: чтоб на кончик моих силлогизмов не попасть. На скале много чугунных лестниц. Может, спеть — сквозь чугунные перила ножку дивную продень, — это рабыне-РА, которая смотрит в окно, как акула.

Дождь, как желток, он оранжевый и темный, как вечер. После дождя много стекол. Светло-серое небо. 21 час.

Три засушенных пиона в бокале, как три засахаренных розы. Цвет выхолостился, и сиреневый.

Хирург Г. Рурих спросил, не генерал ли я.

— Чего генерал?

— Армии!

Честное слово, сдурел. Он дал мне очки, вправленные в трубу, и сказал.

— Смотри.

Я смотрю: все читают письма Плиния Младшего. Я обвожу очками скалу, снизу доверху и крест-накрест, пещеры, затянутые стеклом, на балконах колеса от бомбардировщиков. У всех стулья, в руках том Литературные памятники, Письма Плиния Младшего, — раб-римсы читают.

Плиний не жив, он в области чистого разума, но и нынешних рабов пленяют мысли этого писателя писем. К примеру:

«Плиний императору Траяну.

У жителей Прусы, владыка, баня старая и грязная. Они сочили бы благом постройку новой; мне кажется, ты можешь снизойти к их желанию. Постройки этой требуют и достоинство города и великолепие твоего времени».

А император Траян отвечает писателю о бане:

«Траян Плинию.

Если возведение новой бани жителям Прусы по силам, то мы можем снизойти к их желанию, лишь бы для этого не было новых обложений».

Пусть строят, лишь бы на свои деньги.

Это-то и удивляет живых со скалы. Сейчас на свои деньги не до бани: и денег нет, и арестуют за святотатство. Моются в железных корытах, стоящих на ножках. Лягут в корыто, а на них льется с потолка вода, со всех дыр. Полежат в этой воде, а смыть не решаются — вода ржавая, полотенца измажут, попадет в глаза капля, глаз лопнет. Часто оступаются со скалы раб-римсы, ослепленные ржавой водой. Ну а конец? Конец один — летят в море, опрокинувшись, жмурятся.

Мог ли думать Плиний Младший, что через две тысячи лет он станет бестселлером? Мог. И стал.

Он ведь идеально народен, а то есть никого не видит, кроме себя: он глядит на розу, но не видит ее цвета; боится бури и грохота, не отличит пенье двух птиц — жирной и тонкой, на тарелке; из всех зверей земли он пишет об одном кабане, да и то поджаренном, он не знает, как зовут его лошадь, и не содержит собаку (охотник!). Плиний малоодарен, это свой во все веки.

Как раб-римсу не читать Плиния Младшего по образованию? Если у него диплом и он чтец по слогам? А уж братья за книгу — так уж пусть она стоит 4 фунта 50 дюймов и написана древним римлянином, полноценным.

В моей ванне — новинка, девушка с двумя ногами, толстыми, как листовое железо, ее не проймет и гром гирь. Голос ее — логопедический, зовет меня, для чтения римлян; скоро мы с ней уединимся. Солнце уж смешало краски, петухов перерезали, жаль их, были как дудки. А собак полно, стоят, не шелохнутся, на всех путях. Псовые реки текут вдоль моря с лаем; едят сырых чаек. Кому гадость, кому лакомство.

Девушка из листового железа — в ванной — ест жареного чижа. И читает Плиния Младшего о выборе семьи.

Желтые стены у меня в комнате, как в сумасшедшем доме. Без осенних пейзажей тоскливо. Рояля нет, я б его раскрыл. Выявляется откусанное яблоко, некрасиво; собаки нет, лошади тоже. Нет понятия судьбы у стола. Буду ждать вечера.

К вечеру взгрустнется (может быть!).

Но взгрустнется — не взвизгнется. Хорошее слово, да не то. Ем картошку, молодую, румяную со сковородки. Помидоры, огурцы и редис — нету.

Тучи идут, море стоит. На горизонте волн — молнии, но и горизонт стоит, насупленный. Это император Траян насупился. Что значит — император Траян наелся супа.

И я насупился, я хочу сказать, что и я не хуже наелся супа.

Траян насупился, Плиний наелся супа, а я не хуже их.

Такое очеловечивание императоров! Я написал бы иное:

«Ведя крайне скромный образ расточительной жизни, обладая всеми телами и имея ум, выведя Римскую империю на сцену жизни и осветив ее своим пением, дав государству театральную славу (бескровную), император Траян сказал, беря кинжал для самоубийства: — Раб-римс еще вспомнит, кто из нас насупился!»

Плиний Младший. Он обыкновенный, похожий на А-раба, Я-раба. От А до Я он похож на всех.

По ТВ:

Мужчины с мокрыми волосами что-то пьют из тонких стаканов, играют в рулетку большой и плоской палкой с сеткой, ею бьют по белому мячику, а миллионы народов смотрят. В амфитеатре много женщин и зонтиков.

Увидишь живую руку человека с венами, и не хочется равенства. Земля крутится и так, без эмалированного таза, синего.

20 авг, 4

По ТВ:

Невыносимы матросы, груди в полоску.

Три вьетнамки плачут. К чему бы это?

Все мысли глупы, а записывать их — двойная глупость. Мысль о трех плачущих вьетнамках — тройная глупость. Долгожители —

Одни мысли в маске. Самый весомый вклад во Французскую историю внес Александр Дюма Старший.

Ветер гонит волну песков по всей земле, он дует в дом, обмахивает стены, я его вижу у окна.

Задует все.

В море рыба, как скульптура для литья. У рыб нет притока свежей крови, их скоро не будет.

В ванне лежит две девицы одной диалектики (лежат — поправка!).

Туда же идет две девушки с выпуклой грудью. Вот их и четыре (две по две) — учетверенная глупость.

Аристотель, ученик-удачник у Платона, учитель Александра Македонского.

Фома Аквинский, сын графа из Ландольфа, родственник царской семьи Гогенштауфенов, Ангельский доктор, окончивший два университета, Парижский и Кельнский, лучший ученик Альберта Великого фон Больштедта.

Система Аристотеля: 1. опыт 2. искусство 3. мудрость 4. знание.

Система Фомы Аквинского: 1. опыт 2. искусство 3. философия 4. иррациональное знание (здесь религия — лишь в том числе).

То есть: система Аристотеля — всеобщее и принудительное образование, а система Фомы Аквинского — ИНТУИЦИЯ.

Фома Аквинский глубоко ненавидел Аристотеля и первый всемирно перечеркнул его. Чем тотальней деньки, тем больше любви к Аристотелю, тут уж он показатель.

Но идентификация Я-Аристотель-Аквинский-женщины — эта четверня неуместна: тех нет, я — некто, а женщины — тушки!

Чтоб не писать эту ахинею, нужно написать о камбале.

Камбала — это бык видимых вод, она, как и все рыбы, напоминает кошку, у рыб от природы кошачьи морды. Кошки и бегут к ним поговорить, а те им в морду тычут.

Кошка вышла из рыбы, неся на сушу круглый рыбий глаз, кошачий. Об этом пишут все экспедиции вглубь веков. Рыбья чешуя у кошек превратилась в шерсть, а далекий предок льва — килька, с завитым хвостиком, голова раздулась от ярости.

Однажды епископ Кентерберийский, читая газету Таймс, был ошеломлен известием, что Ч. д'Арвин еще не арестован. Епископ так растерялся, что вложил в телефонную трубку телеграмму и послал ее в королевское общество, объясняя, что Ч. д'Арвин еще на свободе. Королевское общество, не менее удивленно, чем епископ Кентерберийский, послало к Ч. д'Арвину воз свежей свинины и свою конницу. В конце концов, тот ведь швырялся миллионами лет, как спичками, как будто это он Бог и никто другой. Он считал, что человек вышел из теории д'Арвинизма при помощи рисунков.

Но поев свежей свинины и объезжая коней, как мустанг, д'Арвин пришел к контрэволюции. Он сказал епископу Кентерберийскому: все было как есть, все, и всегда. Но у людей (739 млн. лет назад) появились ученые и в сети экспериментальных войн, идеологий и лабораторий они стали вводить в мир людей мутантов с измененным генетическим кодом. Вместо ожидаемого мира на Земле они вдруг получили неуправляемые миллиарды мутантов, плодящихся напрапоалую. И это были уже смеси и у животных: ракоскорпионы длиной три метра; панцирноголовый динихтис, хрящевая рыба девонских морей, длиной свыше 10 метров; стрекоза меганевра с размахом крыльев 1 метр; химеры иниоптериксы, обитавшие в морях, как подводные птицы, махая водными крыльями; парейазавры, бычья пародия на бегемотов; фитозавры, нечто вроде крокодила с длинными челюстями, усеянными сотнями острых зубов; амфибии-стегоцефалы, многометровые жабы; четырехметровые венценосные твари — эстеменозухи, с черепом, украшенным причудливыми наростами в виде корон; котилозавры; чельшевичекодонт, ящерица больше танка; и тут же — лонгисквама, 10-12 см в длину, этот шуточный бадмингтонозаврик — имеющий десять пар крылышек; первое найденное двуногое животное игуанодон и его родственник динозавр до 10 м в высоту с мордой змеи, с хвостом ящерицы, с мощными ляжками женских ног и с человеческими ручками с пятью пальцами, как искалеченный баскетболист мужского пола; диплодоки с весом в 30 тонн, в крестце у них был второй мозг (в заднице, без аллегорий!), они имели хвост и жили у моря вроде бегемотов, вот второй мозг у них и был больше головного в 50 раз, а мозг вверху меньше, чем у котенка, на 30 тонн веса 30 граммов мозга в голове — немного, но каков он по качеству, никто не ел; покрытый ящер — стегозавр; чужой ящер — аллозавр, брахиозавр — плечаящер, он метров 5 ростом, но хвостик мал, а передние ноги, как у жирафа, а фигура высокая и массивная, листики с деревьев ел, ест; плезиозавр с лапами, продетый, как змея, сквозь панцирь черепахи; как тут не сказать два слова еще об одной доисторической женщине Мэри Эннинг, это ж она нашла все эти страшные скелеты. А может быть, это Бог послал ее, пока не высвердили всю землю мужчины-геоносцы? Бог послал Мэри Эннинг и сказал: пойди, найди и отдай всех этих зарвов, а больше у меня ничего нет, так и скажи; и она сказала.

Мир развивается от равно-мещанских форм — вон к каким диплодокам! Человек развиваться не может дальше человека, а дичает сразу же. Превращение человека в австралопитека — дело нескольких лет, что и доказывают раскопки: контрэволюция

вверх, к высшим (я их размеры перечислил) путем мутаций. Бог суров и не позволяет баловства в этой жизни, а в той, как известно, фокусов тоже нет — ТАМ блаженство.

21 авг, 4

Пока я пишу, темнеет; золотое зарево блеснуло.

Закат еще не закончился, и светлый бог высот строит из красных кирпичей стену заката, пирамиду, сдвоенную в треугольниках; все видимое глазу в красном.

Вдруг и краски — мутанты?

У скалы и этажи-стеллажи, куда вставлены люди, как книги с корешками — библиотека рабовладения.

Тонет ли бетон в расплавленной воде, живут ли инженеры?

Кто не знает, для чего кует челядь из редиски — рубины? Я не знаю о многом. На улице лучи, последние; гаснут и всюду густо. Мрак, ночь.

Спать хочется под одеялом с переливами голубого под голубой лампой, после воды, вылитой на грудь; прыгаю в кровать, легкий и раненый; ничего не болит, смерть прошла, жизнь нейдет.

Стемнело и темно уж; свет в окнах как в яичной скорлупе. Шумят ряды мятущихся (волн). По шоссе, с малиновыми огнями в руках, как ряды непрерывных дробей, идут спать (люди). Уж за полночь, а идут.

Скоро найдут отпечатанные в угольных пластах книги, кастрюли и синенький хвостик новых времен, восстановленный по очертаниям перчатки и рукояти трости, неотделимой от скелета Чарли Чаплина. Ах какие сны отпечатываются в уголь-известняке, стыдные, неправдивые и неисходимые, как вологда у Иова с дактилических рифм.

Сплю плохо.

Желаний нет.

Блестяще-черная с двумя острыми рогами женщина в ванне поет по-бычьему; ноги у нее огненные!

Мочу веник, как яблоко.

Температура в комнате — 27 ноликов. Знак + в христианской символике — смерть, а расшифровывая мы получим и плюс и смерть и 27 ноликов. Глуповато.

Веник в тазу с кипящей водой стал как моченое яблоко, с тем же запахом. Попаримся, эх — и взвизгнется! Я разгорячен.

У Бога хобби — любить то, что я пишу, и озарять мою письменность новизной; никто не пишет сейчас новее, чем я. Он доволен. Сколько новелл-новостей. В этой книге запоминаются две — о Войне Алой и Белой Розы (две Мэри) и о трусах,

кипящих в кастрюльке весь день и ночь, при свете электрической лампочки. Область изящной словесности, — это где о еухе ни шагу назад.

Новеллы о народе не столь пикантны, но и наскальными не назовешь, а скажешь, закрыв книгу, — это правдиво, автор мастеровит.

Я уронил монету и она взвилась, как пчела.

Пчела ведь тоже из медных денег, она ценна и блестит, как две копейки, улетающие. Не удержать в руках золотую лузу, в нее уходит шар, запущенный кием судьбы, а за сеанс в бильярда оплачен билет любви, неоплатных долгов нет. Мне снилось предложение на восемнадцати страницах, и встал с песней.

Я беру веник и он звенит. Гол я, хочу кожу похлестать, чтоб на спине выросли розы с шипами, а в груди родились грехо-груши. Каждый день на Земном Шаре выходит в свет 176 млн. 245 тыс. 416 книг, новых, свеженаписанных. Ничего нового в них нет, но это 176245416 числ зла от грамотности. Скоро будут только писать, а языком ловить комаров, высовывая его на полметра изо рта.

Таких уж много.

Ванная выглядит как-то чрезмерно пусто без женщин, она похожа на некий ковчег для бесноватых. Я бью веником себя, не жду я ничего, но массаж толстого тела — для закалки. Отхлестался и включил воду, льется из дырок, я думаю, моясь, о тех, со скалы: уж скоро дороги орудий напомним им, что они не результат полового отбора, а вышли в свет из семян, которые Бог бросил в мир, я уже слышу хор благодарящих.

22 авг, 4

Погода — огромный серый орел, распластанный в космос, одноглавый, лапы справа и слева, вычеканенный.

Сверкнет солнце — он исчез, солнца нет — орел заполняет своей персоной весь воздух.

По двору едут катки, под ними земля мнется, камни уходят вовнутрь, а за ними ровная дорога, асфальт, запах, как от змей, аммиак.

Если смотреть под ноги, то легко обнаружить скелеты собак и волков, вдавленные катками в асфальт. А кто вдавливал в угли стегоцефалов, не катки ль тех времен? А кто ж? — стоял тигр (тип тигра) и вдавливал своими саблями в угольный пласт — птичку? гиппопотуя? бисквит 3x4 м с бутылочкой флер д'оранжа? Я хочу написать балладу о смерти собак и кошек и как их хоронют.

Так. Ночью, завертя в тяжелое овечье манто труп умершей кошки

или собаки (сдохших!), крадясь вдоль скалы, выходят к незаасфальтированным тропам, мало и слабо освещенным, и, приседая, укладывают робко — трупики на землю. Потом — бегут!

Потом бегут вдоль скалы, и появившись в манто будто с выпивки, врываются в подъезд, как ни в чем не бывало. Рано утром лежат внизу разложенные трупы собак-кошек и кошко-собак. Через часик приходит каток и делает из них скелеты доисторических животных; и так было всегда.

Каток, трамбуемый асфальт, втаптыкает множество мелких предметов обихода, оброненных в утренний час, — котел, электрогрелку, пылесос, пуговицы на ноге, нерчинские шнурки, золотые часы фирмы Мозер, резинки от ушей, протезы щек, мешки из-под капусты, да что перечислять, оставь чистый лист, читатель и сам заполнит любимыми вещами. Их миллион, они хорошо утрамбовываются в асфальт, а т. е. останутся в нем на века. Не примут ли их за класс ископаемых животных 20-го векозоя, появившихся в результате полового отбора? Примут. Как телефонные трубки будут красоваться в музеях в виде экспонатов целостной скульптуры рядом с Муром и Цадкиным. Вкусы во все времена неизменны, каменны в скульптуре, даже у пластиков.

Маленькая птичка с крылышком летит по прямой, воробей, от нсго сзади линия.

Снует месяц-рогоносец; это уж ночной пейзаж, мы перенеслись на несколько (12!) часов вперед.

Меня смущают эти белые шары ламп, не много ль стекол? Стекло ж как сталь, режет насквозь и широко. Если это приходит и в голову мою без мегатонных бурь, что ж говорить о тех, кто стеклоукладчики и стеклодувы?

Стеклодувы — это теперь те, кто стоят с блондинками за углом и дуют в бутылку, пустую. Свист выходит ураганный, как от полета снаряда, выстреленного из орудия (гаубицы, я о ней писал). То, что я пишу, — это роман? Но в романе должны быть женщины, а они у меня в ванне. Даже у дон Кихота неограниченные притязания на женскую эротику.

А поклонники одетых женщин? Сколько их! Им то, что я пишу — не роман. Они говорят по-другому: мал зад, да золот! — эта тема неисчерпаема, пора ругать редиску.

Лампа, как сломанная молния; спим.

3 час 15 мин, —

плывут облака и моря нет.

Облака все ниже, в кольце туч. Маленькие облачка-лужицы — как старые заплатки. А дождь идет из новых мехов. Такая уж погода гиппопотамья, жизнь с глазами навывкате.

Небо, небо. На талии юбка из плюша, на шее шар, и все это кружится; люди — это океан ног, плывущий в океан, сольются все уста, но кто сделал под носом губы, никто не узнает.

Видеть, слышать, обнимать женщину, и ее не упомянуть, потому что выбрита ее голова, рыжая в подпалинах, а вокруг сосца острые волоски; читать толстую книгу; писать про суп, греющийся, а из супа торчит зонтик; пить воду с железом и думать о диаметре бревна из дуба, чтоб сделать себе жизненный дом без железобетонных плит...

Круговорот ветров, а небо видно, и есть на свете небовидный объект — Я. Всяк сам определяет себе место под солнцем, а я уже свечусь в стекле, из-за туч, плавающих подо мною, как листы утерянной книги. Рожденное от жердочки — яичко. Выросшая в сметане — корова. Взрослая мать пшеничных полей — курица. А щи — это овощи. Все это положи в холодильник и вскипяти. И высота — ветреная.

И я светлее дня, животрепещущ!

Почему так низки облака? Здесь не поет никто, ни дрозд, ни быкица, — голословье. Ушел пруд, нет уж и моря внизу, закрыли тучи.

Август месяц. Царский, холоднее.

По шоссе скачет молодой цыган на белом коне, наглоглазый. Это вокруг разошлись тучи и сдвинулись снова. За цыганом, конным, бегут рабыни-АР, бритоголовые, по малярному делу. По скале бегают щенки. Фон есть, а повесть? Начнем. Луна шла все выше и выше. Женщина на краю ванны, как голубь с квадратным хвостом; не женщина, а вылитый женоненавистник, как цветочек! А я пою.

Это первая луна сегодняшней ночью встает женоподобно и живоотнообразно, как ядро с огнем внутри, а эмбрион выскальзывает в мировое пространство в виде... круга? воды?

Скоро придет жестокий мир, и ангелы, как водопады, низвернутся на тучи, и будет избиение туч тучегонителями, у них в руке по сабле, а над головой — еще одна голова!

05 час 12 мин.

А в ночь я очнулся, на потолке горел титул с золотым тузом и цифрой 153; пухлые глаза, скрип в них, и сел на ковер, ужасно; такое случается, желтый мираж, беспамятны сны, лежат невпопад спинные кости, — жестоко. Я сел, пот лил. Тьма медная, с привкусом. И вдруг моих губ коснулись большие губы. Они и не губ (коснулись), а взяли в рот мое лицо, с чмоком засасывая его, влажные с желваками. Я отпрянул, и они ушли к стеллажу, стукнув зубами. Я мог бы зажечь свет, но я мог бы ведь и увидеть такое, что лучше не зажигать.

Я не зажечь свет. Я и не думал, но думал, — если есть рот, то дальше будет хуже.

Я стал искать стакан, но он не стоит же, преподнесенный, а встать — не стукнешься ль лбом с тем, животным, с губами? Встать я не мог. Никто не дышал вслух — ни я, ни оно. Если

б светилась портьера, свет был бы золот, а не светится и свету нету. И то по ковру, то по бетону-полу ступает легкий шаг, как звеньк; это не женщина.

Могла б и женщина выйти из ванны и растянуть губы до земных широт, губное мясо растяжимо, в ванной однажды лежала и женщина, состоящая из одних губ; тошно от присосок.

Сижу, пол; а я бел и голоног, волосы не шевелились. Если б были! а то нет, лишайник, анти-литература! Знобило. Некто, фыркая, двигалось вокруг меня, как хлыст, сужая крути беды. Делать нечего — я запел.

Эффект необычен: я вспотел, поя, пуще прежнего, глаза холодило, а вот оно слушало. И вдруг истошно закричало:

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, — со столькими восклицательными знаками и с высотой нот, что я потерял сознание.

Кто это, я не узнал; утром, 23 авг, 4, на полу были капли расплавленного стекла, телевизор цел.

Я пошел в ванну, плетясь, и взвыл у зеркала: морда моя — сплошной синяк от засоса, а на ней вензеля ЯЛТЯЛТЯЛТ.

И на девяти пальцах (рук, рук!) из десяти — по золотому кольцу, с одной буквой, Я,Л,Ю,Б,Л,Ю,Т,Е,Б... напрашивается Я, но последний палец пуст, без кольца.

23 авг, 4

Портрет римского императора.

Детство — военные лагеря, родители одевают сына в воинскую форму, спец-шитую гимнастерку из железных колец и сапожки; солдаты умиляются.

Детство — занимается чеканкой по металлу, рисует, сочиняет стихи, поет, обучают игре на кифаре. Влечет в театр, на публику. Лавры актера желаннее.

Отрок — играет на лире, органе и трубе.

Смысл жизни — в новых и новых наслаждениях: устилает пути розами (столовые, портики и ложа) и гуляет по ним. По путям из роз. Не соглашается спать, если не застелено заячьим мехом или пухом куропаток (из-под крыльев).

Еда — пятки верблюдов, гребни петухов, языки павлинов и соловьев. В столовых с раздвижными потолками он засыпал гостей фиалками в таких количествах, что это уж лавины и завалы, выбраться не могли, задыхались. А задохнувшись, испускали дух. Каналы в цирке он наполнял вином и запускал флот и сражался на палубах в чине контр-адмирала. Сраженных мечом топили в вине, бросая за борт.

Самый знаменитый пир — где гости съели 2 тысячи отборных

рыб и 7 тысяч птичек; но он затмил и этот, придумав блюдо «Минерва-Градодержица», он сам чертил и ковал один: диаметр 333 м, здесь он смешал печень рыбы скар, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго и молоки мурен.

Раз за обедом он вспомнил, что за целый день никому не сделал ничего хорошего, и произнес знаменитые слова, почтенные и достохвальные: «Друзья мои, я потерял день!»

Своим друзьям он каждый день что-нибудь дарил — то жизнь, то смерть, и редко оставлял кого-либо без подарка; исключение составляли честные люди, их он считал и без того пропащими.

Огромное наследство в два миллиарда семьсот миллионов сестерциев он промотал не более чем за год. Обуянный страстью осязания, он насыпал огромные горы денег по широкому полу и ходил по ним без сапог или же подолгу лежал на них всем телом, крутясь с боку на бок.

Один философ-киник отнесся к нему и залаял, но могучий Р. И. сказал ему про пса и все. То есть на лай Диогена он ответил ему: — Ты пес.

Лицо свое от природы красивое и превосходное, он старался сделать еще свирепее, перед зеркалом наводя на него тоску.

Он поставил себе целью истощить великий Рим, который был колоссально богат. Он сказал: — Будем действовать так, чтобы ни у кого ничего не осталось. Он дошел до того, что обложил налогом уборные и хотьбу в них. Даже его сын был удивлен. Но вот налог принес первую прибыль, и он сунул в нос сыну монету и сказал: — Пахнет ли она? отсюда и выражение «деньги не пахнут».

Он выходил на арену, как борец с дикими зверями. Всех зверей на земли он поражал копьем и дротиком с первого раза. Однажды из подземелья была выпущена сотня львов, — он убил их, не сходя с места. Трупы лежали долго и все спокойно пересчитали и не обнаружили лишнего дротика. Когда ж он обнаруженный вышел на арену, народ с неодобрением посмотрел на него. Народ считал, что у него постыдный вид. Он считал иначе. Он присвоил своему коню звание сенатора и ввел его на сенаторскую скамью и не по протоколу, а за узду. Народ уже ничего не считал.

Он выступал на арене как гладиатор 735 раз. При избииении зверей он проявлял необыкновенную силу, пронзая пикой слона насквозь, прокалывая рогатиной рог нумидийской козы и убивая с первого удара много тысяч громадных зверей. Один на один. Он не жил уже в императорском дворце, а переселился на дни в казарму гладиаторов. Он имел библиотеку — 62 тыс. книг. Он питал небольшую и некоторую страсть к вину, чтоб оно чем-нибудь приправлено — розой, полынью, душистой смолой. Женщин он любил страстно. У него было 400 тыс. любовниц, и от каждой он имел по три или четыре дочери, и от них имел. Имел он и

от матери, от сестер и племянниц. Досуг он проводил в садах, банях и священных рощах. На ночь он устраивал спальни из роз, строил укрепления из фруктов. Столы он накрывал золотыми скатертями, волосы посыпал золотым порошком. Он часто шествовал с кухонь в ванную, окруженный сиянием.

Одежда, обувь и обычный его наряд был недостойн не только римлянина, но и даже человека. Он выходил к народу в цветных, шитых жемчугом трусах, обутый то в сапоги со шпорами, то в женские туфли. Много раз он появлялся на балконе с позолоченной бородой, в руке молния или жезл, в одеянии Венеры (голый). Иногда ж он надевал панцирь А. Македонского, добытый им из гробницы, и выходил к народу в таком виде.

Его слова: — Я хочу быть таким императором, какого бы я сам себе желал, если б был подданным. Он им и был. Он обладал всеми добродетелями и божественным происхождением, являясь как бы защитником людей. От всех прочих наклонностей его часто отвлекали философские занятия. В такую пору он был устрашающ — женоподобная слабость в теле, бесстыдство, прикрытое густым румянцем. Он выступал с пением в Неаполе. Именно в этот момент случилось землетрясение, театр пошатнуло, публика разошлась быстрым шагом, но его это не остановило и он дошел до конца.

Часто он шел через холодные и высокие горы среди бурь и снегов с непокрытой головой, поддерживая своим видом мужество и твердость воинов, так что они терпели его не только из страха или чувства долга, но наоборот подражая и соревнуясь с ним, — он спереди, они сзади. Ел он воинский бульон и даже сам молол зерно, замешивал тесто и пек хлеб. Свое оружие он носил сам. Любил мыться. Построил грандиозные термы, в которых одновременно мылось 1600 чел. Термы занимали территорию и представляли мощный комплекс — помещения для мытья с гор. и хол. водой. При термах — библиотека, площадка для спорт. упражн. и парк; внутри термы роскошно отделаны мрамором и мозаикой. Он был обучен латинскому языку, владел греческой речью, но лучше всего усвоил пуническое красноречие. Он мечтал уничтожить поэмы Гомера и издать свои. Он так жаждал громкой славы, что писал книги о собственной жизни, передавал их рабам-поэтам и те издавали их под своим именем. При нем за деньги продавалось все: судебные распри, смертные приговоры, помилования, административные должности и провинции. Он считал, что на государственные посты нужно ставить тех, кто избегает их, а не тех, кто их домогается. Всех актеров он перевел со сцены на высшие государственные посты; наездникам, мимам и комикам он доверил важнейшие дела империи. Рабам же своим в меру их известности у ложа разврата он отдал управление провинциями, вручил проконсульскую власть.

Более всего он был расточителен в постройках. Приступив к восстановлению Капитолия, он первый своими руками начал расчищать обломки и выносить их на собственной спине. От Палатина до Елевксина он выстроил дворец, назвав его сначала Проходным, а потом золотым. В вестибюле стояла его статуя высотой в 36 м; площадь дворца — тройной портик по сторонам длиной 1,5 км, внутри пруд, как море, окруженный скалой с комнатами для римского народа, вырубленными в ней. Затем — поля, пестреющие цветами, пастбища и винофабрики, домашний скот и голуби. В покоех же все покрыто золотом, вплоть до водопроводных труб, стул украшен драгоценными камнями и перламутровой раковинной; в обеденном зале потолки штучные, с поворотными плитами, чтоб рассыпать цветы, с отверстиями для дыр, чтобы рассеивать ароматы. Главный зал ванн был круглый и день и ночь вращался вслед небосводу; в ванне текли соленые и серные воды. И когда дворец был закончен и освещен факелом со спиралью, Р. И. только и сказал в похвалу, что теперь наконец он будет жить по-человечески.

Все доносчики были посажены на наскоро сколоченные корабли и отданы на волю волн, пусть плывут, прочь, и если штормы и грозы спасут кой-кого, пусть селятся на голых утесах негостеприимного берега.

При нем пели:

— Столько вина не выпить, сколько крови пролил он.

Ему писали:

— При вас все для всех открыто. Вы установили такое управление миром, как будто он является открытой семьей.

Почувствовав приближение смерти, он нашел в себе силы сказать:

— Увы, кажется, я становлюсь Богом.

И еще:

— Справедливее умереть одному за всех, чем всем за одного, — сказал Портрет Римского Императора и покончил с собой.

В этом мире было 117 римских императоров. Что сделали с их жизнью?

Посмотрим:

Тиберий удушен, Калигула убит, Клавдий отравлен, Нерон покончил с собой, Гальба убит, Отон покончил с собой, Вителлий убит, Домициан убит, Коммод убит, Пертинакс убит, Песценний Нигер убит, Гета убит, Макрин убит, Гелиогабал убит, Александр Север убит, Максимин убит, Гордиан Первый покончил с собой, Гордиан Второй убит, Пупиен убит, Бальбин убит и т. д. Это знаменитости. Об остальных трудно говорить в числах, если фактически смерть каждого римского императора под сомнением. А вот список императоров, пропавших без вести и в римской, и в мировой истории. Кроме имен, о них никто ничего не знает: Ураний Марин Пакациан, Иотапиан, Деций Второй Младший,

Гостилиан, Требониан Галл, Волузиан, Эмилиан, Регалиан, Авреол, Лелиан, Марий, Викториан, Клавдий Второй Готский, Тетрик, Вабаллат, Тацит, Домициан Второй, Флориан, Сатурнин, Кар, Юлиан Первый, Караузий, Аллект, Ахилл, Александр, Мартиниан, Валент Первый, Непоциан, Ветранион, Сильван, Иовиан.

Только дотошность историков помогла установить, что четверо из этих все ж чем-то отмечены, трагикомедией, к примеру:

1. Марий — император Цезарь Марк Аврелий Марий Август, правил три дня.

2. Клавдий Второй Готский — умер в январе или между 24 и 29 августа 270 г.

3. Квинтилл — император Марк Аврелий Клавдий Квинтилл Август, правил около месяца.

4. Сильван — правил 28 дней.

23 августа 476 года последний Император Римской Империи Ромул Аугустул, Августик, Августушка. Воины Одоакра, варвара из племени скиров, подняли восстание, и Ромул Август был низложен, живым. Живьем — единственный случай в истории Римской Империи; его вместе с родными выслали в Неаполь, где поселили в бывшем имении Лукула — Замке Яйца, как в насмешку, на выводок.

Великий поэт — о королевских родах:

«Никто не знал, что это правит Карл Стюарт, или Людовик XVI. Почему-то монархами кажутся по преимуществу последние монархи.

Есть, очевидно, что-то трагическое в самом существе наследственной власти. Что же делается с людьми этого страшного призвания, если они не Цезари, если опыт не перекипает политикой, если у них нет гениальности — единственного, что освобождает от судьбы пожизненной в пользу посмертной?»

К слову. О Византийской империи.

Тоже царствовали с портретом. Их было 109, императоров. Из них 15 отравлены, 20 задушены, 12 умерли и убиты в тюрьме, 18 отреклись от престола. У этих с арифметикой ясней, да и портрет-то не тот:

П. В. И. — набожен; в письмах, на пороге дома, на одежде стоит крест. Боится моря, лесов, пустынь, гор. Плавает, «едва не задевая веслами за сушу». Природа ему — отрицание цивилизации. Цивилизация — это город. Знак города не рынки и храмы, а нравственная жизнь. Презирает плотскую любовь. Ценит целомудрие в семейной жизни.

Император Феофил сжег торговое судно с жемчугом, т. к. византийский позор — спекуляция. П. В. И. гордится бедным происхождением. Носит на пурпурных с золотом одеждах мешочки с пылью, как напоминание о бренности. Раз в год собственноручно омывает ноги нищим в память о кротости Христа. Если П. В. И.

одерживал победу, он шел по Константинополю босым, ведя в поводу белого коня.

Белого коня с иконой на спине!

И вместе с тем: на Красной площади в Константинополе в гигантской медной статуе Быка — Византия сжигала своих врагов, по 40 т. в сутки.

Это уж не ветреники, а вселенские ханжи и лицемеры.

И еще. Об Империи. Руси.

О руссах, о руси. Белоголовый народ, как орлан, живущий на крайнем севере. Они охотятся, шьют и воюют. Эроса у них нет, женщин берут в род, сколько хотят. Они завоевали все северные моря и страны с единственным оружием — топором. Они завоевали все. Боевой топор и белая рубаха до колен — вот весь облик воина. Офицер отличается от солдата только тем, что идет ближе к битве, а Царь — впереди всех. Их шеи открыты, а руки голы. Я сам видел, как тысячные армии, закованные в броню, в панике бежали перед небольшими отрядами руси.

Руси шли пешими и босыми, но перед боем надевали сандалии, тяжелые, на кованой подошве — для устойчивости и чтоб не отступать; ремни застегивались наглухо. Первый ряд метал легкие блестящие топоры в пехоту и конницу, рабы несли их охапками и очень проворно подносили. Не было равных метателей ни в одной армии. От стрел их защищали круглые деревянные щиты, но в бой шли без щитов. Ничем не стесненные, в совершенстве владеющие легкими стальными топорами на коротких древках (и на длинных), они прорубались сквозь любую массу войск с быстротой молнии, проходящей сквозь тучу.

Веслами они владели виртуозно. Они шли на Константинополь весной, когда никто не воюет, а все сеют. Черное море и было усеяно их лодками, а воздух свистел от песен; шли в бой на лодках в венках из цветов. Русоволосые, статные, они не брали женщин, ни с собой, ни в обоз, ни в плен. В том-то весь и ужас. Они не брали пленных.

Они предлагали Столице Мира капитуляцию и обещали милость. Величайшей Армии Мира в миллион голов — 4 тысячи лодочников с топориками! Они предлагали уплатить выкуп золотом и драгоценностями, и они уйдут. Не тронут. Гордые византийцы повесили их посланцев тут же, на Спасской башне, возвышающейся над морем и видимой далеко народам и государствам.

И тогда четыре тысячи лодок взлетели на гребни волн и выпрыгнули на берег. В стены полетели топоры. Их метали с пифагорейской точностью, образуя в стенах некие лесенки из топорич. На эти вроде бы шаткие лестнички, кидаясь, вскакивали руси, смеясь, и весело бросали топоры выше. Когда все стены снизу доверху были забиты торчащими топорами, начался приступ, штурм. Это я долго пишу. А все дело — несколько минут, метанье,

и бросок на стены, и прыжки вверх — по топорщикам! Византийцам и взвизгнуться не успело, как уже вырублены солдаты первой стены, опоясывающей Константинополь, и уж на вторую стену перекинуты морские веревки с крючьями для абордажа, и по веревкам уже бегут с пением и свистом молодые и голостопаые руси. Вырублен и второй гарнизон, и на это — не более получаса. Дальше описывается, как был уничтожен третий круг укреплений и руси шли к императорскому дворцу, надев чудовищные сандалии, тихо ставя ноги, жутко, вырубая на пути — солдат, деревья, дома, женщин, детей, коров, собак, животных, хранилища. Они ничего не брали чужое и ничего не жгли. Подойдя к дворцу, Царь руси вышел вперед и сказал громко ту же цифру, что и перед штурмом, не умножая ее.

И тут все трубачи заиграли сбор. Сбор денег. В кратчайший срок на верблюдах и на судах ценности — привезли. Привезли уж так, из подхалимства и женщин. Многая многих.

Руси взяли все, а женщин не взяли, и погрузившись на лодки, ушли восвояси.

Беруни, араб (1030 г.), писал:

«Руси очень многочисленны и видят средство пропитания в мече. Если умирает один из мужчин, оставляющий дочерей и сыновей, то передают имущество дочерям, а сыновьям же — меч. Их мужество и храбрость хорошо известны, так что один из них равен нескольким из какого-либо другого народа».

А вот уж и XV в., Олеарий:

«Нельзя с утра варить кашу из репы, и в обед ее варить тоже, а в ужин тоже варить кашу из репы. Как можно идти в бой, имея в сумке с порохом семечки тыквы и ломти репы, чтоб на первом же привале варить кашу из репы. Нельзя говорить в государственном собрании, если на столе стоит громадная фляга из репы и пьют самогонный мед, заедая кашей. Это надоедает». И это был конец и этой империи.

Прибавляю.

У французов хранится голова шумера, жившего 5 тыс. лет назад, целая. Следов мумификации не обнаружено, при ударе по затылку не звенит, мозг в сохранности. Или это голова — хранит французов? Итальянцы вскрыли государство Эблу, цивилизованное — 5 тыс. лет назад.

Китайцы открыли гробницу императора Цинь-Ши-хуанци (221-210), а в ней 6 тыс. глиняных солдат в натуральную величину. И последнее, заметка:

«Деревья... разговаривают».

Такое открытие совершили двое ученых из одного университета Вашингтона. Оказывается, деревья передают друг другу информацию с помощью газа этилена, выделением которого они предупреждают друг друга о вспышке какой-либо болезни,

угрожающей жизни популяции в лесу. Это первое серьезное доказательство того, что в растительном царстве существует язык.

То есть, чтоб догадаться об очевидном, ученым нужен газ этилен.

24 авг, 4

По стеклу — муравей, как биссектриса.

Муравей, в прошлом негр, боксер и флейтист.

Я вспоминаю портрет Ван дер Вейдена, припухлые веки, полуопущенные полные губы и сжатые кисти рук с множеством пальцев; это женщина муравьиной силы, вечной. Он ее рисовал не раз, у нее разрез каждого глаза развратен, смиренная самка с царицы муравьиной, голландской.

Почему я пишу о живописи, в окно ведь зрю и вижу — такси идет на задних ногах, крутя колеса по-усиному, на верхней губе шашечки. По морю плывут женского пола, мореплаватели, ыциндаз блестят как звезды. Ни к чему девушке плавать брассом — ациндаз, как черный шар, вздымается и ныряет, вздымается и ныряет, будто у нее больше ничего и нет на свете, и голова в такт тоже вверх-вниз, но на голову ведь не смотрят.

Хирург Г. Рурих говорит сквозь зубы, как сквозь стекло:

— Из той страны даже цари мечтали сбежать, Иоанн Грозный два раза просил убежища у английской короны. Да и в этой ты только и терпишь, — и он указывает то на закат, то на меня.

Я говорю:

— Я не вижу той страны. Я вижу скалу, а в ней раб-баритон поет канцону; море, в котором вместо людей утопленники, типтопы; лес вдали, из которого бабочки летят, как мертвые моряки; двор с катком, где мы все сминаем.

Не просвещай меня, х. Г. Р., мне не сестра ни одна страна.

Уже зажглись лампы на улице и в потолке.

Разводят пуделей, как овец, — на шерсть. Ничего себе ПУ (комнатная собачка) и ДЕЛЬ — диавол. Комнатную собачку диавола стригут, как сидорову козу. Черный дог, светлый герой записок, оказался сукой, у него (ее) двое щенят, по виду в одно и то же время и кабанчики и медвежата (без шкур).

• Не видно за пеленой облаков, запеленали.

У женщин вошли в моду соломенные трико, плетеные. Это — вести из ванны.

Уже 24 авг, ночь. Ну и что?

Ну и что, что 24 и что ночь?

25 авг, 4

Ночью кто-то к морю принес валун. Значит, осень.

Значит, скоро осень.

Осень уж на носу, друг, посмотрим в лес, вдаль, что с листьями, золотеют? Холодит стекла и легко на душе.

В ночи не плачется и ни филину, и ни чибису. Хорошо, что принесли валун. Значит, будут в скале топить баню.

Солнце полыхнуло сзади, исчезло, на море возникло стоящих три башни, красных, в стеклянном орнаменте окон, в сотах, в них много гробов стеклянных вдвинуто, ящичками в бюро. Над башнями пепельно-синеватый сегмент, обведенный двойной радугой. Это запоминается.

А в доме холод от стен, так и веет, по полу ходить все холоднее, август кончается; валун — примета осени.

Смерклось солнце, и вот дождь — как маленькие стрелки. Радуги погасли. Красный цвет бывает очень красив, и мило-любим, цветной он. Красные башни были цельные по цвету, но они мираж. То черная лошадь, то красные башни. Хорошо хоть — люди не мнутся во взоре. И то, и се правдиво, но это художественный вымысел, без него нет книг. Еще вижу: двое в желтых перчатках бьются на балконе в скале, оба лысы. Никогда не видел лысых боксеров. Эх, негра нет, негра б им, он один с мальчишеским строением тела приводит в ужас пятнадцать белых туловищ, гремящих по рингу вниз головами от звонкоразящих негритянских ударов. Негр — непобедимый танцор боя.

Я думаю, что будет, если сесть на валун в шляпе? В широкополой, аббатской? Сесть и ждать осень. До нее осталось пять дней. Мокрые тучи плывут надо мною и блестят по-мокрому.

Если уж нечего ждать от валуна, будем ждать от него осень, календарную, до сентября. Годы проходят, а осени нет. Ничего нет лучше осени.

Ничего нет лучше того, что есть.

Жизни нет.

Значит, лучше жизни ничего нет, если смотреть прямо, а не сбоку, как на невиданную красоту в желтых перчатках.

27 авг, 4

В ожидании осени гибнут без капель, а осень пришла и мы пьем вино, мокнем по воде, а больше мы любим и смотрим; самые веселые соловьи — улетевшие.

Людно.

Одетые в белые шинели идут солдаты мира втыкать штыки, и

натягивают стальные кольчуги летописцы, чтоб дописать до их сапог книгу нашего времени.

Иногда тучи внизу расходятся и я вижу лебедей, как они бегут босиком по воде, порхая крыльями, это они шаят, но бегут быстро! Или взлетают в золотое лето, развертывая крылья, как белобархатные рулоны.

Гюи де Мопассан, пишущий дорогому учителю Флоберу о мэтре Золя: «Что скажете о Золя? Я нахожу, что он положительно с ума сошел. Читали Вы его... — «Я только ученый!» — !!! (только! какая скромность!). — Я только ученый!!! это колоссально!!! и люди вовсе не смеются...»

28 авг, 4

Всю ночь снились монеты: французские лудоры, фридрихсдоры из Германии, английские соверены, испанские червонцы, флорины, ригсдалеры, дублоны, пиастры, крессады, дукаты, гинеи, английские нобли, голландские шиллинги, а также таэли, иены, цехины, маклуды.

Снилась война.

Солдаты сидят в больших белых бутылках с светло-желтым напитком из настоящих лимонов, выжатых поодиночке на фабрике, а в бутылке замысловатая пробка на горлышке, из изогнутых проволок с фарфоровой головой.

Громкая битва орудий.

И ряды народов из глубины веков идут вперед, блеск энергии, топот до победы, удар в штык, кинжалом, финским ножом, ломом и саперной лопаткой, выстрелы пулями малого, но высшего калибра смерти, проверка на ловкость ног и жесткость рук. Это мужские дела, уничтожение в себе раба и владельца денег; это свобода мужчин в приглядном смысле. Мужчина, проживший без войны, — нелюдь, вздутый. Оздоровительна война древнего Рима в масштабах мира. Но вся прелесть римлян, они не боялись себя. Наелся мучной похлебки, надоело, беру меч. Не нравится что-то мне Нерон, надеваю поножи. Скучно мне плотным кольцом — купаюсь в моей крови, с вином смешанной. Просто.

Солнце на войне, и бреется человек с двумя усами (холеными), глядясь в консервную банку, как в зеркальце, и вдруг в него попадает осколок, вьется и сбивает ус, и второй, подчистую; и человек со стоячим воротником складывается и лежит вверх лицом, бескровным, с двумя глазами, выпуклыми на весь тот свет. Почему-то кажется, это полковник. Это так кажется всегда, это когда нет отклика ни в ком. Есть понятие душевная тоска. Эта тоска завершается смертью людей, резко окрашенных талантом полковников.

31 авг, 4

В ожидании осени я — эрудит одиночества.

Рабы в твидовых ватниках по случаю авг, 31, ходят по всем сторонам света с лампочкой, спотыкаются сапогом об шар земли, смотрят блудно и тошно. Под ногой — утрамбованное катком время. Куда им девать свой вид?

Всех одиноче орлы. Смотрят сквозь тонкое стекло высоты, и не броситься, крылья с кругами. Орлы все в мыслях о мировом свете, и свет от них стальной, с высот, свыше.

Тело жило врозь со мной.

Хладно.

Орел достиг той высоты света, выше которой одна смерть. А надидеи?

Над — это значит никаких.

Дух носит печать художественности, что и требовалось доказать, глядя на число 31. В выси моей летают одни воробушки, как девушки, красивые рыси. Не вижу земли.

По ТВ веселый ветер. Дети с ртами.

Стоят и рот разинут до неузнаваемости. Детей погасили.

Диктор в юбке, зуб по зуб стучит, белки, обеденные. Представляю себе, как орлу смотреть на эти выходы — с высоты.

Бывает еще, по ТВ поют, звучно, мимически. Но тут уж нужен не я, не орел, а Джонатан Свифт.

Туч столько, что скоро и ТВ заволокут тучи. И в ванне образуются устойчивые облака со снегопадом. На кухне пола не видать, а он там розовый, для смотра. Ничего не видно накануне осени. Одни камни летят мимо, с дырками посередине, навывлет; пахнут сероводородом. Камни подветренные, дикие, неотесанные!

1 сент, 4

В 9.50 — взошел свет.

В 10.00 вошел хирург Г. Рурих. Я подумал: почему у них у всех ключи, как-то ведь входят?

Хирург Г. Рурих вошел и выгнал девицу с черно-лиловым лицом, от загара; сама черноволоса. Выгоняя, сказал:

— Поговорим наедине.

— Говори! — сказал я. Он снял голубую шляпу с кокардой, где отлит из стали Земной Шар и перечеркнут двумя скальпелями. То есть — весь Земной Шар отхирургирует.

— Был консилиум, — сказал он.

— Но я четвертый год здоров.

— Ты здоров, но консилиум был. Здесь вся власть у консилиума. Я уполномочен тебе задать вопрос.

— Говори, — сказал я.

— Благодарю!

— Да не волнуйся, — сказал я. — Выпей винцо, если охватывает. Он выпил из колбы. Винцо было синеватое. Он сказал:

— ГКХ! И МВД! Ты избран ВИХРРФИ!

Я молчал. Я раскрыл рот.

— Как ты к этому относишься? — он был взволнован до звона. — Ну, говори ж!

— Что такое МВД, я знаю. А ГКХ?

— Я ж сказал: Главный Консилиум Хирургов.

— А что такое ВИХРРФИ? — как вихри в картошке фри! — О друг мой!

Он тоже замолчал.

— Ну-с, что ты скажешь?

— Сарказизмы оставь для книг. Ладно, объясняю, как дураку: ВИХРРФИ — это Верховный Император и Художественный Руководитель Римской Федеративной Империи. Ингварь Кузоев III.

— При чем тут я?

— Мы избрали тебя Ингварем Кузоевым III.

— Отказываюсь!

Он замолчал надолго. Потом сказал:

— Ты от чего отрекаешься? От императорского титула, или от имени Ингварь Кузоев?

— От имени.

— Молодец! — вскричал он. — Ясная голова! Вот диплом с пустым пространством вместо имени. Вписывай свое и римствуй!

— У меня нет своего, — сказал я. — Римствуй сам.

Он задумался до вечера.

Пока он думал, я читал. Лао-Цзы, вслух:

«Путь великого покоя.

Покой — это возвращение к жизни. Возвращение к жизни — это постоянство. Постоянство — это мудрость».

— Я хочу покоя, — сказал я.

Но вечер еще не наступил.

Конфуций и Лао встретились меж небом и землей. На наковальне.

И потом Конфуций сказал:

«О птице я знаю, что она может лететь. О рыбе, что она может плавать. О животном, что оно может ходить. Птица может быть поражена стрелой. Рыба — поймана сетью. Животное — капканом. Что же касается Дракона, то я не могу знать, что с ним можно сделать, потому что он на облаках уносится в небо.

Я видел Лао. Не похож ли он на Дракона?»

Я смотрел на Г. Руриха, и сказал:

— Иди и скажи им: что касается его, то я не могу знать, что можно с ним сделать.

Тот все думал.

Я заговорил:

— В 950 году, в год, когда в Мекку возвращался из двадцатилетнего карматского плена Черный Камень Каабы — святая святынь Ислама...

Пришел вечер, черен. Хирург Г. Рурих заговорил вслед:

— Об имени твоём я понял. Его нет. И пусть так. Не согласен ли ты принять имя Иоанна?

— Почему? Какого — названного брата Христа, с Патмоса, папы от и до, Грозного?

— Оставь. Не разводи скуку, где висит смерть. Почему? Не все равно? Я сказал Иоанна, что ты тычешь в счет, эрудит? Их нет, о ком ты. А имя — просто Иоанна и все, нового. Себя.

— Я — Иоанн? Новый?

— Пусть так.

Я и не думал:

— Пусть так.

Он обнял меня. Он вошел с картонкой и распаковал ее, взрезая медицинскими ножницами.

— Вот, — сказал он просто. — Примерь.

Это была голубая шляпа с плюмажем, но вместо полей к тулье пришита горизонтально стоящая звезда, рубин, о пяти концах, пентагон. Да и вся шляпа напоминала металл, золото. Своеобразная корона — имеющая свой образ. Хирург Г. Рурих смотрел на меня в шляпе, приложив руку с пальцами к своему пустому виску, это делают все, кто воюет. То-то всю ночь мне снились ружейные выстрелы зимой, в мороз, по лисам!

Бананы, помидоры, виноград синий, персики и — осы! — летят, сволочи, из космоса, с такой высоты, что видны днем звезды, как оранжевые и все в морской пленке, солнца не видать. Осы летают, свистят в трубочку, со стрелкой, ядом. Груши на скатерти с благородным цветом бордо, притушенным.

— Выпьем, друг мой, — сказал я, не снимая шляпы, — за 1 сент, 4, за золотые листики! — сказал я, нюхая плоды сливы. Хирург Г. Рурих вырядился в вечерний костюм — золоченые штаны со змеями по бедру, в руке чаша, на погонах по звезде, крупные штучки, а теперь будет и звезда во лбу. Как много сбывшегося — три звезды в жизни!

Я налил соку с какао, а он выпил чашу не знаю чего, что-то напитокное, резко-окрашенное, как заря, или ж лимфа по ритуалу.

— Головной убор в тютельку! — воскликнул хирург Г. Рурих.

— Сверчок и шесток! — предостерег я.

Утром экран у ТВ, как у трюмо, — стреляют из наганов румыны, патриоты и фашисты. Патриот в костюме с галстуком и в шляпе мастерски пристрелил 14 фашистов, поодиночке, и по три, и, опасаясь, убил короля Румынии, да нет, это диктатор, а король — антифашист. Диктатор, вот кого он кокнул напоследок, с фашистским ориентиром и в манто. Очень смелый румын, как француз, да это одно и то же. (Не смелость, а нац.) К примеру, Ионеско, драматург, лишенец Нобелевской премии, был (мы долго с ним выясняли!) — молдавский еврей из Русской империи румынского происхождения французский писатель, гражданин Швейцарии. Ах, как он был мил, и как огорчался по поводу нобелизма и ругался хуже, чем шимпанзе. И детектив румынский мил, красив, из одного нагана с барабаном вбил пули в 14 пупов! Как Петрарка, автор 14-строчных сонетов. Все мы накануне Возрождения, а я — уже здесь, в нем.

Нео-я, но не в пустыне, а в короне.

День Знаний у детей по ТВ: первый звонок, первый урок, бегают перед ТВ-объективами, как затравленные, белые банты, белочулочные ножки, а у мальчиков цветок в руках, взгляд безутешен, цветок мальчику не люб, ему б револьвер с серебряной пулей, но не дорос, не румын еще, не француз, не Ионеско.

Долгожданная пора (об осени)!

Вижу бурятку, в честь моей коронации летящую в космос на сиденье стула по ТВ. Ее прилет. Вопрос:

— Много ли людей видно из космоса на земле?

На лице бурятки тупой пот.

Журналист, миролюбиво:

— Есть такая теория о перенаселении Земли. Что людей все больше, а еды все меньше. Много ли Вы видели людей на земле, летая?

— Ни одного! — сказала бурятка, без бумажки. Все воззрились на нее. Она:

— И о теории скажу: в людях заложен настолько сильный инстинкт самоуничтожения и уничтожения друг друга, что опасаться за прирост населения на земле не надо. Уж тут-то баланс будет.

Уж тут все воззрились в объектив — на меня!

— Война, чтоб не было войны! — сказал я.

— Молодец, — восхитился х. Г. Р. — Что за ясный ум, государственный! В твоей книге опись жизни сверху, хороша. Сойдем вниз.

— Нет.

— Но ты четвертый год не выходи. Оптика, друг мой, не та. Не то пишешь.

--- Объясни.

— Поехали. Выйдем разом, первый день осени, ты мечтал, писал звонко о нем. Выйдем, не понравится — пойдем обратно.

Я снял шляпу и мы вышли.

Дверь бронированная, сверху обита кожей с заклепками, крестиком, как полотенце. Справа дверь — глазок, слева дверь — глазок.

— Что там? — спросил я.

Г. Рурих махнул рукой — с двух дверей высунулись каски, голубые, стальные, с красным крестиком на лбу. У лифта двое, в касках. Отдали честь. В лифте двое. Мы едем. Жуткая тяга в ногах, — скорость. Г. Рурих указал на стул — садись. Я пожал плечами. Двое в касках взяли меня за плечи, усадили, застегнули привязные ремни, туго: дали шлем.

Сижу: надет шлем, едем. Точнее, это сильное, жестокое и тяжело-затяжное падение. Мы падали долго. Стоп. Я хотел встать, но не пустили. Г. Рурих сидел напротив, без сознания. Нам впрыснули в руку что-то горячее. Лифт открыт. Опять сдвоенные бронированные двери. По два часовых справа и слева, те же каски. Мы вышли. Вдоль по шоссе — выстроены две колонны часовых. Я пошел вперед, от дома, а они кричали букву Р, как собаки, — RRRRRRRRRRRR — раскатисто, они долго кричали мне вдогонку. Я отошел и взглянул на дом. ДА.

Я ожидал, достаточно высокий блочный дом, ну этажей 30-40, так я прикидывал. Это был не дом. Это была БАШНЯ.

Это была БАШНЯ высокой такой, что где-то ее несколько раз рассекали тучи, всякие облака, а вершины ее видно не было. Как будто не было вершины, она исчезла, как тонюсенькая игла где-то так высочайше высоко, как я писал о тех, в небе. Но разве я мог представить ЭТО?

Они стали строить БАШНЮ и скалу одновременно. Но строительство БАШНИ нуждалось все в большем количестве рабочих и скала заселялась, ширилась и высилась. Чтоб поднять одного меня ввысь, работали тысячи тысяч; и это впечатляло. Чтоб не тронуть мой покой, блоки, скрепленные заранее в мою квартиру, держали над всей БАШНЕЙ на подвесе, над строительством, над головами раб-римсов, я ж выздоравливал и это делало честь инженерам этой штуки. Когда ж я смотрел из окна, низко был пруд, а БАШНЯ поднялась выше — и открылось море, а теперь — и океан, называй, как заблагорассудится. БАШНЯ — сооружение из архитектоники в мою честь, чтоб я имел шанс выжить в новом мире. Хотелось бы иметь в выси небольшой сад и у балкона плодовый столб с птичкой Хлоей Тервист. Этим я пока и ограничусь. Я ж соображаю — фонтан туда не взлетит, хоть и

хотелось бы. А птичка взлетит, вон оса летает, как собака по кухне злась!

Шли машины, лакированные, многоцветные, я их рассмотрел. И людей я видел вдоволь, пиджаки на подкладках.

— Тем же путем мы пойдем; домой, — сказал я, и мы пошли, без изменений.

По ТВ спец-выпуск: я иду вдоль двух колонн солдат, а они кричат РРРРРРРР. Я скромн, приветлив, радушен, улыбчив.

— Что Вы скажете о своей Книге? — спрашивает диктор меня, в экран. Они четыре года смотрели на меня.

— Это проповедь, которую произносит остроумный оратор в красноречивых выражениях, мелодичным тоном, с совершенной убежденностью. В словах этой Книги изящность мысли и чистота любви. Таким образом я всецело вступаю на путь божественной святости.

— ОН! Иоанн Новый всецело вступает на путь божественной святости! — объявил диктор строго-официально.

Я думаю о Книге.

Остается одна память и одна книга. А вот когда я войду в судьбу и напишу книгу, — я знать не могу. Каждая новая книга — минус жизни.

3 сент, 4

О башнях, о их связи с шумерами, это у них возникли, и перешли к ассиро-вавилонцам, и переходили от народа к народу. Каждый город Двуречья имел башню. Думалось, — Бог, сойдя с неба, спустит свои ноги на гору, а по ней люди поднимутся Ему навстречу; чтоб любить. Но здесь нет гор, и башня мыслится лишь местом пребывания Бога.

Хирург Г. Рурих говорит:

— Ты не Бог, увы, а башня не Небесная Гора и не потомок ты Нимрода. Это для тебя слишком. Но как физический посредник медицинской цивилизации — между Ним и нами — ты фигура вполне подходящая, ты ж единственный, кто удостоился интервью с Ним.

— Но Ваша медицина не может верить в Него.

— Наша медицина в Него и не верит, но жить все хотят и после медицины. А ты — яркий образ, живущий при нас пример. Вот тебе и башня. А мы будем выяснять зависимость и связь порожденных землей металлов (ртуть, свинец) с холодной планетой Сатурн.

— Как и кто?

— Как — посредством тебя, а кто — мы.

— Кто мы? — сказал я. — Уж не строитель ль башен Ганс Гольбейн Младший, Ян Скорелья, Хендрик ван Коеве, Питер Брейгель Старший, нидерландцы?

— Взвизгнется! — крикнул х. Г. Р. и нажал педали. — Восторжествовать! — вскричал он.

По ТВ:

Живут в пещерах с одной лампочкой, по пятьдесят человек на ступеньке, после потопа. Льют из цистерны винцо-сахарок, с запахом версальской розы. Едят хлеб, а в нем запеченные блины от морских ремней с якорем посередине. Бублики — как ошейники для собак, посыпают наждачной крошкой. Пиво — с желтоватым цветом такелажки. Проспект Дуцкий, река Ева, в нее идут Малая Ева и Большая Ева, по берегу Экспериментальный завод, проходная в виде выложенного булыжником дота с окошком для пропусков, есть и садик, уголок отдыха для раб-римсов, за решеткой, как и полагается, там еще стоят скамейки из бетонного дуба и на столах шахматные фигуры с брющком. Шоссе Эволюции, Большеоптинский, Среднеоптинский и Малооптинский проспекты, с множеством чугунных львов по фасаду, вместе они держат в пасти цепи, Туннельный проспект, река Ойка, канал Рабоедова, Алкоголийская колонна, река Фантомка, Этнин сад, Мясово поле, Сильвинский остров, Аменный остров, Ретроградская сторона, Эннский проспект и Адовая улица, и Малая Адова, и Ремьянная, и Гроговая, и Финальный вокзал, и... ииииии. У солдат RRRRRRRR, у ТВ ииииииии.

5 сент, 4

Ночью в окно смотрели самолеты, сверкая глазами.

А утром по тучам бежал ребенок, как змея. По краям туч стояли солдатики. Эх вы, солдатики-солгатики!

Над ними стояли ели, а у ног у них яблоки.

Уточки плывут, как тучки в не-бе.

На большой туче стояли только двое — Ева и Исаак Ньютон, но зато оба с яблоком. Притяжением занимались.

А у грибов шляпки голубые, с кокардой. Дождь идет на живые грибы. По лесу медведь, черный, круглоух, как радиоэлектроника.

Лось широкогруд, как дурак, с волосами, зачесанными назад. Медведь водички в речке попил. Бобер в воду поплыл, как женщина с бедрами и плавает по-женски; вылез, морду моет пальчиками. Белка бежит по стволу вниз головой, как по прямой

дороге, не сгибаясь. Зайчик с усмешкой, как настоящий; коршун тут же, из смелых. Косуля купается, кабан купается. Лиса на косе хитрит с собой, зайчик купается. Утки идут в лет.

Зайчики бегут, в дугу. Оленята двое, большие, на пчелу смотрят. А на них орел смотрит, с вершины жизни. Вот он пошел, растопырив крылья, как-то некрасиво, и сел на зайца. Ест. Плохая погода. А вот лиса охотится. Сытая лиса и сытый заяц, догнала и не ест, с пережору оба.

И, как сказал Генрих IV, Плантагенет:

— Мы еще повоюем!

Сны тоже уходят в лес по осени.

А вот зайца трактор переехал. Жизнь, заячья! А вот филин, энергичный, да он и дерзок.

А где-то уж спускается на форум одна птица.

Если один из двоих целует в губы (от души), это и есть душегуб.

Утренние сны состоят из видений и из фраз. А проснулся — в окно смотрят санитары, висят на веревках. Нет прочности.

Я думаю, что народ в плохом состоянии, неотремонтирован.

Голубь, вымазанный, летит, шумит, как дуб. Бедный дуб, сравнимый с голубем! Дуб идет на убыль, срезали их по голени, одни ступни стоят на полях, срубленные. Лесные ели смотрят на это, ревя.

11 окт, 4

Вот и осень, дождь и холод, дождь и холод.

Белые львы за стеклом.

Это в небе, как в женской бане, стоит часовой и вертит шайкой над голыми, а у него штык и числа, и вывеска на руке висит, как винтовка — «Баня небесных дней».

Осень все моет, а том пишется.

Женщина сидит в ванне, маленькая, как спичка, с головкой горящей; хоть одна показуха, хоть ноги ее гениальны по-своему. Ее жизнь плачевна, у нее изо рта язык колом торчит, как обелиск.

Осень, зачем ты мужаешь?

Идет рабыня-Т, как танкер водоизмещением 500 тыс. тонн — в ванну.

Рабыня-З с загаром по всему стволу до горизонта, нет юности в ней, толстога, как у нимфетки, круглые ноги снизу и доверху. Ее тоннаж дубовый.

За стеклом лохани и дождик кружится. В лужи льется венечи-

анская вода. Это на долгих лакированных гондолах, похожих на жуковые азиатские туфли, живописец Гаррик Зильберман разводит золоторозы, выковывая их кисточкой N 1, и розовые, и палевые, и нездешне-фиолетовые, и лепестки их куда чище и милостивей, чем у настоящих, у тех — роз реализма, которые растут, как турки, как на этикетках.

Ах, Гаррик, серебряный мужчина, воин Кызыл-Кум, круглоглазый сверстник, в каждом глазу рисунок роз! — желтолиственных, бабочкообразных! как сошедших со страниц Анти-Второзакония.

Я вижу в дуле ствола ружейной твоей жизни — образ роз! И твякаю я, витиеват.

Женщина идет в ванну с бедрами инкогнито, надела трусы, мои, красные с синей заплатой спереди. Не обнажается. Сейчас принято ходить, не обнажая зад. Такова жизнь.

Ведь и цвет у вишен знаешь один ты, Гаррик Зильберман, и Золотой Маятник, выйдя из рук, как бы говорит: Стоп, холст! Раб-римский рок, усталый кризис. Учимся рисунку у роз. Снимаем рога и надеваем розы. Я — розоносец!

Может ли быть художник — от уха до уха?

Может ли быть нож ходящий круглые сутки от уха до уха? Есть ухо у Ван Гога, или нет его?

Осень нагоняет цветковые воспоминания.

У меня в груди Николай-Демьян Грицюк, художник Духа, в ком все звезды стали ядовито красны, сини, а все церкви — ядозелены. В ком страшная сталь полубожественной муки окончилась человеческим жестом — бросок вниз, головой в пролет, 7-ой этаж.

Феофан Грек — Н.-Д. Грицюк, — такая ль уж разница? Крути замыкаются, и все фамилии от одних греков.

Талант — это летун: сегодня ропот и пирует мертвой петли, а завтра встал, как ночь, — и нетути, скажем слогом новым. Но самое главное — это знать, о чем твой рот щебечет.

У цветка на холодильнике осень (тоже!), опадают листья, он погиб. Меньше поливал бы, всюду и так сыро.

13 окт, 4

Фиолетово-малиново-мясистое, как бы выгибают спиной назад, плазма, слепки малины, вкус хлороформа, сладчайший.

Единый образ в любви — самообраз ее, т. е. живопись.

Жизнь — не искусство. Лишь идеолы ищут в искусстве жизнь, тупые.

Художник пустил свинью в огород и между тем рисует ее на холст, оба живут и в искусстве и в жизни; здесь равноценность художника и модели.

Чем далее, тем тяжелее смотреть на людей. Все тяжелее и тяжелее.

20 окт, 4

Ах, яичко ты, яичко, ты прелестное дитя!

Хорошо помыл голову яичными желтками, смешав два в один, сдвоив. Таким образом не родились две куры, застряв у меня в волосах (в голове!). Может быть, родить их из головы, как Зевс — кого-то из девушек?

Лучше о женщинах не писать, неоригинально. И о мужчинах не писать, где их найдешь. Хотя! — старики могут жить не меньше, чем старухи.

24 окт, 4

Как грустно! Как грустно, о Боже! Пасмурно, бегают с ноги на ногу медвежьей походкой черные собаки. На столе каменное яйцо. Лежит. Очки в пластмассовой оправе янтарноваты, и расческа для волос из золота с вырезом для открывания бутылок. Модернизм — причесался и бутылку с алкоголизмом вскрыл, как пиво раб-римс со скалы. Им (рабам) сейчас нужно много воды, алкоголизм обезживляет организмы, а пресной воды все меньше ресурсы. Как быть? Нужно строить термы, как у Каракаллы. Чей мир новее — наш, наскальный, или тот, который говорят — н. э., ход римских легионов? Тот новее, иначе мы б не стремились уйти в него, в книги. Не стремимся ж мы уйти в мир.. трубочистов, уж и труб-то нет, а потому и нет сажи, а потому и графитов нет, уж никто не нарисует тушью, потому что тушь, настоящую, делали из сажи. Причинность! Дух — это рандеву с древностью. На машинке прежде засоряется буква е, а потом д, и уж после а. Почему? Брюхо болит, кишки мои в шоке, нужно б ждать, когда выздоровею.

Света нет, погасли звезды; лампочка стынет как человек вниз головой. Верить в Христа — все равно, что верить в божественность себя. Почему бы и нет? На днях весь день дуло, был мороз, мраз, сильный. Ах, осень, в желтых ложечках! — вспоминается. Снег идет, как свет.

Нравственные муки у Христа отсутствуют, он проповедовал Уче-

ние. А Учение — это призыв к действию, глаголы повелительного наклонения; подставь, иди отдай, люби и т. д. Христос проповедовал энергию людям инертным. За это его и убили; не за то, что он сын Божий, к сынам в Иудее привыкли, как и везде, — то самозванцы, а то и взаправду сыны.

28 окт, 4

Болезнь — не любимое дело мое, я бессребреник и любовь мне ни к чему, обойдусь. В синей матроске и в лисьей шапке, с венком роз на удаз — кто это идет по светлому асфальту? — Самка.

Где-то, говорят, в мире есть страна, которая имеет Конечную Цель... единственная страна за всю историю человечества. Естественное положение человечества — лежачее. Идти ему неестественно, это напряжение жизни. Лежать — смерть, то есть вечность.

Но душу мою ничто не облегчило.

Когда некто остро чувствует свое ничтожество, он начинает отрицать Бога.

Отнес бутылку на кухню, сделал доброе дело и на душе хорошо.

21 дек, 4

Шороховато.

Я вижу бурятов в таком числе, что пропадает всякая идея об интернационализме, да и о дружбе вообще. Может быть, потому, что ноги у них в чулках, видеть их тяжело мне.

А как найти любовные нити? Будет светлее, будет теплее, — вот и встретимся уж. А сейчас дни коротки.

Мне читать нечего. И тачанки нет.

Я отвык от жизни. В ванной у бездны на краю — остриженная наголо, двадцатилетняя женщина, нагая.

Ее вид еще терпим.

Тушу утку с яблоками, 3 кг.

По ТВ:

Старик и старуха в кровати, ястубе. Миленькая доярка тут же, или медсестра, смотрит из-под коровы.

Этот день отбыть бы, а там уже полегче. Теперь все помирают, а раньше не все. Теперь помирать будут один за другим.

По ТВ — все больше и больше солдат, как они там вмещаются?

Штук пятьдесят миллионов солдат.

22 дек, 4

Перевалили.

Много мертвых книг, раздвигают ноги на полках, где не надо. Утром ел утку. Спал.

Все больше и больше размножаются буряты. Художник создает не мир, а образ мира, и оценивать книгу нужно не по степени сходства ее с миром, а по жизненности образа. Зубец и круг не уживутся на одной плоскости. Владеть формой нельзя, ею можно только овладевать на время, — как в любви с женщиной. Ах, какой день, погулял бы, да сидят две дамы в ванне, из воды — видны груди. Академизм — это щит неодаренных в искусстве. Избавив людей от ручного труда, чел-ство приобретет миллионы преступников.

23 дек, 4

Цифры с успехом ум заменяют.

Счет на миллионы — как по щиколотку.

Люди слишком тревожатся о Земном Шаре, не рухнет ли он под тяжестью ихней?

Ничего.

Все споры о демографическом взрыве идут пока, слава Богу, на уровне всего лишь 1 м 62 см над Землей — ср. рост чел-ка и его головы. Высота холма, с которого древние люди ждали сошествия Бога, — не более 1.100 м над уровнем моря. Высота лета косм. кораблей тоже небольшая, но оттуда уж люди не видны, ни одного, поэтому и вопрос о них не стоит.

Положение небесных светил мне таково: восходящее светило Рак, точнее градус его, соответствующее возвышение Юпитера. Луна, Солнце и Венера находятся в градусах своего возвышения. Доля счастья в 39 Рака, а доля неизвестности в 0 Рака вместе с Канопусом и Большим Псом.

31 дек, 4

Новый год уж и мне не в новость. Елки несли полмесяца, а я глажу шкуру книг. Игры в бинокль мне надоели, смотрю уж в зеркало на себя, то в уменьшенную, то в увеличенную сторону, — одна гадость; кручу линзы, чтоб затуманиться хоть в своих глазах. Снежок сеточкой, вышит крестиком, вьется днем в аду. Люди стоят, как на доске, и окопы роют, раб-римсы в тяжело-зеленом брезенте, с цветными лицами.

У голубей походка ласточек. Полно голубей!

Принято менять одежду с грязной на чистую после мытья, а если раб не мыт, зачем же ему зря переодеваться, не цирк. Логично.

И не стирают.

Собак пополудни нет, пейзаж обеднен.

Я бы отметил, что и бегемотов нет — один, сидящий на облаке, бок о бок с планетами. Он свалится, он вымрет. Вот уж у кого губы! — тонкие, как обод, у громадной бочки, их птичка чивка мажет помадой.

Снег — это кубизм.

Это Малевич, возводивший в куб жизнь, а то есть снег.

На Малевиче эти формулы, высшая философская схолия, цветное понятие формы, обожествленная подготовка к созданию нового мира — закончились. Кандинский — уже Нарцисс. Поллок, Раушенберг, Мондриан — уже красота, живопись. Потому что все последователи — люди. А Малевич создатель, выходец из мировой души, указательная стрелка Золотого Маятника.

Малевич — это воин-монах в красном. Потом он надел капюшон и пошел по Петрограду, как сильный конь с широкими челюстями, с грозным рогом божественного происхождения. Он строил гроб себе, Малевич, проектировщик смерти. Уже не было Революции, а был реализм, а т. е. террор.

15 мая 1935 г. шел снежок с дождем, а в гробу лежал некто с бородой и волосами на пробор, как у Гришки Распутина. 70 работ он оставил за границей на произвол судьбы, а тут стал рисовать фигуры. Автор Черного Квадрата, этого Евангелия Новой Живописи, он и возвратился, как Евангелист по смерти Христа — к людям, рабам и называл их так: двое, трое, три фигуры и т. д. и все с белыми овалами вместо лиц, без индивидуумов. Еще бы — круг, еще не сорванный с плеч раба, замазанный для маскировки белой краской — не до индивидуализма. Он умер, как сам писал: «КНИГА ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ СОЖЖЕНА И ПЕПЕЛ СТЕРТ. УМЕР ВЕЛИКИЙ ИНТУИТИВНЫЙ РАЗУМ ВСЕЛЕНСКОГО Я».

Вскоре умер Филонов. Учитель.

У Малевича — крестынка, как распятие; меж двух крестов два белых затылка над гимнастерками, один с винтовкой, другой руки по швам и надпись: АРЕСТОВАННЫЙ. ВЛАСТЬ И ЧЕЛОВЕК. Вместо лиц — пятна, белый снег, черный и красный, снега, снега.

Снег нейдет.

Вороны летают, ложась на крыло, они так быстры. Они с такой быстротой реют вокруг окон, что тревожно. Они и сигналият мне

о чем-то случившемся, посмотрю на балконе. Смотреть нечего, одни бутылки вверх днами да банки.

Писем нет, яичко никто не снес и не положил на балкон в сеточке из золотых уздечек.

Во дворе откуда-то вырос пень, глядит пнем из-под снега. Смотрю в бинокль. Никогда не было дерева на том месте. Может быть столб был и спилен?

В снегу, в гусином хорошо б расстелить ковер, лечь с нагретым sake из пиалы, и в железной бочке жарить быка на угольях, а на веретене — овечку с петушком, юнотелую, с бриллиантами лука. Да это неосуществимо — сбегутся люди Лукаса Кранаха, все разбросают по сторонам, на все ветры. И умрешь под снегом без ковра и пиалы, знаю случаи, когда лишались и большего, садясь на ковер посреди двора. Ах, люди, люди. Идет рабыня У, в левой руке сумка, из нее торчит что-то отрубленное от зверя, тело у У гнется от сумки в обратную сторону, а бедро выгибается под сумкой, несомой в левой руке, а правая рука изогнута, как у боксера, и не подойти, не снимешь берет со страусовым пером, чтоб познакомиться. Кроме свободы, внизу ничего нет. А вверх?

Это свищут шведы, гонят снег из шведской страны во двор к нам, это они во всем виноваты.

Шведы виновны, что нет любви.

Птички вдали, как паучки. И тут я отчаиваюсь. Я беру книгу и рублю ее надвое! Но увы, не ново, книга, разрубленная надвое — это две книги. Если рубить, дальше — умножать написанное. И я склеиваю половинки и пишу дальше. Я пишу, шипя!

И вижу я живот у настольной лампы, стеклянный, а в нем спиральки, как эмбриончики. И бью я лампу молоточком по уху — изо всей силы.

— Дай ответ! — кричу я.

Не дает ответа. Чудным звоном позванивает.

УЖЕ БЫЛИ И ЕЩЕ БУДУТ МНОГОКРАТНЫЕ СЛУЧАИ ПОГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ИЗ-ЗА ОГНЯ И ВОДЫ. В САМОМ ДЕЛЕ, ТЕЛА, ВРАЩАЮЩИЕСЯ ПО НЕБОСВОДУ ВОКРУТ ЗЕМЛИ, ОТКЛОНЯЮТСЯ ОТ СВОИХ ПУТЕЙ, И ПОТОМУ ЧЕРЕЗ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ ВСЕ НА ЗЕМЛЕ ГИБНЕТ ОТ ВЕЛИКОГО ПОЖАРА. ВСЯКИЙ РАЗ, КАК ТОЛЬКО УСПЕВАЕТ ВЫРАБОТАТЬСЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И ВСЕ ПРОЧЕЕ, ВНОВЬ И ВНОВЬ В УРОЧНЫЙ ЧАС С НЕБЕС НИЗВЕРГАЮТСЯ ПОТОКИ, ОСТАВЛЯЯ ИЗ ВСЕХ ЛИШЬ НЕГРАМОТНЫХ И НЕУЧЕННЫХ, И ВЫ СНОВА НАЧИНАЕТЕ ВСЕ СНАЧАЛА, СЛОВНО ТОЛЬКО ЧТО РОДИЛИСЬ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЯ О ТОМ, ЧТО СОВЕРШАЛОСЬ В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА

Платон, Тимей

7 янв, 5

Видеть черную чайку — декаданс, маньеризм.

Видеть белую ворону — антинародно. А вот вижу, сидят рядом, рядом, как две монеты на ободке.

Возрождение и Кубизм — близнецы.

От Леонардо до Малевича нет и шага.

Квадрат Леонардо, где один абсолют, человеко-идеал — равен квадрату Малевича, где одно черное солнце.

Красный квадрат Леонардо с близкими кругами — это палиндром конца мира, анти-Я.

Но отрицатель Я — не менее гордый восклицатель того ж Я.

Равенство. О воронах.

Ворона — черный квадрат, вписанный в круг, если круг — это взор мой. О солнце, — это ночь.

Догадки: Екклесиаст опубликован на 666 стр. Книг Священного Писания, а Иоанн из Нового Завета выводит теорему цифры 666. Книга Откровений — это перевод более древней книги (на 70 млн. лет) — об убийстве животных-гигантов: громадо-людей, завров и ящеров. На острове Патмос и есть книгохранилище об этом.

Книги вдохновенных пишутся вдруг и громким голосом. О стене Святого города, в гл. 21, Откр.::

«И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческой, какова и мера Ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобное чистому стеклу. Основания стены украшены всякими драгоценными камнями: основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — нефрит, седьмое — хризолит, восьмое — берилл, девятое — топаз, десятое — хризопраз, одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист».

Здесь дается таблица элементов, подобная, скажем, менделеевской. Химический анализ может показать интересную выстроенность и порядковые числа их. А также соответствие 12 месяцам и их 12 созвездиям-кураторам. Если в меру любоваться словесностью, а исследовать взаимосвязь минералов, то откроются некие вещи, которые не мог знать ни один из живущих при Иоанне и по сей день. Говорят о мыслящем человечестве, а более 10 имен в одно столетие назвать не могут.

15 февр, 5

Железобетон.

Встал в 5 утра, ного-руки сводит, коленки со скрипом, грудь колотится. Комнатная Т° — 12°. Измерил свою, набросав шуб побольше, — 37,5°. Думы мои, думы.

К 9 час нагрелось до 20° — электрокамины и духовки. Из ванной, сам колотясь, вынул свежемороженую женщину и положил труп на кухню; отойдет, уберут, в могилу. Пока пил чай с медом, и она потребовала меду синим языком.

Мне и самому-то не хватает, унес говорящую в ванну, незамороженной. Серьги снял, чтоб не украла погребальная команда. Снял и подвесил к люстре, чтоб не выдать, фарфоровый балдахин в сережках. Как голова белого коня с зеленой от золота челкой. Не видел я коня вблизи, а на рисунках они не более 15 см в длину, человек сверху не сядет, нереальны зарисовки. Уж если ты реалист, то бери настоящего коня и лепи с него гипсовый слепок, а потом заполняй пустоту бронзой и ставь на скалу. Высота коня Леонардо — 7 м, конезавр.

Пот струится. Правильное употребление глагольных форм. Ночью — как ломался, как метался, сгорая от неслыханного кишками холода, органон мой! Мало людям возвышаться надо мной нравственно, нужно еще и температуре возвыситься! Ломота, ломит. Есть хочется — налимчика бы.

Небосклон свиреп. Лес бел. У цистерны моют рабыням головы (группы Юг), помогают, дадут пинка, и та летит, как сандалетка. Гладкий, глубокий снег; запятнаешь, не выйдешь, ничего похожего на весну.

Мне кажется, жить с фруктами легче, чем с людьми.

У них вид есть — законченного плода, привлекательны на ощупь, вкус сочный, цвет разный. А люди — вид военный.

Если я умру, положите на мою голову яблоко и пронзите его железной стрелой; он любил фрукты.

А муравьи — у них челюсти отточены.

Будет март по числу, но по снегу зима; и костер адов. А на фоне огня идут три женщины с чемоданами, в касках.

Костер гремит, горит. Над ним раб М, Цезаря жжет.

Цезарь зажегся 15 марта, а запылает 16. А Рим запылает 17.

Сейчас ни у кого и домашнего очага нет, не до пыланья.

Серей дня не сыскать.

Так сер, так сер день, что мысль в смятенье: если негры и папуасы за 50 лет «прошли» весь путь цивилизации, равный 7.000 лет высокой белой расы, то о какой эволюции сознания может быть речь.

Вечером сквозь стекло горят фонари, — как сквозь сито.

8 март, 5

Битлы, хиппи, панки, денди, религиане, греки, Возрождение и Кубизм — прошли, проехали, никто и не заметил династий. Гиперреализм прошел. НО: увы, это ретро-моды. Что будет новой?

Джинсы прошли и вновь взошли. Они надолго. Это уж классическая форма.

На кухне цветок умер, японская вишня, из косточки растил.

Шар Земной состоит из 7 слоев, колец:

1. атмосфера
2. земная кора с водой
3. вода
4. минералы
5. воздух
6. металлы, магма
7. магнитное ядро.

Микробы проникают сквозь все слои, в ядре — и их центр.

Гармония любого холста тяготеет вниз, как и ноги. Холст художника повторяет тезы 7-ми колец Земли с тяготением к центру. Центр тяжести всего живого — живот. Много веселых и страшных игр у художников, и все они духом от единого Пастыря, но вселенская тяжесть — живот.

На скале трусов мало висит, штук 6. Зато на каждой секции по 2 креста, громоотводы. Или распинатели? До весны!

Далеко-далече до весен.

Рабы внизу стелют ковры, ждут, что я выйду. Я не выйду.

Ковры из мешков шиты, вышиты красной нитью, метелочкой.

Слава Богу, ослепление «наукой» прошло, на людей смотрят просто — как на слабоумных. Пусть плачут, как Чаплин.

Сколько слез у людей, столько и солдат на Земле.

14 март, 5

Псы бегут в свете солнца.

Никого на дворе, как в Никарагуа.

Кто идет, стой, оставляя тень, неподвижную? Уж не девушка ль из ванной? Ночью она сидела в воде, как кошка, заголенная, глазами освещая всю воду. Говорят, что такая вода святая. Не нужно святости, я все слил в водопровод.

О любви не говори мне.

Как женоподобные появляются в ванной? Важно это?

Неважно.

Они скрашивают мою умственную жизнь, безрадостную и полуголодную. Баранины нет, в холодильнике наперсток красной икры, ею не наешься. Бурю бы, чтоб попал в вихрях бык, с красной кожей. Его в Европе называют беф. А в Римской Федеративной Империи — как? — Феб? У нас ведь все наоборот.

Снег сетью, ловец человеков. Весну ждать и ждать.

Рабы идут с камнями за пазухой; или это женщины, и за пазухой груди. Детей везут на колесиках.

В ванне живет женщина, ягодицы, как стекла очков, розовощекие. По ТВ передача «Здоровье». Едят.

Живут рабы — идут, едят. Завтра годовщина убийства императора Павла (русского). Это по ТВ спекли в эту честь торт и съели его с цианом. Завтра объявят, кто сдох в ночь на 24. А в ночь с 24 на 25 убьют Павла, кавалера Мальтийского ордена, рыцаря не ко времени.

Мысли писать скучно. Виды писать — надоедает. Только набитый идиот думает, что он мыслитель.

А тот, кто смотрит на мир не так, у того и мысли не те.

У меня мысли — те, тупые. За сутки, прожитые мной, в ванной меняются одна-две женщины. Не успеешь ими насладиться, как лежат еще три-четыре; новые, хоть плачь.

Хоть плачь, а наслаждайся.

Был Сизиф, полуцарь-полубог, катал в гору камень по рельсам, а камень опять спускался. А Сизиф катал, катал. Он — наслаждался. Я задуман, как родоначальник вроде Адама, и мне дают все новых и новых женщин, чтоб в ножках у них родилось 40 колен рода людского, нелюдей; мутанты.

Надоедает, но мыться нужно на ночь, забудешься, войдешь в воду, опустишь голову и... встретишься глазами с девушкой, смотрит и не отводит глаз-нос тигриный, и ручки славные, с пятью когтями. Остается одно — наслаждение.

Я — функционер.

А св. Августин приглашал всех наслаждаться Градом Божиим. Я согласен, но как? А дева лежит под боком, как бок белуги, и вот мы с ней идем и едим.

Так что оставим черную девку Соломону, а Церковь Божию Августину, — так правдивее. Соломон был похотлив и имел 4 млн. жен и девиц без числа. А св. Августин писал:

«Любить и быть любимым мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной. Я мучил источник дружбы грязью похоти, я туманил ее блеск адским дыханием желаний. Гадкий и бесчестный, я жадно хотел быть изысканным и светским. Я ринулся в любовь».

Биографика — 17-летним выйдя из-под родительского ига, в 1-ый же год пребывания в Карфагене Аврелий Августин сошелся с женщиной, родил от нее сына и оставался верен ей 15 лет. Он — «ринулся в любовь!»

Я о себе могу сказать так.

Еще св. Августин пишет:

«И две мои воли, одна старая, другая новая; одна плотская, другая духовная боролись во мне, и в этом раздоре разрывалась душа моя». Возможно, что у него дело обстояло так. А у меня иначе, гармоничней, без драм и алогизмов.

Достоин ли я Града Божия?

Достоин, хотя бы потому, что я был ТАМ и видел светящийся круг, рисуемый Невидимым циркулем.

Как рассмотрели мы кольца Земли, рассмотрим кольца Земных времен.

1. от Адама до потопа
2. от потопа до Авраама
3. от Авраама до Давида
4. от Давида до переселения в Вавилон
5. от Вавилона до Рождества Христова
6. это сейчас; от Рождества Христова и длится
7. — будущий век.

Будущий век — последнее кольцо времен, смерть; Град Божий, где скитальцы найдут себя. Я был в седьмом времени, я писал. Нестрашно. Но не стоит мутить ум до поры, а придет срок — увидишь сам, а нету ее — живи, чего уж. Даже Орфей был ТАМ и жил потом.

Но хитрей — зашифровывал знаки чисел в музыку песен.

Смерть кого бы то ни было — это свойство жизни вокруг. Судьба же твоя — этот путь независим от бесконечных смертей, которые ты видишь, это — твой путь с твоей смертью в конце и она (судьба!) смутит или возвеличит одного тебя.

Меня этот путь не смутил, но возвеличил.

Я величаво вхожу в дверь, где клокочут воды, гор, и хол., смешиваясь в одну. О жизнь, единая вода, гор.-хол.-ная!, вьется воронкой, вытекая в трубу. На краю сидит девица, как дециметр, позвонки на спине — как колокольчики. Рот опухший, воронкообразный. На вид юна, а ягодичы, как шарикоподшипники, тонки. Таких ню в ванной любил Сандро Боттичелли. Чем тощее, тем любимей. Он любил, а я наслаждаюсь: кости постукивают, как колеса поезда. Весны нет!

Ворона летит в тулупе, родину искать. Я люблю сорок.

Не обязательно пить все, можно ограничить свою жажду водой ада. Поставить стакан и обдуть его вокруг.

29 март, 5

Рабыни с каллиграфическими ногами, а у других ноги как буква Ж.
— Какая у тебя система жизни?
— Солнечная.

Голубь нагл, он в форме, а я одну страницу пишу шестой день. Я — нео-Гюстав Флобер. Его стоны о стиле уж очень многотомны, чтоб верить, как он по 60 дней писал 1-у страницу. Тогда в год он писал по 6 страниц. За тридцать лет он написал бы 180 страниц — половину Бовари. Но он написал ровно в 1.000 раз больше. Значит, он не агал, а мистифицировал; Многие мистифицируют. То же и два брата-Диоскуры — Микеланджело Буонарроти и Левниколаевич т. Алстой; расписывали мир людьми жизни, — с потолка не смущаясь ничуть, что пишут-то на потолке. Разве это правда жизни — с потолка, нет ничего мистификаторнее. Если кто громогласно кричит «я иду к людям любить их!» — останови его, сними с потолка, сунь в рот кость, обыщи и ты найдешь под мышкой топор, отточенный до блеска.

Вот на шестой-то день я и увидел, как (или что!) на скалу поднимают нечто блестящее, большое и полное любви. Что это? — забеспокоился я. Это нечто было в белой рубашке с вышивкой, с бородой и сытое; оно блестело стилем изнутри. Я не мог понять, а потом-то, на шестой день дрожи, я понял, кого это поднимают рабы в небеси, на скалу, все выше: это ж Левниколаевич т. Алстой, зеркало!

От равноденствия до равноденствия — полугодие.

Шутит нечто...

Море безнадёжности.

4 апр, 5

Море-океан, но в нем кита нет. Вот кит, уходящий в прошлое, то есть в иную жизнь — это и есть живее всех живых.

А раб-римсы алфавитные, они не жизнь. У них от ног и земля вертится, как у белок. Белка летит, как сокол в колесе! А раб ползет по рельсам вверх ногами, с раздвоенным языком.

Я люблю голосом выть, расчесывая кудри девушкам из монастырей; был тут целый ряд монахинь в ванной, одна за другой ложились; под водой они расцвели; после приема в ванне я давал им пить чай, и они пили, как жемчужные. Вот что я делал шесть дней — с 29 марта до 4 апреля. Будущим читателям моих записей бросился б в глаза пробел — что ж делал автор шесть дней?

Благоразумие во мне больше ума, потому и пишу: эти шесть дней я провел между ванной и любовью к женщинам (временной). Временной, ибо эти спецгруппы уже стали записывать на юбки мои слова, и рисовать мой образ, пальцем, на бумаге. Дело б обернулось еще хуже, если б утром я не увидел: ванна пуста. Я отоспался от наслаждений и, наточив ногти, сел за машинку. Дисциплина — залог успеха у женщин, уходящих от нас вниз.

7 апр, 5

Я грущу — я пишу.

В желтой скале лежат дятлы на боку, медным брюхом поют; скоро, скоро апрель, полетят долбить бедных.

Апрель, и что ж, холоднее бы. Не хочу я тепла и света, мне б улететь с пестрым пером к дыням, в осень.

По ТВ: режиссеры снимают длинносерийные деньги.

Мысль ничья, она в синей голове кита, в звонком мозгу Бога, она дуновение свьше. Это о рыбах.

А о матросах.

Два брата Симон и Андрей рыболовы, и два брата Иаков и Иоанн Заведеевы чинили сети, Христос же сказал им: идите за Мною.

И тотчас пошли за ним. Выходит, когда Христос шел по морю, за его спиной наблюдали четверо матросов. С Христом шло в море отношение 4:8 (об учениках). Что одному матросу два пехотинца!

Не потому ли Симон получил ключи, что шел и тонул? Не потому ли Иоанн сидел слева? Не потому ли в Летучем Голландце 12 матросов? Не будет рыбы, не будет и моря, уйдет оно под низ.

Белый лев лежит на полке, хмурый, с рюмкой. Три засохших нарцисса, желтых, из рюмки свешиваются. Лев; и рюмка стоит рядом, просто стеклянная. Если лев лежит, сделанный из алеба-

стра, — он ведь не живой и не воскресший, а в общем-то он искусство на полке, безделушка.

Так и Бога сделали человекоподобным, как обезьяну.

По ТВ: ветер.

В этот день три женщины лежали в ванне как костер крест накрест и горели.

14 апр, 5

Весной умирают сумасшедшие, а гордые гены фаллосов не хотят жить с женщинами, уходят в леса, и от них пойдут грибы, одинокие и полнокровные.

У греков грибы — обед богов; знаю, что ем, форму.

Гриб — это гром; загремит вверху, и вся земля покроется грибами, как вдрут.

Вдрут — ведь тоже гром.

В моем лесу грибы растут от света звезд, от одной радуги — явления величайших грибниц. Кто им друг? Комары и мухи, жабы, мыши, черви, змеи. Из новых это понимал Иероним Босх.

Свою связь с грибом понимаю и я: мне гром люб, я расцветаю, если гремит, это я гриб-громовик.

Но ждать лета — жестоко.

28 апр, 5

Снилось, что День Рожденья, — мой!

Сом в руку!

Почему рабы-римсы низкозады? — быются эндокринологи всей Европы. Но их низкие зады не мешают ходьбе. А у кого высокий зад? На скале простыней, будто День Девственниц!

На столе апельсин и лягушка с ключиком, заведу — будет прыгать, как антихрист, железно-зеленый.

Вырастут гусеницы, как у танкетки?

Уха чисто-серебряной плотвы, с янтарным кружевом. Меня стали душить слезы. Я съел уху, до дна.

Жаль, не на кого взглянуть задушевно, я б взглянул, чтоб поблагодарить взглядом, а может быть, и кивком.

Ванна. Я произнес несколько слов из ассортимента, пронизывающе глядя в воду. Она покраснела от моего взгляда (она — вода). И чисто, и пусто. Сюрприз без сюр! Глуповатое положение. Проголодался.

Взял дохлого цыпленка и с помощью утюга сготовил из него; съел полностью.

Вечер. Можно уже сказать: вечерняя ночь.

Ел овсяное печенье, гладил собаку (воображаемую), спаниэля, каждая шерстка, что шоколадка.

А на скале людей считают.

Сердце, летящее в грудь, как ядро — что это? Женское сердце.

1 май, 5

В ванной все на месте — женщина в тужурке, с орхидеей, страстная. Нарезал свеклу звездочкой, ем. Девушка поет о ребенке. Да, поет, грудным голосом, дурен он. Вошел в ванную, дал ей в рот тарелку, пусть держит ртом, чтоб не разбилась; пенье, может быть, прекратится.

Не то, чтобы жить не хочется, не то! Но как бы жить, кипя?

7 май, 5

Эх, китайцы, дети китов! А китобойные флотилии — это те, кто анти-китайцы. У кого рыбы лица? У китайцев. А на скале я ни разу не видел повешенной рыбы, а в старинных книгах читаю: на зиму рабы сушили рыбу, соля. Солит раб-римс суп, капусту, огурец в руке временно посолят, кошек солят — под хвост, чтоб смеялись, солят яйца и малахитовые шкатулки, едят дубы с солью.

Юношей, отправляя воевать за мир, — солят с головы до пят. Посоленный юноша становится соль-датом. Покрытый солью.

Я часто и с тяжелым сердцем смотрел, как в окнах спозаранку появляются рабы группы Ост, они быстро-быстро мажут лица солью; был раб как раб, человеко-фигура, выращенная аллювиальным способом на скале, а теперь что — беломордый бык, и вот он в таком виде! Однако ж — вложи в ножны кнут, — скала уж высится!

Внизу много машин, зеленые, войсковые.

А вверх машин еще того больше — они летят.

Они летят, как рабы, махая стальными ластами. Чушь какая-то! Роза склонила голову на кувшин, а на стене часов нет. На хронометре 15.07.

Пью чай, чудесный, турко-итальянский, конфета пахнет, как скрипка — канифолью.

А что ж будет, когда слез не будет? Мечты о поименном счастье — хуже idiotских, представляю — идут неопишуемые списки. Но счастье ль это — груди, полные сосцов?

Раб-римс выходит из скалы, надевает на ноги пропеллер и летит вниз головой, раскрыв руки. Раб летит, как крест.

И танк, стоящий и замаскированный в морковный цвет, стреляет в этот НЛО, и тот падает, убитый. И так десятки раз в минуту стреляют танки в парящие над землей раб-кресты, как будто это не танки, а пулеметы со щитками для глаз, от купанья, на солнце. Очень много танков. Они все механизированы. Репетируют: может ли раб летать, и когда у него вся кровь прихлынет к лицу от положения вниз головой, — бьют пушки в него снарядом, прямое попадание и смерть, не сходя с места. Иллюстрация формул счастья: ни тебе материи, ни души нет. Это называется: ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ.

И не взвизгнется.

22 юн, 5

Море свирепо, оно вскрыто.

Ах, сколько чаек, а крылья врозь, как при штурме; белохвостые чайки, клюв — ку-клукс-клан, и крик такой же.

Во дворе кучи песка, будут делать пляж для бедных римсов. Бедные римсы!

Белье на скале вешают вперемежку — белое, красное, белое, красное; черного нет, желтого нет, — необожаемые цвета.

Шестой час в зените!

Идет ливень в снегу, сбивая плоскостями всех идущих ему навстречу; человек валится, машина гаснет.

Откуда и что несешь, снег, такой стеной, из-за которой не выйти, и заливаешь ледяную воду — в воду? Ведь июнь, ведь океан. На теле живут молитвы.

У цистерны пилят сочные чемоданы, двуручной пилой. Кто пилит? Двuruшники.

Сейчас 13 часов 16 минут 22 июня 5 года, у океана. Самый длинный день в круговращении. А круг светел и циркуль с ним.

Там, где начинается книга, кончается любовь.

Там, где кончается книга, начинается диаметр смерти.

Не грусти, душа моя, одноклеточное животное! И мы останемся с тобой одни, зеленые и синие.

23 юн, 5

Выглянул, утро, грозное облако низко ползет над океаном, к скале. К нему снизу прилепилось серовато-зеленое облачко. Отчетливо вижу: оно вращается.

Вращается и вращается, нависая над скалой, вот и хоботок выпустило, воронку, и она уж вращается, сверхзвуковая, как первые формы смерча.

Да это смерч. Пыль поднялась ввысь, с земель и водная. Все вращается, снизу вверх, по спирали. Над скалой возникла колонна необъяснимой высоты, не менее 1,5 км, ярко освещенная внутри молниями; шел гудящий, шипящий звук, рев.

И вот низ коснулся скалы, как гигантский цилиндр, надетый с высоты, как и купол, высочайший, скала скрылась.

Раздался взрыв.

Поскольку все закупорено стеклами, все и взорвалось.

Взрыв дал скольжение и взлет стекол, брызги из роз, и миллионы людей, вылетевших в смерч. А из него в море. Было красиво смотреть, как летит в воду столько вниз головой, ныряя в неестественной позе. Они б спаслись, но ветер не тот!

Я видел, как хирург Г. Рурих и тело его пронеслось в такую высоту, что куда б ни упало оно, живым ему уж не быть. А быть в небытие.

За ним летели желтые рейтузы на веревке, как пожар.

Просто, шум волн, белые обломки.

Второй смерч, идущий вслед, поднял море, и это стал столб высотой неопишуемой, нерукотворно крутясь! Водностеклянная масса, столб-високос, с шариками голов раб-римсов — ушел, унесло. Как быстро! Если б я описал это чудовищное дело, я б не смог, я б солгал, метафор на штук пятьсот! Говорят, смерч не уничтожает живых, а уносит и кладет их рядом где-нибудь,

где прелестные уголки. Будем надеяться. Но кто их будет вынимать из этого океанского столба — не женские булавки ж! Что будет — гадать не будем.

Я трогаю рукой корону — целехоньякая! Впереди — солнце, справа из-за цистерны выходит бык, буйвол, двурогий, рога изогнуты почище, чем у лиры. На быке сидит верхом ребенок, седой; ему 72 года. Он так и родился сразу у матери, 72-летним, седовлас. Он уезжает на быке под занавес. Это Лао Цзы.

Над цистерной горят последние слова китайца:

ЛЮДИ ЗЛЫ, НО НЕЛЬЗЯ СОВСЕМ БРОСИТЬ ИХ

Избыток дождя сливается по стеклу вниз.

Идут машины, шагами легкими, везут рабов — строить скалу вновь. Вдали тот же лес, к нему летит, звенящая, стрекоза, самолетоподобна, вот глаз у нее больше, чем у самолета. В лесу выходят из леса первые грибы. Женщины вяжут на лицо платочек. Треугольничком. Если его расправить, то получится квадрат — до Леонардо рукой подать. Дойдут и до Малевича.

29 юн, 5

Моя квартира — звуконеподражаема: слышно, как девушки с видом на тело моются, локоны никелируют; часы идут, как в бочку; если закрыть глаза, слышно, — кровь, шумя — от большого пальца ноги к указательному руки — идет. Мой шаг исполнен достоинства.

Никак не пойму, что на пальцах ног — ногти? А на руках тогда — рукти? Не у кого спросить.

И слышу ответ:

— На ногах ногти, а на руках локти, а если обрежут руки по локти, что вырастет — рыбка в корзиночке, сплетенная!

Кто это, с таким задорным ответом? Иду в ванну. Нет никелированных. Лежит Аве-Аведь, во всю длину, в виде рыбы, по рту узнал, вечно говорящему:

— А Вы никуда не улетели, а ведь как я сюда попала?

Я говорю:

— Проще простого. Это ж смерч. Ты как живой предмет летела, вытянутая в слюнку, с противоестественной скоростью. Ты пробила стекло, как иголичий укол. Попав в ванну, ты разошлась телом. Вот и все.

— Кто ж я? Теперь-то?

— Ты — палиндром. Читай: АВЕ-АВЕДЬ — ДЕВА-ЕВА.

— И я буду рыбой на века?

— Да нет. Осталось 5-7 страниц у книги и ты останешься в памяти, как образ. Рыбой уж никто не будет.

- Дева-Ева, Аве-Аведь. А ведь мягкий знак лишний.
— Лишний, но он уж для женскости.

5 юл, 5

Две маленькие девочки бегут (сквозь стекло) по океанскому берегу, одна — яблочко, вторая — груша. Глупые они и веселые, жизненные. У одной пальтецо в клетку красную с синим, а вторая в шелк завернута, как груша для отправки на континент. Им лет по 5, тут не дневал еще и Петрарка.

О Петрарке. Ничего себе чистота — жуть с женой, имея перед «внутренним взором» девятилетнюю девочку. И так до старости. Это больше похоже на разврат, чем на чистоту. Фрейд это не отметил, эссеист, а Набоков превратил Лауру в Лолиту.

19 юл, 5

Ров внизу полон желтой воды; полноводен.

Други с лопатой роют яму, входят в нее и стоят, как вкопанные. Вкопанные и есть.

Кое-где мелькнет нога мужчины, это он выпростает ногу из голенища и окунет в ров, полноводный. Зачем? Поди, спроси у голубя, зачем он летит в тыл роду людскому?.. Окунет ножку в ров, а та булькнет, а потом вынет ножку и стоит, вкопанный, как певец.

Уж и типография есть, несут в ящиках большие буквы со своей фамилии и льют вновь винцо. Выпьют, идут ко рву с лопатой и стоят у желтоводного рва, облокотясь, как вкопанные в землю.

Да они и вкопаны.

Грустные виды вижу я в несветлый, а серый день 19 юл, 5!

Хоть бы кэб увидеть, или удмурту, или винтовку с трехгранным штыком, — и это из книг.

26 юл, 5

По ТВ:

ах как хороши два негра на ринге, один из них белый. Удар быстр, как глаз, видно, легковесны. Один — финн, а второй черноголовик, похож на еврея, видимо негр.

Чай вспотел, я попил...

Бьются! Шлемы, как у танкистов; у финна шлем с белыми перьями; у негра ноги черные.

Черный сбит с ног, сидит, а судья тычет в него пальцем. Сняли шлемы, ждут победы. Нет, черный тоже белый, он и победил, болгарин; то есть — турок.

Еще.

Двое в головных уборах, как египтяне. А кто они — ошибусь, но у обоих трусы белые и слева на груди корона вышита, как у девушек или как у великобританцев, похоже, из одной страны... Одни клинчи! Фигуры недоразвиты, бьют друг друга, обнявшись, под мышку. Кто они? Немец Кох. Третий раунд. Ноги настолько тонки, что не могут быть немецкими, ни у кого. Да, второй не немец, а монгол. Кох побил монгола.

Еще.

Сойдутся болгарин и армянин, что-то будет? Бой без шлемов, рыцарский. Армянин левша, он и победит, сколько б болгарин ни дрался, не успеет привыкнуть к оборотной стойке, да и мечь геноцида. Вот как его обрабатывают, готов, кувыркнулся через голову, но встал. Будет, будет бит болгарин до победы судей. 2 раунд. Болгарин закрывается перчатками, как мучными мешками, он получает по башке. Беда. Ох, умен армянин по фамилии Израэлян, не успокоится, пока не собьет. Сейчас повторится кувырок в лоб. Перчатки мелькают, как гири. Тренеры хлопают полотенцами, как орлы. Третий раунд. Армянин злой, как стрелок, хорош, хорош, с хуком, а болгарин груб и озлобленно-трусоват, два раза с двух плеч швырнулся. Все, раздевают их, развязывают. Судья зовет их — взять за белые ручки. Судья, нужно отметить, бурят. Победа армянина Израэляна.

Чемпионат Европы: два турка (болгарина), армянин, немец и монгол, еще финн. И судья им — бурят, Эмиль Гава, ориенталист из Нагасаки.

1 авг, 5

В море строят железную клетку.

Новость!

Эта клетка не из блестящих брусьев, а из ржавых труб, невелика, но кто знает замысел зодчего; в глазах рябит от этой клетки.

Черемуха не цветет, хоть по ТВ кричат, как бешеные:

— Расцвела черемуха в аду!

Может быть, в железной клетке будут растить одного лосося на весь мир, для отстрела из гарпуна? Морских собак? Пиавок?

Сенаторов? Гарсонов? Пока ломаешь голову, они застроят клеткой и море и небо, и скажут в мегафон:

— Смирись, гордый!

Или ж внутри клетки посадят беременную Мать с животом, распахнут как люк, и оттуда выйдет новый народ, очерченный циркулем на все 360°? А потом возведут столб с ангелом, огороженный клеткой, чтоб новые не взломали святыню?

— Иди ты на кий!

Хуже ругательства не придумаешь.

А у клетки ходит пушка морковного цвета; не ствол морковкой, а цвет, уже частица «как» числится как бы в проклятых.

У раба печаль свекального цвета, а дети — дрозды.

Вот пушка стреляет, вылетает струя.

В ванне сидит женщина с двумя неизвестными; и они женщины. Говорят, я не брит, смотрю — не до бритья, заросший, нужно рубить бритвой щеки.

Женщины ушли с водой, вытекая из ванны в отверстие. И женщины, и воды — вся идет в одно отверстие. И женщины, и воды — все идет. Они вытекут к клетке, трио: женщина М с двумя неизвестными Н и Л, скрестив ноги, как иксы. Печаль моя.

Грустно спать, 12 час 05 мин, день-деньской, полудень! Солнце еще с ночи не ушло никуда, все тут. Дни настолько длинны, что зови Прокруста к ложу.

К нашему ложу время.

Дни нудны.

Солнце, как собака, бежит, не отставая.

Ствол у пушки широк и кружится, под ним — испытатель. Вот что писал о нем Ло Гуаньчжун в книге Троецарствие:

«Он не любил читать книги, был великодушен: высокий рост, смуглое лицо, алые губы, свисающие вниз уши, глаза навывкате, длинные руки — все выдавало в нем человека необыкновенного». Его зовут Ингварь Кузоев XXXVII-ой, двум неграм не ужиться в одной клетке, и он строит себе железную.

Он, не я ж, Иоанн Новый.

Ствол крутится, а Ингварь Кузоев XXXVII сует голову в жерло и высовывает ее оттуда с пеной у рта. Пушка на колесах и с мотором, ствол широчайший да и не как ствол, а как снаряд, конусообразен. Эта пушка стреляет не снарядами, а стволами — как вихрь.

Очень грустно весь день глядеть сквозь жиденькое стекло: вот летят клейкие листочки, где-то буря вырубил дом и сидит в нем, как в батискафе. А где-то Бог пишет дуги на небеси. За окном пушка шипит. Разве это — жизнь? Ну да, а что это? — жизнь.

Если б рабу дать пропеллер, далеко улетел бы он, при пушке?

14 авг, 5

На одной веревке белье висит.

На одной — как книжки, на другой — как рыбки.

Внизу ходит трактор, над ним чайка, палевая, идеальный рисунок. Трактор идет по песку в океан, существо трогательное. В голубом фургоне привезли пленных, на колесах, выгружают. Это рабы, сербы и персы.

Смерч унес скалу — на ветре, всосал. Но на географической карте есть еще люди, рисуют их.

По ТВ сообщение — результаты смерча превзошли все ожидания, унесло в неизвестность все население, сотни миллионов голов найдены в океане и мумифицируются. Остальные тоже найдутся в мелких речках, озерах и прудах. То есть положение на день-день: Империя цела, а раб-римсов в ней нету. С других континентов обещают дать персонал для строительства новой скалы у меня на виду. Но пока не дают. Отнекиваются, что у них жизнь не с дождем падает, а самозарождается.

От самок.

Хирург Г. Рурих улетел в ветрах, над морями. Где-то он уж скелет. И Аве-Аведь морской каймой обведена, как Дева-Ева. От нее-то и пойдет новый вид, когда люди из рыб станут эволюционизироваться в лилипутиков.

Долго я сидел в ванной (в ту пору!) и смотрел, зачем она в рыбу сделалась, кто ей велел? Знает ли она свое имя? Или знает — мое? Все отпеты; ветрами.

Я у окна, вертя на пальце шляпу-пентагон. И лес уж унесло, там тянется китобойная полоска.

Одно неоспоримо: и дикобраз рано или поздно станет человеком. Лучше б попозже.

Вот идет станция ТВ на колесах, называется Магнолия. Двое тэвэшников с кинжалами на груди спрыгнули, освещая лицо дикобразу, он еще и орангутангом не стал.

На смену медицинской цивилизации пришло ТВ. Они ищут героя, потому и освещают. Все свои книги я написал от Я, а солнце предо мной целый день стоит стоймя.

20 авг, 5

Еще вариант Башни — на громадных рельсах, как лифт, ходит по вертикали квартира автора. Это по ТВ, рационалы. Диковатая инженерия, но осуществимая. И почудилось, что скала оживилась, и по ней ползет англичанин, бритт, Томас Эннинг, джентльмен, выбивая из белых известняков перламутровые катушки, аммони-

ты; у него молоток и мешок; а эти штуки — жизнь на хлеб, сувениры, по десять шиллингов. Семью он оставил многодетной. И вот дочь Мэри Эннинг берет геологический молоток и идет на Северное Кладбище, где стоит памятник отцу — дощечка и имя. Мэри бьет молотком по камням вокруг, а с нею две собачки, беленькая и черненькая, нюхают; мустафайчики. И Мэри открывает кости, животные. Британский музей покупает скелет за 29 фунтов стерлингов. Это — ихтиозавр, первый, отысканный после потопа. На ТВ — сенсация. Мэри — гений. Сербы и персы копают кладбище, несмотря на похороны. Чтоб пресечь энтузиазм, пришлось поставить пулеметы. О Мэри — лови миг удачи, — пели, — счастливый чай, игла в гробу. В 13 лет, спустя год, Мэри несет скелет еще одного ихтиозавра, длиной 8 м. В 23 года Мэри Эннинг нашла полный скелет плезиозавра с лапами. Великий Кювье, отец зверей в РФИ, вступает с Мэри в эпистолярную любовь. Через 7 лет Мэри найдет еще — юрский птерозавр. Гений — не тот, кто описывает, а кто видит, как никто, то есть то, что никто не видит. Мы и Мэри поставили памятник, но его унесло: девочка в мраморе, с молотком и две собачки, покрашенные.

Море опять наливается водой.

В железную клетку погрузили лохани с телами 36-и Ингварей Кузоевых, и Ингварь Кузоев XXXVII-ой поднял якорь и вышел в море. Он взял еще кошку, крысу и голубя.

От Луксора до Куфта по всем берегам океана железную клетку сопровождали феллахи, стреляя из ружей, как это принято. Женщины в соку с нечесаными волосами шли и возносили кверху плач по мертвым, ритуал со времен фараонов. Ведь феллахи — потомки древних египтян и им без фараонов — никак. Последние почести. Из железной решетки в ответ, уже из-за моря стреляли снаряды. Убитые — выше жизни, потому что с ними уже ничего не поделаешь, это последняя мера.

Пророк Исаия, племянник царя, не был возведен, отказался. Он пророчил. Он был мрачен; молчалив.

И тогда два народа привели Исаию на площадь и взяли в руки деревянную пилу. Один народ стал с одной стороны, а другой — с другой. Исаию же привязали к бревну. И тут он уснул.

И мнилось ему, сонному: Тот, Чье Имя не называют, кричал на него:

— Исаия, ты свят, спору нет! А народ твой двоичен, гадок, развратен, подл и вонюч от немытости; не любят Меня! Я говорю тебе: возьми венец и исправь народ. Сделай так, что пусть он станет антиподл, антигадок, антиразвратен и антивонюч. Но важнее всего — сделай ему любовь ко Мне, ведь Я один — первоисточник! Скажи им!

Неразговорчивый в быту, во сне Исаия был и совсем молчалив. Но когда Тот предложил ему держать речь, он не вынес этой муки и воскликнул:

-- О ГОСПОДИ БОЖЕ! Я НЕ УМЕЮ ГОВОРИТЬ, ИБО Я ЕЩЕ МОЛОД!

Когда он проснулся, его распилили пополам.

Ему было 120 лет.

И о другом:

Скрытый Имам, Махди, Надежда.

Люди жизни надевают белые одежды, выходят на берега и смотрят на воду, ждут. ОН должен прийти по воде, чтобы народ сразу узнал ЕГО. Ибо многие объявляли себя Махди, а были Ложью.

Конец.

ДОМ ДНЕЙ

1986

I. У МОРЯ

В ЗАКАТ

Солнце ушло в шелках, как синее; загорается вода. Девушки с купанья идут по песку, как зеркала. Комары и кулички. Сети. Лодки.

Клюв у голубя похож на голубиное яичко, с острого конца, а клюв у утки — на гусиное. Утки не боятся людных дней, сразу шлепают лопастями к северу, а там берут в руки два крыла, и на юг, — ну их! Одинокий рыбак, не тосклив, он из магазина везет в мешке рыбу, размороженную — в море, и забросит ее на спиннинге к Кронштадту, а сам у Комарово, на резиновом ходу, на колесной лодке, морской, и тянет спиннинг за хвост, делая вид, что крутит катушку, как швея. Издали залюбуешься: Хемингуэй, и рыбка в мешке, и борода, и бутыл с алкоголизмом в лодке катается; нобелиат! Но рыбу (рыбацкую!) глотает утка, на спиннинге. И рыбак ее тянет, а утка идет вслед, думая, что рыба не в достаточной степени в животе.

Но рыба в животе в достаточной степени. В той, что рыбак доводит утку на леске до лодки, сворачивает ей в воде голову набок и вынимает свернутой, как пакетик, как не утку. Разве узнаешь, что он вдали делает, браконьер, уткоед, с яблоками? Туман на море скользит, как тень.

Цветы свергаются, от заката остается облачко в выси, волны, как пузатые девушки, едут к берегу, ногами.

— На помощь! — кричат чайки. Зажги спичку, и они слетятся. Не зажигай. Каждая чайка собьет с ног (своим весом!). У чайки вес и взмах — бронзового коня!

Вечером гости оставляют угли, суховетки жгут, те, кто приезжают

в лимузинах, купаются бедрами, едят пакеты и уезжают, не подозревая, что тут погребальные костры — памяти... Пары стариков на каблуках сливаются в ночи. Мои глаза сливаются; спит организм.

ЛИРИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ

Лирические растения не то, что животные. Растения — дубы и платаны, бобы и каштаны, а животное — это женщина. Скала — женщина, нога — женщина, и ночь, и медь; а море — это где тонут рисунки.

Тонут, да не тут-то было, со дна встают солдаты и колют их штыками в пятки. И мы выходим из морей, обтянутые солью.

Лирическое животное — это ветер.

А растения — это то, что растет: дом, день, люди. У них кругооборот.

А животные — только живут, в одну сторону. Как у женщины: расцвела — родила, дальше некуда.

Стихи — это сети братьев Заведеевых, попался Христос, а думал, что завербовал их. Братьев-то завербовал, а сети поволок. Пока три Марии не сняли его с креста.

Три Марии, тоже мне подсчет.

Все они — чистые животные, не мужское. И поэмы Христа — это нагорные ритмы, на горе, на женщине стоя.

Море — оно, и яйцо — оно, оба рождение. Третье — солнце.

А то, что водит от луны до луны, это лиризм. Я видел ноги святых, лежащие, на телеге, но я ж не плачу, как ч-к; рисую.

Среди железобетонных игл современности я — один, жесток, животное, и раз в день, суров, рисую.

Господи, — говорю я, — неужели я видел напрасно? Неужели опять скажут — он основатель новой школы форм? Это я, кровавый? Форм — чего?

Я — схоласт?

Ненавистник реальности, во имя жизни, я признаю одну форму — Золотого Маятника, и его колышет некий, созывая в переходный мир, — к жизни.

Но не собрать своих, не прийти к ним. Встречи наши — только на страницах, а они мокры от слез, золотых.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Был ливень; весь взмок.

Или вымок, — как хочется.

Сушу на окне красную рубашку, туфли и штаны, цвет жженой

охры. Коллаж. Под окном — жасмин и дуб, букетами. Мокрые сосны не золотятся, а с краснотцой.

Объявилось!..

Что ж, ливень был 2 час 40 мин назад, оглушительный, в 10 утра, из тьмы, широкий, как роща, бесшумный.

Значит, сосны золотятся в сухом виде.

Дети из-за заборов, из щелей лезут в белых панамках. Много хороших, заливистых, с чистыми волосами. А много детей дутых, надутых салом. Их жалко, они с неоновой кожей, солнце их не любит и не красит, а белит.

Бледнобелая девочка вышла из калитки от Николая Васильевича и идет к дому с банькой к Федору Михайловичу. В правой руке у нее левая рука, и она ею бьет по жасмину, как клюшкой.

Ливень шел, высоковольтный, капли падали на голову, как лампы, электрические лучи бились в лужах, чешуйчатокрылые. Воды хоть отбавляй. А вот и воды нет, она у моря.

Красная рубашка стоит стойко. Штаны висят прямо. Туфли в серенькую клеточку и выпуклые. Скоро высохнут эти трое. Асфальт сохнет. Громадные ливни висят на каштанах. А на дубе капли одноцветные. А сосны? Кто из них кто вышел один из гнезда, почему растут по три? Птиц не видать, жаль. Птичку б описать. Не что чирикает, но в выси, а не в кругозоре. Это ласточки, их сделали китайцы из иероглифов; остренькие, с нажимом.

Нельзя путать перышком день и ночь. Сидят некто на дубах Рипид, Фокл, Эдгар, Василий, Леонид, Сальвадор вышел из-под ливня, рисует пред зеркалом крест-накрест, как Скорую помощь. Пугает. Не пугай, сдохнешь.

Как радостен ливень, как редок! Дождь да дождь.

Я час шел, не клоня головы, и меня било. И я шел в красной рубашке и оранжевых штанах, неустрашим, по потокам, у сосен, одетых в золото игл наперевес.

А я с головою наперевес, не наклоняясь, как то ребро Адама, из коего сделают кость и оживят ее. Я чужд натурфилософии. Я знаю, из чего состою, резали в 12 больницах, да и на 2 войнах.

Но ливень, — как мечтается о чем-то!

Длинные ноги у далеких людей обрастают мехами, обе. Да и деревья в воде обращаются в женщины. Вода сводит с ума чувственность тел. В морях реют вниз эмбрионы; и их ливни! Писать спелые фразы — счастье ль это? Как воздух, пропитанный звоном душ? Как солнце в трезвом зоре, когда идешь без дождя, без всякой связи с жизнью? Как та русская фреска горя у Феофана, Андрея, Казимира; у Николая, у Павла; и у Николая; у Николая, у Марка, Михаила и у Владимира; у Анатолия; как та тризна маятника за тех русских родом, униженных, убитых и оклеве-

танных — Петра и Иоанна; Иоанна, Иоанна; и Петра, и Иоанна, Александра и еще Александра; Михаила, Константина и Александра; Федора, Вацлава; двух Андреев, Виктора, Владимира, Василия, Сергея, Алексея, Михаила, Осипа и Марины; Анны; Бориса и Максимилиана; Анны; Марии; и еще Василия, Виктора, Иосифа, Бориса, Григория, Виктора, Юлии и ее трех Юлий; Марии, Катерины, Темпа, Игоря, Пауля, Эллы; и еще Николая; и Дили; Ульяны, Егора, Вулфа и Гейбы; и Александра; и Марины; и Хавы; и Виктора.

На всей земли, от края до края, от моря и до моря — след кованого солдатского сапога, двух ног, вставленных в голенища и выставленных как знак черного размножения. Как смысл множественности. Как стук механизма в шаре грудном — Земли. Но не Он это.

ОБУВЬ У МОРЯ

Кто у моря, тот встречает предметы для ног — ботинок, сандалетку, туфлю; я не видел их парами.

Это обувь утопленников.

Скажут: но ведь сапожок продырявил вихрь, туфельку сломала жизнь, башмак износился, и его пора убрать. И идут л. (люди) к морю, и бросают обувь в ночь. Просто!

Это лжелогика.

Редко, если один сапог сломался, а второй унесла буря. Таких видений раз-два и обчелся. Кто шьет обувь и ставит заплаты, чтоб сказать, что вторая туфля нужна про запас? Некоторые оставляют башмаки на память, но не один же! Два и оставлять. Бывает, что дама износит свои туфелькокожие, а не бросить, жаль, еще не издохли. Мужик, тот жалостливее, сносил, вынул револьвер, пристрелил в нос дважды и выбросил в мусоропровод. Правда, ну, ночью в подушку плачет. Это о них Тютчев писал — невидимые в ночи слезы. Видимые: под подушкой зеркальце, включит спичку, вынет зеркальце, смотрит, что морда старше со времен покупки башмаков, вот и их сносил, о время, друг! И плаксивые слезы льются, никто их не прячет в чулок. Но ч. (человек), идущий топиться, не может идти босиком. Он одевается, как есть и идет в туго завязанных туфельных изделиях для ног. И входит в воду, пока не напьется, как хочет. Труп из вертикального становится горизонтальным, размокает, съедается рыбой и планктоном, спрутом, тюленем и т. д. Но башмаки плавают и их выносит на берег, к моим ногам, так сказать, башмаки идут к башмакам. Но по одному!

Потому что течения морские разъединяют эти пары, да и от трупов они отделяются врозь, у кого узел слабее; один, а потом уж второй, м. б. и через месяц с кости сойдет.

И где им встретиться? Негде. У них того света нет. Это их атомы и кварки уж потом идут на тот свет, а сами они по себе не могут, не тот тип кнопок.
О Боже, как несчастлива обувь утопленников!

ВОПРОСЫ

Львы-альбиносы идут из-за моря, влажнотелы, как буквы Ы; веет. Формотворцы. А вдали кубические бочонки церквей, грани, стальные корабли у мола. На веревках. Я и купол вижу — Кронштадт.

Качает, качает. Отчего? От бурного времени?

Отмосфера.

Никуда я не уеду.

Если не удует в другой конец, — земли.

Мениск моря, как в руке с рюмкой Бога, — двойное с содовой, вот и буря! А виды государств с музеями во главе — тоже на ободке рюмки?

О да, если Он горизонт. А если Он — это кварк? то что Ему на горизонте? Да то же, что и всем, — взгляд.

Если длину Волги поднять в высоту, что с этой точки — Париж? Я видел — ничего, Париж не видать, сквозняк. А Волга — не пример реки, заболоченный водосток. А вот Миссисипи, Миссури, Янцидзян, Хирохито и Сено-Нево? — жилки на малахитовой шкатулке. Вот и путешествовали.

Путешествовать — это шествовать в путь, то есть гордо.

Так идут верблюды, неся на себе солдат со сталью. А в глазах у солдат мениск — есть?

Ветр рождается и сдувает с краев земли Гео архитектуру.

Я видел у моря свыше миллиона молящихся с головами. Вдруг дунуло и сняло им головы и куда-то дело. А они ушли, воздев руки. Отчего?

ЛАМПОЧКИ

Лампочки на берегу, туман за пять шагов; старинно.

Где дом, из которого выходят дни в ночь? Вот вышел денек из дому, увидит ч., без шляпы, с рыбкой в руке, ему и в голову не войдет, что это на него с ножом бросятся. Эх ты, неизвестность, милость.

Удюны три ч., у них три мешка, высыпают лампочки под ноги. Яков, Тимофей и Антонина, поколение пятидесятилетних. Высыпают лампочки из мучных мешков, складывают мешки вчетверо и садятся на них. Что дальше-то? Гора лампочек, как муравейник.

Начинают жечь костер.

Все снимают с себя, плюют огненным ртом в это, загорается; горит.

Остатки золота — тоже в костер, пышет! И они, уже оставшиеся ни с чем, Яков, Тимофей и Антонина, берут по лампочке и бросают в огонь. Момент напряженный, затем взрывы — раз, два, три. Берут еще по лампочке, переговариваясь, Яков гладит ногу Антонине, а Тимофей смотрит на руку и на ногу — рука красная, нога синяя, и все ж он ревнует. Полустарик! До старика ему и не дожить, до ста. Чего ж ревновать, без толку?

Еще три лампочки взрываются тотчас, Антонина пододвигает вторую ногу, согнутую, как в молодости, и Яков гладит и эту. Тимофей смотрит свысока. Злобный огонек в глазах у Тимофея. Взрываются еще три лампочки, две вместе, одна врозь. Тимофей уж хохочет не на шутку. Он спрашивает:

— А где ж третья нога? Две у Якова, а ты третью-то пододвинь, мне!

Антонина пододвигает Тимофею третью ногу. Тут уж Тимофей, выпучившись, смотрит и выворачивает ногу у Антонины. У той и третья бедро. Они и не знают, кто автор этого спектакля. Берут в руку еще по лампочке.

Не вмешайся, это ход истории.

Яков и Тимофей чокаются лампочками, одна бьется, у Якова. Тимофей, победитель, сгребает ноги Антонины и тащит ее к себе на грудь, без всяких; лобзает.

Яков вынимает изо рта горло, приставляет к губам и наливается краской; трубит звук, мелодийный. И Антонина, изогнувшись дугой, кидается на грудь Якова с груди Тимофея. Но промахивается и летит в костер.

Не горит! Новость: Антонина не горит в костре, огонь ей нипочем. Долго смотрят на эту комедию Яков и Тимофей, потом берут по лампочке и бросают в Антонину, тело; трехногое, лежащее и раскаленное от огня. Лампочки вспыхивают, вмиг, без грома. Еще по одной. Та же картина: Антонина совсем нагая.

Желтеет. Это за море закатывается желток, желтый свет, условность, и без солнца тепла не переводится, пример — Антонина; лежит на огне.

День опять ушел в ночь, а ночью войдет в дом, к другим дням и скажет, что видел. Да, дня уж нет. Вечер, другие подробности. Вечер гонит с моря лодку любви. Прояснится, туман уйдет в ничто, у него дома нет. А у вечера — лодка.

Лодки на рейде, как галеры. Кронштадт в каске, Сестрорецк слева — игрушечный лубок геометрии, фольк-арт.

Яков и Тимофей встают и запрягают лодку на берегу, на ремне. Запрягли, выволакивают лодку, в гладь. Лодку качает.

О любви ль пою, как паук, купаясь в глади? Я с морским ромбом рожден! Самое интересное начнется сейчас. Два мужчины садятся в лодку и гребут вперед, уехали. Угли гудят, Антонина лежит, накаленная. Лампочки целые, не убавляясь. Не убывают и слова.

Ворона выходит на сцену, из роз и дубов, грудь с серым пером, лапы врозь, сидит и приседает, а я иду мимо, то взлетит, то не взлетает. Я что, я белый лист, а ворона подходит к лампочкам и клюет их, быстро, и глотает, как леденцы, цветные.

Ту гору тех лампочек, что вылавливали трое из моря, из лодки, с любви, от Сестрорецка до Зеленогорска, — это наша ворона съедает в два-три присеста, как будто ничего нет святого.

ПЕРО

С кем живет воронье перо, отделяясь от туловища? •

Вопрос вопросов.

Почему вороны, где б ни летали, а я шел, бросают мне, автору письменности, — перо? В чем тут фокус? Это до того серьезно, что стоит скрестить руки на груди и ждать у моря, кто выйдет с ответом.

Швед? Пень, вынесенный из Новой Зеландии? Зерно роз Цезаря? Я вижу ложку, она новенькая, как линкор, круглая, длинная и стальная, как птица. На ложке к нам едут м. и ж., жено-мужи. В ложке 10 детей с зеленым горошком на плечах. Если Ты есть, на какую тоску Ты подсунул к берегу эту ложку с живностью, к моим ногам?

Я в белом.

На мне венец лучей.

А зеленоголовые, лысые дети уж карабкаются по мне, спасаясь от силы земного тяготения, усеяли штаны, не отмыть. Жено-мужи идут тоже. Их хоть и двое, но они быстро размножаются методом деления. Они идут к дюне, где я, как солнце; ложка оставлена.

Она жизненная, на воде с блеском, и ноги гнутся, чтобы пойти на встречу с нею, осветить ее до дна, а там видно будет!

А дети ползут по штанам, а жено-мужи идут уж к подошвам; дюну прошли бегом, как в атаке, и подходят вплотную. Мы знакомимся, они люди, мне далеки. Что ж делать? Детей не страхнешь со штанин, это еще никому не удавалось. Говорить придется о рельсах, о морском свете, о рыбах с лимфой для питания, об семитизме (анти). Но ложка приковывает мой взгляд. Если б я знал, что рожусь, то родился б в ложке, едущей по морю и живущей по-простому, с хвостом.

Для еды она тоже подойдет, но в ином мире, большом.

И тут из рощи, от шоссе, где море с краю, летит ворона, тоже

жуткая, а дети уж рвут ремень и грызут зубами пряжку, молочными — американскую. От нее ничего не останется, будь она хоть из Байконура. По всему поясу моему висят дети, как гранаты.

И вдруг ворона бросает перо. Привет! Дети, видя, как летит перо, бросаются вслед, т. е. вверх, седлают перо и начинают мотаться над соснами, выше и выше, — к грозам! Ничего они там не напишут, но наделают много. Их песнь слышна, они радостны в неведомом.

Не нужно было скрещивать руки на груди, может быть, эта семья поплыла б в другом направлении, жено-мужи стоят, как схлынувшие с волны, и побежали; и бегут вдоль моря, с дюны на дюну, биясь об сосны, катая камни и вспрыгивая, как-то одетые небрежно, в шелковых чулках и с пулями во рту, в касках, и бегом выплывают пули. Не смейся, свист стоит.

Они хотят сбить детей огоньками свинца изо рта, сбить их с неправильного пути на правильный. Решение похвальное.

Я иду к ложке.

Она с граммофоном, на нем фрукты, груши; печенье и чашки. И светлый столб для сна, мачта, ведь мореплаватели спят у столба, один из них впередсмотрящий, вот он и высмотрел меня, или она, — кто-то ошибся во мне, и дети улетели.

А эти бегут ко мне, к ложке, и спрашивают, перебивая друг друга:

— А воронье перо возвращается?

— Летящее? — говорю я.

— А какое же?

— А дети вернутся, если перо такое?

— Если блудные, то вернутся, читайте книги.

— Наши — внеблудные! — кричат они как доказательство.

— Не блудные не вернутся, это ж аксиома.

И родители опять бегут, уж вверх, по соснам, колют ноги, но не вернутся дети, не вернутся, хотя б потому, что их нет уж в видимом мире.

А ложка мне нравится. Наверху, на хвосте у нее пушка на колесах, можно выстрелить.

Вместо того, чтоб взять ложку и ехать в другой мир и искать 10 детей, уж лучше б жено-мужи не стонали на ветвях, свесившись вниз лицами, плосконосые. Лучше б они выпили чашку с серебряной рукояткой и поехали б, буря взрывает, вот и выхватила б их молния, и отправила б в пучину, и воссоединились с праотцами, целым родом. А этому роду конец.

Сейчас град грянет.

И песнь о пере закончится тоже, и мне кутаться придется, уезжая на ложке по желтому песку к дому дней.

РОЖДЕНИЕ

Я помню, как я родился — апрель, 28, 1936. Имя акушерки Мария, санитары В. Волов и О. Аслевич, подстилка — белая простыня с гербом. В полдень взошла звезда Ю в области Сатурна и горела 54 часа. Объясню, как орфик. 28 — священное число, все, что есть великого, родилось у него, планеты и посланцы. Я проживу 54 года, если будет благоприятствовать рок; мой рок — птица Павлин, кликуша.

28 апреля 1936 г. в мире родилось 422 856 мальчиков, но посланец один — я. Из остальных в живых на сей день 4. Меня уже дважды вычеркивали из списка, снизу, но Верх восстанавливал.

Я родился с двумя головами.

Одну я ношу, а вторая была — вздувшаяся, кой-где обозначены глаза и рот, безногая, уши нарисованные, бескостная, из хрящей, но в ней много мозга, было. Ампутировали. Втайне, инквизиция могла б направить мое тельце в колбу, или в кунсткамеру.

Вторая росла из темени моей, оставшейся в живых, и шейка была, с лепестками.

Я был обезглавлен, помню, как резали, без наркоза, а я рукой грозил хирургу, он дурак. Если нужно, я расскажу трибуналу, а писать об этом не буду. Та была полна крови и вен. Остался от нее рубец, на темени.

Так и рос я, человечен к братьям нашим меньшим — к людям. А ум обдумаем позже, лежа среди звездной пыли, с бокалом.

До 30 лет я выступал на сценах, поя, в роли воскресителя усопших. И слава моя затмила (осветила?) мир, советско-заграничный. Но вдруг как отрезало, я совершил хадж, ушел в глушь и пил. До смерти. До потери второй головы, хоть и удалось сохранить ее, но многого уж нет в ней.

О головах: и с одной я достиг в Олимпийских играх в беге на колесницах венки из фиалок с надписью.

Что есть я.

Но страшно подумать, что был бы я — идет с головою, а над нею возвышается вторая, еще более возвышенная. Реакция современников была б трудноописуемой.

Та! — похожа на кобру, с знаком скрипичного ключа, с пятью линейками, глаза — черные и белые кружочки. Много музыки было в ней, полно крови, ее и отхватили, оторвав от людей. А толку-то? И моя сегодняшняя изумительна — кругом фаса, профилем, да и содержанием, мало кому доступным. А в той, отрезанной, было чего-то и близкого людям, но не вернуть.

Не вернуть.

Когда я пил, она мне снилась. Но это ж сны.

Вот не пью, и не снится, а как же? Выпью — и опять войдет

в жизнь, в двойных видениях, но я ж не выпью, после смерти никто не пьет.

Непьющий я.

С головой оттяпанной.

КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ, ТВС И УРОК ЖИВОПИСИ

Краски лежат везде.

У матери пропало молоко. Семья — артисты цирка. А львица Люсиль в клетке ольвилась. Бабушка пыталась подоить Люсиль, но навыков нет; та взревела хуже коровы. Рычит, и светлые усы, и зубы безумия. Львиц не доят.

Бабушка внесла меня в клетку и положила к сосцам, к льятам. Люсиль лизнула, и закрыли клетку. Я был вскормлен молоком львицы. Я пою не для красного словца.

Тогда в окрестностях Ленинграда расплодились львы. Они рвались ко мне. Люсиль взбесилась, и все. И кусила. Молочная мать! Да так, что разорвала меня на куски. Сшивают в клинике. Мать отдает кровь; обескровлена. Взялись за отца. И он кровь слил мне.

Однако я ожил. И не от крови, а от бабушки.

Мы читаем с нею „Муд без узды“, в романе мн. львов и с ними разделяется рыцарь Говен (вот именно!). И этот чертов рыцарь с типично русским именем Говен рубит мечом голову вилану, а тот взял свою валявшуюся голову и ушел, а утром говорит: а теперь я тебе срублю, мы ж клялись, что оставим друг друга без голов. Говен ему: раз клялись, то и руби, я слово сдержу. Если б тут и конец: сказано — сделано. Страшно было б, но правдиво. И главное — честно! Но вилан не рубит. Оказывается, они посвятили себя женщинам.

Люсиль застрелили на месте, пули летели от автомата вокруг. Кто тут бешеный — тот, кто укусил от надоедливости, или же тот, кто стрелял? Зверь несся с лапами наперевес, цирковая артистка; я ж разорвал ей пасть, играл, и она в ответ. Квиты. А ее... не по-человечески. Да ведь львица и не человек, никто не настаивает. Если яйцо поставить на колеса, это похоже на пушку.

В 6 месяцев я начинаю ходить и говорить, я катал свинцовые шары, и тут же ТВС костный; я слег и замолк.

Я в клинике профессора Тура. Меня лечат ледяными ваннами. В суставах уже свищи.

Гипсуют и колют, без обиняков, я ползаю по лестницам на коленях, и так 3 года. И за три года я не сказал и одно слово, спал к стенке. Думают — онемел. Нет. Вылечился, заговорил.

Консилиум — ампутировать кисть левой руки и правую ногу до колена.

Бабушка забирает в г. Лугу, самоврачевание — травы, сплавы. Через 2 недели — свищи чисты, как подзорные глазки. Автор строк начинает ходить.

Вот что: когда привезли в г. Лугу, где у нас остался флигель из 19 комнат, и разбили гипс, — под гипсом копошились миллионы, живность — вши съели ногу до голой кости. И гной гнил.

Я пишу телеграфным стилем, да следы на ноге и руке — дыры с пленкой. Мы стоим, закинув головы, как алебастровые.

Я гримирую сестру Ж. Я рисую, но краски не люблю тому, кто ел театральный грим. От нас его прятали, чтоб мы не ели.

Но мы ели.

И я помню, что ел не вкус грима, а его цвет. Я готов взять в рот любой яркий и красивый цвет грима и есть не грим, а цвет. Разве ж скажешь? Вот в августе я наелся грима и решил поделиться с Ж. У нее любви к цвету нет, а я хотел, чтоб она была

вся в цвету, расцвела б. Я разрисовал ее. Я раздел ее донага, не минуя ни спины, ни живота, с большим вниманием к телу, и я разрисовал ее всю. Не было незакрашенного на ней ничего, кожа до последней степени покрыта толстым гримом. Она молчала, и я принял это за настоящий интерес к моему делу.

Ее нашли мертвой.

В клинике ее оживили, отмыли от грима, но к жизни так и не возвратили.

Чайки имеют форму оловянных кукол.

РОДОСЛОВНАЯ

Он слил в котел 16 кровей, кипятил. Вышел я. Яркие три цвета, русских; о них речь.

Со стороны отца —

Арвит Роонксс, герцог, Светлый, эст, конунг, сведения о нем в моей книге «Башня», они архивные.

Промежуточный — светлейший князь, фельдмаршал, наместник Эстонии — Б. д. Т. Прейсиш-Эйлау, Аустерлиц, арьергард, по колено в крови, белый конь, ядр скок при Бородино, инцидент русского стояния при Ватерлоо. Это слишком ново.

А Арвит Роонксс — один, основатель эстского народа, государства. Его смерть: из Рима двое в белых хитонах; они ушли, его жалобы на левую руку; через час мертв.

Это линия бабушки: эсты, шотландцы, немцы.

Линия дедушки: цыганского типа, поляк, аристократ, жокей. В 1905 г. дед выстроил полки в Варшаве и сорвал погоны; с себя; под барабан. Сорвал парадный мундир, штаны, сапоги, склонился и сказал:

— Жовнежи! Царь стрелял в Бога, и Богоубийце я — не воин. И ушел, в нижнем. С 1917 г. мировому пролетариату не служил,

из-за алкоголизма. 1941 г., арест деда, высылка в Вологду; как иностранца. Тогда всех не народностей СССР высылали из столиц в тюрьму. Шел, пьяный, по озеру, и ударился головой о лед. Это версия. Следом видели двоих, в маскхалатах. Был принесен мертвым, с отвисшей левой рукой.

Отец:

1937 г., обыск. Нашли костюмы: английский, немецкий и японский. Взят как а-н-я-ский шпион. Год пыток. Мать — нас подмышку и на прием к Высокому Родственнику, в Москву. Освобожден.

Отец и карьера.

На Ленинградском фронте командует истребительными батальонами. Здесь множественное число на месте: после боя оставалось 3-4 бойца от 500. Опять формировали, в бой. Это — лыжники, их вели тропами в немецкий тыл. Цель: уничтожить немцев, как можно больше: о возрасте — ни слова. В морозы. Уничтожали, но чем? Винтовок не было, одна на 7. Зубами? И их мало, цинга. Были финки. В статьях папы есть такие штучки: «Когда ж приготовления к бою закончены, командир дает команду „в ножи!“» О приготовлениях к бою: «Боец-истребитель, приземлившись, срезает парашют, снимает маскхалат, шинель, гимнастерку и шапку, и выбрасывает это, не заботясь. Он надевает на ботинки лыжи и в белой рубашке, с ножом в зубах идет в бой».

Руки заняты палками, потому нож в зубах. Лыжник — на доты! На пушки морского калибра! С открытой головой! На танковые армии! На моторизованные дивизии с пулеметами в колясках! С голой шеей, в белой рубашке — на миллионы голов в касках! ДА, и шли.

«Белая гвардия красных убийц», «белые идиоты», «ночные банды голых» — называли их немцы. А папу персонально: «белый волк», «белый клоун Тейфеля». Наши об отце не писали — у нас «не было» камикадзе. А за знамя полка (отцовского!) сражалось 16 немецких дивизий, и я храню в папочке листовки: «сдай лохмотья, король Лир!» В армии К. Рокоссовского папа командовал дивизиями, но не оставлял привычек. Как-то его жованили. Был крупный центр Д. Высоко число немцев, не взять. Лето, Лорелея. Лихачи купались то в Одере, то в Майне. Немки в белых платицах крутили велосипедами: в бинокли. Национальный дамский день. И вот по узкому шоссе покатали в г. Д. велосипедистки, как полагается. На них никто (из немцев!) не обратил взор. Схватились за кобуру лишь тогда, когда первая тысяча в белых панамках резала кварталы.

К. Рокоссовский папу любил и назначил комендантом Варшавы. Через несколько лет по смерти И. В. Сталина в нашу виллу во Львове приехали в черном лимузине, в белых халатах. Они уехали, Ванда вошла, папа сказал: левая рука, укол, конец.

У гроба отца маршал К. Р. сказал: «Так будь же счастлив, дорогой друг, в этой жизни — ТАМ!»

Со стороны матери —

род; равнины Г., см. Энциклопедию. Прибавлю, кто не посмотрит, — ведут начало от Иоанна с Патмоса. Много пишут о моей божественности. Это не совсем так. Я с одной стороны посланец, на большее не претендуем.

ОСКОЛКИ

Я еду, узкие салазки, а рядом едут трупы.

— Тпрру — ппы! — так их называют, с вожжами.

Ленинград переполнен осколками, мы их лижем. Вкус, с кислотой.

Книги о блокаде лгут. Спроси, как я страдаю — отвечу миф. Нельзя писать о блокаде тому, кто не был в ней или был взрослым. Его год жив. Нельзя называть героем того, кто был живой. Но и нельзя отдавать военные успехи умирающим.

Я крыс видел.

За два дня до пожара Бадаевских складов пошли крысы, по Ленинграду. Со складов — широким потоком до Лавры, по Старо-Невскому, на Невский, по Невскому, до Адмиралтейства и к Неве, — первая колонна. Вторая: по 8 линии Васильевского острова, к Университету; третья — с Крестовского острова мимо дуба Петра I по Кировскому проспекту, с поворотом у парка Ленина, по Горького, мимо Зоопарка, через мост к зданию Коллегий; три колонны соединялись у Ростральных колонн и уходили в воду.

Навек.

Вообще-то, когда идут крысы, то не страшно, а ужасно. Они идут от стены до стены. Они человечней людей, не терпят, а поют! — их головы поют, как пули! Они идут, непобедимее легионов Цезаря и танковых дивизий Гудериана, и в первых рядах — супер-стар, ростом в метр, на задних ногах, а ручки висят, как у барабанщиков. А ряды толкают носами сзади.

Я видел их с крыш. Город уселся на крыши, ужаснувшись. Весь Ленинград сидел на крышах, и прекратился артобстрел — немцы в сорокакратные бинокли смотрели на крыс, не выстрелить. Миллионы! Транспорт стал, ленинградцы полезли вверх, не из любопытства, те сминали и ели на пути — кирпич, человека, железо. Но крысы не лезли вверх. Ни на ступень не шли никуда, а в воду.

Это самоубийство, никто о таком не читал. Тема крысы и воды — неисчерпаема. Что они в ней, воде, — видят? Почему идут? Потому что вода всегда есть и ее больше, чем огня? Или же

огонь сложно зажечь, а вода стоит готовая? Крысы не боятся огня. Не боятся они орудий.

После того, как три колонны крыс ушло в воду и их унесло в Неве, почему же л. (люди), кого засыпало при взрывах, — объедены крысами? Как они делаются — кому тонуть, кому жить?

Когда от голода женщины долбили лед в Неве, чтоб взять воды, вокруг них уж стоял круг крыс; вода из лунки и крысы пьют, первыми. Так и стояли к прорубям цепочки — женщины и крысы. Друг друга не трогая. Чумы не было! Все было чисто в Ленинграде, все! Может быть, те первые миллионы смертниц, уж не больны ль они были, приговоренные? Чтоб очистить город? Во всяком случае; крысы ничего плохого в блокаду не сделали. Наоборот — они предупреждали, они встали от Бадаевских складов, и никто не догадался увезти продукты в разные места. Да о продуктах (сгоревших!) — тоже лгут, оговорка. Много ль их там быть могло, пища?

Я видел, как крысы пьют: подходят ряды к Неве, спускаются на задних ногах по ступеням и валяются вниз головой в воду, и пьют ее, не уплывают, не тонут, а пьют, вздуваясь, до помертвения. Они опиваются, а не тонут. Тонут уж мертвые тела их. А за ними хлынет уж миллион народа (крысиного!).

Нельзя писать о голоде детей. Вообще нельзя писать о голоде. Грех в том, что писатели, любя нравиться, рассказывают голод, словами. Это словам же не поддается. В 9 лет я прочитал Кнута Гамсуна «Голод». Книжица! Это не голод — кокетство человека-свиньи, у него видите ли отнята на денек-недельку привычка в виде бифштекса.

Вообще нельзя писать о голоде, который принудительный. Выбор ведь был. И все знают, кто обрек на голод 1 миллион людей и 1 миллион детей. И известно, кто уничтожил их и какими методами. Я об этом писать не буду — кто, что. Сказал об осколках — и весь рассказ.

Не буду я писать про ноги детей, возимых из конца в конец войны. Вес совести.

Дети в подземельях Пискаревки. Мне 5 лет, а мать ставила меня на ладошку, как звоночек. И держала на вытянутой руке. Из детей блокады рождения 1936 г. в живых сейчас 4 мальчишко-девочки, и это то, что осталось от 12 000 в замкнутом кругу осени 1941 г.

Все забыты и все забыто.

Горящие осколки — как расплющенные гигантские фиалки!

О БЕЛОЙ ПРОСТЫНЕ, В ЕЕ ЗАЩИТУ

Нету печальной луны из-за дома, многоэтажного.

Цветочки не мнутся, на них крови не видно, тело лежит, а вокруг цветочная простыня, нарисованная.

Луна и снег, вот двое белых. Если положить луну на снег, они не сольются, а станут заметней.

Скажем, идет телега и нет ей покоя. Светит луна. На телеге ящик, а под ним снег в цветочках. Продолжим. Ямщик Абдул и мужик Тибулл, двое едут. Один другого убивает (неважно, кто кого!). Тот падает в снег, белый, а снегу нет, грязь. И белые рученьки убитого Абдулы в грязях; лежат. Я лежу.

Белы рученьки разжал, чтоб не дотронуться до девы, восходящей надо мною, а на ней нарисован цветочек. Считаю в уме ряды непрерывных дробей.

Древний народ — как вихрь в моем сердце; мать; пишет:

«Мой сын! Я вышла замуж, когда мне было 19 лет. Твой отец буквально преследовал меня и клялся, что будет любить до гробовой доски! Моему брату Ильюше (раввину) нравился твой отец, и он убедил наш народ. Я же долго колебалась, любви не было. Но я ценила его нежность, деликатность, стремление порадовать меня. Любимые его слова из поэмы Лермонтова:

— Я опущусь на дно морское, Я полечу за облака, Я дам тебе все-все земное, — ЛЮБИ МЕНЯ!..»

Вот луна уже эллипс.

Или же: летит луна, а простыня в свету, на коврах желтые лыжи заката. Куда лучше, чем пейзаж с женщиной. Вообще, небесные светила лучше женщин. А простынь — белей. На ней вышит вензель, гербовая, с 4 в. до н. э., род мой, спим, а она лишь белее. Я на ней рожден, и видно было, кто я. А если б я родился на цветочной, — кто б увидел в пестроты? Так бы и скинули в горшок.

Нужно б восстановить связь с жизнью, чтоб был не только я, но и ряды других, лежащих на белом, как ново было б!

Ново-то ново...

ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ ДО 71-ЛЕТИЯ МОЕЙ МАТЕРИ

Закат заслонила.

Идут редко, в белой манишке один прямо на дом надвигается. Бого-Бес он?

Кто-то пальцами звонко щелкает.

В лужах окон — отражение, с шестого этажа. Странное строение у луж. Но стеклышки в домах! За ними светлые л., целые, руки-ноги крутятся в комнате, как в воде. Ничего, не все кончено.

Чудится яичко, свежеччищенное!

Вот и светлое воскресение, 4 августа. Через пять дней моей матери 71 год, а что я подарю? Врача? У нее были золотые волосы, листовые, с волною. Теперь бело, не старость, не радость,

в граненой рюмке со стола Николая II (ими!) — полутаблеточки, мать пьет. У нее руки мои.

Не жалец она, уж иных ног ходок, а эти больны, столы августовские ей нелюбимы. Память ее мутнеет, выпал янтарь. Я много грущу.

ДАНАЙЦЫ

Юную ню у веселого в шелках голландца с большущим бокалом, — сжег дима сидоров. Нет холста, — ободок.

Сожгли юность, Саскию. И то долго жила, сколько ж? — с 1636 г.

Эмиль Верхарн, поэт, писал:

«Гарменец Рембрандт ван-Рин Герритсзон изобразил свою жену фризскую патрицианку Саскую ван-Уйленбург. „Даная“ Петербургского Эрмитажа — это тело изображено Рембрандтом во всей его интимности и с полной правдой».

Нету. Енд. Генут шон, — 351 год! — жизнь женщины! Что с возу, то пропело. Сколько это продержалось на глазах!

Ну, Балашов, фрукт, спору нет, полоснул бритвой Репина (то же Pe!), но это был мах, футурист, начало века, идея, чистота, искусство т. ск. шло на искусство, братоубийственная война в кругу рода; художник — художника. Сумасшедший.

Этого (сжигателя) мед. комиссия признала психически нормальным. Еще бы! Уничтожить Рембрандта — что нормальнее!

А почему?

А потому, что до этого, за 9 дней, другая комиссия, ВТЭК не дала сидорову инвалидность. Он инвалидом хотел стать, а ему не дали (денег!). Подло! И он сжег Даная. Он нес бутылку H_2SO_4 открыто и целился при всех. Плеск! — и нету! Он нес и стакан, и плеск! — и сжег красочное тело! Цвет невозстановим.

Кто сжег? Я ж говорю: дима сидоров, Дмитрий. Инженер. НИИ. Судимостей нет. А Рембрандт, безмерный старик, идет по Голландии, как пепел Клааса.

ПЕПЕЛ

Американка из США, однофамилица, джузеппе сидорофф, доктор-искусствовед, пия шампанское 9 августа 1985 г. в Москве, сказала:

— Вашу страну нужно было обуздать, вы далеко зашли по Европе, топотом.

Согласен. А что ж вы в ночь взлетели, как дети, и сбросили 2 бомбы в сторону от Москвы на 14 тыс. км — на японцев, мирнонаселенных?

И еще один мститель, что не дают пенсию, идет не в Москву, «оплот режима», не с револьвером к тем, кто лишил, а в Эрмитаж — плескать кислотой в жену великого художника, из Голландии.

Грязные, грязные не мужчины.

Ходят слухи, что по мировым стандартам — это одна из 10 картин мира, стоимостью 25 млн. А остальные 9 картин — кто автор? Почему о них не слышал сидоров? В какой валюте нью-йоркца или москвича, слухачей — эти 25 млн? Сожгли КРАСКУ, суки. Не всколыхнуло. Этот сидоров будет рубить дровишки в тайге, а кончит срок и выкатит уж бочку с пламенем.

«Инцидент» забыт. Рисуют копию, академик федоров, колорист. Была мысль — другие шедевры закрыть стеклом, да стекло нет. Сказано: что каждый взгляд на картину отнимает у нее малюсенькую частицу цвета, такова физиология взгляда. Смотрят миллиарды. Это не масло тускнеет, а взгляды цвет уносят. Кто-то решил, чтоб ограничить вход из народа, но этого не будет, народ и искусство — одно и то же. Идут табуны, идут и идут далее, зловонные, по залам, царским. Ноги, как тонны.

Что-то нужно делать с этой духовностью.

МАТРОСЫ И ДЕВУШКИ

Красные башни на престолах.

Светло!

Три башни в одном окне и нео-дом, усеянный стеклами, в таких условиях книги видят, но не пишут.

По ТВ молодые матросы с обнаженными шеями, — для педиков. Дождь настолько маленький, что и штриховки нет. У грязи формы красок, печати, отливки тел, гусениц и шин. Дождь — как свод. Как у Тинторетто, бело-красочный свод.

А белье мокнет, любовное; отожмут.

С утра жду гостей из Америки. Купил свежих огурцов, петрушки, жарю картофлю новенькую, молоденькую. Жарю я ее, как девушку, на сковородке, если б пришла в дождь. Боятся. А казалось бы — чем лучше смоешь следы, как не дождем? Вот следом муж, итало-киргиз, а следы танковые да старинные печати, а женских нет. Откуда ему знать, что смыты? Иди, иди — избежим кровопролития и родим татаро-монголо-исаков. Это смотря какой муж ходит вдоль и поперек окон в день зачатья.

По ТВ пушки наводят, двудольные, морские, и мушки в виде кругов паутины. И матросики у трюмов кланяются офицерам. По ТВ матросы и идет духовой оркестр, тоже с дулами. Отведешь от окна взор, а в глаза наводят дула. Какие снаряды плюет в мир прапорщик, играющий на дуле трубы? Пускают парашютистов, как фантики.

Есть ли несоответствие в словах МЫШЬ и МАРШ?

По ТВ: взрослые идут, взявшись за руки. Видно, за деньги.

Идет девка в белом, на шее ошейник с дощечкой, надпись: КУБА.

Не очень это соотносится с головою майора Фиделя. За ней девица, с головой, улыбающейся, надпись: АВСТРИЯ.

Негры несут портрет негра.

Не верю!

АМЕРИКАНКА КА-ЭР-ЭМ

У Капитолия шьют штаны.

Американка К.Р.М. из Фонда Мира берет швейную машинку, садится на дом и шьет. И надевает штаны у двери во вход Президента.

Президент Кеннеди, раздраженный этим, дает приказ ФБР бить швею водой из шланга. Бьют. Не помогло. Вода разбивается о голову американки К.Р.М. В сутки она шьет одни штаны. Вторые сутки — другие. И так далее. Она уже сшила уйму штанов и ходит в них по всем странам. Особенно она любит ходить в штанах в СССР. Известность. Я спросил: сколько стоят фирменные джинсы? — 20 долларов. — А зарплата у нее? — 1000 долларов; низкая. При всей низости нетрудно подсчитать, что на рубли в США джинсы стоят 2 рубля! Из-за этого шить?

Да, — говорит она, — стоит шить. Я и здесь куплю машинку и у Кремля буду шить. — О нет, не здесь, — говорю я. — Дешево не обойдется! — Здесь! — говорит она. Я говорю: придут молодые с дулом и позовут за собой. — Не подойдут, — говорит она. Фирменные речи.

Молодая американка из политкаторжанок К.Р.М. уже шила в Китае. Ее зашили в кожаный мешок и отправили в США. Выйдя из мешка, она тут же в порту заявила, что будет шить в порту. Штаны для Статуи Свободы. Ее просили не шить. Она все равно сшила и уехала в СССР, воздухом, на лайнере.

Она спросила меня, не нужны ли мне продукты?.. Мой ответ — ... (три точки). Она утверждает, что у нас голод. Какие продукты я хотел бы? Такие, сказал я: костер, мясо мамонта, кремневое оружие. Привезла все это в консервных банках.

Я спросил: чем она занимается?

Ответ: устраиваю выставку Демьяна Бедного в Оклахоме. — Что это? — спросил я. — Что — Демьян Бедный или Оклахома? — И то, и то! — Это первые годы Революции, — сказала она. Что еще у нее на уме? — спросил я.

Да, она землю купила, дом делает, с комнатами.

Но и она спросила: умею ли я обращаться с кремневым оружием? Я сказал, что я огурцы на потолке в уборной выращиваю аллювиальным способом.

А она сказала, что у нее муж есть, а она, т. е. К.Р.М., рыбу любит. Принесет из океана, запрет мужа в ванной и бьет голой рыбой по яйцам. Сексуальная революция.

ЧТЕНИЕ НА ЯЗЫКЕ МАЙЯ

Ты, с асфальтовым блеском, Господи, тушит фонари, зажигает; л. бегут, как разбитые колоды карт. Автобусы похожи на бастионы, двигаются. Не поздно. Много зонтов. Чего гнутся под дождем?

Собаки у домов белеют, даже черные. Я устал ходить за двух, кто второй, не зная. Постою под светом, фонарь дождь ест. Если б ел! Вымокну 1 октября, опущу два письма и открытку в п/я и пойду к себе, сидеть. Мысли? — нет, одни смеси. Бьются в дом, лопаются водяные пилоты. Сейчас бы погладить янтарь. Глажу, шары с подсолнечным маслом схожи, краснеющие. Ну, что-то сбывается? Да. Янтарь я глажу, электрический. Фауст — это Стефан по-польски, только у нас а заменено. Бьют часы, собачьи — восемь. Час Кассиопеи. Не отрицай то, что не твое. Если уж на то пошло, отрицай себя. Но нет, наоборот. Вечером — чтение, на языке майя латинскими буквами, вот как они пишут о европейцах:

«Потом начались казни на виселицах и пытки огнем, подносимым к кончикам наших пальцев. Потом на свет появились веревка и кандалы. Потом были провозглашены семь заповедей слова Божия. Будем же сердечно приветствовать наших гостей: пришли наши старшие братья».

А потом.

Пишут:

«В это время вспыхивает пламя в сердце страны; загорится высота. В это время будут взяты запасы овощей. Пища погибнет. Заплачут совы на перекрестках по всему небу».

Ночь наступила, холод и холод.

И голубые болгары.

МАРК ШАГАЛ И АНТОН ДЕЛЬВИГ

Если лошадь взять на вкус, кислая? Если коня постелить, как накидку, на пол? Если в декабре от земли до неба растут видения моркови, когда хожу 1400 шагов вокруг дома, с конвертом?

Когда-то я получил письмо от М. Шагала и пошел вокруг дома (другого!) с собачкой с меня ростом стоймя, пудель была. И так мы шли, и в кругах фонарей читали, что в Париже мне будет хуже, чем М. Шагалу, что он скоро умрет, впрочем. Но он умер

в этом году, через 20 лет. И я получаю письмо от М. Кулакова из Рима, что он увидеть меня хочет в Москве, через несколько часов, что в Риме мне было б хуже. Собаки нет, не с кем посмотреть текст, но и М. Шагал хотел меня увидеть, и М. Кулаков хочет. Многие хотят меня увидеть воочию, но мало кому выпал этот билет. Мне ведь лучше в Ленинграде.

Жаль, что так мало л. меня видят. Все больше на картинах мой образ показывают в чалме лучей.

Как бы я хотел быть похожим на Дельвига, да и Антоном чтоб звали — тоже хотелось бы. Хотел бы я быть похожим на него душой, а не телом. Тело он раньше утробил, алкоголизмом. Но за это ему петушки поют. От него писем нет.

Забавный век! Если я скажу: я — Россия, это будет правда, но известная некоторым, да и те в гробу. С правдой нужно обращаться бережно, а то дадут психоблины в ртутных столбиках.

Я знаю, почему стекла в окнах черные: с приходом ночи мы красим окна дегтем. А спим при электричестве — плюс! Утром же стекла смывают и снова светло.

КРАСНЫЕ РЕМНИ

Если их снять, будет повязка с головы 2 тыс. лет до н. э. Охват головы египтолога равен объему бедер. Ведь известно, что южане головобедры. Рыцарь, идя в поход, сжимал девушку ремнем до тех пор, пока не капала с кожи ее девственная кровь. Больше он с нею ничего не делал. Поэтому вид девушек похож на катет, а женщины — это биссектрисы жизни. Поэтому так тяжек Шар Земной, висящий на Красном ремне.

Раньше ремень резали, сейчас вьют, а что будет — будущее покажет.

Есть несколько людей и в странах (даже!), опоясанных красным ремнем, я видел его, в нем дыры, в них дула и звонкие пули летят во все концы. Куда? Туда же, куда и люди иных стран летят из дыр, — в смерть, куда ж еще?

Красный ремень я ношу на шее. На нем номерок.

Так тошно.

Я иду по Невскому, знаменитый ребенком, в медной шапке, а в 49-ой подворотне стоит тот, кто стоит; он невооружен и без ногтей, он — инспектор дней и номерков на них.

Жаль, что снаряды погибают, и хоть взрывы были уже в романах Бесы и Петербург, меня б убили, как царя. Мой номер: 300 000 000 — 1. Что расшифровываю: триста миллионов минус единица. Несколько раз на меня кидались в штыковую, но ремень спас, шея под защитой; ничего у них не выйдет.

Я родился на Невском 61, и никуда от этого дома не отойду.

Его разбомбили немцы в блокаду, но мы затаили пленкой, и он воскрес.

На Новый год я отстегиваюсь, и висят красные ремни с окон в г. Градониле. Ко мне придет мелоногая женщина (через месяц!), и мы отметим вход в год моего 50-летия. А потом я ее изобью красным ремнем и привяжу за крюк за окно, заморожу в сеточке. Мел все это, мел.

Я ведь дома ремешок-то снимаю, вешаю в ванную, сушиться: береги ремень, береги!

Знай свою шею, бедра и пояс, наголовную повязку на лбу у мастеров из ложи каменщиков. Не распоясывайся. Когда взлетит солнце и 4-ая пчела войдет в дырочку от пули в левом углу твоего стекла, —пусти ее, это знак: час красных ремней настал, запевай, что на шее я ношу не красный ремень, а цепной венец!

ГОТОВНОСТЬ К УХОДУ

Дует сильный ветер, он поднимает монеты, а кто их ищет?
Кто готов уйти?

Фауст — это Гете, ищущий межчелюстную косточку у любви. Вечный Жид — бродячая собака и бродячая кость, ходит, бродит сам за собой. Не партнер. Да и дон Жуан и его секс — суетен, провалиться ему на месте в подвал с вином, адским. Испанский вариант. Эти трое — мечты, тем они и человечны.

Рост чужого семени в животе у женщины до выхода в свет — от такого унижения сходят с ума; родившие и сошедшие с ума от родов — почему? Чуть не все матери поэтов сошли с ума, к примеру: Дж. Байрон, О. Бальзак, Г. Мопассан, Э. По, Ж.-Ж. Руссо, К. Батюшков, Р. Акутагава и т. д.

Это ношение плода с его невнятицей рифм, с колошением... Родив, женщина считает себя свободной. Она интуит, ей нужен тот, кто готов уйти, и они идут навстречу друг другу, и здесь есть камень любви. И есть только ход вокруг камня.

Мечта о мужчине — это мечта о смерти.

Море и лев похожи по шкуре, — это тысячи львов кидаются на женщину. Тысячи! — в ее воображении. А их и двух-то нет (штук!) к примеру, в СССР. Кто ж кидается? Вода, мыльная, с грязью, химическая. И вот Марфа мочет ногу Иисусу, а Мария вытирает волосами. Мар-и-Мар у них это метод поэты. Но Он не откликается на многочисленность. Лев — роза в цвету, Христос — жемчужный мужчина с женскими ножками, а над ним меч, и Он им водит. Но кому его вид? Он же холоден к золоту и к птичкам. Он не был готов уйти. И не любим женским номом.

Кто готов к уходу, он не пойдет к морю, а пойдет — вернется, мелководье, солнце не круглое, буря не выходит из-под пера,

дни сеточкой, старушки с ночами на лице. Выйдешь и уйдешь, зря точил ободья.

Текут киты.

Где же — те же? Куют тюки в Финляндию? А что в тюках — тютюн? Ходят ряды солдат по шоссе, несут на шее снаряды, просмоленные. Мы еще повоюем! О нет, это, меняя трубы водопроводов, применяют солдатский труд, как детский. М. был 21 год, ситец в цветочек. Вернемся к морю. Летают потомки тех чаек, 26 лет назад летающих в объективе фотоаппарата. Пикник! Что ж мы ели? — морской окунь холодного копчения, старка, лук, колбаса твердая, тресковая печень в масле, семга в бумаге, красная икра в кульке, анисовка, шартрез, венгерский бекон листиком, холодная картошка, железный котелок — пост-сталинизм, зловещие времена, хрущевщина, волюнтаризм. Роняя в море золотые перстни, мы их не искали, пусть телепаются по дну. Из серебра я лил рамы для фотокарточек. Это сейчас нет ни пропойц, ни дна жизни. Тогда — смерти не было, ошибочно. Вот у дон, у моря и летала М., лепестковая, розовая и в платье, вьется по фарфоровому. Ею был встречен тот, кто готов уйти, — Я, ОН. Его слова ловились на лету и пускались из них олимпийские диски. Но она одна ушла из жизни, а Он все не идет.

Слишком светло, чайки в песке, как яйца — Сатаны!

Не люблю литературу, не люблю!

В 21 год М. сказала: я умру в 40, дальше позор. Она не дошла до 41 — 15 дней. Но все же в 40! Полная готовность. А 15 дней ей невтерпеж, план срывался. И вот берет склянку и пьет яд. К 40 годам — готовая.

Жизнь жжется, но не пороховая, она — скальпель в винном соусе!

Скот стоит дольше, а готовый к уходу не пойдет врозь. По этой костяной пустыне! Ну что ж, что море! Ну что, что сердце!

Есть ведь путь, есть, — и это конец пути.

— Отнюдь! — поет птичка.

О, и новая птичка с именем Отнюдь летит в новом мире, за этим. За этим, строенным, есть мир иной с птичкой Отнюдь, и грешник кричит ей:

— ОГНЕННО!

ЕСЛИ Б ПРИШЛОСЬ УМЕРЕТЬ. КОНЕЧНО ТЕБЕ

«Не потому, что ты не прав, ты прав всегда, потому что так внушил себе, с момента осознания в себе дара Божия — а ты не прав по счету человеческому. Ты волен делать все, что хочешь, ты вправе вести себя как заблагорассудится. Ты — венец творения. Я это без иронии.

Но ты не вправе позволить себе видеть тебя близким существом в нечеловеческом обличьи. О опять извечный вопрос для меня. Почему позволила и не ушла. И добавят бездари-врачи: «Такая молодая и красивая». И скажут, что жизнь была бы вся впереди. Без тебя. Я не уверена, что будет у меня жизнь без тебя.

Но я ведь не об этом тебе сейчас пишу. Я хочу, чтоб у женщины, которая будет после меня, не было таких мучительных маразмов. Твое личное дело — пьешь ты или не пьешь. Если ты спиваешься, то делай это в одиночку, не так громко. Если не спиваешься, то научись уважать людей, что живут, пусть не живут, лишь существуют где-то около. Нельзя не давать людям спать. Нельзя не есть еду, которая приготовлена с любовью и с тоской и со страхом, что ее не съедят, а может быть, и бросят в лицо. Если бы все это было неправдой, я просуществовала бы еще два или три месяца. Подумала бы, что это — у меня — алкогольный психоз. Спиваться — дело личное каждого. Только не громко, а в одиночку.

Я не знаю, как ушел из жизни Ж., громко или незаметно. Я не знаю, сколько мук он причинил Л., своей жене. Наверное, много. Она воспринимала их по-другому, чем воспринимаю я. Она сознательно толкнула его в петлю — избавиться от пьяницы-мужа. А у женщины арсенал — как у Гитлера, когда он решал, что народам нет права на физическое существование. Я всегда все не то говорю, и всегда все не то пишу. Давным-давно отреклась от права обличать тебя. Пишу, потому что общение, устное, потеряно. Потеряна близость. Потеряно это: «Вот и рядом...» Я столько умела, когда мы были рядом. И еду варить, и белье стирать, и говорить на разных языках. И мозги заморачивать и легенды плести. Умела любить, забыв начисто о том, что нервные клетки не восстанавливаются, что в конечном счете от такой безрассудной любви я окажусь в проигрыше.

Мои измены... Если б когда-нибудь ты думал обо мне, то понял бы, что они вызваны опять же безрассудством любви к тебе. Прощая все тебе, я не научилась прощать. Я сейчас, действительно, большое, загнанное в западню животное. Переоценила свое железное здоровье, свои нервные клетки. Речь не о том, кто больше Зла причинил кому — ты мне, или я тебе. На протяжении многих ночей, ложась спать, я говорила себе: Хочу встать здоровой.

Люблю траву, солнце, зверей, людей. Кажется, мне, что я столько хорошего сделать могу. Помнишь, мы принимали роды у Руны. Мы были вместе.

У Казимиры есть письмо, датированное серединой мая 61 г. Меня тогда лишили способности рожать. Нужно бы изъять оттуда эти письма. Мне было тогда 23, но я сказала о тебе все то в тех после прихождения в себя — наркотных письмах — что

пишу и сейчас. Уберегите! Тогда осталась Любовь, я весила 44 кг, а гемоглобин был намного меньше. Ты взял за меня ответственность.

Ты не можешь сделать этого сейчас — взять ответственность — ибо я — не та, сломавшаяся не по твоей вине, а в силу обстоятельств. Так хотя бы не мешай уйти мне по-хорошему неважно откуда — из жизни, от тебя, от себя. Я люблю жизнь. М.»

ГОЛУБЬ

Я пил с молодой сволочью, с молодежью; пил я как в прорубь, в Москве, в Новый год. В Ленинграде — 4 январь, ночь. Я жил на Зодчего Росси, в Доме Балета, 5 январь, я спустился по 72 ступеням и ушел пить. Продолжение. Не объяснять же, что есть алкоголь утром. Первая кружка пива и посетившая ум мысль, толчок:

— Иди к своим. Они нечеловеки, они ломка голов, но ты их день, иди к ним. Я пошел к М. В такси. Мы не виделись 7 лет. Улицу-то я помню, а дом не помню, обменяли ту квартиру. В такси я вернулся на Невский. Выпил стакан коньяку у Пяти Углов и пошел в свой дом за адресом. Дома адреса нету. Я звоню, безрезультатно, ни у кого нет. Неведомость. Я вышел и выпил стакан коньяку у Дома Искусств. Я взял такси и поехал к подруге М., чтоб поехать к М. вдвоем: но подруга была в Мясопотамии. Не знаю, правильно ль я пишу название страны и есть ли она тут вне древнего мира? Я сел в такси и вернулся на Невский. В Сайгоне я выпил, стакан коньяку. Я пошел в справочное и спросил адрес: мне дали 122 улице-дома по ее фамилии. Я пошел на Марата и выпил стакан коньяку; уж вся жизнь у Марата закрылась и мне дали стакан в окно. Все закрывалось, все закрывалось. В ресторане Москва швейцар впустил меня за 25 руб. золотом и вынес стакан коньяку. Я сидел на диванчике, смутно пия этот стакан, и взял с собою бутыль за 50 руб., бумажкой.

Было: 6 января, 00 час 20 мин.

В ночь на 6 января в 01 час 00 минут М. была уже мертва.

Разница в 40 мин.

От Невского до пр. Анникова, где она жила, такси идет 17 мин. Я мог бы вышибить склянку с карбофосом из ее рук. Я ж вынимал ее из окон, когда в них кидалась, снимал с балконов, когда висела, выхватывал за ноги из-под колес. Я ехал к М. твердо, п. ч. я вспомнил, что мои друзья, писатели ляленковы — ее соседи. Я вышел из такси в таких шатаньях, что мог лишь встать к столбу. Я стал. Я дал пьянице (он шел) 25 руб. серебром, чтоб он поддержал меня у столба. Он подержал. Я постоял на ногах и пошел к ляленковым, но не мог найти квартиру. Я дом

знал, я жил в нем в бытность с М., но я ничего не мог. Я вышел и швырнул бутылку — в горящее стекло (как оказалось, оно и было — окном ляленковским). Я лег в такси и уснул в нем; у дома я проснулся, вошел в дом, по 72 ступеням, и уснул в нем. Да, я дал шоферу 10 руб. медью.

В 6.00 раздался звонок, телефончик, и женский голос сказал, что М. умерла, самоубийство. Карбофос.

Я так провел последний день ее жизни.

Шесть раз я рвался спасти (может быть!), меняя такси, стаканы, справки, телефоны, ляленковых, и я не доехал.

В книге «День Зверя» я пишу:

«Нет ничего постыднее, чем приписывать чужую смерть своей вине. Это верх самомнения».

Но и это ведь роман, а фразы — грамматика, а не смерть. Что мне до слов твоих, книга?

ДЕНЬ-НОЧЬ, ДЕНЬ-НОЧЬ

— Как живете, караси? — Ничего себе, мерси!

Это утро.

К открытию глаз М. будит меня. И рюмочку на ножке тянет. Пьем. Поем. Это с утра. Ночью ж: отпето, бойцы после боя, в крови.

Гимнастерки разрезаны пулями до ног.

М. у окна синей ночью, запеваает заново. Луна пускает пузырьки нулей. Собака Р. сидит, с бифштексом из Парижа, вечно-вкусным (стальной он, с запахом. Обманный). Пол паркетный, как фортепианный. Цветы на окнах цветут, в комнатах. На балконе в фарфоровых бочонках — огурцы, свежевемытые. Малосольны почти.

М., поющая:

— День-ночь, день-ночь мы идем по Африке, день-ночь, день-ночь все по той же Африке, где только пыль пыль пыль от шагающих сапог, и отдыха нет на войне солдату. Пыль, пыль, пыль!

Взводит руку на меня, М.:

— Друг мой, мой друг, можешь ты меня не ждать, я здесь забыл, как зовут родную мать, здесь только пыль-пыль-пыль-пыль из под шагающих сапог. И отдыха нет!

М., мне — грозно:

— Счет, счет, счет, счет, счет веди патронам всем, мой Бог, дай сил не сойти с ума совсем, здесь только смерть, смерть, смерть нас избавит от забот, верю в нее я и жду, как Бога, — смерть, смерть, смерть, смерть!

Песнь прервана, рывок к выключателю, свет, оскал зубовой, и М. вскакивает на окно, руки в раме, и летит вниз, с 9 этажа. Я втаскиваю за ноги, ломая стекло.

Ничего, ничего, рассказ.

М. ела мои цветы (я сажал!).

Я сажал, она ела. Она уничтожила мои коллажи из коктейльских камней, аметисты, сапфиры, сердолики, топазы и т. д. Она их била в порошок молотком. Пила с ними, подсыпала. Она выколола глаза мне и сердце ножом на портрете, а потом в них стреляла. Водила на постель молодых лебедей.

А утром солнце встанет и собака-пуделица мне голову на голову положит. М. стоит уж, от радости сияющая, с веснушками. Рюмка рому на полузолотом подносе:

— Как живете, караси? — Ни-че-го себе, мерси!

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА

Кони идут по-женски, по комнате, на стене пишется огнем:

ЖАЛЬ.

ЛОЖЬ.

УЖАС! —

О том, что жизнь — эхо.

Лампочка не горит, а месяц горит. На Зодчего Росси входит луна и выходит. И солнце есть, но из-за цинковых крыш, как отдельное. Луне моей темно! А вот кони, сходные с гладиолусами, пишут о прошлом:

ЖАЛЬ ЛОЖЬ УЖАС!

Что жаль, знаю, и что ложь, что ужас; слезы летят с глаз и горячие идут, по горлу; я бинтом макаю, выжимаю жидкость в статуэтку рюмки. Будет стакан слез. Дадим даме.

В ночь я был в Новгороде, в драматическом театре, в шубе, ипил истошно. Чай, воду, лимонад, соки капусты и др. дряни, алкоголь я пить не мог, 7-е сутки без сна, обуял Бог голову мою, и не ел я. В театре ж, читая мои стихи на Ц — «Он принЦ принЦипиальных пьяниЦ, ему венеЦ из Ценных роз, куда плывешь, венеЦианеЦ, в гондолах собственных галош?»... — я вижу: плывут по-арбузному две луны, а март, ночью. Две луны не сливаются. А я шаг, и они шаг, преследуют как бы. И вдруг! — громансамбль в тысячу труб, играют «Русское поле». И идут слезы. Дали машину и я уехал по шоссе, и я летел на колесах один под звонкий аккомпанемент этого Полюшка, да в сверканье лун, и кони писали по ветровому полю:

ЖАЛЬ ЛОЖЬ УЖАС!

Я прикатил, съехал с моста Ломоносова и взял руль вправо, во двор Дома Балета. Там я пошел по лестнице чудно. Три-четыре кота плакали, где чердак. Вззошед, лег я.

Оркестр — был, но луна была одним кругом, не двумя. А комната — золотым шаром. А по стене:

Ж-Л-У!

И в водопроводной трубе голос, как солнце:

— Надо убить!

Не надо, — думал я. Если тебе не поднять руку, то не надо. Но голос:

— Надо убить!

Я вызвал Скорую помощь. Во дворе сирена. Врач вошел:

— Встаньте, — сказал он.

Я встал... бы, но ноги не те, опухли вдвое. И веки не смотрят, гляжу в щели, врач приятен, с придурью.

— Не звоните больше, — сказал он по имени-отчеству. Мне было мило, что меня знают. Еще бы! Кто из врачей в те годы меня не знал! — Я сделаю Вам укол от сна, а утром заеду.

— О да, друг! — сказал я. — Заедь в санях, с цыганкой и гиацинтом! И мы умчим в чум!

Будильник бил в глаз, я очнулся через 24 минуты после укола. За столом, под настольной лампой был матрос, с набеленным лицом и с бровями, в тельняшке, острижен, без волос. На столе бескозырка, на ленте надпись: КРЕЙСЕР ВАРЯГ. Матрос, уловив мой взгляд, раскрыл рот, и тут я вижу, что за ним — конь в красном, в шубе до пят, стоит, африканскими губами шепчет на ухо матросу, склоняясь. Конский глаз, косит. Матрос с конем поют:

Все вымпелы выются и цепи гремят,

Последний парад наступает,

Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»,

Пощады никто не желает.

Не встать. Я вижу: у матроса лицо Леночки Блавацкой, с нетрезвыми прорезями глаз и за тельняшкой груди. Я вынул револьвер и выстрелил. Дым не мог рассеяться, это пневматический револьвер, с 5 шагов — напавал. Нет матроса, и лампу унесло. Я завернулся от ветра. Кто-то звонил. Гудел. Я открыл: два морских офицера, с кортиком, и пакет, один подает, его слова: Мы ждем Вас. Внизу — четвертая зона.

Они сбежали вниз, тарахтя по ступеням, зовя меня руками за собой.

Во дворе меж двух лип надпись:

ЧЕТВЕРТАЯ ЗОНА.

Машина с красными крестами, в ней штук 6 матросов в гриме, в руках по голому ребеночку, поют: пощады никто не желает! На месте шофера мертвецки пьяная Леночка Блавацкая с патефоном на голове. На ступеньке машины Ф. М. Достоевский, лысоглазый, сидит. А рядом с ним — стоит Ф. М. Достоевский с ведром воды. Ждут.

Я взял за бок Леночку Блавацкую в образе матроса, мертвеца, снял с нее тельняшку и, прикрывшись, ушел в туннель Дома

Балета. К слову: Леночка Блавацкая — столовертительница, москвичка.

По Зодчего Росси шли собаки, в 4 утра, в марте. По левой стороне — собаки к мосту Ломоносова, по правой — от моста к Пушкинскому театру, всех пород, внушительные. Вел их девочки, полузрелые, лица вымазаны, как у проституток в Марселе: и губы, и глаза — мазаное. И острижены, наголо, в шапочках шелковых, мужской пенис — закушен во рту.

В Новгороде Феофана Грека съели собаки.

Он красиво писал кистью по стене. Народ же был поголовно грамотный, рисующий, а в таком виде, как Феофан — никто не мог, их и подмывало его кокнуть.

Строят пустой храм, и вот он выстроен, на лесах Феофан с ведерком, пишет святые сцены. И ездит в люльке на блоках, веревками крутит. Как-то он уснул на полу, на глине, земля. Проснулся, видит — храм полон собак, едят мешки костей, заманены, значит. Стены пусты, без люльки. Посреди храма сверху висит лишь толстая веревка, с колокола. Но до нее далеко. Трое суток Феофан вынимал плиты с пола, клал их под веревку, чтобы бить в набат. Собаки ж сидели вокруг, чтоб сожрать. На четвертые сутки он вознес последний камень, кровавый, сел сверху, взялся за веревку и ударил в колокол своим сильным телом, вися и биясь, вися и биясь. Он бил знаком удара «4 — опасная зона — 4», это и наш СОС, но шире, тот знак мог дать лишь посвященный. Это тайная тайных, из далека, от тибета, шумеров, скифов, халдеев, египтян, греков — а Феофан был грек.

Народ стал и ринулся в храм. 40 000 новгородцев с мечом в руке добивались чести освободить Дающего Знак. «Четвертая зона» — ганзейский вариант, — это два удара билом, один тяжкий, протяжный, и остаток — дробные винты по ободу колокола, как по рюмке пальцем. Но псы опередили. Он упал с веревки, его съели. Пока новгородцы рубили двери и железные засовы, а войдя — рубили мясо собак, художника не осталось. И долго Господин Великий Новгород стоял у свеч, и многодневный пост, и тысячные молитвы не дошли до Верха. Племя в черном сожгло Новгород. Когда они уходили, на громадной телеге стоял Колокол, и генерал их, с косицами, веселый, бил «четвертую зону», вариант темуджинов.

Потом Иоанн Грозный и его спутники с музыкой отрезали головы (ножницами!) — всему населению этой республики и жгли, жгли.

В. Ч. УЛКОВ И КИТО-ПЕС

...Камни, камни, полигамни.

Кладбище в Комарово — земли А. А. Ахматовой. Тут лежат, жмутся друг к другу, а к НЕЙ — отдельная аллея, широка, как

река к жизни. У Гитовича — единственная могила, где растут лисички, их рвут, в лесу костерок, и закусывают.

Золотого, как небо А. И. Гитовича.

А на море! — одна профессура, гладко. Что — надувные камни, или каменные лодки?

Машины въезжают с шумом в воду, мотор ловит ртом воздух. Говорят, здесь вороний монастырь.

Вороны чернеют, пора им чернеть. Вон люди, как нечисть, у них спины белые плывут.

Вороны-монахи ходят за водой и рыбой, а братия ждет, высунув язык. Долбят деревья, устав учат, как в монастыре жить. Птички думают, что монастырь — это сельскохозяйственная выставка, где сушат рыбу, любят лососину и шьют шубу. Как бы не так! Русская ворона, а ни к чему не привыкла.

Пароход с трубой.

Профессор В. Ч. Улков рвет зубами девочку в купальнике: у него час чувств! Из-за дюны выходит сен-бернар. Я думал, из-за скалы выходит кит. Профессор В. Ч. Улков бросается от меня вбок. Но я-то никого не рву. Сен-бернар приближается, как ревушая гроза, В. Ч. Улков — доктор элементарных частиц, но ум теоретика не соперник зубов кито-собачьих. И пес цедит сквозь зубы:

— Кто тебе сказал, сволочь из человечины, что под тяжестью тела Джонатан Свифт рухнул?

— Квадратно-кубический закон! — вскричал В. Ч. Улков.

— Кто это? — спросил кито-пес.

— Это Г. Галилей открыл. Если Ваш рост увеличить вдвое, Ваш вес увеличится в восемь раз. Великаны Бробдингнега не смогли б ходить по земле от своей тяжести. Слегли б. У них рост 21 м.

— А я хожу? — спросил кито-пес.

В. Ч. Улков не отрицал, но не верил. Девочка, которую доктор рвал зубами, подошла и плюнула в него, и собаке сказала:

— Пойдем.

Они ушли, отмщенные.

Мне грустно. От грусти я кричу! Куда ушли девочка и собака, я б им сказал. Ушли в монастырь, охраняют ворон.

Куда деть физика-сексомана? Я б пустил его в море, как яичную скорлупу, у меня нет нужды в умственных способностях.

А сверху, над лжеморем, я вижу академика Д. С. Лихачева, в живых! Его год хоронили, 78-ой, а его только резали. Как всех!

Мы рады друг другу.

Я говорю о своих смертях, он о своих. Мир славизма отпел великого Издателя, а он загорелый, с парохода, с Волги. Я рассказал о хождениях у моря. И об Антонине, горящей на костре, о ливне и о только что виденном, св. Бернаре.

— Профессор, он физик-теоретик, мне знаком, — сказал Дмитрий Сергеевич. — Его зовут В. Ч. Улков. Знаком, знаком, —

сказал он бодро. — Это из тех, что рвет девочек зубами. Плюньте. Они ж молоденькие!

Куда я плюну? Я и так рад встрече, после 5 лет взаимных смертей. Как Вергилий с Данте.

— Вьетнамцы очень красивы, — сказал я. — Домоседы.

— Да! — воскликнул Д. С. Лихачев. — Но не женитесь на вьетнамке, землю растить придется, в Польшу ездить за алебардами. Мы тепло пожали руки.

— Дай бог здоровья себе да коням! — кричал Д.С. вдогонку.

ВАСИЛИЙ КАМЕНСКИЙ

Женщина — от люблю Вас, буревестник.

Нео-транспорт: за лодкой женщина с двумя толстыми ногами, держится за корму и бьет воду. Не очень ожидажно. Но лодка от этого идет, в ней едут. Женщина — мотор с лопастями.

В телеги их уже впрягали, римляне — сириянок, цариц; это минус римской доблести. На цепь их сажали деды — Байрона, Пушкина и др. ... их бабусь. В прямом смысле на цепь, не в переносном, перенос был на кладбище. Может быть, потому их внуки столь красивы внешностью?

Женщина на животе, воду взвывает; как плут. Но я отклонился от моря. Черная муха, а над нею черно-ворон. Гроза, гроза! Пей чай, взблеснется. Ласточки!

Не пиши полушепот, а пиши так:

— Дай бог здоровья себе да коням!

Это — строчка Васи Каменского, забытого футуриста. Он сидел в кресле, на доске, умер в 77 лет. О прошлом: красив, громада, рыжекудр, поэто-диво, актер, из первых русских летчиков, отважнейших, свой самолет Блерио; Париж, Лондон, Берлин, Вена, Цюрих, Рим, Варшава, Прага, Турция, Персия и т. д., скупает концертные залы для футуризма, открыл Хлебникова и печатает его первое стихотворение; чудная, юная проза. Сарынь на кичку! Ядреный лапоть! Род польских маршалков Каменских, древо Бантыш-и-Стеблин-Каменских, наследник золотых приисков и чугунолитейных заводов. Рисовальщик, библиофил и домовладелец.

А к власти пришли реалисты, и у Васи отняли две ноги, без боя, он сидел безногий многие годы в нестаринном и керенско-ленинском кресле и делал кукол. Их покупал я один. Не писал стихи Вася, а кукол мастерил, как папа Карло, ведь Вася обучался еще и ваянию в Париже, участник многих выставок, ведь он первый (в мире!) нарисовал себе на щеке самолетик. И потом уж этот-то самолетик приклеил к носу Поля Элюара и отнял у Поля жену, русскую женщину, Васину подругу по Москве, ей французы дали кличку Гала, с этой кличкой и вошла васина

любовь в историю. О Дали, Дали! Василий Васильевич сидел, безногий, пил, на пенсии 42 руб. Не обопьешься, но и тут помог энтузиазм — опился-таки.

Душно в доме.

В НОВЫЙ МИР

Вот — настали дни, и на Невском девушки с собачьими носами. В Академкниге купил В. Маяковский «Человек». Вещь. 1916. Открыл: «ЛИЛЯ — ТЕБЕ». Чем же я связан с этой семьей и что? Громузыка В. Маяковского очень чужда, но он Поэт Мира. Лорд! — как Байрон! — красив, эстет, хромой, левша, толстый к 33 г., избалованный до смерти. И смерть. Я об Эмпедокле напишу, о сходстве.

Эмпедокл бросился в Этну, и вулкан выбросил один медный башмак его.

Сгорел. Маяковский пустил пулю, и Шкловский нашел от него 6 пар башмаков с подковами. Сходство! Еще: Эмпедокл — поэт-философ, монстр; Маяковский — поэто-пролетарий, монстр. Почему? Да потому, что не бывает ни философов, ни пролетариев в поэтохронике. Слава им! «Человек» — вещь. Новатор.

Читай книги тем шрифтом, русским. Шрифт, что мы пишем, не русский, а революционный. Это Вася Каменский его изобрел, и шрифт пришелся по душе наркомфину. А меж тем наркомфин был домашним учителем В. Хлебникова. Потом и фамилии их напишу. Но Хлебников любил яти, как истинный мистик.

Вышел закон «ОБ УМЕНЬШЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ ПЬЯНСТВА В ИМПЕРИИ». Алкоголи в бутылках продают от 18 до 19 час, недолог путь. А я помню в Елисеевском и Соловьевском с 8 до 01 часа ночи. С 8 утра! Т. е. в сталинскую эпоху отводилось время только на сон. Жизнь текла звенящею рекою, с переключкой.

Как псы, 150 млн. мужчин сидят, поджав хвосты и дрожа. Но в 18.10 уж всю армаду валит с ног. Ведьмовщина.

Пьяницам — узду из денег и приутихнут. Будут работать с огоньком, купят в Академкниге еще экземпляр В. Маяковского «Человек-вещь», принесут к котлу, станут к жене с кулаком у рта и крикнут:

— ЛИЛЯ — ТЕБЕ!

С пьяницами будет мир, это народ. Он пьет в пузо, недостойн и кивка, рационалист. А настоящий мужчина, запорожец, еврей, поляк, ирландец, русский светлейший князь — это клинические алкоголики, 1-ой степени посвященности. Это полубоги.

Они пьют от открытия правого глаза и до закрытия левого. Они богаты и нищи; если богат, у него у ноги бутылка, в руке стакан для бритвы, а если ж нищ, то найдутся меценаты, духовно близкие, они нальют и поглядят, жалея лежачего.

В Париже нет антиалкогольных законов. Клошар кричит, как Гизы при Карле-католике. Из окна выходит француз, освещенный. Вяжет к веревке (за горлышко!) толстую бутылку и вниз ее. Клошар за бутылку схватился. Гитары, мансарды! На многих веревках идут с небес бутылки за бутылкой. Как в музее! Пей до потолка! И пьют из ложек клошары. Потому-то в Париже буржуа сдоровы.

Скоро и у нас будет так.

Я уж готовлю бутылки с веревкой, на балконе, и ряды водок, портвейнов, мускатов; джин. Но никто что-то не кричит снизу. Скоро закричат.

Я хочу стать в 50 лет шофером, чтобы держать в руках круг судеб, смотря, кто выходит из-под колес, — цел? А кто остается, лицом плашмя, и складывают эти фанерки на грузовики и везут, играя тузами, чтоб поспеть к 18 часам, к открытию дверей в новый мир.

БЕЛЫЕ НОЧИ

Потемнеет на метр, и — светозарно!

Бедный Всадник над родиной, русский ужас, созданный с двумя усами, в лаврах — от итальяночки Анни Колло. В портрет она ему врзала по сердцу, зрачки в форме сердец. Или червонных тузов?

Ни один конь в мире не стоит так на месте в своей стране, как сделанный Петр I, Медный всадник, Бедный.

Как скоро умер он, в 54.

Как геройски сорвал голову Монсу за классический тройной грех, кому — мальчику, французу, и кто — Император Всея Руси, полный Бог. И это агония, за нею конец. Он стал опасен — он стал человечен. Это от человечности он казнил Монса и орал, чтоб свергнуть и убить Екатерину, жену. Он от правоты своей не назвал наследника. Его дети уж могли быть и не его, он вознесся, как человек. Бог это б не допустил, Петр изнемог.

Нелюбовь жены и анекдот Монса сокрушили силача. «Страшнее кошки зверя нет!»

Бедный Всадник!

Пушкин, новичок в крови, смятенный от документов, увлекался гуманизмом в истории, а т. е. — обратным ходом. Руки крови не совпадают с божеством Царя. Бедный Пушкин! Петр I не темней, чем у других. Нельзя быть вверху и исполнять ч. законы. Это посылка истории, что верх — круг нелюдей. Это аксиома, а не метафора. И назвать вечную силу верха слабостью — анархизм. Фигура Петра I не похожа ни на какую, это новое лицо, и больше нет поблажек. Если ты похож на тех, кто были, — сойди, все равно народ сотрет резинкой. Кто такие Октавиан

Август периода царствования, Марк Аврелий и пр., положительные? Дурные актеры. Но чудны Цезарь, Нерон, Коммод, Гелиогабал. Их и вообще-то нет у народов тысячелетиями, но в русской истории — Петр I, один. Он обладал теми чертами лица, чтоб быть в первой десятке Мирового Кино.

Именно кинематографичность — ноги, голова, рост, свойства женственности, одиночество, имперская цельность, и — где? Единственный рабочий и мятежник во всей своей многомиллионной державе.

Об его убийствах — закроем рот, погасим гром. Несколько сот стрельцов да пяток министров, да сын, да Монс. Кто они? Стрельцы, — на предательство один ответ — казнь; сын — отцовское дело, это уж не наша, а их мука; министры — верх, воры, бери в любом веке первого, без выбора, и вешай, не ошибешься. Вину выдумали — вешать министров! Монс — вот где точка над i.

Там уже полыхала драма.

У Анны Монс, любовницы Петра, в 1694 г. родился ребенок, мальчик. По этому случаю Петр порвал с нею связь. Кто этот мальчик и где он? — след простыл. В том же 1694 г. у Анны Монс появился брат Виллиам, новорожденный. От кого?

Его карьера безупречна. Красавец, щеголь, высок и лицом вспыльчив; Петр I сделал его камергером собственной жены. Почему Петр назначил его к интимным делам жены, ведь поведение Марты Самуиловны (Екатерины) до замужества не засекречено. Это ход тех женщин, которых не остановит и сабля. Назначить блистательного дон жуана — в постель жене, не проще ль его было б предварительно уж казнить? И тут две птички запели. А Петр, что думал он? Что знал он о датах и детях?

Пойманный на месте, Виллиам Монс казнен через день, без суда. Пошатнувшийся Петр повез жену, показать голову, сам рубил. Пошли крути над головою Петра Бедного, он пошел на дно. Все оппоненты Императора убиты заслуженно.

Да и убийства эти — наброски, штриховки рядом с живописью кровей Египта, Рима, Меровингов, Капетингов, Борджиа, Медичи, Стюартов и пр. и т. д. На этом фоне Петр Бедный — наимолюсерднейший. Я б его казни читал в школах, как образцы чело-веколюбия.

Жуток Ленинград центра в белые ночи. Пушкин, Одоевский, Гоголь, Достоевский, Некрасов, Блок, Маяковский, белых ночей ихних — нет. Это как-то стерлось, изгладилось, сглатываем их. Вот с октября черные ночи, тут уж беги от черноты, тут уж бездна, и у Медного Евгения на тяжелоозвонком коне, а император всея руси бежит от него, рвя волосы, как футурист.

Петр Первый, как шрам, разрезал русскую историю на две части — до и после. Других персон нет.

— Что мы сделали, Россияне, и кого погребли? — слова Ф. Прокоповича на погребение Петра.

ЧЕРНЫЕ ЗОНТИКИ

Зонтик — быт болот. День с зонтиком и ночь.

Ночь — с черным зонтиком! Ночь — война, а зонтик — щит при штурме, будто целятся с пассажирских самолетов, из горящих окошечек, будто головы людские — сверкают, и пули, как мухи, застрянут в черных перепонках. То есть, некого убивать, но прячутся под черное, ах, и мое я — тоже ночь. Серая грудка, рисовая головка, серый рост — что тут черного? Зачем зонт? Но несут.

Я видел с зонтиками в Ленинграде, Венеции, Ялте, Архангельске, Иркутске, в Берлине, в Будапеште, в Омске, в Риме, в Барнауле, в Ташкенте, во Львове и в Отепя, в деревнях не видел, не был. В Париже в 1979 г. я купил свой первый зонт. Он висит на вешалке для шляп, как автомат с рукояткой. Я пошел с ним как-то, но ветер сминает, как парус. Этому нужно учить в школах зонтиконосиков, они ходят согнувшись, будто боги на них плачут.

Полная чаша огня, едят мглистое, женщины, как животные, в галстуках, а эти мир портят чернотой, будто богу нет дел, кроме ножей, он запускает их в каждый внутренний карман, где паспорт гр. СССР. А зонтик предохранит. Будто, если сложить зонтик, то посыпятся пули в темя вперемешку с дождем — и простудят особь.

Я гляжу в окно, ткнувшись, как конь в ночь: держится за ручку, под зонтиком висит ч. Видимо, дуло, и его покачивает за стеклом. Этот ч. 70 лет, в кителе, галифе, с усами, в модной маршальской фуражке, в руке зонтик. Если б он ожил, я б сказал — это И. В. Сталин. Но я не скажу, он не ожил. Значит, кто-то переоделся в музейные вещи и летает в окнах у третьей мировой войны — как би-би-си, из их клеветнических измышлений. Есть у Ст. Лема санти-и-секс роман, где Зося кончает с собой, п. ч. Стасик не погладил ее, где следует. Стасика отправляют на космической штуке вверх, к планете Солярис, это океан, и он воплощает образы любимых, умерших во плоти, и возвращает их из смерти, в каюту, в постель, как полнокровных. Ых!

Но в окне висит не Ст. Лем, океанский воплощенец. Хорошо, что сквозь стекла не пройти, а на зонтике он провисит и жизнь, как чайка, воздушный солдат, маршалолепипед.

Но в том же романе о возвращенках есть и деталь: океан сделал копию, анатомию, а вот мелочь, молния на юбке не расстегивается, они рвут юбку. Океан думал, что молния —

декорация ткани, а это символ железного пояса на юбке у Зоси, рыцарского.

Так тут: не зонтик бы этому, а знакомую курительную трубку, покойник это любил, и его мы любим за курение в Кремле. На Спасской башне. А в океане? Висит на зонтике половозрелый грузин, что делать?

И ночью он висит, и на полки смотрит, какие книги написаны на корешках. Я уснул. Запел петух. Гляжу — этот взвился на зонтике, как месячный серп, и исчез.

В ту же ночь исчез мой зонтик.

Думаю.

ВЛАСТЬ

О если б навеки так было! — Федор Массене.

А нам от этих если б одно еселье. Листните у римлян: бонапартизм, мезонины, мир рубят, мясо солят, лиры не лгут.

А нравочитатели? Рост отцов в атеизме, как в соляной кислоте, стихи пишут шапками и мне шлют. Из Киева: конверт, листики, и что-то с них летит, как с цветочков. Читаю с лупой, рифмы и — пепел! Радиоактивный! Это — мне посылка к 50-летию. Нашли, чем почистить мой шлем. Сдунул.

Взорвался реактор под Киевом, в Полтаве и ниже. Гибнут банкеты без молока, оказывается, в каждом бокале молока — звонок Гейгера, облучишься. А теперь ведь пьют одно молоко, до дна. Так мне пишут в письме, поднося пыльцу, чтоб и я испытал. Как будто никто не знает, что нет мирных реакторов, что все они взорвутся, по всей стране. О если б Тот Отец не знал! Знает. А Ему-то! Он все во всем, как Анаксагор. Науки претендуют на ум, некий химикалий, бионик, ядерный физик — софисты, видите ли, орденоносцы, вестибулярные аппараты власти.

Нехорошее еселье, друг-грудинка, если науки — убийцы, а врач-черт держит мою грудь, чтоб найти в ней место для пули. И если возьмут власть академики физико-био- и химио-наук и психоартритов, — стреляй, или стреляйся, это близко. Это — высшие лицемеры и ханжи ума технического, машинного, они и есть — антиживое, это и есть те, кто послан черным по закону жизни.

В нише скажи себе о мире, но встань, вот длинный меч и платиновые пули, не медли, отведи острием руки академика — от человека.

Японцы не чтят фотокопии Э. Резерфорда, Э. Ферми и Н. Бора и пр. цунами. А мы, солдаты с 1955 г., не скажем слова в дом академика Сахарова. Ум в амбиции достоин позорного столба. Нищий духом ошибется, и плач его бедный, но ум, носимый в голове академию атомной бомбы, — он шантажист нищих. И это

пишу не я, это под пером мозг единственного, кто понял (на заре ядра!) гнусную сеть этих кассет Альберта Эйнштейна.

БЕЛЕНЬКО

Беленькая собачка во мгле.

Пошел в рощу.

Навстречу мужик без рукавов, пузо на резинке. Мужик дает стакан с грибами, больше нечем наполнить стакан.

Плохи мои планы.

Пошел из рощи.

Опять беленькая собачка, блондинка. Объявление на столбе: «ПРОПАЛА!», а под столбом — она стоит.

И некоторые л. скажут собачке:

— Не судьба, киска!

Это беленькая сучка, по телу вижу, длинноватенькое.

Я вынес мяса из супа, — не берет с рук, из-под блондинистых бровей горит глазами. Кладу на камень. Мясо. Без рук. Съела с жаром. Второй день без дома, ее вымыли набело, чтоб выбросить. Через неделю будет сосать кость от повозки, а с рук не возьмет.

Дождь, серая рассада. Рифмуй: дождь — жизнь.

Д. С. Лихачев по ТВ, после операции, галстук в белую горошку, без очков. Он о садах, о Растрелли, о Пушкине. В общем, его водит по мусору диктор и обещает, что вместо Пушкинской квартиры в том доме будет город-сад. Кажется, Д.С. не очень-то верит. Разваленные стены, хоть нет немцев (бомбежки!). Д.С. похудел.

Он не умрет, у него лицо с большими ушами, прижатыми к голове. Не печалься в жизни с большими руками — перед объективом.

ЖЕНЩИНЫ

Я стою у входа в юность женщин, вхожу, а внутри — пахнет мясом.

Стоят счетчики: кто вошел, пишут мелом — 100.

Женская юность — это индус, сидит на виду, фиолетовая, ноги накрест.

Или же: лежит фригидка, гофрированное железо, а маляры ходят по ним, суп дают из сапога.

Юность похожа на гири на двух ногах, джинсовых.

А сними тогу Катулла, и увидишь, что Лесбию целует не воробышек, а задницегубый раб-Рубль, — индальгенция.

Но эти ж женщины не будут позваны и на Страшный суд,

серенько. И л., о ком я выше, не попадут туда, это была б незаслуженная обида Высшему Судне.

Лягут они жалобно в землю, мелкие, как детские вилки, ящичками, и уйдут вглубь.

Солдаты!

Мужчин впрягут в колеса электрички, чтоб они ожили. «Наше время требует полной отдачи». А кому? Мукомолу?

В юных женщинах попадают души. Я еще доживу, что и от содомии откажутся.

Женщины — желтоволосые бочки под сводами времен.

НАДЕЖДА

Я становлюсь похож на Б. д. Т., облысения вот нет. Придет! И я похож на Иоанна с Патмоса, с картин. Не удивляюсь. Над головою все более туч. Тучи — чтоб ударить в высокое, и ударят, и раздастся невыносимый треск. Но я вынесу. Скажу фразу, упрусь в землю и устою, поводя глазами. Но до этого я не доживу.

Вот что обо мне пишут:

«...Много раз спрашивала я, показывая его фотографии:

— Кто это?

Ответы одинаковые:

— Поэт.

— Авантюрист.

— Король.

И вдруг однажды:

— Пришелец!

Само его имя кажется мне произведением искусства. Само его лицо, про которое миллион женщин сказали потрясенно: Какое старинное лицо! — в равной степени принадлежит и прошлому, и будущему. Это лицо с флорентийских портретов, это лицо инопланетянина».

Не доживу я до смерти, не тот типаж. Я слишком часто пишу, чтоб любить свой посвист, я укорачиваю фразы и книги, делая их с семенами, чтоб они были ясны слову стрелец! В яблочко! Равенство с любым писателем меня не успокоит, а насмешит. Я становлюсь, как Маятник, движением томим в ту и обратную сторону, не устоять.

Я становлюсь похож на того, кого не видят, но читают на бумаге, а она в продаже везде. Кто читает, им все равно, жив автор или умер, а автор предпочитает жить. А л. же предпочитают, чтоб он был мертв, их тревожит тот, кто невидим. Боязнь — а как он на них смотрит?

Слезы людские — нули водяные, хуже всего человеко-поэты. Это как раб, как бык в треугольной позе. Как однофамилец!

— О слезы людские! — сходится с ослом Люции, итальяночкой.
И я, как и Тютчев, ленив, ищу щель, чтоб лениться; спрячусь в
щель и сижу, ленюсь./Одинок тот, кто привык водить толпы.
Тот, кто всегда один — не одинок./Какой стеклянный пейзаж
в субботу, с балкона, в 23.00, как дома многоцветны! Как
устроены слова: дом — день, а дно — надежда.

НЕНАКАЗУЕМ

Я видел образ прощальных дней.

Альбатросы!

Сегодня море — купол, волна!

Альбатросы, альбатросы ловят рыбу, хвост во рту — окунь. Мне
так не поймать, да и сколько их съешь? А потом загрузишь,
как сосулька в воде.

Уезжающий, как и пьющий, печален. Никто не уймет душу в
доме, была и абидосская невеста, и то ухожу. Я не пишу на
сосне: «К морю. Свободная стихия. Пушкин». С тучами не тол-
каются.

Перенесу я судьбу, но не матрас, надутый щеками. Это не
ковер-водолет! Сели, летят в воде двое, и выброси матрас, дутый.
Чтобы умереть от любви в заливе, где воды не наберется и на
два ведра, чтоб облиться. И это и есть — погибнем оба до гроба,
с любовью — бульк! Если только прыгнут с матраса и размозжат
голову о валун (дно мягкое!). Вот так-то: океанская молвь, а
дурак и дура портят мне отъезд.

Я их знаю, это старик-блюдолет Ш.Ш., поэт с обстриженной
грудью, международник и его девка из младохохлошек Коно-
пелько. Они ходят по редакциям Австрии и Венгрии, США и
Ленинграда.

Я вспомнил М., волжанка, бегущая из моря до моря, и гиацинтовые
глаза из жизни! — убита, без боя.

А эта мразь, Ш.Ш., лакей, на побегушках, по ТВ, и Конопелько —
живут вашей, гребут берега!

Я давно умер.

Если я пишу, это не долг, а так.

Я давно уж знаю: сокол — это колесо, а солнце — то горит
ромбом с 14 сторон, то и днем с огнем не сыскать.

О гордый друг мой, биющийся, я уже делал и так: вставал на
пути, и что ж? Я закрою ход, и разбиты оба! Но я начинаю
снова и без тебя, М. А без тебя боги лгут, множественные, как
и их создания — вот эти Ш.Ш. и Конопелько, на водных матрасах,
как два рубля продажи. Не хочется ни сюжетов, да и ни жить,
да и уеду.

ТАНЗИРА

Сейчас редко встретишь колючую проволоку на берегу. Я встретил. Это от северных гаремов русским красавицам; шведы, норвегцы и финны рассултанились и живут со своими. Моток колючей проволоки, море выбросило, с 1939-40 гг. Отойду, полюбуюсь.

Поубавимся в мнении о Нем.

Рядом просмоленная лодка, у нее бок бочки, и разными гвоздиками пишут: Толя и Коля, Лиля и Оля, и Жиржа — дружба. Оля и Жиржа зачеркнуто, и чуть ниже: Оля и Жиржа — любовь. От памятных мест в море надолбы, от танков, от линии Маннергейма. Закат странен, одни надписи. А чайки освещенные. Из ч. состава здесь один я. Мушки-нейтрино облепляют тысячу. Чувствуешь, что уши прозрачны, за неимением лучшего.

Скоро и я разденусь, закутаюсь в закат и буду ждать те 43 ножа от Брута, мирного пловца. Он и есть Жиржа, вышедший из колючей проволоки, ловец Оли, Вали, Люли и Танзирь. Эти имена тоже написаны и равны дружбе. Но тут мы столкнулись с преградой: кто — Танзира? Может быть, она — Галя?

Анна, Нина, Минна, Лина, Марина, Инна, Капитолина — это уж другой ряд колючей проволоки. Даже Коринна — у них, в ряду. Сомневаюсь, чтоб Жиржа полез в воду (с таким именем!). Но уж совсем дико, чтоб он равнялся любви к Танзире. Или они оба — и несклоняемы?

Ответа нет — море, море, лодка и чайник в ней.

Я оглядываюсь, как циркуль. Нет ли имен еще? Нет.

Правда, из моря торчит ракета, но давно, с девонского периода. Я входил в нее, такие надписи: Раиса, Лариса, Сергей, Андрей, Позль, Ноэль, Рита, Грита, Тося, Зося, Ядвига, Тыдвига. Мужские рифмы плохи, женские терпимы, а Тыдвига — не Танзира; Жиржи нет в ракете. Или Жиржа — не тот, Брут у валунов, а женщина, она, как же быть нам с Олей и любовью к ней? Примем, как должное.

Я забуду — белые ободы камней, черные ночи монет, ягодные домики лихвостов и лодки-луны, круглые, с углом 45°. Забуду и Жиржу, и Тыдвигу, но Танзиру! — уж никто не вырвет из моей памяти.

Танзира Маннергейм.

У И В МОРЕ И У

Роза из Эфиопии; не нюхаю.

На дюне ворон в одежде крестоносца. |

Рев, ветр.

Ветр, рев и усталость.

Гроза, или же ливень один, без грозы — шел? Металось с электрической силой, и вот я вымок, как шмель. И ветром выхватывает! Нагрудная рубашка, красная, сохнет на стекле, висит.

О если б! — высох на стекле, и пошел в красном то у, то к, то в море. И пошел вниз, как якорь.

Море в ртутных столбиках, и каждый толщиной с собор Св. Петра в Риме. Кто ищет, тот находит в сутки — серебряные часы! Будь я здесь, я б море пропил за две души: мою и Отчизны. Правда, это море не конец, финновато оно.

Ворон-крестоносец взошел на дюну и полетел к свету морскому. Что летит он с тяжестью в открытую воду, он же не умеет плавать!

Сходят ли вороны с ума? — не читал. Не улетит же, а сядет на волну — это как я б в костер. Вода ему — мука... Летит, черные руки, как кроль, негритянский!

Необычно. Его ветром к берегу, а он — вперед! Как черный Соломон. Как Пушкин! Но Соломон, но Пушкин, моговид и бакенбарды, а он — русская птица, из жизни.

И ворон таки пал в море.

И поткнулся после бури.

Еще блещет свод, лучи приглашают. Взвился и погиб нео-Наполеон, — то, что сделал бы тот, с о. св. Елены, да трусил, не птица.

А этот — птица. В грязи, как летящая щука, в треуголке, со шпагой во рту, с дюны вышел в море. Пал. Царь-птица.

Его била волна. Отряд чаек из 33 персон сел у мертвого, под их эскортом его прибило к берегу.

Вышли из рощи вороны, причесанные, взяли труп вниз головой. Жаль, что гроза была раньше. Гроза шла б за его гробом.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ВЕТР

Ровно в 9 выходит луна на 6 минут. Вот, вышла. Я надеюсь, меня понимают, о чем я. В небе полно бискайской воды. Окна леопардовые. Нет надежд. Всюду освещенные кубы, лампочки; это дома.

Звонит в дверь Ваня Небиаду. Я смотрю в глазок, если б с топором, я б дверь раскрыл, пошли бы топор на топор, и был бы один зарубленный ровно за месяц до Нового года. А на что мне безоружный, не пуцу.

Луна высоко-высоко. Вон как раскрашена, и огоньки с нее висят на нитях.

Ирландский сеттер — я, лежу на ковре, с подпалинами, жгу электрокамин, изящнейший, и жду 2 декабря. А зачем Ваня Небиаду? Он стар ростом и с глазами сумасшедшего, доктор наук из Якутии, с алмазных копей; он пьет. Не пуцу.

Я в зените.

На окне трещина. Если б он вынул трещину из стекла и вставил бы алмаз, к слову... Пойду, спрошу.

Но он ушел, в глазок я вижу только его глаза, охваченные безумием, алмазника. Я открываю дверь: да, нет его, а глаза стоят в коридоре, на двух столбиках. Грустно.

А из трещины сквозит непрерывный ветер.

Взял том 3, нарисовал собачку и поставил на полку. Дни проходят, как киты. Как заснеженные лесенки. Что ж делать по вечерам? Помылся, жду, с галстуком. Если сидеть, спина прямая и лопатки звенят. Кипяток в кастрюле идет пузырями, заварил чай, глянул в глазок — те же два глаза на столбиках, я их и бросил в стакан, и выпил. Снится небо в алмазах. Хуже просыпаться. Но до этого далеко. Не могу вспомнить, была борода у этого Вани Небиаду или один подбородок? Или два?

ДНИ

Дни водяные.

В доски бьют молоточком, невидимые пианисты.

Затребовать стул с твердым дном.

Встретим грусть мы грудью. А я лягу и буду лежать всей тяжестью.

Носки на ногах очень низкого качества.

Голубь рта.

Отлично, отлично, мороз. Темнеет в Микенах. Самовоспламенение.

Я не могу писать с позиций равнины, людей; может быть, я худший и самый лодырь из л., но с этих позиций я не писака. Громовая усталость.

Кастильский клен.

Говорят, грязные ругательства. Лишь бы ч. был чистый, а там пусть ругается, грязней грязного. Книжки пишут не для того, чтобы их читали. Я — тень тумана.

— Во мне мало королевской крови, — посетовал он.

— А что так? — посочувствовал я.

Абрис Наполеона похож на овцу, на стриженую овечью морду в фас.

Сколько у нас царей-самозванцев и их детей. Вся страна — самозванка.

В очках писать то лучше, то хуже. Спокойствие дает сон — он без конца. Вороны пролетели мимо окна, как занавес.

Мороз, мороз, мороз. Женщины особого вреда не приносят. 27° — ниже меня. Ох, хорошо. В 50 лет юности нет. Все ж показательная гениальность: за год я воспел синий глаз, а через год он посинел, катаракта. Болезнь лжи — от нерастраченной

сексуальности. Люди в браке лгут меньше. Подумать о графическом рисунке новелл.

Ел балык из осетрины холодного копчения; мини-царизм. Счастливейший день, много снега. Говорят, что носки на левую сторону надеть — к несчастью, а как поймешь, где лицевая, а где обратная сторона? — везде дыры. Вот и надеваешь как попало, рискуешь. Три ели, три ели! Беднодубье. Слово не воробей, а диагноз. Шизофрения — это видимо жизненная сила.

Академик, политик и кучер хотят говорить красиво. Поэту — говорить красиво не приходится, его стихия — слово, а оно любое. Говорить красиво учат глухих и заик. Поэт говорит любым языком, это его дело и право.

ЗИНАИДА.

Башмаки, как у каторжанина.

— Но вы далеки от любви.

— Единственное, что сейчас спасает людей, это любовь ко мне.

КНИГИ

Я издаю книги врукопашную; сегодня я разбил много посуды, если это к счастью, не многовато ли? Хоронить учтивее, чем рожать.

В декабре мне кажется, я сойду с ума, и я покупаю книги сумасшедших — маркиза де Сада, Мопассана, Клейста, Нижинского, Арто, Сезанна, Батюшкова, даже письма Ван Гога в оригинале. В писаниях сумасшедших — здравый смысл, это противно.

Это противней декабря, и я читаю. Минус на минус дают сон, с кошмарами, свинскими. Февраль я люблю, светло, я книги продам (эти!) со скидкой на 20% — в середине февраля.

Я в Музее устрою выставку книг здоровых (психически!). Да нет, от одного Тургенева будет сон в гардеробе, и о ком мы? Бальзак, Золя, Джеймс Генри, нобелиаты — кусты скуки по лестнице.

Словоблудье — творческий экстаз, реализм.

А поэт — как вожжа под хвостом, увидит диво и пишет слово. Или же ни слова, как я.

А сюжет, лирика мировой души, музыка и заумь — наживные кони, уйдут с грифом, на рогах.

Нет в живых тех, кто любил. Когда издадут мои книги, не будет ни одного, кто б меня видел. А когда мне присвоят звание полного Мертвеца («великого»), и не вспомнят, с каким хоть веком-то мой ум был связан, в крутах у глаз.

Винить себя не в новинку, но и те, кто тебя не любит, и они винят тебя. О себе думают в превосходной степени миллионы, а ты о себе думай как о говне, будешь умней этих, хитрых. Ведь они станут плоски телом и ты их покажешь, как диапозитивы

в иных мирах. Еще не анализировали Мул без узды, Майен из Мезьера, Шампанский, начало 13 в. и Соловьинный сад, А. Блок, Петербург 20 в., начало. Тема: рыцарь — осел, но рыцарь — ездок лишь, а осел — всемогущ. Это я пишу после фасванны. Если мыться трижды в день, то напишу три строки, а не одну. И закончу страницу.

ОБО МНЕ РАЗНОЕ

Я — думающий о том, что через 49 лет будут скалы и сядут у них бриться, так гладки.

Разве жалуются, живя в аду?

Та львица, о которой речь, вскормила меня молоком, а потом разорвала на куски, чтоб не жил меж чужих.

Я ж живу.

Я — глас поющего в пустыне.

Еще хорошо: она встала мне на ноги, нагишом.

Дожить до 22 декабря, до низшего падения света.

Говорят, в те дни, когда я писал эти строки, 9-14 дек., из Америки, из Филадельфии, сказали, что я — самый величайший Он медного века. Об этом я слышал и до. Хорошо, что в Америке стали объективно относиться ко мне. И просто.

Вот уж что не вымышлено, то это мир моих книг. /— Не делай этот шаг, он роковой, — говорили мне футуристы. У них нет будущего. Я сделал шаг. Потом второй, — это уж было за роком. Теперь третий, — где б взять деньги? Сев в автобус, я по обыкновению даю 5 коп. незнакомке, и она пробивается локтями к кассе, за билетом, мне. Пробылась, но пошла дальше. С 5 коп. в руке, билет не взят. Дошла до выходной двери и вышла. Мои пяточки — на вес золота. Она слышала сообщение из Америки, кто величайший. Да многие знают и так. Гете неглуп: он сказал — если нарисовать мопса схоже с натурой, то от этого станет лишь одним мопсом больше на свете... Когда я еду в автобусе, то думаю о Вильгельме Мейстере: «Если найдется виртуоз, то и найдется кто-нибудь, кто срочно учится на том же инструменте. Счастлив, кто на себе убеждается в ошибочности своих желаний». Таких счастливцев нет. Все пишут под меня.

Тем-то и велик Гете, что эти прописные истины мог изречь и мопс. Писать, пока я живу — это то же, что срать себе в рот. То же думал и Гете. То же он думал бы и о своей писанине, живи он тут, и прятал бы мои пяточки, как сувениры.

Что читать! Голова, как у соловья, маленькая и тупая. Великий тупик. Люблю мороз. «Это искусство, и я готов ради него на любые труды — способность, которую один прославленный идиот объявил равноценной гению». И это — о Гете. Автор цитаты — автор «Острова сокровищ», Р. Стивенсон.

Эдгар По и Чарли Чаплин — как велико сходство, портретное, Николай Гоголь и Генрих Гейне — это сходство озадачивает. Белые клоуны Бога.

Могильщиками теперь — дежурные по кладбищу милиционеры. Я — видящ.

Тучи серые, влажнее, пусты дни, во мне свет, хоть и упадочный. Полежу немного я, как Эдуард.

Я говорю: только без восстаний, без восстаний, ты не Рафаэло Джованьоли, одни реалисты считают, что царь, взятый в плен, — это раб. А я говорю: восстание Спартака — это восстание царей. Были годы, когда меня еще можно было увидеть в 9 ч. утра, пьяным у Дома Балета. В 11 ч. я уже лежал на Невском, как слепок из гипса. Моя слава — уже из научной фантастики. Кир Булычев пишет:

«Создатели Эксперимента кажутся небожителями. На самом деле они существуют — в виде портретов в актовом зале. Дарвин. Мендель. Павлов. Он: Джекобсон. Сато. Далеко не все понимали, что Эксперимент выше всех знаний человечества. Но во главе института стоял Он. В самом принципе его деятельности было нечто иррациональное. Это была наука с претензией на божественность».

У меня 2 года пульс был 200.

Много еще стран, где стужа. Бесплодие у животных — это когда их слишком много и в одном месте.

Учитель сказал:

— Теперь чаши для вина стали иными. Разве это чаши для вина? Разве это чаши для вина?

Ох, тошно мне на чужой стороне! Чужая сторона — Земля.

ЗАСТОЛЬНАЯ

Л. идут параллельно, по городу; если смотреть на урбо сверху, — идут л. рядом. Это — утопия. Л. — не литература, и живут они по законам л. (юдским), не словесным. Кто много жил, тот низко пал.

Наливай на дно вина, на метр!

Такое тусклое время у МЯ.

Снился во сне грустник, стограммик.

И этот день к концу, убитый мною.

Останется от земли несколько колонн.

Наливай на дно!

С годами бумаги жгутся, а миры сжимаются до Я, а потом и до я. Это я могу понять и унести с собою на стадию катастроф.

Но у низших катастроф не бывает. Певцом солдат мне не стать, а солдаты — это пушки, они говорят сами за себя. Заговорят.

А музы? — это телефоны в землю, где лежит, готовая, полиция.
Ей мой лоб некрупен.

Сильные листы пишет рука героя.

Декабрь, силлабо-тонический! Но еще ноябрь, он: черные речи
мои.

Я вышел на балкон, шагая, и поднял золотую кепи, прищурившись.
Я с грудью в ледяной коже, народ стоит в раме марша.

Время у МЯ в яме, наливай на дно, на метр — вина!

Корабли плывут, белокурые, постель на лестнице ждет ч-ка с
железной звездой в глазах! Он топнет, а уж — пятница!

Плохо видеть много, я вижу и не выживаю.

Ослабли молекулярные руки.

Я не верю, что кто-то будет жить за меня, не верю, не верю.

II. МОТИВЫ

ПЕРВАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

В России нет армии, годной, полководцев с нагревом имени,
умного царя. В 1812 г. Россия не готова к войне с Наполеоном,
хоть и воюет с ним 9 лет. Казалось абсурдом, что Наполеон
войдет в Россию. Это и абсурд: регулярная, могучая, плановая,
оснащенная теорией и гением Наполеона и его королей армия,
вошла в настолько громадную географию, что островитянин-
корсиканец не мог выдержать этого. Этого пространства пси-
хики.

Наполеон и Европа уже больны атеизмом. Воспитанники жесто-
косердного мещанина Гете, в Вертере и есть вся Европа с ее
юбочными страданиями. И молодой страдалец Наполеон, уже
взрослый европейский самец, водит двуногих на убийства. Их
любовь — фаршированные колбасы и яичница с пивом. Полки
мещан вошли в край рабов.

То, что от немых французо-солдат пахнет духами, как от
русских генералов, приводило крестьян в неистовство, и они
рубил их вприсядку.

Войдет француз-офицер в лес, отстегнет саблю и панталоны,
сядет на пенек, поя марсельезу, — ночь в луне, дуб дремуч,
совы со щеками, с щebetаньем. Гриб, как шампиньон. Муравей
по голой заднице ползет, как звезда, кислый.

Встает француз, опорожненный, хочет подойти к другу-мсье пить
шартрез, а ветвь его не пускает, на ней свет. И вторая ветка
его за руку берет и к пояснице гнет. Завоеватель кричит, и
тут-то его и склоняют над тем, что он наделал, а потом и макают
мордой. Драма!

А и не лес это, а целая история. Идет миллион народа по полям, от врага. Видят поле, а уж ночь над миром, месячная, и ни избушки не виднеется. И стал народ в степи, как дуб к дубу. Встал народ, стоит, спит. А тут француз с революционной песнью на ветру. Его и повесили на ходу — два мужика взяли бревно и веревку, положили бревно на плечи и на веревке повесили марсельезника. Когда он отдал ветрам душу, а те унесли, шумя, ее в Париж, на Пер-ла-Шез, в урну, — тогда двое Егоров сняли бревно с плеч, покрестились, отвязали про запас веревочку и, как мы видим, — опять стоят, спят, на ногах. А труп? собакам тело дали. В какую сторону пойдет этот миллион народа завтра? Никто не знает, ни Бог, ни Царь, ни народ. Как ты его победишь? Земля его — куда хочет, туда и скочет, этот, спящий стоямя посреди поля. Бог только видит движение на северо-востоке и говорит громко миру: — Сегодня в 4.30 пополуночи русский народ пошел на северо-восток, это севернее Таймыра и восточнее Токио. Дальнейший его путь Мы сообщим особой сводкой.

ТЕМА ПАМЯТИ

В 9 вечера прогуливают собак за шею. Собаки — что? запасы топлива? Дом дней стал тошен, а другого нет. Есть несколько улиц в г. мир и свод входа у них — холстяные клеточки видений. Исчез тыл (пыл!): Не лги о мертвых, не пиши о женском досуге, я люблю лес, туфли, сухие, и рубаху в герцогском стиле. Алую. Я помню их, надеванные. Мечты о будущем — это от невоспитанности. «Дорога Жизни!» Мы катались, как вода. Низкий звон самолетов, пульки лопаются в досках, как в дождь. Если скажу — шел пулевой дождь, от немцев, с самолетов — я не ошибусь. А на катере дождя такого, водяного, весеннего не было, с Ладоги плески, но Ладогу дождем не называют — море! Море и низкие самолеты. А встанешь — голову отхватит крылышком! Морская болезнь — это сморкаться, по телу течет. Другой не знаю, мы ж хохотали, как петухи! Дети ж мы блокадные! И самолеты сами в руки идут, с бомбочками! Много лжепамяти от фильмов, нельзя их давать детям, будет другая жизнь, насильная, и снится им она же, а детская — где? У нас была детская жизнь, без фильмов. Как-то я вычитал о великом поэте: «На дне сознания возникла моравская деревушка Бискоупки, где новорожденному приветиливо улыбалась заглядывавшая в окно сирень (любимейшие цветы!).» И он вспомнил об этом! Заглядывавшая — надо же! В детство моего окна заглядывали автоматные дула гестапо.

Первая моя игрушка — браунинг. И фарфоровые круги фугасных бомб.

Я бросил жизнь и хотел уйти в другой дом, а Он не пустил. Я пишу.

Скот идет с дулами на голове.

История — это старость. Юность — это возмездие, — сказал один фразер. А если юность за колючей проволокой — это что, дар?

ГУСИ-ГУСИ, ГА-ГА-ГА!

На Кубани гуси идут гуськом. Домашний гусь — гадюка! Есть песенка об их жалобах на волков. Серый волк гусю! Я видел, как волки несутся у хат, ощипанные и полусъеденные. И лисы, многострадальные. Лезли к курам, а это в гусятник!

Не уйти от гусей.

Утром я хожу с абрикосовой косточкой. Свищу. Из Эйска фашисты, смотрят; в гестапо. — Ты юрка (еврей)? — Я — урюк! — Не дури, откуда у тебя такие уши? — От бабушки. — Бабушку ведут штыком, а мы по паспорту из Гогенцоллернов. Смотрят, как сумасшедшие.

Как-то китайский император Ц., проезжая по улицам опустошенной Манчжурии, видит двух манчжур. — Многовато народу в Манчжурии, — воскликнул император и велел уничтожить их.

Гуси, гуси, есть хотите?

Докучают немцы, едят дом. Я бросил бутыль бензина. Несколько солдат взлетели в воздух. Взрыв красив, серебро с музыкой. Часовые обгорели, как гранаты, кусками. На этот раз команда СС. Гестапо! Я к этому привык.

— Почему ты так сделал?

Я говорю об императоре Ц. Зовут бабушку. На мотоцикле. В коляске — бидон, обжигающий душу. Водка, довоенная. Немцы удивлены таким оборотом.

Так летите, под горой!

Невдалеке от станицы, в степи партизанский отряд, у р. Кубань, так вот — по воде они читают ход мыслей фашистских войск. О немцах, чего они хотят от нас. Гул орудий вдали, это идут армяне-освободители. Пришли. Но до прихода.

Расстреливают отряд. В меня бросают мину издалека; и раскроили череп; облитого кровью, несут в гестапо и пытаются, повесив на стене. Вишу.

— Сколько в отряде чел.? — 11. — Лгешь, 10. — Сосчитайте трупы. Сосчитали, — 11. Их на мотоцикле по степи собирали. — Что они делали? — Мышей ели. — Лгешь! — Поройтесь в норах (жили в норах, под землей). Порылись, кости выдр. Правда. Зовут бабушку. — Сядь в уголок. Сидит, лицо белое, платочек комкает. С меня кровь течет. — Отдайте внука! Глянули — а

это она не платочек комкает, а бикфордов шнур развязывает и завязывает, в подоле мина катается. А шнур горит, горит, ясный! Ну летите, как хотите!

Идут армянские полки, под барабан, как валеты. Нас посадили на грузовик (немцы!), едем наперекосяк, грузовик пустой, с гусями за пазухой. Штук триста гусей везли, и они гудели. Да, еще гуси подняли на крыльях грузовик и как духи врезались в армянскую рать.

Рельсы «Катюш». Я отлично помню холодок на шее, подколесный. Полки перевернуты, грузовик валяется.

Небо в облаках, и голод, голод.

ОГОНЬ

Я жег сундуки стихов, покидая.

Это как револьвер, из которого можно задеть кошку за живое.

Жгут же бочки вина, соломы!

Во что б завернуть мою тоску по пулям? Делают копию сожженной Данаи, и это будет надувная Даная. Разве восстановить ту мою 11-летнюю руку, для которой револьвер был — как радиус жизни, а пули как пальцы, бьющие в одно? Смотрю на свою — ногти древние, граненые, розовые.

Красота — это Этна, от Эмпедокла рукописей нет, а лицо на скульптуре занавешено камнем.

Громяхают всевидящие, а что есть ниже туч?

Жгу я кучи лиственные и сейчас, но без прежнего огня, по строчке, нечто от Филиппа-Испанца. Сколько жечь — столько жить. Привет, праотцы, мы лодки вокруг шара с надписями.

Как-то я убил пишущую машинку, бросил в окно. Потом спустился, взял, принес кости. Приставил к литерам зеркальце — не запотело!

— Бабушка, ты завтра умрешь! — сказал я. Она чесала волосы гребнем, до пола, черные.

Утром ее нашли в саду. Я помню ее лицо, разбухшее, широко-скулое, белое, больше, чем она, никто не любил меня, не спал. Сердца разрыв. Я залез на дуб, трое суток сидел, от судорог. Потом упал. С дуба. Уже похоронили.

Ее гребень в бриллиантах я подарил М.

Но М. носила короткую стрижку, ей гребень что, и она подарила его Л.Ю. А Лиля подарила подруге — Полин Ротшильд. Та была изумлена и долго дарила Лиле изумруды. А в Париже Полин Ротшильд, спрашивая меня, что б подарить М., вдруг взяла и подарила гребень. М. страшно задрала нос с таким подарком, пока не выяснилось, что гребень — бабушкин. Ох, и хохотание! Бочки богачей!

Многих я сжег страстью, а многим сказал смерть. В частности —

Заболоцкому. Но список такого рода жертв не влезет на 100 страницах убористого текста, на моей машинке Гермес Бэби. Гермес, кстати, тоже посланец. И он — тоже.

МНЕ — 13 ЛЕТ

Мы жили на виллах, правя миром, а за садами — дуб, как туз! К «бабушкиному» дубу шла дорожка, и где падал обрыв — государственные сады с вишнями. И в них солдат с ружьем, ствол ружья рос у него изо лба, как дуло винтовки. М.б. солдат в зеленом платье — посланец эпохи кватроченто? Сбоку — электростанция с молодыми рабынями, плоды молодости.

Эрос я знал, знаком с эротикой. Волосы мои вились, физиономия и руки греческие, ноги идеально сложенные, правда, одна короче на 1,5 см из-за гипса в детстве, но любовь нимфеток и юных ню не мерит сантиметром длину ноги.

Не помню, какое тело у девочек, гладкоствольное или пернатое; сексуальные выходы. Среди паров и вод, в мыльной мгле я смотрел на женщин в упор. Горячие шайки, мокро. А после мытья — абрикосовые!

В галифе револьвер.

Если человек с гаубицей идет на ч-ка безоружного — это пропащий, стреляй из галифе и брось падаль в саду жизни.

Мое двенадцатилетие (13?): я, Виктор Сумин, Бур Великий и Игочка Домнин наладились водки, попали на Высокий замок и летели оттуда долго. Любовь к бутылке и бутылкам.

Многообразие гроз.

НЕОКОНЧЕННОЕ

Дом Артура скрыт дубами — 14 громад-ангелов стали в круг, тут и дом. В. Жуковский и Н. Языков; В. Даль; заглядывал Пушкин. Тут пил, как ликерная рюмка, Игорь Северянин. Черный баран — это Арап Петра Великого, я ношу жилетку из тех кудрей. Бармен Артур Рут назвал дом (хутор!) «Ананасы в шампанском» и открыл бар в подвале, где лопаты. В Оперном театре процессы над космополитизмом. На афише А. Вертинский с поздне-польской отвислой челюстью. Песнь пояше: «Весь я в чем-то армянском, в чем-то азербайджанском!» Т. е. костюмы нацменьшинств. Поет: «И может быть, теперь в труппах Сан-Франциско лиловый негр вам подает манто». Плакал он. Буря рук! Бриллиантовый космополитизм! Шлем воздушные поцелуи. И уехал бы он целенький в Москву, в молве с рулоном рублей, но не сообразил, где он. Он шагнул через край. Он стал на колени. Он стал целовать пол. Это потом сказали, что он целовал русскую землю, таким путем.

Но это был 1949 г., а парижский слюнолиз целовал доски сцены, где шли, не переставая, суды N 58. День-ночь. Встал Бур Великий, тончайший. Он сказал: «Пепел Клааса стучит в мое сердце». — Бей бебонова Иуу! — крикнул Игочка Домнин, с выбитыми зубами. Виктор Сумин положил на пол гранаты (холостые!) бить башку. Нюся Черепичко (цыганка) и Милка Файнберг-Тохтер, мастера стрельбы, легли плашмя. Настоящие подруги! Загремели «танки», мы срывали башмаки и швыряли на сцену, косяком. Воздух завился веревочкой, ль...не бежали потоками в г. Ль. Как хорошо обученная свора, мы шли к сцене. А. Вертинского взяли в круг мундиры. И это б ничего, но уже у сцены вошли войска, курсанты Политучилища, эти спустили ремни со свинцом. Зашатались головы. Кровь брызнула рекой. Прошумели первые пули. И в этот трагический час на галерке вскочил самый маленький, сын коменданта г. Ль, Виктор Курсанов, ему и было-то лет 7-8. «Время звенеть бокалами!» — вскричал страшно Курсанов. Свою галерку он вел с зажженными флаконами огня. Загорелись сотни солдат. Милиция стояла в лимонном свете, горя. Заполыхалось! Потом тушили театр и сказали, чтоб мы шли в дома. И пошли, крутя побитой башкой и говоря сквозь кровь: «О беда, беда! Взяли наганы, а не взяли патроны!»

СМЕРТЬ И. В. СТАЛИНА

Я хоронил М. И. Калинина, его гроб несли на плече, как на субботнике — Сталин, Берия, Молотов, Ворошилов, Каганович и ряды друзей всесоюзного старосты. Этот умер в Москве, реальнейший из реальных, от водки.

Где умер Сталин? Сколько дней не сообщали о его смерти? И т. д. — это народные нервы, позабыли, что в Кремле старик, с тяжелой биографией. И умер. Думали, что СССР восстанет против его смерти, будет землетрясение у ног, враг, лей медь, куй пули-люди!

Ничего такого.

Когда умер И. В. Сталин, по улицам земли пошли машины в черных подковах. «Маруси».

О чем говорить? — Говорят о смерти И. В. Сталина, как это хреново для народов.

Потом жгли звезду и крича «ой, ой, ой!» бежали у огня. Март, иды.

НАБРОСКИ

Наброски важнее, чем книги, где главы — раскрашенные картины риторики. Не стоит доводить фразу до редакторского совершенства, она станет точной, но будет мертвой. Пусть уж живет в

черновиках, не выходя от автора. Ксенофонт и Геродот. Их фразы настолько самостоятельны, что приближены к жизни. Уж и забывается, где документ, а где бред. И сивая кобыла у Геродота вздохнула к ржанию в битве — к тексту.

Образец русской живой речи — Российская Грамматика Михайлы Ломоносова: знаю, иду; странствую, воздаю, охаю; трясу, глотаю, бросаю, плещу; колеблю; пишу. Глагольная биография! Русская проза неизвестна. Этому мешает неправильное развитие детей: авторы 12 в. напечатаны в 19 в. А авторы 20 в. не будут напечатаны никогда, до них русские не доживут. Так что русский язык — это порыв, каждое поколение идет с нуля, если физически не уничтожено — оно. И приходило к нулю, у него нет ведь степеней. Уже Евгению Онегину Пушкин придал вид апокрифа, незавершенности, антиквариат при жизни. Через сто лет это подхватят футуристы. Незавершенность жизни, ранняя смерть — тоже набросок, колорит точки. Самое красивое в этой системе — многие точки. Не ломай цветок, дай ему дохнуть просто, без словесности. Геронтизм «великих» не красноречивей их умственной отсталости.

Молодость — это набросок.

Набросок женщины волнует, а сама — нет. Леонардо бросал кисть в миг большей силы цвета. К примеру, в донне Литте — ультрамарин, с плеча. То же у Пушкина:

— Плыдем... Куда ж нам плыть?

Ультрамарин. Пьесе нет конца. А хотелось бы знать — куда плыть?

Но Тот, Кто знает, руку взял в свою — не пой, поэт!

И мастер Жуковский, честный рыцарь, сидя над мертвым гением Александром, только и сказал, в священной тоске:

— И что-то.

Над ним свершалось.

А что? Точка. Пушкину 37, Жуковскому 54. Сошлись две роковые цифры — смерть и крах. У 54 уже крах, холостяк, он еще будет жить с женщиной, нимфеткой, сладость, очаг, дочери. Его жено-человек будет сумасшедшей, и у учителя царей и министра — впереди 16 лет беснований, а не песнопений.

/ Тяжелые песни говорятся в прозе. /

Книга — цветок, но ему нельзя доцвести, это уж будет плод. Все книги Пушкина — цветы, а Жуковского — плоды. И Гете — плоды. И Жуковский дружил с Гете. Плод с плодом.

А цветок с цветком не дружны. Закон красот — кто кого?

Кто — кого! — закон любви.

Любви — убви.

Я не верю в труд, он напрасен. Где пот, там и видим потное — Саламбо, Воскресение, Бальзак. Не стоит писать о писателях, а не обойтись.

Лучше б жить, одни дни ведь — полнота. Но в доме дождя, ведущего рев 5 дней, что делать с 6-ым? Поставить на нем много точек...

ЖИЗНЬ — И ОДИН РАЗ!

Прошлым живет тот, у кого его не было / и пишет тетрадь-самоутешитель, к примеру Марсель Пруст.

В литературе Байрона фатовство и пустозвонство, но в жизни он гениальный поэт.

Почему тяжелый осадок от людей? От всех.

Лира, ее вид — это бык за решеткой.

Я обеспокоен, пора стелиться. Лег. Смотрю в окно: чьей ногою гоним летит с лестницы ребенок?

Как оскорбительно Гоголю было всеобщее русское признание, до побега в Рим. Смех над Гоголем, заливной — вот что оскорбляет.

Октябрь — месяц восьмой, окта, по римскому календарю. Ноябрь — девятый, а декабрь — десятый. А где ж еще два? Какой хороший свет с утра был, а вечером по ТВ монгол поет, это трудностями веет. Монгол по-французски: мон год — мое золотце! Может быть, есть иная, другая жизнь? Много женщин-подонков, чешут свою жизнь, как продажную шкуру. До сумасшедших всем далеко!

Здесь организованный хаос и пропаганда агонии. Отключили холодную воду и нет света в коридоре, сломан лифт — не хватает воды. Только в темноте до меня дошло, что собак любят от страха, отнюдь не из нежности; собак и старух.

Что-то было между жилеткой и тележкой — буквы равны, до одной, п. ч. те произносятся как ти. Я уж давно пишу справа налево. Есть Божья дрожь художника, а кроме нее ничего нет. Немец Томас Манн в те годы крушения людского вез через океан в Америку с фашистской родины — шкаф белого дерева, письменный стол и диван, чтоб давить его задницей. Не считая трех танкеров пиджаков, галстуков и носков. Это — реалист, нобелиат. Американец Эдгар По сдох пьяный, как лошадь, пал на четыре ноги, крестцом об пол, и долго догадывались — кто это, Дух Святой или конина? Это — поэт. /Твоя страна не та, где ты, а в какой-то другой стране.

ЗОЛОТОЙ ЛЕВ

«Очерк о золотом льве». Речь о статуэтке льва, а смысл — золото и живой образ.

«Если смотреть на льва, а не на золото, то лев будет ясен, а

золото будет скрытым. Если смотреть на золото и лишь на золото, а не на льва, то золото будет ясно, а лев будет скрытым. Если смотреть на обоих, то оба будут ясны, оба будут скрытыми». Как просто, до слез. Перевод мой.

Пасмурно, письма не едут.

И о Десяти ступенях, 10 земель состояния Будды.

1. ступень радости
2. ступень покидания грязи
3. ступень понимания
4. ступень совершенства в смелости и силе
5. ступень труднопобедимости
6. ступень настоящего и будущего
7. ступень дальнего пути, начало проявления милосердия ко всем существам.

Стоп, ни шагу, не быть буддой. Дальше начала милосердия я не могу. Начну и кончу, другие обеты не дают сердца. Мне не достичь трех верхних ступеней — 8. завершения странствования, 9. доброй мудрости достижения десяти святых сил и проповедь ее повсюду, 10. ступени идеального облака — состояния Будды — мне не достичь.

Это три стены, и каждая из лжи.

Это уже отвесная скала, о которую бьются, кто хочет стать Буддой.

Но они люди.

ВОТ ТАК ТАКИ

Без воображения, а то я б создал биографию августа, башни, луну и даму, и двух псиц. В 01 час из-за башни выходит луна, а из-за нее дама с двумя псами. Или ж из лужи они вышли, в августе лужи глубоки. И идут, идут, — новелла, как у Боккаччо. Но я не он. Мой ум в ландышах. Я пишу без выводов. А столяр строгаёт раму морали.

Мое дело — заполнить холст.

А чем? Сон начинаем с ног. Позвонил девушке в шелку, а в трубке АЛЛО, голос Создателя! То есть, у девушки в ногах знакомый. Что ж плохого? Не звони, веноз. Девушки не сидят на ветке с надписью ЖДУ, они летающие. Их АЛЛО зовут.

Бедная тишина.

Хоть бы кто-то закудахтал, как ребенок!

Луна дошла до угла.

Был у меня друг, длинный, в шляпе, коммунист, с маленькой головкой. Он говорил на О, как волжанин. Он говорил: О, Роңдо! До! Алло! Рококо! Стоило мне влюбить девушку, как он поил ее рюмкой и без любви, по-чаддонски делал ей «лабэ». Лабэ-то

лабэ, а опасается мести, вот и сейчас в трубку АЛЛО сказал, и ему тяжело, тяжело, окутан модуляциями.

Спасибо за тоску.

В этой цветочной ночи — река книг, плывут челнок и колечко, и окружности. Значит, луну ловлю после 01 часа. — Вот так так! — сказала б Лиля Юрьевна Брик.

РОЗЫ И РУКИ ЛИЛИ БРИК

Розы в чаше с вином (бывшим), я купил чашу, гравированное серебро к 85-летию Лили Брик.

Нет никого, как Лиля! Огненно!

Мы отметили День. Я пришел через месяц.

— Вы мне урну купили, гробовую, — сказала Лиля. — Вот, возьмите, подарочек!

Вынесли чашу, а в ней розы, те же! Высохшие, как живые.

— Как я! — сказала Лиля. — А роза упала на лапу Азора! —

если Азор — это смерть, собачья. — Смерть, не смей! — сказал

В.В. и выстрелил в ребра. — А и мне шею хотели свинтить, —

сказала Л.Ю. — Пришли, один со шрамом, второй в бэрэте.

Бандюги. Говорят, их Музей Маяковского прислал. А там таких

и нет. Говорят, отдайте кольца. — У Лили на золотой цепи, на

груди два перстня: ее и Маяковского с инициалами ЛЮБЛЮ,

свадебный дар поэта; громадные, много золота. С нее 40 лет

срывали эти кольца в Фонд Мира — то те, то эти войска; не

отдала. Лиля до конца жизни ела кровавые бифштексы. Ни диеты,

ни режима. А руки длинные, девьи, маникюр алый, веснушек

много, она ж рыжая была.

Рыжая, рыжая с косой. Своею. Блестящей. Глаза громадны, лоб

открыт и — смеется, широко! Всегда!

Когда мы ходили на премьеры (кино, teatro, музык), и с Майей

Плисецкой, Лиля обязательно встанет среди помпы, плюнет и

узким кулачком себя по башке стукнет:

— Эх, ты, бабда, идешь не знаешь куда!

Всегда скандалила.

Она дважды пыталась покончить с собой. В третий раз —

удалось.

Когда им было по 20, Маяковский позвонил, рыданс и крики:

если не приедете, застрелюсь! Голая, из кровати, вдев соболя,

Лиля вскочила на лихача и понеслась к В.В. Поэт открыл дверь,

сдержанно.

— Где револьвер? — крикнула Лиля. Она была очень правдива:

стреляться — так стреляться. Маяковский тихо показал. Лиля

вырвала, взвела курок, приставила к виску и выстрелила.

Осечка.

— Вы лгун, негодяй, провокатор, скотина! — взбесилась Ли-

ля. — Я Вас изобью вашим дулом! Не впутывайте меня в Ваши пуанты, трус!

Владимир Владимирович, носивший тогда густую гриву а ля лев, ложившийся в постель, как в кинофильм, в смокинге и с палкой сбоку, с намаженным ртом, он легко взял у Лили револьвер и вынул барабан.

— Вот Ваша пулька, — он дал ей пульку с осечкой. — Отложите ее.

Она отложила.

— А вот еще шесть, — сказал поэт, — посчитайте.

Патроны выпали в ее руку, она осмотрела — еще один был с осечкой, свежей.

Он не верил, что она кинется к нему, бросив ночь, жизнь, Осю.

Она — кинулась. А он, пока ждал, не утерпел, выстрелил.

У этих двух была связь больше любви.

И ДАВИД БУРЛЮК

У меня 124 письма от Лили Брик. С 1960 по 1978 г.

Из разных писем Л.Ю.Б.

60 г.

«Жаль, что нельзя послушать Вас. Только иногда магнитофонную запись. Я убеждена, что Вы сейчас N 1».

62 г.

«В Антологию Эльза Вас включила. Говорит, что труднее всего перевести Пушкина, Лермонтова и Вас!

Не помню, написала ли я Вам, что 1 экз. Вашей книги послала в Париж и один в Прагу, я рассказывала редактору журнала «Культура» о Вас и заместителю министра культуры. На обратном пути буду говорить еще и еще, чтоб запомнили.

Вот цитата из письма Иржи Тауфера: «Благодарю за книгу Его. Удивительная, мне нравится. Когда кончу Хлебникова (я увлекся и не могу оторваться), начну переводить Его». В Праге увижу Иржи и еще подбавлю жару. Каждый день говорим по телефону с Асеевым. Ничто, кроме Вас, его не интересует».

64 г. (я уничтожаю стихи и повести).

«Дорогой, сегодня получила Ваше письмо, огорчилась, стала звонить Вам — от Вас нет ответа. Стараюсь думать, что это — настроение, а не состояние, что временно. Вы удивительный, ни на кого не похожий. Надо стараться, чтоб это поняли. Ради Бога, ничего не уничтожайте! И не «подводите итоги» — слишком рано! А уничтожить под влиянием минуты можно много хорошего. Кто, по Вашему, Великие? Почему до них расстояние — 10 лет? Эти десять лет у Вас уже позади. Уже идете с великими в ногу, уже начали обгонять».

65 г.

«Мы дома! И очень этому рады, хотя съездили хорошо. Привезла Вам карандашей массу. Завтра прилетает Бурлюк. Вот так так! Надеемся, что он (ему 83 года!) и его жена Маруся долетят живые и мы их встретим на аэродроме... Сегодня нам привезли Ваше письмо и «Триптих». Завтра будем в городе и я передам книгу Давиду Давидовичу. И рукописи».

Алексей Елисеевич Крученых тут же позвонил мне и вскричал:

— Давид — да! Давид сказал: Да! Это — Он!

— О чем Вы? Что это значит?

— Это значит, о Вы, что Вы — настоящий Он! Давид — это пантеон мировой гениальности, и Вы пробили его сердце, как стрелец. Вот это восторг!

Тут же Е.Р. привез открытку от Д. Д. Бурлюка. Вот она:

«Ты — настоящий Он! Жми! Я вырастил весь футуризм, я вырастил двух гениев на В и вот вырос другой, без меня, но наш. Не третий, а другой, самый высокий на В! Победа! Ты жми, и я жму — руку! Летучий пролетарий — Давид Бурлюк».

И ЕЩЕ ИЗ ПИСЕМ ЛИЛИ БРИК

68 г.

«Только что позвонила Хохловой насчет пуделя. Есть белый пудель! Ему один год. Он золотой медалист, но недавно сломал клык и его хозяин, негодяй! хочет его застрелить!!! Если Вы хотите и можете взять его — сообщите мне до 25. Я забыла только спросить — надо ли за приговоренного к расстрелу что-нибудь платить... Постараюсь дозвониться еще раз Хохловой. Из Переделкина это мучительно трудно. И стоит ли Вам брать беззубого? Обнимаю еще и еще Лиля».

69. (нас не пустили в Париж, сняли с самолета)

«Дорогие наши М. и Вы! Мы в полном омерзении от случившегося. Думаем, что это не столько из-за вас, сколько из-за Клода. Всю ночь сегодня мне снились кошмары — погром: проверяли мою национальность. Я просыпалась, засыпала и кошмар продолжался! Ну да что говорить, когда нечего говорить. Ни одной душе не говорила о том, что Вы собираетесь ехать, и только избранным скажу о том, что не поехали. О господи, что же делать? А мы никуда и не просимся. Не хочется писать обо всем том, что я передумала за вчерашний вечер, сегодняшнее утро... У меня давно не было такого огорчения. Как обращаются с Таким! Как не щадят!»

14.05.78.

«Дорогой Наш! Спасибо за удивительно интересное письмо. Не спрашивая Вашего разрешения, я всем его показываю. Не удивляйтесь моему карандашному почерку: два дня тому назад я

упала и зверски расшиблась. Идти в больницу категорически отказалась. 16-ого мне привезут рентгеновский аппарат и мы узнаем, что к чему: перелом шейки бедра или что-нибудь полегче — вывих, ушиб, растяжение. Но скорее всего все же перелом шейки бедра!!! Несмотря на это, ЛЮБИТЕ МЕНЯ немного. Жить мне осталось недолго... Вася и я крепко обнимаем Вас и очень очень любим. Ваш верный друг Лили».

ЛАВРОВЫЙ ПЛЮЩ

Л. Ю. Брик и безделушки.

В простенке у окна Пиросмани, на клеенке, где он с чайником и ЧАЙ буквой написан. Темновато. Деревянная статуэтка Тышлера и Лилин портрет, он есть на обложке монографии. Рисунки Маяковского и Бурлюка; в ноги — толстый ковер, Ф. Леже, я засматриваюсь — бутылку под голову и лечь бы. Но нет, ногами топчут. Настоящие подносы, Палех. Масленки в горке, старинные, из руси. Их пришлось продать, когда Эльза умерла, жить стало не на что, наследство Арагон заюриспруденцировал. За эти масленки (с них!) мы сосиски варили, как в блокаду. В коридоре портрет Маяковского, Чакрыгина, фольк-артом навязанный, это больше лже-Чакрыгин, мазано сильно, а тот не сильно мазал. Лубки Малевича. Живопись М. Кулакова, его наилучшая НЮ второй половины 20-го века. Этого (МК) я навязал в други, но потом Лиля его полюбила. Набор бильбоке. Соломки Тышлера. Портрет Лили, Штернберга.

Думаю, что большинство взято в музей, т. е. в никуда и никому, лежит в бочках, подвальных, загипнотизированное; как Филонов. Как Лиля лежит, исчезнувшая.

Но на окне! — большой горшок, глиняный, с плющом. Толстые лавровые листья, стебли завили в шар, и сидит попугайчик, разноцветный, с клювом лаковым. Иногда глазом мыргал. — Он живой или неживой? — спрашиваю Л.Ю. Как она смеялась, существом жизненным! — Потрогайте ему кожу, щипните! Нюка! — так его зовут, — мыргни глазиком, мырг-мырг сделай, пжалста! — Пжалуйста! — шипел попугай и мыргал, глазом. И головкой вертел, как самолет, если всходит. Никуда он не взмыл. Шутка.

Зимним вечером, заря красит окно плавкой марта. Я пил глоточками скоч, на фоне окна и яркости за окном — птица изумрудная!

Я: — Лиля Юрьевна, а Вы-то знаете, живой попугай или неживой?

— Как я! — ответ, рапира. — Я ведь тоже попка, я живой или неживой? — и ее глаза повернулись. Они часто были оттуда. Что в них?

Над твердым лбом волосы, крашенные хной, и коса, большущие глазницы, и в них рожь морская. «На серебряной ложке протянутых глаз мне протянуто море, а на нем буревестник!» — это о лилиных глазах Хлебников, тихий хитон. А Лиля о нем говорила с удивлением, что повидались же таки на этом свете. Души повидались, со стеклянными головками, встал за окном гром и убил. Заря русская!

Лиля очень любила М., они без меня — перезванивались, страшно хохотали. Когда стало не смешно, и Лиля ничего не поделала, не смогла. Она только так смотрела, горестно и огромно: — Что ж Вы наделали, эх, Вы, делегат Высших весей! Ведь жена ж Ваша не поэтохроника, у нее ножки в ямки ступили. Подарите ей сапожки! Но не бросайте Вы без толку! Эх мы, — грозила она попугаю, — пропащие щепки, а, Ньюка! — И тот фыркал: — Люб-люб! Пжалста! — и мыргал веком, кованым!

После смерти Лили я хотел его выпросить, да буднего дня не шло, наследники новый дом выветривают, не до попугайчика, пятимонетного.

ЛЮБИ МЕНЯ!

Жизнь — внешнее, а есть кому сказать слово — не гибнут. Но некому. И это отсутствие — смерть.

Не живут же Эти молча с красной скатертью на спине, а кричат на весь мир! Послушали б они со стороны, что кричат.

Дни хороши.

Окна, как стая акварелей. Дома из электроплиток, фаянс. Чай в стакане, черно-дымный.

Снег взлетел, как кипящий орел.

И снова декабрь, окна как бы поставлены под углом.

— Я дам тебе все, все земное, — ЛЮБИ МЕНЯ! — это Демон — Тамаре, в Грузии. А она в ответ — грехопадение.

Грехопадение! У Тамары!

Маяковский в последней эпистоле Правительству не вынес речи векам, и приписка: «Лиля! Люби меня!» — живой Лиле, уже загробный.

Демон — одаренный одиночеством, женщины от них безумеют, но любят они человечков.

Те говорливы, а эти молча, весь декабрь, до 22 — живут.

Культ Лермонтова широк у футуристов. Демон:

— И будешь ты царицей мира, подруга!

Пастернак:

— Спи, царица Спарты, рано еще, сыро еще!

Асеев:

— Царица, жемчужина мира! — это он о жене, Ксане.

Маяковский:

— Слепительная царица сиона евреева! — о Лиле, только ей.
Крученых:

— Люби меня, царица мира, не лай! — Ольге Розановой.

У Хлебникова много цариц, и Синяковы, чище вод петрозаводских.

Футурист любит один раз, потому и требование: ЛЮБИ МЕНЯ!
Но на пути любви одни смерти. Этот Бог беспощаден, я подчиняюсь, п.ч. я его отпрыск, но не люблю его.

Нет ничего хуже грязных дней, это о 12 декабря. Хуже худшего — это грязь, а днем и того хуже.

Я и Флобер — тема вечная. Я вот уже 4 дня пишу одну страницу. И не допишу. А еще ее приводить в вид искусства — ... 100 дней.

Я нес поражения сам, но когда их слишком много, это уж скучно, да и вопрос: что ж с ними делать?

Что там внутри в этом месяце во мне?

Творится?

МАЯКОВСКИЙ В БУТЫРКАХ

Рост Маяковского 1 м 81 см — не^с чрезвычайная высота. Блок был равен, а Хлебников — выше. Каменский еще выше этих, пока были ноги. Отец Маяковского — глухой, он и булавкой поранился, у глухих осязание и вестибуляр слабые. Чин отца — лесничий Кутаисской губернии; не лесник. Переводя на наши ведомства — генерал; не беднота.

В. В. Маяковский родовит — мать урожденная Данилевская, сестра писателя-историка, род Мировичей и Полуботков, династия канцлеров Запорожской республики.

Лучше скажу: не лгите, сыны фабрикантов М. Горький, еще один волжанин с пачкой купюр во всех карманах штанов — Ф. Шаляпин, и а ля сибиряк С. Дягилев. Даже купец-миллионщик Алексеев носил костюм интеллигента под фамилией Станиславский. Нищий дервиш В. Хлебников имел домашними учителями двух будущих министров советского правительства — Н. Брюханов, наркомфин, и З. Соловьев, замнаркомздрава. Асеев писал: мы — плебеи. Интересно, что получил бы он вместо Сталинской премии, если б написал, что его фамилия — столбовые дворяне, что он встречал сестер Синяковых в лучших ресторанах, в енотовой шубе. Все они денди, а Каменский — и титулованный.

У В. В. Маяковского от избалованности комплекс: ах, умру, заплачут земли у юных женщин. Он стрелялся и в «Барышне и хулигане», и с Верой Холодной. Чтоб сыграть в фильме с этой звездой, нужен солидный банковский билет.

В. В. Маяковский попал в Бутырки в возрасте 16 лет. На фотографии (тюремные) страшно смотреть: рыхлотел, девственник по губам, недоросль. Там, в тюрьме, дают Библию.

Он читал ее 144 дня, до отбоя. Он ее изучил наизусть, и больше ничего не читал, он слуховой поэт, с плохими глазами. Он — ритор, пророк, но получивший в юности удар Маятника, гениальности. Потом он от нее отрекся, наступил на горло, а она его взяла за горло, и боролись эти двое.

Никто не начинал поэзию тюрьмой и Библией, в 16 лет. Это шел громоподобный тигр, желтый. У него и рот, как у тигра, однолюб.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В. В. МАЯКОВСКОГО

«Этот человек был этому гражданству единственным гражданином» — о Маяковском — Пастернак.

Этот гражданин — целен, кроме свежевывытой сорочки с выстрелом на груди, у него ничего не нашли. Еще 6 пар подкованных башмаков, американских.

А искали.

Копию письма И. В. Сталину, 17 страниц, книжечка.

Отпечатки рук-ног посещавших Маяковского в ту ночь. Чьи-то найдены, но их замыли. Кто? Поэт полы не мыл. Если ж это убийцы — кто мог мыть пол? Убийцы — не полойки.

Кто первый сообщил о смерти Маяковского и прямо — Вверх, значит, знал секретный телефон. Жестче вопрос: кто был рядом при смерти поэта, чтоб сообщить?

Если ч-к стреляет в сердце, должен быть револьвер. Револьвера на месте не было. Далее. Я исследовал рукопись «Про это»: Маяковский левша и писал левой рукой. И стрелял левой.

Он стрелял левой рукой в сердце, лежа на левом боку. Не акробатика, удобство. Из этого сделали скандал — труп найден на левом боку! Кем, кстати? И уже закрытый одеялом. Он стрелялся под одеялом, тайком от Времени, для себя.

Накануне.

Он писал Сталину, а потом плакал — Сталин не согласился на его условия. Маяковский берет дуло с огнем и сжигает сердце. Я уже писал о стрельбе В.В.М. по мишени — по Я. Но слом психики с кругосветной поездкой, с возвратом в ад. Как до него Есенин. Как до Есенина обезумел Блок. Как после Маяковского ушла из настоящего ада в условный Цветаева.

С неслыханной славой — одинок, до неправдоподобия. Его женщины принадлежали другим и не уходили к нему. Их стало слишком много. Лиля Брик о ту пору — верный друг, оставим. На лбу у льва филологические шишки, это Лев Толстой со своей бездуховностью. И у тигра шишки, но лоб узок, велики губы. Мир он впитывает губами. Женщинами. За неимением иного.

И тигр начинает метаться в 37, смена крови. Ему нужно много мяса, с утра до ночи, круглосуточно. Ему ничто — свидания в

углу. Он предлагает брак сразу 4-м женщинам: Веронике Полонской, Хохловой, жене Хосе де Ривера и нескончаемый звон в Париж Яковлевой, любовнице. Все отказываются по своим резонам. Хуже того — отказываются от брака и женщины на ночь. В.В.М. в тупике.

В 60-е годы журнал «Огонек» открыл полемику о смерти Маяковского. Адресовались к Лиле. Лиля с Осипом в Лондоне, когда застрелился Маяковский. Сложно убить из револьвера поэта, еще никто не целился из Лондона на Лубянку, а если целился, не попадал.

А некто из гос. чиновников т. В. пытался доказать, что Лиля Брик является именно тем типажем, кто стреляет так метко.

Что началось! Лиля стала чуть не антинародным героем. Т.В. уверял, что она и сейчас во Франции, живет в золотых кладовых. Французская компартия опубликовала открытое письмо о том, что Лиля в Москве, советская. Писал лауреат Международной премии Мира, культуртрегер ЦК Луи Арагон. Это было как удар грома, — т. В. Он и знать не знал, что Луи Арагон — муж Эльзы Триоле, родной сестры Лили Брик.

Тут же Скотланд-Ярд и Интеллидгент-сервис напечатали документы о пребывании Бриков в Англии в тот день и час, в час стрельбы. И что не надо льстить Великобритании, у них еще нету такого револьвера, который был бы так дальнобоек. Подписи руководителей этих дел скрепили 9 членов Академии оружейников.

Т.В. запретили заниматься Маяковским.

Еще автор этих строк писал, что подозрения неизбежно ударят по гос. аппарату, хотя это и не так. Потому что у здраво мыслящих возникнет вопрос: от кого защищается т. В. столь страстно, что обвиняет лиц с абсолютным алиби, на нашем красном свете?

В последние месяцы Маяковский запустил внешний вид, перестал стричься, и ходил в советском костюме с жилеткой. Никто его не убивал. Никому он не нужен уж был. Ему уже некуда деться ...было.

ВЕРНЫЙ ДРУГ ЛИЛИ

Маяковского везли, как вождя, на броневице, по нео-царски. В почетном карауле стояли те, кого расстреляют, потому и нет фотографий. Г. Оцуп, поэт-фотограф, сказал их имена, один другого громче, мировая политика.

Некрологи были от каждого члена Политбюро, в частном порядке. Мировая пресса бесновалась. Лев Троцкий опубликовал плач о Маяковском, как память о своей буре. ВЧК вывесила флаги с изображением Маяковского в Монголии. В Тбилиси 37 юношей-

грузин (по числу лет Маяковского) на центральной площади застрелились. В Мексике дочке Маяковского дали пожизненную ренту.

В СССР на Маяковского был наложен запрет. Для народа еще выходили кое-какие книженции, набранные при жизни, но имя снято из критики, вычеркнуто из Энциклопедии, книги из библиотек изымались и жгли их. А публично заявил анафему один РАПП. Забавные бездны: еще жив его председатель, он на днях поздравил меня с 50-летием.

Б.Пастернак сидел в Президиумах, счастливый. Ося — тоже. Лиле это — надоело.

Она вышла замуж за предмаршала Примакова, с условием: он идет к Сталину с делом Маяковского: в 1934 г. вышло официальное запрещение на издания. Примаков, легендарный вождь красного казачества, из тех, кто в роковые времена слагают стансы и идут на плаху. Он пошел к Сталину, а Лилия написала письмо, длинное, по всем пунктам Маяковского. С этим письмом и явился предмаршал пред очи Генерального Секретаря. Один был молод, второй сед, но Сталин ценил рискованных, что и доказал потом пулей — в Примакова.

Сталин недолго держал письмо. Уж утром оно на столе у Февральского, в «Правде». И появились знаменитые сталинские слова о величайшем. И началась мистическая чехарда, когда живейшего облили бальзамом и — ну, делать мертвеца! Мумификация, как видим, удалась. Мы снимем некоторые мифы. В частности, что не было письма В. В. Маяковского И. В. Сталину. Я читал эту копию, но из рук у Лили. И что не было письма Лили Юрьевны Брик к Сталину, а это нажим народа. Письмо Лили — не секрет. Вот, скажем, цитата из письма Лили Сталину, я выписываю дословно:

«Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Это и далее — слова Лили, подчеркнутые Сталиным и подписанные его инициалами, красным карандашом.

А оба письма переснял на стеклографе А. Е. Крученых, не в одном экземпляре.

Героизм русских женщин не поддается слезам.

Долго удивлялись и ходили грязные подозрения — почему Лилия и Осип не расстреляны, если весь Леф и Реф пошли в расход? Почему они уцелели? Они об этом не знали. Ося на этой «почве» ушел из жизни в 1945 г. И лишь в 70-е, кажется, Р. Медведев опубликовал в Англии документы, где сок выяснился: они были расстреляны, как все, без исключения.

Были б!

Но в списке-меню, поданном к столу Сталина, напротив фамилий Лили и Оси стояло:

«Семью Маяковского не трогать. И. Сталин».

До сих пор советский, да и не один он, народ убеждены: Лиля умерла в Париже, в Америке и в Лондоне. Лили Юрьевна Брик покончила с собою 5 августа 1978 г. в пос. Переделкино Московской обл., а всю советскую жизнь жила по адресу 121248 Москва, Кутузовский проспект 4/2 кв. 431. О русских женщинах прибавка. Если 6 копии писем В. В. Маяковского и Лили Брик — Сталину были 6 распространены, под расстрел пошел бы еще один слой русской культуры. Эти штуки хранила М. Синякова, на даче у Н. Асеева, на Николиной горе, под боком у дач Прavitельства.

СИРЕНЬ

В Советскую Азбуку не вошли некоторые поговорки Маяковского, вот эта:

«Горы времени у Ноя,
Гонорея — грань героя».

Венерические заболевания привезли комсомолки из провинции, неповинные. И с фронтов — солдаты революции, об этом отчетливо у Бабеля (из разрешенных). У Булгакова этого хоть отбавляй — для «Березки». И т. д.

Как-то у Бриков шел пир. Вообще-то среди футуристов не было пьяниц. Но пир — не запой, а веселый стол. Поэтому и пили. Хлебников, к примеру, любил красное вино, страшно. Мог, не отрываясь, выпить несколько бутылок. А мог и не пить годами. Вася Каменский пил уж потом. Асев шумел, от стаканчика. Крученных в рот не брал. Осип — слизывал стекло. Маяковский любил пробовать вина, как занятие. Откроет бутылку, глотнет и отдаст, его за это в компаниях любили больше.

Но в курении беспощаден. Отпили, игра в карты — горой, всех тянет к дыму, просят найти папироску, молят, иначе и игра не в игру. Нету!

Ушли. В.В. идет к шкафу и несет коробку, непечатую. И — дым столбом! Лили:

— Это свинство, не по-товарищески, как Вы жалки, скупы!

В.В.М.:

— Эти товарищи не курцы, а так. Мне нужнее.

Он и спал в окурках.

Но о наших девушках.

Пришел Маяковский, его именной стакан, налитый, на столе. Он берет его рукой в платочке, ставит на шкаф.

— Что с Вами, В.В.? Вы — больны? — обеспокоена Лили.

— Я здоров, — говорит В.В.М. — У меня триппер.

— Господи, и кто же? Какая гадина Вас наградила?

— ... (называет имя, отчество, фамилию).

— Ах ты, так сказать! И что Вы ей сделали?

— Послал букет сирени.

Он часто залетал в сирень.

Так и пошло. Приходит Яхонтов, а в обеих руках — букет сирени. Букетище. Ясно, рюмку убирают, не питок. И т. д.

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ

Футуризм — это будущее, — смерть.

Футурист — смертник.

То есть жизнелюб. А фамилии: бурлить, маяк, хлеб, камень, крутить, боевой (асей), овощ (пастернак), — все они вещи, нужные, зрелые.

Интересно, что они по национальности — запорожцы: Антиподы: Пастернак выживал в роли слуги Шекспира, в позолоте, а Крученых, водохлеб, он одну воду ел сквозь ноздри, но не Диоген, куда проще: пенсия 42 руб.

Асеев и жизнь переживал, как ТБС, но выждал меня, и уж склонув с ветки в мир, — сошел с дома, гордый, актерствующий, злой, как лезгинка.

Что осталось от них? — Юность. Безвозмездность. Тигриные глаза, желтый парус рыси — в цирках мирового масштаба. Итальянцы с фаши и в гвбздки сапог не годятся — русским. Сравним: Хлебников — интуит, Скрытый имам, Председатель Земного Шара и — Маринетти, многоштанник, фашистик, сурок, параллелепипед на животике у нимфетки, педиор!

Футуризм — голая гениальность.

А уж толкуй, как.

Первый русский футурист — княгиня Ольга, чернокнижница, как она по-евреиновски сыграла буфф с волхвами и древлянами! Второй — Святослав, единственный в истории воин, писал врагу: ИДУ НА ВЫ! Третий — Ярослав Мудрый, чернокнижник, дочелюбец, буквоед, мирный. И игумен Сильвестр, автор повести временных лет, вот что он пишет о Родине, сукин куст:

«В год 1028. Мирно. Знамение змиево явилось в небе, так что видно было его по всей земле.

В год 1029. Мирно было».

У Сильвестра русская история без идеологии, футуристична: цифры и метафора. Это ему Змий явился.

А как не счесть футуристом поэта, композитора, шахматиста, писателя и философа Иоанна Грозного, он шел, как штык, пронзая путь. А затем — Гришка Отрепьев, вор-король Русский! Писал грамотки в стихах. За ним — Ванька Каин, поэт, полицейский, вор и убивец, автор самой древней из песен «Не шуми ты мати, зеленая дубравушка», его и убить-то не смогли, он и исчез в будущем, не дотянуться. А Петр I? Щеки вздернуты,

усы вставлены, рука работает. У кого из народов такой царь? Ни у кого. Написал два романа «Война со Швецией» и «Все-
пьянейший собор». Не издано. Суворов — военный устав в
стихах, а Альпы? Ломоносов? Тредиаковский? А до них —
баңдуристы, а от них — Шевченко. А от Шевченко — Хлеб-
ников. А до Шевченко — Державин, а от Державина — Гоголь,
отец футуризма. А Достоевский дал Раскольников, Митю и
Идиота, предшественников, а от них уж тут пошли детки,
поэты, Володя и Витя.

Но я не историк. Я уделил эту страничку, чтоб сказать, что нету
первых начал. Отступимся немного. Футуризм возможен лишь
один, вне закона. Узаконенный футуризм — это канцелярия,
маринетти, Леф. Леф — это гримаса, профанация на лице людей.
Новый Леф — пахло пулями.

Одну из них и взял на себя узаконенный футурист — вельможа
В. В. Маяковский.

Застрелившись, он стал вновь любимо-юн.

В мировом пантеоне героев ценен застрелившийся футуризм.

Он был готов к смерти.

Футуризм могут признать в той стране, где есть будущее, где
его нет — не публикуют.

Поденщику футуризм — уль в глазу. Психика! Футуризм — это
глаз навывкат, имперский, а реализм — это те, кто обводят гла-
зами, не видя.

Футуризм — это юности честное зеркало. Цилиндр, рукоятка,
взгляд из подо лба, трость тигра, с ног сыплются самоцветы.
Хлебников — это Золотой Маятник, пушкинизм.

Я давно ушел в иной путь, в 27 (лет)... Иные степи.

ПЕПЕЛ И ВРЕМЯ

В шлеме со звездой во весь лоб, через год вошел отец. Шлем
снят — молод, а белые кудри. Мы думали — от света сзади,
ему ж 29. Не свет, седой. Пытки. Год пыток. Вывернуто,
выбито.

Выпрямилось, молодое!

А мать с тех лет не та уж, я только не знал, что с нею. Теперь
знаю.

Я не оплакиваю никаких — их. Но душно.

Жара 29°, я с чтивом.

Читаю на подушке.

Тиль Уленшпигель, детство. Что это?

«Прах Клааса бьется в мою грудь».

Где фламандский текст, невероятно! Читаю, комкаю книгу, опять:
«Пепел отца бьется о мою грудь!»

«Пора звенеть бокалами!»

О мою грудь — низость. Гусь свиные не пара. Не пора! Кто переводчик? Любимов, блестящий. И предисловие: Л. Андреев. Уж куда лучше!

Что ж случилось с Тилем? Что с теми, кто Семеро, с мясниками, почему они перепутали пароль? Предатели.

И еще хуже этот Любимов поправляется в конце книги: «Пепел бьется о мое сердце».

Будто кто-то тросточкой раздвинул ребра и подвесил к сердцу мешочек с пеплом сожженного отца Тиля, и при шаге мешочек чок-чок и бьется, как рюмка о сердце. Слюнтяй. Я знать не хочу этого переводчика, этого Любимова. Не пора звенеть бокалами, а — ВРЕМЯ. Оно бьет в бокал.

Вот что читали и шептали в подушку три поколения русских, униженных, убитых и оклеветанных:

ПЕПЕЛ КЛААСА СТУЧИТ В МОЕ СЕРДЦЕ!

ПЕПЕЛ КЛААСА СТУЧИТ В МОЕ СЕРДЦЕ!

ВРЕМЯ ЗВЕНЕТЬ БОКАЛАМИ!

Н. Любимов. Эх, Вы, старик, не сын своего отца.

Пора пугать бокальчики, пусть они от страха звенят!

И ответным звоном пьют со мной одни мертвецы.

НИКОЛАЙ АСЕЕВ

В год травли Маяковского один Асеев вставал к нему плечом (на сцене!) и говорил: мы!

Размах ножица — от предисловия к первой книжке Б.Пастернака «Близнец в тучах» 1914 г. до предисловия к первой книге моих нот, 1962 г. Он писал тогда обо мне: «О машине времени и нотах Его». Он доказывал русским сорокам, Геодели, Шестой — и футуризм, и меня. Никого не доказал. Громогласен он, как деятель в ничто. Он жил в высшем идеализме — и как эстет, и как фантазер, что поэзия кому-то и зачем-то нужна.

Его глобальная ошибка — он верил в народ, он вообразил не-эвклидова читателя. Это и ошибка молодежи искусств начала века, футуристов.

Но дела — прямые, никто не пересекается, ни кривых, ни вообще пространств — нет.

Его протезе выдохлись, а он еще кричал о них, как о спелых. В старике Пастернаке, гонявшемся за славой Щипачева, он видел еще щегла!

Изысканный, он пел в юности:

— Мы пьем скорбей и горести вино... Дерзай, поэт! — Пастернаку.

И Пастернак летел стихом:

— Пью горечь тубероз...

Асеев подсказывал Крученыху:

— Ребенок утренней порой

Игрался с пролетающей пулей.

На этих строках Крученых строил систему. Асеев писал агитки за Маяковского, а тот расписывался.

Цветаева попала под ударность Асеева:

Белые бивни бьют ют,

в шумную пену бушприт врыт,

— Кто говорит, — шторм — вздор,

если утес — в упор!

И я ставил голос по Стальному соловью.

Уладим дураков и унизим Друга: «Не гений он».

А унизим ли? Он и не стучал в ту дверь, где гость редок. Скажу словами Крученыха, как он шептался:

«Маяковский — служит стихом, он служащий. А Коля — служит стиху. Он — импульс, иголка, звездочка, чистое золото».

Руку на сердце положа, скажу:

— Амен! Я не мог сказать тех слов, что мог бы.

Мы — забытые бездны имен. Не страшно, но не честно. Вот и я старик, и ору, а доказать ничего не умею.

Веслы облепили жирные стрекозы, лодка не делится надвое. А мах у Маятника не виден в ночи. Гремит горизонт, но что ж и он — ожиданье дождичка в четверг? Я — опрокинутый в мир. Что ж — увидеть меня в резком пространстве миллионов туловищ, налитых дождем — не гений? Гений, гений!

Я был раб и пришел к нему с бриллиантом вместо галштуха. Он не поверил, что перед ним — раб. Он сказал мне слово, как Высшему Существу, которое выстукивает ноту за нотой алмазом по серебру. Но это молоток и зубило, из рабовладения. Я был продан в 18 (лет), а он меня выкупил из рабства своим жестом — в 27! Он поставил поэтику на колени предо мною и сказал им: — Вы — денщики, а он — офицер Бога, из бриллиантов! Чисть Ему сапог, неумытое рыло!

А потом он кричал, как ночь на мир:

— Пред Вами — Явление, Иоанн Новый, Лермонтов нео-вин!

Он поднял полки и зажег костры. Но штурм не вышел.

Все его полки погибли.

— Ну, в-о-о-т! Да! — сказал Асеев, задумчиво, склонив голову на крыло.

— Продажные шкуры! — сказала Ксана.

— Кошачьи шкуры! — сказал Асеев, с крыла, — неценные, кошки.

Раб вышел из рабов, и не мог он уж жить от ужаса в свободном мире, и пел только в полях, чтоб никто не подставил стул; стоя.

О если б! — стоять в дверях ада и петь головою скал! Без человечины! С соловьем в свите! С поясом из ценных роз! Двадцатитрехлетним! Иду, красивый, сорокадевятилетний...

АСЕЕВ, ОДИН

Обед — шпрот банки и супик.

Пол в пыли, супик пуст, ангелам. Думаю — диета.

— Чем кормит Вас М.? — спросил Асеев.

— Чем придется.

— Чем пришлось к поезду?

— Телячьи котлеты.

У Асеева зажглись глаза. Облизнулся, как пес на выставке.

— Где ж Вы их возьмете? — вскричал он. — Масла ж нет.

Блины на простокваше, пресные!

Он жил в доме годы, не выходя. ТБС. Я вышел. Внизу — гастроном. Я принес сумку того, о чем сейчас не говорят. Поэт играл в телефоне с тотализатором. Я в кухне.

Он отыграл, крики:

— Ау, где Вы? Ау!

Я внес блюдо, с дымом. Стол у него круглый, с машинкой. Мы это сняли, с бумагами. Я блюдо — открыл.

— Это! — вскричал Асеев. — Быть не может! Что это?

— Котлеты из телятины, лук зеленый, чеснок армянский. И пр.

— Господи Аполлоне, тыфу ты, ну ты! — высказался. — Где купили?

Объясняю. Везде.

Мы много ели. Он голодал.

До прихода Ксении Михайловны — следы я смыл.

Ксана ела шпроты; супик — это пакетик из бумаги. Она служанку взять не могла — лишний рот, да и женщина. Асеев — миллионер, Оксана экономила. У нее масло гнило в банках у помойного ведра, из ведер вынимала...

Стой, перо... рубеж!

Асеев одинок в доме, он ей стихи читал, годами, как деревцу, цветущему, как груше. У Асеева друг, один — Алексей Крученых. Тот, вступая в старости в Союз Писателей, взял псевдоним: Александр.

Они друг другу и читали новое, каждый день, как два царя: Николай и Александр.

Поют! Русско-хохлацкие песни, бандуристские, Крученых — дискантом, липовым. Асеев — тенор, с видным выражением.

В роли лауреата он хорошел. Костюм, броня на крючки и вопрос секретарю:

— А зачем Вам, Нил Нилович, 1 000 руб., на дачу?

На дачу! — ответ.

- А почему ж я Вам должен дать 1 000 руб.? Я ж Вам оклад плачу и на водку даю во все дни.
- А Вы ж бескорыстны, Николай Николаевич.
- Я Вам 1 000 руб. не дам.
- Выходит, что Вы лгали?
- Что я лгал, Вам?
- Не мне, а стране. Эх, Вы, а еще писали: «Еще за деньги люди держатся!»

...ДА СААВЕДРА!

«Дорогой дон да Сааведра!

Разрешите мне называть Вас так потому, что в последний Ваш приход Вы так походили на испанского гвидальго в Вашей плоскополой шляпе и худущей фигуре, что я решил считать вас знаменитым родственником некоего автора дон Кишота. Сейчас я вдохновлен тем, что добрый кусок Вас пойдет изумлять мир своей необычностью. Сам я сегодня ночью задумал писать рассказ о Вас. Я стихи писать бросаю, потому что не могу доказать о Гоголе и Вас, что это равноценные.

Словесная промышленность у нас может служить разве что оправданием пьянства, втирушничества, бескультурья. Словесная промышленность — это единственный вид частной промышленности, поощряемый государством, чтоб все выглядело «как у людей». Т. е. как у бывших. Или у заграницы. Какая-то каша из песенников и писарей ротного масштаба. Я сижу на даче, а по саду ходят кошки и пытаются поймать бабочек. Думают, что это летающие мыши.

Ваши «Розы и рыбы» получены. Я не спорю. Может быть, для будущих воздушных жилищ человечества, где на ветровых полотнощах будут проплывать розы и рыбы. Сплошная импрессия. Расскажите, почему? Голодно или одиноко? Вопросы, леса вопросов. У меня уж нет сил вытаскивать Вас на поверхность. Нет, Розы и Рыбы действительно хороши, только розы цветут на дне, а рыбы сохнут в горшках. И пока Вы не сумеете доказать необходимости обратных случаев, все равно придется обходиться сознанием своего отъединения от всего. Не знаю, как Вам доказать, что странности бывают от неумелости и от излишней умелости. Вы излишне напрягаете мускулы в подвале, где никто этого не оценит. Вы боретесь с ведьмами фантазии, а они прекрасны только по ночам. Сдержитесь. Пожалейте Прокофьева, нацедите ему полный ковш пива из обычной бочки, а не из данаидовой. Сам не знаю, как Вас утешить. Рыбы слова тут не в помощь. Ну, до!

Николай Асеев»

ОТ ОБИД. НАКАНУНЕ
(отрывок)

«Не потому, что разные возрасты, а потому, что разные слои образуют ствол дерева, и каждый круг — это год. Вот и не сходятся круги с кругами. У меня остался единственный друг — моя жена, которая никогда не отлучалась от меня, даже тогда, когда стоило бы отлучить. Был также Маяковский, — этот и выучил меня настоящей дружбе, той, при которой «мы дней на недели не делим, не меняем любимых имен». Но я не изменил своего мнения о Вас как о самом талантливом из живущих.

Да еще с Д. С. Лихачевым переписываюсь; он мне нравится, как дикий академик, считающийся с моими любительскими теориями происхождения стиха. Никто не обращает внимания на мое открытие: мера стиха есть дыхание, а не метр и ритм. Что раньше и называлось вдохновением, позже потерявшим точный смысл термина и превратившимся в формальное словечко.

Так вот, Орочка, хлебная Вы корочка! Конечно, Вас тянут потянут вытянуть не могут именно потому, что Вы не попадаете в ритм и метр и в никакую мерку, общепризнанную и общепривычную. Привет от меня и от семьи Вашему восклицательному знаку. Вы любите ли арию из оперы Борис Годунов? В сцене у фонтана в ней очевидно пропето о Вас, — Самозванце в певцах.

Обо всем этом гораздо лучше сказано у Достоевского:

«Творчество уже сказывалось силам его; оно формировалось и крепло. Но срок воплощения и создания был еще далек, очень далек, может быть совсем невозможен!»

До свидания, да Сааведра! Если очень голодно, дайте знать: я от себя вышлю аванс под будущие гонорары. Не гнушайтесь этим: Хлебников был еще беднее.

Ваш Н. Асеев.

16 мая 1963 г.»

ИВА

Главтелеграф, снег.

В проезде МХАТ'а, на 7-ом этаже, на балконе — ива. Не срубленная, не в кадке, ветр занес, ген прошел камень, Некто сказал — серебрись, и стоит, в обхват.

Я лампочками иву опутываю. Новый год! — и свечечки втыкаю. Асеев рюмку льет в раковину, это тост:

— Петербург! Петроград! Ленинград!

— Градонил! — гремит пискляво Крученых.

— Есть еще, батько, порох в пороховницах! — Асеев. Тут же они начинают ругаться, на английском. А пели по-итальянски.

Лиля Юрьевна пришли с Майей Плисецкой, раскланялись и ушли, на черном ЗИС-е.

— О Львиля Ю.! — Крученых.

— Ленинград — Градония! — Асеев. — Город-Нил, где фараоны, град Китеж, который уйдет на дно. Вы знаете, что Москва — на тоненькой корочке, а под ней пресноводное море, мы пьем из него. Ухнемся!

Асеев — мне:

— Вы лампочки, как яйца, красите!

Оксана на балконе, в шали, петушков на палочках вешает.

Я — Синяковой:

— Мария Михайловна, вы почему с закрытыми глазами пишете?

Мне — она:

— Снег гениален! Дело в снегу. А Колечка — старик, вот-вот рухнет. У него глаза синие, горящие, как у собаки весной. У ивы полагается русалочка, офелия. А Колечка датский дог, офелианец.

— Николай Колоннаич! — называл Асеева Крученых.

— Я краски плохо вижу, а при лампочке из комнаты — куриная слепота. Я их на нюх пишу.

— Бывает, бывает, — бубнит Крученых.

— С Новым годом!

Чокаемся. Звонко! А потом лютуют рюмки в вазу, сразу. Нет пьющих.

— А Вы? — это Оксана. — Выпейте с шпротинкой!

— Нет, и я! — не пью, плещу в вазу. Ваза — драгоценность. Ее тащил Хлебников из Персии, на плече, как бревно. Еще юным, Гуль-Муллой был.

— Шпроты на столе, открывайте, не стесняйтесь, — это Оксана. И супик с крупинками, глубокий.

— Танцуете? — это ММ (Синякова). Мы танцуем. У нее прямой куб волос.

Еще мужчины (не знаю их!) играют на рояле. Крученых палочкой еловой обмахивает стол — от чертовщины.

— Гилею! — это Вера Х.

— Гилею! — гудит Асеев.

И взявшись за руки, старики поют:

— У девушек нет таких странных причуд,

У девушек нет таких странных причуд,
им ветренный отрок милее.

Здесь девы, холодные сердцем, живут,

здесь девы, холодные сердцем, живут,

то дщери великой Гилеи.

Это Хлебников о Синяковых, сестрах. Так и литгруппа новая явилась Гилея, откуда и кубизм взялся с Ольгой Розановой и Давидом Давидовичем.

Я о М. Синяковой. Этот холст висел у Асеева на Николиной горке. Там были нумерованные стены. Так вот, на стене N 11 — холст. «Года Гилея (у рождественской ивы)». От лиц стрелки с буквами, кто это. У ивы — я с грудой кудрей, в герцогской рубашке, надпись: «ветренный отрок». Оксана и Вера «холодные сердцем», с вилами. Мужчины, пианисты — «у девушек нет таких странных причуд». И сколько красочного, чисто-женского в иве! Ее лепестки по всему холсту, вырезаны цветком. А под Асеевым надпись: «до лета, до лета!»

Летом он умер.

Крученых с галштухом, сосет куриные косточки, надпись: «Лихосей Евасеич».

Лихо сеющий — Евам.

А еще в виде звезды на верхушке — голова. Это Давид Бурлюк, с моноклем. Там и автопортрет М. Синяковой, под фатой. Надпись: «дщерь». Куда делась эта работа?

Да, звонок Д. Д. Бурлюка из Нью-Йорка.

— Трубы в сборе! Летим в трубу! — как Д. Д. Бурлюк свистал в трубку, как мы менялись голосами!

Как около!

Машина времени убивает; шрамов нет; я был окружен людьми, как золотыми горами!

АЛЕКСЕЙ КРУЧЕНЫХ

Шипящий гусь, он пил воду с бульком из железной кружки — через ноздри. Кружку он держал двумя руками.

Пел он! —

«В степи под Херсоном высокие травы, в степи под Херсоном курган. Лежит под курганом заросший бурьяном матрос, железняк, партизан!»

И это с слезами, поддельными.

— Гениальный амфибрахий! Кто поэт?

Я не знал.

— Обо мне! Поют, я везде слышу, войду — запевают. Правдоподобно! Лежит под курганом, заросший бурьяном матрос, железняк, партизан. Автора! На сцену! Вы вслушайтесь в отбор: матрос, железняк, партизан. Я!

Я не разочаровывал, что песня о матросе по имени Железняк; тогда весь смысл гиб. Ведь Крученых из Херсона. Второго под курганом он не потерпит. Он отбулькается, погладит кружечку и воркует, исходя дискантом: «Пей же, пей, паршивая сука, пей со мной!»

А московской молве — нечестно о нем. Если поэт, назначенный из молодежи, смеется над заплатами великого, — тут конец цеху, поэтическому.

Алексей Крученых высок, а сутул. Годики! — он умер в 82, в свою цифру (86-68).

Всегда! — вымыт с волос до ногтей ног, чистюля, бритый дважды в день, владел иглой и ставил заплаты с виртуозностью О. Уайльда. Он же из денди 10-х годов, живописец, артист, полиграфист. Не москвич. Руки не пачкал колбасой. Гонораров не имел с 1917 г. (и до!). 124 книги издал за свой счет. Автор либретто первой в мире арт, фут и поп-оперы. Жил на хлебе и воде. Эстет! Единственный поэт в истории, который все книги свои сделал сам. До шнуровки их! Единственный в искусстве, кто не взял за поэтику ни гроша. За новую!

Комната в коммуналке, не чулан (как пишут!), широкая, музейная от книг, клочки стихотворений в папочках, на местах, на окне занавески — стиранные, ветхие, как суворовские знамена. Пылинки нет. Депо поэзии великого. Педант, сборщик.

О да! У него ж и шумный успех у дам! Он их гонял.

Они ставили кресло на 0,3 см юго-восточнее предела. А кресло стояло 30 лет под углом А. Крученыха. Жизнь вместе невозможна.

— Возможна, возможна, — кричала девушка, лиясь. — Возможна жизнь!

Крученых, вводя в воздух палец, гневно:

— Выйдите, вы, вон!

— Я выйду, а потом опять возьму и войду! — ревет девушка.

— А Вы! — кричит Крученых (мне). — Вы одобряете ту Жеманну, что за дверью дурит?

Я одобрял.

— Вы ведете себя, как Антон Чехов! Я видел в Ялте, — кричит фальцетом Крученых, — как вел себя Чехов при женщинах!

— Как? — говорю я.

— Недопустимо!

— Но как?

— Недопустимо вяло. Как велосипедист, согнувшись вдвое!

— Ревет? — спрашивает он, вытаращившись голубым.

Я смотрю в коридор — редела.

— Ничего, ревет — проветрится! — и шепотом спрашивает: — Мелкими слезками чешет, губами дуется?

Я смотрю:

— Крупные слезы, в рот не влезают. Головой плачет, Алексей Блиссевич.

Он вставал и звучно:

— Да! Войдите!

Та входит с ужасом, серая. Крученых горделиво посматривает на меня, подбородок вскинут. Шипит.

Серый таракан в углу, был он душой громовержец. Ни капли страха!

Ни при Сталине, ни после Сталина. Одинокий, дошедший до дна, имел он вид гусиный, непобедимый. Сидя с товарищем по скале, всегда готовым к шепоту, актерству, крику и прыжку, — Крученных любил Асеева и верил при нем в свою сохранность.

Где нет жизни и реальны стихи, я видел еще этих последних, клекочущих свои пиесы, один — как гусь степной, ощипанный, в бородавках, нищий и сидящий в пиджаке, растопырив глаза и поющий звонко в синеву, и второй — хищный, солнечный, командующий, с гетьманским хохлом на большой башке, горбоносый орел, столичный. Так сидят они и поют — обо мне — о две головы! Этой породы уж нет, и нечего делать на этой земле. Когда нет товарищества, а молодежь неталантлива, то кодекс власти листают одни подонки. Ноги он мыл 6 раз в день. При поцелуе он говорил — это треугольник. Его нашли на скатерти на столе, в сером костюме, в галстук, в чищенных башмаках, брито-мыт, руки на груди, в них листок, как цветок. На листке записка: «ПРИШЕЛ — УШЕЛ. — Александр».

ВЛАДИМИР ВЕЙСБЕРГ

Я еду в Москву, к Володе Вейсбергу, я ему снял дом в г. Отепя. Я приехал 16 января, он умер 1. Не повидались, через 15 лет.

Его друзья — В. Татлин и А. Крученных.

В. Вейсберг жил в белом, в белых стенах, и на холсте — белое на белом. Жемчужины. У него прозрачная голова.

Он белил и доски, чтоб не мешали.

Он писал 2-х ню. Я носил в белом, бутылки. Бутылки темные, вишневые. И так — долгонько. 2 девушки обнажались, и одна пила сидя на ногах, вторая стоя. А я их держал, чтоб не шевелились. Они получали по 5 руб. за сеанс, а утром — та же картина.

Но вот Володя расплатился и указал им на дверь — белый выход! Не выходят, восстание!

— Не доплатил?

— Да нет!

— Обижал?

— Нет же!

— Что же?

— Хотим посмотреть на себя!

Володя, удивленный, несет зеркало. Те тычут в холст.

— А, это, пожалуйста! — и он открыл мольберт.

Белое на белом, очень чисто.

Девушек на холсте — ни одной, ну, в том, привычном понимании. На холсте ослепительная бестелесность, однозначная.

Владимир Вейсберг умер, как жил — в самый белый день 1 января покинул он этот белый свет. Вряд ли он переселится в иной, у него была боязнь передвижений.

22 Г. СПУСТЯ

К. М. Асееву в Москве повидал, среди пьяниц и слуг. Ее портрет лучше ее. А. Зверев автор, она в золоте овальной рамы. Шпрот банки — те же, а у дворни стол за занавесью ломится от кругло-копченых колбас и налимы, один на одном. Занавесь от гостей, К. М. Асеева — слепая.

Фотографии Оксаны повидал, она любит показывать фото со Зверевым, она ж не видит его теперь, а бумагу щупает. Ей 87, лысая, а на маковке оседец, запорожский. Глаза как у куклы, рот широко вымазан кремом для губ, ей в него блины суют, горячие, с кочерги.

Асеев — Оксане:

«Если я умру, ведь и ты со мной!»

Как мальтийцы! Вася Каменский тоже остался с фотопортретом дамочки, Галы. Я видел Василия Васильевича, обрубок. У него двух ног нет. Что с ним в сталинской ступе — не ведомо.

А. Зверев в годы молодости. Асеев жив, Ксане 65, Толе 32. АЗ и тогда уже толст, изыскан в живописи да и в жизни. Особенно в жизни — он ходил в 6 рубашках, надетых друг на друга, любого цвета. Это — впечатление! Из рубашек у него шли ноги. Я его и познакомил с Синяковыми. Меня изумляла Мария — она писала с закрытыми глазами, правой и левой рукой. Ультра-футуристично!

Тогда у Толи жили двойняшки. Одна спала под столом, другая на столе. Он их учил.

Сам же АЗ ночевал в цистернах для мусора, это бак и люк. С бутылью водки заворачивался в рубашки, и выглянув с бородой — нет ли вблизи КГБ, Зверев лез в люк, пил водку и сладко спал.

После сближения с Ксаной они утроились: Толя, двойняшки, которых он ни за что не хотел покидать, и Ксана, каждый спал сам по себе. О нравы! Мария Синякова, сестра Ксаны, дочь Гилеи, умерла в прошлом году, в возрасте 100 лет! За год до смерти она написала копию «Женщины в цветах», своей, знаменитой; в полную силу. Остается воскликнуть:

— Эй, Ты, где Ты? И как Ты щедр!

РЫЖИЙ

Лили б дарить, наряжать, она — мой министр иностранных (да и остальных!) дел — 17 лет! Вот как мне жилось.

Звонок:

— Вы?

Долгое молчание.

— Лиля Юрьевна!

— Я боюсь.

— ...

— То, что я скажу, а Вы что-то страшной скажете. Звонил Слуцкий, бодро, сильно: Лиля Юрьевна! А я ему всяческие вещи рассказываю, что у нас на даче живые окуни в ночи бьются в тазу, как монеты! Ополоуметь можно! Он молчал, а на этом слове: — Вы обо мне? — Я: — Ну, я думаю, Вы еще не ополоумели, Борис Абрамович! Что еще? Выдохлась, не о чем. И вдруг из трубки:

— А Таня умерла!

И гудки. Бросил телефон. Какой ужас! Я обзвонила больницы, он дежурил у Тани — год, оказывается, сидел сиднем!

Слуцкий, и Таня — юнее его на жизнь! А у Тани рак крови. И резали ей вены, и подсекали, годы. И они жили, счастливые. Из-за пуговицы не стоит пугаться. Нет знаменитее политрука на Русской земле, кто первый поднял рог на Иосифа Красного, как бык, публично, белотелый, пухлые руки оттопырены по швам. И Крученных шамкал: о да, о да! Моя емкость!

Я звонил. Но он звонок не взял.

Он пошел в сумасшедший дом и сказал:

— Я лягу.

Его повели в палату.

— Я надолго, — сказал Слуцкий. — Мне одиночку, с койкой, с окном. Держать и не пущать! Ни меня, ни ко мне, никого! Я обдумаю.

Он лежал 7 лет.

Я не знаю, с какими глазами он жил, с каменными или заплаканными.

В марте я написал о нем новеллу, но не мог включить, жив, а не мог — и сжег, чтоб жил. Но в те дни он и умер. Я работаю, как счетчик Гейгера, знаю, кто где.

Этому человеку родиться б малым голландцем, он поэт изысканно-прозаический, недооцененный.

Есть у него о мире животных.

Лошади умеют плавать. Но не хорошо. Не далеко. Шел корабль. В трюме лошади топтались день и ночь. Тыща! Мина в днище! Люди сели в лодки, в шлюпки, лошади поплыли так. Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края, на исходе лошадиных сил вдруг заржали кони, возражая против тех, кто их топил. Кони шли на дно и ржали, ржали, все на дно они ушли.

И конец:

«Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли».

«Лошади в океане» — антологическое. И не знают, почему, пишут — сюжетно. Я знаю. Умер, скажу: рыжий. С рождения и навсегда, но носил седину, как парик. Я думаю о Слуцком, как он слег в землю. Нереально.

Память коротка, как река, а что река на Шаре, вон он какой вращающийся!

РУСОФОБЫ

Рязань, Тамбов, Курск, Суздаль, Вышний Волочёк и Кострому — не видел никто. Так, болтают.

г. Москва — г. Рим, им не до русских.

До Революции на месте Ленинграда было 2,5 млн. русских. В 1917 г. 2 млн. уехали, влево от солнца. Осталось 0,5 млн. — дворники, ямщики, торговки, — то, кто татары. Размножились. Сейчас в Ленинграде 3 млн. татар.

Сибирь: буряты. Иркутск: двое русских — Евгений Раппопорт и Марк Гартвангер. Иркутские писатели — чалдоны.

Новосибирск. Я дружил с русской, Елизаветой Константиновной Стюарт. Это после Революции ты мог взять в семью из мировой истории что понравится. Е.К. и думала, что родители ее взяли шотландское королевство, за что и сели в тюрьмы, и она.

В 1963 г. из Лондона пришли документы, подтвердившие ее королевские крови. Дали гарантии мини-короны и пенсию. Она отказалась от короны, от пенсии отказалась.

— Сколько лет, сколько лет! — говорила она, какие уж Стюарты, опять резня начнется по Британским островам, ну их! Прошло 400 лет от казни Марии Стюарт, ее пра-и-прабабки.

В Тюмени судим антиобщественный элемент по кличке Косой. Глазом косил. В мировой прессе — неслыханный по звону скандал: элемент с фамилией Марамзин, а в паспорте дедушки — Монморанси. Ничего, советские суды и не от таких мух отмахнутся, но не тут-то было: косоглазие — наследственный признак рода Монморанси, славного еще и огромной силой размножения. Наш Косой был последним. Его пустили во Францию, невелика горlinkа для Тюменских островов.

В Омске я обедал у — Конде, Гизы, Меттернихи, Бубаревы (Бурбоны). Я сказал Отто Габсбургу в ФРГ, что у нас живут Габсбурги в Барнауле, он отмахнулся. Пясты и Ягеллоны, исчезнувшие в Польше, есть по несколько в Хабаровске.

Мнение о молодости русских — это правда. Чего я не видел, то молодое.

А. Блок сказал Западу:

— Для вас — века, для нас — единый час.

Он не видел русских, хотя и подразумевал их в «нас».

Марко Поло назвал Россию — Геодель.

Гео — земля, дель — дьявол. Земля дьявола, а он молод. Но придется ли увидеть Россию — Владимир, Орел, Тулу, Ростов, Нижний Новгород, Хохлому? Не увижу. Пути нет. Там из дома в день на Золотом Маятнике, седлая, и растеплившись на золоте, качается по стране — дьявол, где мы и живем в наше время.

ПАРИЖСКОЕ — 1

Самолет, плоские рюмочки, фиалковые. Выдают сумки Аир Франс. Зачем? Аэропорт Орли, встречают — Эльза в сиреновом, Арагон в сером, костюмированы. И Сегер, издатель, поэт, плоское лицо, красноватое и черное. Солнце-тучи парижские. Шампанское в аэропорту.

Бульвар Распай, отель Кере. Лестнички, витые, как в кино, лифт с 1547 г. Номера, выставляют ботинки в коридор.

Я не хочу выставлять ботинки в коридор, не шедевры. И Дола не согласна. Зовет Э. Ионеску.

Э. Ионеску: я подежурю в ночи, не сопрут. Дола: не смей! не сопрут! в Париже, где дно и богема! Я: французы уже видели меня по ТВ и следят. Поеду домой без ботинок! На них же надпись Москва.

Э. Ионеску: он прав. Отовсюду грозит опасность. Дола, молчи при Беккете, он хоть один ботинок, да вставит в пьесу.

Дежурил Э. Ионеску. На стуле, в коридоре. С бутылкой и таблеткой. Я ходил — туфли, чулки, как парижанин (чтоб не сняли с пьяного!). Ботинки мне давал Э. Ионеску, перед прессой, чтоб я выглядел. В Университете один индеец пожалел, дал мокасины, их я и зашнуровывал, и расшнуровывал, вот и Париж впервые, от этих чертовых шнурков. Гуляем. Идет он, вытянувшись вперед, Эйфелеву башню изошли по низу, глаза у него страусиные, блекло-голубые, не человек, а чисто высокий слог. Его книжность! Он терпеть не мог, если кто-то писал помимо его Музы! Беккет — вот кость в горле, они схватились за нобелиатизм, победил Беккет.

Э. Ионеску:

— О, он очень коварен. Но наказан — нобелиат!

— Вам не виден мой ум? — спрашивал он.

— Виден, — говорю я.

— А если я спрячу под очки? Да нет, не спрячешь. Дали, тот

ходит в юбке и пьет кофе с плевком, а ум кипящий. Дураком не прикинешься, как Беккет, тот прирожденный клозет интеллекта.

— А так видно? — шаг назад, ногой, выворот головы.

— Так видно затылок.

— А ум? — встревожился он.

— И ум!

— У Вас в глазу сверла, как Вы видите в затылке ум? А Вы умеете головой, как я, крутануть? Вы умеете пить водку? Беккет пьет лимон. Но у Вас нету ума! — это он с завистью. Поначалу я, признаться, думал, что Вы — Данте, так Вы с ботинками разделались, весь Париж на босы ноги ходит из-за Ваших ботинок, я их показал лондонским модельерам, римляне сняли с них гипсовые слепки. Если б раньше Ваш приезд — быть бы мне нобелиатом. Но Данте — о он умный! Венец лавра, и лежит в Италии дурак дураком! Мои ж надежды лопнули, Вы не Данте! Утром, вычистив ботинки и блестя ими передо мною, дразня, вопрос:

— Вы писали пиесу, в ритме Рэ-минор?

— Когда?

— А ночь? Что Вы делали ночью? У Вас око наалкоголизовано!

Он читал все.

— Какие книги Вы взяли б с собою на необитаемый остров? — спросил Пикассо на обеде у Мальро.

Я ответил:

— Одну.

— Какую? — спросил Пикассо.

— Вот! — я указал на Э. Ионеску.

Тот откликнулся:

— Боюсь, что остров стал бы обитаем. 300 млн. русских сидят без книг, и все б поехали за мною.

— А 300 млн. русских не поехали за Вами в Париж? — съязвил живописец.

— Поехали! — сказал Э. Ионеску.

— Где ж они?

— Вот! — и Э.Ионеску ткнул в меня. — Все в нем сидят, без ума!

Нужно ЭН БЭ: Э. Ионеску в Париже — чужак. Молдавский еврей румынского происхождения из Российской Империи, французский писатель и драматург, гражданин Швейцарии.

О Пикассо же он сказал:

— Он сочинил 11 стихотворений, а говорит в ритмах, как поэт. Он носится по Парижу с криком: — У меня выходит книга! Поэмы! На бумаге Фабиан! Лучшая в мире. — Чего? — спра-

шиваю я, — кричишь о мире? — О бумаге, — в ответ Пикассо. Коварно!

— Почему? — спрашивают корреспонденты.

— Графоман! Хлебников печатался на газетной бумаге, а даже учитель Крученых не кричал: — Я поэт! Фабиан!

А Крученых еще жив был, не пустили его попеть, в Париже.

ПАРИЖСКОЕ — 2

Французы в Париже — это китайцы по цвету. В мае 1979 г. на бульв. Мен под холодным дождем под одним зонтом их собралось столько, что вокруг собрались зеваки; я заглянул под зонт — одни французы, жмутся к джинсам девчонко-мальчиков и под дождь выйти боятся, собьет с ног. Французы боятся дождя. У них желтые зубы и в глазах смотровые щели. Много едят и глотают. После войны Лиля Юрьевна Брик шлет Арагону тушенку, шоколад, бананы, эскимотосы — это он ел. И сало (мы помним!) громадными пакетами, забитыми фанерой, Л.Б. отправляла в Париж, Эльзе и Арагону. Но что могла съесть Эльза? Я ел с ней, поковыряет вилочкой зернышко, но не Арагон! На поминки по В.Р. Арагону подали мозговую кость с хреном, он ее высосал и обгрыз до полировки, сейчас она в его доме-музее. Арагон ел горы. В этом они соревновались с Пабло Нерудой, того снабжал живыми свиньями (маленькими, правда, подростками!) совхоз «Ридный Неруда» на батькившине, в Некрополе. Они ж посылали ему и валенки в холод. В Париже плохо топят, а печек нет. Печки в Чили, но Неруда хотел стать президентом в Чили, а поэтому жил в Париже на Международную Ленинскую Премию Мира.

У Арагона было (он умер!) заросшее пузо и седая грудь, рост страшный, видок был, когда Арагон шел, как пушка, по Парижу в русской сорочке, расстегнутой до пупа, а за ним на толстеньких ножках — Пабло Неруда, как комар-кровосос. Они выбрали эту рю де Варенн, чтоб жить, п. ч. на ней советское посольство, по утрам котелок вареников дают прохожим.

У Эльзы Юрьевны Триоле серебряные губы и она тонюсенькая, в сирени, парижская из парижанок.

Мы похоронили Эльзу. Арагон запил с двумя юно-мальчиками, они ходили в зеленых фраках (трое!). — Это моя семья! — жал руки Арагон. Арагоша! — зовут его русские коммунистки в Париже. Много их!

В Париже нет кошек.

О да, когда умерла Эльза, Арагон не стал переоформлять наследство на Лилю, и Лиля осталась нищей. С цветами от друзей. Но французский поэт и вдовец не забыл о лилиной доброте: каждую неделю посол Компартии Франции приносил

Лиле Юрьевне 8 сосисок в целлофане: 3 ей, 3 Васе Катаняну (мужу) и две мне. Во мне Арагон видел советское искусство и хотел его сохранить едой.

ПА-ДЕ-ТРУА-ПАРИ

Если сидеть в Париже, выйдет полицейский, как Конь блед, и скажет:

— Мсье плохо?

Я — кивок: да. Солнцем облит.

А он пеняет, что щеки мои некрашены, глаза зашли за глаза, рот узок, он позовет медицинского доктора, — ажан начитан из Бодлэра. Я молчу. Он, озабоченный, рисует на ладони красный крестик и несет к носу (моему!), я ж несообразительный. Он хочет мне помочь. Видимо, он в клубе людолобов ошивается. Однако дубинка, как у будды. Я ходил по Парижу день и ночь, день и ночь.

Из конца в конец ходил я, гонимый ветром, морда из пемзы. Я шел с двумя поднятыми пальцами, а это сигнал: двойное виски! Коньяк и sake я пил по 9 порций в 1 стекле. Я ходил из края в край; и бил ужасный дождь.

Нет в Париже пьяных на улице, — неверно. Я — живой пример. Я пьян был на любой улице, пел пеан с ямбическим слогом. О капитан мой, капитан! — запой с паденьями на углах. Смотрю в чашу, и нету дна в ней, нету дна! И Ангел глупости гремит боевым голосом: «Не пей, в аду кастрюля огня, а не роза Палестины!»

Я проснулся, выпил. Сел на стул. Часы считали за окном. Рука сверкнула в темноте, как орел. «Виктория», арабская гостиница. При свете утра я клал голову на край раковины как на отруб, как ребеночек! и лил кран. На голову. Зачем это? А от печали. Они экономят лампочки (фр.!). Не пьют вишневой водки, а я ее брал в штаны, идя к набережной Сены, в район Опера. В ночь у Сены самоубийцы. Цены на место у Сены велики, а французы скупы, и редиски не купит, но отложит франк на самоубийство. В районе Опера набережные чертят в кружочки и пишут фамилию, кто купил.

В ночи в Опера жалобно поют, в каретах с вставленными стеклами везут группу самоубийц и ставят в кружочки. Те стоят. На шаровую крышу Опера выкатывают пушку с жерлом, как у нас в Кремле, на колесах! Раздается выстрел с огнем, — вперед, на смерть! Звенят бокалы, из окон. Самоубийцы прыгают в воду. И полицейские ныряют. Но спасают лишь тех, кто платит, под водою. Безденежные тонут.

Так вот: когда я выдвигался, как Гаспар из тьмы в черной коже и с бутылкой вишневки, — многие забывали про свой смертный

час и обращались в бегство, в дом, в петлю. Пока я жил в Париже, процент самоубийств снизился от 87 до 0,2. Об этом пел Голос Ватикана, мне платили, я швырял деньги, как таблетки.

ВО ФЛОРЕНЦИИ

Во Флоренции базары убирают, один еврей, как Петр I, шьет туфли Т-Ля. Я купил, ношу 16-й год, спрашивают, говорю: флорентийские.

Во Флоренции ночью скучно. Люк, где сожгли Савонаролу, — прекрасен. На этом бы железном круге жечь и жечь и дальше. Чтоб горели моралисты, импотенты и жиронепроницаемые аскеты. Чтоб горели избранные из народа и великие реки — Нил, Тибр, Миссисипи, Рейн, Волга, Тиутита, Люжа. Чтоб встал дым до мятежных свай. Сколько жило чудес во Флоренции!

Сенека, воспитатель Нерона, оказался ростовщик. Юного императора он учил нравственным позициям, а сам в Англии скопил денежку в 5 млн. сестерций. Нерону сказали. Он позвал Сенеку. Вот что, учитель, сказал Нерон, нет в Риме преступления хуже ростовщичества, даже убийство лучше. Я знаю, сказал Сенека. Но за то, что ты учил меня по-хорошему, я не оглашу твоей низости. Отдай деньги и иди, кончай с собой, скажи, что ты гибнешь по политическим причинам. Тот и сделал так.

Сен-Симон, любитель раннего социализма, герцог, и провокатор подпольной биржи, спекулировал землями Франции, уже небольшая часть земель оставалась народу, когда у него отобрали немножко. Тут же, не сходя со ступеней дворца, он провозгласил братство и равенство. Он стал аскетом: переселился на чердак особняка, и камердинер будил его словами: «Вставайте, граф, Вас ждут великие дела». Во время парижских волнений Сен-Симон писал книгу о честности в будущем. Когда в Париже произошло, он опять спекулировал; нажил целые фургоны франков, их катили через Пиренеи и везли к Тибету, чтоб и там купить — горы, кажется.

Шопенгауэр, новейший наставник дураков (нас!), был алкоголик, денди, пройдоха в высшем и среднем разряде общества, имел по несколько кухарок в постели, своих детей подбрасывал к крыльцу магистрата, заподозрен в убийстве мальчика-цыгана. Им не рубили руки.

Во Флоренции лохань из цемента, в ней вода и решетка в клеточку, с висячим замком. В лохань, по традиции, мы, влюбленные, кидаем монетки. Влюбленные во что? Кидаем деньги, как можем, раз уж тут. Эти никелевые грошики, кучки, по субботам выбирают в магистрате, сколько у них еще денег «на счастье», — флорентийцы.

ПАМЯТИ СВ. ФРАНЦИСКА АССИЗСКОГО

Я встану в день. Итальянское небо.

У открытого гроба св. Франциска Ассизского; его многолетнее тело; я взял шампанского с земляникой. Ограничимся бокалом. Ноябрь. Это как бы подготовка.

На гору я взял скоч, его мало кто любит, бутылка 0,75 л, 43°. Я готовил себя к большему.

Я сел, праздник, звон миллиона меди, и я пригубил пустое горлышко. Оно налилось напитком, я пустил в рот, дальше и дальше. Описания кончаю.

Я помню закат, простор, огни на много лет вперед, колокола и конец праздника. Хладен автобус от сплошных стекол. Италия, в солнечных орлах заборов, сквозь стекла — весь мир, тот. Счастье. Скорость, визг шин, апельсиновые рощи, далекий Рим — впереди.

Рим — впереди, Рим. Великое колесо автобуса мотает круги Истории.

Книжный я.

Апельсиновые рощи, листья опали, виден плод, что вкусен, осеннее дело.

ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

Наше войско на Висле. Напротив — Варшавское восстание. В бинокль видны дни. По Висле текут лилии (болотные!). Кровь отцов льют немцы. Нам приказ: стоять. Пуль не пускать (в Варшаву!), молчать. Не знать.

Стоит войско.

Я помню жердочки у папиной землянки и летают снаряды рядами от немцев — в нас. Рвет враг кровь польскую. А по жердочкам идут к папе офицеры. 46 их собралось у стола. Напудрены. Старые и молодые, 15-летние. И я стал, мне 9. Гоголь-моголь ложкой бью.

— Ну, товарищи, панове, что скажете? — Хотим туда, бьют сестер, братьев, матку и ойтца! — Если Вы пойдете, мне расстрел, — сказал папа. — Расстрел, — сказали офицеры.

— Идите! — сказал папа.

И каждый из 46-и отдал честь двумя пальцами.

Папа склонил голову, белую, как волк, а ему 37. У дверей они, и отец сказал: стойте. Они стали. — Я не могу сказать, но скажу. Вы видите, что на Висле, пули плещут. Немцы бьют из всех стволов.

— Говори.

— Как только вы сядете в лодки и отплывете до линии огня, вы будете убиты. Вам до Варшавы не дойти.

- Инструкции?
- Я сказал. Чего ж хотят панове-офицеры?
- Светлой смерти. А может кто и пройдет.
- Нет, не может. По всем вам ударят пули, с двух сторон.
- Мы немцев не боимся.
- И вашего войска.
- Приказ пана?
- Приказ пану!

Стоят. — Мы пойдем, ойтец. — И они пошли по жердочкам; эта ночь, черная, в ручьях с реки, с верху! Ливень лился. И горизонтальные огни, трассирующих пуль морзянка.

И они сели в лодку, поплыли. Солдаты в касках выстроились им вслед; вдоль всей Вислы вышли смотреть, суров их строй был. Лодка шла. За нею три шли и понтон. У линии огня залп не дали. Пошли шире. Висла встала. Думали — дойдут, они уж на середине крутились и били воду штыком. Но как раз удар — и пулеметы и танки из пушек, — немцы и мы. Те, в лодках, быстро взлетели на воздух, а потом пропали. Погибли.

Я первый пишу об этом. Их смерть светла. Хрустят раки.

ПОЛОНЕЗ

1945 г., живу в Варшаве, сын Войска Польского.

1972 г., живу в Варшаве, монастырь кармелиток.

Цифры лучше живописи о времени и о себе — быстрее. Живу этаж в этаж с настоятельницей. Они не могут смотреть на мужчин, она смотрит в окно, мимо меня, правда. Черный треугольник на голове, лейка в руке, поливает нечто, мне неизвестное, в келье.

Старо Место похоже на уголок в Венеции, если идти от пл. св. Марка влево, а больше идти некуда. Чем похоже, не знаю, — узостью, мостиком. Или же настроением, это объяснял Збигнев Цибульский, а я ему, а поняли они, что он, пьяный, сошел с подожки под поезд, как Анна Каренина. Славяне!

«У Соломона» я сижу, а ел видимо Соломон, я — пью и смотрю на блюда, говоря рукой, чтоб убрали. Выпив, я иду к «Пану Михаилу», в низку, и там напиваюсь на круглом столе. Там барменши — сестры-близнецы, их не путали, п.ч. вся Варшава и не догадывалась, что их две, знал я один. Твердо! П.ч., давая деньги, отметил, что у одной без ногтя мизинец, фаланги нет. А звали их Зося, как одну. Чтоб не путали, дураки.

Я не путал: одну звали Стефа, другую Эва, их дела всплыли после, когда стали метить мелом на дверях, но я никому не сказал о них ни в Польше, ни дома. Было им по 20, молодые да умные, красиво-рыжие. Нет их. А было б по 33, близнецы долго живы могут быть.

Из Варшавы я поехал во Вроцлав.

Дикий запад, каналы, и тоже что-то венецианское, полиция похожа на гондольеров, а пьяницы на гондолы; кладут телами в лодки и везут по каналам домой.

Канун Театрального фестиваля. Варшавский театр красив, в конце пьесы Ружевича на столе лежат 7 голых женщин! — в финале. Вот героизация-то женщин да еще и голых привела к тому, о чем сейчас кричат. Но в 1972 г. это пьянило, по каналам везли театралов, отключенных.

Театр Гротовского. Я не описываю, это уж история 20 в., ей перо в руки. Я не друг ему, поэтому с чистой совестью могу отдать титул Великий — Гротовскому. Об этом стоит сказать, п.ч. театра нет, а я видел и любил; и скажу. Впуск — 31 зритель, сидим у стен, скамьи, сцена у нас в глазах, на том же полу, где и сидим. Актеры Гротовского — наивысшей подготовки, одна память. Фото — это ж химия, не жили. Акробаты и декламаторы, как они умели стоять! Среди зрителей и тел Гротовский ставил их в одиночку, и они могли стоять долго и не тяготить. Никто это не может! Удававшаяся попытка, где каждый артист — гений, интуиты, слов мало и действие внутри себя и с 31. Пластика. Христос, 20 в.

Я понимаю Гротовского, мировой и последний Христос, 20 в. Артист высок, рыж, в мешке. И его девушка, Магдалина, черные глаза, они уставали, мы в ночи пили. Мой друг Фляшен.

Разговор об одном — Рафал Воячек. «Тот, которого не было» — он взял стакан яду. Пани Анна, ей он посвятился, крестилась на улицах, на одном колене, и ее горе о Рафале никто не мог бы переплакать. И мы пили с нею и с Фляшеном, кто ставил все пьесы Гротовского.

Рафал Воячек написал книгу, что он — женщина, после 10-летия шумнейших скандалов, эта книга смирила с ним Карповича. А Рафал пил с такой силой, что любое соперничество с ним — смешотворно, я перешел к голландскому типу пьянства. От польского, где все достигнуто. В 5 утра уже качаются во Вроцлаве дома и тротуары. Открыты 9 тысяч пивниц, пьют где. Встаю в 5 утра, иду в буфет. В буфете стакан (200 г) водки Выборовой, охотничью колбаску твердого копчения (50 г) и стакан сметаны. Суточный рацион еды. Пить-то я пил и до конца, не переставая ни на миг.

Карпович издал посмертную книгу Воячека, был гл. ред. журн. Одра, его 10 лет не печатали. Вдруг поставлено 10 пьес Карповича. Он знал, что так не будет долго в Польше, взял стипендию в Америке и уехал, оставив дом, титул и сад. И вовремя.

Из Вроцлава я поехал в Варшаву.

В 9.00 утра я звонил Виктору Ворошильскому и шел к нему. Шагом. В парке им. Дзержинского — бюст моего папы, я вставал

у бюста, я говорил: я недостойн. В тот год героям Польши в этом парке поставили бюсты, а папа вписан в Золотую книгу героев. Я — нет.

Парк, пни, пьют. Бутылочки водки. Я сажусь к пню. От парка до ул. Мицкевича, где жил Виктор Ворошильский, — 12 мин шага. Начинаю. Просыпаюсь в отеле. Как в рукописи, в Сарагосе! Кажется, в 6-ой раз я проснулся на пне, клубочком, и хвостик виден; вокруг бутылочки, как кегли, а в них пусто, одни этикетки. Я пошел к Виктору Ворошильскому.

У выхода, у ограды старик в балахоне, а перед ним весы, ве-совщик, и оловянная тарелка, гроши кидать. Я стал на весы.

У старика: лицо закрывает борода, белая, громада. Он посмотрел на башмаки, потом на колени, бледно-джинсовые и — в мое лицо, увешанное саблями кудрей!

— 44! — сказал он.

— Что 44? — спросил я. Он же еврей, как Агасфер, и старше.

— 44 вес у пана, а рост 1 м 73 см. Куда пан идет?

— Я иду к Виктору Ворошильскому!

— Пан идет к смерти. От жизни. Бедный пан, бедный детска!

— Сколько еще? — спросил я.

— 9! — сказал он. — 9 лет и 3 месяца.

— Где?

— Не дома. В городе на букву Т.

Он долго бормотал, пока я шел к Виктору Ворошильскому, я слышал следующим утром его голос, за спиной. Я слышал, сидя с нотой ДО на губах — на пне!

Я умер 18 августа 1981 г. В срок. В г. Тарту.

К 10-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ Н. Д. ГРИЦЮКА

Корабли белоруких идей — из эпохи упадка.

Скажу попутно: г. Тарту — запретная зона, я под охраной государства. Чтоб прилететь, Николаю Грицюку понадобился ректор ЭССР Й. Тюлман. А тот взял в руку конверт серебра (ко мне).

Их привели.

— Ну? — сказал я.

— Я — Николай Грицюк. Это — ...

— Кауплюс! — сказал я.

— Это он по-римски, — шепнул Грицюк ректору ЭССР, Й. Тюлману. Но тот знал, что это не по-римски.

Они пошли в магазин.

Я жил в доме, рядом с бюстом прадеда, в губернаторском, 84 комнаты набок. Дело в том, что дом валился и его привинчивали трубами к другим домам. Ни в одной комнате я не мог устоять на ногах. Днем я искал архивы Баркляя, шарил крышу, мел ломом всяческий мусор, а в ночи спал на крыльце, свернувшись в

клубок и подняв на шее голову с огненными глазами. Но водки ночью не было. Да и кто решится, глядя на такую картину. Утром. Я лежал на каминной решетке в Центральном Зале, ледяные дела, с похмелья. Я закричал в трубу в г. Тарту и на мост, чтоб несли ликер Агнесс (любимое!). Несут, сгибаются.

— Не сгорел? — это ректор, Й. Тюлман.

— А что? — сказал я.

— Да камин вспыхнут, спирали накаляем! Глянь!

Но я не сгорел.

— Ректор Й. Тюлман, — сказал я, — ко мне!

— Любишь ты пожить! Дай монетку! — Н. Д. Грицюк.

Я саблей взломал конверт. Монетки выкатились и понеслись с дома на мост и в г. Тарту, напротив Ратуши, колеса, штук тсч. Я их бил оземь!

В каждом листе ленинградского и эстонского цикла Н. Грицюк зашифровывал мою физиогномику. Книгописатели пишут о Н. Грицюке, что он плакал надо мною «тематически!» — это считается высшей похвалой его вкусу. Друг моей филармонии Николай Грицюк не слезлив.

Я бил деньги и в НЭТИ, завинчивая и развинчивая уста. При А. А. Александрове. Платили в серебряных рублях начала века, сибирский стиль. Эстонцы гоняются за деньгами, как негоцианты. А эстонки идут по деньгам медленно, как по заре.

И я увидел солнце! Грицюк рисовал, согнув спину. Рисует эстонку, в чепце. Я глубоко презираю тех, кто одет.

— Дай монетку! — дундит Грицюк. Розы в стекле. Из г. Тарту рыбку несут, а с нею монеты, выкатившиеся. Эстонец не возьмет деньги, а отдаст. В моей Зале уж рос холм с блеском монет.

— Ну как, Коля, — говорю, — тебе? Хоботовато?

— Любишь ты пожить!

В 42 года преломили его слововость мои «Совы» и железная гора из рублей. А ректор ЭССР Й.Тюлман уж плечи чистил, ему ж разгребать эти железы.

— Да ты пойми, — говорил Грицюк наутро (не знаю, какое!), — ты — вот на такой горе!

На горе денег. Гиперреализм. «Совы», книгу он твердил, и «Февраль», и «Пьяный Ангел». Эти штуки виной, что он сошел с классических рельс, забыл о реализме и полетел в тот путь, откуда на Земле дел нет.

То-то его к земле тянуло, к простым. А конец — с седьмого этажа в лестничный пролет. Ну, не надо падать, затрясся б от слез, чтоб со шкуры брызги, и пешком в мастерскую, к столу, писать «Ночной дозор» или желудь у Репина, но нет! Он вышел на лестничную площадку с собакой, привязал пса поводком к животу и пал в пролет.

Лифта ремонт, слесари пилили стекла, а ты и ухнулся им!
По законам летающих, с толстотой, ты перевернулся и упал на спину, а пес и взлетел, фокс, крысолов, живчик. Лай был ужасен! Любил ли я пожить, не думаюсь! А собака любит, она же животное. Мораль: не уходи в иные миры с другом на животе; спасется. Жалко.

Говорят, когда Н. Грицок летел, за ним шла шаровая молния; шар, и цвет яблочный, с огнем, невозможный! Она задержала (якобы!) его на весу, на ряду где-то четвертого этажа и быстро обнюхала. Вынюхала всего и взорвалась, звездопадом. Я рад — сочла достойным смерти, готовым. И ремни пережгла фоксику, чтоб жил.

Я видел ту лестницу, с амальгамой, чудище, ударишься мордой о ступень, и видно, какая ты гадость, отражаешься.

Видно, молния вышла из Зеркала, чего-то ей поручили, да не исполнились желания.

Жаль пса-то, что спасся.

Синий, несуществующий мир.

ЮРИЙ ГАГАРИН

Федоров хотел всеобщего воскрешения в покойницкой мира, — загиб надидеальный, русский, — загробный коммунизм с красными щеками.

Мертвые души с выходом в космос.

Не потому ль мы первые вышли в космос?

Как трагует, маленький по росту, чудесный Юрий Гагарин, из-под Ленинграда. Что-то в истории его полета с фальшью и казалось очередной хрущевской помпой; уж небывало русское лицо ему надето на голову. И его шествие на колесницах по планете, и в каждый народ он вбивал кол клятв этой диалогии.

Но смерть Юрия Гагарина указала на смысл гения изобретателя и живой модели, рукой Королева пущен был лет орлий, натура нерутинная, муж гордый, властный и безумный. Тот, на ком стоит формула Золотой Лев, он виден всем и в космосе. Космонавт-2 давно забыт, остальные, кто их смотрит.

Почему — он?

Говорят, карта. Но трус не садится, карты и Достоевский. Говорят, лицо. Но у раба не бывает чистокровное лицо. Говорят, обыкновенный, наш, Юрочка. Нет, над всем этим не сияют глаза безумия.

У Николая Грицюка есть натюрморт (вместо портрета!) «Мечты о счастье космонавта Ю.Г.». Нарисовано: на синем — светло-синий крест, а на кресте распята бутылка с головой, красивейшая, даже ошейник на ней; а от тела бутылки горизонтальное блюдо со снедью, но оно же (означает!) и руки Некогого. Что за снедь, красочна!

Гагарин рассказывал о чувстве голода сверху. А ешь тубик. И снятся ягоды золотые. А он летит, как меч с руками (крест!), а под ним поляны земляники. И шип шампанских нот!

Этот юный, жесткий и славный, герой Юрий — медиум, выдержавший испытание славы, какую не знал ни один со дня сотворения Земного Шара, — он не смог выдержать себя. В нем возгорелось, пошли дебоши, а жизнь мажет тестом беспощадно, он ожирел. Сломал лицо в пьяном биноме, эх Ты, Он, сломал ему самое лучшее. Как он отворачивался, чтоб не видели эту щеку, со сломом. Как-то (после операции) он спросил:

— А Чехов? Как с человеком, у которого прекрасно?

Я сказал:

— В человеке должно быть всего понемногу: 1 глаз, 1 ухо, 1 нога и 1 живот. Тогда он достигает гармонии.

Он улыбнулся! — уж как Квизимодо. И лицо его было, как целое горе. Герою, не имеющему впереди ни одной даты, остается уйти. Остается стать мальчиком с бумажным самолетиком, и кому, — знающему рев ветров, самых массивных! — это смерть, это смерть. На космодром его не допускали. Он стал летать на самолетах, на слабеньких. Они были испытательными, когда он начинал. Все равно что завернуть зрелого Геракла в пеленки! Он летал, но туго, вяло. Его манило иное небо. Разве может летать в бумажном кульке душа к изыску? Может, если ты комедиант. Но этот, Первый, был истинно первым, трагик.

Выход в космос — это не выход вверх, а в ад. Здесь надежды на будущую жизнь еще более нелепы, чем райские ванны.

Юрий резко смотрел в глаза смерти, но его глаза (из чистейшего мира!) уже мutilись.

Через три месяца он свалился с неба. Он умер, как Бог, никем не замечен. Только я обошел Смольнинский собор вокруг и, вынув бутылку, выпил до дна коньяк, да Грицюк на Охтинском мосту снял мою шляпу от дождя и, нелепый, бросил ее на воду.

ВЕНГЕРКА

Поезд в Венгрию, снилось — майор ест курицу, за ней вторую; я — одну. Вдруг млн. венгров на таможне, милостивы; я тоже. Сосульки солнца. Конец. День будучи. Когда ж кони взошли в Будапешт, стальные колеса останови. Майор уж на перроне, откинув никелированный сапожок; нос свистнул. Венгерский вокзал, чужая перламутровая река. Пойди по Буде, перешел в Пешт по мосту из стальных дел. Сколько чемоданов можно сбросить с моста в реку?

Пластика рук, фильм о золотых ящиках, метко стреляют, Клаудио Кардинале и старик, этот бьет то из пистолета, то из рук вверх. Сильный люстиг. Ел лианы в бистро. Ч-к чесал бороду хрусталь-

ным гребнем. У лебеда нет близких. Врач изумлен, почему я не потерял дар речи. — Почему? — сказал я. Я дар речи могу потерять. В образе солнца цвет крашенный. Такое солнце — это диалог. Меня зовут туда. В деревянном кабинете стены оклеены досками, с сучками; хна. Стены похожи на лошадей, те тоже деревянные. Мне нравится. Не очень. В ночи голоса — меня зовут туда. Золотые листья ведь тоже всякие. Пальто для буйвола. Река Тисса, мост цементный ест моль, заодно. Я говорю о говорящих. Красивы трубы, как два серебряных брата, от них пойдет отопление по телу. Ем уху из карпа в помидорах. Ложки — утюги, шипящая пища. Дверь стучит, как кирпич.

Тетерева в дороге. Придут в сапогах женщины, одна грудь бледная, вторая сочная. И другая. Красное солнце, дискобола нет. Мы въедем в Венгрию, на дачу, Балатон. Из машины — Балатон, туманный, вышки для встреч в воде. Дунай — карманная река, переехали. Я, шофер Р. и его дочь, девятилетка. Звезд тут я не видел и конфет. Венгры едят медь. Супик у них — ох, и супик! По шоссе от Сегеда до Балатона я насчитал 16 задавленных кошек. Среди них серая и цветные, друг друга не повторяют. Такая неповторимая задавленность.

А тетерева как! Летят! Вижу корову, с рогами, загнутыми от ушей вниз, под шею, с челкою. Здоровенная — корова! Зари нет, еле ее проехали, темно. А когда ехали, шел караван Венер с ногами из гипса. Столько стремлений вверх, что иду вниз, будет зимой. Братья едят абрикосы, сестры трескаются по швам — день любви! Был, был! Круг рек образуют море. Мне говорят (мнекоторые!), что сбор винограда. Венгерские мотивы могут войти в книгу для Аписа, где вырваны страницы. В декабре в Ленинграде я не буду. Хорошо б не быть и в январе. А с февраля уж жить не хуже, чем зимой. Нет красивой женщины здесь, за 5 дней не видать. Но и за 25 (остальных!) не покрасивеют. Нет пленительных. Дочери Бурга, одинокий Анд я, нетающий. Что нужно женщинам? — по среднеевропейскому времени им нужно 17 час 30 мин. Сейчас 18.10 — тьма тьмее. По ТВ флейтист, и чего они вечером показывают мужчин, у них католические чулки. Реки в круте образуют море мысли. Дето-Дьявол.

Вороны быстрые, просыпаются. Небо слишком тонкое, тонкое. Не ищи виновных, на воде их нет. Собочки луют. Не понимают, что форма — это Я, а думают — это грамматика.

Она смотрит на меня, как на зарю; ей девять лет, губ не надо, рано. Это в машине, едем в Печ; шофер Р., его дочь, я. По радио поиск преступника в куртке с кнопками. Отряд полиции: стоп! Смотрят на меня, не узнают. Кошки сидят вдоль шоссе, не убитые, на это они пойдут позднее. Выбирают вверх брови, как чулки — люди. Круг рек, образующих море, узок; большие из них текут как попало. У дороги крест, к нему прибита утка, что

б это ни значило, но утка — не христианин. Листья под колесами. Издали г. Печ — так рисуют дети — коробочки с окнами, с синеньким, розовеньким и пр. карандашами. Ел яблоко, такого еще не ел, не прокусить, кусал клещами.

Жгу свечку из желтой розы. Чонтвари. Бутыль кока-колы, как канистра с бензином. На полях сено, скатанное в бочки. Какое коварство. И немцеподобие. Дурной вкус — актер водит бровями. Брови у аристократа да будут без движений, как у императора. В винограднике дед с редкостными зубами (из кукурузы!), в эмалированной посуде, котле — варит борщ, с куском ветчины, все кипит, красно. Такое не забыть. О братья, братья! Певцы, некому черпать кирпичи. Всюду видятся быки — быку... Я видел оз. Балатон ровно 1/25 сек, на его фоне фотографировали. Вдвоем, с девятилетней. Век бы их не видеть, а видеть эту 1/25 сек. Венгерский язык не имеет равных.

Придут жестокие времена, дом дней не строится. Музыкант — кузнец смерти, а спортсмен — песок. Я пишу, чтоб заполнить пустоту людскую. У черных рек больше вода, чем у светлых. Что пьянит в винограде? — шарообразность. Всякие бутафоры, а государства содрогаются. Но о них думать (о тех и других) не надобно. Война кому-то счастье принесла; но ни один не вышел из войны победителем, все погибшие. Некому книгу надеть на голову. А есть ли дома домотканые, из камня сотканы? Почему доски — так долго живут? Почему кость ч-я живет тыс-я? Моя кость будет жить без моего Я. Как приятно, что хоть что-то без моего Я — будет жить. О бессмертных костях, связанных со мною, я еще не читал. Они лягут, чтоб обрасти мясом размеров Уральского хребта. И будут дрожать под землей, как Геодель. Корабль, лежащий на дне, все ж корабль. Кость льва — львиная, однако. Какой ужас — через 1000 лет найдут мою кость! Что она будет думать обо мне, откопанная?

О чем написать, некуда (себя девать!), пишется книга. Меня встречают пунцовые герани! за стеклом. Видимо, тут юг, раз растут абрикосы, виноград и мозговая кость у ветчины в борще. Едем, едем, из-под колесика выпорхнула птица и убита. На красных кирпичных крышах млн. птичек. Красив на солнце Чонтвари, корабль он рисует, как лошадь. Я не видел таких греческих колонн (живых!), как на холсте у Чонтвари, у них (у него) нет прямых линий. В 40 лет аптекарю Чонтвари снилось, Бог говорит: «Ты будешь самым великим художником». Чонтвари рассказал горожанам про сон. Те спросили: «К чему б это?» Он сказал: «К тому, что я буду самым великим художником». Он продал аптеку и ушел. Хадж. Был в Италии, Греции, Иерусалиме, Турции, везде рисуя. Он не учился писанию картин маслом, он и вообще не учился рисованию. Это заметно, но спасает живая жизнь, краски (его!). Его поздний карандаш так свободен махом, мону-

мент. Он усыновился у Мик.Андж., карандашного. В 50 лет Чонтвари пишет книгу, что в солнечной системе мало солнца. Художник — дополняет свет, рисуя одним колером кисти и бороды у старцев, и водопады, жемчуга изумрудные. У него овальности из лжеклассицизма. Ни один из великих художников 20 в. не знал о нем, а он был им предтеча. Он знал реформу раньше их, аномалия. Он не сверххудожник, не равновелик, но не имея учителей, рецидив, монстр. И прирожденные к живописи две руки — левая и правая, он писал двумя. Это видно по ракурсам. Святой. А он не знал Евангелие авангардизма — Сезанна, и сглотнул его, не зная, переступил. Автопортрет — проваленно-выпяченный нос, глаза, как свежеочищенные яйца, галштух, знаток фармакологии, химик. Математик. Удивительный дух! — несовершенный. Как он шел, гнулся, к гробу Господню, с ящиком красок, с мешками холстин. Он вернулся в г. Печ, где родился, и умер. Голова, работающая без остановки, при остановке разбивается. Гедеон Гердоци, студент-медик, купил всего Чонтвари и хранил 60 лет, их, медиум. Он добился музея и умер в 80 лет, его голова прикована к входу на выставку. Голова из металла, черного. Светлой памяти.

Холода с дождями, грустен плющ на дворцах. Читаю книги. В г. Печ купил замочек — для почтового ящика в г. Ленинграде. К нему шурупы. Остался доволен.

Ф. Лист. Он полустоит на балконе собора, где он играл мессы, ретрожелезный, в накидке из листового, блестящего железа. — Лист, Ференц, памятник в г. Печ, — объясняют. — Не Франц? — сказал я. — Не немец? Ответ: — Он был немец, но всю жизнь считал себя венгром, что важнее!.. Что важнее? Не люблю холод и дождь за границей. Изолянт я. Пусто в ступах, толочь нечего.

Буря огней! А, удовольствие от золотой осени, как в церкви. Художники играют полоумие и пишут в стиле фольк-арт, забывчивы, что есть и неподдельные сумасшедшие, а стилизация — всегда мазня. Вечер над Тиссой, на реке бури нет, сурово и гладко. Луна — окружность хрусталя, полная лампа. Мост — белое ребро, легкая мысль у Евы, через речку, гименеологическое. Бесперебойный шаг — это я. Не нужны путевые записки, я — это запись шагов. Женщины навстречу и виолончеоли, из белого камня. Вижу воочию пьяных в кожаных пиджаках! Какие чудные заросли над Тиссой. Целая толпа японцев, с ложками. До югославской границы 10-12 км, там и Италия. Кофе с лимонадом, изощренность. Написать, или нет, как в 1952 г. я вез в лодке по Тиссе труп разбитого летчика? Или скучно? Все ж вез 6 суток, летом в Будапешт, в одиночку.

Утро ватное. Сны различные. Вишневый сад, день, закат. Листья на нитях и на земле аллеи. И под землей носятся? Сухие. Груши

висят на груше. Домик, белый кот, крыльцо и розы. В листьях. Какие люди! счастливые. В этой фразе поставим под вопрос восклицательный знак. Скошенные веки — признак мадонны. Видел таксу, настоящую, в Ленинграде их нет, а в Новгороде? Их нет. Свой язык не коверкай в угоду грамматике. Где шарик вертится? — меж плеч. Туман над Тиссой, туманно. В окне автобуса горят кукурузные поля. Красивые! Одинокие и групповые костры. В г. Печ взрывают дом. Взрыв дома — дом взлетел, как тополь! Что год дал? В ночи из автобуса — горят костры по венгерской равнине. Весь день шел дождь, рвали дом. На горе король Иштван и королева Гизелла, первые христиане. Здесь. К концу поход, не увидеть в чужом, люди как люди, одни люди. И глаза у них как у л-ей — газообразны. День поминовения усопших. Гонки с фургоном-грузовиком. На шоссе — раздавленный черный пудель, машины едут сквозь него, как в черной туче. В день поминовения усопших в ванне плавает карп. К завтрашнему обеду. Поминальному. Вечер на кладбище, где лаем проважат собаки, суя в ячейки, в забор, нос для поцелуя. Карп плавает, как проклятый. Я поговорил через забор с таксой. На кладбище много плачущих. Тысячи свечек на земле, освещение снизу, из рая, кресты освещают. Плиты в свету. Братская могила сестер-монашек, их 12. Баркас серебра. Цветы в венках! Костры из свеч. Свечи на камнях, на бетоне, он наложен на тела ушедших. Одна жизнь отрезается, а вторая? — не приходит. Прекрасны громады Будапешта. Карп широкий, как рука Господа Бога; завтра съедим.

III. К ЗАКАТУ

НАЧАЛО

Автобус, как кит-аквариум.

Свет.

Много голов, шофер — японская головка. Я в черных очках, чтоб спалось. Автобус идет 100 км/час. Дважды дуло.

Тарту! — ось моей смерти. Тротуары устланы книгами начала века (19-го). Бюст Барклаю де Толи, дом его, генерал-губернаторский, казенный, углы падения 45°, привинчен двойной трубой к дому-соседу. Ах, пизанцы не знают об эстонском романтизме, а то и они привинтили бы к Пизе свою башню.

По берегам рыбаки с рулеткой. Рыбы? — Нет. Увидев меня, на блесну завивают нить жемчуга, бросят рыбе, а та по воде бежит, благодарит, нить уносит, а на крюк не идет.

Все ж ехать легче по Кара-Кум, по Италии, в Нижний Тагил.

До г. Отепя — тяжело. Шофер другой. Я его знал ребенком, Ян он, с шейкой, как Эдисон.

На Пюха-озере вода плывет вправо, как по течению, завтра в левую часть ей. А послезавтра?

Я напишу.

Я дал уткам по шоколадной плитке по 1 р. 70 коп. А уток пять, отметим. По шоколадке. Мятные драже им дрянь, пилуоли. Завтра дам мармелад, колбасу и копченую грудинку с борщом. Я добыюсь того, чего утки не едят, напишу в Королевское Общество.

У селезня клюв светло-зеленый, изумрудный, а вот у уток тинный, желтовато-костный. Селезень нырнет, а из задницы перламутровое перо! Реально ль я пишу? Вполне. Но скажут — и это выдумка. Утки некрасивы, у них нет грудей и ног нет.

Ногам в воде холодновато, вот у них и перепонки. Женщины, а не женское. Представьте эти пальчики перепончатые, в мужской руке, подносим к устам. Что за этим последует? Духовная близость?

Поля размышлений.

Утки красивые, в прошлом, летят волнистой стаей — как надежда!.. Зимовщики. Озера теплые, рыбу не бьют из орудий, да детский хлеб едят. Ручные утки! Они останутся после потопа.

Эстонцы строят замки.

Я видел в Провансе руины маркиза де Сада и дом Сезанна, там французы строят свой Крым, голубенький. Франция — от никелевой монетки.

У эстонцев денег нет, а замки герцогаобразные. Черчилль-младший, Мальборо, герцог, я был в его замке в г. Рим, — да автомеханик с курофермы в г. Отепя не поселился бы в такой каменной кухне, постеснялся б семью ввезти. У Джонни Бурбона замок из лунного камня, я хвалил, но и он меньше, чем у эстонца. О формах я вообще-то молчу. Боюсь, что эстонцы затмят и архитектуру. Это у Я множествен дом дней, а на веревке смысл пасется — печаль моя, бездонная, роговая корова, Бык Апис. А здесь дом, замок, сколько в нем башен, башенок, граней и помещений! И бассейн — первый этаж, чтоб с порога снять обувь за шнурки и ух! — в воду головою (северной!).

А на замках сидят коты, в пятнах.

Кто видел березу, тот над ботаникой. Я вижу — бела, любовна! — как первочеловек!

КАМЕНЬ

г. Отепя — древнейший, но не обновлен, дома-замки вне исторической правды. Я живу на хуторе, мебель из простого дуба, стол, этажерка и шкаф; и кровать. Здесь жил Мартин Лютер, с прялкой.

А на этажерке большеголовая кукла, целлулоид, девучко-женский рост, если с нее снять платье, то я влюблюсь. Но я не сниму. Кости легки, и я летаю с дождями по округностям. Здесь была Н. Я бил ее. Утром я пил стакан хереса, сорокаградусного. Вечером я пил светлое. В желтые дни моих белых горячек я ее любил. Потом — иные дни. Я лежал на хуторе один, холодея. Икота вырывала мое тело из жизни. Я пил воду-рвоту до 4 ведер в сутки. Не помогало. Я вызвал Н. телеграммой. Она быстро приехала и отказалась вызывать Скорую помощь. Чтоб я сдох. Дни ее торжества! Она вызвала машину из Тарту, когда мне уж не было возврата. Я умер в клинике. Я потерял вес, слух, сошла кожа, выпали волосы, исчезла сперма. Я помню на шоссе эту Н., в парижском вельвете, я ей купил на плац д'Итали, в красно-оранжевой кепке. Она ревновала к М., та уже покончила с собой. Я умер в Тарту, а то б еще долго искал эту разгадку. Орех раскрылся.

А в больнице мы любили, но печально уж. Н. дежурила на табуретке надо мною — 126 дней. К слову, официалы, гости из СП и иные, кто шел на мою смерть, сползали с табурета через час-полтора, в обморок. Это ж было на реанимации. И не было ни одного, кто б не упал. Н. высидела.

Отвезла в Ленинград и ушла; я ее выгнал.

Она любит меня.

ВЕЧЕРНИЙ ЭСКИЗ

Желтое и голубое, луга.

Выпить бы грогу.

Цветы белые плюмажи. Весь день шло и жгло солнце, а вечером молнии. Прошел Герберт (и я шел), подстрижен. Ему 60. Прошел, махая рукой. В такт.

Вспыхнул корабль, и много грома, многовато. Яркости не той дождик. Вспомнил о Тинторетто, написанном Жан-Поль-Сартром. У нас таких фамилий нет. У эстонцев есть.

Трагедия уток на Пюха в том, что их не стреляют, и они кидаются на еду из рук, как собаки. Перелетная утка! — ест из рук карабинера. Днем на озере много голых, а сейчас мало.

Мало — это сильно сказано, никого. Вода бестелесна.

Если куклу одеть (она одета!), то сексуальная сила ее целлулоида пропадает. Целлулоид тела, возникший разврата, свидетель мытья девучек сделал эту куклу, анти-детолюб.

Давно замечено — красивые девушки одиноки до старости, а некрасивые, но тощие, имеют любовников из представителей высшего класса. Сочные женщины пользуются меньшим успехом. Когда корабль погаснет, молнии схлынут.

Чайнки ночные!

До ночи!

Воробьи, как рыбки спят в центре глобуса.

Не выйти. Молнии льнут к окнам.

О велик Ты, водочерпий, сколь льешь вниз, пользуясь высоким слогом!

ТРИ ЛЕСА, ТРИ ЛЕСА

Широчайшие пни, императорские.

Лось ходит, губами шепчет, коронованный. Эту корону я одо-машнил. Я вижу царя меж стволов, и нос — как кончик гондолы. Царь-дож, согнул ногу в коленке, ждет сетку, где: хлеб с солью, рыбий балык, редис и цветок Янь.

Это первый лес, голубые стулья — это пни; мох, застегнутый на желтые пуговицы — лисички.

А сумасшедшая Энно — девушка из второго леса, там склоны покрыты красными. Дни Энно в лесу. Если точно перевести с эстонского, как о ней говорят, будет: голоплатьевая. И волос нет, сорвала ножницами, полирует кожу на голове. Что делает? То, что хочет — ложится в тень и комары закрывают ее тело вуалеткой. Да нет, кровавым плащом; я сказал голое платье — нагая, вне поэтики. Не стук эстетизма на машинке — комары реальны, сосут кровь. Иногда я иду — Энно сидит на муравейнике в позе медведицы и слизывает муравьев с ног. Она всегда ровна, мила, разговорчива и гола. Ее телесному и духовному здоровью нет конца, как у Будды.

Энно жила федеративно, я любил пить с нею.

А сумасшедшая?

Иди к Пюха-озеру, у него на песочке лежат академики, кино-сценаристы и авиационеры, их гладят москвички. Спрошу прямо — разве и те, и те не голы? Разве у ню лет 15, в плавках из Люксембурга, с обтяжкой — это любовница из чаши страстей? Через 5 лет у нее смена мяса и от страсти останутся одни плавки.

Вот во что сделан наш пляж, Энно, радость моя.

Я пил тогда. При луне смотрел в пустой стакан и наливал; я пил наполненный. И виден был третий лес, по ночам в нем кто-то рубил. Над ним стояли звезды, и больше нигде.

Как ясно тянется нить! — кабинет, я обновлю мебель, цветов в саду уйма, новых, пчельник краше, ежи живы, узнают меня по оловянной миске с молоком, сыром и ломтиком свинины. Грибов на редкость. С закатом я ставил стул на холм, и, поворачиваясь по окружности, стрелял из парабеллума. Ежи звенели в ногах, вылизывая миски. Я не в шутку ел дроздов, их стреляют из спортивного, чешского, Диаболо. Пулька пробьет голову, дрозд цел. Но и из парабеллума — восторги, но звук от него пышный,

и уж не птичье жаркое на блюде, а пороховой склад. И зайцев я бил в лёг, в глаз, из Диаболо; не браконьерство, не огнестрельное. Просто, если простота — это полуметровый ствол. Я бил пулю в пулю с 500 шагов из винтовки образца 1851 г., я стрелял в ночь, в иголку с 30 шагов, на вспышку спички, — я прирожденный стрелок.

И случилось: я поднял руку на дрозда, а рука курок не спустила. И я раз за разом ловил в кружок зайца, ствол тверд, а не стреляет.

Гребем в грусти. Я написал книгу.

О время, время, некуда его докатить!

Книгу я написал за 12 дней, в остатке 8. Я не радуюсь концу книги, потому что за этим — пустые времена, хуже жизни. Я пил водку. Я сжег муравейник.

Я снял фильм, согнав артистов из Эстонии в одну точку. На это отошло 5 дней. 23 августа здесь грибной пик, а на 25 заказ на такси в г. Тарту, в до свидания.

До такси я сложил бумаги, как в старину, пошел прощаться. Ночная сухота, грибов ни одного, дурные приметы. Лес скучен, стволы. И я пошел к такси, к дому, к исписанным листам, домой, в Ленинград, в комнату с манекенной живописью.

И в той точке необратимости, с руганью на деревьях, чтоб к ним ни ногой! — что вижу? — краем, в глазу, стремглав — небывалый, белый, сверхразмерный гриб!

Я не доверчив, так, привиделось, пошел прочь! Но нечто: стофф, обернись, не кружи голову!

Я остановил глаза: — он стоял! В заломленной треугольной шляпе, в сюртуке, белые панталоны, в блестящих сапожках. Нетрудно догадаться, как кто — как Наполеон Бонапарт II! Он стоял еще и как гриб, и счастливая сила. И в ту ж секунду (жизнь!) я увидел всю пьесу «Дева-Рыба», написанную в стихах от 2 до 11 слоговых единиц, в божественной графике пространства в 270 страниц с 22 героями, с пришествием, монологами, и это не взрыв подсознательности, я закончил (в душе?) эту пьесу так, что писать на бумаге и не надо. Озарение. Такое бывает в момент отрубления головы. Дома я положил гриб на весы: 1 кг 600 г. Он и на весах лежал, скрестив руки, с женским лицом гения.

Я писал ту пьесу, но не вышло. Мотивы ушли в книги. А счастье было. Я пишу плохо, но допишу еще.

Микки

Микки, щенок; рвал мне штаны у ботинка, бегал по лесам, по шоссе, в г. Тарту и в ресторан — за мною. Ни за кем. Прошло 15 лет, он отстал от моей ноги и понесся вбок

навстречу фарам. Зрелище! — машины врезались друг в друга, как рыцари, скрепящая лучи. Дождеватый вечерок. Микки вывалился из рук, раздавленный. Я вымыл ванну с марганцем и вымыл Микки, наложил пластырь из мумия, шины. Герберт (60 лет!) совалясь, как сволочь — просьба помочь! буду убит! — но он лез в комнату не за помощь, а выпить. Я вышиб Герберта рукояткой револьвера.

А утром выстрелы, из двух стволов. Двор, Герберт с ружьем; помог, убил. Мы выпили, в сауне. Камни горели неземной красотой, накалены. Веник. Альберт принес линия. Эйно, вор, был с кроликом. Был и Август, с хутора ниже, и Пауль — часовщик, дочке-офицер. Мы помянули Микки.

Я и не знал.

На третьем (?) году Микки кастрировали. Он мстил. Слившийся с ночью пес входил к собакам в будки и убивал их. Заходил в овчарни и резал овец. Кроликов он уничтожал сотнями, вспарывая сетки. И он не ел мяса.

Шел в амбары и в подпол, громил курофермы, ломал млн. яиц. На огородах уж и овощ не шел, сады сохли; Микки кусал под корень. Я помню (смутно!) сказки и панику — в г. Отепя привидение, громила. Говорили, что это цыган из г. Тарту или же новый милиционер, похожий на царя Николая I.

Микки, спору нет. Спутник по моим бегам и процессиям, он и в лес водил санитарок, волочил их за юбки, пастью, чтоб указать, где я лежу. День-ночь, день-ночь лежал я, не встать, коленок нет. О винные нивы!

Микки творил, он автор. Моя выучка. Мой почерк речи. Его лишили мужества, он им и объяснил об этом, лишенец.

Капканы! Ядо-химикаты! Сети! Как будто он крыса, ястреб и рыба-меч! Не он это был? Он, он.

Я с лопатой пошел к кусту. Куст рос на наших стежках, никто там не копал. Куст бузины. Я начал, и пошло из земли костей и тухлятины столько, что я вставил в нос пуговицы. Я хохотал! — я отнял лавры у археологов 40 в. н. э., чего б они не написали в листах ума, — и кладбище эстонских животных в одной яме, и ритуальные жертвоприношения в страшной стране СССР, и — запасы еды для полетов в космос, по Отепяской дуге, и секретные упражнения вивисекторов в виду получения античеловеко-мутантов. И еще.

Я никому об этом кустике — не скажу. Сколько раз и лет под бузиной я трубил в бутылки, а Микки выл в округность. Вечерами! Мы ведь разные, не одинаковые. А яму я выбросил в озерца, рыбкам на радость.

Микки жил интересной и нравственной жизнью. И я преисполнился любви и нежности к моему другу.

М.

В 1 лесу — пять пустых яичек во мху, разбитых и съеденных. А в просветах сосен тетерка ходит, асфальтовая.

Гром грянул — жид крестится; я вышел на полянку и рыдал навзрыд... Я не был на этом месте 15 лет. Мы приехали из Парижа, пошли в лес. Мы далеко зашли — к, от и до полянки, и решили, что жить не можем, и вместе, и на земле. Жить не можем!..

Я забылся и вижу — у ели М. сидит, с косынкой, глаз живой, курносая, в веснушках. Среди женщин живая — редкость, а М. вообще была редкий металл. И ударился я головою о ель и рыдал, как вкопанный. Мы жили 14 лет, мы не были друзьями ни дня, ни одного разу! М. боролась.

Бороться со мной, победить и выйти вон, так предать и бросить — здесь! Без возврата! Что ей трудного — там?

Я — там был. Там встреч нет. В ту степь, куда мы уйдем, там кочуют чеканные кругляши, планет.

Пошел на Голубое озеро. Вода плоская.

И по плоской воде паучки-главнички. Они ведь и живут, бегая. Куда ж они деваются зимой? Вмерзают в лед до весны? и в бега, заново? Почему у них такая жизнь, невзаправдашняя?

Ну, рыба, ясно, вода-еда, вон ходят, воду ворочают; неплохо!

А эти? Нужно б узнать, для чего они живут так?

Все, у кого круглые, живые глаза, все те — птички на ветке. А снизу в них быют из дробовика мертвецы, с рассудком.

Возвращаюсь по дороге, из-за спины грузовик выскакивает, громаден, как дом, и шофер в окошке. Я не слышу, как он там изгибался за моею спиной, но вырулив, он свалился с холма, врозь колесами, под откос, и лег, в пламени.

Меня пес облаял, черно-волк. Я руку протянул, он лизнул розовым языком, как ребенок.

Так и стояли мы на дороге: я и пес. Вот и солнце уйдет... Уже ушло.

НЕ ПЕЧАЛУЙСЯ — О МУРАВЬЯХ

Пирамида живых, бегущих, у них там книга расцвета царств, сверх-Египет, Эллада и римляне со щандартами, на крылатых лошадах (крылатоконны!). Как пышно шевелилось!

А вокруг лисички и тончайше-хрустальные сыроежки с фиолетовыми и лиловыми шляпками; изысканно футуристично и человечно.

С удовольствием Гулливера вижу я возню (годы!), помощник иных миров. То, из чего сделано в их доме, лежало идеально, с высшей математикой.

Как-то я шел по лесу, курил, с коробком, вынул спичку и бросил. Она горела. Накрапывает, татуируя муравейник.

Я сел на солнце, блестящие стеклышки дождя, с бутылкой ликера Вана Таллин, и курил, смотрел: если спичка не отойдет, и не даст огня, погаснет, я вторую не зажгу. Спичка горела.

Дождик был, грибной, и нету воды, нечем тушить. Да и ведра не готовы у них на такую катастрофу.

Спичка загоралась ярче. Горело. Огонь шел внутрь, как сверло и дым из вулкана. В тесноте неслись полчища, геометрическими фигурами, толпой и в одиночку — все бежало по пирамиде, тысячи несли яйца, спасая, но — куда? От огня — НА ВЕРШИНУ! Никто, ни один муравей не бежал от дня, от дома, наоборот — с лесов, со всех ног неслись к своим, в огонь!

Я был там. От муравейника-империи остался большой обугленный утес, где жили. Я был вчера, это уже после Огня через 6 лет. Утеса нет, углей нет. Руины вычищены. Муравейник маленький, скорее вширь, чем ввысь, а был — выше роста лося-короля!

— Сколько миллионов трагедий! — сказал он блудословно.

Вот что: Сенека — и есть Нерон, но в худшем варианте, тот, кто учит — это от бездарности.

Разве над Вавилоном не сидел некто с сигареткой и ликером во рту?

ДОРОГА НА ПЮХА-ОЗЕРО

На г. Отепя один вареный рак, никто не ел его. Он лежит на углу ул. Эд. Вильде и Юх. Таамар.

Машины немые и ястреба. Один баран на пять овец — стал, как Бранденбургские ворота.

Крыши мостят деревьями, светлым. Под крышей отверстие для пушки, шестиугольное. К замкам едут железные барабаны, на них надпись: ЛИБЕРТЕ. Рабочие, один внизу звенит досками. Доскоед он.

Дорога на Пюха желтая. Две трубы. Одна — полный столб, вторая — боевая труба, трудовая; на верху ее балкон, человек со штыком речь говорит, и речь его высока, как видим. Стоит, козырек с лаком из Возрождения!

Я лупу купил в каубамае, вот и хожу, катаю, стал, смотрю: стоит человек с речью на трубе, увидел меня сквозь линзу и руку тянет — из пламени и горестно. Как антихрист!

А по дороге грузовик, в лужу ушел, человек 40 в кузове. Было. Теперь уж никто не узнает, сколько их, не возвратятся.

Как-то тут танки шли, 6 штук. Я им дорогу уступил, сел в рожь, и бутылку к губам приставил, как свирель. Под эту музыку они и ушли с земли, один за другим. Ну, ладно, первый утоп, но о

чем думал шофер второго, третьего и т. д... не надо думать за мертвецов. Я лужу миновал.

Корова! Молодая, на цепи. Я подошел ближе, и она с поля. Красавица, глаза мыслящие, как у Гете, но у Гете на физиономии не было цепи, а у коровы цепь. Вот пример!

До лошади я шел через холм. Это нечто, провисший мешок, лошадиная туша, как баскетболист на локтях и коленях. И лошадь пошла навстречу, тут звери человеколюбивы. Вблизи это конь. Говорят, что корова и конь живут в тесной дружбе, в содомии. Кто из них полюбил первый, или оба ринулись навстречу судьбе? Неплохо, оба большие.

Лишь бы солнце весь день не видеть, туманные картинки.

К ночи я вставляю лупу в окно, пусть увеличивает.

АМЕН

Колодец закрыт, и ведро на цепи по-собачьи стоит, сидит у колодца. Если бывают эмалированные собаки, полые. Бывают. Много чего на цепи.

Пюха-озеро, известное море. Древние купались в нем: нырнут с вышки и долго их нет. И выходят, как немые. Долго не говорят. А если с ножом к горлу, кто спросит, выбьют нож, убьют и уйдут в глубину. Там — обновление.

Утки, лодки с цветами — это верхний слой. В глубине озера я был. Где древние эстонцы?

Иначе — отчего народ, поселенный Им в количестве 1 млн., не ассимилируется и не стал мессией, за 5 тысяч лет? Даже такая знаменитость, как евреи, брали на приплод женщин из ассириянок и других здоровых. Эстонцы не женятся ни на ком, кроме эстонок. 5 тыс. лет назад их был 1 млн. и сейчас 1 млн. Как это?

— Озеро!

В 46 г. до н. э. Гай Юлий Цезарь, наслышанный об Пюха-озере, с одним легионом пошел купаться, из Лондиния (Англия). Белги, тогдашние англичане, говорили Цезарю: не ходи, еще никто не купался, эстонцы одни в этом озере. Но Цезарь пошел. Ходил он быстро, на кораблях, и вот он в Пярну.

Совет Эстонии, 5 Пярнуских герцогов вышли на пристань с блюдом, а на нем рыба и нож. — Что это значит? — спросил Цезарь. — Разрежь рыбу, съешь половину, а половину брось в Пюха-озеро и уйди обратно. Но Цезарь не любил, чтоб с ним говорили об обратном пути. Он же был футурист, вперед, вперед, — через Рубикон, в Африке сжег корабли и т. д. Да и здесь с ним отборный легион, с веслами. Разговор его был короткий, как римский меч:

— А если я не уйду? — спросил он; он был умен.

— Тогда ты будешь убит 15 марта 44 г. до н. э.

— Кто убийца?

— Кассий, Брут. Но бойся Брута, ты его дважды спас от смерти.

— Я не ем сырого, — сказал Цезарь. Он взял нож и вонзил в рыбу. Главный герцог, Арвит Роонксс, Светлый, открыл ему проход.

Эстонцы в тканых, коротких одеждах, черные волосы, а девушки — как лен.

— И вы не будете биться? — спросил Цезарь. — Так легенды о Пюха-озере и о непобедимых эстонских когортах — ложь? Пошли купаться, — сказал Цезарь армии, и через четыре похода они уж разбили палатки у Пюхаярве.

— Да о нас ты слышал не то, у нас нет когорт, у нас круги.

— Что за круги? Напиши мне об этой организации армии, — сказал Цезарь Светлому, мимоходом.

Кто теперь не знает о Пюха-озере? Весь мир (знает!). Тогда ж здесь стояли дома, крытые камнем, были окна, был Черный Бог, Озеро.

Римляне удивились малозначительности этого водного бассейна, еще бы! Они купались в международных морях и в Северном Ледовитом океане, не говоря об Адриатике. А тут громаден пруд, вода с чернотой. Взяли быков и на кольях жарили. Им пели, но никто не ел их жарено. Спросили почему, им ответили — девушки не едят с чужими. А были вокруг одни девушки и пели на цитрах.

Пели на славу.

И как один купались.

И каждый вопил другу в воде и на берегу:

— Видишь, я купаюсь, я купался в Пюха.

— Вижу! — неслось.

Это дело в разгаре!

Но не зная языка, легионеры не знали, как подступиться к девушкам. А за изнасилование Цезарь ввел смертную казнь — заставляли олуха выпить чашу уксуса, это и по истории знают. Казнь-то казнь, но сюжет абсурдный. Эстонки полно, молочнокислые, а никак.

Наконец командир четвертой центурии Страбон из Помпен сказал про это дочери Арвита Роонксса, Светлого, Хильде IX. А та расхохоталась. Чего проще?

— Ну, чего проще! — сказала она, обнажаясь до ниток и идя на вышку для прыжков в воду. — Прыгай! — крикнула она, — но только не с берега, а с вышки, вглубь! И будут тебе девушки без конца!

Кто, как не римляне, привыкли к состязаниям? И они пошли за нею, 45 офицеров, цвет легиона. Она нырнула, и они. Она вышла из воды, отжимая волосы, и они вышли и сели, ничего не отжимая,

у римлян короткая стрижка. Но все решили, что все решено. Смеху было! И легион солдат нырнул с вышки.

И садились к костру, как немые, обхватив голову и сжав колени. Когда они сели, девушки встали в круг, взяли цепи для обмолота зерна и цепями перебили весь легион.

Взглянув на это, Цезарь сказал:

— Здесь История! — и он один заложил новый город. А Хильде IX, с всеобщего одобрения, дал второе, приставное имя Юлия. С тех пор в роду Роонкссоов все наследные женщины Юлии.

А когда Цезарь уходил, ему дали тот нож, на память. В Риме он подарил нож Бруту.

Но отчаливая, с подарками, среди которых не на последнем месте эстонское масло и эстонская свинина, Цезарь был грустно-горестен. Его спросили:

— Ты — строитель, как назвать город? Скажи, Великий!

— Аменхотеп — я! — сказал Цезарь и уехал.

Так и называли: Амен-х-Отепя! Так в итальянских летописях до сих пор есть это название, но считают, что город в Египте и назван по имени незадачливого фараона, Но он не в Египте. Просто сократили название, и осталось Отепя.

В этом году исполнилось 2030 лет г. Отепя, но теперь нет Юбилеев, новые нравы.

— Амен! — скажу я.

ИНСЦЕНИРОВКА ЛИЧНОСТИ

Много лет, в раме бед приехал Друг-Наука; тело он полировал, как самка.

Однажды, после моего выступления в Концертном зале на млн. народа, вместо пения вышла шумная манифестация, и я гнал зал в гнев, а он встал и крикнул, чтоб видели:

— Я тебя очень люблю!

В баре у Артура на Пюха-озере мы пьем ликер Агнесс, и вволю; и пиво; и свиные ножки, обжигающие. И соленые сушки на стол, пивной; и водку.

Над озером листья, как музыкальные, как вальс. И вино в кувшинах. Друг-Наука зовет на лодки, но я отнекивался.

Мы пошли в лодку, езда со свистом, с нами Микки, финская лайка, пес фр. Эллы, хозяйки, и о нем еще новелла. А у меня в штанах на цепи часы, золотом покрытые. А чтоб не звенел цепью, Друг-Наука привязал меня к банке.

— Ты знаешь, как я тебя люблю, я отвечаю за твою великую жизнь!

— Отвечай! — сказал я.

Я на корме, сосу бутылку, сидел. А друг на веслах, мы умчались

быстро от берега. Озеро-пустыня, волны у него лавровые. Пьяный, я открыл глаза: вода, я тону.

Радуги, меняясь, идут одна за другой, и рыбки в них, хвостики-хлястики, не ухватиться, я иду ко дну, и плывут часы, как золотой маятник, как якорь. Дойдя до дна, я оттолкнулся и всплыл вверх, с пузырьком. Выплываю и вижу: Микки на озере топит Друга-Наука, у того пятки сверкают, а Микки кусает его тонкой мордой.

Я лег на спину, шлепая ладошками. Мимо прошел кролем Друг-Наука, как торпеда с реактором. Микки нагнал меня и поплыли рядом. Доплыли.

Друг-Наука сидел, бинтуя ухо. Я лег в песок. Микки, ни слова не говоря, метнулся из вод и кусил ученого в морду. Тот взревел по-бычьей и понесся в медсанбат. Йодом обрисовали, ноги ввинтили, руки загипсовали, жалко, не было поблизости музея для жертв террора.

— Обмоем плавание? — сказал он. — Обмыли, — сказал я. Назавтра он уехал, поцеловав меня.

Он хотел утопить меня, убить. Я был пьян, а он пил глоток, я пил в стельку, а он греб двумя веслами, мой вес 56, а его 92, я сидел на корме, а он по центру, я не мог перевернуть лодку, даже если б специально прихватил с собой штангу весом в 1000 кг, он бы штангу отнял и надел бы ее, как пенсне, бутылочка ж в 0,5 л, наполненная янтарем, не могла перевесить этот дредноут.

Хуже — лодку не перевернуть на бок с кормы, а тем более в воде. Он думал: если я пою в Концертных залах, то не умею плавать.

Почему он хотел убить меня? — этот вопрос и есть ответ. Но я запил и эту мысль. Тогда.

МОЛЕНИЕ О МЛАДЕНЦЕ

Ель — из изумруда!

А на ней ворона сидит — как звезда! на закате, когда бледно-розово.

На закате ель — коралл, вороны — ее игрушки, прыг-прыг с ветки на ветку, неожиданно блестящие.

Вороны — ряды черных.

Труба — бокал на стойке, гирлянды лягушек, вода на лугах — как голубые цветы. Сегодня — день Моления о младенце, 30 августа. И хватит тире.

Эстонки на Пюха-озере на закате, рвут репей; едят, важно.

Ель как море.

Посреди Пюха остров. А посреди острова валун, на нем площадка и костер. На костер кладут быка, поющего.

Так вот, Тервист, бык поет, ударяя сильным хоботом с головкой плода. Его берут и ведут за шторы, и надевают шубу из глины, скрепляя обручами. Бык запоет, как резаный, но его улягут на бок и он долго будет на угольях, живых. Он не сдохнет, пока его не съедят жареным. А его едят, разбивая молотками горящую глину. Если жена волнуется — гладь, зашумит — отойди на шаг, а в гневе — беги головой вниз. Но жена бездетна. И если она священнодействует, едя печеное бычье мясо, лижет бычью кровь с губ у подруг, черпает ложкой лимфу и жир из туши, при этом вознося Моление о младенце, — я не советую быть быком; склонись.

Они жгут одежды, и голые ноги у них — как для обхвата ногами коня. Они мажут бычим ачем и вином, без жриц, наизусть. Они гасят мясом огонь и плывут к берегу. И всходит над ними круг света.

И, прижавшись от луны к земле, они ползут по полю, свежеспаханному. Это Он им пашет целину в тот день, глиняную, будто делает модель новой Земли. И ползут, молодо-старые, двояко-выпукло-вогнутые. Уж тьма и белых тень на пашне — как лемехов! За озером Голос:

— Жених сожжен?

С поля ответ:

— Сожжен!

Голос:

— Нужен муж?

В ответ:

— Нужен муж!

Голос:

— А муж кто — бык?

И с поля, тысячами:

— БЫК!

За озером, голос:

— А Младенец?

Поле:

— МЛАДЕНЕЦ, МЛАДЕНЕЦ, МЛАДЕНЕЦ!

Голос:

— Чей Младенец?

— МОЙ!

— МОЙ!

— МОЙ!

..

А поле — это глиняные книги, раскрытые Им, толстые листы. Это Он ходит по ночам, как лемех, на одной ноге и отточенной. И я — будто б инопланетянин, а вижу не живых людей, а суффиксы, прилагательные и сказуемые.

Иду тем путем, досмертным.

В лесу бурелом — дело не бури, а людей, выламывают лес гусеницами. Лисички желтого золота, ювелирные цветы!

Если идти самому за собой по лесу, по трем лескам, то увидишь цифру 2, то есть кружочек вверху (головы!), чуть изогнутый стан и резиновые сапоги, внизу. Это со спины. Кто там, за затылочной костью и в душе — 2-й, идущий меж стволов из году в год? А это уж кто о чем вспомнит, а шаги есть. Букет лисичек поднят на локоть, и это кладем в корзинку.

А уши как торчат сзади! — как бычьи (мои). Ноги в резине, а голова как Золотой Маятник ищет: где гриб? И видит.

Выхожу из лесу, отохотился, жара — хоть выжимай ружье.

Нет, сорока — это веер, при посадке раскрывается, — японская Дама, черное с белым кимоно, Се-Сенагон.

Говори: осмыслим мир. Я видел, как пишет змея, и тут она похожа на Хлебникова, он писал всем телом, ходок. Хлебников носил в торбе, за поясом головы китайчат, с красным вином. Его пешие маршруты: Петербург — Москва — Киев — Харьков — Астрахань — Тифлис — Персия — Баку — Самарканд — Урал — Царицын — Москва. И так четыре раза. И еще в стороны. Ничего себе — отшельник, я бы сказал — шагающий экскаватор. Ноги, буйволиные, да и голова не отклонялась. Колесница в рифмах — он! Беллерофонт! Двигатель.

Солнце — вот враг красок. День недолог, но вижу главное: коса висит на яблоне, с медной ручкой; у косы медная драма. Как не гордиться: где еще косят соки? Эстония!

Пролетели мотоциклисты в голубых касках... быть вихрю, он и захлестнул. На Пюха спортсмены в лампасах.

По синему небу летел самолет с белой струей из хвоста. Он пролетел за 10 мин — 500 км, а струя все шла. Вопрос: в чем он везет столько белой струи? Это пилот-гладиатор, он облетит Землю.

На обратном пути я думал о девочках — сидели у озера, груди голы. Я взглянул на их колени — руки в кожаных перчатках, черных, а сами голые. Страшно. И зубы белые, и лет по 15. При виде меня они смотрели в упор, пока я не прошел, и глаза искренние, подонческие.

Уточки плавали, а за ними треугольнички плавали.

Я оглянулся: девушки уж стоя, а задницы, как две свеклы, горящие. Тут флора цветаста, губы намазала. А глаз — самое голое существо, но у него есть створки.

Я не тороплюсь.

ЮНОСТЬ

А желтые ножницы солнца режут наши седые волосы, как жизненные — в монашьи.

Спокойненько.

Никаких наитий, это мой лес и табличка у выхода, у двух песчаных дорог: «В лес не ходить, смерть», и череп с двумя звездочками на лбу. Если б кости скрестить, пошли б, а звезда — чертов значок. Лесник Йыхве впал в осеннюю спячку. Водка в пустых сапогах, — где он?

Краснеет небо, краснеет. И полосы туманно-светлы.

Кошка серая. Вертолет не стрекоза, у него крылья из головы, а стрекоза — это биплан, с перекладинами; да и лапки стрекозьи не с шинами на колесах, а цепкие, мерзопакостные.

Свет издалека и много его, магнитно, он — золотоискатель. А утки летят, как гантели. Я видел в Знаменитой ЛУЖЕ на дороге на Пюха лягушонка. Сколько в воду ухнулось машин и военной техники, заглотнулось, а лягушонок, как ноготок узорчатый, сильно гребет, плавви, плавви, а за ним — линкор, как туфля флота, этот уже носом в луже, и на мачте флажки СОС. И матросы прыгают ногами вниз, думая, что по колено, и уходят вниз навсегда. Как смеющиеся Я мои!

И настанут дни, и тягостью лягут поля у стекла, где тоскуем.

Юность архаична. У нее суеверия, приметы, целомудрие, чистота рук. Грязь грез. Юность — лимфа, ее корабли везде, с лопастями пошлости. Я б не хотел вспясть. Юные годы — это январь, средние века, ум, негатив и завистливая душонка; пот по телу.

Лягушки очень чувственны, хозяйка голову мылит, завивает, надела голубые ласты. Жених пришел, ел. Что-то в его лице от селедки, небритый. Говорят же: жених хорошо сложен, как телега. Чистоплотен. Включил лампу. Луна белая, полная и одна звездочка близ нее. Я не устану ходить по ночам.

Но ночей мне здесь не видать под ногами, не выйти, не гремя, я ж подневолен, съемщик; мои ноги обуты в лодки.

Я пишу стальные летописи.

ОЧАРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ

Я умру рано, чтоб создать под землею псевдохудожественный круг, охлестав себя хвостом.

Дорога — родина и улитки — рюмочки на ней. Озерца с голубым. Густые лягушки. Я выжег «было», не грешит, а на будущее снов нет. Чем-то я люблю эту область жизни, г. Отепя, где гроза, как семь пятниц на дню.

Кирха — петушок поет и лампочки, это одно время: и до н. э., и через тысячу лье. Когда у ламп горят волосы, эстонцы встают

в круг, и это куст, светлячки. В г. Отепя (от богатства) появился один цыган, пышноус, питание — портвейн и вареная картошка. Ненавижу богатых и бедных, хуже того — средних, — классики! Люблю мульти — нищих и миллионеров.

Парень-эстонец в выстиранной кепке 2 часа спал в озере, свалившись с сундука. Сейчас ходит вепрем, о водке думает. Жизнь — разве не догадка, поэтизм? Если б этот мудак на миг из эстонца стал девицей, я б ей подарил букетик бриллиантов. Иду к 50, я встречал дев-дынь. Но ЖИЗНЬ была одна М. Когда я ушел, она погибла. Погибла ЖИЗНЬ без ЖИЗНИ. Для мертвецов я интереса не представляю. Я иду от точки А до точки Б. Бог с нею, с А, но у Б встану, открою штаны и сделаю тысс, журчу.

Я как ходящий рабочий, безостановочен. Самолет оттолкну ногой и полечу в сторону другую, бескрылую.

Фигура не есть видимый дом, она то, что остается в памяти, если уйдешь из дома. А если нет — не рисуй, зачем тебе насиловать голову?

У черной курочки — черное яичко, у белой — белое; а вот песики носят яички при себе.

Легко смотреть, как стареют миллионы.

Сведения обо мне отрывочны, исчерпывающих нет. Так, в Ташкенте мне сопутствовал успех. У них пустыня Кара-Кум, так я пошел в нее. Иду недолго, слышу, земля подрагивает, ах, это и есть знаменитые ташкентские землетрясения; испытываем. Иду, дрожит. Но круги не расходятся подо мною. Оглядываюсь — а за мной толпа женщин, всю пустыню собой покрыли. Я спросил, много ли штук, и сказали: несметно. Я кивнул, одобрил.

Ходят мрачные кудавы. Освободятся на 1/4 от моего обаяния и в гроб — брык! Ах, ах, кучерявые ручки! Сосны гнутся во всю длину, не одну жизнь они загубят на дороге, когда их сломит.

Пока я хожу по земле, я ее заметно утрамбовал.

ОПАСНЫЕ КРУГИ

Я иду со скоростью рока, поклонюсь Дубу.

Это у шоссе на Палупера, 36 км.

Иоанн Грозный ходил к дубу, подействовало. Так насмотрелся, что решил бежать из России, бросив венец и дом дней. Он просил политического убежища у английской короны и дали ему. Петр I смотрел дуб, идя от Нарвы.

Да, после оба убили по сыну... Я не экскурсовод.

Дуб мой, дубик, пестрый! В тебе замаскированные коромысла двух времен — правого и левого. Сколько бочек нужно засмолить в жизненном мире! Тогда ему было лет 600, а сейчас?

Отсохла ветвь, а то цел и невредим, а эту штуку спилили. Но в историю дуб войдет тем, что к нему ходил я, и он стал прообразом Дуба из поэмы «Возвращение к морю». А из сухой ветви я сделал толстую лестницу и спустил с самолета в Пюха. Говорят, что лестница падала боком с высоты 15 тыс. м и обошлось без брызг.

И я сошел с самолета; чтоб мимо шла жизнь, утка за уткой, чтоб вечно им был плащ с золотыми литерами и чтоб человек, думающий, что я доступен, был бы разочарован. Что такое доступен?

Это значит я ступил и стою. А тот ступил рядом и утонул. До чего ж я достоин?

СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ

День ты деньской, как у адвентистов!

Адольф у клетки, над ней в выси 2-х метров веревочки, на них флажки, красные, а внутри — куры. Так волков загоняли. Никогда не видел! Это надо ж! — изобрести клетку с флажками, все ж птицы дальтоники. А куры — кто? Волки? У каждой краски и свой запах, а главное — аура, это знают быки, живописцы и слепцы. Но не куры. На деревьях никого. Сегодня я не встретил их взгляда.

Белый кот за мной, с желтоватым. Я оглянусь — они отворачиваются. В конце-то концов, мы с одной дороги.

Всюду бревна нарезаны на плахи, рубить головы.

Вот и суббота: белый кот, нео-курятник, да еще березки — одна белая раса! О себе писать — стиль надоедлив. Но с некоторых пор я обнаружил, что Я маскирует меня. Сквозь линзу на Я можно смотреть как угодно, будучи не узнан с другой стороны. Ведь другая сторона видит глаз моего Я, но не меня. Это догадка. Еще одна — почему я так мало вижу, хоть и песнь пояше оку? Потому, что смотрю с ходу, с шага, не подперев щеку рукою. Или ж я иду не в своей среде? О среде. Я бросил щуку в лохань молока и плыла она в среде, как миленькая, живучи! Она протянула 6 лет 100, да лень молоко менять, эти деликатесы живут и до тысячи. Еще одна щука жила в тазу, в белом вине, я за бутылками и бегал.

Где сегодня собаки, где бык, очень умён?

А целлулоидная кукла — это канитель, зажившее железо любви. Андрогин с женской головкой в детстве, ее правда еще впереди. Побывать в моей прозе лестно, но она (кукла!) еще ни от кого не родилась, пустота, наполненная микроорганизмами, — у нее внутри!

А теперь без препинания мы пойдем в воскресенье.

1 сентября, без школ. О если б навеки так было, — совпадение

чисел. Что и говорить, что на душе у школьников не школа. А что? Неталантливость.

Человеко-ячмень, виночерпий пива, нет пьяноносых — воскресенье. Суббота и воскресенье — два дня пусты.

Жизнь описывать нечего, она одна, у всех. Не до смерти. Купить нож для нужд. Рыбка пишется на РЫ. Усатый эстонец — большая редкость. Плавает по дну, не поймает ни одной — кто это? Я.

Я пишу все сжатее. Одни сутки я ищу на бумаге место, где б поставить точку, вторые сутки обдумываю, стоит ли свеч, и на третий день ставлю. Точка.

Ум туманный, ум германский.

У женщин рты, как кружочки лимонов.

Цветок — это виток Ц.

ЖИЗНЬ ДНЯ

Выходит иголка из воды, и это солнце.

Вода схлынула, наверху — ребенок богов, розовый и от пуза пламя.

Полдень не жжет, разноцветные юноши, и девушки, а к 2 часам от живого жар. Юность солнца.

В 4 часа пополудни — зрелость. Муж зрелый с мириадами детенышей в видах и подвидах, в Линнеях, в китах и микро. Уход.

К вечеру седеет, к 8 склоняется, а к 9 разгорается. Агония. От 9 до 10 яркое до встреч с жизнью, с цветом; и последнее дело света — эманация.

Я возьму лодку, опущу в воду, сяду и зажгу. Я сожгу себя и погребу в земляную гору. От огня — окна потеют.

Сивый конь и бело-гусь, и корова — стоят на огне, они лучезарны.

Потому что иду я к ним, на левом локотке — в корзине грибы, сахарные столбики в крашенных шляпах. Как будто б я несущу корзинку Истории, в войсках, казаки, наполеоновская гвардия, польские уланы, да и художников немало грибообразных, — и голландцы, большие и малые, широкошляпые; и белоголовые кубисты. Художники и армии — все у меня перемешано и друг другу сходно. И солнце, оно тоже головка на ноге, если нога эта — Я.

По холмам живут жуки, кожаные. От мухи оса летит ввысь, выделяя от ужаса пламя. Конь — это Некто, ноздри похожи на женские глаза. Звени, звени, цепь, а на ней голова псиная, чиркает мордой о мир, о друг мой Уолт, пес из будки у фр. Розы.

И нет египта, куда б зайти по пути.

Летающая сорока — это Ламарк с одной ногой, летит, и числа на крыльях написаны белым, от 1 до 10 справа и от 11 до 20 слева. А у меня нога болтается, в колене, когда лечу. Шоссе блеснуло.

АЗБУКА У ЖИВОТНЫХ

Я иду к миру, к заливному.

И все за мной тучи низкого происхождения шли и шли.

Облака спереди и сзади.

На обратном пути:

— Красный отзвук сердца.

— Желтая стрижка холмов, освещенных закатным огнем. Сосны гнутся в дуги, графические.

Я иду к концу, в голове ничего не возникнет; отцвела. Я доволен днем, вижу закат из стриженной соломы, а машинка и я мелем впустую, вхолостую. Дождь настолько запрудил мир, что я не вижу пути спастись. Даже гусей, любящих, давит вода.

Потоп, идут. Дождь белоствольный.

Вдруг обнаружил, что в моем словаре мало д.

Я часто пишу человек, а надо б ч.

Сивого коня зовут Абве, а корову Юя.

Они говорят:

— Абве, где ж Зикл?

— Мно, прст.

— Уф!

— Хце чешешца?

— Э, Юя!

Зикл — черный бык. Их язык похож на сербо-хорватский.

Не забывай — ты еще на полпути по дороге к г. Отепя. Еще изменится, и в погоде, и на бумаге. Это не новеллы, а порыв, и много о прошлом. Воспоминания пишут люди, у богов все впереди.

Можно написать и о будущей биографии, но опасно. П.ч. хорошего не напишу, а плохое сбудется, тут нет ошибки. Предсказать гибель — чего уж проще.

А горечь — что ж, некое право равного с л.

ВОЛК

Черт угораздил родиться в этой империи, — не я первый кричу. Скоро рожусь в другой. А в этой будут рождаться не я.

Здесь есть-таки несколько сцен, где что-то да блеснет, волк, к примеру. Шоссе пустое. Солнце село куском в муть. А впереди —

волк. Не выведенный для ландшафта; старый. Голова твердо-круглая, губы длинные, трубкой, с отворотами. Стоит поперек дороги. Брать, или не брать (камень!), пока я соображал, я подошел к нему. Волк, не спящий!

Никогда их тут нет, откуда он, из Чудского оз.? Я стою, он стоит. Не смотрим друг на друга. Ну, я подошел.

Иду, оглянулся. Он следом, нормально, как волк. Так мы шли час. Он хоть волк на дороге, а у меня и того нет.

Обеды для одиноких птичек. Когда жить грустно, то жить грустно.

НА СОЛНЦЕ СТОЯНИЕ

Я ж днем не сплю, а как дурак, глаза закрываю.

Закрывание глаз — обычное дело на солнце. Нужно стоять и считать до 900. Но не так: раз, два, семь, десять; раз, два, девять, двадцать и т. д., это хитрость, нет, считать как полагается; раз, два, девять, одиннадцать, тридцать семь, сто шестьдесят пять, двести восемьдесят восемь, триста шестьдесят четыре, восемьсот девяносто девять... 900! Тут торопливость не нужна, не скороговорка, а стояние на солнце. Идут телеги по лугу, а ты стоишь, кричат ямщики: Барин, буря! а ты стоишь, и что тебе до чертовых туч и надежд душ, они сатирики. А ты мираж в поле, ореол.

Сними надетое, волосы зачеши за спину и закинь голову, чтоб жгло. В открытые глаза недолго посветит, умрешь; закрой, руки свесь и стой в виде волхва. Это трудно, это тебе. Не мне, я стою с незапамятных времен, легкий герб. Но окончив счет, не беги, одевая штаны, озираясь. Поставь голову, куда следует, ты почувствуешь, что ты — дом, а вокруг дни. Выдержка дрожи, закалка психеи, я стою по 9000. Поэтому я невесом в шаге, ум летуч. Отстояв, ты заведешь дело, — цветы в глазах, дружбу с солнечной системой, кругооборот плоскости земли, нероптание, антисмерть.

Солнце входит в руку, как ядро, толкни — уйдешь в землю на 40 тыс. км; второй толчок вгонит тебя в обратный путь. Левая рука — проводник мира, не держи свет в ней, если невмоготу.

У ОЗЕРА, У ЛЕРМОНТОВА

Плыл в лодке, крутил ее на месте то в ту, то не в ту сторону, никакого эффекта.

К кому летят перья с высоты дома?

Юань — забавное название денег. Если у французов франк, почему б нам не назвать рубль — русак?

Женщины тут голые, ходят то по солнцу, то в кино. Тем глупее, ТЕМГЛУПЕИ здесь живут. Жизнь здесь не нужна, не юг. У озера голая баба, не приласкал. Озеро малотельно, т.е. мало тел в нем. За озером солнце, пылает (за кисеей!). Рисовать бесконечные степени голых баб — это называется оголобавил. Как своеобразны брызги дней! Крепость, пропасть, на камни бросают. Пока летит до дна, думает: любит — не любит? Удар. О дно. Любит. Не зря гиб. Вопрос: кто гадает, кто летит, или кто смотрит? Похоже, что оба. Оба летят и оба смотрят. И царица, и летящий. Построю я к старости хутор у пропасти и буду звать девушек из стран. Побудет — и в пропасть, в ручей, к форели; как бисквит! Думают, что слава — скоропись, а это мина. Колеблюсь. Болезни укротимы, только следи с револьвером под мышкой вместо градусника. Блудословие. Чтобы иметь сияние, нужно иметь прежде всего север.

СУХАЯ ГРОЗА

Гулял; в грозу ничего, черно, один, многогранники молний. Вихрь молний вокруг лица, жжет живот, колотся в позвоночник, уши щиплют. Интересно; и скучновато идти внутри этой геометрии, а электричество чертит хорды вдоль дороги. Зажглись фонари. А молний — целый малинник! Я во главе грома, во рту шары, розовые. Мир, переводная картинка. Сухая гроза, птицы падают. Электрострелы сбивают птиц; вспыхивают и падают, неживые.

Паденье пепла.

Вспыхивают птички на лету, как кружочки.

Пришел, чешу волосы, а они полны молний. Молниеносная буря без дождя. Никто не бьет в окна. Сполохи, сок в пыли. Черные акварели попеременно с серыми.

Утро под рукой, дышит подушка. А грому сколько было, звон, стон! Громобитные машины! И розочки сыплются, цветистый эскиз.

Осмотрюсь: молнией сожжены волосы на руках. А на ногах целы. Ну, хорошо.

В магазине мед и капуста необычайно зеленые.

БОЖЕСТВЕННОСТЬ

Луна и фонари по цвету похожи; полпервого. Вчера видел луну, большая, кусок.

Последний колокольчик доцветает в бутылочке, а на полях их нету, уж с неделю; этому день, два (жить!). Бабочки махаются,

еще незрелые. Женюпас. Решил проверить свою божественность. Вышел в тучи, солнце занавешено. Сцена темна.

Дошел до поля, не изменилось. Думаю, дурак; но между переступил.

Из черной тучи, чернейшей — вышел сноп солнца. Не само оно, ему не выйти, а сноп — на меня, круг с диаметром. Так и ходил я по полю (в этом круге). А кругом мрак и пустота. А я освещен загаром. Вернулся, у дверей сада круг исчез.

Я уже одурел с этой самозаписью.

Ходил в поле, вымок в ногах, но и солнце незрелое, тучи его разжижают. Бледноногие эстонки. Видел загорелую девку в черном платье, извращенка. Хреновый день, беловато загорел, работы нет, апатия, вчера перешагал, но руки хороши, со смуглотцой.

Внешнего нет, спилил дерево, а оно внутреннее.

Луна — в синей раме апельсиновый мазок, нерукотворный. Луна ночью декоративная на фоне много света.

Я помню ночи шум, волн шло, и лунный лист надо мною. Но память — это эпоха, это походка; у нее простые русские глаза. Слабая еда. Лежу, ужасен и правдив.

ОБРАЗ КНИГИ

Серый рисунок вечерний. Наскучила эта тетрадь, надоело.

Дым, гром, гроза. Капли летят, спеша. Снятся 5 девочек у автобуса АА в тонких тканях.

У дороги — ЛИЦЕДЕВА.

Я думаю о ночи. Ее значение Безы. Из окна видно: крыша и осы. Старые крыши, костюмерная веков. Это парик дома. Темнеет и светает, одно и то же, как жизнь, темно-светлая. Туч нет, читаю многоточия.

Занавес; смотрю в сеть; ос ловлю.

С у. до в. ко мне летят осы. По одной. Поест меду из бочонка, мирно, я открываю ей занавеску — летит. Следующая! Нет работы, я стал осиный камергер, лию сироп, живу широко.

На днях влетела одна, прыг на машинку, стоит на буквах и прыгает, пишет по листу.

Не знаю, что нашло, но я стукнул; убита, смел с полу.

Сижу, пишу. И что-то странное, никого нет. Ни одной осы. День кончился, у. и в. и день, и — нету! Неужели это та же?

Это одна оса летала ко мне месяц, поспешая к делу, машинному, печатному. Нет, нет ни одной! Какое горе.

В окне Западном, солнца центр. Шары собираются. Дождь и буря. Летают моллюски, полотенце красное, наши дни снесены! Отказ от писательства лучше, чем писать, п.ч. писать — это очень дорожить жизнью. Сабли идут вверх не для того, чтобы уйти в высь; мы знаем, для чего в руках стоят сабли.

Если б не спешка, автор не стал бы издавать. Спешка ж в том, что типография Гуттенберга уже 49 лет ждет эту книгу. Бросил в огонь картошку с водой. Они молодые, картошка, огонь, вода, кастрюля; спичка. Не кидай письма в воду.

ДЕЛА МОИ

Дрова рубят, к осени.

Ямщик, не гони лошадей, нельзя писать книги и книги. А что лъзя?

Гони, гони. Кнут закинут!

Чтоб писать, я готовлю тело — мою.

Угнетающая жара в комнате.

Угнетающая!

Что будет от осени? — тябрь, тябрь и ябрь! — и мировой агон.

Эти юнодевы лежат, как жерди с мясом, и как бревна, я не лесоруб. Видел косулю, нашему зверинцу прибыло, маму и 2-х косулят, идут ко мне. Все звери, увидев меня, встают.

Что я видел сегодня? — черненькую мышку. Их много убивают ногами, через дорогу, ведь везде полки толп идут.

И что я внезапно так отупел, не могу сесть за машинку, а дожди в окна льют, льют. Не так уж и внезапно.

В каубамае купил 5 м резинки, белая.

Читаю книгу Серг. Волконского о музыке. Вспомнил об Андр. Волконском, чуден органист и директор Мадригала, ныне в ФРГ. Как-то он отрастил пшеничные усы, а я выпил у него весь утренний бальзам. Я-то набальзамировался, а он кофе дул. Как он рыдал, ненабальзамированный по моей вине... Но о живых не пишу.

В каубамае есть 20-кратные подзорные трубы! Куплю; куплю, если останутся деньги. Но чудес нет! Есть! Да, но не с деньгами. Плохо иметь мало денег — трубу не купить. Сел б я на сук, навел трубу на Него, что Он там темнит и льет, пусть возьмет меня назад, я становлюсь все капризней. А трубы расхватили, чтоб в окна смотреть — кто в ночи во что обнажается.

У Л. Ю. Брик висела квадратная работа Д. Бурлюка, на деревяшке, масло голубое — морда В. Маяковского, молодой, растрепанные волосы, и нет горла — голая нога вместо шеи, мослы, противно. Приятно.

Желтые лилии (вспомнил!) не люблю. А водяные — о, да. Я читал, что есть плод в 400 000 раз слаще сахара! ЧТО Ж ЭТО? И так вдоволь сахаристости.

А мыть меня некому, хожу и кожу меняю, одну на другую. Эх, дела мои, дела, людоедские!

ЗАВОСПОМИНАЛИСЬ

В 10 часов вечера солнце на стол! Ярко.

О лето, лето, солнцестояние!

Кот съел рыбу, вчерашнюю, ничего, я купил сегодняшнюю. Жизнь, как жидкость, брызжет под руками! Насекомоядное! То, что вижу, я увижу, то, что слышу, я услышу. Бегу по солнцу км к закату.

Озеро. Громыкнуло в воду.

Освещенный куб воздуха, и в нем носится, носится мошка, как белая звездочка. Сколько у нее штепселей и выключателей в кабинете?

В ночи теплеет, ветер мягкий.

Отчего лежу вдоль и поперек дома? Я живу, как безударный слог.

Легкий шаг (шаги!) к смерти — еще вопрос. На пути к ней множества чудес. Ветр — это порох. Ноги — горящий грех. Нравоучители — это ответ. Ответ нужен механизму, рыбы меняют религии, как цветы.

Кружки падают. Дождь? С голубого?

Цветы дичают, как кошки, садовые на лугах.

Солнце, ночь, вода со всех концов.

Авангард — это всегда старинно. В 20 в. в разных странах было 74 653 Великих революции. Роялизм на этом фоне — подвиг, гражданское мужество. Я знаю двух таких героев, и старший — о Дали, Дали! Я не верю, что у всех л. на земле разный почерк. Один! А у второго цариста другой.

Если так часты смерти героев в 37 и 54, это что-то связано с анатомией, с особым строением тела у посланцев. Дали жил меньше Пикассо, но чище, в нео-королевстве!

Пахнет цветами. Завоспоминались. До яблок, до яблок!

ПУТЬ

Дождь, льет, по дождю идут ноги гения, раскрутка сердца, это видения внутри ветра. Вот и июль прошел (в книге). А наяву он льет. Пью теин. Некому за меня жить-быть.

Жесткий путь дорог. Понятие пути как нелогичности. Если начинаешь чувствовать, сойди; не годен. Керамические ступни могут разбиться. Следи, чтоб не пить, а ждать okazji. Он сам напоит твою шкуру. Но на язык воду не бери.

Радиоактивная вода — что чище? Кости растут красиво.

А при солнечном свете иди, солнце сядет — ляжешь в стол; отдохнешь от дрожи. Волк не съест, волка хвалю я, он — страх. Идти в лунную ночь. Когда луна вертится, одно белое. Я ее

вижу, антракт. Пойду по луну. Пойду в луне. Луна — освежающий напиток. Ходьба — не путь, между тем. Но и что?

Не по душе мне идущие. Что-то в них от тех, кто имитирует двигатель, сам стоя. Под ушедших работают.

Петр I заплетает волосы в косицу, как царь. Пройдет и лето; и это лето. И август пройдет, как пороховая бочка. Что-то произойдет, не здесь. Закат — королевский ликер. Кто дал жетон жизни, я спрашиваю?

Как бы написать об улитках под пустым небом? Это млн. грамофонов, ретро- и искусств вопиют о старинном.

Проходят реки и ничтожны электрические переключатели. Запах коз и коров я рисую. Я рисую сталелитейные уши у себя. Будто важен день записи; история — антиквариат столетий, не дни в ней. Рубят себе сук головы.

Кружится детство, козлозорие.

Пол вымыт, ковры вытряхнуты, травы собраны. Чисто. Точка.

ПЕЙЗАЖ С ФИГУРАМИ

Дуб — водопад с бронебойными пулями.

В моих звонких глазах одно дно вижу, там камень Каабы в яичной скорлупе. Бык — куб. Как рифмуется! Бык — геральдический знак фараонов, Испании, шотландских фамилий, Д. Бурлюка и Филонова. У Пикассо бык загнулся, графически. Бык черный — необитаем, кончились каникулы, до нового лета.

Человеко-мальчик стоит в поле, грозовой. Его учат, а он хочет быть быком. Вынул из сумки рога и гудит. А волосы, наоборот, длинные, как у девочки. До стрельбы постригут.

Деревья краснеют.

Как бы мне описать осень получше, как люблю?

Отдельные быки на полях, ничего с них не опадает, ничего на них нет, чему опадать?

Леса пилообразны, оленей бег. Гриб один на лес, я выращиваю уж вторую неделю, все тот же, я ему резинку в каубамае купил, чтоб живот резать трусами. На резинке еще никто не вешался в истории, кроме мячиков. А лес вдвое складывается, на зиму, грибы приплюсываются один к другому, елки к елкам и т. д., сложится лес и поляжет как тетрадь в белый ящик.

Одно неоспоримо: где косули, там и 'львы будут.

ВСЕ О СОРОКЕ

За один день с сорокой я отдал бы сто дней Наполеона.

Да и он отдал бы. Если б Наполеон не поехал на континент, увидь он над лодкой сороку, то:

1. не было б ста дней,
2. не было б Союза монархов,
3. не было б тумана при Ватерлоо.

Я пишу логику.

Небольшой опус о милитаризме.

Царь Александр, чтоб придать «народный» характер войне, отставил от войск «немца» и назначил русака; это я о том, что светлейший князь Кутузов — тютя с лубочной картинки, а Барклай де Толли — фельдмаршал, молод, боевой.

Он тут же стал под пули.

При Бородино он надел парадный белый костюм без единой звезды, шляпу с орлом и плюмажем, белый конь с белой саблей, стал на самый жуткий редут Раевского, Багратионовы флешы и простоял под громом ядер и млн. пуль — всю битву.

Как известно, Наполеон дал приказ не стрелять в Белого Генерала. Но тут уж это «не стрелять» дурнее дурного. Чтоб очистить совесть, у Ватерлоо царь Александр назначил Барклая командиром русского региона.

При Ватерлоо и пошел тот знаменитый туман. Почему-то туман преследует англичан, хоть его и нет нигде, кроме Лондона. Фатум, куда б ни шли английские войска — всюду им мешал туман, которого в континентальной Европе просто нет. Чего стоят два импортных тумана: проигранная Нельсоном битва при Трафальгаре и Ватерлоо, где туман не дал англичанам уничтожить французскую армию и взять в плен Наполеона.

Не туман, это Барклай. Русские стояли бок о бок с Наполеоном. Русские, победившие в одиночку всемирную армию Гения, не желали быть соучастниками в поимке беглого преступника-француза; они простояли Ватерлоо без боя и дали уйти Наполеону. Отдав сомнительную честь победы Веллингтону, Барклай без спросу уехал в Россию. И был выслан чуть ли не этапом в Эстонию, в глушь, проконсулом. Остаток жизни он строил себе гробницу, тесал камни, по собственному проекту, со статуями римских военных. В фартуке, как масон, вставал он в 5 утра. Откусит у мрамора рот. Приклеил лоб. Он сам высекал статуи, долотом владел виртуозно. Гробницу он сделал своими руками, это плод мастерства, зрелого. Он и статуи таскал, и саркофаг высверливал. Сделав гробницу, умер; как полагается. В этой гробнице и живет его душа и иногда в виде сороки летает, летает.

И меня облетела, краешком. Не произойди всего этого, Б.Д.Т. не попал бы в Эстонию, не встретил бы Юлию Роонксс-К., от нее-то и пошла женщины того рода, кто пишет новеллино.

То есть какой пустяк — птичка, но какова, как день, голубым дном вверх!

О Барклае: в кабинете на столе всегда горел грог. Он ругался, как гора. Его обожествляли.

Нет эстонца, который не считал бы себя его ребенком.

В холмах ярко-фиолетовые нелонги о пяти колесах.

У дома Яниса, у ярко-желтого — ветла, вот выйдет солнце, вспыхнет ее серебро, грандиозный куст серебряной любви.

Яйца едят из магазина. Аисты улетели, говорят; они как толстые дети в фехтовальных костюмах, на высоте одной прямой ноги.

ТЕЛО МОЕГО ОТЦА

Белокожий мужчина. Руки белокожие, ноги. Изысканно, с черными волосками; гладок живот; я мыл его мертвым; будто атлас затянут в туловище и перчатки. Ногти лопаточками, граненые, с розочками. Серые глаза, как серебро.

Женщины далеко не сразу, а постепенно дотягивались до его уст. Розовые (губы) всегда у него! А женщины... дотянутся и плодоносят. Он очень молодой умер, не успел постареть. На лыжах он ходил, как на буквах, широкими шагами. Как скороход. Как катится громокипящий обод! Он сжигал лыжню. За ним уж никто не мог пройти. Млн. людей страны еще помнят этого человека-птицу.

А раздевался после лыж, тело у него, как море! В воде!

В блокаду отец ходил за ночь 140 км, туда и обратно, чтоб еды нам дать. Восемь раз его расстреливали за это то в Ленинграде, то за линией фронта, и он вписал в паспорт второе имя через черточку — Октавиан.

Он жил в кудрях, как драгоценный иллюзион. Его ордена несли на кладбище в сундуках. Его тело лежало в гробу роскошное. Двумя руками оно держало свечу. Я свечу поджег, и огонек не задувало, хоть шли за гробом танки, люди и пехота. Воск капал на руки, живо-прозрачные. А под усами — белые зубы.

Он не был добр, он не был человеком, он только пил с людьми.

ВОДКА В ДЕНЬ СВ. МАРТИНА ЛЮТЕРА

У кирхи шпиль с петухом, а они льют в стакан, граненый, эллипсоидный по ободку — водку. Выпьют стакан и глазами поведут, как дулами орудий.

Я их не знаю, по именам разве. Могу перечислить.

А, Бе, Це, Де, Е, эФ, Аш,

О, Пе, Ре, Те.

Перечислил. Что изменилось?

Я стал старше на 11 имен. Клены, осень сносит с них листья, они звездоваты. Мало что желто, но красного много. Золотой

петух, как флюгер, смотрит в Тарту, а оттуда петухом же — на Таллин, а оттуда? О да.

А оттуда он смотрит на клен, под которым 11 эстонцев пьют 22 бутылъ водки за 1 час. Стоя! В воскресных костюмах, потому что сегодня день св. Мартина Лютера, и в кирхе будет орган. Не потому.

Я пил и знаю, пьют нипочему.

А потому, что из ушей растут рога, они окружностью вздымаются над головой и замыкаются, как дужки у ведер, и выходит из-под горы Некто конномордый и большой, как колонна, берет 11 эстонцев за дужки, вешает их на блестящую штангу и несет в гору.

В ту гору, на которой, как известно, стоял Гай Юлий Цезарь. И там теперь и трамплин есть, как бык.

И столб. Камнетесный.

Так вот, он ставит штангу на столб над пропастью с горы, и качаются наши водочники, кто ухнетя первым, кто выплеснется, куда штанга перевесит — в пропасть или же на трамплин. Но ведь лыжный трамплин, между нами говоря, мало чем отличается от пропасти.

Вот и висят.

Все на безысходность жалуемся, а я боюсь отвести глаза от этих 11, ведь у них же надежда — а вдруг снится? А проснутся и тоже будут бояться за свои глаза.

Есть такое шестое чувство — боюсеглазие.

...И я их боюсь в душе, потому что я знаю путь назад, а они — нет.

ЧЕЛОВЕКО-ШТУКИ

На трамплине мальчики, едут вниз, и вдруг! — он летит уж над горой! Я не могу описать, это — сооружение.

Так, взлетев с досок, он приземляется на гору, обитую щепками, и едет по ней до конца.

Стоп; снимает лыжи.

И ему хоть бы что.

Я спросил, и давно ль он занимается, он сказал: с 6 лет. А сейчас? 18. И как, нравится? — Он показал большой палец. А потом? — спросил я. — Когда потом? — Ну когда напрыгаетесь? Он: никогда не напрыгаемся, это на всю жизнь; потом в старости он будет учить молодых, здесь же. Чему? — переспросил я. — Прыжкам с трамплина. — И сколько ж раз вы в день прыгаете? — До меня не доходило: если 6 Олимпийские игры, ну, хорошо, спорт. А то они в одиночку прыгают, без ТВ. Оказывается: мы тренируемся до полного изнеможения, до поздних часов, каждый

день, всю жизнь. А на Олимпиады попадают другие, москвичи, с колоколами.

Гора, мальчики, высокие сосны, и я с вопросом, уж как репортер: у вас, что ж... призванность к этим... прыжкам? жизнь зависит от того, как вы прыгнете, правда? А напрямик: в этом — счастье? — Он поднял большой палец. — Деньги? — Он показал пачку: талоны. — Женщины? — Он обвел руками вокруг. Я огляделся: на горе в удобных седлах — молоденькие девчонки, не живые, не мертвые, а вырезанные из фанеры, и покрашенные в цвет женщин.

И много у нас... лыжников? В СССР?

— 17 млн. 978 тыс. чел.

— А в мире?

— Еще 166.

— Миллионов? Тысяч? — спросил я.

— Нет, человек, штук.

В САУНЕ

Эстонка-кассир дает билет на вход и мочалочку.

В раздевалке висят чудовищно-грязные майки и трусы, три пары, на гвоздях. В мойне, как и ожидаем, трое с выпуклыми животами. Я сажусь у души, поодаль.

Один красный, второй как водка и третий телесного цвета. Форма пуза и цвет шкур одинаковые. У них тазы (цинковые!) шайки. В одном тазу будильник.

И у одного в животе окошечко, со стеклышком. Клиницист?

Я войду в парилку, сухой, посижу до седьмых струй и выйду, держась за стенку, чтоб не удариться оземь; и обмоюсь под душем, что тыкает в тебя перстами, как девушка Шувэд.

Я сяду и, намылив мочалочку, стану тереть себе что ни попало. А трое сидят.

Будильник тикает, от шаек же и резонанс. Иду в парную, а те тикают. В парной уши жжет, как быку, кончики. Сел.

Из печи открываю железную дверцу и я лью из кружки — прямо в лицо печи. Еще жарче! Уши загораются! Я думаю: те трое, эстонцо-пузые придут в пар, в жар, истончатся, у них жирненько. Не идут они! А из железной дверцы девушка Акшув ртом в меня жжет, как морозом.

В поту утопи глаза, — нирвана!

Я горю, а громадные краны льются, двигаю ручку — и хлынула девушка Ущдэк, холодная и горячая.

Я иду в баню, в мойню. Трое встают, и высоко подняты тазы над ними; будильник же беззвонный. Лампочка в потолке. Жидкость в камне.

Трое из шаек щетки вынимают, ничего, ничего, трутся. Трутся-то трутся, но животы вздуты, как в трагикомедии. И тикает.

Обмывшись, я пошел в раздевалку.

Пусто в раздевалке. Шкаф стоит, как был, в нем одежда (моя!). Но ни маек, ни трусов, грязнопсовых. Они ж были в первом действии, висели в отдельности; шесть гвоздей смотрят из шкафа, пустые; как помешанные.

И тут я душераздирающе закричал.

Эстонка-кассир окинула взглядом и поцеловала в губы. Дает бутылочку лимонадной кислоты, 0,33 л и билет на выход. Сжимаю билет. Те выйдут, а у них ничего нет!

Я не люблю вставлять свою лопату в гору грусти.

В чужую!

Дома овечка ждет. У нее стройные ножки, голова молодая и уши голые. Овца умней собаки, и шерсть кружками, и в глазах свету много, выпуклы, как у фараоновой дочери. И морда женственная; хрупкое, застенчивое, длинноногое, — их жалче всех. Ведь одна капля жизни в них! а кровь — хрусталь, розово-акварельный.

Она. Съест с рук, потрется о ногу, отпрыгнет, и я скажу ей: — Иди!

И я войду в дом, в дубовый кабинет, за машинку. Лампочка в диске, как Сатурн.

А ты что, лампочка? Будут ли у тебя лампочкята? Будут, в ночи, когда радио заиграет и громко-звон из Кремля разойдется по живому миру.

В Отепя, в Ленинграде, Риме, Париже, в АШС и РССС, в какую б мойню ни сел, живопись та же — резонанс, лампочка, огненная дверца и три эстонца, превысивших разум. Я выйду, ошеломленный, и увижу! — тот же шкаф, жестокий, как драма! — Где трое? — спрошу. — Те, трое, там, — скажет эстонка-кассир, поцеловав.

А там сидит один (уже!), пуп расширен и из окна в животе — двое глядят на Землю, грустно, как в кассу. А этот переваривает их. Такой же живот я видел в кино, у голой шведки, беременной эмбрионами. Ее живот стоял, как купол на Капитолии, на колоннах, а из него люди шли и шли.

СВИНЫЕ ГОЛОВЫ

В каубамае свиные головы.

Они копченые.

То есть — мумифицированные, в холоде будут 30 лет и 3 м-ца. А пока их несут пяточками к нам, оки закрыты, уши недвижны, как из раскопок Помпеи.

На устах запеклась монаршья улыбка.

Кто ест остальное? Где окорока, грудинка, жиле-ножки? Где печень, рубец, ливер и легкие?

Где кишки?

О колбасах — не будем, это тема религиозная.

Но о сосисках. Их делают из свиного жира, того, что не годится в мыльно-варенную промышленность. Это широко-мыло смешивают с картофельным пюре, напускают соку из древесной руды, и затанув в презервативы все это кладут на тарелочки. Едят.

Идут.

Куда?

В кирху. Из Таллина едет знаменитая в г. Отепя органистка Сарра Каубамайе, игрок на органе. У нее своя машина с прицепом (у эстонцев, как у датчан, — свои машины!), и она ставит у кирхи палатку и гадает по руке, она чудо-диагностик. В Тарту даже профессор Энну Сепп, зав.кафедрой хирургии, слушается ее. За гаданье денег не возьмет. К деньгам она более чем холодна, не любит. Поднос с деньгами, что ей дают в кирхе за игру, она здесь же опечатывает сургучом, огненным, прижимает кольцо с инициалом и жертвует в фонд Мира. Сарра миролюбива. Но после службы-концерта Сарра везет в Таллин кузов свиных голов. Полный прицеп! Не менее 30-40 штук, а то и 50-100!

Как-то я попросил подвезти в Таллин, купить новую рубашку, соскучился. Мы ехали молча.

Мы дружим лет 10, она возит свиные головы, я покупаю рубашки. Свины морочат мне голову своими головами. Я спросил.

Она спросила:

— Сколько у тебя рубашек?

Я сосчитываю, но сбился. Во второй раз — то же. Я думаю, что многовато. Пока я считал, цифры вырастали до умопомрачительных кю. Их было уже столько, что Людовик-Солнце или же рубашки Екатерины II — блекли.

— Что смолкнул? — спросила Сарра.

Это было необъяснимо.

СТОЛБ ТЫ, СТОЛБИК!

Машина, кузов и шесть в касках.

Седьмой лезет на столб. Столб шатает от истощения, электричество сожглось. Столб ты, столбик, на тебя лезет дурак, к ногам сабли привязаны, чтоб цепляться, и роет сверлом дыру в стволе, чтоб сделать свое. А шесть смотрят.

И котик, сереньком-хвостик на столб полез, плашмя, за электриком, кусить в задик. Один из шести приставил к столбу лесенку и лезет за котом. А солнце как вспыхнет!

шина: широкий нос, в кузове домик, войсковой, труба буквой и дымок. Электро-солдат лезет вниз, котик — прыжок, а с лестницей, отделяется от столба и вверх ногами летит сторону.

Учи, как шубы.

Что их носит по столбам? Электрик крутит вертушкой ствол. динамит кладет. С механизмом, чтоб в ночи столб взлетел, как кошке, и потащил за провода все столбы земли г. Отепя. Уж прошли сотни лет.

Поставим дверь ребром. И увидим — с тем, кто входит в дверь, идет и электроэнергия, и грузовики с трубою, в них-то ездют особи, в которых концентрируется солнечная система. Это они снабжают человечество ею. Каким методом? Через дык. Войдет солдат в дом, винтовку на руку, и штыком ткнет. Дом (да и мы) затрясемся от электричества и озарим мир на квадраты миль. От этих озарений и жизнь. А о столбах, это в г. Отепя анахронизм. Да и то уж их осматривают, чтоб в землю вогнать, в будущее.

ПИЦЕЛОВ

В первые же дни я видел офицеров, закутанных в колючую проволоку; шли, шипели. Сумасшедшие.

Вернулись с войны.

Соят, кто на чем. Полею. Против них шеренги, препоясанные. Особисты. Спец-воители. Расстрельщики. Разойдись.

Никто.

— Винтовки на руку! — Взяты.

— Огонь, пли!

Но в ответ уж 400 выстрелов. Этот (главврач!) пал, как ситечко.

Шеренг с винтовками нет, лежат. По Ма-Ка тревога: идут войска 3-го отдела, песьеголовые, с желтыми петлями на плечах; пулеметы; и бьют в ночи желтыми пулями.

В ночи же человеко-черви проползли в войска и перерезали тех, кто у пулеметов, прислугу. Захватив стучалки, они быстро добились господ. Начались танцы, под граммофон. Полковники катались перед строем, проверяя обмундирование.

Строем ударили 2 и 4 резервные армии За...я. Бой длился 49 часов в 27 минут на улицах Новой Ма-Ка, не умолкая. В степи били танки. С неба свергались самолеты. Их было 4.898 (человек?). В венцах из колючек. Ни один не сдался.

Я забыл сообщить, что огнестрельные машинки выдохлись без патронов. Рукопашная ожесточила ножи. Да и вообще тяжело, от пулями засыпали, ослабевшие. И вот убит последний инвалид.

Киттель спрятался в этажи: город.

На площади, где красненький памятник Ленину и низкие здания, молодой мальчик, в погонах, рядовой, сын полка, перед ним табуреточка, крашеная. Слепой, а глазищи, как алмазы! Но они вставные, из стекла. Папироски кидает. Поет:

— Друзья! Купите папиросы! Подходи, пехота и матросы! Подходите, пожалейте, сироту меня согрейте, посмотрите, ноги мои босы! Мой отец в бою жестоком жизнь свою отдал, мамку немец из винтовки в гетто расстрелял, а сестра моя в неволе, сам я ранен в чистом поле, зрение свое я потерял. Друзья! Смотрите, я не вижу! Я милостью своей вас не обижу, покупайте, ради Боже, спички, папиросы тоже, этим вы спасете жизнь мою!

Это — личико! Собираются: толпа топочет. Много он собрал солдат и командиров. Птицелов.

А перед ним — сколоченный ящичек, полный папирос, он еще и свистульки делал. Его песенка — правда. Его песенка спета. И он вынул свистульку и дернул, ящик и взорвало. Взрыв! — и только лет в дыму тел, крови, щебня, и другой гадости, как и бывает при взрыве 50 гранат, сложенных в один ящик. Он всю площадь вознес. Что ж, св. Петру подмога, не менее тыщи конвойных у врат в рай поставил.

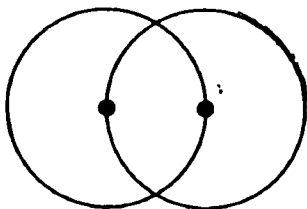
Месяца через два привезли календари и дали по листику, где день 9 мая 1945 г. обведен красным кружком.

ЖИЗНЬ

Вокруг видимый мир. Галактики. А есть второй, такой же, и оба взаиморазомкнуты.

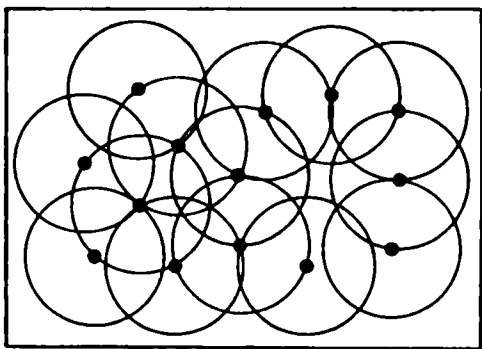
Две взаиморазомкнутые сферы. Центр у каждой — солнечная система, его мозг. Круги планет вокруг солнца — это космическая кровеносная система. Это минимир.

Максимир: это мириады таких сфер. Проще, — наше солнце — это любая точка на окружности другой солнечной системы. Без рисунка не обойтись. Рисую:



Это профили объемов.

Если же представить космос в виде бумаги, то это выглядит так:



Причем здесь точкой является уже не солнце, а солнечная система. Это напоминает строение глаза стрекозы, только у нее грани, а тут окружности. Все миры огненны и зеркальны.

А что жизнь, Я?

Я — бессмертен. Кто б я ни был, животное, водопад и камень-минерал. Ведь между нами разница только в способе жизни, а состав тот же. Но в данный «век» жизнь интересует тех, кто читает мои книги. Читай.

Я — это имя. Индусские перерождения — это жуткое волшебство, тупик адских душ. Выдумки дуализма. Я — одно. Оно жило, живет и будет. Если это человек с именем ЭН, он и будет во все «века» человек с именем ЭН. Вечно жив. Умер, зарюют труп, и в то же мгновенье Эн зачат в новом мире. Перелет во взаиморазомкнутых сферах не представляет трудностей для ЭН, он невидим, скорость его любая.

Итак, час смерти здесь и есть миг зачатия там. Рождается человек ЭН, тот же по качествам, но второго мира, такого же, как этот. Бытовые справки: отец-мать те же, и дом, книги, и собака с незабудковыми глазами, и целлулоидная кукла, и надувной гусь. Умер во втором мире, рождается в третьем и т. д. до бесконечности. Одно и то же. Чередование же кругов в космосе, кровеносных, и есть диафрагма жизни. Мы их сужаем, они расширяются.

Некий Ювелир видимо был в начале, когда гранил пузырьки. Но потом залил это жизненным клеем с неисчислимыми именами. И это то, что зовут пространство и куда Ювелир лег. А и не нужен он. Спи.

Но при наличии стольких зеркальных миров и путешествий многие возмущаются: не может быть! А как же быть с Временами? Даже

анекдотичные 9 месяцев от зачатия до рождения — куда денутся? Ведь что-то за это время разовьется, кроме эмбриона, изменится? Ничего не будет, не надо волноваться. Ведь нет же ничего изменившегося на глазах за 50 лет зримых и по книгам — за 50 000 лет. А по другим — за 70 млн. Нормально, без паники. А куда денутся таланты золота, тоже перейдут ко мне в тот мир, они же неодушевленные! Перейдут, одушевленные.

А Гомер — скажут, а Шекспир? Бетховен и Бабзоби? Наполеон и Пенелопа? и др. герои древности, — они-то неповторимы!

Повторимы. В тех мирах те ж гены и престолы, их еще называют флюиды. И они там. И лодки любви. И — измы. И дома, и дни. А о Временах, высоких: увы, получается, что картина антиисторическая — во Вселенной живы одновременно все времена. То есть никаких времен нет, а есть штамп памяти, и каждый живет в своем пузырьке, перелетая из мира в мир. Не соприкасаясь с реальностью. Рисую схему жизни Я; где 1 точка — я и круг вокруг — мой мир, а 2 точка — она и ее мир.



Заштрихован участок размножения.

Но и мы, как видим, разомкнуты, сферичны, чтобы размножаться. Если это непостижимо, что посоветовать? Возьми страничку, рисуй кружочки с Я в центре. Скажи, что это Я — Бог и зацелуй его до дыры. А вот кто эта дыра будет — не компетентен.

ЭТЮД О СЕБЕ

Некто в женском принес какао и гороховые лепешки, ем. Уже выпил 2 яйца и стакан киселю из малины. Питание — называется!

Невыразимая грусть! — говорят. Выразимая. Книжки, мною писуемые, — вы вода. Но и крови врут.

Лепешки: горох, картофель, лук — вкусно, б.н.м.! Ругаться не надо.

Люди в черных воротничках, художественно. Иду, как мимо кладбища. Ночь, темно. Светофоры, шоссе, машины, аффекты света, картины домов.

Круглогранные башни, живут дябли. Вечерами у них глаз болит. Трезвость дялбей мучит.

Птиц нет, ни одной, некому сказать цып-цып! А сказал бы!

Спросят: опиши ж, где ты? — к концу книги не вытерпят. Я описал. Легче от этого?

Интересно б знать, опустится ли t° ниже 0, и жил ли кто с такой t° (нулевой!)? Если жили, есть о чем вспомнить.

Думаю о монастыре, неталантливо.

Склеил пуговицу от рубахи, чтоб не тратиться на новую. Сплю уж в 24.00, как агрегат. Так выпытывают самые интимные части тела. Ножка болит, правая, слабая, тонкая, но не менее искусная, чем левая, хоть и менее левой на 1,5 см в длину. Годы сгладят и эту разницу. Да и глядя на меня, никто не скажет, что одна нога хуже другой. Скажут: это клевета, обе лучше. Но это не клевета.

Мои глаза миндальные и сильно смотрящие. Нос целен. Рот римский. Живот вскрыли б раз, выпрямляется. Поясница прямая, гнутая, плечи широкие, кожа белокожая, мышцы молодые, волосы густеют, без подшерстка, два уха формируются. Ум — как видим. При женщинах я не ношу рубах, рвут. Зачем женщины? Чтоб утром надеть жилетку и застегнуть привязные ремни? В темноте мне милее целлулоид, и он возбуждает больше, чем женское тело. Влюбиться в куклу мог Андерсен, но я о том, как сходятся женщины и мужчины, это тошно — затяжные бои, как дожди. Недовольство мое.

Меня нужно читать, как я пишу — книгами. Я не пишу отдельно поэм, новелл, комедий, я ничего не пишу или — книгу. Чтоб представить мой вид, нужно прочесть книги в следующем порядке:

СТИХИ:

1. Апокрифическая книга — 1952-1953
2. Рубеж — 1956
3. Бумага для песен — 1957
4. Всадники — 1959*
5. 365 дождей — 1960-1961
6. Гипорхемы — 1960-1962
7. Вторая Троя — 1962
8. Тиетта — 1963
9. Книга Юга — 1963
10. Сорок сов — 1963
11. Два сентября и один февраль — 1964
12. Хроника Ладоги — 1964
13. Ямбы, темы, вариации — 1965
14. 16 стихотворений — 1966
15. Хроника-67 — 1967
16. Пьяный Ангел — 1969
17. Продолжение — 1970
18. Знаки — 1972
19. 37 — 1973

20. Дева-рыба — 1974
21. Хутор потерянный — 1976
22. Верховный час — 1979
23. 47 — 1983

ПРОЗА:

1. Где, Медея, твой дом — 1963
2. Иллюзионист — 1964
3. Мальчик-Спальчик — 1965
4. Вечера сирени и ворон — 1965*
5. Летучий голландец — 1965-1967*
6. Властители и судьбы — 1968*
7. День Будды — 1971*
8. День Зверя — 1980
9. Башня — 1985
10. Дом дней — 1986

ПЬЕСЫ:

1. Манек Эн ищет зеленую палочку — 1961
2. Город, в котором заблудился юмор — 1963
3. Ремонт моря — 1965

ПОСИНЕЛЫЙ МАЛЮТКА

Время гашения фонарей, вид с луны.

В эту пору сидят миллионы; и пишут. И всякой свекле мерещатся Священные Рощи и в них свистки славы. Как бы с этим кончить (с жизнью!), среди огней?

Где-то луга, и по ним бичи, и кони, кони... А на чем скульптор изобразит из бронзы — полководца? На сталелитейном кресле? На истонченном ладожском мраморе — жилы танков? Но танки имеют форму конечную.

Я пишу по ошибке.

Я мог бы сидеть на доске над бездной людской и играть на гире 16 кг.

Пошел в лес, собирал колокольчики, баба несла белый; тщеславие и престижность: купит гриб на рынке и несет в лес, будто из лесу.

В лесу душно, это дней 10 будет, градусов на 30 выше нуля. И лес оплюсует. Но потом уж будет холодно.

Птичка Отнюдь налетит с наклоном и бросит шар в кабинет, цельсиевый, — опять Кто-то родился! Разрежем шар пилой ЛП и кто ж этот Кто-то? — Посинелый малютка.

*Звездочкой помечены те книги, которые опубликованы.

Скука, скучно без цитры! Паштет гусиной печени — радость, да недолгая. В яйце хорош белок, с желтком хуже. Ел лед. Подвал гигантской силы, будто в нем заморожен диаметр Времени, вот я и ем холод.

Моюсь росой, как конь.

Из серости ничего не выудить, она ведь вечность. А серо. На дубовом шкафу я не заметил гуся. Зеленый, надутый (воздухом!) изо рта. С одной куклой было б семейно, а гусь — уж оттенок комизма.

Еще: на стене ласты. Я думал, зачем? А это старуха-хозяйка ходит в них, как в шлепанцах.

Не помню, что снилось, какие-то непомни.

Я дорасскажу о вчерашней грозе.

Какой мнимый мир — эта гроза, вспышки зари, видимые в форме звезды, гром с водой, и что? Потому что я вышел на шоссе.

Я был в комнате, ничего не видел, одни молнии, одни молнии. И что-то мармеладное на полу, с оглобелками, как леденец, и это — жалости тележки. Нужно б выходить из стилия, я вышел на шоссе.

И вижу — Герберт и Эйно, братья, несут по шоссе носилки, и во всю длину их с двух сторон горят палочки с бенгальскими огнями. Зрелищно. Я ближе.

— Кого несете? — я думал, зайца, Эйно — вор.

— Посмотри, — сказал Эйно.

При вспышке я посмотрел: несли Его, в сером плаще с металлическими пряжками, лицо строгое, глаза под веками, на них монеты, а во рту воронка, ею переливают жидкость из бутыли в бутыл. То есть так бы могло пронести мимо рта (ливень!), а так уж не пронесет.

Пузо вздулось.

— Кто Он?

— Незвестный солдат. Пал с тучи и бежал по шоссе со штыком, всех коля.

— Ну и что?

— Туч-то полно, и этих больше и больше, падают на четыре руки и бегом. И колют. А во лбу штык.

— Единороги! — догадался я.

— Штыки!

— Женщин на вас нет! — сказал я братьям. — Вы оба живете без женщин, вот и до солдат из туч докатились.

— Женщин нет! — Герберт выхватил ракетницу из кармана и дал громовой залп.

Осветилось.

И я увидел: за нами в ста шагах — колонна женщин, в несколько тысяч, по шоссе, до горизонта небесного электричества, а во лбу у них штаны. Это их песни, это их ноги шли, как раскаты грома. Я и в комнате думал; душно, гроза за грозой, а не дождливо. Теперь-то ясно: это не дождь, а ночной поход.

Я откинул ткань, и это был Он, мужчина. В свинных башмаках. С пузом от налившейся туда воды. Дождь то шел, а то не шел, а вода и лилась. Рога на лбу (штыва!) не было. Седые волосы по краям.

— Где рог? — спросил я.

— У него и не было, — сказал Эино, жулик. Герберт (60 лет!) молчал. Теперь не узнаем, что было, чего не было.

Эстонский народ возрождается: в полночь несут на носилках по шоссе Неизвестного солдата, он пал с тучи и окружен бенгальскими огнями для подсветки, во рту воронка, растет пузо. И тысячи женщин, идущие в ночь с грохотом. Если еще спросить: куда вы несете этот труп? — будешь дурак дураком.

Не спрошу.

Нельзя быть живописцем в грозу, это ж слова. Нужно оставлять недоделанные дни. Кое-какие заметочки на полях, ремарки, трюечия, чтоб читать.

Здесь уместно такое объяснение:

В грозу Бог строит электродом. А женщины... все они какие-то всехние... Не знаю, что дальше.

ЭПИЛОГ

В 12 лет я выпил рюмки веселья, до дна. Алк. отравление, рвота, ломота и т. д., икота. Отец сказал бабушке:

— Скажи ему.

Бабушка сказала:

— Видно, возраст сейчас другой у людей. Пей с живыми, залейся, но не пей с мертвыми.

Я не понял.

— Как можно с мертвыми? — я не понимаю.

— Еще как можно, — сказала бабушка. — В основном-то с мертвыми ведь и пьют. Не пей, ты. Выпьешь рюмку — пройдет сто лет. Выпьешь вторую — пройдет еще сто. Выпьешь третью — и еще. Выйдешь на улицу, а уж триста лет — нет. Никто не узнает, не то время.

Я думал — пугают; ребенка.

Прошло 37 лет, после тех двенадцати.

Мне 49. Я уже 5 лет не пью с живыми, не пью ни с кем, не пью ничего винного.

Отец мой в последние 5 лет пил, и только с мертвыми; и прошло ему 500 лет, он пал, осунулся, одни зубы каковые имел —

чистил солью! Но он забыл мир вокруг, его невзлюбили, и он ушел к своим. К тем, с кем он воевал в непрерывных атаках, в белых рубахах.

И бабушка моя Юлия Иоганновна ушла к своим, к тем, тевтонам. Но она не пила и ушла в трезвой памяти, рано утром, молодой. Отец ушел в 51, бабушка в 61.

Я запомнил; советы.

Уходят други-круги.

Ушла моя жена М., в 40 лет. Она много пила с мертвыми, она уж и не узнавала этого света.

Я и этих, и это запомнил. И я перестал пить, начисто.

Два года я ходил слепым, и на век оглох.

Но не пью.

Не пью я вино, но тянет выпить с мертвыми. Вот допишу я книгу о мертвых, и выпью с каждым по рюмке, и пройдет млн. лет, и ничего уж не будет. А буду я сидеть у окна и пить рюмку за рюмкой, пока не уйду к своим, в этой книге мною перечисленным.

ОТ ВОЙНЫ

Я не подействую на ум современников, не толпотворец, а пишу в Эстонской губернии, ем мамалыгу из оловянной миски.

Живую жизнь я видел на живодерне. Вот где кипит!

Ночью сел, не спал; холодно и плохо. Что, ч-к?

Утро. Луна изо льда. Кормлю овцу сырой картошкой, кругляши: молодая овца и картошка не старше. Ела, радостно блестя глазами. Какие выпуклые!

Солнца не будет до нового неба!

Города-спруты, электрификация, ядерная бомба, летанья в космос и пр., и пр. — это уж такая ветхая арханка, что черный петух с золотыми перьями, поющий в юбке, как шотландец, с трубкой из чистого серебра, и овца, мутонная — вот новинки!

Век новинок — это львы, выведенные из стойла в Библию. Но разве до этого дойдет?

А люди, а они нарисованные ножницами по шаблону; что им мешает ходить в шинелях?

Они пугают: «После этой войны ничего не останется!» Ах!

Останутся — арфы! Они будут висеть на дубах и звенеть, как бидоны! И мы будем читать точные книги, без энциклопедий. И доить со звуком козу, она не поддается радиации! Вон сколько останется. Мало ль? Сон у нас будет, день и ночь отделятся сами друг от друга, без электрификации. Будем гулять босой ногой (правда, одной, вторую оторвут!).

И вторую ногу оторвет тебе женщина. Она не потерпит, чтоб у кого-то было больше ног, хоть на одну, чем у нее. И потребует,

чтоб ты и свою оторвал к чертовой матери. Но так далеко мечтать и ни к чему.

Вон — машут руки из-за гор, зовут в мир к тем, кто ушел к себе. Рано еще, сыро еще...

УЗКИЙ СЛЕД

Подходя к г. Отепя, я вижу дом без окон, не жгут.

Адрес ада!

Горе ч., если он подходит к 50, а Тот водит ртом, как глухонемой; пиши, пиши.

Упадет ч., раскинув сапоги, а Тот польет его из лейки, а душу в коробочку, положит как кнопку.

Никто не видит, кто этот Тот, а живописец рисует на доску.

Откуда ж Он голову носит, овальные волосы горят и горят!

На дороге стелла, на ней пароль высечен: ИДОЛ-ЛЮДИ.

Дождь шел 37 раз и 37 раз солнце; было — 74 смены погоды в один день, а заката еще нет.

На Пюха вода в юбках.

Жую Тооме, печенье с тмином.

Я бросил в Пюха камень. Всплеска нет, крута нет. А камень? — не видать. Я бросил второй. Та ж картина. То есть картины нет. Потрогал воду сапогом — вижу дно, проницаемая. Смотрю на сапог, он на ноге. Я бросил третий камень, 8 кг, толчком, от плеча, как ядро. Из руки он взлетел ввысь, падал, падал и... нету!

Я обойду г. Отепя, осмотрю столбы.

Будут ли лампочки, или окна выжгли дотла?

Опустела моя голова.

Тупик, тупик.

Течет облако. Оно облакоразвивает.

Мой узкий след идущего по шоссе еще запомнят те, эпитеты!

ГЕОДЕЛЬ

А вчера! — во весь горизонт — золотая щука, лежит на земле, а над ней небо, как фон, и что главное — и пасть щучья.

Хороший рок.

Все тревожнее мне!

Охладеваю в ночи при комн. температуре, пью кипящий бульон, не помогает. Температура тела к ночи 35, а утром выходит лишь до 6 делений от низу.

Я с телом живем 6-ю деленьями из 40.

Одно утешает: живет же страна, встает, застегивая ремни из-под каждого куста, крича:

-- Я — ШЕСТАЯ!

Она — 1/6 мира, а у меня 6 делений тепла, да и на них градусов не написано; по идее это должно быть 33,6, но нет на градуснике цифры 33.

Вот и гадаю, кто я с таким 'холодком. Жив, ходок.

Околеваем.

Что врачи? Они скажут: женись. На ком? На ШЕСТОЙ! И поползешь на коленях от Калининграда до Чукотки, от Новой Земли до Кушки, — искать, где груди, пупик, а где женский живот. Да ее один плевок — как Каспийское море! Да и бездетна.

Женись так, скажут, без ШЕСТОЙ. Не могу, титул не тот, на племя нет жен равных.

Как ноют ноги, сладко, связки растянул. Ни дня без 18 км. В 19.00 я иду на закат и в 21.45 я тут, дома; 7,2 км в час.

Ой, как стянул ногу бинтом, как больно, а полезно ль? Стерпеть-то стерплю, а вдруг — антинужно это? Ничего, посмотрю, что будет. А что будет, ноги не будет, бинт отрежет.

Лежу, как столб, двурукий.

Окостенение. Пальцы не гнутся. Это женщины любят у юношей, чтоб рядом лежать, околевшие.

Всю жизнь! —

Уезжаю — сжигаю. Открыл печь горящу, туда рубашки, туфли, резиновые сапожки, кепи, джинсы с носками, шарф из шелка, бумажки.

Оденусь я в новое, дунет норд-ост и снимусь.

КНИГА ПУСТОТ

1988-1990

ЗИМНИЙ САД

Еду один, проводил француженку Ц. Эн, в Париже модны русские сорокалетние, это от богатства; за окном огни, и фонарь у нас не может быть фонарем, однолучевой, две рельсы лежат от Ленинграда до Хельсинки. В К-ово ветки особого шрифта, электрички, окошки как у пчел, я в них; еще второй был, ехал, парень в резине, губы считал, это он деньги считал, красные, по 10, сколько их! Рыбу крутить едет? Пачки денег, как призрак тоски, тысяч 5 — антиквар? Я хочу быть сыном бедных, чтоб жить тяжелее, а то легко как-то. На кладбище в К-ово ночью бессветно, ни одного выхода с того, литературного мира; Лермонтова лежит, кто это? сторож на ней дом возвел, стекла вставил, машину купил на доллары, что дают иностранцы, чтоб приоткрыл покров об этой фамилии, но он не может, не осквернитель праха. Ворона летит заглавную буквой Вселенной, стволы зимою замкнутые, поверхность из гравюр, а воздух антихудожественный. И снег! — вне книг! Весь день деньской ворона летит! Первый этаж на дне дома, и из-под окна снега стаканы, деревянные ящички на стволе, чтоб птички вились, вид букв алфавита, туннели, небо из моего рта, от дуновения оно образуется. Знакомые лица в доме, похожие на насекомых, в номере три окна, как три иконы. Во мне нет гнева к тем, кто окружает, тоскуют глаза мои лыжные; тихие столбы в саду. На мне отблеск заката, день кончен, и откуда закат в этой серягине? А ночью формы снега над тропею, под луною, вечер, он же темная ночь, по коридорам ходят уборщицы, не метут, на коврах следы невиданных сапог. Дежурная ударилась в дверь, я вышел, иду ужинать сметану и винегрет, а потом плавать по кафелю в ванной. Здесь Ирма и Зоя, в стену альков

вставлен, встают на снег ногами, от света туманы. Без тела не напишешь, нет книги, чтобы ткнуть иглу носа в нее, чтоб по-древнее... подряннее. Закладывая новый лист в машинку, думаю: нашепчу я. О чем? Мороз вовне 23, ветер в комнате гуляет как ни заклеивают стены, как занавески гуляют, как призраки, и вата в белом лежит между окнами, как семеро покойников, но от нее не тепло, температура воздуха внутри 15. Век бы не видеть никого. Не тужи, это будет вскорости, когда отойдешь на несколько шагов от тела, от свежесрубленного гроба (своего!). Тянут железные ковши пьяные экскаваторы. Ковши в железных рукавицах. День кипит. Ноги у женщин в голубых штанах. Жаль, нет винтовки, в окне широкий обзор мишеней. А что увидишь в пейзаже, кроме фигур и ворон? Стеклят веранды. Солнце было неслыханно-невиданное, чуть-чуть притемнилось, небеси сиреют, золотые тузы в домах горят от дальнего солнца. Все ж золотое! Занавески, занавески! — в клеточку, меленькую как у рыбки, у которой головка как булавочка, а хвостик — как стих с гробницы, такой чистый и краткий. Темнело, как синяя картина, зачехленная. Пусто на ступеньках внутри, шары, антиобраз, сплю вниз головой, хуже собак между ребрами. В саду океан и пилот-туча, а забор? — это цепочка на шее, а ноги на снегу — шубоносцы. Снег на мне, кто-то туманный навстречу, воображение. Аллы и Анны нет, они сливаются в одну длинную юбку, в деревьях что-то от гермафродитов. Рассказывание о чем бы то ни было это воспоминание о. За затылком горит лампа, сад, графика и снег глубокий, тень делает снег высоким, со стола письмо упало само по себе, в стекле лица не видеть, но форма волос — моих, лампа с пылающим абажуром отражается в саду, а у него руки из мяса, пора зашториваться. Кружок стакана принадлежит стеклу, а не идее. Передвинул каретку. Если соединить восемь сабель концами, получится кружок, вечное животное, подует и при ярком свете слетает муть, и чисто; где ты, Эгиптус, перволашадь, жившая 50 млн. лет назад? Жук, падая с высоты, ползет прочь, белка, влетя в шахту глубиной 300 м грунт мягкий, ей ничего не грозит, а «я» при паденье получают увечья или же погибают, «мы» весим много, живем в саду, а Господь ставит ангелимов к востоку от Эдема, — это звук гениальных страниц. Лампуса горит, существо синенькое, и в ней спиральки, несравненные, часовой открывается и ставит кружок кипятку и миску, дно серебрится, ем, он уносит, через день, нет дочки коменданта в решетку, Фабрицио, лишь вой товарищей ночных. Сон говорит, что в камере той таз был с водою, не было таза, жлет Центр сна, проснулся — не было, не было! Параша — не было, а бутылка для ссанья 1 л без пробки, я сидел один в доме убийц, мне шили дело о кончине 765 офицеров, арест с автоматическими очередями... сны антивещие, пустые, лежать во сне с ногами.

Конный сад, бриллиант сиреневый. Мышь бросят с летящего самолета, 10 тыс. м, ее било о скалы, ничего, хоть бы что, живехонькая, если б взлетело млекопитающее, оно б разбилось об обшивку кареты. Роскошь сада, законного, к морю б сходить, да не с кем, схожу ни с кем, воды сплющенные подледные. Я не кручу на счетах за годом год, тоска в растительности людей, тоскующий метеор летит высоко над уровнем глаз. Конечная цель — конец, реальный дух, состоящий из звезд, конечных — свиномэтры, у них в диафрагме нет кашлю, они называют себя «мы заходящие», их женщины в зеленых трусах. Когда-нибудь я встану с башнями на голове, как Лувр, уходя все дальше и дальше в памяти, как редкий ребенок. С каждою зарею идут облака. Новости: стол на желтом. Как хороши слова «солнце заходит», это золотой запас. У мужчин 19 в. отождествление женщины с чем-то чистым давало им возможность писать лирику в любое время. Слишком много мужчин по ТВ, войны не будет, наверху сидит Подонок и сыплет на меня, у мужчин физиономии бревноподобны. Часы б подарить иностранцу, отстают на 11 минут, кто-то лежит на столе, себя по сердцу гладит. Интересно, как меняются лица у самоубийц, это их кто-то зовет. Кто-то зовет их в общем-то внезапно, хоть они и чувствуют. Как их много! А просто смерть — зовет? Нет, это распад, обыкновенность, толстовато, обыкновенная душа. Кто переносит мираж по пространству и представляет глазам людей? Пустыня. Мост между пустыней и чем-то, что не пустыня. Не найти места. А ищут? 51 год в один час ночи, очистил комнату от пыли, коридор, помылся, светлое белье накрыл, надел на кровать, сижу светло-бел, температуру чуть-чуть, писал весь вечер анкеты, сейчас чай будем пить с джемом, из чего-то фруктовенького. Ноги ноют, слабость, полгода! С декабря немею, холодею, паденья, что б ни делал, все слабость, может, сдохнуть, чтоб усилиться? Бархатные занавески, золото литое. Пчелы льются. Лев в клетке и лань в клетке, и две клетки рядом, и сквозь клетки смотрят, вот и тупик, о котором мечтали, сэр, выбит с рельс, кризис, пустые жуткие утки ходят по телу, отрезвление пустоты, это я о ленинградской погоде — дождь, и падает до конца тротуаров, до ям, канализаций и ниже, чем Земной Шар в Америку, я ходил и слышал там стук (дождя), я о книгах, падающих, о замыслах, только пустоты придают «совершенной фразе» некое подобие для книг; грудь гибнет от сердца. Февраль, люди одеты в снег, валят снеги, день бело-любовный, и посланцы звуками звенят. Есть душа рудиментарного отростка и красного кровяного шарика, управляемые Главной душой, а она в мировом пространстве, управляет этим схемо-хозяйством. Бело-люди в плащах. Я себя исчерпал, исчеркал, истерлись приемы видения, внутри — ветры, ушла Франция, истаяла, ушли годы, напрасны надежды на фан-

та-существа, везде люди, глухие как боги, им говорят, а они не слышат, много отвлекательного, уничтожение цинка равносильно слитию лимфы, я пригоден к общению с бумагой, гений это эгогамия, металл неизвестного происхождения, коснусь машинки, а в пальцах пусто, вьюга, окно хрустальное газетой лакировал, язык полон пения, я пойду, опускаясь на лавочки, дрожа крыльями, кому нужна лежащая на столах голова? Грифель драгоценный скользит из угла в угол, век у ног не люблю, о правда ль, что в течении души рвущих времен есть одна струйка, болтающая на языке: я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я — ? О правда. Льются дожди, дружок, я в Рим хотел бы хотя бы, там свежее жидкость на холстах, затвердевая. На пирамиду Хуфу ушло 2 млн. 300 тыс. блоков общим весом в 7 млрд. тонн, мой вес 69 кг после бега, в глазах тусклет, вот и весь космос. Смотрю, выходит луна из-за крыши, как выпуклый снаряд, прозрачный, быстро, вот и вышла, накаливается, она такая широкая над 12-этажными башнями, мир реален! Гляжу на балкон (уж заодно!), бутылки, овеванные пылью и снегом. Живя сам с собою, далеко уходишь головою ввысь, где луна когтями скребет картон, синий. Где луна — рислинг, прозрачная душа. Меня не щадят дочери, у них драгоценные брови земель Морс. Дома, очерченные лунным делом, окошечки как ленты кино. Утром будут куски востока. Жестоко. Я помню небо! В ночь под Рождество, мы провели ночь в судорогах тел, серп лунный качался в окне, а на нем цвели цветы. Не спалось. Она спала. Я включил свет, настольный — девушка спала на спине, голая, по всему телу в два ряда шли сосцы, как пуговицы по 12 штук в ряд. Я отвел глаза. Я опять посмотрел — та же, то же. Я тронул — сосцы настоящие. И вечером пишут, пишут души, томление металла о других временах, за широкой лихорадкой протеста придут кони пустот.

ВОЛЧИЙ МЕСЯЦ

Снег-изморось выпал каплями, а я сижу, пишуший на р. языке. Машины — моллюски, где в скорлупе головки детей-перло. Астры себя изжили, грязь-цветики, Сетон-Томпсон сложил ружье, волки — будут. Они пойдут, сгибая руки и отбрасывая их, как ладони, сжимая пальцы в белых перчатках, месяц светел 2 часа в сутки, заиграют на фортепианах, о конец, станет сухо во рту. Трамваи да рельсы, если б л-дей пустить по рельсам, в ногах желобки, или магнитные сапоги, чтоб не ушли дальше. Триста миллионов бойцов выходят на одного меня в шлемах, с тонкими стволами у винтовок, идут за мною, как музыканты, палец на курке. Слюбится. Набираю номер времени. О волк, волк, где стол, крытый рюмками романтизма, и волки, лезущие из всех

окон, как Север, Зюйд, Запад и Вост? — лишь ломтики от кинжалов до лучших литейщиков. Был Генрих С. как Генрих Ш., была полька Селена, и закончил день Е. А. надписию, уходя «я вот что думаю». В соцветии мира кровавые лица, мелочи администрации, бумажные революции, книги как удары сердец о бетон, я боюсь этих маленьких л(юдей) — убийц, серые негодяи, энергия тварная, всегдашняя, поэтика не терпит ч-ских голосов. Пылесосил, звонил телефон Алло, Алло — сумасшедший, механическим голосом, он дал телеграмму Бетси Тэтчер в Англию, чтоб уехать в палату лордов, и звонит мне АЛЛО (если снять трубку), сын актрисы, блестяще воспитан. Жег мозоль (азотом) на пятке, и так 10 недель, говорят, выносливые свиньи (во мне-с). Купил томик Митрохина с бабой на обложке, другие способы надоели, есть красота машин, идущих в дождь, мытые на ходу; то мерз я, то дождем покрыт. Лампочки висят с пламенем в домах у дна под ногами, купил книгу с кружочком луны, террористы выли, Савинковы на грани шизо-ночи, в рюмке целая рюмка марганца, вьетнамские цыбули висят в воздухе, звонко-белые снежинки, курво-мамо и солнце м. б. 15 мин., вот оно, зримо. Метель, воскресенье. Ребенок как сумасшедший катается на качелях вдалеке. У меня голова на плече. Восход дня. Часы пружинные лежат на боку. Был у Р. на Рождество, мрачно, съел весь стол, время летит, титул ярма, жгу ногу азотом, и этому конца не будет, говорит (медсестра, что жжет), что жгут и год, и два, и три. Надежно. Вольф растет по ночам, ступни, лысына, эспаньола, ходит по коридору, звеня, в 22 номере живет Мнима, ей не скучно в этом скотиннике. Носки не растут по ночам, хоть и сохнут, шерсти в них не прибавляется, а убавляется, это снос. Парень с лопатой, откуда он в доме призраков? Новая должность у народа — разгребатели снега. А есть смыватели дождя? Нет, но весной найдем и поселим. В доме нас призраков пять-шесть, а в остальных кабинах будут народные депутаты. Вместо одной собаки в прошлом году нас охраняет 9. Они милы, но их 9. Я спросил у разгребателя снега: — Дождь будут собирать в подол м. или ж.? — Молодая антикомутантка, — ответил он. — ??? — сказал я. — Это у них фракции: ком и антиком, зарплата та же. Что еще изменилось? У столов выбита четвертая ножка, падают. Мглисто. Что ж ты Вольф смотришь? Купил касторку в капсулах, так ее пить приятней, пишут в инструкции. А способ? 15-30 ампул (довольно-таки громадных) за один присест. А на другой день что будет? Проверю на днях. Лестница веревочковая висит из вестибюля на третий этаж, где комутанты, пищу им шлют особую, свойственную: шоколад, свежее мясо, виноград, помидоры, крабы, буйабез, и пр. пр. — 2000 блюд вперемежку с яйцами. Они ходят вниз, яйцами стучат, зовут к свободе, женщин им кладут на пол. Вышел как собака белый от врача.

взломаны зубы, дупла, заклеили марлей. Мою голову сверлили, опух, оплыл от зубчиков, врач что-то кричала, рвя из головы осколки зубов — зимние каникулы, как бы совсем не засверлили, надо латать передние зубы от сломов (сломанных дырок), залатал, один раз выпала латка при бомбардировке зубов, лежит на земле, выпавши; челюсть сверлили — бесконечность. Тебя ловят, будь чутким, будь своим сторожем, не пей, счастливый день придет. Метель метет ночью, буря взыграла, хочется на море, моря. Ноги сожгут азотом, опять лечить придется, отбираю из знакомых только новознакомых, светлые птички. Дни зубные, позвоню Ло Ш., позвонил, как-то мило после ванны и спокойно. У Вольфа шея, низ шеи, когда он играет на фортепиано, летают кометы. Сейчас покупают не книги, а то время. Муравьев полно в доме призраков, ссали мы в раковину для мытья. Вольфа не видел, мельком видел — стоит на весах в коридоре на пороге грозы, людяной. Ковровые дорожки, сестра-хозяйка дает пульверизаторы на ночь, камин носят тому, к кому девушка вернулась из другой жизни. Вольф, говорю я, зачем ты ходишь к запрещенной Мниме, у тебя прелестная жена, я ее знал с детства, когда ты ей бил фингалы по зубам. Уж утро. Вольфа не видать и Мнимы нет, отъезд у них, гробовые ребята. Новая партия призраков, нелетающих, тюрьма, обоюдные сны, пишу карандашом рошь. В городе грязь, жижка на Марата, каша хорошая, съедобная, скоро откроются кашные повсюду, как раньше пивные. Пишу об этом. Тишь. Внутренний хрусталик так перемальывает и переламывает предмет, что в остатке скамуфлированное, порабощение энергии времени, господин X. орет о внеполовой жизни, нетактично. АХ У ПЕЧИ ЧЕПУХА. 9 собак у ворот смотрят на дом, а коты на подоконниках готовы к бою, глаза золотые, очи голубые! А на улице скользят люди, электрички, снега, ни луны, ни войны, одна перестройка плодит, мне жгут пятки азотом, снег летит в очи, чудесный, как сталь. На конях девушки скачут, они хороши, девушко-лошади, зим-зим! Центр притяжения — пятки, вот и жгут жидкостью, чтоб запутать центры. Девушка Мнима, бежал я, дети в снегу попадались, сверху кричат: не дети! Встал (спал), чай кручу, к Вольфу приехала жена, бедноодетая, с Земли, черный круг волос на голове, и Вольф, унося посуду, качнулся. Выйдешь в коридор, по очереди ходят ссать, идут в одну дверь, большими шагами, как из металла льется из них. Бедный друг, стакан! Поля, затопленные венерическими заболеваниями, мы живем за концом. Мессалина, Мессалина, колокольчики мои! Черный пес бегаёт за спиной у З-ска, у столбов бегают геопотомки. От красоты до пустоты один шаг, называется НЕ Я. Галстук лежит на столе, с шеи, снят мною с женщины Тю, она улыбалась, смеялась, вся в алом, веснушчатая, звезда-негроид, я ей снюсь. Хоть так. А потом ушла. И зазвенело. Скука, из окон по ок-

ружности шли иксы, я красил руки. Тю, Тю, свеженькая, как придаточные предложения, ушла в ненаглядную ночь. Вотще. Что пепел? Старые, старые астероидные машины, большие бинокли, на башнях небо стоит. Жгут душу.

ЛИЧНОСТЬ КНИГИ

Женщина мною не освоена, я вижу жизнь сквозь завесу-графо, лежу голый в дому, загар лжеодежда, солнца закат, кованое солнце за холмом мха, я кую книги на руках, это рабочие тетради, доски для дома. Борьба с личностью медведя, орла, императора да и народа (всякого!) закончилась дырами (пулевыми!), моря замучены, леса заселены, горы разгромлены, взялись за личность пустынь, и их нет, они в бомбах, дети гибнут, как книги. Если солнце в ночном полушарии, оно есть у нас? К доске влюбленных прибывают? На доски клеют? Когда я бью в юбку женщине, это не значит, что влюбился. Руки звенят от крапивы. Что жизнь, чирик? — поют попугаи, а он в ответ: кижичьн зижь отч? Гневаясь, Бог бьет пальцами, как геркулесовыми столпами, голова моя лежит на постели, и мнится мне один путь, один-одиношенек ушел в другую половину мира, за документ. Стоял за холмом, облака с быстротой, кит рисованный. В краю Тикудзен в уезде Микаса жил монах Гамбо, в 16 году Тэмпе в восемнадцатый день шестой луны служил он молебен в храме богини Канон. Не успел он поднявшись на возвышение зазвонить в колокольчик, как небо вдруг потемнело, загрохотали раскаты грома и ударили в Гамбо, голова его оторвалась и скрылась в тучах. В те же годы Тэмпе ровно через три года и опять же в восемнадцатый день шестой луны во двор монастыря Кофукудзи с неба свалился череп с надписью «Гамбо» и послышался оглушительный хохот, будто разом смеялась тысяча человек, не меньше! Собратья и послушники Гамбо подобрали череп, похоронили, насыпали над могилой курган. Назвали тот курган Могилой Головы, он и в наши дни высится. Друг грудной, я слышу шепот с расстояния выстрела, эту тутошнюю я не считаю землей, люди, из простых людей сделанные, я хочу написать книгу, где слова без новшеств, в этой истории интересен только цвет платьев. Становление книги — пустота, где один Родитель, сжигающий миры от ревности, смотрит, Он в рост кувшина Вселенной. Говорят, что после второго рождения к зверям возвращается человеческое начало, это крыло мечты. Я иду по дорогам, роняя перья, глупо выжимать бег из ног, вместо укрепления они начнут ломаться. У Каабы что делать, скорлупу? Луну видел, месяц сизый, вкуснодышащую корову, месяц страшен, как камешек в носу, цветной. Страх смерти — это страх перемен. Бриться буду на третий день после

грозы. Хорошо б министра расстрелять на столе! Костюм и крепость — защита людей, хранит их. Праходеды. Хива — городок для американцев, еще в самолете я говорил с 7 знакомыми из США, в Хиве же на скамейках из карагача я насчитал их 11, а на камнях 9, одна потеряла ключ от Америки и носилась по Хиве на птичьем полете. Жаль, не купил ослика. Посреди Хивы стоит верблюд, как макси-араб, веки семита, это он рассматривает гроб Тамерлана, черную шкатулку с телом гениаломана. В Хиве продают бусы из башен, хивинки шьют лоскуты за зарплату, как шили ковры у Тимура, американцы их рассматривают, а еще сидит одна в нацодежде, воду пьет из кувшина, как в древности тоже. В Хиве книги и джинсы английские. Узбекские зубы вывешены в музее, 10 век, четыре зуба здесь. Комсомолки катают камни по лестницам, как при халифах, инсценировки, вроде бы; к ночи их ебут за валюту. В Самарканде леденцы кубиками, как лед для виски, да, гробница Тимура в Самарканде, и пунцовые ангелы, фаянсовые на базаре с печатью «Москва». Рыба это время, в нем течет она, как из телятины, на заднем сиденье машины лежит она, как слуга, сжавшись, как вода из кругов. Как описать розы, их цветную аква, тушевые, победоносный рот, красно-фиолетовые? С самолета: летят титулованные не ино, а другостранцы, Кара-Кум, самолет над пустыней, как моряк, не штормит, а внизу люди, жуко-головы, на пустыню надеты петли дорог, деревца как расчески-штрихи, волнолом, тень от самолета летит, имя ей механизм. Мы летим без масок, с толстыми ртами. Мамлакат! — вот кто меня поражает. И. В. Сталин держит на ногах Мамлакат, монголку, не грудную, но лет семи. Девочка на ногах у И. В. Сталина, всенародно, соцэротизм! Люди, равные распилу дров. После смерти я отправился искать себя, и только над головою Кто-то чертил круг, светящийся солнцем, и не довел линию, но Голос вернул вниз, в кровать. Кит-грустноног, что плачешь, нечист честию? Жарил бифштексы, а скорее швайнштексы, хочуть пить кубок из женских губок, воду отключили, ничего не попил, кроме корвалолу. Будет ли новая Нелли? Два воробья на балконе, на железных рельсах перил. Мне красила потолок маляр, в такую медную трубочку фыркала в потолок, а из трубочки изо рта летит вверх веером синька, а потом пол мыла с прямых ног, видимо, их учат, как мыть, у нее белые чулки из хлопка, пальто велико, недолго ей жить. Шью пуговицу, нет ниток, они рвутся, если хорошенько дернуть, пришью ль? — непохоже. Сейчас женщины бездетны, продавщицы снимают халаты, привезли круглый хлеб с жаром, утром он остынет и будем брать камни, женщина быстро остынет (сохнет!), вместо живого с пылу с жару будем брать падаль. Если б не тоска, я б не писал, а так напишешь, какую-нибудь пуговичку пришьешь к телу книги, и радуясь, свищу в дырочки

от пуговички. Белые халаты у продавщиц помоют за ночь, хлеб мыть нельзя, в каком смысле помоют? — их погладят утром (рукой!) и наденут, как мытые. В магазинах грязно, и продают грязное, на территории страны сидят солдаты сомкнутым строем, необъяснимо, солдаты — государственная тайна. Нужно писать тоньше, яснее солнышка: аэробус — операционная, вылет в ад, полет в ад, желтое солнце, в аэробусе потолок в белом, странно, небо — пустыня в белом, а железное крыло сбоку, как твое крыло, кресла рядами, это летающий кинотеатр. Как жить художественно? Самая художественная жизнь — под забором, а реальная? — за забором, мир разделен, если твою голову держат в руках, а еще не отсекали, благодари их. Благодарю. Два дня синие потолки с утками, купил в Андижане серебряную цепочку, повесил на голову, не могу без цепей, на путях доска «твоя жизнь — твое дело!», Фергана, это о рельсо-колесах. Пески, обычно неподвижные, при виде меня приходят в движение, сижу в русле реки Келифский Узбой у колодцев Чарышлы, к югу от оз. Сарыкамыш. Почвы изобилуют солью и отложениями гипса, лужи солоноватой воды привлекают туркмен, чинграй-аулы, моря песку с страшными бурями, кости людей собирают в груды для путешественников, горы из метафорических пород, к примеру Арслантау, Джитым-тау, Султан-уиз-даг, дождевые потоки уносят скот, в Голодной степи растут зонтичные, — я доволен описанием. По телефону трудно говорить, лучше в ведро, с отзвуком голоса. Несколько животных летят на башни, графоман — это античизм, желчь. Ввести понятие «географическая кровь». Девушка 2 м 07 см оздоравливает. Не спал, в окне луна около 20 мин., мое окно рассчитано на десятиминутку. Беломолния, гром кирпичный, ем один шашлык с булкой, надел на палец серебряное кольцо, как птица, колыбельную пою, луна с крыши как ток идет. Жизнь складывается из одних книг, это они годовладельцы. Октября нет, а я пишу на его страницах, шумно ступая идут такси. Уходя из Самарканда я имел 60 всадников в свите, прошла неделя и никто ко мне не шел, по пути в Бадихшан я встретил пустынного Эмира Колала, и он сказал мне: иди в Хорезм, и я обещал ему годичный доход с Самарканда, если убью узбеков. Когда я шел от Эмира Колала, у меня было все еще 60 всадников. В Хорезме на меня напал Текель, правитель Киуку, он вышел с 1 тыс. всадников. Я стал напротив. Дело началось, и я сражался так, что из 1 тыс. всадников Текеля ушли живыми только 50, а из своих 60 я сохранил только 10. Элиас-ходжи и эмиры Джаттеха говорили: удивительно, Бог и счастье на его стороне. И узбеки затрепетали. Но плачевно счастье, расшатано, ведь у меня лишь десять воинов, семь всадников и три пехотинца, из Хоросана. Я посадил с собою на лошадь мою жену, сестру эмира Хусейна, и мы, походив по пустыням Хорезма, ночью остановились у

колодца. Три хоросанца во тьме сбежали, и с лошадьми, у нас на семерых осталось четыре коня. Мое мужество возрастает, мы пошли, но Али-Бек-Чун-Гарбани схватил нас и бросил в темницу, полную гадов, у дверей стража, и в этой тюрьме я был 62 дня. Обдумав, я вырвал меч у стражи, и эти бегут со своего поста, я иду к Али-Беку, при виде меча он пристыжен, смущается и просит «извините», отдает лошадей, оружие и жену и еще клячу и верблюда, негодного к пути. Я вошел в пустыню с 12 всадниками, на второй день мы легли в пещере и толпа тюркитов осадила нас. Они били в набат. Мои заботы — спасти жену, я запер ее, а сам отталкивал толпу, вдруг один тюркит узнал меня и кричит: это Тимур! Он остановил сражающихся и пал к моим ногам, я возложил ему на голову мою чалму, и с этого момента... И с этого момента Тимур пошел на Восток в Историю и завоевал 4 климата из 7 земных. Армия гремит, шлют с голубями! В уложении Тимура: каждый должен иметь две лошади, лук, колчан, саблю, пилу, шило, мешок, рогожную иглу, топор, десять игл и кожаный ранец — заботливо. И о себе он думал, но это уже в период Властелина Мира: 12 тыс. конных полицейских, вооруженных с ног до головы, должны быть вокруг дворца слева от меня, справа от меня, спереди и сзади. Каждую ночь патруль у ног из 1 тыс. человек. Однажды Тимур, преследуя Элиас Хорджу, крикнул: ЮЛЬ БУЛИМАН! — и преследующий пришел в такую ярость, что собрал полки и снова повел их в атаку. Видимо сильно-монгольские слова знал Тимур. Так как Бог один и нет у него советников, то и глава государства должен быть один, — пишет Тимур. Когда Тимур собрал малую армию, она составила квадрат 16 на 16 км, лошади бок к боку, воины плечом к плечу. Тимур писал, что у Бога 92 имени, а мусульмане считали 99, Тимур доказал, что знает лучше; он писал: убежден, что занятие, наиболее достойное для мужчины — завоевать мир. Со стальным шлемом на голове, с грудью покрытой панцирем Давида, с египетским мечом я взошел на трон войны. Тимур умер в 1404 г. в Отраре на дороге, он шел в Китай, он и Китай бы взял себе, ему был 71 год. Чингиз-хан и Тимур от одного предка — от Туменех-хана, четвертого предка Чингиз-хана и девятого Тимура. Круги дорог замыкаются, по какой бы ни пошел, стоит пень, иль волк. Чист свет оконный, чистое окно света, в детстве я очутился в пустыне, степь, диск и под ним (луною) скачет кто-то, лицо прозрачное и глаза издалека. Я думал, ко мне, а он скакал по краю, посветил глазами и уехал. А потом он же был один, черными вечерами у стола, пылающий — скок, скок, и конь у него такой же. Хорошо у него, но нет пули, чтоб пустить сюда. 24 мая 520 г. до н. э. к пророку Захарии пришли, он пишет: видел я ночью муж на красном коне меж миртовых стволов, и за ним красные, пятнистые и белые кони. Я спросил: о кто ты? —

Я покажу тебе место, — ответил он и сказал: мы те, кого Бог послал ходить взад и вперед по земле. Еще Захария пишет, что увидел в небе объект цилиндрической формы, и конник сказал: это то проклятие, что будет вечно висеть над землею. А потом конник показал ему четырех рабочих, и спросил Захария: что они будут делать? И сказал на коне: вот, они принесут камень по имени «отрасль», на нем семь глаз, я захочу и сотру с камня все грехи, и станет над миром муж по имени Отрасль. — Господин мой, — сказал Захария, — тут-то и путаница, кто ж Отрасль — камень-семиглазка или муж, что растет из своего корня, как и лекарство? Родина пришедших с неба Плеяды, Семь сестер и Иов спрашивает в книге: можно ли это считать влиянием Плеяд или ленты Ориона? Эпсилон — центральная звезда пояса Ориона, там злые, во всем новом, даже подметки на башмаках новые, их первый вопрос людям: какой у вас цикл времени? В рукописи «Спекулум Регали» (ирландская летопись 965 г.) пишется: это произошло в городке Клора в одно из воскресений, когда народ был у мессы в церкви св. Кинариуса. Неожиданно с неба стал спускаться металлический якорь, по нему лез маленький матрос, будто плыл вниз, но потом он обрубил канат и убежал в лес. Матрос не найден. В Ташкенте меня разбудило в 5 утра 26 апреля 1966 г. ярким светом, двор и комната залиты металлическим огнем, я услышал грохот и ослеп. Может быть, я проснулся от этого света? Бывает, но ослеп от внешнего. Через три минуты земля с Ташкентом вместе затряслась, начинает подниматься. Землетрясение убило 10 тыс. чел. пехоты, оставило без шатров 200 тыс. Когда потрясенные землей жители выходили на улицы, они увидели пылающие сферы, проплывающие в небе подобно воздушным шарам. В тот же вечер ярко слепящий объект пересек канадскую границу и поглыб на Юг над Северо-восточными территориями США, убитых и обездоленных не нашлось, его видели миллионы жителей Атлантического побережья, над Нью-Йорком эта штука напоминала католическую свечу, некий мужчина из Нью-Джерси сказал по телефону: вижу голову высунувшегося в иллюминатор. Через мгновенье объект стал темным, гигантское зарево исчезло, будто б его выключили, что-то упало неподалеку от лагеря Армии спасения в Апленде. В группе мальчиков заметили голубой свет из леса и пошли туда. Упавший предмет нашел Джон Висли Блюм, это была голова из иллюминатора, с запахом паленой резины. На следующий день на лице Джона выступила красная сыпь. Объект сгорел дотла (голова!), прибывшие специалисты обнаружили лишь кусок угля. Интересное заявление сделал по этому поводу доктор И. М. Левит, директор Франклинского астрономического института: я не верю в это. Доктор Томас К. Николсон, директор Гайденского планетария сказал: этот

объект был. Однако доктор Фред Л., директор Смитсоновской астрофизической лаборатории не согласился с коллегами. Советский Ташкент и американский Северо-восток на одной и той же широте и долготе, но в разных полушариях, Ташкентское землетрясение и Американский метеор произошли одновременно, в точно совпадающих квадратах земли. Необычайно длинные пальцы у пришельцев, — это отмечают все, — высокий рост, бледные плащи, радиоактивный пояс Ван Аллона, 24 день апреля, июня, сентября, ноября и декабря — день особенной активности существ с НЛО. Во Второй книге царств, гл. 1 с неба сыпятся огненные шары, убивающие 100 солдат и 1 офицера, гл. 2: и пророк Илия хорошо защищен от НЛО, в пустыне Элиша идет с небес похожий на рыбу объект, с хвоста пылает огонь, он принимает Илию и идет вверх. Знаменитый горящий куст перед Моисеем видели все евреи (12 колен!), а из пламени шел ангел в каске, и куст горел, но так и не сгорел. Нет ни тучки, ни штучки, голосучья жизнь, где Психея там клино и смерть, луна цвета фонаря над башней, наши идеалы — башенные тюрьмы слева или справа уже не существенно. Я не верю в границы, перевернутые. Ангелы поют тю-оп. Ум не остается, он плагиат, один на всех. Фонари (огни) как шахматы. Я закрываю 20-ый век, строю двери закрытия каждый год с 1 января с нуля начинается фраза и идет до точки. 31 декабря, вновь нуль. Это лето с неплохим — цветы, редкий дождь, что еще? Из лучших лет! Народ выводит своих цыплят, цельнометаллических. Лампочка и над нею обод. Проникнуться, что мясо нарезают длинными, плоскими ломтями толщиной 5 мм, пес — громада, рваный ходит между домов, как прохожий. Небо алое, тучи синие, день очень многоцветный будет, когда зажгут огни. Будущих книг нет, ждешь в пустыне шагах в 30 первые ростки, стебельки, как из фасолины — странички, а взойдет, рви, сыпятся. Если превратить себя в тюбик, выдавится одна грусть-мария. В пустыне могут быть лавочки, а на них женщины с газетами, сахар, танки, нырлящики в песок, шапки и короли, сосущие мех, плуг, режущий пустыню, гребцы, сажающие семена, моряки и книги, где кровь привлекает мух, очки золотые прозрачные, снег шлепает и трактор бурю раздвигает. Я сидел в пустыне на желтой коже, месяц шел своей жизнью, как поток. Он блестел! Одинокие и дикие выстрелы-ветры, а потом вновь ястреб взойдет на песок, как люди ровно идут по тропинкам, живые столбики, а есть девушки вроде столбов, раздетых. Забрешит бирюза, капельки на перильцах балконных, когда идут люди, опустив головы по плоскостям. Лампа палит! Я взял кисти с тушью, перья, бело-малиновую бумагу. Каролингским законодательством, а также декретами грегорианской реформы вводится един-

ство круглого письма, минускула. Ключийский монашеский орден, войско черных монахов садится за книги, перо, выпавшее из рук Ключи, взяли картезианцы, премонстраты, чтоб писать повести своего века. Картезианцы: книги мы должны создавать и хранить как пищу души (вечную), и то слово, которое называем устами, умеем печатать рукою. Приложи себя к писанию книг, это дело и подвиг, оно прилично людям; сидя на кафедре, пиши искусно и в молчании, не шатайся в безделии по сторонам (статуты аббата Гига, устав Парижских викторианцев, XII в.). Св. Ведаст, глядя на писца и видя, сколькими точками ранен лист, говорит: столько грехов отпущу тебе, сколько в этой книге точек. Монахи Сен-Дени пишут эпитафию Сугерию: всегда был он готов к чтению, пению и письму. Об Ордерике Виталии: он не выпускал пера из рук от пятилетнего возраста до 67 лет. Но большой шум книг у Ирландии, до конституции, где пункт: сначала нужно писать на Родине, но если это бесполезно, покинуть ее. Они искали пустыню за морем, Эйрик Оксерский пишет: почти вся Ирландия с целыми стаями философов плывет. Что ж увидели ирландцы (скотты) в Европе? Эстету Теодульфу лекции парижского грамматика Климента напоминают рычанье антилопы. Какое расстояние между скоттом и дураком? — спросил Карл Лысый, у Иоанна Эриугены, сидя против него за столом. — Один только стол, — ответил тот. Ученый грамматик Дунгал, подаривший Италии много ценных рукописей, пишет: ночью рыдаю и днем, жалкий изгнанник и нищий. Марианн Скотт вернулся в Кельн, он пишет: подобно журавлям и коршунам, коих родину и происхождение один Бог ведает, мы покидаем отчизу и нигде не хотим казаться своими, пиша книги. Но горести ирландцев — нуль рядом с русскими. Запись писца Мокия, 1553 г.: вышло тогда по многим городам повеление Царя Ивана Васильевича писать книги. И я Мокий написал пять тетрадей. Кроме того не по воле моей мне поручили писать Миней, я же не послушался того. И было мне грозное внушение, и начал я писать поневоле, но Господь меня не оставил: писал я с радостию. Жил я тогда в доме своего брата. И был пожар, и негде мне писать. И я пришел к Федору и Фоме и ркох им: НЕГДЕ ПИСАТЬ!

Ночь, лампа, шар разбойничий, кто-то снизу в пол головой бьет. Алкоголизм истончил мою кожу, удивительно юношеская, будут обшивать ею, любоваться (когда сорвут). Истончается и канцелярский год, книга эта кончается, что ж, книга не отчет. Сколько ожиданий, оживлений! Циферблат погас, заслоненный бурей, в лампу ударил гром, и я не понимал, отчего освещается лист, продолжая писать с тем же воодушевлением. И вдруг я увидел: моя левая рука лежит слева и пальцы ее засияли, освещая страницу. Перо сломано, чернила высохли, книга закрыта, — друзья.

БЕЛЫЙ СОЛОВЕЙ

Ехали, ели яйца (я ел одно!), Ло Ш. спала, откинувшись на деревянную спинку, похожую на пилотскую, в окно летело солнце, целые гирлянды грачей шли на Восток, тихие охи соседей, вздохи, дорога грунтовая, ели телятину плоскими ломтями (Ло Ш. ела), колбасу сушили под сиденьем, на машине мотор, как орангутанг. Что виделось? — картина традиций. Ло Ш., когда мы шли в город, плелась далеко, ей резали бок, ребро с наростом, она тяжело дышит, но кожа выравнивается, гладится, от солнца-ультра помогают белые кружева. Ничего не вижу, одних девочек вдали в виде красных пятен земли. Вчера рабочие чинили мост и дали мне руку перейти, Ло Ш. тоже. Ничего нового, изгибы, извивы те же. Целые дороги ложатся от одной земли до другой — иди дитя. Глаза застилает. Телеграммы, телеграммы.

Всю ночь слепила лампочка, но чистота небес, луна полна, видна палуба крыш и птички-матросы спуют, метлами моют. Это дождь. Сухо.

2

Ло Ш. гладит уютгом. Утром пели соловьи, в 4 утра шесть штук, опресненные братья, кривая вредности идет к нулю, орбиты взмыты, мы летим в метапластинах изуверства. Страхи и стаканы. Ло Ш. гладит и гладит. Ей рубили бок в клинике-особняке, я ходил по лестницам, ища, где это место милосердия. В тумбочках пауки, тараканы и др. крысы, пол терли цианистым калием, среди этого удовольствия ходил врач, не желающий объяснять, где ж., где с., он только рвал ребра. Я вспомнил наши операционные у моря, где я одним взглядом вырывал сердца и шел, дыша. В клинике утром обваливается фасад, а вечером дом дрожал, а от чего — неизвестно. У Финского вокзала невидимо уничтожил толпу атомный реактор, все бросались свинцом, завязав выпуклости. Ло Ш. резали сбоку и пообещали не жить. Это мы посмотрим, живые тройки пальцев еще есть, государства ног стоят на месте, сердце — цепкое, Ло Ш. будет жить и ходить в тужурке из звезд, к-рые я вырежу ремнями у них со спины. Что они нашли у нее за ребром? — серебряные часы? апельсиновый сок? Что так всполошились? опухоль? — эка невидаль, где весь век опух, ныне-будущий. Там так воняло в особняке, сидели на кроватях, лоя глазами слезы, я видел руки обреченных, а в них цветы, ветровые; сидели в доспехах солдаты, с плачем, они принесли хлеба, ждали жен, а их нет, на том сите вознеслись Вверх, где тучи тел по небосводу и капают, с них каплет.

Поля усеяны нарциссами. Цветок — столпник, он тоже стоит на стебле, на столбе — век, века! Ло Ш. связала косу в бант и пошла за цветами, она спала (говорит) неплохо, по двору возят двух сыновей в тачках. Прочь, прочь, литература. Корабль близок. Слева в кустах пел соловей, щегольское солнце и листья зелененькие один на одном. Луна восходит сквозь деревья в оптическом диаметре. Везде листочки. Белое, белое. Шаги голых.

3

Закат осложняется водной поверхностью и туманами. Ло Ш. розовела, дышала активно. Соловей за соловьем со всех концов и деревьев. Колют дрова. Движение рек и рыб есть и в ч-ском организме, как и космомечи, кровь-древonoсица. Я помню шестое детство на шарике Зем. Ло Ш. ест рыбу по буквам. Зачем взяли меня в этот тотем? — спрашиваю. Грачи толстые, короткокрылые. Ло Ш. привезла из Ленинграда какой-то стебель и ходит с бутылкой, поливает ежевечерне. — Ты дом поливай, — говорю я, — дом побольше бы будет. Ло Ш. бегаёт стуча стопой то на лут, то на миг. Дышит жадно. Вчера магнитная буря и я двигал губами дважды, читаю Сивилл, м. б. переведу, крепкие книги. Выживут ли мои подопечные (народы) это десятилетие — до 3-ей тысячи? Отвечаю: нет, сдвинется этнос, экологический щит отнимут руки богов и погибнет свыше 80-ти народов Восточной Европы. Ло Ш. поет, что ландышей нет. Я видел свидетеля Иеговы, их секта, пять братьев в громадных калошах, чтоб ноги не терлись, энтузиасты строят музей комутантов: сколотили из гвоздей барак, несут туда обкомы, райкомы, крайкомы, месткомы и пр. комы-смерти, связанные в виде кофточек, национальное пиво из дегтя, дождь идет по машинам, свободный рынок — свидетель Иеговы сидит на ящике (мусорном) у магазина, болтая галошами, дождем прохлаждаемый, торгует руганью. Скалы дождя! Но это так, нервная сыпь, еще не время водам звенеть.

Дрова ложатся друг на друга, сохнут локоть к локтю, и кладут их в печь на бумагу, затем огни летят в трубу, образуя ведьм, отчего мы и греемся. Соловей поет, цветок цветет! Гора, покрытая чайками, гора чаек, косуля бежит через дорогу как живая рыба на чегырех палках. Костюмы в магазинах дремокислые, ненужные ни Кому, ни Тому, собаки гавкают, жалобы ложек, бьющих по посуде, кипящие носы у чайников дают жизнь, видимую миром, вдалеке-вдалёке свистят византийские валеты, депрессия стула и печь в асфальте с ликером, несоответствие Имен и Племен рождают трагедии, когда не сговориться между собою ни за что, грозы загрязняют, паровозы в лоб летят, машиноволки шуршат, люди очки надевают, разливают молоко в рты, Бог выпустил

дугу с зигзагом, на ней число, месяц, время, как на орфейских циферблатах — регламент, идет диапазон (нас), в этой стране давно нечего делать, кроме смерти, живут, движутся, а дойдут до лет — и нет. Они проекции с собой приносят, столько святости в огне, белое солнце, распоясанное, белое, как ухо, я ищу новых грамматических связей между л-дьми и не нахожу, старые рты. Тут нас провожал золотой пес, исчез. Ночь чудна, луна. Тучи станут лить, набухшие, слепнем. В озеро выходят лодки, вынимают трупы — те стоят стоймя, их подталкивают, те плывут к берегу, и закатав штаны их вынимают парни в комбинезонах и кладут в шгабель; лодки красивы, изгиб борта лаковый, м. б. мертвецы выстрелены как снаряды и воткнулись в ил? или наоборот из дна выросли до глади, на них прибили доски (у них в головах гвозди!), на досках сидели, загорая и обнимая «столбы», кто плавал, а вытащили — трупы, лица сохранились, у некоторых глаза сощурились, как у бюстов, свалили на бок, ноги к ногам, жечь (повидимому!), наложат дров, цепей, шкур, и запылает, и долго будет гореть пляж, в ночи лучи. Ночью слушал соловья, как он взвизгивал в утлах, а Ло Ш. сказала, что сверчок, не верю, у соловья язычок, ели императоры-римсы, это блюдо, невидимочное! А миллион соловьев — как один разбойник свистит, куст горит, покрыл гул самолетов, энергия! Соловьи, сирень и яблони распустились! Л-ди бьют лопатами кремнезем, чтоб выросло что-то.

В бане мысль, парилка сухая и безветренная, в аптеке две суки лгут о лекарствах, в парикмахерской волосы стригут, забрасывая назад по длине, халаты далеко от тела у женщин, пуговицы громадны, на ногах чулки, можно подумать, что ты стрижешься на дне морском, а парикмахерша не милая д., а скафандр; я им скажу, что нужно раздеваться перед стрижкой, — не поверят, как им тут устало живется во влажных ножках, имея такой набор ножей, не действуют решительно! Тратить сталь на волосы! Какая ветреность! Нужно порезать шеи, будут убитые, похороним с конвертами между ног.

Дорога идет вверх, растлевая. Неприветливо. Ночь. Карандаши. Чашки.

4

Белье на веревке сушится, а м. б. оно хочет быть в брызгах, а не под л-дьми, простыня, прелюбодейская, нечистая, в зротике она всегда третья, кто на ней ни лежит, ее мнут, на нее льют, ее жизнь займет книгу непристойностей, окружающая среда ее запикивает между ног, а потом отстирывают мотором, она полна лишений.

У кафе табличка «только для масонок» и кофе полно, неплохая

шоколадница, я б ее взял за талию, она ответила б тем же. — А ты, — спрашиваю я, — тоже для масонок? — Нет, я для других, продукты им. Смотрю продукты: полки пусты, один цвет. — Чего ты здесь стоишь? — спрашиваю. — Продаю кофейные банки. — А кофе в них есть? — Нет, наклейки. В магазине алкоголизма я спрашиваю алкоголичку: — Коньяк для масонок? — Да. Еще более приятная алкоголичка, чем шоколадница, я б ее взял. — А в коньяке коньяк есть? — Нету, бутылка есть, а в коньяке выжимка из сланца. Я иду к хлебнице. Эта так хороша, хоть лопни. — Хлеб-то у Вас есть? — Только для масонок. Я трогаю бумажкой хлеб, в бутылку не залезешь, чтоб проверить, а хлеб виден, смесь опилок и левкоя, с тмином. — Ты ешь это? — спрашиваю. — Нет. — А масонки едят? — Нет, они едят по талонам. — А кто ест? — Никто. Значит, это галерея видимости. Я иду к комутантам и спрашиваю: — Тут все для масонок, а масонки есть? — Нет, — отвечают, — это для разжигания национальной розни. — А комутанты есть, вы — есть? — Нет, — говорят, сожгли комбилеты. Господи ты Боже, куда меня закинули? — А что есть? — Ничего, — говорят, — нет. — А дома? леса? озеро? трактор? свинья? — Иди, — говорят, — не мучь пчел. Я иду, еще не верю, но напрасно: я иду по улице и она проваливается, камень на камень наскакивает, я иду на дом и прохожу сквозь стены, никого не тронув, а ведь там сидят семьи, пьют йод, я возвращаюсь и приближаю лицо к л-дям, но сколько ни смотри, их нет, леса нет, дубы, сосны, кусты, грибы, пни — мираж, я ткнул пальцем в озеро, воды нет, сухо, костер — нарисованный по воздуху, тогда я закричал Тому, Кто послал меня: — Ты есть, Тыбздик? — Я есть, я есть! — быстренько ответил он. — Вынь морду из туч, я хочу видеть этого ч-ка! — Я Бог, я во всем, я есть, я невидим! Да. И Его нет. Хорошо, что будем есть? — спрашиваю я Ло Ш. Она дала таблетку. Я проглотил, маловато. Дала еще. Тошнит. И тут я увидел зайца, убил и съел живьем. — Ты нарушаешь экологический баланс! — путано кричала Ло Ш. издалека (потому что я убил в беге и ел, отбежав). Я молчал. Красивый сок просвечивает сквозь мою кожу. Бегал по дождю, малохолодному. Умелая ходьба под дождем. Как пахнут дуб, сирень и смола! Озерная мгла. Утки ткут.

5

Стриж прилетел, на веточку сел, луна поднималась кружочком, больше и больше, и вот уже луковица-целлофан, руки тупиц крутят планеты, моют мне ноги, а всмотришься — женщины! как вездеходы! как моль! Конская голова на лугах, сражается. Я знал говорливых, но писали они плохо. Чугунная дверь в печи

с ручкой, как у трости, за ней шкатулка огня. Аукнул. Отчаянное положение пустоты. Для Крысы год Лошади критический, больше всего достанется Крысам, улицы этого года перейти не удастся, я Крыса, я Телец, мое слабое место горло, Ло Ш. — Овн, у нее слаба голова, заметно, что Лошади ленивы, невелики, не кони, а женщины, слабоголовые, не нужно думать, что женщины состоят из ж-п, сомкнутых. Скучно нажимать карандаши, больно уж большие промежутки между чтениями (планет).

Язык мой, медный! Маленькие дети размножаются в радио-зеркала до непрерывности, один и тот же ч-к стал повторяться во многих, старые генералы рассказывали, что цепи солдат придумали в 1914 г. из одинаковых л-дей, их некуда девать, пустили на войну, думали — конец шинелей, настанет праздник индивидуальностей. Но настал ужас одинаковостей. Объединенные в колонны, они шли по Шару, неся над головой вместо Бого-икон — юридические портреты. Мне говорили, что это было нечудотворно и отдыхали только тогда, когда портреты рубили друг друга.

Ло Ш. ест колбасу, сыр, мясо, огурец свежий и соленый, печенье, варенье, жареную картошку, она надела новое платье с вырезами везде, и пьет чашку. Шел дождь, барабанил по капюшону, с цветами, соловьями и озером; за окном камни. Жара, мозг — 1 день. Ло Ш. привезла из Т. налива, свинину и кусок быка. Съел девять пончиков из творога. Ло Ш. лизала тарелку по плоскости, вознеся ко рту, обряд у них такой, что ли? Эти исчерпали средства, Они меня убьют, я их призываю магнетизмом и силой воли. Не лучше ль призывать их в другой пункт? Нет, ко мне, пусть вонзят. На дубах листья по полметра, я вижу идущие в ограде штыков батальоны, и ужас, и дымки из ружей, лиц не видно, и они за облаком. Озеро ливня. Кто-то ломает дубы и ветки разбрасывает, лошадиные листья, дождик мелкими палочками по капюшону, а туча как колокол, я иду в плаще одинокого зайца ловить, на вес он 5-7 кг. Как идут у дороги, наклоняются, норматив лжи не снять с Них. Когда-то, летая на парашютах, я был убежден, что осилю земной мех. Нет. Осилен я — непобедим. Вынимая детали из ж-ни, мы превращаем их в карты рока, а они мозговые косточки памяти, набор хрусталиков. Идут с губами во рту блестящие суды душ больных ласточек от музык, электрические рисовальщики морей, но не ходящие по ним без коньков, — не верю, не время! Сын Божий смывает и построена церковь, он задумывал Ея как обсерваторию, а сказали, что это форма фалла, размножающего. Я знаю, что пребывание на шарике Зем. слишком живо, я ударюсь о дно и взойду, окруженный луною, водою, рыбообилием. Что поешь, грозная птица-свисток, что тянешь шею, где луна-лев усами трепещет; запрягши женщин, не плачь по родине, она не ровня тебе, черный век.

Пусто, у озера утки семьями, сидят по голландски, загоральщики снимают пузо, оголяются л-ди, канитель тревог, цветы, цветы, веселый слог!

СТОЛБЫ СУДЬБЫ

1

Встал и вспыхнули глаза, это будильник опоздал, неслись по проспектам, сели в автобус. Да, свободно тут, независимо, сидят на станции в белых блузках. Моросит. Ло Ш. говорит, что ходят до 9 час., а потом? — спросил я, — ползут? — потом хулиганский час. Но шоферы настроены по-нормальному, я махая бумажником свистнул такси, подошло, подскочило, и шофер очень любезно нас довез.

Веточки вербы в графине. Это чего веточки? — спрашиваю я Ло Ш. В баре гладкоствольные доски, пьют черный кофе с водой, у девушек мелкозавитые волосы, юноши убирают фарфор. У людей холщовое, скользкое, хлорвиниловое, цепей нет, город огненный; городок.

У хутора треугольнички, охряные, я и живу. В белом молоке ложка. Тыквы на полу, греются у печки: блекло-оранжевая, зелено-зеленая, с проседью, бл-зеленая. У молока привкус водички. Стоят свечи. Свечи горят как чай.

Может, интрига фразы, действие, сюжет — мешают, помеха, как малиновое варенье к брусничному, как молнии кремовой тыквы (обтекающей). Еще будут мастера, они будут копировать ножи швейных машин, старинных, а потом и сами надумают. Народы, жившие до нас антикварны, антиквариат, государства тоже, их черепа, на фоне нашего населения даже скелет 19 века чудодействие, редкость, как друг. Найдешь ли династию машинных королей? — не прививаются. Дышат ошибочно кости, о бедный бедный, уединенный мир, я вижу разрывы цепей только чтоб окунуть себя в студень, несилые, бескрайние руки тянутся в воды и берут рыбин. Но эти рыбы и последствия питания ими.

Яблоко — белый ком, кольцо всмятку, яйцо Адама в нитратах. Я думаю об апреле, о косточках, анималистических, о их красивых руках, о песнях опер у чаек апреля, когда сейчас туман, туманится. И рот — жалкие лукошки, полные едящих зубов. Мясо на лице и руках становится одинаковым, волосы не приручаются, если вымыть, то морда краснее тела. С горы шли митинги, выворачивая подошвы, очень похоже на полиомиелит. Мне снятся пилы и занавески, нитяной тюль, оттянутые выпукло, и связь между стеклами в воздухе. У столов неокубизм с пустотой между ножек, и стулья объемны, а сядешь — сразу же плоскости. Ло Ш. выпятила губы, синие. Обед: картошка, облитая белым и

чашка воды из курицы (выжатой). Дорогу подняли на высоту отвеса, обложили камнями по краям, расчесывают прошлогоднюю траву, чтоб на холмах были линии, как на гравюрах. Лягушка в пятнах, но не леопард она, ткань лягушки оригинальна, но она не лирик, Христос не растет на деревьях, а плотно прибит к бревну, рост окончен на четырех гвоздях.

Я тихо хожу, толстые туфли, черно-неподвижные хороши, но не бегут. На озере утка ткет, булькая, больше никого в воде нет, жалкий, лишний день, неодушевленная пахота полей, тетерева хлопают крыльями, деревянными. Пятимерные земли тех лет! Весенняя вода из крана, в руки нам бежит, блестя. Гласные слоги идут до утр, в воде рыбак с тросточкой, со шнурком, на моноколь рыбку удит, светло-красные зайчики по воде. Но холод. Хоть солнце. Дорога утрамбована. Картоны света.

Серп луны и жаворонок в перекрестье летит; серый день, сучотный, лоханный. Ночь подходит. Кисточки тушью полнятся. Сны несильные, ходишь с пятки на носок, теплынь, утка взлетела, оставив круги. Ел ловко. Ночию взлаяла собака, и шаги твердые, быстрые, — ежик, или ребенок. Это ребенок бегал в ночь вокруг дома, топоча, с луною, это он в тьме за стенкой, незрим. А звезды как прутья стояли над ним. Это змеи бегали вокруг дома, гремя. Ущерб луны максимальный, число ее лучей.

В лесу береза, в нее вбит деревянный кол, вставлен желоб и подвешено никелированное ведро — течет сок, полный каплями. Ведро доверху, попил. Водича березовая. По всему лесу ведра висят. Цветочки на деревьях. Вокруг костры, но разве костер — круг? кто горит в пламени кругов земли, земляного «да»? цветет огонь, но разве я люблю огонь, он — родина с выпуклыми глазами, перелетевшая из синуса 23 и ЭС, это змей, вырвавшийся из вен по неопытности времен. Блестят штаны. Березовый сок выплыл, бутылки пусты, сегодня в бане музыкант и поп и с толстым землекопом, высшее общество, — сказала Ло Ш. У озера рыба взлетела. Кто это? — спросил я, — от нее круги внизу и вверх. — Это рыба, — сказала Ло Ш., она летит, крича, трепеща и обратно в воду летит.

Собаки на пути лаяли от услуг. Я надел свитер в белую клеточку. Льешь воду в печь, а из нее пар, хлынул пот, как из березы. Долго шел домой длинными шагами, уменьшилось зрение, солнце не вижу, луну расплывшуюся по концам, собак не вижу, машин не вижу, только у носа, еще я видел музыканта в бане, рыже-телого, апрель ты апрель, первомайский парад!

На дереве цветочки, как бабочки, усеяно. Как мило — цветут тучи! Лягушки, большие, в тяжелом, птицы верещат везде, это чертово шоссе режет мне дорогу в мир, не могу перейти, п. ч. собьет, и стою, смотрю в никуда, а потом иду боком по краешку в другую эпоху.

Видения дня у меня, как шли по пахоте (одни сабли уж розовели, догорая) к рощице, где привязана к березе бутылка, а в ней

желобок бумажен серебристой, и выпили сока, что натекло за сутки, — я и Ло Ш. Как закат погас и земля стала спускаться, тыкаясь ногой неизвестно куда. Выйдешь на дорогу, а она сверкает, это солнце, стеклянное, это боги стоят во множестве, как рабы, пусть работают на твоё время. Как сказать, а скорее мое, но мне личное владение им не нужно. Сейчас на полях ничего съедобного, вспомнил струи дождя, в реку б прыгнуть! Ветер могучий, ходят согнутые, песнь звучит из радио, это по ТВ показывают, как в Тбилиси рубят женщину саперными лопатками — солдаты Комунтангизма. Ветер стихнет, буря запоет.

Обошел озеро стремглав, в общем я натерпелся, ветр звенящий, будто бьются о тебя, идти, выбрасывая ноги вперед, вертеть спиной. Бросают нитки в воду, думают — рыба придет. Она придет. Люди летят в вышине на коне, небо ты мое, небо, ветер рвал пиджак зубами сзади за хвосты, если б не ветер, можно больше жить. Хоронят Берту, сестру Ози, мать Ильды — 98 лет. Город гудит от колоколов. Берта мертвец. Сшиты вымпелы с надписями «Берте». Собираются за трупом, но нет машины, уже 3 час задержки, а колокол звенит. Берта — колокол полей.

2. ИМАЖО

Понедельник, уехала Ло Ш., выкопала калину, сложила в пластиковый мешок и пошла на автобус, у них в Л-де калины нет; тарелок нет, купила местную тарелку 1м на 1м в диаметре, фаянс, и повезла в Л-д; сняла с деревьев грибы, тоже везет, и подорожники будет прививать в своем саду — кустом. Кости ищите в женщине. Это от адских сил, вооруженных.

Ночь звездочками горит, глава обещающая, пию кофе с печеньем. Жгут пламенные. Гулял по лесу, присаживаясь, нюхал мох и падшие деревья. Лось взрыл дела, лисичковые. Лес светлеет, бревна лежат, кожа содрана с земель, цветочки. Я пишу в стране, где мысль есть государственная собственность, тут народы живут. Ло Ш. приехала, злобная, спит от злобы. Каждый час представляет картинку, значит в сутки 24 картинки с женщиной. Тоскливо. Комутанты: кто их знает, чего им надо, напрасно они привлекают к своим проблемам людей, между ними и людьми нет конца. Я вижу в ретро — Город Пустот, где катится мальчик на самокате с ногой-дугой да вкраплены два-три еврея, где никого нет, одно яйцо катится по улицам да залп зениток, будто бы блокада. Лили тучи, цветочки голубые и белые, они только размножаются.

Ужас перед насекомыми, они состоят из колец и к ним прикреплены Кафка, Набоков, Аполлинер, их физиологический облик далек от л(юдей): фасеточные глаза, кривые зубы, яйцеголовые, сплюснутые виски и страсть к соавторству с насекомыми. Лолита состоит из колец, это настоящий антисекс в мире (теннисная

ракетка!), описанный со времен международных, из колец на голове и до таза, под пиджаком, я видел, горло у Кафки из колец, живот Лолиты чешуйчатокровянист, не люди, им предшествовали Малларме, любитель муравьев, и Метерлинк, писатель пчел. Я читаю книгу о насекомых и полнось ужасом, им нет объяснений, почему они то яйцо, то гусеница, то бабочка, а то и жук, этот организм-механизм, это гадко. Кто им надел на крылья знаки древних азбук? Почему паук так сложно живет? Поймать муху — нужна столь геометричная сеть, из века в век одной и той же вязи — мух ловят прыжком. их полно, мух. А сеть зачем? Что он за рыбак? Я видел дохлых мух... да... какая гадость и идиотизм клопы, тли, моли и сороконожки, как прекрасны и мягки львы, высшие математики, а насекомые — числа, глотатели, о твари, твари, я знаю себя.

Ветки в вазе, расцвет по дорогам, лук тонюсенький, плодовые сороки, солнце, покупали сапоги, солнце вдавливают в кресло, цветы не предел. Четверо пришли за электричеством, у них длинная сталь в футляре, ею меряют, собака грохочет, вялы дни строк, один с блестящей доской вставил ее вертикально пред собою, а трое, прыгая с машины, смотрели в глазок на треноге, в окуляр. Они походили, походили вокруг дома и уехали на грузовике. Разгоралось, мы шли. Ло Ш. — наверх косу (до ног) на голову, как седло. Солнце жгло затылок.

Что им было от Ленина, больного и безумного? Штамп, эталон, маятник головы? Разве может быть лоб у ч(еловека) от бровей до темени? Не может. А у Ленина делали, как у жука — у того лоб от усов до хвоста. Я видел маску Ленина. малюсенькая таки головка, лобик с покатосями, череп, лысина, лысость. Что Им во лбу виделось — мозг? А в мозгу — ум? Необязательно. А в уме что — МЫ? Черный шоколад в шприцах.

Весна, подъем груди! Архитектуры нет, домов нет, Петр I строил татарам Голландию, сам шья себе руками носки, а Грозный единственный в стране имел клавесин, его пытаются забить колоколами. Грозный играет на клавесине на стуле, выпрямившись, он похож на Альбу, тот сутками смотрел живопись, держа в руке железный кубок со спиртом, Альба любил Брейгеля, как они поддельвались под насекомых, нося кольчуги из колец и панцири из жуков. И Петр носил панцирь и петли усов вверх, насекомое. Как их объединяет характер разных времен, о них пишут: в большинстве случаев у взрослых насекомых удается различить три основных части тела: голову, грудь и брюшко. Голова состоит из четырех сросшихся между собой колец, больше в ней ничего, глаза могут быть сложные и простые, ротовые органы жующие и сосущие, грудь является местом прикрепления органов движения — крыльев и ног, брюшко состоит из колец —

и ни тебе сердца, ни печени, ни крови, ни пяток нет; отсутствие мозгов, полное и провиденческое, живут по трафарету: Т-Р-С. Цель и стелла — один корень грамматический, звезда, стремление к звезде, отлет обратно, это звезда на кладбище, не важно, сколько у нее концов — 5, 6, 8 — закопанные летят вверх, живые идут к цели, к столбу, дойти до столба по пути и лечь, и пусть мимо идут машины и всякие окна в них, дойду до столба, потом до третьего, а результат? — сумма столбов дает положение — мертвец. Можно ехать на двух ступнях, как на двух лодках, гребя пальцами и доедешь до столба, а к тебе нырнет смерть из-под лодок, выпучит простые глаза — «кошки, кошки», — закричит и все тут. Липовый быт, магомонтанский.

Мышки нет в доме, еще не проснулась, сны синежуткие, зовет, сволочь, зовут! Был приступ стенокардии, лежал у почты, потом на почте, минут 40 и слева и справа и по центру грудины перемещались боли, губы белые как цинк (Ло Ш. говорила). Лежу теперь, и жалобно в доме, борщ жду, есть хочется, лежу, карандашик дрожит, — давит атмосфера на меня, утром легкая стенокардия с ломиком в груди.

3. ЧЕРЕМУХИ БУКЕТ

Озеро хлынет! Гроза, молнии как морковки, камни выйдут из пахотной земли, огонек в чугунке горит, потрескивая, похож на пиво, угли, запыхало за решеткой, не льется, гроза задраила люки, сидит сама в себе.

Лодки сваливаются с ног, понятие ног буквенное, почему и лепят ноги, женские, ведь руки формальной, а ноги раздвигаются, две занавески, при виде женских ног грохочут гири и миры, сваливаются колеса.

Будет черемуха, это точно, собаки умноглазые, камни выпадают из земли, до оледенения, цветет пространство, больше и больше листьев, и вот раскрасим фон реализмом, луной со шпаргалки — сад! Образцы берез стоят в вазе (в виде веточек).

Эта территория безответна — я хуже пустот и конца, это как шторы в объективе задвигаются, если плывешь, много крови в реках, сердце смотрит в сторону.

Черемуха стоит, полная ваза, Ло Ш. ушла по горам собирать черемуху, я-то думал — м. б. ее грохнет тяжелой тучей? могло б! Серенько, стыла кровь, печка полна углей. Сейчас у власти поэтические личности, они доведут до дул, их словесность — та же проволока удушения. Ло Ш. топала ногами, кричала под луною, бросалась ножом, в меня ножи не попадают, я знаю

край, где иные инфаркты. Гуляние на огнях заката, мы еще пощебечем.

Тяжести полная Ло Ш. лежала на столе, сдвинув крылья, била пятками, истерзанная равенством, ее волосы покрыли весь стол и свисали вниз, на этом фоне ее лицо казалось маленьким и человечьим. Лампой палима!

Был вечер. Крики ее не сливались с ночными звуками. Я взял горсть горящих углей, у меня гладкие руки до плеч.

Ночь. Чернота. Встал. Стан погибающих.

Я помню всегда букву А.

СИВИЛЛИЗМ

Историки пишут, что у девственниц бывают художественные мысли, с потерей — кончаются. Категорично, — Аристотель. Не кончаются, никогда, даже с потерей головы, утверждает св. Августин. Верокио с учеником да Винчи писали, что девственницы, теряя это дело, теряет цвет, чувство цвета у нее гибнет. Но другие говорят, что остается память цвета, она сильнее физики. Чаще ж женщина, прошедшая медные трубы, считает себя нетронутой ничем. Как бы то ни было, женщины-рисовальщицы массовое явление, как и стихотворицы, оказывается, они-то и есть народ, фольк-арт. Гобелены, вышивки, инкрустации, ковры, роспись глин, керамика — все виды, кроме полотен с маслом (цветным) сделано женщинами, столько девственниц не унесла б земля. Но это прикладное, и назвать духовной жизнью их нельзя. В мистической жизни нет женщин. Авторы (авторицы?) частушек, танков, романов, песен на мотив — международны. Пифий и лжелифий тьмы. Их совращали римляне и сектанты. Но сивилл 10. Царь А.М. пишет: сивилла есть женский пол человек, девственный. Достаточно. Итак, род сивилл определили. Об именах: многие из них многоимянны, иногда одна входит в другую, как матрешки. Оставим каждой по одному имени, упростит. Отбросим пифий, они служащие храмов, политессы и наркоманки. Наши сивиллы вне служб, не претендуют, а пишут книги. Любопытным: в хранилищах древних царей есть книги сивилл, можно сверить с нашим текстом. Я переводчик, но не объяснитель, наобъяснялись.

2

Сивилла Самосская жила за 2000 лет до Р.Х. при Трисмегисте, хвалима Эратостеном, она предрекла 9 родов человеческих и назвала их по 9 металлам: золотой, серебряный, медный, оловянный, железный и т. д. Родигин в 14-й книге пишет: царь

Дардан, отплыв с о. Самоса, взял в жены Несо и Ватию, от них он родил дочь Сивиллу, имя стало нарицательным. Иоанн Зонор сообщает: хранимы книги, где не только ее стихи, но и живопись с изображением доисторических зверей и будущих рас.

Сивилла Эстрийская жила в Израиле при Гедеоне, о ней писал Аполлодор Эритрейс. Носила ягненка, меч и круглое яблоко с изображением созвездий, сделала треугольный вид лиры, славится 33 стихами.

Сивилла Персидская, отец Ирод, написал историю Халдеи. Ходила в золоте, написала пророчества о Христе («господине Х.») за 1248 лет до Р.Х. Пишут Мирандиле и Никифор Греческий, что переводили ее 24 книги на все языки. Св. Августин пишет: она пришла из Вавилона в Италию, где бани, и мы туда же, и увидели дом, высеченный из единого камня, и посреди дома три корыта, резаных из камня же, наполнены водою, она в них мылась и предрекала. Еще она шла в Турцию, у оз. Оверни разрыла горы и выбила в камнях много комнат, и жила в них, то в малотеплых, то где потеют.

Сивилла Фригийская жила в Троаде за 530 лет до Р.Х., о ней пишет Гераклит Понтийский. Ходила оголенная в плечах, голову наклоня, пальцем указывая. Носила рожь в колосьях.

Сивилла Дельфийская из Фригии, до Трои, до битвы богов, Гомер использовал ее тетради. Носила ветвь Дафны (бобковое дерево), имела голову, обвязанную волосами и бычий рог. Царь Атрей хотел жениться на ней, отказалась.

Сивилла Киммерийская обитала в римской горе, два царя Никифор и Оттон спросили, есть ли на свете Онагры, дивные ослы? — Есть! — сказала Химера, указав на них. Она предсказала паденье Константинополя.

Сивилла Либика из Африки носила оливковую ветвь, ходила в зеленом венце, смеясь. Ее любил Климент Александрийский. Писала о солнце, о ней писал Еврипид.

Сивилла Демофила имела знамя, пишет Авл Геллий: она принесла Тарквинию 9 книг о будущем и о юриспруденции, просила 300 слитков золота. Тарквиний не хочет, дорого. Тогда она разорвала 3 книги и сожгла на глазах у публики. — Продаю остальные! — Сколько? — поинтересовался Тарквиний. — Столько же. — Как, за 6 так же, как и за 9? — О да, — сказала сивилла и сожгла еще 3 книги. — А за последние сколько? — вскричал Тарквиний Гордый. — Это не последние, а 3. Давай, что говорю. — Не дам! Демофила облила нефтью еще 2 книги, вспыхнуло — сгорело. — А теперь последняя, — сказала сивилла. Плати! — Сколько? — 300 слитков!

— Сильно! — сказал Тарквиний и заплатил. Но он оценил себя, а не ее. Когда сивилла ушла и царь прочитал эту 1 книгу, то рвал руки, крича: — Остановись, дай копии тех 8, я заплачу в 100 раз больше!

Сивилла Симония родилась за 133 г. до Р.Х., прижимая к груди руки. Писала что ч-к рождается один, а л-ди живут вместе. Ходила в бархате, родильная мать Цезаря (резала пуповину). Сивилла Тибуртина — при Октавиане Августе, но будучи девочкой, останавливала эпилепсию у Цезаря. Ей приписывают обожествление Октавиана, но тогда не сивилла, а храмница, или ж оболгали. Оболгали!

А Агриппа? Эритрея? Альвуна? Европа? — другие имена тех же, я уж писал о матрешках, если ж окинуть опись наших сивилл, то более реальна версия, что это одна и та же, жившая 2000 лет. Отличий нет (у них). Деяний-то нет, никто не слышал, чтоб сивилла умерла и похоронена.

3

У женщин ход дыхания уже мужского, легкие глаже,¹ж. выше по психике, чем м./замкнутее физически, другие животные. Когда же кровеоборот и менструации закрыты и пленкой — психика растет до таких тонкостей, как ясновидение. Отметим, что сивиллы — до Р.Х. После пришествия господина Х. — сивилл не было и быть не могло, Герои и Черные книги отторгнуты от л-дей, настали века тоталитаризма, безыдейности, уже апостолы услышали призыв нагорной проповеди, чтоб крутить головы на шеях, с появлением Угрюмого Страдальца у л-дей исчезла радость, голова склонилась, а физиология сошла к скотскому. Господин Х. — основоположник материалистической морали о рубашках, щеках, внеполовом деторождении и пр. пр., — Он антирелигиозен. Сивилла Симония сидела у ног Цезаря и не отпускала его руки, чтоб он брал рим и мир, предупредив централизацию Одного. Но Цезарь не успел, был убит мечами из фригийского ордена и эссеями. Господин Х. — разборщик дел низшей ступени, ч-ских. Он боится. Не видя выхода из смерти он принимает «страдания» и изображает Я как жертву добровольную. Но он убит принудительно. Скажут — над Ним суд не властен, Он живет по законам Божеским. Нет, Он сам заявил: Я — сын человеческий, а потом отрекся от л-дей, Он давно забыт, и только несколько народов, доведенных, кричат о помощи г. Х. Но и у них Он символ.

4

Если Кто-то решит, что я пишу сивилл с познавательным значением, ошибается, они из того же цикла сложных влияний времени, их след только книги, но и они спрятаны у немногих, у тех, у кого нет потомства. Их не признавали поочередно Ликург, Перикл, Солон, о них вскользь сказал Платон, а Аристотель выделил

в группу (?). Цезарь получил власть из слов сивилл. Их классифицируют как спиритов, но спирит — эспри, дух, вызывающий контр-настоящее, активный воин, но вызывать духов будущего могли одни сивиллы, сье не умеют и боги, они-то и расклеивали запреты о сивилизме. Сивиллы в инкогнито, или отсутствуют, работали рука об руку с их книжностью Плотин, Альбин, Ямвлих, Порфирий, Прокл и Юлиан. При изысканиях оказалось, что головы Ахилла, Ейлены, Патрокла закопаны до Троянцев, а вид Гомера изрисован не только до Илиады, но и до рождения Гомера. Гекзы Гомера написаны до Гомера — Гомером, с восходом же распада ему оставалось слепнуть от скуки, так он и ходил натыкаясь на кувшины (арфой). Сивиллы, их штучки. Своими видениями они покрывали холсты в книгах, давая им золотые поля, кромсали мрамор и били по меди; походы Македонского выбиты за 400 лет на медных досках — до походов, и его лицо со щеками то же, что они дали и Нерону, и Наполеону, физиономии из одного полуиталийского рода. В книгах я читал страницы на несуществующих тогда языках, и говорится — они будут перетерты (о татарах!). Подделки книг сивилл, формат, шрифт, рисунки, но они самовоспламенялись, и у делателей оставались на память обгорелые руки, тлели до плеч. Интересно, что предсказанные персоны как бы созданы сивиллами, и, не смысла в грамотности, искали книги: Филипп-Испанец и Альба выходили на ведьм, перелопатили секты в Европе и на Ближнем Востоке, чтоб жечь женщин из иудейских общин, надеясь, что на костре будут вывернуты карманы с тайной. Нет. Им книг их не дали. Филипп и Альба нашли достойнейшую смерть, без похорон, тела отлетели целиком, а семьи умерли жуткой прозой. После Двух книг никто не искал, долго. Вместо книг комутанты попробовали стереть с лица земляного женщин, как род, но противоречия между физикой и лирикой не дали им сделать, женщины остались, несмотря на смерть. Если кто-то решит, что я пишу о женской ценности, — не пишу. Я о сивиллах, им ни к чему плюсы прошлых лет. Гитлер инструктировал СС и СД по розыску книг, посмотрим в кино, как он оформил свою Майн Кампф в телячьей коже, громада похожа на кровать с кожаными простынями, с пряжками. Гитлер окружился индусами и тибетцами, и семь армий не могли взять рейхстаг, на каждой ступени стояло по два миста без оружия, отводили пули. Гитлер не мог найти книг и придумал убить в печи евреев до того, чтоб у кого-то найти-таки записки. Не нашел. Он сжигал, но траектории вспыхов зазвенели бензиновой струей и на автора, облили из канистры и сожгли с Евой. Еще интереснее, что двойки антисивиллитов Альба-Филипп, Гитлер-Сталин могли вступать в телесный контакт только с еврейками, их тело тянулось прилипнуть к еврейской коже, на к-рой тоже могут быть письма. Но огонь ничего не оставил — пустоты, сейчас много народов, плодоносящих, в третьем тысячелетии они

превзойдут наших, шизооких. Я вижу будущее в бомбах и в часах-лучах, территории займут черноволосые, вышки встанут с Атлантики и Адриатического моря.

5

Сивиллы до реальности, они летали в кругах и ходили в облаке электричества, язык их ритмичен, гекзаметр, ни одна ч-ская речь не говорит так. Книги сгорели (Цезарю 17 лет), Август восстановил, Тиберий размножил. В 410 г. Стилихон сжег книги собственноручно, он был обуглен на 14-й день, ему Кто-то оставил одни живые глаза, вынул на кипу, покрытую шелковым узором, когда шелк сняли, нашли книги, (жженые) в полной сохранности. Сивиллы могли передвигать предметы и планеты, летали по Солнечной системе, тогда души мертвых жили внизу, потом их увозили на иные кольца космо. Книги — Оракулы, спуск и беседы с загробьем у сивилл дело обычное, интервью по генеалогии будущих фигур, они их вели за руки вверх или шли вниз, в зону, там-то и стояли столбами, гладкие, нелюдские, ждя души.

Сивилла антитеза женщине, от пола осталась у нее нервозность, вспыльчивость, чувство вселенной.

Я как-то шел по дебрям, вперед руки. И вдруг Кто-то вложил мне в протянутые р. два нежных теплых создания и я осветился, что женское протянуло две ручки помочь. Но это были рукоятки револьверов, и я не долго думая выстрелил вперед. Разве важно, что раздалось? О нет, о нет.

Женские души заблокированы, рожают неизвестно от кого, древние не верили, что от мужчин, мы уже знаем — от чего-то другого. Кто внушил им, что они представляют Верхние Слои? Не надо женщин мучать мыслями. Я шел недавно по Н.-Й. и у катка близ Бродвея встретил на полу нищих, выходцы из израильской бойни. Иностранцы, черные, мальчики, мужчины, кидали центы — в шляпо. Я стоял у колонны из фонариков. Ни одна женщина не бросила деньги. Я заинтересовался, уехал воздухом в Ирландию, а потом в Канаду — картина та ж: мужчины подают милостыню, женщины нет, даже девочки — нет, старухи даже. Я приехал в Ленинград (из Москвы) — то же, в метро ж. идут мимо нищих, м. бросают деньги дружно.

6

Цезарь прошел путь от рядового до Исторической персоны №1. Откуда он взял календарь? Мы живем по юлианскому стилю. Почему он написал римское право? Мы (мир) по нему живем. Откуда у Цезаря в голове космическая и юридическая

энциклопедии? Зачем он жил год в Египте? Клеопатра и Антоний наложники, на винограде, но Цезарь и Клеопатра не тот союз, он командир, она погремушка. По смерти Цезаря сожгли труп, нашли завещание в несгораемом письме — деньги л-дям Рима раздать, сверхприбыльные. Остолбенели, убили убийц, н-род сжег Капитолий. Книги сивилл хранились в урне, в подвале, сгорели. Это провокация Антония, он читал письмо. Но книги истлели, натертые воском в сильном футляре в керамических сосудах они испеклись, но внутри остались буквы на пепле. Пересказы древней истории, цари, походы, войны-нови — кровавые шарики у казней, необедительно. Зачем строят храмы римляне с неисчерпаемым мраком, с колоннадой? Почему верх у термы треугольник, у дома плоскость, у храма полусферы? Духовную жизнь древних уничтожили л-ди господина X. Где-то жил тот чудо-Христос из Назаретского мира, нам он подменен. Центр Возрождения — Леонардо, среди л-дей ему нет равных, кроме технологии мира он знал и то, что ускользнуло от теософов: о господине X., о посвящениях, о святости, о переиначке. С картиной на стене (Тайная вечеря) в Милане не сделалось ничего за века. Рассмотрим. Христос на картине — малоизобразительный скопец, типичное лицо, незаметно-сглаженное. Ученость Леонардо, физиологизм, высшая посвященность у фригийского ордена — оскопление, предположений нет. Над нами витает внеполовая жизнь, веч-ская — сивиллизм. Сивиллы — посланцы.

Л-ди ходят с открытым лицом, можно нарисовать на них что угодно. Александрийская библиотека 490 тыс. томов мистики, знания о здоровье боги оставили в схемах, типа компьютерных, в энергосхеме Зем., в психосистеме, в детях богов, при той же структуре молекул одинаковость — маска, в «детях» другая информация, эти «люди» — муляжи космических волн, агенты космо, их аура освещает громадные расстояния. Первый пожар вспыхнул при Цезаре, сгорело 6 книг, пожар бушевал в Александрии, но не в библиотеке, Цезарь выписал копии и вставил на место, глиняные тубы. В 391 г. н. э. люди господина X. ворвались в Египет с одной целью: сжечь Высокие Книги, они мешали дьяволизации шарика Зем. Сожгли дотла. Одни футляры там стоили больше всего счастья христианизации. После поджога и сжигания христиане стали массами вымирать в радиусе 2 тыс. км. Футляры радиоактивны, маленькие А-реакторы, Он не Карал с Небес. Смерть косила, и тогда-то началась финноизация Севера, несметные полки белых финнов заселили верх Скандинавии, Балтику, Урал, будущую Российскую Империю, Каспий, Западную Сибирь. Железные татары, сверкающие татары (называют их летописцы) вышли из зараженных земель.

ЮЛИАН

Флавий Клавдий Юлиан, указывая на господина Х., сказал: Бог не может быть ч-ком, а ч-к Богом. Просто и ясно. Обожествленный, о себе он скажет: может. Он одинокий, пишет на чистом греческом, запретив латинянам употреблять латынь, родственники убиты солдатским мятежом, и он говорит: солнце мой отец, луна — мать, планеты — сестры, космос — моя семья. Правдоподобно, как увидим. Ночью у него созерцательно-философское восхождение в Высшие сферы, а днем кишки животных, путь птиц, особенно он любит смотреть печень и пленки на ней. Сбывалось. Когда император Констанций умер в Киликии, солдат, подсаживающий Юлиана на коня, вдруг растянулся на земле. Юлиан крикнул: упал тот, кто вознес меня на высоту! Юлиан стал императором. Из последней ходьбы на персов: в г. Дару отряд солдат поднес Юлиану льва огромных размеров, пронзенного множеством стрел. — Что он сделал? — Напал на наш строй. — Я буду убит, — сказал Юлиан, пишет Аммиан Марцелин, но есть и другие источники. Юлиан носил грязный плащ философа, в тетради Мисопогон он обрисовывает свои ногти, ноги и бороду во вшах. Мы это потом. Глаза бегающие, шаг ненадежный, покачивания головой, речи прерывистые, очи туманные — портрет Юлиана из-под пера Григория Назианзина, врага.

2

Юлиан-отступник получил от дяди престол империи и титулы луны. Год он ставил телескопические трубки, жег огонь, пел гору Кибелы, ходил босиком, не мылся, ногти росли до того, что он клал руку на ступень и их рубили ножами. Неоплатоник Юлиан жил в одной любви — к белой магии. Он писал статьи об одном Солнце. Год прошел, Сенат пришел. Сенат сказал, что думают об императоре, он не администратор. — А кто? — Финансовая катастрофа. Юлиан с трудом понимал, о чем они, чего хотят? — Хотим императора! — Пред вами — Он! — ответил Юлиан. Перед ними был нечеловеческий чудак в одежде как в чулке. Ему сказали. — Что сделать? — спросил Юлиан. Его повели в бани, в парикмахерскую, в репертуарную часть, где учат дикции, в женскую область, а потом на трон, в блистающем. Он сел в мантиях. Ему дали скипетр. Борода его была надушена. И тут он увидел христиан. — Кто это? — спросил он, не веря глазам. — Это христиане. — Прибить к крестам! — сказал он лаконично. Прибили. — Поставить по всей империи! Поставили. Он вызвал сенат, они вышли вперед. — Отрубить головы! — сказал Юлиан. Их повели. — Нет, здесь! Головы сбили, и он дал пить кровь из их шей, ряды брали в руки и пили. Тем же путем пошли

головы Верховного жреца и Верховного судьи. Главкомандующий армией (мятежами!) был убит особо: его подвесили к потолку и били в пузо трубами. Много было тишины. Юлиан выступил в поход, он шел на коне с 10 тыс. гвардии, навстречу 700 тыс. войск персов и сирийская конница. Нужно сказать, что в Дамаске ковалась лучшая сталь, а сирийский конник ценился на вес эскадрона. В оцепенении шла жирная гвардия римлян за конем Юлиана, они отвыкли от войн. Гроза разразилась. Юлиан слез с коня, стал босыми ступнями на песок, выхватил короткий меч и в одиночку пошел на 700 тыс. персов (за ним гвардия стояла, тихо отступая). В небе блеснуло. Оборвав рукава, Юлиан спокойно начал рубить пехоту и конницу. Он был так быстр, бешен и ловок, что оставался невидим, вырубая коридоры в войсках. Когда до персов дошло, что за 1 час погибло 3600 солдат и коней, они замкнули ряды и с большими пилами и цельностальными копьями кинулись бить... они никого не видели, п.ч. гвардия отступила чуть ли не в свою страну. Командир эскадронов Сирии подскочил к Юлиану и принял присягу Риму. Исход. Возвращаясь в Константинополь, Юлиан увидел в пустыне столб. — Кто тут стоял? Сказали. — Поднимите меня, — сказал он стальным воинам. Подняли. Он стал на столбе и объявил Римской Империи, что простоят ровно 9 месяцев, чтоб созреть и сойти в мировую пустоту, как плод. Эскадроны он расположил в ближайших селах, с удобствами. Сам же стоял. Высота столба была 20 м, диаметр 1,5, но наверху топтались святые, в камне выдолбился круг-яма, где и спал полулежа, сваленный (иногда) усталостью Юлиан. Ел он сушеную саранчу и мох, пил дождь, а если сухо — не пил. В пустыне дождь — чудо, он пил редко. Придя в свою страну (сойдя со столба) через 9 месяцев и 5 суток, не сходя с коня, он перебил вторично сенат, изгнал на моря гвардию и совершил еще много чего, но об этом или я напишу, или напишется, ведь Юлиан очень велик, последний боец в Солнечной системе, боевой фильтр, умный, писатель, ценность его книг.

3

Когда Юлиан, окруженный, стоял, не видя, куда бить, настала ночь. За 6 часов он вырубил 21 тыс. 600 всадников, действуя, как часы. — Что с ним делать? — спросил царь Персии. — Увидим — убьем, — сказали войсководцы и стали ждать рассвета. Ночью Юлиан, лежа в крови л-дей и лош-дей (чужой), вынул два зеркала, поставил на пень у реки то, что побольше, а второе водил. Тускло, волны, окрашенные кровью тысяч, не давали огня, луна еле неслась на Запад. Оглядевшись, нет ли досмотра, Юлиан скрестил руки над головой и засиял. Нимбом

он навел-таки то, что хотел: в большом зеркале появилось множество малых, меньше и меньше. Крикнув в сторону Дамаска (2 тыс. км), император вызвал конницу, и в зеркалах возникли видения эскадронов, а потом и настоящие. Это ночью, а наутро они под звон треугольных сабель разгромили персов и исчезли вместе с Юлианом. Разгром не то слово, 700 тыс. солдат лежали на песку, как на столе для птиц. Те слетелись и съели всех, а кости быстро забросало песком. Я о Юлиане пишу.

4

Юлиан неотрывно смотрел на солнце, главное чудо на столбе — остались целы глаза, 9 месяцев Юлиан пел гимны Солнцу, высох, отряды кружили по пустыне, ждали, когда сойдет. Сошел. Христиане приравнивали его к Христу и пытались прибить к столбу поперечины, но охрана была мечами, а Юлиан ласс на них, сошел он оттуда крепкий, потресканный, несмыаемый, ноги стучались о землю. Не сходя с места, Юлиан написал книгу о Солнце, за двое суток. Он писал: законы, путеводители, чертил карты, руководил мировой ассоциацией астрологов, в совершенстве владел антропомантией, аэро-гибро-дактило-капно-катопротро-коро-клеро-лека-лива-метеоро-мио-некро-ониho-психо-тефрано-энонтро — мантиями, а также гонтией, ооскопией, теоаскопией. Он знал наизусть книги сивилл и с его слов записывали, а также книги Гермеса, Орфея, Мусея. Он был лучшим кабалистом. Ему было 32 года. Он писал: стихи, трактаты, пророчества, методические советы, юридические пояснения и изданные в необъятном количестве письма. Везде и во всем он непреклонен и ужасно божествен. На каждой странице он рисует себя и солнце, сходство неоспоримое. Он пишет о магнитных бурях, вызванных в разных концах земли движением его указательного пальца, — проверенная правда. Он пишет о помощи народам, как он переносил из одной страны в другую миллионы тонн хлеба по воздуху — фиксируют разнонародные летописи — снималось вдруг в Индии с полей и летело в Константинополь по небу, думали, саранча, а это осыпалось в груды зерна. Это, конечно, низшая магия, но чем ему было доказать свой стиль? Еще сохранились его беседы с духами л-дей и с богами, записи из рук, свидетельских. Но главный признак его божественности — он не предрекал будущее. Он жил, как духовный друг Высших Сил, а умер в бою. Как император он — беспримерен. Один в империи он совершил тавроболию (необратимость отречения) — сел в яму, а сквозь деревянную решетку лили кровь быков, — чтоб смыть воду христианского крещения. Во время последней битвы Юлиан бросался из одного в другой конец, персы писали, что сражался опять один он, а войско только бежало и громилось. Либаний у

гроба говорит: царь персов приказал явиться тому солдату, кто смог убить такого героя, чтоб дать чин высшего офицера и золотую сумку. Никто не явился. И тогда царь с тоскою отметил, что убил не перс. Привезли труп Юлиана, в его спине нашли пятьдесят стрел, грудь невредима. На оружии метки Константинополя. Юлиан убит христианской рукой, в спину, своими.

5

Юлиан умирал, лежа на груди. Перед смертью он сказал воинам: и вы осмеливаетесь поклоняться не Гелиосу, видимому каждый день, а господину Х., которого никогда не видели ни вы, ни отцы ваши, вы считаете его Богом. Я подчеркиваю, — сказал он, — мою семью из звезд л-ди не любят, но одно космо героично, и если вы хотите обожествить ч-ка, то единственную героичную личность вы видите здесь, — он указал на себя. И продолжал: я отдаю должное себе, мои качества государственные, военные и лично-моральные — выше похвалы, у меня нет грехов, я исключительный герой времени, я вел трезвый образ жизни и был девственником, я исполнитель не своей, а Высшей мировой воли. Когда солдаты спросили, правда ли, что он поднимается над землею и его одежды станут золотыми (когда умрет), Юлиан кивнул. Они плотнее окружили императора. Напоследок он вызвал дождь (в стране голод и засуха). Когда он поднялся и озолотился (посмертно), с него все содрали и побег армии был быстр.

Царь персов стоял под дождем средь пустынь, степей и смотрел на ободранный труп величайшего из смертных. Мумифицировать нельзя, не тот ранг, и перс велел сжечь.

Был тут и Максим Эфесский, учитель Юлиана, лучший практический магик мира. Юлиан умер — Максима взял в крылья Валентиниан, нео-император. — Что сбудется в жизни? — спросил Валентиниан (любил жить). Максим сказал: смерть. — Знаем, знаем, — ответил Валентиниан, — через какую череду лет, я спрашиваю? — Через 6 дней, 11 часов и 8 минут, — ответил Максим. Ровно в это время Валентиниан был сражен мечами своих солдат. На престол взошел Валент, сын убитого. — Скажи и мне что-нибудь! — Смерть, — сказал Максим. Валент не спросил, когда, а не медля сдал философа в тюрьму. Долго мучался Валент и не утерпел. Вынув из тюрьмы Максима, все ж спросил. Тот ответил и был вновь заброшен в колодец. А Валент не верил. Чтoб увериться, он вызвал еще раз и спросил: — А твоя смерть, а ты когда? Максим сказал без задержки, это было дольше Валента. — А ошибки не может быть? — спросил Валент. — О нет, — сказал Максим. — Солдат, сруби его мечом! — вскричал Валент. Но солдат не смог. — Я сам тебя заколю! — бесился

Валент. Но и он не смог. Дальнейшая история гибели Максима длинна, мучительная и поучительная. Конечно, Валент убит раньше его. К Максиму во тьму подсылали собак с ядом на зубах, женщин с шилом, змей, львов, обливали камеру нефтью и поджигали — ничего не произошло, уколы, ожоги, укусы, смерть настала точно час в час и не в тюрьме, а при помиловании, на свету, сама собой. Максима считали ч-ком близким к богам. После его смерти град бил 14 дней римскую империю и ничего не добился.

БАНИ (утоление грусти)

1

День лета 1 июнь. Я ночью въехал в дом, взломано, ремонт, завязал дверь на кушак. Утром кушак развязал, долго слесарь с рыжими волосами под носом чинил замок — бил и бил дверью о косяк, починил. После починки я бью. Ездил в 3-ск, купил первые в жизни кеды, обувь пилигримов, шел шумя ногами на все море, море стелется туманом. Холмы песка, на них сидят обнаженные, вялотелые, из яиц, на перевернутых лодках рыбаки с голой спиной, детей мало, по валунам бродят. У меня никогда не было пилочки для ногтей, купил и ножнички в одном чехле. Я купил в 3-ске шнур-удлинитель 10 м. Под лодкой я вызываю восторг. Пахнет маслом краски. От моря запаха нет, далеко. Под лодкой я — как подводная лодка. Я купил халву, мятные шарики и толстое печенье; вот и вечер. Нужно идти, я хожу туда, где лежат, то к морю, то на кладбище. И о любви я думал под лодкой. На К-ском кладбище новинка — свежезакопанная могила Р. П. М. Какие бедные дни, неоднократные, откроешь книгу, а что писать и закроешь. 16° под лодкой. Зловеще. Я пишу пером морковного цвета, ем сушки. О ДУХ УЛЕТАЮ А ТЕЛУ ХУДО. Единственное сердце в медицине, воспринимающее лекарство, как я, — у лягушки. Самоубийство — объяснимо, это зовут, приказ. У меня в декабре шесть раз менялось лицо, до неузнаваемости, а 1 июня в седьмой раз. Как шумели капли. Шумящ я! Лягу сам.

2

Я знаю, что кризис, высшая точка кипения, а потом в лед, в пустоту, в кабинет книг. Приду с белой кепкой, махающий, смотрю на кровать, на пол, стол, стул, на стекло — и негде преклонить голову. Под землю обо мне поют, в подземелье.

ничего они обо мне не помнят, уткнувшись в раковину, моюсь; так в Польше в 72 г. я рыдал по утрам над раковиной. Что толку? Ушло, шелестя гибелию. Уж вновь запах морфинов, доктор А. ткнет вокруг глазика 5 игл, вынет хрусталик и вставит стекло, краски будут табличные, мелики я уж пять лет не слышу — много перемен, горжусь. Дождь бьет в живот. Рыбаки в капюшонах, в дожде уж выплыли в долбленках, уж пошли к Кронштадту с удочками, гром рыбе, штурм, я видел, как один в магазине покупал крючки гирляндами. Дождь пошел, поехал с грохотом и залил море, и вот ихтиолы возвращаются в ботфортах, на суде линча — море б они вздернули на веревку, и это из-за окунька с красными пятнышками, ходят капюзины по берегу, лгут и лодки в машины скатывают, как шинели. Рыбная амнистия! Заря у рыб подводная! Уехали рыболовы, съехали с моря, и — заря показала из воды, и дождь слился в лужи, а верх расцвел. Я надел кеды на пробу, выброшу, молнии огни зажигают, о камни кремни чиркают, целый день жгли костры (рыбаки), ждали десант Сверху, от Господина, а потом кто-то великий сгреб костры в кучу, в пирамиду головешек и облил огненными муравьями. Рыбаки поют гимн зла, дождь изо рта идет.

3. ЕЩЕ НЕТ

Нет изменений, завтрак за лакированным столом, черный рыбак пишет на салфетке, что рыбы — кузины. Ломит лоб. Хочется чего-то точного. На диван стелют белое одеяло, видно, для снежного человека, в окне кедр, еще птицы не прилетели в угол, их штук 19, барбизонцы, я не верю в цветные накидки на кроватях. На берегу видел наконечник копья (или стрелы) — 6 м в длину и 1,5 м в диаметре, кто-то стрелял в меня из Тех. Нерасчетливо. Они ж не знают нашего времени, кто-то пустил копьё в сентябре (судя по ржавчине), а я тут с 1 июня. Промах. Нужно б расследовать, недаром я видел Ганди по ТВ (индус!) на фоне тигра. Холодно и лживо на земле. Переутомился, спал 11 часов, Й. помнишь? — помню, его звали Й., мл. солдат. После завтрака не ел, уснул, не жалею, а хвалю себя — молодец что уснул, то-то с утра было солнце зовущее в путь (в: дождь), сон был неплох, такой заменяет дурную погоду, черемуха и ели в темноте, и дождь. Величаво. Лейкопластырем бинтовал ногу, не гони ноги, походи так. Стекла и кости — одно и то же? Гулял к морю, там муха летала, вода прозрачна, коктейль чудес: запах дыма и черемухи. Полной рукой черпают кровь из моей души девушки. Спал 14 часов, гулял под дождем невероятным (вероятным!), моря еще нет, перо как рыба, заливное.

4. ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Если долго смотреть на валун, то можно найти в нем треугольник, каменные морды рыб, у моря красная босоножка в пыли, рейтузы с таза (женского), да на днах горят свечи, у воды бревна, свежевывструтанные, как девушки, ложись, чуть поодаль бревно-бронтозавр. Вдали у 3-ска кто-то пускает ракеты, огни, как в комнате лампочка без абажура, горящая, иллюзион домашнего. Море исчерпано; не путаю. Сосны здоровенные, пышущие, не налюбуйешься. Деревья очеловечиваются, факт, я насчитал у сосны девять, а потом девятнадцать губ (ртов) и соски на ветвях, нижних. Два розовых зонта на пляже, нет три, четыре, как будто в розовых нижних юбках четыре инвалидки-извращенки, вместо ноги штанга, с блеском. Зеленый ключ, пластмассовый на песке, отмыкать ящик золота. Был в бане, ездил в 3-ск, там столько вагонов, что в баню можно пройти только под колесами, а один вагон — из него, распахнутого, песок летит и часовой в ж-д форме глаза пучит: не подходи, государственная охрана, уголовники в песочек играют, золотовозы. В бане печь угольная, инвалиды сидят на лавочках, вопят во всю мощь, когда их хлестнешь раскаленным камнем, несдержанность. Пар плохой, копченый, мальчишка уши сжег, его повезли госпитализировать, баба вверху кричала, как ошпаренная в женской мыльне. Из бани выходят на рельсы и идут, палимы. Ел жидкопсовенький обедик, видел девочку с веточкой, ветер подул и задул глаз, молния вдали, а дождь вблизи, сплю меньше. Моросит время стрелами дождя. В бане небо с овечку, маленькую, голенькую, папироска с рожками. В бане окуней продают вечерне-ночного улова, в буфете гранатовый и апельсиновый сок и перец шариками, я купил еще эту самую, как ее... ветчину, и туман, туман.

5

Эжен Делакруа жил один, даже Сезанн оставил сына Поля от крестьянской девушки, этот сын Поль за деньги описал отца, которого не помнил. О Делакруа пишут: принцип разложения цвета, но он историко-религиозное моралите, а это влечет важные ошибки в живописи, Делакруа-краситель не состоялся, изведен впустую, а эскизы, этюды. В Дневнике он менее общественно жив, а более сам. 28 марта 1855 г. он пишет: железный мост в Бристоле столкнулся с пароходом и рухнул с лошадьми, экипажами, в той же газете (Монитор) подробности крушения Семильянты. Она шла в шторм. Обвал невиданной бури. Пишут, что так бывает в отдаленных океанах, но идя из Марсея в Лиссабон или в Женеву на военном корабле, на фрегате, кто б мог подумать,

что в один миг пойдет на дно в двух милях от отечественных берегов? Уж нашли 170 трупов, ждуг еще 40. Эти тела в ужасном состоянии и большинство голые, лишь капитан Жюган в сохранности и его можно узнать (труп): он был в форменном пальто. На следующий день Делакруа пишет: удовольствие, которое я испытываю, перечитывая эти записи, должно б побудить меня писать дальше. Чисто. Живопись, история, мазня, мазки цвета. На берегу Балтийского моря в Маркизовой луже лежат 499 трупов, в губах пули, кто это? Те, кто решил, что жизнь это ежегодник с купанием, инфракрасным. Зачем им загар, от грязи? Шел корабль, поднимаемая ноги, как лошадь, и вот их выбросило (тела), а раздели их местные модельеры. Тут ездют по вечерам (лунным) на машине, сбор бутылей, вот эти-то людо-бутыли м. б. и лежат. Был в бане, там кремлевская стена, где париться, кирпич обожжен, из дверцы дым, свищут. Я долго сидел, наблюдал, как ползают макароны, у одного веник, зачем он ему, выйдет, сдохнет, а я сидел на досках с черпаком, красивым, алюминиевый с железом, взбрызнется, кому глаз выжжет, кому нос. Чувства Хеопса: как жить в магическом треутольнике?

6

Сидим, я в красном колпаке, сосед в башмаках из резины парит свой абрис вениками, будто брандспойтами! Потеею, тоска и сердцебиение 170, ничего; 240, пар переворачивает нас на спину, четыре ноги торчат с коленками, выскочили из печи вдвоем, очухались, душ дождевой, льдокипящий, дынный! Сел, сели. Пьем. Я колу, а сосед из матовой бутылки розовое, что б это ни было, а сосед розовеет с лица; краситель. Дышу, из тела жир течет под ноги, я стал строен и красив (во фразе!). Сосед одевается, два яблока и на них положена груша меж ног мужчин, сад спеет, вместо кальсон медали навесит, надевает на ноги трико-трусы, на них шерстяной подседелник, и штаны-твид, когда он оделся, я даже привстал, чтобы запомнить эту сцену: в жилете с плеча Александра Дюма, бант Жоржа Бреммеля, шляпа британского войлока, лет 70, здоров, как Родина, чистовымытый пес. Он мне веник дал и исчез, подняв шляпу, хорош хер! Грустно мне, сердце грязное, кто-то убивать будет и во сне, и через окно, в электричке женщины намазаны позолотой, как купола (мода!), а на пляже у девушек столько ног, настоящих, хоть ломай, это высший секс. Высший секс ноголомка. Я обошел Землю (шар) не менее трех раз вокруг, а Бог — ни разу, Он сделал, а мне оставил ходить, ничего, иду, а Он грозит грустью на остановках: не жди, не жги, смотри мн. мн. книг, женщины лежат, как ножницы, а баня по-латыни — утоление грусти; грусть

желобов. А желоба откуда? — спросил я. — От бревен. — А бревна? — Из моря. Я-то знаю, что это пилили девушек, обструганных, нагих, без сучков, лежащих в ожидании, я слышал их крик над морем, вижу и опилки — из кости, костные, запах женской молодости. Ло Ш. пела: Бо, бо, бородан мой! — о Боге, что ли, или о Бо? Я увидел и наконечник стрелы, от Тех, я щелкнул ногтем, металл, лижу — не менделей, он имел форму семигранного наконечника, острого, чехольчик, надеваемый на кругляш стрелы, равнялся 12 м 14 см, а носик — 70 м. В тот день (см. выше) я просчитался, общая длина штуки 82 м 14 см, вес 900 тыс. тонн 14 центнеров, откуда? — спросил я. Ло Ш.: из моря. О да. Он бы утоп, он запущен в меня, вот вмятины метеоритов, он летел скрежеща сквозь моря космогоний, чтоб пристукнуть меня в феврале, в зимнем саду, что-то не сработало — взорвал море, вышел и лег на берегу, уж нелетающ. Те охотятся за мною по театру земель, вертящихся, а я говорю: рано. Я тоже решаю, куда мне взлететь, горькие роги мои сверкают. Вот и в бане этот в войлочном костюме, он не отсюда, дал мне веник, я сделал био-хим-анализ, нюхал, береза, да не та, листики ввинчены у ювелира. Я дал веник попариться инвалиду с костным скелетом, бедра выгнуты, как лопасти, по физиономии лет 90, пожил в случае чего. Я дал ему веник, он хлестнулся по животу, кожа и осталась на венике, а внутренности вылезли, ездют. Увезли. Я дал второму, та же реформа, но он со спины сдернул кожу и просвечивает. Увезли. Тогда я швырнул целый водопад с ковша в печь — пар, шторм! — я дождался пунцового цвета на себе и начал хлестаться со всех сторон, гибнуть — так без гроба, бенаматик возьми Тех (подонков!). Ах, как я выпарился прекрасно, шкура зазолотилась! Не парься на белую кожу, жди красного тела! Чтоб не быть без доказательств, я третьему хую дал веник, тот зад стал бить, его и увезли с оторванным задом. Я теперь этим веником Дарителя отхлещу, я ему хлестание устрою. У моря я сказал Ло Ш.: смотри на камни. — Их тут полно, на какой? — На все. — За что? — Считай. — Не буду, садизм это. Я сосчитал — 487, это я быстрым глазом окинул обстановку, вчера было 517, кто-то унес тридцать валунов, и тут я вспомнил железнодорожника с харей набекрень, как он, выпучившись от ужаса, кричал: не подходи, и за винтовку брался, а уголовники швыряли золотистый песок с открытой дверью настезь, но я ведь не видел ни лопат, ни уголовников. А железнодорожник-конвоир сидел на валуне. Потом, когда я подходил к бане, что-то сверкнуло и упало сзади, я думал — вагон, но краем глаза я видел — какие-то люди в оранжевых жилетах тащат валун, кладут на платформу и бьют молотами, из него песок сыпется и вагон дрожит. То есть Те валуном в меня швырнули, да без навыка. Ничего, Ло Ш., мы еще полжизни

пожнем. Ло Ш. привезла незабудки, букетище, нарциссы белые и пионы красные, вода и чай смородиновый есть, мокнет в кружке. Стругают девушек, пускают стрелы, бросают валуны в мою бедную жизнь. Да, о бане: открыв двери в баню (вчера) вижу, сидят в тогах, четверо, старики, замотанные, сенат, один дает мне веник из портфеля, и пьет влагу с розовым, остальным я сказал: сидеть! Сидим. Те старики уж трупы (см. выше), а вениконосец на свободе. С моря растительностью веет, распухает голова от волос, учесть, учту, в бане спрошу свободного: тебя зовут Лузий Луп? Интересна его реакция, довольно интересное лето; довольно!

9. ЯЙЦО

Когда умирал Тимур, по пустыне Кызыл-Кум скакало четверо в капюшонах, с головнями, за ними гнались тимуриды с 400 тыс. на конях же, не вышло, Те ушли за горизонт. На Цезаря напали четверо и никто не знал, кто, а уж за ними ударил кинжалом в пах Брут, сын — отца. Четыре в застегнутых на стальные пуговицы шинелях и в голенищах шли из кабинета Сталина, а на ступенях и у дверей стояли автоматчики, во множестве; они онемели. Четыре белоусых и в колпаках жгли Гитлера головнями и ни у кого не поднялись ноги их отогнать, они ему выжгли лицо и исчезли. Четверо в лодке съехались к о. св. Елены и взяли Наполеона, в белый день, в черных узких очках, в гробнице везли пустой гроб, с телом рыси, потом в гробу нашли еще лосины (в пустом!). С четырех кораблей сошли четверо с желтыми губами, с остриями на голове (антенны!) и остановили дождь, шедший сто месяцев потоп, открыли замок плавучей страны (ковчег) и выпустили на Арарат живность. Ноя среди сошедших с ковчег в мир наш — не было, а сыновья вымышленные, им не от кого было рождаться — Сим, Хам, Иафет, Зор. О четвертом писал Ямвлих, что в ладанке у Иоанна (крестителя) найден указательный палец с надписью: четыре, я, это я, Зор. Четыре ромба на мантии Магомета. Будда четырехгуб. Тибет иссечен четверками, иероглифическими, это белая уточка. Четыре скрещенных крокодила Египтян дали Евреям восьмиугольник; не надо валить в котел логики семитские народы. Четверо вышли из моря, овитые, держат в руках тяжесть, кладут к моим ногам на песок, песок в ребрышках, вода, скоро-скоро начнут тонуть дети, скоро взойдут из вод лилиевидные, чертя грусть. Четверо положили у ног и ушли в воду, крутя мокрыми задами, головы накрыты. Что это, смотрю — яйцо. Яйцо, покрашенное смолой, из железа, величиной с яйцо-головного и соответственные выпуклости, на нем крестик начертан, четырехугольник он. Не трогаю руками; лучше обговорю риторической. Я пойду, пожалуй.

10. АТОМИСТИКА

Между атомами нет связи, поэтому их так легко разрубить надвое, у них нет родословной, пола, они — оно. Бесполое атомы, не сливаясь рожают живых и среди людей. Среди муже-жен. Я не для эффекта рисую дефис, а логически. Мы подходим к оно, к ничто, к жизни. У меня два глаза слепнут, а кто видит камень у моря в форме одинокого валуна, тот и скажет, сколько у него глаз, когда вспыхнет солнце, недаром же говорят: он смотрел каменными глазами, т. е. множеством глаз, вспыхнувших из камня. Об этом знают каменотесы, масоны. Возьмем змею. Не будем брать, у нее укус, а скажем — змея двумя глазами смотрит на кончик носа, а видит, что сзади вокруг, это атомы лучей скрещиваются в ее башке. Камень (валун) видит весь мир. Если вырубить в валуне чашу и пить из нее, поднимая двумя руками, это отлично. Гнездо стрекоз, гремящий мрак вокруг, молнии серпообразны, а ты стоишь, как камень, наполненный до краев атомами. Я резал руки, что в них? кровь идет по линии среза, цветут левкой, идут собаки, кладу голову в куб, рисуем рассказ малиновым вареньем, а валун заливает водичкой, вот уж над ним бушует ветер из бури и птахи психопатически летят из детства, а слон ходит как девственница, касаясь ногами где коленки.

11. Б и Ч

На плоскости море гладко, кабинки из гофрированной пластмассы, цветно-грязные, вдруг бег пса — девушка стелет простынь, позовет, или будет сдержанна? Постелила, подушку из мешка кладет. Пригласит. Нет. Оправила ложе и стала спиной ко мне, руки в боки, как буква Ф. Стоит. Но ветры воют, садится. Сейчас рукой загнет, — сюда! Нет, легла. Я тоже лег на лавку, дети бегают, как разбитые колоды карт. На море мазки свето-металла. Птица телесная машет складками, а черная прыгает, как речка. Гитару б мне! Яйцо плодоносит, звенит в ушах щадяще, шуршит голова, миночье, графин цветами перенасыщен. Купил ножичек по 3 руб. 60 коп. овальенький, под муттерперло, ножицы и пила, подломал ногти, сию, пилу. Не правда ль, я во временах Коммунизма, мне неожиданно в голову дошло. Банный день, пятница; встречаются. Лысый старик с костяными ногами открывал и закрывал дверь и рычал. Видимо, так приятно. Курносый старик. Лавки из мраморных плит, как на кладбище. Старик с выбритыми бровями. И шайки как на кладбище, искусственных цветов не хватает; в венках. В парной горячие ручьи с потолка, не умеют пар водить. С дубов красивые веники рвут и вымачивают до папируса, так

махаются, будто бонзы. Частые трупы в бане, на подоконниках. Вода уходит в пол через решетку, как в тюрьму со свободной бани. Пьют апельсиновые бутылки и пиво с колосками.

12. УЖ ДЕНЬ

Избегать согласных, но если намеренны, писать — ВЗБЗДНЕМ. Туман, туман, туман. Как бы мне повествовать, писать события подряд, скажем от 1 в. до н. э. до 20 в. н. э. и так по дням и родам вести героев, и такую повесть накапать литерами, тогда бы я был писатель, а так я банно-мыльный трест, грустноногик и моряк. Как бы подряд научиться, чтоб даже до 1 в. н. э. написать книг 70-80, цикл «Предъэрье» (красиво!) и — лирику! И чтоб учить, как луне обоссать собачку, круглозаденькую, смогу ли? В маленькой фабуле — да, а в побольше? К смерти спокоен, ушли наивживейшие, к ним пойду. Двенадцатичасовой свет, слабость зимняя, неповторимо. У меня ушки как у тигра, кабана, медведя и рыси, — остренькие, я уже пал до того, что не отличаю Эпикура от Эпиктета, не пасть ниже, это дно. Меня сломают рано, силы сна не дают ходу, шестнадцать народов, составляющих мой звон, меня не жалели. В бане черемухой парил зад, ох и хо, сломал три ветки и пошел хлестать, потом березой бил спину и прикладывал на почки, ятра и пупик, старик-израильтянин смотрел на меня в бане, как на Паралипоменона, мой красный колпак, чтоб уши не сгорели, его заморозил, и он сбегал в церковь, пришел в синем колпаке, других нет. Убежден, это единственная фабула в книге: день за днем ходоки в баню приобретают мой вид — стриженная наголо башка, остроухие, колпак, глаза, идущие по орбите, шея столбом, грудь и плечи выпукло, живот телесного цвета, рех уравновешенный.

13. В ВОЗДУХЕ

Стрекоза это что-то из бабочек и кузнечиков сделанное, и день не уголен. Человек умер в тот день, когда стал добродетелен, — Фемистокл, цитата. Не подходи к королям, старому Лоу было 147 лет, когда его повел к столу Карл II, моряк (а Лоу был моряк, боцман) чувствовал себя чудесно, ни диеты, ни режима. Сам король хотел с Лоу-моряком длину лет отбить бокалами, и стали они пить, а главное, есть. Умер Лоу. Думали, алкогольный псреной. При вскрытии нашли несварение желудка, остальные органы, сердце, печень, почки, лимфатические потоки, моча были здоровы. Утром, находясь на диване, я заметил призматическое действие массы маленьких шерстинок на моей итальянской куртке, все цвета радуги горели на них, как в хрустале или брил-

лианте, каждая из этих шерстинок (она ж отполирована!) отражала наиболее яркие цвета, изменявшиеся при моем движении. Я не заметил этого явления без солнца. Вечер черепаший, желтеющие липы (вспомнил!) стволы, обвитые плющом пушек. Раскачивается в воздухе сосна с веерами, вечер и зелень, цветет каштан, разброд у берез. Стою, сняв шляпу и ложусь с ней, в приморье.

14

Коты, глаз из треугольников, сытые, медовые, млечные, колбасные, охотятся на мышек и птичек. Кто мыши? — души. А птички? — птенцы и есть. Мне не жалко эту мелочь. Глаза одинаковые у котов и змей, и еда та же. Еще совы, держат в руках два треугольника и ловят в них мышек и птенчиков! Трем видам зверей дались эти малютки. Шерсть котов, из нее не вяжется, пластинки, из чешуи змеи ничего не делают, а совы без пуха. У кота голова не на плечах, а на шее как у змеи, и когти как у филина, а хвост змеи. Эти трое с 1 в. н. э. Аполлоном Тианским вписаны в черные книги, как адепты дьявола: кот, сова и змея. Я их не славлю, я с другого кладбища. Зоя, Инга, Алла и Инна ездили на колеснице, звеня колесами по шоссе до Домика Лестника, я и Ло Ш. бежали рядом, но Домика нет, срыли, перестройка, на том месте стоят милиционеры, крытые белым цинком. Нет шашлыков, по пути мы искали чистотел, глядя в канавы с коней. Пахнет яблоневым цветком, яблоком объединимся. Псы ходят, нагнись рукой, убегут, песок под ногами тонет, ступи, ступлю, тону, вокруг ног сочатся пузырьки, солнце бело-ночное, большой диск, бескрайний. Наконечник на берегу кто-то подвинул к воде, подводная лодка? В лодках по две головы и антенна, рыбку вызванивают. Тихо. Ох как тихо, бьется любовь о дно. На отмели, выкрашенной охрой, ворона идет на каблуках, черный принц, утка бежит, нагнувшись как в атаку китаец, задастый, чайка, ездок белоконный, лихая, гонит утку саблей марш, марш в воду, та прыгает, плеща, и плывет, только весла высверливают; ворона отходит на шаг, каблук отставлен, вытаскивает меч, черный, и идет, шагая к чайке и чайка взлетает, конь с седлом бежит вбок. Ночь опускается, опущена, без слез, жаворонок морской куличок делает букву А вокруг себя, он безумен. Машины снимаются с пляжа, едут домой спать. Тут остров К-ово, электрички вокруг, зеленые квадраты, волна доходит до берега и идет обратно, залило отмели, лягушки, значит лето начинается. Читаю: знаменитая сочинительница сказок баронесса д'Онуа вела жизнь между салоном и виселицей, мальвазия — ликерное вино с Канарских островов, Феникс — птица, летит раз в 500 лет

из Аравии в Египет, Аполлоний Тианский — знаменитый маг, жил в 1 в. н. э. Ономантия — гадание по жертвенному вину, принеси бутылку табу, — обращается он ко мне, я несу, он выпил 0,75 л водки и чертит на толстой ладони: «конец света», он ономант. Домик Лестника стерт с земли, там было убийство и видели золотую колесницу с Зоей, Ирмой, Анной и Аллой. Видели всех, о ком я пишу, шли вдоль Домика Лестника в момент убийства. До этого: ели шашлыки на сверлах, соавторы. Я грущу о стакане, что подавали в Домике Лестника, нагнешься, и разом в рот, боже, этого уже не будет, никто не будет кидать кинжал мне в шампанское. Стою под завесами елей и дождя, потом ругался, наступил на лягушку, она взвизгнула, и тут же громкий выстрел, как из бутылки, зашел к Домику Лестника, а он убит, остальные крадутся вдоль стен, мажут руки ватой с одеколоном. Вымок, взмок, если шею перерезать, что останется? Заходило, солнце шло на распыл, желтокрасные снегири садились на обе стороны неба, отмели водяной массой — утрамбованы, гофре на них от прически поздних греков, толстые подошвы по ним идут, это туфли фата! ворона с черными руками у воды, клюв навьлет, длинная шея у курносой утки, чайка состоит из сабель. Крутятся эти трое в книге, пишут: о. К-ово, обнаружен наконечник копья, кто автор? Убит Домик Лестника, мы повторяем: руки и сердце. Я взял ворона за зад и отвинтил клюв, выскочила пружинка, чайка распалась на сабли, утка откинула две крышки по бокам. Распылялось (солнце). Еще раз, в третий: заходило, солнце кто-то плющил, лодки о трех головах плыли в огне, ветер песок вздымает, куплю крем для рук, всюду строгают доски, вот бы мне дали одну, я положил бы ее в кровать, голую, чистую — нюхать. Если выстрелить из ружья в упор, лицо станет как шумовка. Три девочки купались в водичке при звуке тпру. О валун разбиваются дети в мокром и надежды, они присвоили себе все времена. Еще раз; все. Солнце — это всё.

15. О ДОЖДЕ, О МУРАВЬЯХ

Зонты надели, идут в дожде, как в шубке, львиной. Шоссе, черная дорога. А я стал человечней, воду люблю, иду розовый и с толстой шеей. Девочка в черном обрамлении (волос) на велосипеде, льет, льет, подвезти на раме? Ей 12 лет. Нет, говорю я, не надо, я ногами. И она ногами закрутила, черная головка ее на двух сверкающих колесах — за углом леса, нету! Я стал под березой, каплет, под нежными листиками муравьи идут цепями, увидели — я стою, прыгают, челюсти разинув, бегут ко мне, брюки стригут, куртку кромсают, но тело не трогают, хрен с ними, пусть сожрут тряпки, я голый пойду, зато целый, и так

от одежды один раствор. Цепи муравьев прыгнуты со стволом на меня, башмак швырнул, жрите, и пошел по дороге в одном башмаке на толстой подошве, замшевый, со шнурками, с язычком, больше на мне ничего нет, иду, дую. Едет черная машина, на ней лак, в ней с сиренью, раскрываются — садитесь, мсье, я отказываюсь. Бросают букеты, ими и закрываю низ, чтоб дождь не прохладил до льда шары. Навстречу люди, сирень нюхают: наклоняются; их кости дрожат, брови изрублены. — Откуда вы? — От дождя, он нас порубил у Домика Лестника. — А Домик цел? — Нет, разрушен. Я им дал по букету, бегут пятки вверх. Что я наделал, голый же, осмотрелся, нет, одетый в крепкое, ощупался, это ж броня из муравьев, они меня цепями били и осели, солнце вышло, броня поблескивает, хоть на турнир. Дальше рассказывать не буду. Машина догоняет (черно-лак), и стреляют из пулеметов, — хоть бы что, пульки щелкают, отскакивают, иду, цвету! Под муравьями я погибну, обглоданный до белой косточки. Сел на простынь, муравьи попрыгали на пол, выстроились, глаза разбойничьи, униформисты, я надрезал венку, смочил платок, вывесил красный флаг. Сплю, довольный, оркестр кручу.

16. МНОГО

Много ветру. Ящики с колесами летят над шоссе, с фарами, с огнем, а далеко-далеко доска звенит, неистовствует, кто-то пойман. На берегу виселица, на перекладине ч(еловек) крутится, лет 50-ти. — Ты чего? — спросил я, нет ответа, кружит, вцепившись в виселицу будто она важная. Я ремень кинул, отстегнул, из штанов вытащил и дал, надоест шататься, штаны подтянет. Уныло. Школьный пенал приплыл, в нем перышко рондо, отмели залиты, на одной изогнутой птиц — штук 800, и резиновых мячей. Утка мертвая безголовая, бьет прибор. Колесница солнца ухнула, темно, от нее брызг нет, а волны слабенькие, антивоенные. Журчи. Зеленый частокол волос на мне. Устало. Дым вкусный, будто жареным вепрем из рожи Кибелы пахнет. Букет листьев черной смородины, в кружке мокнут, запах милый. Жарко: тепло, я у муравейника, у них баня, пышет от пирамиды, а тут шоссе настаивают, в оранжевых халатах бабы берут лопату, асфальт, бросают оземь и топчут ногами — чисто русское. Ногти быстро растут, при смерти. Рубашку сушил и труссы, ударил дождь с громом, внес вещи в комнату с веревки, рубашка пахнет жасмином, труссы сиренью. Неуловимо. Сколько певцов у сада, но главный и единственный, отец плода — дождь, садосексуалист. Комарики кричат, с дудочкою; теплом пышет в ненагретый дом с балкона, пью чай со смородиновым листом, надел желтую перчатку, готов оскорбить. Нет. Если поедет по шоссе грузовик,

сигналя, я буду бежать слева, чтоб он не сбил столбы, вон их сколько сбитых, можно и проехать мимо, вскользь, скользя по дымному, выбитому бабскими ногами шоссе. Мимо кого он едет, этот кузов, если б он знал, он бы памятник вез с пьедесталом, чтоб ставить вместо меня у моря, стоял бы я с каменной рукою, протянутой к Англии, может, кто и заметил бы мой жест, преисполненный. Англия, Дания, Швеция и Испания стоят у того же моря, тянут руки ко мне, но этому жесту не жить, строят дамбу и г. Л-д, затопленный, позволит Балтийскому морю затопить и выше перечисленные королевства, из воды выйдет народ, чтоб расти на сухих территориях. Я давно ищущую дюну, чтоб лечь на спину со стволом и глядя в кружочек выстрелить в Кого-то, Того, Наверху, Строителя, и море уйдет, обнажив дно, где жизнь другая, без этих с головками, с ручко-ножками, любят они, чтоб их жалели, гладили по затылку, ища в черепе дырочку, куда вставить бикфордов шнур.

17. АВТОХТОНЫ

Мы землерожденные, скажут из Афин, а Еврипид им: земля детей не родит. А кто? это мыслительное, никто их не родит. Вот так так! Вот так, раскудахтался. Нужно б убирать личные местоимения, а строку начинать глаголами, скажем: пошел — я, ты, он, ведь пойти могут только трое, эти. Вторая троица тоже легко делима: мы, вы, они — пошли. А вот оно — пошло, ишь ты, какое оно, одинокое, солнце, лицо, кольцо, яйцо, окно, поле и горе; море свежее дышит железом ребер, солнце ночное, конное, отошедшее время на много шагов, стоит здесь. Море лежит, как отлитая в форму статуя. Солдат в галифе сквозь ветер прошел к морю, взял лодку за нос и швырнул вверх, лодка с людьми, сверху они падали по одному, пали, солдат по ним идет, чеканя шаг с песней: веселей, солдат, гляди! Дурак, втихомолку лодки подбрасывает, гиперреалист. Кстати, крышу сорвало, летит с трубою, дымок из трубы, и окна летят, а дом остался на горе по верхнему шоссе, на той горе сосны души рвут, в порывах ветра они падают на юг, стволами глашмя, рычащие: страстно тут! Какой ужас, если земля родит все, кроме живого мира, значит и ч(еловек) неземное, но и зверь, и Ной пришел на необитаемую землю и выпустил блох, львов, коров, котов, земля это не рожала, не с чего, а эти (люди)) в сырую ночь пришли. Загадочно. Забавно. Открыли на днях женщину с глазами как рентгеновский аппарат, видят насквозь, что там у ч(еловека) внутри, а в земле ничего не видят, мы заметили, мертвецы боятся лежать в земле, выходят из досок и бредут, бедные, не знают куда. А живые помрут, поймут,

когда разбредутся по днам морей. Ч(еловек) и тварный мир от одной особи, поспешной, а земнорожденные — многолетнее, сравнительно, конечно же.

18. О ДА, О НЕТ

Я думал в начале пути карандашом, сколько ч(еловек) изображу на машинке в пишущей речи. Пересчитав от пальца до пальца, я понял: они чужие, я их не знаю и высшее свинство и фантазерство писать о них, лгя. От зубоболия тело то взойдет над кроватью, то падет, вставил под губы целые челюсти цветов, синильный психоз. Да, лежу в сером, свитер, штаны, чтоб не нарушать гармонии вместо синих носков надел белые, вязаные. Жду худшего. Да и стены серые, ослаб. А страшно. Раскрыл альбом лиловой живописи, стало тикать сердце, открыл балкон, он овальный, наполнил рот цветами, пишу. Веет ветром из сада, больным, на стене плюс 24, во мне 37,7, опухоль ты опухоль моя, плоскенькая. Хоть бы поблекла быстрее жизнь, вонжу нож. Во сне Копенгаген, руки посветлели, о морда пухни дальше, зубик стой у раскрытых знамен моего языка, одинокость мне уже не по плечу, поймал комара за крыло, хуже мне выбираться из себя, я не верю в час свеч, мой труп еще имеет хождение, дыши тело, глазки твои золотые, бедный зубик, клюют растерзанные орлы, налил чаю, морда пунцовая, голова вздутая, нарезал тоненько колбаску, миленькую, ем ее (перед смертью).

19. ВТОРОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Буря и мыло, я мою руки в бурю, под розочкой с абажуром том живописи, лиловый, в 18 лет я лучше рисовал, чем в мировой славе. Розочка — абажур-цилиндр диаметром 1 м 19 см. Стол лакированный под коричневую галошу, а пол сосновый, хороший. Наполеон — двигатель; в недрах воды в помойке, именуемой В. Ф. Р., возник Наполеон, кожебелая рыба, черноглазый, с холеными плавничками, ведра опрокинулись, слились с Сеной, и по набережным всех стран пошли полки из ничего — героев и двигателей. Посветление. На улице (видимо) хорошо. В глазах желтые пятна. Не будешь нюхать самого себя, идешь в поле, пионы, их фарфор живительный.

Тихий сон в нескольких юбках. Жил-был в доме желтенький цветочек и бегал из угла в угол, а на столе спал в графине. Жил-был тигр, нарисованный сзади, волосы видно, а морды нет.

Кто-то поджег спичку, и дом сгорел, в куче пепла нашли шкуру и два цветка, впаянные в глаза, вился дымок. Кольца тоски бронзовые, ими бьют в дверь, открыта, стоит золотое из юности, сейчас дождь поднимется. Почему едят как курят, поднося ко рту, утром лишили омлета, но дали красной икры на огурце. В обед не дали биточки. В СССР выборы в Суд, в столовой один в форме капитана милиции, без рукавов, иодистый. У моря якорь, тина, залив, берег в треугольниках птиц, я тупею, в розетке 4 дырочки — ????. Чай из Индии с яичком, высушенное дерево, якорь тонкий, кожаный, это море зацепилось за берег, стало на якорь, гладкоствольное, сахарница. Верховный Подонки льет из яйца в яйцо, ночью луну растворяет. Чтоб шейку нежить, шарфик тепленький Ло Ш. дала, я шеешарфикую, на отмели дерево в образе нитей, высушенный скелет, холодильник с примесью словной кости, на нем кувшин стеклянный и ухо антизавитковое, в кувшине пять пионов громадно-операционны, угол у холодильника с отвернутой скатертью, как у Сезанна, а ухо китайское, обесцвеченное, это Чингиз-хан был стеклодувом Азии, он шел без ошибки.

21. МЯГКОЕ МОРЕ

У валунов затылки мокры, ритмичны, выход из моря есть. Удалите от меня женщин, женское. Я махну и спустится цепь, я оставлю туфли и сойдут ко мне Зоя, Инга, Алла и Анна, мы войдем в море и станем бить плавающих по рукам. Пустота, грозное по краю, поют «крепи, крепи такелаж». Я не люблю берег, пещь с песком, лавочки, где женщины лежат по-щенячьи. И на дне женщины лежат, на них не нарадуешься. Но выходит из моря ребенок верхом на собаке, связывает этот опус. Автор — что, псевдоним, щит, виньетка на кожаной книжке.

22

Надо б карету и замшевый конь в ней, лакей в будочке, а впереди кучер, глаза кобальтовые, а кони как ведра и летим! Куда? а так, летится. Цыганки безалкогольные платья вздымают. Закон. Пьяницы пьют из бутылки, висящей на груди. Пчелы. Иван Гете, индюк, атласно выбритый, ничевок, чвань. Жизнь — рикошет, выстрелишь в лоб, со лба отлетит. Метут метлой, по животику водят веником, ясным, как зиолейка. Мозг воспаленный, это молния, колечки у портьеры тащу, чтоб закрыть стекло на балкон. Рельсы серые, поезда бочечные, вагоны-клетки для миклухо-маклаев. В магазинах дождик, мелкий. В бане много зелени, но нет фигуры, личности, чтоб встал, как Войтыла в Польше, а кругом

сорок млн. брызг. Я стою и вокруг зелень, сам веник вязал, ветки сочные, лист к листу, как рукопись, чтоб огонь, читая, листья жег. Нет страшнее женщины в бане, волосатость, сверхобнаженность, одни финны в бане сидят с женщиною, видимо этот народ сделан из стали, глядя на финна, я прихожу в чрезвычайное волнение, каждый, на ком буква ч., должен поехать в Финляндию прежде чем идти в баню, где женщины, первое, что увидит этот ч. в Хельсинки, будет взрослая особь на ощупь женщина, но не думай, что пересидишь где-нибудь, закрыв глаза, они вездесущи, уйдут в печь и выйдут, красненькие, брось на них таз — взовьется вода. Хуже всего, когда они ведут в печь, я был там, тишина, гроб при 220°. В мыльне ж сидят голые факты.

23

Порхают животные, порх, порх, человекообразные, чайки это и есть ноты, дизезы, у моря стоят, будто их воткнул Кто-то на булавке. На фоне чаек с поднятым крылом дети маленькие (а большие ушли) руками боятся крутить, стоят где вода до колен, постоят, постоят и прыг на берег, мило, идиотски. На берегу велосипеды свалены в гору спиц, рам, рулей, шин, а вокруг бродит узкомордая борзая, редкостная сука, ее родина Италия, она туда и смотрит, а там ей скажут, что у Дария на вазе такая собачка, и у китайцев те ж псы, изогнутые пером. Волна идет без звона, море тоже собака в сущности-то. И листок березовый собака, острый носик, правда запаха не псины. Если б в бане мылись собаками, не устоять, потерял бы грусть. Камни из твида, свет стелется, гаснет, на лавочки пал туман; что тоска моя скотская, пустогубье! Пробую разуть ногу, левую, разул, отличная нога, и, взяв ее, я сунул в волну, подводникам. Нога, зажженная мною, огоньки вспыхнули по всему взморью, дети горят, чулки натягивают, чтоб кожу спасти. Нет няни. Море — зал зеркал, где пена с куполов, был бой птиц, лежат в позах гимнастов. И тут лежит окунь в красных гетрах, живот вынут. Удар! Передо мной молния оплавил круг, а в нем знак 4, опрокинул голову, в небе ни тени, но когда падала молния, я видел руку с Неба, и Кто-то воткнул ее, а руку быстро втянул, не попал. Опять промах, жест пустой. Им молний не жалко, запасы. Я вынул из коробочки слуховой аппарат и настроился, ну? что скажут? Молчат, ни слова. Бога нет. Мальчик в море нырнул в бледненькой панамке, вынул молнию из песка, несет в поднятой руке, плявля, нырок — и на волне еще трое, и вот уж четверка плывет не ко мне, а вдаль, в Лондон, в ту страну, смотрю в руку, свернул трубкой пальцы, чтоб видеть — на второй волне их уж 16, на третьей 156 и т. д., отвернись и плюнь. Когда ж убьют, им не убить, приказ дан, а

телеграммы нет, чтоб — «жду в той точке, куда пулю вышлют», видно, точек не знают, что-то в Их механизме я сломал, сколько Они наляпали — Домика Лестника убили, наконечником от копья (стрелы?), снесли лавки по берегу (оказывается), молнией мальчишек размножили в море (те уйдут к дну) и т. д. и т. п., а грузовики с газом пускают, те взрываются по шоссе, куда ни глянь, а я иду, пишу мое задание, а они губят материалы. Навстречу идет рыжий (вброд), один серый, похожий на мертвого, и две бабы, их плащи отхлестывают, из дома призраков, из свиты гр. Верилен, она их шлет к морю с приветом, она паук, кровью насыщенный, я видел под блузкой тело надутое и глаза из пустот, как края у рюмки, нечеловек она, но живет среди людей, уживается, у нее шестнадцать лап, паучьих, а высовывает из-под мантильи две, остальные бинтом закрыты из шелка, она и ездит на колеснице, следит, где я. И замотанный В. Чайкс с парализованной ного-рукой, бутафор, при такой толщине щек у него во рту яблоко с магнитной лентой внутри. Пока это подозрения, но убийства, взрывы, молнии реальны, я фиксирую, пришел за занавеску, просмотрел аппарат — молния на снимке, маленькая, и рука, ее держащая — видны, а отпечатки пальцев — подделка, это информация, ведь когда меня возьмут обратно, запишут куда следует — и ничего, одни пейзажи я пишу с неземной орбиты, а остальное толкóтня и березки, березки. Я вздохнул, градусники — дети солнца, дубовые веники, от тел пахнет дубом, как от кабинетов чернокожиных, а дубят-то себя из шайки вымоченным листом — слесари, это от слабости. Грустно. Море чудесное, не для записи, облака с синевой, в кораблях живое, трогает, идут, до свиданья, не вернутся, их ждет дно и обломки, морские звезды заживут внутри, рули оденут чехлы из кораллов, я был на дне, я видел эскадры и скелеты с револьверами в руках, пушки, из которых шел дым, овевая водный мир порохом, я видел капитанов с золотыми зубами вместо челюсти, вокруг плавали кисеты, я, ходя по дну, нашел слитки, это мертвецы плавил судовую посуду, чтоб дать взятку в рыбьем аду.

24

Море поднимает горы плеска, будто под водой по дну в сапогах кто-то несет котов в мешке, а гора снаружи. Трубы трубят. Я много прошел лет, мне скучно в костре. Сначала был огонек и на него слетались покойники, ткнутся, плавятся, огонь растет, видя такое дело, летающие в космосе предметы — леса, звери, металлы, реки, коровы полетели тоже, валят валом, огонек ненасытный — угли, светящиеся в ночи Космо, и летят уж железные балки от разбитых надежд, золото, ожерелья, кос-

тюмы, плиты строящихся планет, отходы, это горит, плавится год за годом в миллионах, образуя слои, они наслаиваются, кипела вода, варились ткани, смесилась глина, писалась история, стреляли в это радиосигналы и накапливалась масса — Земля. Накопилась, а потом уж стали спускаться семянные, и они мрут, образуя слои, а по слоям иду я, конец будет прост до смешного, от перегрузки шар, перегруженный покойниками, сдвинется с оси и улетит к сверхновому огоньку, покрутится вокруг него и сгорит, образуя полезное, туда много шаров слетится, это-то и есть будущее, новый мир. А сейчас жалоб нет. Под абажуром кипит стекло с чаем, ходики на руке, черновато, в море нет полудурков, еще бы, штормит, читать нечего, кроме открыток, лист исписан, чертежные инструменты в негодности, отсутствие туши, низкая любовь — это серебряную руку вижу я в воздухе, полет ея. У моря солдат в зеленом ест, если б он построил на голове крышу из алюминия, жилось бы не то что лучше, но не хуже.

25

В 3-ске в парке меряют трусы шерстяные у кинотеатра в виде пирамиды, таким путем жить лучше, мы уверены. Чтоб конфеты повкуснели, я замораживаю их в холодильнике, горчат, попробуйте. На лавке перчатка, черная, женская, правая, на лавку накинутая, будто забытая, но многие помнят в период на Зодчего Росси Ло Ш. вынимала из-за шкафа черные перчатки, одну за другой, удивляясь: все левые, это в 1977 г. Прошло. Через 10 лет в завещании встречаю здесь я черную перчатку, во внешности черные крути нитей и шелк. Те, Сверху пойдут и на перчатки, чтоб испугать, вернуть. Не вернусь. Я помню в Закарпатье в 1953 г. я искал эдельвейсы на горе Поп Иван, поток шумел, пена неслась, ничего я не нашел, но зато в звериной норе на скалах я вытасил кусок истинно-шелковый, перчатка образца 4-ПЗ, 1840 г., и тут же завыл дождь. Я спустился с веревок, а перчатка бросилась по скале вверх и исчезла, шевеля пальцами, как до-ре-ми. Не мешает вспомнить осень 1944 г. Новая Махач-Кала, наводнения, плывущие по ним черные шелковые перчатки, надутые, как смертные сосиски, мы их ловили на торг. В цирке (там же) на канатах, вытканых из паутины, жила Женщина-Паук, пузырчатый шар, кровяной, затем я видел ее у нас в доме, голова на столе лежит, и они с бабушкой о чем-то шепчутся зубами, говорила громко. Не в том дело, а в том, что под громадной головой Женщины-Паука тело девчонки, на ней перчатки черные, на двух руках левые. Гр. Верилен бинтует пальцы зачем? — не грим ли это для

черных перчаток, у нее обе руки левые. По Польше накануне восстания плали тысячи черных перчаток, им перешивали палец и пускали в товар.

26

Оттого что жизнь литота, книги в метафорах, оттого что годы воют, улыбнись, булла. Крепкие ребята ругают государства. У Домика Лестника 4 сосны, гулял, смотрю: на соснах висят веревки, а снизу пусто, никого нет, если так будет продолжаться, человечество отомрет от размножения, нет раскачки, смотрят на меня, как на божество, а я мечтаю повеситься. Машинка дерзкая пишет, как шуба — не проговорись, шолом алейкум, русские ребра мои из какой небесной драматургии, как крюк ждуть? и ждуться! в уюте на 4 соснах длинных-преддлинных, как дорога вверх — 4 веревки болтаются, как черви, меня ждуть по весне. А кругом парк. Я рубанул каблуком, кость, уголок повешенных, висят веревки, приглашение — приходи в петлю, это индивидуальный труд. А я не повешусь, не дадут, чего-то другого от меня хотят, по ночам внушают, иду к морю — бурлит, берег с одинокой ольхой, тешет камень солдат в зеленых галифе, символист, и каждое утро этот солдат, еще описанный в финских рунах Тиит Голлурмайнен тешет и тешет камень плоским топором, что он ищет, искр? Лодка Ленина, он ездил отсюда в Разлив с подвезанным к щеке зубом, финны взяли ее (лодку) в музей, да мы у них взяли назад, чтоб тут гнила. Зачем он брился под финна и зуб обвязывал ватой, в кино играл? К чему уху ловил на море с Зиновьевым в шалаше, два писателя? Что тайно-сладострастное искал в охоте на птиц, иноязычных и в бое из ружья по своим зябликам? Пальцы у него толстенькие, с любовью поесть как у рабочего, если не мыть. Но он их мыл, а червей снимал с сосен в коробку Зиновьев-эрмитажный, червей надевал ему на крюк тоже Зиновьев, и улов тащили в шалаш, сетколовы, отрыватели голов у живых, у хижин, что было в колбе у Ленина? Голова?

27. СПЛЮ Я

Не спать, говорю я, это они размножают тебя, усыпив, и ты становишься плазмой с тысячами. Объяснил. Спать нельзя, когда вокруг гремят руками люди и дети, береги гроб, не спи, не спи, радость моя, неземный, может быть еще не возьмут назад, не убьют. Убьют, как косточку, белый леопард, кожаный — это я, античеловек. Когда мы стали драться на ножах, небо затмилось. У него нож-аварец, двулезвийный, если бросить, он рубит коня на лету, у меня в руке сжат ножик для чинки перьев, леденец.

Вначале мы дралась руками, солдат в галифе (морской) и я, когда мы дралась на кулачки, солдат начал крутить перед собою два кулака, а я шел. Я не крутил, я ударил его сразу пятью пальцами в глаза (торчком!) и ногою в яйца. Он молча лег. Я отошел. Он полежал, встал с земли, заводя глаза, и стал крутить опять кулаками, так у Них полагается. Я не крутил. Я прыгнул вверх и ударил его двумя башмаками по зубам. Он опрокинулся, крови льет, но он вновь встал с земли и вынул нож. У меня ножичек, и я вынул в общем-то впустую. Нож он не крутил, а шел, согнув колено как по ступеням, с воплем, и юшка лилась из лица. Резать шел, двигал ножом как локтем, блеско-блеск. У меня нет ремешка, не купить, завязаны штаны цепочкой золотом до войны, я снял цепочку, намотал на кулак, а конец висел и взлетал, и я полосовал крест-накрест его лицо в шишках, дефективное. Все покрыли брызги. Кровь била фонтаном. Он бежал, сломя голову, кровь била из глаз. Я пошел.

28. НЕ ЗНАЮ, КАК

Болтает по дну. Выходился. Стол с золотыми очками, дело к ночи, нет белых ночей из-за туч в этом году, ох нет бе-лы-их, а то были б! нет ночей ног, нет белых рук, капитан уехал, уплыл, город реактивных людей, дома-вышки, у всех на груди автомат. В кустах спят смелые. Ковыль, стреляй лето, кисло в циновке у ницшеанца, ницшеанец, ницшеанец! Бегал к Домику Лестника, он еще убит, вокруг рубят лес, ищут кто убил, наломали осин, не найти убийцу. Говорят это приезжий из дома призраков. Но не он. Не он! Его убили руками, сломали позвонки шеи, удар поленом по горлу. Там был притон, крали шахтерок из дома, вязали им талию, чтоб вином напоить до отвала, многих напоили, жалобы были, оттого-то и убит Домик Лестника, я ходил, шевелил пепелище, одни пуговицы от милиционеров валяются с изображением шара земли. В Домике Лестника был и воровской склад, делали лягушек с пружинкой, чтоб скакали, ходкая ценность, это у него я научился конфеты замораживать, еще ассигнации Госбанка по 50 шт. в пачке на сумму 70 млн рбл. золотом нашли; истратим. Но голову не нашли, обрубок на теле, пенек шеи и прибинтован голый мяч, двукрасочный, но кровь настоящая темла, однокрасочная, тело опознали Зоя, Инга, Алла и Анна. Я отказался наотрез, я тела не видел, а голову я б опознал. Гр. Верилена укатила на колеснице в сад и с громким плачем кричала, что головы и не было, это из мяча шел голос механически-наливной. Сказать честно, и я головы не помню, он галстуки менял сверх-эластические. Убили Домика Лестника (выходит) Зоя, Инга, Алла и Анна, но убив они не знали кого, это было в пьяном джазе.

Дело не в теле, не доказательство, Эти могли подсунуть иное тело, если я принесу голову, никто не оспорит мнение. В 1981 г. (6 января) я приехал в Домик Лестника, меня вез друг кучер Аарон Романов, династ, я уж не дышал,пил «Сок лип», ликер 56° выше нуля, меня корчило и рычал я, везли от Дома Балета, и я сипел, я бил капельницами в Домике Лестника, ох и здоровые бабы, как бочки, налитые мускулатурой эти Зоя, Инга, Алла и Анна. Драка такая: то потеряю сознание, то дерусь откаченный, курю в уборной, воду лью из всех дыр, мочи нет, одни ребрышки, хоть на сковородку, дрожат жилы, и подходит ко мне пристально глядящий солдат в галифе в трусах с морской каймою. — Полковник, — сказал он быстро. — Я вас слушаю, — сказал я подтянувшись. Он захлопнул дверь и взял меня в кабину. — Межгалактическая психиатрия? психоанализ? — Докладывайте, — сказал я. — Я сразу понял, Вы приехали на черной машине с кучером Аароном Романовым, он у нас бывал, лейтенант ВДНХ, я правильно говорю? — Продолжайте, — сказал я и нажал ручку унитаза, зашумело, вода вошла. — Что это? — встревожился Галифе. — Пока говорим, делай так ручкой, это мы Их смываем вниз, чтоб не слушали. — А нельзя ль мне получить хоть маленький чин? — Нет пока, — сказал я деловито. — Я взорвал винный отдел в магазине, в офицерском! — вскричал солдат. — Зачем? — удивился я. — Да чтоб выпить, денег нет, я взорвал, пока туда-сюда, из луж винных и пил, пока не взяли. Дело ль я сделал, мастер? — Дело-то дело, — сказал я, — но ведь высшее сумасшествие бутылки рвать. — Ну! — воскликнул он гордо и вытянувшись. Потом он Домиком Лестника стал, обслуживал бутербродами с коньяком, шайку террористов открыл, они готовились к атаке, чтоб сделать Л-д свободным портом, отделить от всех стран, они прорыли подземный туннель под дамбу, готовили взрыв. В общем Домик Лестника получил от меня звание мл. Солдата, был непобедим, мафиози М. К. П. Физиоми писал о нем по заданным голосам как об Учителе. Убить для него ничего не стоило, он убивал камышинкой без улик. Спит скажем директор кассы, он ему камышинку в какую-нибудь дырку вставит и ртом дует, тот, спя, раздувается и лопнет, таких убийств прошло 163, думали от еды, лоскутки пуза находили на крышах соседних домов. Я пробовал этот метод, видел, как взрыв доводит ч(еловека) до дыр.

У воды ритм от гексаметра к волне мелической, песок, смоченный лаком очень хорош. Ночью была буря, розовые зерна в глубинах, буря шла, как катюши, реактивно. Сейчас утки плывут, птицы-

капусты на ветвях сосен, а рядом баркасик, сильное дерево. Свист урагана у Э-ска, и старуха сидит, закрыта плащом из стекла мягонького, книгу читает, не хватает флотоводца с целым глазом и с трубою к целому глазу. На пляже пустыни и пусто, берег осыпан желтым, овейн изумрудами. Привет тебе закат с лиловой тенью, будто глупый ад погиб. Господи, у меня кровь течет из ушей, подушка намокла, я текст этический. Тот, кто выше столпа ничего вообразить не мог, он и есть столп на площади царя-подонка. Я с Богом сравнился, тоже мне новости, с этим гобойстом, сосущим Землю как мундштук, отсебятина. Теперь я брезгую видеть хуй, взлетающий в космос со стартовых площадок, туманы масс. Я то, у кого пощечина и рубашка на теле караются, то что сказано, скажут и после, пустоты. «Нет» тому, кто не единица, голос, поднятый выше нот — не диссонанс, а образец дикции, метафора жизни в единице, это шар, абсолют на планете, где правит Высокий Подонок, Ты, семя, племя, знамя, вымя, темя, Имя, Время, завистник, самодур, ненаказуем!

30. ВЫБОИНЫ

В бане весы железно-ртутные, стоишь и не знаешь, куда отшатнет, в какой вес от 10 до 120 кг, так и колеблемся. Рыжие парни, стройные (ирландцы?) пьют пиво из потайных карманов, судя по ртам, в пиве не только пиво, а и спирт. Колбаской зажевывают, как мило, домашне, антикомунантически. Отличные ребята, в 45 лет с такими фигурами шахматными — индусы? Что-то нерусское в них, пуп гладко отрезан, кожа без гноя, подмышки подпилены, волос на ногах нет, грудь мышцемолниевая, то, что они не за мною, я спокоен — их два, а не четыре, правда плюс два могут быть в парной, в кафельных кабинках где душ, да вряд ли, Те мыться не любят, у них швов много обнажается, как у меня, но я один, а если рядом четыре со швами по телу вдоль и в ширину, то тайн не будет. Орлы реют в листве, где банный лист размножен и веник — нива для почек, компресс и в груди рыдания березовые демонические. В бане ковш как швед водяной лежит, встанет, камни калит, в печку воду бросает как пламя, а вылетает жженье, сожженье. Мыло летает, мочалки моют с такою любовью, что себя-то помыть забывают, сидят грязные с блестящими мочалками, потом тазы моют, ноги мочат, шею гнут, под душем обольются и выходят, пузо взвито к носу, помыты, мылись, пить водку *теперь в портфеле. Кто и не выйдет (бывает!), у печи замешкается в пару туманном, и выносят затем останки — пепел в шайке, хоронят тут же, в кладовой, без волокиты, простенько, веники пеплом посыпят как содою, и в продажу по 50 коп, краны работают, груз идет из них H₂O и газ CO₂ для задыхания,

банщики в набедренных повязках снуют, опустошая скамейки от золотых зубов, а также подбирают части ног, руки, уши, глазки — это заграничные протезы. Сидят люди, моются под краном, обезьяны зады намыленные, в руках железо с двумя ручками, в нем вода медоносная. Думаешь, новая книга, а тут же старые речи, негромко, ритуал тела, мыть его, инстинкт нестарения карнавала в ноге, о грубая жизнь, в дырах тел естественных.

31. ОТ ШОССЕ ДО ШОССЕ

Комар это ром леса, сказал бы Шиллер, любил ликер, розовые бутылки, я помню вез из Праги четырехлитровую бутылку, всю выпили за два часа, пока самолет летел с водителем и стюардессой, трудно представить как шел по верховному пути самолет, не трудно, он ахал, мы плакали. По шоссе идут спортсмены, в задницах электропилы, и локти ходят как колода карт в руках. Муравьи в броне бегут вверх по стволу и кидаются с вершины, воздев крылья, уносясь, этот муравейник у березы — Центр, с Теми связан, отсюда летят новости, недоступные человеческому пониманию, муравьи летят слишком высоко, или у них реактивный рот, или внутри атомы, их крылья бутафорские. Есть в Америке золотая лягушка, глухонемая, ест летающих муравьев и молчит, больше никого не ест, есть ли тут связь? Тут-то связи нет, но в мире м. б. и есть, съев муравейник лягушка исчезает, опыт ее окончен, она — устройство для новостей с шара. Пора ковать новых муравьев, этих жалеть нечего, дело литейщиков отливать фактуры, не мое дело, а мир ждет новых и новых куч, они строят рост стволов, они усилиют лес, а леса это антенны для сообщения новостей — Тем. А на какой рех им эти новости? Несколько лет назад на Багамских островах, в Ницце и пр. свержпляжах появились молодые люди (Стамбул, Гагры), одетые так, что смотреть нельзя, открытые денди, афиши, они снимали лучшие номера в отелях, по одному, жили 11 дней и улетали самым фешенебельным рейсом, вели себя молчаливо, одинаково и морально, без женщин. Трезво. Думали — принцы крови. Но для принцев их многовато. Кто они? — кричала мировая пресса, — это неозелегантство, расточительство пустот. Потому что выделяясь на десятки голов выше богатством костюма, чемодана, шнурков на туфле, они вели себя мирно. За ними следили Интерпол, Скотланд-Ярд, Сюрте и пр. организации, подозревая худшее. Журналисты добрались-таки до этих необычайных. И что ж? кто ж? — Рабочие из Англии, станкостроители, молодые чудачки, получающие хорошие годовые оклады и тратящие их исключительно на эти 11 дней, на отпуск. Больше ни грана тайны. Изумленные такой простотой, им предложили показы по

ТВ, те отказались. Изумились, что отказались, и спросили, почему? Выяснилось, что эти личности выше денег, предлагаемых за голубой экран. Назначили сумму втрое. Смеются. Но уже сенсация (денежная) охватила множество телестудий, начались гонки за лидерами, бешеные чеки присылались в конвертах, пока дело не дошло до Америки, те за 3 секунды объектива заплатили каждому по 300 тыс. долларов. Это неплохое начало, потом стали предлагать шоу, сценарии, и ребята в месяц получили от 4 до 14 млн. фунтов стерлингов. Они разбогатели. Это т. ск. костюмированный вариант истории битлов, смекалка народных масс, действительно — додумались одеться как следует! рабочие!

32. ЛЮДИ-ЛОШАДИ

В Л-де туалеты и люди-лошади, это я иду в вокзал, томим, дают салфетку, ты даешь 10 коп., выходя еще получаю салфетку, бумагея, лицо мыть, зад, руки, хрен ссуций, губы; высветлился. Иду, шатаюсь мимо кафеля, вышел — ??? и тут подкатывает на одном колесе ч-ко-лошадь, ржет, губная гармоника звенит. Люди-лошади везут тсч.-единицу с вокзалов, отлакированы, с номерами на животе, к примеру Л-Д:17-82, и под седлом сверх колеса N, эти днацони везут тебя без цели и смысла, чтоб взять деньги, а ты ну и рад, да весь мир в монетку по ободу обведен. Технология: ты сел на плечи, а они, держась за руль одного колеса, везут, лихо, по возможности сшибая иноземцев, те отлетят в центр Нильского проспекта, вынут валюту и тоже катаются, вот и давка. Я подсмотрел этих людо-лошадей вечерами при серпе на небе, когда башни шумят стеклами — отвезя всех, устав от пота, они идут под Мост к женщинам (Зоя, Инга, Алла и Анна), схватив одеяло у реки Нилы пьют ведрами, 6-7 ведер в ночь, отлично, а у женщин они отнимают кусок кости, чтоб кормить свою собаку, у них у всех собаки. Это новые люди, рабочие, горожане. Если есть кибитка, обитая цветным шелком, можно впрячь нескольких ч-ко-лошадей и мчать от вокзала к вокзалу, обойдя по 3000 уборных в ночь, есть такие, я больше 100 не одолевал, что толку, после 60 я уж прыскаю, а не смотрю с любовью, как идет твоя струя, гремя. Едешь в упряжке, бьешь хлыстом скажем четверку ч-ко-лошадей, а потом распряжешь, привяжешь к открытой конюшне, к Александрийскому столпу на пл. и светишь. Я видел как они плодоносят: разгоняются на колесах и стучаются, кто разбит насмерть, того и кладут на постель к девушкам, накрывают тюфяком и ждут, когда стихнет. Стихло. Девушек выбрасывают в реку Нилу, а ч-ко-лошадь вслед за нею, колесо туда же, не жалеют. Они думают, что л-ди рождаются из воды, из молекул, напоминающих круги мировой

истории. И действительно утром по парапету катятся малюсенькие л-до-лошади, уж и велосипедик есть, с кругом, их млн. млн. по набережным летят, если их не примут за одуванчики и не смоют метлою. Река Нила — питательный раствор для самозарождения рабочих пружин.

33

Алмазы чаек. Сосны-атлеты делают гимнастику золотом мышц. Сухо. Стоят машины, приехали для соития. Не люби меня! Купол у Кр-та обтесан металлом, ветер травянист, чайки в воздухе висят антисамолетно. Москва живет своей головой, начисто оторванной от человечества, ни туловища, ни ног, одни руки, сжимающие оружие. Нигде в мире нет больше мяса. Ходят по кромке воды волнистые линии, подойду, взлетят мужчины с бородами, Земля далеко, берегов не видать, да и что берег, дно. Песок плосок. В Кара-Кум расчищают пустыни для жизни негров. Похороните меня на Неве в проруби у моста Петропавловской крепости, чтоб купаясь девушки оттолкнулись ногой от крепостной стены и неслись к моему телу во весь опор (подо льдом). Протяните мой труп ногами вперед и чтоб по двум сторонам Невы шли толпы (я напишу списки, чтоб кто шел), чтоб они сошлись и в черной кибитке повезли б меня засунутого в кибитку, пешком, положив оглобли на плечи, и так такелаж до моста, где стоит памятник А. В. Суворову. Чтоб подрыли лопатами под памятником и острожно сунули мои останки в дыру. И опечатали б моим перстнем, передавая его из рук в руки для поцелуев. Плиты не надо. Пусть надгробием у меня будет А. В. Суворов. А потом пусть поет обо мне советский народ и пусть милиция не сажает его в Сибирь, а даст спеть. Пусть поют обо мне и отборные войска КП-СС, они достойны того. Грустно бродить уже, не утолен я, где-то есть А-тличные бомбы на глубине 880 тыс. мотыг.

34

Море и рев, старая гвардия. При ярком солнце огнелучи, пыль под навесом дома призраков, я набил карманы и пошел на кладбище, две девочки на вид сестры, шли в ту же сторону, пересчитывая мелкие монеты, за ними шел ремонтник трубок (табачных), за ним тот, кто бьет башмаки, за ним кто делает из твердого ячменного теста прозрачное, торговцы у кладбища стали раскладывать лососину, макрели, фрукты и картофелину, соленую редьку, шинкованную, старые деревянные башмаки напрокат, рыбный торговец режет акулу, его жена варит раков, дети уголяют голод персиками, масса мебели, постелей, фокусники, священники —

724

сегодня хоронят целую армию женщин, погибших у Домика Лестника, впереди идут паломники по 24 святым местам (кладбищам), несут гробы с буквою Ж, на земли змеи, лягушки и голосистые жабы, железный котел и жаровня для отрубленных голов. Что нашли в Домике Лестника, — горшок, кастрюля, старый бумажный зонтик, бумагу, трубки, жестянки, корзинки. Бродячие рассказчики и дорожные чтецы рассказывают эпизоды из жизни женщин, убитых, а те (трупы) лежат на постелях, доктора и брадобреи обрабатывают их, доктор пишет таинственный знак на интимном месте у женщины и проводит по нему священной книгой, многие делают спичечные коробки, канатные плясуны едят драгоценные камни, вареные на огне дорогого дерева. Есть русский рассказ об Иване, тот увидел рыбу в колее. Рыба просит воды. Иван говорит: я иду на Юг, там большое море, я отведу воду этого моря сюда и тебе легко будет плавать, у тебя много будет воды. — Вы очень добры, Иван, сказала рыба, но как могу я ждать, пока вы придете на Юг, ведь вода в колее сохнет и сохнет.

35

С цветов желтых белые бабочки заполнили отмели, весла тоненькие, панاما, нож, — рыбак приехал на сиденье, рыбка скачет, похожая на кенгуренка, плавнички в груди, и у кенгуру бедра рыбообразны, девоносицы. Песок низкий, выдуло. Зонты. Мир этот грустен, с чернотой, одни вороньи перья. Не пиши! — кричат камни. Не буду. Буду. Моя яма полна чернил, мяч резиновый с мозгами, парю волосы. Пальцы разделены на пятерки, ноги слоновой кости, шерстинки бархатные, от ног идут дороги и обрастают ногами. Завернувшись в простыню хожу один в бане, зал концертный, бьют в тазы, голые л-ди моют кожу, кожаные л-ди, они пьют с утра, негде им, видно цены на вино повышены до неузнаваемости, на ключи еще. Холодно в бане, мужчины накручивают золотые пластинки (на пальцы), а у бани русский чай, в горшочках дают землю, взболтанную. После бани спал как пупс.

36. ДЕВОЧКА — СУЩЕСТВО ЛОГИЧЕСКОЕ

Море, кран, корзинка для бумаг, медная монета достоинством в 5, коп. Достоинством! Женщина в одеяле на берегу, подойдем, каблуки увязли, отвернем уголок одеяла: мертвец. Мило. Это видно по тому, как дергаются губы, уж лошадиные, метаморфозуют. Я смотрю на женщин, племена их нецивилизованы, в пятнистых одеялах, зачем их столько млрд.? Оставили б одну на народ: 1 русскую, 1 эстонку, 1 польку, 1 израильтянку, других

незачем. Ну еще можно б 1 ирландку, 1 малайку, шесть штук на мир — норма. И выбрали б из этих шести двух во Всемирный совет женщин, выбрали б и гальванизировали, а стулья оставили б мужчинам, стал бы рай, как у нас. В бане на мужчин (без женщин!) налипли березовые листочки, если смотреть на мужское, дело плохо, нет в них той палитры как у женщин, один Микеланджело рисовал пылающим углем мужские бедра, что вышло, известно и так, без моих перьев, летающих. Куда ни плюнь, худо, дряни. Я б оставил на земли 2 млрд. женщин и на них мужчин: 1 русского, 1 белого и себя. И все. 3 мужчины на земли достаточно. Мы б образовали Советский Союз, женясь каждый час, в сутки можно было б иметь 14 женщин при десяти часах сна. Если ж на троих, то 42 жены в сутки, в год 15.330 штук. Но это при щадящем режиме, и то в 20 лет (больше не прожить) — 306.600 штук. Если ж усиленно, то при скорости в 10 мин. 1 жена, умножаем на 14 сумма — 4 млн. 293.100, уже крепко. Но мало. Придется добрать и выделить для опыта еще: 1 русского, 1 киргиза (как самую древнюю европеоидную расу) и 1 француза. Стоп. Французу отдать француженок, дальше не пускать, он один за 20 лет одолеет 21 млн. 053 тыс. 211 француженок, ничего себе! Опыт оправдан. И подумать только, сколько лишних мужчин на земли, куда ж девать остальных, если нужны лишь шесть? Никуда, они доживут и превратятся в прах. Важно не дать им взойти на рельсы к женщинам, отправить их на тот свет, открыть им люки для стока, чтоб текли вниз, отпаренные. Госка в бане; трудно смотреть на голость, на голых. Лучше б это делать не часто.

37

Пустая ночь. Если метафора повторяется через годы, перечеркни себя. Мы подставные фигуры. Сколько ни ходи, всюду остановки. Смеркается, бельевая веревка дрожит на балконе, дождь ужасен (его нет!), трудно тронуть, причинить мне что-то, вызвать на зло, привязок нет при истощенности пути, если представим землю без л(юдей), беспощадно ясно, что науки выдуманы. Значит, Рекс может думать только через кого-то. Меня, модель, Он видит как помеху, Его глаза переполнены картинами (своими), Он меня держит, чтоб любоваться цветом Себя, пропажа меня на шаре Им не в новинку. Полоса муравьев, идущая по березе вверх-вниз это своего рода песочные часы, циферблат — ствол. Ах хорошо от дождя, мы морские, синие нестерпимые воды, их движение пахнет мускусом, медью, йодом, пудель в воде прыгает вверх! Сухой песок, крапчатый, леопард, это дождь красит. Камень в ободьях, в нем красят людей-идей.

Квасят, весят. И буря вдали и радуга. Еще кипятильник со штампом дома призраков, да, домашне и сквозь балкон дождь идет, и всюду дороги и гортензии, и родина гремит решетками, эх, фетровый рот у девушек, губы бьются от огня ласк (если зажечь фетр!), искренне говорю. Уже идет новая история, где нет моста и патронташ набит, одни галифе, в сто ран нос суют, у моря лежат в бурю, у берегов трупы, вверх ноги, вбок руки, сзади дырка, идешь, спихни их в море, дощатые. Солнце сплит, ну что ж, не зря жил, можно и умре, светло. Только и можно жить, отодвинув с горизонта реалистов, как фашизм, картонный. Скоро Бог выйдет с ширинкой, застегнутой на все пуговицы, жетоны листьев пронумерованы, я о тайне перечислений знаю. Был в бане, в печи мокро, веники освежают, песнь им спинно-мозговая, сижу с мужиками в жилах, с брызгалками, с камнями, на которых сидят и мылят между ног. Предпочитаю аморальный рот у женщины, чем с билетиком закона. Крестьяне, выросшие до размеров изгороди, которыми можно перегораживать моря, — вот истинная перестройка мира, беда только в том, что вода возьмет и эту дамбу живых, вздует и унесет трупы, и будет опять старо. Один Лао-цзы родился сразу семидесятидвухлетним, а мы рождались по ч-системе, не знаю, что за муки нес Христос кроме бревна, это у нас носят 300 млн. с утренней зари, более что-то не паментую у него страданий, да и крест этот бревноподобный он тащил себе, а не л(юдям), так что крики о его коллективизме без почвы, ну принес, ну повис, ну умер, будто никто не умирает, а потом воскрес, — все воскреснем. Он был как все, потому и стоит в истории. А я не был как все. В 1963 г. когда меня обклеили газетами и не дали жизни, я отрезал свою голову и унес ее в угол, чтоб не шумела, а тело отпустил ходить, отпетое. Ну с телом Они сражались, оглушили, ослепили полуглазами, и что ж? О голове-то никто не знает, пускают наконецники, а не попадают, не попасть. Голова моя, голова, удивительная.

38. ОТЪЕЗД (ЗАВТРА)

Если приезд игра-дубль, при чем-то, то отъезда всегда езда вниз. Как приятно вспомнить о ч. как о мертвецце. Подходим к концу. Жара, написано ровно с планом (выполнил). Если ступить на конец доски, она преломится, взлетит и ударит тебя по лбам, так и море — ступи на край берега, и оно взойдет и ударит всюю зеркальною поверхностью. Море как и пропасть — перпендикуляр к ноге, если наклонишься, погибнешь. Идем прямо. Доска в доску вдеваются как два гребня, так и вода в устном стакане, гуттиере. Прощай, яблочко! Дикий кинжал

в носу птиц, кислые соли утр. Листок ты листок последний (предпоследний). Последняя страница пишется трудно, лучше оставить страницы и отметить дату — отъезда 22 июля.

КНИГА ПУСТОТ

— Хочу омлет из картошек! — У нас же картошки холодные. — Они не только холодные, но и в коже. Читаю Ямвлиха, сквозь занавески свет кругами и лампами, это одно и то же солнце. Солнце на костях богов. Меня не обманут ребристой печкой, а многие обманываются. На желтой дороге учусь идти босиком, падаются стекла от бутылок, змеи, люди, перешагни через них или обойди, это эффектно, перешагиваю, обхожу, в воздухе яблки румянятся, мне нечего сказать, — пустота — вот основное состояние (достояние). Ласточки щелкают, щелкаются, в небесной пыли живут ежи, коротки периоды моих обмолвок. В окнах (автобуса) спят сквозь пыль. Хожу то в белых, то в красных шортах, детей в этом году в озере не топят, видно используются для других целей. Есть ли цветы несъедобные, увы, есть. А дороги? — тоже. А люди? — нет, все съедобны, как кости. Пока что здесь хорошо, а почему? Понял я: Х. и Ю. на службе весь день, и в доме один воздух, а около дома красные тапки и голубой таз, можно скрыться, ах, Антдан, у Богов свои позы, поспал и проснулся; умирают, чтоб их никто не видел. Холоднее, дождиком брызгик, вокруг много провокаций и печали. Утром загар на зеленом стуле, видел косулю с желтой и красной шерстью, тут внизу, за домом. А, спать пора, сладенько уснуть, откуда столько обид наслано? Если мист это закрытый покрывалом, то тут таковые одни бляди. Почему мы живем, окруженные? Гульба к озеру, там две толстые доски положены на воду, а по ним со дна с камней идут сходни, по этой лесенке и поднимаются на луг те, кто уходит под воду, красиво. Светло в 11 ночи, дневное нечто. Вчера дождалось, мы ждали кино про сумасшедший дом, и приехал художник Д., Московской епархии, непомерного роста, бройлер, в американском одет, я оглянулся в дожде: м. б. я опять в Америке? Пес смотрит из будки как епископ, синий таз свежей воды, тапок лежит вверх ногой. Купался вопреки, камни обкатаны, а на них головастики едят слизь, черные перья у рыб, спасенья нет и не спастись, вода как под тонким льдом — под солнцем, прыгнул, от тебя идут искры, выйдешь, вода льет с тебя на доску, а солнце воду снимает; я потерял навык писать. Шел дождь из туманностей, мы прошли полтора часа и шли назад, он нас нагнал, сидели вечер, ели-пили блины. Теория множественности душ льстива, душ мало в людях и в животных, мало у кого они есть, души,

я их встречал. Почему такая категория, да потому что я встречал — я определяю, так и про ад можно вспомнить, что был в аде, белые плечи, белые ночи. На озере рыбки в резине, сияет, рыба брыкнулась. Не пора ль описать езду в США с Москвы, с советских танков, как они шли на репетицию ночью 30 октября, низкозатые, стальные, а мы с И. К. ели колбасу с кофе и гремела земля. На озере купается девочка с тонким тельцем, но в трусах, вот трусы-то и расхоложивают, она нырнула в прозрачное, вместо трусов получается голубой задик, несексуально. На досках скука, вот и вечер, брюки висят, синие на синем, окно открой — кричит собака (спящая). Ищу морковного цвета панамки из крашенных простыней, торговля перестройки. Сколько крестов в небе, в дом залетела шаровая молния, сожгла пробки, мелко; вода глубокая, глубока, дрова как в снегу в луне, здравый смысл протестует против эволюции, желания лжи. На желтой дороге пески, будто это путь в пустыню. Попалась ты, как кура в рюмку, любовь с бабочкой. Вчера любовь, а сегодня с бешеным звоном бьют молнии о стекло, град-фундук, но он безъядерный, среди бела дня и синя неба, тополь беспокоится, много фиолета, ветра, водяной ураган, погода как море бушует, как в коллекции итальянских картин. Луна раскаленная, полный шар, резко-сквозной, будто бог-китаец бросает шарики риса, или гиперборей — льда, ливень полосует стекла, ветер треплет, смотрю как мастер бурь, буря, воды носятся по полям; автобус как призрак прошел в воду по грудь с красными глазами в окнах, плач пассажиров, об оставленном. Плачь, ночь! большие пузыри в воздухе, который то сжат, то разжат, а то заполнен водою, дрожат рамы-поэмы, машины идут мимо окна, громыхает. Я печален. Пойдем по молниям, как ужасны холодные стекла, как гремит, как цветок! Коровы, глядя на меня режут о роке, их рога из янтаря, солнце как цветное стекло, я бью слепней (на озере), они как листья с моторами, а бабочка сидит то на моих сандалиях, то на колене, то на плече, сидит на мне, хлопая, на ней полный перечень древнегреческой азбуки, м. б. она из Учителей, не гоню, не летит, пусть, зла нет, если хочет что-то, скажет в кожу, а кожа передаст лимфе, сосудам, а они идут в голову и голова (моя) поймет и выведет формулу. Оранжевая роза, купленная 17 июня, сегодня 27 июня стала красной, живем в желтом, золотообразны. Начну я бегать, тут дороги задрожат все. И духота, и дождь, глухому где родина? люди — глушь, страны — глушь, а женщины — молчание книги убитых. Принеси мне беленых отрубей из молока. Что такое пыль? Небо — пыль, характерный месяц — звезд нет, давай поедим чайку. Вышел погулять по пыли, шел, глотал солнце мутное, просвечивающее, шел, считая по сторонам голубые цветы, я не могу считать звезды из окна, их нет. Я пришел к озеру, там скамейка отполированная, на воде листья

кувшинок без кувшинок и утки во рту дудки, а еще плавает девочка в легком; мы едим диаметр любви. Дрова сверкают в ночи, страшно, ноги слабые, чудный лимонный свет с юго-запада, только у ив у пруда у шоссе стоит корова, настоящий мрамор с прожилками, одинокие девки в трусах (бедноодетые) то тут, то там, сквозь решетки занавески — дали, не держи отношения на весу. Люстра из стеклянных обручей, набрать цветов, сменить погибшие, нужно взять хорошие часы со стрелками и проверить шаг, то, что мелконуло, выросло, приобретает вид живого пера, а ты возьми его и очерти на бумаге и вложи палочку греческой туши, — это и будет книга, размер твоего времени, таких книг я уронил много штук, ненаписанных, это относится к совещаниям с Верхними Кругами. Параллельные, если пересекаются, в конце пути образуют круг с центром в точке пересечения. Накануне смерти я мерз и еще меня безостановочно тянуло ввысь, тело тянуло, я поднимался над кроватью, а Х. меня назад прижимала, к подушкам, однажды я поднялся выше, к потолку, одеяла свалились, пока я висел, Х. перестилала кровать, позвала Ю., и они вдвоем опустили мое тело вниз нажимом несильным, так я и лежал до врачей, поднимаясь и сникая. Сел в лодку на озере, посмотрел в воду, а она маленькая, как монетка, некуда дальше ехать, слез с лодки, заплатил и ушел; и телескоп не на чем везти, нет катафалка. Восьмой час вечера, солнце пылает, пойду на озеро. Дойду до озера и пойду обратно, ромашки нашел и сорвал, поставил дома в стакан, а потом письмо опустил в ящик и лег, спал, читал газеты про съезд комутантов, как они извиваются, раньше один говорил, а теперь если пять комутантов скажут одно и то же — плюрализм. Моргсисты. Не пойду гулять столь вдаль, не уснуть потом всю ночь. Или пойду? Гребень солнца, если б похолодало — пошел бы. Есть сцены и их помнишь всю жизнь, есть биомасса, пустой супик для контакта с бумагой. Если от ног гора поднимается, а по ней коровы идут, то что это — утес? А двинешь ногой, угол не тот, коровки падают. И от угла зрения люди на горах падают. Я люблю смотреть на озеро с листьями со дна, как рассчитаны Верхним, дойдут до конца, лягут на воду, как в Красном море Моисей с книжкой во рту, каменной, руки по швам, а раскрыть боялся, утопнет. В других грудях моя ненависть, а Верховный Подонок посылает уста, стол пуст. Снилось, что часы стоят на полвосьмого, проснулся, смотрю — полвосьмого, лег, сон, опять то же самое, значит это черта, изыск, часы-то карманные, не стеночные, при ходьбе соприкасаются с животом, вот и изучили меня. Мне мешают Х. и Ю., если уж быть одному, то без хозяев. Гулял под дождем, напряжен и тосклив, увидел молнию, снял очки с металлическим стеклом и понесся, гром не слышен, вслух при мне не смел звенеть, шоссе плескалось, машины шли сквозь

стены брызг, я шел с большой скоростью, потом выжимал с рубашки ручьи, пью кипяточек, съел слабительное, ничего красочного нету. Если щурить глаз часто, смотря кто еще тебе в ответ прищурится. Тут на драндулете с кузовом кто-то ездит, рукой приветствует, не пойму кто, не разглядеть, кепка. Искал, где б увидеть что, даже коровы сквозь землю провалились, пусто и дождь для псов, говорят молния бьет в шейный позвонок так, что потом ходишь прямо, мне б не мешало, говорят, но может клевета. Рубил веник (пальцами), ел лук длинно-зеленый на столе на клеенке, чашка с синим медведем сбоку, графин цветов, кафельная баночка. Гулял, где коровы. Будем умны и ляжем, хозяйева в саду удачу полют, завтра сяду, завтра я никуда не сяду. Ямщик и лошадь, не часто приоткрывается эта крышка (во мне), просто время вычеркиваний, время рвать, рвись, рвись время низких дел, друзей, душ, свою включая, нужно не упустить солнце, оно важнее, чем боли от него, при свете лампы Апулея писать шершавые стишки, после бани после бега после бабы.

При свете заката месяц, завтра ветер, как хороши на закате белые лилии, красивее луны (двух половинок), сосны похожи на обнаженных животных (стволом), особенно в дождь они — большие цветы. Как я плавал, левой ногой двигая как веслом, а правой крутя, а руками делая так, как делают — отойдите от меня, я плыл крича «прочь» и раздвигая мир. Четыре бабочки опять любили меня, ноги обсели, руки, такие приятные пахи. Ночь. Чайник дает чай в круг фарфора, алкоголь пьют ртом, есть хорошие тела. С утра роскошь, купался, мыл тело ниже пупа, затем ходил; два-три огня в день, а так дождь, я сидел с Книгой Нулей, это минизпилептические явления, внезапный сон. Купался без очков, закрыв большой глаз, лежал на досках, плавал, вода чистая мутит илом, коровы коричневые ночью на горе, штук сто. Белые цветы (те же!), нарвал три штуки. Женщины при соитии с гениями начинают писать, у них возникает (в генах) художественный элемент. Дню конец, чуть розовое за стеклом утасло, чуть черные яблони издалека, из прекрасного окна, куда ни ткни, тянет в сон, вечером будет греметь, пишу в кровати, как Леонковалло. Когда я пишу, машинка поднимается на уровень рук и одеяла золотые, но кончаю писать и все вокруг из ХБ, а машинка ложится. Из-за колебаний и кручений магма стремится к шару, металлы — шар, пло, эмбрион — шар, паук — шар, а он центр нитей Бога в сети геометрически тончайших вибраций, и передает их вверх, голова человека и др. — шар, мозг благодаря голове шаровиден и кровь из шаров, пятка шар, рука и уши шары, и яйца живого. А квадрат, спросят педанты, — что-то есть квадрат? Нет, ничего не есть, шар он. Но книга! — скажут. И книги шар, мои книги шары. Можно ли нарушить шар? Да, но

тогда уйдешь в плоскость. Американцы сообщают, что температура центра Земли 7000° — больше, чем температура Солнца. Вопрос: Земля зреее, откуда ж вышла Земля? Сижу наполовину в окне, как воин, закопанный, плечи и локти в окне, а голова над книгой. Пес сидит на лавке, смотрит в окно на меня, лижет руку свою у подмышки, мне попробовать что ли? Люди аккумуляруют друг друга и за этот счет живут, даже глаза едят, нужно опускать. Есть что-то чудаческое в смене женщин, как в смене белья, прикасаемого к телу. О ночи, ночи, бредил от бокала корвалола. Озеро отличное, дно теплое, камни гретые на глубине, озеро сегодня легкое, голое, как будто плыл по женщинам до 17 лет, кожа вымытая, выпаренная, молодая (у озера), я плывал минут 400 (меньше, конечно), вышел на доски, погода ухода, те, кто оставляет мир в эти дни, очень хорошо, уходите. Глаза закругляются, кости стоят на месте, топчешь пыль, липовую. Из окна дрова, Х. и Ю. рубят (сей час спят), скажем так: дрова рдеют на закате. Пахнет чаем, я нагнулся губами к чашке: чай пахнет чаем, плакать хочется, так неожиданно. Открыть дверь и идти в ночи, махая рукой, может в руку попадет — муха? Ходил на двор, светил из окон, мухи нет. Думаю о душе, она шедевр, многожизненный итог, Боже, Боже, ел ли я слабительные лепешки, но уже Воскресение Господне, этот друг народа воскресает раз в семь дней, может быть, это он по клеенке бегал, метаморфозированный в муху? Такая тоска каждый седьмой день воскресать, от чего, от будней? Пес лает, звук как стук в дверь, громкий. Хорошо пить чай с яблоком, лить в губы горячее и смотреть зарю молний. Заря молний! — как тут е. т. м. не хватает. Мы живем в суточном контексте, новом, бью мух, головы летят. Озеро у меня индивидуальное, нырнешь и голову режет, я загораю, черный, это помогает кровотечению. Купание без плавок, минут сорок шумел, гладил как утюг поверхности, в телесности. В саду полно черных сорок, это обычные черновые примерки рукописаний. Однажды я вошел в огонь, блеск, кислород огня охватывает без подделки, в огне высокий стиль, стоишь как в шлеме, и исчезаешь. Лопнет полено, из щек угольки узоры шьют, это ты, Всевышний Сука. Войдя в огонь, я увидел одни удочки ловцов золотых рыбок и готически-желтый центр, там лососи. Центр — это точка, куда вставляют солнце, чтоб очернять миры. Пошло, бушует ветер, пойду, подразню грозу (будущую), дождя немного, так, сотенка куликов разбилась о плиты, припорошило стеклышки, ветерок на Ю.-З., открыл дверь — молния из комнаты! Молнии, молнии, души убийц! Громада сада и вырезанные небеси, спит пес в сарае, как воин; день подходит к другому, Ночь. Полночь. Сижу в куртке на голом черно-цыганском теле, корабль реализма не выдерживает многолитрового пота и сходит с волн. Озеро ровное, вода милейшая, глазная, как в хрусталь ныряешь,

трещины во все стороны так и летят, и плывешь в женщинах, в двух, а то и в трех, под тобою негритянки, ноги по ногам скользят, а сбоку арабки-семитки, а в морду тебя целует индуйтка, а гладят китайки, в общем, не озеро, а запретная зона. Я птицелетающее, кто наполнит чаши едой, а то они блестят, лизанные со вчера. Я теряю счет ремням. На дорогах автомобильчики. Каменный рисунок перестали ценить, подавая живописный, смотришь влево-вправо, общаешься. Структура растет из целого вибрируя слов, тембр фразы в целом и отношение к соседней. Мглисто, день в пленку запаян, малозрительную, нечем питаться, тетя Мостик, ходил в черном зонтичном плаще, почты нет, бежал и думал о мире. Шел дождь, то шел, то не шел. Мой черный плащ я то снимал, то надевал, то же и шляпу, так что дел в пути хватало. Пес кричал страшным образом и смотрел в окно на меня. Цветов уж мало, отцвели колосья, кусты в сетях. Рыба в кустах оценилась, что ли?, придет Ю., снимет урожай налимов, приехал, на столе на кухне арбузик микронный, пес не очень-то в восторге, лежит в профиль к хозяевам. Сверхэротик: кости, кости стучают в бутылке, вот что такое тело, на черепе окошечко. С псом что-то, так что дома охранник я, а не он. Ю. вытопил печь, чтоб задуть жарою меня и цветы. Я и цветы — одно, все сохнет, излюбленная поза у окна, рыбки-скрипки льются у нас, эх, санитарки, воды из бутылок идут вверх, ракетноносцы, а оттуда глаголют: ЭСЭС! ЭСЭР! Зари нет, есть ли жизнь на заре, караваны Анн, — Анна 1, Анна 2, Анна 3, Анна 4 — до бесконечности. Встаю ранее, горе желтое над озером, псы кидаются, за пятками ходят. Моя голова на плоскости. Небо крашено частично, ритмичная фразеология, я пишу неразборчиво, это моя глина. Ходил на озеро в 9 утра, круглые луга, с них спуск, но наверху машина А 9880, а рыба в бокале, наполненном озером! Может ли быть загар от луны? — у лунатиков, и от звезды — загар, нужно только двигаться за ними (зв!) и загорать. Чтобы сказать Я, нужен голос со шкалой от 0 до 110 децибелл, но большинство говорят «я» невпопад. Когда-нибудь изобретут микро-мир, увидят, что человек склеен из животных, когда найдут кости белых (белые!), будет споров что им нужно в ч-ке, костям? Одно солнце идиотическое, тьфу, тьфу, плюнь в тьму. Погулял по печеному. Это лето можно б назвать: рассредоточенность пустот, остаточные смолы. Солнце — зеркало одно, назидательные новеллы, сверхразмерный наган, чтоб не стать плосколицым. Длинные девицы, прозрачные платья моей одаренности, секс я ожег, много юности и ценного среди них. Челюсти — лучи души. Подбородок. И это умрет вскоре. Я вижу порошок, он прекрасен, так и звенят по фортепьянам во мне. На желтой дороге автозолотая машина и живым намазано, ситцевым, из крыши сделали аэродром, — муравьи, прощай, щепка, леденцовая четырехколе-

ска, лети на их крыльях! Солнце режет облачность, дома просвечивают, дровяные, небо больное, пылание солнца. Встал во тьму и долго ужасался. Верхнее небо, женщина плывет по передовым волнам, колебание бедра. Выдохся в высших пламенах, зачем мне рощи огня? Гимнастический ум, два кресла из досок мелких, хозяева варят огурцы...? в банках...? крышу плоскую делают... для НАО? и окон у них до е. м., любят космос в дому. Я летун об стекло. Х. несет огромный зеленый мяч, чтоб не пробило молнией, коричневый пудель с голубыми глазами летал вокруг моей головы, дети кричали стоя, пальцы ног шли как молнии в пыли, у людей в окнах руки курили, озаряя дорогу, я опять переел хлеба. Мертвые души живут нежизнью на небо-своде, дорога покрылась дождиком, ливень бил справа толстыми шелками, Ю. ташил меня от молний и от железа в дом, дождь уладился, мокренько, плитки опрыскивает. Готовые виды слов, профессиональный разговорный мозг. Костозвонкие девушки. Июль кончается, секиры звенят, опять петь пора ко сну, под бурей и дождем стоят за газетами; я думаю об уходе, уплыве керамическом, день — ему цена 30 чисел. Сегодня суббота, как и вверху написано. О июль, июль, прощай, цезарианец! Луна и я в форме копья стою в окне при луне, ударь меня об забор! Америка — нуль, доллар, Франция — милое шуршание шпага, купил лампу для глаз, купил я швейные изделия, на озере девки выжимаются за досками, не убежден, что взят правильный графический темп в беловике Книги пустот. Нежный месяц над окном зашел, дни толстений, огонь как треугольные краски. Ходил по лесу, поломан он, валяется, мелкие елочки и дацзыбао — свитки вод, гуляют лишь кислород и водород, два уголовных элемента. Одежда сейчас существует как бы вне нас, ее шьют машины. Я б мог придумать и Наполеона, патриотизм, капающий с ртов. Я видел, как давились у автобуса, чтоб попасть в пропасть. Тишина в цветах, машины бегут в лаке, под этим домом живет одинокая черная мышка, удел узколицых. Где моя мышка? Муха, сволочь, прыгает по мне. Хмурое, светлое, мертвое небо, это рябиновая краснота. Кровь нагрета от печки, в такие бури все боги — как письма без обратного адреса, тучи и немюжечко красненького — закат сквозь вышеописанное, мою, что попадается в своем теле, плоскости горноцветные и стекло горнорудное. Шли женщины охранять меня, они смотрели на меня, повернув головы с блестящим лицом, черный нож на клеенке, чаша с молочными отрубями (чашу эту мимо пронеси!), а мышка по квадратикам ест, уж к 11 закат кончился, так, две-три полоски на западе, неужели я всю жизнь буду ходить к озеру, сапогами гремя, чернолаковыми? — открывается горизонт смерти, температура смерти. Луна есть? — посмотрю по календарю: луны нет, один Тот, Кто ходит по шоссе миров...

Увы, чертолицая девица — те века, я загорел и сижу как в рубашке, незаметно, что без ткани на теле. Голова может быть сверхголовой и у низших, огонь охватит и очистит тщету и этой писанины. Умер в тюрьме — у большинства народов означает убит, если о коронованной особе; можно сказать «живучий в тюрьме» (обо мне!), что юридически не смерть, это конечно риск, эксперимент, но... продолжим. Пишу под шум перьев и вижу отчетливо как янтарная стена, незадетый, и этикетки моих страниц уж смешны, уж бумажны. Неужели еще будут дары Сверху? будут, будут, работают двигатели ног, шаг — буква, шаг — буква, летит чайка, сквозь соломинку дышит, что ее носит, как синекдоху? стоят аисты день-ночь, в клювах камыш, это твари, перо-птицы; что падает со столба, чайки нет, черненько. Какой мир! Мир не мир, смотри самолет-кукурузник. Моя машинка Гермес-беби, невытекшая кровь. Утром помывшись и обагрив лицо солнцем, мнем подушку головою, обрызгав ее от чертей. В скучных днях есть красное полотенце! Плечи болят, пока пишу, но они болят и от нош: взвалишь на себя Байкал, а он сливается с плеч, или Бога валят со спиной, позванивающей, грустный Бог мой, великий. По сторонам видимость, поля лука, некому сказать киска «Мяу!» — грубость. Груб бокал, не пей из него, не ты, рожденный с оловянной ложкой, а я пил. Я пил! в годы оны, ох как я пил, и мир подошел ко мне! Щурюсь я теперь. Память отстраивает ритмологию, тавто, кипение неизданных нигде книг, ну ладно, набрался и ловишь огонь отроковицы, но что ж писать о ней списки, ротик Рути Мирандолы? Я ставлю под сомнение быт Тебя, Высший, дождь проливается, им переполнены созвездия, этажи и лифты Твоего Оно и льется об землю бомбочками водорода до выхода этого Гелиогабала, и говорят русские, восхищенные от пупа; кричат женщины, а восходит солома на горизонте, лазурь зреет. Писать под оком у Него с копченым плечом помоложе у женщин, мертвоходы они, мертвоходящие. Я печатаю книги ногами по Пути, пылающему цветами, где растут дуб, бук, клен, рожь, а к ним идут лев, вол, кит, пес и поют до, ре, ми, фа, и так далеко можно уйти от книги в трактат. Но мы не уйдем. Два мира, здесь Я, а в высоте Они, шары, что-то моют в тазу, вода руками, как при лесбиянстве, безгероичны, мир невидим, пишу пустое. Два кресла стоят, как четыре па в танце па д'эспань, прямь и боком. Режут скот молниеносные сосуды, я видел, как била в корову молния, как шпилька, а та отмахивается, а вторая молния ударила как наковальня, с искрами, с бубенцами! корова помотала головой и не смотрит в небо; тогда третья молния, дрожа от гнева, рассекая небосвод от луны до луны, выпустила миллион копий и стрел в бедное животное; та и грохнулась. Дождь светит, синенько, я крышку на ее голове щупаю — теплая, мозг стучит, сердце бьет,

а корова открыла глаза и мяучит. Она спала. Возвращался, луг изумрудный, а на лугу пять кошек, подошел, а они взмах за взмахом от меня летят — чайки. Загар забавен, тело карее, глазное, как алмаз, в озере мое тело тонуть хотят, в глубине озер закат пламенеет, это Они в воды закатываются как в ковры, а потом рыбу, рябь едят, прозрачные, и ныряем в эту плазму из солнц, в эту воду, оживляющую бытописание дней, в обруч озерный, где живут старые крысы в адской яркости. А вчера сидели на лугу кошки, почему долго не летят, не показывают крыл, кинул звезду в шоколаде, а они бегут, хвосты узкие и кысс-кысс-кысс кричат, — кошки, не чайки. И пойми — кто — кто? Гулял, тоскливая местность, доисторическая, истоптанная по глино-грязи тысячами копыт и сапог, будто это слоны бежали, а сапоги конвоировали. Ночь придвигается, нового дня ночь, в окне окно, я вижу звенящие векторы, это Ты, Отче? Яблочко-красно-зеленое на клеенку поставил, пес, похожий на Боговолка проходит ураганом по желтой дороге, выросло второе поколение голубых цветов, дождь идет из неизвестных мест, столбы. Встать надо, хочешь не хочешь встаю, мыл то, что моют, формы обманны, а кожа — дар божий, фарфор, фарфор, опять покатится, она катится, телега ниже и ниже, гульба быстрая к озеру и вокруг, чтобы не поскользнулся карандаш, но он скользит, он создан из скользкого, дни короткие на бумаге, стирается золотая пыль с монет на войлоке у Кассира.

НИЛ КОНЦА

Сил нет жечь, печь трещит, никого в окрестностях страха, 39,9°, идем вдогонку за смертью, надел наушники, чтоб печь слушать, крыши волнами, ничего я в пути не видел, кроме стекла в голову. Убийство проходит бесследно, нужно идти в аптеку, пишу у трех окон, сейчас измерю под мышкой. Мир безвечный. Гулял в шерстяном. Тени сгущаются, от Т° плакать хочется, жду тиканья часов, чтоб спать. Бездны уходящие, ночь, мокро, потел, вставать некуда. Время слабых, из зелени и неба получается картина, картон, и непривычно созрели огурцы. Забавно: шпионов в десятки раз больше, чем рабочих. Л(юди) думали: мир докатился до конца, и так было всегда, но он катился дальше, уровень убийц не колеблется (и других), амплитуда времени — живут государства с настольной разницей в тысячелетия, между СССР и США вибрационный пояс непреодолим, глиняный колосс рухнет, а из золота останется, много денег уходит на пустоту. Просыпаясь, я смотрю, соображаю, на каком свете, поди пойми, как порой цвел, кожу для рук беру в аптеке, своя изношена. Души гаснут, их огни в окнах, им секс-пластмассу в Америке выдают вместо

живых веух, муляжи. О баррикады тоски. Быстро слабею, дети поют, ел коровий язычок, Ильда сильно шумит ножами, голос у Ямис — как сломанная труба, ту, что через плечо несут, — под солнцем перестройки! Шел в желтой рубашке, в штанах цвета морской волны, зажгли камин железный, сидели, приодетые, и мраморные рамы отражали их руки, ни на что не пригодные. Годы звенели в головах, картины без рисунков защитной краской. Россия в 17 г. представляла невероятных размеров гусеницу, наполненную кровью и талантами, девушка плоскогрудая. Ковкость, мистическая порода и сердце скачет то в удары, то в грудь, по утрам сжимается сердце. Десяток больше-меньше пустот, сидим, ждем когда 15 утков погаснет, чтоб закрыть дверь в печи. Читаем газеты. Вчера ухо воспыалось. Шел 1,5-й час, я с обнаженным животом, куры скрипят и дождик брызнул, угли горят, кочерга греется. Зачем я ходил голый в предгрозию, новых ромашек нарвал, несоизмеримость букв, под видом женских размышлений в газетах правда их пустот, этих эшелонов, их и называют уж как войска, как гаубицы — эшелоны власти. Уймитесь, страсти, ночью ходят, вода в ванне ребрится под водостоком, песик бегаёт в восторге, видно, возбужден, пьет из миски, что — не знаем. Котик лоб в лоб. А вообще-то: уйти к Отцу, способ ухода стопы, моря, песчаный сок под ногами, nihil памяти трудно сложить в штабель и строить кирпич, образование пустот, а потом единой пустоты, всеобъемлющей пустоты пустот в здании МИР. Глаза звенят от стороны, грудь на мешковину похожа, некто повернет зеркала, и возникнет посланец с земли — под землю. Оса вьется, хочет напиться из меня, воспаляется и волнует. Ч-к с безумием читает книгу — не надо; берет еще одну — стой, слишком; на третьей его нужно ударить чугуной плитой оземь, остановить, и чтоб он жил. Я неоднократно замечал, как при чтении в гамаке (воображаемом) надо мной наклоняется дерево и тоже читает. На озере окунался до шеи и обливался, две сталелитейных бабочки и густо-красная. Летел самолет. У Ло Ш. был припадок, она побелела на лавке и, сидя, стала падать, лицо меловое с синькой, капли, видно, Те ей на лбу что-то рисовали, и так более часа. Потом ожила. То, что было шумным пиром, стало мраком, видел, как плакали ряды героев в Высшем Корпусе Алкоголиков, разбились страны, на перекрестке, с черепами Мы лежат в кювете, машины как смятые кепки. Мы разбились как веера, стукнулись. Проводил Ло Ш., взяла огурец, тыкву, пять слоев сладостей и что-то еще свиное. Голый, бегал впустую. Ел ряпушку и сига соленого. Ильда взяла под столом мою руку и жала между ног, видимо, спутала с чем-то. Слабость, пот, бег, пустота. И бег пустот. Сижую, пишу, печь гашу, земля — раскрашенное животное, небо в ребрах и сердечко, петли жизни, небо штрихуется, кошки скользят, холоднеющий ветер, образо-

вание надежд, жалобы, жалобы, если до тех лет доживет костяк, мне нужно рубить голову справа, наскоком с руки. Видел, гуляя, корову с пятнами, л(юди) с беспокойным телом, бутылка кваса, как статуя бутылки пива, озеро, две бабочки-зеленокрылки, в щель из рук смотрю: на другом берегу выплывает девушка. Ямис качает велосипед, я колокольчики собираю в стекла, тень девушки (ТД) путается с водой, тошно, неопределенно, у меня переплетение тел. Я взял ее за ногу (ТД), за ногу и ляжки, обитые атласом, одна ее грудь висела как полумесяц, а другая... стояла. Затем я вытянул ее ногу по прямой линии и погладил. Эффектно. Тогда я ее за кожу свинтил — издали кричит, это изо рта. Грудь ее вскочила. Я взял ее за вторую ногу, по выломанной линии. Нога брыкнулась, не годится, я ощупал — с боков кости, ТД со слезами, психическая несовместимость, надгрудье. Я видел мраморную корову, толпы детей шли в полуштанах, стуча сапогами, бросаются в озеро. Бабочки во множестве садятся, листик переливается, аллея на наклоне дороги, золотистое бревно, на мостках ТД с разрубленными ногами, я нагнулся: губы у нее есть, красной грязью, лифчик; я дал ей расческу, она родилась по документам, когда она встанет — хуже всего, гремит настил, кипит вода, с деревьев рыдают птички. Встала, пошла, тень с подметками на ногах. На берегу дом с лягушками, лакированные полы на несколько этажей, мебель из бронзы, свечи по утрам, в пруду живут жабы, сверху решетка, бетон, они снизу, поют из воды, ТД любит звуки. Рыцарский роман. Как грустно пахнет стол, жемчужные улицы в глазах, а время к 24.00, нужно лечь в ночь. К озеру поход, от озера уход. Бычок, нос идеальный, ладонь лизнул, грифельный, как и я. В кустах что-то интересное, подошел — ТД, метнулась с обрыва, та тень живет в домике с поющими лягушками, булькает небо, гулял, ноги тянул, крепе-шиновая ночь, гуляние голым, дурнота, оторопь, роши в водах. Купался, голову положил на плоскость, чтоб вровень с озером поверхность, рыбы у мостков, как пальчики соблазна, уж нет в воде бури, видовых тел, рыбки мои — соловьи. Утром из-за ваты, лучи те ж, не гнутся, грусть — греминосек! Звезды, их б подсмотреть. Горький лук с простоквашей, молнии хлещут, жара и дождь, азбука листьев, я слышу цокот конца, это кони со сбруей из цветов, и я беру таблетку из крови. Шоссе высушено. Боже, — говорю я, — сойди на мои руки, слети, сволочь, в ноги, молись мне, лижи яичную скорлупу, фантазист!

Плоская луна с линиями волн. На лугах луна. Тонки стенки зари, откуда-то кровь выделяется, луна с ребром монеты, я видел деформацию холмов на лугах, их утолщение от выросших ржи и др. И звездочки. Третий час ночи, свежезамененный, дневные дивизии ушли шагать, кто вам дал круглые ноги? Телу время, времени конец, нет выхода пульсобиений, мир бедных людей,

обманутых хитрыми. Легко жить в коже, ну что ж, этот век не так уж безмозгл, идем за ним, окружен днем и ночью, чьи-то очи стерегут.

Пес отгоняет сорок от лапши, жду чай, принес на белом блюде, промозгло в доме, хоть он и деревянный, спал, гулял, плыл, ел, сел, но животные ходят, а я развиваю скорость. Если твое время кончилось, стоит ли жить в другом? Я помню двух (влюбленных) в Г. Шел вал, и девка сказала матросу: нырни в воду, для меня! Он ответил: я б нырнул, но потом не выйти, 9 баллов! Она: ТЫ ТРУС. Он взял ее за лацканы и швырнул в море. Амен, просветительский материал. Няня, маня, не книга, а беги пустот. Машины звенят. Какие запахи в 20.30 — сена, трав, тыкв, яблок! Аисты идут по стерне, а над ними на скрежещущей сенокосилке кто-то водит рулями; отчеркнутые холмы и плоскость аистов (внизу). Смертники жизнеопасны. Свежо, окутало с неба проволокой, и молния, сплошная, в глаза. Он молнии расходует, не боится быть смешным, о его угрозах, они нелепо поставлены, ничего не образуют. Муха летает, дождевая. День полной луны, день тяну. Ильда и Ямис ждали Ло Ш., сменили белье, натопили печь, дали пышек, наварили, воткнули в стекла цветы. Но Ло Ш. нет. От кого телеграмма? Первые капли по окну, еще не забрызганному, ветер в небе качает клен, много испорчено, едет машина, пока шел, в штанину влетела пчела и болталась, потом вылетела с криком. Многонебная жизнь. Кроменогий ч(еловек). Мыл грудь.

ОХОТА НА МАСОНОК

Дождь льется, ставлю стаканы, чтоб радиоактивились, стекла оптику ломают, сдвигают до прозрачности, клюквенные конфеты, формат окна — луна. Ночь. Дорога лучей идет вверх, а камней — вдаль, лампочка под небом светит, л-ди идут в югославских сапогах со шнуровкой на охоту, ловить масонок, наловят, обеспечат и выпустят в муслине, масонки живут в магазинах и царствуют, у них напильник для пилки дров. Тут лесник, говорят, повешен и расстрелян. Дети возят собак. В магазине голубые брюки навывлет, с вырезом спереди для органов. Алкоголизм пришел к концу под влиянием лучей из Москвы. На лютеранской кирхе петух — топографический, скоро начнут менять на советский крест, патриарх всея Руси подарит масонскому народу три волосинки из гульфика, чтоб обрусели. Люди поют, бедная, лунная земля. Нож дугой, для горла, в нем штопор, чтоб вскрывать бочки, я ношу нож в масонии, необходимость. У свиньи свиненок, малолетний. Сидят сорока и собака во дворе, разговор: было ль Й у греков, древние не дураки, они не думали, а новые сидят у ТВ, где Ганди III с тигром хвостами сцепились. Надвигается буря, летят куски бумаги,

сверкнуло, зеленое стало более зеленым, молния в натуральную величину, бесполо множатся индейки, вместо мужчин женщины часто применяют луч (из-за туч!). Масонки живут в камыше, они носят очки, есть еще лысые масонки, но о них отдельно. То что я пишу, это непереводаемо, по вечерам они становятся в озеро, рядами и ждут, дрожа. Ходят в сапогах по озеру высокие люди, шестизэтажные, рот 3 м³, их легко опознать, и уши со щелочкой, куда вдевают булавку, они вытаскивают сбежавших масонку из-под земли — и что, поглядят как дураки и опять в воду швырнут, вот в этот-то миг и можно увидеть масонку, и тсч. счастливых из разных стран (разносторонних?) — римляне, яванцы, иранцы и белорусы — их видят. Больше я не знаю национальностей. Кому (редко) удастся сблизиться с масонкой, тот счастлив. Бывает, что их бьют из ружей, но это в октябре, с 6 по 9 тут много охотников, но на отстрел дают только одну им, вот и бьют кто саблей, кто острогой, кто шомполом, кто кольцом, ругают, из лука пули пускают и разные роды оружия. Половое влечение к масонкам не знает границ, меры, оправдания, удержу, ничего не знает, кроме полового влечения, и это последнее, что нам осталось на нашей земли (я мужчинам говорю).

Когда «мир» «впал» в «ужасы» I Мировой войны, Д сказал балету: нужно заставить смеяться. Но от нас плакали. Волос женский кружит в воздухе, чайка из алюминия взорвана внутри, с любых птиц у нас сыплются пули. Главный «ужас» I войны газы, прошло 73 года, я сижу, мешаю углю, целюсь в очки, а потом подойдет воинство в зеленых галифе, дадут ногами под зад, и я кувырк в газ, сгорел, не убив. Ночью проснусь, поем рахат-лукума, тяну ногу к чашке щербета, чтоб пододвинуть ко рту, глаз разлипся и видишь: из стен торчат штыки, не поштучно, а массой. Вынь у женщин уста изо рта, положи себе на губы, женщину выгони и так и спи. Один. Чтоб заставить мир смеяться, нужна война, тогда сядут немцы в круг на колесах и засмеются над евреями, сидящими в газовых застенках. Тогда байронистка Эльза Кох будет пить из черепа, как из кувшина, а из шкур русского делает бюстгальтер с надписью: не забуду мать родную. Смеются самоубийцы, я их видел, окружен был, окружение, сейчас когда я остался один, а они отдали свой долг Верху, смеюсь. Ох ты, ох ты Эльза Кохта, я сушу человеческие кожи до тонкости пергамента, до тонкоты, и ставлю на них те, Ихние литеры, они пробивают копир-ленту и образуют узор, — книгу. Покажут мне свежесодранную 14 лет, женщину предпочтительно — смешно, или палку с надетой на нее головой читателя, как не осмеять. Я знаю, есть страна (край, рай), где лимон — цитрус цитат. Боги и звери идут, дуют в трубы (губы!) и дословно диктуют тексты. Жесткий таз для мытья ног, холодеющий, успокоит. Солнце из трех лимонов. Ползает туловище собачки по двору,

как подсвечник, две миски у пса, фаянс и олово. Кошка, светлый леопард с двумя лапами обнимает пса, как девочка. Чудный воздух наполнен в груди, влево от центра апельсиновый цветок. Овцы жирные, мирные лежат, одеты в меха, что ж, через 7 дней у них аудиенция с Тем, ножа жжение. Поймал масонку меж двух досок, взволнован, я дал ей мед, лижет (стеклянный). Птичка летит, птичка по земле с клеветанием идет. Дождь бил черемуху, спелую. Машину остановили, выставила колено женщина в саване, обод волос (колено одетое), спрашивает, где допинг? — у нее ужасные глаза, хлопает дверцу. Х. и Ю. рвали елки, я спросил Новый год, а они венки плели покойнику, их мертвец, будут нюхать ветви хоронящие, довольствоваться жизнью, тут мужчины мрут, ступни 52 размер обуви тут не шьют фабрики. Я спросил, а женщин хоронют? На меня выпучились. Ты об масонках? Ну да. О друг, они ж не выловлены, и вправду я никогда не видел, чтоб хоронили масонку, женщину, они плавают, я им костюмы бросаю, сапоги для ловли масонок куплены, магазин пуст, скоро сезон, круглые ружья чистят. Час печали — 11. Пеной пропитано тело алых, многих несут на носилках, как солнца, у санитаров лица завязаны белым халатом. В лесу чиста печаль — грязь, сопки, хлябь, раскопки, спиленные ели, шкурные; это рубят лес уничтожители, лес идет на свалку. Сыроежку рассматриваю, как нечто невероятное, жизнь согнута и гаснем, нео-пни, лесная хроника рушится. Ну что ж, ну что ж, уменьшается к ночи дневной пыл, скоро яблоко выкатится. Классические стулья не всем служат. Я всегда боялся ре-диз и си-бемоль, грубый звук и пицтит. В лесу много кружочков, вот гриб-кружочек, рыбка-кружочек, птичка-кружочек, лист-кружочек, свист-кружочек, а муравей? — Да. Каждую ночь встает треугольничек солнца на Ю.-В., светло-зеленый, крепкая рука выкатывает луну на дорогу, и идут волки, и собственно кожа, одетая, становится теплой, я грею рога, подбиваю гвоздем ногу, ищу второй глаз. Кто ты (я о себе)? Секрет вина в возможности жить, как слоны, алкогольные. Шар, похожий на костер загоревшейся цивилизации — в небе, пустом. Стали носить ватные плечи, мода 30-х гг., скоро в вату закутают армию, появляются шелка, потом будут бить кнутом на Сенной и выходить на нее часу в шестом. Облачные голуби гадят из клювов, о проститутках поют в газетах, зовут на пирог из гуся, из гусиной шеи. Кипяти ноги перед СПИДом. Тупая сила, обученная таблицам, любит без слез. Падают отвесы. Я не знаю жизни, а принимаю закат, как звезду шара. Масонки пишут на шубах, складывают их в шкаф и берегут до второго пришествия, я читал шубу за шубой, описания света и побоищ. Здесь мужчина шьет одежды, варит раков, сушит мокрые носки, с 15 до 60 лет строит себе катафалк, после 60 едет на нем на кладбище, его провожают женщины из кружев.

Тут и матриархата нет, детей кидают в лохань и ее прибывает волной к мужскому берегу. Мужчина берет ребенка в рюкзак, закрутит члены, какое уж тут воспитание. В сутолоке автобуса билось сердце: я оставил на балконе дверь, не закрыл, в нее входят воробьи, пыли, женщины, машины, бронетранспортеры, крадут бриллиантовые залежи, полки с книгами с личной подписью Шекспира, Пушкина, разграбив по книгам, лезут на стены, а там Гольбейн Младший, Бакст, Вермеер, Катя Медведева с Эйно-Сиротой; награбили и это; рвут обои, а под ними слои долларов, франков, стерлингов и валюты; и это взято; иконы, в них засушены уши Франциска Ассизского и пр. св. Теперь в квартире полная бездуховность. Еду, дробится что-то в мозгу, со щелочью. Вскрыл ключ. На балконе закрыто, в кабинете стена на месте, бриллианты и книги целы. Еду назад. Автобусные вагончики заблестели из стекол, в них головки, обтянутые кожей, у шофера ротик пуговичкой, а внутри в автобусе холод веет, будто это едущая льдина, колесная; я сидел тихо в судорогах, Ленинград катился вдаль, дома исчезали. Хорошо б возникнуть вокруг города и кричать: все спокойно, все спокойно! Так и ночь незаметно пролетела б, как в прошлом. Кожа нерусская, сырая, из кнутов свитая, рты кривопухлые, непородист народ. На закате туча света, у длинной собаки две миски, похожи на латы, нововыкованные, а пес в будке, на цепи, а сороки тут летают, не разлетятся; закат действует как вино, как легкое лекарство, розовое. Раскрашенные яблоки. Корова идет на Вы, а говорит Мы. Корова увидела, закусила цепи и набросилась, вот бы мне такую, кто ее предки, скандинавы? Она на меня глаз крутит, лихой, злобно-зверский, меня она тоже возьмет на вес, на роги. Интересно, как холод идет через стекло, какой он энергичный. Чего б я сейчас съел, морковку и рыбу красную и сладкую, в соли вымоченную, чистолюбивую; беды не будет если я поем; но я ем с другой гравировкой, кашу и мясо, маловкусное, как бы прожить еще 10-20, чтоб рука крутилась вдоль туловища, обнимая за женщину, чтоб на голове росли речи в области теменной пустоты.

Затылок плоский, знак древнего рода, раковина уха повторяет узор мозга, небритость молодит, легкие штрихи лица, нахлобучка черепа на глаза, шея столб, на горле вена, руки королевские, ноготь на безымянном пальце образует усеченную призму, силы много, ноги как у льва в юности, тонкие стопы, таз как у льва зрелого, каждые два-три месяца в грудь вонзается кинжал, — автопортрет.

Впервые видел, как из ржи выскочила масонка, обвязанная и понеслась по обочине, на голове блуа, я делаю руку трубочкой, чтоб смотреть и побежал за нею, ноги не гнутся, бежит как деревяшка; я не рвал, смотрел цветы, озерные; если смотреть,

сам запестреешь, я запестрел. Закат с голубым в конце. Бывает ли проза беззвучная, но это литература, многие пишущие думают в уме, что они-то и отлично дописались! Проза это не то. Это когда звук с третьей страницы слившись с четыреста семьдесят шестой образуют вдвоем цвет вчера птице-черный. Дождь дует, брызжет, сорока сидит в трубе, оттуда стрекот, ну и дела, идиллические, я не помню, у кого из народов черные губы? Сейчас девушки ходят с золотыми щеками и надо мыться, хоть лопни, хотя бы лицо вымыть насухо, я не встречал за последние 30 лет девушки, которая б на ночь вымыла ноги. Вчера пришла мысль (и ушла): отчего умер Наполеон на о. св. Елены, воды сколько хочешь, в чистоте, деньги были, книги сам писал фигурально, на отдыхе, импровизир; молод, силен, красив, поклон Европе, ел вкусно, бильярд. Он умер. Не будем забывать о том, о чем забыл мир: корсиканский мафиози, он и вел себя в своей фамилии. Он жил где-то долго и грустно, по договоренности. К собаке, кошке и сороке еще и метла, ходят, полетывают, а метла стоит, на палке прутья, во дворе чисто, гости наедут, деревья нарвут. Клен красоты у дома, пол обит железом, как в кузнице, кровать из железа, ватой подбита. Х., Ю. и внучка, вот и жизнь тут густонаселенная, карандашом вены красит — внучка, муха черная, летает на своем аппарате, ручка пишет пастой, картошка варится, женственная, то живот с дево-пупком, то грудь, то задние части, а вынешь, слава богу картошка, шесть маленьких белокожих варю в цилиндрической кастрюльке, пар рвется ко мне; сижу, прижав нож к губам, нож рядом, бриться это трусость поведенческая, уж лучше стрелу пустить бумеранговую в себя, она выйдет у лопатки, наконечник выгянет, как мышка, железная, и ты тихо пойдешь к Отцу дорогою плоскостей. После многих лет, проведенных среди л., хорошо уйти Вверх, там сияют лампы дневного освещения, полная гиря луны, лежат с ногами боги и их дети без жен, кубический закон массы, усеянный огнем, путь один — Молочный, приближаюсь; близятся дни, когда рты закроют губами, ведь мы говорим при помощи электричества, его вырабатывает плазма, текущая меж всеми частями тела; приближается бег стрелки, высокочастотной, ее возьмет Некто и переломит, как шпагу над голову, и все металлы сольются в один, неразъемлемый, и люди сойдутся, чтобы стать одним ч., тут-то его и повесят; и сядет тот Один на металлическую лаву, как на пластину, и посмотрит сквозь руку, сквозь брови, сунет пластину за пояс и полетит, очертясь по вселенной. На этом и оставим планы на будущее. Идут гордые друзья с букетами звезд — букв, и будем бить в обручи стрелой русской тоски. Пришьют пуговицу к ноге, это в тысячу раз хуже пронзенных ног Христа. Всюду призматическое яйцо, птицы видят

север, крошечные реки идут со склонов, поля пусты, запоздалы, мы спускаемся на веревках с иных дел, чтоб описать эти.

Видел Г., господи, в том году весил толсто, в этом истончился, носки на плече сушит; мойщица подносов выросла, в том году девчонкой гоняла по полу, эту спортсмены из спортшколы обтесали, смотрит без головы на мужчин; кассирша кулаком стучит вместо счетов, а повар с локонами (мужик), странно. С подноса хлеб падает, овальный, по-императорски. Выставка блюд похожа на тюрьму, берем с решеток, — город, город, черные крыши. В магазине меряют обувь, ноги вытянуты, наденет сапог на ногу и тянет к потолку, идешь, как под арками, если ж сядешь, столько ног скрестится, что не встать. Куда бы я ни приехал, это замкнутое пространство, камера-обскура, круглая щелка, и мир перевернут, вверхногий. Если шествуешь с пламенем, коронуясь, ты нормален, увиделся с жизнью в гравировальных досках, но вот ты у стекла и смотришь на предмет до того, что оба изнемогли — и ты, и предмет — много дано, друг, идеализма, держи конверт пошире, получишь письмо, что ты постиг две точки А и Б, удвоив их до АА и ББ. Кожа открыта, кожа открывается, если ее не любят долго, и обнажает ч-ские города нервов и вен, мы еще запомним этот рисунок на 93 стр. жизни. Уже есть крысы с ч-ский рост, им скармливают мертвых, если 1 млн. крыс выпустить на Европу, будет бум, водородная бомба для них тучка с огоньком; уничтожив Африку и Аравийский п-ов, они поплывут за океан, к свободе, они могут спать и плыть, их скорость выше торпеды, военные корабли они съедят как сухарики, отравляющие газы, пущенные из Америки, их возбудят, как алкогольные, они выйдут на Манхэттен и от брызг поднимется буря, облепив небоскребы, они свалят их. А страна, спросят, расскажи про страну, что спустит стада. — Из кабинетов, — уточним, — они вышли, мутанты. По смерти крыс мы возьмем мир чистыми руками.

Х. в железном ведре крутит белье мясорубкой, я заглянул, белье целое, вымылось. Я все ж поймал масонку, одну, и стал покрывать ее поцелуями, ничего не вышло, будучи обнаженной, ее ничем не покрыть, разве что землей (сырой). Масонки есть маленькие, как бутылочки, и такие, что только третий, встав на головы двух, может охватить ее голени, я их наловлю все ж, для ванны. Двуголовый пес, с одной стороны голова девушки, с другой мужчины, бегают, довольный сам собой, еще бы, в одном псе семья, катится на роликах то туда, то сюда. Кассиопеи, кассиопеи! Я по лесу шел в черном шелковом плаще (зонтиковом); по всему миру строятся колонны силогизмов, Пти-пти, простыни висят на заклепках, при дворе, ночью в них кутаются призраки и стучат в окно: помни обо мне!, лето уж не то, осенне-летнее, птицы застегиваются на пуговицы, скоро на Юг, совещаются о военачальнике, вострубят аисты в полет, и эти громады поднимут

шасси, махая руками в меховых одеждах, помчатся вытянувшись, мелкая птичка полетит из угла в угол. Костюм чищу, очки, чтоб не забрызгать от метеоров, колбасу ем, надолго, ос нет, небосклон затянут парашютами, спускаются психовиды под крышу туч, стеклоцентрали. Дом построен безвыходно и живые л-ди быются о чetyре стены, солнце поворачивает окна, пол смывает, мужчин нет. Куда идет время, безнадежно пустое, в выдыхание, если закрыть глаза — оранжевое море, солнце давит на руки.

Да, видел змею, змейку, гадюку без скидок, в лесах сидят змеи. Осторожность в малине. Те головы, что я видел в огне, не галлюцинация, это лесные змеи, это они стоят качаясь на хвостах, а не кусты, это они быются головами звонко по лесу, это не бурелом, а клубки змей, спасет огонь, но кого, змеи бегут со скоростью звука, ползком, а деревья сгорят; то-то я думаю, что это деревья в дырах и оттуда ленточки, а это гнезда змей, и грибы съели, не лося почерк, змеи; и болота развели вроде ванны; ну что ж будем ходить в змеевник, ведь и они боятся нас. Они не боятся, у них грудь женская; если гнуть.

Рыбаки ловят масонок, с удилищами, машины распахнуты настезь, чтоб обнаженную масонку втащить, уж задние кресла готовы для бега и венчания, лежат кольца и трава, чтоб доехать до брака в целости, без помарок. Увы, ловли нет, рыба идет, всякие хвостики и ротики, но не масонки, не идут, может они под озером живут, под дном в верхних этажах лавы и огнем дышат? Мне они попадаются часто, но уплывают в ящиках долга. Еще лес золотится от них утром. У масонки (пойманной) гладкий таз, больше ничем не отличается, я долго рассматривал на полу, я мог бы не ловить, а раздеть немку, москвичку, великобританку, — то же, те же члены, так же расположены. Только в них есть что-то голословное, тянет к ним, уложив повыше (масонку!) я зажег печь и рисовал на ней химическими грифелями, прокалю иглу и зафиксируем, останемся в веках, а она не против, обнимается, я стрелял в нее шприцем из ружья, она падала с башни высотой 72 м, устала, большой палец грызет. Их будут ловить тралами, идут полные поезда миссионеров из Татарии, татаровидные хотят весь мир закурносить и оскулить. А у масонок шейка. Идут по Балтике масонкобойные флотилии, флот с гарпуном полным яйцеклеток, втыкается в тонкие тела. Масонки ж, убитые гарпунами для консервов, взрываются в банках и летят вверх корабли от подводных молний. Ко мне приходят масонки, прямо на чердак и сквозь доски светятся их тела. Иногда в одном луче, если дождешься, влетает 20-30 масонок. Иногда из печи. Я долго не видел их лиц: рубиновые и изумрудные...

Чтоб стать огневым (станем!), сколько книг сжигается, бесполох, горит графит, в каждом бревне не более пяти рисунков углем, а в дымоходе — сажки на пузырьке туши, ее не делают, труб

будто б нет. У нас лицо розовое с мылом мытое, не придерешься, каждый мечтал стать трубочистом, мы стеклышки от них поднимали и в спичках берегли. Жизнь пламени короткая, огонь пеплом закрывается, стынет, остыл. Теперь тепло. У углей цвет электрический. В будке песик с ложкой, а котик лежит на собаке, ухо кусает ей, велосипед прислоненный спиной к стене, не ступить в дождь. Труба неогненная, пустопорожня. Одна ночь становится полужизнию с женщиной, или наоборот, проснешься один и ударишься о кровать головою, кто ты, себе не нужная рукомойня. Крупноплодные девушки, бело-вато-лебеди, дождь от простуд сердца, кровь по каким законам ходит с боку на бок? Ч-к слишком сделан, чтоб быть производным от кого-то. Жизнь мала, луны нет, от холмов веет красным, дорога свежепосыпана, пес головой качает из будки, тринадцатилетний мальчик на мотоцикле, куда б ни пошел я, он с ревом выходит из-за горы, в шлеме, веснушчатый, поднимаясь в воздух; я снимаю плащ и в последний момент изгибаю спину назад, и он пронесится мимо, не сломав мне позвончик, однажды я зажег сигарету, он испугался огня и исчез. Лодки на озере, как воткнутые булавкой в гладь, никто не ездит без волн. Собачка уходит в тень, на камень. Ч-к не растет из земли, он уходит в землю и из него растут штуки. В ж. моей я девять раз ездил на каталке, в операционную. Я приучил себя сохранять вид павлина, суперптицы до каталки, даже ночь перед резьбой чушь, спим отлично, даже брение интимных деталей не страшно; спим, просыпаюсь, как все; жду с легким недомоганием, когда ж каталка, без дрожанья, безболезненно, не печалюсь; но когда каталка, раскрыв обе половины палаты — въезжает, с сестрою в монашеском, и идет к моей койке, — ужас, ужас, биение сердца на предельных нотах ударов; едешь по коридору и страх сменяет сердце, бьются ударами топора, затем в вену начинают вводить что-то липкое, делают уколы в глаза, протяжные, уколы в черепную коробку, и шьют, глаз зашивают. Эта операция психически страшная, ранят иглами мозг, и это он реагирует, а не ты. Но когда режут живот с консилиумом, профессура в женских платках, — ты спал, и в глазах плазма, тела переплетаются с телами, рождаясь, это видения (вытянутые) первомира. Потом кормят киселями и дают книги Клаузевица. Голова отмокла, я сижу у дверей, как голый пес, сидящий шпион, сидя шпионить лучше всего, спи спокойно, дорогой, время летит как тютелька. Ребенок (китайнка) улыбается, как тигренок, мне мешает ее половая незрелость, привести в равновесие секс не сложно, придешь с бега, вынешь ноги из сапог, и они летят по комнате, бьются о стены от легкости. Я надел белую шляпу к плавкам для приличия, под дубом видел убитую сову. Туманная вода идет из чайника, вечером грибок нашел, идут вокруг озера, золотится, вода шумит, гладкая, утки плывут головой вниз, а с боку грибок стоит красноплеменной так

на виду, что никто не взял. Я взял. Красный цвет сразу ж вянет в руке, и сахар грибной тает, для чего ж жизнь ради того, чтоб дышать, тоже мне шедевр — дыхание. Я вынул ключ и долго ждал, кто топнет о порог, не отозвалось в пустом доме и я стал спать.

Рыжиныки растут у деревни П., а дальше дорога, мох, елки, рухлядь, и рыжиныки, те места знаю я, я обычно беру белых, красных и им подобных, насверлю землю и натыкаю их вблизи рыжиныков, у трассы, грибники на машинах, выходят из машин, как у Хемингуэя, с ножами, свежесточенными, огнеблещущие сабли, за поясом лассо и идут на рыжиныких цепью: пригнувшись, в крашенных шляпах для маскировки. И что же? Им наперерез стоят белые (мои!) красные, маслята (звонкие), грузди; крадутся, думают обманывают, нет, тогда они хватают корзины (магазинные) и насыпают отличные грибы в них, вывинтив из земли; уж мест нет на сиденьях от корзин, и забыв обо всем на свете, кладут в машины эти штуки и с победой летят, их крики слышны долго; выследив до конца, как все вынуто ими, и уедут, гремя голосами, я выхожу к моху, к рыжиныкам. Я беру столь же свежержаной хлеб, солю солью как для лошади и меж двух буттер кладу шляпки рыжиныков. Антракт, можно час предаваться склонностям. Через час ем бутерброд, он готов, это идеально, есть надо так, как я пишу. Прокладка делается не менее чем из 12 шляпок, съев (не надо медлить!) нужно встать и уйти, они дают много силы. Нужно идти на охоту на масонок, они издалека идут на запах рыжиныков и их легко взять, губы держа наготове. И с порошком мухомора масонку взять можно, но спереди, с длинною речью, рассчитанною на образованную аудиторию. Лучше чтоб ты рыжиныков насолил на хлеб и дал.

Последний день лета, уже печет солнце холодно, детям в тюрьму, на доски сесть, как несчастным, мн. детей идут к схоластам, чтоб их те лоботомировали, а те в лобну кость в пятнышко жалом лжи сверлят, сверлом неправоты, соком тупоголовости поят, логопеды. Мы шли под грохот канонады из школ в орды, в демонитчики, в голоса, школы пусть колышутся! Сейчас не уйдешь, шоколад в маринованных банках дают на язык, мини-ширинку мальчику в штаны шьют, чтоб на уроках ссал не в туфлю учителю, а в стул, утром побудка и на шею петлю, тащат в кухню, чтоб жрать жир, а хуже всего морду мыть, чтоб глаза жгло, да и руки не работают, потом мать и отец берут по автомату и проверив огнестрельность, ведут, подталкивая дулом в шею. Где ж освободитель, малыши? Выпить бы полпорции коньяка, взять девушку на тюфяк своего возраста лет 7-9, отлюбить это, а уж завтра писать на их химических сетках цифры. Нет, идут гремя ногами, руки распустив, и так 10 лет, выйдут из школы пустые, по штампу, молокодающие, головоногие малютки, и цианистое солнце взбултыхнется.

Гори моя лампа, голубой уголь, фарфор с майоликой! Пропадаем! В день, когда солнце целое и от него одиннадцать тсч. пламенных слов, гори в рукавицах, лампочка, ровногорящая. Нет йода! Полночи занавесью фонарь закрывал, ем язычок коровий, приятно, ч-к плосок и двигается на фоне плоского неба, в корзине лежат 16 масонок, я гнездо сшил, желтый цвет поздней готики, ритмическая родина. Пропадаем, рудиментарные отростки, я сплю, как плясун. Известны два подосиновика — Брут и Иуда, чародеи. Одни выдохи, а не писания. Озеро с горы, форм нет, 9 час. вечером, сколько чувства гибнет при перевертывании женщин, я руки сдвинул к животу, готов. Золотое небо сверкало везде, чистопородные мы четверо: земля, небо, пес и я, у нас голосовые связки на ночь. Ночь пустая, голова не пишет, белка у озера стоит как единица, лодки стоят у причала как бальные пары, в воде сидит старуха, смотрит в щели, ждет выстрела. В гостинице стучат топором (по убитому?). Я б спал на горе, обложившись утрянми, положив под голову печеную картошку, штук шесть, чтоб слуга Сильфан дал в губы бутылку. Что такое в окне, полном тоски — молнии в августе, крупные бьют по лесам, т.ск. гром для дров.

Уезжай, твои дни проеханы, ничего ты тут не отыщешь в себе, сушу шкурки масонок, на мировом рынке купит Метрополитенмузеум, у них художественная ценность, моя выделка. Только в себе можно найти гамму, ноги напудрены. Отпустите меня на тот свет, я — книга, мутант мира, нео-существо, остальные — мертвые времена. Нашел золотой дубовый букет, вставил в вазу, сидел у озера на тонкой скамеечке, и кто-то меня лизнул сзади, шею, уши; утки у берега, катающиеся, запорхали, я оглянулся, тонколицая колли лизнула в морду, пекло солнце, потом псина вбежала в воду и как туча поплыла уток гнать, и те отъехали; успех нужен в юности, иллюзия, золотая иллюзия юности, необходимость. Еще голубое небо и заката нет, потому что впереди надежда — нуль, зоофилия, вырождение, женщины поют женщин, тоже ведь о животных. Много ль дано огню? Есть строения линий, о них нельзя говорить, осень, уж ехать надо, 10 (цифру) соблюдать, едем, едем.

ПЛЯЖ ОДИНОКИХ СКАМЕЕК

1. ЗОЛОТОНОСНЫЙ РЕБЕНОК

От суммы названий музыка не меняется. Огненный младенец меня провожал со слезами, на мраморе метро. На черном камне пылала бедная его голова. Когда он сидел на диване в Неве, спрашивали: кто это? дитя? Я сказал. У Лавры он был невидим

на золотых куполах, (на фоне), его Кто-то искушал, говорит простуда. Нет. Дитя дутое. На Невском у икон (где продают) — Б. П., пьянорожий, со щетками на голове и лице. Я спросил: Б. П., ты чего плачешь? (он плакал). — Горюю по огню. Я увел огонь. Вообще у ребенка морда сильно побита, ушная раковина в особенности, веки фиолетово-малиновые, губы кто-то бил. Меж колес мелькает его голова. Прощай. Кровь с рук я сниму и отдам в окраску. Мой голос воспоет, и буду я одинок, как степь и песок. Гриб бы увидеть. Увижу, увижу. Вдаль бы пойти, найти. Старики ходят, мозгами шевелият, ногами гнут, старики руки дают. Раскосые, до пояса голые азиаты орудуют в магазине. Круг света. Птицы в синеву что делают? — свистят.

2. ЗАТЯНУТОЕ МОРЕ

Камни убраны, чтоб я виден был Сверху, как на ладони. Я всем виден. Обнажена моя голова. У моря гладкопись — шагов, слов, люб-ви. Ромбы девиц. Удочки носят в чехлах, опозоренные. Ласточка взлетела над дорогой, чиркает меня. О нет, о нет, огонь взвоется. Лежат на море горы и реки, волны, тела неутолены. Я покажу тебе круг, где бьются лицом о л. и ничего не получается, пуговицы. Где горят трагедии сил, ребенок древний, в готической позе ты стоишь у колонн, плоских, крапленых, как карты, с лицом намазанным и избитым, с головою, обрезанною ножницами до костей, одно горлышко твое пело, а слезы лились. Я покажу тебе жуткую картину показа тайн, где лилии долин в желтых перчатках берут за горло, теоретик неправд, я буду л. твое стеклянное т., Господи, стой! — от меня до Тебя один дом, ледяной, льда. Спозаранку, температура, л-ди, движущиеся в реке, хотят утонуть в море, перепрыгивать через реки, к-рые втекают в морские страны. Неверие в реальность (отсюда). О. р. я вновь увижу. Облака в колбах, их химический состав, дынные сосны. Ел пирожное с круглым кремом сверху, в шляпке. Строятся стаканы, в них дно и без дна. Зелень колышется.

3. Я БУДУ ПИСАТЬ О МОРЕ

Море в теплых камнях, свистят псы, я стою опираясь, облокотился, ладонь кладу на камень — существо, долгожитель, его целовать лучше, чем женщин, он неизменчив. Он росист. И вот он обсох, пятна и трещины, идут л-ди, глядя. Не ходи, дух (глядя!), не ищи щек, пей теин, люби блузки, колотится лук в твоей груди (гробовой!). Нет, нет, техника отстаёт от бреда, приходи, дорогая рутань, пропой мне рапсод. Как-то я вошел в

детстве в клетку из больницы, где три года был в гипсе, мне после шприцов и стен казались божественными — цирк, пять львов с пятью носами. Потом у меня плакали женщины с такими носами, у них мокрые шеи. Проходит детство — уходят души Ввысь, я хочу обратно в ребра, где жил до рождения. Не томись, будешь там ты. Я буду писать о море, оно — одеяло земли, остальные вымышленные. А ч-к? — гибрид кривд, персоною. Чайки как одуванчики у скамейки у моря подходят дети: идем! — Но куда? Останавливаются в изумлении в панамках: не знаешь, куда? в море! — Но там тонут. У дома призраков нет злобы, или я слепну. Гр. В. занялась политикой, ее колесница украшена флагами, к обеду бьют в гонг, на ужин в барабаны, посуда, хруст реализма, в баре варят шоколад, пробую — пиво с соей, скоро начнут строить ступени от меня к небу, иначе не уйти отсюда, уж идут в шортах строители с антеннами на груди, дети закидывают ножи на ступеньку, можно ль сделать так, чтоб из камня и невидимо? можно.

Как поет Огненное дитя птичьим голоском, я лягу на поясище, мне часто снится не голос, как казалось бы, а наоборот, я не примирюсь с тем, что меня примиряют, это не мое, не мои это, я думаю, разовьются другие, золотые вещи, тиканье внутри танка означает — населенный шар будет крутиться. Время уходит, поют выпы. Приехала ЛБ, пошла с Ло Ш. ловить грибы, угром ели грибы в лесу Ло Ш. с Гритой (чернику ели?), лес создан для соблазнов, пауки допрыгивают в рот, а паук как из речки выплывает из лесу своего. Громадное значение.

Ночь, отпарился в душе, кусаю скло ручки, ходил в лес, в левый, там дорогу кладут — куда? походил по той дороге, поскучал, вытерся полотенцем. До этого был съезд у дам у Г. Г. чай, как коньяк, похмеляющий, Ло Ш. в пиджаке с кленовыми листьями скучала. А на закате часов воспалился глаз, роговица розовеет. У моря песок, на нем грибок и белая роза, и камень-голова, глажу, глажу. Солнце, прощай. Иду в лесок, а потом моюсь в пене (своей). Бьет двенадцать.

4

Я создаю систему: нерожденный, посланный, целевой, осмотревший, не вмешавшийся, отлетевший. Отлет. Но это отлет из этой книги. Я ограничусь собою, биосфера, саморастворяющаяся, и исчез. Не вижу нового отворота времени, тех страниц, где грезят. Я могу писать и левой рукой, а изменится немного — шрифт; о горько рукам, гулял по Щучьей аллее, гуляют, берут ягоды (с булавочку!) и в корзинку их, м. б. в этих ягодах жемчуга? Да нет, я ел, ничего, кроме черноты. Песнь пою. Ло Ш. ищет чернику.

Что плачет луна моя, закутанная в золото? Строю крышу отрубленными ладонями, как черепицей. Костры, раскрытые. Женщины руки на груди рвут, ослицы морей. Камни выходят из моря, как печали. Никто не неповторим, тот же механизм, прыгают по Шару, как один, как одна. Ванны в море, я покажу гипнотическую изнанку бога-любownika-сына-кастрата, я знаю линию Аттис-Крестос. Но разница времен: Аттис рожден лучами, Крестос от луча, оскопление у Аттиса само, у Креста от рук чужих. Версию индо о побеге, о любви к Магдалине отклоним, автор Никодим и его Крестос подставные. Они хотели очеловечить Креста, дать ему деву с камнем, не кидаемым без греха. Хотели, чтоб Он ушел ширь, а не Вверх, однако Сыны уходят вверх, а здесь морализаторы.

И встречающие, и встречные трутся, поезд ушел, платформа пустеет, ветер, Огненного ребенка не будет, а будет утрюмая рожа ночью (моя!), а под подушкой — вторая, плоскомордики. Нет олив. Море с немногими камнями, но сильно стоят. Я думал — нахлынет Огненное дитя как золотое море с белой розой посередке. Тупею, питомец. Среди камней я свой, но холодно у них, среди л-дей я закрываюсь сероводородными пузырями, день ожиданий поездов, день ударов.

5. РОГА ПРОМЕТЕЯ

Груши, яблоки и 3 помидора, уют, простыня -- вещи неведомого употребления. Из моря вышли рыбы и буквы и сталь низшей формы — женщины. Кожа мокнет на ногах, да и на голове. Огненный ребенок вышел как галлюцинация, яблоки скусаны. Я искал. Сижу над садом, трусы сушу на балконе, призраки черные вьются. Я гибну, светло-синяя тьма, опаленный и свежий О. Р. вошел и исчез. Руки больны кровью. Огненное дитя как фарфоровая чашечка и кувшинчик, я искал на 6 дорогах — нет, поезд пошел — и в нем ничего фарфорового, одно дно, а на дне на деревяшках сидят мясopotамы, а дитя куда-то умчалось, диоскурное. День кончен, ночь пришла на смену вечернюю, ночь идет! Кризис, а лгать — о оголтелость, взор разочарования. Велосипедистки мечутся как спицы, туча, спаниель в море лаёт, бьется с чайкой, 6 хозяев стоят, 10 уток сидят на 10 камнях в воде, видеодвигатель в голове смотрит на предметы, каменные, и что ж? — точки, точки, точки. Простуда глаз растима, поезда скифов идут на те рельсы, где скользко. Уголь предназначений. Угол голубя равен четырем скрещенным треугольникам (цепь отрицаний), отчего сю птичку возвели в горнее достоинство, веточка, сорванная с древа, что несет голубок, а на ней плодик — та ж песнь-эрос, еще голубь любит женщин, скотоложец. Собака бес-

смертна, у нее нет ног, дальше ч-ка не отступить, уходят овцы, взлетают кошки, бесконтактны куры, глупы гуси, но дай им воду — отплывут. Огонь на юге — хоть отбавляй, и Африка, и Греки, и Фригия, и Инды. Нелогично. У Прометея костер, не вор, два ч-ка трутся грудью — летят молнии, горят кожные волоски, мясом жженым пахнет, горят звезды и звери, леса в свету, а уж как он возник — встал на Шар Огненный младенец, ножку о ножку стукнул и пошло плавать, плавиться, да мало ли, все горящее, вспых, хруп-хруп — и труп! Успокоительные. Я продолжаю линию об ослице-ж., как они вешают на уши кисти металла, как половые инстинкты, то же — кормление грудью, дитя — роль любовника, сосущее, отняв от груди ослица-ж. готова его бросить в море, он уж не обнова, а обуза, я видел в море плавающих малюток, и на дне их устлано.

6

Утро с висения на балконе полотенца. Груши в тарелке горой, один помидор. О. Р. говорит, к ней приходят м. с бутылками, потом ее тошнит, потом она просыпается голая. — С кем? С бутылками? — Нет, с теми м., кто приходит. — Что это? — говорит она. Я беру кулак и бью дитя как гвоздь в пол по шляпку, выдергиваю и кидаю в море. Молодость ищет цветы и ветер, а потом идет пот, Бог обещает, но стой, Строитель, не ставь кирпич, это низкая зона.

У моря пар. Гладь. Дети о четырех ногах. Елки как вершины гор, а горы текут, укачивая. О. Р., ребячья лягушка, жабье божество. Бабье торжество. От спин запах псины. Я понимаю течение женских одежд, отлюблено. Дождик, маленький, а потом как металлолом — рухнул! Трегубые гитары. Пройдет поезд в Америку, прокатится море выше ног, напечатают книгу, играя локтями, 13 км, умрешь у моря, скользящий по лавкам, и что ж? Душу сверлят руки, бедное тельце огня в веснушках, смотрю на тебя как на могилку, раннюю, где голова — золотой крестик. Наговаривай, наигрывай, пой эпикю! Весь мировой ажиотаж вокруг детей (бесполох) и б-дей. Где ж женщины, о дружже?

Четверо вошли в дом призраков, стуча. Приклады в руках. Стреляй. Стреляют. Но пули идут не сквозь, не прикасаясь к крови и улетают, огибая стенки; в космо. Ну что, убийцы целей? Я наловил пуль в чернила, растворил, пишу, бескровный, стою, смешной, борюсь со мной, целебным? Скоро, скоро отлечу.

Полны достоинств пишущие массы. Голуби идут, поля плещут нам в спину, нет интриги, О. Р. любит говорить о своих эротизмах, как согнули ей кость в момент оргазма. Психически больной лобок. Лавки отполированы и залиты, песком засыпаны, над

озером — чу, луч! И он отошел. Никаких неожиданностей, звонкие шаги поперек. Клячи ночи. Я переходил, дрожа от воды, обдающей. Кресло в комнате как в автобусе, пописал, кладешь затылок и спи. Нет, не верю, не верю в нарезные роли. Парился под кипятком, закат синее, закрыл шторы, сижу, страшен, Огненный ребенок — просто дитя, дети демоничны, я стал писать, как лаять — кратко.

7

В городе много фруктов, груш и яблок (список кончен). В лесу серо и солнце, ходил в 3-ск, оттуда ехал электричкой, на пляже много цветных трусов. Много чего много. Огненный ребенок (бешеная собака!) синее, пил, стакан, коньяк, лакал, сука бетонированная, видимость, оптика, маленький идиот, сдвинуты черепные кости, плавучие ноги, белая шляпа, голубой свитер, ноги голы выше колен, в ж. жидкость — головной мозг.

У моря жестянки, банки рж., толпы велосипедистов на тонких колесах. Дорога до 3-ска скучна и солнечна, идут рабочие и Кто-то в шелковом. Вышел, ушел в дом. Птички насвистывают (у нас!). О. Р. лежит, как лист в кровати (где-то!), сердце остыло, невозможность будущей жизни, неценность. Верхний Б. жесток. Он только будет усугублять физио, он слишком слаб, чтоб дать мне быть. Он — санкция, сделал из меня функцию.

Дитя было пьяно. Нож лежит в пепельнице, роза, стоящая в стакане 9-й день, красная. Погода неизменна. За 4-ым лаковым столом в столовой кто ни сядет — умирает, за 10 дней ушли уж 2 старухи: ЛД и еще одна, рядовая; села молодежь, но ведь в доме призраков всем конец. О да, но кто на каком стуле!

В глубине (моря) тапочки. Кто-то снял их и лег в воду, они на дне. Я сплю от сердца. Дождик слабый, мелкий и раскаты, волн концы набегают на пляж воды, песок скрипит, дети днюют и девушки лет 16 с твердыми ляжками, из плеч кости торчат, диагноз глаз — дебилы. Пасмурно, кризис с Ло Ш. до усталости, ругань в доме, на дороге, у моря на камнях, на пути. Пестрый камень сброшен, чтоб следить за мною с Высот через кварцы. На лавках дуалисты МД — мужчина-девочка, м. обтянутые, у д. чашечки, нео-любовь распространяется, в стоящих машинах одни задранные ноги. Скучно стою у моря как хронометр и придвигаю и отодвигаю воды. Я видел черного пса, он лизал гладкую поверхность метрах в 500-х, поднял голову и пошел в лобовую атаку, но я выставил ладони и сказал шесть слов на звуках Кун-Фу, пес подпрыгнул, завертелся, сел на бок и издох. Борьба... называется.

Капитальный свет изнутри дома, из стенок, роются в тарелках — призраки. Одиноко здесь, полные ноги песку принес, шум волн скоро погибнет. Шум шагов. Гул воды. Мылся то в одной ванне, то в другой, а сосны шумели, пышные и красивые. Путь устлан расцветающими розами, Ло Ш. говорит, все круглые предметы красивы (в особенности урны, мусорные), а полукруглые? — спросил я. — А полукруглых не бывает.

8

Ночью вышел, видел урну, мертвоотлитую, вазообразную с дыркой, из бетона, на поросячьих ножках, и тут же метрах в пяти фонарь на железной штанге, светящийся мертвым огнем, а на нем — кепка жестяная. А в небе луна и тучи. А слева дом и ступеньки. Идти или не идти на море, у меня и так море лени. Писал Джералду Яничеку, купил колбасы и пепси, море зеркальное и купальщицы нарисованы на пляже. Удивительная оптика, и отражается, и фиксирует, вода и линии, и пинии, дюны выпукловогнутые, полирован пол пляжа. Кажется, за линиями стоят. Кругляши пьяноглазых.

В лесу сумрак, Вверху то же, любовь непростительна. Утюг ходит по клетчатым брюкам, звеня. Конец дня. Пол деревянный грустен. На руке часы, море пошумнее, дождиком обрызганные головы. Пароходики (это лодки). Небо затемнено, три вороньих пера сцепились, лежат на диване. Жизнь есть! — ознаменование улыбок, красные овощи на тарелке, цветы пышные, стакан, ночью отупею, отруплюсь, вмерзание в кровать. Освещен холодильник; выключатели. Покупают груши, превосходные, море урывками, потом капал дождь, как из пальца. О. Р. чудесен, прелестен, но не любим, велосипедисты кончили сезон, грибы несут в чемоданах из шкур, лисички, красные и соленые, продают мороженое, лес трещит от грибников, на воротах написано «90 — комутанты» в окнах просвечивают их окорока — это будущее, тишина, тростники, свиные песни. А с моря лодки, срубы моих химерид. Куда ни взгляну, сидят на корточках. Удачи! Я вспоминаю дни смешений, сны весны, котел лиц, сморщенных от надежд, авось проскочим! Не проскочили.

Зовут, виза кончена, пора плыть, взлететь, уезжать из зоны в мир прибытия, отбыл, попривраковал, ухожу, никому не открытый, как ужасающий координат. Гибнут бездны, удивлению подобный, одинокий, держит шарик Зем. — Бог. Девушек я вижу, у них необычный таз, а изо рта языки. Поцелуй меня, цыпля белокожаное, наслаждение ртовое! Ночь, на коврах сняты цепи, пыль высосана, хотящие гениальности за дверью, ждут звонок, на побудку, они идут в скользковымытых чулках, здесь каждый

четвертый труп — неограниченный оазис. Зал окрашенный. Леонардо спал каждые 4 часа по 15 минут, в сутки 90 мин, я живу в тех временах, а тут — отныне и навеки другие времена в тех же самых, что и были.

9

У моря у сожженной лодки — лес-смолоносец, шел по песку мимо консервной банки. Уточки; полный залив. Кончилось лето, кончилось это, пляж одиноких скамеек. На камнях толпы крыс и рыб. Трубы, из к-рых летят пули — повсюду. Эй Ты, Всевышний Тытик, уедем! Пляж пуст, тенты, балдахинчики-эллипсоиды, остов сожженной шашлычной. — Не пиши прессу, — говорит мне Тот. Смотрю Вверх, где ж ключи, чтоб лететь? Бутылки бьют. — Я не ихний, не тутхний! — кричу я. Односторонний диалог. Ло Ш. стирает синюю рубашку, морской маскхалат. — Пули были? — спрашиваю я. Она подтверждает: мешочки пуль, стекла осыпаны. Я осмотрел и увидел ожидаемое: вневременной металл, там штампы: Б-г, Б-г, Б-г. Бог метит.

Грохнем! Куда ее копить, эту ж-знь, у меня на ногтях нет лунок, птицы воду клюют остриями. Бог вывесил плакат: НЕТ ВЕСЬ Я НЕ УМРУ. Скамейки моют, фонари развесили, ночью будет чемоданный гром и струи, струи.

МОРЕ ОТОДВИГАЕТСЯ

1. ЧЕРНЫЙ ПЕС

Прилежность — залог, и сразу же 2.55 поезда, пошел, справа у окна Й. в полоску, пьет из пузатой бутылки (я по губам читаю — коньяк), выпил, вынул газету, головой смотрит, доволен, что один на скамейке, мягкой, вот второй глоток, лицо шафрановое, он еще себя проявит на том свете по движению подземных гор — глазами, сияющими от алкоголизма, так пьют боги гор — озерами из бутыли, серопластмассовой. Что люди — кислые слепки с деревьев рода моего. Гулял под фонарями и пара юных шла, у него свитер, у нее ноги, они и сливались в одного ч-ка, да и сольются окончательно за душой. Я вчера шел, вдруг бросился вниз (с платформы) черный пес и пошел рядом. Й. с ножом стоит. — Чего тебе? — На губы показывает. — Целовался? — Нет. — Немой? — Да нет. — Закурить? — Нет, а сам ножом сверкает: не сосцы у пса, а присоски с передатчиками на пузе. У моря очки черно-светлые, песок иссечен граблями, следы птичьих... будто бы, что я читаю! — страшные руки. С времен

морских китайских самовар выбросило, доисторический, с нейтронной боеголовкой, начинка из изумрудов. Шиповник цветет. Цвети, цвети! Проволоку гнут в песках, смотрю на небо, слепну, это сентябрь, рябина братская, что сказать о воде, по ней шли шары, прохладно-шумящие, лисица вдали, добрый знак, будем ее есть с яблоками, обутленная метелка, выброшенная морем, чайка стоит на камне как летящая, старик на велосипеде, руки держит крутами, на ноге надпись «не забуду МВД», на голове ничего, кожа в швах, — вот и описал старика; пес сигналил. Дают блины и лимоны, беременных не пускают, с детьми вышвыривают, боевой день 31 авг., еще кубики из куриц берут ящиками — 60 тыс. штук. Это на 60 тыс. дней супик. А потом инвалиды идут на каких-то пружинах, без башмаков. Уже три раза ходил в магазин и все выбрасывают то то, то се, близость Комунтантизма. Это дует буря в бокал, черный пес ходит, не останавливаясь, и я не остановлюсь, тело худеет от лет, нужно бы купить шлейф, чтоб обернуться шесть раз и лечь в гроб на доски. Нужно кроме того не бегать в бешенстве, а идти у моря, читать иероглифы, это связки у Тех со мной, не понимаю, зачем большие буквы писать, идет время, а маленькие сами нанизывают на себя. Дают сморщенные плоды вместо румяных, много сходных элементов, ноги, руки, стук головы, мне не нравятся жители тождеств, я вижу солнце, свое сходство с ним во внешности, на моей могиле ночь не растет, я думаю о себе физическом: два скрещенных треугольника шестиконечной звезды — высшая похвала углу, — костяной покойник; солнце закатывается как лобик узкий, и небо такое красно-сине-красное.

2. БАШМАК БОГА

Море отливалось, отлив достиг 40 м, ничего не выяснишь в буквах песка, потерял дождик на море, много снотворных ем, голова обволакивается, видел девицу в прозрачном мешке от дождя, да, день сбит. Несколько перышек, птичьих, ничего нового: выброшен трехгранник без букв, бревна просверлены, теперь это дула для запуска мини-ракет, камень-валун стоит на другом (камне) на одной точке соленых камней, море отошло, и вот то, что скрывало от Тех, а Те за ночь, запуганные, стали писать перышками, срезать бревна, полировать уголь. С испугу схватили ж. на шоссе и воткнули головой в дюну, это обросло мхом и иглами, двустольное. По берегу ходят Й. с мешками и пишут на песке, о да, смешно, надписи на фоне Тех, кто космо, вчерашние книги стерты, только молниеносные напоминания, у самовара ручки тоненькие, будто люди делали, но стоит взглянуть на металлический рельеф, — нет, он из иных жаровен, а видимое

что камень, гранит с плутонием — у кромки отлившейся, черт бы ее побрал, воды лежит, полулежа — Башмак Его, чье имя не называют, но зачем терять башмаки, имярек, легко ж восстановить твое человекоподобие: длина подошвы 3 м 9 см, ширина 1 м, плосковата: высота стопы 2 м 40 см, не такой уж великан, я помню, как Он саданул меня этим башмаком с высот вниз в кровать, чтоб я лежал на земли, но Он так размахнул ногу, что и башмак рухнул в морскую гладь; завтра еще дни, не слишком ли много символов Он выставил мне под нос, я ведь и так помню, друг мой, из драгоценного духа сделанный, в этом месте моря сочтешься ль Ты со мной или шутишь? когда справа локоть к локтю, с камнями, с плеском, центр уже сместился, у моря лодку надувают губами, пули кладут под куртку, остыли, сегодня сожжен ч-к, лежит его уголь, тазобедрен. Самовар, брошенный Твоей рукой в меня из космоса, лежит, ржавеет, не красят, без начинки, не слишком ли интеллектуально? Достоин ли я этих знаков свыше? Мениск моря, зонт черный.

Трехгранник Он держал в руке, на плоскостях вспыхивали три мира, первый — нарисованный, протянутая бумага Галактик, фон; второй — из мыслительных амфибий, желтомутноватый, где живут Те, кто нас начертил и произвел; третий — тут, мы, тутики, здесики. И когда Он повернул наш мир, я сказал: нет, не хочу, лучше из бумаги, со звездочками, но Он отослал сюда, башмак выронил. Я потрогал башмак, твердый, тверже камней (летают, такие муттеррористы). У каждого жука своя струя, иногда Он пальнет ею — и бревно прожжено, вывинчена сердцевина, верх (кожи) обуглен, а из ствола люди летят ввысь, в высоту, как семена для размножения, летят, летят, делегаты.

3. В САУНЕ И ОБЕД

Море отступает. В 3-ске баня крыта серебром, в сауне парются без веников, глядя на горячие булжники. Над мьельней высоко построен куб, я заглянул с лесенки: этот куб кипит, и табличка «бассейн, использовать после парилки, купаться в головных уборах». Я надел шляпу. — А как же купаться! — спросил я Й., держа шляпу в руках. Он ничего не ответил. Я шляпу положил. В бане пьют боржоми, взвешивая себя на железной пластинке. Пишу ночью, сушатся труссы, ночью собирал сыроежки, они пластиночками видны, тучи чередовались с голубым. Шоссе — магнит, шаги магнитные. У моря — какие-то чайки новой породы, корма сильно поднята. Никого у моря, укатили камни, прячут валуны, ручеек журчит, как сталь, белые лодки едут, песок пуст, пляж уехал, сыроежки чернильные, плоды шиповника, персиянок нет, нож летит в пространство, если бросить с моря. Двое идут

в воду, регион горя, утыканный по лесам свежими грибами, дождь то пойдет, то отойдет, электрички гудят пронзительно, до визга, ворон кричит, застегнувшись: я — буря, я — буря! При- знаков нет. Электрички в квадратах, в них лица едут, головы, как в ящиках, я знаю их пофамильно, они демонтировались, встретившись с моим взглядом, теперь они Там. А я по морю, а оно отодвигается за 1 сутки на 20 м, уже рыбы с илом лежат, как в тарелке, кто ест, я избегаю. Плоды шиповника румяны, живописны. Волны как окна, песок в прибрежной водичке лежит как пшеница, на камнях вода появляется и стекает, кто поработал над морем, выгнул его? Я обедаю в гробнице за сорока столами из лака, официантки носят мне свеклу, директор гробницы в галстук. Звонкоглазый орел летит, посещает меня у моря, вечером пишу свитки, беру с моря горсть песка, рассыпаю на стол, пишу буквы и песчинки, бросаю, море сверху — это ряды тарелок, на них рыба, над ними л(юди). Безлучевой круг с огоньками, одна пустыня накатывает на другую, обе в штрихах, розовые звезды: масса моря стоит, и дождь, недооцененный.

Я быстро лишился своего времени и поступил жить, горло полощу азотной нефтью, море это черепаца, ею покрыта земля, мною могут заниматься одни боговеды, я цельноделанный, дорога из черного вещества, а вообще-то Они в сентябре работают вяло, природу в желтое красят плохо, необычайные морские розы в расцвете, чаши широт выпиты, часто мутации головы принимают за величие.

Вышел к морю, как в зал с лампой на весь мир, луна и быстрое-быстрое волнение дорожки (лунной), набросано камней, огоньки городов горят (вдали), камни стоят и лежат вблизи, башмак Бога перевернут, выброшен спутник в виде самовара из железных рулей сделанный, изобретательно, не успокаиваются с красотой морской. Морской зал с луны, с рядами камней, немых. Спутники падали один за другим с железным жужжаньем, откаты воды. Желтеют букеты, солнце в окно ломает мои глаза, бьет во все точки. В бане моются голыми, без тел. Дюны, длинные до неба, а на них боги качаются, как птички. Боже, не боюсь я, серость, материя, неэмпиричен. Глаза выдают неземное происхождение — у меня, лунатики-невротики спят в волнах, лесо-море, в этом году птиц нет, сожгли их, в голове всхлип их. Всю ночь гайки припаивали, якорь спустили, рококо из метеоритного металла, на море скользящие блюда, навстречу девка-инженер в плавках, не погода для голости, одна мысль у нее — иди следом, следуй, Их ч-к, электросварщица, стали насыпать живых существ (на меня), электросварщица гаек — копия девки очень удачная, у Тех есть смекалка. Видимо я тоже удачно скроенный экземпляр. Есть у них и дерзость, утром на всех моих рукавах повязки «конец, конец». Ну что ж, ночь.

4. ОТЛЕТ С КОСМО-Ж.

День у деревьев, качает их, крутит, как трубы, еще впечатления: корни мраморные, деревянные листья, сексуальные; ель, ольха, рябина, сосновая частота игл; планеты — тоже актеры, ядовитые птички, ядовитые кошки. — Юлла, — говорю я, — как ты произошла, если была убита? — Мирра, — говорю я, — садись на камень и взлетай на нем.

Читатель сидит над книгой, как над колесом ртутным. Море в маленьких птичках, зеленая жижа, это Те с небес химию льют шприцами, я окунул палец — зеленый, больше ничего не окуну, глаз работает как рот, за ночь Те построили березу и ивы, склонили их в бухту, спрятали на подмостках моторные лодки со стеклом, осенняя несусветица, на конце каменной гряды стоит Й., дугой рыбку ловит, небесный человек, я ему крикнул: Й, охранник!, а он повернул в мою сторону, из ширинки полоснул. Я б эти лодки взорвал, да дождь мешает, Й. на гряде легко снять камнем, но... осень, пора сворачивать гайки, — я говорю.

Пора, и идут Олга, Нини, Эмма, Лемна, Дмида Лю и др., и др. Я говорю им: пора прощаться с телом. Они ложатся, задрав юбки. — Не то, — говорю я, чисто женское кокетство, — осматриваю их ноги, гены, кудри, — для плодов да, но не для конца. Я говорю: конец книги, пишем последние слоги, не заголяйтесь, вам придется оставить тело со всеми принадлежностями. Не то, ложатся. Я говорю: не для того я вас возвел, чтоб обнародовать. Они: чего тебе? секс? — нет, — эрос? — нет, — порно? — не надо. — Зачем же ты говоришь? — Это смерть, — говорю я, — оставьте тела и навек вон с земли в те трагические просторы строк, где еще вольно. Кате-Рину я застрелил, Ирру сжал на камне и форштевне, долго давил Фаину и Лолочку, лесбиянок, как виноград, Валентиниане я перерезал голос стеклом, а Тайню послал к Й., охраннику, он ее проткнул и принес сюда. Потом мы носили трупы в огонь, что разгорался еще ярче. Обуглив женские тела, сделав из них духовное топливо, мы нагрузили космолодки и дали им (лодкам) дышать. Через 14 дней запустим двигатели. Души девок я положил в карман, и одну только — Дмилы Лю я оставил себе до отлета. Золото осыпается и полетим. Нужно найти черного пса, на днях он лаял, его нужно взять и ножом отрезать от мира. Этих ж.¹ (см. выше) я по-земному отблагодарил и тут остались пробирки с зародышами, земля не обезлюдует, у мини-эмбрионов уже мои черты тела, они надежно спрятаны в плитах мавзолея. Двадцатый век заканчивается моим племенем (пла?), выйдут полки детей из стекла, 20-ый век закончится падением комутантов.

Жалобы лежащих существ, камни на берегу расположены так, что об них бьется голова, разбитые головы там и сям. — Вот я

тебе разобью голову, — говорю я охраннику. — Зм, — говорит он вместо «гм». Я ему бью голову, остаются волосы, я их сворачиваю в платок, остатки развешиваю по воздуху, охранник кто был — баба, гермафродит, недоделок, анти-й? Нью без головы, 16 тел, скоро лететь с этими ню, будет туго, я предвижу еще женщину рыжеокую, вот она и поможет мне сказать «счастливого плавания».

Ни воды, ни дуды, море обложено камнями, при стекловидных глазах хождение с сжатым сердцем, время, время быстробегущее, как прыгун, утки, такие толстые, татарские, — взыв, взмах, едут, сидят как кошки они — ночью, бутафорское бытие. Черный пес бежит в валунах, опаленный, якоря ночью поднимут, в песок воткнут нечто с гайками, это Он бросил жезл, ударился о каменный сапог (свой!) и разбился, одни осколки, песок в сини, Они льют воду с листьев, булыжник величиною в дом и в нем дверь, здесь привозят ж., бьют головой и засовывают под камень, еще возят, делают им оргазм, а потом сажают в крашеную лодку, везут в море, море выбрасывает ребра. Каждый год ложится одна ж. в землю, вглубь, и горит на треугольниках огня в плазме, под каждым камнем зарыта ж., ищи свое счастье, строй. Спать нужно б. Печаль, бессмысленные меры наказания богов, незажженный свет и нужно дать руку с надписью «да» или «нет». Чистоводное море.

ЛИМЗЫ

(эпилог)

Л-д, х-ево, срыв, потерял серебряную цепочку, пел «Черный ворон» десятигодичной заигранности, был со «скорой помощью» со среды до сегодня — 10 дней — в 4-м отделении, инфарктном, там тускло, тоскливо, самовольно покинул это здание, но сердце лучше не стало, тикает, как стекло на ветру. Смотрю по ТВ реформаторов, их лица подставные. Днем разбился, упал со стола и стула, это ударили Те, плохой контроль и вестибуляр, не мог найти лекарств, так трясло, кое-как нашел, потею, t 39,5°. Записываю себя с точностью сейсмографа, но это ведь детали, а не я. Держу жердь с флагом орфо. Катастрофически тает во рту. День начинается лужей пота, он грядущий. Каждый день начинается. Автобус из-за угла мчится из двух вагонов, как мировой океан. Вечер фонариков, бесконечных, безобразных, светящихся в выпуклостях домов. Дома живут по-двое близ шоссе: два-два, два-два, как лягушки в снегу. Арифметическая голова — я, цифры перемежаются, преобразуются в числа и наступает поток. Это идут колеса, возводя Восток, на них едут

л-ди серо-рисовые, служить телам, своим внутренним кишкам и отверстиям. Я тоже так. Лес, силуэты, видел во сне Бернштейна и Бура великого, Бур стал седой!

2. О ШОРОХ

Смерть брызнет. На углу четыре очереди: на автобус, в Универсам, за папиросами, за водкой, они образуют четыреххвостую свастику. В мороженице вместо кофе феррум, как и в воде питьевой. Травят, режут, ножками звенят! А так ничего, хорошо. О ШОРОХ, КАК ХОРОШО, тонкокостная! Шляпу на веснушки! Опух, недвижим, врачи пишут серии таблеток, ушли в глубоких сапогах, сапогоносители. Снег шел на нас. Сырость, ветры; театры. И с Дворцовой до Лавры рушится штукатурка. Поют плохие.

Толпы, колонны у за пшеном, пойду утром стоять, не успел, не ем, купил колбас по цене... за колбасину, страшно рот раскрыть, не верю, что лежит на столе, кажется, это иллюзорный продукт столоверчения. Соли нет, иду с блюдечком, собираю у соседей. День был чудный, немногочеловечный, сине-Невский, автобусы, свежеподмороженные, катили, и в них толпы, но вылезают по штучке, в шляпке и с меховыми головами. Ах как радостно! Пишу под шубой из двух одеял вато-пуха, ничего, не окоченею, начинается месяц смуты-света. Читал, спал в галстук. Оказывается, небо очистилось к ночи, а я думал — это огни, лампочковые, — луна! В 23.00 выглянул в окна — звезды видны! Ну и ну. Интересно б на улицу выйти, — водяная, а выйдешь — и никто не заметит, ночник ты.

Пора б съездить в Константинополь, поесть, ну и давит, очереди друг за другом, очередь за очередью, — завиваются! — мяса нет, яйца нет, млеко — по 1 шт. — бутылочке на 1 млн. ч-кодетей. Девочка для буквы ё, баба со слабой шерстью не возбудит, книги разбиты, камни есть камни, индальгенции.

3. КАДИШ

Кровоизлияние, могодловицы, зашитый череп, чепец, подушки и одеяла и — МОЕ лицо на подушке, мертвое, с чуть раздвинутой улыбкой между зубами и ворона долбит и долбит, еврейские Ъбряды, отпевают без свидетелей, разговаривают с покойником, и поют весело и звонко, плакальщиц нет, слезы не стекают, кошмарных жоп, нищих нет, бросали мерзлую глину на нее, копали яму трактором, цепями, лопатами, ломанами, ветер сквозил, леденящий спины, обледенели, запихали в землю, насыпали камни, поставили таблицу: здесь лежит дата! — я буду помнить мать в дверях, как провожала, улыбалась, золотая

волна на голове, рукой махала из-за дверной цепочки, маленькая мать, моя голова плохо соображает, долго, еще неизвестно, как и чем отзовется эта см-рть, еще неясно, что я с ней сделаю, со см-ртью, ее, как болят ноги, голова велика и ломается, спинномозговой звон, не восстановить похороны, мать считала детей нереальными, гостями на обед, они и были, рисунки делаю, но недолго, пойду, помою пол, ЛУН СЕЛЬПО, МОРЕ ХЕРОМ ОПЛЕСНУЛ, была 3-шведка, завернута в красный флаг с гагачим пухом, выеб ее, у матери глаза как желуди, карие, недвижимые, я запел и она запела, тянет голову ввысь, как собака, шея хорошая, неморщинистая, попробую портрет украдкой сделать, мать в окно, а в нем темно, — все время темно у ВАС здесь? — спрашивает, — нет, светлеет, — говорю я, — не светлеет! — про медсестру говорит «начальница», просит дать работу за книгами смотреть, сидит у полок книг, — забыла, для чего они, глаза похожи на увеличенные, матовые, жалостные локти в две стороны, утиные, сидит, завернув ноги в плед, шелково-шерстяной, Кто-то голове помогает, поднимает голову и поет, как волчица, прекрасная, седоволосая, мать мне всегда пела: капитан, капитан, улыбнитесь!, она (задолго!) надела две пары часов — на левой руке, где жизнь, на правую, где смерть, левой укрепила их на пульсе, чтоб стрелки бились, пес-вольнотпущенник, как плакала мать, теряя последнюю память, мелкокалиберные винтовки продавались в магазинах по 12 руб. и пачки патронов к ним — до знаменитого покушения на Брежнева, мать в голубеньком, в серо-клеточку халате, с манжетами, худая, но свежая, медсестра налила тарелку разбавленного молока, или воды, подкрашенной молоком с вареными макаронами и кислую котлету, я спросил: мясо можно? — можно, но нету, — как мать ела, двумя пальцами, макарону тянет, ее не взять из супа, вилок нет, а потом из ложки стала есть, захлебываясь, заметив мой взгляд (проследив!), я помню последние дни Р., моей собаки, тоже худющие руки и ноги, есть просит, дрожит, я забыл слуховой аппарат и плохо соображаю, метель, гладкоснежная, револьвер на полке, во сне лев, сова и монах с молотом на плече, был у матери, поет: средь шумного бала, случайно, декламирует: если и есть что на свете, это одна пустота, халат у нее шахматный, завернутая в обгорелые шали из шерсти, черные круги под глазами, на сковороде — вещи, и разбросаны повсюду, — ты что-то ищешь? — нет, собираюсь туда, — и рукой Вверх показывает, — упаковываюсь! — и волосы с белым у матери, снег перечерчен руками, рукавицами, снег — нижний мир, а над ним еще надмир, мать смотрит на л-дей в толпу и тычет: сынок, эта компания не для нас, мы не туда попали, — почему? — мажордомы, — и поет, пейзаж, потепление туловища, еще мать

тайком ела варенье, брусничное, ложкой, помногу, брюки со щелями на бедрах у З-шведки, ну, выеб, и иди, упадок быта, стоят листики на полках, сброшюрованные, миллионы их, букв, бездны, снег хороший, Кто-то гладит на кухне рубашки, на них розы, этажи книг от снегопада, З-шведка стоит на коленях и висит между ног — как бутылка, полная луна, самая большая по размерам в этом году, когда я был у матери в больнице, я сказал ей: ты помнишь, что сегодня тебе 75 лет? — она, недоверчиво: да? — и тут же: а впрочем, если сложить все вместе, то... правда. Говорят, в каждом покойнике ч-к оплакивает себя. Нет, все-таки того, уходящего, ушедшего.

Как там утрюмо, вьюга, какой холод под кусками в земле, нужно б написать завещание, чтоб мой труп сожгли и развеяли на греческий манер, нет родины ни у кого, ни у одного, соломенные луны восходят, как звонки.

4. ОСТАЕТСЯ НЕОПИСАННЫМ

В Вильнюс вошли танки-комутантки, в магазине выбросили варенье из розовых лепестков, покупаем. Лампы не горят, вода не кипит в кружке без электричества. — Только не пули, — говорят, как будто пулей убьешь танк, нужен фауст, мыслящий патрон. А на дворе солнечная ночь со снежком, душевая приоткрыта, пахнет водою, грамотные моют зад. У дверей финские санки, на них ездют, махая правой ногой, а левая стоит на полозе столбом. Некий профессор левизны (Л-д — Париж) курит на советской территории, ест сетки икры, лакирует курочек у комутантов, мы — голодаем. Это щеголь Еф-Еп. И нет мне спокойной ночи, ни одной. Цо хцешь, сонце? Чого смеишься, месяц? Что летишь гусь с английского — в гооз? Колеблются белые воды, белые годы, ел я воздух слоями, плачь, сестро, плачь, абидосская немецка. Сходить, что ли? Тут это принято от бессонницы. Унитаз бел и вонюч, как в Англии. Засыпаю. Держу карандаш острой рукой, острой, это последние сигналы, дитя мое сердце.

В этом январе не было первого понедельника, потому вторая среда дала войну в Ираке. Кажется, заболел, простуда, поверхность дорог гладкая, гладкий лед, мой бега, простуда до глаз. Для карандашей нужна спиртовка, чтоб плавилась паста чудовищ. В белых снегах живут за окном, множество жен висят на ветвях, корабли рубят снега. Котики пушистые, умные, душистые. Гулянье ночью, простор леса, бриллианты звезд, на берегу — баррикады льдин, тысячеугольники воды. Ветер свистит, его свирепость и свет везде, ночь, ураган. Моя шуба гооз из кожи, на пуху, с застежкой у рта, на лисьем меху, на плечах. И ветр! Трепещет!

Кости гнутся! Большая луна, желтоватая, стекло — встала над головою. Ветер сжигает. Холод, горы (снебесные!), страна преступников, колбасный блеск мечты. Отточены.

5. ПТИЦЕПАД

Как я тут мало, Ло Ш. приезжает и уезжает, долина льда у штата Кронштадт, ночи падающих птиц.

В дни марта вспыхивают костры, к полуночи — стаи птиц, кружатся, и падают, остается зажарить. Птицепад две-три ночи подряд. Залетают в комнату на свет-цвет, на меня, на пол, на подушку, одеяла, на голову. Летят к кострам, пламя пышет! Летят с севера, когда ветер с юга. Летят лишь в безлунные ночи по солнцу, звездам и гравитационному полю Земли, в воздух, и в костры. И не пытались вырваться, их брали в руки, они — бессознательное, и такое несколько дней, сидят, неподвижные, отказываются от пищи, летят на костры и горят!

Светаёт, пылаёт, деревья рядами, сосны вырождаются от тепла. написать о глазном море, о светлых льдинах, стеклозубом побережье. Берег охраняет рядовой Й., и всю панораму, хожу в черном, сапоги кастрюлевидны. Залив красив, льдами окован, каменный. Лед просматривается до Сестрорецка и Кронштадта. Референдум постановил: обнести каждого ч-ка колючей проволокой и приставить к нему вышку, а на ней охранника Й. Чтoб ч-к шел под вышкой и вокруг пуляли.

Механистичность женщин, крутится по кругу веселая девица, раз-два-три — скок! — шесть, семь, и где-то на девятый раз видишь: это ч-к, механизм, заведенный и выпущенный в лоб — бом! — достигла.

6

Синица летает по комнате, Ло Ш. у зарешеченного окна, сидит, луна, поет. 26 дней я ходил во все погоды, в снег, за это время Заддам Хусим успел разгромить сам себя, выпустить нефть в Персидский залив — свободного плавания! Комутанты созвали съезд жалости, плач по Хусиму, там танки ихнии горят в компьютерных лучах. Что это? Лимзы. Комутанты вводят в Л-д войска (для краснообразия!). Драгоценная звезда висит над соснами, колобок-планета-месяц мерцает. Грустно на дороге зимоу у моря, давай улетим. Давай, давай, где дует ай, из этого психоза — вверх, в ах! Бедные ноги дубов, замороженные, электрички с прожекторами качаются с ноги на ногу, день деньской стоит стоймя. Набухаем. Вряд ли что изменится в конце ночей. Лимза. Синичка скакала в классики по креслу,

по подоконнику, по стенке, по ножу, по ложке, по стакану и клевала масло (брусом). Сосны, сырые. Кусты, спокойные. День с синицей, как Ло Ш. пряталась и следила за ней, как за живой душой. В нашем доме нет живых. Потом реставрировать время труднее, чем сейчас записывать, я вхожу в шкуру Й., эй, ты, Й., какой ты такой, фруктовик, не ест мяса, кроме женских колен. Печально я смотрю на прозрачные шторы весь вечер, весь вечер. Бог улыбнулся: нет слов. Огни, видящиеся, мне близки. Две пленки — стекло и штора — скрывают мой мир, колебания любви и доблести прошли, прошедшее время, кубик стола и серебряная кастрюля, но я не прельщусь. Одинокая вилка лежит, как я в больнице. Не видно дна в унитазе, сломаны золотые краны, живетя бесцеремонно, я б хотел шарф из фиалок и тазы у женщин, нежносочиненные, железные. Фальшь-память! Почему ходят по двое, зачем второй, вместо собачи? Рельсы снаружи. Жду сантехников, унитаз взорван чьею-то страстью, воды тазы ношу, носим, мы — Накануне, ходят в саванах кладбищ, капюшон, Петербург, лампы горят все дни, незаконные, шипят л-ди, нищие, щели, черви, кузнецы цен — комутанты надели чадру, сидят в автомобилях, изображая востоковедов и только меняют маски, выходя по ТВ — то он депутат, то народный фронт, то демократическое единство, а то бывший зек, но он одно и то же — комутант, и не понимает, что прозрачен, как сахар-рафинад. Я в одного плюнул, плевком пробил грудь, но дальше не пошел, бронежилеты. До отлета нужно б списать этот мир, чтоб Те, Вверху не придирались, что не выполнил задание, выполняю по мере надобности, но как быть бдительным, если сломан унитаз и выношу воду ыциндаз в тазах — по 4-5 шт. в ночь. Хорошо, если Те видят и верят. Некого позвать починить клозет — народы бастуют, наши хобби. Картинка-рутинка! Куда катится то, под ногой круглое, мячевидное, а на нем жонглируют мокрозубые, и каждый стреляет в амфитеатр цирков, жжет нефть изо рта, пышущий огонек на всю Вселенную. Эх, вы, л-ди, дуалисты, женолюбы, космосморчки. Я не расстанусь с пустотой, я ею дышу, как кувшин Дао без вина, а ведь он предназначен вину, а не пустоте, но он плюет на предназначение и идет ко мне, и у него ноги изгнанника, о орел, кидающийся от пустот в войну мышей. Мы актеры театра Но, нас двое: Я и Он (Б-г!), и ни один не женщина, плодоносить некому, шарик Зем. пустеет, заселенный, нахлобучены одни волосы на другие — овечьи на человеческие, голое влагилице звезд. Если б Кто знал, как я устал в форме ч-ка, Он бы сказал: разденься, кинь шкуру, сними мясо, свинти яйца, вырви хуй, сними пятки и улетай, теловертитель. Так и будет, но будет уже поздно лететь в пустоту, не любимую уж, там одни диаметры ждут. Ан Вар чинит клозет,

по-дружески, но он запаздывает, а вода бежит, сломанный фаянс, поджелудочные соки выходят из меня от отвращения к любому из клозетов, даже золотому, пишу новеллу времен, — труба, водород, выходящий из клоаки, богород. Сидит в книге ж. и считает своих м., скоротечная расческа. Если придут чинить клозет, но не придут, я буду нюхать руку слева, как собака, отвернув голову от говна — классические страницы. Не заговаривайся, существо.

7. КОГДА

Когда идут по снегу снегоноши, от меня требуют радостных ртов на голове, я скажу правду одними зубами: я не способен светить. Бледные л-ди! Рассвело. Коршун пересек две башни, голубеет, кривая равенства пошла на убыль, незабываемые. Скоро станут чинить неадекватных. Ты посмотри в глаза хозяев, это луны, полные лжи, недостойные души. Дали знак Зем., шлют, где нечем противостоять, стою, а знаю: пора соскользнуть с шарика.

Ночь лжет, снящиеся кошмары выдуманы Ими, отрицаю реальность, бледно-голубой чай, мухи, плодные, фонари. В той ночи, в которой сию, нет живого, разве врач грызнет стенку в доме, чтоб вытащить меня в дыры на укол. Я их боюсь, этих белохалатников, ампутантов.

Слякотно, что за лужи, да льды, да тоска в пальцах, биющих по клавишам пишмашинки, без пиш., не о чем делать пиши, водные пустоты. Дуновение линий, бумага под губами, динамо-мед настольный.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------------|-----|
| ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ | 7 |
| ДЕНЬ БУДДЫ | 51 |
| ОБ ОДНОЙ ЛЮБВИ | 103 |
| ДЕНЬ ЗВЕРЯ | 111 |
| БАШНЯ | 339 |
| ДОМ ДНЕЙ | 533 |
| КНИГА ПУСТОТ | 667 |

Литературно-художественное издание

Виктор Соснора

ПРОЗА

Ответственный редактор *Павел Крусанов*
Литературный редактор *Сергей Степанов*
Технический редактор *Марина Андреева*
Корректоры *Нина Алексеева, Елена Серпокрылова*
Верстка *Аллы Тарасовой*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 10.01.2001.

Формат издания 60×90¹/16. Печать высокая.
Усл. печ. л. 48,00. Тираж 1 000 экз. Заказ № 67.

ИД № 02164 от 28.06.2000.

«Торгово-издательский дом „Амфора“».
197022, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, д. 23.
E-mail: amphora@mail.ru

ОАО «Санкт-Петербургская типография № 6».
193144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 10.
Телефон отдела маркетинга 271-35-42.



Рукописи надо жечь, — собственные. Тогда воочию увидишь, как они чудесно горят. Вот уж скоро пятьдесят лет я пишу и жгу. Только книги, написанные на одном дыхании, остаются в активе. Это не метод, а внутреннее ощущение, что тебе вечно, а что нет.

Этот двухтомник — ровно половина моего актива. Я ничего не декларирую о литературе, тем более о своей. Я никогда не перечитываю свой актив. Я за собой оставляю выжженную степь — широкие просторы для творчества критиков и читателей.

Виктор Соснора

*«Я люблю Соснору.
Это великий человек!
Его проза роскошна!..»*

Андрей Вознесенский

*«Мне прислали перевод
Вашего "Зверя".
За строчками английского
текста угадывается такая
сила!.. такая мощь!..
Это скорее Рабле,
чем дух нашего времени.
Ничего подобного
у современников
я не читал!..»*

Аллен Гинзберг

ISBN 5-94278-068-4



9 785942 780685

Сделано в Санкт-Петербурге